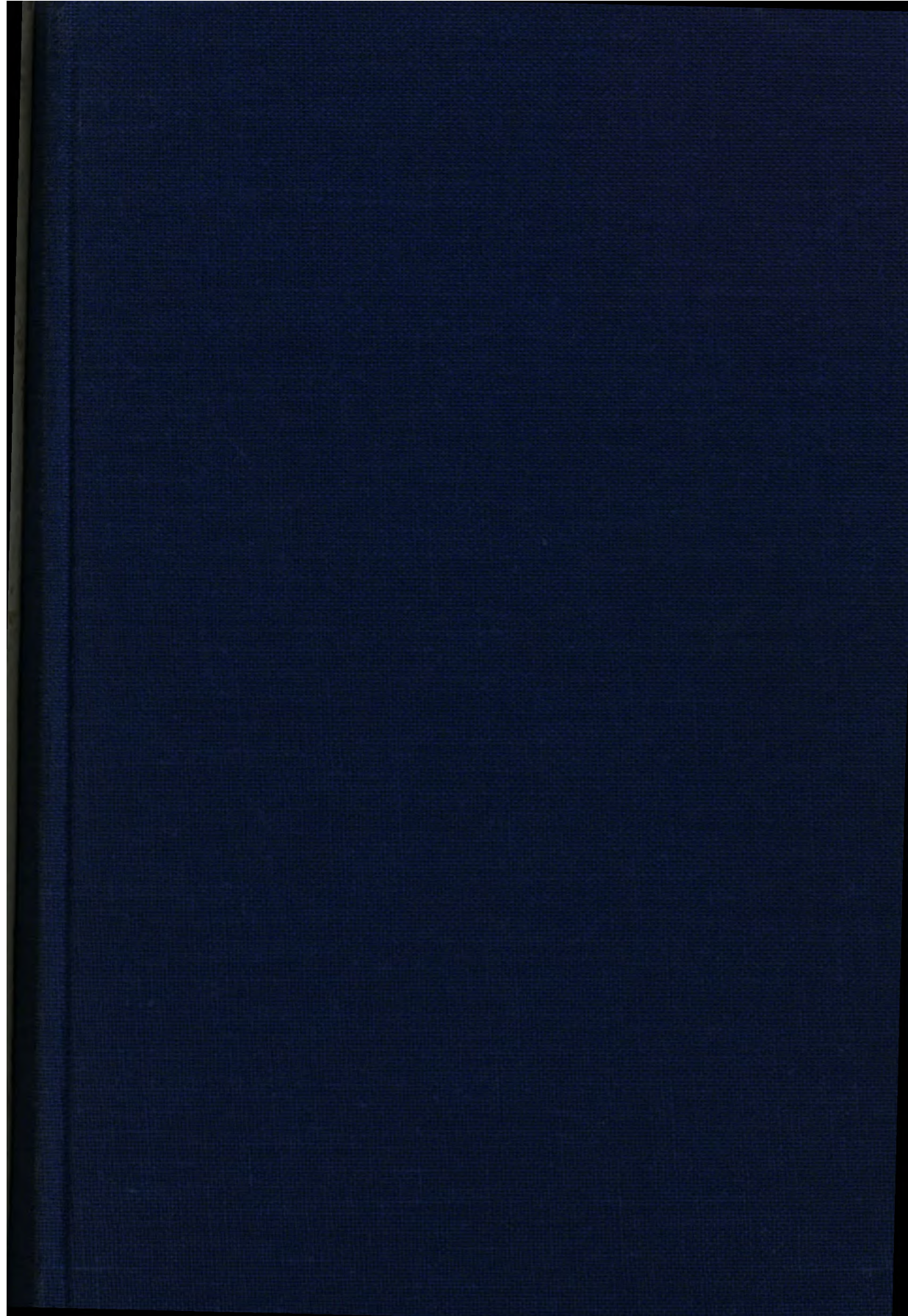






Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

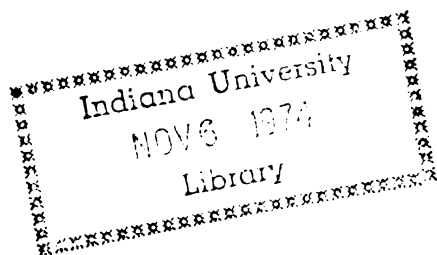
SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/9

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/28



БЫЛОЕ

BYLOE

INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
BLOOMINGTON

DK1
.B982
New ser.
no. 18

No 18

1922

R-

11-11-74

С-Я Гос. учебно-науч. школа-тип. Краевая, 1.

Путиловград. Р. В. Ц. № 274. - 10.000 экз.

Две зимы в провинции и деревне.

С января 1849 по август 1851 года.

Из воспоминаний П. В. Анненкова.

Этот замечательный документ, впервые издаваемый, мне посчастливилось найти в Книжной Палате (ныне Институт Книговедения), куда он поступил из библиотеки В. И. Сантова: восемнадцать гранок (вполне, впрочем, исправных в корректурном отношении) находятся в одном переплете с известным комюю „П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. I. Изд. А. С. Суворина, СПб., 1898 г.“. Негласным редактором этой книги был Леон. Ник. Майков. В конце предисловия к ней упоминаются „памятные записки Павла Васильевича, которые еще не могут быть переданы печати“, и из которых вошли в настоящий сборник лишь воспоминания Анненкова о его последней встрече с Гоголем (стр. 515—516).

За исключением этого места, печатаем целиком и с полной точностью воспоминания, которые до сих пор оставались под спудом и ускользнули от внимания редактора вышедших в 1909 г., когда можно было уже не опасаться никаких цензурных притеснений, „Литературных воспоминаний“ П. В. Анненкова. „Этот очерк, — говорится в кратком анонимном заявлении, ему предшествующем, — составляет лишь черновой набросок, а местами только план статьи, подлежащий обработке. Набросок относится к 1870-м годам“. То, что говорит сам автор в начале главы „Зима 1851—1852 года“, до некоторой степени подтверждает такую хронологическую датировку. С этим сходится и другие известия: в марте 1876 г. Анненков писал М. М. Стасюлевичу: „по совету Пышина, я стал писать воспоминания о Белинском и о людях 40-х годов вообще, которые мне были хорошо знакомы. Написал я уже много, но материал, к ужасу моему, имеет свойство разрастаться до чудовищности“... 1-го мая 1877 г. Анненков сообщает Стасюлевичу, что „набросал несколько заметок об одной эпохе Белинского“, а в октябре его приводит в ужас предложение Стасюлевича начать печатание записок в „Вестнике Европы“—„в том виде, в каком они находятся, со всеми срамотами наружи, без нужных поправок относительно хронологической и фактической стороны их“... В декабре того же

года он пишет Стасюлевичу, что намерен продолжать записки, „так как переходная эпоха от 48 года до 58 года (вторая замечательная эпоха нашей литературы) мне хорошо была знакома со всеми ее людьми и со всеми ее ошибками, бунтами втихомолку и раздумьем, как выйти из болота, породившими движение 60-х годов, продолжающееся и до ныне“ („М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке“, под ред. М. Б. Лемке, т. III, стр. 321—322, 344, 350—351). Лишь в 1880 г. начал Анненков печатать в „Вестн. Европы“ свои воспоминания („Замечательное десятилетие“), но первый приступ к продолжению их был сделан им, вероятно, действительно в конце 70-х годов, а дальше дело не пошло.

Но будем благодарны мемуаристу и за эти несколько страниц. Эпоха, его в них занимавшая, в нашей мемуарной литературе закреплена особенно слабо. Ценность их не столько в множестве фактов и памятных так или иначе имен, сколько в запечатленном ими колорите времени. Читатель сам заметит в них ряд мелких ошибок и неточностей, которые не стоит оговаривать здесь, не вменяя автору в вину некоторых личных пристрастий и за то, читая беглые воспоминания старого либерала-постепеновца, испытает чувства, которые испытывали тогда все, в ком была душа живая, оцутит былое во всей его подлинности.

Н. Лернер.

1849 год. По приезде из Парижа в октябре 1845 года состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне, борьба между обскурантизмом и просвещением—и ожидание войны. Салтыков уже сидит в крепости за свою повесть; пересмотр журналистики и писателей. На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания, молчания, дисциплины. Необычайные теории воспитания закладывают первые камни для тяжелого извращения умов, характеров и натур.

Я спешу с братом Федором в деревню, куда призывает меня страшно расстроенное положение дел и предполагаемый раздел имения с братом Александром, главным виновником этого положения благодаря картежной своей игре. Катерина Ивановна, поднимая этот вопрос, должна сама явиться в Чирьково. Я рад убежать из Петербурга.

Новый год 1849 в деревне с Катериной Ивановной, Стрекаловым, братьями. Раздел. Страшные морозы. Набор только что кончился. Брат Федор уезжает после того. Иван вскоре за ним из Чирькова с Катериной Ивановной, которой предоставлено управление имением и которая уже вознавидела нашего дельного Алама. Александр остается в Чирькове до переезда в Сиря-

бино, где будет строить дом. Я уезжаю в Симбирск до весны. Адель Б., Лидия К., Татаринов. Терроризация достигла и провинции. Города и веся сами указывают, кого хватать из так называемых либералов; доносы развиваются до сумасшествия; общее подозрение всех к каждому и каждого ко всем. Анекдот о Михаиле Лонгинове, приехавшем для закупки хлеба на военное ведомство, принятом за жандарма и подавшем повод вопросами обо мне подозревать, что и я в числе намеченных жертв. Между тем у лихоимцев, казнокрадов и наиболее грубых помещиков развивается патриотизм—ненависть к французам и Европе: „мы их шапками закидаем!“—и родомонтада, скрывающая плохо радость, что все досадные вопросы о крепостничестве и проч. теперь похоронены. Отсюда и энтузиастическое настроение относительно правительства. Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще не бывалых. Я получаю эстафету из Москвы. Тучков Н. А. приглашает меня приехать в Москву для крайне нужного дела. Это дело—устройство состояния Огарева, за которое влялись Грановский, Кетчер и другие. К числу этого устройства принадлежало и то, чтобы одну дочь Тучкова выдать в законный брак... Выбор пал на меня. Я отказался. Подвернулся Сатин: его женили. Все это происходило при крайнем негодовании Грановского. Летом объезжаю заволажских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других, и посылаю первые „Провинциальные письма“ в „Современник“, где в 1-м номере 1849 года напечатано было и мое „Обозрение литературы“.

По зиме 1849 года приезжает в Симбирск новый губернатор князь Черкасский: старый, 15-й, известный по истории с Полторацким, был величественный распутник, обжора, тонкий человек, которого особенно боялись купцы: он на прогулках забирал у них вещи и остался должен после смерти всем—мясникам, магазинщикам, доктору, аптекам и проч.

В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбацкой лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернышевским, Постниковым и прочими. Характеристический анекдот у Ермолова. еще в деревне: какой-то Бахметев простодушно рассказывает, как были взяты из Москвы и увезены в крепость Корш (Евгений) и Грановский. Все это оказалось вздором, но важно, что слухи эти нарочно распускались, как указание правительству на лица.

Осенью выезжаю из Петербурга через Скрыбино, куда брат Александр переехал. Его трогательная просьба—не забывать. У нас между тем все доходы предоставлены Катерине Ивановне с тем, чтобы она выдавала по 150 р. каждому брату в месяц, а остальным покрывала долги: последствия были страшны. Вместо покрытия долгов самонадеянная бабка не заплатила процентов в опекунский совет за два года, сделала еще новые долги и окончательно надела петлю на шею братьев и мою, да и на свою, ибо для удовольствия быть хозяйкою чужого добра заложила собственное имение, Хунту.

Проездом через Москву Садовский читает у И. П. Боткина первую комедию Александра Островского „Банкрот“. Потрясающее ее действие. Приезжаю в Петербург на квартиру брата Ивана, в новом строении конногвардейских

казарм на Мойке, которые еще достраивались, когда в них уже жило множество народа.

Зима 1849—1850 годов. Осень прошлого кончающегося года ознаменовалась, наконец, окончанием следствия над заговором Петрашевского, стоившим так много несчастий и страхов всему обществу, совершенно безвинному в нем. Манифест об окончании следствия и приговор, постигший как самого Петрашевского и составителей будущей конституции в роде Спешнева и прочих, так и людей, читавших по его знаменитым пятницам только свои проекты освобождения крестьян, улучшения судопроизводства и заметки о настоящем внутреннем положении России, и даже людей, любивших его хорошие ужины по тем же пятницам, написан был Сукованиным, государственным секретарем. Удивительно, что в манифесте было известно, будто заговорщики, устроив тайное общество, сами называли его обществом „превратных идей“; дело в том, что они называли его обществом „передовых идей“; но на полях была сделана пометическая заметка: „превратных идей“,—так оно вошло в манифест, о котором я узнал впервые в квартире очень испуганного Некрасова... Приговор был исполнен—с готовым батальоном для расстреливания, саваанами для осужденных, рядом позади них и проч. на Семеновском плацу,—со всею обстановкой политической казни, измененною на известное помилование. Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, нечленский правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты. Приговор состоялся под ужасом февральской революции, с которой начинается царство мрака в России, все увеличивавшееся до 1855 года. Так же точно, или еще счастливее, спасся Николай Милютин, тогдашний начальник отделения в хозяйственном департаменте: заговорщики назначили его в министры, но свидетельство о нем, по связям Милютина с Черновским и Киселевым, было утаено или, как говорили, даже выкрадено известным И. Липранди, следовательно, который на других выместил эту поблажку. Я видел одну из его жертв, помешавшегося в крепости, азбучника Балас—Оглу, который никогда и очень боем не был. Невинность этого вечернего посетителя Петрашевского была очевидна, что Леонтий Васильевич Дубельт, во время его сидения в крепости, сам взбирался на чердак в жилье его жены, чтоб оставить ей какое-либо пособие от себя. Террор был на всех пунктах общества. Ребиндер, впоследствии кяхтинский воевода (выдумавший сказку о близком отложении Сибири в 1855 году), затем попечителем киевского округа и сенатором, блудливый и расстроченный, говорил о следствии по делу Петрашевского у Н. Тютчева. Впоследствии мне удалось где-то прочесть и рапорт императору следственной комиссии, как она открывала заговор. На вечере Петрашевского был пущен агент полиции Антонелли, записавший все, что там говорилось, и еще более; в самом доме другой агент открыл табачную лавочку и следил за всеми ходами и выходами и разговаривал с людьми: третий, имени которого не упомяну, явился в качестве новобранца и потом служил при „Русском Вестнике“ в типографии Каткова, и не подозревавшего, кого он держит у себя и проч.

Так наступает 1850 год, в начале которого приезжает из-за границы И. С. Тургенев. Около этого времени прибывает из Москвы и Евгений Корш, отставленный от „Московских Ведомостей“ за либеральную редакцию их. Он получает теперь место редактора „Полицейских Ведомостей“, благодаря еще только Фролову, зятю обер-полицеймейстера Галахова. У него-то я и знакомлюсь ближе с братьями Милутиными, Николаем и Владимиром, Арапетовым и партией петербургского прогресса. У Кавелина живет тогда Егуннов, поднявшийся было журнальною статьею о торговле древней Руси, но вскоре забытый и засмеянный изящными демократическими чиновниками за неуклюжесть, грубые вкусы и приемы с претензиями на фальшивое щегольство.

Я пишу от нечего делать „Провинциальные письма“, и рассказ о Бубнове пользуется одобрением друзей, но далее их круга не идет. Цензура действует с ожесточением почти диким. Крылов—цензор, например, употребляет весь ум на ослабление выражений писателя и обезличивание произведения, называя это „кровопусканием от удара“, но цензуре в этом смысле еще далеко было до своих границ. В этот же год и в следующие печать наша видела установление цензуры различных ведомств, кроме настоящей,—финансовой, духовной, путей сообщения, театров, придворной, горной и проч., да кроме того и сверх того еще „негласный комитет“ из трех членов, между которыми был, вместе с Анненковым, Гамалеем, и Модест Корф. Комитет следил за общим направлением и карал издателей и писателей за статьи, пропущенные всеми отделами цензуры. И литература однако же не умерла совсем, выдержала, не погибла окончательно под страшным гнетом, как случилось бы со всякою другою. Молодость взяла свое, и эта жизненная сила, создаваемая и правительством, еще более раздражала его.

Кстати анекдот. Несколько позднее этого времени, кажется, в 1854 году, и встретил в фойе Михайловского театра Егора Петровича Ковалевского, тогда еще полковника, тоже посаженного... на гауптвахту за какое-то самое невинное замечание о жестокости запятских правительств или что-то подобное в своем „Путеводителе по суше и морям“. Ковалевский рассказывал по зале именно с Анненковым—негласным и остановился сказать мне несколько слов. Негласный Анненков спросил его о моем имени и на его ответ, что это тоже Анненков, занимающийся литературой, Соня моя сделала следующее любопытное замечание: „Скажите мне: зачем они тратят время на литературу? Ведь мы положили ничего не пропускать,—из чего же им биться?“.

Как и следовало ожидать при таком настроении, министерство народного просвещения первое изменено было в основаниях своих. Бутурлин, сам, как известно, писатель, оскорбленный критикою нашею (за свою Историю Смутного времени), является человеком времени, и не умри он вскоре после этой роковой эпохи, он приобрел бы огромное историческое имя, как гаситель, я, может быть, влияние, после которого не опомнились бы и два поколения сряду. Этот человек, представивший в выписках и записках все ужасы прошлой литературы нашей, критику Белинского и нового „Современника“, говоривший, наконец, что не будь Евангелие так распространено, как теперь, то

и его бы следовало запретить за демократический дух, им распространяемый,— пришел к заключению, что и девиз Уварова, который определял его деятельность, как министра просвещения: „православие, самодержавие, народность“ есть просто-напросто революционная формула. Просвещенный и многоумствующий Сергей Строганов, под впечатлением старых обид от Уварова и недавней истории с переводом Флетчера, им дозволенным и Уваровым осужденным, пристал к Бутурлину. Весь аристократический либерализм Строганова, которым он так кичился, уступил жадке мнений и превратил свободного магната в напентывателя, наговорщика и даже клеветника. Так-то старая историческая закуска нашей аристократии тут тотчас же обнаружилась. Рассказывали в то время о сцене, которая будто бы происходила в кабинете царя, который желал сам выслушать обвинение и объяснения врагов. Сцена могла действительно быть эффектной, если правда, что Строганов обвинил администрацию и Уварова в насаждении повсеместном семьи демократии, в стремлении уравнивать все сословия через образование и в пропаганде бескупного либерализма с самых низших слоев общества через гимназии. Любопытно было бы посмотреть и на Уварова, доказывающего, что он всегда был рыцарем абсолютистом и что требовал науки, укореняющего все тогда существовавшие порядки. Как бы то ни было, но Уварова не стало, и место его занял совершенно юрловый Шихматов, а попечителем С.-Петербургского учебного округа сделалось просто невообразимое существо... Мусин-Пушкин. Этот уже ничего не видел, кроме непослушания: стихотворение, статья, лекция, все было непослушанием, как только было мало мальски ново. Анекдотическая сторона его управления, так же, как и распоряжения Шихматова, содержат изумительное богатство шутовства, которому потомство откажется верить. Крупными проявлениями всей этой администрации, ведомой негласным комитетом, Бутурлиным и множеством других лиц (даже Брунов-посланник, приехав в Петербург около этого времени, успел выразить ужас к печати и развитию русскому и говорил с государем о способах возможно скорее истребить эту начинающуюся язву в государстве).— были, кроме цензуры, уничтожение университетских привилегий в роде выбора ректоров и совещаний факультетов, ограничение числа студентов положенною цифрой (300 человек для каждого университета, кроме Дерптского), закрытие кафедр логики и философии и передача их богословским кафедрам, преследование иностранных книгопродавцев и почти уничтожение умственной связи с Европой через иностранную цензуру, наконец, насильственное утверждение прав на образование только за дворянским званием и богатством, и в довершение—и уничтожение в гимназиях классического образования, введение самых ужасных программ для нравственных наук и повторение как в них, так и в коридорах обширной системы телесных наказаний. Несколько позднее Пв. Ив. Панаев видел графа Уварова, будучи введен к нему молодым графом, его сыном. Панаев рассказывал, что отставной министр, уже больной, слушал его повествование о всех проделках цензуры и новой администрации молча и только заметил: „Наше время особенно тем страшно, что из страха к нему, вероятно, никто не берет записок о нем“. Панаев был

большой враль, но ничего не выдумывал: он только врал по канве. уже данной ему.

Около этого же времени привезли в Петербург Н. А. Тучкова, Н. Ил. Огарева, Н. М. Сатина, обвиняемых в коммунизме денежном и матримониальном и либерализме, а так-же... Илью Селиванова по доносу пензенского губернатора тоже о его свободомыслии. О, Боже! Первые трое умели заговорить своих следователей Третьего отделения, а последний, оробевший сильно, не поднимал даже глаз на своих судей. В таком виде предстали они перед начальником Третьего отделения, графом Орловым. Сей весьма прозорливый муж, отпуская их „под присмотр полиции“, так как никакого действительного проступка не оказалось за ними,—произнес, обращаясь к трем первым: „Вот вы, господа, можете смотреть мне прямо в глаза, потому что чистосердечно высказывали свои убеждения, а вот про вас, господин Селиванов, того сказать не могу: совесть в вас должна быть нечиста, и прямо смотреть вы не можете“ ¹⁾.

Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили словно притаившись. На улицах и повсюду царствовала полиция, официальная и просто любительская, да аппетиты к грабежу, нажитку, обогащению себя через государство и службу развились до неимоверности. Они даже поощрялись. Что тогда происходило под личиной добрых правил, беспорочного прохождения карьеры, начальнического достоинства! Три миллиона, украденные Политковским у инвалидов, можно сказать, под носом у всех властей, составляли еще безделицу перед тем, что делали сановитые мужи вообще. Они участвовали в присках, страховых обществах, промышленных предприятиях даровыми паями и составляли их прикрытые во всех случаях мошенничества, директорских грабежах акционеров и проч... Никакое предприятие не могло состояться без приглашения в даровые участники вельмож времени, так как высшее, какого характера оно бы ни было, с ними могло надеяться на успех. Они высасывали свою долю из откупов, из тяжб по наследству, из государственных имуществ. О., например, заставил себе дать в самарской губернии 100.000 десятин, 1500 рублей оброка, кажется, и это без переоценки на будущее время. Грабительство казны и особенно солдат и всего военного снаряда приняло к концу царствования римские размеры. Генерал Э... продал 40 лошадей из фронта по 4.000 рублей за каждую своим и чужим офицерам, пополнив их ремонтными лошадьми, на которые казна отпускает 175 рублей ²⁾.

¹⁾ Надо отдать справедливость императору Николаю: приближенные его, пользовавшиеся минутой, требовали совершенно закрытия университетов. и против этого искушения он устоял, можно сказать, один из всех, так же точно, как он один не поддавался соблазну к уничтожению общего образования, которое, по проекту г. Н. О., очень хорошо было бы заменить только специальным образованием инженеров, артиллеристов, судей, учителей для низших школ и т. д..

²⁾ Но этот подвиг и другие, им подобные, были затмевлены тем, что делалось позднее в арсеналах, по провинциальному ведомству, по заготовлению лазаретных принадлежностей, по штатам и проч.

Молчание гробовое царствовало над всем этим миром преступлений, и, разумеется, на высших ступенях силились укрепить это молчание на веки вечные. И тогда уже мыслящим людям было очевидно, что при первом политическом толчке вся эта мерзость запустения, прикрытая ложным величием, блеском и легитимизмом, обнаружится и раскроет всю беспомощность молодого, здорового, во грабимого, отупленного государства: однакож никто не предвидел, что толчок явится так скоро, и что итоги забывшемуся всесилию и насилию будут подведены еще на наших глазах. Мы сказали о молчании. Не довольно было и молчания. На счету полиции были и все те, которые молчали, а не пользовались мутной водой, которые не вмешивались ни во что и смотрели со стороны на происходящее. Их подстерегали на каждом шагу, предчувствуя врагов. Жить было крайне трудно. Некоторые из нервных господ, в роде В. П. Боткина, который тогда переехал в Петербург, как в более безопасное место (Москва была отдана графу Закревскому в безграничное пользование, и там происходили оргии высылки, взяток и проч.), почти что тронулись. Этот господин трепетал за каждый час существования...

Но будет о нем. В это время Ланская, по первому мужу Пушкина, делами которой по дружбе к семейству занимался брат Иван, пришла к мысли издать вновь сочинения Пушкина, имевшие только одно издание, 1837 года. Она обратилась ко мне за советом и прислала на дом к нам два сундука его бумаг. При первом взгляде на бумаги я увидел, какие сокровища еще в них таятся, но мысль о принятии на себя труда издания мне тогда и в голову не приходила. Я только сообщил Ланской план, по которому, казалось мне, должно быть предпринято издание.

Зима 1850—1851 годов в провинции. С началом весны я отправился в деревню и, благодаря крайне печальному состоянию наших дел, пробыл в Чирькове и Симбирске не только лето, но и осень и всю зиму 1850—1851 годов, отвечая, как умел, на нужды и возникавшие отовсюду претензии кредиторов наших.

В Симбирске произошел тоже переворот, и общество было на ножах. Новый губернатор, князь Черкасский, явился с претензиями искоренять злоупотребления, взяточничество, крайнее препостыничество и тотчас же очутился во вражде с предводителем, коварным, мелким и злым человеком, за которым стояла огромная партия грубых помещиков, любившая им: к ним присоединились старые, уже успокоившиеся грехов дачники из председателей палат и новые, еще добывавшиеся устроить себе почетный покой, пограбивши умственно и осторожно кого и что можно. Катавасия шла порядочная, и главным орудием интриги против губернатора, как и следовало, был остзеец-прокурор из правовеков, обнаруживший всю энергию, свойственную немцу, в ненависти и преследовании человека, мешавшего тихой и благополучной карьере для приличного мещанинства. На беду Черкасский был фантаст, но он оставил по себе добрую память одним желанием внести свет в эту клоаку, а потом созданием спуска полойного к Волге, существующего и теперь. Как видите у реформаторов, удачных и неудачных, Черкасский привез с собою на службу

молодых людей—М. О. Трубникова, Н. Самарина. а в городе сблизился с партией либералов, т. е. собственно с домом Татарипова Александра, Языковых и проч. Весь либерализм кружка этого состоял однакож в том, что глава его Татарипов носил бороду, заставлял молодых людей вокруг себя вкисливо читать скучнейшие книги в роде „Политической экономии“ Смита, Сеп, Баэтиа, которые окончательно их сбили с толку, сопротивлялся попыткам безотчетного управления деньгами и делами дворянства со стороны предводителя, презирал чиновников, ненавидел молодцов плохо образованных и литературой не занимающихся, да скучал страшно, до апатии, самозабвения и сумасшествия.

В это же время прогремел и манифест о войне с венгерцами за Австрию. Никогда еще. может быть, не был принимаем так холодно манифест о войне у нас, как этот. Даже самое заботное и глубоко-житейское отношение ко всему происходящему на свете не могло воздержаться от сомнения в пользе и славе этого пособия Австрии. а народ предчувствовал тут наборы рекрутские, не более. Даже рассчитанное на эффект восклицание манифеста „да не будет так!“ обратилось в поговорку, порядком двусмысленную. Позднее гвардейский штаб-доктор Шеринг (фанатический гомеопат, между прочим) рассказывал мне, что сам слышал, как великий князь Михаил Павлович, не одобрявший войны, произнес во всеуслышание пророческие слова: „Мы впутались в чужое дело. — теперь нам надо ладить гостей уже к себе“. Начало выступления войск к театру действий могло бы открыть глаза на то бедственное положение армии нашей, в которое ее поставили грабежи и бессилье администрация, но смотреть никто не хотел. На пути из западных губерний войско, на первых переходах, оставив за собою целые полки отсталых, ослабелых и обессиленных. Ужаснувшийся государь послал генерал-адъютанта Н. М. Ефимовича подбирать и формировать этих воинов, а вместе с тем и узнать причины такого бедствия... Ефимович (как сам говорил) только намекнул ему, что развивать мысль не предстояло надобности, что на стоянках у разоренных помещиков и бедствующих крестьян Литвы и Белоруссии солдаты, кроме пустых шой, и то не всегда, ничего не ели. Когда нужно было тронуться в путь с ранцами и ружьями на плечах, половина из них попадали, как дети.

Возвращаясь к Симбирску. Здесь, когда в соборе, после архиерейского служения, протоиерей густейшим басом сам читал манифест, то в самом высоком месте его, в известном и вышеупомянутом „да не будет так!“—возле меня послышался громадный зевок, испущенный каким-то высоким и седым мужиком. Откуда ни возьмись, подошел к нему полицеймейстер, и между ними возник следующий, чисто этнографический разговор подушенотом: „Что ты, обездумел, что ли?“ „А что?“ „Да разве не слышишь: царский манифест читают, а ты рот дерешь?“—„Ой-ли! А ведь я думал, что все еще обедня идет!“

Презвляя зиму почти безвыходно в доме уминой К. и перекрекивая-и-и-и интригами и клеветами городских партий, весной я посетил деревню Татарипова, проехал к Аксакову и по возвращении в деревню принимал Шфеллер с дочерью и компаньонкой. В это время решено было между нами

переселение части чирьковских крестьян в Васильевское. Дела не распутывались; хотя доход с имения и поступал к нам прямо в руки, но требования, запущенные прежде, уносили его, почти ничего не оставляя. Время было тяжелое. От братьев из Петербурга получено известие, что конная гвардия выступила в поход венгерский, причем брат Иван сделан командиром сводных эскадронов гвардейской кирасирской бригады, оставшихся в городе; по-вторых, что он намеревается приобрести у Ланской право на издание Пушкина (известие, поразившее меня громадностью задачи на достойное исполнение плана), и, в третьих, что брат Федор, назначенный вторым комендантом в Москву еще в 1850 году, устроил себе квартиру в Кремле. Осенью через Скрибино я направился к нему в Москву, куда со своей стороны вскоре прибыл и брат Александр. Это было в августе 1851 года.

Осень 1851 года в Москве. Москва была в волнении. Император Николай приседал, во-первых, для празднования двадцатипятилетия своего царствования (с августа 1826 года), а во-вторых, при этом случае открывал новую железную дорогу. Предварительно поспаны были им, как предтечи появления и знамения будущей важности дороги, гвардейские пехотные батальоны и сводные эскадроны конной гвардии и кавалергардов, оставшиеся от петербургских войск, ушедших в венгерский поход. Последними командовал брат Иван, тогда полковник. То и другие встречал сам губернатор Закревский на дебаркадере, купечество жертвовало для них разные угощения, дворяне не отставали, и один (фамилию забыл) стеклянный заводчик предложил на кавалеринскую бригаду сто или около того стаканов для питья. Закревский, направлявший все эти жертвы и поощрявший их, сделал любопытающую заметку на бумаге, извещавшей об этом подвиге патриотизма: „Почему не на всю бригаду?“ Заводчик, говорит, поспешил дополнить свою неосмотрительность. Вслед за войском явился весь двор и, по обыкновению, немецкие принцы, рассердившие даже Клейнмихеля (он сам это говорил), строителя дороги, аппетитом на станциях и нежеланием видеть на ней что-либо другое, кроме буфетов и славных придворных вин. В день приезда, вечером, на Кремлевской площади народу уже было множество. Я видел императора мрачным и усталым: он считал долгом побывать под всеми мостами и осматривать все насыпи и постройки дороги.... На другой день загудели колокола. Кремль затоплен был народом, на площади свершался парад войскам, мундиры горели: крики, музыка, барабаны смешались, и началась та страшная, бесполезная суета всех служащих и неслужащих, актеров и зрителей, в которой покойный император любил жить, и которая казалось ему важным делом и принадлежностью величия и превосходства России над всем европейским миром.

Разумеется, я прежде всего очутился в кружке Грановского, Фролова, Кетчера, Кудрявцева, литераторов и ученых, живших под сенью и влиянием московского университета. Они в это время еще не вполне понимали, как могла пройти брошюра Герцена, изданная в 1850 году „Du Développement des idées révolutionnaires en Russie“, не унеся кого-либо из них или всех вместе. Дело в том, что правительство на этот раз было умеренно: первый

страх потрясений прошел, и возобновлять опять истории осужденни en masse не было ни у кого охоты, особенно не было этой охоты—надо отдать ему справедливость—у графа Орлова. Николай Милютин рассказывал, что в разговоре с его дядей Киселевым Орлов упомянул о книге Герцена и прибавил: „Многих она выдала лучше всякого шпиона“. „Да кого же она могла выдать?—возразил Киселев,—ведь она говорит только о мертвых“. „Э!—отвечал шеф жандармов,—если бы мы захотели, то именно по мертвым-то до живых и обратились“.

Что касается собственно до брошюры Герцена, то, за исключением остроумных и, по обыкновению, весьма живых характеристик исторических лиц и лиц, она в главной теме своей ничего не представляет, кроме отчаянного пустословия. Этою брошюрой Герцен, уже эмигрировавший, начинал кокетничать перед Европой, перед клубами и либералами, неизвестною им землей, свою роль в ней, своими приятелями, таинственными элементами, в ней бродящими, из которых маленький экземпляр „мы есмь“. Впоследствии эта тенденция развилась до лжи и фальши непостижимых, а затем, когда сама жизнь ясно обнаружила пустоту гипотезы, в лучшие головы не захотели поддерживать ее деятельностью практической, наступила для него пора слепого бешенства против всего, всех и, наконец, даже против национального чувства страны—до инстинктов самосохранения. Оставался народ: на того публицист и перенес воображаемые элементы революционерства, социализма, коммунизма. Это было покойнее: можно было делать себя представителем великих идей всесветного обновления, существующих в России без всяких опасений, без всякой оглядки: народ ведь не отвечает, народ молчит обыкновенно и в препирание с своими комментаторами никогда не входит. В самом деле, кому, кроме Герцена, блестящего и вместе фальшивого ума, можно было принять партию Белинского, Грановского и других за революционеров в смысле европейском и все их требования и представления об облегчении страдающих классов, об уменьшении произвола, о водворении первых начал гражданской жизни, о распространении просвещения, умиротчении нравов, искоренении суеверия и лицемерия, уважении к мысли, сближении с Европой и ее наукой—за монтаньярство, бабешество, товарищество с открывателями новых политических горизонтов? Раздувая так скромные русские, благородные и глубоко симпатичные кружки, Герцен раздувал, естественно, самого себя, но он повредил тем, кого прославлял. С него в самой публике, а не в одних только официальных сферах, стали думать, что всё лепечущее, так сказать, первые склады публичной жизни, все отвергающее только мрак, неистовства, распушества и грабежи сложившейся администрации—есть революция, катаклизм и анархия. Добру бы Герцен ограничился декабристами, тех раздувать можно во все стороны, потому что они сами не знали, куда идут, откуда вышли и чего хотели, да никто и теперь этого не знает. Они желали переворота—ну и всё тут. Думайте об этом, что хотите, думайте очень много и думайте очень мало: это будет дело темперамента вашего, а сами декабристы тут не при чем.

Наиболее испугавшимся брошюры Герцена был опять В. Боткин. „Посмотрите,—говорил он мне в 1850 году шипящим голосом,—какой доносик написал Александр Иванович на своих приятелей“. Он успокоился однако же, не видя преследований, и круг несколько времени, до очень близкого распадаenia своего, продолжал еще существовать, оставаясь только под надзором полиции; особенно Грановский, как узнали после из признаний губернаторских чиновников, окружен был усиленным согладательством. Ждали первого легкомысленного шага и не дождались: всё было серьезно, важно и строго в нем, хоть тресни, а за принципы его ухватиться, пожалуй, и можно бы, да совестно перед историей, надуть которую, между прочим, весьма желали все. без исключения, господа, делавшие ее в нашей земле.

Не лучше было положение и славянофилов. Герцен и их зачислил в свою когорту российских революционеров, что должно было оправдать отчасти Третье отделение в ее собственных глазах за нелепый арест Чинова и Ив. Аксакова в 1847 году. Удивительное свойство нелепости вообще: она может свести, как братьев, людей совершенно противоположных по характеру, взглядам и убеждениям,—Герцена, например, с гениальным сыщиком И. Липранди. В эпоху сильнейшего преследования раскольников (1850—1855 г. г.) сей последний, орудовавший этим гонением, подавал записку, в которой, исчисляя существующие у нас противоправительственные секты, присоединял к ним и секту славянофилов с Хомяковым, Киреевскими, Аксаковыми и проч., прямо называя ее, вдобавок, естественным отродьем раскола. Я сам читал эту записку, так, как и записку И. С. Аксакова, которую он составлял по вежливому пригласению Дубелита в палатах третьего отделения (на Фонтанке), где содержался под арестом. Записка Аксакова отличается... даже горячностью в защите принципа власти, някому не отдающей отчета, кроме Бога и своей совести, объясняет симпатию славянофилов к славянским племенам вообще состоянием последних под игом немецких правительств, где они не могут развиваться так свободно, как под покровом русского исторического и мудрого автократизма, и, наконец, сберегает свои громы на утешение низших классов особнными привилегиями высших сословий, что составляет даже оскорбление верховной власти, так как привилегии его, законно владеемая, должна исключать вся прочие. Император Николай прочел весьма внимательно записку, ибо сделал на нее собственноручные заметки в роде того, что русскому патриоту не должно быть никакого дела до славян и чужих земель, что крепостное право явилось по непростительной глупости прежних правительств и т. п. Вообще и арест, как должно полагать, Чинова и Аксакова произошел от желания правительства узнать настоящие теории и взгляды партий, которые иначе от него ускользали. Это было приглашение на откровенность и исповедь, своего рода *invitation à la valse*. Несмотря однако же на изворотливый тон Аксаковой записки, император таки поднял стрюю протеста, в ней невидимо просачивающуюся, потому что на докладе графа Орлова, свидетельствовавшего о благополучности документа, написал: „C'est le ton qui fait la musique“; со всем тем решил прекратить нелепые аресты, внешний предлог к которым

дали путешествие Чицова по славянским землям и жалобы Австрии на возбуждение им и ему подобными ее подданных. Император выразил свое решение, написав, адресуясь к Орлову: „Призови, наставь, благослови и выпусти“.

Как бы там ни было, но то достоверно, что администрация в сущности несколько побаивалась славянофилов, предполагая у них нравственную связь с самыми глубокими, затаенными стремлениями русского национального духа. Вот почему она весьма дорожила тем, чтоб в важных случаях эта партия публично заявляла свою восторженную преданность администрации. В настоящем случае она требовала от Погодина, чтоб он воспел торжество и празднование царственного юбилея. Проект такого гимна, написанный Погодиным, занял, вероятно, целые ночи у Третьего отделения. Он всё казался неполным, двухмысленным, умалчивающим; он переправлялся, перемарывался, возвращался автору и снова переправлялся. Я видел рукопись, свидетельствующую о тяжелом многострадальном ходе и испытании этого документа, который, наконец, появился на страницах „Москвитянина“, где археологи и могут его изучать. Вместе с тем, благодаря заявленной ненависти партии к европейскому движению и заявленного ею благоговения к скромности и святости русского быта, она пользовалась в то время относительно большою свободой мнения, чем все другие, и могла иногда говорить о том, о чем кругом не позволялось и думать. Это не мешало, впрочем, и состоять под сильным полицейским надзором, потому что избежать сего надзора мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу избежать самовольным образом крещения. Рука администрации опускалась на нее совершенно свободно при случае. Подтверждением служит арест Бодянского (кого, чего не арестовали!) за напечатанное в „Чтениях Общества истории и древностей“ „Описание России“ Флетчера, которое он напечатал с разрешения попечителя, да посадение в крепость Юрия Самарина за рукописную статью о проделках остзейских немцев с русским, латышским и вообще туземным населением страны. Вероятно, они оставят по себе записки их приключений, столь обычных в то время. Мне рассказывал потом Скрипицын, знаменитый директор департамента иностранных исповеданий, устроивший присоединение униатов, что когда, по жалобе князя Суворова (тогдашнего рижского губернатора), Юрия Самарина вверзли в темницу за обнаружение канцелярских тайн (в рукописи-то!), последний ожидал суда, но вдруг недели через две является приказ явиться ему во дворец к государю. Самарин хотел побриться и почиститься, но комендант крепости генерал Набоков, весьма почтенный человек (по отзывам всех многочисленных жильцов крепости), помешал этому, желая, чтоб он представился государю в том плачевном виде, в каком застал его приказ... Государь принял Самарина в кабинете стоя и грозно спросил его, раскаивался-ли он в своем поступке, а получив утвердительный ответ, обнял, поцеловал, посадил перед собою, возле стола, и трогательно увещевал его употреблять свои отличные способности па честную службу отечеству и на утешение своей почтенной фамилии. „Я сам отец, говорил он, — и знаю, как могут отцы страдать за детей“.

Так-то мы жили во время оно.

Между тем брат Иван привез с собою в Москву известие, что дело издания Пушкина он порешил окончательно с Ланской, заключив с нею и формальное условие по этому поводу. Но издание, разумеется, очутилось на моих руках. Страх и сомнение в удаче обширного предприятия, на которое требовались, кроме нравственных сил, и большие денежные затраты, не покидали меня и в то время, когда уже, по разнесшейся вести о нем, я через Гоголя познакомился с Погодиным, а через Погодина с Вартеневым (П. Ив.), Нащокиным и другими лицами, имеющими биографические сведения о поэте. Вместе с тем я принялся за перерылку журналов 1817—1825 годов ¹⁾.

Все мои занятия по Пушкину и все знакомства прекратились по поводу тяжелой, опасной болезни—воспаления в кишках и кровавого поноса. А получил я эту болезнь в Архангельском, где нанимал дачу Грановский, и где мы в складчину составили обед, украшенный по обыкновению фейерверком, который притащил с собою Пикулин, таскающий фейерверки и теперь по вечерам, несмотря на свое параличное и полумертвое состояние. После долгого и, конечно, не совсем скромного обеда я лег под деревом и проснулся только тогда, когда Пикулин чуть-чуть не зажег у меня под носом бурака. Следствием была четырехнедельная болезнь. В числе гостей пикника были Панаев, Владимир Милютин, уже тогда возмужавшие второстепенных московских пророков, как они называли святу Грановского—Н. Щепкина, Фролова, живших тоже тут же на даче. Панаев сыграл роль не совсем благодетельную, когда в Архангельское приехал хозяин его, князь Юсупов. По великосветской низости, от которой всю свою жизнь он отстать не мог, хотя потом и писал пасквили на своих идолов, он заходил около Юсупова и стал загонять к нему Грановского. Грановский просто не пошел, а Фролов отвечал даже с презрением к ремеслу бескорыстного сводчика, принятому на себя редактором „Современника“. Ненависть, конечно, не была упразднена или смягчена этим обстоятельством; она выразилась очень сильно в записках Панаева уже через восемь лет после Фролова, где бедный журналист, разоренный Некрасовым и окончательно сбитый с толку радикализмом Добролюбова и Чернышевского, сам рассказывает с замечательным отсутствием чувства самосохранения, как он подсматривал в щелку замка и подслушивал у кабинета Фролова из желания узнать, что он делает там, запираясь ото всех на все дообеденное время. Светскость, конечно, оставшаяся неизвестною патронам журналиста!

И больной в кремлевской квартире коменданта я слышал весь гам и шум торжества, сосредоточенного в этой местности. Днем неслись передо мною кареты и коляски с пестрыми господами в перьях и золоте, с госпожами, разряженными в пух, стуча по мостовой; мелькали мундиры, ленты, аксельбанты в неописанной суете, которая на измученный организм производила род тяжелого кошмара. Квартира была почти всегда пуста, братья беспрестанно

¹⁾ Здесь следуют уже бывшие в печати воспоминания о встрече с Гоголем.

находились на службе. На воспаленные глаза болезненно действовала сама великолепная осень, стоявшая в то время на дворе. Ночью, в бессоннице, слышал я протяжные крики часовых, расставленных по всем углам. Тогда была роскошь на гауптвахты и часовых. С первыми лучами дня подымался опять весь чиновный и придворный люд, стонала земля, металась толпа, производя что-то такое, что понять было трудно тогда усталому моему мозгу. Помню хорошо только две сцены. Проезжал мимо моих окон император, с кем-то из генерал-губернаторов, провожаемый неистовыми кликами толпы. На подножке его коляски стоял ободранный мужичок и, несмотря на повелительные жесты императора, видимо, не хотел покинуть места, держался одною рукою за откинутый верх коляски, а другою все крестился, все крестился, пуча глаза и раскрывая рот. В другой раз рано утром прискакало троек шесть или семь и остановились у под'езда ординарсузла. В каждой тележке сидело по одному жандарму и по одному поляку. Помню одного молодого человека, с длинными волосами, озявшагося кругом с выражением сильного любопытства, между тем, как жандарм его рысью побегал в канцелярию, вероятно, расписаться в прибытии. Тележки простояли минут десять около под'езда и тотчас ускорили далее.

Выздороев в октябре месяце, я вместе с братом Федором, получившим отпуск, уехал в Петербург в малопоме. Москва уже опустела и опять затихла.

Зима 1851-1852 года в Петербурге. Я пишу свои воспоминания на память, не справляясь с книгами и документами. Теперь уже прошло много времени, и некоторые второстепенные подробности, может быть, стоят у меня несколько прежде или несколько позднее, чем в самом деле случилось, но главные и общий характер годов этих сохранены в точности записками.

Тургенев, приехавший на осень из деревни, останавливается в Малой Морской, в квартире госпожи Дюме, откуда его и взяли на С'езжую. Человек этот вырабатывал себе нравственный характер с чрезвычайным трудом. Он явился из Парижа такой амальгамой любезнейших качеств души и ума с ребячскими пороками—лжи, кокетничанья собою и вранья при всяком случае, что не давал возможности остановиться на себе с определенным чувством и определенным суждением. Мы были тогда далеко не друзьями; одно время он даже положительно возмел отвращение ко мне, благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которыми он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и неправ перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись гладнокровно в разные стороны. Так или иначе, всякий раз мы возвращались друг к другу с заметной радостью, чтоб опять начать старую историю горького высматривания истины друг друга, пока года и успехи в свете и литературе не сделали его гораздо спокойнее относительно себя выставления, а у меня те же годы и жизненная усталость не отбили дерзкой, ничем не оправ-

дываемой охоты к глумлению над людьми. Впрочем, ни он не освободился вполне от тайного индифферентизма, позволяющего невинное предательство друзей при случае и потворство безобразию знакомых, почему-либо занима-
тельных ему или нужных, ни я не освободился окончательно от наклонности, считать пустяками чужую душу и относиться к ней с молодечеством. Такова исповедь: у обоих нас исправление идет медленно и вряд-ли когда завер-
шится.

П. В. Анненков.

Воспоминания шестидесятницы.

I. Из детства и юности сестер Засулич.

Я родилась в 1847 г. 23 апреля в смоленской губ., гжатского уезда, в деревне Михайловка, принадлежавшей нашей матери. Деревня эта досталась матери, Θεоктисте Михайловне, совместно с ее сестрой, Глафирой Михайловной, от их отца Мих. Ст. Александрова, крупного помещика, владельца нескольких деревень в гжатском у.

Всех детей у него было 11 ч.—6 сыновей и 5 дочерей. Старшие 3 дочери, еще при жизни отца, повыходили замуж, получив богатое приданое, а двум меньшим дочерям,—нашей матери и Глаф. Мих., уже взрослым девушкам, после его смерти была выделена, как седьмая часть, эта деревня Михайловка, состоявшая из 8 дворов крепостных крестьян (около 40 душ) и 200 десятин земли. Всем остальным наследством завладели братья.

Каким образом удалось двум молодым девушкам обособиться на голой земле: построить небольшой домик, необходимые службы, обзавестись хозяйством, развести сад и т. д.? Не знаю, конечно, наверное, но предполагаю, что для того, чтобы достать необходимые на все это средства, они заложили землю в Опекунском Совете, как это делали многие помещики того времени. Помню, что у матери была постоянная забота—внести во время проценты в Опекунский Совет.

Глафира Михайловна вскоре умерла, и братья, как наследники, милостиво уступили оставшуюся после ее смерти часть нашей матери, которая и стала владелицей всей Михайловки.

Отец, Иван Петрович Засулич, был дворянином тоже смол. губ., порецкого у., где у него также было небольшое имение. Он был военный, в чине штабс-капитана.

Из рассказов матери я смутно припоминаю, что в ранней молодости отец служил в Петербурге, участвовал в каких-то кампаниях, имел какие-то знаки отличия—кресты, медали, которые нам показывала мать, но за что-то,—помнится, за дерзость начальству, а, может быть, и за пьянство,—был выслан из Петербурга в Архангельск, а оттуда, через несколько лет, был переведен этапным офицером в село Дурьино, гжатского у., находящееся на большом Смоленском тракте, в трех верстах от Михайловки.

Женившись на моей матери, отец вскоре затем вышел в отставку в чине капитана и стал жить в Михайловке, уезжая по временам в свое Поречское имение.

В одну из таких поездок, он простудился на охоте и умер, оставив после себя пять человек детей. Старшему из нас, брату Михаилу, было 9 лет, сестре Екатерине—7 лет, мне—Александре—5 л., Вере—3 г., а самая младшая, Софья, родилась через 3 месяца после смерти отца.

Мать наша была женщина добрая, слабая, безхарактерная, справляться с хозяйством ей было трудно, доход с имения получался небольшой, еле хвативший на прожиток, и ей, вероятно, сильно приходилось задумываться над тем, как вырастить всех нас, дать нам образование.

Катю она отдала на воспитание своей бездетной сестре, Колачевской, еще при жизни отца. Судя по рассказам матери, отец был очень умный и энергичный человек, но горький пьяница и, должно быть, большой деспот. Создав себе кумир из первенца—Мишеньки, он не любил девочку, которая росла болезненной, раздражительной. Отец был ее, а мать по безхарактерности, не могла встопить за нее и решила отдать ее на воспитание сестре.

Вера воспитывалась у двоюродных сестер матери Микулиных, живших в 10 верстах от Михайловки в своем небольшом, благоустроенном имении Выховове.

Семья Микулиных состояла из трех сестер, взрослых девушек, Елены, Наталии, вышедшей впоследствии замуж за майора Стенрота, Людмилы и брата Николая. Отца и матери их в это время уже давно не было в живых.

В доме Микулиных жил старушка гувернантка, Матрена Тимофеевна фамилии ее я не помню, вернее, никогда и не знала, все почему-то звали ее Миминой или чаще Миминочкой. Еще до поступления под ее попечение Веры, Мимина прожила в семье Микулиных лет 15, воспитала всех трех сестер и брата и оставалась жить до глубокой старости и смерти.

Почему Вера в своих записках объясняет пребывание Мимины в семье Микулиных тем, что этого требовал „декорум“ после того, как воспитание младшей из сестер Людмилы заканчивалось, и Мимина не могла оставаться без дела,—я этого не могу понять. Причем тут какой-то декорум? Мимина продолжала жить у Микулиных потому, что нигде в другом месте она и не могла жить, и я не могу себе представить, чтобы тетки Микулины решились отпустить из своего дома ее безродную, бездомную, полусиротную 60-ти летнюю старуху на все четыре стороны. Она требовала присутствия в доме ребенка, которым она могла бы заниматься. Может быть, у нее и было такое желание, но ниша мать не отдала бы Веру, без крайней надобности, ради только удовольствия Мимины. Такой крайней надобностью, как я уже говорила, было немение средств на то, чтобы дать нам образование.

Меня тоже отдала было мать своей двоюродной сестре, княгине Оболенской, которая обязалась усыновить меня, дать образование и оставить после себя все свое богатое состояние. Пробыла я у нее всего три месяца; помню, она была со мной очень ласкова, учила меня, но я показала такую стропти-

вость, так плакала и тосковала по дому, что спустя короткое время она написала моей матери, чтобы та кляла меня обратно.

В это время матерью был приглашен учитель, какой-то молодой человек из Смоленска, для подготовки Миши в кадетский корпус. Этот учитель занялся и со мной и прожил, кажется около года, до поступления брата в Александровский сиротский корпус в Москве. После ухода учителя, со мной немного занималась мать, настолько, чтобы я не разучилась читать и писать.

Одну зиму провели у себя в имении в одной версте от нас помещики Андреевы, постоянно жившие в Москве и раньше приезжавшие к себе в деревню только на лето. У Андреевых было трое детей подходящего ко мне возраста; была у них гувернантка. Я ходила к ним каждый день, училась вместе с детьми и очень подружилась со старшей дочерью Леной. Но следующую затем зиму Андреевы жили в Москве, где у них был свой дом, и я снова была предоставлена сама себе: играла с деревенскими ребятишками, нянчилась с маленькими детьми, к которым должно быть с той поры получила особенное пристрастие. Зимой каталась с горы на санках, летом очень ловко лазала по деревьям, плавала и ныряла в пруду, при чем раз чуть было не утонула, — поласкавшая белье баба вытащила меня за волосы.

Каждое лето Миклухины отпускали в Михайловку Веру, которая, выросши из-под надзора гувернантки, становилась такой же вольницей, ни в чем не остававшей от меня. Запасшись кусками хлеба, мы по целым дням пропадали в лесу, собирали цветы, которые приносили домой дедными охапками, собирали грибы, ягоды, и все это в сопровождении крестьянских ребятишек и нашей неизменной спутницы Ариночки, дочери нашего скотника. Она была годом старше меня, отец и мать ее умерли, когда она была еще совсем маленькой, и она жила у нас в доме вместе со своей старшей сестрой, тоже Ариной. В зимние месяцы мы с Ариночкой занимались шитьем и вышиванием гляди, чему научила нас мать и что мне очень пригодилось впоследствии.

Наша мать как тогда, так и позже, когда мы подросли, предоставляла нам полную свободу; не знаю, почему она это делала, но не думаю, чтобы тут играла роль какая-нибудь система воспитания.

Учение мое было заброшено, книг для чтения у нас не было, а годы шли; я начинала сознавать, что так продолжаться не может, что мне предстоит остаться еле грамотной. Хотелось читать, учиться.

Помню, что когда мне было уже 11 лет, а Вере 9, мать полагала куда-то прошение о принятии нас в один из институтов для благородных девиц. Через некоторое время был получен ответ, в котором предлагалось „следить за вакансиями“. Эта фраза отчетливо врезалась в мою память. Но делать это из Михайловки, конечно, было немислимо, а в Петербурге и Москве, должно быть, не нашлось у матери человека, который взял бы это на себя. Тем дело и кончилось.

Вскоре затем надо мной сжалилась, наконец, тетка Оболенская, она обязалась платить за меня в частный пансион в Москве, который содержали две немки Раль.

В это время туда же поступили мои приятельницы, Лена и Анюта Андреевы, а впоследствии сестра Вера, а также не на долго меньшая сестра Соня.

Трудно было мне, вольной птичке, привыкать к суровому режиму закрытого учебного заведения, под опекой двух черствых немок: нельзя было громко смеяться, громко разговаривать, бегать, прыгать; впрочем разговаривать и вообще было для меня довольно затруднительно: требовалось, чтобы все без исключения говорили по немецки и по французски, а так как я ни на том, ни на другом языке говорить не умела, а за русский язык следовало наказание, то я принуждена была молчать, и только урывками удавалось поговорить шепотом где-нибудь в уголке с подружкой.

Преследование за русский язык развращало нас: на уличенную в этом преступлении навешивался красный язык, и она должна была обедать стоя; и вот незадолго до обеда начиналась такая история: имевшая язык прятала его за ворот, с самым невинным видом подходила к подружке и заговаривала по-русски, та отвечала тоже по-русски и в ту же минуту язык уже висел на ее шее. Чтобы избавиться от него, она продельвала тоже самое с другой, та с третьей, и так шло до тех пор, пока раздавался звонок к обеду; последняя, у которой очутился язык, становилась перед своим прибором.

Практиковалось и дранье за волосы, за ухо, а учительница музыки, тоже немка, родственница одной из наших начальниц, очень больно била меня по голове своими костлявыми, согнутыми пальцами во время урока. Она совсем было отбила у меня охоту учиться музыке, но впоследствии со мной стал заниматься племянник и воспитанник вачальниц студент-медик Влюм; и тогда полюбила музыку, и он находил у меня музыкальные способности.

Этот племянник, став доктором, женился, и нашей начальницей стала его жена, т. е. к ней перешло право начальницы пансиона, но порядки остались те же; тот же формализм, та же черствость, так как остались обе старухи — немки: одна была классной дамой, а другая заведывала хозяйством. Наша новал, совсем юная начальница была англичанка, довольно развитая, честная, но при всем желании сделать какие-либо существенные улучшения в пансионе она не могла, так как все материальные средства были в руках старух, и она была в полной зависимости от них.

Учили нас плохо: главное внимание было обращено на изучение языков французского и немецкого, музыки; все же другие предметы проходились очень поверхностно, так что обе мы, я и Вера, не смотря на то, что все время были лучшими ученицами, выпесли из пансиона очень мало знаний; по крайней мере, с уверенностью могу сказать это о себе.

Так как это был частный пансион, не дававший никаких прав, то для получения диплома на звание домашней учительницы пришлось мне, а потом и Вере, держать экзамен при университете. Окончив курс в 65 г., я уехала к матери в деревню, где занималась с меньшей сестрой Соней. Через год мать определила Соню в тот же пансион Влюм, а я, по предложению

начальницы, поступила туда же классной дамой. В начале 67 года Вера сдала экзамен при университете.

Сестра нашей начальницы была замужем за серпуховским помещиком, мировым судьей Хмелевым. Приехав как-то в Москву, Хмелев обратился к мужу нашей начальницы, Блюму, с просьбой рекомендовать ему человека на должность письмоводителя, за которого он мог бы поручиться, что тот не пьяница и не будет брать взятки. Доктор Блюм ответил, что такого человека у него нет, а есть молодая девица, их воспитанница, кончающая курс, за которую он вполне может поручиться, что она не пьяница и не будет брать взятки. Таким образом Вера, получив место письмоводителя у мирового судьи, — уехала в Серпухов.

И пробыла в пансионе классной дамой около года и все время чувствовала себя отвлеченно. Пансион был не большой, не было строгого распределения по классам, многие воспитанницы еще знали меня такой же ученицей, как и они, и никак не могли признать во мне в некотором роде начальство; да и сама я не могла иначе относиться к ним, как к подругам, бывшим только на год-два моложе меня. Между тем от меня требовалась строгость, начальническое отношение, из-за чего нередко происходили недоразумения, особенно со старой немкой, бывшей начальницей, которая, заведя хозяйство, считала себя вправе вмешиваться во все распоряжки пансиона. Тяжело было, только и отдыхала по воскресеньям, когда с утра уходила к старшей сестре, жившей в то время в Москве с двумя нашими землячками — Анной и Людмилой Колачевскими.

Сестра Катя училась в пансионе Дельсаль; когда она подросла, то сбежала от своей воспитательницы, глупой и сварливой тетки, и в эту зиму держала экзамен на домашнюю учительницу при университете. Через сестру я познакомилась с учащейся молодежью и родственниками уже судившихся и сосланных каракозовцев — с сестрами Ивановыми, Матковой, Оболенской и др. Брат Колачевских, Андрей, тоже привлекался по делу Каракозова, но был освобожден без всяких последствий и жил тоже в Москве.

Сестра Катя подписалась в библиотеку и снабжала меня книгами на всю неделю. Читать приходилось по ночам. Пансион и моя должность цепной собаки стали мне еще противнее; душно было, томительно...

Летом 67 года, когда наступили каникулы, я ездила не надолго к Вере в имение Хмелева, находившееся верстах в 5 от Серпухова.

Вера была довольна своим местом; как сам Хмелев, так и вся его семья, мать, жена относились к Вере вполне дружески. Работа ее в качестве письмоводителя первое время шла не совсем гладко; она делала ошибки при составлении бумаг, и Хмелев не раз заставлял ее исправлять и заново переписывать неудачно написанное, но делал он это деликатно, дружеским тоном, с советом не смущаться первыми неудачами. Постепенно работа ее налаживалась и, ко времени моего приезда, она уже делала меньше ошибок.

Тажущиеся, по словам Веры, относились к ней доверчиво; сами же они нередко смущали Веру тем, что при разборе дела осыпали друг друга

отборными, чисто русскими ругательствами или называли некоторые части тела их собственными названиями. Но к этому она потом привыкла и перестала смущаться.

Затем я ездила не на долго к матери в Михайловку, а в августе волей-неволей пришлось вернуться в пансион, так как жить без заработка я не могла; у матери не было средств, а никакой другой работы для меня не предвиделось; да и какая в те времена могла быть другая работа,—даже сельских учителей еще не было! А к должности гувернантки я так же, как и Вера, чувствовала непреодолимое отвращение.

Мать в эту осень 67 г., отдав имение в аренду, переехала вместе с Соней в Петербург, где поселилась у сына, служившего в лейб-гвардии гренадерском полку. Окончив экзамены в университете, переехала в Петербург и сестра Катя.

На этот раз я не долго прожила в пансионе. Старая немка становилась все придирчивее, и хотя молодая начальница все время относилась ко мне хорошо, она не могла, по молодости лет, дать старухе надлежащий отпор при ее несправедливых нападках.

В октябре я бросила место в пансионе и также переехала в Петербург, где поселилась вместе с матерью и Соней, наняв комнату на Петербургской стороне. Сестра Катя жила отдельно вместе с Людмилой Колачевской. У меня было немного денег, помнится, рублей около ста—сбережения от 25 рублевого жалованья, которое я получала в пансионе. Затем, как раз перед моим приездом, брату было поручено оборудование дежурной комнаты и столовой в полку: надо было заготовить столовое и постельное белье, чехлы на мебель и т. д. Брат сдал мне шитье и метку этого белья. Таким образом на некоторое время у меня был небольшой заработок. Шить я умела,—этому научила меня мать, я и белье, и платье сама шила для себя.

Вскоре затем мы решили поселиться вместе целой компанией, состоявшей из нас, трех сестер, нашей матери, Людмилы Колачевской и Марии Антоновны Матковой, брат которой был сослан на каторгу по Каракозовскому делу. Знакомые студенты приходили читать нам лекции. Помню, студент Титов читал по математике, студ. медик Кадын, известный потом профессор, читал по физиологии, кто-то еще, фамилии не помню, по общей и русской истории. И учителя наши, и мы, ученицы, занимались очень усердно, но, к сожалению, все это продолжалось недолго: хозяйством никто из нас, молодежи, не занимался, мать, не привыкшая к столичным порядкам и столичной прислуге, вела его плохо, квартира оказалась сырой и холодной.

В январе 68 г. заболела тифом сестра Соня. Мы с матерью, наняв комнату, перевезли ее туда. Когда доктор определил, что у нее тиф, хозяйка испугалась, что мы заразим ее квартиру и разгоним жильцов. Попытались мы поместить Соню в клинику, но это почему—то не удалось, кажется, за недостатком мест. Пришлось отвезти ее в 1-й военный госпиталь, где она и умерла 15 лет от роду. Славная, способная была девочка, как ей хотелось жить, учиться. Я осталась жить с матерью, зарабатывая средства шитьем.

В одной с нами квартире занимала комнату некто Майкова, родственница писателя, кажется, жена его брата. Она как-то заказала мне шить ей кофточку; мы разго-орились, познакомились. Это была либеральная женщина, довольно развитая, со средствами. Она подала мне мысль—устроить швейную мастерскую на артельных началах, по примеру Веры Павловны, героини романа Чернышевского „Что делать“, которым тогда многие увлекались.

Я ухватилась за эту мысль, но находила, что для того, чтобы заводить мастерской, надо самой хорошо знать дело, чего я, конечно, не могла сказать о себе.

Нужны были и средства для оборудования мастерской, но это брала на себя сама Майкова.

К весне того же 68 года стала прихварывать сестра Катя; лечащий доктор посоветовал ей не оставаться на лето в Петербурге, и в мае мы решили вместе с ней переехать на дачу около Москвы в село Фили, где каждое лето жили сестры Ивановы, перенеся туда и свою швейную мастерскую.

Я поехала раньше, наняла крошечную дачку или, вернее сказать, избу, отделенную сенами от другой избы, в которой жил хозяин с семьей. Вскоре переехала и сестра Катя.

Ивановы хорошо знали швейное дело. У них я в первый раз увидела швейную машину, бывшую в то время редкостью; было много заказчиц из богатых московских семей.

Мастерская была самая обыкновенная: кроме самих двух сестер Ивановых, в ней работали 3 швеи на определенном месячном жалованьи. Я поступила ученицей и усердно принялась за работу. У Ивановых было много знакомых среди учащейся молодежи; по праздникам у них собиралась довольно большая компания, вместе гуляли, пели, катались на лодке. В числе знакомых Ивановых был и студент петербургского университета Лев Павлович Никифоров, ставший потом мужем сестры Кати, но на Филих он бывал редко, и мы не успели с ним близко познакомиться. Ближе сошлось мы с Петром Гавриловичем Успенским, который заведывал в то время библиотекой и книжным магазином Чернышова. Почти каждый праздник он приходил на Фили. Мы подписались в библиотеку, и раз в неделю я, как более здравая, встав рано утром, отправлялась в Москву, на Лубянку, где помещалась тогда библиотека; версты три от Филей до Драгомановской дороги, да версты четыре—пять по Москве, что не составляло особенного труда для здоровых, молодых ног. Забрав книги, передохнув немного и напившись чаю, которым всегда угощал меня Успенский, я отправлялась тем же путем обратно и спешила идти на работу в мастерскую.

В одно из таких путешествий, я на Тверском бульваре встретила неожиданно сестру Веру: она, оказалось, в это утро приехала из С-рухова и с вечерним поездом намеревалась ехать в Петербург, не зная, что мы живем на Филих. Эта случайная встреча оказалась как нельзя более кстати, так как в Петербург Вера ехала только потому, что мировой судья, у которого она служила письмоводителем, сошел с ума; она поэтому лишилась места и ей

некуда было больше деваться. Она, конечно, поселилась вместе с нами на Филах.

Лето, помнится, было хорошее, и, не смотря на наше безалаберное питание, старшая сестра начала быстро поправляться. В конце августа сестры уехали в Петербург, а я продолжала заниматься в мастерской и прожила на даче весь сентябрь.

II. Знакомство с П. Г. Успенским.

После отъезда Кати и Веры со мной поселилась сестра Успенского. 14-ти летняя девочка Надя. Успенский стал бывать чаще, не пропуская ни одного праздника, приходил иногда и по будням, после закрытия библиотеки, ночевал у жившего на Филах товарища Дешукова и возвращался рано утром в Москву. Хотя он был на один год с небольшим старше меня, он был гораздо развитее. Не смотря на общую для всех нас трех сестер застенчивость, с ним я чувствовала себя свободно, — высказывала все, что думала; он тоже много говорил со мной; мы вместе гуляли, а по вечерам, по долгу засиживались за разговорами в нашей хибарке. В то время, как Надя уже крепко спала за перегородкой.

Под его влиянием я стала больше задумываться над общественными вопросами, над положением народа. Он приносил мне книги по своему выбору, и, помню, очень стыдил меня за то, что я до тех пор ничего не читала из Добролюбова, кроме „Луч света в темном царстве“. Я читала в свободное от занятий в мастерской время, а затем мы говорили по поводу прочитанного: он объяснял мне то, что было для меня не совсем понятно.

Надя много рассказывала мне о своем печальном детстве. Отец Успенского служил казначеем в нижегородском дворянском институте. Мать умерла, когда Паде было всего лет 5—6, брат был старше ее на 7 лет — только двое их и было. Отец сильно пил. После смерти жены он сошелся с кухаркой, с которой вместе пьянствовал и которая, под пьяную руку, часто била Надю, а когда брат заступался за сестренку, то доставалось и ему от кухарки и от отца. Учился Успенский в нижегородском дворянском институте и по окончании курса, поступил на естественный факультет петербургского университета, но по недостатку средств принужден был выйти со второго курса. У отца были средства, был дом в Нижнем-Новгороде, солидное по тогдашним временам жалованье (он дослужился до чина статского советника), были кое-какие сбережения, но он не помогал сыну. Общественной помощи студентам тогда еще не оказывали. Будучи студентом, Успенский познакомился с А. А. Черкесовым, крупным тогда издателем и книготорговцем, у которого на Невском был книжный магазин и лучшая из петербургских библиотек. В Москве у Черкесова была тоже библиотека и книжный магазин, и он предложил Успенскому занять место заведующего библиотекой, а вскоре затем и книжным магазином в Москве.

В конце сентября Ивановы переехали с дачи на свою московскую квартиру, переселилась и я с намерением продолжать занятия в мастерской, но вскоре обстоятельства изменились: из Петербурга я получила известие, что Майкова уехала за границу, мой проект открыть при ее помощи швейную мастерскую на артельных началах рухнул, и в Петербурге мне делать было нечего. Положим, и в Москве тоже, но за лето мы с Успенскими на столько сдружились, что не хотелось уезжать из Москвы, к тому же Успенский имел знакомства среди издателей и надеялся доставать для меня переводы.

Мы поселились все вместе в номерах, помнится, Романова на углу Тверской и Садовой—я, Успенский, Надя, с которой занималась жившая в тех же номерах М. О. Антонова, вышедшая впоследствии замуж за Феликса Волховского.

Почти каждый вечер у нас собирались знакомые мужа, преимущественно молодежь обоего пола, человек 8—10; чаще всех бывали Феликс Волховский и Всеволод Лопатин. Самым старшим из нас были Феликс, ему было 24 года, он же был и самым опытным, пользовался среди нас авторитетом, так как успел посидеть слишком год в Петропавловской крепости за участие в „Рублевом Обществе“ и переписку со своим другом, Германом Лопатиным. В письмах этих, по рассказам Феликса, ничего преступного не было,—просто два друга откровенно писали друг другу по интересующим их вопросам; письма эти перехватывались, снимались с них копии и отправлялись по назначению. В результате—арест обоих и, после годичного тюремного заключения, высылка Германа на Кавказ и отдача Феликса на поруки матери.

Самым развитым был Успенский. Еще гимназистом, а потом студентом, он много читал, последние два года он был занят исключительно книгами и все свое свободное время употреблял на чтение. Покойный профессор Гольцев говорил мне, что своим развитием он много обязан Успенскому. Гольцев с первого курса в университете был подписчиком в библиотеке Черкесова, и Успенский, как заведующий библиотекой, выдавал ему и некоторым из его товарищей книги по своему выбору и вообще руководил их чтением.

Самым неразвитым членом кружка, как мне тогда казалось, была я, но желание пополнить свое образование было очень сильное, и никогда потом в течение последовавшей жизни я не читала так много, как в ту зиму 68—69 г.г.

Собиравшаяся у нас по вечерам молодежь не представляла из себя чего-нибудь определенного. Это был кружок саморазвития, не задававшийся пока никакими определенными целями, стремившийся только выработать в себе определенное мировоззрение, и если что намечалось в будущем, так это работа в народе, причем одни находили, что для этого достаточно тех знаний, какие у нас были, другие же, что и нам самим следует еще поучиться да и с народом познакомиться, но где и как с ним знакомиться, никто, конечно, не знал. Все мы были еще очень юны, неопытны, до многого приходилось додумываться самим, выискивать и приобретать из книг по крупицам то, что потом стало уже общим достоянием. Читали мы, помнится, статьи из «Современника» Чернышевского, «Исторические письма» Миртова, печатавшиеся в «Неделе». Читали, ко-

нечно, с особенным увлечением всякую «нелегальщину», попадавшую из-за границы или ходившую по рукам в рукописях. С полным восторгом приветствовалось появление номеров «Колокола», которые доставал откуда-то Успенский.

Зимой, в декабре, я ездила в Петербург повидаться с матерью и сестрами. Мать опять жила у сына, а обе сестры жили отдельно. Катя занималась переводами, а Вера работала в женской брошюровочной и переплетной мастерской. Вера рассказала мне, что, посещая воскресную школу, она познакомилась с очень интересным человеком, преподавателем в этой школе, самоучкой, мещанином Нечаевым. По словам Веры, он резко выделялся своим умом, в особенности, своей энергией среди учащейся молодежи.

В феврале в Петербурге начались студенческие волнения, отразившиеся и на Москве. Произведено было много арестов; из нашего кружка были задержаны Волховский, Надя Успенская, Антонова, Всеволод Лопатин и еще некоторые. Почему не был арестован Успенский и я, было для нас загадкой, но что следили за нами, где мы жили, и за библиотекой Червешова,—это было вне всякого сомнения. Вероятно, Успенский был оставлен на свободе в виде привади, как человек, у которого были связи как в Москве, так и в Петербурге, чтобы легче было следить за теми, кто имел с ним сношения. Но ареста можно было ожидать каждый день, и чтобы не разлучили нас, мы решили повенчаться.

Вскоре прошел слух, что Нечаев арестован, был заключен в Петропавловскую крепость, бежал оттуда и уехал за границу.

III. Встреча с Нечаевым.

Как-то вечером, в начале апреля к нам зашел знакомый сельский учитель из владимирской губ. Орлов ¹⁾ и с ним паренек, по виду рабочий, среднего роста с едва пробивающимися усиками. Ничего в его лице не было особенного, фамилии своей он не назвал, и я не обратила на него особенного внимания. Он и Орлов начали о чем-то разговаривать с Успенским, а я занялась приготовлением чая. За чаем он сказал мне, что знаком с моей сестрой Верой. Не помню, что именно он говорил мне о ней; помню только, что он назвал ее здоровой, с произношением на «о», и потом еще раз сказал: «Здоровая она во всех отношениях». Когда Орлов и паренек ушли, муж сказал мне, что это студент, спасающийся от ареста, просил укрыть его на несколько дней или, по крайней мере, позволить ему переночевать у нас эту ночь, но, когда он узнал, что мы сами находимся не в безопасности, то решил поискать себе приюта в другом месте.

¹⁾ Владимир Федорович Орлов судился по Нечаевскому делу. Жил потом в Москве уроками, обремененный многочисленной семьей. Был близким приятелем Л. Н. Толстого. Умер в Москве в крайней бедности, в конце 90-х годов.

— А, может быть, это Нечаев, бежавший из крепости? — сказала я, вспоминая его разговор о сестре Вере.

Муж нашел мое предположение ни на чем не основанным. Мало ли у Веры знакомых студентов Нечаева в России нет, и он бежал за границу.

В конце апреля и в начале мая пришла ко мне Людмила Коллчевская и рассказала, что накануне она приехала из Петербурга и привела с собой пол пуда шрифта. Когда она с Николаевского вокзала под'ехала к дому помнится, в Дачном переулке, где жили ее родственники Шредерс и где она рассчитывала остановиться, она увидела у открытого окна Соню Шредерс, которая махнула ей рукой и крикнула по французски: „У нас обыск“. Людмила решила тогда проехать на Фили. Местность была ей немного знакома, так как она бывала у нас прошлым летом, когда мы все три сестры жили на Филиях. Доехав до леса, она остановила извозчика, взяла саквояж, в котором помещались две пачки шрифта по 10 ф. каждая и, пройдя недалеко по лесу, спрятала их под хвост и мох; затем, сев на того же извозчика, вернулась в Москву и заняла номер в гостинице на Театральной площади (не помню, как называлась тогда эта гостиница, где помещается теперь Метрополь). И вот, благополучно переночевав там, она пришла ко мне утром с просьбой — поехать вместе с ней на Фили для того, чтобы зарыть шрифт в землю и в таком месте, которое я могла бы запомнить в случае ее ареста.

По Москве мы долго шли пешком и купили по дороге большой кухонный нож, который я спрятала под пальто, а затем мы наняли извозчика в деревню Фили. Там мы прошлись по улице, зашли в некоторые избы, под предлогом найма дачи, оставив извозчика около трактира, пошли прогуляться по лесу.

Людмила отыскала место, где накануне спрятала шрифт; мы взяли каждая по пачке и пошли по дороге к реке. Там на левой стороне от дороги на небольшом курганчике, окруженном деревьями, мы вырыли ножом довольно глубокую ямку, зарыли шрифт и засыпали хворостом.

Возвращаясь в Москву на том же извозчике, мы случайно разместились в пролетке так, что Людмила села на правой стороне, а я на левой. Когда мы подехали к гостинице, в который накануне остановилась Людмила, было уже довольно темно. Под'езд, выходящий в сторону Малого театра, был освещен. Людмила, силевшая на приво — со стороны под'езда, шепнула мне: „Уходи, полиция“. Я мгновенно выпрыгнула из пролетки с левой стороны и скрылась, прежде чем стоявшие у под'езда полицейские успели рассмотреть меня. Людмила была тут же арестована. В ее вещах, находившихся в номере, ничего предоступительного не было найдено, тем не менее ее продержали несколько месяцев, затем освободили без всяких последствий. Допрашивали ее о том, что везла она в саквояже, с которым ходила в лес на Филиях; донес на нее, очевидно, извозчик, на котором она ездила накануне. Весь этот путь от Николаевского вокзала на Фили и оттуда до гостиницы, где она остановилась, показался ему весьма подозрительным.

Допрашивали ее также о том, кто та особа, которая ехала вместе с ней и успела скрыться.

Я поехала в Петербург, чтобы рассказать сестре Кате о том, что случилось с Людмилой. Сестра, оказалось, знала, что Людмила повезла шрифт куда-то на юг, где намеревалась открыть тайную типографию, помнится, даже виделась с ней в день ее отъезда, но все это несколько на ней не отразилось.

Вера, по прежнему, работала в брошюровочной. Тогда же она рассказала мне, как Нечаев сообщил ей о своем аресте. К ней пришел какой-то незнакомый студент и рассказал ей, что он шел по Троицкому мосту и повстречался с каретой, из окна которой была выброшена записка. Студент поднял ее, прочел на ней адрес Веры и слова: „меня везут в Петропавловскую крепость“.

IV. Арест матери и сестер.

Мать и обе сестры решили провести лето около Москвы и поручили мне приискать для них дачу.

Мы с мужем пошли сначала на Фили, но там подходящей дачи не оказалось. Мы прошли в деревню Мазилово, находящуюся не больше, как в версте от Филей и наняли там две избы—одну поменьше для себя, а другую через дорогу побольше, в две комнаты, для матери и сестер. Сами мы дня через два переехали в Мазилово, а мать и сестры должны были приехать через неделю; но прошло больше недели, — они не приезжали, и не было от них никаких известий.

Муж приходил на дачу каждый день, а иногда оставался здесь на один-два дня: подписчиков в библиотеке и покупателей в магазине бывает меньше в это время года, и в Москве его заменял помощник Яковлев.

Прошла еще неделя. Приходит к нам как-то немного знакомый студент и рассказывает такую историю: несколько дней тому назад ему пришлось быть по какому-то своему делу в жандармском управлении. Войдя в общую приемную комнату, он увидел в числе других посетителей пожилую даму и двух молодых девушек, сидевших рядом. Проходя мимо них, он спросил: „Кто вы?“ и получил в ответ: „Семья Засулич“. Узнать что-нибудь более подробно он не мог, так как в этой же комнате находились какие-то подозрительные молодые люди, поэтому разговаривать посетителям между собою было неудобно. Узнав от кого-то, что Успенский женат на урожденной Засулич, он ходил в библиотеку Черкессова, но не застав там Успенского и узнав там его адрес, пришел к нам в Мазилово.

На следующий день я отправилась в жандармское управление, но ничего там не добилась,—самым нахальным тоном мне ответили:—„не имеем удовольствия быть знакомыми с вашей матушкой и вашими сестрами“.

Через несколько дней получила письмо от матери, в котором она сообщала следующее об их аресте. Из Петербурга они выехали вполне благополучно, ни на вокзале, ни дорогой до Москвы, они не замечали, чтобы кто-нибудь следил за ними. Ехали они в дамском отделении вагона III класса, но когда поезд остановился, и пассажиры стали выходить, в вагон вошли жандармы и

объявили, что предписано их арестовать; затем забрали их вещи, посадили в карету и привезли в жандармское управление.

Не могу с точностью припомнить, а потому не ручаюсь, ехала-ли сестра Катя в одном вагоне с матерью и Верой, но не сомневаюсь, что она тогда же была арестована, может быть, в другом вагоне или в следующем поезде и присоединена была к ним в жандармском управлении.

Продержав 2—3 дня без всякого допроса, их отвезли обратно в Петербург. Мать вскоре освободили, а сестры были оставлены; Катю продержали в заключении год, а Веру два года в Петропавловской крепости.

Допрашивали только Веру: ее обвиняли в том, что на ее имя, по ее адресу, получались из-за границы письма от Нечаева, которые она должна была передавать общему их знакомому Орлову. Сестре Кате не было предъявлено никаких обвинений и держали ее в заключении только потому, что она сестра Веры, а мать была арестована, очевидно, только за то, что она мать своих дочерей.

Меня и мужа по-прежнему не трогали и даже не заметно было, чтобы следили за нами. Появились новые знакомые, в числе их Прыжов, автор „Истории кабаков в России“. Это был, первый писатель, которого мне пришлось увидеть, и он произвел на меня неприятное впечатление, может быть, потому, что был сильно выпивши. Да и после, когда он стал довольно часто бывать у нас, он продолжал не нравиться мне; я никогда не видала его вполне трезвым, затем он очень много говорил, но очень мало интересного, много хвастался, был очень высокого мнения о себе и к нам, молодежи, относился свысока. Познакомил он нас и со своей женой, простой, доброй, совсем не развитой женщиной, не интересовавшейся никакими общественными вопросами.

Еще весной до переезда на дачу, я ездила по поручению мужа в Петровское Разумовское, где жили на выездах две сестры-близнецы—Анна Ивановна и Елизавета Ивановна Беллевы. Они занимались переплетным мастерством, и муж давал им переплетать книги для библиотеки и магазина. Это были простые, милые девушки из бедной, мещанской семьи, ставшие впоследствии моими близкими друзьями. Летом они приходили раза два к нам в Мазилово со знакомыми и студентами.

Среди лета я, почувствовав некоторое недомогание, поехала в Москву консультироваться с врачом. Тот сказал мне, что я беременна. Это обстоятельство очень осложняло нашу дальнейшую жизнь. До этих пор мы жили по студенчески, в меблированных комнатах, без всякого хозяйства; теперь приходилось приспосабливать квартиру, обзаводиться кое-какой мебелью, посудой и т. д.

В конце августа мы наняли квартиру на 1-й Мещанской, купив на Сухаревке недорогую подержанную мебель и проч. Мы переехали в Москву. Квартира наша состояла из трех, средней величины, комнат внизу и двух небольших комнат наверху, в мезонине, которые мы намеревались отдавать за наем.

V. Деятельность и планы Нечаева.

В начале сентября, муж, придя домой, сказал мне, что к нему в магазин заходил тот самый паренек, который был у нас лесной вместе с Орловым. Что это, действительно, Нечаев, приехавший из-за границы. Вечером он будет у нас.

Я не сразу узнала бы его, если бы не была предупреждена мужем. В европейском, хорошо спитом костюме он казался худощавее и выше ростом. Синие очки скрывали выражение его глаз, смотревших несколько исподлобья; усики подросли. Все это вместе взятое очень изменяло его. В тот же вечер он рассказал нам, что за границей познакомился с эмигрантами—Гр-ценном, Бакуниным и Огаревым. Много рассказывал о заграничной жизни, расспрашивал о сестре Вере, очень сожалел, что ей приходится сидеть в тюрьме в такое время, когда предстоит много работы. Помнится, тогда же он показал мужу и мне печатный лист, в котором было сказано, что он, Нечаев, является доверенным лицом от женевского революционного комитета, имелась подпись—Михаила Бакунина, и была приложена печать с какой-то уж не помню теперь—надписью.

Цель приезда Нечаева в Россию была—составить тайное общество, которое посредством организованных кружков, путем пропаганды и агитации, подготовило бы крестьян к организованному восстанию, приурочив все дело к 19 февраля 1871 года, когда кончалось десятилетие со времени отмены крепостного права и должна была последовать отмена положения крестьян, как временно обязанных. Целью восстания должно было быть—захват земли и ниспровержение существующего строя. Кружки, из которых должно было составить общество, организовывались таким образом: составлялся кружок из 5 членов, причем каждый член такого основного, 1-й степени кружка должен был работать в той среде, которая была для него наиболее доступна, знакомы и вместе с тем каждый должен был составить кружок 2-й степени, члены которого, работая так же, как и члены 1 кружка, должны были представлять основателю кружка отчеты о своей деятельности; каждый в свою очередь основывал кружок из 5 человек, каждый из этих 5 еще 5 и т. д. В это он рассказывал нам вкратце, сказав, что подробности мы узнаем из „Общих правил организации“—брошюры, привезенной им из-за границы.

В этот вечер он остался у нас ночевать в одной из комнат в мезонине, которая так и осталась в его распоряжении. Другую комнату заняла жена Нечаева. Во время она исчезал на несколько дней, затем в обращении, проводил день-два у нас и снова исчезал.

Вернувшись как-то из твоей поездки на родину, в село Подово, Владимирской губ., он много рассказывал о крестьянах. Знал его с детства, они были вполне откровенны с ним, считали его своим человеком. По словам Нечаева, как в селе Ивашево, так и в соседних деревнях, где ему и пришлось побывать, недовольство было общее, все ждало настоящей воли, даваемой

парем и скрытой помещиками. То же самое рассказывал си и позже, после поездок по другим губерниям.

Видела я его, таким образом, урывками, обыкновенно за чаем или за обедом, изредка по вечерам, когда он оставался дома.

Мне бывало смешно, когда впоследствии приходилось слышать отзывы о нем, как о суровом, мрачном фанатике, или на сцене Художественного театра в драме „Ставлюгин“, переделанной, как известно, из романа Достоевского „Бесы“, видеть вертлявого, рыжего человека, „беса“, который должен был изображать Нечаева. Ничего подобного не было в действительности; ни малейшего сходства: глупая и нелепая карриатура на Нечаева и вообще на всех нас. Нечаев был простым русским парнем, с виду похожим на рабочего, несколько пообтесанного городской жизнью. Говорил он по-владимирски на „о“ совсем просто, ни сколько не выдвигая себя; он любил шутить и добродушно смеяться.

Помню, как-то вечером, Пришов зашел за Нечаевым, чтобы вместе отправиться в баню. Мы с мужем сидели за самоваром в ожидании их возвращения.

— М-м-мальчишка, никогда больше не пойду с вами, я этого терпеть не могу,—раздался сердитый голос заикавшегося Пришова, как только им отворили дверь,—и хохот Нечаева.

— Что такое, в чем дело?

— И-б-брызнул на меня холодной водой, а я этого терпеть не могу, все время вел себя, как мальчишка,—продолжал ворчать Пришов, а Нечаев покатывается со смеха.

— Ох, если бы вы видели его фигуру!..

На меня Нечаев производил впечатление умного, чрезвычайно энергичного человека, всю душою безгранично преданного делу. Такое же впечатление он производил на моего мужа и, несомненно, на всех, с кем встречался.

Больше всего, что у меня осталось в памяти—это чувство стыда перед ним. Сама я, благодаря моему положению—это были последние месяцы моей беременности, сопровождавшейся довольно тяжелыми симптомами, сама я ни в какие дела не вмешивалась, но из рассказов мужа я знала, какую кипучую деятельность проявлял тогда Нечаев, заводя знакомства, организуя молодежь, ведя пропаганду и разъезжая по деревням и т. д. И мне стыдно было за свое, хотя и невольное бездействие перед ним. „Вот,—думалось мне,—человек, всего себя отдавший работе, тому делу, о котором мы до сих пор только разговоры разговаривали“. Мне стыдно было сознавать, что у меня нет личной жизни, личные интересы. У него же ничего не было,—ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, хотя бы такого же скудного, как у нас, не было даже своего имени; звали его тогда не Сергеем Геннадиевичем, а Иваном Петровичем.

Впоследствии я много знала таких людей, отдававших свою душу, всю свою жизнь на служение народу, но тогда это был первый такой человек.

Я безусловно верила ему и жалела только, что не могу пока принять ни в чем участия.

Два раза он обращался ко мне за содействием и оба раза вышла неудача. Первый раз в октябре. Узнав от мужа, что в моем распоряжении находится полпуда шрифта, зарытого в лесу, Нечаев попросил меня съездить за ним, говоря, что этот шрифт очень ему нужен.

Людмила Колачевская находилась еще под арестом и неизвестно было, чем кончится ее дело. Посоветовавшись с мужем, я сочла себя в праве распорядиться шрифтом по своему усмотрению. Вооружившись кухонным ножом, я поехала на Фили, в сопровождении Прыжова. Всю дорогу он, по своей привычке повторять иногда по целым дням одну какую-нибудь фразу или слово, декламировал из „Бориса Годунова“— „Что пользы в том, что ливных казней нет, что на полу твоём кровавом всенародно не служим мы молебнов Иисусу“...

Доехав до лесу, мы оставили извозчика на дороге, идущей вдоль окраины, а сами через лес пошли к месту, где был зарыт шрифт. Место это я легко нашла. Расчистив хворост, Прыжов начал копать, а я стояла на стороже. Время было глухое, дачники все уже разъехались и кругом не было заметно ничего подозрительного. Но вот, вижу, от реки идет человек с собакой. Я сказала об этом Прыжову, он перестал копать, засыпал землей вырытую ямку и забросал хворостом. Все это он успел сделать прежде, чем человек, оказавшийся лесным сторожем, подошел к нам. Мы вышли из-за деревьев.

Прыжов начал рассказывать, что мы жили летом на Филих, что у меня.— говорил он, указывая на меня,— подохла маленькая, любимая собачка, которую зарыли здесь в лесу.— „Что делать,— указывал он на меня,— пристала ко мне, поедем да поедем, найдем собачку и закопаем ее у нас в саду, а теперь вот не можем найти место, где она зарыта“.

Сторож молчал и улыбался, мне стыдно было смотреть на него. „И есть же на свете такие дуры, делать-то им, видно, нечего“—наверное, думал он.

Так мы и вернулись ни с чем. После этого Нечаев вместе с Прыжовым еще раз ездили на Фили и ничего не нашли. Так и осталось неизвестным.— какая судьба постигла шрифт. Быть может, его выкопал сторож, нашедший по нашим следам, при помощи собаки то место, где мы копали, а, может, он и до сих пор лежит в земле заржавленный, ни на что негодный.

Затем,—это было уже в половине ноября,— Нечаев как-то обратился ко мне с вопросом,—знаю-ли я французский и немецкий языки? Я ответила, что знаю, хотя и не Бог весть как хорошо.— „Ну, настолько, чтоб доехать до Женевы без провожатого, знаете?“

— Насколько знаю.

— Можете-ли вы поехать в Швейцарию, чтоб повидаться там с Бакуниным, Огаревым и Герценом?

— Могу.

Какое счастье,—пронеслось у меня в голове,—побывать за границей, видаться с такими людьми, как Герцен, Огарев, Бакунины. Да я о таком счастье и мечтать не смела. Но я тотчас же очнулась и сказала:

— Нет, не могу.

— Это что же значит,—то могу, то не могу? Странные бывают люди, вообразят, что перед ними стена и остановятся, тогда как никакой стены нет.

— Нет, есть стена.

— Ну, что же именно вам может помешать? Скажите просто, что не хотите. Не ожидал я этого от вас; Вера Ивановна так не поступила бы.

Меня, наконец, взорвало.

— Да что же вы хотите, чтобы я родила дорогой, в вагоне,—разве вы не видите, в каком я положении?

— Да, действительно, стена, простите. Я не сообразил этого,—проговорил он мягко.

О цели поездки он, конечно, не стал говорить после моего отказа и, вообще, разговор по этому поводу не возобновлялся.

Впоследствии я узнала, что он с таким же предложением обратился к Беляевой, Прижову, Бабарыковой, может быть, и еще к кому. Целью поездки было, главным образом, привоз литературы, брошюр, прокламаций и т. п. Привезенные самим Нечаевым в небольшом количестве экземпляры, каковы: „Общие правила организации“, „От сплотившихся к разрозненным“, „Прокламация народной расправы“ и др. разошлись в течении 2—3 месяцев существования Общества. Своей типографии в России не было, все писалось и печаталось за границей. На суде авторство всех этих брошюр и прокламаций приписывалось Нечаеву, высказывалось даже предположение, что известное стихотворение Огарева „Студент“, посвященное Нечаеву,—Нечаев сам написал и сам себе посвятил.

Помню ответ сестры Веры, когда я попросила высказать ее мнение по этому поводу:

— Где ему стихи писать,—он и прозой-то плохо пишет. Насколько она была права в этом, решать не берусь, но судя по всему, думаю только, что вообще писательство было не его делом.

Таково мое личное впечатление от знакомства с Нечаевым.

Знала я его недолго, от первых чисел сентября до 22 ноября, когда он зашел к нам в последний раз. 26 ноября мы с мужем были арестованы, а в декабре Нечаев во второй и последний раз уехал за границу.

Повторяю,—я безусловно верила ему, верил и мой муж, имевший возможность уже на совместной работе ближе познакомиться с ним.

Через полгода, когда отданная моей матери на поруки, я очутилась на свободе, мне пришлось услышать многое, не ввязавшееся с моим представлением о Нечаеве. Всякого рода слухов и разговоров было много, черпались они главным образом из „Московских Ведомостей“, как наиболее осведомленной газеты, благодаря ее сношениям с недоступными для других органов печати правительственными учреждениями.

VI. Неверность слухов о Нечаеве.

Говорили, что Нечаев лгал и не гнушался никакими средствами для привлечения молодежи. Но мне казалось, что ему не было надобности прибегать к таким средствам, чтобы влиять на молодежь, юную, горячую, не знавшую, куда идти, чему отдать свои силы, молодежь, в большинстве озлобленную против правительства за те репрессии, каким она подвергалась. Почти у каждого студента, почти в каждой семье были брат или сестра или близкий товарищ, друг, которых гнали по тюрьмам и рассылали по разным захолустьям, где царил тот же безграничный произвол. В возможность вызвать организованное восстание среди крестьян, восстание, которое могло разрастись до всеобщей революции и ниспровержения всем насолившего царского режима, Нечаев сам глубоко верил, верили и другие. Отдельные вспышки—бунты не прекращались среди крестьян со времени отмены крепостного права. Городских рабочих было тогда еще мало, это были те же крестьяне, приходившие в город на заработки, не терявшие своей связи с землей. И думалось, что и они откликнутся на призыв крестьян, уставших ждать настоящей воли. Говорили еще, что в деятельности Нечаева главную роль играло его чрезмерное властолюбие и честолюбие. В верности этого сомневаюсь. Возможно, что, сам работая, не покладая рук, он был требователен и к другим членам организации. Что же касается честолюбия, то вообще о нем трудно судить: надо слишком хорошо знать человека, жить с ним долго, чтобы судить, что им руководит, искренность или желание играть первенствующую роль? Во всяком случае, думалось мне, судя по всему, не эти черты играли главную роль в деятельности Нечаева в течение трех месяцев его работы в России осенью 1869 года. И до сих пор убеждена, что руководила им глубокая вера в революционность народа. Верила этому и организовываемая им молодежь, подобно тому, как верили этому и пропагандисты 70-х годов, отправлявшиеся массами в народ. Все это, конечно, было молодо—заслано, наивно, необосновано, но не забудем, что это происходило 50 лет тому назад. Говорили еще, что Нечаев явился в Россию самозванцем, что он лгал, выдавая себя за уполномоченного от женевского революционного комитета. Это неправда, я сама видела упомянутый выше документ, подписанный Бакуниным. Этого не отрицал и сам Бакунин, как это видно из воспоминаний Ралли, напечатанных в журнале „Минувшие Годы“ за 1908 г., № 10. Напомню здесь, что он сообщает в защиту Нечаева.

„Увлеченный необычайной энергией новопривывшего (Нечаева), Бакунин решил сделать его представителем русской ветви всемирного своего революционного союза. Вот, что рассказывал мне по этому поводу М.А. :

—Ввести Нечаева в Alliance я не хотел сразу уже потому, что в то время еще не предполагал открывать в нем русский отдел. Поэтому-то я и решил сделать его представителем особого революционного общества, в которое вошли бы, с одной стороны, все его товарищи в России, а вне России—связующим звеном был бы я со всеми моими из М. П. Об. Рабочих. Поэтому и была за-

назана особая печать с подписью: "Alliance revolutionnaire europeenne", а полномочие, которое я дал Нечаеву, было подписано лично мною. С этим полномочием, собственно говоря, личным от меня, он уехал в Россию. Вскоре после его отъезда я получил от него письмо с извещением, что он благополучно переехал через границу, что ему много в этом помог болгарин Каравелов, которого адрес я ему дал. „Мандат, пишет дальше Ралли, — данный Бакуниным, а также рекомендация к Любену Каравелову в Бухарест, много послужили Нечаеву. В Москве в особенности этот мандат произвел большое впечатление на Успенского и других“.

В этих же воспоминаниях Ралли, со слов Бакунина, говорит, что „Нечаев, приехавши в Женеву, объявил себя делегатом рев. комитета, который будто бы существует в России; как на члена комитета, он указывал на Ткачева, о котором Бакунин слышал, остальные фамилии ему были абсолютно неизвестны. Относительно существования комитета М. А. не сомневался до такой степени, что согласился дать Нечаеву расписку в том, что отдает себя в распоряжение этого комитета; расписки этой однако, нам не удалось отыскать в нечаевском архиве после ареста и выдачи Нечаева швейцарским правительством“.

Я не берусь тут судить, где правда, где ложь: существовал или не существовал такой комитет в России, объявлял или не объявлял себя Нечаев делегатом этого комитета. Во время моего личного знакомства с Нечаевым, ни у моего мужа, ни у кого из членов общества, организованного Нечаевым, не было повода сомневаться в его правдивости. Не имею никаких оснований сомневаться и в правдивости указаний Ралли, — я лично не знала его, но он был хорошо знаком с моим мужем и был близким приятелем моего зятя, Льва Павловича Никифорова, вместе с которым он участвовал в студенческих волнениях 69 года. Оба они знали Нечаева, бывшего вольнослушателем университета, а они были студентами.

В воспоминаниях того же Ралли, напечатанных в историческом сборнике „О минувшем“ в 1909 г., я нашла подтверждение того, что я слышала уже раньше, вскоре по моем возвращении из Сибири.

Среди отданной Нечаевым моему мужу на хранение литературы, была небольшая книжечка, напечатанная шифром и в нерасшифрованном виде она была забрана при аресте мужа. Нечаев сказал мужу, что она заключает в себе „Исповедь революционера“. На суде эта книжечка, уже расшифрованная, была прочитана, и она произвела, как на подсудимых, так и на публику, удручающее впечатление. Она состояла из 25 параграфов, и заключала в себе программу отношений революционера: — „К самому себе“, „К товарищам по революции“, „К обществу“, „К народу“. И вот через много, много лет я прочла в воспоминаниях Ралли, что Бакунин, узнав о намерении Ралли организовать освобождение Нечаева после его ареста в Цюрихе, призвал нужным задать ему „головомойку“. „Когда революционер стремится спасти кого-нибудь из беды, он должен взвесить пользу, приносимую спасаемым, с одной стороны, а с другой, ту трату революционных сил, которые нужны для его спасения. В этом-то ты и виноват перед нами, так как за спасение

Нечаева ты готов был пожертвовать стольким, скольким не имел права жертвовать“.

Формулировка этого обвинения,—говорит Ралли,—поразила меня своей тождественностью с текстом старой нечаевской программы. Я ясно видел перед собою автора этой программы, ¹⁾ которая, конечно, позже была перередактирована по своему на семинарский язык Сергеем Геннадиевичем ²⁾.

Оговорки Ралли, что программа была переделана Нечаевым, я, признаюсь, не помню. Для сличения привожу подлинный текст из программы, прочитанной на суде:

„Парагр. II. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасти его или нет, революционер должен сообразоваться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой—трату революционных сил, потребных на избавление, и на какую сторону перетянет, так и должен решить“.

Ничего „семинарского“ и „по своему“ я здесь не вижу ³⁾.

„Не желая огорчать напрасно М. А., я прекратил всякие пререкания, оставив времени излечить недуг, поразивший наши взаимные отношения. Переубедить Бакунина я не думал, так как это было невозможно мне, молодому человеку 23 лет, не прошедшему через огонь и медные трубы,—путь—дороженька, которая уже давно была пройдена от конца до конца этим застарелым революционером“.

Ну, а Нечаеву было всего 21 год в апреле 69 года, когда он познакомился с Бакуниным, в первую свою поездку за границу (он родился 20 сентября 1848 г.). Он еще меньше мог переубедить Бакунина, чем Ралли, более взрослый, более развитый, посидевший уже 2 года в Петропавловской крепости, побывавший в ссылке и бежавший оттуда за границу. А между тем эта „Программа“, как называет Ралли, „Исповедь революционера“ (так называл Нечаев моему мужу зашифрованную книжечку), „Катехизис“, как называет это произведение в своих воспоминаниях ⁴⁾ моя сестра Вера, присутствовавшая на суде, служили и служат до сих пор главным пунктом обвинений и нападок на Нечаева. Составилось убеждение, что эту программу написал сам Нечаев, он же распространял ее среди молодежи и неустанно действовал по этому катехизису. Таким образом, получилась „Нечаевщина“, синоним всего мерзкого, безнравственного, отталкивающего. В действительности же, в России Нечаев этой программы не распространял, никто из подсудимых ее не читал, даже мой муж, ближе всех стоявший к делу. Как человек несомненно умный, знавший русскую молодежь,

¹⁾ Курсив мой. А. У.

²⁾ Курсив автора.

³⁾ См. „Государственные преступ. в России“, сборник, составленный под ред. Базилевского, стр. 189.

⁴⁾ См. „Былое“ № 14, 1918 г. стр. 97.

Нечаев понимал, что подобной программой он не привлечет, а скорее оттолкнет ее от себя.

Что программа, читанная на суде, авторство которой приписывалось Нечаеву, была написана Бакуниным, я узнала в первый раз от Перовской, с которой виделась несколько раз по возвращении из Сибири, в январе и феврале 1881 г. На первом же свидании, при разговоре о Нечаеве, она сказала, что в революционных кругах взгляд на него сильно изменился, что многое из того, что приписывалось Нечаеву, делали другие, главным образом, Бакунины, написавший программу, за которую так много нападали на Нечаева; эта же программа была распространена Бакуниным в Италии. Тут же она рассказала мне, что у них были завязаны сношения с Нечаевым, что они предполагали устроить его побег из крепости, но он отказался на том основании, что люди и средства, которые понадобились бы для его освобождения, могут быть использованы для более важного дела (этим более важным делом оказалось убийство Александра II первого марта). Сношения с крепостью, как известно, были организованы при помощи солдат из крепостной стражи, охранявших Нечаева, и прекратились они после того, как один из солдат, по неосторожности, передал письмо Нечаева не адресату, а его квартирной хозяйке. Не могу поручиться, что этот провал произошел именно так, и что об нем рассказала мне Перовская, а не кто-либо другой.

Когда Перовская попросила меня высказать мое мнение о Нечаеве, я сказала, что, по моему, он слишком рано выступил на сцену, что теперь (1881 г.) он мог бы быть бесценным работником, идя рука об руку с такими же энергичными и беззаветно преданными революционному делу людьми, какими являлись тогда народолюбцы.

— Мы тоже так думаем,—сказала Перовская.

Кстати о крепостных солдатах, охранявших Нечаева в Алексеевском ревелине и при посредстве которых он вел сношения с народолюбцами. Все они были арестованы, судились и приговорены частью к отдаче в дисциплинарные батальоны на разные сроки, другие были сосланы в Сибирь на поселение. О них мне рассказывал товарищ, сослуживец моего брата, офицер гвардейского гренадерского полка Сперанский, присутствовавший на суде.

— Все они держали себя молодцами, с большим достоинством и когда, кажется, прокурором было высказано предположение, что Нечаев действовал на них посредством подкупа, все они горячо запротестовали.

„Какой тут подкуп, раздались голоса,—№ 5 такой человек, для которого без всякого подкупа мы готовы были идти в огонь и воду“.

Ошибается и сестра моя Вера, в своих воспоминаниях, приписывая влиянию „Катехизиса“ довольно комичный эпизод—признание в любви к ней Нечаева, который вдруг сразу выпалил: „Я вас полюбил“... Но она забыла, что в то время, о котором она говорит—февраль—март 69 г., ни о каком „Катехизисе“ не могло быть и речи, его не существовало ни в уме Нечаева, ни вообще в России. Помню, что об этом эпизоде она рассказывала мне в Терпи, куда была выслана по освобождении из тюрьмы и куда я ездила из

Петербурга для свидания с ней, а также со старшей сестрой Катей и мужем ее, моим зятем Л. Н. Никифоровым, тоже высланными в Тверь. Тогда она рассказывала об этом, как о курьезе, но о „Катехизисе“ и помину не было. На суд она была вызвана в качестве свидетельницы и только тут, уже в 71-м году, познакомилась с „Катехизисом“. После суда и впоследствии у нас с ней разговора об этом не было. А почему не объяснить этот эпизод проще тем, что Нечаев, действительно, полюбил ее, но по свойственной ему мужиковатости, выразил это в своеобразной, неуклюжей, на наш взгляд, форме. Полюбить Веру было не мудро и не такому юнцу, каким был в то время Нечаев. О других его признаниях в „Петербурге, за границей и в Москве“—могу только сказать, что в Москве едва-ли это могло иметь место за те 2—3 мес., когда я его знала.—не до того ему было.

Относительно убийства Иванова я ничего не знала ни до ареста, ни во время его. Все, очевидно, щадили меня; один только раз следователь по особо важным делам, помнится-Гераков, спросил меня—знакома-ли я с Ивановым?... На что я, по чистой совести, ответила—нет, ни разу не видала его.—А вы знаете, что он убит?—Нет, ответила я, и даже не спросила о том, кто его убил,—так далека я была от мысли, что это близко касается вообще организации и, в частности, моего мужа, о чем я узнала уже после освобождения. Подробности я узнала только на суде. Сама я не была на том заседании, в котором мой муж давал свои показания относительно Нечаева и убийства Иванова,—не помню, почему не была, скорее всего потому, что не могла ручаться за свои нервы; о том, что происходило в этот день на суде, мне рассказала потом Вера и другие. Чтобы возобновить в своей памяти это дело, происходившее полвека тому назад, я стала ходить в публичную библиотеку, где перечитывала стенографические отчеты, которые печатались в „Правительственном Вестнике“. Но и тут не многое мне удалось выяснить. В № 158 напечатаны краткие показания Успенского, по словам которого Нечаев обладал страшной энергией и имел большее влияние на лиц, знавших его. Он был верен своей цели, беззаветно предан своему делу и личной вражды ни к кому не имел... К Иванову никто из подсудимых не относился враждебно. Виделись с ним очень редко. Дальше Успенский говорил, что все они, главные подсудимые, чрезвычайно искренне относились к делу (организации Общества). „Что же касается меня, то я готов был пожертвовать своей жизнью, и подобное чувство испытывал не я один, но и другие“. Между тем, все уже давно замечали, что Иванов изменял обществу, слишком много говорил о нем и что общество от этого страдает. Затем они узнали, что Иванов отказывается от участия, что он выходит из общества и чуть-ли не хочет сделать даже больше, т. е. сообщить обо всем правительству (все это было заявлено Ивановым 19 ноября Прижову, который передал это другим). Вопрос о том, как поступить с Ивановым, был решен всеми единогласно.

В № 159 читаем заявление защитника Успенского кн. Урусова: „В № 158 „Прав. Вестн.“ напечатан отчет о заседании, в котором клиент мой, Успенский, давал свои показания. Я покорнейше прошу разрешить мне ука-

зять на некоторые, весьма важные неточности, которые вкрались в отчет и которые исправить обыкновенным путем не зависит от защитника. Я просил бы одно место показания Успенского восстановить в том виде, как оно было дано, в чем послужит порукою мнение самой судебной палаты, перед которой показание Успенского дано. Вообще я замечаю, что показание Успенского кем-то процenzуровано и сокращено; на этом я не настаиваю, но для меня важно, чтобы по крайней мере те подробности, которые переданы в стен. отчете, были переданы верно, а не в искаженном виде“.

Судебная палата постановила заявление защитника отклонить.

VII. Отношение к Нечаеву подсудимых.

Затем защитник Урусов просит судебную палату для разностороннего разъяснения дела обратиться к тем из обвиняемых, которые были ближе к Нечаеву, с вопросом, касающимся характера Нечаева и его личности, как человека.

Успенский сказал, что „Нечаев производил впечатление человека полнейшей преданности делу и той идее, которой он служил. Сведениями он обладал громадными и умел чрезвычайно ловко пользоваться своими знаниями. Все мы относились к нему с полнейшим доверием“.

Кузнецов, подтверждая мнение Успенского о Нечаеве, добавил, что „он поражал всех знавших его своей энергией, которая доходила до того, что он спал только 3 часа в сутки, и вообще поражал преданностью делу, чем даже старался шеголять“.

Прыжов заявил, что первой причиной его сближения с Нечаевым было то, что он вышел из народа. До 16 лет он был только грамотен и занимался писанием вывесок в селе Иваново. А когда Прыжов познакомился с ним, то он мог уже читать философские сочинения на французском языке. „Я прожил 40 лет,—говорил Прыжов,—встречался со многими литераторами, учеными, вообще с людьми, известными своей деятельностью, но такой энергии, как у Нечаева, я никогда не встречал и не могу представить себе“.

Николаев сказал только:—„Я знал, что Нечаев был очень энергичный человек, но объяснить, почему он именно влиял на нас, я положительно не могу“.

Никто из подсудимых в правдивости Нечаева не сомневался.

Половина № 162 „Прав. Вестн.“, в котором напечатана „программа“ якобы Нечаева, вырезана.

В следующем № 163 читаем вопрос члена суда кн. Трубецкого, обращенный к Успенскому: „Вчера на чтении вещественных доказательств вы сказали, что программа революционера вам не была известной, что вы несколько не могли ей сочувствовать. Не можете-ли сказать нам, по крайней мере,—каким образом вы объясняете ту крутую меру, которая применена относительно Иванова, такой факт, который представляется как бы исполнением той программы, которую вы отвергаете?“.

Успенский отвечает на этот вопрос примером: „У больного делают ампутацию какого-нибудь члена для того, чтобы сохранить и исцелить организм. Таким образом объясняется то действие, которое было совершено над Ивановым: он мог погубить всю организацию... У меня составилось внутреннее убеждение относительно виновности Иванова, и те обстоятельства, которые я знал, подтверждали мое мнение. Если бы я не думал так, то никакая сила не заставила бы меня поступить против моей воли, которая, как я уже объяснял, была для меня дороже всего“.

— Но что же мог он сказать о вашей деятельности,—спрашивает Трубецкой,—ведь еще ничего не было сделано, что же он мог донести?

— Он не донес бы ничего существенно важного, но он мог бы сказать о всех членах (80 чел.), которые были организованы: они могли бы попасть в крепость. Да, мы уже знали тогда, что значило быть арестованным по самому ничтожному поводу, попасть в крепость; люди просиживали там годы и не все выходили оттуда безнаказанно,—многие наживали себе цингу, ревматизм, чахотку, сумасшествие, умирали или выходили искалеченными на всю жизнь, глухими, с распатанными нервами.

Из дальнейших показаний, как 4-х главных подсудимых, так и остальных 83 чел., ясно, что никто из них прочитанной на суде программы не знал и до суда даже не подозревал об ее существовании. Из тех же показаний и затем прений сторон выяснилось, что Прижов и Успенский не принимали непосредственного участия в убийстве Иванова,—они были только свидетелями.

В связи с тем, что Иванов, состоя членом основного кружка, не стеснялся рассказывать посторонним лицам обо всей организации, мне припоминается такой случай.

Как-то вечером, совсем незадолго до нашего ареста, к нам зашла моя пансионская подруга, Варя Коврей. Особенно близкой дружбы между нами не было, так как она была классом ниже меня, к тому же была приходящей, а я жила там, но в общем отношения между нами были хорошие, и мы изредко видались с ней. У нее было два брата и один из них, а, может быть, и оба, наверное не помню, были студентами Петровской Академии. С ними я не была знакома и, вообще, о существовании нашей организации ни Варя, ни ее братья не имели ни малейшего подозрения. В этот вечер Варя пришла предупредить нас, что по городу ходят слухи, будто в Москве организовалось тайное общество с революционными целями, при этом называются даже фамилии. На вопрос бывшего тут же Прижова, какие упоминаются фамилии, она ответила, что не считает себя в праве называть их, но что указывают на магазин Черкесова. Зная, что Успенский служит там, она сочла долгом предупредить нас. Все это она узнала от своих братьев.

Были—ли эти слухи результатом излишних разговоров Иванова, наверное сказать, конечно, трудно, но возможно, что и так.

Арест наш произошел потому, что напали на след убийства Иванова; групп был замечен в пруду крестьянами Петровских-Выселок 26 ноября, а мы в ночь с 25 на 26 были уже арестованы.

Остается еще невыясненной возмутительная проделка братьев Лихутиных, студентов Попова и Прохора Мокриевича (прошу не смешивать с известным революционером Владимиром Дебогория—Мокриевичем), взявших с Колачевского, путем угроз, вексель на 6000 р. Владимир Лихутин показал, что „взятие означенного векселя было не более, как шутка, которую он, брат его и другие захотели разыграть над Колачевским; что вексель этот до его ареста хранился в его комнате над дверью под обоими, а при аресте он указал на это место кому-то из своих товарищей—Попову или Ковалевскому“. Студенты Попов и Мокриевич, подтверждая все это, прибавили, что они через неделю сожгли этот вексель; Иван же Лихутин показал, что они действовали по наущению Нечаева и что вексель был передан Нечаеву. Несомненно, что это не была только шутка, но где тут правда, а где вымысел, и какую в действительности роль играл в этом деле Нечаев? Необходимо только принять во внимание, что некоторые из подсудимых, зная, что Нечаев находится „в пределах недосягаемости“, бесцеремненно сваливали на него свои грехи. Что вексель этот не был пред'явлен и денег никто от Колачевского не получал,—это я узнала впоследствии от самого Колачевского, с которым была знакома с детства. Он был моим земляком, братом той Людмилы, о которой я говорила раньше. С Нечаевым он знаком не был.

Относительно ареста Нечаева весной 69 года и бегства его за границу—никто не сомневался осенью того же года, когда он вернулся в Россию с полномочием, подписанным Бакуниным, от женевского революционного комитета. О подробностях бегства ни я, ни мой муж его не расспрашивали. Уже после суда, на котором публика познакомилась якобы с „Нечаевской“ возмутительной программой, начались разговоры о том, что все это Нечаев выдумал, что он не был даже арестован.

В воспоминаниях мужа старшей моей сестры Еватерины, Льва Павловича Никифорова, напечатанных в „Голосе Минувшего“ под заглавием „Мои тюрьмы“ мы читаем:

„Весной 69 г., как известно, в Петербурге происходили студенческие волнения. Студенты добивались права сходок, устройства касс взаимопомощи, распределения пособий не начальством, а самими товарищами, устройства студенческих столовых, а, главное, доступа в высшие учебные заведения всем желающим. Нечаев, будучи вольнослушателем, принимал деятельное участие в этих волнениях. На одной из устроенных им сходок, в квартире студента Любимова, собрались представители всех высших учебных заведений, всего человек около пятидесяти“, в их числе был и Никифоров. Когда студенты выходили из квартиры Любимова, дворник с каким-то господином пересчитал всех их, но они не обратили на это никакого внимания.

Едва сходка успела разойтись, как Любимова потребовали к обер-полицеймейстеру. Здесь заведывавший секретной канцелярией Комышкин назвал

ему точную цифру бывших у него студентов и спросил, для чего и по какому случаю они у него собрались. Любимов ответил, как было условлено, что один товарищ просил уступить ему квартиру для вечеринки, желая отпраздновать свои именины. Он согласился, но сам ушел из дому, а когда вернулся, было всего лишь несколько человек, так что он никак не допускает, чтобы была такая масса. Колышкин притворился, будто вполне удовлетворен такими объяснениями и отпустил его домой, но когда Любимов уже был в дверях, он спросил его: „а кстати, скажите, пожалуйста, фамилию того товарища, который просил у вас квартиру“. Любимов, не ожидавший дальнейших распросов и радовавшийся, что так легко отделался, опешил и назвал фамилию Нечаева.

„После этого,—говорит Иппифоров,—мы Нечаева больше не видели“.

Не забывалась от нападок и молоденькая сестра Нечаева, Анна Геннадьевна.

В 1908 году в январском № „Минувшие Годы“, где печатались воспоминания г-жи В. Починковской, она, между прочим, рассказывает о многолюдной прогулке из Петербурга в Пулково. Собралось 28 человек, в числе которых были известные писатели—Михайловский, Гл. Ив. Успенский с их женами и др.

„Помню,—пишет Починковская,—все очень интересовались молоденькой девушкой, лет шестнадцати, маленькой, кругленькой и румяной, как наливное яблоко, с детски—наивными, карими глазами“.

„Сестра Нечаева, шепотом передавали о ней друг другу.—До сих пор под надзором“.

„Спутник ее был тоже маленький четырехугольный студент—ветеринар с пухлым ртом, резко—угловатыми движениями и отрывисто—повелительным голосом. Он все время командовал ею, а она только звонко и весело хохотала“.

„До Царского вся компания ехала в отдельном вагоне третьего класса, а затем семь верст до Пулково шли пешком; по дороге не раз прикапывались, развертывались свертки, раскупоривались бутылки.“

„И как сейчас помню,—пишет дальше Починковская,—одну характерную сцену, нелепо бросавшуюся в глаза. На самом солиднейшем среди людей стогами и копытами барахталась в сене пухленькая Нечаева и студент-ветеринар. Она совсем еще девочка, в слегка вздернутом вперед платье, уже заметно беременная, радостно извивалась, когда он зарывал ее с ногами и головой, и они перекатывались друг через друга, очевидно, позабыв обо всем на свете.—И только слышались по временам восклицания: „Ух, хорошо!“—„Хорошо? Ну так вот вам еще.... А теперь что вы скажете? Хорошо?—„Хорошо“—радостно звонил ее серебристый смех“.

—(Совсем как маленькие животные, —с улыбкой заметил мой спутник.

—А ведь ее, бедняжку, чуть было к каторге не приговорили. Если бы не Урусов—приговорили бы непременно. Он защищал ее, как несовершеннолетнюю, а она уже—мать“.

Мы все три сестры хорошо знали Анну Нечаеву, особенно сестра Вера. Жила Анна у жены полковника Томиловой, судившейся по Нечаевскому делу, хорошо знакомой Веры и Сергея Ген. Нечаева.

В описываемое Починковской время, летом 1872 года, Анне Нечаевой было лет 18-19. Это была здоровая, стройная, выше среднего, почти высокого роста девушка, казавшаяся старше своих лет, благодаря задумчивому выражению глаз и серьезности не по летам.

Отец Анны был крестьянин с. Иванова, владимирской губ., туйского у. Училась в сельской школе, там же, где и брат ее Сергей Геннадиевич, а когда последний переехал в Петербург и поступил вольнослушателем в университет, он вскоре перевез и сестру и поместил ее у Томиловой. Зарабатывая средства питием, Анна в то же время училась, много читала, стараясь пополнить свое недостаточное образование. Так было до июля 1873 г., когда я уехала из Петербурга в Сибирь, и уже после слышала, что Анна Нечаева, окончив на акушерских курсах, вышла замуж за врача Слюнина и уехала вместе с ним куда-то (помнится в Среднюю Азию).

Ни я, ни мои сестры и никто из знавших ее, с кем мне пришлось говорить, по поводу воспоминаний Починковской, не мог себе представить серьезную, скромную, застенчивую Анну Нечаеву кувыркающейся на сене и радостно взвизгивающей, „совсем как маленькое животное“. Беременной тоже никто из нас ее не видел. Под надзором она не была. По „Нечаевскому“ процессу она не была арестована, не привлекалась ни в качестве свидетельницы, ни в качестве обвиняемой, так что Угусову не представлялось ни малейшей надобности защищать ее от яко-бы грозившей ей каторги.

Судя по описанной наружности „маленькая, кругленькая, румяная“ и т. д., все мы сделали предположение, что Починковская и ее спутники заблуждались, называя сестрой Нечаева сестру моего мужа, Надю Успенскую. Но беременной Надя тоже не была до выхода замуж за доктора Бюбина и также, как и Анна Нечаева, к суду по „Нечаевскому“ процессу не привлекалась, и никакая каторга ей не грозила.

Прочитав в воспоминаниях Починковской об Анне Нечаевой, я в тот же день написала коротенькую заметку по этому поводу и послала сестре Вере с просьбой исправить и дополнить от себя все, что она найдет нужным. Вера ответила, что совершенно согласна со мной, что исправить и дополнять ей нечего, и передала мою заметку в „Мин. Годы“, где она и была помещена в апрельской книжке этого журнала (1908).

Я уверена, что Починковская отнеслась бы осторожнее к любой незнакомой ей молодой девушке, не выставила бы ее, без достаточной проверки, на общее поругание, ну, а с сестрой такого чудовища, как Нечаев,—какие могут быть церемонии...

Александра Успенская.

Продолжение следует.

Пропавшие письма Н. Г. Чернышевского.

К характеристике деятельности III Отделения.

7-го июля 1862 года Н. Г. Чернышевский был арестован и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. При аресте был произведен обыск, и власти надеялись, что у Чернышевского будут найдены явные улики его преступной деятельности против правительства, на основании которых можно будет немедленно предать его суду, как государственного преступника, и изъять его из общества.

Но, против всякого ожидания и к великому огорчению III Отделения, никаких улик при обыске не нашлось и надо было добывать их всякими способами. Это оказалось не так-то просто, и потому Чернышевскому пришлось посидеть несколько месяцев, прежде чем его позвали к первому допросу. Этот допрос был самый пустой: продолжался он несколько минут, не дал никаких желательных для III Отделения результатов, и Чернышевский продолжал отсиживаться в крепости. Придумывая, с своей стороны, способы воздействовать как-нибудь на III Отделение, Чернышевский решил обратиться непосредственно к Александру II и указать ему на незаконность, за отсутствием улик, задержания его в крепости. Но надобно было сделать так, чтобы такое письмо дошло по назначению, минуя III Отделение. Тогдашним петербургским военным генерал-губернатором был князь Суворов. По поводу университетских волнений 1861 и 1862 гг. Чернышевскому приходилось несколько раз встречаться с князем Суворовым, причем князь, уважая авторитет, которым пользовался тогда Чернышевский, просил его помощи в смысле воздействия на благоразумие молодежи. Сам князь Суворов пользовался репутацией человека либеральных взглядов, и вот через него-то Чернышевский и задумал отправить свое письмо к Александру II, вложив его в письмо к князю Суворову.

20 ноября 1862 г. письма были написаны, вложены в конверт на имя князя Суворова, приняты комендантом крепости к отправлению и... пропали без вести. Пропали, и следы их были замечены так искусно, что все попытки найти их оставались без всякого успеха в течение 55 лет, вплоть до 1917 года, когда явилась, наконец, возможность проникнуть в святая святых, в секретные архивы III Отделения.

Но все-таки, несмотря на хорошо заметенные следы, до князя Суворова через несколько месяцев дошли слухи, что Чернышевский обращался к нему с каким-то письмом, а между тем письма этого он не получил. Зная порядок прохождения всех писем, отправляемых заключенными из крепости, и будучи уверен, что письмо было задержано или комендантом крепости, или III Отделением, кн. Суворов считал себя оскорбленным и 2 февраля 1863 г. обратился по этому вопросу к коменданту крепости, генерал-майору Сорокину.

Привожу подлинный текст существенной части этого запроса:

„....Считаю долгом заявить вашему превосходительству, что адресуемые на мое имя письма я обыкновенно распечатываю и прочитываю и никому еще не давал права вскрывать и читать подобные письма прежде меня; поэтому и письмо литератора Чернышевского следовало доставить ко мне нераспечатанным.

„С. Петербургская крепость, находящаяся в губернии и столице высочайше вверенных моему управлению, состоит в моем ведении, как здешнего военного генерал-губернатора; посему, если ваше превосходительство имеете особую инструкцию, на основании которой письма, адресованные на имя князя Суворова от лиц, содержащихся в С. Петербургской крепости, должны быть передаваемы не мне, а кому-либо другому, в таком случае вам следовало, прежде чем разрешить г. Чернышевскому писать ко мне, довести о таком намерении его до моего сведения, и тогда я испросил бы предварительно у государя императора разрешение, могу-ли принять письмо от этого арестованного. Если бы высочайшего соизволения на это не последовало бы, в таком случае литератору Чернышевскому не представлялось и повода писать вышеупомянутое письмо. Дозволять же ему писать ко мне, не предваривши, что письмо его не может быть доставлено по адресу, по моему убеждению, значит злоупотреблять моим именем, потому что Чернышевский, получивши такое предупреждение, без сомнения, отказался бы от намерения обращаться ко мне с письмом“...

На сделанный ему запрос Сорокин отвечал, что Алексеевский равелин с 3 июля 1826 г. состоит в ведении III Отделения, что все письма арестованных в этом равелине всегда передавались секретно в III Отделение и что „на том же основании было поступлено с письмом содержащегося в Алексеевском равелине Чернышевского, адресованным на имя вашей светлости“.

В III Отделение кн. Суворов пока не считал нужным обращаться.

Но вот дело о Чернышевском переходит в мае 1867 г. из следственной комиссии кн. Голицына в сенат, и в сенате Чернышевский, давая свои показания, ссылается, между прочим, на письма, посланные им в ноябре 1862 г. Александру II и князю Суворову. В сенатском деле и в деле следственной комиссии этих писем не оказалось, и сенат запросил по этому вопросу кн. Суворова. Тогда кн. Суворов, помня ответ Сорокина, обращается уже к начальнику III Отделения, шефу-жандармов, князю Долгорукову со следующим письмом от 3 окт. 1863 г. за № 2539:

„Правительствующий сенат, сообщая мне, что подсудимый Чернышевский, в бумагах, подаваемых сенату, ссылается на письма свои, писанные им в ноябре 1862 г. к его императорскому величеству и ко мне, которых нет при деле, производимом в сенате, указом от 30 минувшего сентября предписал прислать мне в сенат вышеупомянутые письма, если не встретится к тому препятствий.

„Полагая, что всеподданнейшие письма подсудимого Чернышевского находятся в III Отделении собственной его императорского величества канцелярии, долгом считаю о вышевключенном требовании правительствующего сената, уведомить ваше сиятельство, для зависящих распоряжений, покорнейше прося о последующем почтить меня уведомлением.

„При этом имею честь присовокупить, что вместе я донес правительствующему сенату, что требование одного относительно доставления письма Чернышевского, адресованного на мое имя, мною исполнено быть не может, так как означенного письма я не получил“.

Нет сомнения, что подчеркнутыми словами (курсив) князь Суворов хотел подчеркнуть свое возмущение самовольным поступком III Отделения даже по отношению к нему, князю Суворову, занимавшему такой высокий пост.

По этому вопросу управляющим 3 экспедицией III Отделения, Шульцем, была дана управляющему III Отделением, генералу Потапову, справка о том, что „Записка и письмо Чернышевского на имя г.-а. князя Суворова препровождены III-м Отделением в следственную комиссию при отношении от 7 февраля с. г. (1863) за № 400 и по журналу комиссии от 11 февраля № 102 приобщены к делу“.

На основании такой справки была запрошена 4 октября 1863 г. за № 3931 следственная комиссия, которая 7 октября за № 953 ответила, что „бумаги по делу Чернышевского находятся при деле, отправленном 14 мая 1863 г. за № 753 к управляющему министерством юстиции, и что никаких писем Чернышевского на высочайшее имя и к генерал-ад'ютанту князю Суворову в комиссию не имеется“.

Такой ответ следственной комиссии был сообщен Потаповым князю Суворову 11 октября 1863 г. за № 4046, и на этом, повидимому, вопрос и кончился. Между тем и в запросе, и в ответе говорилось, в сущности, о совершенно разных бумагах: князь Суворов и сенат спрашивали о „двух письмах“ Чернышевского—одно на имя Александра II, другое на имя кн. Суворова, которые были посланы в ноябре 1862 г., а III Отделение ответило, что „записка и письмо“ к князю Суворову, полученные в феврале 1863 г., отосланы в следственную комиссию, а этою последнею переданы в министерство юстиции.

В действительности же оба письма Чернышевского от 20 ноября 1862 г. были просто на просто скрыты князем Долгоруковым, и ответ III Отделения представляет собою образец канцелярской изворотливости понааторевших в таких делах чиновников.

И только теперь явилась возможность разъяснить историю таинственного исчезновения двух любопытных писем Чернышевского от 20 ноября 1862 г., розыски которых начались уже в феврале 1863 г., продолжались в том же году путем переписки между разными учреждениями, а также производились мною лично с 1905 г. в разных архивах, везде, куда только можно было проникнуть,— и все напрасно. Можно было думать, что они просто уничтожены. Но в конце концов эти письма нашлись и сохранены для истории.

Дело в том, что по инструкции, преподанной коменданту Петропавловской крепости, где содержался Чернышевский, вся переписка особо важных заключенных, для которых предназначалось особое здание „Алексеевского равелина“, должна была направляться только через III Отделение. Исключение не делалось никому, а потому и комендант крепости, генерал Сорокин, не считал возможным передать письмо непосредственно даже кн. Суворову, а отправил его в III Отделение.

Привычной рукою князь Долгорукий вскрыл пакет. Едва-ли даже он колебался: ведь прочитав письмо, можно было, по обыкновению, искусно заклеить опять конверт и отправить по принадлежности. Но содержание письма оказалось таково, что передать его князю Суворову было уже рискованно: по своему высокому положению кн. Суворов имел возможность лично доложить письмо Чернышевского Александру II и осветить все дело с нежелательной для III Отделения стороны. Этого-то и боялся князь Долгоруков, так как в глазах III Отделения кн. Суворов представлялся, повидимому, большим „либералом“. На эту либеральность, очевидно, надеялся и Чернышевский, посылая ему такое письмо. Со стороны Чернышевского это был тонкий шахматный ход, но он не предполагал и не рассчитал, что бесцеремонность кн. Долгорукова может дойти до утайки от кн. Суворова полученного письма, и не знал, что его участь уже была предreshена III Отделением с благословения самого Александра II.

Приводим эти письма Чернышевского.

I

Всемилоостивейший Государь.

Я был арестован 7-го июля. Меня призвали к допросу 30-го октября, почти через четыре месяца после моего ареста. Если бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его. О чем же меня спросили? О том, „в каких отношениях я нахожусь к русским изгнанникам, Огареву и Герцену“.—Я отвечал: „в неприязненных, это всем известный факт; он должен быть известен и комиссии“.—Ничего не нашли сказать мне, ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва-ли продолжался 10 минут. Я подождал еще две недели, не имеют-ли о чем спросить меня, кроме этого; меня не призывали. Тогда я выразил сам желание,

чтобы меня пригласили в следственную комиссию; ждал приглашения 4 дня; не получил его и обратился к его превосходительству г. коменданту С.-Петербургской крепости с запискою, по которой мне разрешено теперь писать к вашему величеству.

Государь, не из этого хода моего дела и заключил, что против меня нет обвинения,—я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше настоящего времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно и других обвинений нет. Вот первое мое основание. Вот второе: когда я выразил желание, чтобы меня пригласили в комиссию, я хотел через нее просить разрешения писать к вашему величеству; но это не было известно комиссии, она не могла знать, зачем я желаю быть приглашен. В подобных случаях самое естественное предположение всякого следователя то, что арестованный желает сделать признание или показание, открывающее какую-нибудь тайну. Если бы комиссия имела это предположение, она поспешила бы пригласить меня. Но она не пригласила; следовательно, она не имела такого предположения. А не иметь это она могла потому только, что из самого дела ей было очевидно, что мне не в чем признаваться и нечего открывать.

Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, который был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену, значит, показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературою, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной пляске, которую имел Огарев с одним из знакомых мне лиц. Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но ваше величество может увидеть эту причину из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городскому почте, в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним à la Baron Vidil (указание на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство). Почему Герцен так отзывался, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть объяснит вашему величеству самое письмо их.

Государь, имею-ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений,—если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего Величества

Подданный Н. Чернышевский.

20 ноября 1862.

II

Ваша Светлость,

В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается,—обнаруживает мысль, что лицу с которым он говорит, приятна или нужна лесть.

Потому и к вашей светлости я пишу совершенно сухо. Когда я имел честь говорить с вами в прежнее время, я иногда употреблял теплые слова, которые можно было принимать, как угодно: или за выражение действительного моего уважения и доверия к вашей светлости, или за лесть. Я не стеснялся возможностью последнего, потому что тогда не нуждался в помощи вашей светлости. Теперь другое дело.

Осмеливаюсь напомнить вашей светлости два случая. Однажды, вы сказали мне, чтобы я постарался остановить подписывание адреса о Михайлове. Я сказал, что не слышал о таком адресе и что едва-ли он существует, но что спрошу об этом. Я спрашивал и оказалось, что, действительно, никакого адреса не существовало. А ведь ясно было, что вашей светлости говорили, что в числе хлопочущих о подписывании адреса нахожусь и я.—В другой раз, вашей светлости было сказано, что я собираю у себя офицеров,—это было прошлой зимой. Вы были так добр, что передали мне это, предостерегая меня. А у меня во всю зиму не было никаких собраний.

Эти два обстоятельства могут свидетельствовать, что не все слухи обо мне, доходившие до вашей светлости и других правительственных лиц, были верны. Это были слухи политические; но было много слухов обо мне. Когда, год тому назад, умер мой отец, говорили, что я получил в наследство, по одним рассказам, 100 000 р., по другим—400.000 р. Или другой слух—даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича „Школа гостеприимства“; я в ней выведен под именем Черневского, которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, все; это лицо,—то есть я,—выставлено гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изысканные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодный: я не ем почти ни одного блюда французской кухни; а вина не люблю ¹⁾ просто потому, что не люблю.

¹⁾ Вероятно, описка: вместо „не пью“.—Мих. Чернышевский.

Этих сплетен обо мне было бесконечное множество. Обратили внимание на те, которые относились к политике; почему бы не обратить его и на те, которые относились к вещам и не-политическим, в роде моего наследства и гастрономичности? Степень основательности этих последних могла бы служить мерою основательности и первых.

Почему же обо мне ходило множество нелепых слухов? Я не очень скромн, потому скажу просто: я был человек, очень заметный в литературе. Как о всяком человеке, которым много записываются, говорят много пустого, так говорили и обо мне.

Например, много кричали о моем образе мыслей. В моем положении излагать его—неудобно: да, по счастью, и не нужно: я уже излагал его вашей светлости, излагал без всякой надобности, просто потому, что не имел причин скрывать его,—излагал с такими оговорками, которые могли доказывать, что я не хотел лгать или утаивать что-нибудь из него. Это главное. А притом, ваша светлость не раз говорили мне совершенно справедливо, что закону и правительству нет дела до образа мыслей, что закон судит, а правительство принимает в соображение только поступки и замыслы. Я смело утверждаю, что не существует и *не может* существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству.

Должен-ли я доказать, что не только говорю я это, но что это и действительно так, что их *не может* существовать? Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне—завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это дело легкое, не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу, говоря, что устранить запрещение о выдаче мне паспорта он берет уже на себя. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу, и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года.

Или нужно доказывать, что я знал очень давно, что за мною следят? Теперь: правдоподобно-ли, чтобы человек, уже не молодой (мне далеко за тридцать лет), заваленный работой, живущий в изобилии, с каждым годом имеющий больше дохода (в 1860 г. я получил до 10.000 рублей, в 1861 г. до 12.000 р.—это можно видеть из счетных книг журнала „Современник“—в нынешнем, если бы не арест, получил бы, по крайней мере, 15.000 р.; это можно видеть из расчетов, находящихся в моих бумагах; остановка изданий „Современника“ расстривала мои доходы месяца на два, на три; когда я был арестован, я изготавил¹⁾ издания, которые дали бы мне больше дохода, чем

¹⁾ М. Б., описала, вместо „изготавлял“.—Мих. Чернышевский.

давал журнал,—следовательно, человек, не имеющий личной надобности желать перемены вещей,—человек, имеющий на своих руках семейство,—человек, которого еще никто не считал дураком,—чтобы такой человек стал заниматься в опасное дело,—правдоподобно-ли это, ваша светлость? Правдоподобно, чтобы он стал это делать, зная, что за каждым его шагом следят?

Прося вашу светлость представить государю мое письмо к его величеству, я должен объяснить вам, что смягчил рассказ о моем допросе, отчасти для краткости, а больше потому, что считал неуместным говорить в этом письме о канцелярских промахах, вероятно, неумышленных. Выражение письменного вопроса было не „объясните, в каких отношениях находились вы к Огареву и Герцену“,—а „объясните ваши сношения, о которых имеются в комиссии сведения“, но прежде, нежели дали мне эту бумагу для письменного ответа, один из членов комиссии делал мне изустный допрос (который и продолжался не более 10 минут). Это лицо не решилось сказать в глаза мне того, что было написано в бумаге, а употребило именно те слова, которые привожу я в письме к его величеству: „объясните, в каких отношениях“ и проч., и не решилось заговорить о „сведениях, имеющихся“ и проч. Итак, в письме к его величеству я говорю об изустном допросе. Что же касается письменного, то я, прочитав выражение об „имеющихся сведениях“, вспыхнул и написал горячие слова: „очень интересно было бы знать, какие могут быть сведения о том, чего не было. Я принужден выразить свое удивление тому, что подобные вопросы предлагаются мне“. Через два дня меня призвали в комиссию, сказали, что по закону нельзя допустить таких резких выражений, попросили на другом листе повторить прежний ответ без этих выражений,—я согласился, потому, что не люблю тягаться из пустяков. Но и тут мне не отважилось ничего сказать о каких-то „имеющихся сведениях“ о небывалых „сношениях“. А тут ведь уже нельзя, кажется, было бы не сказать о них, если бы было, что сказать. Напротив, тут уже были со мною любезны, мы даже обменялись несколькими шутками,—почему же и не шутать? Я это люблю. Словом сказать, очевидно, что и „имеющиеся сведения“ просто была канцелярская фраза, употребленная, вероятно, и не по злему умыслу, а только по машинной привычке. Не стоило бы и говорить о ней, но на всякий случай говорю, сожалея о том, что утруждаю вашу светлость такими дразгами.

В письме к его величеству упоминаю я о таябе Огарева с „одним из знакомых мне лиц“; это лицо—г-жа Панаева. Таяба кончилась года два тому назад. Я не имею к ней никакого отношения.

Я упоминаю также о лицах, которым во время моего арестования выражал, что обвинений против меня быть не может и что все дело состоит, без сомнения, в недоразумении или ошибке. Эти лица, по порядку времени: г-н полицейский чиновник, находившийся при моем арестовании; чиновник, с которым я ехал из дома III Отделения собственной его величества канцелярии в С.-Петербургскую крепость, и, наконец, его превосходительство, г. комендант крепости.

Следовало бы мне благодарить вашу светлость за то, что вы приняли на себя ходатайство по моему делу; но не хочу теперь делать и этого, чтобы не могло быть ничего, могущего заставить вашу светлость думать, что в моих словах не все говорится для правды, а хотя что-нибудь и для одного вида. Отлагаю выражение моей правдивой благодарности к вашей светлости и за это ходатайство и прежнюю вашу благосклонность ко мне, до того времени, когда опять буду вне прямой зависимости от вас.

С глубоким уважением и искреннейшею преданностью имею честь быть вашей светлости покорнейший слуга Н. Чернышевский.

20 ноября 1862 г.

Письмо Чернышевского к Александру II все таки дошло по назначению, но, конечно, уже совершенно в ином освещении, причем результатом всеподданнейшего доклада явилась переписка князя Долгорукова с председателем следственной комиссии, кн. Голицыным, который на сделанный ему запрос ответил следующим „собственноручным“ ¹⁾ письмом от 30 ноября 1862 г. с пометкою „секретно“:

„Милостивый государь, князь Василий Андреевич. Ваше сиятельство, препровождая ко мне, по высочайшему повелению, два письма Чернышевского, из коих одно на имя государя императора, а другое на имя князя Суворова, сообщили мне, что его величеству угодно, чтобы я, не говоря о сих письмах ни князю Суворову, ни кому другому, возвратил их вам, с надлежащими справками и с моим собственным заключением, для всеподданнейшего доклада.

Во исполнении сей высочайшей воли, прилагая при сем подробную записку о Чернышевском, составленную из всех бывших о нем производств, я по содержанию сих писем долгом считаю отдельно объяснить здесь следующее. Сущность их заключается в разборе медленных действий комиссии относительно его личности и свойства вопросов, которые ему были даны. Приняв основанием эти два предмета, Чернышевский в пространных и разнообразных рассуждениях, приходит к заключению, что не было настоящего повода к его обвинению и „что спрашивать его не о чем“. Соображая и поверяя действия комиссии, я нахожу, что одновременно с арестованием Чернышевского предстоял еще не маловажный труд пополнить все сведения по проверке и оценке опечатанных у него бумаг. Эти предварительные занятия представлялись тем более необходимыми и важными, что и самое арестование последовало по поводу задержания писем от Герцена, Бакунина и Кельсиева у возвратившегося из Лондона Ветошкина. В числе сих писем одно от Герцена к Серно-Соловьевичу обнаружило сношения первого с Чернышевским. Между тем труды комиссии значительно увеличились. Кроме главного дела, ей порученного, множество других поступило к ней из разных ведомств, но почти в одно время. Все эти дела ею рассмотрены и приведены к окончанию.

¹⁾ По установившейся канцелярской практике, к „собственноручным“ письмам высшие сановники прибегали лишь в особо секретных случаях.—М. Чернышевский.

При таких обстоятельствах трудно было сблизить и ускорить допросы Чернышевскому. Между тем, новое обстоятельство невольным образом отложило их возобновление. Комиссия, для большей улик, ожидает показаний Костюшарова. Рассмотрение и собрание их, совокупно с имеющимися о Чернышевском сведениями, определит степень прикосновенности его в общем деле.

Обращаясь затем ко второму предмету разбора Чернышевского в означенных письмах его, т. е. к свойству и смыслу вопросов, данных ему комиссией, я нужным считаю заметить, что вопросы ограничили первоначально в известных пределах и составились из тех сведений, кои были у нее в виду. Неуместные ответы Чернышевского и самое его упорство вызвали со стороны комиссии указание на статьи уголовных законов. Отвечая в последующих ответах своих существование каких-либо сношений с лондонскими изгнанниками, он утверждал, что он находится в личной неприязни с Герценом и Огаревым. Письмо Герцена к Серно-Соловьевичу, содержание коего означено в приложенной при сем записке, служит лучшим доказательством несправедливости его показания.

Сообразив содержание писем Герцена с изложенными обстоятельствами, ко него касающимися, я полагал бы оставить их без последствий.

Примите, ваше сиятельство, уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности.

Князь Александр Голицын⁴.

С. Петербург.

30 ноября 1862 г.

К этому письму была приложена следующая «записка» «О литераторе отставном титулярном советнике Николае Чернышевском».

„Литератор Чернышевский арестован по распоряжению III Отделения собственной его императорского величества канцелярии и 7-го июля 1862 г. по высочайшему повелению отправлен в крепость для содержания в Алексеевском разетине.

Поводом к арестованию Чернышевского послужили привезенные из Лондона в Петербург отставным коллежским секретарем Ветошниковым письма от Герцена, Бакунина и Кельсиева к разным лицам, в том числе к отставному надворному советнику Николаю Серно-Соловьевичу.

Письма эти обнаруживали сношения лондонской русской пропаганды с некоторыми лицами, проживающими в России, и намерение распространить в империи сочинения, которые предполагают издавать в Лондоне, с явной целью нарушить общественное спокойствие.

В письме к Серно-Соловьевичу Герцен писал: „мы готовы издавать „Современник“ здесь с Чернышевским или в Женеве—печатаем предложение об этом. Как вы думаете?“

При обыске у Чернышевского найдено письмо без надписи и без обращения, к кому оно написано, с выскобленными в нем многими словами.

Письмо это, судя по содержанию, писано Герценом ¹⁾. В нем, между прочим, говорится: „истинно жаль мне, что вас нет в Питере, потому что наши шалят. Вы спрашивали, что такое, что больно было слышать. Да то, что *Чер. поручил тому господину, который в...* (слово выскоблено) *не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекли юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет.* Такой скептицизм равен тунеядству и составляет преступление. А между тем он человек с влиянием на юношество; на что это похоже? Ступайте в Питер, возьмите его за ворот, порастрасите и скажите: стыдно. Вскоре после этого, по случаю какой-то истории Рима, встречаем мы в „Современнике“ статью прямо против нас, т. е. что напрасно так говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало вздор, что Европа не умирает потому, что когда одному человеку 60 лет, то зато другому 20, и что те, кто это говорят—дураки и лжецы, с намеком, что речь идет об нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим знаменем. Зачем это битье по своим, да еще действительно с преднамеренною ложью? Плохо дело. Горе, когда личное самолюбие поднимает голову, завидуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона. *Какая тут общественная деятельность, какое общее дело!* Тут идет продажа правды и доблести из наличных страстишек и видов; продажа дела из-за искусственного скептицизма, который даже не скептицизм, а просто сомнение в приложении себя к делу, без всякого понимания принципиального скептицизма. В добавок к этой статье сказано, что растение умирает оттого, что питательные соки перестают в него из земли с любовью всасываться. Хорош скептицизм! Нет! Поезжайте в Питер и скажите, что это стыдно, что так продавать Христа, т. е. правду и дело—неповозмительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа. Но, будет об этом, только помните, что я считаю эти выходки не личной обидой, а *помехой делу*, поэтому и убежден, что вы обязаны щелкнуть дружеским, но военным кулаком по такой хребтедени.—Далее в письме говорится о требовании со стороны издания, о тройной форме присяги, о подписке на сбор денег, об учреждении контор на трех торговых пунктах, как-то Нижегородской ярмарке, которой-либо из приднепровских и в Ирбите или в ином урало-сибирском пункте; о проекте местных банков, системе репутства, и в заключение выражено: „мы никогда бы не догадались, что Черныш. à la baron Vidil—сжавши дружески возле, вытянул меня арапником!“

Далее в „записке“ приводятся уже опубликованные в книге М. К. Лемке сведения о Чернышевском, почерпнутые из шпионской слежки, установленной за ним с конца 1861 г.

Заканчивается „записка“ следующими словами:

„Независимо обвинений Чернышевского по распространению пропаганды, комиссия, имея в виду вредное направление литературных статей его, поме-

¹⁾ Это письмо (начало—Огарева, потом—Герцена) приведено полностью в книге М. К. Лемке „Политические процессы Михайлова, Чернышевского и Писарева“.—Мих. Чернышевский.

ценных в журнале „Современник“, вследствие чего издание этого журнала под редакцией Чернышевского воспрещено, признала нужным: подвергнуть статьи строгому разбору и сделать из них общий вывод, чтобы тем определить литературные тенденции Чернышевского.

Разбор этот сделан и принят в соображение при дальнейшем направлении дела; а между тем для улик Чернышевского в злонамеренных его действиях ожидается из Москвы от состоящего под судом отставного юрнета *Костомарова* показание, с указанием фактов как против Чернышевского, так и других лиц“.

III Отделение во время сумело перехватить и утаить от кн. Суворова письма Чернышевского, которые могли бы, пожалуй, изменить весь ход дела ¹⁾. Показания Костомарова, а также составленная им записка „Литературные тенденции Г. Чернышевского“ и, наконец, сфабрикованные им же, несомненно, подложные документы сыграли свою роль, и участь Чернышевского „ad majorem Dei gloriam“ была решена так, как того хотели III Отделение и сам Александр II.

Мих. Чернышевский.

¹⁾ Предположение, конечно, очень гадательное и субъективное: хотелось бы так думать.—Мих. Чернышевский.

Флеровский-Берви и кружок Долгушина.

Много жертв вырвало из рядов революционной молодежи движение семидесятых годов. Если сравнить число погибших с числом всех участвовавших в этом движении, то цифра получится ужасающая. Не длился этот путь, а весь усеян могильными холмами. Есть кружки, в которых „вихорь злобы и бешенства“ разметал всех членов кружка до единого, рассеял, смел так, что и следа не осталось. Такаим именно судьба постигла кружок долгушинцев. Один за другим в сравнительно короткое время пали в цвете лет вышедшие на борьбу, бодрые и смелые. Они рвались в бой, они не ждали примера от рабочих, не ждали призыва с запада, санкции от Бакунина или Лаврова, они первые, в 1873 году, круто порвали со „старым миром“ и на собственный страх и риск, выстрадав предварительно наизуанное ими, двинулись в народ. Их было немного, но они крепко сплотились, дружно сомкнулись. Кружок долгушинцев—типичнейший интеллигентский кружок революционной молодежи начала семидесятых годов.

В нем, в этом кружке, как в миниатюре, отражается весь „порыв и натиск“ той эпохи, своеобразные особенности ее, жизнеощущение и миропонимание того молодого поколения, которое задало себе колоссальную задачу, поставило недоступную для него цель и пало под тяжестью этого огромного начинания. Следя шаг за шагом за историей возникновения этого замечательного кружка, за той внутренней работой мысли, которую кружок этот предварительно пережил, можно близко к правде нарисовать соответствующую картину революционного движения того времени—в целом. И идеи, и цели, и стремления, и люди—все в общей совокупности и в частности носит на себе неизгладимую печать того времени: искание истины, доброты, нравственных устоев, готовность к полному самоотречению, к жертвенности во имя обожаемого народа прежде всего,—вот что отличало это движение.

И когда сейчас передо мной восстает образ этого кружка, когда вижу Долгушина, сосредоточенного, сдержанного, сильного и решительного, Дмеховского—экспансивного, открытого, порывистого и привлекательного. Плотишкова,—застывшего точно в экстазе охватившего его всецело нового устремления, новой „правды“, Гамова, не утвердившегося еще, упорно ищущего и вопрошающего, в тиши своей комнатки набрасывающего планы будущего федератив-

ного устройства России, одним ударом рассекающего гордые узлы общественных проблем, когда все это разворачивается передо мною, я говорю: то семидесятник стоит передо мною, то он бьется, как рыба об лед, ищет, чтобы обрести, стучится, чтобы отверзлось ему!...

Осенью 1872 года начал формироваться кружок долгушинцев. В основной кружок вошли: Долгушин, голова кружка, Дмоховский, сердце кружка, Ив. Папин, Н. Шотников, Дм. Гамов, А—др Чиков, Ананий Васильев и др., примыкавшие только к ним. И вскоре они напали на след своего пути и смело пошли по нему ¹⁾.

Зимой 1872 года у долгушинцев происходят многочисленные сходки ребром ставятся жгучие вопросы, бык берется за рога. Ставится вопрос о „нормальном человеке“. Что надо разуметь под „нормальным человеком“? Тема была отнюдь не академическая, а вытекала из глубин умственно-нравственных исканий кружка. Под „нормальным человеком“ надо разуметь человека, в котором заложены все возможности разностороннего гармонического развития личности, как телесной, так и духовной. Оно достижимо лишь в том случае, когда личность живет и действует в нормальной среде, способствующей полному развитию этих возможностей. Ближайшим его условием должен быть труд, направленный на общественную пользу, свободный от гнета как извне, так и изнутри,—труд, основанный на солидарности всех трудящихся, на трудной совместной их кооперации, где эксплуатация человека человеком не может иметь места, где свобода, равенство, братство осуществляются не на словах, а на деле. Наши „верхи“—вельможи, чиновники, дворяне и купцы и проч.,—яже с ними, а равно и наша „интеллигенция“, представляют-де собою среду, по природе своей, безусловно неблагоприятную для воспитания „нормального человека“: эта среда не только в своем собственном царстве убивает слабые ростки возможного развития „нормального человека“, но и задерживает всячески, тормозит беспрестанно свободное проявление „нормального человека“ и в рабочей среде. Только последняя является живой носителем идеального типа „нормального человека“. И если этот тип в рабочей массе не выявляется сейчас во всей его полноте и красоте, то этому исключительно мешают гнет властвующих и эксплуатация имущих классов, которыми они, эти угнетатели и эксплуататоры, систематически уродуют массу физически, притупляют ее умственно и принижают морально. Надо открыть глаза массе, надо ей показать, что такой порядок противоречит „закону природы и правды“. Масса легко поймет это: она веками живет этой моралью, хотя и не может ее формулировать; вся ее крестная жизнь есть лишь неустанный воплощение в человеческих отношениях „закона природы и правды“; она, масса, вечно к этому стремится, но отбрасывается с истинного своего пути грубым натиском насильников и эксплуататоров.

¹⁾ См. „Предварительное следствие по делу о составлении и распространении различных прокламаций противогосудар. характера“. Начало декабря 21 дня 1873 года. Конца 20 февраля 1874 года. На 379 листах. Ист.-рев. арх.

Уже с весны 1873 года долгушинцы развернули лихорадочную деятельность. Они уже все вопросы порешили, они уже на новом пути. Они — обреченные. Все корабли сожжены, отступление невозможно. Недостает лишь некоторых „снарядов“ в дальний путь: брошюры для народа, которая заменила бы ему евангелие. Долгушинцы с этой целью завязывают знакомство с Флеровским. Через Дмоховского, отец которого был очень близок с Флеровским, они знакомятся с последним. Они хорошо знали отношения последнего к молодежи, знали направление его мыслей, знали его, как автора „Положения рабочего класса“ и „Азбук“, знали, наконец, о его связях с чайковцами. Они решили: Флеровский непременно напишет для них такую брошюру. Василий Васильевич Флеровский охотно согласился, но заметил при этом, что, „как бы плох ни был существующий порядок, существующий в России, но он образовался исторически, со всеми воззрениями и инстинктами, которые из него произошли“ ¹⁾. Это значит: не берите на себя слишком тяжелую ношу, ставьте цели и задачи, реально-осуществимые и достижимые. Мудрый совет старшего товарища-друга. Под влиянием молодежи, Флеровский словно помолодел сам: его озаряет новая идея, всецело охватывающая его — создание новой религии, как мощного орудия завоевания народа.

Вот что он по этому поводу говорит: „у меня постоянно было в уме сравнение между готовящейся к действию молодежью и первыми христианами. Они еще не выступили в дело. они только готовились и, одушевленные беззаветным своим энтузиазмом, были вполне уверены в своем успехе. Я был также убежден, что с ними сладить будет нелегко, но когда я обозревал беспредельное поле действия среди непочатого русского народа, тогда я убеждался, что успеха можно ожидать только тогда, когда охвативший молодежь взрыв энтузиазма будет превращен в постоянное и неистощимое чувство. Непрерывно думая об этом, я пришел к убеждению, что успех можно обеспечить только одним путем — созданием новой религии.... Надо научить народ посвящать свои силы только самому себе, сделать его способным жить и переносить все на свете ради своих братьев; они, и одни они, должны быть предметом его любви и его горячих желаний; к ним одним должны быть обращены его горячие чувства; они одни должны стоять в его глазах выше всего и составлять все целью его жизни; они должны составлять его религию. Я стремился создать религию братства!.. Если бы можно было эту самую молодежь превратить в апостолов такой религии. Если бы убывающие ряды их пополнялись все новыми верующими, которые, подобно первым христианам, горели бы возрастающим энтузиазмом, тогда успех был бы обеспечен“ ²⁾.

И Василий Васильевич, конечно, со свойственной ему откровенностью и чистосердечием выложил все это перед молодежью. Последняя с живым интересом слушала Василия Васильевича. Новая религия манила ее своей

¹⁾ В. Флеровский. „Три политические системы“. Лондонское изд. 1897 г.

²⁾ В. Флеровский. „Три политические системы“. Стр. 297—298. Курсив везде мой.

эмоциональной стороной—нафосом. Это тогда гармонировало с тогдашним настроением молодежи, п долгушинцев—в особенности.

Вместе с тем она не противоречила их собственной идеологии и ближайшим их целям: ведь „религия равенства“ стремилась к установлению братства, солидарности между людьми, а, следовательно, в последнем счете—к уничтожению эксплуатации человека человеком, т.-е. к той же конечной цели, к которой стремится социализм. А потому—де вполне целесообразно было бы,—рассуждали молодые,—сделать в этом направлении опыт в народе: как такая религия, без бога и святых, приемлется народом, как воздействует на нее народ. Книга была написана и пущена сначала в рукописи в народную среду, и когда оказалось, что она произвела сильное впечатление на народ, решено было ее отпечатать. Заглавие этой брошюры первоначально было: „О мученике Николае и как должен жить человек по закону правды и природы“. В марте 1873 года Дмоховский едет за границу, в Швейцарию, и печатает книжку. Но первая заграничная вариация не удовлетворила ни Флеровского, ни долгушинцев, и решено было переделать ее. Так появилась вторая вариация под заглавием: „Как надо жить по закону природы и правды“. Этот вариант был уже отпечатан в своей, долгушинской, типографии в Сарееве, звенигородского уезда (московской губернии). То было летом 1873 г.

Долгушинцы утверждают, что брошюра эта была принята народом с восторгом. Флеровский подтверждает то же самое и приводит в своих „воспоминаниях“¹⁾ один весьма трогательный случай: во время своих обычных прогулок на даче с книгой в руках он встречает рабочего-финляндца, который, завидя его, Флеровского, круто оставляет свою работу, подбегает к нему и, пожимая ему руку, говорит: „твоя книжка говорит правду, будем вместе молиться!...“ Пишущий эти строки может, с своей стороны, сказать то же: где бы ему ни приходилось читать крестьянам эту брошюру—в глухих и забытых богом и добрыми людьми деревнях и деревушках пензенской губернии, или в торговых слободах тамбовской и харьковской—езде она, эта брошюра, производила потрясающее впечатление. Но тут же я должен оговориться: впечатление не было длительное, как это, например, производила „Хитрая механика“, или простая устная беседа с крестьянами, иллюстрируемая картами и картограммами, о малоземелье, о выкупных платежах, о податях и всяких фискальных и административных тяготах вообще.

Брошюра была для них, крестьян, чем-то вроде „музыки будущего“, вторые—„хлебом насущным“, „ядобой дня“. Первая не волновала, а уносила лишь „горе“, последние же подымали тревоги, зарождали вопросы, пробуждали мысль, энергию и волю к действию. В конце-концов брошюра не оказалась „религией братства“, и сам Флеровский скоро горько убедился в этом и предался отчаянию. Скажу уж здесь в скобках, что по поводу этой брошюры Флеровского арестовали, долго держали в Петербурге, а потом и в Москве, вымотали из него всю душу, но он сумел представить своему прокурору-сле-

¹⁾ Я разумею его брошюру „Три политические системы“. Лондон. 1897.

дователю такую „записку“ — шедевр юридической аргументации, что камня на камне не осталось от построения прокурора. III-е Отделение и царь были очень огорчены этим исходом: им очень хотелось приобщить Флеровского к делу долгушинцев, очень хотелось им осудить его, но пришлось по неволе ограничиться... административной карой: отправить его (надолго) на север (в архангельскую губернию). Не мытьем, так катаньем.

Лето 1873 года долгушинцы уже на работе—„в народе“. То была лихорадочная работа. Люди буквально сгорали на этой работе, не жалели себя, не думали о себе: печатали доморошенным способом прокламации свои, брошюры для народа, распространяли все это, читали народу.

То тут, то там появляются, бросают искры, авось от них возгорится пламя, и кровавое зарево его раздастся мощным призывом к народной расправе.

Никаких предосторожностей, никакой конспирации—открыто, смело. Пятеро их было: Долгушин, Дмоховский, Папин, Плотников, все из интеллигентской среды, и один подросток рабочий, Ананий Васильев. Не велика рать. Но они могли гордо сказать врагам: „из искры возгорится пламя“ — славный ответ декабристов Пушкину. Когда я сейчас перебираю в моей памяти штрих за штрихом, черту за чертой все перипетии этой первой вылазки наших пионеров-семидесятников на исконного врага, когда припоминаю все то, что я слышался о долгушинцах с разных сторон, когда припоминаю то потрясающее впечатление, которое произвел на меня летом 1874 г., во время уже пропаганды моей в деревне, начинающийся процесс по делу долгушинцев, когда я сейчас углубляюсь в фоллянты „следственного дела“ о долгушинцах, тогда, словно из гроба, встают передо мною не тени погибших товарищей, а одетые плотью светлые образы их...

В лежащем передо мною „следственном производстве“—масса цепного и высокой степени материала, рисующего, можно сказать, интимные стороны характера этого кружка. Мы воспользуемся здесь некоторыми данными.

Вот перед нами протокол № X. Осмотр дачи Долгушиной, где находилась типография. Прежде всего бросается в глаза следующее: в доме найден в углу стоящим на полке деревянный, некрашенный, ручной работы крест, на котором сверху сделана надпись: „Во имя Христа“, и на перекладине креста: „Свобода, равенство, братство“. Надписи на стенах: на одной: „O God, o soul, o Glory of liberty, night and day their lightening, their light... What man shall stop us and what God shall smit us?“ (О, Бог, о, душа, о, слава свободы, и днем, и ночью их молнии и свет... Мы греем, как рабы. Но если твой перст коснется нас, то они бегут... Какой человек остановит нас, какой бог поразит нас?). На другой: *Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.* („Что не может быть излечено лекарьством, то излечивается железом, чего не может излечить железо, то излечивает огонь“. Гиппократ.) Над дверью в комнату:— „*Segui il tuo corso; e lascia dir le genti.*—“ „*Ne sers que lui; sa cause est sainte; il souffre et tout*

homme auprès peuple est l'envoyé de Dieu.“ („Шествуй своей стезей и пусть люди говорят, что хотят.“ — „Служи только ему, ибо его дело—священное; он страдает и всякий человек вблизи народа—посланник Бога.“) Это написал Долгушин на разных языках—английском, французском, итальянском и латинском.

Что это—красивый жест? Фраза? И то, и другое чуждо натуре Долгушина. Это—заповеди, дорогие сердцу Долгушина, он пишет их на видном месте на стенах и у входа у дверей, чтобы они постоянно были перед его глазами—как memento vivere (как напоминание о том, „как надо жить“), от них веет гордостью высокой мысли и отвагой борца („Шествуй своей стезей и пусть люди говорят, что хотят;“), от них веет жертвенностью и порывами звысь („О, Бог, о, душа и т. д.“), в них, наконец, слышится лязг разящего стального будата (изречение Гиппократа.)

Какие сложные движения души! Крест—символ искупления и революции—выражение „святого гнева“. „Во имя Христа“ и „Свобода, равенство, братство“. Революция жертв просит—иди на крест! Революция кровавой борьбы требует—рази мечом!

Это не было так просто, как другие себе представляют: прочла-де молодежь одну—другую пол-дюжины тенденциозных книжек, наслушалась призыва Бакунина и Лаврова и пошла в народ. Нет! То была подлинная драма растущей и выпрямляющейся души, то были муки рождения больших дум и тревожных запросов сердца. Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, читала Евангелие и горько рыдала над ним. Чего она искала в Евангелии? Какие струны ее души были так задеты „благой вестью“?...

Крест и фригийская шапка? Но это было, было, читатели!

И не одни долгушинцы были такие. Я сам все это переживал тогда: я потому и принял христианство—по глубокому моему сердечному движению, по любви моей к Христу. Далеко ушло от нас это время, но и я сейчас не могу этого объяснить. Все объективные причины и условия сохраняют, конечно, свою силу, как моменты, обуславливавшие все это движение в целом, но они не все объясняют, не все вскрывают. Могу только одно сказать: покаянного чувства во мне и следа не было. Да и откуда оно могло родиться во мне? Скорее мне, как одному из представителей угнетаемой народности, следовало бы предъявить вековое к уплате, чем самому по какому-то фантастическому займу платить! ¹⁾ Не видал я также этого покаянного чувства и у моих товарищей дворян, шедших со мною по одному пути.

¹⁾ То же можно сказать и о представителях других „покоренных“ и „инородческих“ национальностей (поляки, кавказцы, латыши, финны и проч., проч.) Сюда же относятся и представители жалкого мелкого чиновничества, мелкого духовенства и мелкого городского мещанства. Все они—не эксплуататоры, самое большее—паразиты, но они—„униженные и оскорбленные“, а где унижение и оскорбление, там нет места чувству „покаяния“. А их было 42% революционной молодежи (по процессам) (См. Л. Э. Шипко. И. с., стр. 85, выписка).

Кто выдумал это? Чтобы отдаться народу, совсем не требуется покаяния: ум и сердце, согретые мыслью и чувством, достаточны для этого. А этим, хотя и мы не вончали университетов и академий, „господь—бог“ не обидел нас. Для счастья народа—нет жертв, для блага народа—один путь, путь борьбы. Мы к этому и стремились, мы этого и хотели. Просматривая протоколы, относящиеся к другим долгушинцам, мы у них находим в существенных чертах то же самое; те же сложные движения души, те же сложные мотивы действия.

У Миткевича-Далецкого мы находим даже те же надписи.

У всех почти находим Евангелие и это не только ради пропаганды—нет; тут чувствуется другое.... что и у Долгушина. Попадает даже у Циммермана такая книга: Молитвенное обращение к богу об умиротворении совести. (Курсив мой. А.)

Протокол VI. Занимает несколько листов; к сожалению, во многих местах грубые искажения, невежество и безграмотность.

Гамов—в высокой степени адумчивый человек, с критическим умом, беспокойным, ищущим. Он все хочет знать досконально, все хочет предвидеть, предусмотреть, чтобы не было промаха, ошибки. Дело большое затевается, надо на все смотреть с открытыми глазами. Он оставил много „записок“, дневник—все ценное. У него, конечно, Евангелие, но рядом с этим „Исторические письма“, сочинения Флеровского с обширными выписками как из этих сочинений, так и из его статей в—„Сборнике Недели“. Начинает он с плана организации революционных сил. Надо привлекать силы из всех сословий, но особенно—из духовного и военного. Тип организации—централистический. Он прослеживает весь процесс организации до момента вооруженного восстания, когда и военные станут на сторону революции, и духовенство даст свое благословение.

Гамов идет дальше. Он спрашивает: как же по совершении революции устроимся? И он набрасывает смелой рукой план реорганизации России на федеративных началах. Гамов предлагает при этом любопытную картограмму. Россия разделена на 29 федераций: Великороссия, Малороссия, Литва образуют группу федераций в среднем из 3 (трех) губерний. Он принимает во внимание исторические, этнографические и бытовые особенности населения губерний. Польша, Финляндия, Кавказ, Закавказье, Войска Донское и Кубанское составляют самостоятельные федерации. Федеративный строй, по мнению Гамова,—лишь переходный к коммунистическому: к вольному союзу свободных коммун, которыми вся покроеется. Такая постепенность неизбежна, диктуется историческим ходом развития и сложения государственного строя России. Все это развивается, без всякого насилия. „В других странах нелепо поступили, что прямо объявили коммуны“. (Гамов). (Курсив везде мой. А.)

Далее Гамов переходит к анализу хозяйственного и административного устройства будущих коммун. Он предвидит несогласия, столкновения интересов и на административной, и на хозяйственной почве. Но все это уладится естественным ходом вещей, который приведет к естественному порядку. Там, где собственники вкрапливаются в общинные коммуны, первые, в силу

объективного хода вещей, вынуждены будут перейти к общинному землевладению, ибо последнее окажется материально более сильным и обеспеченным, а, это, в последнем счете, приведет и к административному слиянию. „Собственность,—говорит Гамов в другом месте,—не отвергается, но в каком смысле подразумевается собственность? Всякий человек считает своей собственностью то, что воспроизвел своим трудом, на что приходилось употреблять собственные его физические силы, и при этом будет считаться собственностью только в количестве, ограничивающем его жизненные потребности. Всякое исключительное владение кем-нибудь какой-нибудь частью земли отменяется, и земля предоставляется в полное обладание всем, так как земля, как стихия природы, есть достояние всех, как воздух и вода. (Учение о „нормальном человеке“ и „законы природы и правды“).

Любопытны его суждения об „образе правления“:— „На царя у нас смотрят, как на помазанника божия, а потому идти против царя в России невозможно; для этого нужно выдумать такую религию, которая была бы против царя и правительства (Курсив мой. А.). Последователь—де найдутся непременно: „Мы знаем, что всякая секта собирает около себя громадное количество и последователей. Надо составить катехизис и молитвы в этом духе“ (Курсив мой. А.). Опыт—„религия“. Как не видеть здесь, между прочим, влияния В. В. Флоровского? В конце концов Гамов допускает, что если будет глава государства, то это будет—выбранный из 29 представителей 29 вольных федераций, стало быть, —выбранный народом, а не „божией милостью“ царь.

А конечная цель федеративного устройства России—„анархия“, т. е. „естественный союз“ людей, основанный на свободе и равенстве, без принудительной силы закона. Таков идеал будущего общественного устройства России, после революции, по Гамову.

Кроме записок имеется еще любопытнейший дневник Гамова. Дневник писан карандашом (очевидно, Гамов торопился все слышанное закрепить на бумаге) с 9 сентября по 25 декабря 1873 г. (с перерывами). Вот некоторые отрывки.

„9 сентября (воскресенье). Были не все, окончательно решили, чтобы не читать никаких книг, и почти все решили, чтобы сперва заниматься предварительными занятиями, именно, посвятить несколько дней на исследование всех движений русского народа, а потом уже приступить к исследованию всех учений, касающихся практической почвы...

23 сентября (воскресенье). Порешили заниматься сперва исследованием всех социальных вопросов, начиная с уничтожения феодализма, а там (потом? А.) уже приступить к практическим, т. е. рассмотреть цель и средства...

Все наши совещания состояли в передаче друг другу фактов; между прочим, было говорено, что городские жители—те же фабричные. от них мало кое-чего хорошего узнать; для этого необходимо потеряться между сельским населением. В старобельском уезде народ взбунтовался по поводу воли (2 года тому назад), и на них была выставлена вооруженная сила, которая

три раза бралась в штаны и ничего не могла сделать. Лермонтов, приехавши из Харькова, сообщил, что малороссы не хотят платить ни оброков, ни податей...

4-е декабря. Я был у Кишкиной, был брат второй, Аносов и две женщины, из которых одна пожилых лет. Они сообщили, что в Зарайске, в селении, находящемся близ него, крестьяне взбунтовались, начали гнать в шею станового и др. и окончательно отказались платить. На просьбу, чтобы они повиновались, они отвечали:—зачем? А зачем нам школу, да ты скажи, зачем и кому они... В Александрии стычка между мужиками и отрядом солдат. Эти женщины обещались достать рукописи декабристов. Другая женщина передала мне, что в селение (? А.) был назначен учитель новый на место старого, это сильно встревожило крестьян, они подняли бунт, и начальство, не смотря на все усилия, принуждено было отказать этому учителю, которого впрочем без того рабочие выгнали чуть ли не в шею... Затем после списка фамилий декабристов извлечения из Симона, разные заметки, извлечения из газет... Далее заметка по поводу восточных и западных славян, где говорится о поляках, которые должны возвратить свою самостоятельность, и оканчивается следующими словами:—„Странно, как это в России установилась монархия, ведь у ней с самого рождения и далее была коммунистическая форма правления ¹⁾“.

Дневник интересен: склок того, что на всех сходках повторялось. Эти „слухи“, разговоры о „бунтах“ все время циркулировали в нашей среде, возбуждали нас; хотелось верить и верилось, что народ уже „готов“. А в действительности—гора мышь родила, но у нас шоры были перед глазами... А заключительный аккорд о „коммунистической форме правления“? Ведь то было для нас Сезамом, как в арабских сказках...

Далше имеется набросок составленной им программы, но все так исковеркано протоколистом, что нелегко разобраться в этом. Гамов ставит категорический вопрос о необходимости отчетливо высказаться относительно будущего идеала. В этом отношении он предвосхитил идею Кропоткина, который позже тоже выдвинул вопрос: „Должны-ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?“ Гамов решительно высказывается за это.

Мы уже знаем, что Долгушин написал две прокламации: „К русскому народу“ и „К интеллигенции“. Нам надо познакомиться с их содержанием, так как оно очень характерно как для Долгушина, так и для того времени.

Эпиграфом для первой прокламации Долгушин выбрал стих Евангелиста Матфея: „Ищите и обрящите, стучите и отверзится вам; ибо всякий, кто ищет, находит, и стучащему отверзается.“ Прокламация „К русскому народу“ написана в приподнятом нравственно-религиозном тоне. Она является в значительной мере подражанием брошюре „Как надо жить по закону природы и правды“. Сдается, что Флеровский и здесь оказал свое влияние: манера говорить, аргументация, апелляция к „вечной справедливости“, „к закону

¹⁾ Подчеркнуто мною. А.

природы и правды“, и „естественному праву“,—словом, основные тона прокламации отдадут утопическим социализмом, которого В. В. Флеровский в то время еще не изжил. Нам не приходилось читать народу эту прокламацию, но думаем, что она, особенно платформа ее, произвела бы сильное впечатление.

Приводим ее в извлечении:

„... Мы, ваши братья, обращаемся к вам, угнетенным людям, и взываем во имя вечной справедливости, восстаньте против этих несправедливых порядков, не подходящих человеку, высшему и лучшему созданию на земле.

Восстаньте, братья, и праведно будет ваше восстание, и благо будет вам, если вы дружно подыметесь и смело будете стоять за свое правое святое дело, никому ничего не уступая „...“ Только встань и скажи смелое свое слово, и угнетатели твои затрепещут перед тобой и униженно попросят пощады... И когда ты победишь, ты устроишь так жизнь свою, чтобы она не давала разводиться угнетателям, и когда не будет ни угнетателей, ни угнетенных, тогда ты будешь счастлив вполне... „... И вот, когда вы потребуете для себя лучшей участи, злые люди—лиходеи станут кричать против вас, что вы бунтовщики, что вы всех перерезать хотите... и все такое... Это уж так бывает всегда, вспомните, что говорит Иисус Христос: Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками“.

В заключение прокламация предлагает целый ряд требований, предлагает свою платформу: — „И так, мы требуем, во-первых, что бы оброки были уничтожены. Земля—то спокон веку принадлежала народу—пахарям, он заплатил за нее вековым своим рабством, — крепостным правом и т. д. „—“ За что же платить-то? По справедливости помещики должны бы еще нам заплатить за то, что мы за них даром работали за все время, пока они нами владели; а тут, напротив, нас же еще они платить заставляют: это уж совсем не годится. А ежели во всему этому прибавить, что заставляют иной раз выкупать землю негодную, али платить такой оброк, что он в сложности-то больше того, что и земля-то выкупная стоит,—ежели все это обдумать, так выходит ни с чем несообразно. Но есть еще одно: земля создана для всех, и каждый человек имеет в ней свою долю безо всякой платы за это; а ежели за это полагается плата, так это вот что значит: некоторые люди насильно захватили землю в свои руки да и заставили других покупать ее у них. Мы спрашиваем, справедливо-ли это? не насильно-ли это? не грабеж? И разве у людей не одинаковые потребности? Нет; мы знаем, что все люди равны от рождения, и уж от природы неотъемлемыми правами и прежде (всего?) всякий имеет право на жизнь, свободу и счастье. Земля наша кормилица и все имеем одинаковое право на нее. Вот из-за всего этого мы не хотим платить оброков“.

— „Второе наше требование подобно первому: мы не хотим пользоваться малыми наделами и плохой неудобной землей, потому что такая земля плохая кормилица. Да и что за нужда пользоваться такой землей, коли в нашем отечестве на всех хватит хорошей земли, из-за чего же тут мыкаться? Поэтому тре-

буем мы всеобщего осмотра, передела всей земли крестьянской, помещичьей и казенной, — для того, чтобы распределить ее между всеми по справедливости, чтобы всякому досталось сколько надобно.

„В третьих, чтобы не было некруткины, какая теперь бывает каждый год: она дорого нам стоит и сильно разоряет наши хозяйства“ . . . „ . . . Неужели оставлять такие порядки? Нет; мы требуем, чтобы рекрутская повинность была уничтожена и заменена вольным обучением в школах, и чтобы только во время войны собиралось войско . . . “ . . . В этих школах всякий человек выучится и сумеет, коли надобность будет, постоять за себя и за отечество: тогда стоит только клич кликнуть — и соберется войнство, изберет оно себе офицеров и всех, кого нужно, из своей же братии, и поведут эти изблюбленные бою вольное войнство на битву . . . При таких порядках не придется тратить на содержание войска столько денег, сколько теперь тратим.

„В четвертых, требуем мы хороших школ (за грамотного двух неграмотных дают) . . . чтобы устроены они были наилучшим манером; чтобы учителями у них были люди сведущие и ученые; чтобы не напрасно ходили в них наши дети, а выучивались бы всему, что нужно человеку для того, чтобы уметь постоять за себя, за ближних своих, свое отечество . . .

Знание — сила, знание — свет.

Рабство без него.

„В пятых, требуем мы, чтобы паспорта были уничтожены.

„И вот, наконец, последнее и самое важное наше требование: мы не хотим, чтобы с нас собирали сколько угодно и тратили все, куда хотят. Как, мы отдаем казне часть своих средств, добытых нашим тяжким трудом, и не знаем, куда они деваются, как будто моты какие-нибудь, словно для нас все равно, пойдут-ли они на хорошее дело или пропадут даром ни за что, про что.

„Нет; мы не можем так беспутно поступать, деньги нам, чай, в подарок достаются, мы, вель, не дворяне, нам так нельзя. Но нам правительство должно делать расходы с общего нашего согласия и отдавать народу во всем самый подробный отчет . . . “ . . . Мы не хотим, чтобы всеми делами управляли дворяне, нам не нужно чиновников, мы ведь знаем, что они нисколько не заботятся о наших нуждах, а норовят только, как бы нажиться на наш счет.“

„А хотим мы, чтобы управляли народ через своих выборных; чтобы правительство состояло не из одних дворян только, как теперь, а из людей, избранных самим народом; за ними народ будет наблюдать и спрашивать с них отчет и сменять их, когда будет нужно. Такое правительство будет делать только то, что полезно народу, а чуть оно задумает делать что-нибудь вредное, — его остановят и сменят. Только такое правительство может искренно заботиться о нуждах. Теперешнее правительство может почитаться, как враг народа, потому что оно разоряет народ и не заботится о нуждах его“ . . .

... „Ежели бы все эти требования наши исполнились, то, клянемся, не стало бы таких безобразных беспорядков, какие теперь у нас имеются. Не будет ни угнетателей, ни угнетаемых, не будет неученых, темных и бедных людей, а будем мы все счастливы, будем жить, как подобает человеку, властелину земли. Так вот в чем наше дело. Рассудьте же, добрые люди, есть-ли тут что-нибудь незаконное или несправое. Мы твердо уверены, что оно святое и правое дело, и теперь нужно только подумать о том, — каким манером мы хотим достичь того (чего) хотим. Но как не думать, одно средство находим, без которого ничего не поделаешь: нужно всем столковаться, а не брести врозь. А согласиться-то, кажись, (не) трудно, ведь у нас одно житье-бытье, одно (горе).

„Когда мы согласимся, тогда будем так сильны, что сильнее нас никто не будет. Но как добиться общего согласия? Да вот как: ежели одно общество согласится, пускай оно пошлет от себя выборных в другое общество, чтобы согласить его действовать за одно; коли оно согласится, тогда послать выборных двух обществ к третьему и так дальше-больше из деревни в деревню, из села в село, из волости в волость, из уезда в уезд, из губернии в губернию“ ¹⁾.

„Пусть, как единый человек,
Вся Русь замученная встанет,
Освободит себя на век;
Земля родной на всех достанет“ ²⁾.

Остановимся на момент на этом замечательном документе. Если общая часть (в извлечении) раскрывает перед вами утонченную природу его, то платформа воззвания своими конкретными подробностями, так выпукло рисующими назревшие уже требования народа, прямо импонирует знаниями народной жизни, народных нужд. Приходится удивляться такой прозорливости Долгушина. Но если вспомнить, как близко стояли долгушинцы к Флеровскому, как сам Флеровский ведал и всегда проводил настойчиво мысль о необходимости действовать в народе, становясь на почву совершенно назревших уже нужд и потребностей, то мы можем, думается нам, без всякой натяжки сказать: тут указание Флеровского видно, тут его перст во всем чувствуется. Я уже не говорю об общем всей прокламации, ее нравственно-религиозном, почти евангельском тоне: это, утверждаю, если не прямо навеяно Флеровским, то явилось к долгушинцам, как и у многих из нас, как „дух времени“, — другого, более подходящего выражения сейчас подыскать не могу. Интересна в этом воззвании характерная черта: царь игнорируется, обходится дипломатично, словно его нет или без него совершенно можно обойтись. В центре обстрела стоит „правительство“ из „дворян и чиновников“, его-то, „infame“ (выражение Вольтера по отношению к католицизму) надо, прежде всего, убрать прочь

¹⁾ Вставил слов и отдельных букв в клямки-скобки принадлежат ведале иже. Отмечательно неуклюже, „неопытными руками“ по экспертизе Риса. А.

²⁾ Заимствовано из „Ослушной песни“. А.

с дороги и заменить „народным правительством“, „излюбленными выборными“, которых во всякое время можно было контролировать и убрать по добру и здоровью, когда они окажутся не на высоте своего положения. Что это за правительство при царе, которое будет ответственно перед народом? Парламентарное? Но долгушинцы—анархисты *pur sang*. Долгушин дипломатично обходит вопрос. На первом плане у него: всенародное восстание, которое передаст все в руки народа, и они, т.-е. долгушинцы, „клянутся“, что за ним наступит царство правды на земле, где „не будет ни угнетателей, ни угнетенных, ни неученых, темных и бедных людей, а будем мы все счастливы, будем жить, как подобает человеку, властелину земли... Это святое и правое дело“...

Итак, в последнем счете—вся надежда на народ: он сам устроит все „по милу, по добру“. Неискренняя вера в творческие самобытные силы народа—вот заключительный аккорд этой прокламации.

Прокламация „К интеллигентным людям“ написана совершенно в других тонах. Автор—Долгушин хорошо знал свою аудиторию, хорошо знал ее психологию, задушевные думы и чаяния. И его стиль не евангелический, а твердый, как алмаз режущий, как сталь рубящая; его голос—не голос проповедника, с глазами обращенными горе, а голос гордо-призывной: он зовет к борьбе, непримиримой, беспощадной, неотложной. Мертвые в гробах, восстаньте,—вои его призыва. Он не нуждается в стимулах извне, во внушениях со стороны: он сам твердо знает, куда он идет и куда зовет «спящих». В виду огромной важности этой прокламации, как завет передовой части молодежи к молодежи,—приводим ее целиком.

— «К вам, интеллигентные люди, которые вполне поняли крайнюю ненормальность современного положения вещей,—к вам мы обращаемся и приглашаем вас идти в народ, чтобы возбудить его к протесту во имя лучшего общественного устройства. Пусть, кто только может, направит все свои силы на дело народного освобождения и не думает, чтобы какая бы то ни была жертва была для него слишком велика. И где можно более принести пользы? Так не в земстве, куда рвутся наши молодые силы, обманутые внешностью? Но земство бесправно, оно—живая форма, наполненная и постоянно направляемая рукою деспота, которому никогда не понять, в чем собственно заключается благо народа. Или хотите вы заниматься устройством артелей? Но ведь это значит вливать новое вино в старые меха, потому что артель предполагает принцип солидарности, а вы хотите втиснуть ее туда, где абсолютно господствует грубый личный эгоизм.

„Подготовьте же сначала почву, если хотите, чтобы принялось новое растение. Вспомните Рочдельскую артель: вот вам хороший пример того, как вырождается новый принцип, когда он окружен несоответственными ему условиями. Благотворительность? Но она не выдерживает никакой критики. Что же еще? Уж не хотите-ли быть примерными отцами семейства и заняться воспитанием детей, чтобы сделать из них людей с новыми мировоззрениями? Или будете вы добиваться так называемой личной независимости? Но как в том, так и в другом случае вам придется целую жизнь быть эксплуататорами

и паразитами?... Неужели вас не замучит эта гнетущая мысль? Да, в итоге, нигде вы не будете так полезны, как в роли народного пропагандиста новой лучшей жизни. Вспомните слова Прудона: „Воля и вера провозглашались во все времена величайшими силами природы и человечества, в нас живет вера в справедливость нашего дела, в правду наших принципов, в ценность наших догматов,—нам ли недостает воли“?

„Неужели мы не представим в один прекрасный день новое зрелище людей, убежденных и непреодолимых в их верованиях и вместе с тем решительных и постоянных в своем предприятии? Докажем, что мы искренни, что наша вера горяча и наш пример изменит ли до земли (Курсив мой. А.) И не думайте, чтобы русский народ не мог понять вас и грубо оттолкнуть бы вас от себя; если это говорят иногда, то говорят только на основании фактов, которые всегда доказывают только неумение действовать, а чаще всего отсутствие искренней преданности делу. Кто не знает, как русский человек любит сочувствие и как он умеет ценить того человека, который страдает его страданиями, лишь только подметит эту симпатию? Но если он видит, что с ним только себя разводит, то он справедливо раздражается и дарит презрением. Так пусть люди, которым дорога правда, для которых проводить истину в жизнь стало органической потребностью, пусть эти люди идут в народ, не страшась ни гонений, ни смерти...

Наш лозунг—равенство, свобода,
К оружию, вперед, друзья!
Да погибнут враги народа—
Царь и бояре, и князья!

Долгушинцы повели дело так круто,—можно было сказать с плеча, но очень скоро провалились. Это для меня до сих пор еще загадка. Сам Долгушин такая умица, все его товарищи такие серьезные,—почему же они вели дело так, словно стремились сознательно, нарочито к гибели? Подпольная работа далеко не легкое дело, а тут..... Какая масса промахов, сколько следов оставлено, словом, опять таки—нарочито, чтобы предоставить врагу своему все, все вещественные доказательства.... Здесь—какая то психологическая загадка. Они, эти долгушинцы, были молоды, от 22 23-х лет, бодры, жизнерадостны, а отправляются точно на смерть..... Неужто они своей ранней гибелью, своей первой жертвой хотели послужить примером другим? Может быть. Во всяком случае—возврат назад был невозможен: все корабли сожжены...

Осенью 1873 года началась уже систематическая травля: один вслед за другим все заловлены и препровождены под замок. Предварительное следствие ведется форсированным маршем, а к концу зимы следствие почти закончено. Наконец, 10 июля 1874 года Долгушин, Дмоховский, Папин, Плотников, Гамов, Чиков и Ананий Васильев предстали перед судом Особого

Присутствия Правительствующего Сената. 15 июля всем уже был вынесен приговор суда: Александра Долгушина и Льва Дмоховского приговорили к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в крепостях на 10 лет; Ивана Папина и Николая Плотникова, лишив прав состояния, в каторжные работы на заводах на 5 лет; Дмитрия Гамова лишили прав состояния и каторга в крепостях на 8 лет. Остальных сравнительно легко. „Приговор этот представить через Министра Юстиции на Высочайшее его Императорского Величества Усмотрение“. Царская милость: долгушинцы отправлены в одну из харьковских одиночных центральных каторжных тюрем.¹⁾ Это значит — живо погребенные.

Первый пал жертвой Иван Гамов; он умер в 1876 году, т. е. уже два года спустя, как закрылись за ним тяжелые двери одиночной камеры. Вскоре за ним последовал Плотников; но его постигла самая страшная кара. Есть латинская поговорка: кого Юпитер хочет погубить, он отнимает у него разум. У Плотникова отняли разум-сознание, он умер духовно, погасла чистая хрустальная душа. Охваченный страшными галлюцинациями и бредовыми идеями, он оглашает стены камеры диким стоном, рвом, стуком, криком, наводя ужас, отчаяние на рядом сидящих товарищей. Что такое „централка“, читатель найдет в брошюре Долгушина „Живо погребенные.“ Волосы дыбом становятся. Впоследствии Плотникова перевели на Сабурову дачу в Харькове в дом для умалишенных, а потом окончательно в казанскую окружную лечебницу, где он и скончался — когда именно, мне неизвестно.

Вышли из централки Долгушин, Дмоховский и Папин.

С первыми двумя я встретился в 1881 году в красноярской тюрьме, а с последним — в Якутской области, в слободе Ахта, где мы вместе и поселились. Удивительно, как сохранились эти три человека. Казалось, что они неразрушимы, но случилось неожиданно иначе.

Летом 1881 года в красноярской тюрьме скопилось большая партия „государственных преступников“, около 160—180 человек.

Тут были представители различных политических процессов, начиная с первого в семидесятых годах процесса долгушинцев и кончая террористами — народовольцами (1880 г.). Сошлись представители всех фаз революционного движения седьмого десятилетия, все движение того времени в миниатюре. Преобладающий элемент представляли бывшие в заключении в харьковских центральных каторжных тюрьмах и следовавшие — кто на Кару, кто — на поселение. Вся эта „категория государственных преступников“ прибыла из илецкой пересыльной политической тюрьмы. Назову некоторых: Мышкин, Ковалик, Войнаровский, Рогачев, М. П. Сажин — все по „Большому процессу“ (1893-х^х). По процессу „50-ти“: Зданович, Джабадари, Цицианов. По вооруженному сопротивлению в Одессе: Виташевский, Свтыч и др. По чигиринскому делу: Шеффер и Ю. Круковская. По „Южно-русскому союзу“ — Бравченко. По делу Дьякова: Сирыков, Герасимов и Александров. По казанской

¹⁾ В Новобелгородскую. А.

демонстрации: Чернавский—и, наконец, народовольцы: Зинделевич, Мартыновский, Бух, Грязнов, Е. Н. Фигнер, Цукерман и др., чернопеределен Аптекман, прибывший из вышневолоцкой пересыльной тюрьмы вместе с административно ссыльным Е. П. Карповым и осужденным на поселение Э. К. Пекарским и др.

Как водится, люди разделились на группы, согласно личным своим симпатиям и старым связям. Я вошел в грузинскую группу, к старым моим друзьям. М. П. Сажин был неразлучен с Стулзинским — по личным симпатиям и т. д.

Вскоре образовалась группа уже со всеми признаками организованности (с уставом даже) из большинства каторжан, следующих на Кару. Цель кружка — краснокрестовская на первом плане: материальная и духовная поддержка товарищей. В эту группу, однако, не вошли М. П. Сажин и Мышкин. Первый все время — и в тюрьме, в Красноярске, и в пути — держался особняком в стороне от всяких группировок и организаций тюремных, не придавая им, очевидно, никакого практического значения. Второго, как передавал мне Зданович, не пригласили пристать к организации потому, что по своей индивидуальности, Мышкин не укладывался ни в какие организации, и его звали лишь тогда когда требовалось какое-либо выступление, как выдающегося агитатора. Меня, вскоре, по прибытии в Красноярск, кооптировали как административно-ссыльного, не столь связанного по рукам и ногам, подобно осужденным по суду, и могущего рассчитывать выйти скоро на свободу. Об этой организации Виташевский более подробно писал в „Былом“. Конечно, серьезно смотреть на такую (тюремную) организацию нельзя. Это — суррогат организации, — если позволительно так выразиться: все подобные организации умирают в день их рождения. И эту организацию постигла та же участь.

Жилось в Красноярской тюрьме сравнительно свободно. Некоторым из наших главарей, благодаря их такту, удалось усыпить на время необузданного зверя в Островском, начальнике тюрьмы. Он сделался ручным и предоставил нам всякие льготы в свиданиях и сношениях с ссыльными и знакомыми в Красноярске.

В Красноярске был в административной ссылке старый мой приятель Гласко. Он прислал мне письмо, прося меня убедительно написать ему подробно о причинах раскола в среде общества „Земля и Воля“. Этот вопрос вообще тогда сильно занимал всех, особенно же тех, которые провели все это критическое время в неволе. В тюрьме, вскоре после моего прибытия, меня порядочно таки трепали по этому поводу, — как человека, бывшего вполне в курсе этого события. Гласко, имевший через меня некоторые отношения к „Земле и Воле“, само собою, очень интересовал этот раскол. Я ответил ему обстоятельным письмом. Но прежде чем передать ему письмо, последним заинтересовались Зданович и Джабадари, хотя об расколе у нас не раз уже был разговор. Я им дал письмо, а потом уже оно, без ведома моего, пошло циркулировать по рукам в тюрьме. Всем было интересно иметь связанное представление о расколе. Письмо читалось, вызвало живой обмен мыслей. Читал это письмо Долгушин. Он поставил мне вопрос ребром: — „велика-ли была первоначальная группа

народовольцев"? (замечу в скобках, что буквально такой же вопрос предложил мне Ковалик, о числе членов „Земли и Воли“ до раскола ее на „Народную Волю“ и „Черный Передел“. Ковалик—математик, привык мыслить математически. Долгушин не математик, но ум у него точный, методический и ему, само собою, надо было точно знать силы народовольцев). Я знал всех, кто пристал к центральной группе „Народной Воли“ (ведь там были, по меньшей мере, 2/3 бывших моих товарищей по „Земле и Воле“ да плюс еще те, которые были кооптированы в „Землю и Волю“ на Воронежском конгрессе) и сосчитал их, как говорится, по пальцам,—точь в точь, как я это сделал для Ковалика в ответ на его вопрос.

Долгушин задумался. Затем заметил, что бороться с правительством неизбежно, но что без поддержки народа нечего рассчитывать на успех, что общество трусливо, само же правительство вряд-ли уступит,—не устрашится... Народ молчит... Спросил меня, что землевладельцы успели в народе. Я ответил, что наша работа не поддастся точному учету, тем более, что мы недолго работали, да и то с невольными перерывами...

Но все таки искры брошены, как-какие связи есть на Поволжье, среди раскольников, в Терской области, в Тамбовской губ. Надо продолжать работу. Долгушин, оставаясь, по-прежнему, сосредоточенным, молча утвердительно кивнул мне в ответ головой. И не один Долгушин, скажу кстати, так смотрел на тогдашнее положение вещей. Были в „партии“ скептики, не поддавшиеся общему увлечению террором и народовольчеством, их тревожило молчание народа и скудость наших интеллигентских сил... Вообще же „централисты“ (так звали мы бывших в заключении в „централках“) произвели на меня впечатление, если не совсем уставших людей, то во всяком случае выжидающих, присматривающихся, не разобравшихся еще...

Так проводили мы время, коротали наше вынужденное пребывание в красноярской тюрьме, в ожидании очередной отправки по этапу.

Наконец, наступил день отправления. Все возбуждены. Началась заковка каторжан в кандалы. Все обошлось благополучно, никаких недоразумений даже с таким зверем, как смотритель тюрьмы Островский. Мы отправились в путь во главе с Дмоховским, который был нашим старостой. В Красноярске остался Долгушин и еще несколько товарищей по болезни. У Долгушина в Красноярске была своя семья: отец, жена и мальчик 7—8 лет. Прекрасное дитя, всеми любимое. Долгушин рассчитывал оставаться в тюрьме до окончания каторжного его положения (осталось немного уже), чтобы потом из Красноярска пойти уже прямо на поселение. Но судьба занесла над ним уж свою руку.

Вскоре после нашего отправления прибыла новая сборная партия, среди них был Малавский, который бежал (вскоре пойман). В тюрьме начались строгости, Островский развернулся. Долгушина, который способствовал побегу Малавского, лишили свидания, Тихонова, тяжело больного, заковали в кандалы. Арестованные были возмущены, собрались в одной камере и решили не расходиться, пока не будут удовлетворены следующие их три требования: 1) свидания Долгушина с женой и ребенком; 2) расковка Тихонова, и 3) удаление

Островского. Потребовали губернатора, явился жандармский чин в сопровождении самого Островского. Сначала шло все гладко, но вдруг вмешался Островский, все искверкал, все представил в другом свете. Негодование арестованных дошло до крайней точки. В это время Долгушин, не говоря ни слова, подходит к Островскому и дает пощечину. Жандармский чин и Островский улетучиваются. Долгушина судят и приговаривают во второй раз к 15—ти летней каторге. Затем последовало распоряжение отправлять по двое арестантов в места назначения. В это время Ковальская собирается бежать, и Долгушин предлагает ей свои услуги. Вскоре Долгушина отправляют на Кару, где он попадает в накаленную атмосферу. После бывшего там побега Мышкина и других, Долгушина отправляют в Петропавловскую крепость, а затем—в Шлиссельбург, где он скончался в июне 1885 года.¹⁾

Так сошел в могилу один из пионеров „бунтарей—анархистов“ семидесятых годов, он же—горячий сторонник „религии братства“. Реалист на практике и утопист в теории, суровый, беспощадный критик и глубоко верующий²⁾...

В то время, когда совершались эти события в красноярский тырме, наша партия бодро подвигалась вперед. Благодаря Дмоховскому все шло у нас гладко: никаких недоразумений и столкновений с этапным начальством ни на дороге, ни на этапах. Дмоховского партия глубоко уважала и сердечно любила за его ровный, спокойный, выдержанный характер, за его братские заботы о товарищах, которых было много. Начальство благоволило к Дмоховскому. И нас встречали на этапах не как арестантов, а как знатных пленников. Как-то, помню, раз мы пришли на этап, промокшие до мозга костей. Вдруг в большую камеру появляется этапный начальник в сопровождении солдат с подносами, а на подносах чай, печения, варенье—всем по порциям, да еще в придачу по рюмочке водки. Чем не идиллия? Мы были тронуты.

А вот еще. Прибыли на этап. Дневка. Опять торопливо вбегает этапный офицер и тревожно спрашивает, не может-ли он видеть доктора? Указали на меня. В чем дело? Жена и ребенок очень больны. Я пригласил с собою моего ассистента Джабадари, и мы отправились к больным. Осмотрел, выслушал, прописал, что нужно, дал необходимые указания. Нас не отпускают, угощают на славу и при прощании мне суют порядочную такую пачку бумажек. Я, само собою, отказываюсь. Вдруг, уж перед вечером, можно сказать, целый поезд с

¹⁾ Пругавин, А. С. „В казематах“, стр. 125. О „тюремном бунте“ в Красноярске рассказываю со слов Е. Н. Ковальской, которая в то время, в 1881 году, находилась там. А.

²⁾ Нужна-ли здесь оговорка после того, что я уже говорил о стремлении молодежи к религии и о религиозном чувстве, которыми были пропитаны отдельные лица и все движение семидесятых годов? Скажу, во избежание недоразумений, что под религиозным чувством я, согласно определению Лаврова, разумею отвлечение личности от мелочей жизни и сосредоточение ее на высших интересах мысли и бытия. Это—состояние души, характеризующееся высшим напряжением познания и эмоций, слиявшихся воедино. Это, повторю, переживали многие в то время. Ничего здесь ни мистического, ни вульгарного тем более. Это—переживания высшего порядка, религия сердца. Таких именно в ряду был Долгушин и его товарищи. А.

угощениями для товарищей: колбаса, сыр, варенье и проч., и проч. Ну, не мило-ли? Так мы проехали полпути, словно у Христа за пазухой, за нашим старостой Дмоховским.

Вздумали устроить побег террориста Мартыновского. Довко устроили это дело на днюшке. Но прошли уже прекрасные дни Аранжуеда. Начались неизбежные строгости, хотели даже наложить наручни на административных. Я стал на дыбы: закона такого нет. Следовательно стал на моей стороне. Два дня спустя меня отделили от партии и особо с жандармами форсированным маршем отравили в Иркутск. Три или четыре месяца спустя, уже в Якутской области, я узнал, что Дмоховский, заразившись натуральной оспой в Иркутске, умер в госпитале. Это было в 1881 году. Горе было общее. На тюремной могиле его подавленные несчастьем товарищи его услышали последнее слово, обращенное к погибшему товарищу, сказанное другим товарищем, великомучеником русской революции, И. Мышкиным. Последнее „прости“ Мышкина прозвучало призывом к борьбе за великое дело освобождения народа.

Остался от долгушинцев один Ив. Ив. Папин. Познакомился я с Папиным весной 1883 года. Он жил тогда в слободе Амга (Якутской области). Когда меня совершенно неожиданно туда перевели, там с Папиным жили В. Г. Короленко, М. Натансон и рабочий Ромась (последние два временно.) Хорошее общество Папин завел в Амге небольшое хозяйство: занимались хлебопашеством, сенокосом и огородничеством; это было необходимо, потому что надо было кормиться. Хозяйство состояло из наделной пахотной земли 10 или 15 десятин, сенокоса, участка леса, а огород мы занимали при юрте. Коров и кур мы не держали по соглашению, ибо последние требовали лишнего ухода, а у нас свободных рук не было. Вообще мы старались не прибегать к наемному труду, но когда не хватало наших сил, прибегали к „помощи“ соседей, которым мы, в свою очередь, помогали в случае надобности. Были у нас две хорошие лошади. Во главе хозяйства стоял Ив. Ил. Он каждое утро или накануне распределял все хозяйственные работы. Папин весь ушел в хозяйственные работы, в хозяйственные интересы. Повидимому, это была та среда, в которой ему легче всего дышалось. Увидшее было от долгого и тяжелого сидения в центральной харьковской тюрьме, молодое тело его ожило и потребовало работы и усиленного движения. И Ив. Ив. весь день проводил на воздухе как летом, так и зимою — круглый год. Я не раз любовался этим молодым, гибким, красивым человеком, дышащим силою и здоровьем.

И это человек, который столько выстрадал. По внешности — типичным русский добрый молодец. Открытый, добродушный, покладистый, он был всем хорош в общении: легко жилось с ним под одной кровлей, свободно дышалось и работалось. . . . Приходили люди и уходили, волновались, горячились, а Ив. Ив. — всегда ровный, спокойный. Редко, почти никогда, не участвовал в георетических спорах, которые обязательно подымались, когда наши собирались. Не скажу, чтобы он совершенно не интересовался спорами: он нередко слушал и слушал, что называется, хорошо, но, повидимому, он их не считал сейчас существенными. Да и в прошлом он неохотно говорил. Казалось, что оно для

него-сон, далекий, прекрасный сон туманной юности его. Сохранил-ли он свои старые убеждения? Трудно сказать: разное оно проявляется у людей. Я бы сказал о нем то же, что Герцен сказал о Вадиме Пассеке: „убеждения свои он сохранил, но он их сохранил, как воин, не выпускающий меча из руки, чувствуя, что сам ранен на вылет“. Папин—раненный человек: он уже не может и не будет бороться. Он вышел из строя. Железная „централка“ сделала свое дело: она притупила грани его души, смыла, стерла краски ее. Назаметно шла опустошительная эта работа каторжной „централки“, капля по капле, изо дня в день. И колоритная, многогранная когда-то индивидуальность превратилась в серую, однотонную, приспособленную лишь к обыденному существованию. Много у нас таких жертв. Жертва русской действительности. Все это так или иначе выбитые из рядов.

Сохранил-ли он к кому-либо из прежних товарищей свои симпатии? О, да! И это был Плотников. Только о нем Ив. Ив. нет-нет, да вспомнит и лицо его в это время делается мягким, нежным, любящим. Прощаясь с В. Г. Короленко, он, т. е. Папин, обливаясь слезами, сказал: „Знайте, Владимир Галактионович, что после Плотникова я вас больше всех люблю.“ . . . Раньше он этого ничем ровно не обнаруживал. И так во всем. У него была прекрасная память, он был хорошо начитан, но он всего этого не показывал — не скрывал, а просто не показывал. Вдруг обратиться к товарищам за какой-нибудь справкой, а Ив. Ив., как бы невзначай, проронит: „там-то, Осип Васильевич.“

В 1884 году Папин по манифесту вернулся на родину. В последний раз я виделся с Паниным в 1886 году, когда возвращался на родину. Он жил тогда в Тюмени, женился. Встреча была теплая, сердечная, простая. Я погостил у него весь день. Папин прекрасно пел, но его не всегда удавалось уломить. Я попросил его пропеть мне что-нибудь на прощанье. Он запел. Пошлись божественные звуки. Вспомнили нашу общую жизнь в Амге. Вспомнили о Владимире Галактионовиче. Лицо его сразу просветлело. На прощанье спросил: „Куда, Осип Васильевич, направяете свои стопы? Какие ближайшие планы?“ Я ответил, что попытаюсь окончить здесь свое медицинское образование; если же, паче чаяния, здесь не удастся, съезжу за границу. Сказал сочувственно: „Помогай вам, Боже;“ и крепко обнялись. Больше я его не видел. Были слухи, что в конце 90-х годов он умер. С ним ушел в могилу последний из долгушинцев. Никого, кажется, не осталось,—по крайней мере из тех, которые вместе работали на даче Долгушина, в типографии. Осталась лишь добрая память о маленьком крепко сложенном кружке, отдавшем народу свою молодость, свое сердце, свою свободу.

Осталось три литературных произведения, как завет непримиримой борьбы за лучшие идеалы народа, как пример беззаветной преданности идее, как призыв к жертвенности, как выражение неискоренимой веры в справедливость, правду и человеческое счастье.

О. В. Аптекин.

15 сентября 1921 года.

Цстрогорад.

На закате народовольчества.

Памяти В. Я. Яковлева-Богучарского.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Вскоре после смерти В. Я. Яковлева, известного в литературе более под его псевдонимами Богучарского и Базилевского, многочисленными друзьями покойного, принадлежавшими к разным политическим партиям, было предположено издать сборник, посвященный памяти скончавшегося публициста, который так много поработал для истории русского революционного движения. В сборнике имелось в виду осветить различные периоды в жизни Василия Яковлевича, совпадавшие с некоторыми памятливыми моментами русского общественного движения. Народоволец в своей молодости, В. Я. провел восьмидесяти лет в Сибири. В девятидесятых годах, по возвращении из ссылки, В. Я. усвоил марксистские взгляды и явился одним из деятельнейших участников марксистского литературного движения, сотрудником „Начала“, „Нового Слова“ и других органов этого рода. В начале девятисотых годов В. Я. выступил одним из ревностнейших деятелей „Союза Освобождения“, а еще позже он уклонился от вступления в какую-либо из сложившихся у нас политических партий и, вместе с Л. И. Лутугиным и некоторыми другими лицами, как марксистского, так и народнического направления, основал группу „Без Заглавия“, стоявшую на обще-демократической платформе без определенной партийной окраски.

Очерк „На Закате Народовольчества“ был составлен для предполагаемого сборника. Содержанием очерка служит пребывание В. Я.-ча в Сибири, причем с особенной подробностью излагается последний период ссылки, т. е. годы 89-тый и 90-тый, которые В. Я. провел в Якутской области.

После того, как выяснилось, что затеянный сборник издать не удастся, первые три главы очерка появились в „Былом“, в сводной книжке №№ 5-6 за ноябрь и декабрь 1917 года. В этих главах рассказывается о жизни В. Я.-ча в Западной Сибири, о его ссылке оттуда в Якутскую область и о впечатлениях.

тлениях В. Я-ча при временной остановке в городе Якутске перед отправкой в назначенный ему для жительства город Вилуйск.

Водворенный в сначала городе Туринске, тобольской губернии, Яковлев был выслан оттуда в город Сургут на Оби за участие в протестах ссыльных против некоторых деяний местной администрации. В Сургуте смерть товарища (бывшего офицера Льва Иванова), которому власти воспрещали выезд в губернский город для лечения, подала повод к новым волнениям ссыльных. В виде протеста против действий губернатора сургутская колония организовала побег двоих товарищей,—И. И. Лазаревича и А. Н. Лебедева,—в Россию, причем письменно заявила властям о том, что этот побег совершен по общему постановлению и при общем содействии колонии. Такая выходка вызвала прежде всего высылку по распоряжению губернатора В. Я-ча и восемнадцати других лиц в мелкие поселения, расположенные в низовьях Оби, в совершенно пустынных местностях Обдорского и Березовского края, а затем, уже по распоряжению из Петербурга, дальнейшую ссылку нестарых, наиболее крамольных, по мнению администрации, протестантов в Якутскую область. Такими закоренелыми крамольниками были призваны: Василий Яковлевич, как председатель собраний сургутской колонии; бывший студент Петровской академии Николай Львович Зотов, выделявшийся энергией своих протестов; двое уроженцев подольской губернии, большие друзья и товарищи по подольской семинарии,—студент петербургского университета Александр Тарасович Вадзинский и революционерствовавший в Клеве, Александр Викторович Молдавский,—тоже весьма ярые протестанты; и, наконец, двое евреев, виновных главным образом именно в своем еврейском происхождении, фельдшерский ученик из Вильны Яков Дибобес и фармацевт из Москвы Моисей Гуревич, впоследствии получивший весьма печальную известность, как провокатор под его новым именем Михаила Ивановича Гуровича. Из этих лиц Зотов был назначен в город Верхоянск, а остальные—в город Вилуйск.

Туда-же и в это-же самое время (в начале 1889 года) были высланы трое ссыльных Якутского округа, по местной терминологии, „улусников“ (т. е. обитателей якутских улусов), неудачно пытавшихся осенью 1888 года совершить побег из Якутской области глухими таежными путями. Это были: бывший студент Лазаревского института в Москве Stanisław Фаустинович Михалевич; студент московского технического училища Сергей Михайлович Терешенков и осужденный московским военно-окружным судом еще в декабре 1881-го года, Иван Иванович Майнов.

С настоящей главы начинается рассказ о пребывании этих лиц в Вилуйске, а затем о переводе их в один из улусов Заленского края и об их жизни там.

IV

Путь в Вилюйск и первая встреча с Василием Яковлевичем.

Выезд Яковлева из Якутска состоялся или в самом конце января, или в самом начале февраля 1889 года, рокового года в жизни якутской ссылки. Тарасыч и Викторыч, в ожидании своей очереди отправки, оставались на время в Якутске. У всех у них было давно решено в Вилюйске жить вместе, артелью, и заняться хозяйством, так как по сообщениям якутян, хлеб по берегам Вилюя вызревает и жители там что-то такое сеют, и без этого, на одно казенное „пособие“, — двенадцать рублей в месяц, просуществовать и думать нечего. Пуд ржаной муки, говорили, продается по 3 р. 25 копеек, кирпич чаю по два рубля слишком, то-есть вдвое дороже, чем в Якутске. Василий Яковлевич и Викторыч могли бы кое-что по учать от родных, но для этого надо было иметь частный адрес на кого-нибудь из обывателей, а то администрация вычитала присылаемые мал-нькие суммы из пособия, и выходило, что родные помогают казне, а не своим. Однако, пока благожелательные обыватели найдутся, да пока-то дойдут письма в Россию, да пока еще оттуда вышлют деньги, должно было пройти в лучшем случае с полгода, а то и больше. На такое время рассчитывать на какую-бы то ни было помощь сургутянам было нечего. Действенный и хозяйственный Тарасыч сделал отсюда вывод: надо завести свою запашку; надо окормить у якутов или у казаков землишку, да и сенокос; коровенку купить; лошадинку; попытаться развести огородишко; на зиму наготовить себе самим в вольной тайге дранишек.... Авось тогда не доставим удовольствия начальству: не околеем с голода и не пропадем с тоски; вернемся-хоть прямо на бар, ивады!

Своей решимостью Тарасыч взвинул и товарищей. Они провинились его хлебоборбским одушевлением и готовились на дико коренным вилюйцам такую-ли на Вилюе культуру насадить, чт-бы всем обывателям завидно стало. В виду этих предположений В. Я-чу поручалось тотчас-же по приезде разыскать домишко попросторней, чтобы там могла обосноваться вся артель. Приходилось, по крайней мере на первое время, дать у себя место и Франту ихнему (сургутскому ¹⁾), так-как и тому надо-же было куда-нибудь приткнуться. На время же предстояло приютить и Яшу, только на время, так-как к сельским работам хиленький Яша не годился, а жить в артели лодырем парню самолюбие не позволяло. В Сургуте от кого-то из товарищей он ознакомился немного с сапожным делом и почувствовал к нему большое влечение. По правде говоря, чеботарь он был далеко не образцовый, но если у него не хватало умения, зато кропотливой старательности имелось вдоволь и на предполагаемые вкусы вилюйских заказчиков надеялся угодить и он. При отъезде

¹⁾ „Франтом“ мы тогда в насмешку называли Моисея Гуревича, отличавшегося своей хнычеватостью.

из Якутска запаса бывший виленский фельдшерок шильдами, драгвой и всем необходимым, ни мало не сожалея, что изменил ланцету и касторье: ведь фельдшер—существо зависимое, а сапожника, чем он не пан, если у него есть заказы?... Да к тому же Яша был даже и не фельдшером, а только учеником фельдшерским.... Как там устроится позже он и Франт, оставалось неясным, но по началу Тарасич разел за всех и расходы причитал на пять ртов. Шестой ихний товарищ, Зотов, был выслан в Якутскую область позже, шел сюда в другой партии и назначался в какой-то другой пункт, кажется, в Верхоянск, и потому о нем речи не было.

Вскоре же после отъезда высланных первыми, Василия Яковлевича и Франта, стало известно, что в пустовавший досел Витю Яск, кроме сургутян, назначаются еще трое „улусятчиков“, пыгавшихся минувшей осенью учинить побег из улусов Якутского округа (уезда), уж конечно, побег с широчайшими целями всемирно-исторического значения, но с результатами весьма плачевными и обидно мизерными. Они дернули было через та йгу по мало кому известным таежным тропам, в надежде пробраться сначала на витимские прииски, а оттуда, под видом приисковых рабочих, и дальше в уснувшую Россию, где к ним должны были съехаться беглецы из разных мест Сибири: и Лазаревич с Лебедевым, бежавшие из Сургута, и Федоров с Кашинымцевым, удачно скрывшиеся из Якутского округа при помощи сыльных татар, и еще человек с десяток. Однако, побег этих троих оказался предпрятием несколько пошехонским: побродили они—побродили по дебрям с недостаточно сведущим наемным проводником из татар и должны были выбиваться по единственной, остававшейся перед ними тропе к реке Лене. Через топи и чащи добрались, но тут им и конец приключился. Якуты приняли их за Федорова и Кашинымцева²⁾, о розыске которых бумаги были улусам только не задолго до того разосланы. Раньше побегов из Якутской области не бывало, и они считались невозможными, а потому, при отсутствии этих двоих на местах, власти долго утешались надеждой, что они просто загостились где-нибудь у товарищей, и хватились их только в июне. Под всякими предлогами якуты пожаловавших к ним из тайги припелеццев у переправы через Лену задержали и дали знать о их появлении большому начальству. Департамент полиции распорядился и этих голубчиков упрятать в такое место, чтобы они там сидели—„не рыпались“, а таким местом считался наипаче—Вилюйск. Туда можно попадать тремя путями: из Якутска, из Олекминска и из села Нахтуйского на Лене, что поуженее [Олекминска, а оттуда поворачивай назад не иначе, как теми-же дорожками. К северу от Вилюя—реки вплоть до моря леса и тундры. Тянутся они на тысячу верст безлюдными пустынями. Это—охрана понадежнее тюремных стен. К западу-

²⁾ Федоров-ростовский слесарь, после неудачных попыток революционной деятельности при новых условиях, переселился в Америку, а Кашинымцев до самой войны жил в Болгарии, откуда корреспондировал в московские газеты и оказывал содействие социалистам-революционерам, попадавшим в Болгарию.

тайга вплоть до Енисея. На полторы тысячи верст до города Туруханска—длинная тайга, кое-где прорезанная лишь редкой паутинкой охотничьих тропок. На этом пространстве, за русским селением Нирьба, есть несколько урочищ с жителями долгами (помесь якутов с тунгусами), и счастливым случаем можно раз-другой повстречаться на путях к излюбленным белчьиим соснычкам да оленьим моховищам с бродячими тунгусами. Если ехать прямо на юго-запад, без всяких дорог, то в тамошней горной стране есть, говорят, какие-то выходы к верховьям рек Куты и Илима, где живут уже и русские, но эти выходы—одна из тайн тунгусского краеведения. Тунгусы летом сплавляют по каким-то неведомым речкам, притокам Вилюя на севере, Илима на юге, а зимой скользят по ущельям на лыжах, словно их по воздуху переносит. Однако их знания при них и остаются, а наугад этих тунгусских тропок не сыщешь. На юге из Вилюйска выводят пути малоезжие—олекминский и нахтурский, где каждый путник на виду у редких жителей—якутов. Возят этими путями сено и рыбу на олекминские прииски, возят все те-же вилюйские якуты, которых придорожные обитатели наперечет знают. Беглецу тут мудрено пробраться. Наконец, к востоку—тайга до самой Лены, то-есть до города Якутска, а в тайге болота непролазные и среди них прямоезжий тракт один—казенный. В этих болотах когда-то (в 72 году), Мышени бился после своего первого побега при неудачной попытке освобождения Чернышевского. Бился бился, да так и не выбился: должен был выйти к сухому проходу, где его и поджидали спокойнейшим образом, зная, что если не захочет увязнуть, то быть ему здесь. Такую географическую мотню начальство и облаивало для троих улусников, возмечтавших осенью 88 года, перемахнув из Якутска в Россию, подстегнуть медленную историю, если не пожелаюбовски, то как-нибудь в этом роде.

Одним из участников осеннего побега был поляк по крови, но скорее русский по взглядам и по партийным симпатиям,—Станислав Михалевич, уже бежавший ранее из Енисейска, куда его сослали в первый раз в 83 году¹⁾.

Другим участником был очень юный, но весьма неустрашимый и решительный московский техник, считавший постыдным сидеть в ссылке, тогда как истые революционеры всегда освобождают,—не пароды, так хотя-бы самих себя, куда-бы их ни запрятали, а не посиживают, усакаиваясь на том, что в свое время и они тоже пытались что-то такое перекроить в сем несовершенном мире.... Третьим беглецом был я,—в то время неукоснительный народоволец, по возрасту немного моложе Василия Яковлевича, но по времени своего прибывания в Сибири уже „старик“, неоднократно подвергавшийся в ссылке новым арестам и дальним высылкам то за попытки побега, то за всякие протесты и стычки с местными властями.

¹⁾ Станислав Фаустинovich Михалевич в восьмидесятых годах принадлежал к партии Народной Воли, а в 1905-1912 годах был известен в военных кружках, примыкавших к партии социалистов—революционеров, под кличкой „Ян“. В 1912 году он умер в Петропавловской крепости в ожидании суда по обвинению в участии в кронштадтском восстании 1906 года.

Станислав Михалевич был тогда сравнительно со всеми нами господни зрелых лет. Ему было уже 32-33 года. У него была приятного вида борода, великолепно вьющиеся усы, почти всегда великолепное расположение духа и решительно всегда широчайшие и наивеликолепнейшие планы чудеснейших революций в поращенной России, в „древ братув зальной“ Польше, в проданной своим королем, пресловутым ярыгой—Миланом, Сербии, да и в мешанской Германии, да и в веселой Франции, да и в чопорной Англии... да, и где угодно. С готовым планом он ехал и в Виллюск: там он сблизится со всякими писарьками, с торговцами, разузнает о всех путях и способах сообщения, уж чемнибудь да заработает денежок и удерет опять. В России не повезет, в Польшу сунется. В Польше все окажется выметено,—заграницу проберется. Из-заграницы всегда удастся наладить какую-нибудь веселенькую конспирацию..... Говорят, „реакция“?!—Эка важность! Да ведь реакция—мать революции. Прекратись реакция,—и к чорту все эти фальшивые паспорта и всякая революционная бутафория, а с нею прощай и вся революционная романтика! Служи тогда в каком-нибудь прогрессивнейшем и скучнейшем „присутствии“, учительствуй, мирно и безопасно упражняйся в цинвических добродетелях.... Какая тогда понадобится боевая работа? К чему тогда люди наше о темперамента?... Революционерствовать,—так уж только теперь.... Такой неугомонный господин,—и притом все-таки „пан“ по всем его привычкам и наклонностям, а не сын сельского попа, —мечтами Тарасыча о собственной пашенке да об огородашке, всем на диво, ни мало не пленился. Он слушал Тарасыча сочувственно, но посмеиваясь, и прямо заявил, что на Виллюс поведет свою линию.

Техник тоже не проявил никакой склонности впрягать себя в артельный хомут. Это был московский вьюнош без малого в сажень ростом, красивый, очевидно, очень вдумчивый, но не по летам сосредоточенный и до угрюмости серьезный. В обществе он чаще всего молчал, но иногда оживлялся и тогда говорил ясно и веско. Язык он имел острый и меткий. Молчит-молчит, да вдруг точно фонарем осветит расхорохорившегося позера. Тот и так, и сяк, как-бы это поправиться, сгладить впечатление, но уж куда там! А техник опять молчит и смотрит как-бы вглубь себя. Говорили про него москвичи, что он и в Якутку угодил исключительно потому, что устрасал жандармов своей грозной фигурой и своими едкими ответами на их обычные подходы. Жандармы сочли его опаснейшим террористом, спровадили подальше, хотя никаких фактов за ним еще не было. По своим видам он, впрочем, и на самом деле был террористом и стремился к побегу с завтайной целью—пойти на Победоносцева. Этого святого он выделял среди всех реакционеров, как вреднейшего, потому что этот не только душит, но и растлевает, вытрачивает в русских сердцах и преданность родине, и уважение к церкви. Между тем, сам-то этот террорист, как мне казалось, про себя склонялся к вере в личного Бога и в бессмертие души. Религиозно-философские вопросы его, во всяком случае, сильно захватывали, и к явному атеизму он отн. силси насмешливо. В общем вьюноша был интересный и, при его замкнутости, отчасти загадочный, с большими способностями, с большими странностями и с очевид-

*

ним уклоном к психозу. Жил он обыкновенно в одиночестве, проводя время за философскими трактатами и за прихваченными из Москвы лекциями по математике, которой занимался усердно и с любовью. С таким мудренным в артели жить трудно, да такие и сами в артель не идут.

Иной разговор вышел у Тарасыча со мной, когда меня подхватили из Мооруского наслега за Леной и доставили в город для высылки на Вилуй. При первой-же встрече на улусной квартире ¹⁾ мы с Тарасычем живо столковались. Для вступления в артель у меня настроение было самое подходящее. В первую пору своего пребывания в Якутской области я было запопал в самую глушь Первого Нахра (один из наслегов заречного Восточно-Кангаласского улуса), да и там с наказом поселить меня на территории „отдельно живущего по реке Амге рода“,—это верстах в трехстах от города. Из этого приятного места, как меня предупредили, весной и осенью бывает так, что ни вплавь, ни вброд, ни верхом, ни пешком не выберешься. Ближайший русский жил оттуда в 50 верстах, во и то, по слухам, это был священник, давно безнадежно спившийся в своем одиночестве.... С таким назначением я примириться не захотел и стал воевать. На весь улус булгу поднял и после многих скатаний, злоключений и чуть не сражений выбыл из треклятых мест и поселился поближе к белому свету. На первый раз облюбовал я себе жилище в 85 верстах от нашего бывшего тюремщика, Ивана Ильича Штырлова, солдата Петропавловской крепостной команды из „распропагандированных“ Нечаевым ²⁾. Верстах в двадцати от того жил его приятель, уголовный ссыльный, солдат Митрофан, очень умный и тонкой хохол, совсем не из тюремной „шпаны“. Его грех попутал: жену свою он хватил ножом, не помня себя, но дело это произошло при таких обстоятельствах, что всякого могло-бы прорвать; вообще же говоря, был этот Митрофан человек отнюдь не злой, честный и державший себя в руках. Все мы, трое русских, по временам слондились побалакать и этим несколько скрашивали свое житие во пустыне. Побалакаем денек-другой, разоидемся, а после того сидит опять каждый у себя в юрте, как сынч в дупле, и нельзя сказать, чтобы такое существование мне казалось отрадным. Через некоторое время перебрался я и оттуда еще ближе к путям и выходам из края, которые все время исподволь разведывал, норовя при первом-же случае бежать. В последнее время перед побегом я жил уже на реке Соле (Суолах по якутски), в „Мегинцах“, то есть в Мегинском улусе, на самом краю Мооруского наслега, где слондятся своими углами еще наслеги Алганский и Тарагайский. Хитроумные ссыльные, в обход начальственных распоряжений держать их обособленно, построили себе

¹⁾ „Улусной квартирой“ мы называли устроенный нами в Якутске заезжий дом для прибывавших в город за покупками улусников. Чужих туда не допускали. Это учреждение описывается в начале предлагаемых очерков, в главе III-й.

²⁾ Нечаев, сидя в крепости, постепенно склонил на свою сторону часть крепостного коновод, солдаты передавали от него записки на волю, и в 83 году из них человек пятнадцать было сослано в Сибирь.

домики в том месте как раз на стыке нескольких насаждений так, что образовался как-бы сплошной поселок.

Так имел свое жилье мой приятель Ростислав Стеблин-Каменский с женой Анной Николаевной, там жил Павлюк Орлов ¹⁾ и еще человек пять наших „домовладельцев“, соорудивших кто избенку, кто юртенку поспратней якутской, что обходилось тогда рублей в двести—в триста. Житье у нас тут было не чета нахрскому. Анна Николаевна вела хозяйство и была у нас за старостиху. Держала нас всех в повиновении, но зато и в сытости. Одевались мы все запросто, но под ее зорким оком в оборванцев все-таки не превращались. За стол садились умытые—причесанные, не распояской и не с трубами в зубах. Во всей обстановке у Стеблиных сохранялся и в улусе отпечаток культурности, не то, что у меня одного в нахрах, где сидел я день деньской за Кантом, а в юрте у меня пауки хозяйничали. О Павлюке и говорить нечего: за этим тридцатилетним малолетком в практической жизни нянька была необходима, и оба мы, отчаянные революционеры, своей старостихе охотно предоставляли власть самодержавную и неограниченную. Ростислав во всем, что касалось хозяйства, был младенцем еще почище Павлюка. Кликает ему Анна Николаевна: „Ростя! разрубь стегно!“ или: „Ростя! вынеси лоханы!“—оторвавшись от своих рукописей и бережно сняв с близоруких глаз очки, с покорностью выполняет бородатый муж профессорского вида полученный приказ и непременно наерундит: лохань расплещет, стегно перекромсает, получит головомойку и вернется на место сконфуженный. Не дали ему боги хозяйственных дарований ни крупницы, но зато наделили неимоверной настойчивостью и поразительной трудоспособностью в книжных занятиях. Еще на Каре Роста задался целью подготовить материалы по истории русского революционного движения и работал над этим ряд лет, не уступая в упорстве самому Папию ²⁾. Разного рода выписки у него накопались буквально пуды и он их пополнял и пополнял. В последнее время приступил уже и к сводке. О самом безвестном из декабристов он знал все, что появлялось в печати, а о революционерах семидесятых годов неустанно собирал всякие сведения из устных сообщений и заносил в свои объемистые тетради, исписанные мелко на мелко. Когда я перевелся в моорукцы, у нас с ним только и разговоров было, что об идеях Пестеля, да о понимании социализма петрашевцами, да о том: был-ли Чернышевский членом общества «Земля и Воля»? и т. п. С Павлюком, по его философическим устремлениям, мы больше погружались к началу всех начал или предвосхищали будущее, подобно перипатетикам прогуливаясь над струями тихой Соли и безбожно западывая и к обеду, и к ужину... После нахрской робинзоныды я чувствовал себя здесь, как у Христа за пазухой, и, если-бы не сборы в бега, то лучшего положения, пока я в улусе, для себя и не желал-бы. Тарасич, как посмотрел я на него, мог-бы для вилюйской артели явиться почти тем же, чем для сельской была Анна Николаевна. По домашнему хозяй-

¹⁾ Об Орлове говорится в III-й главе этих очерков.

²⁾ О работах П. П. Подбельского говорится в начале этих очерков.

ству с нею мужчине, конечно, вровень-бы не стать, но зато этот-и на кухне, и в поле-сам и староста, сам и пахарь, и жнец, и косец. Своего друга Викторыча он превознес передо мною, как мастера сеять и вообще как лилого работника, за что ни возьмется. В мою, окинув мою фигуру хозяйственным оком, Тарасыч сразу уверовал, как в надежного косца и дроворуба. Своего отсутствующего приятеля-Василия Яковлевича, оба сургутянина отрекомендовали мне чрезвычайно тепло и хвалебно: „Василь-то?—да вы с ним сейчас-же сойдетесь, как только познакомитесь! Он, конечно, по хозяйству росомаха не лучше вашего Ростислава, но такой милый хлопец! Умница! Читал чертовски много. Всем интересуется. Можете с ним нагорючиться всласть и о политике, и о философииВеселый малый! Под'язвить вас сумеет при случае.... Одним словом, понравится вам наверняка.... А для артели он, даром, что росомаха, преплезнейший член,—стрелок не хуже любого челдона. Таких нам уточек в Вилюйске набьет, что пальчики будем облизывать за обедом. У него и собака есть,—чистокровный понтер! Подумайте только: в Вилюйске-понтер! Каких ему забот стоило довести эту Кану по этапам и по Лене! Кутал ее теплее, чем себя, ругался из-за нее с офицерами, оберегал от солдат, чтобы не украли.. Да мы и все к ней привязались. Василь и вымуштровал свою Кану так, что она взгляд его понимает, а не то, что голос. Посмотреть на него,—говору и непоседа, а терпение у него дьявольское!“

Выходило так, что Яковлев-товарищ лучше и не надо. Вот Фронт, по характеристикам сургутян, вырисовывался как-то не совсем ясно. О нем говорили, как о каком-то случайном попутчике, но тут-же обнадеживали, что этот, наверно, долго в артели не останется:, ну что ему там делать? Где-нибудь после устроится.... На неделю какую-нибудь надо-же и ему где-нибудь приютиться.... Да, в сущности, против него ничего определенного и нет.... Ну, так, недалекий малый, фатонат несколько.... А в общем-орясина довольно безвредная“.

Устраняя это чужеродное тело, как временную занозу, надо было признать, что артель налаживается как будто вполне подходящая, и я охотно согласился в нее вступить.... „Держись вилюйские сосны!“—так мы с Тарасычем с двух слов порешили, так как и сам он,—живой словоохотливый хохлик и его хлебобобовские планы пришлись мне по душе.

Числа приблизительно 10 февраля я двинулся на Вилюй с тем, чтобы там прикатить прямо на артельную квартиру. В этих числах в Якутском округе бывает перелом зимы. Январь в своих морозах неумолим: неделями стоит под 50 и за 50 по Рюмюру, ниже 40 не падает. Туманно тогда, небо тускло, солнце медное, с тремя бледно-радужными ответами сверху, а то еще и с мечевидными лучами от них. Мерзнут приполярные призраки сквозь туман в бледно-радужном ободке,—какое-то дико беспешеное шире, а совсем не наше Солнышко Красное, не наш Белбог-Кизиседатель. Поищем это дню низко над белыми долами и гор, озер таежных и скованных рек, увидит, что все тут в порядке: выгнана белом кладбище ни шороха—и прочь, никого не обогрев, ничем не порадовав. Снега тогда на всем матовые без блеска. В пути мороз как-бы стихивает

и ломит кость. Дыхание шуршит в густым облачком оседает вниз у самых ног. Мохнатая якутская лошадка уже на десятой версте вся в инее и дышит тяжело. Приходится слезать с саней и железным скребком прочищать ей подпруги от ледышек, чтобы не задохлась. К половине февраля эта крепь сдает. Солнце без обычных спутников сияет за четыре прежних. Небо совсем не то: с синевой, а то и прямо синее. Воздух веселый. Чувствуешь себя вольно, как будто из воды на простор вынырнул или из тюрьмы в чистое поле вышел. По термометру все еще тридцать и за тридцать, но над градусами посмеиваешься: „Ведь вот как все условно! Термометр знает-отсчитывает, а живое тело не нарадуется—стою вот без полушубка, без шапки, и дышу не надышусь—как весело идет! Термометру невдомек, а тело понимает!“ Где-то милыми улусными дорожками: опреледа дорожка, поблескивает, под полозьями бойко поскрипывает. Смотришь по сторонам на заснеженные леса: опушка не кружело мягкое с незлым, сливающимся узором, а мраморная резьба, глазом ее чисто как щупаешь. Все теперь лютое, все чеканное, все сверкает отчетливо и ярко. Бодрит теперь дорожка: поднимает с нее то-ли на новые пути, то-ли на какое-то удалое действие.

Путь на Вилюй, от Якутска шестьсот верст, для в четыре можно проделать свободно и без утомления. Первый станок всего в сорока верстах, остальные почти все один от другого в пятидесяти. Селений в пути никаких. Взобравшись верстах в семи от города по крутой пади на вершину берегового кряжа, дорога дальше все время идет местностью ровной с ничтожными низинами и пригорками. Кругом таига в нетронутых ветрами снежном покрове,—ветра начинаются там уже в марте. Часто проека приводит к обширному, ровному пространству, вокруг которого белые стены леса раздаются и отходит глубоко вдаль. Летняя дорога идет в обход этих пространств и потому она гораздо длинней. Зимой едут вряжком, и под сплошными снегами не всегда разберешь озера ли это, которых здесь больше, чем в городе площадей, или припоминаемые каждому из улусников, якутские „бадарны“, то-есть целые системы болот и топей, на глаз безвыходных и непролазных, унылых до того, что готов поверить, как якут, что тут самый волюнтаризм бесовской нечисти. Станочные юрты расположены по этому тракту чаще всего одиноко, но кое-где дымятся недалеко от станка два-три куревых столбика, и со стороны их доносится собачий лай, а потом и людешки избредают попросить у проезжего табачку. Общественная на станках обыкновенная, якутская: есть камелек,—это уже прежде всего,—огромный, пузатый, деревянный, вымазанный глиной. Перед камельком, на утоптанном земляном полу, длинная деревянная лавка для сиденья. Над камельком, спереди по бревнами покатым крыши, она-же и потолок, на самом жару, решетка для подвешивания отсыривших рукавиц и обуви. При езде на чарвах, когда часто приходится останавливаться и поспевать за саблями в привьюжку, чтобы разогреться, обувь быстро сыреет, замерзает, и тогда надо соблаговолить, как якутские колоды. На переформе о них да о промерзших рукавицах переодеться. Так это, впрочем, у якутов, у русских, когда они задался с ходо-

шей стыти в жилье, прежде всего приходится высвобождать собственные бородатые лица от примерзших к волосам башлыков и пледов. Становятся русские у камелька, вытянув шеи, как гуси, и ждут, пока ледышки оттают. Якутам это зрелище всегда доставляет большую потеху. Вдоль наклонных, как у шалаша, стен юрты наглухо приколочены широкие „ороны“,—лавки, прикрытые желтыми циновками из озерного камыша. В красном углу низенький,—ниже пояса,—круглый столик для еды, а за ним к нависшим над столиком бревнам стены подвешены медные кресты и изображения могущественнейших русских богов, которых многочисленные в этом крае бесы,—все больше мелочь,—страшно боятся. Сидеть в таком жилище типа бревенчатой палатки можно на самодельных маленьких „олохмасах“,—плетеных табуреточках из таловых дощечек и прутьев, или на основательных, весьма удобных пеньках с сучком, торчащим в виде ручки. Для того, чтобы обогреться с мороза и переночевать, этого совершенно достаточно. Один огонь сколько отрады дает! Все он живет своим чудодейственным теплом, скрашивает игрой своего пламени и переливами отблесков. Трепыхнет десятками матающихся языков,—в красном зареве вдруг выступают углы и закоулки жилья: в углу у двери громадная деревянная ступа в рост мальчика лет двенадцати, а над ее жерлом, подобный боевой палице диквара, массивный пест для молчения ячменного зерна,—признав того, что здесь все-таки сеют и хоть ячменной мукой, но питаются. За камельком, откуда раньше из мрака доносился только тяжелый толот и спертый пахучий дух, видна становится низенькая переборка, а за нею черные спины и рогатые головы коров—кормилиц. Оборачивают и они на свет свои бесстрастные морды и смотрят на проезжающего чужака доверчиво ничему не удивляющимися бархатными глазами. Жуют себе да жуют. Приятно это видеть окоченевшему путнику: тут своего рода уют, достаток, прочный, веками сложившийся быт. Какая им на есть, а культура. Побудь-ка долго под властью слепых стихий, для которых что ты, что букашка—решительно все равно,—научишься ценить и такую. Все мы, улусники, много постранствовавшие, становились до некоторой степени огнепоклонниками, и самая убогая юрта для нас была прежде всего—маленьким храмом огня, крошечным островком тепла и жизни в море оледенелых пустынь. Входишь, бывало, в нее, в три погибели согнувшись в низенькой навесной дверце, и сразу чувствуешь готовность все здесь находить приятным и преудобным.

Сестной припас и по вилюйскому, и по всем прочим тамошним трактам приходилось возить свой, и в пути не миновать было того, чтобы делиться им и с казаком-конвоиром, и с якутами-ямщиками. Таков уже здесь обычай. Вынуждаемый всей обстановкой: ну, как самому уписывать за обе щеки (аппетит с мороза развивается ужасающий) полуоттаявший печеный хлеб с топленным маслом, или сушеное мясо, или балычек охотский, кетовый, когда смотрят тебе в рот тлеще голодные спутники с явным упованием? Все наши так и знали, что придется в пути кормить и казака, и ямщиков, и брали с собой тройной запас.

И первый день так, и второй, и сколько ни будь пути, все той-же рысцой-трусцой шуршишь себе по мягким белым снегам, по белизне гладей, в белизне шешировых просек; а где он еще уже,—под белоснежными арками изысканных и затейливых изгибов,—не устай любоваться... После городской суеты и тесноты „улушной квартиры“ отдаешься движению со отраднейшим чувством, как гребец, когда он выбьется со стрежня на тихую струю и бросит весла: „плыви теперь, моя лодочка, сама, а я запрокинусь на спину и словно меня и нет!“.

С последнего ставка и выехал при звездах, а на восходе солнца, когда морозцем прохватывало почти по январски, я поджидал уже несколько нетерпеливо: ну, где-же он, Вилюйск, столица края, примерно, с Францию? Коренное таежное дерево-лиственница сменилось сосной. Это значило, что начинаются пески, то-есть побережье. Потом и сосна поредела, и пошла мелочь. Это было уже несомненным признаком близости города: вырубил горожане прямоствольные лесины, оставили корежники; это уж всегда так... Но просека извивалась в дранном сосняке что-то долго и в конце концов вырела к какой-то заимке: изгородь окружала просторный дворик, внутри дворика ютилась избушка, а дальше лохматился опять соснячек. Проехали несколько сажень,—опять замка такого-же вида и за нею лесочек. Потом и справа—изгородь и дом... Похоже становилось, что доехали. И действительно,—акут-ямские разбудили казака, тот подбодрился, и мы не без форса подкатили к окружной полиции,—довольно просторному деревянному дому с мелюином и с большими окнами. Чтобы доехать с „ограиин“ города к его центру, нам потребовалось минуты три—четыре, не больше. За десятком строений, разбросанных в лесочке, тут было еще десятка с три домков, образовавших коротенькую улицу с заворотом направо, вдоль реки. К ее снежной глади, широкой и пустынной, берег обрывался заснеженной кручей, а со всех других сторон, понижшие под непосильно тяжелым снеговым настилом, тощие соснячки подступали к жилищам, где вплоть, а где-очень близко.

С исправником, старичком приветливого вида, разговор у нас был недолгий, с обеих сторон учтивый и бессодержительный, и мы раскланились с чувством полнейшего взаимного равнодушия,—но хорошо хоть и то, что не разругались с местным самодержцем с первых-же слов, что при иных встречах такого рода иногда случалось. Ямские, не спрашивая: куда везти?—завернули сани назад и остановили лошадей у домика из самых поместительных в городке. Вместе с казаком ямские в один прием внес все мои пожитки: высокий и узкий вьючный ящик, обшитый кожей; кожаные переметные сумы, употребительные при верховой езде (в улусах почти все летние дороги пригодны только для верховой езды), и замызганный стародавний чемоданчик, маленький, но тяжеленький. Во вьючном ящике размещалось бельешко и жалкие остатки прежнего платьишка, в переметах—с'естное, и в чемоданчике—главное богатство улусника,—книги, и в числе их довольно ценные и по тому времени редкие.

Дверь нам распахнул, приветствуя меня с ликующим видом, выгустый молодой человек в весьма потертом пиджачке и в брчках весьма странного,

очевидно—стргутского покроя. Не зная я наверняка, что это—бывший казачий сотник, и даже бывший „адъютант военного губернатора Амурской области“, ни за что-бы не догадался. Уже имели до некоторой степени друг о друге представление по наслышке, мы встретились, как тогда водилось у ссыльных, сразу-же, как старые приятели. Засели за живо сварганенный самопарчик и выразили свои взаимные симпатии, осматривая друг друга иронически и делаясь впечатлениями.

— Это—„сын Марса“,—поносил сожителя я,—стрикулист несчастный, челкопер и едва-ли не скоропадент... Хорошо сделало начальство, что не потерпело такого прирожденного шафировки в рядах армии!

— Уж молчали бы вы лучше,—парировал Василий Яковлевич мои издевательства в том же тоне.—И я-то думал: вот придет бывший катковский лицеист,—„питомец русского Итона“,—ну, конечно: молодой человек изыскный, вытощенный и вполне комильфо... И вдруг—вваливается этокое убоище: волосищи!, сапожнищи!... голосище!... полнейший моветон и очевиднейший вигиллист... Да такого за один непозволительный вид давно следовало упрятать в Вилуйск!

Вслед за этим обменом комплиментов я был осыпан целым градом перебивавшихся вопросов и прежде всего вопросами о „городе“, т. е. о Якутске, в котором В. И., очевидно, продолжал пребывать душой: как там все?... с адресом французам по поводу столетия великой революции, как подвигается дело?... у колымчан ихние перекосертия с начальством из-за порядка отправки к чему-нибудь привели?... или все еще обе стороны препираются и нервничают без толку? *)...

*) В 1889 году исполнилось столетие французской великой революции. Ссыльные Якутской области предполагали составить по этому поводу адрес за общими подписями и отправить его посланным путем во Францию для вручения президенту французской республики. По мнению ссыльных, такой адрес, напечатанный в русских легальных изданиях, мог бы явиться противоядием покаянию Льва Тихомирова, помятому правительством, как выражение общего участия духа в революционной среде. Об этом эпизоде упоминаю в III-й главе этих очерков.

В той же главе сообщаются некоторые подробности о возникновении в жизни ссыльных Якутской области нового злободневного вопроса: вопроса об условиях отправки в Колымск и Верхоянск. В 1888 году состоялось постановление о высылке в эти города, находившиеся уже за полярным кругом, в расстоянии от Якутска 2300 верст или в 110 верст другой, всех ссылов, обнаруживших в России какую бы то ни было приспособленность к революционному движению. В результате этого распоряжения с начала 1889 года в Якутске одна за другой начали появляться партии ссыльных по несколько десятков человек каждая, состоявшие сплошь или почти сплошь из ссылов. Многие из ссыльных этого рода были почти мальчишками по возрасту, а еще чаще это были лица, захваченные провинциальной административной совершенно случайно или по самым ничтожным поводам. Путь на Верхоянск и на Колымск проходил совершенно пустынным местным путем; естественные причины необходимо забирать с собою в этот путь на все время,—не оставлять их по дороге пеще; для похода служил холодный, весьма близаначный; переход совершается на оленях, а число их на почтовых станциях очень ограничено; всякое с ссыльных обозом, сообщение на некоторых перегонах совершенно прерывается,—никако о провозе нет доклада вот... В силу этих условий якут-

Не зная, с чего и начать, я в разбивку давал ответы. Относительно колымчан можно было сообщить сведения скорее успокоительные. Правда: благожелательный к нам губернатор Светлицкий сменяется каким-то Коленко, а пока за губернатора приехал новый „яец“—Осташкин. В Иркутске ему, как говорит, дан строжайший наказ из генерал-губернаторских сфер: подтащить государственных преступников в Иркутске, ибо при Светлицком они „распустились“ и „устроили чуть не республику“. Прежде всего этому Осташкину приказано свыше выпроводить из Иркутска колымчан, так как их тут скопилось слишком много. Колымчан эти слухи тревожат: с иными из них прибыли жены и ребята, детвора ползучая; везти таких в нартах, по морозам, через Верхонский хребет с его знаменитыми кручами, да через колымскую тундру, это—не свадебная прогулка. Быватому человеку еще так-сяк, ну, а бедным голытьцам колымский путь и самый Колымск рисуется последним кругом дантовского ада, и погружаться в его льды с отрадной для начальства поспешностью их, действительно, не тянет. Раньше многие выторговали себе разные отсрочки: кто по болезни, кто по чему... а как оно будет при Осташкине—неизвестно... Однако, сам Осташкин пока, то есть, до моего отъезда, ничем не успел себя проявить. О его личности сведения до нас доходят скорее благ-приятные: сибиряк он: выбился из мелких чиновников, и ничего—не важничает; родная сестра у него,—курсистка, недавно сама пропала в административную ссылку, в Енисейск, и он с нею продолжает поддерживать переписку; не пугается все-таки разгневать этим начальство; а ведь иной чиншп струсли бы... Значит, этот уж не совсем дрянй-человек... Во всяком случае, сами колымчане вздаться, наконец, за установление очередей отправки и помаленьку друг друга подхлестывают. Был я у них перед отъездом на ихней сходке: настроение там было несколько взвинченное, но не угрожающее...

С адресом французам дело в городе стоит так: предложено каждому желающему составить свой проект и сдавать чистенько переписанный экземпляр на хранение Вере Павловне Свитыч, вдове популярнейшего из „пропагандистов“ семидесятых годов Дмитрия Рогачева. Она приехала сюда добровольно за своим вторым мужем Владиславом Свитычем и живет на правах „вольной“ в городе. Там же теперь поселился и Навий Подбельский, который месяца через три заканчивает срок своей ссылки, но на квартиру

ские власти не имеют возможности предоставить верхонских и колымских ссылкем сколько-нибудь своевременно в те задерживались в Иркутске в ожидании, когда до них дойдет очередь отправки, на год и больше. Они нанятали у обитателей квартиры и жили в Иркутске более или менее благополучно, разумеется, отсюда не торопясь отправляться в пустыню. Многих из них, по их непосредственности к ссылке и к условиям сибирского бытия, преследует Верхонский хребет с его опасными спусками и бескрайнее колымское болото полонило очень пугали. Между тем Иркутские власти, имея лишь самое смутное представление о том, что это за люди?—дали на иркутскую администрацию с требованиями сироватить колымчан неадекватно. Колымчане нервничали: администрация тоже нервничала; можно было опасаться каких-нибудь острых столкновений. Так стояло дело в начале февраля 1889 года.

Веры Павловны все привыкли смотреть, как на естественный узел улусного мирка, как на всеулусную канцелярию своего рода. Там все могут знакомиться с представленными проектами и составлять о них свое мнение. В двадцатых числах марта должно будет состояться общее собрание для критики всех готовых проектов и для окончательного установления руководящих начал. Желающим предоставляется направлять их проекты и из других округов туда же,—к Вере Павловне... Пока много споров идет о самой сути адреса. Существует в нашем кругу жизненное течение мысли и течение—как Павлук Орлов его называет—талмудическое. Радикальский талмуд добивается того, чтобы признавалось отступничеством от высших идеалов социализма всякое попечение об очередных задачах исторического момента и о всех житейских нуждах своего народа. Народовольчеству, выдвинувшему на первый план именно назревшую задачу русской истории—приобретение во что бы то ни стало политической свободы,—пришлось при самом возникновении выдержать отчаянную борьбу за право именоваться движением социалистическим. Все заматорелые в старом понимании книжники, как нас по началу-то честили?—и террористами, и якобинцами, и либералами, и чуть-что не прислужниками буржуазии... Стоит вспомнить, что писали тогда Плеханов, Аксельрод и все ихние... А из здешних Натансон, например, в передаче его взглядов старыми улусниками, долго признавал народовольчество за душепагубную ересь... По убеждениям таких, истинный социалист должен пребывать душой в некоей политической Нирване, где сияет чистая Добродетель и любовь к Человечеству вообще, но отнюдь не к определенным людям и группам людей, имеющим что-то свое, особое, чем они мне и милы... Эти пристрастия надо вырвать из сердца,—Натансоны на этом настаивают.

О каких-то там „отечествах“ в Нирване и понимать не полагается. Чтобы для этих презренных „отечеств“ да конституций добиваться?—это постыдно для истинного социалиста! Его взор должен быть вперен в Нирвану, и только в нее... Я уже давно смотрю на подобных „политиков“ и думаю про себя: в сектах-бы вам место, а не в партиях. Народовольчество возникло, как протест против бесплотного революционерства по букве писания, протест во имя жизненных интересов страны, с которой всякий из нас связан, как лист со своим деревом: оторвешься, — завянешь. Тут дело не в убеждениях, а скорее именно в чувстве этой кровной связи. Павлук Орлов—чистый народник, к народовольчеству он так и не применил, но, оставаясь в своих идеалах почти анархистом, во всех вопросах действительности твердо стоит на почве реальных интересов русского крестьянина и русского народа вообще. Со всякой сектанщиной он воюет по улусам неутомимо. С таким я во многом могу не соглашаться, но его я считаю действительно политиком, а „талмудисты“ это какая-то совершенно особенная порода существ, едва-ли не ретортного изделия. По характеристикам Тарасыча, я знаю, что вы-то не из них, и с вами мы, вероятно, в политических вопросах сойдемся... При толках об адресе оба наших исконных направления в улусных спорах тотчас-же и обнаружались: для одних,—вот повод прославить во всеуслышание вселенскую

Истину! Для других, вот повод напомнить правительству и обществу, что Тихомиров-единица, а русская революционная интеллигенция как была революционной, так и остается, и останется, вопреки всем репрессиям, пока не добьется для России свободы и правопорядка, чтобы тогда идти на всех парусах по чистому фарватеру, да с попутным ветром, „in das schöne Wunderland“. В таком духе улусные народовольцы хотели-бы составить адрес . . . А вы как? Думали над этим? Не пробовали сами набросать что-нибудь на бумажке?

Оказалось, что Василий Яковлевич и думал, и за бумажку было засел, а потом рукой махнул: уж очень многое хотелось-бы вместить на одной страничке, а как этого добиться? Корень наших идей в идеях Великой Революции. Это так. И в то-же время: основная идея Великой Революции—„права человека и гражданина“, то-есть свобода личности. А основная идея нашего времени—социализм, то-есть обеспечение для личности ее основных требований, духовных и материальных, самим обществом, что неизбежно связано с некоторым ограничением индивидуальной свободы. Конечно: вторая идея есть развитие первой. Но в то-же время эта вторая идея есть антитезис первой. Во всяком случае, это не одно и то-же... Все это и многое другое, с этим соприкасающееся, выяснилось для В. Я-ча в самом процессе облумывания текста при попытках набросать проект адреса. Мысли в его голове так и роились, и перо за ними решительно не поспевало. Я был первым собеседником, с которым он мог поделиться своими последними идеями (не с Франтом-же было разводить такие радея), и В. Я. спешил высказаться с большим увлечением.

В захватившем нас обоих разговоре на эти темы я упомянул, между прочим, о том, что в числе набитых в моем чемоданчике книг имеется компактное издание Жюль Жака Руссо, по французски, и две книги Морлея—О Дидро и о Вольтере, по русски. Это сообщение очень обрадовало В. Я-ча, и чемоданчик мой был тотчас-же извлечен, вскрыт и подвергнут тщательному осмотру. Две книги В. Я. облюбовал для чтения в первую-же очередь: „Историю испанской литературы“ Тикнора и „Историю английской литературы“ Тэна. До сих пор содержание именно этих двух книг я помню лучше, чем содержание многих других произведений, прочитанных за тот-же период, благодаря тому, что В. Я. в ближайшие месяцы часто заводил со мною разговоры на темы из Тэна и из Тикнора. Сколько раз, бывало позже, сидим мы с ним на нашей рубке в лесу, у костра. Рубка шла по ночам: в близине и свежести этих северных ночей всякая работа лучше спорится, чем при дневной жаре. Склонялись над нами в те ночи кудрявые сосны да весенние лиственницы с розоватыми шишечками. Из-за их ласковой зелени до нашего стана с ближнего оврага сполохи буйной птицы, но даже это охотничьего сердца В. Я-ча на те раза не отягало. Из-под пахучей сени мечтательного северного леса в эти бледные вочи с их нестеровскими тонами уносились мы с неутомимым казачьим поручиком, как на шаманских бубнах, в края звойные, где и правники зовутся алькадами, что звучит куда красивей, или в края привольные, где самому заскорузлomu шерифу наши порядки показались бы сущей азиатщиной... В конце концов наши волшебные бубны заносили нас, однако, неизменно опять

в Россию, но в какую?—В свободную, мощную, цветущую, изумляющую все народы размахом дивных сил, до сих пор таившихся в славянской душе, как живой ключ под камнем...

Проживя мы последние годы в Москве или в Петербурге, вероятно, и мы-бы оба отяжелели и на шаманских бубнах чувствовали-бы себя не так свободно, но в Вилуйске, у костра в поэтическом лесу, сами с почетным званием „государственных преступников“, начитавшись Тэна и Тихнора да мало-ли кого еще, мы в полетах своей революционно-патриотической фантазии никакого удержу не знали и заносились ни весть, в какую высь...

V.

На новом месте.

Наговорившись и опростав самовар почти до дна, пошли мы с новым приятелем осматривать достопримечательность города — тюрьму Чернышевского. По внешности эта достопримечательность отличалась от обыкновенного сибирского этапа только особенной солидностью постройки. Как и все почти этапные здания, она стояла несколько поодаль от жилых домов, над обрывом реки, воротами к воде, а с права от тюрьмы довольно круто спускался невысокий скат в лесистой низине неприветливого вида. Ворота были на запоре, а из-за четырехугольника заостренных палей, напоминавших какую-то древнюю крепость, снаружи виднелась грубообразная серая крыша. Вне ограды, как и на этапах, пустовал теперь приличного вида удлиненный флягелек, где раньше находилась квартира офицера и казармы для конвоя.

Тюрьма эта, как В. И. уже разузнал от обывателей, была выстроена не для Чернышевского, а раньше, — после „брутобайкальского бунта“ сосланных повстанцев в 66 году. При работах по сооружению „Кругоморского тракта“, т. е. большой дороги из Иркутска на Амур, в отдаленной оконечности Байкала, начальство пользовалось трудом каторжников повстанцев. Тюрьма ихняя находилась в селе Лиственичном, верстах в 60 от Иркутска, где теперь железная дорога подходит к Байкалу с запада. Там поляков содержалось много, — несколько сот человек, и их оттуда гоняли на работы в дикую горную местность под конвоем двух десятков солдат, командиром которых был офицер Черняев, — впоследствии наш якутский губернатор. От села Култук на юге Байкала до китайской границы на глаз — рукой подать, а дальше лежат пустыни Монголии. Поляк Шиманович и несколько других удалцов подбили своих наброситься внезапно на конвой, обезоружить его и прорваться в горы. Они думали, что ловить их будет некому, так как войска наши были тогда на Амуре. Однако начальство не опешило: оно поставило на ноги всех окрестных крестьян, бурят и казаков, всех звероловов-промышленников, знающих свои горы со всеми их медвежьими берлогами и следами изюбrey и с хатых вдоль и поперек. В этих горах все проходы на перечет, как и в болотах,

а так как на голую стену не полезешь, то кто попал в это заколоченное царство, тот единственного возможного оттуда выхода не минует: отоцает в напрасных поисках, а все таки упрется туда, где его ждут. С поляками так и вышло: они прежде всего растерали в горном лабиринте друг друга, разбились на мелкие отряды и кучки, изголодались, измучились, и вскоре-же почти все поголовно были задержаны. Шимановича и еще четверых человек после этого расстреляли, а знаменитого Иосифата Огрызко и с ним человек с двадцать наиболее влиятельных в своем кругу повстанцев решили удалить от всякого общения с другими поляками и для них-то придумали соорудить морильню на Вилюе. Памятью этого периода к нашему времени оставалось несколько высоких польских крестов на кладбище, т. е. некоторые из заключенных действительно тут и умерли, а Иосифат Огрызко и большинство его товарищей в 70 году были выпущены на поселение в Якутск. Офицера и конной с их отъездом перевели из Вилюйска, и тюрьма опустела до приезда Николая Гавриловича.

О том, как тут жилось нашему первоучителю, я кое-что знал из рукописи Шаганова, а В. Я. кое-что слышал от вилюйцев, и мы поделились своими сведениями. Глядя на эти пали, на эту безкрайнюю пустыню за Вилюем и на печальный ельничек в соседней долине, жутко было думать, что ни много, ни мало—двенадцать лет угасал тут одиноко такой сильный ум и пропадал без дела такой сильный характер, а Россия-то правил кто-же?—Мяковы да Тимановы, Толстые да Победоносцевы, да такие, что даже и тем по колено!.. Подумаешь: так мы богаты талантами, чтобы их по Вилюйским рассевать!.. А расплачиваться за это приходится не Валчевым и Адлербергам, а вот такими, как мы с Василь-Ильичем, тысячам русской молодежи, которую, понятно, плеплет образ изгнанника—Чернышевского, тогда как от Победоносцевых с души воротит... А ведь освободили-бы крестьян не по Панински, а так, как Чернышевский добивался, так вернее всего—и революции никакой-бы не было!.. Я бы теперь магистерскую диссертацию писал, Иковлев подготовил бы какой-нибудь исторический труд, Павлюк давно уже был-бы приват-доцентом и журналистом с широкой аудиторией... Эх-ма! Судьба расейская!..

Тут-же, недалеко за тюрьмой, в занесенном снегом соснычке указали мне В. Я. и кладбище, на котором рядом со старыми брестали польских повстанцев белел еще свежий небольшой крестик над могилкой нашей верхоленской „Гретхен“. С год тому назад увяла здесь наша Гретхен одна-одинехонька после того, как по распоряжению департамента полиции ее выслали сюда из Верхоленска за попытку добыть из России для ссыльных книжку „Вестника Народной Воли“. Эта „Гретхен“ была—студент, казалец, Николай Владимирович Нордан, родственник наших саратовских Норданов, владельцев известного в мое время в Саратове музыкального магазина. Прозвали его „Гретхен“, потому что он был очень красив, и притом скорее по девически красив: с нежным цветом лица, с прекрасными голубыми глазами и с вьющимися прямыми мягких, белокурых волос. Характер у него был чрезвычайно мягкий, ровный и милый, но не без немецкой флегмы. Несмотря на германский тип

лица и нечто немецкое в самом складе личности, наша казанская Гретхен была отчаянной руссофилкой и всею душою народницей. Чтобы покончить со всякой неметчиной, Гретхен уже студентом приняла православие и при ожидавшемся всеми нами нашествии немцев на Россию давно решила непременно идти на войну. На войне она уж, наверно, была-бы не плохим солдатом, так как, несмотря на свой нежный и скромный вид, была особа преобладающая: из тюрьмы однажды бежала с огромным риском и под обстрелом сохраняла свойственную ей благопристойную медлительность движений и невозмутимый юмор. Была она в Верхотенске общей любимицей, несмотря на то, что, наперекор всем нам, ярым народолюбцам, оставалась чистой народницей: на террор никак не соглашалась. Ради ее девической природы ей такая слабость не ставилась в укор.

Письмо в Россию, отправленное „по вернейшему адресу“, было перехвачено, книжки „Вестника“ мы не получили и самой Гретхен лишились. Приватили однажды в городок солдатики из Иркутска с бумажкой исправнику. Тот прочел бумажку и послал стражников за Гретхен, а когда та, как и всегда спокойная и благопристойная, заявила, предложил ей без дальних сборов отправиться в путь — в Якутскую область, в уединенный Вилюйск. Мы наскоро переговорили между собой и посвятили тогда Гретхен в нашу верхотенскую тайну: при квартире, которую в тот момент занимали я и харьковец Саша Сыцяноко ¹⁾, имелся тайник, где (не без риска для здоровья) можно было надежно укрыться от розысков недели на две. Тайник этот был сооружен несколько лет тому назад прежними ссыльными в виду ожидавшегося с неделю на неделю побега из Якутии Натансона. Натансон, однако, по соображениям вышестейной политики, свой побег все откладывал да откладывал и в конце концов выехал вполне легально с истечением своего срока. Тайник не понадобился, но его все-таки сохраняли на всякий случай. Гретхен сторяча согласилась на наш план побега и, пока мы с Сашей возились с приготовлениями, остальная публика на просторной квартире в другом конце города разбалабалась с солдатами и по случаю проводов угощала, конечно, и их. Солдаты были не жандармские, а обыкновенные, батальонные, и на беду один из них оказался премильным и всем очень понравился. Хороший прием паренька растрогал: трясся он несколько дней по морозу, а тут — тепло, светло, чисто; sieht он у господ, господа такие простые, хорошие; угощают, разговаривают, вроде как у родственников гостит. А между тем парень-то в казарме, как видно, сильно стосковался. Не нравилось ему это полупраздное и подневольное житье. То-

¹⁾ Александр Осипович Сыцяноко, сын доктора, двадцати лет от рода был осужден на поселение в восточной Сибири за содействие Желябову в сокрытии снарядов, служивших при неудачном покушении на царя под Александровском. Вскоре же по прибытии на место ссылки он пытался бежать, а в 88 году был выслан с прочими верхотенцами в еще более отдаленный пункт за участие в общем протесте против местной администрации и ее действий. Вернувшись в Россию в конце девятых годов, С. участвовал в революционной работе, предшествовавшей образованию партии социалистов-революционеров, и после нового ареста покончил с собой в воронежской тюрьме.

варианты тоже были не по нем: озорные все больше, разговор у них все о девках, да так, что уж хуже и нельзя... даже слушать стыдно!.. А у него-то в деревне, в тобольской губернии! Вот-бы кто из нас к нему так в гости заехал! Уж как-бы он принял!.. Да я батюшка его, и жена молодая... Кабы они знали, как его тут чужие обласкали, уж так-бы приняли,—не знали-бы под какие образа и сажать! Б. Пасхе (а дело было постом) солдатика ждали домой: отпуск ему был уже обещан, как только благополучно доставит арестанта на место и вернется из этой ответственной командировки...

Когда я пришел на эту квартиру с извещением, что все готово, то сразу заметил, что публике как-то не по себе. Один простак-солдатик, и не догадываясь, что ждут его не батюшка-старичек да молоденькая женка, а ждут его,—двери настежь!—арестантские роты, знай себе—откровенничал. Гретхен в этой комнате не было. Она стояла в неосвещенном пустом кабинетике рядом со столовой и смотрела через зимние стекла на томень пустой улицы. Я подошел и говорю: „Ну! идти, так идти! у нас все готово“. Гретхен ни с места. Стоит лицом к стеклу молча. Из кабинета дверь ведет в темную переднюю; потихоньку выйдти и скрыться ничего не стоит, но копаться в таких делах нельзя... Я говорю: „Саша там ждет; я вас провожу“. Молчит Гретхен, не шелохнется. Злость меня разобрала и на него, и на дурака-солдатика, и на свою подлую роль: „во имя благороднейших идей необходимо совершать революцию, а во имя революции необходимо совершать когда злодейства, а когда и пакости, как вот сейчас... Чорт знает, какая дичь в этой жизни: хочешь сохранить чистоту перед ближними—бездействуй, то-есть стань подлецом перед родиной, а хочешь бороться со злом за весь народ—топчи порой в человеческой траве и такую незабудку, как этот парень... И тянуло его за язык все так живо рассказать“!.. Потеряв терпение, „ну, говорю (и чувствую, что говорю зло и жестоко),—либо так, либо этак, не век нам тут торчать. У меня ноги не купленные!“ Круто повернулась Гретхен и быстро вышла не в темную переднюю, а в освещенную столовую. Прямо к самоварчику и с веселым видом к Христине Гринберг, хозяйке квартиры: „плесните-ка и мне еще стакачик на дорожку“... У наших у всех явно гора с плеч скатилась. Совсем другие лица стали. Даже солдатик заметил, что тут что-то без слов произошло, и посмотрел на всех удивленно. С ним все как-то сразу заговорили и стали еще ласковей. Постояв, я посмотрел на общую идиллию и пошел за Сашей звать и его туда-же,—дождаться Гретхен в убежище теперь, очевидно, было напрасно...

Через час милый солдатик заботливо укутывал Гретхен собачьей дохой и приветливо магал нам шапкой, от души благодаря и за нашу ласку, и за угощение. Лошади взяли с места вскачь, и понеслись сани по мерзлой дороге в далекий путь. Прощай, Гретхен! Только мы ее и видели.

Из Виллюкса Иордан нам написал, что, по словам обывателей, тут остается в каких-то сундуках библиотека Чернышевского, но пользоваться книгами ему нельзя, так как на это требуется разрешение областного правления, а он не дает разрешения без письменного согласия самого Чернышевского. Но,

догадываясь, что еще немного,—и сам я буду в том-же Вилюйске, я тотчас-же написал о сообщении Иордана Чернышевскому, адресовав [письмо на астраханское жандармское управление. Жандармы оказались благородны: письмо мое Чернышевскому передали, и тот не замедлил уведомить якутские власти, что он разрешает передать книги Иордану. Однако Иордан воспользоваться этим разрешением уже не мог, так как прожил недолго и умер от чахотки. Василия Яковлевича это все очень заинтересовало, и он начал перед местными властями хлопоты, чтобы книги передали нам. Переписка с Якутском тянулась несколько месяцев и незадолго перед нашим выездом из Вилюйска мы получили от полиции ящик с несколькими разрозненными и растрепанными книжками старых журналов. Позже, уже в начале девятидесятых годов, когда в Якутском округе ссыльные решили устроить в Памском улусе вторую библиотеку (первая сыздавна находилась в Батуруском улусе), нам удалось выпарпать от областного правления еще один или два ящика. Помню, что в их перевозке участвовали я и саратовец Петр Сергеевич Степанов, студент-петровец, но и в этих ящиках была только рвань и мешанина... В Якутске обыватели указывали на двоих чиновников, имевших хорошие библиотеки, и утверждали, будто книги Чернышевского теперь тут, но правда-ли это,—я не знал.

Определенного порядка жизни у нас на новом месте сразу не могло наладиться. Квартира наша состояла из двух маленьких комнаток и одной просторной, холодной и пустынной, как тундра, почему мы ее так и прозвали (как оказалась, в одно слово с колымчанами, те свою общую квартиру тоже называли „Тундрой“). Одну из маленьких комнаток занимал Франт. Он был великопыен. На Тверском бульваре, с мамзелью под ручку, а не то и в кабриолете богатой купчихи, такой мужчина был-бы на своем месте, но в Тундре, рядом с таким стрипулистом, каким щеголял тогда Яковлев, и с таким галаховцем, как я, видеть его было удивительно. Чаще всего он отсутствовал, ибо непостижимо быстро приобрел и тут дамское знакомство и пошел к цели сразу-же с тупым упрямством и с откровенностью, казавшейся нам наглою. Дома он лежал на своей кровати с видом разочарованным и меланхолическим, а если говорил, то преимущественно на кулинарные темы. Иногда, впрочем, он изрекал какую-либо краткую фразу весьма радикального характера, свидетельствующую о непримиримости его чувств и о высоком благородстве убеждений. Фразы эти падали обыкновенно неожиданно, как кирпич, неизвестно почему свалившийся с печи, и оставляли впечатление странное, но сам он всегда бывал своими выступлениями очень доволен и иногда даже повторялся. Благодаря его молчаливости и частым исчезновениям мешал он мало, и на первых порах казалось, что терпеть его около себя, хоть и скрепя сердце, но все таки можно.

Что до меня, то я имел в виду поосмотреться хорошенько, подготовиться, и еще раз попытать счастья в побеге. В таких отдаленных целях я приспособил длинный стол, стоявший в Тундре, для черчения и по утрам перечерчивал большую карту края, раздобытую для меня приятелем из какого-

то казенного учреждения в Иркутске, но только не на долго, — подлиннее надо было отослать с первой-же оказией обратно. Остальное время, то-есть почти весь день, проходил у нас пока в чтении или в болтовне с В. Я.-чем, так как мы с ним друг для друга еще не выдохлись, а тем, интересовавших равно обоих, было уж очень много. Так как я и в России, в Москве и в Саратове, встречал многих популярнейших в тогдашней молодежи революционеров, и по Сибири успел потрепаться за пятерых и знавался со всевозможным народом, то В. Я. набросился на меня с распросами, как начинающий этнограф на интересного „туземца“: что у нас в восточной Сибири ссыльные думали о том-то и о том-то? да как у нас жилось? да какие у нас бывали наиболее достопримечательные „истории“ с начальством? да что мы знаем о таких-то и таких-то славных революционных событиях? и т. д. без конца. Сам В. Я. собеседник был презанимательный, и притом, говоря по толстовски, „с изюминкой“: в нем самом, то-есть в голове у него, всегда что-нибудь бродило, накипало, стремилось оформиться, вылевывалось, как цыпленок из скорлупы, и это и слушателя, маломальски подходящего по развитию, тоже взбадривало и чрезвычайно оживляло. Настроение у него почти всегда было хорошее, а при малейшей удаче в чем-бы то ни было, даже несколько приподнятое. Остриг себе, посмеивается, впопыхах выполняет за разговором какую-нибудь домашнюю работу, делает все курам на смех, но духом не падает и на мир взирает победоносно. Одна преобладающая черта бросилась мне в глаза в личности этого петербургского заговорщика, туринского протестанта, сургутского председателя бурных сходок и неунывающего этапного странствователя. При первом-же нашем разговоре в Вилюйске, когда прямо с крепенького дорожного морозца засел я с ним за душепоясительный самоварчик в беседе об идеях Великой Революции и их отношении к идеям нашего времени, и при последних совещаниях в Петрограде, уже во время войны, в освященных столетнею давностью, стенах Вольно-Экономического Общества, Василь-Якович, даром что убеждения его за двадцать пять лет не раз, и не совсем в пустяках, менялись, сам по себе все был тем-же, — ни дать, ни взять — моим вилюйским собеседником. Духовно не утратил этого сивку никакие крутые горки. В нем ни на единый градус не понизилась его умственная неутомимость и неустанная подвижность, не улеглась ненасытная жажда все знать, во все вникнуть и во всякое общественное дело непременно деятельно вмешаться, — вмешаться в чью-нибудь защиту. Чужую мысль он схватывал на лету, свою отстаивал упорно, но несколько торопливо, не без выпадов находчивой диалектики, и почти всегда с шуточками и прибауточками, со щедринскими и Глеб-Успенского словечками. Этот в споре не пер на противника всегда с одной и той-же дубиной, как Ленин, но не фехтовал цегольски тонкой шпагой, как Плеханов, а больше пернатые стрелы метал, обскакивая неприятеля по казацки и оттуда, и отсюда, и с самых неожиданных сторон. Довода не хватает, — сострит удачно, но в тупик никогда не станет... Рассказывал он в ту пору больше об офицерской жизни в Петербурге и в Сибири. Среда эта, по его рассказам, обрисовывалась, не ахти какой высокой по умственному и полити-

ческому развитию, но не плохой, и в своем кругу теплой и дружеской. На окраинах,— в Туркестане, на Кавказе и в восточной Сибири, где начальственное око было не так зорко, там и революционно-настроенных, интеллигентных офицеров можно, бывало, повстречать не очень редко, и жилось там отчасти, как и в наших ссыльных колониях, безалаберно, но действительно по товарищески. Однако, ждать от тогдашнего офицерства почина в революции, по наблюдениям В. Я-ча, не приходилось. В большинстве офицеры-народ serene-кий, как и вся российская интеллигенция этой глухой поры. Кто из питерских офицеров поделнее, те все погружаются в свои военные науки: ждут-не дож-дятся, когда немец соберется с силами и нагрянет на нас, чтобы добиться своей заветной цели,—покончить со всем славянством на веки веков, обратив его в свой рабочий скот. А что нагрянет на нас немец, в этом никто не сомневается. Но только „страшен сон, да милостив Бог“: турецкая война несколько встряхнула русское общество и повела к усилению революционного духа. То-же, но в гораздо большей степени, произойдет при войне за самое существование России. Правительство, конечно, позорно оскандалится. Быть может, в страхе перед революцией, дойдет и до прямой измены... Династия-то ведь у нас немецкая, бюрократия по составу и по духу полунемецкая... Ну, что им Россия? Была-бы их власть крепка!... А как только они с немцем зашушукуются, тут-то их и свалить... Народ тогда непременно восстанет и нам сразу придется решать обе задачи: валить помещичье правительство и его вдохновителя и покровителя, немца, гнать, а значит—и все славянство призвать к освобождению, так как и венгры, и турки только немцем и сильны. Не поддерживай их немец,—давно-бы все братушки с теми управлялись. Социальное освобождение восточного славянства и политическое освобождение западного славянства, как это совершенно правильно указывал Прудон,—две стороны одной и той-же задачи, и обе они разрешатся одновременно: поражением царизма в России и юнкерства в Германии..... Такие события произошли нами в ближайшем будущем и в этих ожиданиях сходились не только мы с Яковлевыми, но и большинство нашей глухой публики.

...То политиканствуя, то философствуя, то попросту неприятно-болтая, жили мы себе в своей прохладной Тундре и коротали дни без скуки. Иногда к нам и гость заглядывал: единственный в городе интеллигент, — окружной врач Семенов, наш сосед по жилью. Теперь господин уже лет сорока, в свои студенческие годы знавался этот вилюйский обыватель с чайковцами и с долгушинцами, побывал он и за границей, многих эмигрантов знал, а после по России постранствовал; порассказать ему было о чем, и в третьем виде был он для нас гостем желанным. Притом-же и доктор он был очень недурной, со знаниями совсем не по Вилюйску. В молодости мечтал этот Семенов о профессуре, увлекался научными вопросами, но все его задатки, как внешний цвет от летней тли, сошли впустую. Сгубили талантливого человека, певца с необыкновенной музыкальной памятью, человека развитого и образованного, рюмочки да чарочки, — звонкие забавницы, коварные заманщицы. В Питере он только выпивал, в Ташкенте на службе уже напивался, а в Вилюйске и

в конец спился, в пьяном-же виде бывал не то что не казист, а прямо не-сносен. В. Я., конечно, вообразил, что сумеет оказать на него благотворное влияние, что в нашей среде тот отойдет, выправится и станет опять настоящим интеллигентом, — светочем, можно сказать, для толпы, а не мохрой тряпкой. Помимо того у Василия явился и другой повод для сближения с доктором: в Якутском округе некоторые из ссыльных, даже и не медики по университету, занимались лечением якутов. Казенная медицина в то время в улусах совершенно отсутствовала, а о частной и помина не было. На весь Якутский или Вилюйский округ имелось по одному окружному врачу, который ездил с полицейскими на всякие „внезапные умертвия“, за многие сотни верст, по непролазнейшим путям, с изрядным запасом „подкрепительного“ для себя, но почти без всяких медикаментов для больных, так как из Якутска медикаменты присылались в кои-то веки, в количестве до смешного убогом и в подборе по здешнему месту никчемном, тогда как наиужнейшего по роду здешних болезней обыкновенно и не бывало. Посмотрит доктор на присланное с недоумением, ругнет врачебного инспектора: „ведь знает, подлец, что здесь эта дрянь ни к чему, а шлет словно на смех!“ — и залет себе с горя двойной прием „укрепительного“: „пей, не пей, толку столько-же от всей моей медицины“, — так скажет в успокоение совести и на том опочнет от прежних своих „трудов“... При такой постановке в этом крае врачебного дела, имея под рукой два—три лечебника да десяток скляночек с простенькими снадобьями, тут можно было во многих случаях помогать, и не будучи патентованным врачом. В. Я.—чу этот род деятельности очень нравился, и он даже подумывал: не поступить-ли ему по возвращении в Россию на медицинский факультет? Кое-что по этой части он читал уже раньше, — в Сургуте, при болезни Иванова, — а теперь он вознамерился проштудировать библиотеку Семенова и практически около него понаблюдать. Семенов и не прочь-бы был попрофессорствовать не-много, да к стати в лице Иковлева приобрести усердного помощника, да водочка его слишком часто подмачивала и делала совершенно негодным к чему-бы то ни было. В. Я.—ча это не смущало; настойчивость у него в характере была. Стал он у доктора висеть над душой. Корил его, шпынял его, убажал, усовещивал, в конце концов подсушивал, и с превеликим торжеством показывал нам соседа хотькудашненьким, благопристойным и даже почтенным. Наступал период, когда все болящие Вилюйска и окрестностей спешили воспользоваться моментом и вереницами тянулись к доктору, зная, что добродетель его капризна. В. Я. добровольно разрывался тогда около своего поднадзорного профессора и за фельдшера, и за фармацевта, а позже и за ассистента. Пробовал-было он примечать и Франта к фармацевтическим работам, так как для того это было-бы привычным делом, но великолепный мужчина парировал все утешения брезгливым отводом: „работать с Семеновым? с этим грязным пьяницей? — он груб и мерзок; а таких положительно не выношу!“, — и тщетны были все подходы Иковлева: великолепный мужчина сохранял свое величие, не пачкая хол-леных рук в аптечной дряни. Зато В. Я. в полосы трезвости доктора без дела

не сидел, а иногда даже в улус выезжал для повторного осмотра какого-нибудь больного, и вскоре стал работать, что твой заправский фельдшер.

Еженедельно в Вилуйск подвозили по человеку, и новоприбывшие останавливались у нас. И Михалевич, и Техник, и Яша легко прискакали себе конурки и юрточки у обывателей, но все часто собирались в Тундре и вели общую болтовню. Привозили они те-же сведения, какие раньше привез и я, только с несколько усилившимися опасениями. Последним, уже в половине марта, прибыл Тарасыч. Перед его отъездом Осташкин успел-таки себя проявить: предупредил колымчан, что не позже апреля всех их выпроводит. Это, конечно, была только похвальба, так как где же выпроводить человек сорок перед самым началом распутицы? Если с десятка успеет отправить, то и то слава богу! А то что-же: поплывут, что-ли, колымчане в своих нартах, аки Ной во ковчеге? или Осташкин осушит для них все хляби тундр, аки Моисей при исходе Израиля?... Просто не представляет себе человек положения. Надежда взрастить этого ретивого слугу фараонова не покидала колымчан, и к Осташкину, по словам Тарасыча, совершали паломничества депутаты из мужей, наиболее сладкоречивых и искусных в увещеваниях самого лютого начальства. Однако этот твердовыйный Осташкин никак не в силах расстаться с иллюзией своего губернаторского всемогущества. По новости в должности, ему кажется, что губернаторскому приказу все стихии должны подчиняться. хляби повременят хлябнуть, олени перестанут уставать, и, проделав станок в четыреста верст в один копец, резво побегут обратно, и опять в тот копец, и так далее.... Нужна только твердость и твердость. А зато: какая красота! — что ни седьмой день, то в Иркутск из областного правления бумажка: „согласно приказу Вашего Высочайшего превосходительства сего числа столько-то государственных преступников препровождено по назначению... Сразу будет видно, что тут не Светлицкий сидит, уткнувшись носом в какую-то там научную книгу ¹⁾, а правит твердой рукой настоящий администратор хорошей сибирской школы!“... Глупо, конечно, со стороны Осташкина так рассчитывать, но колымчанам не до смеха. Часть из них угрожающей им перспективой застрять в пустыне без крова и без припасов очень удручена и выражает готовность скорее драться, чем подчиняться такому нелепому распоряжению... Ну, конечно, — и Гаусман, и Павлюк, которого даже колымчане возлюбили, и Петр Александрович Мухомов, вся публика посolidней расколаживает горячие головы и, вероятно, сумеет предотвратить черезчур резкое столкновение... Ника там неугомон берет ²⁾: лишь-бы этот не намутил. У него какой-то гвоздь засел в голове, что евреи обижены, что русские евреев не поддерживают, что евреи должны протестовать во что-бы то ни стало... Он взвизгивает разную детвору подобными речами... Да притом-же он за жену боится: она, говорят, уже беременна. Со стороны Осташ-

¹⁾ Губернатор Светлицкий ранее был директором кадетского корпуса.

²⁾ Сергей Аркадьевич Пик, молодой еврей из Москвы, устраивавший там революционные кружки из всякой молодежи, был арестован поговору Зубатова и выслан в Якутскую область административно лет на пять. В Якутск он прибыл незадолго до Яковлева и Тарасыча.

кина, конечно, свинство беременную женщину отправлять в такой путь... Но если-бы о ней одной речь была, то, вероятно, я Осташкин спорить-бы не стал, а тут в общей форме вопрос поставлен. Шума и разговоров много идет.

...Однако, нелепо-же в самом деле думать, что по такому поводу баталли выйдет. Урезонят как-нибудь и Пика.. А в Якутске, пока-что, превесело теперь живет. Для собраний у колымчан заведена особая квартира; на Большой улице, в доме Монастыревой, устроена библиотека; библиотекарь, некий студент Ноткин, только недавно прибывший, там и живет. В библиотеке всегдалюдно: и смех, и пляс, и споры; философы философствуют, остряки острят, политики мир совершенствуют и речи друг перед другом закатывают, певцы поют, скрипачи сладчайшие трели выводят. Аэины, чорт возьми, а не Якутск богомзабвенный!... Тарасыч в последние дни там и жил, в этой библиотеке, в самом пекле, так сказать, пекся и совсем замотался; и споры послушать интересно, и от хора уходить не охота, а тут надо для нас закупки делать... Уговаривали его пожить в городе до Пасхи, соблазнительно это было-бы, да только нас пожалел староста: как-то мы без него сиротствуем? ну, какое у нас без его глаза хозяйство?!

Восхваляли мы своего старосту за его артельный патриотизм и поинтересовались: ну, а как оно с адресом там, в „Аэинах“?

С адресом, оказалось, дело подвигалось, но не шибко. Проектов предоставлено чуть не три десятка, но все что-то не то... На Павлюка многие рассчитывали, и он действительно написал как-бы маленький трактат. Искренно, просто, красиво... Не в угусе-бы парию сидеть!... Но послушали-бы мы, что это такое?— как-бы маленький, прензанный философский миниатюр, прекрасный конспект преинтересного большого трактата, но вовсе не адрес... Изумительнейшая личность этот Павлюк! Тарасыч чуть не на десять лет моложе его и читал, наверно, в двадцать раз меньше, но иногда его берет охота этого умницу то-ли по головке погладить, то-ли за ушко подрать... Способность к отвлеченному мышлению прямо удивительная,—с этим и Викторыч согласен: способность яркой и осмысленно ясной формы изложения тоже необыкновенная. Чувствуется всегда глубокий внутренний интерес у человека к тому, что он говорит. Для этого мысль—не забава, не средство блеснуть, выделиться, показать себя: вот мол я каков! Для этого мысль—самая суть жизни... И в то-же время: нидал-ли кто-нибудь из нас такого мальца? такого идеального пошехонца? субъекта, который до тридцатилетнего возраста оставался-бы каким-то вундеркиндом?... Тут уж наверно тюрьма виновата! Сколько она, подлая, на Руси талантов загубила!... Ну, а из других авторов можно еще упомянуть Серошевского. Вацлав представил проект яркий и хлесткий, но улусники находят, что такой адрес надо читать не иначе, как под аккомпанимент медных труб и пушечных залпов... Вобщем на вкус требовательного улусного форума угодить трудно...

Промелькнул день или два после того, как мы выуживали городские новости от словоохотливого Тарасыча, и пришел к нам в Тувадру Техник, и известил, что накануне думал он, думал, да и набросал сам проект адреса, неболь-

шой по объему и по содержанию простенький. Прослушали мы его; действительно и просто, и в то-же время темпераментно. Сам Техник не даром был грозой жан-дармов: что-то затаенное, сильное и взрывчатое было в его натуре и чувствовалось в намеренно холодных и чеканных фразах его стиля. Одобрив мы все его проект, слегка подправили в мелких частностях и всей колонной охотно подписали. Следовало подумать о способе доставки этого адреса в Якутск. Доверять свое произведение почте, значило-бы обрекать его на верный провал. Надо было выискать какую-нибудь надежную „оказию“ через обывателей. С обывателями с первых-же дней своего появления в Вилюйске теснее всех сошелся Михалевич, и мы его и запрягли в дело поисков „оказии“.

Михалевич весьма быстро оказию нашел, но вместе с тем огорошил нас таким сообщением, что мы ушам своим не верили. Один местный купец, как оказалось, на днях снаряжает в Якутск обоз товаров, и возчики-якуты, конечно, примут любое письмо для передачи в Якутске, кому им укажут. Для нас тем дело и кончалось: примут, и чудесно! Но для Михалевича этот простой факт служил зерном блестящего, по его мнению, и революционнейшего проекта: ведь возчикам предстоит идти назад порожняком; они подыскивают подряд на вывозку кладь из Якутска и готовы вести, что угодно, в Вилюйск очень дешево... Не клад-ли такой случай?!—Через Папю, который теперь служит конторщиком у купца Шитова, в Якутске набрать в долг товаров тысячев на шесть, вывезти товар сюда за пустяковую плату, с выгодой распродать,— вот и средства для нового побега, хотя-бы всей нашей прежней троицы... Что мы на это скажем? Идеи?

Нас без преувеличения так и пристукнуло: как?! завести торговлю?! вулачеством заняться? обирать якутов?... нам? социалистам?!... в уме-ли вы, Пап?

Если-бы графу Шереметеву предложил стать за стойку пивной лавочки, его смятение было бы возмущен и шокирован не больше, чем мы, при неприличном предложении Михалевича. Никакой аристократ на свете ведь не был так глубоко и так искренно пропитан уверенностью в том, что он и немногие избранные его круга составляют истинную соль земли. Все войны и договоры великих держав, технические предприятия вроде Панамского канала и даже величайшие научные открытия, в наших глазах, не имели для судеб человечества такого значения, как подготовка величайшего в истории переворота, после которого перед народами откроется эра бесконечного совершенствования и безматерного блаженства. Мы, народовольцы, считавшие себя большими реалистами и подливыми русскими патриотами (не в пример „патриотам“ в кавычках,—те, конечно, по нашей оценке, были силошь карьеристами и фразерами),—и мы разделяли такое понимание со всеми другими тогдашними радикалами. Социализм в нашем восприятии был учением скорее религиозным, чем экономическим. Русский социализм повторял, как нам казалось, судьбы православия: на Западе христианство подчинилось могуществу римской государственности, пропиталось язычески-государственным духом и повело к созданию церкви—государства, царской империи. На Востоке христиан-

ство ушло в глубь сердец и вызвало напряженную работу мысли и неустан-ные искания полной правды,—богословие, сектантство, монашество. Так теперь с социализмом: на Западе классовое расслоение общества и буржуазная психоло-гия всего населения, в том числе и рабочего, странная сила капиталисти-ческой культуры, исторические традиции, и все такое, сразу-же повлияли на социалистическую мысль в уподобляющем духе, и западный социализм,—клас-совый, материалистический,—по нашей мерке, отдавал мещанством и был при-ворочен тамашными теоретиками, особенно Маресом, к требованиям душ-нических и неспособных к самопожертвованию. Это, собственно, был уже не социализм, а так себе,—дошевка, совсем не то, что наш чистый, возвышенный, уносящий дух в горния.. Русский социалист не „классовый интерес“ отста-ивает, а служит идеалу Вселенской Правды. Он должен быть рыцарем Свя-той Чаши, борцом за Свободу и мстителем за всех униженных и оскорблен-ных. Взялся человек за такое святое дело,—так уж должен совершенно отрешиться от всякой житейской грязи, от погони за пошлым благополучием, за одобрением толпы, даже от мечты о семейном уюте. Всегда и всюду он должен оставаться только воином и мыслителем, — провидцем будущего... Это, разуме-ется, был идеал, очевидно для нас самих, довольно—таки далекий от дей-ствительности и сверхсильный для нас грешных, каковы мы без парадных дос-пехов, сами-то по себе. Потолкавшись в кружках, понасилавшись в тюрьмах и по улусам, никто, понятно, Лоэнгринов вокруг себя уже не искал. Взять хоть самых лучших в нашей среде: ну,—Грехтен, ну,—Сапа Сыцямо, да и это угодно,—премилые студентики, душевные ребята. Голову свою сложить готовы, а чтобы живыми в рай лезли, этого и о них не скажешь... А все-таки.. идеал-то к чему,—вибудь да объясняет. Ну, хотя-бы к тому, чтобы не унижаться до торгашества, до погони за наживой. Землю пахать, ребят учить, просто—за книжками сидеть, это все так. Но барышничать! Это не только социалисту, но и вообще-то порядочному человеку совершенно не к лицу..

Так мы Пану и отпели без всяких обиняков. Но Михалевич нимало не смутился и спросил волю:

—Торговля—мерзость?... А Войнаральский?

Это нам попадало не в бровь, и в глаз. В самом деле: если можно Война-ральскому, то почему нельзя Михалевичу?..... А с Войнаральским утрата им ангельского чина произошла так: в 82 году в Ледовитом океане, близ устья Лены, погибла американская лодка „Джанетта“. Ея капитан Де-Лонг с кучкой матросов добрался на лодке до берега и побрел по снегам, надеясь добрести до тунгусских стойбищ. Карта, которой он руководился, конечно, была неверна; до стойбищ моряки не пробились и один по одному все они падали от исто-щения и гибели в снегах. Другая кучка матросов с „Джанетты“, высадившаяся на берег с лейтенантом Мельвилем, была на краю гибели, когда ее спасли тунгусы. Эта партия американцев долго прожила в Верхоянске, где наши-Серошевский, доктор Белый, Евгения Александра, наш саратовец Царевский и еще несколько человек-оказали американцам большую помощь при поисках

трупов погибших моряков. За это время наши сблизились с Мельвилем и узнали от него, что вдоль берегов материка существует течение с запада на восток. От Мельвила-же наши приобрели кое-какие сведения относительно постройки суденышка, которое могло-бы выдержать морской путь, и в тайне от властей такое суденышко в соседней тайге, в укромной приречной пади, за зиму соорудили. Весной все они смело доверились лихой реке Яне и отправились,—легко сказать,—в Америку!—в огиб всего громадного материка Азии, вслед Дежневу, вслед Норденшильду и, кажется, никому больше из живших на сем свете. Потрепало их, конечно, пока они доплыли до моря, изрядно. Суденышко для дальнейшего пути требовало основательного ремонта и беглецы у самого устья Яны сделали привал и занялись починкой снастей и кузова своей „боча“¹⁾. За этим занятием застигла их погоня, двинутая властями по берегу реки. Упрятали после этого предприимчивых мореходов подалее вглубь страны, а кому от их поимки пришлось кисло,—тому купцу, у которого они заныли на побег несколько сот рублей в надежде уплатить из Америки. К этому самому времени прибыл в Верхоянск на поселение, по окончании срока каторги, Порфирий Иванович Войнаральский, который в России большую часть своего не малого состояния отдал на революционное дело и привык финансировать всякие отважные предприятия. Войнаральский принял долг верхоянцев на себя, а так как у него теперь не оставалось ни гроша, то он и решил заняться торговлей, как единственным возможным в Верхоянске способом добыть денег для расплаты за товарищей. Цель казалась столь почтенной, и сам „Порфиша“ так неоспоримо был чужд корысти, что ссыльная публика поскорбела душой: „эх-жизнь подневольная! за какие дела тут приходится приниматься! в чем пачкаться!“—но не протестовала... А позже и долг был уплачен, но нельзя же было бросить дела вдруг... А еще позже в публике свылкись с тем, что Порфиша торгует, а сам он втиснулся в подвижную и полную превратностей жизнь сибирского купца, так как по самой натуре был чрезвычайно подвижен и предприимчив. На него глядя, повел какие-то операции верхоянский ссыльный Мельников, бывший юнкер. А со временем и в дальних улусах Якутского округа два-три человека стали не то что в серьез торговать, а поторговывать помаленьку с окрестными якутами. Положение в этих дальних улусах было таково, что ссыльному приходилось и молоко, и масло, и мясо добывать у якутов в обмен не на деньги, на которые в этих местах и смотреть не хотели, а на то, что якутам действительно сейчас же было на потребу, т.-е. на кирпичный чай, на соль, на табак и т. п. Торговлишка при этом сама собой заводилась. Ригористы ограничивали этого рода обмен только тем, что ими самими тотчас-же потреблялось, дабы ненароком не согрешить против своего социалистического обета: не нажить-ся как-нибудь на счет ближнего.

¹⁾ Коча название тех судов, на которых русские мореходы совершали в XVI веке плаванья по Ледовитому океану.

Но поди разберись на всякий час да на всякий оборот: где тут допустимая выгода, а где мерзость наживы?... Как-бы то ни было, но два-три предполагаемых подвижника вдалеке от товарищеского глаза уже спознались с бесом стяжания, и это считалось всеми нами большим пятном на нашей корпоративной чести. А начало такому падению положили кто-же?—„Сам“ Порфирий, одна из наших знаменитостей, образец идейности и бескорыстия... В виду этого вопиать против намерений Михалеви́ча нам приходилось далеко не полным голосом, а в тоне дружеского увещания и благоразумных предупреждений. Мы с Яковлевым к Михалеви́чу и с этой стороны попробовали приступить. Практицизм на себя напустили такой, как будто и сами были многоопытными коммерсантами, и давай критиковать его проект с точки зрения финансовой:—ну пусть! допустим, что Шитов, со слов Папня, уверует в кредитоспособность неведомого ему Михалеви́ча и отправит—„вот нате вам,—нам не жалко!“—на шесть тысяч товара... Допустим, что товар со временем будет выгодно продан... но когда получатся барыши?... А возникам мынь да положь,—якут без задатка не работники; ему денежки на ладонь. Подряжая целый обоз, надо иметь наличных мало-мало сотню, а то и две. Откуда их Михалеви́ч достанет? Уж не рассчитывает-ли он на меня и на Техника? Мы плательщики каплюжные, на наших платежах не расторгнешься. Откуда-же ему сыскать денег на почин?

Упомянув о себе и о Технике, я имел в виду принятый нами способ финансовой ликвидации нашего неудавшегося побег: согласились мы после ареста на том, что Михалеви́ч берет на себя наш общий долг купцу, снабдившему нас деньгами, а я и Техник уступаем ликвидатору наши доли общего путевого имущества: верховых коней, седла, припас дорожный и неотобранные деньги, которые были искусно зашиты в моей, с вида разнесчастной, папченке. Помимо-же всего этого, мы оба остаемся должны Михалеви́чу кое-что по расчету нашего общего путевого расхода; не помню теперь, сколько именно, но во всяком случае пустяки; кажется, сотни полторы. Свой долг Техник мог погасить месяца в три, так как он получал что-то такое от родителей, ну, а я мог платить только „по мере возможности“, то-есть время от времени, грошовыми взносами, ибо мои родственники моим революционерством были весьма разгневаны, и я был для них отрезанным ломтем.

Этот вопрос о средствах для расплаты с возчиками казался нам убийственным для всех проектов Михалеви́ча, но не тут-то было. На этом-то вопросе нас Паян и озадачил. Любуясь нашим изумлением, он заявил весело:

— Понимаю ваши заботы. Но с этим уже покончено. Деньги для возчиков у меня в кармане. Двести целкачей без всяких разговоров мне дал взаймы Антонович. Вот что значат: родак!

Это сообщение нас прямо опрокинуло; мы его не могли вместить в своем революционном сознании. Ведь Антонович был... наш вилюйский исправник, представитель ненавистного правительства, полицейский чин... „Да что-же это такое! Вы, Паян, смеетесь что-ли над нами“?!

А весельчак Михалевич и в самом деле истешался над нашим изумлением и над нашим негодованием, как над проявлением уморительнейшего пурризма каких-то малолеток. За достоинства Антоновича он стоял горой: во-первых, поляк, хотя-бы и чиновник, все-таки не то, что какой-нибудь русский бурбои; что-то в нем всегда остается более культурное, хоть до некоторой степени интеллигентское.... А в частности, Антонович—добрейший старичек, безвреднейший службист, к нам всем он от души расположен. Ничем он не хуже Шитова, или здешнего торговца Расторгуева, или якутского исправника Более-слава Фелициановича Кочаровского, с которым все наши хороши, и Рости мой приятель, и вся сыльная публика... А Николай Маркович, коли его узнать поближе, ну, право-же такая мишенькая и тепленькая старая туфля, что просто прелесть...

О торговле по существу Михалевич, возражая нам, с'импровизировал хвалу такую, что хоть в стихах ее излагай. В ярких красках изобразил он жалкое положение здешних инородцев, их полную зависимость от кулаков, и того больше от собственных всемогущих „тойонов“, настоящих герцогов в своих наделах и в то же время наследных Ротшильдов. Гибнут покинутые своими божками бедняги-якутишки и милые тунгуски, вырождаются, мрут... И вот, — нисходит к ним с яббес с рогом изобилия просвещенный гуманист, принявший образ коммерсанта. Нужны не слова, нужна музыка, чтобы передать, что такое настает после этого. Все вылившиеся улусы превращаются в острова счастливых феаков. Нищеты нет, долгов нет, кабалы нет. Мужчины прилежно, но свободно трудятся на своих сенокосах не с изнурительными „Горбушами“¹⁾, а с прекрасными и предешевыми литовками,—даванием Михалевича. Женщины шьют мужьям новые рубашки из прекрасного и предешевого ситца, шьют крепкими нитками и острейшими иглами,—даванием Михалевича. Девушки щеголяют в ярком кумаче, приобретенном в кредит от того-же Михалевича. Все пьют кирпичный чай лволю, ибо чай от Михалевича. Все эти скромные люди довольны, а потому и добры, и дукавый их не мутит ни на что дурное..

...Это неизбежно будет так! Михалевич в этом уверен!... И мы против такого гуманитарного предприятия?!... А в заключение-то что? Побег! Россия! Борьба до победы... Красные знамена. Марсельеза перед Зимним Дворцом. Александр Третий, в ужасе перед Михалевичем, готов дать и России, и Польше какие-угодно свободы!... Его свергают! Его судят!.... И ради всего этого да не взять двухсот рублей у Антоновича?!...

Мы, прозаканки, все-же остались при своем, а поэт-Михалевич (он и вправду стихи писал, и по русски и по польски, и на обоих языках неважно, но с чувством), этот тоже не поддался ни на пядь и на следующий день наш адрес повезли в Якутск его возчики для передачи не Вере Павловне, а Паппиу, вместе с письмом Михалевича о его коммерческих проектах.

¹⁾ Горбуша—заимствованное якутами у русских старинное орудие косябы вроде массивного серпа. Работа им очень тяжела.

VI.

«Мартовская История».

Ползли себе дни. Ползли-проползали, помянуть их нечем. Кругом всегда и все белехонько без отметины. Река Вилюй-с версту шириной снеговаложбина, по ней сугробы, что белые волны. За нею тайга по равнине без краев ни с севера, ни с востока, ни с запада; белым-бело и на севере, и на востоке, и на западе. Вокруг города лесок-белизна пушистая. По дорожкам лесным-белизна стеклистая. Ни шума, ни движения, ни вестей ни откуда. Забыли нас люди, что мы на свете живем... Мы вечно друг с другом. Артель— наш мир. Только для нас от широкого божьего мира и осталось, что для Викторыча Тарасыч, для Тарасыча Викторыч, да еще пяток таких-же. Ну, что о такой жизни помянешь?

... И в этой-то белизне и тишине, как-бы над самым ухом у нас, залпы грянули и кровь заагела кипучей рекой, угрожая втянуть в свой поток и нас. Внезапным вихрем смело зараз и несколько жизней, над несколькими головами навис обвал, в тумане близкого будущего виселицы с готовыми петлями неотступно замаячили. Надолго все вести пошли о смертях, о муках, о новых угрозах тому, и тому еще, и тому...

Для нас, вилюйцев, начался этот мрачный период душевного освоения и переработки непрерывно гнетущих переживаний темным намеком на что-то грозное. Прибыл из близкого наслег какой-то якут и разгласил по городу сумасбродную весть, завезенную в вилюйскую глушь ихним родоначием, только-что вернувшимся из Якутска. Говорил тот какую-то чушь. „В городе“ (т. е. в Якутске), по этим вестям, произошел какой-то „бунт“. Наши будто-бы и солдаты передрались, стреляли, сражались целый день. Убитых будто-бы множество. Раненых будто-бы на санях везли в тюремную больницу. Сам этот вилюйский родоначик будто-бы их видел..

...Чорт знает, что молот дурак с перепуга...

Взор! Конечно, вздор!... Но ведь не померещилось-же человеку так себе, без всякого повода?...

—Ой, братцы! было что-то такое там в Якутске!—волновался Тарасыч.—Могло статься, что с колымчанами что-нибудь стрислось... Пик там был уж очень ненадежен... За Николай-Львовича (Зотова), тоже как поручиться?... Огонь малый! Хоть и умен, но сгоряча самому чорту на рога полезет!... Если Остапкин их там прижучил уж очень круто, то кто знает?...

В ближайшие-же дни городские обыватели, то один, то другой, стали получать письма от своих знакомых из Якутска. Почта приходила тогда в Вилюйск и уходила оттуда два раза в месяц, но в марте не одни возчики Михалевича, но и многие вилюйские якуты привозят в Якутск по последнему крепкому накату рыбу и прочее добро, а на обратный путь они забирают для вилюйцев письма и посылки от их благоприятелей из Якутска. Благодаря

этому, сведения поступали теперь-что ни день. Во многом они не совпадали, но по существу все сводилось к одному: на Большой улице, в доме Монастыревой (то-есть как раз в библиотеке), 22-го марта собралось много колымчан. Туда приехал Сузачев (полицеймейстер) с приказом Осташкина немедленно отправляться очередной партии, по новому—усиленного состава, в колымский путь. Ссылные отправляться в партии усиленного состава не хотели: говорили, оленя не сдюжат, придется в разлив бадаранов не потопнуть, так с голода пропасть. Сузачев вызвал Карамзина (начальника военной команды) с солдатами и велел стрелять. По другой версии: Сузачев вызвал Карамзина, а когда солдаты вошли, то в них какой-то Пик стрелял, а солдаты отвечали, и пошла баталия такая, что на весь город грохоток шел. Убитых и раненых много... везли-везли... только с улицы глядя, не разберешь: кто убитый, кто раненый... как телята там понабиты в санях... Еще не дошло до конца, сам Осташкин туда, в монастырский дом приехал, а там и ему влетело: одна пуля пробила плащ, другая слегка контузила. В него стрелял, стоя на крыльце на виду у всех, какой-то московский студент Зотов, и отчаянная-же, надо быть, голова! Конечно, в него сейчас-же солдаты залпом пальнули. Кувырьом так и полетел Зотов после залпа, а с ним и еще какие-то, которые с ним на крыльце сложили... Карамзин ранен, но не опасно. Из сильных убит Подбельский, что у Шитова служил. Берыштейн, который здесь солдатчину отбывал, двумя пулями пробит. Много народа из государственных изувечено. Женщина одна молоденькая убита, из евреев какая-то, говорит, беременная. Ее солдат Ризов, тоже из евреев, сынздесьнего уголовного сильного, наотмаш штыком просадил. Такое было, чего в Якутске не слышано. Соседи-то все, пока стрельба шла, по погребам запрятались, всех святых поминали!...

Нам не трудно было догадаться, что убитая женщина, это, конечно, жена Пика Софья Гуревич, действительно молоденькая, всего двадцати лет и на четвертом месяце беременная.

Перестали,-выходило так,-на колымском форуме философы философствовать, ораторы ораторствовать. Опечатан стоит монастыревский дом. Из певцов да из ораторов кого уже схоронили на тюремном кладбище, а кого-то собираются повесить. Без этого не обойдется!... Осташкину, пожалуй, награду дадут „за энергию“... Наши-то что теперь в Якутске предпринимают? Да и могут ли они что-нибудь предпринять? В силах-ли?... Нам необходимо идти в ногу с ними: Якутск-город, Вилюйск-пригород, „куда Новгород потянет, на том и пригороды станут“... Знать, что там делается, для нас важнее всего. Не получил-ли кто-нибудь из обывателей новых известий? Где Михалевич? Кто его последним видел?

Михалевич заменял нам в эти дни телеграфное агентство. Он положительно очаровал обывателей. Веселый, шутливый, простой со всеми, все его зазывали. Все были с ним на распашку и все восхищались его искристой энергией и способностью принимать к сердцу интересы всех знакомых чуть не с первого рукопожатия. Теперь, однако, и он казался наездником, у которого конь сбежал. Метался он, не находя себе места, и был сам не свой. В первый момент он

пристал было к нам с решительным требованием: в ближайший же вечер выходить всем по одиночке за город; в лесу соединиться и за ночь отмахать пешком по снегам все расстояние до ближайшего станка, -50 верст. На станке мы принудим якутов запретить нам всех лошадей и что есть духа помчаться на следующий станок. Так, угрожая револьверами, без передышки до Якутска. Телеграфа здесь нет. Погоня не настигнет. Трое суток можно провести без сна. Будем на месте... На наш растерянный вопрос: „да к чему все это? а что же там-то?“, — Пан уверенно отвечал, что там наши, наверно, восстали, и каждый боец им теперь дорог.

Нам, остальным, такое предположение казалось фантастическим. В распоряжении Осташкина имеется команда солдат, -150 штук. Под рукою у него казаки и полиция. Захочет-добавок и всех якутов вооружит; стрелять они все умеют. Да и население, оно, если его не одобряет, то, во всяком случае, за нас не восстанет. Мы для него чужаки, вроде людей какой-то особенной веры, а Сукачев и Осташкин, каковы ни на есть, а свои... Не пойдет ни городской лавочник, ни чиновник за Пика мстить: ну, что ему Пике?!... А наши в каком положении? Рассеяны по улусам на десятки и на сотни верст друг от друга. Им и собраться-то для обсуждения дела не удастся. Где им сформировать свою дружину? И сколько их? Много сотня... Это мы в Вилюйске в восьмером уже сила, а в Якутске какая сила сотня разбросанных по тайге в одиночку горемык с базарными „бульдогами“ тульского изделия да с охотничьими ружьями?... Никакого смысла нам нет переть на обум, чтобы разлететься на пустое место. Это даже курьезно было-бы... Вот террористический акт, этот, пожалуй, и последует за такой бойней, но и то не сейчас. Десятки колымчан ждут теперь суда. Расправившись с Осташкиным или с Сукачевым теперь-же, мы нескольких своих, ожидающих теперь суда, несомненно, подвели-бы под петлю. Власти, конечно, на них-то и взяли-бы свое седмерицею... Вот, когда суд сподличает, Осташкина покроет, а все свалит на „буйных нигилистов“, тогда нам придется взяться за кинжал или палить, в кого следует... А суды теперь известны: от них добра не жди... Будет и еще кровь: они кого-то из наших казнят, наши кого-то из ихних убьют, заварилась круто кровавая каша, не скоро ее расхлебашь; а расхлебывать придется многим... Поднимется эта завихуха, ну, уж тогда и нам едва-ли в лицу будет отсиживаться в Вилюйске-как посторонним зрителям... Но во всяком случае в Якутске оно виднее: бить-ли, да кого бить?... Наготове нам держаться все-таки не мешает, но пока и только.

Михалевич, поостыв, согласился и сам с теми доводами, которые приводили ему Василий Яковлевич, Тарасич и я. Техник сначала предложил себя для немедленного выступления против Осташкина или Сукачева, —кого укажут якутские, как главного виновника бойни. Пусть только мы придумаем для него способ побега, и он уйдет и расправится с палачем единолично. Наши соображения о несвоевременности немедленной мести его, однако, расколодили и, подумав, он с нами согласился. Яша был так подавлен, что не знал, что и сказать. Притом он был проникнут такой верой в мудрость В. Я-ча и в благородство

Тарасыча и Викторыча, что в нагрянувшей катастрофе ждал от них решения, уж, конечно,—мудрейшего и благороднейшего, какое только выполнимо в нашем положении. Он тоскливо молчал и имел такой вид, что на него самого смотреть было жалко. Франт выразил свое негодование в нескольких фразах, в высшей степени зловещих для правительства, но впрочем сохранил все свое великоопиение, ни разу не позабыв посмотреть в зеркало перед уходом с квартиры, и продолжал посещать свою даму столь-же исправно, как и раньше.

Ближе всех принял к сердцу якутские известия наш Викторыч, который и так-то был еле жив, а в последнее время, когда стало весной припахивать, чах не по дням, а по часам. Исхудал он так, что походил на какой-то жгут, а не на доброго „козака“, каким любил величаться. Глазница у него на желтом лице горели, аки угли, и сам он либо горел, либо пластом лежал под полубубком, обливаясь холодным потом, и на виду у всех гас, как догорающий фитиль. Не позже мая месяца, казалось, быть ему в соснычках рядом с Иорданом, и не один, а два креста увидят будущие ссыльные за стенами тюрьмы Чернышевского. В Якутске он до высылки успел проваляндаться что-то долго, всех пострадавших он лично знал, многие из них ему нравились. Когда болезнь его поотпускала, он с нею совершенно не считался,—не щадя ни времени, ни последних сил, с философами докапывался до корня вещей, с ораторами вел жаркую прю, с певцами заливался-пел остатками еще недавно превосходного тенора, а с чернокосыми девицами, которых среди улусников не было вовсе, а в кругу колымчан оказалось не мало, так отплясывал, с огнем да с вырутасами, что хоть на балетную сцену такого плясуна.. Все это было так недавно, именно там, в монастырском доме...Семенов на наши распросы: как он находит положение Викторыча? выживет-ли малый?,-давал ответы уклончивые, больше распространяясь о здешнем климате, что-мол этот климат иногда полумертвых воскрешает, и нас такие утешения не очень-то обнадеживали. Но сам Викторыч знать не хотел никаких прогнозов и диагнозов. Не одолевал его сегодня холодный пот,—с него все как будто рукой снимало: поет, пляшет, свирепствует в спорах, и с широчайшим размахом планирует свое будущее: летом мы должны завести невод; он будет неводить. Вот заведем пашню, засев это будет уже его дело, ничье больше. Косьба нам предстоит,—эх! любит он косьбу! На леваде своего батеньки, лучшего хозяина на пол'езде, он,—вот он, Викторыч! —на вакациях-то, бывало, всех парубков перекашивал, даром что не богатырь. Покажет он нам, кацапам, „широ козацкое сердце“ в благородной крестьянской работе!.... Каков он будет в работе, пока судить было трудно, но в фантазиях, в дерзаниях и в порывах его „широ козацкое сердце“ никакого удержки не знало, а в любом деле „по квашне тесто заводить“ (т. е. соразмерять затею со средствами), как рекомендует кацапская поговорка, он считал презреннейшим филистерством. Дух-все. Плоть человеческая, окружающая материя, всякие там обстоятельства, да средства, да орудия, да деньги,—это все нечто докучное и не так уж важное. Смелый „козацкий“ дух со всем справится, все будет или без всего обойдется, коли заберет его за живое, и непременно все в конце концов преодолееет. Решительно все истинно

великое и прекрасное достигнуто для человечества интуицией гениев и подвигами героев, а не немецкой методичностью и не китайской кропотливостью..... Семенов-не в обиду ему будь сказано.-большой козак со всей его книжной выучкой: Викторич жить хочет и выживает!... А уж если судьба ему умереть в молодости, то он сумеет выбрать себе смерть по красивей и поосмысленней обоявания в Вилюйске...

Якутские вести его буквально перевернули: весь его жар как-бы перешел на нервы. Болезнь на время притаилась, и Викторич, конечно, почел себя вполне здоровым. Предпринимать что-нибудь активное сейчас-же, он с этим соглашался, — было-бы безумно.... Но в случае сурового приговора и казней, мы, вилюйцы, никоим образом не должны оставаться в стороне. Улусники, пожалуй, зажмут в такие тиски, что тем невозможно будет выбираться из улусов: предпишут якутам никого не выпускать из наслегов, припугнут их хорошенько, якуты станут оберегать свои дороги не по прежнему. При переправе через Лену поставит городское начальство казачьи посты, при въезде в город полицейские заставы, ну, что тогда поделают местные ссыльные?... На такой случай необходимо, чтобы в Якутск пробрались нелегально наши из других мест, хотя-бы отсюда, из Вилюйска. Викторич настоятельно требовал от колонии отправки на поддержку якутии двоих лиц: его самого и меня. Добраться до Якутска, по его предположениям, мы с ним могли-бы летом, сплыв на лодочке вниз рекою Вилюем до его впадения в Лену (это от Вилюйска верст за семьсот), а отсюда пробравшись тайгой до первых поселений наших в Молутском наслеге Намского улуса, что верстах в 120 к северу от Якутска.

Этот план, при всей его рискованности, нельзя было признать вполне нелепым¹⁾. Раньше мне как-то случилось хвастнуть в разговоре, что я-де гребец лихой, и не всякому за мною на веслах угнаться, и это не было только похвальбой: на самом деле я и на Волге, еще гимназистом, всякое лето пропадал в дальних плаваниях, а позже, в ссылке, один из первых планов побега из Тункинского края, куда я был назначен по началу, построил на том, чтобы пройти на лодке через пороги реки Иркут²⁾, и для практики кое-какие рискованные места в подготовках прошел успешно. Сплыть по Вилюю я, конечно, мог бы, как мог бы, вероятно, при своем тасжном опыте и ни разу ни при каких испытаниях не сдававшем здоровье, пробраться тайгой от устья реки до Молутцев. Кое-где по берегам пустынного Вилюя, как мы слышали, встречаются одинокие якутские юрты, но по характеру якутов представлялось мало вероятным, чтобы эти запуганные люди без прямого приказа со стороны начальства решились задержать силой двоих вооруженных русских... И Серошевского, и нас с Михалевицем и Техником якуты однажды окружили, когда мы спали, и хотя в обоих случаях с нашей стороны

¹⁾ В позднейший период с. р. Иванов так и бежал из Вилюйска, но в пути он жестоко простудился и умер в тайге под Якутском.

²⁾ Через два года после моей ссылки, из Тунки рекою Иркутом сплыли на лодке саратовец Кирхнер и ижеватин Дашкевич. Из них Дашкевич пробрался за границу, а Кирхнер был задержан уже за Иркутском.

не было ни малейшего желания вступать в бесполезную перестрелку, а лжуты или густой толпой, но по всему их поведению было ясно, что душа у них была не на месте, и, начнись только стрельба, прислуло-бы все воинство по кустам, побросав свои тяжеловесные винтовки. Если допустить, что наши в Вилюйске сумели-бы укрыть от Антоновича отсутствие двоих своих на несколько недель, то, чего доброго, удалось бы нам уйти этим путем и заявиться к улусникам на подкрепление их сил... Беда была только в том, что подобные старо-казачьи пути требуют не одного „шира сердца“, но и некоторого закала и прирожденных свойств особого рода. И Михалевич, и Техник, и я,—у любого из нас на груди можно было хоть наковальню ставить, а Викторыч на ладан дышал, так куда-ж было ему с его оперными и балетными талантами да в тайгу, чтобы там по медвежьим тропам пробираться, вязнуть в болотах, отдыхать на кочках, а по реке недели две оставаться в лодке, все в сырости, в ночном холоде, на пище, какую ружье да удочка добудут, да на подмокших сухарях? Сам бы сгиб, да и товарищу с ним было бы горе. Однако, сам Викторыч и мысли не допускал, чтобы он да не сдюжил. В пылу, да с хорошего разбега, он готов был хоть через Берингов пролив попробовать одним скачком перемахнуть,—ну, а что из этого выйдет,—результат покажет, что из этого выйдет: еще может и вывезет кривая!

Не зная, как развернутся события в будущем, мы решили не упускать из виду предложенного Викторычем способа действий, еще раз обсудив вопрос, когда станет известен приговор суда. В данный-же момент нам не оставалось ничего больше, как последовать совету В—ча: собрать по городу, по возможности проверить и скомбинировать все сведения о катастрофе, какие только имелись у вилюйцев, составить полное описание всего события и с надлежащим обращением к читателям разослать это извещение по всем подходящим адресам, известным тому или иному из нас повсюду в России и за границей.

В. Я—чу казалось несомненным, что в Якутске Осташкин сумеет принять действительные меры к предотвращению всякого „лишнего шума“ по поводу случившегося „недоразумения“, тогда как у нас, в Вилюйске, почтовый смотритель,—повидимому, очень милый человек; и он, и его жена сами глубоко возмущены кровопролитием в Якутске, и можно надеяться, что этот славный малый поможет нам отправить наши письма благополучно. Огласить же событие как можно шире, как настаивал В. Я.,—наша прямая и неотложная обязанность. Чтобы обелить себя, Осташкин, уж разумеется, разрисует сыльных какими-то неистовыми анархистами, которые, как оглашенные, сами на штыки полезли без всякого повода, лишь-бы насолить начальству и наделать побольше шума. Всеми прецедентами установлено, что объяснениями самих пострадавших суд не придаст никакого значения: во-первых, ведь они „анархисты“, а во-вторых, попробовал-бы военный суд да сгуманичить! Показали-бы тогда самим судьям, как самодержавие расправляется со слугами нерадивыми и лукавыми!.... Только мы и можем беспристрастно осветить это вопиющее дело, ознакомить с тем, что тут было, и русское общество, и самую

власть. Обществом пренебрегать отнюдь не следует; пусть оно в России официально игнорируется; на самом-то деле оно, даже и в России, — большая моральная сила и некоторое давление на правительство оно, что там ни говори, а оказывает..... Народ, то-есть мужики и рабочие, о здешних событиях, конечно, ничего не узнают; они о войнах великих держав и то разве краешком уха слышат. А если-бы они прослышали что-нибудь, то для них это было-бы только происшествием. Они не доросли до того, чтобы понимать политическое значение подобных фактов. Но молодежь, — эта всколыхнется наверняка. Молодежь теперь на распутьи. Уныние, следовавшее за разгромом Народной Воли, повидимому, изжито. Теоретическое отражение этого уныния, — толстовщина теряет силу и, повидимому, уже вырождается в сектантство. Новый подъем не за горами. Нужен толчок чувству.... Такой поток крови, такое наглое издевательство над пленными противниками, как это избивание младенцев в монастыревском доме, хоть кого перевернут.... Помимо того: во мраке правительство может творить, что хочет, — еще хоть десятки людей перевешать, закатать всех в бессрочную каторгу, ну, что угодно, что только придумает, чтобы сорвать злобу на нас всех вообще..

Но не так это будет легко, если вся Европа узнает о сибирских безобразиях, если во всех петербургских гостинных об этом будут идти разговоры... Необходимо разослать наши послания не только нашим личным друзьям, но и всяким общественным деятелям в России, людям с именем и с весом в обществе: Гольцеву, Ковалевскому, Шелгунову, земцам, литераторам, сенаторам... и в Европу, — в редакции крупнейших газет, парламентским деятелям... Наш долг напрячь все силы к огласке факта наперекор всякой цензуре да всяким перлюстрациям. Пусть правительство видит, что эти старые штуки теперь бессильны. Пусть оно почувствует, что есть в России общество и общественное мнение, что нельзя заглушить совесть у людей никакими полицейскими мерами...

Василий Яковлевич страшно волновался и придавал оглашению якутских событий большое политическое и моральное значение. Ему больно было думать, что столько молодого народа так и сгинут в этом деле ни за что-ни про что, без всякой пользы для России... Особенно — Зотов! Любимец сургутской колонии, ее, так сказать, Гектор, и умница, и рубаха-парень, как его все характеризовали... Хоть бы его спасти! Вызвать в обществе внимание к делу, быть может, протест...

Не дожидаясь нашего решения, В. Я. уже стал и так делать выборки из более содержательных обывательских писем и употреблял все усилия к тому, чтобы из мозаических черточек воссоздать всю картину происшествия. Однако, материала обывательских писем было для этого маловато, но тут нам помогло возвращение возчиков Михалевича, о которых мы было и думать позабыли. Ведь Папий убит, значит, — вся затея Михалевича рухнула: возчики привезут из Якутска чью-нибудь чужую кладь, и мы их не увидим...

Но оказалось, что вдова Подбельского успела передать письмо Михалевича кому-то из старых ссыльных, бывших теми днями в городе, и как ни

мало подходящим был момент для коммерческих комбинаций, но, входя в положение Михалеви́ча, сыльные постарались и у кого-то из местных купцов наскребли для него в долг тысячки на две товара. С возчиками наши, конечно, отправили письма вилюйцам, полные всяких подробностей о катастрофе, а я получил на этот раз очень обстоятельное письмо от Веры Павловны Свитыч, дополнявшее наши сведения многим существенным.

Теперь выяснилось, что убиты: Муханов, Подбельский, хозяин квартиры Ноткин, студент Шур, Пик и Софья Гуревич. Тяжело ранены: Зотов, его приятель, воронежец Михайло Орлов, Гоц, Минор, Бернштейн, Брагинский, Фундаминский, — все студенты московские и петербургские. Легко ранено человек семь. С той стороны убит один стражник, но не револьверной пулей, а ружейной, то-есть солдатской, угодившей в беднягу случайно. Легко ранен поручик Карамзин, контужен Остапкин и слегка оцарапано пудами из дрянных револьвершек несколько солдат, даже не выходивших из строя.

Трупы Муханова и Подбельского, — писала Вера Павловна, — были выданы на руки нашим и похоронили их наши, как следует, с церковным обрядом, а с трупами убитых евреев вышла какая-то заминка, — теперь уже не помню, какая.

Папий, по описанию Веры Павловны, услышав стрельбу из лавки Шитова в гостинном дворе, где он в этот момент корпел над подсчетами, наскоро сунул конторские книги Шитову, забежал рядом-же к себе домой, в двух-трех словах сделал какие-то хозяйственные распоряжения жене, и бросился без оружия на место боя, надеясь своим вмешательством предотвратить дальнейшее кровопролитие. Вбежав во двор дома Монастыревой и дальше в самый дом, он увидел у крыльца и на залитом кровью полу первой комнаты трупы и валяющихся раненых, — тех немногих, которые пытались отстреливаться, и двоих (Ноткина и Шура), случайно подвернувшихся под свинцовую пчелку. В задней комнате перед ним жалась кучка перепуганных людей, мужчин и женщин, при первом же выстреле метнувшихся туда, чтобы быть подальше от пуль. Бросив им на бегу несколько успокоительных слов, Папий стремительно выбежал опять во двор, где в этот момент появился у ворот только-что прибывший Остапкин. Задышавшись от волнения, Папий крикнул ему что-то о необходимости сейчас-же дать приказ о прекращении стрельбы. Остапкин, тоже очень взволнованный, отвечал ему, что он тотчас-же распорядится, что он ничего такого не ожидал и т. п. Обнадеженный Папий бросился опять к дому, чтобы успокоить этим сообщением уцелевших колымчан. Не пробежал он десяти шагов, как на крыльце дома появился Зотов, а за ним не пожелавший от него отстать и в эту минуту его друг, воронежец Михайло Орлов, до того близорукий, что сам он в стрелки не годился. Зотов был весь под впечатлением грохота, дыма, порохового запаха, стонов в разных углах дома, и особенно неумолкаемых воплей Софьи Гуревич, валявшейся у самой двери с распоротым штыковым ударом животом. Передавали, что он готов был головой о стену биться от невозможности схватиться грудью с грудью с главным виновником всех этих мук и смертей, — с Остапкиным, на которого он раньше

назывался пойти в одиночку, чтобы отнять этим повод и впрямь напороться на штыки,—как предупреждали колымчан Павлуки Гаусман,—десятиам полуслучайной публики. Против общего протеста Зотов высказывался самым решительным образом все время... И вдруг,—Осташкин оказался перед ним: стоял у ворот дома, цыгунский, представительный в своем широком генеральском плаще, властный, и, как показалось Зотову, довольный своей победой... Выскочив стремглав на крыльцо, Зотов раз за разом, хорошо целясь, дважды в него выстрелил. Солдаты без команды вскинули ружья и дали залп по стоявшим на крыльце. Зотову угодило в грудь, Орлову в голову, и оба слетели в снег, один без чувств, другой еще в сознании. Тем-же залпом, направленным от ворот к верхней ступени крыльца, то-есть снизу вверх, добежавшему в этот момент почти до крыльца, Папию снесло темя. Он упал, как подкоженный, и только его века и было... Другие пили потом о научных основаниях теории социализма, о религиозном элементе в социалистическом мирозерцании и о прочих глубоких вопросах, над которыми так упорно и так пылливо работал его ум. Смет-бы он дать что-нибудь ценное, как теоретик, или нет, это, конечно, бог-ведь, но дальнейшее показало, что именно людей с пылливой мыслью, сознающих, как многое в обосновке социализма остается едва намеченным, у нас разве горсточка, а примыкающие к социализму массы берут на веру не столько самое учение, чересчур для них мудреное, сколько готовые лозунги, допускающие истолкование самое упрощенное и вменяемое для умов, даже наиболее тупых и темных. И в патентованной-то интеллигенции обсуждение социализма чаще всего заменяется или разносом во что-бы то ни стало или, наоборот,—апологетикой во что-бы то ни стало... А бедная Истина сидит и плачет, как и во времена Тертуллианов и их противников. *Semper idem!*.. Папий, во всяком случае, катехизисом не удовлетворялся и стремился выникнуть и разобраться в вопросе по своему. Жалели о нем улусники сильно.

Совершенно иначе погиб Муханов, Петр Александрович, воронежец. Этот имел упроченную репутацию мужчины чрезвычайно твердого и отменно смелого. Беспочтись: „ах! как-бы не сочли за труса!“ — этому не приходилось. Знали его достаточно и к голосу его прислушивались, но, в несчастие, не на этот раз. Петр Александрович с начала до конца был против вооруженного отпора требованиям Осташкина. Помимо ничемности сражения с какими-то якутскими солдатняками („подумать только: политические враги напались... со станка Саныхтах и с Ат-Дабана!“)¹⁾, в такой перепалке он видел непозволительную трату сил: мужественных людей, граждан по чувствам, в России всех-то на одну хорошую тюрьму наберется, не больше, и на эту горсть взвалена историей задача всей нации. Им приходится лезть из кожи, вести бой с монархией чуть не по одиночке каждому и за каждый свой удар непременно платить собственными головами. Как-же тут не вести своим головам самого строгого учета? Целый век потребовался со времен Радищева

¹⁾ Названия двух крестьянских селений, сохранившиеся от якутских урючих.

и Новикова, чтобы в русской интеллигенции назрела решимость на борьбу, вместилищами этой решимости являемся мы, немногие. Наши головы,—это, можно сказать,—всемирное достояние, это чрезвычайно редкий и ценный боевой материал. Швырять этими головами, как снежками, не годится; это озорство, а не служение родине! Меньше наши головы дозволительно только на первосортный товар,—на голову Александра III-го, ну,—Победоносцева, ну,—Дмитрия Толстого,—вот на какую монету, а не на полупки медные, вроде какого-то якутского полицеймейстера, да на всякую шуваль... Расплескивать нашу благородную кровь в препирательствах о пяти или о семи пудах провозной клади, о нарте попросторней или об отправке через десять дней, а не через семь, это, на взгляд Муханова, было чем-то мелким, чем-то почти пошлым и достоинству настоящего революционера неподобающим. „О таком вздоре и говорить-то не стоит! Попал в Якутку, так что-уж думать о лишнем пуде клади; думай о том, как вернуться, да с царем, не за дорожные лишения а за все-про все расплатиться!“ Свой взгляд Муханов отстаивал твердо и спокойно. На последнее собрание в доме Монастыревой, чтобы сгоряча не изменить себе, он пошел без оружия, на виду у всех отдав кому-то свой револьвер со словами: „так вернее будет“. Когда началась стрельба, солдаты, выстроившись цепью по улице, стали зажаривать залпами в окна. Большинство собравшихся до этого момента все не верило в серьезность положения и тешило себя надеждой, что власти стрелять не решатся, а как дошло до дела это мирное большинство в страшном переполохе выбежало в заднюю комнату, тогда как Зотов, Бернштейн, Минор и несколько других подскочили к окнам в сторону улицы и открыли беспорядочный огонь из своих револьвершек. купленных перед этим на базаре по дешевке. Петр Александрович и двое-трое других ссыльных, считая нелепым при таком столкновении сражаться и постыдным для себя прятаться, где стояли, там и стали в первой комнате, терпеливо бездействуя. Петр Александрович стоял у стены как раз против окон. Пули часто шлепались в стену где-то около. Он стоял. В нескольких шагах от него таким-же столбом уперся кто-то другой. После первых-же выстрелов комната наполнилась густым дымом. По временам в двух шагах ничего не было видно. Иногда слышалось, что в этой быстро пропахшей кровью и порохом, тьме люди падают. За каждым-же задком с улицы сосед спрашивал: „Петр Александрович, жив“?—и на это следовал ответ: „жив“. После одного залпа что-то рухнуло вблизи и на вопрос: „жив-ли, Петр Александрович“? — ответа уже не было. Сосед, нагнувшись, стал шарить по липкому от кровавой слизи полу и нащупал уже бездыханное тело. Пуля попала Муханову прямо в сердце и смерть была мгновенна.

Погибнуть без слов, спокойно и просто, даже как-бы запросто,—к Муханову это удивительно подходило. Простой он был человек, немногословный, но внешне добродушный и с легкой лендой. К „пламенным“ речам и к талмудически тонкой диалектике относился он с большой усмешкой, а сам был не краснбай, но в своем роде мастер, умевший, вроде нашего Техника, так разоблачить припавлинившуюся ворону, обронив словечко как-бы

невзначай, что сразу вышибал из-под ног ходули, и своим чутьем на фальшь он разных геройчиков, охочих „без драки попадать в большие забияки“, обыкновенно сильно сдерживал. Взгляды его были не ахти, как широки, но ясны и бесповоротны. Ум у него был по складу как-бы мужицкий: трезвый, практический, хорошо соображавший ближайшие последствия и сознательно чуждавшийся чрезмерных забот об очень дальнем. Незадолго до моего выезда из Якутска, то есть, перед катастрофой всего месяца за полтора, подшучивал он над моим тогдашним увлечением Градовским и тому подобными авторами:

— Ну, что вы, — говорил, — в законодатели, что-ли, готовитесь? Поверьте, что, когда дойдет до выработки российской конституции, нас с вами не спросят. Найдут кого спросить много поученей! Муромцевых позовут, Кавалевских, этаких китов.

... Ну, а что мы и все наши книжники? Поравняетесь вы, что-ли, с такими знатоками, почитывая по улусам кое-что да кое-как, да и то больше по ихним-же лекциям?... Каждый дает, что может. Те — знатоки, специалисты; тнии от них ихние знания, когда дойдет дело до законодательства. А когда дело до этого? — Еще не скоро, и как еще не скоро! До того биться надо, а это уж наша специальность, и мы, как бойцы, для России незаменимы Муромцевы в застрельщики не годятся, а нам от своего прямого дела уклониться не след. Бейся, пока тебе голову сорвут, — вот нам задача. А сорвут нам головы всем до единого. Разве кто в кусты шмыгнет с полпути, ну, тот, пожалуй, и уцелеет, а нашему брату вообще до конституций не дожить. У правительства сил еще очень много. Народ еще — темнота непросветная. Общество у нас в своей массе — дрянь, трусишки... Нас давят и будут давить — никто и не пикнет против власти. Когда-то еще все это переменится! Сгнют наши косточки до свободы! Так история решила, а против нее не пойдешь!... Нашему поколению судьба досталась горькая, но за то по существу и славная-же: по богатырски воевать с целыми полчищами, пока-то еще батюшка-народ изволит проснуться... Жди его там!... А книжечки ваши — чтение интересное, но только практического толка мы с вами из них не извлечем. Для нас это только благонравное развлечение, а не дело...

Так этот гражданин рассуждал и по такому пути шел бестрепетно и твердо, но это вовсе не значит, чтобы он не уважал науку. Науку-то он уважал, и даже сам был человеком довольно начитанным, но только ревнив он был очень к интересам революционного дела: побаивался, как-бы наука не оттанула иных из нас от революции, а та была для него богиней, которой каждый из нас должен был обречь себя в жертву раз и навсегда во искупление грехов наших отцов и делов. По общему складу личности он мне несколько напоминал знаменитого Александра Михайлова, которого я встречал на заре своего революционерства. Тот тоже был человек немногословный, простой и искренний. Смерть Петр Александрович принял легкую, и Вера Павловна мне потом рассказывала, что наши женщины, обмывая его труп, дивились глубочайшему спокойствию его лица: спит себе этот крепкий мужчина безмятежнейшим сном; не верится, что мертв...

Много было в получившихся письмах и других подробностей. Десятки людей переживали эту историю, и каждый переживал по своему и передавал тоже по своему. В общем, однако, картина получалась теперь цельная, и мы могли приступать к составлению сводного описания. Выработка текста была поручена В. Я-чу и мне, но мне оказалось почти ничего делать: у В. Я-ча без малого все уже было готово. Надо пояснить, что с прибытием Тарасыча и Викторыча в нашей Тундре стало тесновато, и мы принимали на том-же дворе крошечную каморку в одном флигелёчке и предоставляли ее В. Я-чу; там была его спальенка и как-бы кабинетик, где он ночевал и трудился над своими записями без помехи. Поэтому он и мог в тишине подготовить свою работу.

Проредактированный всеми сообщая, текст был нами переписан во многих экземплярах, и каждый экземпляр, для достоверности в глазах читателей, был подписан всеми нами.

Надо было поговорить по душе с почтовым смотрителем, но тот нас предупредил и однажды, когда стемнело, зашел к нам сам с интереснейшим сообщением: захолил к нему в сумерки, тоже тихими стопами, Антонович и вел с ним беседу весьма конфиденциальную. Умудренный многолетним служебным опытом, старый исправник не сомневался в том, что Павел Петрович Осташкин не замедлит исходатайствовать от департамента полиции разрешение взять под контроль переписку всех ссыльных, а не одних только лишенных прав (в Вилюйске таким был только я), чтобы этот беспокойный народ не разблагоежил по всему свету по поводу неприятного происшествия в Якутске чорт знает чего ... Писали все они! Начнут звонить в свои колокольни,—мертвых разбудят ... А к чему шум? ... К чему новые неприятности? ... Не лучше-ли как-нибудь долегоныть—помаленьку, смягчить, сгладить, немножко поосадить, немножко и подмаслить? ... Так вот: на днях отправляется из Вилюйска почта. Хорошо-бы проверить: что нагородят здешние о якутских передригах? Уж можно себе представить, как они все это перевернут и бедного Павла Петровича каким извергом постараются ославить на весь белый свет! ... А ведь напрасно, совершенно напрасно! Вовсе он не изверг, да и они-то сами, эти господа гуманнейшие социалисты, совсем не овечки: и бомбами швыряют, и изревольверов палит, а их тронь, так боже ты мой! —варвары-то мы, и тираны, и деспотизм у нас, и революция-то против нас нужна скорей—скорей, вот завтра-же! ... Да! А войти в положение Павла Петровича: ведь он—чиновник тоже, и ему начальство предписывает,—исполняй. Как же иначе-то? ... Так вот: разговорец об этих письмах. Препроводить-бы их, без ведома, конечно, этих господ,—Павлу Петровичу? ... Он был-бы весьма, весьма благодарен. А губернаторская благодарность чего-нибудь да стоит! ... И так, и сая стал влиять наш смотритель, чтобы избить такую напасть: вдруг из почтового человека да чуть не в шпиона превратиться. Да какими-же глазами он после такой штуки стал-бы на жену-то смотреть? да и на нас? ... да и вообще? ... Попытался он службистом прикинуться самым завзятых: ..вот кабы ему да бумажка была!,—в случае потом пойдет

дело: „как так? — почему письма были перехвачены?“ — он-бы: „на основании предписания за номером 0000; мое дело чисто и никаких больше!“. А то — повздорят после Осташкин с Крапивиним (начальником якутской почтовой конторы), Крапивин, чтобы насолить Осташкину, выведет на свежую воду всю эту историю с письмами. Осташкин как-нибудь отоврется, а нагорит ему, смотрителю; без бумажки он окажется в ответе, — нифто, как он! ... Однако, Антонович — старый воробей, на мякине его не проведешь. Понял. подлец, и преехидный намек сделал: „конечно, вам, — говорит, — по знакомству несколько неловко перед ними. Я, — говорит, — понимаю. Но ведь вы-же чиновник; все мы тому-же правительству служим. Знакомство знакомством, а служба службой. Ведь не по сочувствию-же к ихним идеям вы с ними встречаетесь?“ . Вот куда загнул, полицейская душа! Смотрителю, конечно, против исправника не идти в открытую. Местичко ему как ни как, а дорого. Ехал он в такую даль из России не затем, чтобы исправников законности поучать ... Приник, смотритель с вида перед Антоновичем. Сказал ему: „хорошо! но только, чтобы в секрете все было!“ и Антонович, конечно, в одно словцо: „строжайший секрет! то-есть, ни гу-гу никому!“ Доволен был очень; опять сладенький стал; усиленно к себе звал — мадерцы попить ... Ушел он со двора, — смотритель с женой: „так-то вот и так-то; как нам тут быть?“ . Порешили: как стемнеет, — он к нам на совет. Авось мы придумаем такой исход, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, и ему чтобы не нагорело...

Против исправничьей каверзы, пораскинув умом, мы пошли на фортель. Если-бы смельчаны совсем не писали с ближайшей почтой о якутских событиях, то ясно было-бы, что им удастся помимо исправника отправлять свою корреспонденцию, так как полное молчание при таких обстоятельствах с их стороны невероятно. Со злорадным желанием оставить Антоновича в дураках, мы и постановили, чтобы каждый из нас накатал два-три коротеньких послания на вымышленные адреса, и в этих посланиях, которые попадут в руки самого Осташкина и дальше не пойдут, условились мы ругать его превосходительство, как только на ум придет, — пусть ему икается!... Настоящие-же наши письма с полным изложением всего смотритель пообещал нам отправить помимо всякого контроля-он это мог. И действительно, как мы после узнали, дошли-таки наши письма. По крайней мере, Гольцев мне потом говорил, что он свое получил и распространил широко...

В ближайший почтовый день пресерьезно шагали мы все на почту и в присутствии обывателей сдавали смотрителю свои письма в Россию с адресами, более или менее замысловатыми и казавшимися нам остроумными. Смотритель принимал эти послания с самым деловым видом и вечерком, в высшей степени конспиративно, отнес их к Антоновичу... Так мы на подвох ответили шебленичеством, к собственному своему удивлению не потеряв способности дурачиться даже и в эти дни, до того мрачные, что, казалось-бы, не до шуток...

Михалевича мы теперь дружно корили: „ну, и родак-же у вас!“, но впечатлительный Пан и сам чистил теперь Антоновича, как старую ракалию,

уверая, что тот давным давно располячился до мозга костей и теперь чинуш, как чинуш...

Предусмотрительность этого администратора не ограничилась вниманием к нашей переписке. Служил у исправника чем-то вроде личного секретаря уголовный ссыльный из бывших сельских учителей, некто Лукин, не плохой человек, угодивший в Вилуюск по настоянию христолюбивого обер-прокурора святейшего синода Победоносцева. Еще зеленым юношей этот Лукин попал в брачный капкан к особе весьма зрелого возраста и такого характера, что бедный мальчик не смел и пикнуть перед своей грозной повелительницей. Было ему тошнехонько, но, как человек очень мягкий и несколько слабовольный, он все вздыхал да вздыхал, а под конец взял и потихоньку улизнул из дома, как школьник из постылой бурсы. Пробрался из России аж на Амур и там притавившись в какой-то станице, учительствовал, никому не открывая, что у него осталась в России жена,—все считали его за холостого. Жилось ему чудесно но сердце не камень: приглянулась ему какая-то девица, если верить его восхвалениям, сущий ангел, — и умница-то она, и красавица, и добродетелей неописуемых. Показалась ему без этой девицы жизнь не в жизнь. О том, что бы как-нибудь „так“, с такой принцессой и думать было нечего... Что тут было делать мягкосердечному незадачнику? „Смертный, силе нас гнетущей покоряйся и терпи“... Стерпел-бы Лукин, покорился-бы, да на беду в соседней станице попик был добряк—запивоха. Учитель ему за рюмочкой открылся, как на духу, а тот, не столько за мзду, сколько по состраданию, устроил дело: повенчал беглеца да и все тут. Прошло всего две недели, и получилось известие, что первая жена Лукина скончалась, так и не разыскав своего удравшего супруга. Лукин был теперь свободен и рад был своему освобождению несказанно. Но когда небо расчистилось, тут-то гром и грянул. Запьянцовский попик разболтал все, как было, своему другу, такому-же, как и сам, запьянцовскому заседателю, а тот, поссорившись впоследствии с попом, козырнул против него доносом. Досталось тогда и попу, и многим прочим, а самого двоюженца достаточно помотав по тюрьмам, отторгли от любимой женщины и, по резолюции Победоносцева, отправили искупать грех любострастия одиноким подвижничеством в Вилуюске. Раньше далекий от всякой политики, мечтательный и тихий учитель прибыл в Вилуюск с такой ненавистью к Победоносцеву, что хоть-бы нашему Технику в пору. Как только в городке появились в нашем лице профессиональные враги Победоносцева и всякой победоносцевщины, Лукин с нами сблизился и тайком держал нас в курсе всяких полицейских секретов.

Теперь мы узнали от него, что с этой почтой идет от Антоновича в город наисекретнейшая бумажка с предупреждением Осташкина об опасности успешного „восстания“ государственных ссыльных в Вилуюске. Революционеры тут—восемь человек. Хотя лицам этой категории воспрещается иметь оружие, но у всех здешних, несомненно, есть несколько револьверов и охотничьи ружья. Между тем, казаки вооружены винтовками совершенно устарелого образца, по большей части, уже негодными к употреблению. Свое оружие они хранят в караулке, которой никогда не запирают,—бери, кто хочет. Хорошо.

что до сих пор не нашлось охотников присвоить это казенное имущество. Помимо того, боевые качества здешних казаков весьма сомнительны. Занимаясь постоянно рыбной ловлей, сельским хозяйством и мелочной торговлей с ино-родцами, означенные нижние чины уподобились скорее простым крестьянам и безусловно утратили сознание своего значения для государства в качестве воинской силы и опоры порядка. Весьма возбужденные известиями из Якутска, переданными ссылкой через посредство неосознающих опасности создавшегося положения обывателей города, находящиеся под надзором Антоновича упорные мятежники, заслужившие применения к ним усиленной кары, а именно — высылки¹ их в наиболее отдаленные места восточной Сибири, стоворившись, легко могут овладеть караулкой и всем казенным оружием, а затем и зданием окружной полиции, без всякого противодействия со стороны местного населения, которое, несомненно, предпочтет в таком случае нейтральное состояние, оставаясь в домах с запертыми дверями и закрытыми ставнями. Во избежание сего, Антонович настоятельно просил высшее управление внушить казачьему уряднику необходимость большей бдительности в охранении казачьего караульного дома с находящимся в нем арсеналом и наивозможно поспешнее принять меры к перевооружению казаков более современным оружием, а если позволяют обстоятельства, то откомандировать в Виллюйск достаточное число солдат из Якутской военной команды, уже доказавших на деле свою преданность служебному долгу и свои высокие воинские качества...

Ята был положительно польщен тем, что нас, а, значит, и его в числе других, так боятся. Мы просто посмеялись над мудрой осторожностью и широким политическим кругозором нашего „друга“ — исправника, но все-таки сообщение Лукина приняли к сведению и понаблюдали, что из сего последует. Недели через три, в успокоение Антоновича, из Якутска было доставлено в Виллюйск восемь новых винтовок. Однако Антонович и во всеоружии не возгордился и не изменил тона в сношениях с нами: оставался мил, дружелюбен и полон благоволения. Мы находили, что с таким Талейраном жить все-таки лучше, чем с бурбоном, и отношения наши с полицией оставались наилучшими: те исподтишка блюли и бодрствовали, как-бы мы чего-нибудь не набедакурили, мы и вправду умышляли новые противоправительственные деяния, но при встречах у знакомых горожан те и другие попиwali чашек, как мирные соседи, и беседовали на безобидные обывательские темы.

Так протекала наша жизнь в ближайшие недели по внешности серо и обыденно, но все мысли, все интересы наши сплошь поглощались тогда якутскими событиями, выяснением всех актов этой драмы и гаданиями о ее дальнейшем развитии. Втянет-ли кровавый круговорот и нас?... кого?... когда?... как?... Облегли наше небо с мартовских дней тучи черные, и разговоры наши между собой теперь сводились все к печальным воспоминаниям да к обмену жуткими предчувствиями: что-то еще будет?!

И. И. Майнов (Саратовец).

Стачка железнодорожных рабочих в Ростове на Д. в 1894 году.

Рассказ рабочего-очевидца.

Рукописный оригинал, с которого печатается здесь рассказ рабочего—очевидца о ростовской стачке 1894 г., хранится в настоящее время в Музее Революции и представляет собою записную книжку в клеенчатом переплете размером в 16° листа. Рукопись озаглавлена: „Стачка рабочих в жел.-дорожных мастерских Владикавказской ж. д. в Ростове на Дону в 1894 г., в марте и апреле месяцах (24 м.-7 апр.)“. Книжка эта, как видно из записи на ее первой странице, была отобрана в числе иной нелегальной литературы у крестьянина с. Благовещенска, шавельского уезда, ковенской губ., по профессии слесаря, Ивана Захарова Шипова, по обыску в апреле 1897 г. в Москве, „в виду имевшихся указаний на его политическую неблагонадежность и проявленный им интерес к социал-демократическому движению“¹⁾. По другой версии, он был замечен „в преступной пропаганде среди рабочих“²⁾.

На допросе Шипов объяснил, что всю найденную у него нелегальную литературу он купил одновременно у неизвестных лиц на рынке, а статьи о стачке, написанная его рукой, „списана им с экземпляра, приобретенного также на рынке и впоследствии им уничтоженного“³⁾. В подробной справке о нем сказано, что „он купил печатную книжку, заключающую в себе описание стачки“⁴⁾.

Объяснение это—простая отговорка. Шипов, вне сомнения, не купил случайно на рынке найденной при нем литературы, а откуда-то иным путем ее достал⁵⁾.

¹⁾ Дело о крестьянине Иване Захарове Шипове. Архив департа. полиции. III делопроизводство, 1900 г., № 1168, л. 3.

²⁾ XXI ведомость дознаниям, производившимся в жандарм. управлениях за 1897 г. стр. 30.

³⁾ Указанная ведомость, стр. 31.

⁴⁾ Дело, л. 3. Протоколом допроса, в виду его отсутствия в деле, мы воспользоваться не могли. Р. К.

⁵⁾ Московская жандармерия предполагала привлечь его к обвинению в связи с деятельностью „Московского Рабочего Союза“, образовавшегося в 189 г., но за отсутствием определенных указаний на связи его с деятелями „Союза“,—эта мысль была оставлена. Ведомость дознаниям за 1897 г., стр. 31.

Есть основания предполагать, что именно он и есть автор печатаемого рассказа. За то говорит хотя бы то, что списать текст с печатного экземпляра он не мог, т. е. такого, насколько нам известно, не существовало. Очевидцем стачки Шишов мог быть. „По словам обвиняемого, он, до взятия по сему делу под стражу (т. е. до апреля 1897 г. Р. К.), проживал в г. г. Ростове на Дону, Поворосскийске и Москве и всюду работал на заводах, как слесарь“¹⁾. Затем, рассказ написан, надо заметить, не под свежим впечатлением стачки в 1894 г., а позже, минимум через год с лишним, в бытность министром путей сообщения кн. Хилкова, а по смыслу *post scriptum*'а, помещенного „1897 г., I-я четверть“ и исходящего от одного и того же автора, он написан в этой, именно, четверти года. На рубеже же следующей четверти, 5 апреля, рукопись была при обыске у Шишова отобрана. Автор рассказа — типичный представитель, так наз., кружковых рабочих 90-х годов, сильно распространявшихся „интеллигентами“. Его трезвое отношение, напр., к религии, мечта о времени, когда человеком овладеет „чистое знание истины“, вытеснив страх религиозный — несомненный результат воздействия „интеллигентов“. Шишов, судя по отрывочным данным дела о нем, может быть причислен к такому кругу рабочих: „по поводу отношений своих к интеллигентам Шишов не пожелал дать показаний“ (Ведомость дознаниям за 1897 г., стр. 31).

Об описываемой стачке, имевшей место на заре сознательного массового рабочего движения, были в свое время директором департамента полиции Петровым представлены Александру III две записки:

„26-го марта,—гласит первая из них,—рабочие двух цехов мастерских Владикавказской железной дороги, расположенных в г. Ростове-на-Дону, совершили забастовку и затем принудили к тому же весь состав рабочих означенных мастерских в числе 1800 человек. При этом рабочими было сделано заявление о необходимости изменения существующих условий работ и задельной платы. На следующий день управляющий дорогой обещал рабочим, после личных переговоров с их выборными, расследовать их жалобы, а рабочие выразили согласие возобновить на другой день работы и действительно 28-го марта утром исполнили это в урочное время и в полном спокойствии. Во время забастовки рабочие вели себя смирно и никаких беспорядков не производили. 29 марта 1894 г.“.

Вторая была представлена при очередном докладе, 5 апреля того же года. В ней, между прочим, директор департамента полиции докладывал:

„Получена депеша, из коей усматривается, что 4-го апреля вечером забастовавшие рабочие подали, за общей подписью, просьбу управляющему дорогой о разрешении открыть мастерские; о том же ими подана телеграмма и министру путей сообщения. Главные вожаки стачки арестованы, и ныне можно считать забастовку совершенно прекратившейся. Во время стачки порядок рабочими ни разу нарушен не был“.

¹⁾ Дело о нем, л. 4.

Печатаемые воспоминания прекрасно комментируют эти доклады.

„Стачка возникла вполне стихийно, — пишет корреспондент „Рабочего Дела“ ¹⁾. — по ничтожному сравнительно поводу и была проведена рабочими вполне самостоятельно, без всякого участия интеллигенции. Работавшая тогда здесь группа народолюбцев отнеслась к стачке очень и очень равнодушно“.

Официальный автор „XVII-ой ведомости дознаниям, производившимся в жандармских управлениях за 1894 г.“ (стр. 9—14) полагает, что стачка возникла не стихийно, что она не изолирована была от посторонних влияний. Инцидент между рабочими Дервеедом и Дулиным, с которого начинают свое повествование оба очевидца, был только поводом к забастовке. Корни ее глубже и не только в причинах узко экономического свойства, о которых свидетельствуют предъявленные рабочими требования. Она — результат, по его мнению, агитации местных революционных кружков. В его описании стачка эта вырисовывается на таком, приблизительно, фоне.

Революционное движение того времени в Ростове на Дону явилось следствием деятельности народолюбческого кружка, обосновавшегося там еще до 1885 г. После арестов 1885-6 г.г., заставивших кружок на время прекратить работу, он снова заявил о своем существовании в 1889 году, когда вся его деятельность сосредоточилась в мастерских Владикавказской жел. дор., служивших „рассадником вредного направления среди рабочих Ростова в/Д“ (стр. 9). Затем, вследствие вторичного разгрома, работа кружка прервалась до 1892 года, когда туда прибыли новые силы, частью вернувшиеся из ссылки старые опытные работники, сгруппировавшиеся вокруг той же Владикавк. жел. дор. Старая пропагандистская программа была изменена; чтение и хранение подпольных изданий было совершенно изъято, как безусловно вредное, и направление пропаганды было поставлено исключительно на почву социально-экономическую“ (стр. 10). Дробление кружков на результатах работы не особенно сказывалось: „кружки находились в постоянном общении между собою. Направление их деятельности наглядным образом выразилось, между прочим, в рассылке чинам администрации главных мастерских Владикавказской жел. дор. анонимных, угрожающих писем, нанесении побоев 13 ноября (1893 г.) нач. токарного цеха, технику Голосупскому за отказ в увеличении платы и изменении некоторых порядков в мастерских и — устройстве в конце марта 1894 г. забастовки более 1.500 рабочих, продолжавшейся 12 дней“ (стр. 11).

Несколько иной точки зрения держится автор брошюры „Царское правительство и рабочие“ — Д. Кольцов ²⁾. Он полагает, что стачка была вызвана

¹⁾ „Рабочее Дело“ — орган союза русских социал-демократов — № 8, ноябрь 1900 г. корреспонденция „Положение рабочих в Ростове и Нахичевани на Дону“ (стр. 48—55). В цитируемой корреспонденции помещен краткий рассказ участника этой стачки. Печатаемый выше значительно полнее и непосредственнее.

²⁾ Д. Кольцов Царское правительство и рабочие. Меленев, 1896 г., изд. „Союза русских социал-демократов“. Стр. 4—9. В брошюре автор цитирует корреспонденцию с места стачки.

с провокационными целями самой полицией, стремившейся избавиться от подозрительных рабочих. „Уже в конце 1893 г. жандармы пронохали,—пишет он —, что на этой дороге среди рабочих деятельно ведется пропаганда социалистических идей. Надо было не только прогнать и лишить заработка „социалистов“, но и запугать надолго рабочую массу, чтобы она и пикнуть не посмела. И вот начинается целый ряд преследований, сначала мелких, потом все более и более грубых, выведших, наконец, из терпения рабочих“. Такой подход к объяснению причин стачки объясняется, видимо, агитационным характером названной брошюры. Но то, что в годы, предшествовавшие стачке, в Ростове на Дону скопилось много лиц, среди которых встречаем и известного организатора морозовской стачки 1885 г. ¹⁾ рабочего П. А. Мосесенка, ведших систематическую пропаганду среди местных рабочих, факт бесспорный. Сообщения Д. Колюцова в данном случае в общем совпадают со сведениями департамента полиции ²⁾, подтверждающимися и воспоминаниями современников.

История этой стачки, ее течение и формы представляют, таким образом, не эпизодический интерес, а более общий, что придает и большую ценность простым безыскусственным воспоминаниям „рабочего-очевидца“ — одного из сознательных рабочих 90-х гг.

**Стачка рабочих в жел.-дорожных мастерских Владикавказской жел. дор. в Ростове на Дону в 1894 году в марте и апреле
месяцах (24 м.—7 апр.).**

Дело началось из-за мастера паровозо-сборного цеха.

Мастер этот, по фамилии Дервоед (и фамилия-то не человеческая), часто собственноручно наказывал кулаками и пинками провинившихся мальчиков и молодых слесарей, кроме того, что поколоченный был в конце концов штрафован. Так продолжалось дело несколько лет, все это терпели наши русские, долго терпеливые труженики, пока Дервоед не набросился и не поколотил одного старого служащего, старика лет под 50, всеми уважаемого рабочего, работающего лет 18 только в этих главных мастерских Влк. ж. д., у которого уже сын 22 лет, работающий тут же в сборном цехе.

Для того, чтобы каждый читающий эту книжечку мог себе представить, какой скот был этот Дервоед, я опишу подробно, как все это случилось: т. к. Дулия был монтером, или, как там их называют, бригадиром, то каждый собранный паровоз, вернувшийся после пробной поездки до ближайшего полустанка, должен был осмотреть и сдать в исправном виде, каждый раз испытывая оказавшиеся недостатки.

¹⁾ Об этой стачке см. нашу статью в II-й кн. „Архива Истории Труда“. Р. К.

²⁾ См. дело III делопроизводства за 1892 г. № 865, ч. 3 „О кружках в Ростове на Дону“.

Так и теперь: оказалось, что один буксовый клин ослаб сильно, значит, клин этот нужно было гайками нажать и он стал бы на свое место, но Дервоед пристал к Дулину с выговором и записал штраф 15 руб. Слово за слово, Дулин стал доказывать, что штраф совсем ни к чему и не за что даже выговоров ему, старику, слушать за такую пустяковую вещь. После чего Дервоед наскочил на Дулина и сшиб его с ног, нанес на него. Дулин, хрипя, стал барахтаться под ним (старик рослый), но тут подоспел сын и сгреб мастера, поучил его и, поучивши, пустил. Бежит наш мастер по канаве (канавы, по которой ходит тележка с паровозами) прямо к конторе своей, а с боков свист, шум, разные крики: тю! тю! и пр.

Прибежал мастер в контору, оправился и зовет по очереди слесарей которые работали в бригадах по соседству, „что не видели-ли кто, как били его Дулина отец с сыном“. Но таких слесарей не нашлось и никаких протоколов составить нельзя было, потому что не было свидетелей: тот говорит, что его не было там, другой был в сортире, третий—в токарный цех за чем-нибудь ходил и т. д.

Схватка случилась утром, а в завтрак, в 8 час. утра, Дулину не дают марки. Это значит на работу не ходи, узнает он в главной конторе от начальника мастерских Червинского, что за драку увольняется от работ, потому чернорабочие нашлись, которые в случае суда могли показать против Дулина; ну, делать нечего, с начальником мастерских тогда много нельзя было говорить, потому что к нему допускались только те, о которых швейцар докладывал, а швейцару был наказ раз навсегда кого пускать и кого прогонять от дверей, только если швейцара подкупишь, ну, тогда доложат. Таков был начальник до стачки.

Вышел Дулин из мастерских, узнал про такое решение весь цех и заварилась каша. Стали решать, что нужно всем поддержать товарищей, всем выйти из цеха и требовать увольнения Дервоеда, а Дулиных оставить по-прежнему работать. До обеда сговорились и уже после обеда весь сборный цех в количестве 220 чел. не вышел на работу. Это было в четверг перед Благовещением ¹⁾, которое праздновали в пятницу. В пятницу те славные рабочие, которых так немного еще на наших заводах, обегали всех тех, которых можно было без опаски предупредить, дать знать об участии, постигшей Дулиных и решении всего цеха добиться увольнения Дервоеда.

Таким образом лучшие силы, которых можно было отыскать по адресам, были уведомлены и с ними решено было устроить стачку, всех цехов, чтобы помочь сборному цеху отстоять свои права—требования.

Пятница, день праздничный, не пропал даром, а пошел на пользу рабочим.

¹⁾ 24 марта 1894 г. Р. К.

В субботу все вышли на работу, кроме сборного цеха, который собрался у Проходных ворот, но на работу не проходил. Остальные цеха стали работать; не больше, как через полчаса из главной конторы вынесли объявление, в котором было сказано: „Рабочие, не выпешите в субботу на работу, будут объявлены бунтовщиками и обращаться с ними будут по закону“. Подписались начальники мастерских и конских хвостов и собачьих морд, т. е. жандармов.

Нужно сказать, что рабочие, весь сборный цех, который не пошел в четверг после обеда на работу, пошел к жандармскому вахмистру суда искать, тот обещал, говоря, что „Дервояд плохой человек и на него жалобы уже приносились неоднократно. Вы, господа, выходите на работу, все уладим, Дервояда не будет“, но рабочие потребовали, чтобы он поручился, что Дервояда именно не будет, но этого вахмистр не сделал—побоялся, тут как раз явился начальник—управляющий Вл. ж. д. Иноземцев ¹⁾, продолжался к столу, на котором стоял вахмистр, и отсюда спросил у рабочих: „чего им нужно?“ Рабочие ответили: „уволить Дервояда и взять назад Дулина“. „Этого не будет,—отвечает Иноземцев,—вы сегодня требуете уволить Дервояда, завтра Червинского, а после завтра захотите уволить меня, ступайте на работу. Дулин будет взят на работу и больше ничего“.

Рабочие оттуда вышли, но на работу не пошли. Не пошли и в субботу, несмотря на угрозу того же опричника Сашки-пьяницы, который подписался под объявлением, вывешенным в субботу утром, с угрозою, что все немывшие на работу в субботу будут считаться бунтовщиками. После вывески объявления, все работающие мастерские стали совет держать между собой, как быть, как помочь своим собратам, стоящим за воротами; долго совещались—больше часу и, наконец, к обеду все двинулись к выходу. По телефону были уведомлены конские хвосты и прочая полиция и как раз подоспела к тому времени, когда мастерские стали у дверей, поджидая остальных, чтобы всем вместе двинуться из мастерских.

Появилась полиция—выдвинулся из толпы один мастерской и, указывая рукой на полицию, произнес громким, взволнованным голосом: „Довольно вам, мерзавцам, кровь нашу сосать, давили вы, прижимали, но настало время, когда мы заявляем свои права, и смотрите, как мы их будем брать, если вы их добровольно не отдадите нам“.

Так сказал один из лучших людей, на которого Червинский сейчас же указал рукой и сказал, обращаясь к хвосту: „вот зачинщик и бунтовщик, возьмите его!“ Полиция было двинулась по направлению к славному рабочему, но тут случилось то, чего никто из опричников не ожидал—все рабочие, весь гурт, т. е. гурьба гаркнула: „не отдадим Д—а!!! ²⁾“, еще громче: Не отдадим Д—а!“.

Тут полиция, видя такую силу, отошла и дала проход свободный для

¹⁾ Иван Дмитриевич. Р. К.

²⁾ Вероятно, токарь Дорогин Андрей. „Рабочее Дело“, № 8, ноябрь, 1900 г., стр. 54. О нем см. и в „Вестнике познания“ за 1894 г., стр. 9—13. Р. К.

всех мастеровых. Мастеровые, проходя через проходную будку, слышали еще речь, в которой приглашались все смолкнуть на время и прослушать маленькую программу требований, которые предполагалось требовать от начальства. Программу прочитал другой, не менее уважаемый рабочий, стоя на камне, чтобы слышно было лучше всем, и когда прочел раз, попросили повторить, а после повторения крики удовольствия потрясли весь Темерник (местность, где стоят мастерские) и крики новые заменили старые, т. е. которые повторялись, когда оставляли работу, тогда кричали „Постоним за сборный цех!!!“, „Постоним за сборный цех!“, а теперь там и сям раздавалось на свежем весеннем воздухе: „Надо требовать!“, „Надо требовать по программе все, что там написано, верно! Надо требовать!!!“

Теперь интересно просмотреть программу, по которой требовали мастеровые и за которую так единодушно держались около 2-х недель, не принимаясь за работу, если не считать понедельника ¹⁾, в который действительно собрались на работу, но к завтраку бросили и ушли, так как их обманули, т. е. обещали дать по программе, но ничего не дали и не думали дать; обманувшись раз, рабочие больше не поддавались на эту удочку и не шли работать, пока полиция не всунула своего человечка. Это мы узнаем после, а теперь посмотрим программу требований, которая была прочитана одним из рабочих, фамилии не хочу называть, он сам себя узнает, когда попадет, может быть, кому-нибудь в руки эта книжечка из участвовавших в той стачке.

§ 1. Всякий, удовлетворительно сдавший пробу мастеровой, должен получать 1 р. 20 к., а чернорабочий — 90 коп. в день. § 2. Чтобы все штрафы и прочие поборы шли на мастеровых обратно в виде фонда (вроде общей кассы), из которого расходовались бы деньги на книги для библиотек в мастерских и школу. § 3. Гуманное отношение мастеров к мастеровым. § 4. Платить за каждый больной рабочий день половину поденной платы, а если случились поранения, то день за день, т. е. платить за каждый больной день целую поденную плату. § 5. Указать количество даровых билетов на проезд по жел. дор. по своей и по чужим железным дорогам. § 6. Девятичасовой рабочий день перед каждым праздником. § 7. Прогнать Дервоведа. § 8. Уничтожить подписку при получении очков.

Уничтожить подписку при получении очков значит: очки получить, но подписью своею не согласиться на то, на что соглашались ранее, а именно: всякий поступающий в мастерские на работу, получая инструмент, получает очки и расписывается на особенной расписочке, что при соответственной работе должен надевать очки и в них работать, дабы не засорить глаза, а при несоблюдении сих правил, рабочий, засоривший или выбивший свой глаз во время работы без очков, лишается прав на пособие, вот поэтому и должен был расписаться каждый на особенной расписочке, которая вместе с паспортом отправлялась в главную контору начальника мастерских в том, что получила

¹⁾ 23 марта. Р. К.

очки и обязуюсь работать в очках, а при несоблюдении сих правил, я остаюсь с разбитым глазом и вместе с тем, вдобавок, виноват, что будет милость ваша—дадите, а нет, то и так благодарим за то, что мы не по закону себе глаз выбили, остались не преданы законному суду за наше беззаконие.

Не правда-ли, читатель, хороша расписка? А?

Таким образом, как я уже говорил, прослушав программу, рабочие двинулись к тому месту, куда подходили рабочие сборного цеха 2 дня тому назад, здесь ничего не получив, кроме приглашений на работу итти. „Пожалуйста, идите работать,—говорили конские хвосты и опричники Шаники III¹⁾ вместе с прочими его лакеями,—на работе все разберем потому, что ваше требование незаконно; что вы думаете, господа, ведь это не шутка! требование будет уважено тогда, когда каждый выскажет его отдельно при свидетелях в конторе и т. д.“ Но наши требования были написаны и посланы вместе с выбранными депутатами²⁾ в главное правление и решили сделать так: пока не дадут того, чего просят, не выходить на работу. В это время, т. е. в начале стачки, случился довольно характерный случай, показывающий, как страшна была сила из 1800 с лишним человек, которая, соединившись вместе с другими, как это было раньше в прошлые времена, могла-бы разгромить ростовских богачей, которые, к слову сказать, порядочно трусили, сидя за стойками и прилавками,—но, конечно, ничего подобного не случилось, а случилось вот что: является жена одного рабочего и упрекает прочих товарищей своего мужа в том, что они попустили взять, т. е. позволили полиции взять одного стачечника в тюрьму. Толпа, после этих упреков, которая впервые только и слышит от жены эту новость, через пристава по телефону требует полицеймейстера, которому приказывает и дает срок полчаса, что „если С—в³⁾ не будет между нами, то мы пойдем и все побьем“. По шучьему веленью еще раньше, чем в полчаса (благодаря телефонам), смотрим, подъезжает наш С—в в пролетке, при общем крике удовольствия слезает с пролетки и благодарит что его не забыли. Эта маленькая победа имела большое значение, т. е. она подняла дух народа, ибо произошла в начале стачки; каждый на практике уразумел какую силу он представляет, когда находится в братстве.

После этого случая, из Петербурга от прохвоста, именуемого Кривошеиным⁴⁾, стали приходить телеграммы одна другой грознее и, наоборот, обещались всевозможные льготы, если выйдут на работу.

Телеграммы эти в несколько слов распечатывались на таких листах, на которых печатают театральные афиши,—такие были буквы большие—вершка по два каждая буква, но ничего не помогло: народ держался хорошо. Тем временем жандармский полковник, проживающий в Черкасске, пишет жандармскому офицеру в Ростов н/Д: „Почему не усмиряете стачки, отчего не захва-

¹⁾ Александра III. Р. К.

²⁾ Депутатами были выбраны токари Дорогин и Стрельцов и слесарь Козин, которые „в присутствии властей говорили речи“ („Рабочее Дело“, № 8, стр. 54). Р. К.

³⁾ Вероятно, Стрельцов. Р. К.

⁴⁾ Аполлон Константинович, министр путей сообщения. Р. К.

тите зачинщиков". Из Ростова отвечал лошадиный хвост: „Нельзя взять: днем невозможно — толпа не дает, а ночью не ночуют дома“.

Понятно, им было видно, кто были зачинщики, и вот они пустились на хитрость, если-б не эта хитрость, т. е. если-бы они ей не поступили так, как они поступили, то и вся стачка имела бы совсем другой конец. Получают трое ¹⁾ повестки от судебного следователя, который приглашает их явиться к себе в камеру. Тут-бы и решить не идти — нет проклятый закон: он в крови, можно сказать, всосался с молоком матери и держится в каждом русском, как страх религиозный, и до тех пор этот страх не оставит нас, пока в голове нашей не займет место чистое знание истинны и не вытеснит этот подлый страх, жертвою которого стали тогда трое лучших друзей наших. Получив повестки, один, наверно, не пошел-бы, т. е. он догадывался в чем дело, но двое других наставляли на том, чтобы идти, т. е., мол, не полицейская власть, а судебная нас требует, и поэтому нам ничего худого не сделает, а если не пойдем, то хуже себе навредим. Ну, и пошли, а того не догадались, что сейчас не нужно идти, а на будущее время ответ выдумать — например: сказать что народ не пустил и только, а противиться народу не посмели и вполне достаточное оправдание. Нет, пошли, продержали их 12 час. — по 4 часа каждого, расспрашивали и исповедывали, все думали — собьются на ответах, но хотя на ответах и не сбились, но домой поприходили с казаками, которые поселились у каждого на квартире по одному казаку — это называется домашний арест. Под домашним арестом находящийся человек, если куда и идет, то за ним, как тень, следует телохранитель; куда с этим дьяволом пойдешь? — на сходку идти неудобно, да и не пускает, имеет право на выстрелы от старшего конского хвоста. Таким образом просидели трое лучших людей под домашним арестом больше недели. А тем временем от прохвоста, именуемого министром путей сообщения ²⁾, телеграммы за телеграммой приходят и печатаются все в большие и большие афиши и развешиваются на заборе мастерских и на Темернике, а в городе их не было за исключением некоторых немногих, в которых прохвост и вор обращался с наравоучениями. Был такой случай. На заводе Пастухова (на 400 ч.) один немного выпивший мастеровой, развернув большую афишу, утром, придя на работу, стал читать, но приказчики вырвали афишу-объявление, смяли ее и мастерового выпроводили с завода. Приезжал даже Хилков (теперешний министр пут. с.) ³⁾ и тоже мастеровых усмирять. Потребовал к себе депутатов, но депутатами никто к нему не пошел, т. е. знали, какая честь ожидает депутатов впереди: либо домашний арест, либо просто препроводят в тюрьму. Ждал, ждал Хилков, не дождался, через часа 2 с лишним надумал выйти и лично вести переговоры с стачечниками. Когда узнали, что Хилков хочет депутатов, то толпа порядочная собралась у проходной будки, но, прождав по часу, стали расходиться и в тому времени,

¹⁾ Упомянутые Дорожкин, Стрельцов и Козин. „Рабочее Дело“, № 8, стр. 54. Р. К.

²⁾ А. К. Кривошеин. Р. К.

³⁾ Мих. Иванович, тогда, в 1894 г., главный инспектор железных дорог. Р. К.

Когда явился Хилков, оставалось у ворот около 200 человек только, все больше молодой народ. Вышел Хилков, обвешенный весь побракушками, и, осмотрев народ, стоящий перед ним, сказал обвешенным тоном: „отчего не хотите мне выслать людей, с которыми я мог-бы переговорить и обсудить ваши требования?“. „Мы, — отвечают перед ним стоящие, — не думаем больше делать глупостей и не избираем депутатов, т. е. депутаты останутся всех виноватее“. „Теперь, — говорит Хилков, — с кем я должен говорить? с мальчишками? И сам был слесарем, знаю нужды рабочего человека“. „А! знаешь нужды рабочего человека, то зачем тебе депутаты? ты прочти наше требование и удовлетвори, а что вот ты говоришь, что с мальчишками должен говорить, то виноват этому ты-же сам, потому что не будут ждать тебя одного 2 часа 1800 человек таких, как и ты, людей и потому еще, что ты за птица? — может, переодетый шпион требует к себе депутатов или лакей гранд отеля (гостиницы)“. Так встретили и проводили князя Хилкова, за оскорбление заплатили оскорблением. Тем временем полиция тоже не дремала. Она выудила себе человека — Свиридов фамилия ему. Этот Свиридов, лет 26-ти, адровый парень, поступил недели за 2 до стачки в мастерския подметальщиком, а потом скоро поставили его на болторезку, значит, моментальное повышение, но на это тогда никто не обратил внимания. Теперь-же, когда явилась потребность в людях, он оказался превосходным организатором и руководителем для стачечников. В предпоследний день стачки он так хорошо говорил, что нельзя было представить, чтобы было что-нибудь лучше его речей и на работу не пойдешь и наплевать на все телеграммы. Завтра нам предлагают расчет брать, мы пойдем его брать, только вон туда — в стену. Там возьмем расчет по вчерашнему, т. е. соберемся, потолкуем и решим, как нам дальше действовать. Вот его последние хорошие слова. На другой день была назначена сходка в 11 час. утра, собрались некоторые в 8 утра. Вот он и давал рассказывать, что пригнали много казаков и привезли пушку, если не согласимся на последнее требование министра взять расчет, т. е. это необходимо, мол, так надо, то наши деньги и паспорта разошлют по родинам, а нам дадут 2 недели сроку, в течение которых мы не должны собираться, если же мы соберемся, как мы до сих пор собирались, то в нас будут палить из той пушки картечью. Подумайте, что тогда будет с нашими родными! Вот, прохвост, на чем подехал-ведь. Ну, люди понятно к нему за советом, что делать в таком случае, а вот что делать — говорит Иуда. Нужно поскорее собрать депутатов и ехать к начальнику края просить его помочь в их беде; собрали депутатов и пошли, через два часа вернулись обратно все депутаты с Свиридовым и помощником полицеймейстера с одним приставом во главе. Тут Свиридов прочел докладную записку, которую написали в полицию, и решено было следовать тому совету, который дал управляющий Вл. ж. д. Иноземцев, а именно: в докладной записке было сказано так: „Имею честь покорнейше просить в. п-ва просить от нашего имени министра пут. с., чтобы тот разрешил управляющему отперть мастерския“.

Иноземцев от себя прибавил, что он не верит на словах, а поверит

только тогда, когда подпишутся все, что действительно желают работать. Согласны работать? — спросил громко Свиридов и, рассказав всю суть дела, спросил, согласны-ли на подпись. Тут получился переполох, никто не ожидая такой сворой, довольно глупой развязки, велели повторить, повторил. После того человек 200 крикнуло — согласны, а остальные 1000 сидели молча, как ученики, которым задана устная задача тысяч на 5, и вот они борятся мысленно, что-то им мешает решить, они потупили очи и некоторые даже не заметили, как пришедший с Свиридовым и помощником полицеймейстера пристав воскликнул зычным голосом: Ну, теперь помолимся господу богу за то, что он вернул на путь истинный своих заблудших овец, становись, ребята на колени, и крестись, и молись, и господа бога благодари — он аки пастырь, и еще что-то вроде этого; окружавшие его машинально как-то снимали фуражки и крестились, а на колени никто не упал, не последовал его совету, т. к. все сидели на природных сидалищах.

Народ, проводивавшись целое утро, рад был какому-бы то ни было исходу — и с поспешностью двинулся вниз к табуретке, на которой лежала бумага и чернила, где теперь каждый должен был руку приложить, дабы не остаться в рядах нежелавших работать. Так кончилась так хорошо начатая стачка; пусть послужат примером все хорошее и те промахи, которые довольно ясно обрисовались при Ростовской стачке. Несмотря на все это, большую половину просимого дали, а именно: §§ 3, 4, 5, 6, 7 и 8. По всем этим 6-ти параграфам удовлетворили рабочих и теперь житье довольно сносное. Недавно открыты классы черчения и рисования для желающих учиться и открыли свой клуб железнодорожные служащие, который содержится на членских взносах, а лавка потребителей существует уже давно.

Рабочий-очевидец.

Р. С. Свиридов, этот Иуда-предатель, до сих пор жив и здрав, и невредим, и по решению товарищей ему дарована жизнь, т. к. такая падаля только может загадить воздух, если ее убить, снова могут быть аресты по малейшему подозрению со стороны конских хвостов и разных прохвостов и подхалимов „Кольки глупого II“ ¹⁾, после чего могут пострадать совершенно невинные.

1897 г.

1-ая четверть.

Сообщ. Р. Кантор.

¹⁾ Николай II. Р. К.

Поляки в Киеве в 1920 году.

Советские войска, разбив отряд генерала Бредова, заняли Киев 15 декабря 1919 года. Летописцы киевские отметили: одиннадцатый переворот. Официальная печать к этому прибавляла: и последний. Киевские скептики покачивали головой и высчитывали, что с каждой новой сменой власти сокращается период ее пребывания в Киеве. На этом основании пророчили, что советская власть пробудет на Украине не больше трех месяцев.

Разложение и позорный провал добровольческой армии произвели такое впечатление, что значительная часть интеллигенции примирилась с мыслью о прочности советской власти. Главный враг ее обнаружил свою несостоятельность и был разбит. Многочисленное в Киеве еврейское население перевело дух; последний месяц деникинщины был перманентным погромом, „пыткой страха“, по образному выражению В. В. Шульгина в „Киевлянина“. Облегчение испытывали и украинские круги, пережившие столь же перманентный культурный погром. Правда, с другой стороны, хозяйничанье „добровольцев“ в деревне дало толчок к развитию повстанческого движения, которому советская власть покровительствовала, пока оно было направлено против Деникина. Некоторые украинские круги, в том числе и близкие к большевикам, связывали с ним свои собственные надежды.

Спокойствие в Киеве и вокруг Киева восстановилось очень скоро. Конечно, очень скоро появились и банды. Стали доходить слухи о Тютюннике, Ромашко, Мордалевиче и многих других. Но это повстанческое движение носило разрозненный характер, все больше вырождалось в простой грабеж и само по себе большой опасности не представляло. Петлюровское правительство, цеплявшееся при добровольцах за уголок украинской территории в Подолии и Волыни, с приближением красных войск, удалилось за границу. А Петлюра бежал в Варшаву.

Положение власти казалось прочным. А между тем всю зиму не прекращались слухи о близком уходе большевиков. Базары в Киеве не были закрыты, и на манер восточных городов они были местом, где формировалось общественное мнение народных низов. К „базарным слухам“ и „базарным слухам“ мы привыкли относиться презрительно, но надо признать факт несомненный: базар почти всегда предсказывал события, только переирая их

и ошибаясь в сроках. Это и не удивительно. Интеллигенция видит только канцелярские стены, вращается в своем узком кругу советских служащих, питается сообщениями официальной печати или известиями; идущими из „сфер“, обычно сдержанных и умеющих блисти ведомственную тайну. А на базар ежедневно приезжают крестьяне из близких и дальних деревень, мешечники из экскурсий в пограничные места, контрабандисты; здесь толкуются красноармейцы, далеко не всегда сдержанные в своих рассказах.

Уже в декабре и январе, — чем дальше, тем чаще, — базар распространял слухи о сражениях на польском фронте. То бывал взят Бердичев, то прорывались поляки под Житомиром, то переходили в наступление под Коростенем. Официальная печать то надевалась над этими слухами, то клеймила их в негодовании. Было много нелепого в этих слухах. Держалась, например, упорно вера — особенно в среде торгово-спекулятивной, — что идут в Киев немцы. Приезжали в Киев крестьяне и мешечники, которые собственными глазами видели немцев, даже говорили с ними. Казалось, что это просто неистребимое политическое суеверие городского мещанства, у которого в памяти столь прочно врезалось пребывание немцев в Киеве, наведенный ими порядок, что и поныне грезят оно немцами и видит их и во сне, и наяву. Впоследствии загадка разъяснилась. В польских частях, пришедших в Киев, было немало повстанских полков из отрядов Галлера. Их форма, железные шлемы и немецкий язык ввели в заблуждение крестьян и дали повод к слухам о немцах.

Всю зиму шли переговоры советской власти с Польшей. Ноты Чичерина носили примирительный и уступчивый характер; в польских нотах был, напротив, высокомерный тон. Известно было, что Польша требует очищения почти всей правобережной Украины, стали доходить слухи о каком-то соглашении Петлюры с Пилсудским. Киевская печать была плохо информирована, пуста и бесцветна, а московские газеты до Киева почти не доходили. Еще в марте 1920 г. не было прямого и регулярного сообщения с Москвой. Украинское правительство оставалось в Харькове и переезжать в Киев не собиралось. И в Киеве мы были, в сущности, отрезаны от всего мира.

Положение власти казалось прочным. В близость и серьезность войны с Польшей не верили. Линия польского фронта давно находилась в неподвижном состоянии; дело ограничивалось небольшими стычками. Командование добровольческой армии даже обвиняло поляков в содействии или попустительстве красной армии. И, действительно, все то время, когда большевики стояли под Киевом у Коростеня и на Ирпене, в ближайшем соседстве с поляками, тыл их, повидимому, не подвергался серьезной опасности. У польского командования был свой расчет. Казалось, что поляки удовлетворятся отобранными землями и дальше не пойдут, или ограничатся теми уступками, которые готова была предоставить им советская власть. Поход на Киев казался авантюрой, — особенно теперь, после триумфа красной армии, после разгрома добровольческой армии.

В советских рядах не заметно было воинственного настроения. Киевская печать писала о мире, о желании перейти к мирному труду и Польшей за-

нимилась сравнительно мало. Зато бряцал пером штатский стратег, левый эс-эр С. Д. Мстиславский в „Борьбе“. Еще в феврале он проповедывал революционную священную войну и призывал поднять восстание в Польше. Официальная большевистская печать держала себя более скромно. Впрочем, звезда левых эс-эров и украинских „боротьбистов“ начала уже закатываться.

Однако в начале марта внезапно изменилось и воинственное настроение С. Д. Мстиславского. Он писал о том, что ради мира можно пойти на серьезные уступки, что потеря территории особого значения не имеет. В то же время распространился упорный слух о переходе поляков в наступление и о прорыве под Малицком. Слух оказался ложным; однако с тех пор стали упорно говорить о том, что на фронте неблагоприятно, что восстания вокруг Киева растут, и что скоро надо ожидать прихода поляков и петлюровцев. Тем не менее в городе было спокойно, и в средних числах апреля начались подготовительные работы к празднованию первого мая. Предполагалось устроить особо торжественный праздник—первый раз в советской Украине. Художники разрисовывали плакаты в провинциально-футуристском стиле; готовились символические театральные постановки под открытым небом. Никто и не думал о близком уходе. 27 апреля пришли какие-то дурные вести с фронта, и впервые сами коммунисты заговорили о том, что, быть может, временно придется оставить город. Заметна была нервозность в действиях власти, началась негласная эвакуация. На следующий день создалось в городе так знакомое киевлянам паническое настроение. Толком ничего не было известно; говорили, что взяты Житомир, Бердичев, Коростень, Чернобыль, что Киев, таким образом, окружен с трех сторон, и остался только путь за Днепр. Не знали, кто собственно идет. Кто говорил,—поляки. Кто—галичане, галицийские военные части, ушедшие в свое время из Австрии и с тех пор бродящие по Украине, принимая то к одной, то к другой армии. Эти части вели переговоры с большевиками, некоторые из них даже примкнули к красной армии. Незадолго перед событиями состоялась в Киеве конференция красных галичан; однако не успела она еще закончиться, как стало известно, что среди галичан раскол, и часть их восстала против советской власти и перешла будто-бы на сторону поляков. Передавали, что именно эта часть и идет теперь на Киев. Кружки украинской интеллигенции, оставшиеся в Киеве, так же мало были осведомлены о том, что происходит за пределами города, как и все население. О соглашении Петлюры с Пилсудским знали только из советской печати, и союз украинцев с поляками не был популярен в киевских украинских кругах.

Власть, конечно, опровергала слухи об уходе и уверяла, что на фронте все обстоит благополучно. Но видна была явная растерянность. В советских учреждениях прекратилась обычная работа. Служащие сходились группами и толковали о том, кто уезжает, а кто остается. Но продолжалось, как ни в чем ни бывало, совещание педагогов, созванное заведующим отделом народного образования т. Машкиным из вопросу об организации первого мая.

На базарах сразу, словно по сигналу, исчез хлеб. Приезжие рассказывали, что в Бородинке,—верст 50 от Киева,—слышна орудийная пальба.

На другой день паника достигла своего апогея, а потом сразу улеглась. Говорили, будто взят советскими войсками Житомир, и восстановлено положение на фронте. В газетах, вышедших 29 апреля, не звучали уже победоносные ноты, чувствовалась неуверенность, и только в „Борьбе“ появилась полустертичная статья С. Д. Мстиславского, который призывал поднять весь пролетариат на защиту Киева, разделить город на боевые секторы, как это было сделано в Петрограде во время наступления Юденича, и дать сражение на улицах. Но это героическое предложение не встретило сочувствия даже в большевистских кругах. Рабочих в Киеве мало, и рассчитывать на их революционную активность было трудно. На митинге, устроенном незадолго до ухода, начальник киевского гарнизона т. Звездов не без основания сравнивал киевский пролетариат с цыганской лошадью, которая покорно переходит от одного хозяина к другому. Кинематографическая смена властей внесла изрядную деморализацию во все круги киевского населения.

30 апреля наступило успокоение и вместе с тем стало ясно, что большевики уходят. В печати об этом ничего не было, и „Коммунист“ даже печатал воинственные статьи, в которых говорилось, что Киева без боя не уступят. Но влиятельные большевики не скрывали, что решено город очистить, что советские войска уходят временно за Днепр, а гражданская власть и учреждения будут эвакуированы на пароходах в Гомель.

Первого мая был прекрасный весенний день. Но вместо торжественных манифестаций потянулись через город за Днепр нескончаемые скрипучие обозы. За три года киевляне на практике усвоили элементарные основы военной тактики и знали, с чем связано движение обозов.

На этот раз отступление носило особый характер. Оно совершалось в полном порядке и не похоже было на паническое бегство большевиков перед приходом денкинцев и затем деникинцев перед приходом большевиков. Обозы двигались, не торопясь, и имели совершенно упорядоченный вид. Никто за ними как будто не гнался. Бросалась в глаза малочисленность красноармейцев, и не было обычной картины отступления, когда Киев вдруг наполнился оборванными, грязными фигурами солдат, бежавших с фронта. А главное, не было даже отдаленной канонады, с которой так хорошо знаком был Киев.

Потянулись странные дни. В городе тишина и спокойствие, на улицах пусто, учреждения прекратили работу. Крестьяне в город не приезжают, и на базарах тоже пусто. Изредка проходят последние небольшие обозы, отдельные воинские части. Иногда проедет извозчикья пролетка с горой узлов и бледной женщиной с ребенком на них, и все знают: семья „комиссара“ едет на пароход. Оживление только на Подоле у пристаней. Там собраны все пароходы и баржи,—даже те горе-пароходы, которые совершают рейсы между Киевом и Никольской Слободкой на противоположном берегу. На палубах кишмя-кишит народ—все коммунистическое население Киева и незначительная часть

советских служащих. Пароходы дымятся и готовы к отходу, но не отходят, — и неизвестно, уйдут-ли. Циркулируют и такие слухи, будто поляки, верные условиям предложенного им мира „до границ 1772 г.“, дойдут только до Киева, а в Киев не войдут. Наступает утро, и видя пустые улицы, киевляне спрашивают друг друга: „ушли?“ Неизвестно. Но потом доходят сведения: нет, пароходы еще стоят у берега.

За два слишком года уходы и приходы власти успели потерять новизну. Население привыкло к ним и в общем отнеслось довольно равнодушно и к нынешнему уходу. Волновалось только еврейское население. Цугала неопределенность первых минут междувластия или безвластия. Если впереди идут не польские регулярные, а украинские партизанские части, то можно ожидать резни, погромов, грабежей. А город полон беженцев из погромленных местечек, и есть среди беженцев такие, которые пережили и пять, и шесть, и десять погромов. Большинство населения не жалело об уходе советской власти; она энергично проводила национализацию торговли и промышленности, были закрыты все магазины и лавки, запрещена уличная торговля, и сочтены были последние дни базаров. Но и от прихода поляков не ждали ничего хорошего; не было веры в прочность и долговременность их пребывания. Союз поляков и украинцев внушал глубокие сомнения. Было ясно, что предстоит вновь полоса насильственной украинизации, и в русской части населения пробуждался тот национализм, который уже однажды располагал к примирению с русской большевистской властью.

С внешней стороны город переживал идиллическое состояние. Прекрасная весенняя погода, распускающаяся пышная зелень, тишина и спокойствие на улицах. Всякое начальство исчезло, но неопределенность положения сдерживала и нарушителей порядка. Все сидели по домам, выставив по заведенному порядку дежурных у каждого под'езда. Только смельчаки решались отлучиться далеко, в центр города, на Крещатику. Оттуда приходили и мгновенно разносились по всему городу известия: большевики еще тут. Днем кучки любопытных толпились у дверей, у под'ездов. Ночью наступала абсолютная тишина, город казался вымершим. Наружные двери закрывались наглухо, и в каждом под'езде были такие приспособления, бревна для подпорки, железные штанги, крюки, которые делали дом неприступной крепостью для грабителей. Ночью внутри у дверей сидели дежурные, призванные бить в гонг в случае тревоги. Ночных нападений не было; но если бы вздумали грабители напасть на большой дом, и удалось им ворваться, они могли бы безнаказанно вырезать всех жителей дома. Крики и вопли не помогли бы. На всех соседних улицах в многоэтажных домах, потушив огни, сидели бы, притаившись в зачяем страхе, взрослые люди и ждали бы покорно своей участи.

В прежние времена, в периоды междувластия, воскресала из мертвых городская демократическая дума. Она брала на себя охрану города, организовывала временную стражу и медицинскую помощь и вступала в сношения с новой властью. С каждой новой сменой власти все ниже и ниже падал авторитет гордых некогда „избранных“, и все меньше с нами церемонились.

А с приходом поляков бывшая дума окончательно умерла, и ни у кого из оставшихся представителей ее не было охоты брать на себя сложное и опасное дело охраны города. Из общественных организаций доживала последние дни свои кооперация; „огосударствление“ ее только началось и не было доведено до конца. Внешняя общественная независимость сохранилась. Профессиональные союзы были уже преобразованы, „советизированы“; прежние правления либо переизбраны, либо распущены, а новые эвакуировались. Таким образом профессиональные союзы не могли взять на себя охрану города в качестве нейтральных общественных организаций. Представительство мирного городского населения и забота о безопасности его перешла к „кооперативному комитету по охране города“. Он заседал в городской думе с согласия советской власти, но ничего и никого охранить он, конечно, не мог. Появилась и на этот раз неизменная при всех уходах власти грузинская дружина. Было их человек двадцать, — кажется, все студенты. При прежних переворотах возникала еврейская самооборона, небольшие дружины из молодых рабочих, студентов, гимназистов. Но когда вступали в город в 1919 г. „добровольцы“ и галичане, одна такая дружина, состоявшая из мальчиков—гимназистов, была целиком вырезана галичанами. И на этот раз не было охоты и сил повторять такой опыт. Еврейское население было слишком запугано.

К счастью, все проходило благополучно. Не было ночных нападений, не слышно было стрельбы. Становилось ясно, что боя в городе не будет, и население, даже еврейское, стало несколько успокаиваться. Возникла, однако, другая тревога. Если бы эта идиллия пустоты, спокойствия и безвластия затянулась еще на несколько дней, всему населению угрожал бы голод. Положение становилось нестерпимым. Власть не уходила, но и не вмешивалась в жизнь населения и не считала себя обязанной заботиться хотя бы о рабочих, о детях, о больных. Скудные запасы быстро исчезали.

Боялись, что повторятся кошмарные сцены массового расстрела заключенных накануне ухода. Такие прецеденты были при всяких правительствах. А на этот раз сидело в тюрьмах, помимо обычного контингента уголовных и политических арестованных, большое количество заложников-поляков, почти все — местная интеллигенция: профессора, учителя, врачи. Были и священники. Но обошлось на этот раз не только благополучно, а даже торжественно — трогательно. В тюрьму приехали представители власти и собрали всех сидельцев концентрационного лагеря, политиков и заложников. После речей о гуманности советской власти, которая должна-де послужить примером и для власти, вступающей в город, все — и представители власти, и заключенные, и тюремная администрация, связались на общей группе, а потом большинство арестованных были освобождены. Они построились в ряды и двинулись в город. Некоторые заложники были все же эвакуированы. С освобожденных поляков — заложников было взято обязательство, что они опубликуют в газетах заявление о гуманном и культурном обращении с ними. Действительно, письмо такого рода появилось в газетах после прихода поляков. Польская и украинская печать ограничилась комментариями на тему о вынужденности этого заявления.

В тишине, тяготящей неопределенностью, прошли пять первых дней мая. Шестого на рассвете раз десять ударили близко и гулко орудия. Примечным ухом киевляне различали: стреляют отсюда-либо с бронированного поезда на посту Волынском, либо с бронированного парохода на Двине. Неприятель не отвечал и не подавал признаков близкого своего присутствия. Накануне, впрочем, являлся высоко над городом польский аэроплан. Утром стало известно, что Днепр совершенно пуст. Ни одной лодки не осталось на берегу. Вся флотилия ушла на рассвете вверх,—вопреки слухам, утверждавшим, что Днепр наверху уже перерезан поляками.

Любопытные поднимались на Владимирскую гору и смотрели вдаль на Заднепровье, покрытое синевшими лесами. В них скрывались большевики. Но противоположный берег был пуст и безлюден. И тянулись к нему переброшенные через Днепр четыре моста.

II

Еще несколько часов томительного ожидания. Днем вступила польская кавалерийская разведка—чистенькие выложенные офицеры и солдаты на выхолоненных лошадях. Они под'ехали к городской думе на Крешатике, и навстречу им вышло много поляков, большею частью интеллигентов, — но были и рабочие, — дамы и девушки с белыми цветами. Украинская интеллигенция вела себя сдержанно, ждала своих. По городу сейчас же разнеслась весть, что идут регулярные части, а партизан совсем нет, и еврейское население, прижатое страхом погрома, приободрилось и тоже показало на улицах. Правда, ходили слухи о погромах, учиненных на Волыни поляками, и известно было, что легионеры забавляются милой шуткой: режут бороды старым евреям. Все же это не массовая резня людей и не насильование женщин. К вечеру улицы уже были полны народа; с любопытством присматривались к немногочисленным польским патрулям, сдержанно и чинно проходившим и занимавшим свои посты. На груди у многих киевлян появились красно-белые польские и желто-голубые украинские бантики. Поляки и украинцы чувствовали себя именниками. Русские в значительной своей части косились недоверчиво; чувствовали какую-то внутреннюю обиду даже те, кто рад был уходу советской власти. Евреи не смели верить, что прошли благополучно самые опасные минуты, и миновала угроза массового погрома. В толпе раздавались, правда, антисемитские выкрики, и совсем без „эксцессов“ не обошлось. Но все это пустяки были сравнительно с тем, чего ожидали, и что могло быть.

Стало известно, что войска польские, не задерживаясь в городе, переходят по мостам на ту сторону Днепра, и что в Царском саду на высоком и крутом берегу установлены орудия. Ясно было, что без боя не обойтись. На другой день к вечеру загрохотали и заревели в самом городе орудия, и снова попрятались по домам люди, наиболее трусливые, забегая в подвалы. Палила польская артиллерия, и в ответ ей стали рваться над городом большевистские снаряды. До центра они не долетали, и потерпел многострадавший Печерск,

а котором я без того ни одного дома не осталось с целыми окнами. Когда выяснилось, что непосредственной опасности нет, на Владимирской горке собралось много народа, смотрели на артиллерийскую дуэль. Среди темнозеленого ковра дарницких и броварских лесов появлялись белые комочки таявшего дыма—там верстах в 20 отстреливались большевики. Кононада грохотала и на следующий день, потом стала глуше; но она уж не умолкала совсем надолго. И в течение всего месяца, пока были поляки в Киеве, глухой рокот за Днестром напоминал, что большевики тут, закрепились под Киевом, и война продолжается. Этот солидный басовитый рокот, ставший акомпаниментом польско-украинского альянса, имел большое политическое значение и стоил ряда речей на митингах и ряда передовых статей в газетах.

Он убил прежде всего одну иллюзию, весьма распространенную в обывательских кругах. Многие простосердечно верили, что поляки пойдут непременно дальше, будут гнать большевиков до Москвы, возьмут Москву и покончат с советской властью. Популярна была версия, что таково именно задание мистической во всемогуществе своем Антанты, что поляки выполняют поручение Франции, и следом за ними идут французы, румыны и, конечно, немцы, по которым доныне тоскуют многие сердца на Украине. Казалось, что оружейные басы за Днестром это лишь временное явление, и завтра—послезавтра они замолкнут навсегда. Но проходил день за днем, и снова повторялся отдаленный гул на черниговской стороне, и ясно было, что поляки дальше не пойдут, и что перешли они Днепр у Киева только для закрепления предместных позиций.

Тем не менее в широких обывательских кругах прочно было убеждение в том, что с большевиками покончено навсегда. Та легкость, с какой совсем без сопротивления был отлан Киев, казалась признаком их слабости. Город видел небольшие отступавшие отряды плохо вооруженных оборванных красной армией; пересказывали, что это все, что осталось от 12-ой армии. Стало быть, красная армия в войне с европейской регулярной армией была разбита, обнаружила свое воинское бессилие. В кругах местной интеллигенции, партийной и беспартийной, не было такой уверенности в том, что с большевиками покончено раз и навсегда. Напротив, были в этом величайшие сомнения. Повод к ним давал внутренне-фальшивый, искусственный польско-украинский союз, плохо маскировавший польскую военную оккупацию. А что такое оккупация на Украине, было хорошо известно по опыту 1918 года. Немцы с трудом справились с крестьянскими восстаниями, а были они тогда в силе и могли держать на Украине подумиллионную армию. Не подлежало сомнению, что с польскими войсками придут и польские землевладельцы, хозяева богатейших имений и сахарных заводов в Киевщине, Подолии и на Волыни, и все те батки-атаманы, которые вчера выступали против большевиков, завтра пойдут против поляков. Начнется новая серия войн украинского народа за свою независимость с ней бежной новой „ориентацией на Москву“,—на этот раз Москву не „православную“, а „рабоче-крестьянскую“. При этих условиях даже слабая красная армия может оказаться снова опасным врагом для поляков.

Уверенность обывателей окрепла еще больше, сомнения интеллигенции поколебались после эффектного парада польских войск, устроенного 4 мая. По улицам Киева, с Бибиковского бульвара на Крещатик к городской думе и обратно в том же направлении, продефилировала целая дивизия (а кто говорил — корпус) войск всех родов оружия. Это была немножко декоративно-оперная, но импозантная картина. Прежде всего Киев давно не видал такого количества хорошо вымытых, чисто, даже щегольски одетых людей. Польские солдаты, видимо, готовились к этому оперному параду, как к спектаклю, и где-нибудь под Киевом долго и усердно мылись, чистились, брились. Они шли нескончаемой лентой — пешие, конные, на орудиях, на броневиках, — и все, как один, блестя новенькими, с иголки, платьями, в чистехоньких лакированных шлемах, в превосходно вычищенных, совсем не запыленных башмаках, с полным набором оружия, тоже новенького, чистенького, еще ни разу не бывшего в употреблении. Три года нечищенный, небритый, износившийся и неряшливый Киев, разинув рот, смотрел на эту строго вымуштрованную уйму чистоты и воинского изящества.

Конечно, в памяти были еще немцы, тоже чистые и аккуратные, поразившие своей выправкой даже в те дни, когда началась в Германии революция, и когда, казалось, можно было растегнуть хотя бы одну пуговицу у ворота. В Киеве заседал „Большой совет германских солдат,“ но ни одной растегнутой пуговицы нельзя было заметить на солидных фигурах, гулявших с сигарами во рту на Крещатике. Немцы были чисты и аккуратны, но и у них был все же на четвертом году войны потертый вид, и было среди них много стариков, много неуклюжих, мешковатых воинов из ландвера, так и не выучившихся молодцовато носить военное свое одеяние.

А здесь весело и бодро шла под звуки военных оркестров цветущая молодежь Польши, сплошь франты, сразу покорившие сердца демократического женского Киева. И если так хороши были рядовые воины, то положительно подавляли великолепием своим офицеры и генералы. Это была уж не опера, а цирк, gala-выезд превосходных наездников, сплошь князей, баронов и графов по внешнему виду, на чудесных лошадях, каких только в цирках и на скачках можно видеть и каких Киев давно-давно не видал. В общем это была сказочная феерия, неправдоподобная в обстановке и в условиях современной войны, чудесное явление из другого мира и другого времени.

Киев давно не видал и такой полноты снаряжения. Роты, батальоны и полки шли в полном укомплектованном составе, с большим количеством пулеметов. При орудиях полный состав прислуги. За частями — легкий обоз с какими-то специальными повозками, двухколесками. В довершение ко всему — при каждой части несколько мулов, навьюченных каким-то вооружением.

Военных специалистов этот парад мог бы вызвать на какие-либо критические замечания. Профанов он подавлял окончательно и бесповоротно демонстрацией невиданной мощи. Куда же справиться оборванным, босым красноармейцам с их ружьями на веревочной перевязи с этими несокрушимыми европейцами-щеголями!

Не было киевлянина, который не вспоминал бы впоследствии—это с зло-радной насмешкой, кто с обидной горечью—об этом эффектном параде. Но уж и тогда бросался в глаза черзчур элегантний, ненатуральный на войне, цирковой характер польской армии. Немногие, однако, это замечали.

За то глубоко символическим и демонстративным было выступление украинского отряда. Украинцев было немного, сотни две, все—пешие. Они терпеливо ждали своей очереди, лежа в повалку на мостовой Терещенковской улицы. И когда прошли последние франты и щеголи, прогрохотали броневики и грузовые автомобили, потянулся жалкий хвостик этого блестящего шествия. Лениво и понуро шла в нестройных рядах кучка украинцев. На них были такие же, как у поляков, французского происхождения френчи, штаны, башмаки, но все-несвежее, подержанное, явно с чужого плеча, не подогнанное к росту и фигуре. И были они небриты и нестрижены, и уны-грязноваты. И болтались за спинами сумки различного цвета и вида. Офицеры немногим лучше рядовых. И сзади на простых крестьянских лошадях, в телегах с „дядьками“ за кучера—потрепанные пулеметы, перевязанные веревками,—обычный вид повстанческого отряда.

Это была живая картина польско-украинского союза. Комментариев не требовалось. Нельзя было яснее, громче, откровеннее сказать, в чьих руках реальная сила, кто-подлинный хозяин на правобережной Украине.

III

Сразу, как ножом, отрезан был Киев от всей советской России,—и никаких известий оттуда. За Днепром начинался новый мир, еще вчера так близко знакомый киевлянам, сегодня—более далекий и чужой, чем Австралия или Африка. Ни одна живая душа не могла перейти линии Днепра.

А в городе начинался новый порядок по старым образцам. Следовали один за другим обычные первые приказы всех приходивших в Киев властей: о сдаче оружия, о регистрации офицеров, об учреждении милиции, о воспре-щении выходить на улицу позже определенного часа. Население покорно подчинялось и рыжидало дальнейших действий власти. Новизна первых дней скоро прошла, потянулись будни. Открылись магазины и лавки со естественными продуктами, кофейня и маленькие рестораны. Поляков в городе было мало. Войска после парада ушли на фронт; остался небольшой гарнизон. Думали, что вот теперь, с уходом большевиков, начнется сразу оживление, установится связь с Европой, появятся товары. Но оживления не было; пустым и мертвым оставался киевский вокзал, и попрежнему не дымились фабричные трубы. Говорили, что на пути отступления своего большевики взорвали все мосты, и поэтому нет сообщения с Варшавой. Но постепенно стали появляться крестьяне, и базары ожили. На базарах и начались первые столкновения населения с польской властью.

Поводом к недоразумениям послужил вопрос о валюте, самый большой при сменах властей вопрос. Деникинцы, придя в Киев, аннулировали единым

взмахом все советские бумажки,—и это сразу повредило им в завоевании народного расположения. Потом советская власть таким же манером аннулировала все „добровольческие“ бумажки. Все переходные моменты в смене властей были, поэтому, форменной пляской валюты, и наживались на этом спекулянты. Польское военное командование в Киеве не аннулировало прежних денег; даже советские бумажки были допущены в обращение, не был лишь обязателен прием их. Но был установлен принудительный курс, совершенно произвольный. Две украинских гривны приравнивались одному романовскому рублю,—в действительности, он стоил дороже. Сравнительно высоко ценившиеся населением „кереenci“ были поставлены ниже „карбованцев“. Советские 100 рублей приравнивались 5 карбованцам, в действительности, они стоили вчетверо выше. Но всего больше вызвал недовольства произвольный курс польской марки. Она приравнена была 5 романовским рублям, чего, конечно, не стоила. В общем население с официальным курсом не считалось, и базар устанавливал свои—тоже довольно фантастические расчеты. Путаница была большая, и многие торговки, в особенности крестьянки, отчаявшись разобраться в сложной таблице валютных единиц, отказывались от всяких денег, кроме царских. Не подчинялись базарному неписанному закону польские солдаты. Они брали продукты и товары и платили польскими марками по курсу коменданта города. Торговцы вопили, ругались; солдаты отстаивали свои права. Начальство убедительно показывало, что оккупация это не пустое слово, и польское правительство не обязано заботиться об интересах киевских торговцев. И уже через неделю общественное мнение киевских базаров втихомолку проливалось великодушных „освободителей“.

В торжественных заявлениях представители польского командования доводили до сведения жителей, что войско польское пришло сюда не для завоевания края, а по приглашению украинского народа для освобождения его от большевиков, и что как только восстановлен будет порядок, войско польское отсюда уйдет. Говорили, что едет в Киев вместе с Петлюрой сам Пилсудский. Но прошла первая неделя и вторая началась, а в Киев не приезжал никто из влиятельных политических деятелей Польши, и никто из украинской директории. Правительство украинское, вернее, остатки его переехали в Винницу. Там должна была сформироваться новая украинская власть, туда предполагалось перенести все центральные учреждения. Киев, повидимому, не внушал к себе доверия. Это сразу же усилило политическую неопределенность положения, придало ему какой-то двусмысленный характер. В Киеве никто не знал, каковы условия договора между Пилсудским и Петлюрой, да и существует-ли подлинно такой договор; никто не знал, что делается за пределами города, и в какой мере верны слухи о жестокой и прямолинейной колонизаторской политике польских военных властей в оккупированных местах Украины.

Украинская интеллигенция в Киеве была сильно потрепана за время непрерывных переворотов. Левые социалистические элементы были увлечены большевизмом и образовали пеструю смесь лево-эс-эровских национал-ком-

мунистических и анархо-националистических групп. Были такие, которые успели побывать и в советских комиссарах, и в „батьках-атаманах“. Правые социалистические элементы /постепенно разбежались во время разных переворотов—одни от большевиков, другие от денкинцев. Многие из тех, кто уцелел, эмигрировали в деревню от голода. Часть разочаровалась и в политике, и в национализме. Остались в Киеве умеренные демократические группы, в большинстве своем культурные деятели и работники, примыкавшие в прошлом к партии украинских социалистов-федералистов („эс-эров“). Социалистическое правительство центральной рады и директории не принимало их в свой состав, считая, что сотрудничество с С. Ефремовым, А. Никовским было бы компрометирующей коалицией с буржуазией. Быть может, это обстоятельство, вынудившее социалистов-федералистов оставаться в лояльной оппозиции, помогло им сохраниться в Киеве вплоть до весны 1920 года. Эта группа была немногочисленна и невлиятельна; но к ней принадлежали лучшие, наиболее культурные элементы украинской интеллигенции.

Судьба центральной рады и директории, пережитый за два года опыт партизанской борьбы против советской власти, ряд поражений революции на Украине—все это привело умеренные группы украинской интеллигенции в настроение отказа от насильственных переворотов, авантюристских предприятий. Многие вернулись к литературной и мирной культурной работе, от которой оторвала их революция. Выросшая за это время украинская кооперация привлекла их к себе на службу. Бывшие лидеры политических групп, дипломаты и министры стали скромными „управделами“, инструкторами, сотрудниками кооперативных изданий. Со своей стороны, и кооператоры украинские как-то остепенелись и охладели к политике. Выразилось это в росте „компромиссных“ настроений и в готовности сотрудничать с советской властью при сохранении относительной независимости украинской кооперации. И как раз незадолго до прихода поляков, у кооператоров украинских и деятелей украинского наркомпрода налаживались недурные отношения. Практики и реалисты, украинские кооператоры с недоверием относились к попыткам вооруженной силой свергнуть советскую власть.}

Наступление и приход в Киев поляков застал врасплох эти умеренные группы. Они не были в курсе украинских эмигрантских дел, не имели прямой связи с Петлюрой, не знали хода и сущности переговоров с поляками. Между тем им надлежало сыграть теперь решающую роль. Левые социалистические группы были отмечены всем предшествующим ходом событий. В противовес правительству Пилсудского новая украинская власть могла быть социалистической по имени, но по существу она должна была проводить умеренно-демократическую программу, быть коалиционной, далекой от всяких „экспериментов“. Только Киев мог дать элементы для образования авторитетной на Украине власти и в Киеве—только правые социалистические и умеренно-демократические группы. Пробыл час „социалистов-федералистов“. Они принуждены были взять власть; кроме них и некому было брать ее.

В первые же дни возродился украинский национальный комитет. Он, существовал с первых же дней революции, то замирая, когда политические партии могли вести открытое существование и стоять у власти, то воскресая, когда в подполье дружески объединялись вчерашние антагонисты, власть и оппозиция. Ядро украинского национального комитета составляли правые украинские социал-демократы с В. Садовским во главе, социалисты-федералисты (Ефремов, Саликовский, Никовский), кооператоры. Органом украинского национального комитета была газета „Громадське Слово“ („Общественное Слово“), выходившая под редакцией А. Ф. Саликовского и В. В. Садовского.

Украинский национальный комитет видел в Петлюре своего национального героя и готов был его поддерживать: хотя идея государственного отделения Украины от России уже не пользовалась прежней популярностью в этих кругах, не бывших „самостийническими“ в 1917 г.,—но к словам о независимости Украины они не могли оставаться равнодушны. Союз с поляками внушал им сомнения. Они понимали, что это союз не столько против большевиков, сколько союз против России, что независимая Украина нужна полякам лишь, как таран против Москвы. Нелегко было преодолеть традиционное недоверие к Польше. Известно было, что в восточной Галиции союз Петлюры с Пилсудским рассматривается, как отказ от национальной программы воссоединения всех украинских земель. В глазах галичан этот союз был прямым предательством. Наконец, не было прочной уверенности в том, что Польша доведет до конца войну с советской властью, что не пойдет она на мир ценой отречения от украинцев.

Среди деятелей украинского национального комитета были сильны эти сомнения. Но успех поляков кружил голову; казалось, что большевики окончательно разбиты, и не только им не оправиться, но и России не встать на свои ноги. Кроме того, национальный долг не позволял оставаться в стороне в такую минуту, когда провозглашена независимая украинская республика. А приезжавшие в Киев уполномоченные Петлюры передавали трогательные подробности сердечного союза, заключенного между Петлюрой и Пилсудским. Газета „Громадське Слово“ в первых номерах не подавала и признаков сомнения в прочности польско-украинской дружбы. Напротив, в тоне всех официозов газета писала об исторической общности интересов Польши и Украины и уверенно заняла антирусскую позицию. Политические деятели без особой охоты дали согласие войти в состав формируемого в Виннице правительства. Начались переговоры между Киевом и Винницей, которые тянулись очень долго и закончились наскануне того, как закончилась и вся недолгая польско-украинская эпопея. Кооператоры остались верны себе и от участия в правительстве отказались.

IV

Поляки в миниатюре воспроизвели немецкий опыт на Украине. Шли они, повидимому, с искренним намерением создать независимую Украину под

фактическим протекторатом Польши и с верой, что такую Украину создать можно. Пилсудский увлекался этой идеей, как до него увлекался подобной идеей генерал Гофман. Оппозиционная Пилсудскому национал-демократическая польская печать относилась к затеянному делу скептически, даже с тревогой. Но блестящий на первых порах успех заставил замолчать и скептиков. Победителей не судят, а Пилсудский был победителем и только что не в'ехал в Киев на белом коне. Старая польская газета „Dziennik Kijowski“ была враждебна идее украинской независимости в эпоху центральной рады и гетманщины. Орган польских помещиков на Украине не верил в государственные силы и способности украинской демократии и видел в торжестве украинства гибель польской культуры на Украине. Но теперь и „Dziennik Kijowski“ переменял фронт, приветствовал украинскую независимую республику и пустился в исторические изыскания с целью доказать что только тогда процветала Украина, когда находилась под покровительством Польши. „Громадське Слово“ поблагодарило за теплые чувства, но добавило не без кислоты, что в историю польско-украинских отношений обоим сторонам лучше не заглядывать.

Во всяком случае первое время усиленно афишировалась польско-украинская дружба. Традиции революции успели выветриться, и дружба находила для своего выражения формы, хотя традиционные по своему, но для украинской демократии не совсем еще привычные. Польские генералы у себя на баншете приветствовали речами украинских демократов. Украинский национальный комитет обедом чествовал польских генералов. Польскому военному командованию дана была, повидному, директива всеми внешними средствами подчеркивать, что хозяева города это украинцы и только украинцы, а поляки — лишь гости — союзники, приглашенные сюда защитники. Немедленно после вступления в Киев был назначен рядом с польским комендантом и украинский комендант, украинский начальник милиции, украинский начальник гарнизона и т. д. — вплоть до украинского начальника станции рядом с польским и украинского военного цензора — тоже рядом с польским. Декорум был соблюден в полной мере. Но граждане, которым приходилось бывать во всяких учреждениях, с первого же шага убеждались, что ходить к украинским властям бесполезно. Они ничего не знают, бессильны и безвластны. Вскоре это до такой степени стало секретом полишинеля, что и в „Громадськом Слове“, сохранявшем тщательно вид полного благополучия, стали прорываться нотки недовольства. Украинским деятелям поминутно приходилось отстаивать свои хозяйские права, которые нарушались поляками, как нарушались бы и всякой оккупационной властью.

Но в самом Киеве внешность украинской самостоятельности все же соблюдалась. Польская военная власть держала себя корректно, — особенно на первых порах. Зато приходили тревожные и неприятные вести из деревень. Здесь польские войска держали себя, надо думать, не хуже, чем все другие войска, перебывавшие на Украине, но и немногим лучше. Украинской власти тут не было и для декорума, а корректность считается манерой, подходящей только для большого города. В деревнях войска не стесняются. За реквизиции

либо не платили ничего, либо платили польской маркой, которой крестьяне не хотели брать. Стали доходить слухи и о расправах и репрессиях. Правобережная Украина полна польских помещичьих имений. В киевской губернии расположены латифундии польских сахарных королей и магнатов. В 1918 и 1919 гг. сотни экономий были сожжены и разграблены, все имущества перешли к крестьянам, разделившим между собой инвентарь, тысячи поляков экономов, лесничих, официалистов бежали, бросив свое имущество. Теперь крестьяне боялись и не без основания, что вернутся прежние владельцы, и как это уже было при немцах, начнется расплата за аграрное движение. Правда, официально помещикам было воспрещено возвращаться в свои имения, но на Волыни они шли по следам польской армии и возвращались в свои усадьбы, — там, где они уцелели. Крестьяне с недоверием, с враждой встречали польскую армию. Командование ее со своей стороны смотрело на украинских крестьян, как на погромщиков, гайдамак, уничтоживших ряд старинных шляхетских родовых гнезд на Украине, разгромивших тут очаги старой польской культуры. С польской армией и в рядах ее пришли поляки-уроженцы Украины; среди них, наверно, не мало было таких, которые лично пострадали от революции или насчитывали пострадавших среди своих родных. Если присоединить к этому, что польское командование всюду видело большевиков, не проводя тонких различий между подлинными коммунистами и украинскими социалистами всяких толков, и враждебно относилось к бесчисленным местным батым-атаманам, — то станет понятной та атмосфера взаимного недоверия, вражды, которая образовалась на Украине вскоре после прихода поляков и которую нелегко было рассеять даже искренними усилиями руководящих кругов обеих сторон.

Нотки недовольства стали прорываться в сдержанных, высоко официальных статьях „Громадського Слова“. Вопреки торжественным заявлениям, польская военная власть стала вести себя, как в завоеванной стране. Но со своей стороны недовольство стали проявлять и поляки, и надо думать, недовольство обоснованное. Украинская газета должна была занять позицию обороны.

Поляков постигло то же разочарование, что и немцев. Они шли, думая, что стоит сбросить большевиков, кучку пришельцев, и Украина станет на свои ноги, создаст свою армию, правительство, администрацию, и польские войска будут подлинно гостями — защитниками, призванными лишь закрепить вооруженным своим присутствием польско-украинскую дружбу. Поход на Днепр казался военной прогулкой; таким он и был первое время. Легкий успех создал ту иллюзию, за которую полякам пришлось тяжело расплатиться. Украинские эмигранты уверали, что стоит сбросить большевиков на правом берегу Днепра, и левобережье само подымется, встанет, как один человек, и ликвидацию советской власти украинское правительство легко довершит собственными силами.

Действительность складывалась иначе. Вопреки ожиданиям, восстание на правом берегу Днепра, в Полтавщине, не вспыхнуло. Первые дни ходили слухи, будто Полтава занята повстанцами, будто загорелся тыл у советских

войск в черниговской губ., будто даже в Борисполе, ближайшей к Киеву станции, занятой красной армией, идут бои между большевиками и петлюровцами. Слухи были правдоподобны, однако не оправдались. Вопреки всяким предположениям и планам, отдаленный гул орудий за Днестром показывал, что советские войска тут за Броварами и у Борисполя, и до сих пор не ушли. Польская армия, которая могла думать, что ее роль ограничится оккупацией правобережья, а дальше будут идти и действовать украинские партизаны, вынуждена была либо идти вглубь России, в черниговскую и полтавскую губ., либо ограничиться обстрелом и дать возможность противнику оправиться, собрать силы и перейти в наступление.

Но и тут, на правобережье, дела складывались не так, как ожидали поляки. Они шли, как приглашенные на Украину освободители; им обещано было, что их встретят с восторгом, окажут им помощь, и будут они в дружеской благоприятной среде. Как бы ни был велик скептицизм поляков, они не могли думать, что действительность так жестоко обманет их. Они оказались среди врагов. Много „боротьбистов“, с уходом советской власти из Киева, рассеялись по деревням с прямой целью поднимать восстания против поляков. Агитация против панов, идущих отбирать землю, имела некоторый успех. К украинским партизанам поляки относились, как к разбойникам; вследствие этого они боялись образования рядом с собой или в своем тылу украинской армии. Отряду полковника Омеляновича—Павленко, незначительному численно, но составлявшему главную силу петлюровской армии, был отведен свой особый фронт. В районе действий польской армии формирование украинских частей либо совсем не допускалось, либо тормозилось, и это приводило украинцев в величайшее раздражение. Несколько батек-атаманов, оперировавших при том же под Киевом, переменяли „ориентацию“ и выступили против поляков. В результате всего этого полякам пришлось быть на стороже не только против большевиков, но и против своих же союзников. Передавали в Киеве, что в деревнях началась форменная охота за выхолощенными польскими конями. Ту дивизию, которая произвела в Киеве столь глубокое впечатление непобедимой мощи, пришлось растянуть по огромному фронту, распылить на множество гарнизонов, охранных отрядов, патрулей. Польское командование было живейшим образом заинтересовано в том, чтобы образовалась сильная местная власть и прекращена была анархия. И можно допустить, что с полной искренностью представители польской власти в Киеве заявляли, что они содействуют организации украинского правительства, что они далеки от мысли взять на себя управление страной.

Но правительство украинское не налаживалось, а фактическое управление все больше переходило в руки польского командования.

V.

Директория, то-есть Симон Петлюра и кружок украинских политических деятелей сидели в Виллине. В Киев они не переезжали, не то из страте-

гических соображений, не то памятуя уроки времени прихода немцев на Украину и разгона центральной рады. В Киеве правительство находилось бы в непосредственной зависимости от польского генерала, в Виннице была видимость независимости, охрана собственных войск. Сообщение было плохо вылажено и это еще больше тормозило затянувшиеся почти на месяц переговоры об организации власти. Велись эти переговоры за булками, в печать и за пределы украинских кругов сведения о них не проникали, и было известно только, что идет жестокая внутренняя борьба. Столкнулись два мировоззрения, два кружка. Бывшее правительство, сохранявшее „власть“ в период эмиграции, сохранило и психологию, вынесенную из времени центральной рады,—словесный радикализм, партийную приверженность или ограниченность. Украинская интеллигенция (как и русская) много растеряла в своем бегстве за границу; но отлично сохранились центральные комитеты. Правительство Мазепы считалось социалистическим; во главе его стояли социал-демократы. В Каменец-Подольске, где некоторое время отсиживалось украинское правительство, существовал предпарламент, где опять-таки, как в центральной раде, большинство принадлежало социалистам. Теперь надо было сформировать новый кабинет, с участием киевлян, и при том умеренных. А киевляне, пережившие во время смены режимов богатый опыт, с нетерпимостью относились к старомодному радикализму слов и к старомодным учреждениям вроде предпарламента. В одной из первых своих статей „Громадське Слово“ с насмешкой отозвалось об игре в парламенты и высказалось за диктатуру. Столкновение кружков осложнилось и личными столкновениями. Киевские деятели без особой охоты шли в состав правительства. Бывшие министры, напротив, весьма неохотно расставались со своими портфелями. Повидимому, немалую роль в затягивании переговоров играли и условия союза с поляками. В точности эти условия не были известны. Впоследствии их опубликовала советская печать, и в их число входили будто бы уступка Польше значительной территории на Волыни и аграрная реформа под руководством министра-поляка с охраной интересов польских землевладельцев. Говорили, что таким министром назначается Стемпковский. Украинская печать эти слухи опровергала, а поляк Стемпковский, хотя и вошел в состав правительства, но в качестве министра народного здравия.

Как бы то ни было, под конец удалось с большими трудностями и с большим запозданием сколотить кабинет. В состав его вошли: председатель рады (совета) министров—В. Прокопович, заместитель председателя и министр юстиции—Андрей Левицкий, министр иностранных дел—Андрей Никовский, внутренних дел—Александр Саликовский, военный—генер. штаба полковник Сальский, земельных дел—Исаак Мазепа, финансов—Аполинарий Маршинский, народного хозяйства—Евгений Архипенко, путей сообщения—Сергей Тимошенко, исповеданий—Иван Огиенко, народного просвещения—Петр Холодный, почт и телеграфов—Иларион Косенко, здоровья и обеспечения—Станислав Стемпковский, труда—Осип Безпалко, по еврейским делам—Пинхос Красный, государственный секретарь—Виктор Онихимовский.

Правительство успело опубликовать декларацию—обычную демократическую декларацию, достаточно бесцветную, с указанием на тождество интересов Польши и Украины в борьбе с московским империализмом, с признанием национального равноправия всех народов, живущих на Украине, с указанием на то, что земля, впредь до решения аграрного вопроса в парламенте, остается в руках крестьян. В печати эта декларация появилась тогда, когда уже громче стал гуд орудий за Днестром, и когда уже нельзя было скрывать истину о наступлении Буденного.

Но еще печальнее, чем с организацией центрального правительства, стояло дело с организацией местной власти. Для этого решительно не было сил и людей. Малочисленность украинской интеллигенции дала себя знать еще во время центральной рады и потом при гетмане. Пришлось звать на службу русских чиновников—специалистов, „фаховцев“, как их называют на Украине. И стало это слово „фаховец“ столь же ругательным, как в советской России—„спец“. И в тех же смертных грехах обвиняли „фаховцев“: они—чужие, внутренние враги, предатели народного дела, карьеристы. Но ничего нельзя было поделать; украинские интеллигенты тонули бесследно в массе не украинской интеллигенции. Это было в 1918 году. Но с тех пор положение еще более ухудшилось. Украинская интеллигенция была частью истреблена, частью разогнана, частью разбежалась. Разбежались и фаховцы: кроме того, как русские, они не ко двору были при антирусской политике. Их не приглашали, да они и не шли.

Украинская власть сразу почувствовала пустоту вокруг себя. И вскоре „Громадське Слово“ горько жаловалось на политику национальных меньшинств, проявляющих такую неуместную сдержанность. Упрек был направлен между прочим, и по адресу евреев, которых с самого начала никто и не приглашал к участию в правительстве и к занятию ответственных постов.

Погромы на Украине, по жестокости и размерам превзошедшие резню евреев в 17 и 18 вв., были еще слишком живы в памяти. Они, в сущности, еще не отошли в прошлое, потому что и на этот раз, с уходом советской власти, повстанцами было разгромлено несколько местечек. Погромная полоса связывалась с именем Петлюры, который был бессилен в желании овладеть своими атаманами и удержать их от зверств, убийств и грабежа. Теперь украинское правительство призывало к национальному миру; но антисемитизм прорывался даже в прогрессивном „Громадском Слове“. Испуганные погромами, доведенные до отчаяния, евреи были—вопреки социальной природе городского торгового мещанства—отброшены к большевикам. Еврейская молодежь в красной армии находила спасителей от поголовного истребления. В Киеве еврейская интеллигенция особенно многочисленна; сюда, спасаясь от погромов, хлынуло население всех окрестных городов и местечек. Еврейская молодежь в поисках заработка заполнила советские канцелярии, и в советской печати был поднят вопрос о „местечковом мещанстве“, которое избытком своим грозит извратить пролетарский характер диктатуры на Украине.

Украинская печать продолжала разрабатывать эту благодарную тему о „местечковом мешанстве“. Прозрачный псевдоним прикрывал осторожную анти-семитскую игру. Конечно, теперь этому „местечковому мешанству“ вход в канцелярии был наглухо закрыт, но заполнить пустые помещения нечем было. Квалифицированная еврейская интеллигенция держалась в стороне, не доверяя прочности польско-украинской власти и не сочувствуя антирусской политике.

Между тем время не ждало. Польская печать сначала осторожно, а потом настойчиво стала говорить, что надо разгрузить польскую армию от функций гражданского управления, надо создать органы местной власти. Повидимому, требования еще более настойчивые, пред'являлись и польским командованием, и ответом на это явилась статья в „Громадськом Слове“, говорившая в весьма раздраженном тоне о тех „нетерпеливых“, которые требуют „чудес“ от молодой украинской власти, требуют, чтобы в 24 часа был изготовлен государственный аппарат и т. п. И в ряде статей газета разрабатывала тему об отсутствии интеллигенции, о тяжком наследии, оставленном разрухой, о настроенных депрессии и пессимизма, овладевших широкими кругами, ведущих к маразму и разлагающих всякую общественную работу.

Положение было, действительно, тяжкое. Не было людей, не было и денег. В отличие от других правительств украинское не имело даже печатного станка. Был некоторый запас карбованцев еще со времени центральной рады и гетманщины, и еще была надежда на поляков. Для реализации всяких финансовых планов необходимо было время, но были неотложные нужды. Больницы, школы, детские приюты остались без средств, с советскими бумажками на руках. Надо было организовать милицию, платить чиновникам, — денег не было. Чтобы облегчить жестокий денежный кризис, кооперативные союзы задумали выпуск кооперативных денег, в виде чеков крупной и мелкой купюры. Этот проект обогатил бы коллекцию кредитных знаков за время революции новой разновидностью, но ему не суждено было осуществиться.

К концу месяца пребывания в Киеве польское командование пришло, повидимому, к заключению, что рассчитывать на самостоятельность украинской власти не приходится, и надо действовать собственными силами. За кулисами делаются попытки нащупать соглашение с другими группами. Если бы оккупация затянулась надолго, польская власть могла бы повторить опыт немецкой власти. Кто знает, не встал-ли бы снова вопрос о „гетмане“, — более удобной форме прикрытия оккупации, чем демократическое правительство с парламентом.

Конечно, до самого конца официально выдержан был весь декорум украинской независимости. Полюки сумели придать ему надлежащую театральную внешность. Пилсудский обращался с Петлюрой, как с украинским монархом. Еще недавно его, как беглеца, презрительно третировали в Варшаве и держали под фактическим арестом. Теперь старательно подбирали весь дешевый режизит почета, льстящий национальному самолюбию. „Громадське Слово“ с умилением описывало встречи Пилсудского с Петлюрой, в деталях копиравшие официальные встречи коронованных особ. Чтобы показаться народу.

Петлюра приехал и в Киев. Украинцы встречали его с энтузиазмом, пели национальные хоры, на Софиевской площади благословило духовенство, в Софиевском соборе было отслужено молебствие. Церемонная встреча напоминала встречу монархов в старое время. От былой демократической простоты ничего не осталось. Речи Петлюры были вадуты, напыщены и бессодержательны. Повидимому, он и сам не замечал искусственности своей роли. Его окружал свой „двор“, — многочисленный, но раз'единенный интригами, соединившими в себе эмигрантское величие с провинциальностью захолустных углов.

VI.

Киев жил между тем своею жизнью, достаточно неприглядной жизнью. Исчез, правда, прежний надзор, тяготевший над каждым шагом обывателя, регламентировавший все его действия и помышления. Ожили снова базары, открылись лавки, в окнах магазинов появились соблазнительные булки и пирожные. Буржуазия первое время отдыхала душой и телом. Огромное большинство народа, особенно интеллигенция, стали очень скоро испытывать подлинный голод. Из всех бумажек рынок признавал только „царские“, их было мало, и запас их скоро истощился. В учреждениях служащим не платили жалованья, промышленные предприятия стояли.

Была надежда, что откроется дверь в Европу, наладится связь с внешним рынком, придет капитал, и оживится промышленность. Надежда эта поблекла еще до того, как выяснилась неудача польской оккупации. Польская власть проявляла крайне слабый интерес к экономической судьбе города и края. Железнодорожная связь с Варшавой была восстановлена, и через неделю после прихода поляков начал циркулировать скорый поезд прямого сообщения между Киевом и Варшавой. Однако, оживления это не внесло. Скорее, напротив, железная дорога явилась руслом, по которому началась утечка остатков буржуазии, застрявших в Киеве. В долговечность польской оккупации не верили, поэтому кто мог, старался бежать. Но и те, кто оставался, не решались начинать крупных дел. Банки не открывались. Приезжавших в Киев новых людей поражала забитость, нерешительность, робость киевлян. Они не верили, что нынешняя смена властей является последней. В атмосфере неуверенности в завтрашнем дне невозможна была нормальная экономическая жизнь. А со стороны поляков незаметно было желание помочь восстановлению ее. В Киеве было немало поляков — владельцев промышленных предприятий; распространились слухи, что польские власти собираются вывозить в Польшу машины и оборудование с заводов. Эвакуация всякого имущества, действительно, происходила непрерывно. Рабочие были взбудоражены этими слухами и волновались. Приостановились и те немногие предприятия, которые работали при большевиках. Они выполняли, главным образом, заказы для красной армии. Полякам эти предприятия были ненужны. Безработица принимала хронический характер, и в рабочей среде в связи с денежным кризисом, полным отсутствием валюты нарастало озлобление.

Недовольство поляками питалось еще и из другого источника. На железных дорогах началось принявшее широкие размеры увольнение русских служащих и замена их поляками. Не доверяя местному населению, поляки привозили с собою целиком административный и технический железнодорожный персонал. Эта была система, уже проведенная в жизнь в оккупированных местах на Волыни. В Киев потянулись оттуда чиновники и рабочие со своими семьями. Стало известно о той насильственной полонизации, которая проводится мерами военного времени. Всюду в оккупированных местах русские учреждения, административные и учебные, были закрыты, служащие уволены и многие прогнаны с насиженных мест. Вообще русская часть населения почувствовала с обидной остротой враждебное и пренебрежительное к ней отношение со стороны польско-украинской власти. Русский язык был признан только терпимым наряду с другими языками национальных меньшинств. Приказы властей печатались на украинском и польском языках. Русское население будировало втихомолку. В сочувственном тоне говорили о национальном под'еме в советской России, о патристическом обращении генерала Брусилова к офицерам. Ходили слухи о том, что Брусилов и другие генералы вошли в состав правительства. Советская печать не проникала в Киев, но выходил подпольный „Коммунист“, в котором умело использована была антирусская, оскорбительная для значительной части киевлян политика.

Недовольство охватывало и значительную часть еврейского населения. Польские солдаты только первое время держали себя корректно. Потому-ли, что ослабела дисциплина, или же сменились стоявшие в Киеве части,—участились оскорбления евреев на улицах. Старым евреям солдаты с грубыми шутками и бранью наносили побои и отрезывали тесаками бороды. Это не угрожало жизни, не сопровождалось грабежом (были, впрочем, и случаи грабежа), но носило характер утонченного и жестокого издевательства, тем более оскорбительного, что происходило под прикрытием деклараций о культурной миссии, ради которой и пришли сюда поляки. Когда случаи нападения на евреев и отрезывания бород стали повторяться, евреи снова попрятались по углам; по вечерам город пустел. На базарах солдаты своевольничали, в конфликтах власть брала их сторону, и жертвами оказывались евреи. Что всего однако хуже, оказались совершенно закрытыми для евреев железные дороги. Проехать в Польшу еврею, даже богатому, было невозможно. Некоторым евреям удалось добиться, пользуясь связями, разрешения. На соседней с Киевом станции их высадили из вагона. Они отделились, впрочем, благополучно и лично не пострадали. Но много было случаев, когда евреев-коммерсантов, рискнувших выехать из Киева за товаром, избивали в вагонах, иногда на смерть, и выбрасывали на ходу поезда.

О восстановлении экономической жизни, торговой и промышленной, при таких условиях, нечего было и говорить. Богатейший торговый центр Украины продолжал опускаться и нищать при поляках, как нищел и разорался и до них. Хорошо себя чувствовала только спекуляция, приспособлявшаяся великолепно ко всем и ко всяким режимам. Облавы на спекулянтов устраивала

царская полиция, потом советская милиция, теперь — польско-украинская стража. Вследствие прибыльности своей эта область превратилась в регулярную охоту за евреями, проходящими по Крещатику. Спекуляция не прекратилась, но и деловые евреи старались поменьше выходить из дому.

Жизнь становилась нестерпимой. Бестолковость ее чувствовали все слои населения. Отрезанный от всего мира, предоставленный самому себе, без промышленности и торговли, без денег и без подлинной власти, Киев обречен был на унылое, голодное прозябание. Ни при одном режиме, из числа всех сменившихся в Киеве, не голодала так интеллигенция, как голодала при поляках.

Уже в середине июня в официальных сводках польского штаба появилось имя Буденного. О нем сообщали с пренебрежением, отряды его были разбиты, уничтожены. Тем не менее они снова появились в ближайших сводках, а базарные слухи нашли его уже в Белой Церкви, недалеко от Киева. С тех пор имя Буденного уже не сходило со страниц газет, и однажды он даже покончил с собой в отчаянии самоубийством. Официальные сводки носили столь успокоительный характер, и так импозантно было впечатление от парада польских войск, что обыватели, действительно, не придавали большого значения рейду Буденного и скептически относились к пророчествам о близком уходе поляков. Коммунисты, оставшиеся в Киеве, уверенно говорили о том, что начинается большое наступление советских войск и что уход большевиков из Киева был только удачно задуманным маневром.

Жизнь шла своим чередом. Правительство заканчивало переговоры и собиралось в Виннице приступить к делу. Люди с деньгами и спекулянты спешили насладиться обилием продуктов на базарах и их сравнительной дешевизной. Интеллигенция молча и уныло голодала... И вдруг, словно гром среди ясного неба, поразил слух: большевики в Бердичеве, глубоко в тылу у польской армии. И не успели оправиться от впечатления, произведенного этим слухом, как второе известие: буденовцы в Житомире. Ночью Киев прислушивался к отдаленному немолчному грохоту: это шли обозы. Утром город был уже охвачен паникой. Предстояли снова бои под городом, а, может быть, и в городе. Польская и украинская газеты пытались отрицать серьезность положения. Командующим польской армией был генерал германской службы Смигли-Ридзы. С его слов было официально заявлено, что Киеву никакой опасности не угрожает, прорвавшиеся буденовские части уже окружены и ликвидируются. От себя газеты прибавляли, что Смигли-Ридзы еще ни разу в своей жизни не отступал. Это должно было свидетельствовать об отличных боевых качествах польского генерала, но подействовало в обратном смысле. „Тем хуже, если не умеет отступать“, — думали киевляне.

Седьмого июля паника как будто улеглась, и казалось, что поляки, действительно, справились с прорывом. Дело их однако было уже проиграно. ореол непобедимости пропал, авторитет был надорван. Ясно было, что им надо уходить. Повидимому, и у них разочарование в Украине и украинцах было так велико, что пребывание в Киеве теряло смысл и привлекательность. В беседах отдельные поляки заявляли, что Киева отстаивать они не будут.

На следующий день и печать уж не могла скрывать истину. Трижды побитый и покончивший самоубийством Буденный не только захватил Бердичев, но и отрезал все пути к отступлению. Разбросанная на большом расстоянии польская дивизия подверглась серьезной опасности. Ей грозило уничтожение по частям среди враждебного населения, готового начать охоту за польскими конями при первом же признаке слабости неприятеля.

Начались тревожные дни отступления, напоминавшего бегство. В панике бежали поляки-жители Киева, боявшиеся мести со стороны советской власти, бежали приезжие из Варшавы. Железная дорога действовала плохо и где-то у Коростеня была перерезана. Уезжали на автомобилях, городских извозчиках, телегах.

Польское командование, повидимому, овладело собой и только в первую минуту проявило растерянность. Ему удалось собрать почти все воинские части и вывести их. Но нечего было и думать о том, чтобы вывести все склады, тяжелые орудия, огромные запасы. Не желая, чтобы они попали в руки большевиков, польское командование распорядилось сжечь все склады. И среди бела дня запылали в центре города огромный бывший генерал-губернаторский дворец и прекрасное здание четвертой гимназии. Затем подожжены были занимающие громадную площадь пакгаузы на товарной станции и большой сухарный завод. Со всех сторон подымались к небу огромные столбы пламени и дыма. Казалось, что подожжен весь город, и ходили слухи о том, что будут взорваны водопровод, электрическая станция, арсенал.

Грохотали орудия, поставленные на высотах в Царском саду, на Печерске, в Зверинце. Рвались над городом снаряды советской артиллерии, придвинувшейся к городу. И покрывая все эти звуки, наводя ужас на жителей, гремели взрывы на днепровских мостах. Несмотря на опасность, под обстрелом, тысячи киевлян стояли на Владимирской горке и многие со слезами смотрели на гибель Цепного и железнодорожного моста. Горели желтым в дневном свете, спокойным огнем все четыре моста. И было видно издали, как рухнул в воду настил и повисли на быках цепи красавца-Цепного моста, гордости и украшения Киева.

Двенадцать раз менялась власть в Киеве, и несколько раз был он под жестоким артиллерийским обстрелом. Нет в нем улицы, которая не носила бы следов революционной и военной бури. Но ни разу не было в Киеве разрушения, которое проводилось бы с таким холодным и жестоким равнодушием. Ни одна из проходивших через Киев армий не посягала на мосты. И при виде разрушаемых мостов, восстановить которые уже не удастся, при виде разрастающихся пожаров рождалось в киевлянах не только чувство злобы и мести, но и чувство оскорбленного патриотизма, пражды к чужаку-завоевателю. Если бы и победили поляки, вернуться в Киев им уже нельзя было. И они знали это; и поэтому так безжалостно жгли дома и склады. И если бы у них было время, они сожгли бы все, что могли. Но они спешили уходить. Два дня Киев был окутан дымом, и еще на третий день слышались взрывы. Уходя, поляки взрывали за собой все стрелки на железных дорогах, водкачки, мосты.

Отступление происходило, повидимому, в порядке, и если у красной армии был план окружить и уничтожить польскую армию, то он не удался. Поспешно, но в регулярном строю, потерявшие щегольской свой вид, но сохранившие воинскую выправку и дисциплину, проходили через Киев польские части.

Иной вид имел оставшийся в Киеве отряд, прикрывавший отступление, охранявший город. На складах, подожженных поляками, было колоссальное имущество—мука, консервы, белье и платье, керосин. Небольшую часть командование распределило между польскими гражданами, остающимися в Киеве. Они тащили, сколько могли захватить. Остальное было назначено к уничтожению. И десятки тысяч народа, вскоре—весь Киев, бедные и богатые, были на станции, у пакгаузов, и в городе у горящих складов и старались вытащить из огня, что можно было. Польские солдаты выстрелами отгоняли толпу, но она лезла и лезла, и некоторые падали, многие были ранены, и это никого не останавливало. Город принял страшный и отвратительный вид сплошного и безумного мародерства. Польские солдаты приняли в нем участие. За плату они допускали к пожару и сами грабили. По всем улицам танулись люди с мешками, ящиками и ведрами; пудами тащили какао, шоколад, сотнями банок-консервы. Все это тут же на улице перепродавалось. Раздувшиеся, как клопы, с набитыми сумками, из которых торчали продукты, безобразно толстые от надетых на себя трех-четырех костюмов, бродили потерявшие воинский вид польские солдаты, и их ловили высланные для борьбы с мародерами польские военные патрули.

Багровое от пожаров небо, треск лопающихся на огне ружейных патронов, стрельба и вой толпы и немолчная канонада за Днепром—все это создавало кошмарную картину. Надвигались угрозы погрома. Люди, обезумевшие от жадности, готовы были передаться из-за последней полусожженной тряпички, из-за разлитого в лужах керосина. Польских солдат уже не боялись. На товарной станции в них стреляли с холмов, из-за заборов.

Тревожно прошла ночь на 11-ое июля. Но утро и день прошли спокойно. Курились и догорали пожары, и глухо звучали вдали взрывы. Поляков не было видно в городе, но на окраинах еще были их патрули. Артиллерийская стрельба умолкла. Подавленное неопределенностью, боясь вступающих советских войск, население сидело по домам, не решаясь продолжать грабеж складов. Вчерашнее погромное настроение прошло. Было тихо и спокойно, и пусто на улицах. Говорили, будто уже образовался военно-революционный большевистский комитет, и было его вооруженное выступление в городе и перестрелка с поляками на Печерске.

Утром двенадцатого появились в городе первые красноармейцы. Их встречали со сдержанным дружелюбием. Днем стали входить пешие и конные части. Не было киевлянина, который, глядя на оборванных, босых и в лаптях, с ружьями на веревках, красноармейцев, не вспоминал с иронией и злорадством об эффектном театральном параде польской армии. „Санкюлоты“!—это слово не раз произносилось в этот день с чувством уважения к победителю.

Д. Заславский.

Из мемуаров Гельфериха.

Лежащие предо мною большие три тома воспоминаний бывшего министра финансов (а затем и министра внутренних дел) германской империи, озаглавленные „Der Weltkrieg“, дают меньше, чем обещают их размеры и имя автора.

Фигура Гельфериха—очень видная среди тех карликов (с самим Вильгельмом II включительно), которые руководили судьбами Германии в последние годы пред ее разгромом. Это не значит, конечно, что Гельферих мог бы безотносительно назваться выдающимся государственным человеком. Бойкий парламентский и застольный оратор, толковый финансист, умный и пронырливый карьерист, искушенный в бюрократических и парламентских интригах, деятельный чиновник,—этот средней руки честолюбец сделал блестящую карьеру, но и безнадежно связал свое имя с национальным крушением. Теперь он—конченый человек, хотя отнюдь не желает с этим примириться. Сделавшись одним из лидеров крайней правой (так называемой немецко-национальной) партии, Карл Гельферих не раз пробовал выступать в рейхстаге, но очень редко его выступления проходят без бурных скандалов. Самое его имя настолько ненавистно в широких слоях народа, что не только социалисты всех толков, но даже умеренные бюргерские партии стремятся при каждом случае отмежеваться от Гельфериха и всего, что он говорит и делает, даже независимо от содержания его речей и характера его нынешних дел.

Казалось бы, если человек, находящийся в таком положении, издаст три толстых тома воспоминаний о войне, погубившей его доброе имя и похоронившей его политическую карьеру, то можно ждать от него хотя бы той степени откровенности, которую обнаружил в своих мемуарах адмирал фон-Тирпиц. Но в том-то и дело, что Тирпиц крупнее Гельфериха: он понял окончательно, что теперь уже лукавить и умалчивать—незачем, так как все равно—он заживо погребен и уже среди живых ему места нет и не будет. А Гельферих все оглядывается, все понижает голос, все умалчивает и не договаривает... Чтобы быть откровенным, ему нужно было бы перестать считаться не только со вчерашними, но и с сегодняшними своими друзьями, не только с Вильгельмом II, но и, напр., с нынешним своим единомышленником Гергтом, который в 1917 г. с таким юмором успокаивал германский народ

бессмертным афоризмом: „ни перелететь по воздуху, ни переплыть по морю американская армия не сможет“. Лукавство, политиканство, неискренность не только относительно себя (какой же истории ждет этого от мемуариста?), но и относительно других—вот характерные черты всех трех томов Гельфериха. Вместе с тем, у него хватило безвкусицы заполнить свою книгу ненужными перепечатками давным-давно известных документов, цифровыми таблицами и т. п. Первый том особенно, в этом отношении, неинтересен. В тысячу первый раз повторяется версия о том, как Германии и Австро-Венгрии, которые нисколько не желали войны, была „навязана“ война, как русская мобилизация поборола неистощимое миролюбие Вильгельма—и другие рассказы для доверчивого возраста. Но и в двух последних томах, заключающих больше тысячи страниц и посвященных времени от начала военных действий до разгрома Германии, Гельферих счел нужным привести очень много давно известного, а потому и совершенно ненужного материала. Мы тут находим и страницы, написанные американским послом Джерардом, и речи лорда Грея, и заявления Бетмана-Гольвега, и,—как это ни нелепо,—обстоятельное изложение ответных октябрьских (1918 г.) нот Вильсона, которые успели уже попасть даже в учебники. Если бы собрать только новое и сколько-нибудь значительное, что дал Гельферих, то вместо трех увесистых томов получилась бы тоненькая книжечка.

Постарался ознакомить читателя с некоторыми фактами из числа тех немногих, из-за которых вообще стоит преодолеть неблагодарный труд чтения этих мемуаров.

Гельферих принадлежал к тем германским политикам, которые, сохраняя неизменно фанфаронский тон в публичных своих выступлениях, вместе с тем с самого начала борьбы были в смутной, а иногда и вполне явственной и острой тревоге. Он боялся операций у Вердена, боялся балканского фронта, понимал уже в 1916 году злое значение Салоник, долго (вплоть до русской революции) боялся России. Интересный разговор был у него с Гинденбургом 3 июля 1916 года, после наступления Брусилова. Гинденбург определенно заявлял, что кроме тонкой завесы у него против русских ничего нет: „чтобы заштопать прореху у австрийцев, я все отдал, без чего мог только обойтись, и даже больше того. Мне ничего другого не оставалось. Но того, что я отдал, я уже не вижу. Если теперь русские нападут здесь на нас, я не знаю, что будет“. Это были очень тяжелые минуты для Германии, а в Австрии царил настрой, близкий к отчаянию. „Если бы Румыния начала нападение несколькими неделями раньше, в то время когда австро-венгерский фронт был прорван, то, конечно, ничто не могло бы предотвратить катастрофу“. Даже победа над Румынией нисколько не изменила общих грозных перспектив, намстившихся для Германии к концу 1916 и началу 1917 года.

Что касается канцлера Бетмана-Гольвега, то впечатление Гельфериха было таково: канцлер с самого начала войны стремился как можно скорее ее прекратить, и никакие стратегические успехи Германии не могли погасить в нем стремления к скорейшему миру. Нелепая уверенность, что Англия

останется нейтральной, побудившая Вильгельма начать войну,—сбила канцлера с толку в июльские и августовские дни 1914 года,—но, едва только сознавши свою ошибку, Бетман-Гольвег сообразил, насколько она губительна. Вероятно, он уже с вечера 4 августа 1914 года начал жадать конца войны. Гельферих, конечно, воздерживается от столь низменного объяснения миролюбия германского канцлера. „Целью войны для него было сохранение нашей территории и нашего хозяйственного имущества“,—заявляет Гельферих о канцлере. Трагизм положения Бетмана и ему подобных политиков, видевших страшную опасность впереди, заключался в том, во первых, что они решительно не смели заявить своему народу, что их единственной, да и то с трудом достижимой целью неслыханной войны, является... сохранение status quo ante,—а, во вторых, блестящие военные победы Германией, действительно, затруднили начало переговоров. Признаться, что была совершена с первого же дня ошибка, что „сорвалось“ все предприятие на английском выступлении,—на это не хватило духу. И война шла своим чередом, к неизбежной развязке.

Очень драматичен рассказ Гельфериха о той борьбе, которая велась в декабре 1916 и январе 1917 г.г. по вопросу о беспощадной подводной войне. Военные власти, Гинденбург и Людендорф настаивали, что это—единственное средство „в шесть месяцев поставить Англию на колени“. Гельферих противился этой мере, якобы грозил даже своею отставкою (как и Бетман), но, как и Бетман, благополучно остался в занимаемой должности (министра внутренних дел), когда беспощадная подводная война была решена. Любопытно, что Гинденбург и Людендорф на решающем совещании, в ответ на слова о возможном выступлении Америки, ответили, что они „не придадут особого значения выступлению Америки“. Вильсон порвал дипломатические отношения и вскоре объявил войну Германии, положение которой стало критическим. Но тут пришли неожиданные вести из Петрограда.

„В то время, как заморские страны все более и более вовлекались в войну с нами,—взрыв русской революции в марте 1917 г. открыл виды на прорыв во вражеской коалиции. Ожили воспоминания о семилетней войне, когда в час величайшей опасности великий король получил весть, что его непримиримый враг, императрица Елизавета умерла и что новый царь решил прекратить войну с Пруссией“.

Ожидание сепаратного мира с Россией характеризовало германскую политику уже со второй половины 1915 года. Еще осенью 1916 года, однако, по утверждению Гельфериха, „император пришел к убеждению, что сепаратного мира нельзя будет добиться и от Штюрмера, который в июле сменил Сазонова в качестве министра иностранных дел. Все указания, разнообразнейшими путями делавшиеся царю и русскому правительству, что мы согласны на приемлемый (для России) мир, также указание, что можно достигнуть с нашими союзниками-турками урегулирования вопроса о проливах, считающегося с русскими интересами,—все это не имело никаких результатов. В частности, одно зондирование, сделанное весной 1916 года чрез посредство некоего немецкого крупного промышленника и японского посла в Стокгольме,

было, вопреки состоявшемуся условию, сообщено русским правительством тотчас же правительствам Антанты“.

Во всяком случае, теперь, весной 1917 года, открылись, с точки зрения германских властей, новые перспективы. В апреле в Германию прибыл австрийский император Карл, который заявил, что Австрия страшно утомлена войною, и заметил, что „лучше всего было бы предложить французам Эльзас — Лотарингию, чтобы этим путем добиться мира“. Но германское правительство уже успело сильно приободриться: „так как русская революция давала нам виды на освобождение от нашего великого восточного неприятеля, то общее военное положение у нас вовсе не признавалось таким, чтобы можно было хотя бы только рассуждать о пожертвовании имперскими землями“.

Историю знаменитой записки графа Чернина о необходимости заключить мир безотлагательно, историю мирной резолюции рейхстага, отставки Бетмана-Гольвега, провала папского мирного посредничества (в сентябре 1917 года) Гельферих излагает шаблонно, не приводя ни единого нового факта, не освещая событий ни одною сколько-нибудь свежою, самостоятельную мыслью.

Но вот, наступил, наконец, и ноябрь (в. с.), — и долго-жданное немцами перемирие на восточном фронте вдохнуло в Гельфериха новую надежду. Он с большою хвалою говорит о „хорошем духе“ германского народа, дававшем тогда именно все надежды на окончательную победу над врагами. Вся циничнейшая игра со словами „национальное самоопределение“, все, до наивности неприкрытое, грабительское умонастроение немецких дипломатов и генералов в Брест-Литовске, все лицемерие (очень, голое и тоже какое-то детски неприкрытое, свойственное, в частности, Гельфериху), все это чрезвычайно вынукло выявляется пред читателем в этой части мемуаров нашего автора. (От приведения деталей, которые были бы неизвестны, Гельферих и тут почему-то отказался...

Ликование суждено было длиться недолго. Тот же 1918 год, который видел заключение брест-литовского мира, видел и заключение уничтожившего Германию перемирия 11 ноября.

Гельферих в промежутке между этими событиями успел побывать на посту германского посла в Москве. Тут обнаружилась некая двойственность в его отношениях к России. С одной стороны то, что случилось в России и с Россией — весьма в некоторых отношениях ему приятно и представляется весьма удобным; с другой стороны, он думает не только о настоящем, но и о будущем (III, 454), и ему кажется, что в будущем сколько-нибудь добрососедские отношения с Россией необычайно затруднятся всеми этими блестящими брест-литовскими успехами германской политики. Прибывши в Москву после убийства графа Мирбаха, Гельферих окольными путями был отвезен в посольство, оттуда также выезжал с большими предосторожностями. В Берлине как раз вырабатывались спешно „добавочные пункты“ к брестскому договору, и германское правительство ни в каком случае не желало ссориться, по словам Гельфериха; поэтому, чтобы успокоить германское общественное мнение, германское министерство иностранных дел пустило в прессу сооб-

щение, будто за убийство Мирбаха в Москве расстреляны Камков и Спиридонова. Когда же советское правительство категорически опровергло эту весть, то германская цензура воспретила перепечатку опровержения в немских газетах. Отмечу, что показания Гельфериха, касающиеся России, обстоятельны и заслуживают критического анализа со стороны будущего историка. Отмечаю это, — и перехожу к заключительной части третьего тома.

Гельферих сообразил, вернувшись в Берлин, после своего короткого московского сиденья, что русская революционная пропаганда действительно распространяется в рядах германской армии. Он оставил Москву, — пишет он, — „с давящим чувством, что боги хотят нашей гибели“. Наступила страшная для Германии осень 1918 года, осень, когда Германии суждено было потерять решительно все, вплоть до (фактической) государственной самостоятельности. Здесь нужно отметить, что Гельферих, сам того, конечно, не желая, всем своим рассказом, всем сцеплением излагаемых фактов весьма успешно опровергает живую „легенду об ударе кинжалом в спину“ (Dolchstoßlegende), пущенную в оборот Людендорфом и Гинденбургом с целью снять с себя ответственность за проигранную войну и погубленное отечество. Гельферих, как и вся его партия (крайняя правая, „немецко-национальная“), тоже при случае с жаром доказывает, что во всем виновны революционеры, разгромившие армию и т. п. Но здесь, в мемуарах, он это забыл, или же кричащая историческая правда заставила его помолчать об удобном объяснении, придуманном Людендорфом. У читателя третьего тома разбираемых мемуаров не остается сомнения в том, что не революция заставила Германию проиграть войну, но страшные и непрерывные военные поражения, длившиеся непрерывно с 8 августа по начало ноября, довели Германию до безусловной сдачи на капитуляцию, а уже этот позорнейший и ужасающий финал, явившийся полной неожиданностью для населения, вызвал революцию, направленную против Вильгельма и его сателлитов. Этому населению так много гнали о близкой победе, что внезапное пробуждение должно было оказаться слишком страшным.

И далеко не исчерпал, по разным причинам, всего содержания трех томов Гельфериха. Отдельные ценные черты выкупают ненужную макулатуру, которая в изобилии помещена автором во все три тома. Ни историк Германии, ни историк России без них не обойдется, хотя должен будет много потрудиться, чтобы отделить ложь от истины в хитросплетениях лукавого немецкого сановника.

Е. Тарле.

Николай II и его сановники в воспоминаниях графа С. Ю. Витте.

I.

Книга „Воспоминаний“ графа Сергея Юльевича Витте представляет собою замечательнейший документ царствования последнего Романова. Написанная крупным государственным деятелем, умным и, в пределах своих возможностей, талантливым, она дает весьма богатую содержанием картину эпохи падения монархии, нарисованную умелой рукой, сильными красками, сжатыми штрихами и изобилующую весьма интересными, часто драматическими, подробностями и деталями. Являясь ценным материалом для характеристики самого автора, как государственного деятеля и человека, книга эта своей беспощадной откровенностью, хотя бы не всегда сливающейся с правдивостью, проливает жгучий свет на злополучное, трагическое царствование Николая II-го, этого обреченного царя, создавшего все для своей собственной гибели и магнитом притянувшего к себе все, что вело к крушению и гибели дома Романовых и монархического строя.

Несомненно, для истории последнего Романова „Воспоминания“ послужат первым хронологически, — но и по существу первоклассным материалом, который останется, вероятно, таковым и в процессе критического анализа и исторической проверки. Субъективная окраска книги не лишает ее ни одного из достоинств мемуаров, — быть может, она является красивой особенностью „Воспоминаний“, обливая их любопытной темпераментностью автора, получившего возможность, только удалившись от двора и даже уехав за границу подальше от высокого соглядатайства, дать волю и свободу давно копившимся чувствам и говорить в необычной для „высокопоставленного“ человека форме речи искренно.

Трудно исчерпать, хотя бы приблизительно и в кратких границах содержание этой богатой книги, запечатленной ярко умом и тонкой наблюдательностью автора, бывшего всемогущего министра, а затем сановника в опале. Она касается самых разнообразных сторон государственной жизни России, всех главных и существенных событий царствования Николая II-го,

столь пестрых и столь роковых, и в первой, пока изданной ¹⁾, части доведена до знаменитой исторической грани-момента 17 октября 1905 года. Извлекая существенные данные из этой книги, мы ограничимся только наиболее крупными и яркими штрихами и деталями, характеризующими личность последнего русского императора и его окружение.

II.

С. Ю. Витте-монархист, сторонник сильной единоличной власти, поклонник сильной опеки над „ограниченным умом подданными“. Получив пост министра финансов в царствование императора Александра III-го, Витте остался пламенным поклонником этого монарха, которого сам характеризует, как человека „обыкновенного ума и образования“. Но у Александра III-го была „стальная воля и характер; он был человек своего слова, царски благородный и с царскими возвышенными помыслами“. И Витте „преклоняется“ пред ним, создавая этим преклонением контрастную картину, в которой выступает монарх другого типа—Николай II.

У Витте требования к монарху весьма скромны. Он полагает, что „с изрядным, даже ограниченным умом можно быть не только хорошим, но даже великим монархом“. „По нынешним временам не может быть самодержца, который бы не принес несчастья своей стране и самому себе, если он не имеет крепкую волю и не обладает царским благородством чувств и помыслов. Если же он обладает теми качествами в пропорции ниже средней для обыкновенного человека, то страна уподобляется безрульной лодке в бушующем океане“.

Можно сказать, что Николай II всем своим образом действий, решительно противоречившим этим примитивным взглядам Витте, сделал из последнего сторонника конституционного образа правления. Но Витте с величайшим трудом млет на этот соблазн современной эпохи. Всеми своими чувствами, помыслами, методами логики и действий, он молится на образ самодержавия. Жизнь дает ему, умному и наблюдательному человеку, один горький урок за другим, но Витте долго не сдаётся и уже к концу дней своих он, столь много мешавший торжеству конституционных начал в России, должен был признаться, что „другого выхода, кроме разумного ограничения, как устройства около широкой дороги стен, ограничивающих движения самодержавия, нет: это, повидимому, неизбежный исторический закон“.

В частности, по адресу Николая II-го Витте бесчисленные страницы своих „Воспоминаний“ украшает признаниями в любви, преданности и нежных чувствах. И кажется, что будь Николай II обладателем хоть в микроскопическом

¹⁾ „Воспоминания“ графа С. Ю. Витте вышли в Берлине в издании „Слова“ и сопровождаемы предисловиями И. В. Гессена и супруги С. Ю. Витте—М. И. Витте. При довольно удовлетворительной внешности, книга издана небрежно: помимо недостаточной корректуры, на многих страницах, благодаря неправильной верстке, текст страдает либо пропусками, либо искажениями.

размере того „благородства чувств и помыслов“, отсутствие которого столь возмущает Витте, то он остался бы верноподданным министром и человеком даже по отношению к последнему Романову.

Но в характеристике Витте, основанной на точных фактах и данных, Николай II-ой является пред нами в столь безотрадно и безнадежно отрицательном свете, что даже ярый монархист складывает свое оружие и доходит почти до того, что в гневе изрекает проклятие на голову виновника „малочисленного управления 140-ка миллионным народом“. И, действительно, портрет последнего Романова—без преувеличения-ужасающ. Трудно разобраться в этой смеси изысканнейшей воспитанности, дара очаровывать и обласкивать людей—с восточным коварством, хитростью, ложью, мстительностью, лукавством, двоедушием, бесхарактерностью, упрямством, отсутствием прямоты, мистицизмом и наивным цинизмом.

Когда Николай II-ой вступил на престол, тогдашний министр внутренних дел И. Н. Дурново предсказывал, что „это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности“. Принц Уэльский (будущий английский король Эдуард VII) даже нашел в чертах лица Николая II-го сходство с Павлом I-м, о чем имел неосторожность лично сказать русскому императору, которому напоминание об убитом придворными предке вряд-ли могло быть приятно.

III.

У Витте первое впечатление о Николае II-м было тоже далеко нерадостным. На первом же докладе император респектильно заявил министру финансов, что он является, в спорном вопросе об устройстве опорной военной гавани в Либаве или на Мурмане, сторонником последнего варианта, о чем намерен издать немедленно указ, тем более, что покойный Александр III предрешил этот вопрос именно в таком направлении. А через три месяца был опубликован указ Николая II-го обратного содержания, т. е. об устройстве военной опорной гавани в Либаве, „согласно заветам Александра III-го“, т. е. сын допустил ложь по отношению к памяти отца.

„После указа о Либавском порте император Николай II-ой,—рассказывает Витте,—приехал к великому князю Константину Константиновичу и со слезами на глазах сетовал великому князю о том, что вот генерал-адмирал великий князь Алексей заставил его подписать такой указ, который совершенно противоречит его взглядам и взглядам его покойного отца. Отказаться же ему в этом император Николай II не мог, так как великий князь поставил этот вопрос таким образом, что если этого не будет сделано, то он почтет себя крайне обиженным и должен будет отказаться от поста генерал-адмирала“.

„Тогда я сочувствовал этому сетованию,—вспоминает гораздо позже автор книги,—и понимал его, но с тех пор прошло более десяти лет, а государь всякий раз, когда подпишет какой-либо документ, который затем

ему не нравится, говорит сам или сие возглашает придворная камарилья, что документ этот у него вырван“.

Эта черта проходит через всю жизнь Николая II. Она свидетельствует не только о двоедушии, но и об отсутствии каких-либо основных принципиальных взглядов, каких-либо убеждений, определенной системы государственной политики, разумного отношения к своим обязанностям и нравственной за них выполнение ответственности.

„Император Николай по нашему времени,—пишет Витте,—обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства“. Уровень, как видите, весьма незначительный при том ничтожном образовательном цензе, каким обладала наша военная знать. „Вступив неожиданно на престол, император Николай II, весьма понятно, был совершенно к этому неподготовлен, а потому и находился под всевозможными влияниями, преимущественно, под влиянием великих князей“, которое упрочилось после утраты влияния на Николая II со стороны матери-Марии Феодоровны. „Об одном можно пожалеть,—меланхолически замечает Витте,—что вообще великие князья играют часто такую роль только потому, что они—великие князья, между тем как роль эта совсем не соответствует ни их знанию, ни их талантам, ни образованию. Когда же они начинают влиять на государя, то из этого большею частью всегда выходят одни только различные несчастья“.

Такое положение великих князей заставило даже военного министра Ганюковского откровенно сказать государю:

— Ваше величество, не вводите удельную систему, которую уничтожил ваш покойный отец.

... „Император Николай улыбнулся и сказал:

— Ну, а, Петр Семенович, им тоже пообрежу крылья“.

Но крылья ни у кого не были обрезаны, что вполне понятно, так как, в сущности, духовно, интеллектуально Николай II был весьма близок к князьям. „Император Николай,—характеризует его Витте,—с трудом терпит людей, которых он в душе почитает выше себя в моральном и умственном отношении—только при нужде. Он же в своей сфере, т. е. чувствует себя в своей тарелке, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он, или которых он считает менее даровитыми и знающими, нежели он, или, наконец, которые, зная эту его слабость, представляются таковыми“.

„Его величество по характеру своему с самого вступления на престол вообще не долюбивал и даже не переносил лиц, представляющих собою определенную личность, т. е. лиц, твердых в своих мнениях, своих словах, своих действиях“.

IV.

Понятно, что великие князья в этом отношении вполне подходили к уровню дара. Не жалеет красок Витте, что бы очертить роль одного из таких князей—Александра Михайловича, по мнению Витте, принесшего величайший

вред России. Великий князь Александр Михайлович был сыном великого князя Михаила Николаевича, председателя Государственного Совета.

„Насколько великий князь Михаил Николаевич, рассказывает Витте, пользовался общим уважением и любовью приближенных и знавших его лиц, настолько же этим не пользовалась его супруга, великая княгиня Ольга Федоровна, принцесса баденская. Красивая, умная, с волей, она обладала прескверным характером, имела постоянных фаворитов и была дамой хитрой и бессердечной. Она совершенно держала мужа в своих руках. Была распространена сплетня, что действительный ее отец был некий банкир еврей, барон Хабер. Император Александр III иногда называл ее в интимном кружке „тетушка Хабер“.

„Великий князь Александр Михайлович совсем пошел в мать и в интригах перещеголял ее. Красивый по наружности, неглупый, полуобразованный, с большим самолюбием, скрытный и страстный интриган, в отношениях довольно симпатичный. Старшую дочь Ксению нужно было выдать замуж. Государю Александру III, по его чисто русской натуре, нежелательно было выдавать ее за иностранного принца, да и к тому же старшую дочь императора Александра III нельзя было выдать за какого бы то ни было принца; Ксении же полюбился Александр Михайлович. Свадьба была решена, хотя Александр Михайлович (как и все Михайловичи) не особенно-то нравился императору.

„Перед свадьбой, летом, приблизительно за год до своей смерти. Александр III, уже будучи не вполне здоровым, совершал свою обыденную прогулку по финляндским шхерам. Александр III почему-то не мог выкупаться в своей ванне; Александр Михайлович предложил государю свою гуттаперчевую ванну. Он согласился и после ванны сказал Александру Михайловичу, в присутствии других лиц, что ему ванна очень понравилась. После этого Александр Михайлович сказал одному из флигель-адъютантов государя, с которым он был в хороших отношениях, саркастически, что он рад, что, наконец, императору понравилось хотя что-нибудь, до него касающееся.

„Ксения была весьма дружна с наследником Николаем, поэтому, конечно, Николай весьма подружился с Александром Михайловичем. Покуда император Александр III был жив, само собою разумеется, Александр Михайлович никакой роли не играл. Когда воцарился Николай II, то он сейчас же завел свои интриги, что ему было тем легче разыгрывать, так как Николай II, по свойству своего характера, переживал по отношению к Александру Михайловичу *la lune de miel*“.

„Александр Михайлович был моряк, но не совершил полагаемого по цензу плавания, поэтому он не мог двигаться и с тою протекциею, которую имел. Но какое там плавание при молодой жене, сестре императора. Ему хотелось сделать карьеру сразу и добиться поста генерал-адмирала“.

Началась его борьба с генерал-адмиралом Алексеем Александровичем, которого Витте характеризует, как обладавшего меньшими, чем Александр Михайлович, талантами. У Александра Михайловича оказался свой „сподручный“, „неответственный советник за кулисами“, лейтенант в отставке Казн, который

мстил морскому министру Чихачеву по старым своим отношениям и помогал, поэтому, Александру Михайловичу в борьбе его с морским ведомством. На первых порах Алексей Александрович победил, „вырвав“ у Николая II указ о либавском порте. После этого Александр Михайлович засыпал царя составившимися Казн записками с критикой морского ведомства, что было делать нетрудно при тогдашних порядках в этом министерстве.

„Император говорил,—пишет Витте,—что он их (записки) вполне разделяет, но по обыкновению не становился ни на ту, ни на другую сторону. Внутренне он желал осуществления идеи Александра Михайловича и Казн. но тогда он был еще под полным влиянием императрицы—матери, которая любила любимого брата своего мужа генерал—адмирала Алексея, а Алексей поддерживал своего подчиненного Чихачева“.

Борьба кончилась победой Алексея, потребовавшего увольнения от службы офицера флота Александра Михайловича. Государь не посмел идти против матери. Чихачев был уволен, так как государь срывал на нем свою злобу за „вырванный“ у него указ о либавском порте. Морским министром был назначен, по выбору Алексея, Тыртов. „Государь показал свой характер и успокоился. Александр Михайлович был устранен из морских советников, но зато Алексей Александрович сделался точным исполнителем предназначений его величества, до того точным, что не имел мужества возражать против затей Безобразова и К-о, поведшей к японской войне. Он и мне советовал,—прибавляет Витте,—тот же образ действий: „все равно государь сделает по своему, только себе повредите“....

Александр Михайлович не успокоился и затеял новую интригу, пробивая себе путь к высоким и ответственным должностям. Он остановился на мысли образовать главное управление торгового мореплавания и портов и быстро убедил в этом государя. Сопrotивление Витте, по обыкновению, встречало полное сочувствие Николаю II-го, но дело было решено Николаем же II-по желанию Александра Михайловича, тайно от Витте и помимо Государственного Совета. Витте имел об этом беседу с государем в Крыму, царь со всем соглашался, но одновременно с отъездом Витте в Петербург, послал туда же и к нему же фельд’егеря с готовым указом и об образовании вышеупомянутого главного управления, и о назначении Александра Михайловича начальником его на правах министра.

„Александр Михайлович начал с того,—рассказывает Витте,—что взял себе в товарищи Абазу, адмирала, двоюродного брата Безобразова, одного из главных виновников японской авантюры. Александр Михайлович был прародителем этой проклятой затеи, составившей несчастье России. Он ввел Безобразова и Абазу к государю. Сделавшись министром, великий князь, конечно, начал вмешиваться в дела, до него не касающиеся... Как только кто-либо осмеливался не соглашаться с каким-либо корыстным предложением, он сейчас же аттестовался государю, как изменник... Что же сделал Александр Михайлович с новым министерством? Ничего положительного, а только разрешил злоупотребления...“

На одно из таких злоупотреблений указывает Витте: ведомство Александра Михайловича приобрело завод Ланге за цену вдвое большую, чем просил собственник завода; переплата, конечно, составила взятку... Этому заводу давались затем заказы на суда от морского министерства, и дело кончилось тем, что казне пришлось произвести совершенно бесполезные затраты, покрывая темные сделки и растраты. А Александр Михайлович „со слезами на глазах“ просил председательствовавшего в государственном совете графа Сольского „выручить его“.

V.

Рядом с Александром Михайловичем Витте ставит еще двух влиятельных особ высочайшего двора, „черногорки № 1“¹⁾ и № 2“²⁾, как он их иронически называет. „Ох, уж эти черногорки, — вздыхает Витте, — натворили они бед России. Что бы рассказать, какие пакости они натворили, нужно написать целую историю; не добром помянут русские люди их память“...

„Это — две дочери князя Николая черногорского. Он их девочками отдал в Смольный институт, там на них очень мало обращали внимания. Они кончили курс, как раз когда император Александр III разорвал традиционные узы с Германией и союз с Францией был в зародыше. Тогда он за обедом, данным в честь князя Николая черногорского, провозгласил знаменитый тост „за моего единственного друга, князя Николая черногорского“. Тост этот, конечно, был провозглашен не столько по любви к князю Николаю, как для того, чтобы сказать всему свету: „у меня нет союзников и я в них не нуждаюсь“. С своей стороны, князь Николай делал все, от него зависящее, чтобы заслужить расположение императора. Это расположение, впрочем, совершенно естественно вытекало из того, что князь Николай был князь рыцарского народа — черногорцев, из всех славян всегда заявлявших свою наибольшую привязанность к нам — русским. При таком положении вещей, естественно, что император Александр III оказывал внимание кончившим в Смольном институте черногорским княжнам. Этого было достаточно, чтобы явились из царской семьи женихи.

„Ведь в это время у нас всяких великих князей размножилось целое стадо. Слабогрудый Петр Николаевич, младший сын великого князя Николая Николаевича (главнокомандующего в последнюю турецкую войну), женился на черногорке № 1, а принц Юрий Лейхтенбергский, третий сын великой княгини Марии Николаевны, женился на черногорке № 2. Но последний, женившись на черногорке № 2 (вторым браком), продолжал свою связь с куртизанкою за границей, где большею

¹⁾ Милица Николаевна, жена великого князя Петра Николаевича.

²⁾ Анастасия Николаевна, жена герцога Юрия Лейхтенбергского, после развода с ним вышедшая замуж за великого князя Николая Николаевича, б. верховного главнокомандующего.

частью и проживал. Такое его поведение, конечно, не могло нравиться такому в высшей степени нравственному человеку, как Александр III, и я помню, как-то раз, на общем приеме представляющихся, он спросил одного из представлявшихся, приехавшего из Биаррица, — много-ли там русских? Он ответил и указал, что там, между прочим, находится принц Юрий Максимилианович; на что государь заметил: „а, и он там полоскал свое поганое тело в волнах океана“. Впрочем, должен сказать, что Юрий Максимилианович был, в сущности, безбидный человек и совсем недурной, это тип великих князей последних формаций. Итак, благодаря Александру III, черногорки были пристроены за второстепенных великих князей, и этим бы при Александре III все бы и кончилось, но вступает на престол Николай II и женится на Alix.

„Молодая императрица встретила со стороны императрицы-матери и русских великих княгинь самый радушный прием и сердечное отношение, но не такое отношение, как к императрице. А ведь она императрица. Только черногорки не только гнулись перед нею, как перед императрицей, но начали проявлять к ней бесконечную любовь и преданность.

„Как-то раз императрица заболела какою-то желудочною болезнью; черногорки тут, как тут, ее не покидают, устраниают горничных и сами добровольно принимают на себя эту неприятную в подобных болезнях обязанность. Таким образом, они втираются в ее фавор и делаются ее первыми подругами. Покуда государь не разошелся, это было не особенно заметно, но по мере того, как он начал расходиться, и императрица-мать начала терять свое влияние, — влияние черногорок все усиливалось и усиливалось.

„Конечно, прежде всего авилось у них желание раздобыть побольше денег. Вот на этой почве мне пришлось столкнуться с черногорками. Как-то раз черногорка Лейхтенбергская заявила мне, что им трудно жить, и что она просила помощи у государя через императрицу и просила и моего содействия к устройству этого дела. Вопрос сводился к тому, чтобы казна давала Лейхтенбергскому ежегодно 150.000 рублей. Конечно, я признал это невозможным, и дело устроилось так, что бюджет министерства двора был увеличен на 150.000 рублей, а сие министерство уплачивает Лейхтенбергскому равную сумму.

„Такой простой способ устройства пособия черногорке № 2 вытекал из особого высочайшего повеления относительно бюджета министерства двора.

„Делами великого князя Петра Николаевича управлял молодой человек, сын его бывшего губернатора (кажется, фамилия его Дюжени). Он заигрался, вероятно, не без ведома великого князя на бирже и крайне одно время расстроил его дела. Тогда великий князь обратился ко мне, дабы и помог ему из государственного банка. Я, конечно, отказал, так как это противоречило уставу банка. В результате великому князю помог государь, кажется, из уделов, но супруга, черногорка № 1, такую мою дерзость простить не могла.

„Нужно отдать справедливость черногоркам: они были преданные дочери и постоянно хлопотали о всяких денежных субсидиях своему княжескому

родителю. Вся игра велась на том, что в интересах России, в случае столкновения ее с Германией, поставить Черногорию в такое положение, чтобы она могла оказать России содействие. Черногорцы—молодцы; нужно только сформировать постоянные части, а для этого нужны деньги. Вот, по особым высочайшим повелениям, и начали отпускать черногорскому князю на содержание сказанных частей войск особые суммы, и теперь в счете военного министерства таких расходов значится около миллиона рублей, если не больше, но как именно расходуются эти деньги, никому в России неизвестно. Князь Николай по этому предмету писал государю самые убедительные письма, уверяя, что война с Германией неизбежна и весьма нежелательно отзываться о Вильгельме. У меня в архиве одно такое интересное письмо сохранилось. Но *l'appetit vient en mangeant*. В 1901 или 1902 году вдруг появился Николай черногорский в Петербурге. Затем, я вижу с черногоркой № 2, которая мне говорит, что ее отец просил государя о помощи, что государь на это согласился и, вероятно, я на днях получу повеление. Она прибавила, что очень просит меня оказать содействие. Я пожелал узнать, о какой помощи идет речь. Черногорка мне ответила, что ее отец просит государя, чтобы ему была уступлена контрибуция, которую платит Турция России—около 3.000.000 рублей в год и что государь на это согласился, а потому князь Николай благодарил уже государя и уехал к себе обратно в Черногорию. Я сказал черногорке, что это, по моему мнению, невозможно.

„На ближайшем всеподданнейшем докладе государь мне сказал, что князь черногорский, просил, чтобы Россия ему оказывала денежную помощь, что он сказал князю, что не считает возможным из денег, платимых русским народом, оказывать денежную помощь иностранным, хотя бы более нежными дружественным народам. Тогда князь Николай ему ответил, что и он не стал бы возможным просить о такой помощи, а потому он просит, чтобы ему давали не русские деньги, а турецкие, т. е. чтобы Турция следующую от нее ежегодную контрибуцию до 3.000.000 рублей в год передавала не России, а Черногории. Я доложил его величеству, что турецкая контрибуция, согласно закону, ежегодно вносится в государственную роспись и затем в отчет государственного контроля и что об исчезновении этой статьи дохода делается сейчас же всем известным. Я добавил, что это такие же русские деньги, как и всякие другие, входящие в роспись, что Турция нам платит контрибуцию в возмещение лишь части расходов, произведенных русским народом в последнюю восточную войну, и что исчезновение из доходов этой суммы русскому народу в той или другой форме придется восполнить, и, наконец, что такая новая подачка Черногории по своим размерам переходит всякие пределы. В ответ на это государь мне говорит:

„Что же делать—я уже обещал“.

„Его величество меня часто обезоруживал этим доводом, но в данном случае я доложил государю, что если он обещал, то потому, что князь Николай вольно или невольно ввел его в заблуждение, указав, что он сам не считает возможным брать русские деньги и потому просит турецкие, а так как оказы-

вается, что это деньги русские, то, следовательно, весь его разговор с князем падает. Государь склонился к моим убеждениям, и я с министром иностранных дел дело это уладил, но все таки пришлось по бюджету военного министерства увеличить субсидию на несколько сот тысяч рублей. После этого мне черногорка № 2 с яростью сказала:

„Ну, а вам это не забуду,—будете помнить“...

„Я воображаю, сколько эти сестры потом на меня клеветали императрице. Вообще эти особы крепко присосались к русским деньгам. На одной из их сестер (старшей) был женат князь Петр Карагеоргиевич, теперешний сербский король, поэтому они также интриговали против короля Александра, так ужасно погибшего от рук убийц, вместе со своей женой.

„Незадолго до этого события, когда государь был в Мте, король Александр, повидимому, хотел приехать к государю с женой с визитом, но визит этот был отклонен, что произошло не без интриг черногорок.

„Замечательно, что когда король Александр женился на бывшей фрейлине своей матери, сделав таким образом *mésalliance*, то черногорка № 2 говорила, что король дурно кончит.

„Незадолго до убийства короля Александра и воцарения Петра Карагеоргиевича, последний у меня был, чтобы просить также денежной помощи, и опять о нем просила черногорка № 2. Он имел такой несчастный вид, что вот уж я никак не думал, что через несколько месяцев он будет королем. У него было имение в Румынии, и вопрос заключался в том, чтобы ему выдать ссуду под это имение. Я не согласился на выдачу ссуды ни из казны, ни из государственного банка. Но с высочайшего разрешения ему была выдана ссуда из правления Бессарабско-Таврического банка. Высочайшее разрешение потребовалось только потому, что по уставу банк не мог выдать ссуду под землю за границей. В этом году имение было продано королем и ссуда возвращена“.

VI.

При том низком моральном и умственном уровне, каким обладала придворная среда, при том ограниченном круге лиц, с которыми царь приходил в соприкосновение, „смердящее влияние придворной камарилы“, как образно говорит Витте, должно было всегда играть доминирующую роль. Царю нечего было противопоставить этому влиянию—ни ума, ни образования, ни твердой воли... Он сам всей душой и всеми качествами своего ума и сердца был органически слит с этой камарильей, презиравшей, в сущности, все, кроме себя, не хотевшей знать России и ее интересов и имевшей одного бога—свое „я“.

— А мне какое дело до общественного мнения?—говаривал не раз Николай II-ой графу Витте, когда тот имел неосторожность упоминать об этой культурной силе.

„Государь совершенно справедливо (*sic!*) считал, — пишет Витте, — что общественное мнение это есть мнение „интеллигентов“, а что касается его

мнения об интеллигентах, то князь Мирский мне говорил, что когда государь ездил по западным губерниям, и задолго до назначения его, Мирского, министром, он в качестве генерал-губернатора его сопровождал по вверенным ему губерниям, то раз за столом кто-то произнес слово „интеллигент“, на что государь заметил: „как мне противно это слово“, добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря. Государю внушали, что за него весь народ, вся интеллигенция“...

В связи с этим весьма интересен разговор, который имел, уже будучи министром внутренних дел, „либеральный“ Святополк-Мирский с Александрой Федоровной, „которая,—замечает Витте,—руководит волею и склонностями государя и которая больше всего виновата в том, что царствование Николай II-го так несчастно для него и для России“.

„Заговорив о политическом положении, Мирский сказал императрице что в России все против существующих порядков. На это императрица резко заметила:

— Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя.

„На это Мирский ответил:

— Да, это верно, но события всегда творят всюду интеллигенция; народ же сегодня может убивать интеллигенцию за царя, а завтра разрушить царские дворцы; это—стихия“...

Но, конечно, доводы Мирского менее всего могли подействовать на Александру Федоровну, об отрицательном влиянии которой на Николая II гр. Витте говорит в первой части своих „Воспоминаний“ только мимоходом и вскользь, но все же достаточно внушительно.

„Только „непормальность“ истеричной особы может служить, если не оправданием, то объяснением многих ее действий, и того пагубного влияния, которое она оказывала на императора,—пишет С. Ю. Витте.—Что она „истеричка“, видно, например, из следующего. Она, конечно, желала иметь сына, а Бог им дал четырех дочерей. После этого она попала под влияние шарлатана доктора Филиппа ¹⁾. Этот Филипп ей внушал, что у нее будет сын, и она внушила себе, что она находится в интересном положении. Наступили последние месяцы беременности. Она начала носить платья, которые носила ранее во время последних месяцев беременности, перестала носить корсет. Все заметили, что императрица сильно поглотела. Все были уверены, что императрица беременна. Государь радовался, об ее беременности России сделалось официально известным. Прекратились выходы императрицы.

„Прошло девять месяцев, все в Петербурге ежечасно ожидали пальбы орудия Петропавловской крепости, оповещающей жителей по числу выстрелов о рождении сына или дочери. Императрица перестала ходить, все время лежала. Лейб-акушер Отт, со своими ассистентами, переселился в Петергоф, ожидая с часу на час это событие. Между тем роды не наступали. Тогда профессор

¹⁾ О нем см. ниже.

Отт начал уговаривать императрицу и государя, чтобы ему позволили исследовать императрицу. Императрица по понятным причинам вообще не давала себя исследовать до родов. Наконец, она согласилась. Отт исследовал и объявил, что императрица не беременна и не была беременна, что затем в соответствующей форме было оповещено России.

„Если какой-нибудь шарлатан может внушить женщине, что она забеременела, и женщина под этим внушением находится в продолжении девяти месяцев, то что может внушить любой прохожиец такой о-обе! А раз что-либо ей внушено, то сие внушение передается ее безвольному, но прекрасному мужу, а этот муж неограниченно распоряжается судьбой величайшей Империи и благосостоянием и даже жизнью 140.000.000 человеческих душ, т. е. божественными искорками Всевышнего“...

VII.

Перст рока поднялся впервые над головой Николая II вскоре после восшествия его на престол-во время коронации, ознаменовавшейся знаменитой Ходынской. Об этом трагическом эпизоде мы читаем у Витте весьма красочный рассказ.

„Обыкновенно после коронования делается громадное гулянье для народа, причем народу этому выдаются от государя различные подарки, большею частью и даже почти исключительно — с'едобные, т. е. народ кормится, угощается от имени государя императора. Затем, на этой громадной площади, находящейся вне Москвы, но сейчас же около самого города, для народа делаются всевозможные увеселения; обыкновенно и государь приезжает посмотреть, как веселится и угощается его народ.

„В тот день, когда все должны были приехать туда, должен был приехать и полудню и государь, между прочим, выслушать концерт, в котором по программе предполагалось участие громаднейшего оркестра, под управлением известного дирижера Сафонова; оркестр этот должен был сыграть особую кантату, которая была сочинена по случаю коронации; с утра же началось угощение народа.

„Так вот, едуци туда, садясь в экипаж, я вдруг узнаю, что на Ходынском поле, где должно происходить народное гулянье, утром произошла катастрофа, произошла страшная давка народа, при чем было убито и искалечено около двух тысяч человек.

„В таком настроении я поехал на Ходынское поле, в таком настроении приехали, конечно, и все остальные лица, которые должны были присутствовать на этом торжестве. Меня мучил прежде всего вопрос: как же поступят со всеми искалеченными людьми, как поступят со всеми этими трупами убитых людей, успеют-ли поразвозить по больницам тех, которые еще не умерли, а трупы свезти в какое-нибудь такое место, где бы они не находились на виду у всего остального, веселящегося народа, государя, всех его иностранных гостей и всей тысячной свиты? Затем у меня являлся вопрос: не последует-ли приказ государя, чтобы это веселое торжество, по случаю происшед-

шего несчастья, обратить в торжество печальное и вместо слушания песен и концертов выслушать на поле торжественное богослужение?

„Когда я приехал на место, то уже ничего особенного не заметил, как будто никакой особой катастрофы и не произошло, потому что с утра успели все убрать, и никаких видимых следов катастрофы не было; ничто не бросалось в глаза, а где могли быть какие-нибудь признаки катастрофы—все это было замаскировано и сглажено.

„Но, конечно, все приезжающие (для этого случая была устроена громадная беседка для приезжающих) чувствовали и понимали, что произошло большое несчастье и находились под этим настроением.

„Подъехал и экипаж Ли-Хун-Чана (представителя Китая) с его свитой. Когда Ли-Хун-Чан вошел в беседку и я подошел к нему, он обратился ко мне через переводчика (так как Ли-Хун-Чан, кроме китайского языка, никакого другого не знал, то поэтому всегда приходилось вести с ним беседы через переводчика) со следующим вопросом:

—Правда-ли, что произошла такая большая катастрофа и что есть около двух тысяч убитых и искалеченных?

„Так как, повидимому, Ли-Хун-Чан знал уже все подробности, то я ему нехотя ответил, что да, действительно, такое несчастье произошло.

„На это Ли-Хун-Чан задал мне такой вопрос:

—Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено государю?

„Я сказал, что не подлежит никакому сомнению, что это будет доложено, и я даже убежден, что это было доложено немедленно после того, как эта катастрофа случилась!

„Тогда Ли-Хун-Чан помахал головой и сказал мне:

—Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот, когда я был генерал-губернатором Печилийской области, то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас все благополучно, и когда меня спрашивали: нет-ли у вас каких-нибудь болезней?—я отвечал: никаких болезней нет, что все население находится в самом нормальном порядке.

„Кончив эту фразу, Ли-Хун-Чан как бы поставил точку и затем обратился ко мне с вопросом:

—Ну, скажите, пожалуйста, для чего я буду огорчать богдыхана сообщением, что у меня умирают люди? Еслибы я был сановником вашего государя, я, конечно, все от него скрыл бы. Для чего его, бедного, огорчать?

„После этого замечания я подумал: ну, всетаки мы ушли далее Китая.

„Вскоре приехали великие князья и государь император, и к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе: так массою музыкантов был исполнен концерт под управлением известного дирижера Сафорова; вообще все шло, как будто бы никакой катастрофы и не было. Только на лице государя можно было заметить некоторую грусть и болезненное выражение лица. Мне представляется, что еслибы госу-

дарь был тогда предоставлен собственному влечению, то, по всей вероятности, он отменил бы эти празднества и вместо них совершил бы на поле торжественное богослужение. Но, повидимому, государю дали дурные советы и не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы понять, что советы эти исходили от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы. Великий князь Сергей Александрович в это время и, можно сказать, до самой своей смерти, был один из самых близких и влиятельных лиц при государе императоре.

„В день Ходынской катастрофы, 18 мая, по церемониалу был назначен бал у французского посла графа (впоследствии маркиза) Монтебелло.

„В назначенный час я приехал на этот бал, а вместе со мною приехал Сипягин, главноуправляющий комиссией прошений, будущий министр внутренних дел, и великий князь Сергей Александрович. Как только мы встретились, естественно заговорили об этой катастрофе, причем великий князь нам сказал, что многие советовали государю просить посла отменить этот бал и во всяком случае не приезжать на этот бал, но что государь с этим мнением совершенно несогласен; по его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать.

„При этих словах мне естественно пришла в голову аналогия между этим рассуждением и рассуждением, которое я слышал утром от великого государственного человека в Китае Ли-Хун-Чана.

„Через некоторое время приехал государь и императрица; открылся бал, причем первый вальс государь танцевал с графиней Монтебелло, а государыня с графом Монтебелло. Впрочем, государь вскоре с этого бала удалился“.

VIII.

„Не смотря на то, что решено было случившуюся ужасную катастрофу как бы не признавать, с нею не считаться, тем не менее весьма естественно, катастрофа эта вызвала совершенно особое настроение во всей Москве и по обыкновению породила на верху борьбу придворных партий и целую массу интриг“.

Естественно начали искать ответственных за катастрофу лиц. Началась борьба между местной администрацией, возглавлявшейся царским любимцем, великим князем Сергеем Александровичем, и министерством двора, возглавлявшимся Воронцовым-Дашковым, так как эти два ведомства устраивали праздник народу от имени царя. . . Придворные разделились на две партии — за министра двора, которого поддерживала императрица Мария Федоровна, и за великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре молодой императрицы. В конце концов расследование было поручено министру юстиции Н. П. Муравьеву, который изложил объективно все ходыньские события, но не имел мужества назвать истинных виновников происшествия, потому что „сделался министром юстиции по протекции великого князя Сергея Алексан-

дровича“ и был ранее, в качестве прокурора палаты, „близким к нему лицом“. Однако затем возобладало влияние Марии Федоровны, и новое расследование было поручено произвести старому сановнику древних времен, бывшему министру юстиции графу Палену. „Немедленно после катастрофы Пален имел неосторожность сказать во дворце, что вся беда заключается в том, что великим князьям поручаются ответственные должности, и что там, где великие князья занимают ответственную должность, всегда происходит или какая-нибудь беда или крайний беспорядок. Вследствие этого против Палена пошли все великие князья“.

Повидимому, в этом духе Пален и представил доклад Николаю II-му. „Его величество, — рассказывает Витте, — соизволил написать самую лестную резолюцию на докладе графа Палена, но через несколько дней приехал из Москвы великий князь Сергей Александрович, и дело было совершенно перерешено“...

В конце концов, как известно, единственным виновником Ходынки, при которой погибло и пострадало около двух тысяч русских людей, оказался обер-полицеймейстер Власовский, уволенный за то от служб. Граф Пален после этого не получал уже никаких ответственных поручений. А Муравьев продолжал делать блестящую карьеру.

Министр же двора граф Воронцов-Дашков был уволен совершенно неожиданно для него через год (в 1897 году) и на его место назначен его товарищ, барон Фредерикс, которому Витте дает такую характеристику: „можно сказать, что барон Фредерикс, по нынешним временам, по своей честности и благородству — рыцарь. Но, конечно, ни по своим знаниям, ни по своим способностям, ни по своему уму он не может служить ему (государю) ни в каком степені советником по государственным делам и также по непосредственному управлению министерством двора. По характеру государь, такой министр двора представляет собою тип человека, наиболее для императора подходящего“.

И через много страниц своих „Воспоминаний“, быть может, забыв про это последнее замечание, гр. Витте пишет о том же Фредериксе (удержавшемся, как известно, при Николае II вплоть до революции):

„Сам Фредерикс по части понимания дел был совсем плох, ему трудно было усвоить не только рассуждения, но и самые простые факты. Его сотрудники подучивали его, как школьника, перед всяким всеподданнейшим докладом“.

Это наиболее коротышный штрих, который так естественно подчеркнуты во внимании читателей. Фредерикс, по словам Витте, ни по способностям, ни по уму, не может быть советником государя, так как не усваивает рассуждений и не воспринимает фактов. И тем не менее такой „рыцарь“ — „наиболее подходящий для императора тип“, бывший в ежедневной непосредственной близости с ним в течение 20 лет!...

IX.

Первые годы царствования Николая II-го протекали, так сказать, в домашнем кругу, весьма ограниченном и замкнутом. Трудно себе представить, но монарх величайшего государства с самым разнородным племенным составом жил, в сущности, убогой обывательской жизнью, самым мещанским образом. Начало царствования запечатлено авторитетным и авторитарным влиянием матери. Как покорный и послушный сын, государь не выходит из повиновения «мамаше» и во всем следует ее советам. Но мало по малу и родственники начинают подавать свой голос и оказывать свое влияние. Начинается полоса великокняжеских внушений и инспираций. Маленький двор живет своей особенной, от всего света отгороженной жизнью, династическими интересами, своими внутренними нуждами. Необъятная Россия остается в стороне. Общество и интеллигенция не существуют. А народ уже стадом верен монархии, а потому относительно его все спокойно.

Принцип неограниченности и божеского происхождения власти бронирует и монарха, и его двор от всяких извне влияний. „Бог и Я“—думает царь, как свидетельствует об этом Витте, который, несмотря на всю старозаветность своей психологии, все же не без изумления выслушивает от великого князя Николая Николаевича мнение, что Николай II—полубог...

— Видите-ли,—говорил вел. кн. Николай Николаевич,—я не считаю государя человеком. Он не человек и не Бог, а нечто среднее...

Этой мыслью была густо насыщена вся придворная атмосфера. Она питала умы царя, царицы, всего „стада“ великих князей и княгинь, придворных, всей романовской челяди. Непогрешимый монарх мог делать все, что ему угодно. И маленький человек, каким был этот самодержец, этот гомункулус российской империи, по своему, воплощал этот догмат непогрешимости и святости. Он жил своей внутренней, ему казалось, самостоятельной жизнью. лично решал все дела, „проявлял характер“—и был в то же время игрушкой чужих страстей, желаний и домогательств.

Быть может, с точки зрения психологической, многие черты его характера сложились, как инстинктивная самозащита от собственной своей слабости и безволяности. Он был упрям, чтобы спастись от нажима других. Он был коварен и лжив, чтобы мстить за «вырванное» у него против желания решение. Он был неискренен, лукав и непрямоушен, чтобы, при помощи таких свойств, находить истинных виновников своих неудач.

„Нынешний самодержец. — пишет Витте, — имеет тот недостаток, что когда приходится решать, то выставляет лозунг—„я неограниченный и отвечаю только перед Богом“,—а когда приходится нравственно отвечать перед живущими людьми впрямь до ответа перед Богом, то все виноваты, кроме его величества—тот его подвел, тот обманул и проч.“ Потому-то в основе характера Николая II-го лежали, по определению Витте,—„коварство, молчаливая неправда, неумение сказать —да или нет—и затем сказанное испол-

нить, боязненный оптимизм, т. е. оптимизм, как средство подымать искусственно нервы". И все это, по видимому, в противовес своему свойству— «качаться на политических качелях»...

Но при всем своем умении проделывать постоянно эти колебания, у царя никогда не выходил из головы догмат о святости и неприкосновенности своей власти. Он его впитал с молоком матери. Этот догмат был внедрен всем воспитанием, всем влиянием родителей, всем придворным миром, всем воздухом, которым, где бы то ни было и когда бы то ни было, дышал Николай II. Он весь всей духовной стороной своей тяготеет к реакции. Это для него путеводная звезда, руководящий и спасительный свет. Он до смерти боится таких положений, при которых могут быть нарушены принципы самодержавия. Он смотрит постоянно назад, обращаясь ко временам своего отца и своего прадеда Николая I-го.

Как мы увидим ниже, революционное движение заставляло его в страхе за свою личную неприкосновенность и целостность династии делать и давать уступки. Но весь этот процесс отрывания от своего сердца дорогих кусков давался ему мучительно, и, коварный по природе, он тотчас старался взять назад данное хотя бы под клятвой. Когда царь назначил Святополк-Мирского министром внутренних дел, утвердив его либеральную программу, то на другой же день начал или, вернее, продолжал слушать голоса самых крайних реакционеров. Когда шла речь о том пункте знаменитого указа 12 декабря 1904 года, в котором указывалось на привлечение общественных деятелей в законодательное учреждение того времени—в Государственный Совет,—то, отказавшись утвердить этот пункт, Николай II твердо сказал:

— „Да я никогда, ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для вверенного мне Богом народа“.

Николай II был ярым защитником привилегий дворянского сословия, и когда было образовано особое совещание 1895 года, то он повелел ему посвящать свои занятия исключительно дворянским вопросам, не трогая вопросов крестьянского сословия.

И Витте, по его словам, всегда стремившийся дать ход реформе крестьянского быта, с горечью говорит о нашем бывшем «первенствующем» сословии:

«Большинство дворян в смысле государственном представляет кучку дегенератов, которые, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей—ничего не признают, а потому направляют все свои усилия относительно получения тех или иных милостей насчет народных денег, выскиваемых с обедневшего русского народа для государственного блага, а не для личных интересов этих дворян—дегенератов».

И сам Николай II лично, вопреки всем законам, вмешивался, поддерживая интересы дворян, даже вывучу ссуд из дворянского банка. Гр. Витте рассказывает, как путем непосредственного приказа Николая II была выдана безусловно безнадлежа ссуда барону М. Мендорфу...

Впрочем, слово «законность» не может быть употреблено по отношению к неограниченному монарху. И Николай II подчеркивал это, сам требуя нарушения существующих законов, когда ему этого хотелось.

По закону смета министерства двора должна была рассматриваться в государственном совете на общем основании; на практике расходы эти регулировались соглашением министра двора и финансов, и затем государственный совет принимал цифру, сообщенную министром финансов.

«Вскоре после назначения барона Фредерикса, — рассказывает Витте, — я вдруг от него получаю высочайшее повеление, отменяющее законы и устанавливающее такой порядок относительно сметы министерства двора: смету эту составляет и представляет на утверждение государя министр двора, а затем сообщает общую цифру министру финансов, который должен внести именно эту цифру без обсуждения в государственном совете, в государственную роспись. В заключении говорилось, что государь повелевает, чтобы сие высочайшее повеление не распубликовывалось, дабы не возбуждать толков, а чтобы при кодификации законов т.е. печатании нового издания, были соответственно изменены соответствующие статьи. Таких высочайших повелений, конечно, в России не было со времен Павла Петровича, да и он, вероятно, не предлагал бы незаметно фальсифицировать новое издание законов. Конечно, эта выдумка не принадлежала инициативе государя, а его министру двора, но достаточно того, что такие повеления могли иметь место еще за десять лет до революции.

«По поводу этого маленького инцидента, которому я не придавал никакого значения с точки зрения финансов, я помню такой разговор, который я имел с его императорским величеством.

„Богда я сказал, что, во всяком случае, кредиты должны быть испрашиваемы по соглашению министра двора с министерством финансов, — если не в общем порядке через государственный совет, — то его величеству угодно было мне заметить:

— Что же, вы находите, что я трачу много денег?

Х.

Это сознание своей непогрешимости Николай II проявлял однако и в таких формах, которые свидетельствовали о чрезвычайно низком моральном его уровне. Из этой области Витте рассказывает два эпизода, которые были бы невероятны, даже для Николая II, если бы не авторитет рассказчика, не допускающий сомнений в правдивости.

У Николая II была большая склонность... к чужим дневникам. Чем она объясняется — это не важно. Но на этой почве проявились совершенно исключительные особенности характера могущественного монарха.

Когда император Николай объявил Куропаткину об увольнении его от должности военного министра, то, что бы по обыкновению, позолотить пиллюлю, спросил его, кого он рекомендует в качестве своего заместителя, хотя вопрос этот был уже предрешен, и кандидатура Сахарова была уже принята. Куропаткин указал нескольких лиц, и царь спросил его мнение относительно Сахарова. О Сахарове Куропаткин дал крайне неблагоприятный отзыв.

Конечно, Сахаров был сейчас же после этого разговора назначен, так как это было предreshено и разговор с Куропаткиным был только для вежливости. „Тогда же Куропаткин представил государю,—не зная, что государь ему предложит уйти после его доклада,—о некоторых мерах, которые нужно принять в виду начавшейся войны. Затем по единогласному желанию общественного мнения, насколько таковое могло выражаться, Куропаткин был назначен командующим манджурской армией при оставлении адмирала Алексеева главнокомандующим. Когда Куропаткин явился к государю, получив это назначение, то он просил его величество привести в исполнение те меры, которые он ему докладывал при последнем своем докладе, когда он был военным министром. Государь ответил, что прикажет Сахарову, и знал, что Куропаткин составляет дневники, просил прислать дневник для того, чтобы он, государь, мог точно формулировать свое приказание. Куропаткина в тот же день послал его величеству две тетрадки своего дневника. В первой излагались меры, о которых он просил; и разговор о его, Куропаткина, увольнении. Этот разговор оканчивался во второй тетрадке, в которой были изложены и аттестации кандидатов вместо него, Куропаткина. Его величество написал Сахарову, чтобы тот привел в исполнение меры, предложенные Куропаткиным в его дневнике и вместо того, чтобы послать Сахарову первую тетрадку дневника, послал вторую.

„Сахаров, прочитавши приказ, открывает дневник и вдруг читает: „Я не советую назначить Сахарова: он никогда не занимал серьезного поста в строю, ожирел и страшный лентяй...“

Суммируя все черты характера Николая II-го, естественно приходится предположить, что „спутал“ тетради дневника император не без умысла. Назначение Сахарова военным министром „вырвал“ у него великий князь Николай Николаевич, и естественно предположить, что император затаил, как всегда в таких случаях, обиду. И что бы Сахаров не возмнил о себе и готовился к быстрому „отлету“ с поста военного министра,—ему и был дан компрометирующий его дневник.

Но еще эффектнее была судьба дневников Сипягина, бывшего министра внутренних дел, человека весьма ограниченного, тупого, а потому простеца.

„Сипягин, став главноуправляющим комиссией прошений, а затем министром внутренних дел,—рассказывает Витте,—вел ежедневно свой краткий дневник. Когда его убили, первым вошел в его кабинет его товарищ П. Н. Дурново, но он бумаг не трогал. Затем было поручено его величеством дворцовому коменданту генералу-адъютанту Гессе и Дурново разобрать бумаги покойного Сипягина. Бумаги ими были разобраны, все обыкновенные министерские были переданы по назначению, а личные официальные переданы Гессе, частные же жене Сипягина.

„Александра Павловна Сипягина знала, что ее муж писал дневники, причем первая тетрадь обнимала время, когда ее муж был главноуправляющим комиссией прошений, а вторая—его министерство. Она спросила Дурново, где дневники мужа? Он ответил, что их взял Гессе. Весь этот и дальнейший рассказ я знаю от А. И. Сипягиной и Шереметьева, мужа ее сестры.

„Через несколько дней А. П. Сипягина решила благодарить государя и государыню за внимание, причем государь сказал А. П. Сипягиной, что ему переданы дневники ее мужа и что разрешит-ли она на некоторое время затереть их, потому что он, государь, интересуется их прочтением? Конечно, Сипягина согласилась.

„Прошло много месяцев, а Сипягина все не получала обратно записок мужа. Тогда она обратилась к своему племяннику графу Шереметьеву, флигель-адъютанту, бывшему другу детства государя, прося при одном из дежурств напомнить государю о записках ее мужа.

„Через некоторое время А. П. Сипягина представлялась государыне, и когда она собиралась удалиться, государыня попросила ее обождать, сказав, что ее желает видеть государь. Через несколько минут появился государь и, вручив ей пакет, сказал, что он с благодарностью возвращает мемуары ее покойного мужа, прибавив, что мемуары очень интересны.

„Возвратившись домой, А. П. Сипягина увидела, что ей возвращены лишь мемуары за время, когда Сипягин был главноуправляющим комиссии прошений. В виду этого она просила старика графа Шереметьева разъяснить это недоразумение.

„Граф Шереметьев обратился к Гессе, который ему довольно недовольно ответил: чего они там носят с записками Сипягина? После такого ответа граф Шереметьев прервал разговор.

„Через несколько дней государь был в Москве, говел и затем провел там первые дни великого праздника. Во время одного царского обеда граф Шереметьев сидел рядом с Гессе и не говорил с ним. Тогда Гессе сам с ним заговорил и сказал: „Что касается мемуаров Сипягина, то могу вас уверить, что я передал государю все, что получил“.

„По возвращении государя в Петербург, он позвал к себе графа Шереметьева и сказал ему, что ему, государю, известно, что одна тетрадь мемуаров Сипягина пропала, и что, как он, Шереметьев, думает, как это могло случиться? Граф Шереметьев сказал, что он спрашивал Дурново, который удостоверил, что было две тетради мемуаров, которые он вручил Гессе, и что он уверен, что Дурново говорит правду, так как ему не было никакого интереса присваивать вторую тетрадку; да, наконец, Гессе сам не отрицает, что он получил две тетрадки.

„Тогда его величество заметил, что Гессе не был в ладах с Сипягиной и это, может быть, в мемуарах Сипягина что-нибудь написал о Гессе, а потому Гессе их уничтожил, чтобы он, государь, это не прочел. Затем граф Шереметьев мне сказал:

— А я знаю достоверно, что эту тетрадку уничтожил сам государь.

„Тогда я с графом Шереметьевым был еще из-за Сипягина в очень хороших отношениях. Мы с ним разошлись после 17 октября, когда граф Шереметьев, прочитав манифест 17 октября, приказал портреты государя "

своем дворце перевернуть, повесив изображение к стене и подкладку наружу, а один портрет отнесли на чердак.

„И мемуаров Сипягина не читал, но жена его мне говорила, что он писал в них все совершенно откровенно. Сипягин же был честнейший и благороднейший человек, совершенный дворянин, ультра—консерватор; он в последние полгода своего министерства откровенно и с большою горечью мне говорил, что на государя полагаться нельзя и главное, что государь не правдив и коварен. Это он в отчаянии говорил и своей жене.“

В этом эпизоде проявилась уже некоторая сложность психологии царя, опустившегося до низкопробной, но, по его мнению, вероятно, весьма тонкой игры. Несомненно, что царь уничтожил неприятный для него дневник—исторический документ. Эта наивная попытка обмануть историю производит впечатление уже отвратительное, когда Николай II, чтобы замести следы обвинил Гессе в том, в чем сам был так гадко виноват...

XI.

Имея непрерывное общение с таким монархом, как Николай II-ой, и вида постоянно „смердящее влияние придворной камарилки“, Витте не мог не чувствовать и не предчувствовать, что царствование гомункулуса будет последним. Эта мысль постоянно преследует Витте, и он неоднократно высказывает ее в той или иной форме. Эта мысль сама собой родилась в такой обстановке, где отсутствовал человек, где не было ни тени разума, ни капли благородства, где властвовала самодержавная дурь и „мальчишеское управление 140-миллионным народом“.

И изливая горечь своего сердца по этому поводу, Витте пишет:

„Зная государя с юношеских лет, я его люблю, как человека, самым горячим и искренним образом, и если у меня накапливается иногда чувство злости против него, то чувство подсказывается досадою на то, что царь губит себя, свой дом и наносит раны России“...

И еще более решительно:

„Можно пролить много крови, но в этой крови можно и самому погибнуть и погубить своего первородного чистого младенца, сына-наследника. Дай Бог, чтобы сие не было так, и во всяком случае, чтобы не видел я этих ужасов“...

Предсказания исполнились, но такие предсказания делались многими, даже и далеко стоявшими от Романовского двора людьми. Рок тиготел видимо для многих над обреченным домом. И чуткие люди невольно становились прорицателями.

Приводим из воспоминаний Витте рассказ его о предчувствиях или предсказаниях барона Альфонса Ротшильда в связи со многими последовавшими затем событиями в России. Этот рассказ рисует по истине чудовищную картину начавшегося тогда мистического устремления Романовых, выродившегося затем в распутиновщину,—и вместе с тем, начинаясь с небольшого

эпизода, разрастается в длинную цепь фактов, рисующих и придворные нравы, и систему управления, и все специфические особенности разлагавшегося и гнившего в корнях своих самодержавия. В этом рассказе, затрагивающем так много тем и сторон жизни, ярко отражается монархический быт со всеми его чудовищными контрастами и неожиданными сцеплениями событий.

„В Париже,—рассказывает Витте,—я несколько раз (осенью 1904 года) виделся с главою дома Ротшильдов-бароном Альфонсом, 70-ти летним старцем, человеком большого государственного ума и отличного образования. Я был с ним в прекрасных отношениях и любил говорить с этим умным и много знающим человеком. Он был в прекрасных отношениях с Наполеоном III и вообще со всеми выдающимися деятелями второй империи. В душе империалист, уживался, но не любил республику. Много знал, видел и был весьма начитанный... Более всего он говорил о дурном, по его мнению, признаке при нашем дворе, о водворении странного мистицизма. Он несколько раз возвращался к этому разговору, указывая на то, что история показывает, что предвестником крупных событий в странах, в особенности событий внутренних, всегда является водворение при дворах правителей странного мистицизма, конечно, всегда связанного с именами крупных шарлатанов. Он мне прислал затем целую книгу по этому предмету, в которой автор на основании исторических фактов поддерживает эту мысль. На мой вопрос, почему он мне все это говорит, он ответил, что по поводу всяких разговоров, распространяемых во Франции о влиянии на их величеств и некоторых великих князей и княгинь доктора Филиппа (из Лиона); затем он мне рассказал некоторые из этих слухов, добавил, что много, вероятно, преувеличено, но факт всетаки несомненный, что шарлатан доктор Филипп видится с их величествами, почитается ими чуть-ли не за святого и имеет существенное влияние на их психику. Все эти рассказы, распространяемые во Франции, производили на нас русских, конечно, тяжелое впечатление. О Филиппе, конечно, я много слышал и в Петербурге. Сообщаю кратко то, что мне известно достоверно или почти достоверно.

„Филипп нигде оконченного образования не получил, проживал он в окрестностях Лиона. Дочь его вышла замуж за маленького доктора. Когда Филипп начал практику лечения различными чудодейственными средствами, то, как обыкновенно в этих случаях бывает, имел некоторые случаи успеха лечения и также предсказаний. Лица, его знавшие, говорили, что он вообще человек умный и имеет какую-то мистическую силу над слабовольными и нервно-больными. Он имел также полицейские процессы, вследствие жалоб некоторых лиц на его шарлатанство. Правительство ему запретило лечить и потому иногда преследовало. Тем не менее он составил себе небольшую кучку поклонников, преимущественно в числе националистов (история Буланже-Дрейфус). К этой кучке поклонников принадлежал также наш военный агент в Париже, полковник генерального штаба граф Муравьев-Амурский (младший брат министра юстиции Н. В. Муравьева, которому дядя не пожелал передать титула вследствие его дурного поведения—процесса со своей матерью и пр.).

Этот граф был человек положительно не нормальный, он все хотел нас втащить в историю с ненавистным ему республиканским правительством, а так как я был в числе лиц, препятствовавших сей авантюре, полагая, что нам не следует вмешиваться во внутренние дела Франции, и так как в результате граф Муравьев-Амурский был смещен, то он меня, возмешавидел, хотя лично он меня не звал: граф Муравьев-Амурский и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае они уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и также уйдет обратно. С этим Филиппом познакомилась за границей жена великого князя Петра Николаевича, черногорка № 1, или жена принца Лейхтенбергского, черногорка № 2.

„Через черногорок Филипп влез к великим князьям Николаевичам и затем к их величествам. Таким образом Филипп несколько раз проживал секретно по месяцам в Петербурге и преимущественно в летних резиденциях, он постоянно занимался беседами и мистическими сеансами с их величествами Николаевичами и черногорками. На даче великого князя Петра Николаевича около Петергофа с Филиппом виделся и Иоанн Кронштадтский. Повидимому там и родилась мысль о провозглашении старца Серафима Саровского святым. Об этом эпизоде мне рассказывал К. П. Победоносцев так:

„Неожиданно он получил приглашение на завтрак к их величествам. Это было неожиданно потому, что К. П. в последнее время пользовался очень холодными отношениями их величеств, хотя он был одним из преподавателей государя и его августейшего батюшки. К. П. завтракал один с их величествами, и после завтрака государь в присутствии императрицы заявил, что он просил бы К. П. представить ему ко дню празднования Серафима, что должно было последовать через несколько недель, указ о провозглашении Серафима Саровского святым. К. П. доложил, что святыми провозглашает святейший синод и после ряда исследований, главным образом, основанных на изучении лица, который обратил на себя внимание святою жизнью и на основании мнений по сему предмету населения, основанных на преданиях. На это императрица соизволила заметить, что „государь все может“. Этот напев имел и я случай слышать от ее величества по различным поводам. Государь соизволил принять в резон доводы К. П. и последний при таком положении вопроса покинул Петергоф и вернулся в Царское Село, не уже вечером того же дня получил от государя любезную записку, в которой он соглашался с доводами К. П., что этого сразу сделать нельзя, но одновременно повелевал, чтобы к празднованию Серафима в будущем году саровский старец был сделан святым. Так и было исполнено.

„Государь и императрица изволили ездить на открытие колодезь. Во время этого торжества было несколько случаев чудесного исцеления. Императрица ночью куналась в источнике целительной воды. Говорят, что были уверены, что саровский святой даст России, после четырех великих князей, наследника. Это сбылось и окончательно и безусловно укрепило веру их величеств в святость действительно чистого старца Серафима. В кабинете его величества появился большой портрет—образ святого Серафима.

„Во время революции, после 17-го октября, обер-прокурор святейшего синода, князь А. Д. Оболенский, несколько раз мне сетовал, что черногорки все вмешиваются в духовные дела и мешают святейшему синоду и что как-то раз по этому предмету он заговорил с его величеством о сзатом Серафиме Саровском, на что государь ему сказал: „Что касается святости и чудес святого Серафима, то уже в этом я так уверен, что никто никогда не поколеблет мое убеждение. Я имею к этому неоспоримые доказательства“.

„Их величества пробыли в Сарове несколько дней. Эти торжества имели большое влияние на укрепление расположения его величества к двум лицам: к министру внутренних дел Плеве, который был на этих торжествах, и к губернатору Лауниц.

„Оба эти лица впоследствии были убиты. Плеве, ранее 17-го октября 1905 года (15 июля 1904 г.) и уже после, во время революции—Лауниц.“

„Когда одна из черногорок была в Париже, она потребовала к себе заведывавшего там нашею тайною полицией Рачковского и выразила ему желание, чтобы Филиппу разрешили практиковать и дали ему медицинский диплом. Конечно, Рачковский объяснил этой черномазой принцессе всю наивность ее вожделения, причем недостаточно почтительно выразился об этом шарлатане. С тех пор он нажил в ней опасного при дворе врага. Покуда занимал пост министра внутренних дел благородный и честный человек Сипягин, Рачковского не трогали, так как он по части своей профессии имел несомненные заслуги в Париже. Но после того, как Сипягина безвинно злодейски убили и вступил на пост министра внутренних дел Плеве, с Рачковским скоро расправились. Еще Сипягин несколько раз смущенно мне говорил о том, что ему очень не нравится эта история с Филиппом, но что он ничего сделать не может, так как она не входит в сферу его действий и влияний.

„Что касается Филиппа, то, будучи в России, он находился на особом попечении дворцового коменданта Гессе, который (как и ныне дворцовый комендант) имеет свою секретную полицию по охране. Генерал-адъютант Гессе считал нужным запросить Рачковского, что представляет собою Филипп. Рачковский оставил относительно этой личности рапорт, где он фактически представил Филиппа шарлатаном. Этот рапорт он привез в Петербург с собою, куда приехал по делам. Ранее, нежели представить его Гессе, он прочел его Сипягину. Сипягин ему сказал, что, как министр внутренних дел, он об этом рапорте ничего не знает, так как он ему не адресован, а, как человек, советует бросить его в топившийся камин. Рачковский тем не менее представил рапорт по назначению. Как только Плеве стал министром внутренних дел, Рачковский был уволен, причем ему было воспрещено жить в Париже и, кажется, вообще во Франции. Тогда же я спрашивал Плеве, почему это случилось, на что он мне ответил, что так от него потребовали. Гессе всически защищал Рачковского, но безуспешно. Впрочем, после, при Трепове (род диктаторства), Рачковский был снова призван занять выдающийся пост в департаменте полиции.

„Так как Филиппу не удалось получить диплома во Франции, то вопреки всем законам, при военном министре Куропаткине, ему дали доктора медицины

от петербургской военной медицинской академии и чин действительного статского советника. Все это без всяких оглашений. Святой Филипп пошел к военному портному и заказал себе военно-медицинскую форму. Императрицу Марию Федоровну не мало смущали ночные сеансы с Филиппом, хотя они держались в секрете. Великий князь Николай Николаевич и принц Лейхтенбергский, второй и первый супруги чернойгорки № 2, на вопросы их друзей о Филиппе категорически отвечали, что во всяком случае это святой человек. Понемногу около Филиппа образовалась немногочисленная секта своего рода иллюминатов. Насколько Филипп воздействовал на психоз императрицы, а следовательно, и царя, видно из следующего, достоверно мне известного факта.

„Когда император последний раз был во Франции, то во время смотра на площади перед атакой кавалерии вдруг заметили на середине площади человека. Стоявшие около императрицы лица, обратив на сие внимание ее величества, испугались, но императрица, узнав в нем Филиппа, преспокойно заметила, что замеченный человек во всяком случае останется целым.

„Филипп через несколько лет, еще до окончания войны, умер, но, по уверению его поклонников, поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию. Кажется, в особенности увлекался Филиппом великий князь Николай Николаевич, который вообще мистически тронут. Благодаря верчению столов и вызову духов, он сошелся с купчихой Бурениной, с которой долго жил *maritalement*, а Буренина из-за этого, кажется, совсем помешалась. С тех пор он постоянно занимался шарлатанами мистицизма“.

Отсюда был проложен путь и для всех иных представителей шарлатанствовавшего мистицизма, который в конце концов заполнил собою всю духовную атмосферу Романовых пред их гибелью. Быть может, психиатры и невропатологи найдут в этом богатую пищу для своих научно-обоснованных гипотез и объяснений и сведут эту дворцовую манию к определенному типу психических и нервных заболеваний. Но большим место — в клинике, а здесь эти больные, прежде всего, самодержавием („царь все может“), десятилетиями правили стосорокамиллионным народом, и это управление бросало страну в пропасть развала и распада...

Первый придворный „мистик“, „доктор“ петербургской медицинской академии, „пришлец“ и гастролер, француз Филипп начал собою серию тех безумных чудес, которые закончил Распутин, достойно увенчав конец монархии...

XII.

Если считать момент перелома реакции восьмидесятых годов с голодного 1892 года, то оппозиционное и революционное движение в начале своем совпадает как раз с началом царствования Николая II-го. Медленно, подспудно, невидимыми подземными течениями растет оно и ширится, и, — теперь это ясно видно, — обреченная монархия, точно волею рока, делает со своей стороны решительно все, что бы дать живительные соки смертельно-вражескому для нее движению и оправдать его не только по существу, но и во всех его крайностях. Воспоминания Витте не дают богатого материала для подхода к прошлому

именно с этой широкой стороны. Бывший всемогущий министр не рисует всесторонней и общей картины разложения, не дает фундаментальных и исчерпывающих данных для обоснования ими крушения монархии. Но эпизодический материал и массу фактов, хотя бы и слишком мелких, порой крошечных, он предоставляет в изобилии,—и тяжелая поступь грядущей революции слышится с первых же страниц „Воспоминаний“.

С. Ю. Витте начинает свои воспоминания описанием торжественных похорон императора Александра III-го и, между прочим, передает такой эпизод:

„Как только вынесли гроб императора, потрепавшая процессия двинулась через Невский проспект, Литейный мост в Петропавловский собор.

„Процессия шла, конечно, по заранее определенному церемониалу, при чем министры шли парами впереди гроба, перед певчими и духовенством. Я не помню, с кем я шел. Всюду стояли шпалерами войска; была масса народу“...

„На Невском проспекте, вдруг я слышу голос: „смирно!“ Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба скомандовал своему эскадрону: „смирно!“—Но вслед за этой командой „смирно“, он скомандовал еще следующее: „голову направо, смотри веселей“...

„Последние слова мне показались такими странными, что я спросил у своего соседа:

— Кто этот дурак?

„На что мой сосед мне ответил, что это ротмистр Трепов, тот самый Трепов, который впоследствии сыграл такую удивительную роль, в качестве сначала градоначальника Москвы, генерал-губернатора Петербурга, потом товарища министра внутренних дел, а в сущности диктатора—впредь до 17 октября“.

С такими „дураками“ читателю придется встречаться слишком часто на страницах „Воспоминаний“. „Дурак“, можно сказать, здесь царствует и управляет, направляет и указывает и все объясняет... „Дурак“ поразительно крепок в своей позиции, и такой образцовый представитель этой породы, как барон Фредерикс, не могший ни понять чужой мысли, ни осознать простого факта, как мы отмечали, мог спокойно быть ближайшим советником государя в течение 20 лет до гибели трона!..

С. Ю. Витте стоял далеко от министерства внутренних дел, да, повидимому, и не интересовался им, плывя, как и его коллеги, по бюрократическому морю по воле царских воли. Но он знал министров внутренних дел, как определенных личностей, и его характеристика и некоторые о них данные, дают подспорный материал для оценки самодержавного быта и внутреннего положения страны, приведшего к катастрофе.

ХIII.

Вот первый министр внутренних дел, назначенный Николаем II — И. Л. Горемыкин. С. Ю. Витте просто, по обывательски, точно дело идет не о самом ответственном poste и не о самой тяжелой и ответственной работе,—в этому

„домашнему“ отношению к государственным делам при Романовых все при-
выкло, — рассказывает и историю назначения Горемыкина, и историю канди-
датур на его пост, и забегая вперед, кстати передает любопытные подроб-
ности о путешествии Горемыкина за границу по темным делам и о браже важ-
ного документа, и о блестящей роли знаменитого Рачковского, начальника
тайной полиции заграницей, делавшего погоду даже в международной дипло-
матии. Как это часто бывает, великие издали дела оказываются смешными
обывательскими историями, похожими на сплетню. Это сходство со сплетней
правды жизни подчеркивает хорошо все значение таких событий в общем
ходе революционизирования России.

„2 апреля 1895 г. товарищем министра внутренних дел, по рекомендации
Победоносцева, был назначен, — пишет С. Ю. Витте, — Горемыкин, который до
этого назначения занимал пост товарища министра юстиции.

„Горемыкин был назначен товарищем министра внутренних дел не по
выбору Ивана Николаевича Дурново, так как Иван Николаевич представил
других кандидатов и, между прочим, князя Кантакузена графа Сперанского.
Но в это время государь уже начал относиться недоверчиво к министру
внутренних дел Дурново. Что послужило причиной этому, я в точности не
знаю, но Иван Николаевич Дурново говорил мне тогда, что он приписывает
некоторое недоверие государя императора влиянию его августейшей матушки:
что августейшая матушка недовольна им, потому что, будто бы им, Дурново,
перлюстрируются письма, ею получаемые, в чем она и уверлет императора.

„Иван Николаевич Дурново говорил мне, что он перлюстрирует письма
не занимается, хотя утверждение это было поверно, как в отношении его.
Так и в отношении всех последующих министров внутренних дел. Недавно
погибший министр внутренних дел Столыпин точно так-же погодовал, возму-
щались делаемыми предположениями, что в министерстве внутренних дел
им перлюстрируются частные письма. Между тем я знаю совершенно досто-
верно, что письма эти перлюстрировались, и что Столыпин посвящал очень
много времени чтению чужих писем. Это приносило вред и мне, ибо, когда
я был председателем совета министров, то и мне одно время давали все эти
письма, и я знаю по себе, как эти письма влияют на нервы и возбуждают
различные чувства.

„После отставки П. Н. Дурново император Николай II не назначил
министром внутренних дел Сипягина, как это было в мыслях его отца, импе-
ратора Александра III, а назначил Горемыкина. Это случилось следующим
образом:

„Когда уходил Иван Николаевич Дурново, то явился вопрос, кого назна-
чить вместо него, и государь император как-то раз, когда я пришел к нему,
спросил об этом мое мнение:

— „Как вы думаете, кого бы вы мне посоветовали назначить министром
внутренних дел.

„Тогда я в свою очередь спросил у государя, кого он имеет в виду —
потому что мне самому не хотелось бы указывать лиц, а я бы мог дать

только характеристику того или другого лица, которое будет указано государем.

„Государь мне на это ответил, что ему рекомендуют двух лиц: Плеве и Сипягина. Кто ему их рекомендует, государь не говорил, но я, конечно, догадался.

„Что касается Плеве, то его рекомендовал государю Николаю II И. Н. Дурново так же, как он его рекомендовал императору Александру III; а что касается Сипягина, то относительно его, вероятно, императору Николаю II было известно, что это был кандидат в министры его отца.

„Относительно Плеве и Сипягина я сказал государю следующее, что Плеве и Сипягина я обоих хорошо знаю. Плеве делал свою карьеру, как юрист, он дослужился до прокурора судебной палаты; затем при Лорис-Меликове из прокурора судебной палаты он был назначен директором департамента полиции; из директора департамента полиции он был назначен товарищем министра внутренних дел и, наконец, государственным секретарем. Я сказал, что человек он несомненно очень умный, очень опытный, хороший юрист, вообще человек очень деловой, в состоянии много работать и очень способный, но насколько на него можно положиться в том смысле—каковы его убеждения, есть-ли это в данный момент его убеждения, искренни-ли они, глубоки-ли, а не просто-ли карьерные,—об этом всегда судить очень трудно.

„Когда Плеве был прокурором судебной палаты, он был довольно либеральных идей, вследствие этого граф Лорис-Меликов, когда он был начальником верховного управления, а потом министром внутренних дел (его тогда называли диктатором сердца императора Александра II)—взял Плеве директором департамента полиции. В то время Плеве поклонялся политике Лорис-Меликова и сочувствовал его более или менее конституционным идеям. Затем Лорис-Меликова сменил граф Игнатьев. Плеве был правой рукой графа Игнатьева и поклонялся графу Игнатьеву, хотя, как известно, мнения графа Игнатьева совершенно не сходились с мнениями Лорис-Меликова. Лорис-Меликов был конституционалистом в западном смысле, а граф Игнатьев был практический славянофил, видевший спасение в земском совещательном собрании.

„Затем граф Игнатьев был смещен министром внутренних дел Толстым. Толстой, в качестве министра внутренних дел, явился представителем в полном смысле слова самодержавной бюрократии, и Плеве стал самым большим поклонником и сторонником его системы; проводил его мысли и чуть-ли не клялся на его, Толстого, формулой, как на тексте Евангелия.

„Затем я сказал его величеству:

— А каковы в действительности мнения и убеждения Плеве, об этом, я думаю, никто не знает, да полагаю, что и сам Плеве этого не знает. Он будет держаться тех мнений, которые он считает в данный момент для него лично выгодными и выгодными для того времени, когда он находится у власти.

„Я же сказал государю, что Плевел ренегат из-за карьеры, а я думаю, что не может быть честного человека, меняющего свою религию из житейских выгод. Я также не сказал государю, что Плевел по натуре хам и сделался лрым адвокатом всех дворянских эгоистических тенденций не по убеждениям и не по традициям (его отец еще не был дворянином, а чуть-ли не органистом у какого-то польского помещика), а потому, что посредством дворянской клики у престола он делал и сделал свою карьеру. Как ренегат и не русский, он, конечно, дабы показать, какой он „истинно—русский и православный“, готов был на всякие стеснительные меры по отношению ко всем подданным его величества не православным. Вот почему Победоносцев его презирал так как сам Победоносцев это делал по убеждению. Все люди грешны и забавляются „благородным занятием“, как выражаются итальянцы, но мало уважают тех особ, с которыми они забавляются.

„Что же касается Сипягина, то я сказал, что Сипягин гораздо менее образован, гораздо менее способный, нежели Плевел. Хотя он окончил курс в университете на юридическом факультете, но имеет довольно слабые юридические знания и даже довольно слабые вообще научные знания. Будучи предводителем дворянства, а затем вице-губернатором и губернатором, он довольно хорошо знает административную губернскую часть. Вообще это человек со здравым смыслом, но что касается знаний, таланта, опыта, то он гораздо ниже Плевела. Но за то Сипягин—это человек убеждений, убеждения его очень узкие, чисто дворянские, он придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах; это его убеждения и убеждения твердые. Вообще Сипягин своих убеждений не меняет; человек он прекрасной души, по натуре весьма гуманный, твердый и представляет собою в истинном смысле слова образец русского благородного дворянина.

„Сделав характеристику этих обоих лиц, я расстался с его величеством и через некоторое время уехал в Вишн.

„Когда месяца через полтора-два я вернулся обратно из Вишн—министр внутренних дел еще не был назначен, а Иван Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел, был назначен председателем комитета министров.

„Вступив в управление министерством финансов, я сразу почувствовал крайнее неудобство от отсутствия министра внутренних дел. Замещал министра внутренних дел временно его товарищ Горемыкин, который ничего на себя брать не хотел, потому что каждый день мог быть назначен другой министр внутренних дел, вследствие чего Горемыкин вел одни текущие дела.

„При первом же моем докладе государю императору, я спросил, кого же его величество полагает назначить, причем указал на то, что я застал целый ряд бумаг и дел не решенных и не двигающихся вследствие отсутствия министра внутренних дел.

„На это мне император Николай II сказал:

— „Я после нашего разговора, который я имел с вами о Плевеле и Сипягине, спросил еще и мнение К. П. Победоносцева. Он, говорит, сказал мне

свое мнение, но я так и не решился кого-нибудь назначить, все ожидал вашего приезда.

„Тогда я спросил государя:

— Какое же мнение Константина Петровича, если ваше величество соизволите мне это сказать?

— Да он очень просто мне сказал; когда я указал на этих кандидатов, то Константин Петрович сказал, что Плеве подлец, а Сипягин—дурак.

„Поэтому государь и считал, что как того, так и другого назначить нельзя.

„Затем государь сказал мне, что, когда он спросил Победоносцева, кого же в конце концов он рекомендует назначить, Победоносцев ответил, что, по его мнению, надо назначить того, кто и теперь уже состоит товарищем министра внутренних дел, - т. е. Горемыкина.

— А что вы думаете по поводу назначения Горемыкина? - спросил меня государь.

„Я ответил государю, что Горемыкина я сравнительно очень мало знаю, ничего о нем определенного сказать не могу, но что вообще Горемыкин производит на меня впечатление человека порядочного, причем добавил, что, по всей вероятности, Константин Петрович, между прочим, рекомендует Горемыкина потому, что Горемыкин-правовед, а известно, что правоведы, также, как и лицеисты, держатся друг за друга, все равно, как евреи в своем кагале.

„И если, - сказал я, - у вашего величества никого больше не имеется в виду, то, может быть, вы решитесь назначить Горемыкина.

„Государь ответил:

— Да, я назначу Горемыкина.

„Когда я уходил от государя из его кабинета, туда вошел Танеев, и когда я с ним ехал обратно из Царского в Петербург, Танеев мне сказал:

— Как я рад, что вы, наконец, вернулись из-за границы. Государь все время не решался, - кого назначить министром внутренних дел, а вот сегодня приказал представить мне ему указ о назначении на этот пост Горемыкина.

„С вокзала я прямо поехал в министерство внутренних дел, к Горемыкину и сказал ему, что мне известно, что его величеству угодно было решить назначить его министром внутренних дел, Горемыкин этой вестью был очень доволен и начал говорить со мною о следующем:

„Со времени соединения министерства внутренних дел с 3-м отделением министр внутренних дел сделался по своей должности и шефом жандармов, и таким образом министры внутренних дел, кроме полагающегося им довольствия: содержания, казенной квартиры, отопления и проч., стали получать и по смете жандармского управления 50 тыс. руб. в год на особые расходы. Под этими особыми расходами подразумевались расходы негласные, которые министр внутренних дел, как начальник полиции, иногда должен был производить и о которых трудно было кому-либо давать отчеты, кроме, конечно, отчета государю императору.

„Но постепенно эти 50.000 руб. министры внутренних дел просто начали тратить на свои личные нужды, а также на представительство, что, конечно, было некорректно.

„Так вот Горемыкин, ни с того, ни с сего, сказал мне, что он рад получить самостоятельное место; рад, что состоялось определенное назначение, и что он теперь уже не временно управляющий министерством, не калиф на час. Первое, что он теперь делает, это распорядится, чтобы те 50.000 руб., которые получали министры внутренних дел, чтобы их ему не давали, а чтобы их сам департамент полиции тратил на секретные нужды.

„Но это благое пожелание так и осталось „благим пожеланием“. В конце концов Горемыкин продолжал получать эти 50.000 руб. и тратить их на свои нужды, что делали все его преемники. Разница между ними и покойным председателем совета министров и министром внутренних дел Столыпиным состояла лишь в том, что они брали только эти 50.000 руб., а когда министром внутренних дел сделался Столыпин, то уже дело не ограничивалось 50.000, а, насколько мне известно со слов министра финансов и нынешнего председателя совета министров,—Столыпин и его ближайший помощник по делам полиции Курлов тратили на свои нужды или на свое представительство уже не 50.000, а сотни тысяч. Это было одним из последствий так называемого конституционного порядка, который водворял П. А. Столыпин.

„Горемыкин, до назначения министром внутренних дел, был довольно либерального направления, но как только он сделался министром внутренних дел, под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику.

XIV.

„Говоря о Горемыкине, как министре внутренних дел, я должен,—продолжает С. Ю. Витте,—попутно сказать несколько слов о Рачковском.

„Рачковский еще при императоре Александре III был назначен заведующим тайной полицией в Париже.

„Когда мы сблизились с Францией, и император Александр III вошел в соглашение с французской республикой, то параллельно с этим фактом значительно увеличилась и роль Рачковского в Париже. Во первых, потому, что французы начали относиться совсем иначе к тем нашим революционерам, которые производили террористические акты в России и находили себе приют во Франции. Во вторых, потому что Рачковский, несомненно, был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Несомненно, как полицейский агент, Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских, с которыми мне приходилось встречаться. После него все эти Герасимовы, Комиссаровы, не говоря уже о таких негодяях, как Азеф и Гартинг—все это мелочь и мелочь не только по таланту, но и мелочь в смысле порядочности, ибо Рачковский, во всяком случае, гораздо порядочнее, чем все эти господа.

„Значению Рачковского содействовало и то, что он был в Париже при послах Морентейме и затем Урусове, людях совершенно бесцветных и не могущих иметь никакого значения. Так, что Рачковский во многих случаях вследствие своих дарований мог оказывать большее влияние к сближению с Францией, нежели послы. Влияние это он оказывал или непосредственно через министра внутренних дел и дворцовых комендантов, или же при посредстве самих же этих послов.

„Насколько Рачковский имел значение, можно видеть из того, что, как я помню, президент французской республики Лубе говорил мне, что он так доверяет полицейскому таланту и таланту организации Рачковского, что, когда ему пришлось ехать в Лион, где,—как ему заранее угрожали,—на него будет сделано нападение, то он доверил охрану своей личности Рачковскому и его агентам, вера больше в полицейские способности Рачковского, нежели поставленной около президента французской охране.

„Когда в 1899 году государь император уехал в конце августа за границу, то,—как я говорил,—в скором же времени я предпринял путешествие по России; вскоре также уехал и Горемыкин в качестве министра внутренних дел.

„С Горемыкиным поехали: инженер Балинский, сын известного психиатра Балинского, затем полу-литератор, полу-агент тайной полиции М. М. Ляценок, который кончил свою карьеру в сумасшедшем доме, сын кавалерийского генерала, и, наконец, в Париже к Горемыкину пристал Рачковский.

„Таким образом дальнейшее путешествие они совершали вместе, причем Горемыкин тогда еще был министром внутренних дел.

„Они все вместе поехали в Англию; путешествовали по Англии и входили там в какие-то соглашения с различными промышленными фирмами, между прочим, и в соглашение, касающееся сооружения на фестокадах круговой железной дороги вокруг Петербурга.

„В то время агентом министерства финансов в Париже был известный Татищев.

„Вот этот Татищев мне, как министру финансов, рапортовал, что вот, мол, поехал Горемыкин с такой своей свитой; совершал путешествие по Англии и входил в такие-то соглашения, весьма неприличные, с промышленными фирмами, что он, Татищев, не смеет думать, что об этом знает сам Горемыкин, но несомненный факт (чему он представил доказательства), что вся его свита брала от этих промышленников различные промессы.

„Но из описания этого дела Татищевым было ясно, что если сам И. Л. Горемыкин во всех этих промессах и не участвовал, то во всяком случае ему о них было безусловно известно.

„Нужно сказать, что Горемыкин относился весьма симпатично к Рачковскому, как к своему агенту в Париже, и между ними были самые лучшие отношения. Так что, когда впоследствии Горемыкин сделался председателем совета министров, то он сейчас же снова приблизил к себе Рачковского; Рачковский даже поселился у председателя совета министров в доме министерства внутренних дел на Фонтанке.

„Это донесение Татищева я положил в архив министерства финансов. „Я, между прочим, рассказал Сипягину всю историю путешествия Горемыкина с г. Балинским, с М. М. Лященко и с Рачковским.

„Тогда Сипягин просил меня дать ему на некоторое время то донесение, которое я получил по поводу поездки Горемыкина в Англию. Я дал Сипягину это донесение. Затем, как-то он меня спросил: „нужно-ли мне это донесение и можно-ли задержать на несколько недель?“

„Я ответил, что мне это донесение не нужно, что оно находилось в архиве министерства финансов, и я им ни в каком отношении не пользовался.

„Через несколько дней после этого события Сипягин был убит Балмашевым.

„Тогда у меня явилась мысль, между прочим, о том, чтобы получить обратно этот документ.

„Документы, оставшиеся после смерти Сипягина, были разобраны особой комиссией, во главе которой стоял, кажется, князь Святополк-Мирский—товарищ Сипягина, или Дурново, также один из товарищей Сипягина. Я обратился к этим лицам с вопросом, не нашли-ли они там такого документа?

„Они мне сказали, что нашли этот документ, но, не зная, откуда, он появился у Сипягина, передали его директору департамента полиции Зволянскому. Но затем документ этот я от Зволянского получить не мог под тем предлогом, что документ этот был уничтожен.

„Между тем должен сказать, что Зволянский был интимный друг Горемыкина, потому что оба они, и Горемыкин и Зволянский, были ярые поклонники жены генерала Петрова, который одно время был директором департамента полиции и начальником жандармов. По причинам, трудно объяснимым, они на этом поприще не только не рассорились, но близость к госпоже Петровой совершенно их между собою связала“.

С. Ю. Витте высказывает сожаление о пропаже этого интересного документа, наличие которого впоследствии облегчила бы борьбу С. Ю. Витте с И. Л. Горемыкиным. Вероятно, этот документ уничтожен и не сохранился, к сожалению, для истории. Но и без него портрет Горемыкина так выпукл и ярок, что большая или меньшая степень вороватости этого деятеля, толкавшего Россию к февралю 1917 г., не преувеличила бы ни на йоту его заслуг в этом отношении.

XV.

Громадным влиянием на Николая II-го пользовался К. П. Победоносцев, доставшийся государю по наследству от отца. Николай II желал во всем подражать Александру III, реакционными идеями которого он был пропитан. Но, не умея быть даже господином самого мелкого своего слова, Николай II пытался следовать заветам отца, живым истолкователем которого в его глазах являлся совершенно справедливо Победоносцев.

С. Ю. Витте рисует Победоносцева такими чертами: „выдающегося образования и культуры человек, безусловно честный (?) в своих мыслительных

и амбициях, большого государственного ума, нигилистического по природе, отрицатель, критик, враг созидательного полета, на практике поклонник полицейского воздействия, так как другого рода воздействия требовали преобразований, а он их понимал умом, но боялся по чувству критики и отрицания; поэтому он усилил до кульминационного пункта полицейский режим в православной церкви“.

Влияние Победоносцева на Николая II было самым отрицательным и разрушительным. Если когда-либо что доброе и вспыхивало в душе Николая II-го, то Победоносцев умело тушил эти искры. Но и Победоносцев должен был, вероятно, в изумлении останавливаться перед решениями своего монарха.

Ясно и определенно, авторитетно и смело Победоносцев аттестовал Сипягина, как „дурака“. И Николай II назначил этого „дурака“ преемником Горемыкина, как после Сипягина назначил министром внутренних дел аттестованного Победоносцевым „подлецом“—Плеве, как впоследствии назначил управляющим министерством внутренних дел П. Н. Дурново, аттестованного Александром III-м—„мерзавцем“, а в начале своего царствования министром иностранных дел Лобанова—Ростовского, о котором Александр III на докладе написал резолюцию в очень резкой форме, передаваемую С. Ю. Витте в очень мягких выражениях: „Лобанов-Ростовский—человек совершенно легкомысленный“. Повидимому, термин „дурак“ не отсутствовал и здесь.

Какой-то особенный вкус был у Николая II к этой людской падали.

И характерно для Николая II, что он решение свое назначить „дурака“ Сипягина министром держал в величайшем секрете. Он приказал Сипягину хранить в тайне его назначение до тех пор, пока не появится об этом официального указа, разрешив сказать о решении царя только жене... Очевидно, Николай II боялся Победоносцева, боялся и иных влияний...

Сипягин, как известно, был министром не долго и пал от руки революционера Балмашева. Как министр, он проводил самую глупую реакционную политику, чем вызывал упреки даже со стороны близких ему лиц. Характерны объяснения Сипягина по этому поводу.

„Как-то раз,—пишет Витте,—я говорил Сипягину в присутствии его жены, что меры эти (реакционного характера) не приведут к добру, он, оправдывая их и находя их необходимыми, сказал мне:

— Если бы ты знал, что от меня государь требует. Государь считает, что я весьма слаб.

Повидимому, Николай II не долго думал при выборе преемника Сипягину. Хоть Плеве и „подлец“, но „слабым“ не будет...

К тому же назначению Плеве содействовал временный фаворит государя, знаменитый князь Мещерский.

„Князь Мещерский, редактор-издатель „Гражданина“,—рассказывает С. Ю. Витте,—играл в последние 25 лет довольно видную роль в нашей политической жизни.

„Он человек не глупый, талантливый, но беспринципный и до мозга костей безнравственный. Он постоянно был окружен несколькими молодыми

людьми, которым всеми правдами и неправдами делал карьеру. Сколько он в своей жизни написал изобличительных статей по адресу власти имеющих только потому, что эти лица не устроили так, как этого желал князь Мещерский, его молодых людей.

„Император Николай II в первые годы своего царствования не хотел иметь с ним никаких сношений. Так продолжалось несколько лет. Когда стал министром внутренних дел Сипягин, мне сделалось известным, что князь Мещерский начал снова писать государю, и что его величество к нему относится благосклонно.

„Когда же Сипягина убили, Мещерский написал государю, умоляя его назначить Плеве на пост министра внутренних дел. Как это устроилось, мне неизвестно. Но Плеве был назначен, и затем Мещерский более уже не стеснялся секретом и начал показывать письма государя к нему. Государь ему писал „ты“, вполне на распашку, а вообще никому не писал „ты“, кроме своих родных.

„Князь Мещерский одно время приобрел самое решительное влияние на государя. Так как Плеве не всегда исполнял желания Мещерского, то между ними начали пробегать кошки. Мещерский писал его величеству, критикуя Плеве, на что Плеве как-то и мне жаловался.

„Когда Плеве убили—Мещерский сейчас же оказал его поможью. Это в порядке вещей для Мещерского. Это он. Наконец, князь Святопол—Мирский сломал ему шею. Государь перестал писать Мещерскому, но последний продолжал писать государю, и ничего не будет удивительного, если опять начнет влиять на его величество ¹⁾. Впрочем, теперь ему придется столкнуться с такою сволочью, как Пуришкевич, Дубровин и пр., которые, что касается интриг, подлости, лжи и угодничества, едва ли Мещерскому уступят.“

XVI.

Плеве, преемника Сипягина, С. Ю. Витте рисует, само собой понятно, самыми отрицательными красками, считая его одним из главнейших виновников японской авантюры и быстрого хода России к революционному взрыву.

Но Николай II шел за Плеве, как гипнотизированный „подлецом“ и послушно следовал его советам, хотя бы этому противодействовали даже внушавшие ему доверие лица.

Из эпизодов, касающихся Плеве и рассказанных Витте, отметим интересный „кавказский эпизод“, соединенный с именем кн. Голицына, главноначальствующего Кавказа. Этот известный реакционер сдерживался в своей раздражающей руссификаторской политике, пока у власти не появился Плеве. Плеве „пронюхал“, как говорит Витте, что царю любы реакционные проекты Голицына, и стал смело действовать в этом направлении.

¹⁾ Ниже С. Ю. Витте отмечает, что в 1912 г. влияние Мещерского на царя возобновилось благодаря адмиралу Нилу, в молодости бывшему любимцем Мещерского.

Проект секвестра имущества армянских церквей, представленный Голицыным, был отвергнут в особом совещании всеми голосами кроме Плеве и Голицына. Даже Победоносцев высказался против этой нелепости. И несмотря на настояния пред государем великого князя Михаила Николаевича, Николай II утвердил мнение меньшинства по настоянию Плеве. Погромная политика Плеве встречала тоже полное сочувствие государя. Витте вспоминает, что когда он доказывал царю несправедливость и невозможность погромной политики, то царь говорил: „но ведь они, жида, сами виноваты“... „Знаменитая“ зубатовщина тоже встречала сочувствие царя. Но Зубатов должен был уйти в отставку совсем не потому, что рабочие организации полицейского типа перестали интересоваться Плеве. Плеве просто свел счеты с Зубатовым, который осмелился явиться к князю Мещерскому и Витте и доложил им об опасном революционном состоянии России.

„Он (Зубатов) мне докладывал, рассказывает Витте, что в сущности вся Россия бурлит, что удержать революцию полицейскими мерами невозможно, что политика Плеве заключается в том, чтобы вгонять болезнь внутрь, и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода. Он прибавил, что Плеве убьют, и что он его уже несколько раз спасал“.

Зубатов был уволен за это обращение к „чужим ведомствам“ и даже выслан во Владимир. Но замечательно, что Витте докладывал, еще в качестве министра финансов, обо всей этой „зубатовщине“ Николаю II-му. Царь спокойно выслушал и не промолвил ни слова. Великому же князю Александру Михайловичу сказал, что Витте не прав, так как Плеве и великий князь Сергей Александрович вполне доверяют Зубатову. А через несколько дней тот же великий князь Александр Михайлович передавал Витте следующие слова царя:

— „А знаешь, Витте прав; оказалось, Зубатов устроил всю эту забастовку (моряков) и делал все рабочие организации. Витте неправ только в том направлении, что говорит, что Плеве обо всем этом знает. Плеве ничего не знал, только теперь все открыл и представил мне об увольнении Зубатов“...

Конечно, в действительности Плеве не только все знал, но и всем руководил....

„Для меня было совершенно очевидно,—заключает главу о Плеве С. Ю. Витте,—что все это повышенное революционное настроение России кончится или катастрофой, или большим переворотом, что и случилось 17 октября 1905 года, и что меры, принимаемые Плеве, приведут к тому, что он будет убит, ибо если есть тысячи и тысячи людей, которые решаются пожертвовать собой для того, чтобы убить того или другого сановника, то можно избежать этой катастрофы месяца, наконец, год, но, в конце концов, человек этот будет непременно убит, и я помню, за несколько месяцев до его убийства, как-то раз я к нему заехал, для того, чтобы с ним об'ясниться по поводу одного из его заявлений, сделанных в государственном совете, что будто бы я принципиально буду всегда идти против всякой его меры. Плеве думал, что я хочу занять его место, вследствие чего я хотел его убедить, чтобы он оставил

эти опасения. Я ему старался объяснить, что если ему иногда возражаю, то потому, что мои воззрения расходятся с его воззрениями по большинству государственных вопросов, и что в моем положении добиваться поста министра внутренних дел значит быть глупым, а этого, по крайней мере, до настоящего времени мне никто не приписывал. Затем я старался убедить его, что принятый им курс политики кончится дурно и для него, и для государства. Что при той политике, какую он ведет, он в самом непродолжительном времени будет устранен от всякой деятельности, потому что он неизбежно погибнет от руки какого-нибудь фанатика. Он такое мое предсказание выслушал, был им очень подавлен, но ничего на это не ответил.

„Конечно, этот разговор на него мало действовал. Нужно сказать, что петербургский режим создал массу людей, которые занимаются тем, что травят друг друга ложью и клеветой, ища для себя через это мимолетной выгоды. Многие личности (в том числе и государь) легко поддаются на эти наветы.

„Плеве так долго добивался поста министра, что, добившись своей цели, он готов был задушить всякого, кого он мог подозревать в способствовании его уходу с министерского места“.

ХVII.

В связи с убийством Плеве обнаружилась даже для правящих верхов вся напряженность и боевая сила революционного движения. Правительство должно было предпринять какие-либо шаги, попытаться спастись от натиска бури, поддерживаемой и усиливаемой роковым образом начатой войной с Японией.

Николай II сначала метнулся было направо: вызывал Штюмерера, с которым имел беседу, но назначить его не решился. Не прошла кандидатура и Валя, бывшего одно время товарищем министра у Плеве.

Откуда повеяло либеральным духом на Николая II,—неизвестно, но выбор его остановился на Святополке-Мирском, которого Витте аттестует с самой положительной стороны.

Рекомендовала государю Мирского Милашевич (Гендов), которая по первому мужу была Шереметьева (начальник конвоя при Александре III-м), а по рождению графиня Строгонова, дочь принцессы Лейхтенбергской, дочери императора Николая I Марии Николаевны. С этой Милашевич у государя, когда он, еще будучи наследником, часто бывал у Шереметьевых, установились хорошие отношения.

„При первом моем свидании с Мирским я ему поставил вопрос,—рассказывает С.Ю.Витте,—как относится государь к его действиям? Он мне ответил, что когда его величество предложил ему занять пост министра внутренних дел, он ему доложил, что ни физические силы, ни способности не позволяют ему принять этот пост, но государь настаивал на том, чтобы он исполнил его желание, обещав ему несколько месяцев в году отдыха. На это Мирский доложил его величеству, что кроме того он имеет свои политические взгляды и убеждения и что он не может поступить иначе, как велит ему совесть.

„Взгляды его таковы, что правительство и общество в настоящее время составляют два воинствующие лагери, что такое положение дела зарождалось издавна, но несчастная война это положение довела до крайности и что такое положение вещей невозможно, так как государство при таких условиях долго существовать не может. Таким образом, он считает, что необходимо примирить правительство с обществом, а это возможно только путем удовлетворения назревших и справедливых желаний общественных кругов, а равно и удовлетворения справедливых желаний инородцев.

„Государь ему сказал, что он сам того же мнения и что потому он не встретит препятствий к проведению этих мыслей. Тогда Мирский верил, что это будет так. По поводу с'езда (разрешенного Мирским с'езда земских и городских деятелей) я ему сказал, что, по моему мнению, относительно этого с'езда у него выйдет недоразумение и что с'езд в той или другой форме постановит желание конституции, а это, конечно, будет отвергнуто и что, следовательно, вместо начала примирения правительства с общественным мнением произойдет еще большее обострение.

„Так и случилось.

„Князь Мирский подал государю доклад с приложением проекта указа о различных вольностях, в том числе о привлечении в Государственный Совет выборных и о даровании полной свободы вероисповедания старообрядцам. Это был первый шаг к преобразованиям, задуманным Мирским. Как доклад сей, так и проект указа составлял служащий министерства Крыжановский под руководством князя А. Оболенского (будущего обер-прокурора), который, по обыкновению, всюду вмешивался, всюду высказывал свои идеи, часто неглупые, а большею частью внушенные беспокойною душою, в сущности, невзрастней. Он после событий 17 октября мне вполне открылся.

„Это по натуре умный и благонамеренный Добчинский, но страдавший и по ныне страдающий невзрастней в точном смысле медицинского термина. О сказанном докладе я ничего не знал, никто о нем тогда ничего не говорил и он нигде не обсуждался. Мне его передал князь Оболенский значительно позже ухода Мирского и ныне он находится в моем архиве.

„В ноябре 1904 года государь собрал совещание по вопросу о том, какие следует принять меры по поводу сказанного доклада Мирского. В совещание это были приглашены все министры—Кокорцев, Лобко, Ермолов, Муравьев, Ламсдорф, Сахаров, великий князь Александр Михайлович, Мирский, Победоносцев, Авелан, затем Будберг, главноуправляющий комиссией прошений, Танеев (главноуправляющий канцелярией), генерал-адмирал Рихтер, граф Воронцов-Дашков, граф Сольский, Э. В. Фриш и я. Мне передавали, что государь не хотел меня приглашать, но его уговорил Мирский. Это мне передавал князь Оболенский.

„Его величеству угодно было высказать, что, в виду того революционного направления, которое с каждым днем все более и более усиливается в России, он созвал своих советников для того, чтобы обсудить, какие меры надлежит принять в смысле удовлетворения желаний умеренного и благо-

разумного общества; причем сперва был поставлен вопрос: нужно ли идти навстречу этому обществу или надо продолжать прежнюю реакционную политику Плеве, которая привела к последовательному убийству двух министров внутренних дел Сипягина и Плеве?

„Мне пришлось говорить первому; я высказал свое решительное мнение, что вести прежнюю политику реакции — совершенно невозможно, что это приведет нас к гибели. Меня поддержали: граф Сольский, Фриш, Алексей Сергеевич Ермолов, Николай Валерьянович Муравьев и Владимир Николаевич Коковцов, причем последний поддержал меня с той точки зрения, что, при бывшем в то время направлении нашей внутренней политики, мы постепенно теряем доверие в финансовых кругах за границей, и такое положение дела при войне, которая до настоящего времени идет крайне для нас неблагоприятно, — может привести финансы к полному разорению.

„Князь Мирский почти не высказывал своего мнения, потому что, очевидно, он свое мнение высказал государю ранее, наедине.

„Константин Петрович Победоносцев относился к нашим заявлениям критически, не высказываясь безусловно против; он всетаки свои реплики, свою речь сводил на присущее ему направление, т. е. что лучше всего ничего не делать.

„Но наибольший разговор возбудил вопрос о привлечении выборных к участию в законодательстве. Большинство говорило за, против говорил К. П. Победоносцев. Вообще, как всегда, он говорил умно, и его критические замечания были весьма сильны, но заключения неопределенны. Я ничего не говорил, но когда государь обратился ко мне, чтобы я высказался по вопросу о выборах, я сказал, что, по моему убеждению, существующий порядок управления государством не соответствует потребностям его и находится в противоречии с самосознанием почти всех интеллигентных классов, и что поэтому я разделяю мнение тех, которые говорят за необходимость этой меры, но нахожу, что выставляемый ими довод, будто бы это не поколеблет существующий государственный строй, не верен. И, конечно, не думаю, чтобы они представляли этот довод, сознавая его верность, дабы достигнуть того, к чему они стремятся, но, по моему глубокому убеждению, всякое правильное организованное и постоянное участие выборных в законодательстве неминуемо приведет к тому, что называется конституцией. Как это бывало большею частью, совещания под председательством государя, когда не было определенного написанного материала, никогда не приводили к определенно сформулированным заключениям, так и было на этот раз.

„В конце концов, его величество согласился с мнением большинства, причем государю благоугодно было поручить составить соответствующий проект указа мне, как председателю комитета министров, и управляющему канцелярией комитета министров барону Польде, который тоже присутствовал на заседании, но по своему положению во время заседания молчал. В заседании говорилось о тех предметах, которых указ должен коснуться. Указывалось на необходимость восстановить в Российской Империи законность,

которая была значительно поколеблена в последние годы,—а, встати сказать, в настоящее время и совсем свергнута в пропасть;—на необходимость законов об инославных и иных не православных вероисповеданиях, и, в особенности, говорилось о необходимости уничтожить суровые законы относительно старообрядцев, говорили вообще о необходимости веротерпимости и большей свободы вероисповеданий; высказывались о необходимости привлечь общественных деятелей к общественным делам, особенно местным, т. е., иначе говоря, расширить земские полномочия и земскую деятельность, а равно и городские полномочия и городскую деятельность и проч. При этом был возбужден вопрос: каким путем пересмотреть все надлежащее законодательство и сделать в нем и в жизни Российского государства необходимые преобразования?

„Было решено, что все эти вопросы должны быть рассмотрены в комитете министров, что комитет министров должен дать направление всем этим преобразованиям и, по мере обсуждения вопросов, в случае необходимости, испрашивать высочайших указаний.

„Это совещание окрылило дух присутствующих; все, повидимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государственного строительства и государственной жизни, которую его величеству благоугодно дать великой России.

„Престарелый граф Сольский в конце заседания обратился к его величеству от имени присутствующих с прочувственными словами о той благодарности, которую питают все присутствующие и которую, несомненно, разделяет и вся Россия к почину государя императора.

„Вся эта сцена была столь трогательна, что некоторые из членов, а именно князь Хилков—министр путей сообщения и Алексей Сергеевич Ермолов расплакались“.

XVIII.

Однако этот „исторический“ день, в сущности, ничем не ознаменовался. Сам Витте постарался уничтожить пункт указа о приглашении выборных людей в законодательное учреждение, к великому удовольствию присутствовавшего при разговоре об этом Витте с царем великого князя Сергея Александровича. Разработка законопроектов по указу 12 декабря, порученная Витте, пошла такими реакционными зигзагами, что из этого,—по словам самого Витте,—ничего не вышло. 9 января 1905 года произошло знаменитое кровавое шествие гапоновцев, усмиренное оружием по инициативе того же либерального Святополк-Мирского. И назначен был Трепов диктатором-вершителем судеб России. Святополк-Мирский вышел в отставку. По обыкновению государь взвалил на него вину за все обороты революционного движения, и бывший министр впал в острую немилость.

Святополк-Мирский признавался Витте, что государь, согласившись на его либеральную программу, „все таки продолжал слушать советы крайних реакционеров, которые мешали Мирскому принять новый курс внутренней политики“. А в 1907 году, разговаривая с Витте о „печальном, если не ужасном положении

дел" тогдашнего времени, Мирский сказал, что „все приключившиеся несчастья основаны на характере государя. Государь, которому ни в чем нельзя верить, ибо то, что сегодня он одобряет, завтра от этого отказывается, не может установить в империи спокойствия“.

Диктатор Трепов занялся своей непосредственной задачей—борьбой с революционным движением, а министром внутренних дел рекомендовал, сделав из него послушную куклу, Булыгина, заменявшего в Москве великого князя Сергея Александровича.

Об этом захватывающем моменте русской революции С. Ю. Витте пишет:

„Почему именно Трепов был назначен? Во-первых, потому, что раз пал престиж Мирского, то естественно в уме государя явилась мысль назначить лицо противоположных воззрений, а эти воззрения у Трепова казались противоположными потому, что Трепов резко государю критиковал Мирского. Такая система действия соответствует натуре государя—постоянно качаться то в одно направление, то в другое. Вся система государя это, если можно так выразиться, есть качание на политических качелях. Теперь государь качается на качелях, на одной стороне которой находится, кажется, порядочный, но недалекий Столыпин, а на другой негодий, тип лейб-кабатчика — Дубровин. Во-вторых, потому что Трепов по наружности своей представлял бравого генерала с сгруппированными глазами, но главное, он был из конной гвардии, а так как Фредерикс сам был в конной гвардии и командовал этим полком, то для него высшей аттестацией человека было то, что сей человек служил в конной гвардии, особенно в то время, когда Фредерикс был ее командиром.

«Таким образом явилось два министра внутренних дел или, вернее, был министр внутренних дел и диктатор. Права Трепова, совершенно диктаторские, истекали из положения о генерал-губернаторстве и товарища министра внутренних дел по полиции, но главным образом, от особых личных отношений, которые были созданы. Трепов пользовался особым расположением сестры императрицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, весьма почтенной и премного несчастной женщины. Расположение это естественно истекало из того, что Трепов был ближайшим сотрудником-руководителем ее мужа великого князя Сергея Александровича, так ужасно погибшего, и именно вскоре после того, как Трепов оставил пост московского обер-полицеймейстера. Это свое расположение она внушила своей сестре-императрице.

«Благоволение императрицы уже одно было достаточно, чтобы государь оказывал Трепову свое благоволение и доверие, а по натуре государя эти чувства его к Трепову должны были высказаться преувеличенно уже потому, что Трепов находился в медовых месяцах своих отношений к его величеству. Затем Трепов внушал доверие своей бравой наружностью, страшными глазами, резкою примотью своей солдатской речи. Речь эта, несомненно, всегда была искренняя и ясная по своей простоте, ибо для лица политически невежественного все кажется просто и ясно. Государю также любя в политических вопросах ясность и прямолинейность, истины, чуждые всяких «интеллигентных» выдумок.

«Трепов, в сущности, держал вполне государя, чуть ли не ежедневно писал ему доклады по всяким делам и давал советы, как по внутренним, так и внешним событиям. Одним словом, будучи товарищем министра внутренних дел, он был в то же время диктатором и при этом диктаторе, в сущности, и была подготовлена вся активная революция, вышедшая из берегов с сентября 1905 года. Трепов не только ее не предупредил, но когда она начала выходить наружу, то после 17 октября оставил поле брани, совсем растерявшись. Очевидно, что с таким товарищем в деловом отношении Булыгин не мог лаять. Он и не лаил, но, так как государь его не отпускал, то спокойно сидел, узнавая о различных новостях по внутренней политике из газет и занимался некоторыми особыми делами, главным образом, текущими хозяйственно-административными и составлением проекта о Думе 6-го августа.

„Князь Урусов, бывший товарищ министра внутренних дел в моем кабинете, а затем член первой государственной думы, определил Трепова в одной из своих речей, сделавшей много шуму и которую для князя Урусова было бы достойнее не произносить(?), такую фразу: „Вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению“...

....„Трепов был „вахмистр по воспитанию“. Это верно, и в этом заключалась его беда и беда России. Когда он учился в пажеском корпусе, вероятно, в своей жизни не прочел толково ни одной серьезной книги; все его образование и воспитание прошли в конногвардейских казармах и офицерском собрании и преимущественно в первых, так как он был серьезный фронтовик и добросовестный офицер, что, конечно, не принесло ему ущерба.

„С политической жизнью он столкнулся в первый раз, будучи назначен московским полицеймейстером, и отнесся к ней, как обер-полицеймейстер. Ему, как всякому невежде, все сначала казалось очень просто: бунтуют—бей их; рассуждают, вольнодумствуют, значит, надо приструнить. Рабочие пошли в революцию, значит, стоит только сделаться полицейским революционером, рабочие пойдут за ним. Никакой сложности явлений нет, все это выдумки интеллигентов, жидов и франкмасонов. Иди по пути своего собственного разума и дойдешь до... помойной ямы.

„Погромщик по убеждению“ это уже не совсем точно. Трепов не был погромщик по любви к сему искусству, но он не исключал сего средства из своего политического репертуара и по убеждению прибегал к нему или, вернее, был не прочь к нему прибегать, когда считал сие необходимым для защиты основ государственности, как основы эти ему представлялись, как „вахмистру по воспитанию“. С легким сердцем он относился только к погромам „жидов“; а разве он один так относился к сей кровавой политической забаве? А Шлеве разве был против того, чтобы в Кишиневе, Гомеле и вообще хорошо проучили жидов? А графы Игнатьевы разве не питали те же чувства? А разве вся черносотенная организация, так называемый союз русских людей, не проповедует открыто избиение жидов, а ведь государь призывал нас всех стать под знамена этой партии бешеных ярдовиков?...

„Когда мне самому приходилось государю указывать на недопустимость подобных действий, государь или молчал, или говорил: „но ведь, они, т. е. жи-ды,

сами виноваты“. Это течение шло не снизу вверх, а наоборот, но только, конечно, по мере нисхождения принимало другие формы и другой объем.

„Урусов, а затем Лопухин, разоблачили травлю евреев посредством прокламаций из департамента полиции. Их рассказы немного преувеличены, но, в сущности, верны. Организация эта была сделана во всяком случае с ведома Трепова, и когда я, будучи председателем совета министров, узнавши о ней, ее уничтожил, доложив обо всем государю, то не могу сказать, чтобы его величество этим открытием сколько бы то ни было удивился и возмущился. Все-таки несомненно то, что Трепов был честный и порядочный человек. Меня нельзя заподозрить в пристрастии к нему потому, что я с ним не имел ничего общего, он был мой враг и был едва-ли не главным элементом в числе других, поставивших меня почти в безвыходное положение после 17-го октября.

„Трепов стал диктатором, сделался политическим вахмистром—Гамлетом. С одной стороны, по воспитанию, он признавал только „руки по швам“, а с другой, сталкиваясь с бурными волнами разгулявшегося русского океана, он чувствовал, что этим не возьмешь, а потому, не имея никакого политического созерцания, образования, воспитания, он временно выражал самые противоположные воззрения и кидался в самые противоположные крайности. С одной стороны, например, в комитете министров он настаивал на самых решительных мерах не только против студентов, но и против всего учебного персонала и одновременно проводил мнение, что нужно закрывать все высшие учебные заведения, предоставив содержание их частной инициативе и частным лицам.

„Он стоял за неограниченное самодержавие, но когда обсуждался проект Булыгинской Думы, выражал, а иногда и настаивал на положениях совершенно левых. Издав в октябрьские дни приказ по войску—„патронов не жалеть“, через несколько дней он высказывался за широкую амнистию. Считая, что нужно выгнать всех профессоров и студентов, он затем дал инициативу и настоял на предоставлении всем высшим учебным заведениям широкой и неопределенной автономии.

„Эти меры открыли двери революции и повели к 17-му октября. После 17-го октября, совсем растерявшись, он оставил пост товарища министра внутренних дел, сделавшись,—опять по совету барона Фредерикса,—дворцовым комендантом и, в сущности, самым интимным и сильным советчиком государя, так что я должен был нести всю ответственность, а он управлять при помощи П. Н. Дурново.

„Когда я не считал возможным играть роль соломенной кулы на огороде и ушел, то не без его совета был составлен и новый кабинет оловянного чиновника, отличающегося от тысячи подобных своими большими баками, Горемыкина. Но уже через неделю Горемыкин начал жаловаться на то, что Трепов ему все портит. Также не без влияния Трепова Горемыкин был уволен. Вместо него был назначен Столыпин, который ясно сознавал, что с Треповым управлять нельзя. Столыпину повезло, Трепова la lune de miel начал проходить, и тут Трепов по обыкновению от пароя „хорошенько их“ кинулся в другую сторону; ему пришло на мысль применить теорию „зубатовщины“ к кадетам,

и так, как он в Москве вздумал привлечь на свою сторону рабочих, влезши в их среду, также он задумал сделать и с кадетами. Он дал в этом смысле неосторожное интервью иностранному корреспонденту, неосторожное уже в том смысле, что из него было ясно, кто в сущности управляет Россией, а затем представил список кадетского министерства государю. Еслибы кадеты вели себя, сколько бы то ни было благоразумно, начиная бы хотя со времени первой Думы, то дело бы их выгорело. Они вступили бы во власть, но они наделали столько глупостей, что Столыпину было не трудно свалить этот план и вместе с тем и Трепова.

„Государь решил отделаться от Трепова и, по обыкновению прибег к хитросплетениям. В этих хитросплетениях несколько запутался сам государь; так иногда бывает с пауком, вяжущим паутину для мухи. Муха—Трепов все равно был бы уничтожен, но государю повезло: Трепов в это время умер естественною смертью. Он был политический и общественный невежда, но несомненно, что все, что он делал, было им сделано *de bonne foi*, и он был верноподданнейший и преданнейший слуга не только императора Николая II, но и Николая Александровича. Наверно, кто-нибудь из семейства Трепова оставит подробное описание, в каком трагическом положении находился этот честный и преданный Николаю Александровичу человек в последние недели до своей смерти.“

К сожалению, С. Ю. Витте ограничивается в данном случае только намеками и не приоткрывает тайны отношений Николая II к Трепову в последнюю фазу его деятельности. Но зная коварный характер вероломного государя, нетрудно догадаться о сущности упоминаемого Витте „трагического положения“, в каком оказался Трепов.

XIX.

В Треповские времена были изданы три акта, сыгравшие немаловажную роль в подеме революционной борьбы, но еще более интересные по той роли, какую сыграл на себя во всем этом хаосе Николай II.

„Не успели покончить малополезные работы по указу 12-го декабря,—пишет С. Ю. Витте,—когда опять состоялся совет по вопросу о привлечении выборных к законодательству. Эту тему в заседании особенно поддерживали Ермолов, Манухин (назначенный министром юстиции вместо Муравьева) и Кокцов. Последний заявил, что без такого шага будет трудно сделать заем, который является необходимым в виду войны. Булыгин также заявил, что внутреннее положение России его все более и более убеждает, что эта мера необходима.“

„Я присутствовал на этом заседании, но молчал. Заседание ничем определенным не кончилось, но государь поручил Булыгину составить проект рескрипта на его имя, в котором давалось бы ему, Булыгину, министру внутренних дел, поручение составить проект привлечения выборных к законода-

тельству. Затем следующее заседание для обсуждения проекта рескрипта было назначено на завтра, хорошенько не помню.

„17 февраля все министры и я, как председатель комитета, были приглашены к государю императору в Царское Село для обсуждения мер, которые необходимо принять для успокоения общества.

„Когда мы приехали на вокзал, сели в вагон, и поезд двинулся, то один из министров говорит: „А вы читали манифест, который сегодня появился в собрании узаконений, а равно и указ сенату?“ Мы все были удивлены, не имея понятия ни об этом манифесте, ни об указе. В том числе был удивлен и министр внутренних дел Булыгин. Конечно, мы все обратились к министру юстиции, Манухину, прося его объяснения, каким образом случилось, что появился этот манифест и указ совершенно неожиданно?

„Тогда министр объяснил, что вечером этот указ и манифест был препровожден в Сенат для опубликования. Сенатская типография не хотела опубликовать без его разрешения и обратилась к нему. Он считал, что нельзя опубликовать без соблюдения всех нужных формальностей, поэтому он свесил с начальником канцелярии его величества Танеевым, который сказал, что последовало указание, что государь император приказал опубликовать. Поэтому он и разрешил опубликовать в виду категорического высочайшего повеления „манифест о нестроении и смутах“. Как это было ясно по его редакции, по слогу, так и по мысли, вложенной в него, и как это затем вполне подтвердилось, он был написан и составлен К. П. Победоносцевым, который все время числился больным и проводил мысли совершенно реакционные, не соответствующие всему тому, что проповедывалось указом 12-го декабря, и всем тем мерам, которые во исполнение этого указа 12 декабря были приняты.

„А указ сенату заключался в том, что предоставлялось право всему населению обращаться с петициями в совет министров, а то время совет министров это было учреждение, которое весьма редко собиралось, иногда по целому году не собиралось, но которое числилось под председательством государя императора. Меры эти весьма поразили всех членов комитета министров, ехавших на заседание к государю.

„Государь явился на заседание, как ни в чем не бывало, точно и не было манифеста. В душе, вероятно, государь благодушно злорадствовал, так как он всегда любил неожиданностями озадачивать своих советчиков.

„Еще до заседания некоторые члены, которые хотели знать, как это все понимать, обратились с вопросами к его величеству. Его величеству, тем не менее, высказал, что он того направления, под влиянием которого был издан указ 12 декабря, не изменял, что он остается при этих мнениях и что он не видит разногласия между манифестом о нестроении и смутах и указом сенату о праве петиций с указом 12 декабря, хотя манифест находился с ним в явных противоречиях.

„В заседании все министры высказывались, что смута идет таким ходом, что необходимо принять какие-нибудь меры, которые могли бы успокоить

Россию и что единственная эта мера есть установление народного представительства, хотя бы в форме совещательной.

„Булыгин прочел проект рескрипта, предрешающий более или менее широкое участие выборных от населения в законодательстве, т. е. провозглашающий принципы, диаметрально противоположные тому, что объявлялось в опубликованном несколько часов тому назад манифесте. Начался обмен мыслей, сводящихся к различным замечаниям более или менее серьезным по редакции рескрипта. Я все время молчал. Сделан был перерыв заседания для завтрака. По обыновению, все бывшие на заседании завтракали отдельно, а государь у императрицы.

„Во время завтрака кто-то спросил мое мнение. Я ответил, что мне кажется, что присутствующие заспорятся о деталях, и рескрипт провалится. В данном случае все были так фруассированы проделкою с манифестом, что согласились не спорить о деталях и все согласились на редакцию Булыгина.

„Когда после завтрака государь открыл заседание, то был, видимо, удивлен, что все заявили, что не имеют никаких замечаний по проекту рескрипта. После этого государь подписал рескрипт. Князь Хилков от умиления расплакался, а граф Сольский произнес благодарственное прочувственное слово.

„Таким образом, в один и тот же день появилось два совершенно противоположных государственных акта, впрочем, это бывало и ранее, и позднее. Ведь еще несколько месяцев тому назад появился манифест 3-го июня 1907 года, подтверждающий манифест 17 октября, а через несколько дней телеграмма государя проходивцу Дубровину, председателю союза русских людей, в сущности, совершенно отрицающая манифест 17-го октября.

„Само собой разумеется, что при таком ведении дела, несмотря на теперешнее желание России так или иначе покончить с революцией, нельзя добыть и ожидать спокойствия. Россией играют, как игрушкой, может быть, не дурные, но все же дети. Ведь на войну с Японией смотрели, как на войну с оловянными солдатами. Такая уже психика—психика полной безответственности, как здесь, так и на небе“...

XX.

Делая извлечения из книги С. Ю. Витте, мы намеренно не касались войны, ограничиваясь только областью внутренней политики в широком смысле этого слова. Независимо от этого громадного фактора нашего исторического процесса внутреннего развития — войны, — нам хотелось представить, на основании материалов бывшего председателя совета министров, — в обнаженном виде картину того строя, который сгнивал на наших глазах под эгидой самодержавных принципов неприкосновенности неограниченной власти. Даже в той сравнительно узкой перспективе, какую устанавливает автор „Воспоминаний“, эта картина разложения производит потрясающее впечатление. Читая даже те невольные обрывчатые эпизоды, данные и события, какие мы даем читателям, трудно связать свою мысль с тем, что речь идет об управлении громаднейшей монархией, что в этой пошехонской обстановке решаются судьбы

стосорокамилионного народа, что пред нами проходит „великий монарх, обожаемый народом“, и все правители необъятной России.

Вырождавшаяся монархия замкнулась в узенький круг немногих деятелей и дельцов, преимущественно без государственного разума и личной нравственности; без знания и понимания России, без любви к ней, без божьей искры, без просветов от горения священного огня. Колоссальное самодержавное „Я“ такого ничтожного человека, как Николай II, расплодило вокруг себя тысячи таких же самодержавных „Я“ большей или меньшей величины и столь же ничтожных. К этим силам, заправлявшим страной, тинулись проходимцы и мерзавцы всех пороков и типов, темные личности, мистики и шарлатаны. Точно совершалось какое-то государственное радение, и в опьянении самодержавным самовнушением кружились все эти темные лица, какие-то маски, в безумном хороводе, предавшись исключительно своим личным страстям, порокам и темным влечениям.

Мы не видим ни на одну минуту правительства, программы государственной деятельности, какой-нибудь общей, высокой, всеосветляющей идеи. Идеология монархизма проста, но, вырождаясь, она переходит в самоотрицание, в отвращение к каким бы то ни было идеям вообще,—не даром Николай II так ненавидел „общественное мнение“ и „интеллигенцию“ как посетительницу идей. Разум здесь, на этом пиру Вальтасара, мерк, гас, гускнед, исчезал. Точно фурни безумия втекли Россию вперед к гибели,—и она должна была защищаться революцией...

С. Ю. Витте, который приложил и свою руку, при всем своем уме, к развалу России, только на свободе отставки и опалы, пришел к мудрым и правильным мыслям о неизбежности революции, когда власть вступает в борьбу с разумом и моралью страны. Мысли к нему припли, хотя и поздно. Но разве у тех деятелей, портреты которых, полные и неполные, прошли пред нами, могли быть светлые промежутки? Светлые промежутки бывают даже у страдающих сумасшествием. Но у всей клики, правившей Россией, под руководством скудного главой и волей царя, такие светлые промежутки не могли быть. Страх за свою шкуру еще мог диктовать им в минуты отчаяния меры, глубоко ненавистные им по их свободолюбивому существу. Но страх проходил, и безумие завлакивало сознание. И от этого росло и крепло священное право народа на революцию, как самооборону. И революция 1905 года была неизбежна, как и двойная революция 1917 года. Это—была наша защита от сгнивавшей монархии и от последствий ее гниения...

Ник. Ашешов.

Генерал Деникин, как историк русской революции.¹⁾

Имя генерала Деникина не знакомо читателям исторических журналов, зато еще год-два тому назад оно пользовалось известностью среди миллионов и миллионов русского народа. До революции армейский офицер, все годы войны проведенный в боях на южном фронте, он выдвинулся в апреле 1917 г., когда получил должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, а через два года Деникину пришлось возглавить белое движение, которое под его руководством испытало крупнейшие успехи, но и потерпело тагчайшие поражения, от которых уже не могло оправиться.

Весною 1920 года, Деникин, после небывалого разгрома белых армий, сдал власть и командование Врангелю, покинул Россию и поселился в Брюсселе; с этих пор в газетах появляются известия о том, что он пишет мемуары, что эти мемуары печатаются и в скором времени увидят свет. Потом, в берлинской газете „Руль“ и в парижских „Последних Новостях“ появились отрывки из труда Деникина („Бердичевское сидение“, „Отречение Николая II-го“). Наконец, перед нами—первый том, распадающийся на два выпуска и охватывающий период с февраля по сентябрь 1917 года. Обещан в скором времени выход в свет остальных двух томов, из коих один будет посвящен периоду Добровольческой Армии при Корнилове, а второй—периоду командования и правления самого Деникина.

Признаться, нас охватило некоторое разочарование, когда мы убедились, что имеем дело не с мемуарами, не с воспоминаниями, а с попыткой исторического очерка, дающего связную картину хода русской революции. Автор выступает сам на первый план, лишь постольку он касается событий, в коих принимал непосредственное участие. Дело не только в том, что время для написания „истории русской революции“ еще не пришло, что в условиях переживаемого момента не может осуществиться наиболее существенная предпосылка объективного, исторического исследования, а именно безстрастное и беспристрастное отношение к изучаемым фактам исторического прошлого. Даже,

¹⁾ Генерал А. И. Деникин. Очерки Русской Смуты. Т. 1. Крушение власти и армии. Февраль—сентябрь 1917. Вып. 1-ый, стр. 183. Вып. 2-й, стр. 288. Париж. 1921.

сейчас можно писать о событиях, имевших место 3—4 года тому назад, давая нечто большее, чем простой перечень этих фактов или освещение фактов, в духе злободневного памфлета. Но для этого необходимо не только известное беспристрастие, известная способность *sine ira et studio* всмотреться в прошитое и пережитое, нужна некоторая общая точка зрения на ход исторического процесса, которая позволяла бы найти перспективу событий, отделить важное от несущественного, причины от поводов. С нашей точки зрения плодотворная работа над историей второй русской революции возможна лишь при таком углубленном понимании ее сущности, при желании и умении найти в сфере социальной и экономической те основные пружины, которые определили ее возникновение и ее развитие. Но от генерала Деникина мы не вправе и требовать беспристрастного и, смеем так выразиться, углубленного отношения к пережитым годам революции. От него мы имеем право требовать—факты. Его роль была в революции такова, что он должен знать многое, что неизвестно нам и рискует еще долго остаться неизвестным. Обязанностью ген. Деникина, если он взялся за перо, и было—в первую голову поделиться фактами, ему известными, оставить нам описание событий, которых участником и свидетелем ему довелось быть. Но ген. Деникин иначе понял свою задачу: он дает, в двух вышедших выпусках своего труда, именно историю революции, касается не только армии и фронта, которые он знал и о которых много помнит, но также внешней политики, экономического положения, борьбы политических партий, аграрного вопроса, конфликтов труда и капитала, словом, много такого, чего, должно быть, никогда толком не знал и о чем теперь пишет с чужих слов и из чужих книг. Книга П. Н. Милюкова дала Деникину общее освещение революции, а также схему расположения материала. У обоих авторов отводятся особые рубрики для характеристики положения отдельных отраслей государственного строительства, в эпоху февральской революции. Милюков подсказывает Деникину оценку деятельности различных политических партий, оценку Совета в первые месяцы революции и т. д. Впрочем, в последнем случае Деникин также обильно пользуется „Воспоминаниями“ В. Б. Станкевича.

Ничего нового во всех этих случаях Деникин не сообщает, поэтому эта часть его труда читается без особого интереса. Таковы, напр., главы III, IV и XIII 1-го вып. Здесь мы не найдем ни одной свежей мысли, ни одного нового факта. *Mise en scène* заимствована у Милюкова: мы сталкиваемся неизменно со слабовольным Временным Правительством, руководимым „истеричным Керенским“ и его „другом и вдохновителем Некрасовым“, „наиболее темной и роковой фигурой среди правивших кругов“, с Советом Раб. Деп., „возглавляемым инородцами и ведущим пропаганду разложения и пораженчества“, с германским штабом, субсидирующим интернационалистских агитаторов, и т. н.

С большим интересом читаются страницы, посвященные истории так называемого «разложения» армии. Царскую армию Деникин знал вдоль и поперек. Он наблюдал картину ее распада, в период с марта по сентябрь 1917 года, занимая высшие командные должности: с 5-го апреля по конец

ная — начальника штаба Верховного Главнокомандующего, затем до конца июля — Главнокомандующего зап. фронтом, затем, до своего ареста в Бердичеве 29 августа, — главнокомандующего юго-западным фронтом. «Для меня армия, — пишет Деникин, — не только историческое, социальное, бытовое явление, но почти вся моя жизнь». Этот армейский офицер, психологии и идеологии которого мало изменились за годы испытанных потрясений, в 1917 г. искренне и глубоко «страдал» за армию. Мы охотно верим его, неоднократно им подчеркиваемой, лояльности Временному Правительству. В самый момент февральской революции Деникин вряд-ли мог сознать всю глубину и неизбежность происшедшего переворота. Аполитичный по профессии, не усвоивший, можно сказать, политической азбуки, он, однако, принял крушение монархии, как впрочем и весь командный состав русской армии (сам Деникин в данном случае упоминает лишь трех военачальников, пытавшихся начать активную борьбу с революцией — это ген. Н. И. Иванов, граф Келлер и Хан Нахичеванский. См. Вып. 1-й, стр. 61). Последние годы и месяцы старого режима катастрофически способствовали росту непопулярности царского правительства, и во всех решительно слоях населения. «К началу 1917 г. — пишет Деникин (вып. 1, стр. 37) крайне напряженная атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство: — Переворот... Активным действиям образовавшихся около этого времени заговорческих кружков должно было предшествовать, последнее обращение к Государю одного из великих князей... В случае неуспеха, в первой половине марта предполагалось вооруженной силой остановить императорский поезд во время следования его из ставки в Петроград. Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия — физическое его устранение, наследником предполагался законный правопреемник Алексей и регентом Михаил Александрович (там же, стр. 39)».

Деникин рассказывает, как к больному Алексею в Севастополь приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесется к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведет переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета. Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который, по его пессимистическому определению, «и так не слишком прочно держится», и просил во имя сохранения армии не делать этого шага. Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота. Не знаю, какие данные имел Мих. Вас. (Алексеев), но он уверил впоследствии что те же представители вслед за ним посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась (там же, стр. 37-38).

Ген. Деникин правильно указывает: «пока трудно выяснить детали этого дела» (стр. 38). Во всяком случае, то немногое, что он сообщает на протяжении двух страниц, посвященных истории подготовки дворцового переворота.

служит ценным дополнением к более скудному, в данном отношении, Милюкову (см. его „История второй русской революции. Т. I. Вып. I-й. Киев. 1919, стр. 21). В остальном, характеризуя старый режим эпохи великой войны, Деникин не выходит из круга трафаретных фраз, уделяя, конечно, не мало места „темным силам“, Распутину и т. д. Его оценка состояния армии накануне революции грешит двойственностью. С одной стороны, он констатирует несомненные симптомы начавшегося ее разложения. „Местами,— пишет он,— влияние разрушительной пропаганды находило подготовленную почву, и до революции еще был один-два случая, когда целые части оказали неповиновение, сурово подавленное“ (Вып. 1-й. стр. 28). В первой главе своего труда, ген. Деникин подробно останавливается на крушении идеологических основ старой армии—религиозности, монархизма и патриотизма. Глава так и озаглавлена—„Устои старой власти: вера, царь, и отечество“... Но, с другой стороны, ему нужно писать сочинение по тезу: „фарисеи—вожди российской революционной демократии, пытаясь оправдать учиненный главным образом их руками развал армии, уверяют, что она и без того близка была к разложению—они лгут“ (там же, стр. 31). Однако, вся его аргументировка, направленная на обоснование этой тезы, непродумана и не производит сколько нибудь убедительного впечатления.

Разразилась февральская революция. Ее описанию посвящены главы IV-ая и V-ая первого выпуска. Рассказывая об отречении государя, Деникин сообщает факт, доселе, если мы не ошибаемся, оставшийся неизвестным. В Могилеве уже, после подписания отречения, Николай II, при свидании с Алексеевым, сказал: „Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград“. На листке бумаги отчетливым почерком государь писал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея“ (Вып. I-ый, стр. 54). Алексеев телеграмму не послал, „чтобы не смущать умы“. Во всяком случае этот эпизод лишней раз характеризует слабование и нерешительность последнего русского самодержца.

Немало внимания ген. Деникин уделяет пресловутому приказу № 1, не сообщая, впрочем, никаких новых данных, которые могли бы осветить картину его возникновения и распространения на фронте и в тылу. Как бы то ни было, по к началу апреля, ко времени вступления ген. Деникина в должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего, все признаки распада армии были налицо. К этому же времени относится, очевидно, зарождение идеи военной диктатуры, попыткой осуществления которой стал впоследствии Корниловский мятеж. Во всяком случае ген. Деникин удостоверяет, что уже тогда ген. Крымов и Корнилов в частных разговорах отстаивали неизбежность „жесткой расчистки Петрограда“ (там же, стр. 77). Вопрос этот получил дальнейшее развитие. В начале июня разговоры на тему о диктатуре вели различные лица, приезжавшие в Ставку. „Я предостерегал,—пишет ген. Деникин, от поспешного решения этого вопроса“ (там же, стр. 123). Тем не менее в июле началось „оживление деятельности одних и возникновение других тайных кружков, преимущественно офицерских. В состав этих кружков входило

несомненно не мало лиц и с ярко выраженными, реставрационными тенденциями по цели своей и они ставили по преимуществу борьбу с фактом существованием классового, неофициального правительства и с личным составом Совета и Исполнительного Комитета, членам которых действительно грозило бы физическое истребление, если бы эти кружки не распались преждевременно, благодаря своей слабости, малочисленности и неорганизованности" (там же, стр. 123).

Обрисовке состояния русской армии до неудавшегося ее наступления в июне месяце посвящены главы XVI, XVII (в I-м вып.) XVIII-XXV (во 2-м вып.) книги ген. Деникина. Изложение страдает обилием общих мест. На нем, очевидно, отразилась скудость печатных и архивных материалов, имевшихся в распоряжении автора в момент писания им своего труда, скудость, оговариваемая специально в авторском предисловии. Во всяком случае он хорошо сделал, напечатав извлечения из данных отчета Армейского комитета XI-й армии, ярко характеризующие будничную, повседневную деятельность одной из крупнейших фронтовых организаций (вып. 2-й, стр. 30-33). Так же правильно поступил ген. Деникин, когда полностью включил в свое изложение „Отчет состоявшегося 4-го мая в г. Петрограде, соединенного заседания всех главнокомандующих, Временного Правительства и Исполнительного комитета с. р. и с. д.“, хотя, к сожалению, не указал, кем составлен отчет, и в какой мере точно передает он речи, произнесенные на заседании (там же, стр. 48-62). Зачастую ген. Деникин пользуется документами, с которыми в свое время знакомился „по должности“, документами, очевидно, и теперь находящимися в его распоряжении. Таков, напр., весьма любопытный „протокол общего собрания штурмовой роты“, цитируемый на стр. 138, 139 второго выпуска.

Страницы, посвященные Деникиным армии, прочтутся с интересом. Милюков лишь мельком останавливается на этой стороне революции, да и хронологически труд Деникина выходит за рамки, в которых замыкается I-й выпуск милюковской „Истории“. Конечно, ни на минуту нельзя забывать, кем является автор: он резко и определенно накладывает на свой рассказ отпечаток своих настроений и своих убеждений. Миросозерцание Деникина отличается монолитной цельностью, и в этом отношении любопытно сравнить его „очерки“—с „Воспоминаниями“ Станкевича насквозь пропитанными безнадеем, интеллигентским гамлетизмом. Деникин, наоборот, пронес свою идеологию в целостности и неприкосновенности через годы войн и революции. Он оценивает революцию так же, как сделал бы это летом 17 года, выдвигая на первый план „пораженческую пропаганду“ и „деятельность агентов Германского Ген. Штаба. Описывая разложение армии, Деникин совершенно игнорирует известную закономерность и непреложность этого процесса и склонен рассматривать его лишь, как результат ошибок Временного Правительства и преступной деятельности Совета. „Армию развалили“—вот лейтмотив его суждений о февральской революции.

Мы не будем останавливаться подробнее на тех главах Деникинских очерков, которые посвящены „внутренней и внешней пропаганде“. т. е. Деникин пользуется здесь, не прибавляя ни одного нового слова.

все тем же арсеналом легковесных аргументов, которые впервые были выдвинуты Бурцевым и потом перешли из „Общего Дела“ на страницы Милюковской «истории». Значительно интереснее главы XXVI—XXIX, посвященные офицерским организациям, казачеству, национальным частям, женским батальонам; в них подобрано много фактических данных, которыми воспользуется будущий историк революции. В последних главах Деникин переходит к описанию наступления 18-го июня. Еще в первом выпуске он упоминает о попытке наступательных операций против турок. Ген. Алексеев, проектируя десант в Зунгулдакском районе, по словам Деникина, уступал давлению Милюкова. Оказывается, что Милюков, „вдохновленный молодыми, пылкими моряками, вел многократно переговоры с ген. Алексеевым, убеждая его предпринять операцию по овладению Константинополем, которая, по его мнению, могла увенчаться успехом и поставить протестующую против аневкий „революционную демократию перед совершившимся фактом“. (Вып. 1-ый, стр. 182). Отнесясь отрицательно к этой затее, Алексеев, в виду настойчивых просьб Милюкова, «счел себя вынужденным дать ему показательный урок». Операция не состоялась за отказом предназначенных к высадке на турецком побережье войск идти в десант... Июньское наступление революционных армий, на юго-западном фронте, окончилось полным крахом. Позднее, в начале июля подобная же попытка на западном фронте, которым командовал тогда Деникин, имела еще более плачевный финал. „9-го июля—пишет Деникин—начался штурм, а через три дня я возвращался из 10-й армии в Минск с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на... чудо“ (Вып. 2-й, стр. 161). 16-го июля в Могилеве состоялось совещание министров и главнокомандующих. Деникин являлся на этом совещании центральной фигурой. Произнесенная им речь приведена в „Очерках“ полностью, и никто не посетует на длинноты этого любопытного документа, ярко обрисовывающего положение на фронте, в июле 17 года, в освещении одного из наиболее выдающихся представителей царского генералитета.

В конце июля Деникин занял пост главнокомандующего юго-зап. фронтом. Наступила эпоха надежд, надежд на осуществление „Корниловской программы“. О Корнилове Деникин пишет в самом панегирическом тоне. Мы с нетерпением перелистываем страницы, ожидая от главы XXXVI, озаглавленной „Корниловское выступление“, новых фактических данных об одном из наиболее темных эпизодов февральской революции. Но нас ждет полное разочарование. Деникин становится вдруг необычайно скучным, из летописца событий он сразу становится мемуаристом: „Весь ход августовских событий я описываю в этом томе в такой последовательности и в таком свете, как они рисовались тогда, в эти трагические дни на юго-западном фронте, не внося в них той перспективы, которая с течением времени осветила и сцену, и действующих лиц“ (вып. 2-й, стр. 211). Может быть, в этих строках содержится обещание дать „историческую перспективу“ в одном из последующих томов „Очерков“.

Деникин рассказывает, что в двадцатых числах августа к нему приехал из Ставки офицер с письмом от Корнилова. „Он доложил: в конце августа,

по достоверным сведениям, в Петрограде произойдет восстание большевиков. К этому времени к столице будет подведен 3-й конный корпус, во главе с Крымовым, который подавит большевистское восстание и заодно покончит с советами. Одновременно в Петрограде будет объявлено военное положение и опубликованы законы, вытекающие из „корниловской программы“. Вас Верховный главнокомандующий просит только командировать в Ставку несколько десятков надежных офицеров официально „для изучения бомбометного и минометного дела“; фактически они будут отправлены в Петроград, в офицерский отряд.

„В дальнейшем разговоре он передавал различные новости Ставки, рисуя настроение ее в бодрых тонах. Передавал, между прочим, слухи о предстоящих новых назначениях командующих войсками в Киев, Одессу, Москву, о предполагаемом новом составе правительства, среди которых назывались имена и нынешних министров, и совершенно неизвестные мне. Во всем этом вопросе была несколько неясна роль Временного правительства и в частности Керенского. Решился он на крутой поворот военной политики, уйдет или будет сметен событиями, ход и последствия которых при создавшихся условиях не могут предрешисть ни чистая логика, ни прозорливый разум“.

Между тем 27-го числа разразился конфликт между Временным Правительством и Корниловым, принявший вскоре форму открытой попытки последнего свергнуть Керенского и его кабинет. „Все надежды на возрождение армии и спасение страны мирным путем рухнули. Я не делал себе никаких иллюзий относительно последствий подобного столкновения между ген. Корниловым и Керенским и не ожидал благополучного окончания, разве только, что корпус Крымова спасет положение. Вместе с тем, я ни одного дня, ни одного часа не считал возможным отождествлять себя идейно с Временным Правительством, которое признавал преступным, и поэтому тотчас же послал ему телеграмму следующего содержания:

„Я солдат и не привык играть в прятки. 16-го июня на совещании с членами Временного Правительства я заявил, что целым рядом военных мероприятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда, как сознание. Временным Правительством своего тяжкого греха перед Родиной и желание исправить содеянное зло. Сегодня, получив известие, что ген. Корнилов, предъявивший известные требования, могущие еще спасти страну и армию, смещается с поста Верховного Главнокомандующего. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии, и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного Правительства, что по этому пути я с ним не пойду.

„Марков одновременно послал телеграмму правительству, выражая солидарность с высказанными мною положениями.

„Вместе с тем я приказал спросить Ставку, чем могу помочь генералу Корнилову. Он знал, что кроме нравственного содействия, в моем распоряже,

ним нет никаких реальных возможностей и поэтому, поблагодарив за это содействие, ничего более не требовал.

„Я распорядился переслать копию моей телеграммы всем главнокомандующим, командующим армиями Юго-западного фронта и главному начальнику снабжений. Вместе с тем, приказал принять меры, чтобы изолировать фронт от проникновения туда без ведома штаба каких-либо сведений о совершающихся событиях до ликвидации столкновения. Такие же распоряжения получены были от Ставки. Полагаю, можно не прибавлять, что горячие симпатии всего штаба были на стороне Корнилова и что все с величайшим нетерпением ждали вестей из Могилева, все еще надеясь на благополучный исход. Марков каждый вечер собирал офицеров генерал-квартирмейстерской части для доклада оперативных вопросов; в этот день, 27-го, он ознакомил их со всеми известными нам обстоятельствами столкновения и нашими телеграммами и не удержался, чтобы в горячей речи не очертить исторической важности передаваемых событий, необходимости поставить все точки на „і“ и оказать полную нравственную поддержку генералу Корнилову“ (Вып. 2, стр. 213—215).

Деникин был безсилен оказать Корнилову какую бы то ни было реальную помощь. Он и его приближенные, беспомощные и оставленные решительно всеми, арестованы были 29-го числа, по распоряжению фронтового комиссара Н. И. Иорданского. Им пришлось просидеть на Бердичевской гауптвахте до 27 сентября, когда состоялся перевод арестованных в Выхов. На улицах Бердичева 27-го сентября Деникин едва не подвергся самосуду. Яркой картиной крестного пути заключенных с гауптвахты на вокзал, среди разъяренной, многотысячной толпы заканчиваются „Очерки“.

Попытаемся резюмировать наше впечатление от книги ген. Деникина. Это—не история; в качестве труда, написанного одним из участников событий, она не может претендовать ни на беспристрастное отношение к фактам, ни на сколько бы то ни было исчерпывающую их сводку. Идеология автора, подсказанная его происхождением, воспитанием, профессией, могущественно влияет на ход изложения. Политические воззрения, в свою очередь, определяют усвоенную им философскую и социологическую концепцию русской революции, которая не отличается ни глубиной, ни оригинальностью.

В книге Деникина много лишнего балласта; ее главное оправдание в фактическом материале, которым располагает автор. Он не скрывает своей тенденциозности, которая всякого будущего историка заставит отнестись к „Очеркам“ сурово критически. Но то, быть может, немного ценное и новое, что Деникин сообщает на страницах своего труда, заставляет, во всяком случае, с интересом ждать публикации дальнейших томов.

П. П. Щеголев.

Неизданная глава романа „Бесы“.

Мережковскому, первому из исследователей Достоевского, стала известна исповедь Ставрогина Тихону, признание в страшном грехе, — белая глава романа „Бесы“, исключенная из законченного романа. А. Г. Достоевская, предполагая первоначально привлечь Мережковского к редактированию юбилейного издания 1906 года, познакомила его с этим ценным рукописным отрывком. В своей книге („Толстой и Достоевский“) Мережковский сохранил как бы первое впечатление от этого чтения, говоря, что искусство здесь выходит за пределы своих возможностей сосредоточенным выражением ужаса... Напечатать эту главу полностью в своем издании А. Г. Достоевская не решилась и дала лишь отрывки ее, как приложение к „Бесам“. Нерешительность эта понятна: страшная исповедь Ставрогина не осталась совершенной тайной уже для современников Достоевского: исключенная из романа, по требованию Каткова, она была известна по слухам, а вокруг этих слухов создавалась темная легенда о Достоевском — „маркизе де Саде“, — создавалась врагами его и неверными друзьями ¹⁾. Но то, что удерживало вдову писателя от опубликования фрагмента „Бесов“, не должно, кажется, удерживать его исследователей. Ведь темная легенда о сладострастнике Достоевском построена (главным образом Н. Страховым) или на явной клевете, или на грубых, нечутких отгадках той тайны слишком тревожной, слишком взыскательной совести, которой отмечена была душа Достоевского ²⁾. И, думается, наиболее верный путь к освобождению памяти Достоевского от этих призрачных обвинений — путь открытого исследования и возможно полного понимания его, как художника.

„Одна сцена из Ставрогина (растление и пр.)“, о которой говорит Страхов в указанном письме к Л. Толстому и которую может читать Мережковский, сохранилась в архиве Достоевского, принадлежащем Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук. Это — тетрадка из 77 страниц, тщательно выполненная (почерком А. Г. Достоевской), хотя и недоведенная до конца, копия с неиз-

¹⁾ См. письмо Тургенева к Салтыкову-Щедрину от 21 сент. 1882 года (Ч. Ветринский „Достоевский в воспоминаниях и т. д.“, стр. 165); письмо Ш. Н. Страхова к Л. Толстому от 28 ноября 1883 года („Толстовский Музей“ т. II, стр. 307—309).

²⁾ См. Булаков „Тихия Души“ (статья „Русская трагедия“).

вестного пока автографа Достоевского. Место, предназначавшееся этому отрывку в романе, определить не трудно: рукопись озаглавлена: „Глава 9. У Тихона“. Из содержания видно, что только ко второй части романа может относиться этот № главы; в нашем отрывке предполагаются совершившимися следующие события романа: пощечина Шатова Ставрогину (последняя глава первой части), ночной разговор Ставрогина с Шатовым (первая глава второй части); а с другой стороны, публичное заявление Ставрогина о своем браке с Марией Тимофеевной (глава X второй части) еще только ожидается, обдумывается Ставрогиным и Тихоном. Таким образом, наша „глава 9“ должна была непосредственно следовать за главой восьмой второй части („Иван-Царевич“), где обезумевший Петр Верховенский страстным шопотом признается в своей невероятной влюбленности в Ставрогина, — где Ставрогин — в наивысшем драматическом напряжении (как всегда у Достоевского) до конца обнаруживает свою сокровенную сущность (Ставрогин — „Иван Царевич“, неведомый „он“ целой России и „скрывается“; „красавец“ и „солнце“, но вожделяниями Верховенского уже почти поработен бесу нигилизма). Однако, основа и средоточие этого романа о религиозных судьбах России, — Ставрогин имеет два пути и два направления: кроме обольщений нигилизма, он, подобно будущему Алексею Карамазову, знает путь к монастырю и религиозному послушанию. Так, после поцелуев беса — Верховенского (в восьмой главе) — исповедь старцу Тихону (в нашей „главе 9“).

Вопрос, который прежде всего должен быть разрешен исследователем этого отрывка, — вопрос об его отношении к тексту законченного романа „Бесы“. Является ли эта „глава 9“ случайно, помимо воли художника, выпавшей частью художественного целого, которая, следовательно, должна быть восстановлена теперь в соответствующем месте этого целого; или это один из тех многочисленных у Достоевского фрагментов, которые, отвечая какой-то ранней, позже измененной формации романа, сами собой отпадали от законченного романа, не включались в окончательный текст его художником и сохраняются теперь только в черновых рукописях Достоевского, как любопытные свидетельства сложного генезиса романов его... За первое из этих предположений определенно говорят слова Н. Страхова, которым нет основания не доверять: „Сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать“. Таким образом, исключение главы „У Тихона“ из романа было вызвано не свободным решением художника, а причиной внешней: требованием редактора „Русского Вестника“, где печатались „Бесы“.

Свидетельство Страхова подтверждается, как будто, той связью, которая, несомненно, существует у пропущенной „главы девятой“ с творчеством Достоевского вообще, а затем и с романом „Бесы“, как художественным целым.

Мотив жестоко обиженной девочки, развитый в исповеди Ставрогина „У Тихона“ — очевидно, один из давних и устойчивых замыслов Достоевского. В 1866 году, в пору сближения своего с семьей Корвин-Круковских, Достоевский рассказывал этот замысел свой, как „сцену из задуманного еще в молодости романа“. Герой романа, однажды поутру перебирает в памяти старые воспоминания и „вдруг в самом разгаре.. приятных грез и пере-

живаний, начинает он ощущать неловкость—не то боль внутреннюю, не то беспокойство... Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он ежится, напрягает память... И вдруг, действительно, вспомнил, да так жизненно, реально, как будто вчера это случилось... А между тем за все эти 20 лет и не беспокоило это его вовсе. Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзаворенный товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку¹⁾.

Связь этого замысла с исповедью Ставрогина несомненна: это припоминание греха после долгого забвения прямо ведет к заключительной сцене „исповеди“ Ставрогина, к заключительному „видению“.

Но между этим замыслом (уже в 1866 году - ранним и давнишним) и „главою девятою“ „Бесов“ видны некоторые связующие звенья. Оставляя в стороне „Преступление и Наказание“, где предсмертная греза Свидригайлова тоже как бы отливается этому замыслу,—„Житие великого грешника“, задуманное в 1869—70 гг. и сохранившееся в виде конспективного плана²⁾, несомненно, должно было развить этот мотив опозоренной девочки.

Герой „Жития“ всей своей жизнью должен был обнаружить религиозную закономерность жизни вообще, неизбежность приятия Бога. „Житие“ в первых своих частях должно было повествовать о последовательном и все более и более глубоком погружении человека в грех. Художнику это предельное, сверхмерное погружение героя в грех было необходимо. Тут Достоевский как бы опытом художественным поверял свою самую дорогую и тайную мысль,—свое верование, что всякая и каждая личность, что земная человеческая жизнь вообще не уйдет и не может уйти, сохраняя себя, из царства Благодати Духа; что грех не имеет в себе ничего онтологического, что человеческая душа уже по природе своей „христианка“. Вчитываясь в записи „Жития“, замечаешь, как стремится Достоевский довести греховность и падение своего героя до последних пределов, до последней черты—и все это только для того и надо, чтобы оптимистическая вера художника в изначальную просветленность жизни Благодатью тем разительнее оправдывалась бы и торжествовала в заключительных частях „Жития“, где, „все яснее“, грешник („великий“) обращается к Богу, „умирает, признаваясь в преступлении“³⁾.

Грех, самый глубокий—не ограничен, а случаен в человеке, вот какое верование Достоевского руководило замыслом „Жития“ и толкало художника к таким сюжетным ситуациям, где бы проявлялась предельная греховность. Таким пределом и был для Достоевского образ опозоренной девочки. Мотив этот и был предусмотрен художником для религиозных испытаний героя „Жития“; среди записей его плана встречается и следующая: „Посягает на хроменькую“...

¹⁾ „Воспоминания детства“ С. В. Ковалевской, „Вестник Европы“, 1890 г. кн. VIII.

²⁾ См. „Юбилейный Сборник“ памяти Д—го (под ред. Долинина); в сборнике „Творчество Достоевского“ (под ред. Гроссмана) даны лишь отрывки плана.

³⁾ См. мою статью: „Ненаписанная поэма Д—го“ (сборник под редакцией Долинина).

И теперь ясно должно быть, что интерес Достоевского к этой сюжетной схеме вызывался и поддерживался не какими-либо автобиографическими реминисценциями, а стремлением художника найти в сюжете адекватную выразительность своему религиозному постижению мира.

Но и не только схему „главы девятой“ предвосхищает план „Жития“: связь здесь глубже и ближе.

Запись плана: „посвящает на хроменькую“ стоит во внутренней связи, как частное развитие общего,—с другой записью: „Прямо в бездну“¹. Но эта последняя неразрывно связана с иной совершенно записью, краткой, но многозначительной для Достоевского: „Монастырь“. „Великий грешник“, осквернитель девочки, в монастыре на покаянии у Тихона—это должно было составлять содержание 2-ой части „Жития“, которая в плане намечена самостоятельными записями²).

Но, одновременно, это—художественный остов нашей „главы девятой“ „Бесы“... Отношения „великого грешника“ и Тихона в плане „Жития“ прямо предвосхищают диалог Ставрогина и Тихона. „Пошел на послушание к мальчику“ (т. е. Тихон к „великому грешнику“); „Дружба с мальчиком, который позволяет себе мучить Тихона выходками (Бес в нем)“,—эти записи роднятся с теми местами диалога „главы девятой“, где Тихон смиренно принижается перед: Ставрогиным, просит простить, признается в любви к Ставрогину, а тот высокомерен и насмешлив... „Про Тихона у мальчика иногда низкие мысли он так смешон, он так ничего не знает, слаб и беспомощен, ко мне лезет за советом, но под конец он догадывается, что Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может...“³).

Эта запись является уже как бы прямым конспектом диалога Ставрогина и Тихона, где отношения грешника к подвижнику изображены так же двойственно, колебаниями между недоверчивой насмешкой и преклонением.

Такая близость исповеди Ставрогина к плану „Жития“ объясняется историей последовательного сложения романа „Бесы“... Он возник путем сложного перерождения первоначально простого памфлетного замысла, который, ширясь и вырастая, принял в себя осколки одновременно задуманного, но тогда неосуществленного „Жития“. Появление Ставрогина в „Бесах“ в роли главного героя—сравнительно поздняя стадия генезиса этого романа, как раз совпадающая с отказом Достоевского от осуществления „Жития“. Образ Ставрогина и внес с собою в роман—памфлет широкие религиозно-художественные задачи „Жития великого грешника“⁴). Встреча „великого грешника“ с Тихоном и исповедь ему—это было органической частью „Жития“. предусмотренной художником еще в первые минуты вдохновения⁴). Поскольку

¹ В сборнике „Творчество Д—го“ план второй части „Жития“ совершенно опущен. См. эти записи плана в „Сборнике“ под ред. Долинина.

² См. *ibid*

³ См. подробнее в моей статье „Ненаписанная поэма Достоевского“ (Юбилейный сборник под ред. Долинина)

⁴ См. „Биография, письма“... Стр. 202, 233 и др.

Ставрогин—„великий грешник“ („Жития“), встреча его с Тихоном и исповедь (т. е. наша „глава девятая“) — необходимая часть романа „Бесы“. Такой вывод как будто оправдывается уже непосредственным свидетельством самого Достоевского. Ведь, несомненно, нашу „главу девятую“ имеет в виду Достоевский, когда в письме к Каткову от 8/20 октября 1870 года призывается, что в печатавшемся уже тогда романе „Бесы“ хочет в первый раз... „прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокойное в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа“¹⁾. Т. е. до самых последних моментов сложения романа „глава девятая“ для самого Достоевского была необходимой и неотъемлемой его частью. Преемственность от „Жития великого грешника“ к „Бесам“ объясняет эту необходимость...

Обращаясь к законченному тексту „Бесов“ находим и здесь признаки как будто случайного — вопреки замыслу художника — исчезновения „главы девятой“. Без нее некоторые детали романа носят характер недовершенности. Ставрогин, проснувшись, „как бы уворно и любопытно всматривается в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного“²⁾. Шатов провожал Ставрогина, говорит ему: „Слушайте, сходите к Тихону... Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое здесь в городе, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре“³⁾. Та и другая подробность (можно указать еще несколько подобных же) без „главы девятой“ оказываются лишними и художественно необоснованными. И только признание Ставрогина о преследующем его бесе, только встреча и беседа с Тихоном, — только „глава девятая“, — дает этим подробностям смысл художественных предвосхищений того или другого мотива, которыми так любит пользоваться Достоевский.

Наконец, исключая „главу девятую“ из романа, мы нарушаем характерную строгость построения романа Достоевского, нарушаем один принцип поэтики Достоевского, согласно которому действие в начальных своих фазах движется скрытым от читателя побуждениями и только вступая в фазы, близкие к катастрофе, вдруг и сразу поясняется в своих скрытых причинах пространной исповедью героя. Такой „запоздалой экспозицией“ является теория Раскольникова, сообщаемая уже после убийства; „Бунт“ и „Легенда о великом инвизиторе“ — исповедь Ивана Карамазова — сообщаются читателю после того, как внутреннее согласие Ивана на отцеубийство ему известно уже („Сладострастники“); исповедь Версилова сыну — после нелепого письма к Ахмаковой и непосредственно перед катастрофой... Исповедь Ставрогина перед катастрофическими событиями последней главы второй части и главами третьей части вполне

¹⁾ См. „Былое“, 1919 г., № 14, стр. 49. „Достоевский — сотрудник „Русского Вестника“. Незаданные письма Ф. М. Достоевского 1866—1873 гг.“, Б. Л. Модзалевского.

²⁾ См. „Бесы“. Третье издание соч. 18-8 г., т. 7, стр. 212—213.

³⁾ См. *ibid.*, стр. 238.

отвечала бы этому, очевидно, характерному принципу построения романов Достоевского.

Таковы доводы за то, чтобы считать „главу девятую“ исключенной из романа случайно, а восстановление ее в соответствующем месте текста романа — необходимым.

Есть, однако, доводы и за противоположное решение вопроса, и они, кажется, убедительнее.

Если сопоставить образ Ставрогина, каким является он в романе, и то новое, что присоединяет к этому образу наш отрывок, — сразу заметны неустрашимые противоречия... Омертвевшая маска, тающая под собою безразличное добра и зла — таков Ставрогин, доныне известный в романе. „Глава девятая“ явно оживляет эту неживую, на религиозном пути — восную силу. Здесь покаяние Ставрогина, — какими бы нелепыми формами ни облекалось, — все же есть покаяние, т. е. акт живой религиозной воли. „Вы попали на великий путь, путь из неслыханных, — говорит Ставрогину Тихон, — казнить себя перед целым миром заслуженным вами позором: вы обратились к суду всей церкви, хотя и не веруя в церковь“... Есть тут в Ставрогине и истинное смирение: „Вы... говорите со мной точно с равным“, — замечает он Тихону; а Тихон отвечает: „слово ваше, что я говорю „как с равным“ — хоть и невольное, но прекрасное ваше слово“; и наконец, — последний приговор исповедника: „вам за неверие Бог простит, ибо по истине Духа Святого чтите, не зная Его“. Если включить эту исповедь в роман — совершенно невозможным, художественно неподготовленным окажется конец Ставрогина, его безразличное — в смысле религиозном — самоубийство. Тот, кто „по истине Духа Святого чтит“, не мог написать предсмертного письма к Дарье Павловне; для избранныка Духа уготовлен был бы Достоевским иной совершенно конец, чем этот конец Ставрогина: „гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей и т. д.“.

Это противоречие в главном характере романа, возникающее при включении „главы девятой“, явно запрещает такое включение. Кроме того, есть и прямые свидетельства тому, что в пору завершительной работы над „Бесами“ и позже Достоевский считал „главу девятую“ навсегда исключенной из романа. Слова Апокалипсиса: „И Ангелу Лаодикийской церкви напиши...“ едва ли повторил бы Достоевский в конце романа, — в предсмертной беседе Степана Трофимовича с „книгоношей“, — если бы не считал, что „глава девятая“ исключена навсегда (где эти же слова вложены в уста Тихона).

Не раз издавая «Бесы» после 1871 года, Достоевский, — уже не связанный цензурой Каткова, — все же не включал «главу девятую». И, наконец, самое явное свидетельство тому, как рассматривал Достоевский этот отрывок по отношению к тексту «Бесов»: значительную часть исповеди Ставрогина Достоевский почти без изменений внес в исповедь Версилова («Подросток») в 1874 г.¹⁾

¹⁾ Ср. в исповеди Ставрогина от слов: «Тому назад с год, в ноябрь, следуя через Германию я в рассеянности проехал станцию...» и до слов: «прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом» — с соответствующим местом главы седьмой третьей части «Подростка». См. изд. третье 1888 г., стр. 461—462.

Художник мог использовать для нового романа только лишь материал черновой рукописи предшествующего романа, но никак не отрывок канонического текста его.

Так, законченность характера Ставрогина и явно выраженная воля художника принуждают считать «главу девятую» не только случайно отпавшей, но действительно чуждой роману, — вариантом рукописи, не больше. Как же примирить этот вывод с тем, что было указано в пользу противоположного решения вопроса? Ведь письмо Достоевского к Каткову от 8—20 октября 1870 года явно указывает на наш отрывок, как на необходимую часть романа...

Дата эта, хотя и совпадает с началом печатания романа, однако не определяет собою окончательного момента генезиса «Бесов». Осень 1870 года — период, когда замысел «Бесов» особенно сблизился у художника с замыслом «Жития великого грешника». Ставрогин почти отождествляется с героем «Жития». И так как главным моментом этого задуманного жизнеописания было покаяние и обращение грешника к Богу помощью Тихона, — Достоевский и Ставрогину предназначал тогда это преображение. В тот момент (казалось бы, окончательный момент формирования романа, т. е. первая часть уже печаталась) Достоевскому действительно представлялась необходимой «глава девятая» — рассказ о встрече грешника с Тихоном и начало его покаяния.

Вторая часть романа писалась, очевидно, Достоевским еще с твердой надеждой показать исцелящегося «великого грешника» (Ставрогина); наша «глава девятая» соответствует тому «светлому» Ставрогину, который в романе не дан, но сохранился лишь в нескольких намеках черновых записок Достоевского, несомненно, исходящих от житийного замысла: «Это просто тип из коренника, бессознательно беспокоемый собственной типическою силою, совершенно непосредственно... Он устанавливается наконец на Христе, но вся жизнь — буря и беспорядок»¹⁾.

Так далеко (хронологически) простирались колебания и неустойчивость замысла этого романа: уже заканчивая вторую часть романа — «главу девятую», — Достоевский все еще был ближе к замыслу «Жития великого грешника» чем к окончательному сплаву «Бесов». Все еще верил он, что изобразит своего «великого грешника» — Ставрогина просветленным Благодатью. Но вот, работая только уже над последними главами романа, подходя к разрешительным катастрофам третьей части, увидал, очевидно, Достоевский невыполнимость своих первоначальных религиозно-художественных целей. Исцелить «великого грешника» Достоевский не нашел в себе художественных сил; и все, что вело к этому ожидавшемуся исцелению («глава девятая»), — отпало. Только отголосок этих первоначальных чаяний художника сохранился... не в романе даже, а на первой странице его: эпиграф из Евангелия, — это обетование грешнику исцелиться у ног Христа... Как будто вдруг и неожиданно для самого художника, в момент завершительной работы над романом, греховность героя обнаружила самоудовлеющую брепость и устойчивость...

¹⁾ См. Зелинский «Критический комментарий...»

И в этой, приблизительно намеченной эволюции замысла «Бесов»,—главного характера их,—отразилась, думается, обычная последовательность творческих заданий и осуществлений Достоевского. «Идиот» «Подросток», «Братья Карамазовы» тоже, подобно «Бесам», должны были, кажется, в первом замысле служить обнаружением желанной Достоевскому «мировой гармонии», той вселенской «Осанны», которая грезилась мыслителю Достоевскому сокровенной сущностью мира, лишь случайно затененной призраком греховности. Но всякий раз в завершенном создании художника Достоевского торжествовало иное, более суровое, зато и более церковное воззрение на мир,—подчиненный греху вне Благодати Духа, которая дается, как дар, а не скрыта в природе, как ее сущность.

Исповедь Ставрогина, как отголосок оптимистического замысла Достоевского, неизбежно должна была исчезнуть в его *chef d'oeuvre*.

В. Комарович.

Исповедь Ставрогина.

Глава из романа „Бесы“¹⁾.

Из собраний Пушкинского Дома.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

У Тихона.

I.

Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов семь поутру заснул сидя, и когда Алексей Егорович, по обычаю, раз на всегда заведенному, вошел к нему ровно в половине десятого с утреннею чашкою кофею и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофе, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. На осторожный спрос Алексея Егоровича: «не будет-ли каких приказаний?» — ничего не ответил. По улице шел, смотря в землю, в глубокой задумчивости и, лишь мгновениями поднимая голову, вдруг выказывал иногда какое-то неопределенное, но сильное беспокойство. На одном перекрестке, еще недалеко от дому, ему пересекла дорогу толпа проходивших мужиков, человек в пятьдесят или более; они шли чинно, почти молча, в нарочном порядке.

У лавочки, возле которой с минуту пришлось ему подождать, кто-то сказал, что это «Шпигулинские рабочие». Он едва обратил на них внимание. Наконец, около половины одиннадцатого дошел он к воротам нашего Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города, у реки. Тут только он вдруг как бы что-то вспомнил, остановился, наскоро и тревожно пощупал что-то в своем боковом кармане и — усмехнулся. Войдя в ограду, он спросил у первого попавшегося ему служки: как пройти к проживавшему в монастыре на спокойе архиерею Тихону. Служка принялся кланяться и тотчас же повел его. У крылечка, в конце длинного

¹⁾ Глава из романа „Бесы“ воспроизводится по копии, сделанной А. Г. Достоевской и переданной ею в распоряжение Пушкинского Дома, с разрешения директора Пушкинского Дома Н. А. Котляревского. Причитающийся авторский гонорар внесен редакцией „Выхода“ в Пушкинский Дом на усиление фонда на приобретение рукописей.

•

двухэтажного монастырского корпуса, властно и проворно отбил его у служки повстречавшийся с ними толстый и седой монах и повел его длинным узким коридором, тоже все кланяясь (хотя по толстоте своей не мог наклоняться низко, а только дергал часто и отрывисто головой) и все приглашал пожать, хотя Ставрогин и без того шел за ним. Монах все предлагал какие-то вопросы и говорил об отце архимандрите; не получая же ответов, становился все почтительнее. Ставрогин заметил, что его здесь знают, хотя, сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве. Когда дошли до двери в самом конце коридора, монах отворил ее как бы властно рукой, фамильярно осведомился у подскочившего келейного, можно-ли войти, и, даже не выждав ответа, отмахнул совсем дверь и наклонившись пропустил мимо себя „дорогого“ посетителя; получив же благодарность, быстро скрылся, точно бежал. Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид будто несколько больной, с неопределенною улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом. Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услышал от Шатова и о котором он с тех пор успел собрать кое-какие сведения. Сведения были разнообразны и противоположны, но имели и нечто общее, именно то, что любившие и нелюбившие Тихона (а таковые были), все о нем как-то умалчивали—нелюбившие, вероятно, от пренебрежения, а приверженные и даже горячие от какой-то скромности, что-то как будто хотели утаить о нем, какую-то его слабость, может быть, порождение. Николай Всеволодович узнал, что он уже лет шесть, как проживает в монастыре, и что приходят к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ; что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы. Зато услышал от одного осанистого нашего „глубокого“ старичка, и старичка богомольного, что „этот Тихон чуть-ли не сумасшедший, по крайней мере, совершенно бездарное существо и без сомнения выпивает“. Прибавлю от себя, забегая вперед, что последнее—решительный вздор, а есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги. Узнал тоже Николай Всеволодович, что проживавший на сукое архиерей, по слабости-ли характера или „по непростительной и несвойственной его сану рассеянности“ не сумел внушить в себе, в самом монастыре, особого уважения. Говорили, что отец архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельных обязанностей и сверх того известный ученостию, даже питал к нему некоторое, будто бы, враждебное чувство и осуждал его (не в глаза, а косвенно) в небрежном житии и чуть-ли не в ереси. Монастырская же братия тоже как будто относилась к больному святителю не то, чтоб очень небрежно, а, так сказать, фамильярно. Две комнаты, составлявшие келью Тихона, были убраны то же как-то странно. Рядом с дубоватою старинною мебелью с протертой кожей стояли три—четыре изящные вещицы, богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, столики, этажерки,

все дареное. Был дорогой бухарский ковер, а рядом с ним и циновки. Были гравюры „светского“ содержания и из времен мифологических, а тут же в углу большой кюот с сиявшими золотом и серебром иконами, из которых одна древнейших времен с мощами. Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уже многообразно и противоположно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, „а может быть, и еще хуже“.

После первых приветствий, произнесенных почему-то с явным, обоюдным неловкостью, поспешно и даже неразборчиво, Тихон провел гостя в свой кабинет и усадил на диване, перед столом, а сам поместился подле, в плетеных креслах. Николай Всеволодович все еще был в большой рассеянности, от какого-то внутреннего подавлявшего его волнения. Похоже было на то, что он решился на что-то чрезвычайное и неоспоримое, и в то же время почти для него невозможное. Он с минуту осматривался в кабинете, видимо не замечал рассматриваемого; он думал и, конечно, не знал о чем. Его разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной, смешной улыбкой. Это мгновенно возбудило в нем отвращение; он хотел встать и уйти, тем более, что Тихон, по мнению его, был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем, с таким неожиданным и загадочным выражением, что он чуть не задрогнул. Ему с чего-то показалось, что Тихон уже знает, зачем он пришел, уже предуведомлен (хотя в целом мире никто не мог знать этой причины) и если не заговаривает первый сам, то شاید его, пугаясь его унижения.

— Вы меня знаете?—спросил он вдруг отрывисто,—рекомендовался я вам или нет, когда вошел? Я так рассеян...

— Вы не рекомендовались, но я имел удовольствие видеть вас однажды, еще года четыре назад, здесь в монастыре... случайно.

Тихон говорил очень не спешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова.

— Я был в задешнем монастыре четыре года назад,—даже как-то грубо возразил Николай Всеволодович,—я был здесь только маленьким, когда вас тут совсем не было...

— Может быть, забыли?—осторожно и не настаивая, заметил Тихон.

— Нет, не забыл; и смешно, еслиб я не помнил,—как-то не в меру настаивал Ставрогин,—вы, может быть, обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому и сблизил, что видел.

Тихон смолчал. Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрогание, признак давнишнего нервного расстройства.

— Я вижу только, что вы сегодня нездоровы, сказал он, и кажется лучше, еслиб я ушел.

Он даже привстал с места.

— Да, я чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах и ночью мало спал...

Тихон остановился. Гость его снова и внезапно впал опять в свою давешнюю неопределенную задумчивость. Молчание продолжалось долго, минуты две.

— Вы наблюдали за мной?—спросил он вдруг тревожно и подозрительно.

— Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного.

— Никакого сходства, особенно духовного. Даже со—вер—шен—но никакого!—затревожился опять без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, Николай Всеволодович,—это вы говорите так... из сострадания к моему положению и вздор?—брякнул он вдруг.—Ба! разве мать моя у вас бывает?

— Бывает.

— Не знал. Никогда не слышал от нее. Часто?

— Почти ежемесячно; и чаще.

— Никогда, никогда не слышал. Не слышал. А вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный?—прибавил он вдруг.

— Нет, не то, чтобы как о помешанном. Впрочем, и об этой идее слышал, но от других.

— Вы, стало быть, очень внимательны, коли могли о таких пустяках припомнить. А о пощечине слышали?

— Слышал нечто.

— То есть все. Ужасно много у вас времени лишнего. И о дуэли?

— И о дуэли.

— Вы много очень здесь слышали. Вот где газет не надо. Шатов предупреждал вас обо мне? А?

— Нет. Я, впрочем, знаю господина Шатова, но давно уже не видал его.

— Гм. Что это у вас там за карта? Ба, карта последней войны. Вам то это зачем?

— Справлялся по ландкарте с текстом. Интереснейшее описание.

— Покажите; да это недурное изложение. Странное однако же для вас чтение.

Он придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно обемистое и талантливое изложение обстоятельств последней войны, не столько впрочем в военном, сколько в чисто-литературном отношении. Повертев книгу, он вдруг нетерпеливо отбросил ее.

— Я решительно не знаю, зачем я пришел сюда?—брезгливо произнес он, смотря прямо в глаза Тихона, будто ожидая от него же ответа.

— Вы тоже как бы нездоровы?

— Да, нездоров.

И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так что много трудно было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле

себя какое-то злобное существо, насмешливое и „разумное“, „в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то-же, а я всегда злюсь“...

Дикий и сбивчивый были эти открытия и действительно как бы пали от помешанного. Но при этом Николай Всеволодович говорил с такою странною откровенностью, невиданною в нем никогда, с таким простодушием, совершенно ему не свойственным, что, казалось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он несколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем привидении. Но все это было мгновенно и так же вдруг исчезло, как и явилось.

— Все это вздор,—быстро и с человкой досадой проговорил он, спохватившись.— Я схожу к доктору.

— Несомненно сходите,—подтвердил Тихон.

— Вы так говорите утвердительно... Вы видели таких, как я, с такими видениями?

— Видывал, но очень редко. Запомню лишь одного такого же в моей жизни, из военных офицеров, после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба были излечены за границей... И давно вы сему подвержены?

— Около году, но все это вздор. Я схожу к доктору. И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту... фразу, то вы наверное думаете, что я все еще сомневаюсь и не уверен, что это я, а не в самом деле бес?

Тихон посмотрел вопросительно.

— И... вы видите его действительно?—спросил он, то есть, устраняя всякое сомнение в том, что это несомненно фальшивая и болезненная галлюцинация,—видите-ли в самом деле какой-нибудь образ?

— Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу,—стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин,—разумеется, вижу, вижу так, как вас... а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и знаю, что правда: я или он... вздор это. А разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес?—прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон,—ведь это было бы сообразнее с вашей профессией?

— Вероятнее, что болезнь, хотя...

— Хотя что?

— Бесы существуют, несомненно, но понимание о них может быть весьма различное.

— Вы оттого опять опустили сейчас глаза,—подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой, что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос: есть-ли он или нет в самом деле?

Тихон неопределенно улыбнулся.

— И знаете вам вовсе нейдет опускать глаза: неестественно, смешно и манерно, а чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, а не в аллегорию, и мне

ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все. Вы должны быть ужасно рады... Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него мягким и как бы несколько робким взглядом.

— В Бога веруете?—брякнул вдруг Ставрогин.

— Верую.

— Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... впрочем вздор. Однако я все таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?

— Бог повелит и сдвину,—тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

— Ну, это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы, вы, в награду за веру в Бога?

— Может быть, и сдвину.

— „Может быть“?—Это не дурно. Почему же сомневаетесь?

— Не совершенно верую.

— Как? Вы несовершенно? Не вполне?

— Да... может быть, и не в совершенстве.

— Ну, по крайней мере, вы все таки веруете, что хоть с Божиею-то помощью сдвинете, и это ведь не мало. Это все таки побольше, чем très peu одного тоже архиепископа, правда, под саблей. Вы, конечно, и христианин?

— Креста твоего, Господи, да не постыжусь,—почти прошептал Тихон, каким-то страстным шопотом, и склоня еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро.

— А можно-ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога?—засмеялся Ставрогин.

— О, очень можно, сплошь и рядом,—поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся.

— И уверен, что такую веру вы находите все таки почтеннее, чем полное безверие... О, поп!—захохотал Ставрогин. Тихон опять улыбнулся ему.

— Напротив, полный атеизм почтеннее светского равнодушия,—прибавил он весело и простодушно.

— Ого, вот вы как!

— Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет-ли ее, нет-ли), а равнодушный никакой веры не имеет кроме дурного страха.

— Однако вы... вы читали Апокалипсис?

— Читал.

— Помните ли вы: „Ангелу Лаодикийской церкви напиши“?..

— Помню прелестные слова.

— Прелестные? Странное выражение для архиерей и вообще вы чудак... где у вас книга?—как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу,—мне хочется вам прочесть... русский перевод есть.

— Я знаю, знаю место, я помню очень,—проговорил Тихон.

— Помните наизусть? Прочтите!...

Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово:

„И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела, ни холоден, ни горяч. О, еслиб ты был холоден или горяч. Но поелкну ты тепел, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты гоноришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп и наг...“

— Довольно — оборвал Ставрогин, — это для середки, это для равнодушных, так-ли? Знаете, я вас очень люблю.

— И я вас, — отозвался в полголоса Тихон.

Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он „люблю“ тоже чуть не в припадке, по крайней мере, неожиданно для себя самого. Прошло более минуты.

— Не сердись, прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.

— Почему вы узнали, что я рассердился? — быстро произнес он. Тихон хотел что-то сказать, но он вдруг перебил его в необъяснимой тревоге:

— Почему, вы именно предположили, что я непременно должен был разозлиться? Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал „люблю“. Вы правы, но вы — грубый циник, вы унижительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я... Впрочем, дело не о человеке, а обо мне. Все таки вы чудак и юродивый.

...Он раздражался все больше и больше, и странно, не стеснялся в словах:

— Слушайте, я не люблю шпионов и психологов, по крайней мере, таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь? — возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо; — вы совершенно убеждены, что я пришел вам открыть одну „страшную“ тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, к которому вы способны? Ну, так знайте, что я вам ничего не открою, никакой тайны, потому что в вас совсем не нуждаюсь...

Тихон твердо посмотрел на него.

— Вас поразило, что агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого, — сказал он, — вы не хотите быть только теплым. Предчувствую, что вас берет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, то умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли.

— А вы наверное знали, что я с чем-то пришел?

— Я... угадал по лицу, — прошептал Тихон, опуская глаза. Николой Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел на Тихона, как бы решаясь окончательно. Наконец, вынул из бокового кармана своего сюртука какие-то печатные листки и положил на стол.

... Вот листки, назначенные к распространению,—проговорил он несколько обрывающимся образом. Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уж их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я все решил. Но прочтите... Когда будете читать, ничего не говорите, а как прочтете—скажите все...

— Читать-ли?—нерешительно спросил Тихон.

— Читайте; я давно спокоен.

— Нет, без очков не разберу, печать тонкая, заграничная.

— Вот очки,—подал ему со стола Ставрогин и отклонился на спинку дивана. Тихон углубился в чтение.

II.

Печать была действительно заграничная—три отпечатанных и сброшюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло: От Ставрогина.

Вношу в мою летопись этот документ буквально (надо полагать, что он уже многим теперь известен). Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все таки был человеком образованным и даже начитанным (конечно, судя относительно). В слог же измененный не сделал никаких, несмотря на неправильности (и даже неясности). Во всяком случае ясно, что автор прежде всего не литератор. Позволю себе и еще замечание, хотя и забегаю вперед.

Документ этот, по моему,—дело болезненное, дело беса, овладевшего этим господином. Похоже на то, когда страдающий острою болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себе. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить, хотя на минуту, прежнее страдание другим. И тут уже разумеется не до красоты или разумности положения. Основная мысль документа—страшная, непритворная потребность каты, потребность креста, всенародной казни. А между тем эта потребность креста—все таки в человеке, не верующем в крест,—„а уж это одно составляет идею“,—как однажды выразился Степан Трофимович в другом, впрочем, случае.

С другой стороны, весь документ в то же время есть нечто буйное и азартное, хотя и написан, повидимому, с другою целью. Автор объявляет, что он, „не мог“ не написать, что он был „принужден“, и это довольно вероятно: он рад бы миновать эту чашу, если бы мог, но он действительно, кажется, не мог и ухватился лишь за удобный случай к новому буйству. Да, больной мечется в постели и хочет заменить одно страдание другим,—и вот борьба с обществом оказалась ему положением легчайшим и он бросает ему вызов. Действительно, в самом факте подобно го документа предчувствуется новый, неожиданный и непотчительный вызов обществу. Тут поскорее бы только встретить какого-нибудь врага...

А кто знает, может быть, все это, то есть, эти листки с предназначенною им публикацией,—опять таки ни что иное, как то же самое прикушенное губернаторское ухо в другом только виде? Почему это даже мне теперь приходит в голову, когда уже так много объяснилось,—не могу понять. Я и не привожу доказательств и вовсе не утверждаю, что документ фальшивый, то есть, совершенно выдуманный и сочиненный. Вероятнее всего, что правды надо искать где-нибудь в середине... А впрочем, я уже слишком забежал вперед; вернее обратиться к самому документу. Вот что прочел Тихон:

„От Ставрогина.

„Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186—году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда продолжение некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал сам в номерах со столом и прислугой, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда намеренно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой—ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девушка у меня встретились. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки некоторого удовольствия. Приготовлял исподволь встречу, и должен был чаще посещать одну из сих двух квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой теснее и до того, что дверь разделявшая всегда стояла отворенною, чего я и хотел. Муж длиннополый и с бородой где-то служил на конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и шивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила, и торговать. Я оставался один с их дочерью, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто была и по их привычке громко кричала на нее по бабьи за все. Эта девочка мне прислуживала и убирала за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь, по справке, знаю, что старый дом сломан и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл также имя моих мещан, а, может быть, и тогда не знал. Помню, что мещанку звали Степанидой; его не помню; куда теперь делись,—совсем не знаю. Полагаю, что если начать искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета.

Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая, что она высечет дочь. Но та только что кричала на девочку за пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила на кузлы, и отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка выпала под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек, что напрасно наказали, и смотрела молча. Я это заметил, она нарочно не хотела, я запомнил, потому что тут в первый раз разглядывала лицо девочки, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и

всповатая, лицо обыкновенное, но в нем было много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула, а тут как раз подоспел мой ножик. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, нарвала из веника прутьев и высекла девочку до рубцов, на моих глазах, несмотря на то, что той уже был двенадцатый год. Матреша от розог не кричала, конечно, потому что я тут стоял, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе и потом очень всхлипывала целый час. Когда кончилась экзекуция, я вдруг нашел ножик на постели, в одеяле, и молча положил его в жилетный карман, а, выйдя из дому, выбросил на улицу далеко от дому, с тем, чтобы никто не узнал. И тотчас же почувствовал, что сделал подлость, и при этом некоторое удовольствие, потому что меня вдруг точно железом прожгло одно чувство, и я стал им заниматься. Здесь замечу, что часто разные скверные чувства овладевали мною даже до безрассудства или, лучше сказать, до чрезвычайного упрямства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совершенно одолеть его, даже остановить в верхней точке; только редко хотел останавливать. При этом объявляю, что ни средою, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу.

Потом я выждал два дня. Девочка, поплавав, стала еще молчаливее; на меня же, убежден, не имела злобного чувства, хотя наверно оставался некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне. Но в стыде этом она, как покорный ребенок, винила одну себя. Отмечаю потому, что в рассказе это очень важно... Затем я прожил три дня у себя в номерах на главной моей квартире. В этих многочисленных номерах, обладавших самым дурным запахом пищи, гнездились много людей, все чиновников без места или на маленьком месте, докторов с отъездом, разных поляков, всегда около меня юливших. Я все помню. В этом содоме я жил уединенно, то есть, уединенно про себя, но целый день тут окружен был целою ватагою "товарищей", ужасно мне преданных и почти меня обожавших за кошельки. Мы, я думаю, делали много скверностей, и нас другие жильцы даже опасались, то есть, были вежливы, несмотря на шалости и глупости, иногда непозволительные. Говорю опять. Я даже вовсе не прочь был тогда от мысли, чтобы меня сослали в Сибирь. И до того скучал, что, думаю, мог бы повеситься, и если не повесился, то потому, что все еще чего-то надеялся также, как и всю жизнь. Я помню, что я тогда очень занимался богословием и серьезно. Это несколько развлекало меня, но потом стало еще скучнее. Гражданские же чувства мои состояли в том, чтобы подложить под все четыре угла пороку и взорвать все разом, если бы только того стоило. Впрочем, без всякой злобы, потому что мне было очень скучно и более ничего. Я вовсе не социалист. Я полагаю, что это была болезнь. Доктор Добролюбов, погибавший с семейством в наших номерах без места, на шуточный вопрос мой: нет-ли каких-нибудь капель для возбуждения гражданской энергии?—отвечал мне однажды: „для гражданской, пожалуй, и нет, а вот для уголовной, так может найдется“, и остался доволен своим будто бы каламбуром, хотя страшно был беден и сидел с голодною беременной женой и с

двумя девочками. А впрочем, если бы люди не были излишне собой довольны, то никто бы не захотел жить.

Опять через три дня я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с уалом; мещанина, разумеется, не было дома, остались я и Матреша. Окна (во двор) были отперты. В дождь все жили мастеровые, и целый день из всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей коморке на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец, вдруг тихо запела, очень тихо; это с нею иногда бывало. Я вынул часы, было два. У меня стало сильно биться сердце. Я встал и начал к ней подходить. У них на окнах стояло много герани, и солнце очень ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала немощно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал ей руку, вдруг рассмешило ее, как дитя, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали двигаться, чтобы заплакать, но все таки не закричала. Я опять поцеловал у ней руку и взял ее к себе на колени. Тут вдруг она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Все лицо ее вспыхнуло стыдом. Я что-то все ей шептал и смеялся. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду, и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я встал почти в негодовании—так это было мне неприятно в таком маленьком существе, от жалости, которую я вдруг почувствовал“...

Тут листок оканчивался, и фраза вдруг прерывалась. При этом произошло обстоятельство, о котором нельзя не упомянуть.

Листков всего было пять, один в руках у Тихона, только что им дочитанный и прерывавшийся на полуфразе, а четыре оставались в руках у Ставригина. На вопросительный взгляд Тихона, тот, уже ожидавший, нигом подал ему продолжение.

— Но и тут пропуск?—спросил Тихон, всматриваясь.

— Ба! Да это же третий листок, нужен второй.

— Да, третий, но 'тот листок... Тот второй листок пока под цензурой быстро отвечал Ставригин, неловко усмехаясь. Он сидел в углу дивана и все, время неподвижно и лихорадочно следил за читавшим Тихоном.

— Вы получите потом, когда... удостоитесь, — прибавил он с неудавшимся фамильярным жестом. Он смеялся, но на него жалко было смотреть.

— Ведь уже теперь, что второй номер, что третий—все одно,—заметил было Тихон.

— Как все одно? Почему?—азартно и неожиданно рванулся вперед Ставригин.—Совсем не одно. А! Вам бы сейчас по монашески, то есть, самую что ни на есть жерзость прежде всего заподозрить. Монах был бы самым лучшим уголовным следователем!

Тихон вглядывался молча.

— Успокойтесь... я не виноват, что девочка глупа и не так появилась... Ничего не было. Ни-че-го.

— Ну, и слава Богу, перекрестился Тихон.

— Это все долго объяснять... тут... тут просто психологическое недоразумение..

Он вдруг покраснел. Чувство отвращения, тоски, отчаяния выдавалось в лице его. Он замолчал, точно оборвал. Долго оба не говорили и не глядели друг на друга больше минуты.

— Знаете что, лучше читайте,—сказал он, машинально отирая пальцами холодный пот со лба. —И... лучше всего не глядите на меня совсем... Мне кажется, что теперь сон.. И... не выводите меня из последнего терпения, прибавил он шопотом.

Тихон быстро отверг глаза, схватился за третий листок и, уже не отрываясь, продолжал чтение до конца. В поданных Ставрогинным трех листках более перерывов не оказалось. Но третий лист начинался тоже с полуфразы. Помещаю буквально:

...„Это была минута настоящего страха, хотя и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сених. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием, а, увидев меня, стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Это был даже и не страх, а ужас немой, окаменяющий. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее за то, что вбежала „сломя голову“, чем и прикрылась настоящая причина испуга. И так все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не выходила все время, пока я оставался. Я пробыл с час и ушел. Но к вечеру я опять почувствовал страх, уже несравненно сильнее. Мне главное было в том, что я боялся, что я это сознавал. О, ничего неделаее и ужаснее не знаю! Я никогда не чувствовал страха и кроме этого случая в моей жизни ни прежде, ни после, никогда. Но в этот раз я боялся и даже трепетал буйвально. Я это сознавал изо всех сил с унижением. Если бы можно, я бы убил себя, но я чувствовал себя недостойным смерти. Впрочем, я не потому не убил себя, а из страху же. Из страху убивают себя, но из-за страху же и остаются в жизни. Человек начинает не сметь убить себя, и самое дело становится немьслимым. Кроме того, вечером, у меня в померах, я возненавидел ее до того, что решился убить. На рассвете я с тем побегал в Гороховую. Я представлял себе всю дорогу, как буду ее убивать и ругаться над нею. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке: во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то, как она бросилась ко мне на шею, что-то воображал. Но на Фонтанке мне сделалось душно. И кроме того я ощутил новую мысль, ужасную, и ужасную тем, что сознавал. Воротясь, я лег весь в ознобе, но в такой уже последней степени страху, что перестал даже ненавидеть девочку. Я уже не хотел убивать, и вот это-то и была новая мысль, которую сознавал на Фонтанке. Тогда я в первый раз в жизни почувствовал, что страх, если

в сильнейшей степени, совершенно прогоняет ненависть, даже чувство мщения к обидчику.

Проснулся около полудня, но сравнительно здоровый и даже удивился силе вчерашних ощущений. Устыдился за то, что хотел убивать. Однако был в дурном расположении духа и, несмотря на все отвращение, все таки принужден был пойти в Гороховую. Помню, что мне ужасно хотелось в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только очень серьезную. Но, придя в Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час меня поджидала. Девушку эту я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь-ли я за визит. Она всегда так приходила. Но я вдруг ей очень обрадовался, чем привел ее в восхищение. Она была недурна, но скромна, и с теми их манерами, которые так ценит мещанство, так что моя хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обоих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу, в другой комнате, я разглядел Матрешу: она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно и исподлбья. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала; это мне очень запомнилось и несколько поразило. Показалось только с первого взгляда, что она очень похудела и что у нее жар. Я был очень ласков с Ниной, так что она ушла совсем обрадованная. Вышли мы вместе, и я два дня не возвращался на Гороховую. Мне очень надоело, хотя я скучал.

Так что, наконец, я решился все разом покончить, лучше уехать из Петербурга, до того дошло. Но когда пришел, чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и горе: Матреша была третий день нездорова и каждую ночь бредила. Разумеется, я спросил сейчас, о чем бредит (мы говорили шепотом в моей комнате). Она мне зашептала, что бредит „ужасно“: „я, дескать, Бога убила“. Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: „Бог даст, и так пройдет, не все лежат, давеча в лавочку сбегала“. Я решился заставить Матрешу одну, а т. к. хозяйка проговорила, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую сторону, то я и положил воротиться вечером. Впрочем, совсем не знал, для чего и что хотел делать.

Поедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда со своим ключом. Никого кроме Матрешки не было. Она лежала в коморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как выгнула, но не делал вид, что не замечаю. Окна были открыты. Воздух был тепл, даже жарко. Я походил и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей, а томить ее, не знаю почему. Я ждал целый час, и вдруг она вскочила сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги о пол, когда она вскочила, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Я так был низок, что был доволен, что она вышла первая. О, как это все было низко и как я был унижен! Она стояла и глядела молча. В эти дни, в которые я с того времени ни разу не видел ее ближе, действительно похудела очень. Лицо ее высохло, и голова наверно была горяча. Глаза стали большие и глядели на

меня неподвижно, с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел, смотрел и не трогался. И тут вдруг опять почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил, что Матреша совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют наивные и неимеющие манер, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше не мог вынести и я вдруг встал и подвинулся в страхе. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в таком маленьком существе. Она все махала на меня своим кулачком с угрозой и все кивала, укоряя. Я осторожно заговорил почти шепотом и ласково от трусости, но тотчас увидел, что она не понимает, и еще более испугался. Но она вдруг стремительно закрылась обеими руками как тогда, отошла и стала к окну, ко мне спиной. Я тоже повернулся и сел у окна. Никак не пойму, почему я не успел тогда же и остался там ждать, верно в самом деле, чего-то ждал. Я, может быть, посидел бы и потом встал и убил ее, чтобы все равно покончить в отчаянии. Вскоре опять услышал поспешные ее шаги, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице; я поспешно подошел и успел еще подглядеть, как она вошла в чулан, в роде курятника, рядом с другим местом. У окна, когда сел, опять роковая мысль скользнула в моем уме, и до сих пор не пойму, почему она так вдруг первая пришла мне в голову, а не другая; значит, к тому вело. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя, „но однако“... Я все ужасно помню, и сердце билось сильно. Через минуту я вновь посмотрел на часы и заметил время как можно точнее. Для чего мне нужна была тогда эта точность—не знаю, но вообще в ту минуту я все хотел замечать, так что все помню и вижу теперь, как сейчас, надвигался вечер. Надо мною жужжала муха и все садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко в'ехала внизу во двор телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я проходил в ворота и поднимался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы теперь встретил, когда буду сходить вниз, и я осторожнее... отодвинул мой стул от окна и сел так, чтобы меня не могли видеть жильцы. О, как это было подло! Взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и тут забылся. Я все помню до последнего мгновения.

Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор, как она вышла. Но я решился подождать еще ровно четверть часа. Я задал себе это время. Пришло также в голову, не воротилась-ли она, а я, может быть, слышал (sic); но этого не могло и быть; была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало опять биться сердце. Я вынул часы: не доставало трех минут; но я все таки их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут я встал, надел шляпу, застегнул пальто и осмотрелся в комнате не осталось-ли следов, что я заходил? Стул передвинул ближе к окну так,

как он стоял прежде. Наконец, отворил дверь, тихо запер ее своим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт; я и знал, что он не запирается, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в верхнюю щелку. В это самое мгновение, поднимаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красненького паука и забылся, то думал о том, как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел своим, умственными способностями и, стало быть, не сумасшедший и за все отвечаю. Я долго глядел в щель, потому что там было темно, но не совершенно, и, наконец, я все разглядел, что было надо... Тогда я решил, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Никого не встретил и никто на меня не мог показать. Часа через три мы все, без сигарет, пили в номерах чай и играли в старые карты. Лебядкин читал стихи. Много рассказывали и, как нарочно, все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Тогда был и Кирилов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что „когда Николай Всеволодович доволен и не хандрит, то и все наши веселы и умно говорят“. Я запомнил это тогда же, стало быть, я был весел, доволен, не хандрил и умно говорил. Но я помню, что я знал тогда совершенно, что я — низкий и подлый трус за мою радость освобождения и более никогда не буду благороден, ни здесь, ни после смерти и никогда. И вот что еще: со мной обмывалась в ту минуту жидовская поговорка: „Свое дурно, но не пахнет“. Ибо хотя я и чувствовал про себя, что подлец, но того не стыдился и вообще мало мучился. Тогда, сидя за чаем и что-то болтая с ними, строго формулировал про себя в первый раз в жизни: что не знаю и не чувствую зла и добра и что не только потерял ощущение, но что и нет зла и добра (и это было мне приятно), а один предрассудок; что я могу быть свободен от всякого предрассудка, но что, если я достигну той свободы, то я погиб. Это было в первый раз сознание в формуле и именно тогда за чаем, когда я с ними враг и смеялся, не знаю о чем. Но за то я все помню. Старые, всем известные мысли часто представляются вдруг, как совсем новые, даже иногда после пятидесяти лет жизни.

Но за то я все время чего то ждал. Так и случилось: часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки с Гороховой, с известием ко мне, что Матреша повесилась. Я пошел за девочкой и увидел, что хозяйка сама не зная, зачем за мной послала. Она вопила и билась очень громко, как и все они в этих случаях. Был народ и полицейские. Я постоял и ушел.

Меня почти не беспокоили все время, впрочем, спросили, что следует. Но кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду, так что я предлагал с своей стороны медина на мой счет, я ничего не показал. Спрашивали что-то меня и про ножик; я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Тем дело и кончилось.

Целую неделю я совсем туда не ходил и зашел, чтобы сдать квартиру.

Хозяйка все еще плакала [и помню, мне стало], хотя уже возилась со своим доскутьем и шитьем по прежнему. „Это я за Ваш ножик ее обидела“, сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартирѣ, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру. Мне и вообще тогда скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, по миновании опасности, я бы совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я наливал мою злость, на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня в тайне, о чем выследили наши, я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безрассуднее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить; входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется, бессознательно!) злоба на низкую трусость, овладевшую мною после дела с Матрешей. Право, не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только „пару на вино после пьяного обеда“. Свидетелями брака были Кирилов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петербурге; наконец, сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерения объявить; объявляю заодно теперь. Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, идею, до сих даже пор не искоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясняю ниже. Потом я уехал за границу, и пробыл четыре года.

Я был на Востоке, на Афонѣ выставивал восьмичасовые всеобщные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, во Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я, между продажными фотографиями, заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на Матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала, с неделю не тронутая, и я ни разу не взглянул на нее и, уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой.

Заново это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувствен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала каждый раз, как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не

мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что касается до Матрешы, то я даже карточку ее позабыл на каминне. Тому наяд с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был повернуть на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции; был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать; следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел, и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре пополудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене, в галлерее, существует картина Клод-Лорена, по каталогу, кажется, «Асис и Галатея»; я же называл ее всегда «Золотым венком», сам не зная почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз мимоходом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то была. Это уголок греческого Архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее побережье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце—словами не передать. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологии, его зеленый рай... Тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение! Мечта самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне; я не знаю, что мне именно снилось, но скалы и море, и косые лучи заходящего солнца, все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер, в окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света я увидел какой-то образ, и вдруг мне явственно (sic) представился крошечный красненький паучек. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда также лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вознлось в меня, я приподнялся и сел на постель (Вот все, как это тогда случилось!)...

Я увидел перед собою (О, не на яву. Если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь в точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой,

подняла на меня свой крошечный кулачок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? Что могло оно мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это-ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто, для страстей моих приятное. Нет—мне невыносим только один этот образ и именно на пороге, с своим поднятым и грозившим мне кулачком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, еслиб я когда-нибудь увидал ее на яву, хотя бы в галлюцинации!

У меня есть другие старые воспоминания, может быть, получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она от того умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отомстил противнику. На мне есть одно отравление—намеренное и удавшееся, и никому неизвестное.

(Если надо, я обо всем сообщу). Но почему же ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял.

Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по прежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть; я уже про это знаю. Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия. В Швейцарии я смог, два месяца спустя, влюбиться в одну девицу или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть, совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление несколько не избавило бы меня от Матрешки. Таким образом, я решился отпечатать эти листы и везти их в Россию в трехстах экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет с просьбой гласности и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно: я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о растрействе моего рассудка и наверно старание моих родных, которые этой идеею воспользуются и затупят всякое опасное для меня юридическое

преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме, и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит-ли это меня—не знаю. Прибегаю, как к последнему средству. Еще раз: если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, прикомнат, он был светло-голубой. Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.

Николай Ставрогин.

III.

Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Все это время, с самого перерыва, когда был конфискован второй листок, Ставрогин сидел молча и неподвижно в углу дивана, прижавшись к спинке и, видимо, выжидая. Тихон снял очки, помедлил и, наконец, нерешительно глянул на Ставрогина. Тот задрогнул и весь дернулся вперед.

— Я забыл вас предупредить,—быстро и резко произнес он,—что все слова ваши будут напрасны; я не отложу намерения, не трудитесь отговаривать. Я публикую. Он покраснел и замолчал.

— Вы об этом не забыли предупредить еще давеча, прежде чтения.

Нечто раздражительное послышалось в тоне Тихона. „Документ“ произвел, очевидно, сильное впечатление. Христианское чувство его было уязвлено, а он не всегда в состоянии себя сдерживать. Замечу, чтобы высказать кстати, что он не даром приобрел репутацию человека „неспособного уметь держать себя с публикой“, как говорили о нем монастырские. Несмотря на все это христианство, решительное негодование послышалось в его голосе.

— Все равно,—резко и не замечая никакой перемены, продолжал Ставрогин.—Какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что этою неловкою фразой или ловкою—думайте, как хотите—я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и упрашивать,—заклучил он, криво усмехнувшись.

— Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль ваша—высокая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, казни над самим собой, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только...

— Если?

— Еслиб это действительно было покаяние и действительно христианская мысль.

— Тонкости,—пробормотал Ставрогин, задумчиво и рассеянно, встал и начал ходить по комнате, решительно не замечая того.

— Вы как будто нарочно грубее хотели представить себя, чем бы желало сердце ваше, — высказывался все более и более Тихон.

— Представить? Я не „представлялся“ и в особенности не ломался: „грубее“, что такое „грубее“? — покраснел он опять и тотчас же за то растерялся: я знаю, что этот факт мизерный, ползучий и мерзкий, кивнул он на листки, но пусть самая нивость его послужит к усугублению... Он вдруг оборвал, как бы стыдясь продолжать и считая унижительным пускаться в объяснения, но в то же время с видимым страданием, хотя и бессознательно, подчиняясь какой-то необходимости остаться и именно для объяснений. Замечательно, что ни слова о том, что было им давеча высказано в объяснение конфискации второго листка, не было уже больше повторено во все продолжение дальнейших речей, даже как будто и забыто с обеих сторон. Меж тем он остановился у письменного стола и, взяв в руки маленькое распятие из слоновой кости, начал вертеть его в пальцах и вдруг сломал пополам. Очнувшись и удивившись, он в недоумении посмотрел на Тихона, и вдруг верхняя губа его задрожала, словно от обиды и как бы с горделивым вызовом.

— Я думал, что вы мне что-нибудь в самом деле скажете, для того и пришел, — проговорил он вполголоса, как бы сдерживаясь изво всех сил, и бросил обломки распятия на стол.

Тихон быстро опустил глаза.

— Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, так-ли я понимаю? — произнес он с настойчивостью и почти с жаром. — Да, это есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая. Вас поразило до вопроса жизни и смерти страдание обиженного вами существа: стало быть, в вас еще есть надежда, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных: казнить себя перед целым миром заслуженным вами позором: вы обратились к суду всей церкви, хотя и не веруя в церковь, так-ли я понимаю? Но вы как бы уже ненавидите и презираете впредь всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой.

— Я? Зову в бой?

— Не постыдившись признаться в преступлении, зачем постыдились вы покаяния?

— Я? Стыжусь?

— Стыдитесь и боитесь.

— Боюсь? — Судорожно усмехнулся Ставрогин, и снова верхняя губа его как бы вздрогнула.

— Пусть глядят на меня, говорят вы; ну, а вы сами как будете глядеть на них? Вы уже ждете их злобы, чтобы ответить еще более злобою. Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашей и хватаетесь за каждую мелочь, чтобы только удивить читателя безчувственностью и бесстыдством, которых в вас, может, и нет. С другой стороны дурные страсти и привычки к праздности делают вас действительно бесчувственным и глупым.

— Глупость не порок, — усмехнулся Ставрогин, начиная бледнеть.

— Иногда шорок,—непреклонно и страстно продолжал Тихон.—Уязвленный смертельно видением на пороге и измученный им, вы в документе сем как бы сами не видите, в чем собственно главное преступление ваше и чего больше стыдиться вам перед людьми, к которым сами хотите на суд: бесчувственности-ли насилья, совершенного вами, или трусости, при том выказанной? В одном месте вы даже как бы спешите уверить читателя вашего, что грозный жест отравницы был уже для вас не „смешон“, а убийствен. Но неужели он был хоть на мгновение для вас „смешон“? Да, был, я свидетельствую.

Тихон замолк. Он говорил, как человек, не желающий себя сдерживать.

— Говорите, говорите,—понурил Ставрогин.—Вы раздражены и... бранитесь; я это люблю от монаха. Но только вот что я вас спрошу: вот уже десять минут, как мы говорим после этого (он кивнул на листки), и хоть вы и бранитесь, а я не вижу в вас никакого особенного выражения гадливости или стыда... Вы, кажется, не брезгливы и говорите со мной точно с равным.

Это он прибавил, совсем понизив голос, а „точно с равным“ как бы вылетело у него совсем нечаянно, для него самого неожиданно. Тихон зорко поглядел на него.

— Удивились вам,—произнес он, помолчав,—ибо слова ваши непритворны, я вижу, и в таком случае... Я сам перед вами виновен. Знайте же, что я с вами был невежлив и брезглив, а вы в жажде самоказни даже того не заметили, хоть и заметили нетерпение мое и назвали его бранью, сами же себя считаете достойным несравненно большего презрения, и слово ваше, что я „говорю, как с равным“—хоть и невольное, но прекрасное ваше слово. Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая правдная сила, ушедшая нарочно в мерзость. Видно, даром иностранцами не делаются. Есть одна казнь, преследующая оторвавшихся от родной земли—скука и способность к бездельничеству, даже при всем желании дела. Но христианство признает ответственность даже и при всякой среде. Вас умом Господь не обделил, рассудите сами: коль скоро вы в силах умственно поставить вопрос: „ответствен я или неответствен за дела мои?“ значит, непременно уж ответственный: „Невозможно не прийти в мир соблазнам, но горе тому, чрез кого соблазн приходит“. Впрочем, что до самого... проступка вашего, то и многие грешат тем же, но живут с своею совестью в мире и спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, от которых уже пахнет могилой, и которые грешат тем же и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен мир. Вы же, по крайности, почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.

— Уж не уважать-ли вы меня стали после листков?—криво усмехнулся Ставрогин.—Вы... вы, почтенный отче Тихон,—я слышал от других,—в наставники не годитесь,—прибавил он, продолжая улыбаться еще более насильственной и неподходящей улыбкой.—Вас здесь сильно критикуют. Вы, говорят, чуть увидите что-либо искреннее и смиренное в грешнике, тотчас приходите в восторг, каясь и смиряясь, а пред грешником забегаете и идите...

— Отвечать прямо о сем не буду, но, конечно, правда, что не умею подходить к людям. Я всегда в том чувствовал великий мой недостаток,—со вздохом промолвил Тихон и до того простодушно, что Ставрогин посмотрел на него с улыбкой.—Что же до сего,—продолжал он, глянув на листки,—то более великого, более страшного преступления, как поступок ваш с откровенницей, разумеется, нет и не может быть.

— Оставим меру на аршины,—проговорил Ставрогин, помолчав и несколько с досадой.—Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много нагнал на себя,—заклучил он вдруг неожиданно.

Тихон смолчал. Ставрогин задумчиво и, понурив голову, шагнул по комнате.

— А эта девица,—спросил вдруг Тихон,—с которою вы разорвали начавшуюся связь в Швейцарии, находится... где в сию минуту?

— Здесь.

Опять молчание.

— Я, может быть, вам очень нагнал на себя,—настойчиво повторил вдруг Ставрогин,—я даже не знаю еще сам... Впрочем, что же, я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж так заметили вызов? Так и надо. Они стоят этого.

— То есть, ненавидя их, вам станет легче, чем если приняв от них сожаление?

— Вы правы; я не имею привычки быть откровенным, но уж если начал... с вами... то знайте, что я их всех столько же, совершенно столько же презираю, как и себя, столько же, если не больше; бесконечно больше. Ни один не может быть моим судьей... я написал этот вздор (он кивнул на листки) так, потому что мне это в голову пришло, для безстыдства... а может быть, просто наврал, преувеличил в минуту фанатическую... злобно оборвал он и опять покраснел, как давеча, за против воли высказанное. Он обернулся к столу, спиной к Тихону, и опять захватил в руку кусок сломанного распятия.

— Ответьте мне на вопрос, но искренно, мне одному, или как самому себе в темноте ночи,—проникнутым голосом начал Тихон: если бы кто простил вас за это (он указал на листки) и не то, чтобы из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча про себя, читая вашу страшную исповедь, то легче-ли бы вам было от этой мысли или все равно? Пожалуй, если тяжело самолюбию вашему дать ответ, то и не говорите, а только подумайте про себя.

— Легче,—ответил Ставрогин, вполголоса,—если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, прибавил он быстро и вполупотом, но все еще не обращившись от стола.

— С тем, чтобы и вы меня тоже.

— За что? Ах да, это ваша монастырская формула. Дурное смирение. Знаете, эти все ваши монашеские древнейшие формулы даже совсем не являлись. Но вы в самом деле думаете, что они являлись,—фыркнул он раздра-

жительно. — Я не знаю, зачем я здесь, прибавил он вдруг, оглядываясь. Да я у вас сломал... Что, эта штучка рублей двадцать пять стоит?

— Не беспокойтесь,—сказал Тихон. ☸

— Аلي пятьдесят? Почему мне не беспокоиться? За что я буду у вас ломать, а вы мне прощать убыток? Возьмите, вот вам пятьдесят рублей, вынул он деньги и положил на стол. Ну, не хотите взять сами, возьмите на бедных, для церкви... раздражался он более и более. — Слушайте, я вам все правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой и третий, но все—все непременно пусть ненавидят!

— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с смирением перенести?

— Не мог бы. Я не хочу всеобщего сожаления, да и не может быть всеобщего сожаления, пустой вопрос. Слушайте, я не хочу ждать, я непременно опубликую... не подождайте ко мне... Я не могу ждать, не могу... прибавил он неистово.

— Страшно мне за вас,—почти робко произнес Тихон.

— Страшно, что не выдержу? Не выдержу их ненависти?

— Не одной лишь ненависти.

— Чего же еще?

— Их... смеху,—как бы через силу и полушопотом вырвалось у Тихона. Бедный не мог удержаться и начал о том, о чем сам знал, что лучше бы умолчать.

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.

— Я это предчувствовал. Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего „документа“. Не беспокойтесь, не конфузьтесь, я этого ожидал.

Тихон, действительно, как бы сконфузился и стал поскорее объясняться, что, конечно, еще более испортило дело.

— Для таких подвигов потребно нравственное спокойствие духа, даже и при страдании потребно высшее просветление... ныне же нравственного спокойствия нет повсеместно. Всюду идет большой спор. Не понимают друг друга, как во времена разделения Вавилонского...

— Это все очень скучно, я это знаю, тысячу раз переговорено... перебил Ставрогин.

— Ведь и цели не достигнете,—приступил прямо Тихон: юридически вы почти неуязвимы, вот и это, во первых, заметят вам с насмешкой. Будет недоумение. Кто поймет истинные причины исповеди? Да нарочно понять не захотят, ибо таких подвигов боятся, встречают их с беспокойством и за них ненавидят и истят, ибо свет любит скверну свою и не хочет, чтоб ее потрясали; а посему и обратят поскорее в смешное, ибо смешным скорее всего загубить у них можно.

— Говорите точнее, говорите все,—понууждал Ставрогин.

— В начале, конечно, выскажут ужас, но более фальшивый, чем искренний, для соблюдения приличий. Я не про чистые души говорю: те

ужаснутся про себя и себя обвинят, но они не заметны будут, потому что будут молчать. Остальные же люди, светские, бояливы лишь пред тем, что прямо угрожает личным их интересам. Те именно, после первого недоумения и условного ужаса, начнут поскорее смеяться. Будет любопытство и к помешанному, ибо вас сочтут за помешанного, хотя и не совсем, но именно настолько за себя отвечающего, чтобы позволительно было усмехнуться над ним. Перенесете-ли то? Не исполнится-ли сердце ваше враждой такою, что за сим, несомненно, последует проклятие и погибнете... Вот чего боюсь.

— Однако вы... вы то сами... я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо,—с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.

— А верите, я более, по себе судя, говорил, чем про людей,—воскликнул Тихон.

— Да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что и вас здесь веселит в моей беде?

— Кто знает, может и есть. О, может и есть!

— Довольно. Укажите же, чем именно смешон я в моей рукописи? Я знаю все, чем; но я хочу, чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите пощипчивее, потому что вы большой циник... вы, святые люди, ужасные циники; даже и не знаете, как презираете людей... Скажите именно со всею искренностью. И еще повторю вам, что вы ужасный чужак.

— Даже в самом намерении великого покаяния сего заключается уже нечто смешное для света, как бы фальшивое... не говоря уже о форме, не твердой, смутной, как бы от слабости страха невыдержанной... О, не верьте тому, что не победите!—воскликнул он, вдруг спохватившись, но почти в восторге:—даже сия форма победит (он указал на листки), если только искренно примите заушение и заплевывание... если выдержите! Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и величайшею силой, если искренно было смирение подвига. Но есть-ли, есть-ли смирение подвига? Будет-ли? О, вам нужен не вызов,—а непомерное смирение и принижение! Нужно, чтобы вы не презирали судей своих, а искренно уверовали в них, как в великую церковь, тогда вы и их победите и обратите к себе примером и солжете в любви... О, если бы выдержали!

— Укажите, что всего по вашему смешнее в листках?

— К чему, к чему забота сия о смешном, к чему такая боязнь ваша,—горестно воскликнул Тихон, качая головой.

— Ну, это пусть, а только вы укажите смешное...

— Убьет некрасивость,—прошептал Тихон, опуская глаза.

— Некрасивость? Какая некрасивость?

— Преступления. Преступление поистине некрасивое. Преступления, каковы бы они не были, чем более крови, чем более ужаса, тем они, так сказать, картиннее и внушительнее; но есть преступления по истине стыдные, позорные, мимо всякого оправдания ужасом...

Тихон не договорил.

— То есть, вы находите весьма смешною фигуру мою, когда у девочек целовал руки и... и потом трусил и... и... ну, и все прочее... понимаю. Я вас очень понимаю. И вы думаете, что не перенесу?

Тихон молчал. Лицо Ставрогина побледнело и как бы перекошилось.

— Теперь догадываюсь, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь-ли она?—тихо проговорил он как бы про себя.

— Не приготовлены, не закалены,—прибавил Тихон.

— Слушайте меня: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель!—сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах.—Вот вам вся моя исповедь, вся правда, а все прочее ложь. Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу... Не пугайте же меня, не то погибну в злобе, прибавил он так, как будто все это опять невольно вырвалось из уст его. Слова эти, казалось, были столь неожиданным для Тихона, что тот в удивлении приподнялся с места.

— Если веруете, что можете простить сами себе и только сего прощения и ищите достигнуть страдания своим, то вы уже во все веруете!—восторженно воскликнул он.—Как же сказали вы, что в Бога не веруете?

Ставрогин не ответил.

— Вам за неверие Бог простит, ибо по истине Духа Святого чтите, не зная Его.

— Мне нет прощения,—мрачно сказал Ставрогин,—в вашей книге сказано, что выше преступления нет, если оскорбить „единого от малых сих“, и не может. Вот в этой книге!

Он указал на Евангелие.

— Я вам радостную весть за сие скажу,—с умилением промолвил Тихон:—и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда он простит за намерение и страдание ваше великое... ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца „донде же пути его вьявь не откроются нам.“ Кто обнимет его, необъятного, кто поймет все его, бесконечного!

Углы губ его задержались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись намерение (sic), он не выдержал и быстро опустил глаза.

Ставрогин взял с дивана свою шляпу.

— Я приеду еще когда-нибудь, сказал он с видом сильного утомления,—мы с вами... я слишком ценю удовольствие беседы и честь... и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему ныне вас так любят. Прошу молитв ваших у того, которого вы так любите...

— И, вы идете уже?—быстро привстал и Тихон, как бы не ожидая совсем такого скорого прощания. — А я... как бы потерялся он, — я имел былю представить вам одну мою просьбу, но... не знаю как... и боюсь теперь.

— Ах, сделайте одолжение.—Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке Тихон посмотрел на эту шляпу, на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским и изволованного, и полупомешанного, дающего ему пять минут для окончания дела, и смутился еще более.

— Вся просьба моя лишь в том, что вы... ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович (так кажется, ваше имя и отчество?), что, если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры, например, и... в смысле всего остального.

— Карьеры?—Николай Всеволодович неприятно поморщился.

— К чему же бы портить? К чему бы, казалось, такая непреклонность?.. почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича.

— Я вас уже просил, прошу вас еще: все слова ваши будут излишними... да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым.

Он знаменательно повернулся в креслах.

— Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете: подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если бы и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтет Господь. Все сочтется; ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже, несомненно, великое.

Николай Всеволодович молчал.

— Вас борет желание мучительства и жертвы собою; покорите и свое желание ваше, отложите листки и намерение ваше, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете.

Глаза его загорелись; он просительно сложил пред собой руки.

— Как болезненно вы это все принимаете и какую даете цену... Впрочем, поверьте, что я сумею оценить,—вежливо, но как бы брызгливо проговорил Николай Всеволодович. — Я замечаю, вам очень хочется поставить мне ловушку, — без сомнения, с самой благородною целью, из желания добра и человеколюбия. Вам хотелось бы, чтоб я остепенился просто, без фокусов и беллишков, пожалуй, женился бы и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая по праздникам ваш монастырь; не правда-ли? А, впрочем, вы, как сердцевед и циник, можете, и предчувствуете, что это, несомненно, так и будет, и все дело только за тем, чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, чтобы быть упрощенным, не правда-ли? Бьюсь об заклад, что вы имели тоже в виду мою мать и ее спокойствие...

Ф. Достоевский.

Критика и библиография.

От группы *Блатова* к „*Стилю борьбы*“. (1886—1894 г.г.) Изд. Комиссии по истории Октябрьской революции и Р. Е. П. Ростов на/Д. 1921 г. Стр. 128.

Сборник составлен из следующих статей и материалов: воспоминаний рабочего К. Норинского и М. Ольгинского о развитии и деятельности первых социал-демократических рабочих кружков за десятилетие 1887—1896 г.г., отрывка воспоминаний одного из самых старых с.-д. Н. Д. Богданова с дополнениями К. Норинского о том же*), беглых воспоминаний рабочего В. А. Шелгунова преимущественно о кружковой пропаганде в Петербурге в начале 90-ых годов, материалов по делу М. И. Бруснева, статьи В. Невского—„Харьковское дело Ювеналия Мельникова и др.“ и речей питерских рабочих, произнесенных на первом первомайском собрании 1891 года.

Редакция возлагает большие надежды на сборник. „В данном материале, по моему мнению,—пишет М. Ольгинский во вступительной статье (озаглавленной „Пробег в нашей истории“)—имеют наибольшее значение и представляют наибольший интерес воспоминания К. Норинского, Н. Богданова и В. Шелгунова. Их рассказы, правда, нанесут не малый удар самолюбию марксистов из интеллигентной среды; но они же покажут, что марксизм в рабочей среде залегал много глубже, чем мы думали до сих пор, и что эта среда проявляла неизмеримо больше самостоятельности и самостоятельности, чем ей до сих пор приписывалось“. Вот это-то главное утверждение М. Ольгинского определяет боевое задание сборника, осталось недоказанным. Не говорю уже о том, что октябрьская революция, виднейшие вожди которой в подавляющем числе вышли из среды старой социал-демократической интеллигенции (следовательно, „марксисты из интеллигентской среды“ проявили „неизмеримо больше самостоятельности“ в деле строительства социалистического государства), сама отвергла вывод Ольгинского, но и в историческом аспекте вывод остается голословным до появления соответствующих статистических данных. Только сравнительным статистическим подсчетом можно доказать подобную „истину“. Надо, напр., установить точно именной и социальный состав какого-нибудь с.-д. кружка конца 80-ых или начала 90-ых г.г., проследить главные этапы биографии его участников и сравнить данные, подведя их статистический итог. Табкой только аргументацией можно убедительно обосновывать утверждения, подобные выводу М. Ольгинского. Вся книжка пропитана тенденцией вопреки общеизвестной истине умалить роль интеллигентов в социал-демократическом

*) Воспоминания Н. Д. Богданова под заглавием „На заре социал-демократического движения“ напечатаны в меньшевистском журнале „Освобождение Труда“ за 1918 г. М. Ольгинский напрасно сократил их. Если они „являются ценным материалом для истории самого темного периода петербургского рабочего движения“, то почему потребовалось исключить часть хотя и „беглых заметок“, о еще более темном периоде рабочего движения в Воронеже? Кое-что из воспоминаний Ольгинского известно уже по его статье „Из воспоминаний революционера“, напечатанной в московском журнале „Рабочий Мир“ за 1919 г., кн. 4—5.

движении 1886—1894 г.г. А отрывочный материал сборника, наоборот, подтверждает убеждение, что сознательная „марксистская“ рабочая масса обязана своим марксистизмом интеллигентным с.-д. и пропагандистам. В одной из первомайских речей, произнесенных в 1891 г. и тут же (стр. 123) перепечатанной, один из ораторов подчеркнул, что интеллигенция „искренне стремится—за что ей сердечное спасибо—своими силами и знаниями помочь рабочим в борьбе с существующим хищническим строем“. Дальше тот же К. Норинский в своих воспоминаниях с особенной теплотой отмечает „труды Бударина“—преподавателя ремесленного училища при Балтийском заводе, в котором обучался автор, когда-то „офицера во флоте“, которому лишний, главным образом, обязан своим развитием. „Труды Бударина не пропали даром: не малый процент учеников его принимал участие в освободительном движении: одна выпускной год (1887) дал около 10 революционных работников из 40.—Вечная память тебе, дорогой Тимофей Тимофеевич! Твоя работа даром не пропадает: порукой в том мы, твои ученики“ (стр. 9). Разве такой апологией трудам Бударина К. Норинский не признает роль интеллигенции в эпоху „кружковщины“? Один Бударин подготовил десять революционных работников—рабочих! Следующий современник, Н. Д. Богданов, рассказывает: „в 1888 г. наш кружок рабочей молодежи работал над своим самообразованием... занимались мы одни, без руководства извне, и потом без программы и без направления“... Пришлось завязать сношения со студентами... „С большой радостью и нетерпением мы ждали этого студента“, а когда он, наконец пришел и приступил к занятиям с рабочими, то „с этого времени у нас пошли систематические занятия“. А потом автор поясняет: „некоторой связывающей нитью были только студенты (их называли интеллигентами)“ (стр. 40—41). Исключение составляет В. А. Шелгунов (который, кстати сказать, свои воспоминания не писал: он рассказывал, а с его слов записав) подчеркивающий просветительскую роль интеллигентов; причастность их к агитации и пропаганде он как будто отвергает. Как бы там ни было, все три рассказа современников нисколько не уязвляют самолюбие интеллигентов из марксистской среды. Нам могут возразить указанием на то, что и Шелгунов и Богданов и Норинский много рассказывают об отдельных рабочих и почти что не останавливаются на с.-д. интеллигентах того времени, с которыми они сталкивались на революционном пути. Такое случайное (или сознательное?) уклонение не есть, разумеется, довод для скоропалительного вывода Ольминского. Последний, между прочим, „хотел бы здесь же (во вступительном слове) разрушить еще одну легенду, вредную для истории нашей партии. Это—легенда о „народовольце“ Александре Ульянове (брате г. Ленина) и его товарищах“. Он тут же, приводя одну-другую цитату из воспоминаний Н. Д. Лукашевича, склонен утверждать, что участники так наз. „террористической фракции Народной Воли“ были марксистами и социал-демократами. Мы не знаем, что важнее для науки—ограждение ли партии от освещений, могущих причинять ей вред, либо объективная историческая истина,—но характерна сама по себе попытка строить здание при отсутствии фундамента: по делу Ульянова и др. основные материалы покоятся еще в архивах. До их полного опубликования рискованно „разрушать легенды“....

Сам по себе сборник, благодаря относительно богатому фактическому содержанию, бесспорно полезен. Как воспоминания Норинского, Богданова, Шелгунова и Ольминского, так и статья В. Невского и остальные материалы действительно восполняют пробел, и пробел значительный, в литературе по истории революционного движения вообще и социал-демократического движения в частности. Но для кого этот пробел восполнен? Исключительно для ограниченного круга читателей, внимательно изучающих эту область русской истории. Та десятитысячная масса, которая выхлестывалась в виду при печатании книги, пройдет мимо нее, а если и прочтет, то останется неудовлетворенной. Основной недостаток—отсутствие какой-либо редакторской работы. Правда, М. Ольминский предупреждает, что „каждого читателя материалов, напечатанных в этой книге

*) Скобка Н. Д. Богданова.

должна поразить их отрывочность.... Пока еще мы имеем не историю десятилетия, а наметки на что-то, достойное исторического изучения". Предупреждение это, однако, несколько не оправдывает бесцельности редакции и не утешает массового читателя. Во первых, следовало бы дать сводный вступительный очерк, который всесторонне охватил бы все десятилетие. Без такого очерка „отрывочные“ материалы для большинства читателей остаются неосознанными. Во вторых, надо помнить не только о социал-демократическом движении, но и о рабочем движении, выражающемся в массовой борьбе рабочего со своими хозяевами на экономической почве. Идеальное развитие рабочего класса тесно нужно переплести с живым рабочим движением. Пусть мало отразилась тогда идейная деятельность кружков на развитии стачек и т. п., но все же целесообразно было бы в этом сборнике хоть сколько-нибудь осветить это явление. Для этого не требуется каких-нибудь новых свидетельских показаний: достаточно было бы дать очерк по литературным данным.

В совершенно неудобоваримом для массового читателя виде напечатаны материалы по делу Бруснева. Чрезмерно сухие официальные протоколы и рапорты, извлеченные из предварительного жандармского дознания, пестрящие многими десятками никому неизвестных имен и несопровождаемые ни одним пояснением редакции, ничего ровно не сообщают. Их просто скучно (да, скучно!) читать, если только нет в этом необходимости ради исследовательских работ. Из 18 страниц текста материалов могла бы дать хоть какое-нибудь представление о существе деятельности группы Бруснева, единственно, программа группы. К сожалению, она напечатана без всякого сопоставления с программами других групп и кружков, работавших в то время, и без какого-либо объяснительного слова, определяющего ее место в истории с.-д. движения, что, конечно, лишает ее широкого интереса. Так публиковать материалы можно только в таком издании, как „Шульгинский сборник“, печатавшийся без всякой системы для самого ограниченного круга читателей, а не в сборнике для массы. Гораздо предпочтительнее изложить и объяснить их содержание, словом проделать над материалом такую же работу, какую проделал В. Невский над однородным материалом по делу харьковского кружка Ювеналия Мельникова.

То же самое приходится сказать и по поводу первомайских речей 1891 г., впервые целиком публикуемых в России¹⁾. У нас нет под рукой женеваского издания речей, но мы пробовали сверить опубликованный в данном сборнике текст с текстом, напечатанным нелегально в Петербурге в 1891 г. (т. е., с брошюрой, отгектографированной тогда же при помощи М. Ольминского, см. стр. 71 сборника). С первых же шагов мы натолкнулись на ряд расхождений текстом. В фразе — „всюду будем передавать свое знание: на родине своим крестьянам, в тюрьмах будем объяснять арестантам, чтобы они, со- знавши эти права (какие?), передали свое знание другим и организовали их в группы“ (стр. 121) — явный пропуск. Должно быть: „всюду будем передавать наши знания: на родине своим крестьянам, а в тюрьме будем объяснять арестантам, что они тоже люди и имеют все человеческие права, чтобы они сознали эти права“ и т. д. Бессмысленна и фраза (не опечатка ли?): „Чего же нам, русским рабочим, отчаиваться и ждать от этих борющихся товарищей“ (стр. 21). Вместо „ждать от этих“ должно быть „бежать от своих“. Или здесь читаем: „наш рабочий так же должен знать, что он и создатель всей науки, искусства и изобретений“, а в гектографированном тексте читаем: „наш рабочий должен также знать, что труд есть двигатель всего человеческого прогресса, что он создатель всей науки“ и т. д. Таких разногласий, умаляющих научное значение текста исторических речей, много²⁾. Кроме того, редакция должна была бы, публикуя речи,

¹⁾ Напечатаны в Женеве в 1892 г. с предисловием Г. Плеханова.

²⁾ Вполне возможно, что воспроизведен один из позднейших текстов, но тогда следовало бы указать издание, с которого перепечатка делается, и объяснить, — почему именно о этого издания, а не другого.

сопроводить их краткими примечаниями об ораторах, здесь же назвав их поименно; это сделать тем легче, что имена их упоминаются в тексте воспоминаний Богданова.

Оборники, повторая, восполняя пробел, полезны, но только для специалиста. Для рядового же читателя, о котором Истнарт больше всего должен заботиться, весь включенный сюда материал, за исключением разве статьи Невского, кто-нибудь другой должен будет переработать в удобоваримой форме.

Р. КАНТОР.

О т р е д а к ц и и.

Возобновляя критико-библиографический отдел, редакция обращается с просьбой к авторам и издательствам присылать по адресу редакции (Петербург, Литейный, 21, кв. 16), номера газет, журналов, оттиски, брошюры и книги, касающиеся истории вообще и в частности истории общественного и революционного движения на всем его протяжении. Все присылаемые работы будут отмечены в библиографии историко-революционной литературы.



Издатель—Кооперативное Издательское Т-во «БЫЛОЕ»

Редактор—П. Е. Щеголев.

БЫЛОЕ

№ 19

1922

Р. II. № 1001.

Москва.

Тираж 10.000

7-я типография „Моспечать“ (б. Мамонтова), Филипповский пер., д. 11.

Новый текст „Путешествія“ Радищева.

I. Происхождение рукописи и особенности ее текста.

„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ приняло ту окончательную редакцию, которую мы имеем в печатном тексте, после сложной и длительной работы автора как над изменением состава своего сочинения, так и над его стилем. Эту переработку своей книги Радищев производил уже и после того, как она прошла через цензуру, и вследствие этого окончательный, печатный текст представляет довольно значительные отличия от текста, бывшего в цензуре. Те сотни рукописных копий, в которых „Путешествіе“ быстро распространилось по России, вскоре после своего выхода в свет, были, конечно, обыкновенно сделаны с тех немногих печатных экземпляров, которые, по разным причинам, оказались неуничтоженными.

Но не исключена была возможность существования списков книги, отличных, по тем или иным основаниям, от печатного текста, — и, в частности, таких, которые отражали бы на себе более раннюю стадию работы автора¹). В настоящее время такая вероятность переходит в действительность, — и мы имеем счастливую возможность опубликовать новые строки и даже целые страницы, принадлежащие перу Радищева.

Новый список „Путешествія“, который открывает дополнительные страницы и многие варианты к печатному тексту, сохранился в библиотеке известного исследователя русской литературы М. Н. Лонгинова, остававшейся после его смерти († 1875 г.), вплоть до своего времени, неприкосновенной и в настоящее время принадлежащей Пушкинскому Дому при Российской Академии Наук.

Этот список — книга в большую восьмую долю листа, на 368 страницах, в старинном кожаном переплете; написана хорошим старым почерком²). Имеющиеся на бумаге водяные знаки „1794“ и „1796“ указывают предельный возможный наибольший возраст копии; надпись

¹) В недавнее время проф. Д. Н. Анучин в своей работе „Судьба первого издания „Путешествія“ Радищева“ (М. 1918 г., издательство „Пролетария“, стр. 48) сообщил краткие сведения о списке книги Радищева, имеющем двойное заглавие: „Проницующій Грѣшанинъ, или Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“; в этом списке, помимо мелких разночтений, имеются две фразы, отсутствующие в печатном тексте. Д. Н. Анучин полагал, что эти фразы вставлены владельцем списка.

²) Заглавный лист рукописи имеет позднейшее происхождение: он вставлен М. Н. Лонгиновым.

на книгу (не представляющая по содержанию своему интереса) имеет дату: „1800 г.“. Из этого можно заключить, что копия написана приблизительно между 1796 и 1800 г.г.

Рассматриваемый список, до поступления к М. Н. Лонгинову, находился в библиотеке москвича П. В. Голубкова¹⁾; из библиотеки же Лонгинова список временно побывал в руках сына А. Н. Радищева, Павла Александровича²⁾, когда последний занимался собиранием сведений о жизни отца и задумывал даже издание всех его сочинений,—издание, не осуществившееся, вероятно, потому, что на возбуждавшиеся П. А. Радищевым просьбы о разрешении перепечатать „Путешествие“ всегда следовал отказ.

Для определения характера всякого списка „Путешествия“ Радищева мы имеем два основных текста. Это—текст издания 1790 г., и текст рукописи, отобранной у Радищева при его аресте, и представляющей собою рукопись, бывшую в цензуре, пополненную некоторыми новыми страницами, вставленными уже после цензуры. К сожалению, рукопись, бывшая в цензуре, сохранилась далеко не в полном составе³⁾: значительная часть страниц ее была утрачена самим Радищевым. Не представляя автографа автора, рукопись, однако, имеет некоторые его исправления и заметки. Несмотря на сделанную Радищевым попытку замаскировать сделанные после цензуры вставки, сохранилась тем не менее возможность отделить позднейшие дополнения от более раннего текста и определить таким образом тот состав „Путешествия“, который оно имело при поступлении в цензуру. Это произведено было П. Е. Щеголевым, который дал обстоятельное обследование всего этого текста⁴⁾. Из этого обследования видно, что после цензуры, кроме нескольких мелких вставок, были добавлены такие крупные отрывки, как посвящение А. М. Кутузову, рассказ о наместнике, любителе устриц (в главе „Спасская Полотьсть“), рассказ о встрече с семинаристом и извлечение из его тетради (в главе „Подберезье“), беседа с Карпом Дементьевичем (в главе „Новгородъ“) и, наконец, повествование о цензуре и слово о Ломоносове⁵⁾.

¹⁾ Это видно из следующей надписи М. Н. Лонгинова на чистой странице, предшествующей задней крышке переплета: „Этот экземпляр превосходен по вѣрности списка и чѣткости почерка. Онъ былъ въ библиотекѣ известнаго Платона Васильевича Голубкова, здѣсь въ Москвѣ, и купленъ отсюда книгопродавцемъ Зайцевскимъ, который продалъ мнѣ оный за пятнадцать рублей серебромъ въ Москвѣ же, 9 февраля 1856 года“. Упомянутый здѣсь П. В. Голубков, московский купец († 1855 г.), известен изданиемъ нескольких переводов, относящихся до Индии.

²⁾ Этот фактъ определяется изъ сохранившагося въ архивѣ Лонгинова слѣдующаго письма къ нему П. А. Радищева: „Милостивый Государь Михаилъ Николаевичъ. Я подалъ сегодня на почту вашу рукопись, за которую васъ премного благодарю. Я въ ней нашелъ писновореніе, или маленькую поэму: *Сотвореніе міра*, еще видѣвъ не напечатанную, и которая въ свое время присоединится къ полному изданію всѣхъ сочиненій автора. Я пріѣхалъ благополучно 14 октября къ деревню, въ 50 верстахъ отъ Бахмута, а теперь поселился опять на непрѣмѣнное житіе въ Таганрогъ, куда и прошу написать и извѣстить меня о полученіи вашей рукописи. Съ почтеніемъ и преданностію остаюсь вашъ покорный слуга Павелъ Радищевъ. Таганрогъ. Ноября 12-го 1861“.

³⁾ В Государственном архиве. Эту рукопись мы ведемъ далее называемъ „цензурной“.

⁴⁾ Статьи „Рукопись „Путешествія“ и „Добавленія и разночтенія изъ рукописи при изданіи „Путешествія“, под редакціей Н. П. Сильванскаго и П. Е. Щеголева (СПБ. 1905 г.). Дальнейшіе ссылки на эти статьи обозначаются нами: Щеголев.—„Путешествіе“ цитируется по этому изданію.

⁵⁾ Щеголев, стр. LXXXIV.

Изучаемая нами рукопись включает в себя и те дополнения, которые были сделаны Радищевым после цензуры, и по общему составу примыкает к печатному тексту; это—первый вывод, который можно сделать из рассмотрения рукописи и сопоставления ее с двумя указанными текстами. Единственным в этом отношении фактом, связывающим нашу рукопись с цензурной, является заголовок „Подберезье“, имеющийся в рассматриваемой рукописи не только там, где ему следует быть согласно печатному тексту, то-есть при начале главы с таким названием, но и после рассказа о судебной несправедливости, перед текстом, в котором изображается явление Истины „сѣдѣющему на престолѣ“¹⁾; здесь в цензурной рукописи было начало главы „Подберезье“, ничего общего с печатным текстом этой главы не имеющей²⁾; свидетельством этого остался и находящийся в нашей рукописи другой заголовок.

При предыдущем сопоставлении, говоря об общем составе рукописи, мы имели в виду два текста: цензурный и печатный. Но рассматриваемая нами рукопись имеет в своем составе и существенное отличие как от того, так и от другого текстов. В ней находится, во-первых, полный текст оды „Вольность“, приведенной и в цензурной рукописи и в печатной книге в сокращении, и ставшей известной в полной форме лишь по списку, полученному П. А. Ефремовым от сына Радищева³⁾; вторым важным отличием является новый вариант размышлений Радищева по поводу этой оды. Наконец, мы имеем в рукописи произведение в стихах „Творение міра. Пѣснословіе“,—отрывок совершенно до сего времени неизвестного радищевского текста. Мы не упоминаем здесь о нескольких дополнительных местах, находящихся в нашей рукописи, но отсутствующих в сохранившихся частях рукописи цензурной,—не упоминаем потому, что присутствие их в полном тексте этой рукописи можно считать вполне вероятным.

Но если, по общей концепции, рассматриваемая рукопись, за отмеченными важными отличиями, примыкает к печатному тексту, то по многим вариантам и по отдельным местам текста, которых нет в печатной книге, она, во многих своих главах, чрезвычайно близка к рукописи цензурной. В этом заключается и авторитетность изучаемой рукописи: ибо совпадение вариантов ее с вариантами рукописи цензурной, а также присутствие в рассматриваемой рукописи полного текста таких фраз, которые не вошли в печатный текст, а в сохранившихся частях рукописи цензурной обрываются иногда на полуслове, является лучшим доказательством того, что список наш является копией, в основе своей имеющей подлинные рукописи самого Радищева.

Однако, эта близость к цензурному тексту замечается не во всех главах рассматриваемой рукописи. Работа по сличению нашей рукописи с особенностями рукописи цензурной⁴⁾,—поскольку они отмечены П. Е. Щеголевым,—и с печатным текстом, приводит нас к выводу, что отдельные главы рукописи, в отношении их к цензурному и печатному тексту, весьма различны, и в то время как одни главы

1) В главе „Спасская Покѣсть“ перед абзацем „Повѣсть спутника моего“ (стр. 35 печ. текста). Этот заголовок перечеркнут в рукописи карандашом.

2) Щеголев, стр. LXXVIII.

3) Впервые, без всяких сокращений, ода была напечатана, по этому списку, только в 1906 г. (издание „Сиріус“).

4) См. ниже, глава III.—Обзор рукописи“.

имеют особенности цензурного текста, другие—близки к тексту печатному. В зависимости от этих особенностей все главы рукописи могут быть разделены на две главных категории. К первой относим те главы или отделы их¹⁾, текст которых включает все отмеченные в цензурной рукописи варианты, или хотя бы часть их (обыкновенно большую), заменяясь в другой части некоторыми различиями печатного текста; таковы, в общем, следующие главы: Выбаль, София, Тосна, Либави, Чудово, Спасская Полѣсть (2—3 часть), Новгородъ (1-я часть)²⁾, Бронницы, Запцово, Крестьяны (1-я половина главы), Хогинювъ, Выдропускъ, Торжокъ (кроме „Повѣствованіе о цензурѣ“), Мѣдн е, Тверь, Гродня (начало главы).

Вторую группу составят те главы, текст которых не имеет цензурных вариантов и совпадает, в общем, с печатным, отличаясь от него большею частью незначительными изменениями. Сюда относятся главы: Посвященіе А. М. Кутузову, Сивская Полѣсть (1-я часть), Подбеезье, Новгородъ (2-я часть), Крестьяны (2-я половина главы), Яжелбицы, Вышини-Волочокъ, „Повѣствованіе о цензурѣ“, Горюдня (большая часть главы, кроме начала), Завидово, Клинь, Пѣшки, Черная Грязь и „Сл. во о Ломоносовѣ“.

Ближайшее изучение глав, следующих цензурному тексту, приводит нас, во-первых, к тому заключению, что присутствие всех без исключения цензурных вариантов имеет место лишь во 2-й части главы „Спасская Полѣсть“, в главах „Запцово“ и „Мѣдное“. Во-вторых, мы находим, что в нашей рукописи сохраняются иногда и те первоначальные редакци, которые перечеркнуты уже и в рукописи цензурной. В-третьих, замечаем, что во всех почти главах (или отделах их) первой группы, при наличии репительного большинства цензурных вариантов, встречаются и различия, не отмечаемые Щоголовым в цензурной рукописи³⁾. Наконец, мы усматриваем, что некоторые варианты нашей рукописи, отличаясь и от печатного текста и от цензурной рукописи, иногда представляются в форме переходной, от одного из этих текстов к другому⁴⁾.

Присутствие в нашей рукописи, в главах, имеющих цензурные варианты, также и некоторых различий, находимых уже только в печатном тексте, а также нескольких вариантов переходного типа, позволяет нам сделать тот вывод, что данная рукопись, в тех своих главах, которые близки к цензурному тексту, представляет посредствующую стадию работы Радищева над текстом своей книги, между той формой, которую он имел по выходе из цензуры, и будучи по-

¹⁾ Говоря об отделах глав, мы имеем в виду те случаи, когда такое подразделение вполне естественно вытекает из самого содержания главы.

²⁾ В цензурной рукописи из всей первой части главы сохранилось только несколько строк, а потому, хотя нельзя провести сравнения, но есть все основания думать, что наша рукопись очень близка в данном случае к цензурной.

³⁾ Ближайшее выяснение этого вопроса может быть сделано только при непосредственном сравнительном изучении нашей рукописи и рукописи цензурной, чего мы не можем ставить себе целью в данной работе. Отметим только, что П. Е. Щоголов, относительно своего описания цензурной рукописи и приводимых им вариантов, замечает: „Считаем нужным сказать, что не отмеченными остались совершенно ничтожныя описки и поправки рукописи“ (стр. 259). А потому тот факт, что в некоторых местах нашей рукописи, имеющих большинство цензурных вариантов, находятся и такие, которые не отмечены Щоголовым, но вместе с тем несколько не менее значительные, чем те, которые им указаны, мы объясняем отличиями нашей рукописи от рукописи цензурной.

⁴⁾ Примеры этого даны ниже в „Обзоре рукописи“.

полнен указанными Щеголевым вставками,—и между печатным текстом. Такой текст мог быть получен посредством снятия копии с цензурной рукописи, или хотя бы с некоторых ее глав, при чем эта копия подверглась уже новой обработке Радищева и могла включать после этого некоторые варианты, не отразившиеся ни в цензурной рукописи, ни в печатном тексте. Часть вариантов, отличающих печатный текст от цензурной рукописи, могла быть внесена Радищевым во время корректуры и печатания книги, но другая часть, несомненно, была введена уже ранее—на тексте, представляющем копию с цензурной рукописи. Таким образом был зафиксирован новый средний текст, отличающийся и от цензурного, и от печатного. Копией с этого текста и является изучаемая нами рукопись.

С другой стороны, сохранение в тексте рассматриваемой рукописи некоторых первоначальных редакций, перечеркнутых уже в рукописи цензурой, указывает вместе с тем, что и последняя подвергалась стилистической обработке уже после того, как с нее, или с некоторых глав ее была снята копия, легшая в основу нашей рукописи.

До сих пор мы говорили о главах, близких к цензурному тексту; что же касается тех глав, которые даны в нашей рукописи в тексте, соответствующем печатному и не имеют цензурных вариантов, то главы эти, несомненно, отражают окончательную стадию работы Радищева над текстом. Если является доказанным, что с некоторых глав была снята копия, представляющая текст средний между цензурным и печатным, то почти наверное это можно утверждать и относительно всех глав вообще, потому что совершенно необъяснимым был бы факт снятия копии только с некоторых глав. Если же копия была снята со всех глав, то к определенному моменту отдельные главы могли быть обработаны в разной степени: одни представляли еще текст близкий к цензурной рукописи, другие — к окончательной, печатной редакции. Совершенно не доказано, чтобы книга Радищева печаталась именно с той рукописи, которая была в цензуре; гораздо вероятнее, что она печаталась с копии, с нее снятой и обработанной автором для печати. Копией с текста таких, окончательно отделанных к печати, глав и является, вероятно, текст тех глав нашей рукописи, которые близки к печатной книге¹⁾.

¹⁾ Большая близость, а иногда и полное совпадение второй группы глав нашей рукописи с соответствующими главами печатного текста, дает возможность для теоретически допустимого предположения, что эти главы представляют копию уже с печатного текста. В пользу такого предположения может, как будто, говорить и пометка „Съ дозволенія управы благочинія“, имеющаяся в конце текста рукописи, непосредственно после „Слова о Ломоносовѣ“. Но пометка эта, которую можно во всяком случае отнести не ко всему тексту книги, а только к одному „Слову“, в действительности ничего еще не означает, так как „Слово“ было цензурировано отдельно, и подобная пометка была сделана самим Радищевым на заглавии „Слова“ (Щеголев, стр. LXXXVI); ясно, что она была не только в печатном тексте, но и в рукописи. Вообще же предположение, что некоторые главы нашей рукописи скопированы с печатного текста, представляется нам крайне затруднительным прежде всего по практической невозможности этого. Кроме того, против такого предположения говорит тот факт, что иногда главы нашей рукописи в тех случаях, когда они удобно разбиваются на отдельные рассказы, или эпизоды, следуют, в общем, в одном отделе цензурному тексту, в другом — печатному, что, по нашему мнению, прямо указывает на пользование здесь рукописным текстом разных стадий обработки: допустить, что одна часть главы скопирована с печатного текста, другая — с рукописи, представляется нам едва ли возможным. К этому надо

Сравнение текста нашей рукописи с печатным текстом приводит нас еще к одному выводу, который, помимо своего самостоятельного интереса, важен для нас и как мотив для объяснения причин составления того комбинированного из двух редакций текста, который мы имеем в нашей рукописи. Этот вывод заключается в том, что, несмотря на всю необычайную смелость книги Радищева, он все же сделал в ней несколько смягчений по сравнению с рукописным текстом. Можно привести ряд примеров этого. Так, в главе „Тосно“ был выпущен в печатном тексте иронический и резкий отзыв о самодержавной власти; в главе „Новгородъ“ сокращены в печатном тексте замечательные места о подавлении в новгородцах „духа свободы“; резкие выражения пропущены в главах „Крестьян“ и „Хотилость“; есть пропуски, сделанные по таким же соображениям, в главе „Торжокъ“ (насмешливый отзыв о „мудромъ правителѣ“—Екатерине). Приводимые нами дополнения к печатному тексту представляют подробно все эти, и некоторые другие, примеры сокращения резкости текста. Если мы прибавим к этому уже известный факт сокращений в печатном тексте оды „Вольность“, и вновь устанавливаемый нами факт пропуска в нем „Творения міра“, которое также, вероятно, из опасения цензуры—но духовной—не было включено в печатный текст, то — полагаем — вывод наш о факте сделанных Радищевым сокращений мест, казавшихся ему наиболее резкими, делается вполне ясным. Следует отметить также, что полный текст оды „Вольность“ и „Творение міра“ даже не были представляемы Радищевым в цензуру; остальные же невключенные в текст места, нами перечисленные выше, в цензурной рукописи, несомненно, были. Но хотя Радищев и получил цензурное дозволение, — которое было дано полицейским цензором даже без ознакомления с текстом сочинения,—он вполне правильно уяснил себе, хотя, несомненно, уже позднее, что цензурное дозволение не избавит автора от тяжелых последствий, в том случае, если на книгу, по выходе ее в свет, обратится внимание власти. Потому-то Радищев и смягчил некоторые резкие места, выпустил, конечно, с болью в сердце, кое-какие дорогие для него строки, хотя и бросил в печать ряд других, может быть, по его мнению, менее резких, но все же необыкновенно сильных, чрезвычайно смелых страниц. Наше заключение, что Радищев, именно для смягчения резкости текста, выпустил из книги некоторые из находившихся в рукописи строк, делается еще более ясным из того факта, что все такие строки, из числа тех, которые были в цензурной рукописи, оказались, при отобрании ее у Радищева, утраченными; несомненно, они были сознательно уничтожены Радищевым из боязни, что заинтересуются и рукописью и найдут в ней ряд лишних, безусловно, с точки зрения власти, преступных фраз. Потому-то в цензурной рукописи оказались отсутствующими некоторые отрывки, начинающиеся иногда как раз с того слова, где заключались „преступные фразы“; по миновании же текста этих фраз, рукопись снова сохранялась¹⁾.

Этот факт, сделанных Радищевым в печатном тексте, по сравне-

прибавить еще, что хотя варианты в главах второй категории в общем не велики, по сравнению с печатным текстом, но думаем, что их нельзя объяснить изменениями, внесенными переписчиком, особенно принимая во внимание большую тщательность выполнения копии.

¹⁾ Это касается, например, отмеченных нами выше мест в главах „Тосно“, „Крестьян“, „Хотилость“, „Торжокъ“ (см. „Обзор рукописи“).

нию с рукописью, сокращений и смягчений, дает нам возможность найти одну из причин сохранения в нашей рукописи первоначального текста. Предыдущие разъяснения делают понятным, что Радищев, сократив, скрепя сердце, некоторые места своей книги, несомненно, имел основание желать сохранения измененных ее глав в их полном, первоначальном составе. Этот мотив ясно доказывается присутствием в нашей рукописи полного текста оды „Вольность“, двух вариантов размышлений о ней Радищева и „Творения мира“; этим, вероятно, должно быть объяснено сохранение в нашем тексте и других мест, не включенных в печатную книгу.

Но этот повод объясняет сохранение в рукописи первоначального текста только тех глав, которые подверглись в печатном тексте урезкам. Остается еще ряд глав („Вызвѣд“, „Софія“, „Любани“, „Чудово“, „Спасская Полѣсть“—2 и 3 часть, „Зайцово“, „Выдропускъ“, „Мѣдное“, часть главы „Городня“), отличия которых в нашей (и, вероятно, в полном тексте цензурной) рукописи от печатной книги сводятся к небольшим изменениям, преимущественно стилистического характера. Сохранение в нашей рукописи цензурного (или близкого к нему) текста этих глав может быть объяснено, по нашему мнению, той причиной, о которой мы уже упоминали,—именно, что к моменту составления того оригинала, с которого снята наша копия, одны главы (и, в частности, только что указанные) сохраняли еще редакцию, близкую к цензурной, не получив окончательной обработки, другие же имелись уже в тексте почти окончательном,—и в зависимости от этого, отдельные главы сочинения вошли в текст нашей рукописи в разных редакциях.

Здесь мы подходим к вопросу о времени составления оригинала, с которого снята наша рукописная копия. Отражение в ней промежуточного текста, между цензурным и печатным, заставляет все различные редакции отдельных глав относить ко времени между получением цензурного дозволения (оно дано 22 июня 1789 г.)¹⁾ и началом печатания, или ближайшим к нему сроком (к печатанию было приступлено в начале января 1790 г.)²⁾. К этому же времени следует отнести и составление оригинала нашего списка, в его полном составе. Теоретически допустимо, однако, и предположение, что этот оригинал скомбинирован из отдельных текстов Радищева даже позднее отпечатания „Путешествия“; но предположение это требует ряда маловероятных допущений, и между ними возможности сохранения у Радищева черновых текстов разных редакций, возникновения у него мысли вновь воссоздать книгу по таким текстам и пр. Потому, упоминая об этом предположении, мы тем не менее высказываемся против него вследствие его практической маловероятности.

Нашу копию, как мы видели ранее, следует относить к 1796—1800 г.г. Возможно, что она является копией с другой копии (и даже не первой) с того прототипа нашего текста, который был обработан самим Радищевым; но допустимо, что она и непосредственно скопирована с этого текста, где-либо уцелевшего. В пользу того, что список наш передает радищевский текст почти из первых рук, говорит прежде его верность и точность, выясняющаяся из сопоставления с соответствующими особенностями цензурной рукописи.

¹⁾ Щеголев, стр. LXXV.

²⁾ Письмо Радищева к Шешковскому.—„Полное собрание сочинений“, ред. Каллаша, т. II, стр. 603.

Все приведенные нами данные позволяют признать высокое значение этого списка для изучения текста „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“. Ближе подходя в некоторых главах к цензурному тексту, наш список представляет возможность в некоторых случаях заменить его утраченные страницы, и даже дает новые тексты Радищева, не имевшиеся и в цензурной рукописи. Внося новые страницы, чрезвычайно характерные для Радищева, новые, его пылающею духом свободы и вражды к рабству строки, рукопись представляет вместе с тем многоценные варианты, характеризующие работу Радищева над текстом. Рукопись дает также ряд данных для критики этого текста, искаженного многими ошибками, вкравшимися в книгу, вследствие тех ненормальных условий, при которых происходило тайное печатание. Эти ошибки сохранялись—и вполне правильно,—во всех позднейших изданиях „Путешествія“, но они подлежат авторитетному исправлению в примечаниях к тексту, в будущих изданиях, чтобы не затемнять мысли Радищева и не относить типографских ошибок на счет неправомерности его слога. Что же касается новых страниц и строк Радищева, выпущенных им по цензурным соображениям из печатного текста, то они, конечно, в той или иной форме должны быть восстановлены во всех будущих изданиях „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“.

II Дополнения к печатному тексту „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“.

1.

Первое, очень важное дополнение к тексту „Путешествія“ представляет глава „Тосно“, где в нескольких строках, выпущенных из печатного издания, несомненно с целью устранения резкости текста, Радищев дает новый, иронический отзыв о самодержавном правлении. В этом отзыве Радищев, как и везде, остается верен своей молодости, когда он впервые высказал, что „самодержавство есть наипротивившее человеческому естеству состояние“.

Вот что пишет о том же Радищев, рассуждая в самом начале главы „Тосно“ относительно дороги, по которой он ехал ¹⁾:

„Повѣхавши изъ Петербурга воображалъ я себѣ, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали всѣ тѣ, которые ѣздили по ней въ слѣдъ Государя. Таковою она была дѣйствительно, но на малое время. Земля, насыпанная по дорогѣ, адѣлавъ ее гладкою въ сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лѣта и адѣлала ее непроходимомъ. Есть ли бы г. намѣстники не лицемъ только продавать хотѣли, и для всякаго гражданина по большой дорогѣ ²⁾ проѣзжающаго, по-

¹⁾ При всех цитатах новых отрывков из рукописи „Путешествія“ приводим и часть предшествующего текста везде, где это представляется необходимым для уяснения содержания. Новый текст отмечается разрядкой. При воспроизведении цитат из рукописи, мы соблюдаем особенности языка; неустойчивые же, чисто-орфографические особенности и неопределенная пунктуация перечислена нами не сохраняются.

²⁾ Печатный текст заканчивается здесь на слове „непроходимомъ“; в цензурной рукописи этот отрывок обрывается на слове „большой дорогѣ“, окончание же находилось на утраченном листе (Шеголев, стр. 260).

ступали бы съ исправниками земскими пока-
пральски, какъ то они сами поступаютъ, то доро-
ги наши вразсужденіи короткаго времени, въ
которое они портятся, были бы наилучшія въ
свѣтъ. Но в самодержавномъ правленіи госу-
дарь подобенъ солнцу: въ естествѣ, гдѣ оно
грѣетъ, тамъ есть и жизнь; гдѣ его нѣтъ — тамъ
все умираетъ. Самодержавный государь одинъ
въ государствѣ своемъ имѣетъ право слѣдо-
вать разсудку; всѣ другіе обязаны слѣдовать
повелѣнію, всегда слѣдовать тому, какъ дру-
гой мыслить, а не такъ, какъ самому хочется.
Скучно, — и отъ того дорога, по которой я
ѣхалъ, была дурна. Но клячи почтовые, съ по-
мощію всеильнаго кнута, до почтоваго стана
меня дотащили" ¹⁾).

В одной из ближайших, вслед за этой, глав, — „Новгородъ“ мы
находим новые, также безусловно по могивамъ смягченія содержания,
не включенные в печатный текст строки, проникнутые характерным
радищевским „духомъ свободы“. Подъезжая къ Новгороду, Радищевъ
вспоминалъ о томъ, что, какъ известно по летописямъ, новгородцы имели
„народное правленіе“:

„Хотя у нихъ были многія князья, но ихъ можно
было почитать полководцъ ми только, мало власти
имѣющими; вся сила правленія заключалась въ посадникахъ
и тысяцкихъ" ²⁾. Народъ въ собраніи своемъ на вѣчѣ былъ
истинный государь. Область Новгородская про-тиралась даже
за Волгу. Сіе вольное государство состояло въ Ганзейскомъ
союзе. Старинная рѣчь: кто можетъ стать противъ Бога и
великаго Новгорода служить можетъ доказательствомъ его
на Сѣверѣ могущества" ³⁾).

После этого Радищеву приходит на память поступокъ царя Ивана
Васильевича по взятіи Новгорода. В рукописномъ тексте здѣсь—важные
дополнения, которые мы и отмечаемъ ⁴⁾).

„Уязвленный сопротивленіемъ сея республики, сей гор-
дый, авѣрскій, но умный властитель хотѣлъ ее раззорить
до основанія. Мнѣ зрится оны съ долбнею на мосту стоящъ,
такъ ины повѣстувать, приносяи на жертву ярости своей ста-
рѣйшихъ" ⁵⁾ и начальниковъ новгородскихъ. Были и есть
люди, которые его гнѣвъ почитали и почитаютъ

¹⁾ Далее текстъ следуетъ печатному — „Обезпокоенъ дурною дорогою“... („Путешествіе“, стр. 8).

²⁾ В печатномъ текстѣ эта фраза сокращена, именно: „Хотя у нихъ были князья, но мало имѣли власти. Вся сила правленія заключалась въ посадникахъ и тысяцкихъ“ (стр. 58).

³⁾ В приведенномъ отрывкѣ (отъ слова „Народъ“) есть варианты противъ печатнаго текста. Именно, вторая фраза читается в немъ такъ: „Область Новгородская простиралась на Сѣверѣ даже за Волгу“; зато далее слова „на Сѣверѣ“ в печатномъ текстѣ выкинуты. Текстъ рукописи, судя по смыслу, в этомъ случаѣ болѣе точенъ. Вместо „состояло въ Ганзейскомъ союзѣ“ в печати. текстѣ „стояло“.

⁴⁾ Разрядкой.

⁵⁾ В печ. текстѣ — „старѣйшихъ“.

справедливымъ. Новгородцы въ ихъ мнѣніи были бунтовщики; но какое оному доказательство? Какое онъ имѣлъ право свирѣпствовать противъ ихъ; какое ¹⁾ имѣлъ право присвоить Новгородъ? То ли, что первые великіе князья Россійскіе жили въ семь городъ? Или что онъ писался царемъ всея Россіи? ²⁾

Переходя к размышлению о „правѣ народовъ“, Радищев говорит: „Много было писано о правѣ народовъ; нерѣдко имѣютъ на него ссылку; но ³⁾ законоучители не помышляли, можетъ ли быть между народами судія. Когда возникаютъ между ими вражды, когда ненависть, или корысть, устремляетъ ихъ другъ на друга, судія ихъ есть мечъ. Кто палъ мертвъ или обезоруженъ, тотъ и виновенъ; повинется непрекословно сему рѣшенію, и апелляции на оное нѣтъ... Сей государь столько успѣлъ въ своемъ предпріятіи, что въ новгородцахъ не осталось малѣйшей искры духа свободы, за которую они съ толикимъ сражались жаромъ. Съ вѣщевымъ колоколомъ рушилось въ нихъ даже и зыбленіе, такъ сказать, — вольности, нерѣдко по усмиреніи бури остающееся. И дѣйствительно, не видно, чтобы после того новгородцы дѣлали какое покушеніе на возвращеніе своей свободы. Вотъ почему Новгородъ принадлежалъ царю Ивану Васильевичу. Вотъ для чего онъ ⁴⁾ раззорилъ и дымящіеся его остатки себѣ присвоилъ“ ⁵⁾.

Перейдемъ къ следующей главѣ—„Бронницы“. Здѣсь выражено деистическое исповѣданіе веры Радищева. В печатномъ текстѣ глава эта заканчивается цитатой из трагедіи Аддисона „Смерть Катонна“ ⁶⁾. В рукописи после этого следуетъ еще фраза, вносящая новую черту въ характеристику отношенія Радищева къ вопросамъ веры. Продолжая свое обращеніе къ Богу, которое и составляло главное содержаніе главы, Радищевъ въ послѣдней фразѣ, отсутствующей въ печатномъ текстѣ, говоритъ:

„Но что ты, гдѣ ты, что ты въ насъ и что мы въ тебѣ, не вѣдаю, Всесильный, не вѣдаю, и смиренный въ невѣдѣніи моемъ, не дерзаю поднять тяжкую завѣсу отъ бранныхъ моихъ взоровъ, тебя сокрывающую“.

¹⁾ В печ. текстѣ—„Но какое онъ“.

²⁾ В печ. текстѣ—„Русіи“.

³⁾ В печ. текстѣ—„ни“.

⁴⁾ В печ. текстѣ после „онъ“—„его“.

⁵⁾ Печ. текст стр. 58—59. Интересно здѣсь кстати отметить, что воспоминанія о древней вольности русской, которымъ здѣсь предается Радищевъ, измѣнились также и декабристовъ. Кн. С. Г. Волконскій подсказывалъ Пушкину этотъ поэтический сюжетъ: „Соединеніе и воспоминанія о Великомъ Новгородѣ, о вѣщевомъ колоколѣ и объ осадѣ Пскова будутъ для васъ предметомъ историческихъ изысканій“ (письмо Волконскаго къ Пушкину от 18 октября 1824 г. — в „сочиненіяхъ Пушкина“ Изданіе Академіи Наукъ. Перевиска, подъ ред. В. И. Саитова“, т. I, 1903 г., стр. 138). К. Ф. Рылеевъ въ январѣ 1825 г. писалъ Пушкину: „ты около Пскова: тамъ задушены послѣднія искры Русской свободы; настоящий край вдохновеній“... (тамъ же, стр. 166). То же воспоминаніе, правда, относящееся къ болѣе отдаленному времени, воззвали „думу“ Рылеева, рисующую Вадима, и неоконченную поему Пушкина съ такимъ же названіемъ.

⁶⁾ Печ. текст, стр. 68.

В главе „Крестыцы“ Радищев приводит свои размышления по поводу виденного им там расставания отца с детьми, идущими на службу. „Одно названіе сіе приводитъ всю кровь въ необычайное движеніе, — говорит Радищев. — Сто противъ одного держать можно, что изоста дворянчиковъ, вслугающихъ въ службу, 98 становятся повѣсами“.

Затем Радищев говорит, что у него при взгляде на своего старшего сына, который скоро должен идти в службу, „волосы дыбомъ становятся“. К дальнейшим словам Радищева рукопись дает много дополнений против печатного текста и против цензурной рукописи, как раз в этом месте обрывающейся на полуслове ¹⁾; все эти дополнения и изменения отмечаются:

„Иной скажетъ, а кто такихъ молокососовъ толкаетъ въ шею. — Кто? Примѣръ общій. Штабъ офицеръ 17 лѣтъ; полковникъ 20 лѣтней, генераль 25 лѣтней ²⁾; камергеръ, сенаторъ, намѣстникъ, начальникъ войскъ. И какому отцу не захочется, чтобы на его миломъ дѣткѣ не было овѣшенныхъ шелковыхъ лоскутковъ ³⁾. Смотри на сына моего, представляется мнѣ: онъ началъ служить, познакомился съ вертопрахами, распутными игроками, шеголями, забылъ онъ меня и букварь свой, выучился чистенько наряжаться, играть в карты на чужія деньги, и картами доставать свое пропитаніе ⁴⁾, говорить обо всемъ и ничего не стыдился ⁵⁾, таскаться по дѣвкамъ, иль врать чепуху барынямъ; а букварь свой, повторяю, забылъ. Какимъ-то образомъ фортуна, вертяся на курьей ножкѣ, приглубила его, и сынокъ мой, не брѣя еще бороды, чрезъ гвардейскую службу, или адъютанство, или богъ вѣсть какъ началъ ѣздить въ шесть лошадей уже и возмечталъ что знатный онъ баринъ, что умнѣе всехъ на свѣтѣ ⁶⁾. Чего добраго ждать отъ такого полководца, или градоначальника? Скажи ⁷⁾, отецъ чадолюбивой, скажи, о истинный гражанины! скажи, о человекъ! не захочется ли тебе сына твоего лучше удавить, нежели отпустить въ службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынокъ твой, знатной баринъ ⁸⁾, презираетъ заслуги и достоинство, для того, что ихъ участь пресмыкаться въ стезѣ чиновъ, пронырства гнушаемая? Не возрыдаешь ли ты, что сынокъ твой любезной съ пріятною улыбкою отнимать будетъ имѣніе, честь отравлять и рѣзать людей, не своими всегда барскими ⁹⁾ руками, но посредствомъ лапъ своихъ раболѣпцовъ ¹⁰⁾, и отходя

¹⁾ Она обрывается на слове „молокососовъ“ (см. ниже приводимую цитату) и начинается снова со слов „Крестикой дворянинъ“ (стр. 88—89 печ. текста).

²⁾ В печ. тексте „двадцатилѣтний“ (несомненно, ошибочно).

³⁾ Предыдущая фраза в печатном тексте читается так: „И какому отцу не захочется, чтобы дѣти его, хотя въ малолѣтствѣ, были въ знатныхъ чинахъ, за которыми идутъ въ слѣдъ богатство, честь и разумъ“.

⁴⁾ В печ. тексте вместо „свое пропитаніе“ — „прокормленіе“.

⁵⁾ В печ. тексте вместо „и ничего не стыдился“ — „ничего не мысля“.

⁶⁾ В печ. тексте после слов „еще бороды“ следует „сталъ знатнымъ бояриномъ“. Возмечталъ онъ о себѣ, что умнѣе всѣхъ на свѣтѣ... и т. д.

⁷⁾ В печ. тексте после „Скажи“ — „по истиннѣ“.

⁸⁾ В печ. тексте „бояринъ“.

⁹⁾ В печ. тексте вместо „барскими“ — „боярскими“.

¹⁰⁾ В печ. тексте вместо „раболѣпцовъ“ — „любимцевъ“. Затем, после отме-

отъ вѣка сего дасть въ наслѣдіе внукамъ твоимъ село, зовомое село крови.—Но послушаемъ крестецкаго дворянина¹⁾.

Одной из самых значительных глав книги Радищева является глава, названная „Х тиловъ“: она посвящена вопросу об уничтожении рабства в России. Для правильного понимания текста этой главы и приводимого нами ниже важного к нему дополнения, необходимо прежде всего выяснить, что весь текст главы, по замыслу автора, исходит от имени будущей высшей государственной власти. После названной главы указано: „Проектъ въ будущемъ“, — и этому вполне соответствуют первые строки текста, где говорится: „Доведя по теперенно отечество наше по повѣствующаго состоянія, въ которомъ оное нынѣ находится... съ неизреченнымъ радованіемъ сказать можемъ, что отечество наше есть пріятное божеству обиталище... Неизвѣстны намъ вражды, столь часто людей раздѣлявшія за их исповѣданіе, неизвѣстно намъ въ ономъ и принужденіе. Равноуміе во вл-стяхъ, равенство въ имуществѣхъ, отъемлютъ даже корень гражданскихъ несогласій“. Ясно, что все это относится к отдаленному будущему, в котором рисовалось Радищеву даже „равенство въ имуществѣхъ“. Что этот проект, представляющий обращение к гражданам, по мысли автора, идет именно от высшей власти, видно и из дальнейшаго текста, где Радищев говорит: „Державные предки наши, среди могущества силъ скипетра своего, немощны были на разрушеніе оковъ гражданскія неволи“.

Но, однако, Радищев не выдерживает по всей главе этого тона; в некоторых местах он начинает говорить уже лично от себя и вообще, вводя в это обращение различные отступления, не проводит последовательно своего замысла, о котором можно судить по цитированным местам.

Следует отметить, что в этом длинном обращении Радищев, в рукописном тексте, два раза намекает на Пугачева именно во фразах²⁾: „Привидитъ себѣ на память плачевныя повѣствованія о прошедшего столѣтія“³⁾ (в печ. тексте—„прежнія повѣствованія“) и „Блюдитесь, да опять посѣтены не будете“ (в печ. тексте только—„Блюдитесь“⁴⁾). После этого следует воззваніе к согражданам о освобождении рабства, призывъ идти в жилища крестьян и возвестить им о перемѣне их жребия. Далее текст по рукописи гласит так:

„Се будетъ глаголь вашъ; се слышится онъ уже во внутренности сердецъ вашихъ. Не медлите возлюбленніи мои. Время летитъ; дая наши переходятъ въ недействія. Да не скончаемъ жизнь нашу⁵⁾, возмимъ въ едину⁶⁾ только мысль

чаемого разрядкой пропуска, идет новый абзац: „Крестницкой дворянинъ, казался мнѣ, былъ лѣтъ пятидесяти“...

¹⁾ В рукописи везде „крестецкой“, тогда как в печ. тексте—„крестницкой“. Далее текстъ следуетъ печатному—„Крестницкой дворянинъ“ и т. д. (стр. 89 печ. текста)

²⁾ Оба эти варианта уже были известны на основании цензурной рукописи (Ш.-Голев, стр. 272).

³⁾ Хотя это и касается, несомненно, Пугачева, но „прошедшаго“ сказано потому, что все это обращение относится, по мысли автора, какъ видно изъ ниже-следующаго, уже къ XIX вѣку.

⁴⁾ Печ. текст, стр. 144.

⁵⁾ Там же.

⁶⁾ В печ. тексте „жизни нашей“.

⁷⁾ В печ. тексте „едину“—нет.

благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тѣмъ помянутое наше, да не пожнеть вѣнца нашего, и с презрѣніемъ о насъ да не скажутъ: они были... дано въ... 18... года¹⁾.

В печатномъ текстѣ этотъ отрывокъ заканчивается словами: „они были“,—и въ такомъ видѣ заключительная фраза очень неясно выражаетъ мысль автора. „Они были...“ (с многоточіемъ) уже даетъ понять определенный смыслъ: несомненно, на месте точекъ подразумѣвается какое-либо оскорбительное выражение по отношенію къ власти, державшей в рабствѣ народъ, и къ самимъ рабовладельцамъ. Слова „дано въ... (хотя бы в Петербургѣ) 18... года“ мы понимаемъ, какъ нарекъ на актъ высшей государственной власти (каковымъ, какъ мы видели, и является, по замыслу автора, весь предшествующій текстъ),—актъ, возвѣщающій признаніе къ освобожденію крестьянства.

При такомъ пониманіи текста, и новаго, вносимаго въ него, дополненія, можно видѣть, что Радищевъ, изыскивая мысли пути крестьянскаго освобожденія, допускалъ, что оно можетъ последовать со стороны высшей государственной власти. Но Радищевъ не напрасно откинулъ этотъ конецъ фразы, определенно подтѣркивающий мысль автора. Вероятно, указанный адезь исходъ онъ считалъ маловероятнымъ; в другихъ мѣстахъ „Путешествія“ онъ предвидитъ другіе пути паденія рабства. „Всѣ тѣ,—говоритъ Радищевъ в главѣ „Мѣдное“,—кто бы могъ свободѣ поборствовать, всѣ великіе вотчинники, и свободы не отъ нихъ советъ ожидать должно, но отъ самой тяжести порабощенія²⁾. И соответственно сѣю мыслью Радищевъ, в главѣ „Городня“, восклицаетъ: „О! если бы рыбы тяжкими узамъ отягченныя, яряся въ отчаяніи своемъ разбиди железомъ, вольности ихъ преплывающимъ, главы наши, главы безчеловечныя своихъ господъ, и кровію нашею обогрили нивы с оны! Не мечта сіе, но взоръ проницаетъ густую завѣсу времени, отъ очей нашихъ будущее сокрывающую; я зрю сквозь цѣлое столѣтіе³⁾“).

Переходимъ къ главѣ „Торжокъ“, где говорится о свободномъ книгопечатаніи и цензурѣ. Радищевъ в началѣ главы вспоминаетъ о томъ времени, когда не разрешалось имѣть типографіи частнымъ лицамъ. Приводимъ подлинныя слова Радищева, дополняя ихъ по рукописному тексту:

„Типографіи у насъ всѣмъ заводить дозволено, и время то прошло, въ которое боялися поступати онымъ дозволеніемъ частнымъ людямъ, для того, что въ вольныхъ типографіяхъ ложные могутъ печатаны быть пропуски. И страха ради будущаго зла, которое само по себѣ и не есть зло, удерживалися отъ общаго добра и полезнаго установленія“).

Далѣе Радищевъ приводитъ большую цитату изъ Гердера, послѣ которой в цензурной рукописи имѣлась фраза, отсутствующая в печатномъ текстѣ; конецъ этой фразы не сохранился в цензурной рукописи, такъ какъ на этомъ какъ разъ мѣстѣ она обрывается. Рассматриваемая нами рукопись восстанавливаетъ всю фразу целиком, именно:

„Отъ того то истинно великіе государи столь рѣдки. Мудрый правитель (боюсь назвать великимъ: ибо

¹⁾ Печ. текст, стр. 147.

²⁾ Печ. текст, стр. 194.

³⁾ Печ. текст, стр. 217.

⁴⁾ Печ. текст, стр. 182.

прилагая таковыя именования государю живу, почитень буду или рабомъ, или льстецомъ, или ханжею, или корыстолюбцем; хвалитель будетъ скаредный подлець, а хвалимый въ опасности будетъ замараться въ хвалѣ мерзавца, и предъ свѣтомъ всегда потеряетъ) мудрый правитель отечества нашего, дознавъ полезность книгопечатанія, оное дозволилъ всѣмъ, но паче еще дознавъ, что запрещеніе въ мысляхъ утщелить благо намѣреніе вольности книгопечатанія, поручилъ цензуру, или присмотръ за изданіями, управѣ благочивія“... (далее, какъ в печатномъ тексте“).

Глубокая ирония, скрытая в этом отзыве о „мудромъ правителѣ“ делается еще виднее из того, что далее Радищевъ приводит яркие примеры велепости установленной Екатериной полицейской цензуры.

От этой главы мы переходимъ к главе „Тверь“, которая открываетъ намъ целыя страницы новаго радищевского текста. В томъ месте главы, где Радищевъ говоритъ о русскомъ стихотворствѣ, о Ломоносовѣ и Сумароковѣ, мы находимъ следующий вставной текстъ, в той именно части рукописи, которая соответствуетъ утраченнымъ строкамъ рукописи цензурной:

„Но не одни Ломоносовъ и Сумароковъ установили¹⁾ российское стихотвореніе. Неумолимой возвысиль Тредьяковский немало къ тому способствовалъ своею Телемахиюю. Есть ли бы онъ изъ Фенелонава романа извлекъ токмо, такъ сказать эссенцъ, оставивъ все скучное и поэмъ неприличное²⁾, то и онъ бы могъ имѣть подражателей³⁾. Теперь сделать примѣръ очень трудно“⁴⁾...

Излагая в этой главѣ свои мысли о стихотворствѣ, от лица встреченнаго имъ в дорогѣ собесѣдника, Радищевъ приводитъ его слова: „Что такое ямбъ, хорей, дактиль или анапестъ, всякъ знаетъ, если немного кто разумѣетъ правила стихосложенія. Но то бы было неизлишнее, если бы я могъ дать примѣры въ разныхъ родахъ достаточные. Но силы мои и разумѣніе коротки“. Какъ примѣры стиховъ, писанныхъ ямбами, приводитъ

¹⁾ Печ. текстъ, стр. 164. Приведенная вставная фраза обрывается в цензурной рукописи на полусловѣ „хвалѣ мерзавца“ (Щеголевъ, стр. 273). Полный текстъ этой фразы уже былъ приведенъ Д. Н. Анучинымъ в его брошюрѣ „Судьба перваго изданія „Путешествія“ Радищева“. В той же брошюрѣ приведена и сообщаемая нами ниже дополнительная фраза в главѣ „Тверь“ (о фенелоновомъ романѣ). Но авторъ брошюры, вне всякаго сомнѣнія ошибочно, предполагаетъ, что эти фразы могли быть вставлены владельцемъ списка.

²⁾ В печ. текстѣ — „остановили“.

³⁾ В рукописи „непримѣнное“, но это несомненная описка, исправляемая нами по тексту, данному в вышеупомянутой брошюрѣ Анучина.

⁴⁾ Мысль, выраженная Радищевымъ в этой опущенной в печатномъ текстѣ „Путешествія“ фразѣ, была развита также в другомъ, позднѣйшемъ сочиненіи Радищева — „Памятникъ дактидохорейческому витязю“. Здѣсь говорится про тѣло Телемахида: „Есть ли ты разсудить, что вымыселъ сей книги не его, что онъ отвечать не долженъ ни за ненужное и къ героической пѣснѣ неприличное, ни за мѣста слабыя или растянутыя... то о немъ должно судить равнѣ какъ о человѣкѣ, полюбившемъ страстно Фенелонава Телемака, захотѣвшемъ одѣть его въ Русской кафтанъ“... („Собраніе сочиненій, оставшихся послѣ покойнаго А. Н. Радищева“, часть IV, М. 1811 г., стр. 33 — или „Полное собраніе сочиненій“, ред. Калаша, т. II, стр. 395).

⁵⁾ После отсутствующей в печати текстѣ фразы, отмеченной разрядкою, печатный текстъ гласитъ такъ: „Теперь дать примѣръ новаго стихосложенія очень трудно“... (стр. 196).

ся через несколько строк ода „Вольность“, данная в печатном тексте „Путешествия“ в сокращении. Рассматриваемая нами рукопись представляет текст оды полностью.

2.

Полный текст оды „Вольность“, которую следует признать первым произведением русской революционной литературы, появился в печати только в 1906 г., когда эта ода была издана отдельной брошюрой, по списку, полученному еще в 1860-х годах П. А. Ефремовым от сына Радищева, Павла Александровича ¹⁾. Наш текст отличается от этого списка большим количеством стилистических вариантов, а в нескольких случаях дает новые чтения, исправляющие крупные ошибки до сих пор известного текста ²⁾. Что касается вариантов, то они в значительной степени должны быть объяснены тем, что публикуемый нами список представляет, несомненно, другую, более раннюю редакцию, подвергшуюся впоследствии стилистическим исправлениям. Наше заключение о раннем происхождении рассматриваемого текста основывается на том факте, что все отмеченные Щеголевым варианты для тех немногих строф, которые сохранились в пенаурной рукописи, имеются и в нашем тексте, в отличие уже и от печатного текста 1790 г. Что касается более позднего текста вообще, то его можно считать безусловно авторитетным только для тех именно строф, которые были приведены самим Радищевым в этом издании; список же, полученный от П. А. Радищева, не обладает, по нашему мнению, полной достоверностью как ввиду нескольких грубых ошибок, в него вторгшихся ³⁾, так и вследствие возможности присутствия в нем исправлений, сделанных не самим А. Н. Радищевым. Вследствие этого наш текст, хотя и более ранний, но зафиксированный, безусловно, самим Радищевым, имеет особое значение.

Текст оды в нашей рукописи имеет несколько мелких поправок карандашом, старинным почерком; они, кроме исправления явных ошибок переписчика, дают некоторые изменения текста, иногда соответствующие тем разночтениям, которые имеются в списке оды, полученном от Павла Александровича Радищева. Поэтому возможно, что эти карандашные исправления сделаны им, имевшим, как мы упоминали, в своих руках эту рукопись; но может быть и то, что сам П. А. Радищев воспользовался для своего текста поправками, бывшими ранее на нашем списке ⁴⁾.

¹⁾ Издание „Сиріусъ“. СПб. 1906 г. 8°, 23 стр. (напечатано в небольшом числе экземпляров). Отсюда ода была перепечатана (но с ошибками) во 2-м томе „Полного собрания сочинений Радищева“, под ред. В. В. Каллаша (Москва 1917 г.).

²⁾ Для двух стихов переписчиком в рукописи было оставлено чистое место, заполненное карандашом старинным почерком; это — стихи 8-й в строфе 37-й и 9-й в строфе 53-й; по тексту, написанному карандашом, Лонгинов в первом случае возобновил текст чернилами, а во втором — Лонгинов, видимо, мог прочесть только первое слово — „Придетъ“, которое и написано чернилами.

³⁾ Укажем, например, совершенно бессмысленный стих в строфе 43-й, „Дойдет до лести совершенства“, тогда как в действительности, согласно нашему списку, следует „Дойдет до мѣты совершенство“. Слово „мѣта“ — обычное в лексиконе Радищева, не раз упоминаемое в „Путешествии“ и в трактате „О человеѣхъ“. Или другой пример: в строфе 30-й шестой стих гласил: „Иль жизнь, иль мзду ниспосылая“, между тем как в нашем списке этот стих читается: „Иль казнь, иль мзду ниспосылая“, как, несомненно, и надлежит быть по сопоставлению со смыслом дальнейшего текста.

⁴⁾ Особого значения эти поправки не представляют, так как они могли Былое № 19.

Следует также указать, что замечаний Радищева относительно первой строфы, непосредственно после нее следующих в печатном тексте, в рукописи нет ¹⁾. Но при дальнейших строфах (вплоть до строфы 38-й) имеются в рукописи, в выносках внизу страниц, и те краткие прозаические изложения строф, которые были помещены Радищевым непосредственно в тексте относительно строф, или сокращенных, или вовсе не приведенных ²⁾.

В нашей рукописи непосредственно предшествующий оде текст заканчивается так: „Если вамъ не в тягость будетъ прочесть нѣкоторыя строфы, сказалъ онъ мнѣ, подавая бумагу... Я ее развернулъ и читалъ следующее“.

Далее следует текст оды ³⁾.

1.

О! даръ небесъ благословенный,
Источникъ всѣхъ великихъ дѣлъ,
О! вольность, вольность, даръ безцѣн-
ный!
Позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ.
Исполни сердце твоимъ жаромъ,
Въ немъ сильныхъ мышцъ твоихъ уда-
ромъ,
Во свѣтъ рабства тьму претвори ⁴⁾.
Да Врутъ и Телѣ еще проснутся,
Съдай во власти, да сматутся
Отъ гласа твоего цари.

2.

Я въ свѣтъ изшелъ и ты со мною;
На мышцахъ нѣтъ моихъ заклепъ;
Свободною могу рукою
Пріяти данный въ пищу хлѣбъ.
Стопы несу, где мнѣ пріятно;
Тому внимаю, что понятно;
Вѣщаю то, что мыслю я.
Любить могу и быть любимымъ;
Творю добро, могу быть чтимымъ;
Законъ мой—воля есть моя.

3.

Но чтожъ претить моей свободѣ?
Желаньямъ зрю вездѣ въ предѣлѣ;
Возникла обща власть въ народѣ,
Соборной всѣхъ властей удѣлъ.
Ея общество во всемъ послушно,
Новсюду съ ней единодушно;
Для пользы общей нѣтъ препонъ:
Во власти всѣхъ своей зрю долю,
Свою творю, творя всѣхъ волю:—
Родился въ обществѣ законъ!

4.

Въ срединѣ алачныя долины,
Среди тягченной жатыи нивъ,
Гдѣ нѣжны процвѣтаютъ кринъ,
Средь мирныхъ подъ сѣньми оливъ,
Паросска мрамора бѣлье,
Яснѣйшихъ дня лучей свѣтлѣе,
Стоитъ прозрачный всюду храмъ;
Тамъ жертва лжива не курится,
Тамъ надпись пламенная зрится:
„Конечъ невинности бѣдамъ!“

быть сделаны вполне произвольно; например, переправлен стих в строфе 1-й: „Во свѣтъ раба тьму претвори“, который именно в такой форме (а не „тьму рабства“, как исправлено) отстаивался самим Радищевым. Те из поправок, которые не имеют характера исправления ошибок переписчика, нами указываются в выносках при соответствующих стихах оды.

¹⁾ Мы пока говорим о первом тексте, имеющемся в рукописи; далее в ней следует вариант.

²⁾ После строфы 38 (в печатном тексте 39-й) сокращенных изложений тех строф, которые не были помещены в печатном тексте, в выносках уже нет, и текст оды следует далее без всяких примечаний. Ниже, при передаче текста „Вольности“, мы все вообще упомянутые выноски опускаем.

³⁾ В печатном тексте, после приведенной нами фразы, до текста оды, есть еще слова: „Вольность... Ода... За одно название отказали мнѣ изданіе сихъ стиховъ. Но я очень помню, что въ Наказѣ о сочиненіи новаго уложенія, говоря о вольности, сказано: „вольностью называть должно то, что всѣ одинаковымъ повинуются законамъ. Слѣдственно о вольности у насъ говорить вмѣстѣ“. Приведа далее весь текст оды, как не вошедшей полностью в изданіе 1790 г., мы не считаем здесь необходимым оговаривать все разночтения, имеющиеся в нашем тексте по сравнению со списком изданія „Сириуса“; явные ошибки переписчика мы исправляем по сравнению с этим последним текстом.

⁴⁾ Переправлен карандашом порядок слов: „тьму рабства“ вместо „рабства тьму“, но верна последняя форма.

5.

Оливной вѣтви вѣнчанно,
На твердомъ камени сѣдая,
Безъ слуха арится хладноравно,
Глухое божество судая,
Бѣлѣ снѣга во хламидѣ,
И въ неизмѣнномъ всегда видѣ,
Зерцало, мечъ, вѣсы предъ нимъ.
Тутъ истина стрележеть десную,
Тутъ правосудіе опую:
Се храмъ Закона а ясно зримъ.

6.

Возводитъ строгія аѣницы,
Льетъ радость, трепеть, вкругъ себя,
Равно на всѣ взираетъ лица,
Ни ненависти, ни любви.
Онъ лести чуждъ, лицепріятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знаетъ, ни пріязни;
Равно дѣлитъ и мѣду и казни;
Онъ образъ Божій на земли.

7.

И се! чудовище ужасно,
Какъ гидра, сто имѣя главъ,
Умилно и въ слезахъ всечасно,
Но полны челюсти отравъ,
Земныя власти попираетъ,
Главою неба досязаетъ,
Его отчизна тамъ, гласитъ,
Призраки, тѣмъ повсюду сѣтъ,
Обманывать и льстить умѣетъ,
И слѣпо вѣрить намъ велитъ.

8.

Покрывши разумъ темнотою
И всюду вѣя ползкій ядъ,
Троякою обнесъ стѣною
Чувствительность природы чадъ;
Повлекъ въ ярмо поработенья,
Облекъ ихъ въ броню заблужденья,
Боятся истины велѣлъ.
Законъ се Божій, царь вѣщаетъ;
Обманъ святой,—мудрецъ взызаетъ,—
Народъ давить что ты обрѣлъ.

9.

Сей быть, и есть, и будетъ вѣчной
Источникъ лютъ рабства оковъ:
Отъ золъ всѣхъ жизни скоротечной
Пребудетъ смерть единъ покровъ.
Всесильный Воже! благъ податель,

Естественныхъ ты благъ создатель,
Законъ свой въ сердцѣ основалъ:
Возможно ль, ты чтобъ измѣнился,
Чтобъ ты, Богъ силъ, столь упод-
лился,
Чужимъ чтобъ гласомъ намъ вѣщалъ?

10.

Возаримъ на области обширны,
Гдѣ тусклый тронъ стоитъ рабства.
Градскія власти тамъ всѣ мирны,
Въ царѣ зря образъ божества.
Власть царска вѣру охраняетъ;
Власть царску вѣра утверждаетъ;
Союзо общество гнетутъ:
Одинъ сковать разсудокъ чтится,
Другая волю стерть стремится ¹⁾;
На пользу общую, рекутъ.

11.

Покою рабскаго подъ сѣнью
Плодовъ алатыхъ не возрастетъ;
Гдѣ все ума претитъ стремленью,
Великость тамъ не прозябеть.
Тамъ нивы запустѣютъ тучны,
Коса и серпъ тамъ несподручны,
Въ сохъ уснетъ лѣнивый волю,
Влѣстящий мечъ померкнетъ славы,
Минервинъ храмъ сталъ обветшалый.
Коварства сѣтъ простерлась въ доль!

12.

Чело надменное вознеси.
Пріявъ желѣзный скипетръ, царь,
На грозномъ тронѣ властно сѣвши,
Въ народъ зрять лишь подлу тварь.
Животъ и смерть въ рукъ имѣя:
„По волѣ, рекъ, шажу злодѣя;
„Я властію могу дарить,
„Гдѣ я смѣюсь, тамъ все смѣется;
„Нахмурюсь грозно, все смятется;
„Живешь тогда, велю коль жить“.

13.

И мы внимаемъ хладнокровно,
Какъ крови нашей алчный гадъ,
Ругаясь всегда безспорно,
Въ веселы дни намъ сѣтъ адъ.
Вокругъ престола всѣ надменна
Стоять колѣнопреклоненно.
Но мститель, трепещи, грядетъ.
Онъ молвитъ, вольность прорекая—
И се, молва отъ край до края,
Глася свободу, протечетъ.

¹⁾ В нашем списке: „Одно сковать разсудокъ чтится, Другое волю стерть стремится“, но мы считаемъ это ошибкой и даемъ эти строки в редакціи текста П. А. Радищева, так как во всяком случаѣ болѣе правильно „одинъ“ (допуская согласование с „царемъ“) и „другая“ (вѣра).

14.

Возникнет рать повсюду бранна.
Надежда всѣхъ вооружить;
Въ крови мучителя вѣнчанна
Омыть свой стыдъ ужъ всякъ спѣшитъ.
Мечъ острѣ, я арю, вездѣ сверкаетъ,
Въ различныхъ видахъ смерть летаетъ,
Надъ гордою главою паря.
Ликуйте склепанны народы!,
Се право мщенное природы,
На плаху возвелъ царя.

15.

И ноши се завѣсу лживой
Со трескомъ мощно разодравъ,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истуканъ поправъ,
Сковавъ сторуцна исполнина,
Влечетъ его, какъ гражданина,
Къ престолу, гдѣ народъ возсѣлъ.
Преступникъ власти мною данной,
Вѣщай, злодѣй, мной увѣнчанный,
Противъ меня возстать какъ смѣлъ?

16.

Тебя облекъ я во порфиру
Равенство въ обществѣ блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
Отъ бѣдъ невинность чтобъ спасти;
Отцомъ ей быть чадолюбивымъ;
Но мстителемъ неприимнымъ
Пороку, лжи и клеветѣ;
Заслуги честию награждать,
Устройствомъ ало предупредить,
Хранити нравы въ чистотѣ.

17.

Покрылъ я море кораблями,
Устроилъ пристань въ берегахъ,
Дабы сокровища торгами
Текли съ избыткомъ въ городахъ;
Златая жатва чтобъ бесцезна
Была оратаю полезна;
Онъ могъ вѣшать бы за сохой:
Браады своей я не наемникъ,
На пажитяхъ своихъ не плѣнникъ.
Я благоденствую тобой.

18.

Своихъ кровей я безъ пощадъ—
Гремящую водвинулъ рать;
Я мѣдны изваялъ громады,
Злодѣевъ вѣншихъ чтобъ карать;
Тебѣ велѣлъ повиноваться,
Съ тобою къ славѣ устремляться;
Для пользы всѣхъ мнѣ можно все;
Земныя вѣбра раздираю,
Металлъ блестящій навлекаю
На украшеніе твое.

19.

Но ты забывъ мнѣ клятву данну
Забывъ, что я избралъ тебя
Себѣ в утѣху быть вѣнчану.
Возмнилъ, что ты господь, не я.
Мечемъ мои расторгъ уставы,
Безгласными повергъ всѣ правы.
Стыдиться истиня велѣлъ;
Расчистилъ клеветѣ дорогу,
Взывать сталъ не ко мнѣ, но къ Богу
А мной гнушаться восхотѣлъ.

20.

Кровавымъ потомъ доставая
Плодъ, кой я въ пищу насадилъ,
Съ тобою крохи раздѣляя,
Своей натуги не шадилъ.
Тебѣ сокровищей всѣхъ мало!
На чтожъ, скажи, ихъ недостало.
Что рублишь съ меня сорвалъ?
Дарить любимца полна лести,
Жену чуждающую чести?
Иль алато Богомъ ты призналъ?

21.

Въ отличность знакъ изобрѣтен-
ный

Ты началъ наглости дарить;
Злодѣю мечъ мой изощренный
Ты сталъ невинности сулить.
Сгруженные полки въ защиту
На брань ведешь ли знамениту
За челоѡчество карать?
Въ кровавыхъ борешься долинахъ.
Дабы, упившись, въ Аениахъ:
Герой!—аѣвавъ, могли сказать.

22.

Злодѣй, злодѣевъ всѣхъ лютей-
шій!

Превзыде ало твою главу.
Преступникъ, изъ всѣхъ превѣйшій!
Предстань, на судъ тебя зову!
Злодѣяства всѣ скопилъ въ едино,
Да ни едина прейдетъ мимо
Тебя изъ казней, супостаты!
Въ меня дерзнулъ острить ты жало!
Единой смерти зато мало—
Умри, умри же ты стократъ!

23.

Великій, мужъ, коварства полный,
Ханка, и льстецъ, и святотать,
Единъ ты въ свѣтъ столь благотвори-
тельный

Примѣръ великій могъ подать!
Я чту, Кромвель, изъ тебѣ злодѣи,
Что власть въ рукъ своей имѣя,
Ты твердѣ свободы сокрушилъ;
Но научись ты въ родѣ и родѣ,
Какъ могутъ мстить себѣ народы:
Ты Карла на судъ казнилъ.

24.

Низпославъ припракъ, мглу густую
Свѣтильникъ истины попраля;
Личину, что зовутъ святою,
Разсудокъ съ пагубы сорвалъ.
Ужъ Богъ не зрится въ чуждомъ видѣ,
Не мститъ ужъ онъ своею обидѣ,
Но въ дѣйствіи распростертъ своею.
Не спасему отъ бѣды насъ мнимыхъ,
Отцу предвѣчному всѣхъ зримыхъ
Побѣдную мы пѣснь поемъ.

25.

Внезапу вихри вошумѣли,
Прерывая спокойство тихихъ водъ,
Свободы гласы такъ загремѣли,
На вѣче весь течетъ народъ,
Престоль чугунный разрушаетъ,
Самсонъ какъ древле, сотрясаетъ
Исполненный коварствъ чертогъ;
Закономъ строить твердь природы:
Великъ, великъ ты, духъ свободы!
Зиждителемъ, какъ самъ есть Богъ.

26.

Сломивъ опору духовной власти,
И твердой мщенія рукой
Владычество расторгъ на части,
Что лжей воздвигнуто святой;
Вънещъ треauberъ затмѣвая
И жезлъ священный предломая,
Проклятія молны утушилъ;
Смѣясь мнимаго прещенья,
Подъялъ лучъ Лютеръ просвѣщенья,
Съ землею небо помирилъ.

27.

Какъ Сый всегда, въ началѣ вѣка
На вся простерту мочь явилъ,
Себѣ подобна человека
Создати съ міромъ положилъ,
Простраства изъ пустыней мрачныхъ
Исторгъ—и твердыхъ и прозрачныхъ
Первѣйши свмена всѣхъ тѣлъ;
Разруша древню смѣсь, покоилъ;
Стихиями онъ все устроилъ,
И солнцу жизнь давать велѣлъ.

28.

И даль превысипренно стремленье
Скривленному разсудку лжей;
Внезапу мощно потрясенье
Поверхъ земли ужъ зрится всей;
Въ невѣдомы страны отважно
Летитъ Колумбъ чрезъ поле влажно;
Но чудо Галилей творить
Возмогъ, протекии пустотою,
Зиждительной своей рукою
Свѣтило дневно утвердить.

29.

Такъ духъ свободы, разоряя
Вознесшійся неволи гнѣтъ,
Въ градахъ и селахъ пролетая,
Къ величію онъ всѣхъ зоветъ,
Живить, родить и созидая,
Препоны на пути не знаетъ,
Вождаемъ мужествомъ въ степяхъ;
Нетрепетно съ нимъ разумъ мыслить.
И слово собственностью числить
Невѣжства что разавѣтъ прахъ.

30.

Подъ древомъ, зноемъ упоенный,
Господне стадо пастьеръ пасъ;
Вдругъ новымъ свѣтомъ озаренный,
Вспрянувъ, свободы слышитъ гласъ;
На стадо звѣрь, онъ видитъ, мчится,
На бой съ нимъ ревностно стремиаъ.
Нечуждый вождь брежетъ свое.
О стадѣ сердце не радѣло,
Какъ чуждо было, не жалѣло;
Но нынѣ, нынѣ ты мое.

31.

Господню волю исполняя,
До востока солнца на поляхъ
Скупую ниву раздирая,
Волы томилисъ на браздахъ;
Какъ мачиха къ чуждоутробнымъ
Исходитъ съ видомъ всегда алобнымъ.
Рабама такъ нива маду даетъ.
Но духъ свободы ниву грѣтъ,
Безслезно поле вмигъ тучиаетъ;
Себѣ всякъ свѣтъ, себѣ жнетъ,

32.

Исполнивъ кругъ дневной
Свободный мужъ домой спѣшитъ:
Невинно сердце; безъ заботы
Въ объятіяхъ супружнихъ спитъ.
Не господа рукой надмenna,
Ему для казни подаренна,
Невинныхъ жертвъ чтобъ размножалъ:
Любовію вождаемъ нѣжной,
На сердцѣ бракъ воздвигъ надежный,
Помощницу себѣ избралъ.

33.

Онъ любить и любимъ онъ еси:
Труды—веселье, потъ—роса,
Что жизненностію своею
Плодитъ луга, поля, лѣса,—
Вершинъ блаженства достигаютъ.
Горячность ихъ плодомъ стаячаютъ.
Всешедра Бога; въ простотѣ
Безбѣдны дойдутъ до кончины,
Не аная алчной десятины,
Птенцевъ что кормить въ наготѣ.

34.

Возари на безпредѣльномъ поле,
Гдѣ стерта звѣрства рать стоитъ:
Не скотъ тутъ согнанъ поневодѣ,
Не жребій мужество дарить,
Не гряда правильно стремится,
Вождемъ тутъ воинъ каждый зрится,
Кончины славнои иметъ онъ.
О воинъ непоколебимый,
Ты есть и былъ непобѣдимый¹⁾,
Твой вождь—свобода, Вашингтонъ!

35.

Двулична бога храмъ закрылся,
Свирѣпство всякъ съ себя сложилъ,
Се богъ торжествъ межъ насъ явился
И въ рогъ веселья вострубилъ.
Стекаются тутъ громки лики,
Не видятъ грознаго владыки,
Законъ веселью кой даетъ;
Свободы зрится тутъ держава;
Награда тутъ²⁾ едина слава,
Во храмъ безсмертья что ведетъ.

36.

Сплетясь веселымъ хороводомъ,
Различности³⁾ надменность снявъ,
Се паки подъ лазурнымъ сводомъ
Естественный встаетъ уставъ;
Пограла въ тинѣ властна скверность;
Едина личная отмѣнность
Вънецъ возможесть восхитить;
Но не пристрастію державну,
Опытностью лишь⁴⁾ старцу славу,
Его довлѣетъ подарить.

37.

Вънецъ Пиндару возложенный
Художества сотканъ рукой;
Вънецъ наукой сплетенный
Носимъ Невтоновой главой;
Таковъ, себѣ всегда мечтая,
На крыльяхъ разума взлетая,
Духъ бодръ и твердъ возможесть вся;
По всей вселенной пронесется;
Міровъ до края вознесется:
Предметъ его суть—мы, не—я.

38.

Но страсти, изощряя злобу,
Враждебный пламенный стрясутъ;
Кинжалъ вонзаетъ себѣ въ утробу
Народы пагубно влекутъ;
Отца на сына вoadвигаютъ,
Союзы брачны раздираютъ,
Въ сердца гражданъ люютъ боязнь;
Рождается несытна власти
Алчба, жидущая напасти,
Что обществу устроить казнь.

39.

Крутится вихремъ громоноснымъ,
Одѣвшись облакомъ густымъ,
Свѣтиломъ озарясь поноснымъ,
Сіяньемъ ядъ прикрытъ святымъ.
Зоя, прельщая, угрожая,
Иль казнь иль маду ниспосылая—
Се мечъ, се алато: избирай!
И съѣзъ на камени охидны,
Лестей облекъ въ заоръ миловидны,
Шлеть молвію изъ края въ край.

40.

Такъ Марія, Сулла, возмутавши
Спокойство шаткое Римлянъ,
Въ сердцахъ пороки возродивши,
Въ наемну рать вмѣстилъ гражданъ
Ругаясь всѣмъ, что есть свято⁵⁾,
И то, что не было отъято,
У Римлянъ откупить возмогъ;
Всѣмъ алатые мады позорной
Предательству, убійству сродной,
Воздвигъ нечестья средь чертогъ.

41.

И се, скончавъ граждански брани
И свѣтъ коварствомъ обольстивъ,
На небо простирая длани,
Тревожну вольность усыпивъ,
Чугунный скиптръ обвивъ цвѣтами,
Народы мнили—править сами,
Но Августъ व्यю ихъ давилъ;
Прикрылъ хоть звѣрство добротой,
Вождаемъ мягкою душою:
Но царь когда безстрастенъ былъ?

42.

Сей былъ и есть законъ природы,
Неизмѣнимый никогда,
Ему подвластны всѣ народы,

¹⁾ Поправлено карандашомъ: „О воинъ мой непоколебимый“.

²⁾ Поправлено карандашомъ: „Награда ей“.

³⁾ Поправлено карандашомъ: „Различія“.

⁴⁾ Поправлено карандашомъ: „Лишь опытностью“.

⁵⁾ Поправлено карандашомъ: „Ругаясь всѣмъ, что есть тутъ (? это слово неразборчиво) свято“. Но в списке П. А. Радицева сохраняется та же неудачная форма, которая приведена и в нашей рукописи.

Незримо править онъ всегда:
Мучительство, страся предѣлы,
Отравы полны свои струны
Въ себя, не вѣдая, вонзить;
Равенство казню возстановить;
Едину власть, вселясь, раздавить;
Обидой право обновить.

43.

Дойдетъ до мѣты совершенство,
Въ степяхъ препоны прескочивъ,
Въ сожитіи найдетъ блаженство,
Несчастныхъ жребій облегчивъ.
И паче солнца возблистаешь,
О вольность, вольность! да скончаешь
Со вѣчною ты свой полетъ:
Но корень благи твоей истощится,
Свобода въ наглость превратится,
И власти подъ ярмомъ падетъ.

44.

Да не дивимся превращенію,
Которое мы въ свѣтъ зримъ;
Всеобщему во слѣдъ стремленію
Не косвенно стремглавъ бѣжимъ.
Огонь въ связи со влагою спорить,
Стихія въ насъ стихію бореть,
Начало тлѣннѣмъ тшится дать;
Прекраснѣйше въ міру творенье
Въ веселіи начнетъ рожденье
На то, чтобъ только умирать.

45.

О вы! счастливые народы,
Гдѣ случай вольность даровалъ!
Блюдите даръ благой природы,
Въ сердцахъ что вѣчный начерталъ.
Се хлябь разверстая, цвѣтами
Усыпанная, подъ ногами
У васъ, готова васъ сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крѣпость силъ въ немощность
люту,
Что свѣтъ во тьму лъзя претворить.

46.

Къ тебѣ душа моя вспаленна,
Къ тебѣ, словутая страна!
Стремится, гнетомъ гдѣ согбенна
Лежала вольность поправа;
Ликуешь ты! а мы здѣсь страждемъ!
Того жъ, того жъ и мы всѣ жаждемъ;
Примѣръ твой мѣту обнажилъ.
Твоей я славы не причастенъ—
Позволь, коль духъ мой неподвластенъ,
Чтобъ брегъ твой пеплъ хотя мой
скрылъ!

1) Поправлено карандашомъ: „И“.

47.

Но нѣтъ! гдѣ рокъ судилъ родиться
Да будетъ тамъ и днѣмъ предѣлъ;
Да хладный прахъ мой осѣнится
Величествомъ, что днесъ я пѣлъ;
Да¹⁾ юноша, взалкавый славы,
Пришедъ на гробъ мой обвѣтшалаый,
Дабы со чувствіемъ вѣшалъ:
„Подъ игомъ власти, сей, рожденный,
„Носа оковы позлащенные,
„Намъ вольность первый прорицалъ“

48.

И будетъ, вслѣдъ гремѣщей славы
Направя бодротвенно полетъ
На западъ, югъ, востокъ державы
Своей ширить предѣлы; но нѣтъ
Тебѣ предѣла ни отколъ,
Въ счастливой ты лику я долъ,
Гдѣ ты явишься, тамъ твой тронъ.
Отечество мое драгое,
На чреслахъ поясъ силъ, въ покоѣ
Въ окрестность ты даешь законъ.

49.

Но далѣ чѣмъ источникъ власти—
Слабѣ членовъ тѣмъ союзъ,
Между собой всѣ чужды части,
Всякъ тяжесть ощущаетъ утѣ.
Лучу истекшу отъ свѣтила
Сопутствуетъ и блескъ и сила;
Въ пространствѣ—онъ теряетъ мощь;
Въ ключъ—хотя не угасаетъ,
Но бѣгъ его ослабѣваетъ;
Ползущаго глотаетъ ночь.

50.

Въ тебѣ, когда союзъ прервется,
Стопчатъ мѣный крѣпка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всякъ будетъ свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенъ твое брѣнно,
Содрогшись внутренно, падетъ,
Но праха вихри не коснутся,
Животны сѣмена проснутся,
Затускло солнце вновь дастъ свѣтъ.

51.

Изъ нѣдръ развалины огромной,
Среди огней, кровавыхъ рѣкъ,
Средь глада, зѣвства, язвы темной.
Что лютой духъ властей возжеть—
Возникнуть малыя свѣтила;
Незыблемы свои кормила
Украсятъ дружба венцемъ,
На пользу всѣхъ ладью направлятъ,
И волка хищнаго задавятъ,
Что чтить слѣпецъ своимъ отцемъ.

52.

'Но не приспѣ еще година,
Не совершились судьбы;
Вдали, вдали еще кончина.
Когда насякнутъ все беды.
Встрѣчать заклёпы тяжкой ночи;
Упруга власть, собравъ всѣ мочи,
Вкатясь, гдѣ потщится пасть.
Да грузнымъ махомъ вся раздавить.
И стражу къ словеси приставить,
Да будетъ горшая напасть.

53.

Влача оковъ несносно бремя.
Въ вертепѣ плача воззреть.
Прійдетъ вождѣнно время,
На небо смертность воззоветъ;

Направлено въ стезю свободой,
Десную ополча природой,
Качнется въ долъ—и страхъ предъ ней;
Тогда всѣхъ силъ властей сложенье
Прійдетъ во изнеможенье—
О день! избранийшій всѣхъ дней!

54.

Мнѣ слышится ужъ гласъ природы
Начальный гласъ, гласъ Божества,
Трясутся вѣчна мрака своды,
Се мигъ рожденью вещества.
Се медленно и въ стройномъ чинѣ
Грядетъ зиждигель наединѣ—
Рекъ—яркій свѣтъ пустилъ свой лучъ,
И ложный плѣна скиптръ поправши,
Сгущенную тьму разогнавши,
Блестящій день родилъ изъ тучъ.

Таков полный первоначальный текст оды, представляемый нашей рукописью.

3.

В нашей рукописи, кроме тех замечаний, которые сделаны Радищевым в печатной книге по поводу этой оды непосредственно перед ее текстом, мы находим чрезвычайно важный вариант этих замечаний Радищева, идущий в рукописи сразу же за полным текстом оды. В этом новом варианте Радищев прямо перечисляет те строфы оды, которые могли бы быть заподозрены,—как говорит автор,—в „нелѣпости мыслей“. После разговора об этой оде, собеседник Радищева подает ему другое свое сочинение и говорит: „Прочтите сію бумагу и скажите мнѣ, не посадятъ ли из-за нее“... Из этих слов ясно видны те опасения, которые испытывал Радищев за судьбу свою и своей книги; видна и та сознательность, с которой Радищев шел на свой литературно-общественный подвиг, представляя себе возможные последствия своего шага, и все-таки смело делая его, в надежде, что если он найдет „сочувственниковъ“, то сугубый произойдет плод от подъятого им труда¹⁾.

Мы видели выше, что Радищев намеревался дать примеры в разных родах стихосложения. Но в печатном тексте плодом этого намерения была только ода „Вольность“; в рукописи же мы находим кроме того целый большой отрывок, под названием „Твореніе міра. Пѣснопловіе“.

После этих предварительных замечаний, мы приводим текст варианта размышлений Радищева об оде „Вольность“ и непосредственно за ним следующий в рукописи текст „Творенія міра“. По смыслу текста, приводимый нами вариант является продолжением находящегося в печатном тексте разговора спутника, в котором тот сообщает, что едет в Петербург, чтобы просить об издании его оды, которую в Москве не хотели печатать. Радищев передает его слова: „Если вамъ не въ тягость будетъ прочесть нѣкоторыя строфы, сказать он мнѣ, подавая бумагу“²⁾. Непосредственно за этой фразой должен следовать новый текст:

¹⁾ Печ. текст, стр. 2—посвящение А. М. Кутузову.

²⁾ Печ. текст, стр. 198, строка 9.

„Читалъ я вслухъ: Вольность.—Ода.—За одно названіе отказали мнѣ изданіе сихъ стиховъ, но я очень помню, что въ Наказѣ о сочиненіи новаго уложенія говорится о вольности, и сказано: вольностью называть должно то, что въ одинаковымъ повинуются законамъ.—Слѣдовательно, о вольности у насъ говорить вмѣстѣ¹⁾. Сію строфу обвиняли для двухъ причинъ, за стихъ Во свѣтъ рабства тьму претвори. Онъ очень туго и труденъ на изреченіе, ради частаго повторенія буквы *т*, и ради снѣга частаго согласныхъ буквъ; бства тьму прете—на десять согласныхъ (три гласныхъ), а на руссiйскомъ языкѣ толико же можно писать сладостно, какъ и на латинскомъ.—Согласенъ... хотя иные почитали стихъ сей удачнымъ, находя въ негладкости стиха изобразительное выраженіе трудности самаго дѣйствія.— Но вотъ другой: Да смятутся отъ гласа твоего цари. Желать смятенія царю есть тоже, что желать ему зла. Чудо.—Но продолжайте безпрепятственно, я не хочу вамъ наскучить всѣми примѣчаніями на стихи мои здѣланными; многія, признаюсь, изъ нихъ справедливы²⁾.—Строфы 3. 4. 6. 7. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 15. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 30. 31. 32. 35. 38. 39. 40. 41. 42 прочитавъ, я ему сказал: есть ли вы, государь мой! ни зачѣмъ другимъ ѣдете въ Петербургъ, какъ дабы истребовать дозволеніе на напечатаніе вашихъ стиховъ, то возвратитесь въ покоѣ домою, и потиштесь исправить ихъ отъ двухъ погрѣшностей: отъ нелѣпости выраженій, и сказать вамъ могутъ, отъ нелѣпости мыслей³⁾.—Онъ поглядѣвъ⁴⁾ на меня съ презрѣніемъ: прочтите сію бумагу, и скажите мнѣ, не посадятъ ли и за нее... Читайте: сіе должно было быть, для великаго поста, нѣкоторымъ случаемъ не докончано. Да будетъ оно примѣръ, какъ можно писать не одними ямбами. Развернувъ прочелъ следующее:

Твореніе Міра.

Пѣснопловіе.

Хоръ.

Тако предвѣчная мысль, осянъся собою и проч.

¹⁾ Текст от слова „Вольность“ до „...вмѣстѣ“ имеется в изданіи 1790 г. и непосредственно предшествует там тексту оды „Вольность“. Какъ видно изъ следующей далее фразы „Сію строфу обвиняли...“, несомненно, предъ этой фразой должна была находиться первая строфа оды (опущенная в нашемъ варианте, потому что ранее былъ данъ весь текст оды полностью).

²⁾ Текст от словъ: „Сію строфу“ до „справедливы“ также имеется в изданіи 1790 г., где онъ данъ в видѣ примечанія къ 1-й строфѣ, но с небольшими вариациями, именно: вместо „какъ и на Латинскомъ“—в печ. т. „какъ и на Италіянскомъ“. После слова „зла“—початный текст имеетъ такую форму: „желать ему зла, слѣдовательно... Но я не хочу“ (и далее какъ в рукописи). После „справедливы“ в печ. т. слѣдуетъ фраза „Позвольте, чтобы и вашимъ былъ чтецомъ“. Но отсутствію в этой части текста этой последней фразы и вследствие нахождения здесь словъ „Но продолжайте безпрепятственно“, эта часть варіанта (то есть от словъ „Сію строфу“) примыкаетъ къ цензурной рукописи, где также имеются эти отличія отъ печатнаго текста (Щеголевъ, стр. 275). Словъ, поставленныхъ в скобки (три гласныхъ), в нашей рукописи нѣтъ, и они вставлены нами для смысла, по сравненію с печатнымъ текстомъ.

³⁾ Относительно оды „Вольность“ мы будемъ говорить в особой работѣ, где рассмотримъ какъ вышеприведенные намеки Радищева, такъ и вообще все обстоятельство, по поводу которыхъ эта ода была написана.

⁴⁾ Можетъ быть здѣсь описка: вероятно, слѣдуетъ „поглядѣвъ“

Вы уже улыбаться начинаете, вамъ кажется уже, что читаете Телемахиду. Но смѣйтесь какъ хотите; чудище обло, огромно, стризевно¹⁾ и лаяя не столь дурной стихъ. Но о семь теперь не къ стате, продолжайте и смѣйтесь.

Твореніе Міра.

Пѣсно-словіе.

Хоръ.

Тако предвѣчная мысль, осявнясь со-
бою
И своего всемогущества во глубинѣ,
Тако въздала, егда всѣ покрытыя мглою
Первенственныя сѣмена, опочинѣ въ
тишинѣ,
Дѣйствія чужды и жизни восторга ле-
жали,
Времена²⁾ круга міры когда не измѣ-
ряли.

Богъ.

Единъ повсюду и предвѣченъ,
Всесиленъ Богъ и безконеченъ;
Всегда я буду, есмь и былъ,
Единъ вездѣ вся исполняя,
Себя въ себѣ я заключаю,
Днесъ всѣ во мнѣ, во всемъ я
жиль.

Но неужель всегда пребуду,
Всесиленъ мыслью, мыслью Богъ?
И въ недрахъ божества забуду
То, что бѣ начати я возмогъ?
Или любовь моя блаженна
Во мнѣ пребудетъ невозженна,
Безгласна, томна, лишь во мнѣ
Всевѣчна жаръ ея пылая,
Ужель безплодно истлевая
Пребудетъ божество во днѣ?
Разширимъ себѣ предѣлы,
Тьмой умножимъ божество,
Совершимъ совѣта мѣры,
Да явится вещество.

Хоръ.

Вострепещи днесъ, упругое древле ни-
что;
Ветхи се деньми грядетъ во могуще-
ствѣ стройномъ,
Да сокрушитъ навсегда смерть въ по-
койномъ царствѣ,
Всюду да будутъ жизнь, радость, утѣ-
хи.

Богъ.

Но что
Начнемъ?—
Речемъ—
Возлюбленное слово,
О первенецъ меня,
Ты искони готово,
Во мнѣ я ты, ты я.
Тебѣ я на всегда вручаю
Владычество и власть мою,
Въ тебѣ любовь я заклю-
чаю,

Тобю Миръ да сотворю.

Исполнѣ божественны обѣты,
Яви твореньемъ божество,
Исполнѣ премудрости совѣты,
Твори жизнь, силу, вещество.

Тобю я прославлюсь,
Бездѣйствія избавлюсь,
Ты то явишь, что я возмогу.
А я въ себѣ почию Богъ.

Хоръ.

Мертвыя днесъ развѣвайтесь сѣми,
Жизни начало зиждатель дасть;
Въ жизни всегдашней не будетъ пре-
мѣны,
Мрачна пустыня познаетъ что свѣтъ.

Слово.

Начнемъ творить—что медлю я?
Иль воля вѣчнаго безсильна?
Иль мысль его не изобильна?
Иль ариѣ препону власть моя?

Часть хора.

Нѣжная любовь тревожитъ
Безконечныя судьбы,
И гаданье скорби множитъ
Міра будущи бѣды.

¹⁾ „Стризевно“—в рукописи, и хотя в эпиграфе на заглавном листе „Путешествія“ Радищев, цитируя тот же стих, говорит „стоазвнано“, но и в „Памятникъ дактилохоренческому витязю“ этотъ стихъ цитируется так: „Чуд(ов)ище обло, озорно, огромно, съ триаѣвной и лаяя“ („Собрание оставшихся сочиненій покойнаго А. Н. Радищева“, часть IV, М. 1811 года, стр. 81, или „Полное собр. сочин.“, ред. Каллаша, т. II, стр. 419).

²⁾ Может быть, нужно „времени“?

Часть хора.

Отвернись мрачная пучина,
Грядущаго пади покровъ,
Явися будуща судьбина,
Предъль тебѣ положить Богъ!

Хоръ.

Се исчезаетъ предъ взоромъ все зря-
щимъ
Вѣка не суща есть темнота,
Се знаменуютъ рокъ, словомъ горя-
щимъ
Міра грядуща всевѣчный¹⁾ уста.

Богъ.

Единымъ взоромъ все объемля,
Что было, есть и можетъ быть,
Закону моему не внемля
Во страхъ господя ходить,
Я зрю, что тварь не пожелаетъ,
Кичася гордостью взмечтаетъ,
Что всей она природы царь.
О брэнна и не мощна тварь!
Почто противъ отца дерзаетъ?
Или ослушна быти чаешь
Блаженною сама собой?
Я могъ бы днесь предупредить
И мысль мою перемѣняя,
Быть твари повелѣть иной.
Не ярый слабостей я мститель,
Отецъ всецѣдный и аждитель:
Любовію къ тебѣ горю.
Чуждаться будешь совершенства,
Но корень твоего блаженства
Въ тебѣ нетлѣннѣе сотворю.

Часть хора.

О любовь несказанна,
Прежде вѣка избранна,
Въ тебѣ жизнь и начало
Въ міръ все воспріяло.

Хоръ.

Взора пространство пустыни всѣ съ
трепетомъ вѣчна
Въ стретенье радостнымъ ликомъ
идуть,
Бездну безъ вещей зыблетъ днесь мочь
безконечна,
Мертвыя жизнь сѣмена съ нетерпѣн-
емъ ждутъ.

Часть хора.

Божественна утроба рдѣетъ
Клубы²⁾ въ рожденье вещество.
Любовь начальна сѣмя грѣетъ,
Твореньемъ узришь божество.

Слово.

Мысль благая совершайся,
И превѣчно исполняйся
Отца мудрости совѣтъ,
Да окрѣпнетъ втвердь пучина,
Не измѣрима равнина,
Гдѣ пространство днесь живетъ.
Оживись тѣлесно сѣмя,
Пріими начало время
И движенье вещество,
Твердость тѣломъ
Жизнь движеньемъ—
Се вѣщаетъ божество.

— Конца нѣтъ. — Что жъ вы скажете о употребленіи въ од-
номъ сочиненіи разнаго рода стиховъ? — Но сіе смѣшеніе не
только прилично малому и для пѣнія опредѣленному сти-
хотворенію, то³⁾ удачно будетъ и въ эпопеи. Не мой сей
есть совѣтъ; но Мармонтелевъ. — Я, собравъ мои мысли, хо-
тѣлъ ему на его стихи сказать нѣчто, можетъ быть ему и
не пріятное. Но колокольчикъ на дугѣ возвѣстилъ мнѣ, что
въ дорогѣ складнѣе поспѣшать на почтовыхъ клячахъ,
оставляя Пегаса въ парнаасской конюшнѣ, и для того я по-
спѣшно съ новомоднымъ моимъ стихоплетчикомъ прости-
ся⁴⁾.

1) Вероятно следует: „всецѣдный“.

2) Не следуетъ ли: „Клубя“?

3) Не следуетъ ли „но“?

4) Окончание этого варианта подобно окончанию печатного текста главы „Тверь“, где произведена ода „Вольность“ (стр. 207). Там, за последней ее стро-
фой, следуютъ такіе заключительные слова: „Вотъ и конецъ, сказалъ мнѣ но-
вомодной стихотворецъ. — Я очень тому порадовался и хотѣлъ было ему ска-
зать, можетъ быть, не пріятное на стихи его возраженіе, но колокольчикъ воз-
вѣстилъ мнѣ, что в дорогѣ складнѣе поспѣшать на почтовыхъ клячахъ, нежели
карапкаться на пегаса, когда онъ съ норовомъ“.

Новый радищевский текст — „Твореніе міра“ представляется нам имеющим значение в различных отношениях. Вопросы о производящих причинах бытия весьма интересовали Радищева, и идеи, подобные тем, которые выражены в „Твореніи міра“, можно найти и в других местах его сочинений, установив таким образом родство с теми: этого нового радищевского произведения. Так, в печатном тексте „Путешествія“, в „Словѣ о Ломоносовѣ“, Радищев, говоря про действие „великой души надъ душами современниковъ или потомковъ“, сопоставляет с этим картину творения. „Прежде начатія времени, — говорит Радищев, — когда не было бытію опоры, и все терялося въ вѣчности и неизмѣримости, все Источнику силъ возможно было; вся красота вселенныя существовала въ его мысли, но дѣйствія не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнувъ вещественность въ пространство, дала ей движеніе. Солнце возсіяло, луна пріяла свѣтъ, и тѣlesa, крутящіяся горѣ, образовались. Первый махъ въ твореніи вселеннѣ былъ; вся чудесность міра, вся его красота суть только слѣдствія“¹⁾.

В трактате „О человѣкѣ, о его смертности и безсмертіи“ Радищев не раз касается этой же темы. Так, в одном месте он пишет: „Покнь или его истолкователь, желая изъяснить созданіе, говоритъ: вообрази себѣ пустое пространство и всемогущество, вращающееся подъ нимъ, рекло: да раздѣлится оно и отвердѣтъ! и се явились непроницаемость, протяженность, образъ. Дополнимъ сію стихотворную и метафизическую картину и вмѣсто слова явимъ мысль всемогущую. — О дерзновение! изрекать словомъ, звукомъ, збленіемъ воздуха, мысль предвѣчную! — Да будетъ сила въ каждой точкѣ пространства! и се дѣйствіе началось“²⁾.

Радищев начинает „Твореніе міра“ изображеніем того, как вешала „Предвѣчная мысль“, когда „первенственныя сѣмена, опочивъ въ тишинѣ, дѣйствія чужды и жизни восторга, лежали“. В рассужденіи „О человѣкѣ“ Радищев излагает семенную теорію, отголоском которой является и в „Твореніи міра“ это упоминание о „первенственныхъ сѣменахъ“.

В другом месте трактата „О человѣкѣ“ Радищев пишет: „Мнѣ кажутся аллегоріи тѣхъ народовъ весьма глубокомысленными, кои представляютъ первую причину всяческаго бытія произведшее прежде всего слово, которое, одаренное всеплемѣмъ Всевышняго, раздѣлило стихіи и міръ устроило. Если оно въ человѣкѣ столь чудодѣтельно, то что возможетъ рѣчь Предвѣчнаго?“³⁾

Весьма возможно, что изображенная Радищевым картина творения міра и заимствована из каких-либо аллегорій, о которых он здесь упоминает. Знакомство с такими аллегоріями проявилось уже и в тогдaшней нашей литературѣ, незадолго до выхода „Путешествія“ в журналѣ „Растущій Виноградъ“, 1786 г., мы находим „пѣснопловіе“ же, под названіем „О Богѣ и вселенной“, приписанное Орфею, с мифическим именем котораго связано начальное развитие греческой

¹⁾ Печ. текст, стр. 253—254.

²⁾ „Полное собраніе сочиненій Радищева“, ред. Калаша, т. II, стр. 202

³⁾ Там же, стр. 278—279.

позин; оно было переведено с греческого Л. И. Сичкаревым¹⁾. Непосредственных точек соприкосновения с этим именно „пѣснословіемъ“ в сочинении Радищева нет, но оно указывает между прочим на то, что самый оригинальный термин для обозначения внешней формы сочинения—„пѣснословіе“ был принят в тогдашней литературе. Сам Радищев определяет этот термин, как можно было видеть из приведенных выше слов, следующих непосредственно после текста „Творенія міра“,—в качестве „малого, для пѣнія опредѣленнаго стихотворенія“. В печатном тексте „Путешествія“ Радищев употребляет этот же термин, говоря о пении слепым стариком народной песни об Алексее, человеке Божиим²⁾.

Но помимо того значения, которое представляет „Твореніе міра“, для характеристики метафизических идей Радищева, оно интересно и с внешней стороны, как попытка исканія новых форм стиха. Несмотря даже на многие неудачные выражения, порою синтаксически неправильные и затуманивающие мысль автора, „Твореніе міра“ свидетельствует все о том же стремлении вырабатывать новые внешние формы, которое не раз проявлялось у Радищева: теоретически в его „Памятникъ дактилохоренческому витязю“, практически—в некоторых известных его стихотворениях, которые, с этой точки зрения, ценились даже Пушкиным.

Мы хотели бы сказать еще несколько слов также о тех мотивах, по которым „Твореніе міра“, весьма интересное по замыслу, не было включено в печатный текст „Путешествія“. Мы склонны думать, что, не помещая сюда этого сочинения, Радищев руководился все теми же соображеніями избежанія лишних цензурных затрудненій. Автору „Путешествія“ приходилось писать под двуоким взглядом цензуры—и светской, и духовной. „Твореніе міра“ трактовало такую тему, которая близко касалась взоров духовных властей; всякое сочинение, относившееся к таким вопросам, должно было идти, кроме светской, еще и в духовную цензуру, а напечатанное без цензуры, несомненно, обратило бы на себя чьи нужно бдящие очи. Это усложнило бы и без того трудное дело издания „Путешествія“ и могло бы вызвать лишние неприятные последствия со стороны духовного начальства. Что у Радищева были такие сомнения, видно из приведенных выше его слов по поводу второй, переданной ему его спутником бумаги („Твореніе міра“): „не посадят ли и за нее“... Намек на то, что сочинение не было закончено „для великаго поста“, также как будто указывает на скользкость, с цензурной точки зрения, трактуемой в „Твореніи міра“ темы. В намереніи избежать излишних тяжелых последствий и лежит, вероятно, причина невключенія в печатный текст „Творенія міра“, которое, с точки зрения Радищева, пожалуй, могло бы даже несколько оживить текст „Путешествія“, к чему Радищев стремился, включая в него, даже после цензуры, некоторые дополнительные главы и эпизоды.

В. С. Менников.

¹⁾ „Растущій Виноградъ“ 1786 г., августъ, стр. 34—40.

²⁾ „Путешествіе“, стр. 226.

Декабрист Ивашев и его семья.

Из семейной хроники¹⁾.

Внучка декабриста и дочь одной из виднейших деятельниц женского освободительного движения 60-х годов, я, как участница революционного движения 70—80-х годов, являюсь представительницей третьего поколения революционно-настроенной семьи, о старших членах которой я, главным образом, и хочу рассказать, что помню и знаю.

О. К. Буланова.

1/II. 1921 г.
Петроград.

I.

Дед мой, декабрист Василий Петрович Ивашев, был сыном богатого помещика Симбирской губернии, Петра Никифоровича Ивашева. Сам Петр Никифорович был незаурядной личностью. В течение восьми лет он состоял начальником штаба фельдмаршала, графа А. В. Суворова, участвовал в его походах и пользовался таким доверием и расположением фельдмаршала, что тот вверил ему на сохранение свои записки. Выйдя в отставку в чине генерал-аншефа, Петр Никифорович поселился в Ундорах, прекрасном, благоустроенном имении жены своей Веры Александровны, рожденной Толстой. Там он устроил большую суконную фабрику и разные другие заводы и фабрики и развил обширное хлебное хозяйство. Со свойственной ему деловитостью, стремлением к нововведениям и улучшениям, клонящимся к общественной пользе, он принимал деятельное участие в разных сельско-хозяйственных обществах, как отечественных, так и иностранных (сохранился диплом Лейпцигского Экономического Общества об избрании его 14 марта 1814 г. в почетные члены), вводил в свое хозяйство улучшен-

¹⁾ При составлении настоящей биографии я пользовалась семейным архивом, доставшимся мне от матери моей М. В. Трубиновой, рожденной Ивашевой, и заключавшем переписку деда с его родителями и сестрами. Кроме того, в моем распоряжении находились материалы для биографии деда моего и всей Ивашевской семьи, собранные покойным Г. Ф. Юнкером, который много лет работал над задуманной биографией, но за смертью не успел закончить свой труд. О. Б.

ные машины и в 1838 г., как видно из переписки с сыном, был поглощен опытами над изобретенной им самим жатвенной машиной.

У Петра Никифоровича было пятеро детей: единственный сын, Василий Петрович, и четыре дочери: 1) Елизавета, в замужестве за Петром Михайловичем Языковым (братом поэта Н. М. Языкова), 2) Екатерина—за камер-юнкером, кн. С. Ю. Хованским, 3) Мария (глухонемая)—за Л. В. Дроздовским и 4) Александра—за помещиком Александром Ивановичем Ермоловым.

Василий Петрович, ротмистр кавалергардского полка, служил адъютантом при главнокомандующем Южной Армией, князе Витгенштейне; увлеченный либеральными стремлениями той эпохи, он вступил в члены тайного общества—„Союза Благоденствия“,—основанного в Тульчине, при главной квартире, в котором участвовал весь цвет высшей аристократии, все лучшие люди из интеллигенции того времени.

В день 14 декабря Ивашева не было в Петербурге; он еще с февраля 1825-го года находился в отпуску в Симбирской губернии у своих родителей. Когда его назвал Комаров, последовал приказ об его аресте, но приказ этот уже не застал его в Симбирске.

Повидимому, узнав о разыгравшихся в Петербурге событиях, он решил ехать на место службы в Тульчин, куда и выехал 14 января.

Проездом через Москву он был арестован и 26 января доставлен в Петропавловскую крепость при записке государя: „Содержать хорошо и посадить по усмотрению“.

Ивашев не отрицал своей солидарности с товарищами и подвергся общей с другими декабристами участи. Согласно сентенции Верховного уголовного суда от 12 июля 1826 года, он, как преступник II-го разряда („участвовал в умысле на цареубийство согласием и принадлежал к тайному обществу со знанием цели“), был осужден на политическую смерть с положением головы на плаху и к ссылке вечно в каторжную работу, каковое наказание, по конфирмации Николая I-го, было заменено 20-летней каторгой с последующим поселением.

Повидимому, еще до отъезда из Симбирска Ивашев признался родителям о своем участии в тайном обществе. Так заставляет думать, с одной стороны, то обстоятельство, что отец, ввиду грозившей любимому сыну опасности, поехал вместе с ним в Москву, а после его ареста, следом за ним, в Петербург, откуда уже 3-го февраля пишет жене; а с другой стороны, из слов сестры Василия Петровича—Лизы Языковой, которая в письме от 6-го февраля говорит о своем отчаянии „lors de notre cruelle séparation“ (со времени нашего ужасного расставания).

Ивашеву довольно скоро разрешили переписываться с родителями, и уже 11-го февраля он мог написать матери, которая уведомляет мужа, что письмо Базиля доставило ей чрезвычайную отраду.

Письма В. П. из крепости рассчитаны на прочтение их начальством и потому не могут служить показателем его действительного настроения, но одна записочка, повидимому, переданная непосредственно отцу, заслуживает внимания. В. П. пишет:

„Не зная степени своей виновности и в то же время желая убедить судей в своей полной искренности, я признавался в вещах, о которых не имел понятия до самого моего задержания“.

Во время пребывания Василия Петровича в крепости,—вероятно

в промежуток между приговором и приведением его в исполнение, что произошло лишь в марте 1827 года,—отец его был в Петербурге и получил разрешение на свидания, что видно из его слов в позднейшем письме к сыну от 26 марта:

„По расставании с тобой, как ни спешил, не мог прежде 1 марта оставить Петербург, где я для тебя и для собственного сердца был, может быть, сколько-нибудь полезен“, а также из письма Елизаветы Петровны Языковой к брату от 25 марта, где она пишет: „Мы имели счастье обнять папеньку назад тому около двух недель и до сих пор еще не можем наговориться; ты угадываешь, кто предмет наших разговоров. Он имел счастье тебя видеть, и так сколь интересно для нас каждое его слово“.

Везти Василия Петровича должны были через Казань, и было испрошено дозволение видаться с ним дорогой для матери и сестер, которые для этого выехали в Казань и двое суток дожидались у заставы. Но маршрут почему-то был изменен, Василия Петровича провозили через Вятку, так что родные лишились и этого утешения.

В семье Ивашевых существовали исключительные отношения: родители и дети были связаны между собою нежнейшей любовью и дружбой. Горе семьи, обожавшей единственного сына и брата, не поддается описанию. С этой минуты все помыслы, вся жизнь ее направлена на облегчение участи несчастного сына, к которому, как неоднократно подчеркивают родители в письмах, отношение их ни мало не изменилось¹⁾.

Глубоко и искренно верующие люди, родители искали поддержки в религии, с христианским смиренiem переносили удары судьбы и стремились примером своим воздействовать на сына и вызвать в нем такую же безропотную покорность воле Божьей. Отец и мать пишут сыну о своей уверенности, что ничто не может изменить его прекрасных нравственных качеств, и с полным уважением относятся к его сотоварищам. Отец и, в особенности, мать, изнывавшая в тоске по своему любимцу, боялся лишь, чтобы отчаянье не овладело душою их Basil'a, чтобы он не упал духом под тяжестью выпавшего ему на долю испытания и не решился покончить с собой, а потому постоянно указывают ему на его долг, как христианина, смиренно нести свой крест.

Сами же старики мечтали только об одном, чтобы власти разрешили им разделить участь сына. Они готовы на все жертвы, лишь бы быть с ним. В трогательных выражениях Вера Александровна пишет: „Мать твоя желает жить лишь для того, чтобы разделить твою долю“. Или в другом месте: „Единственное счастье, на которое я уповаю, это соединиться с моим возлюбленным сыном, прожить остаток дней моих с тобой. Возможно ли, чтобы матери отказали в желании последовать за сыном?“ Отец в письме от 25 марта говорит то же своим неуклюжим русским языком: „Может быть, через некоторое время умилосердится император и нам даст позволение приехать к тебе на безразличное соединение, так как дозволено нынче почтенным супругам быть вместе с мужьями. Мы готовы все привилегии

¹⁾ В письме от 25 марта отец говорит: „Ты сам знаешь нашу беспредельную к тебе привязанность, которую умножило твое несчастье, если могла умножиться она“...

В письме отца от 26 марта обращение: „Друг и сын всегда мне милый“

приватной жизни снять с себя и содержать себя такою работою, какую Государю предназначить будет угодно“...

Горе родителей еще усугублялось полной неизвестностью относительно того, куда отправлен сын; дни шли за днями, а кроме короткого известия сперва от Бенкендорфа, а затем от Иркутского губернатора, сообщавших, что сын их здоров и получил все ему посланное, они более полугода никаких сведений не имели. У сдержанного и покорного воле Провидения старика Ивашева вырываются такие слова: „Но мы не знаем, какой угол в пространном государстве определен тебе, один ли ты или есть с кем перемолвить“... и 22 июля: „Мы дышим одной надеждой, что, может, когда тебе позволят нас утешить строчкой твоей руки, тогда только мы удостоверимся, что ты, хотя и в дальнем расстоянии, но в мире сем находишься“. Старик даже допускает, что, „может быть, назначено сколько времени пропускать, не давая знать о существовании даже“.

Только 24 декабря семья была обрадована получением первого письма от г-жи Нарышкиной, через которую (позднее через княгиню М. Н. Волконскую) устанавливается постоянная связь с сыном. Нарышкина обещает и впредь осведомлять о здоровье Василия Петровича и сообщает, что он ни в чем не нуждается и исправно получает от родных письма. 16 января 1828 г. Вера Александровна пишет, что отец едет в Казань видетель с Фон-Визинной, отправляющейся к мужу в Сибирь, и передаст ей письма и посылку для Василия Петровича. Отец рассказывает позднее, что видел „сию почтенную женщину, которая, оставив детей, едет дышать одним воздухом со своим другом и, ежели можно, более с ним не расставаться. Горесть и радость попеременно являются выразительными чертами на ангельском ее лице. Путь ее изцурил“.

С этих пор устанавливается частая отправка сыну всяких вещей, провизии, табаку, книг, а Лиза, любимая сестра Василия Петровича, возбуждает даже вопрос о посылке ему рояля, что впоследствии и было исполнено. Василий Петрович был хорошим музыкант и недурно рисовал акварелью,—у нас в семье сохранился альбом его рисунков, изображающих Петровский завод, отдельные казематы и сценки из жизни ссыльных декабристов. Та же Лиза Языкова просит в письме Волконскую передавать ей всякое, даже случайно вырвавшееся у Василия Петровича, пожелание, которое он, по своей крайней деликатности, может и не сообщить родным.

Письма шли через III-е отделение, и, очевидно, в них разрешалось только сообщать о здоровье и личных делах. Только в 1828 году старик Ивашев упоминает о происходившей войне с турками и, радуясь успехам нашей армии, окрыляется надеждой на разные могущие быть милости и на возможность возбуждения ходатайства о переселении их к сыну. Все письма кончаются увещаниями о покорности судьбе.

II.

Старик не даром все время тревожился за душевное состояние своего возлюбленного Basil'a.

Как известно, декабристы в июне 1830 года были переведены из Читы в Петровский завод, где специально для них была выстроена тюрьма. Декабрист Басаргин, особенно друживший с Василием Петровичем и сохранивший эту дружбу на всю жизнь, рассказывает в своих

записках о состоянии, в каком находился последний перед выездом из Читы: „Я, кажется, упоминал, что Ивашев, Муханов и Завалишин, по собственной просьбе, остались в маленьком каземате; я нередко бывал у них и просиживал по несколько часов. Ивашев, как я замечал, никак не мог привыкнуть к своему настоящему положению и тяготился им. Мы часто об этом говорили между собою, и я старался, сколько возможно, поддержать его и внушить ему более твердости. Ничто не помогало. Он был грустен, мрачен, задумчив. Раз как-то на работе Муханов отвел меня в сторону и сказал, что Ивашев готовится сделать большую глупость, которая может стоить ему жизни, и что он нарочно решился мне сказать об этом, чтобы я попробовал отговорить его. Вот в чем состояло дело. Ивашев вошел в сношения с каким-то бегло-ссылным рабочим, который обещался провести его за китайскую границу. Этот беглый завтра же должен был прийти к тыну их каземата. Ты уже был подписан, и место для выхода приготовлено. По выходе из острога они должны были отправиться в ближайший лес, где, по словам беглого, было уже приготовлено подземельное жилище, в котором они должны были скрываться, покуда не прекратятся поиски, а тогда отправиться к китайской границе. Этот план был так неблагоприятен, так нелеп, что я удивился, как мог Ивашев согласиться на него. Не было почти никакого сомнения, что человек, соблазнявший его побегом, имел какие-нибудь иные намерения: или выдать его начальству и тем заслужить себе прощение, или безнаказанно убить его и завладеть находящимися у него деньгами; я же знал, что они у него были: приехавши в Читу, он не объявил коменданту 1.000 рублей, которые привез с собой, и, сверх того, тайным образом получил еще 500 рубл-й.

„После работы я отправился к Ивашеву и сказал, что мне известно его намерение. Он очень спокойно отвечал, что с моей стороны было бы напрасным трудом его отклонять, что он твердо решился. На все мои доводы и убеждения о неоправданности его предприятия и об опасности, ему угрожающей, он отвечал, что далее оставаться в каземате он не в состоянии, что лучше умереть, чем жить таким образом. Я не знал, что делать. Времени было так коротко, и осталось только одно средство остановить его — дать знать коменданту. Но быть доносчиком на своего товарища, друга — ужасно! Наконец, я решительно сказал ему: „Послушай, Ивашев, именем нашей дружбы прошу тебя отложить и исполнение твоего намерения на одну только неделю. В эту неделю обсудим хорошенько твоё предприятие, взвесим хладнокровно *le pour et le contre*, и если ты останешься при тех же мыслях, то обещаю тебе не препятствовать“. — „А если я не соглашусь откладывать на неделю“, возразил он. — „Если не согласишься, — воскликнул я с жаром, — ты заставишь меня сделать из любви к тебе то, чем я гнушаюсь, — сейчас попрощу свидания с комендантом и расскажу ему все“. Муханов меня поддерживал. Наконец, Ивашев дал нам слово подождать неделю. На третий день после этого разговора я опять отправился к Ивашеву, и мы толковали об его намерении. Я перечислял ему все опасности, всю невероятность успеха. Он настаивал на своем, как вдруг входит офицер и говорит, что его требует к себе комендант. Ивашев посмотрел на меня, но, видя мое спокойствие, с чувством сказал мне: „Прости меня, друг Басаргин, в минутном подозрении. Но что бы это значило? Не понимаю“.

Комендант передал ему письмо, заключавшее в себе предложение

ние, коренным образом изменявшее его судьбу и требовавшее немедленного ответа, и мысли Василия Петровича были совершенно отвлечены от замыслившегося побега.

Что же было в этом важном письме? Что случилось за это время в родном Симбирске? Мать Василия Петровича, проводившая зиму 1830 г. в Петербурге с двумя младшими дочерьми, получила письмо от француженки, Le Dantu, жившей долго гувернанткой в их доме. Г-жа Ледантю писала, что лишь недавно узнала о любви своей младшей дочери Камиллы к молодому Ивашеву. Камилла, в детстве жившая с матерью у Ивашевых, знала хорошо всю семью и влюбилась в блестящего кавалергарда, но разница в их общественном положении заставила ее заглушить в себе зарождавшееся чувство. Но вот наступило 14 декабря. Камилла, находившаяся в это время в Петербурге, с ужасом следила за участью декабристов, и любовь ее снова разгорается. Образ страдающего Basil'я стоит неотступно перед ее глазами, она с умилением думает о самоотверженных женах, помогающих разделить судьбу мужей и следующих за ними на каторгу. Потрясенная своими переживаниями, Камилла серьезно заболевает и, наконец, решается открыть свою душу в тревоженной матери. „Дорогая мама, — говорит она, — одна француженка поехала за товарищем несчастного Basil'я в Сибирь; позволите ли вы мне поехать за тем, кого я долго считала, что люблю лишь как брата. Найдете ли вы силы расстаться с дочерью, если она сможет облегчить судьбу Basil'я?“ Мать отвечала, что она согласна, если это вернет здоровье дочери и даст ей счастье, но что раньше надо узнать, захочет ли этого сам Ивашев и его родители. Терзаемая страхом за дочь, которая продолжала таять на ее глазах, г-жа Ледантю решает сообщить обо всем матери Ивашева, оговариваясь, что лишь горестная перемена в судьбе Василия Петровича позволила ей открыть сердцу эту тайну своей дочери. Получив это письмо, старики Ивашевы страшно обрадовались, видя в случившемся перст Провидения, и 1 мая Вера Александровна написала сыну, приложив копию письма г-жи Ледантю, просила обдумать хорошенько вопрос и написать свое решение, чтобы тогда старики могли начать хлопоты о браке. Вера Александровна пишет, что, „как ей кажется, Камилла нравилась сыну, и хотя теперь она очень подурнела, благодаря горю и болезни, но ведь это все произошло из-за него же“.

Еще раньше, 12-го апреля. Лиза Языкова, узнавшая о письме г-жи Ледантю и живо чувствовавшая всю щекотливость положения молодой девушки, задает брату вопрос в следующей форме.

Перебирая старые бумаги, она нашла шуточное, посвященное ему в былые беззаботные годы стихотворение ¹⁾:

„Сменять решил свободу я к радости друзей—
И жизнь холостую на жеребий мужей.
Нет, не шучу, нет, не шучу,—
Холостяком быть не хочу!“

* * *

Свой выбор я уже сделал,
Гадают пусть другие,

¹⁾ Привожу его в переводе с французского. О. Б.

Для бленькой брюнетки,
Смазливенькой лицом.
Нет, не шучу, нет, не шучу,
Холостяком быть не хочу!

* * *

Но вот еще другая
Красавица девица,
Что ирис белокура,
Что вешний цвет, свежа.
Нет, не шучу, нет, не шучу,
Холостяком быть не хочу.

* * *

Имеется и третья:
Чудовище хромое,
Со впалыми глазами,
Как смерть бледна она.
О, нет, нет, нет, ее боюсь,
Холостяком я остаюсь.

„Думаю, что ты помнишь,—пишет брату Языкова,—о ком идет речь в первых двух куплетах: первая из них давно уже замужем, а вторая—белокурая ирис,—мила и добра по-прежнему. Мне пришлось в голову, дорогой брат, что если бы эта молодая особа питала к тебе безграничную привязанность и считала своим единственным счастьем быть с тобой и делить твоё несчастье, как бы ты отнесся к этому? Сообщи твой ответ князю Волконскому для передачи мне через его супругу. Я отсюда вижу твою снисходительную улыбку, слышу, как ты говоришь: „Но Лиза с ума сошла!“ Брани меня, сколько хочешь, но исполни мой каприз“.

Вот эти-то письма и передал комендант взволнованному неожиданностью Ивашеву. Басаргин рассказывает далее:

„Девицу Ледантию Ивашев очень хорошо знал, она воспитывалась с его сестрами у них в доме и очень ему нравилась, но никогда он не помышлял жениться на ней. Вопрос о том, будет ли она счастлива с ним в его теперешнем положении, сумеет ли он вознаградить ее своею привязанностью за принесенную жертву, не станет ли она впоследствии раскаиваться,—очень его тревожил. Мы с Мухановым знали его кроткий характер, все его прекрасные качества, были уверены, что оба они будут счастливы, и потому решительно советовали ему согласиться. Наконец, он решился принять предложение“.

„Сын Ваш,—пишет родителям княгиня Волконская,—просит передать его великодушной подруге, что она никогда не покидала сердца того, кому отдала свое, что он ее обожает и ждет, как своего ангела-хранителя“.

От себя Волконская прибавляет, что с нетерпением будет поднимать свою будущую подругу и обещает быть ей верной и нежной сестрой.

Старики привалились за хлопоты, которые увенчались успехом, и 28 сентября 1830 г. Бенкендорф уведомляет Петра Никифоровича с Высочайшем соизволением на брак его сына:

М. Г. Петр Никифорович! Врученное мне Вашим Превосходительством всеподданнейшее письмо девицы К. Л. на Высочайшее имя

о дозволении ей сочетаться браком с сыном Вашим, я имел счастье докладывать Государю Императору, и Е. И. В. собственноручно написать изволил на докладной записке моей по сему предмету следующее: „Ежели точно родители ее и Ивашева на то согласны, то с моей стороны, конечно, не будет препятствий.

„Объявив кому следует и т. д., долгом считаю уведомить Вас, М. Г. С истинным и пр. Бенкендорф“.

В следующем письме от 16 ноября княгиня Волконская пишет родителям, что Василий Петрович получил это разрешение. Далее она говорит, что будущей жеке Ивашева необходимо иметь собственное помещение, что все жены декабристов построили себе домики, что ей таковой обошелся в 5.000, что свекровь высылает ей ежегодно 10 тысяч, и этого едва только хватает на жизнь, благодаря дороговизне предметов первой необходимости.

III.

Но Василию Петровичу еще долго пришлось ждать свою невесту.

Сперва Камилла задержала в Москве холера, при чем она отскакивается от страшной болезни, заперевшись безвыходно в Ивашевском доме под попечительным надзором доктора Мандолини.

Потом, по переезде ее с Ивашевской семьей в Симбирск, пришлось выжидать снятия карантин. Затем она поехала проститься со своей сестрой, Сидонией Григорович (матерью известного писателя Д. В. Григоровича) и, наконец, вернувшись в Ундоры, дождалась приезда молодой четы Хованских, с которыми ей хотелось познакомиться. Во время пребывания Ивашевых в Петербурге, вторая сестра его, тихая и мечтательная Екатерина, вышла замуж за камер-юнкера, князя Юрия Сергеевича Хованского, тоже симбирского помещика, и теперь их ждали в Ундорах. Вообще, за пребывание в Симбирске Камилла близко сошлась со всей семьей, где к ней относятся, как к любимой дочери, подружилась еще более с сестрами своего будущего мужа и завоевала общую симпатию. По отзывам матери Ивашева, она обладала прекрасным характером, была добра, приветлива, проста в своих вкусах и очень благоразумна. Для характеристики Камиллы я приведу отрывок из ее писем к будущей свекрови.

В первом из них Камилла восстает против преувеличенных похвал ее поведению: „В чем собственно моя заслуга?—пишет она.—Отказываясь от света, не имеющего никакой привлекательности для меня, я не приношу большой жертвы. Семья моя,—вот чего я лишаюсь. Но ведь уже четыре года я причиняла только огорчения моим родным,—и вы желаете пробудить во мне тщеславие. Нет, сударыня, любите меня, как я люблю Вас, как любит меня моя мать, позволяющая мне жить для Вашего возлюбленного сына, и так как в любви к нему вся моя заслуга, то я претендую лишь на некоторую долю нежности со стороны его родителей“.

В другом письме Камилла, узнав от Лизы Языковой о готовящихся для нее богатых подарках, решительно протестует против этого: „Вы тешите тем, что готовите мне целую коллекцию блестящих игрушек; ради Бога, узнайте меня лучше, я желаю отличаться от подруг одной лишь простотой, которую всегда любила, и думаю, что вкусы Базиля в этом вполне сходятся с моими. Умоляю Вас, дорогая и любимая матушка, не тратьтесь на подобные безделушки, тем более,

что я рассчитываю на вашу щедрость в смысле получения более драгоценных моему сердцу предметов—портретов любимых людей”...

Между тем, долгие сборы подвигались к концу: был приготовлен экипаж, нашито белье, и путешественнику снарядили в далекий путь. Старый Ивашев спросил, не желает ли кто из его дворовых ехать в Сибирь служить сыну и его будущей жене? Молодого барина любили и многие вызывались ехать в Сибирь; из их числа старик выбрал недавно поженившихся Федора Сидорова с женой Прасковьей.

Только 1 июня 1831 года Камилла смогла, наконец, тронуться в путь с надежной попутчицей, давно подысканной для нее заботливыми родителями, и двумя слугами. До Казани ее провожала мать, расставание с которой было так мучительно, что Камилла в последний момент лишилась чувств. Путешествие длилось целых два месяца, во время которых Камилла отдыхала в Ялуторовске у Ентальцевых, принявших ее с великим радушием, и в Иркутске, где ее тоже встретил самый дружеский прием местного общества и губернатора. Лишь в сентябре добралась она, наконец, до цели своего путешествия и 16 сентября обвенчалась с Василием Петровичем.

Вот как рассказывает об этом Басаргин:

„Летом 1831 года приехала невеста Ивашева—молодая, милая и образованная девушка. Он успел приготовить дом и все нужное для первоначального хозяйства. Остановилась она у княгини Волконской и прожила у ней до свадьбы, которая совершилась дней через пять по ее приезде. Я радовался, видя Ивашева вполне счастливым и нашед в его супруге другого себе друга. Им позволили прожить у себя дома около месяца, по прошествии которого она, по примеру других дам, перешла в его номер и оставалась тут до тех пор, пока всем женоватым позволили жить у себя.

„Почти за всеми декабристами последовали их жены, но Камилла была первой невестой¹⁾, приехавшей делить участь человека, еще не ставшего ей близким, с которым она еще ничем не была связана, и ее поступок приводил в восхищение ее новых друзей по несчастью. Волконская в письме к матери Ивашева, еще до приезда Камиллы, просила передать Камилле о ее восхищении и симпатии“.

А декабрист кн. А. И. Одоевский написал даже стихотворение на приезд Камиллы, при чем допустил поэтическую вольность, отнеся это событие к зиме.

Далекый путь.

(На приезд К. П. Ивашевой).

По дороге столбовой
Колокольчик заливается...
Что не парень удалой
Мягким снегом опускается.
Нет, то ласточкой летит
По дороге красна девица:
Мчатся кони... От копыт
Вьется легкая метелица.

¹⁾ Жозефина Гебль, приехавшая к Анненкову и обвенчавшаяся с ним в Чите, фактически давно была его женой и только не могла формально вступить с ним в брак благодаря упорству его матери, известной богачки и причудницы.

Кроясь в пухе соболей,
Вся душою вдаль уносится;
Из задумчивых очей
Капля слез за каплей просится...
Грустно ей.. Родная мать
Тужит тугою сердечною:
Больно душу оторвать
От души разлукой вечною.

Сердце горю суждено,
Сердце на-двое не делится;
Разрывается оно...
Дальний путь пред нею стелется.
Но зачем в степную даль
Свет-душа стремится взорами?
Идет и там ее печаль
За железными затворами.

„С другом любо и в тюрьме“.
В душе мыслит красна девица:
„Свет он мне в могильной тьме..
„Встань, неси меня, метелица,
„Занеси в его тюрьму.
„Пусть, как птичка домовитая,
„Прилечу и я к нему,
„Притаюсь, людьми забытая“.

IV.

О жизни декабристов в Петровском заводе писали так много, что я не буду подробно останавливаться на ней.

В 1828-м году с них были сняты цепи, которых по закону им и не полагалось бы носить, но это делалось по особому приказанию Николая I-го, всю жизнь не могшего забыть своих „amis du 14 D cembre“.

В конце 1832-го года по манифесту были сбавлены сроки, и потому в конце 1835-го года второму разряду, к которому принадлежал Ивашев, окончился срок каторги, но так как одновременно не было сделано распоряжения о местах поселения, то пребывание В. П. в Петровском заводе затянулось почти еще на год. Старики Ивашевы, узнав о манифесте, стали немедленно хлопотать через Бенкендорфа о назначении сына в Курган, ближайший из городов Западной Сибири, и одновременно возбудили ходатайство о разрешении им иметь с ним свидание. Помимо обращения через Бенкендорфа, Вера Александровна обратилась непосредственно к государыне, которой она была известна, как председательница совета Симбирского женского общества христианского милосердия и попечительница состоявшего при нем дома трудолюбия. Сохранился рескрипт государыни от 21 апреля 1834 г. с выражением признательности за усердные труды Веры Александровны и доброжелательности к ней высокой покровительницы. Государыня не осталась глуха к просьбе и поручила статс-секретарю Лянгину довести до сведения государя о заслугах Веры Александровны и поддержать ее ходатайство. 6 апреля Бенкендорф уведомил стариков о назначении их сына в Туринск.

В августе того же года государь посетил Симбирск. Государыня просила его непременно побывать в местном доме трудолюбия, и он осведомился у губернатора Жиркевича, как переносят старики Ивашевы свое несчастье. Во время обозрения дома государь прошел с Верой Александровной в сад и дал понять, что не желает, чтобы свита за ним следовала. Он как будто ожидал личной просьбы с ее стороны, но Вера Александровна не могла собраться с духом и ничего ему не сказала. Уезжая, государь поцеловал ее руку и сказал Жиркевичу, — как тот упоминает в своих записках: „Почтеннейшая женщина. Не мудрено, что ты так хвалишь этот дом, ничего лучше этого я не видал“. Царь пожаловал Вере Александровне богатый фермуар и... отклонил ходатайство стариков о свидании с сыном. Отказ этот был тяжелым ударом для них. Все эти годы только надежда увидеть сына после каторги поддерживала их и давала им силы нести свое горе. Теперь надежда эта рушилась, Вера Александровна не могла перенести этого последнего удара, она заболела „желчной болезнью“ (очевидно, болезнь печени), которая свела ее в могилу месяцев восемь спустя.

Во время пребывания в Петровском заводе Ивашевых два раза посетили их родственники, приезжавшие туда по служебным делам, это были полковник Багговут (женатый на сестре Ю. С. Хованского, мужа Екатерины Ивашевой) и позднее брат Камиллы, Евгений Ледантю, молодой инженер, нарочно взявший себе службу в Сибири, чтобы быть поближе к сестре. Он приезжал осенью 1835-го года и пробыл довольно долго. Посещение его должно было быть большой отрадой для Ивашевых в их однообразной жизни¹⁾.

С окончанием срока каторги старики Ивашевы рассчитывали, что для сына явится возможность личной переписки. Но и тут их ждало разочарование. Комендант Лепарский в своей резолюции по делу декабриста Митькова говорит, что правилами для поселенцев они будут пользоваться правом личной переписки по сдаче их гражданскому начальству, а пока все остается по старому. По старому же письма могли писаться лишь женами декабристов и шли они через III-е отделение, что, во-первых, задерживало их на целый месяц, а, во-вторых, чрезвычайно ограничивало темы писем. В экстренных случаях гуманный Лепарский, по непонятному противоречию попавший начальником Петровского завода, лично писал родителям Ивашева, сокращая время их тревожных ожиданий. Так, он сообщил им о прибытии сына в Читту, о приезде Камиллы, о дне свадьбы, о рождении их первенца Александра (умершего ребенком), о рождении дочери Марии (моей матери) и, наконец, о выезде их с Петровского завода 13 июля 1836 г. Незадолго перед этим Камилла посылает матери письмо, в котором отразилась ее грусть при мысли о разлуке с друзьями. Декабристы и жены их жили дружной семьей и расставались с жидейшей болью, а тут еще предстояло поселение, неизвестно где и в каком обществе. Сохранилось два письма к Камилле от Волконской и Юшневской, написанные вскоре после их отъезда и свидетельство-

¹⁾ Евгений Петрович всю жизнь провел в Сибири. Мать его Мария Евгеньевна вышла замуж за енисейского губернатора П. И. Педашенко, очень гуманно относившегося к политическим. Когда в 1833 г. я с мужем ехала в ссылку в Восточную Сибирь, дядя мой Евгений Карлович Ледантю просил Педашенко письмом назначить нам местом ссылки Минусинск, что и было им исполнено.

завшие о доброй памяти, оставленной после себя Ивашевыми. Благодаря все тем же хлопотам матери Ивашева, сын их не был разлучен с ближайшим другом—Басаргиным, которому даже, вопреки правилам, разрешили и ехать вместе с ними.

В своих записках Басаргин говорит об этом и описывает их путешествие: „Природа этого края так величественна, что, не взвизывая на наши грустные думы о разлуке с друзьями и неопределенной будущности, мы, как дети, восхищались красотой тех мест, где проезжали. Особенно великолепны берега Седанги. Растительность изумительна...“.

Путешественники и теперь еще не знали, куда их везут, и только по прибытии в Иркутск 24 июня им сообщили о месте поселения, и за ними было признано право личной переписки. От 26 июня было первое собственноручное письмо Василия Петровича к родителям, несказанно их обрадовавшее.

В это время в семье Ивашевых происходила своего рода трагедия. Младшая сестра Василия Петровича давно увлекалась симбирским помещиком А. И. Ермоловым, который неоднократно просил ее руки, но Вера Александровна ни за что не соглашалась на этот брак, и ничьи просьбы не могли смягчить ее сердца. Тогда Лиза Языкова, видя страдания сестры, потихоньку написала брату, прося его пустить в ход свое влияние на мать. Просьба Василия Петровича заставила мать изменить свое решение,—она дала согласие на брак, но подчеркнула, что делает это лишь по безграничной любви к сыну и желает, чтобы дочь всю жизнь чувствовала благодарность к брату за исполнение своего желания.

Из Иркутска Ивашев и Басаргин ехали со своими слугами и двумя казаками и в Красноярске, под предлогом чинки экипажа, опять делали остановку и виделись с поселенными там своими товарищами: фон-Визинным, братьями Бобринцевыми-Пушкиными и Краснокутским. 21 августа прибыли они в Туринск.

V.

Туринск тогда был захудалым городком с населением, едва достигавшим 4.000 человек. Жители к ним относились очень хорошо, чему, кроме их собственного поведения, не мало способствовало обращение с ними высшего начальства. „Губернатор,—рассказывает Басаргин,—при посещении города обычно бывал у нас; губернские чиновники, пренебрегая по делам службы, старались знакомиться с нами и большую часть времени проводили у нас“.

В материальном отношении жизнь поселенцев сложилась тоже хорошо. Был нанят дом, а в октябре сразу оказалась близость к Симбирску.—прибыл целый обоз на шести возах с мебелью, провиантом, сбруей (чужие пришли и лошади) и т. д., так что надо думать, что они были обставлены всем необходимым. Ввиду того, что фортепиано их осталось на Петровском заводе у кн. Трубецкой, немедленно и Лиза Языкова, и Катя Хованская решают послать им на новоселье новый инструмент, отсутствие которого было очень чувствительно для об их Ивашевых. Действительно, Камилла, благодаря за присылку фортепиано, пишет, что она так привыкла слушать импровизации своего Базилля, что ей очень этого не доставало. Сама Камилла была тоже хорошей музыкантшей и пела. Есть указания, что в Петровском за-

воде она пела дуэты с М. Н. Волконской, которую родные в изобилии снабжали нотами. Устроившись в Туринске, Ивашевы отправили в Симбирск свою Прасковью с мужем, желавших побывать на родине, и их приезд дал возможность старикам узнать от очевидцев разные подробности о жизни сына, о которых писать было нельзя.

С приездом в Туринск совпадают первые тревожные известия о болезни матери. Василий Петрович сразу угадал серьезность ее заболевания и сознавал опасность ее положения, несмотря на успокоительные письма сестры Е. Хованской. Сама Вера Александровна, со свойственной ей прямою, не скрывает в своих письмах серьезности своей болезни.

Ввиду болезни матери, свадьбу Саши Ивашевой, отложенную было на два года, ускорили, и 3 февраля состоялось ее бракосочетание с Ермоловым в домово́й церкви Ивашевского дома, но Вера Александровна была уже так слаба, что не могла присутствовать. На свадьбу съезжалась вся многочисленная родня Ивашевых: Наумовы, Родионовы, Тютчевы, Татариновы, Толстые и т. д. и, между прочим, приехал воспитанник стариков Ивашевых А. Е. Головинский (незаконный сын брата Веры Александровны, выросший в Ивашевском доме вместе с их детьми). При отсутствии Головинского, который считался делцом, семья воспользовалась, чтобы совершить целый ряд имущественных актов. Были составлены соглашения между собою завещания Веры Александровны и Петра Никифоровича. Вера Александровна завещала все свое состояние в пожизненное владение мужу, с тем, чтобы дочерям Марии и Александре были выделены части, равные тому, что при жизни завещательницы получили старшие дочери. Капитал в 50.000, внесенный на неизвестного в Московскую сохраняемую казну, завещан Камилле. По окончании пожизненного владения, дочери, назначенные наследницами, должны выполнить акт, который сделан по обоюдному согласию родителей и дочерей. Акт этот в проекте тоже имеется. Предполагалась выдача дочерям родителям заемных обязательств по 150.000 каждое, всего на 600 т. руб. Самые капиталы должны быть внесены в Московский Опеку́нский Совет с тем, чтобы проценты шли на содержание Василия Петровича, его жены и дочерей. Это соглашение хотели довести до высочайшего сведения и соизволения.

Утверждение этого акта встретило препятствие, так как существовали правила о предельных суммах, какие разрешались доставлять сыновьям декабристам, но он показывает, как семья думала обеспечить лишний раз права брата.

Болезнь Веры Александровны прогрессировала, и утром 7 мая 1837 г. ее не стало, о чем с величайшей осторожностью было сообщено Василию Петровичу.

В 37-м же году наследник престола, совершая путешествие по России, посетил Курган. Находившийся в его свите, всегда чуткий к чужому горю В. А. Жуковский не преминул разыскать поселенных в Кургане декабристов, хотя лично с ними знаком не был, и обратил внимание великого князя на незавидную их долю. Наследник тогда же из Кургана, 6 июля, написал царю письмо, в котором, упоминая о безудержном поведении курганских декабристов, ходатайствовал об облегчении их участи. 23 июля, по дороге в Симбирск, он получил от государя благоприятный ответ, о котором Жуковский в восторженных выражениях писал императрице Александре Федоровне.

В Симбирске дворянство приготовило к приезду наследника выставку изделий и достопримечательностей губернии. Петр Никифорович, не оправившийся еще от горя, хотел было уклониться от торжеств, но упрашиваемый со всех сторон должен был принять участие в выставке, экспонатом на которой являлся и Языков, муж Лизы Ивашевой. В честь наследника дворянство давало бал, устроенный в доме Ермолова, которому в хлопотах помогал кн. Ю. С. Хованский, и таким образом вся семья Ивашевых была занята предстоящим приемом высоких гостей. Старик Петр Никифорович был знаком с Жуковским. Они обнялись со слезами. Жуковский посетил Петра Никифоровича в его доме. Речь, конечно, зашла о сосланном сыне, что подтверждается двумя сохранившимися собственноручными записками Жуковского. Первая такого содержания: „Напишите письмо на имя великого князя, изложите ясно, в чем дело, и упомяните, что уже просили гр. Бюнкердорфа, но что болезнь его все остановила. Завтра письмо Ваше будет послано с фельдъегерем. Душевно преданный Вам Жуковский. Пришлите ко мне“.

Ивашев не решался утруждать наследника, что побудило Жуковского прислать вторую записку. „Я уже сказал великому князю, что Вы хотите просить его. Почему Вам не писать... Думаю, что Вам писать можно“. Речь шла об обеспечении Василия Петровича капиталом. Старик Ивашев последовал совету Жуковского, но в ходатайстве его было отказано.

Указ об облегчении участи декабристов, последовавший в силу заступничества наследника, до крайности суживал круг лиц, к которому мог быть применен, и Василию Петровичу, не прибегнувшему к покровительству великого князя, никакой пользы не принес. Но, одновременно с указом, Николай Павлович повелел опросить менее виновных декабристов, не пожелают ли они поступить на военную службу; тем же, которые не могли воспользоваться этой милостью, по состоянию здоровья или семейному положению, разрешалось поступать на гражданскую службу в Сибири.

Об этом, позидимому, стало известно в Симбирске, потому что старику Ивашеву пришла мысль посоветовать сыну проситься в преподаватели симбирской гимназии, а Лиза Языкова уже мечтала, что Василий Петрович будет повышаться на службе, и это может повести к разрешению свидания с ним. Но все эти планы не осуществились.

VI.

Между тем Лиза Языкова затеяла важное, небезопасное дело, которое открыла одному отцу. Любимая сестра Ивашева, связанная с ним самой тесной дружбой, была она живая, пылкая, умная и, очевидно, очень интересная женщина. Познакомившийся с ней лишь в 1836 году приятель ее мужа, П. В. Зиновьев, безуспешно сватавшийся к ее младшей сестре, становится неразлучным другом и спутником ее, вполне проникается ее интересами и усваивает себе тот культ отсутствовавшего брата, который является *conditio sine qua non* хороших отношений с Лизой. Да, впрочем, и не с одной Лизой. Екатерина Петровна Ивашева, выходя замуж за князя Хованского, поставила ему условием не препятствовать ей ехать в Сибирь к брату, если семье будет разрешено туда переселиться. Зиновьев, зная восторженную любовь Языковой к брату и ее пламенное желание доста-

звать ему малейшее удовольствие, предложил съездить в Туринск и свезти Василию Петровичу письмо и деньги. При строгости Николая Павловича такое предприятие, без надлежащего разрешения, могло дорого обойтись Зиновьеву.

8 июля Лиза написала брату длинное откровенное письмо, в котором, не опасаясь просмотра начальства, высказывается без опасения. Она горячо рекомендует брату подателя письма, верного друга всей семьи и нежного почитателя покойной матери, который будет в состоянии дать все необходимые сведения и разъяснения. Брата просит быть с Зиновьевым совершенно откровенным и не скрывать своих сокровенных мыслей, которые он сумеет передать ей. Уславляется называть Зиновьева в письмах Пьером, в отличие от мужа, которого будет называть в письмах Петром Михайловичем или „мон пари“. Сообщает, что на время своего предстоящего путешествия за границу заботы о брате передаст сестре Саше Ермоловой. Посылает деньги 7.000 руб. и несколько вещей на память о матери. С этим письмом Зиновьев тронулся в путь и благополучно выполнил поручение, что подало Лизе мысль, что такое посещение брата выполнимо и для нее.

Посещение Зиновьева, который, никем не тревожимый, прожил в Туринске четыре дня, было огромным утешением для Пяшковых. По словам Камиллы, приезд его вырвал их из состояния подавленности, выносить которую было свыше сил. Слышать о последнем благословении матери, о ее прощальных словах, полных любви, было потребностью. Посылая с ним письмо к отцу, Василий Петрович дает о себе характерный отзыв.

Зиновьев и Басаргин слегка потешались над его непрактичностью, апатией и неопытностью в житейских делах, которую, по словам Зиновьева, он напоминает Лизу. Но их насмешки мало его трогают. Приняв какое-нибудь решение, он, правда, медленно, но осуществляет его. Если дело идет о деньгах, и они у него имеются, то сперва они быстро утекают, но потом он приостанавливается и наводит экономию, чтобы не было перерасходов. В общем, на него и Камиллу требуется очень мало, и в этом их „единственное достоинство“.

Возвращение Зиновьева явилось для семьи большим праздником. Это был первый, вполне интеллигентный человек, которого можно было расспросить во всех подробностях о жизни Пяшковых в Туринске и который привез письмо, написанное в уверенности, что оно минует „глаза арестов“, как выражается Лиза.

В сентябре 1837 года в Симбирск приехали отправлявшиеся на военную службу на Кавказ бывшие курганские декабристы: Назимов, Нарышкин, Лорер, Лихарев, Черкасов и Одоевский. Последнего в Казани встретил и проводил до Симбирска его престарелый отец. Можно себе представить, как приезд этот взволновал Петра Никифоровича. Пример возможности свидания отца с сосланным сыном был перед глазами. Настроение переводимых было бодрое, они надеялись, что службой на Кавказе проложат себе дорогу к возвращению на родину. Проезжавшие были в одинаковом положении с Василием Петровичем, также бывшие каторжане. Понятно, что Петр Никифорович, старый суворовский воин, для которого кавказские бои не казались страшными, воссламенился мечтою выпросить и сыну такую же милость и в конце года в письме намеками, понятными сыну, запрашивает его согласия на возбуждение подобного ходатайства.

Сперва Василий Петрович и Камилла ответили положительно, но очень быстро передумали и отклонили предложение отца. Очевидно, Василий Петрович в своем сорокалетнем возрасте не обладал уже юношеской предприимчивостью, необходимой для такого крутого поворота жизни. Он не мог решиться предоставить жене и двух малолетних детей неопределенной участи семьи рядового в неведомой стране. С положением поселенца он уже свыкся, только что устроился в собственном доме и чувствовал себя счастливым в семейной обстановке. Старик, однако, уже возбудил жадность, на которое, впрочем, соннозвонения не последовало.

Когда, таким образом, мысль о Кавказе была оставлена, Лиза снова ухватилась за мечту повторить предприятие Зиновьева. Она пишет брату, что, вместо оставляемой мысли съездить на Кавказ, она предпринимает свой давно задуманный „réclémage“ (патентничество), под которым, понятно для брата, разумеется поездка в Туринск.

Между тем тихая жизнь туринских Ивашевых была нарушена следующими событиями. Василий Петрович, гуляя, поскользнулся и вывихнул себе ногу. Вправить ногу врач не смог или не сумел, и Василий Петрович был осужден на весьма продолжительные страдания.

Верный друг его Басаргин, приступивший тоже к постройке собственного дома, переселился к Ивашевым, чтобы помочь ухаживать за больным. Он привез с собой крупную сумму денег и положил в шкатулку, служившую Ивашеву для хранения собственных. Шкатулка стояла на чердаке, рядом с комнатой Камиллы, в котором было слуховое окно. Ночью Камилла проснулась от шума, испугалась, крикнула было няню, но, не слыша дальнейшего шума, успокоилась и заснула. Утром обнаружилось, что шкатулка украдена; на след воров быстро напали, но вся история грозила большими неприятностями, так как сумма денег в шкатулке значительно превышала то, что декабристам дозволялось иметь. На деньги, отображенные у воров, местная администрация наложила арест, и только после приказа генерал-губернатора Зап. Сибири кн. Горчакова они были возвращены Ивашеву и Басаргину.

В годовщину смерти Веры Александровны вся Ивашевская семья собралась в Симбирске. Когда же все разъехались по домам, Лиза Языкова поехала в сопровождении Зиновьева за Волгу. Отцу она сказала, что едет на богомолье, а когда продолжительное отсутствие дочери стало его тревожить, то ему сказали, что она дорогой упала из экипажа и повредила ногу.

Самовольное, без особого разрешения посещение поселенцев в Сибири декабристов родным правительством считалось недопустимым, и местные власти имели секретное предписание в таких случаях немедленно выпроваживать подобных смельчаков. Несколько известно, поездка Языковой была явлением совершенно исключительным, чуждым не единственному такого рода примерам и доказывала решимость ее характера.

Приходилось принимать меры предосторожности. По преданию, передаваемому в книге „Памяти А. П. Философовой“, Языкова добыла себе для этой поездки подорожную на имя какой-то купчихи, а по другой версии она ехала, переседая камердинером Зиновьева. Во всяком случае, это посещение было обставлено таинственностью, произведшей на трехлетнюю дочь Ивашевых Марию (известную, впослед-

ствии, Трубинкову) такое сильное впечатление, что воспоминание о нем осталось на всю жизнь в ее памяти. По ее словам, она помнила приезд таинственной гостьи—тети Лизы, и радость в доме, и закрытые ставни, и общую настороженность.

Как бы то ни было, но Языкова благополучно добралась до Туринска и прожила у брата около двух недель. Это могло случиться только благодаря сочувственному попустительству туринского городничего, так как трудно себе представить, чтобы в маленьком городке приезд к ссыльному поселенцу дальних гостей мог остаться незамеченным.

Состоялось, таким образом, то свидание, о котором Лиза так пламенно мечтала с самого 1826 года. Для туринских же Ивашевых это был луч счастья, оставивший им надолго светлое воспоминание. Состоялось и личное знакомство Лизы с Басаргиным, давно ей близким по дружбе с братом.

Петр Никифорович тем временем беспокоился о судьбе своей любезной Лизы на ее, как он выражался, „заволостных разгулях“. Неприбытие Лизы к Петрову дню сильно раздосадовало старика. 7 июля с рассветом приехала Лиза и нашла у себя дома Марию Петровну Ледянтю с дочерью Амазией в страшном беспокойстве: они уже думали, что „ее куда-нибудь упрятали“. Лиза поспешила к отцу. В письме к брату, отправленном с оказией, она очень образно описывает это свидание. Свои объяснения она начала извинением за неприбытие к отцовским именинам. Петр Никифорович, принявший ее сурово, при первых же словах прервал дочь: „Что за pardon? Что твоя нога?“ Тогда Лиза сказала: „Папа, простите еще раз. Я вас обманула, со мной ничего не случилось, я была у Василия“. Впечатление от этих слов испугало Лизу: отец прижал ее к груди, зарыдал, долго не мог ничего выговорить, только крестил и целовал дочь. Наконец, несколько успокоившись, он сказал: „И я посмел сердиться на тебя... Мне надо просить у тебя прощенья. Ну, Христос с тобой. Садись и рассказывай“.

Пошли разговоры о жизни туринских Ивашевых, о беспрепятственной поездке, о возможности посещения сына отцом, и эта мысль так воспламенила его воображение, что он готов был „сейчас же ехать“, и пришлось его уговаривать отложить и подготовить такое предприятие. Оказывается, в Туринске было говорено о плане сближения отца с сыном путем приобретения Петром Никифоровичем завода близ Туринска. С этим проектом старик немедленно согласился, и было решено лишь переговорить с Зиновьевым.

Проект этот так и остался проектом, но воодушевление, с которым его принял старик, характеризует степень его готовности на все, лишь бы свидеться с сыном.

То, чего так тщетно добивался старик Ивашев, довольно легко удалось М. П. Ледянту. Мать Камиллы, давно уже носившаяся с мыслью поселиться у дочери, после возвращения Языковой из Туринска обратилась к гр. Бенкендорфу с просьбой испросить ей на это Высочайшее разрешение, заявляя заранее согласие на все условия, которые ей будут поставлены, и ходатайствуя лишь, чтобы ей было дозволено получать за свое содержание такую же сумму, какая была определена на содержание каждого поселенного декабриста, т. е. 1000 руб. в год. В начале 1829 года г-жа Ледянтю получила просимое разрешение на переселение к дочери, но без права на обратное возвращение в Европейскую Россию.

VII.

До конца жизни Петр Никифорович оставался горячим почитателем Суворова и гордился, что в одном из писем к нему Суворов „осчастливил его названием друга“. Еще в 1795 году, когда вышло сочинение Антиппа, посвященное Суворову, последний попросил Ивашева исправить неточности и допущенные автором в изложении событий. Мало-помалу Петр Никифорович написал кое-какие замечания и свои воспоминания о своем вожде.

Летом 1838 года Петр Никифорович в письме к сыну сообщил ему о своей работе и спросил, не возьмется ли он за перевод ее на русский язык (старик писал по-французски). Василий Петрович с величайшей готовностью откликнулся на предложение отца. Но отсылка рукописи почему-то затянулась, и когда она, наконец, дошла до Василия Петровича, в далекой Симбирской губернии отца его не стало.

Воспоминания Петра Никифоровича о Суворове не пропали. В 1841 году они появились в „Отечественных Записках“, редакции которых были сообщены гр. фон Сологубом. Каким образом они попали в руки Сологуба, остается невыясненным¹⁾. Эти воспоминания очень характерны и прекрасно рисуют причудливую фигуру гениального полководца.

Петр Никифорович скончался внезапно, и известие о его кончине взялся передать Василию Петровичу родственник Ивашевых Г. М. Толстой. С ним отпросился ехать грубоватый муж Прасковьи, служивший у молодых Ивашевых, у которых только что родилась дочь Вера. Сообщая об этом и о надежде на приезд матери Камиллы, Василий Петрович пишет, что „давно не наслаждались мы такой полнотой душевного мира“. Вскоре этот душевный мир был нарушен. Около 15 декабря Толстой со своим спутником прибыли в Туринск, и подвыпивший великан Федор Сидоров, несмотря на ночное время, с шумом ворвался в дом Ивашевых и грубо объявил, что Петр Никифорович приказал долго жить. Так дошла до Василия Петровича весть о кончине отца. Толстой пробыл лишь сутки и на другой день уехал. Сохранился полулист бумаги, очевидно, привезенный Толстым, с собственноручным волеизъявлением Василия Петровича:

„Согласившись с нетленной благодарностью на предложение моих сестер и их мужей, оказывающих такую добрую волю в исполнении их против меня обязанностей, я, с своей стороны, считаю долгом сделать следующее распоряжение: прошу сестер моих из всего капитала, который будет ими назначен мне и детям моим, выделить третью долю брату А. Е. Головинскому, что будет согласно с известной мне волею покойной моей матери“.

Эта бумага свидетельствует, как трогательно Хованская и Ермолова (Языкова была за границей) постыжили подтвердить брату свою непреклонную решимость обеспечить его материально, а, с другой, показывает бескорыстие Василия Петровича и его родственную заботливость о Головинском.

Грусть по скончавшемся отце смягчалась для Ивашевых радостным ожиданием приезда М. П. Леданту, который и состоялся 19 фев-

¹⁾ Молодой гр. Сологуб, в декабре 1839 г. гостил в Симбирске у своего друга кн. Юрия Сергеевича Хованского. Не от него ли он получил эти воспоминания? О. В.

раля 1839 года. Присутствие всегда бодрой и деятельной старушки внесло много оживления в дом Ивашевых, а для Камиллы, восемь лет не видавшей любимой матери,—было настоящим счастьем.

Несколько ранее приезда М. П., в Туринск был переведен декабрист Анненков с женой и детьми.

Приезд Анненковых не мог не оживить жизни Ивашевых в Туринске, где у них был один близкий человек. В письме к сестре Лизе от 26 января Василий Петрович радуется, что ожидаемой теще Туринск уже не покажется так пуст и скучен, ибо в жене Анненкова она найдет женщину приятную и к тому же соотечественницу. 27 января Камилла пишет, что вот уже два дня, как она чувствует себя как бы опять в обществе Петровского завода: прибыли долго желанные Анненковы с четырьмя прелестными детьми, в которых дети Ивашевых найдут себе товарищей. Анненков был невозможный флегматик. Бобринцев-Пушкин писал о нем фон-Визину, что он два часа собирается пересест с одного стула на другой. Относительно жены Анненкова все отзывы сходятся. Камилла называет ее „cette excellente personne“. Веселая и деятельная за двоих, она наилучшим образом устроила свою домашнюю обстановку.

С Анненковыми у Ивашевых установились самые близкие отношения. Дочь их Ольга ежедневно приходила брать уроки музыки у Камиллы Петровны, а старушка Федантя стала заниматься ее общим образованием.

Вскоре кружок декабристов в Туринске пополнился еще одним членом: около 17 октября 1839 г. прибыл туда Иван Иванович Пущин, любимый товарищ Пушкина по лицею. Такую же привязанность возбуждал Пущин и в своих товарищах по ссылке. Одаренный счастливым характером, всегда бодрый и общительный, он переносил безропотно свою трагическую судьбу, занимался переводами, которые бросил лишь тогда, когда убедился в невозможности их печатать, и усердно заботился о нуждавшихся декабристах, состоя деятельным членом так наз. „малой артели“, учрежденной декабристами для поддержки товарищей на местах поселений. Вскоре после прибытия в Туринск Пущин писал сестре:

„Сюда я приехал десять дней тому назад. Все это время прошло в скучных заботах о квартире и т. д. От хлопот отдыхаю в кругу здешних товарищей. Я очень рад, что, расставшись недавно с большой моей сибирской семьей, нашел в уединении своем кого-нибудь из наших. В них для меня заключается все общество, можно размышлять мыслью и чувством. Новый городок мой не представляет ничего особенно занимательного. Я думал найти больше удобств жизни, нежели на самом деле оказалось. До сих пор еще не основался на зиму,—хожу, смотрю, и везде не то, чего бы я хотел без больших прихотей. От них я давно отзык. Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плоские места, которые наводят тоску“.

Упомянув, что сестра напрасно воображает, что он сделается хозяином, к чему у него нет призвания, он продолжает:

„Главное, не надо утрачивать поэзии жизни, она меня до сих пор поддерживала, и горе тому из нас, который лишится этого утешения в исключительном нашем положении“.

VIII.

Если и в предшествовавшие годы Ивашевы, несмотря на общество лишь одного близкого человека, не жаловались на свою туринскую судьбу, теперь, с прибытием Анненковых, Леданто и Пуштина, жизнь их сложилась еще удачнее. В письме к сестре Хованской Василий Петрович описывает времяпровождение в Туринске в столь радужных красках, что это заставило сердце сестры забиться от радости. И она испрашивает у Бога для туринских ссыльных продолжение счастья и спокойствия. Хованская не знала, когда писала это ответное письмо, какая грозная беда постигла уже в это время ивашевскую семью.

18 декабря Камилла, бывшая в последних месяцах беременности, сильно простудилась на прогулке, что вызвало преждевременные роды. 30 декабря она скончалась от последовавшей горячки. Василий Петрович в письме к сестре Лизе так описывал ее последние минуты: „она с умилением принимала утешения религии, благословляла дважды детей, прощалась с друзьями, каждому служителю сказала утешительное слово, соединила руки матери и мужа. Последние ее слова были: „*Pauvre Basil!*“ („Бедный Базиль!“).

Так трагически кончился для Василия Петровича 1839 год. Смерть жены была страшным ударом для Василия Петровича, — он был близок к отчаянию. Но все же, принимаясь за тяжелую обязанность известить своих о постигшем его несчастии, он и в эти минуты опасается, чтобы роковая весть не слишком тяжело отразилась на здоровье сестры Лизы Языковой. Он принимает все предосторожности и пишет Зиновьеву, чтобы он приготовил Лизу к новому удару.

Он умоляет Лизу не предаваться отчаянию и ставит в пример матушку, ее религиозное смирение и твердость, а сам уверяет, что постарается сохранить мужество (*être homme*) до конца.

Но уже в письме к зятям—Хованскому и Ермолову—видно, что он изнемогает от горя: „Не стало моей Камиллы, обожаемой, нежной, милой моей Камиллы! Не рошцу, Боже мой, но тяжел мой крест... О, тяжел, Боже мой“. И потом, описывая свою жизнь и как они с Марьей Петровной поддерживают друг друга в горе, он жалуется на „холод одиночества“, — „так легко я задумываюсь и так тяжело мне навести мысли к делу“.

Иногда, конечно, Манечка и забавная Верочка вызвали мимолетное оживление. 29 ноября Василий Петрович пишет Лизе, что, получив ее письмо с описанием ее жизни с дочерьми, он „взял Манечку за руку, довел молча до залы и предложил в честь вашу проскакать на одной ножке; мы с ней пустились взапуски. Слышу кто-то еще скачет,—это была матушка“. (Характерно для 70-летней Марьи Петровны).

Сохранилось еще одно письмо Василия Петровича к А. И. Ермолову, написанное с разными недомолвками и подписанное „*Unt Schmidt*“, как родные условились называть Ивашева. Там он снова возвращается к покинутому проекту о переводе на Кавказ. Его к тому побуждает забота о будущем детей и желание утешить престарелую матушку. Она пожертвовала собой ради дочери, а ее не стало. За ее жертву он хочет отплатить своей.

IX.

После смерти Камиллы Василий Петрович прожил всего год со своими тремя малолетними детьми: главную заботу о них и домашнее хозяйство взяла в свои энергичные руки старуха Меданто. Переселился к Ивашеву и Иван Иванович Пушкин, тем избавившийся от домашних хлопот: но надо полагать, что им руководила и надежда принести своим присутствием пользу и развлечение изнемогавшему от непосильного горя товарищу. Он ни за что не хотел пользоваться даровым гостеприимством, которое ему предлагал Ивашев; было решено, что третейским судьей между спорящими друзьями будет деловой Басаргин, который и определил годовую плату Пушкина в 500 рублей.

Душевное состояние Василия Петровича в этот последний год его жизни подробно описано Басаргинным в его письме к Лизе Языковой, в котором он по ее просьбе дал ей обстоятельный отчет о состоянии ее брата после кончины жены. Это письмо, характеризующее и симпатичную личность Басаргина, я привожу почти целиком:

„Исполняю Ваше желание, почтенная и добрая Елизавета Петровна, и хотя мне тяжело будет говорить о бедном нашем друге, потеря которого так для меня чувствительна, но, зная, как дорого для Вас всякое о нем воспоминание, я пересилю себя и постараюсь собрать мои мысли, чтобы рассказать Вам с подробностью последний год его страдальческой жизни. Я уверен, что письмо мое, как ни грустно Вам будет его читать, убедит Вас, что кончина доброго друга нашего собственно для него была явным милосердием Всевышнего, и что одни только обязанности и любовь к детям не позволяли ему желать разрешения от земных уз. Эти обязанности смертью своею он передал тем, для которых память о нем останется навсегда драгоценной... С другой стороны, хотя много испытаний он должен был перенести в своей недолговременной жизни, но девять лет он наслаждался завидным счастьем и постоянно видал самые убедительные доказательства беспредельной любви своего семейства. Много ли смертных могут похвалиться таким уделом? Мысль о потере его волнует наше сердце лишь по врожденному чувству эгоизма. Со смертью Камиллы Петровны исчезла для брата Вашего всякая надежда быть когда-либо счастливым в этом мире. Удар был слишком для него силен. Год, проведенный им во вдовстве, был для него годом самого тяжелого испытания. Никакие занятия, ни ласки детей, ни попечения и любовь почтенной его матушки, ни дружба товарищей,—ничто не заживляли его раны. При других он редко предавался своей горести, но душевная борьба была слишком заметна и проявлялась в каждом его действии. При получении писем от Вас он на минуту оживлялся, радовался и потом вновь предавался какой-то апатии, которая приводила в отчаяние окружающих его. Самый образ его жизни изменился. Он перестал выходить из дому и проводил целые часы в бездействии, сидя с трубкой перед столом и не замечая приходящих к нему. Негом мы с Пушиным иногда брали его прогуливаться, но, пройдя несколько шагов, он прибегал к обыкновенной своей отговорке—боли в ноге—и возвращался домой. Бедная Марья Петровна думала развлечь его иногда занятиями в саду, и он, по врожденной своей уступчивости, исполнял ее желание, но делал все сехотя, без всякого внимания, и спешил удалиться в свою комнату.

Единственная прогулка, от которой он никогда не отказывался, — на могилу покойницы, — усиливала лишь его грустное расположение, и мы, сколь возможно, отклоняли его от этого.

„Наступил праздник Рождества. Это время было самое горестное для нашего друга, каждый день, каждый час напоминал ему несчастный ход болезни Камиллы Петровны. Василий Петрович сделался еще мрачнее. Бессонница его усилилась. Поутру он занимался учением Манечки, рисовал, давал каждый день урок на фортепиано дочери Анненкова, а остальное время проводил или один в своей комнате, или с детьми и с нами. Один раз поутру он признался мне, что каждую ночь видит во сне покойницу и что однажды она неотступно приглашала его к себе. „Как счастлив бы я был, друг мой, — прибавил он, — если бы это совершилось вскоре!“ — „Грех желать тебе этого, Базиль, — отвечал я ему, — у тебя дети“. — „Правда, — возразил он, — я могу еще им быть нужен. Если бы Лиза была покрепче здоровее, то я бы не так беспокоился о них“. Этим кончился наш разговор, который сохранился у меня в памяти.

„Ко дню кончины Камиллы Петровны он сделал распоряжения, приказал очистить от снега могилу, топить к этому дню церковь и, приехавши домой, распорядился о столе для священников, желая после панихиды позвать тех из них, которые были при ее погребении. Бедный друг наш приготовлял все это для себя, ибо именно 30-го числа были его собственные похороны“.

„28-го вечером он играл с детьми и тут впервые пожаловался на боль в плече. Детей укладывали спать, он вошел к ним, благословил их всех, снова стал жаловаться на усилившуюся боль и ушел к себе. Прибывшую к нему Марью Петровну он успокаивал, что это скоро пройдет, но, вместе с тем, послал за мной и за лекарем, чтобы пустить себе кровь. Каждую секунду ему делалось все хуже, лицо изменилось, дыхание спиралось, и он потребовал священника. Когда пришел лекарь, он едва мог сказать ему: „пустите кровь“, но лишь только его приподняли, бедный друг наш упал, „как громом пораженный“. Я прибыл в эту самую минуту. Вхожу в переднюю, вижу шубу лекаря, надежда возбуждается у меня, спешу вверх и, отворив двери, вижу зрелище, которого не могу и не стаю вам описывать. Убедившись, что никакая человеческая помощь не нужна ему более, первую мысль моей были дети и почтенная несчастная Мария Петровна, положение которой сильно меня тревожило. Я боялся, чтобы с ней не случилось то же, что с бедным нашим другом. Лицо ее посинело, она была в каком-то оцепенении, и я всячески старался заставить ее плакать, но тщетно, слезы не появлялись. Боялся я и за детей, особенно за Манечку, которая могла уже понимать свою потерю.

„Я описал Вам, моя добрая Елизавета Петровна, несчастье, так внезапно, так неожиданно нас поразившее. Богу было угодно призвать к себе Вашего брата и мгновенно снять с него тягостные узы этой жизни. Наше дело безропотно повиноваться Его воле и исполнить те обязанности, которые кончина друга нашего возложила на нас. Трое сирот ожидают от Вас и всех тех, которые были так близки ему, забот, попечений, одним словом, всей своей будущности, — подвиг трудный и, вместе с тем, утешительный.

„Я питаю надежду, что им позволено будет жить в кругу родных своих. Здесь положение их было бы ужасно. Старушка-бабушка,

несмотря на все пожертвования, которые она готова для них сделать, на всю твердость ее характера, заслуживающего удивления, не может быть для них надежной опорой. Силы физические, видимо, ей изменяют. Мы, с своей стороны, в нашем положении не можем сделать многого... Грустно, больно мне будет с ними расстаться, но в этом случае обязанность моя забыть о себе и думать только о их счастье. Я уверен, что родные не откажутся хотя изредка говорить о них со мной, потому что, где бы они ни были, я не перестану мысленно следить за их судьбой¹⁾).

В заключение приведу еще отзыв Басаргина:

„Я невольно удивлялся той неограниченной любви, которую родители и сестры Ивашева питали к нему. Во всех их письмах, во всех действиях было столько нежности, столько заботливости и душевной преданности, что нельзя было не благоговеть перед такими чувствами. Последствия доказали, что тут не было ничего искусственного. По смерти родителей Ивашева и его самого с женой, сестры отдали трем детям его все состояние, которое следовало Василию Петровичу, если бы он осуждением не потерял прав своих и которое по закону принадлежало уже им, а не его детям“.

О. Буланова.

Приложения ³⁾.

1. Письмо В. А. Ивашевой сыну В. П. Ивашеву.

1-е мая 1830 г.

Прошу Всемогущего ниспослать тебе свое благословение и здоровье, дорогой и любимый Базиль. На этот раз я буду говорить с тобой на тему, которая наверно очень удивит тебя; если предложение, которое я собираюсь тебе сделать, может до некоторой степени скрасить твое существование, я возблагодарю моего Спасителя за то, что он тебе его ниспослал, и сочту себя счастливой, если своим согласием облегчу твои страдания. Посылаю тебе копию письма г-жи Ледантю к г-же Санси (гувернантка младших Ивашевых О. Б.), от которой я получила подлинное. Если ты согласен, уведоми меня, и мы сделаем все возможное, чтобы устроить это дело; не тревожься за будущность твоей жены, предоставь это нам; наша нежность к тебе, наша благодарность к той, которая в силу привязанности к тебе отказывается от света, забывает о себе, чтобы соединиться с тобой и страдать с тобой, заслуживает всеконечно, чтобы мы приложили все усилия сделать ее настолько счастливой, насколько это в нашей власти; такая любовь, как ее, не может быть без высокой добродетели. Я верю, что это милосердный Бог, хранящий тебя, посылает тебе такое сокровище в твоей несчастной участи. Не отказывайся же от этого в силу презренной деликатности. Я знаю, что она тебе нравилась, но не думай,

¹⁾ Басаргин, действительно, следил за судьбой дорогих ему детей. Когда мать моя, его крестница, выходила замуж, он прислал ей, как свое благословение, образ ее святой, Марии Магдалины, собственной работы. Этот образ и сейчас находится у меня. О. Б.

³⁾ Писанные по французски письма переведены мною. О. Б.

что Камилла такая же, как прежде, она очень похудела от горя. Но подумай, что причиной этому—ты. Я знаю твое сердце и что потеря свежести должна внушить тебе чувство благодарности. Ты можешь легко себе представить, как я люблю ее, ты знаешь, как я сильно чувствую, как могу ценить добро и страдать от зла, значит, можешь себе представить, что я сделаю все, чтобы облегчить ее участь и доказать ей мою признательность. Буду ждать твоего ответа с живейшим нетерпением. Скажи мне откровенно, может ли она способствовать смягчению твоей доли. Я знаю все возражения, которые ты можешь мне сделать по твоей деликатности, отбрось их, потому что действительно любящего человека может задеть лишь равнодушные.

2. Письмо г-жи Ледантю к г-же Санси.

30 марта 1830 г.

Я бы написала Вам, дорогой друг, сейчас же после отъезда генеральши в Петербург, не будь я в такой смертельной тревоге за жизнь Камиллы. Она одной ногой почти в могиле, и я предчувствую, что, лишь согласившись на разлуку с ней, я смогу сохранить ее жизнь.

Я узнала ее тайну лишь после отъезда генеральши. Несчастная молодая девушка любит Базиля, сама не подозревая этого. Она отдала ему первые свои мечты, но тогда его положение, его богатство навсегда изгнали из ее сердца надежду стать когда-либо его женой; чувство к нему лишь дало ей образец для сравнения, благодаря чему она отказывалась от всех представлявшихся ей партий. К несчастью, она была в Петербурге 14-го, следила за всем последующим и, думая, что только жалость волнует ее, позволила разгореться своей страсти, которую только что открыла мне. С самого приезда из Петербурга она побледнела, стала грустной, замкнутой, меланхоличной и не говорила ничего расспрашивавшей ее Луизе. Во время своей болезни два года тому назад она, казалось, боролась между нежностью к нам и желанием прекратить жизнь, сулившую ей лишь горе. Ее здоровая натура и наши заботы победили. С тех пор она прозябала; прибытие интересовавшей ее семьи, единственного предмета ее дум, вид его портрета так подействовали на нее, что она опять занемогла. Болезнь началась нервной лихорадкой и бессонницей. Она призналась мне, что бралась за Евангелие, чтобы прогнать всегда стоявший пред ее глазами образ, но не могла читать, так как первым словом стояло его имя. Я была у нее, и она сказала, покрывая поцелуями мои руки: „Дорогая мама, одна француженка поехала за одним из товарищей несчастного Базиля. Позволили бы Вы мне поехать разделить участь того, о ком я давно думала, что люблю его лишь, как брата, и которому, не сделай его обстоятельством таким несчастным, принадлежала бы лишь доля моего уважения. Скажите, дорогая мама, согласились ли бы Вы расстаться с дочерью, если бы она могла облегчить участь Базиля?“ (Накануне она открылась Луизе, которая мне это передала).—„Дорогой дружок,—сказала я,—если бы я знала, что верну тебе здоровье, покой, что доставлю хоть немного счастья двум существам, столь этого достойным, я бы не колебалась, но, дорогая Камилла, тот, кого ты любишь, не знает об этом, ты думаешь о нем, а он не желает твоего присутствия, и если бы даже его тронуло твое предложение, он в своей деликатности отказался бы свя-

звать свою судьбу с твоей. Зачем ты так долго все скрывала от меня". — „Благоразумие подсказывает Вам то же, что и мне, и это меня удерживало. Я, впрочем, сумею победить свое нелепое желание, не будем более об этом говорить. Но я откажу протесте г. Шишкова, я не могу выйти замуж". Г. Шишков сватал ее за одного молодого человека, имеющего 100 душ крестьян и служащего здесь.

После ее признания я с ней больше об этом не говорила. Тем более, что болезнь ее приняла такой опасный поворот, что без стараний господина Мандолини она бы погибла, да и теперь, хотя ей и лучше, она еще не вне опасности. Она лежит с 6-го числа, а с 1-го началась ее бессонница, унесшая столько сил к которой присоединилась желчная лихорадка, с постоянной рвотой и носовыми кровотечениями. У нее постоянно ноздри заткнуты корпией с нашатырным спиртом. Последние два дня она дремлет, ест немного бульона. а в течение 22-х дней не принимала ничего, кроме лекарств.

Но теперь, зная ее тайну, я не надеюсь на ее выздоровление. тоска делает то, чего не сделала болезнь.

Если заботы и нежность моей дочери могут хоть сколько-нибудь утешить несчастного юношу, мое сердце будет радоваться сквозь слезы разлуки. Какая мать не предпочтет расстаться с дочерью, чем видеть, как она тает на ее глазах? Будьте добры, сообщите генеральше о состоянии Камиллы, о ее чувствах. Я ей предлагаю дочь с благородной, чистой и любящей душой. Я сумела бы даже от лучшего друга скрыть тайну дочери, если бы можно было заподозрить, что я желаю положения или богатства. Но она хочет лишь разделить его оковы, утереть его слезы, и я, не краснея за дочерние чувства, могла бы говорить о них нежнейшей из матерей, зная я о них раньше. Однако я буду молчать, пока не получу Вашего ответа или пока генеральша не вернется в Москву.

Если у семьи есть свои планы или у молодого человека имеется какая-нибудь склонность, пусть все это останется навсегда похороненным между названными личностями. Луиза останется с сестрой впредь до ее выздоровления, а оно затянется, по словам доктора, которому известно, что главная причина болезни морального характера; мне пришлось ответить положительно на его вопросы. Я должна была ехать в мае к Сидонии и провести с ней лето, теперь не знаю, что буду делать. Если Камилле придется молчать и страдать, я не смогу ее покинуть.

3. Письмо Лизы Языковой В. П. Ивашеву.

Симбирск, 21 марта 1830 г.

Горячо любимый брат, с этой почтой я получила русские книги, которые ты давно желал иметь, и спешу тебе их отослать с этой же почтой. Мой beau-frère Александр обещал выслать французские, немецкие и английские книги из Петербурга, так что ты, вероятно, получишь их месяца через три, самое позднее. Я в восторге, когда могу что-нибудь послать тебе, для меня это величайшая радость, которой я была лишена последний год, так как была очень бедна; нынешний год счастливее в отношении денег, но не в смысле здоровья, потому

что с декабря почти все время больна или я, или кто-нибудь из детей, особенно бедняцкий Базиль ¹⁾).

Посылаю тебе следующие книги: „Софийский временник“, — 2 тома, „Труды Общества древностей и истории“ — 4 тома, „История медицины“ Рихтера 3 тома, Каталог Смирдина 1 т., который находят самым лучшим, да еще роман Загоскина „Юрий Милославский“, 1 том, итого 11 книг. С этой же почтой пошлю денгги на новый роман Булгарина „Дмитрий Самозванец“ и по прочтении оного перешлю немедля к тебе. Признаюсь, что Загоскина я гораздо более люблю, чем Булгарина, не знаю, понравится ли мне его Дмитрий, желала бы очень знать твоё мнение на этот счет, ты знаешь, что ты был мой единственный учитель русской литературы, и поэтому мне очень интересно бы знать, все так ли согласны наши вкусы.

Надеюсь, что отдаление и время нас не изменило, а есть ли и изменило, то одинаковым образом, судя по мне, ты должен сделаться серьезнее, скорее уныл, чем весел, и гораздо недоверчивее прежнего. Вот самые приметные черты, изменившиеся в моем нраве, это еще не все, я чувствую, что я потеряла то дружеское расположение к людям вообще, которое я прежде имела в высшей степени; ты правду говорил, что чем люди делаются старше, тем менее добры. Так как мы теперь должны говорить правду (ибо ныне великий пост), то видишь, что я тебе исповедаюсь, но я не должна умолчать и хорошее изменение во мне, и так, если ты помнишь, я была очень склонна к сладкому *far niente*, теперь, напротив, я встаю рано, и ни одной минуты нет потерянной в дне. В доказательство сему я тебе расскажу, что я делаю сию минуту. Вase башмаки кроила и шила и много еще другого хорошего, например, Машу заставила после обеда сидеть и работать, я ею беспрестанно должна заниматься, она так любит учиться. Но останавливаясь на этих словах, я еще не забыла, что последнее мое письмо было наполнено рассказами о моих детях... Еще мое главное занятие музыка. Концерт Гуммеля меня с ума свел, а другое — рондо Герца. Эта последняя пьеса ужасно трудна и тем более меня занимает. Прощай, мой милый братец, вот тебе довольно длинное, но не весьма интересное письмо. Целую тебя со всею нежностью тебе хорошо известной дружбы. Твоя Е. Языкова.

4. Письмо М. Н. Волконской. -

27 сентября 1830 г

Вот я, наконец, в Петровском Заводе. Я, наконец, достигла цели последних четырех лет моей жизни здесь, — а именно соединиться в острого с моим мужем. Я испытываю душевное спокойствие, удовлетворение и благосостояние, которыми давно не наслаждалась.

Первая моя забота, написав моим родителям, успокоить Вас касательно Вашего доброго и милого сына. Муж мой говорит, что он прекрасно перенес свое переселение из Читы в Петровский Завод, после двухмесячного перехода он чувствует себя как нельзя лучше. Чистый горный воздух должен был даже восстановить его силы и подкрепить его для перенесения томительной тюремной жизни. Ваши

¹⁾ Младший сын Языковой.

последние письма, сударыня, привесли ему приятную новость о выходе замуж его сестры Екатерины; он ее поздравляет от глубины сердца, как и всех вас, он в восторге, так как из письма своего зятя, которого уже любит сердцем и душой, он видит, что спутник ее жизни умеет достойно ценить счастливые качества ее характера; да благословит Бог их союз и да сохранит их счастье и да услышит Он молитвы Вашего сына о том, чтобы Вы увидали, как вырастут их дети, чтобы любить Вас, сударыня, как уже любят Вас те, кто обязан Вам жизнью.

Прибытие Лизы и ее присутствие среди Вас должно было завершить счастье княгини Екатерины, нежная привязанность которой к сестре ему известна; а похвалы, расточаемые нашей дорогой Лизой молодому супругу сестры, увеличили хорошее мнение, каковое Ваш сын о нем составил. Он поручает мне уверить Вас, сударыня, что счастлив Вашим счастьем и что, думая о Вас, он старается отвлечься от черных мыслей, приходящих ему в голову, которые он обходит молчанием, чтобы не омрачать содержания этого письма. Скажите м-м Языковой, что я прощаю на этот раз ее долгое молчание ввиду приводимых ею причин, но скоро у нее уже не будет других столь основательных, и я ожидаю длинного письма с ее стороны, чтобы загладить вину. Я прошу ее, как милости, сообщить мне известия о м-ле Камилле, которая внушает мне действительное восхищение и симпатию. Я не знаю ничего о состоянии ее здоровья, так как последние вести, дошедшие до нас, были мало утешительны.

Кончаю, сударыня, снова выражая Вам сердечное уважение, которое я навсегда к Вам питаю, и прося Вас верить в совершенную преданность Вашей Марии Волконской.

5. Письмо В. А. Ивашевой к сыну.

27 апреля 1827 г.

Вот уже три недели, что я не имею от тебя известий, любимый и дорогой Базиль. Прошу милосердного Спасителя ниспослать тебе свою благодать и хранить тебя, дорогой друг. Твой добрый отец вчера уехал со своей сестрой в Головкино на свадьбу Петра, я же уклонилась под предлогом, что боюсь переезжать реку, такую широкую теперь, но, по правде, я слишком несчастна, чтобы принимать участие в каких-нибудь увеселениях. Душа моя слишком глубоко страдает, чтобы быть среди счастливых людей. Не подумай, что я завидую счастью тех, кто его испытывает, нет, я всем его желаю, но разделять его не могу; ничто не может меня развлечь вдали от любимого сына, мое единственное желание—делить твои страдания, быть с тобой, тогда, я думаю, душа моя ожила бы. Сестра твоя Лиза не прислала мне своего письма, вероятно, она не будет писать на этот раз. Катяш занята своим рисованием. Прощай, мой милый Базиль. Целую тебя нежно и благословляю. Да ниспошлет тебе свое благословение наш божественный Спаситель и да хранит тебя Пресвятая Дева,—вот моя молитва за тебя, дорогой Базиль. Мне не к чему уверять тебя в своей привязанности, ты ее знаешь. Остаюсь навсегда твой истинный друг и мать Вера Ивашева.

6. Письмо М. К. Юшневской К. П. Ивашевой.

4 июля 1836 г. Петровский Завод.

Милая моя и добрая Камилла Петровна. О сию пору не можем мы привыкнуть, что Вас нет с нами, грустно, нестерпимо грустно. Но надо привыкать к разлуке с Вами. О сию пору ничего мы еще не знаем, где Вы будете поселены, и с нетерпением ожидаем писем от Вас, добрые наши Камасинька и Василий Петрович. Что моя милая Машенька ¹⁾ делает? Помнит ли она свою Кизи? Как перенесла она дорогу? все ли она такая милая и болтливая? расцелуйте ее за меня и передайте мне все новые слова, которые она начала в дороге говорить.

Мой добрый Александр Петрович ²⁾ здоров, поручает сказать Вам все, что чистая безусловная дружба может только выразить. Он от души обнимает своего любезного Василия Петровича и дружеское пожатие руки Камилле Петровне. Просит Машеньку за него поцеловать. Вспомните его прощание с Вами, он эти чувства сохранит навсегда к семейству Вашему.

Я, мой друг Камасинька, ничего еще почти не вышла, мало прибавилось к моей работе, зато, как засяду, нагряну все потерянное время. Я чувствую себя как-то нехорошо все это время, потому не могу пристально сидеть за пальцами, хотя почти все время сижу дома. С Марней Ник. ³⁾ выдаюсь часто, с ней вместе были мы у Саши ⁴⁾, она уже писала вам о том, в этот самый день отнесли и образ в церковь. Вот вам незабудки от этого ангела, который молит о Вашем счастье. У Сашеньки лилий желтых и сарае ⁵⁾ множество, много и разного сорта цветов, все так же, как было при Вас, и будьте уверены, что покуда я здесь, буду все исполнять, как исполняли Вы сами.

У нас все здоровы. Мой Александр Петрович думает ехать в начале августа, но еще верного ничего не знаем. Дети каждый день у Кат. Ив. ⁶⁾, и она любит Илиньку ужасно. В каземате все по старому. Знакомые Ваши кланяются Вам. Прочие гуляют изредка по двору, потому что продолжительные дожди не дают. Говорят также, что такая на них на всех напала, после отъезда на поселение наших господ. тоска, что не хочется никому выходить из своего номера.

Дом ваш еще никем не занят. Петр ⁷⁾ Ваш здоров, но грустит, бедный, ужасно. Несколько дней плакал, как ребенок, потом начал было пить. Я его позвала к себе, потолковала с ним, и он дал мне честное слово, что будет грустить, не приискивая утешения в вине.

Прощайте, добрые мои, милые мои, друзья мои, Камилла Петровна и Василий Петрович, Машутка милая! Поклонитесь от меня всем домашним, начиная с няни, Марье, Кате и Сидоровичу. Они мне так охотно всегда устранивали, могу ли я их забыть. Пусть и они меня вспомнят иногда. Да будет над Вами всеми благословение Бога. Пожалуйста, пишите мне все, как Вы живете, какой у Вас домик etc.

¹⁾ Дочь В. П.

²⁾ Юшневский.

³⁾ Волковская.

⁴⁾ Первенец Ивашевых, умерший ребенком и похороненный на Петровском заводе. Говорится об его могилке.

⁵⁾ Полевые лилии.

⁶⁾ Трубецкая.

⁷⁾ Сторож у Ивашевых.

Вы меня более утешите этим, чем думаете. Прощайте, мои добрые, дорогие друзья, да хранит Вас Бог. Мария Юшневская.

7. Письмо М. Волконской К. П. Ивашевой.

27 июня 1836 г. Петровский Завод.

Дорогой и добрейший друг, я только что вернулась с могилки Вашего ангелочка, где отслужила панихиду. Миша ¹⁾ по собственному побуждению положил букет к его ногам. 26 го. говорят, был праздник, как и 28-го, так что нам пришлось отложить до сегодня. Я с Марьей Казимировной ²⁾ нарвала незабудок, которые она Вам перешлет.

Мы много думали о Вас обоих, одни и те же мысли соединяли нас в эти минуты. Отец Хромов просит передать Вам его дружеский привет и пожелание счастливого пути. Ваша старая кухарка передала мне Вашу записочку, дорогая, а также платок. Вы плохо начинаете свое путешествие, если уже с... ³⁾ у Вас снова явились Ваши головные боли.

Муравьевы уехали, прощание Никиты с могилкой жены ⁴⁾ было раздирающее. Можно сказать, что он вторично переживал утрату бедная Новочка ⁵⁾, наконец, знает, что мать ее иконится здесь, она все время молилась на коленях около плиты и, идя к экипажу, нарвала букет и дала его Катерине Ивановне ⁶⁾ положить „маменьке на ножки“.

Что вы делаете? Что с Вами? Говорят, что Вы направляетесь в Тобольск, но это только слухи, а ведь Вы знаете, насколько по отношению к нам их добросовестно передают.

Домика Ваш продан. Я жду с нетерпением, чтобы его заняли, а то эти закрытые ставни наводят на меня тоску. Там будет жить местный помощник.

Я должна кончать, дорогой друг, я запоздала, сегодня уже суббота, а я еще не принималась за свою корреспонденцию. Судите, как я беспокоюсь.

Сергей ⁷⁾ чувствует себя немного лучше, боль уже не так сосредоточена и распространилась по всей руке и кисти, — доказательство быстрого действия вод. Я не жду его ранее трех недель. Езда в экипаже причиняла ему ужасные страдания. Надо вооружиться терпением и, может быть, Бог поможет ему навсегда избавиться от этой болезни. Дети мои здоровы. Неллинька ⁸⁾ еще вспоминает Маню и носит ее платице, которое я забыла Вам отдать. Нелль в нем так напоминает мне Машеньку⁹⁾, что я не могу решиться Вам его отослать.

Прощайте, мой добрый друг, все друзья Ваши Вам кланяются. Иван Иванович ¹⁰⁾ со рвением принялся исполнять Ваше поручение. Целую Вас сердечно, так же как и Базиля ¹¹⁾, передайте дружеский

¹⁾ Маленький сын Волконской (впоследствии попечитель Петербургского учебного округа).

²⁾ Юшневская.

³⁾ Неразобранный название местности.

⁴⁾ А. П. Муравьева умерла в Петровске, оставив мужу малолетнюю дочь.

⁵⁾ Дочь Муравьевых.

⁶⁾ Трубецкая.

⁷⁾ Волконский.

⁸⁾ Дочь Волконской, Елена Сергеевна, в замужестве Кочубей.

⁹⁾ Пушкин.

¹⁰⁾ Ивашев.

привет Николаю Васильевичу ¹⁾. Целую и благословляю Машеньку. Храни Вас Бог. Мария Волконская.

Артамон Захарович ²⁾ просит Вас и Вашего мужа не забывать его. Ив. Иванович ³⁾ просит меня благодарить за расположение Вас к нему и всегда с особенным чувством вспоминает Вас.

8. Письмо В. П. Ивашева к отцу.

1 декабря 1838 г. Туринск

На прошлой неделе мы получили Ваше письмо, несравненный мой родитель, в тот самый час, как следовало отправлять наши. Не мы были так обрадованы тем, о чем Вы нас извещаете, что не захотели мы ожидать следующей недели для передачи Вам наших чувств.

Не стану повторять, сколько Камиллушку и меня взволновало и обрадовало матушкино решение соединиться навсегда с достойной ее по самоотвержению дочерью, разделять навсегда с нею радости и лишения, которые Провидение нам ниспослает.

Прибытие матушки, если желание ее с милостивого соизволения Монарха увенчается успехом, доставит нам неисчислимое множество утешений и наложит нашей жизни новые отрадные обязанности, которые почтем дополнением своего счастья. Мы с Камиллой теперь уже заботимся о приготовлении и убранстве комнатки для нее, и Камиллушка моя жалуется на мою медленность. Уже и теперь она с восхищением помышляет, как будет за нею ухаживать и поконить. Беспреданно начинается и прерывается разговор об этом предмете, неисчерпаемом предвидимыми для нас радостями. Сколько раз перечитано было Ваше письмо. И мы с умилением видим, что Вы, добрый наш и нежный родитель, предугадывали и делили наши чувства.

Вот уже третья неделя, как в руках у меня с Басаргиным написанный Вами журнал путешествий Суворова и Антингова история. Мы оба нашли, что один порок Вашего отрывка тот, что он слишком короток; но и в нем Вы успели удачно добавить несколько черт к известному характеру знаменитого полководца. Я знал отчасти и прежде Ваши к нему отношения: но много нашел совершенно для меня нового. А с каким удовольствием я припоминаю то, что мною было от Вас слышано: того не умею выразить. Жадно перечитывал и в Антинге и в Ваших добавлениях то место, где упоминается о Вашем военном поприще, и о доверенности, которую к Вам питал славный вождь.

Басаргин принялся за первую часть и перевел уже много. У меня переведено всего страниц десяток второй части. Мне не угнаться за ним: в извинение себе скажу, что у него более досужего времени, а теперь положение Камиллушки должно часто отрывать от пера.

После этого отчета Вы, может быть, подумаете, почтенный мой отец, что я привожу себя работать; напротив того, могу Вас уверить, что нахожу великое удовольствие в этом занятии. При том же в этом сочинении мало встречается затруднительных мест для переводчика. Нас покамест затрудняют названия мест и речек, потому что

¹⁾ Н. В. Басаргин

²⁾ Муравьев.

³⁾ Пущин

нные автором или французским переводчиком исковерканы, а у нас нет подробных карт и планов, в которых они могут только находиться. Желательно бы даже было, чтобы планы главных сражений и карты театров войны находились при истории.

Скажите сестрицам, почтенный мой родитель, что это мне лишь удовольствие отвечать на их милые письма. Целую Ваши и их ручки: Прошу Вашего благословения для всей семьи. Ваш покорный и послушный сын В. Пвашев.

Приниска К. П. Пвашевой.

Мы не получили писем от Вас, несравненный наш батюшка, с той почтой, как равно и ни от кого из наших, что мало утешительно для моего нетерпения, но что делать? Я еще вся взволнована Вашими последними известиями ¹⁾ и горю желанием узнать от моей добрейшей матери о судьбе ее планов. Дети здоровы, и я еще брожу.

¹⁾ Отец говорил в предыдущем письме о предлагаемом приезде матери Василии в Туринск.

Ф. И. Тютчев и его эпиграммы.

I.

Со времени опубликования биографии Ф. И. Тютчева, написанной И. С. Аксаковым, дело изучения жизни поэта мало продвинулось вперед. История текста нам также была мало известна. До сих пор мы располагали ничтожным количеством автографов. По счастью, в настоящее время мы находимся в более благоприятных условиях при работе над биографией поэта и над текстом его стихов: нам удалось ознакомиться с новыми весьма ценными материалами.

Работа наша далеко еще не закончена, многое еще нами не изучено и не обследовано до конца, но мы думаем, что даже простое перечисление документов представит некоторый интерес. Все эти документы, по месту их нахождения, приходится разделить на три категории. Во-первых, документы, находящиеся в книгохранилище Румянцевского музея, в Петербургской Публичной библиотеке и в Пушкинском доме. Документы эти известны и отчасти опубликованы. В Румянцевском музее хранятся письма Ф. И. Тютчева к его второй жене, Эрнестине Федоровне; в Петербургской Публичной библиотеке имеется автограф стихотворения, не вошедшего ни в одно из существующих собраний сочинений поэта—„Он, умирая, сомневался“; наконец, в Пушкинском доме есть несколько незначительных документов, о них сообщено во Временнике Пушкинского дома за 1914 год. Кроме того, надо упомянуть о документах, находящихся в руках незуита о. Пирлинга (письмо к кн. И. С. Гагарину), и о письмах Тютчева к бар. Карлу Пфедфелю, которые хранятся у Гюбера Пфедфеля в Париже. Во-вторых, документы, хранящиеся в Мурановском архиве, — документы, до сего времени неизвестные, которые представляют немалый интерес для всех, кто небезразлично относится к биографии поэта. Краткий перечень этих документов таков: 1) 26 писем поэта к его супруге, относящихся к 1868 году; 2) 24 письма к ней же 1869 года; 3) 34 письма Ф. И. Тютчева к родителям, относящиеся к 1836—1845 годам, большинство их послано из Мюнхена; 4) 12 писем к матери—Е. Л. Тютчевой; 5) одно письмо 1860 года к кузине—П. В. Муравьевой, урожденной Шереметевой; 6) письма Ф. И. Тютчева к дочери М. Ф. Бирилевой—одно 1857 года, пять 1863 года и три без даты; 7) письма Ф. И. Тютчева к кн. П. А. Вяземскому, всего семь—одно 1845 года, прочие без даты; 8) шесть писем к Дарье Ивановне Сущиковой, сестре поэта; 9) три письма к брату Николаю Ивановичу Тютчеву; 10) четыре письма к Николаю Василь-

внуку Сушкову; 11) 52 письма Ф. И. Тютчева к дочери, Екатерине Федоровне Тютчевой—от 1854 до 1872 годов; 12) три письма и две записки с писем поэта к кн. Елис. Эсперовне Трубецкой; 13) 140 писем Ф. И. Тютчева к дочери его, Анне Федоровне Аксаковой, относящиеся к разным годам—от 1838 года до года его кончины. Последние письма датируются февралем 1873 года; 14) письма к дочери, Дарье Федоровне Тютчевой, всего сорок пять—первые датируются 1857 годом, последние 1872; 15) 35 писем Ф. И. Тютчева к Ивану Сергеевичу Акмакову от 1865—1871 годов; 16) одно письмо поэта к Юрию Федоровичу Самарину, от 1867 года; 17) восемь писем к сыну Ивану Федоровичу Тютчеву, три 1870 года, прочие без даты; 18) письма Ф. И. Тютчева к барону Карлу Пфедфелю—всего семь, относящиеся к 1847, 1860, 1862 и 1870 годам; 19) альбом в желтом кожаном переплете со списком стихов Ф. И. Тютчева. Своевременно я подробно опишу этот альбом, а пока сообщу об его содержании кратко. В нем имеется семьдесят две копии со стихов Ф. И. Тютчева, сделанные писарской рукой, парадным почерком. В некоторых стихах, на что я обращаю внимание историков литературы, имеются поправки, сделанные рукою самого поэта. Далее следуют стихи, переписанные, повидимому, рукою Эрнестины Федоровны Тютчевой—всего двадцать пять. Кроме этих списков на страницах самого альбома, в него вложены копии со стихов поэта на отдельных листках почтовой бумаги, иногда с водяными знаками и с обозначением года, сделанные почти все рукою М. Ф. Бирюлевой. Таковы материалы второй категории. Все эти документы хранятся в Мурановском архиве в совершенном порядке¹⁾.

Пользуясь случаем, чтобы выразить мою благодарность Николаю Ивановичу, Федору Ивановичу, Софии Ивановне Тютчевым и внучке поэта Екатерине Ивановне Пигаревой, за то драгоценное содействие, какое они мне оказали и оказывают при рассмотрении и изучении архивных документов. Считаю своим приятным долгом выразить также мою признательность Ольге Михайловне Веселкиной, которая немало потрудилась над разбором архива и составлением его описи. Не могу не отметить также любезного внимания к моей работе Трифона Георгиевича Трапезникова, оказавшего мне содействие при моих поездках в Мураново.

Наконец, третья категория документов, мне известных, относится главным образом, к истории текста стихов Ф. И. Тютчева. Эти документы, автографы и прижизненные списки—копии произведений поэта, находятся сейчас не в Мурановском архиве, а в руках частных лиц, любезно предоставивших мне их для изучения, описания и опубликования.

Как известно, безмерные сокровища великой русской литературы далеко нами еще не изучены. Мы не обладаем совершенными изданиями произведений наших классиков. Федор Иванович Тютчев не избежал общей участи наших великих поэтов. Не существует собрания его стихов с текстом, критически проверенным.

Если не считать трех изданий сборников стихов поэта, опубли-

¹⁾ Разбор и обследование Мурановского архива еще не закончен; возможно, будут иные находки. Я не упоминаю здесь о материалах, имеющих косвенное отношение к Ф. И. Тютчеву. Среди них есть весьма ценные.

кованных редактором „Русского Архива“, у нас имеется пять изданий его стихов. Во-первых, издание 1854 года, в котором принимал участие П. С. Тургенев; во-вторых, издание 1869, в котором, при содействии П. И. Бартенева, принимал участие П. С. Аксаков; в-третьих, издание Э. Ф. Тютчевой 1886 года, при участии А. Н. Майкова; в-четвертых, издания сына и дочери поэта, Ивана Федоровича и Дарьи Федоровне Тютчевых, при участии А. А. Флоридова и, наконец, в-пятых, издание Маркса, под редакцией П. В. Быкова с предисловием В. Я. Брюсова. В издании 1886 года нет никаких примечаний и никаких указаний на принципы, положенные в основу при оценке и выборе того или иного текста: в издании 1900 года имеются в примечаниях лишь указания на те журналы и альманахи, в которых впервые были напечатаны стихи. Вариантов нет. Редакторы этих первых четырех изданий, несомненно, имели в руках автографы поэта, но ничем не обнаружили того, что они были счастливыми обладателями этих сокровищ. В последнем издании редактор дает в примечании варианты на основании первопечатного текста, но его ссылки на оригиналы столь редки и случайны, что нам остается предположить, что он их в руках не имел вовсе, за исключением, быть может, шести-семи. Сложилась даже легенда среди историков литературы, что оригиналы стихов Тютчева утрачены, что их вообще не существует. В основу текста П. В. Быков положил издание 1854 года. Я не решаюсь пока высказывать окончательную оценку этого метода, но обращаю внимание читателей на то, что И. С. Тургенев был редактор весьма капризный и неосторожный, и надо выяснить меру его участия в опубликовании стихов Тютчева. Мы ведь знаем, например, что он проделывал со стихами Фета и как их бесцеремонно исправлял. Поэтому нужна большая осторожность при пользовании текстом 1854 года. Окончательные выводы о ценности текста 1854 года я откладываю до того времени, когда мною будет закончено изучение имеющихся в моем распоряжении автографов, а пока я сообщу кратко, чем я в настоящее время располагаю.

Итак, третья категория мне известных документов такова: во-первых, сто шестьдесят девять автографов опубликованных стихотворений поэта; во-вторых, двести тридцать два списка также известных стихотворений; в-третьих, несколько сомнительных оригиналов, подлинность которых надлежит проверить; в-четвертых, стихотворения Тютчева, не вошедшие ни в одно из собраний его сочинений и до сих пор неизвестные, имеющиеся в подлинниках, его рукою написанных—таковых семнадцать стихотворений. В это число входят: 1) три детских стихотворения; 2) десять эпиграмм и стихотворных шуток; 3) одно политическое стихотворение, относящееся к 1865 году; 4) одно французское лирическое стихотворение 1838 года; 5) три стихотворения, относящихся к последним дням жизни поэта. Кроме этих несомненных стихотворений Тютчева, имеющихся в автографах, есть еще одна очень значительная эпиграмма поэта, правда в копии, но по многим соображениям заслуживающей совершенного доверия.

Список новых стихотворений поэта этим, однако, не исчерпывается. Я не решаюсь пока с уверенностью приписать Ф. И. Тютчеву несколько чрезвычайно любопытных стихотворных фрагментов и черновиков, которые меня сейчас занимают, но, кажется, можно будет скоро установить их подлинность и тогда количество вновь открытых стихотворений удвоится. Одно из них представляет исключительный интерес.

Этим я должен ограничить мое сообщение о материалах, над которыми я сейчас работаю, и приступить к теме моей статьи о шести неизвестных до сих пор эпиграммах Тютчева.

Эпиграмма — одна из тех поэтических форм, которая весьма определительна и характерна для поэта, как человека в его житейской обстановке. Она, так сказать, биографична по преимуществу. Если в своей лирике поэт уходит от повседневности, если он, причастный лирическому опыту, тоскует, по слову Пушкина, „в забавах мира“, то едва ли он вполне чужд суетному свету, когда у него является желание поразить врага или заклеймить насмешкою пошлость. Тут поэт вмешивается непосредственно в жизнь. Эпиграмма не лирична, а драматична. Она реплика из диалога. Автор эпиграммы прежде всего собеседник. Вот почему немаловажно припомнить живой образ поэта в его быте, в его среде и в его отношениях с окружающими.

Припомним образ Тютчева, как собеседника. Как его чувствовали и понимали современники?

Тютчев, по свидетельству современников, был необыкновенно интересный человек. Л. Н. Толстой ехал однажды в гости к Фету и встретил его — то на маленькой станции Тютчева, беседовал с ним и потом не мог никак забыть этой встречи, этого „глубоко настояще-умного старика“.

И все, кому довелось его знать лично, все повторяют, что Тютчев был необычайно умен: кн. П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, И. В. Киреевский, И. С. Аксаков, М. П. Погодин, В. А. Жуковский, гр. В. А. Соллогуб, все, решительно все...

Умер Тютчев — и И. С. Тургенев в письме к Фету из Буживаля от 21 августа 1873 года прежде всего вспоминает об уме Тютчева: „Милый, умный, как день умный, Федор Иванович. Прости, — прощай“.

Впечатление человека необыкновенного и умнейшего производил Тютчев не только на русских, у себя дома. Его заметил, по преданию, Гете, с ним беседовал и спорил Шеллинг, его ценил Гейне.

Варнгаген-фон-Энзе записывает в своем дневнике мнения и суждения Тютчева. Барон Пфеффель, шурин поэта, пишет в одном частном письме о Тютчеве, в эпоху его мюнхенской жизни: „Мы находимся под очарованием этого дивного ума“.

И. В. Киреевский писал о Тютчеве из Мюнхена весной 1830 г., когда поэту было 27 лет: „У нас таких людей европейских можно счесть по пальцам“.

Гр. В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях рассказывает о Тютчеве: „Он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст „...“. Когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкало и во всей комнате только и слышался голос Тютчева. Я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания *could* *not* *be* *of* *source*, как говорят французы; в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного... Тютчев никогда не говорил о себе и особенно о своих стихах. „Федор Иванович, — рассказывает Фет, — болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но, как ни скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы ни

когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича с открытой ли головою, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:

Хоть свежесть утрення вьет
В моих всклокоченных власах...

Или в помятой шляпе, задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы, — вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:

Я не с тобой, а с сердцем говорю.

Те, кто оставил нам свои воспоминания о Тютчеве, говорят о нем, как о старике. И немудрено— всю свою молодость, двадцать два года Тютчев прожил за границей. „Я его видал и знал,— рассказывал М. Н. Толстой:— „Это был старичок тихонький, говорил по-французски лучше чем по-русски, и вот такие стихи писал“. И чувствуешь, что Толстой иначе себе и представить не может Тютчева, как „тихоньким старичком“... Толстому кажется, что и *Silentium* Тютчев написал, будучи стариком. Прочитав Пушкина: „Когда для смертного умолкнет шумный день...“, Толстой замечает: „Это— молодой, неудивительно, но Тютчев“.— „Старичок тихонький“... А, ведь Тютчев написал *Silentium*, когда ему еще не было и тридцати лет.

Один только М. П. Погодин помнил Тютчева „молоденьким мальчиком с румянцем во всю щеку“. Вот разве мюнхенские немцы Ботмеры, Ганштейны, Пфеффели, Мальтицы—сохранили в своих архивах воспоминания об юном Тютчеве, но пока эти воспоминания не опубликованы.

Современники поэта в России помнили его иным, уже старым, таким, каким описал нам его М. П. Погодин: „Низенький, худенький старичок, с длинными отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас кажется упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... Слово за слово, его что-то задело, он оживился, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Ее надо бы записать... Вот он роняет, сам того не примечая, несколько выражений, запечатленных особой силой ума, несколько остроумий, которые тут же подслушиваются соседями и передаются шопотом по всем гостиным“. Он был едва ли не самым светским человеком в России,— рассказывает гр. В. А. Соллогуб,— но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких жепиц. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам: он собою был дурен, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать"... „Он собою был дурен“, — говорит гр. Соллогуб. Но вот, однако, Фет нашел в этом лице что-то пленительное и необычайное. Какое же лицо было у Тютчева?

„Это не было только человеческое лицо — пишет один современник поэта:— Это не было только человеческое лицо, а какое-то нечело-

В комнате для свиданий он и велел учинить расправу. Каторжан силой раздевали, обнажали, покрывали серым арестантским одеялом и, держа за голову и ноги, секли розгами по голому телу. Некоторые из истязаемых не выдержали и после 15-20 ударов, а некоторые и раньше, кричали:

— Сдаюсь... Сдаюсь...—и их сейчас же отпускали. ¹⁾

* * *

После этого в Псковском Центральном пошла целая полоса экзекуций. Вплоть до зимы 1911 года розга свистела во-всю. Бывали периоды, когда порол *каждый день*. Ни возраст, ни характер дела, за которое арестант осужден, образовательный ценз, ни даже общественное положение, ни что-не останавливало Черлениовского.

И за что только у нас ни поролы?

Не исполнил приказания начальства (масса случаев), передал табак в одиночку (случай с Познахирко), сорвал на прогулке цветок (случай с Пестуном); во время поверки расстегнулась пуговица (случай с Андреевым), якобы переговаривался с кем-то через клозетную трубу (случай с Фридзоном); засыпался с жестянкой, припрятанной для разрезки хлеба; протестовал против пребывания в камере „лягавого“, т. е. предателя (случай с тем же Пылаевым, на этот раз кроме сотни розог наказанным еще дополнительной заковкой в кандалы и лишением скидки); жалоба на плохой обед (случай с Бугаевым); нежелание принять от Петрушки пасхальное яйцо (случай с тем же Ник. Ивановым),—да разве перечтешь все случаи...

Характерна последняя история.

Однажды в Пасхальную ночь открывается дверь 21-й камеры и надзиратель кричит:

— Выберите одного, чтоб в церковь пошел, только не политик!

— Эх, пойду я на баб смотреть!—сказал, подмигнув своими раскосыми глазами, „Комик“, как звали нашего присяжного весельчака и балагура Иванова. Он пошел в церковь.

Кончилась заутреня, стали расходиться, Черлениовский похристосовался со всеми помощниками, с их женами и сестрами, в отношении же надзирателей и арестантов ограничился тем, что давал каждому из них по яйцу. Вот наш Иванов чинно подходит к наложу, целует крест и идет назад.

— Христос Воскресе!—говорит ему вслед Петрушка, но тот не обращает на это внимания и идет к выходу.

— Иванов, сюда!—возвращает его начальник,—почему не берешь яичко?

— Не хочу! Вы нас порете, а потом яйцами оделяете...

¹⁾ Два слова рго domo sua. Когда с-д. фракция третьей Государственной Думы узнала об этой трагической истории, она нашла доступ к потерпевшим и просила их прислать подробный материал для внесения запроса. Но ведь известно, что нашему брату политику, особенно интеллигенту, мало быть просто человеком с непосредственным чувством и простым здравым смыслом. Собравшись вместе, тщательно с трех или с четырех точек зрения обсудив предложение думских с-д., каторжане, среди которых преобладали максималы и с-р., вынесли резолюцию: материала для запроса не давать.

Мотив?—А вот: принципиальным сторонникам бойкота третьей Думы не к лицу апеллировать к этой же думе...

В своей просьбе с-д. фракция получила категорический отказ.

— Ну ладно, потом поговорю с тобой...

На другой день рано утром, едва кончилась поверка, как в камеру входит Черлениовский и обращается прямо к Иванову.

— Ты почему, сукин сын, у меня яйца не взял?... Ты разговлялся, казенное яйцо ел, а моего и в руки не взял!

— То мне полагается от казны, от вас лично ничего брать не хочу... Вы меня пороли, издевались, вы мой враг, враг!

— Ах, прохвост!—прошипел начальник. —Разве я враг твой? Ведь я начальник твой, о тебе же забочусь!.. Твое счастье, что сегодня Пасха и я не хочу брать греха на душу... Но я тебе припомню это...

Дней через десять, когда 21-я камера совершала прогулку, с будки, стоящей возле деревянного прогулочного мостка, раздалась команда:

— Смирна—а! Шапки долой!...

— Это какая камера?—осведомился его высокоблагородие, пристально всматриваясь в каждого арестанта. Увидав Иванова, он вдруг вспылil:

— Ты что же это на меня косо смотришь? На своего начальника надо смотреть прямо... *Двадцать пять!*..—крикнул он сопровождавшему его отделенному, и Иванова отвели в баню, „всыпали“ 25 розог и посадили в клетку.....

У бессрочных, находившихся в одной из общих камер, готовился побег, но двое из них же—профессиональный вор Худинов и случайный экспроприатор Николаев, рыхлый молодой человек с бабьей корпуленцией, страдавший припадками,—донесли об этом Слясскому. Ничего не найдя у них (пред самым обыском бессрочные успели спрятать пилки и проч. в трубчатые рамы от коек), Слясский на всякий случай посадил некоторых в карцер.

Начальник в это время был в отпуску. Приехав в Псков и узнав о таком попустительстве со стороны своего помощника, Черлениовский был вне себя от досады. Как то встретив на прогулке группу бессрочных политиков из одиночного корпуса, Петрушка, желая сорвать на ком-нибудь свой гнев, стал кричать на них:

— Вы что же это, мерзавцы, бежать у меня вздумали?... (побег вовсе готовился бессрочными арестантами из общего корпуса). Я вам покажу как бежать!.. Я приструню вас, сокращу!..

Заметив среди гуляющих максималиста Малашкина, он велел ему выйти из рядов и тут же, в присутствии всех, стал распекал его самыми бранными словами. Тогда с.р. Голубев, всегда такой спокойный и уравновешенный, не выдержал и, подойдя к Черлениовскому, говорит ему своим тихим голосом:

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли повежливей!

— Что? что ты сказал!.. Фамилия как!.. А, Голубев! Ладно!.. *Пятьдесят*,—отчеканил начальник, и Голубева (кстати человека в летах и учителя по профессии) выпороли розгами.....

..... Сидел у нас некий Клементьев, осужденный в каторгу за убийство в припадке ревности. Еще до этого он обнаруживал признаки душевного расстройства. Однажды он пожаловался Петрушке, будто восемь таких то арестантов хотят его убить. Начальник был как раз в *подходящем* настроении и, не задумываясь, приказал выпороть всех указанных Клементьевым. Впоследствии выяснилось, что донос на них—выходка мнительного и ненормального человека,—сделан

эпиграммы, которые звучат и блещут, как червонцы, которые так за-
тейливы и задорны, а иногда и вовсе добродушны. Тютчевские эпи-
граммы несколько тяжелы, а иногда безнадежно грустны. Почти
все эпиграммы Тютчева посвящены политике. В них целая философия
истории. По одним эпиграммам этого философствующего поэта можно
уже конструировать все его политическое миросозерцание. Отношение
к Западу, к парламентаризму, к польскому вопросу, к национальной
проблеме, к внутренней политике—вот его темы в эпиграммах.

II.

До последнего времени были известны следующие эпиграммы
Ф. И. Тютчева: К портрету („Два разнородные стремления...“);
Москвичам („Куда себя морочите вы грубо...“); „Как верно
здравый смысл народа“...; „Напрасны я труд. Нет, их не
вразумишь...“ и, наконец, французская „Lorsqu'un noble
prince, en ses jours de démence“... Из этих пяти эпиграмм
первая („Два разнородные стремления“) оставалась не вполне разгадан-
ной относительно лица, на которое она была написана, а третья
 („Как верно здравый смысл народа...“) не была комментирована ни
в одном из собраний стихотворений поэта и содержание ее было не-
понятно. Нам удалось дать разъяснение к этим непонятным эпиграм-
мам, а также дополнить их список еще новыми, доселе неопублико-
ванными. К первым пяти эпиграммам теперь можно присоединить
шесть новых до последнего времени неизвестных, принадлежащих
перу Ф. И. Тютчева.

Третья эпиграмма, смысл которой оставался непонятным, чита-
лась, как известно так:

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определял.
Недаром, видно, от „ухола“
Он вывел слово „уходил“.

В настоящее время смысл этой эпиграммы ясен, благодаря авто-
графу, найденному в бумагах семейного архива Тютчевых. Автограф
имеется на клочке бумаги—рука, несомненно, самого поэта, — а на
верху также рукою Ф. И. Тютчева надпись: „A l'adresse du comte
Stroganoff“. Граф Сергей Григорьевич Строганов, родившийся в 1794 году
и умерший в 1882 году, был генерал-адъютантом и главным воспи-
телем наследника-цесаревича, Николая Александровича, сына Але-
ксандра II. Кончину цесаревича приписывали плохому уходу графа
Строганова. Таким образом, делается понятным каламбур Тютчева, а
также и дата эпиграммы. Это четверостишие, очевидно, написано
в 1865 году. Наследник скончался 12 апреля 1865 г. В издании сти-
хотворений 1868 года с этою именно датой напечатано было стихотво-
рение „На кончину Государя Наследника Николая Александровича“.
 („Все решено и он спокоен...“). Политические толки, сопутствовавшие
болезни, и смерть наследника понудили Ф. И. Тютчева написать еще
одно стихотворение. Это стихотворение никогда не было опубликовано.
Мы впервые пользуемся оригиналом. Автограф читается так:

Сын царский умирает в Индии,
И из него нам строят ков.
„Го Божья месть за поляков“...
Вот что мы слышим здесь в столице.

Из чьих помятий диких, узких,
То слово вырваться могло б ..
Кто говорит так: польский поп,
Или министр какой из русских?

О, эти толки роковые,
Преступный ледец и шальной
Всех вырождков земли родной.
Да не услышит их Россия...

И отповедью да не грянет
Тот страшный клич, что в старину;
„Везде намена — царь в плену“ —
И Русь спастись его не встанет...

Даты в оригинале нет, но имеется еще копия, и в копии есть дата: 7 апреля 1865 года. Петербург. В оригинале есть вариант. Первая строчка последней четвертой строфы читалась раньше: „Да не услышит... да не грянет“. Рукою поэта зачеркнуто „Да не услышит...“ и наверху надписано: „И отповедью“.

Стихотворение это любопытно, как новая черта для характеристики взглядов Тютчева на польский вопрос. В первый раз по польскому вопросу Тютчев высказался в 1831 году. Это было время знаменательное не только в политическом отношении. Те дни отмечены состязанием поэтов, вмешавшихся в „спор славян между собой“. У нас прозвучал громовый голос Пушкина, а на Западе целая рать стихотворцев выступила против России. Среди них были довольно заметные, например, Беранже и Казимир Делавинь. И с нашей стороны выступил не один Пушкин. О польском мятеже известны стихи Жуковского и Хомякова. В то же время живший тогда в Мюнхене двадцативосьмилетний Федор Иванович Тютчев откликнулся на события стихами весьма значительными. Стихотворение — „Как дочь родную на заклятье“ — не менее замечательно, чем стихи Пушкина. Особенно значительна вторая строфа:

Но прочь от нас венец бесславья,
Силетенный рабскою рукой:
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой.

В заключительных строфах поэт, как известно, провидит „звезду в неаримой высоте“. Это звезда русского народа. Она ведет его к „тайнственной мете“. Обращаясь к польскому народу, поэт великодушно говорит:

Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как Феникс возродится в нем.

Поэт думал и не без основания, что под Варшавой тогда шла борьба не самодержавного правительства Николая с польской революцией, а польской католической аристократии с русским народом.

Но, спустя тридцать два года, ему снова пришлось быть очевидцем нового польского восстания.

Тютчеву в это время было шестьдесят лет. Польское движение понудило его отозваться на события стихами, но на этот раз в его

Еще до этого политики, независимо от обще-хозяйственной коммуны, сьорганизовались в отдельные партийные группы. Первое место как по своей численности, так и по налаженности организационного аппарата, занимали у нас с.-д., те самые с.-д., которые вначале были в полном загоне и которых большинство каторжан, с легкой руки максималистов и анархистов, третировало чуть ли не как миролюбивых либералов. С.-д. группа успела даже выпустить один или два номера тюремного журнала.

В подражание социалистам сьорганизовались и анархисты. Об этом проведало начальство: в бане и клозете была найдена их переписка между собою. Выпоров совершенно неосновательно заподозренного в одной из записок одесского анархиста Виницкого, Черлениовский явился в камеру к бессрочным и, поздоровавшись, провозгласил:

— Кто из вас революционер,—выходи!..

Никто не вышел. На повторный вопрос вышло несколько человек.

— Еще кто революционер?

Вышло еще два—три политика.

— Переписать их фамилии!—распорядился начальник.— В случае чего, они первыми отвечают! Пусть они забудут, кем они были раньше... Теперь они все принадлежат к моей партии...

Чтоб пресечь всякую дальнейшую переписку между каторжанами, он велел отобрать тетради и карандаши не только у непосредственно скомпрометированных и не только в тех камерах, в которых они сидели, но у всех 900 с чем то каторжан, разбросанных по разным корпусам и корридорам.

Это еще больше озлобило арестантов.

23 ноября 1911 г., как бы в ответ на газетные корреспонденции, в Псков приехал сам начальник Главного Тюремного Управления Хрулев. Узнав об этом заранее, арестанты решили использовать это обстоятельство и разоблачить до конца Петрушкины порядки. В сопровождении какого то подозрительного пажа из охранного отделения Хрулев обходил все камеры и всех внимательно выслушивал. Жалоб накопилось так много, что после обхода Хрулеву пришлось до поздней ночи вызывать к себе каторжан для записи их показаний.

Вводят, наприм., к нему бывшего солдата Лямова, осужденного на 15 лет каторги за дерзкий ответ оскорбившему его офицеру. Черлениовский, всегда с особенной злобой относившийся к политическим из военных, сразу не влюбил его, около двух лет держал в клетке и долго не расковыливал.

— За что же, полковник, вы его в кандалах держите?—спрашивает Хрулев:—ведь законный срок давно прошел.

— Он, Ваше Превосходительство, самый главный здесь агитатор. Замечен во многих проступках,—отвечает Черлениовский.

— Покажите-ка жалобную книгу...

Смотрят, и оказывается, что Лямов ни разу не сидел в карцере и ничего предосудительного за ним не числится. Хрулев пожимает плечами. Не меньше удивляется он, узнав, например, что все находящиеся в больнице, на том только основании, что им выдают по два-три кусочка сахара в день, в отличие от здоровых каторжан, лишены права делать обычную выписку на собственные средства. За-

писал он также и жалобы каторжан, сидевших в одиночках, которым, в том числе и сидевшим там по собственному желанию, Петрушка запретил курение табаку. Особенно много сетований пришлось ему выслушать от наказанных розгами.

— Ну, что же, — отвечал он многим своей стереотипной репликой, — было да сплыло... Дело прошлое, надо простить... простить надо...

Черлениовский никак не ожидал такого потока жалоб и, как водится, стал искать зачинщиков.

Само собой разумеется, что такой истинно русский патриот как Черлениовский, сразу решил, что обыкновенный русский человек не способен без постороннего наущения и подстрекательства кричать, когда ему больно, и сопротивляться, когда его притесняют. Ясно, что виноваты здесь „инородцы“ и среди них евреи — эти классические, еще со времен Моисея и Пророков, агитаторы и смутьяны. Начальник приказал составить подробный список всех каторжан иудейского вероисповедания, собрал их в один из корридоров общего корпуса и, величественно восседаая на стуле, стал допрашивать каждого из них в отдельности. Он думал на основании подобных бесед узнать вероятных организаторов и добраться до корня смуты. Каторжан, ответы которых показались ему наиболее значительными, он отмечал на особом листе. Однако, до расправы с ними так и не дошло.

Ревизия Хрулева, в сущности, ни на йоту не изменила положения каторжан. Карцера попрежнему редко пустовали, розги попрежнему редко лежали без применения. Все-таки чувствовалось, что специфически Псковский режим пошатнут, что в нем пробита брешь, что перемена к лучшему неизбежна. Сами каторжане получили наглядное представление о том впечатлении, которое может произвести организованное выступление всей арестантской массы. Долго коплавшееся раздражение нашло себе неожиданный выход.

Когда II-я камера вышла на opravку, максималист Спивак и с.-д. Завицкий вдруг, даже не сговорившись специально с другими камерами, стали кричать:

— Да здравствует голодовка!.. Товарищи, присоединяйтесь!.. Подать сюда начальника!..

С этими возгласами они стали подходить к решетчатым дверям камер второго корридора. Разумеется, что Спивака и Завицкого сейчас же отвели к начальнику, ну а этот опять таки, разумеется, сейчас же прибег к своему универсальному средству: выпорот и посадил в темную на семь суток. Расправившись с ними, Черлениовский прибежал в корпус, стал обходить все камеры, всюду произносил речи, заканчивая их так:

— Кто здесь за голодовку, выходи в сторону...

Таким образом он сам же осведомлял о происшедшем тех, кто этого еще не знал, и невольно послужил посредником в организации общего выступления. Всех, примыкавших к голодовке, тут же отделили, обыскивали и переводили в отдельную камеру, при чем некоторые тут же удавлялись карцера.

— Подожди, кровопийца, — говорит начальнику экспансивный и пылкий Наум Коган, меньшевик, осужденный по делу о динамитной лаборатории в Ростове на Дону: — ты теперь из нас кровь пьешь, но тоже и мы с тобой потом сделаем...

Черлениовский был ошеломлен.

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой—
Петр, по прозвищу четвертый.
Аракчеев же второй.

Эта эпиграмма имеется в автографе самого Тютчева. Слово „четвертый“ и „второй“ подчеркнуты. Даты, к сожалению, нет. Копия этой эпиграммы имеется и в альбоме М. Ф. Бирилевой. Эпиграмма относится, вероятнее всего, к гр. Петру Андреевичу Шувалову,—едва ли она была направлена на другого Петра, а именно на Петра Александровича Валуева (1815—1890), известного государственного деятеля и писателя, обратившего на себя внимание своею запискою „Думы русского“, которая была составлена им в 1855 году под впечатлением падения Севастополя.

В 1861 году он занимал пост управляющего делами комитета министров и с 23 апреля того же года пост управляющего министерством внутренних дел. П. А. Валуев применял репрессии по отношению к печати. Между прочим, от его предостережений и кар страдал неоднократно, как публицист, И. С. Аксаков, женатый на дочери Ф. И. Тютчева, Анне Федоровне. Говения, которым подвергался, как литератор, И. С. Аксаков, вызвали у Тютчева немалое раздражение. Что касается гр. Петра Андреевича Шувалова, то предположение, что эпиграмма относится к нему, имеет более серьезные основания. Во-первых, у него, повидимому, было прозвище—„Петр четвертый“. Об этом см. „Житейские встречи“ А. Ф. Кони („Голос Минувшего“, №№ 5—12, май—декабрь 1919 г.); во-вторых, личность гр. П. А. Шувалова была гораздо определеннее и выразительнее, как временщика и реакционера. Гр. П. А. Шувалов (1827—1889) одно время состоял директором департамента общих дел министерства внутренних дел и управляющим III-м отделением собственной Е. И. В. канцелярии. Будучи шефом жандармов, он пользовался почти неограниченной властью с 1866 по 1874 г. О его реакционной деятельности немало замечок у А. В. Никигенько, который, впрочем, его имя постоянно упоминает рядом с именем П. А. Валуева.

Вторая эпиграмма того же типа относится к моряку, адмиралу Самуилу Моисеевичу Грейгу (1827—1887), который с 1866 года неожиданно был приглашен на пост товарища министра финансов.

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе как рак,
Кто ж тут спасет, кто пособит.
Ну, кто ж, коль не моряк.

Эта эпиграмма имеется в автографе карандашом на клочке белой писчей бумаги с поправкою синими чернилами также рукою Ф. И. Тютчева; четвертая строка первоначально читалась: „сел и сидит, как рак“. В альбоме М. Ф. Бирилевой имеется копия этой эпиграммы.

Наконец, к шестидесятым годам относится, еще одна эпиграмма:

Когда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский.
Была крестьянской ты набой--
Теперь ты сделалась лакейской

И эта эпиграмма имеется в автографе — пером, черными чернилами, на клочке писчей желтоватой бумаги—без вариантов. Она же в копии—в альбоме М. Ф. Бирюковой—без всяких разночтений, если не считать пунктуации, которая у поэта обычно или вовсе отсутствует, или совершенно произвольна и случайна.

Каков смысл этой эпиграммы? Совпадает ли она со взглядами Тютчева на положение вещей в ту эпоху?

Ф. И. Тютчев сочувствовал внутренним реформам шестидесятых годов и, как умный человек, не мог им не сочувствовать, сознавая их насущную и очевидную необходимость. Но это сочувствие было ограничено решительным отвращением ко всему, что напоминало ему об эгалитарных принципах западно-европейской революции. Тютчеву правился иерархизм старой дореволюционной Европы и только в нем он видел положительные культурные традиции. Либеральные расчёты были ему чужды и неприятны. Русский радикализм шестидесятых годов казался ему провинциальным. И, обращаясь к нашим тогдашним радикалам, Тютчев укорял их в непонимании самой идеи европейской культуры:

Напрасный труд. Нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее;
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гниешь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы.

Освобождение крестьян, земские учреждения, новый суд присяжных—на все это Тютчев смотрел без вражды, с сочувственным вниманием. Но все эти реформы—не предмет его веры, и не они занимают его воображение и сердце. Зато, как только возникает вопрос об умалении русского великодержавия, настоящем или даже мнимом, Тютчев делается пристрастным, и явно, что это для него единственно важное и значительное. Его интересует история на ее больших путях, когда открываются отдаленнейшие цели мировой культуры, когда сталкиваются прямо противоположные начала, взаимно друг друга исключаящие—католицизм и революция, западная внешняя цивилизация и органическая культура и т. п.

Поэту кажется, что там, в этих больших планах мировой жизни, он предчувствует грядущие события:

Его призывали всеблагие,
Как собеседника на пир...

Но тут, дома, в сумерках петербургской жизни, поэт близорук. Он все надеется почему-то, что та власть, которую он сам называет глупой и ничтожной, что эта власть вдруг поймет свое предназначение и признает за нацией ее право на свободу. Когда он видит попытки общества выйти из круга отеческой опеки, ему кажется, что все это не то, что это внешнее подражание Западу, и он смеется над этими попытками. Вот, например, 11 января 1865 года московское дворянство подало адрес государю о созыве народных представителей. Но этот адрес раздражает поэта.

отца Николая Колибергского, уволенного за чрезмерно христианское отношение к арестантам, посетил разметаившихся на полу и дрожавших от холода и голода каторжан и спросил:

— Не могу ли я чемнибудь помочь вам... но только в пределах, дозволенных тюремным уставом,—добавил он, покраснев от смущения.

— Нет, батюшка, обойдемся уж без вас,—ответили ему.

Кому то удалось послать несколько заметок в местную „Псковскую Жизнь“, газету, все время разоблачавшую непорядки нашего централа. Заметки эти были перепечатаны и в столичных органах. Губернатор Медем откомандировал своего адъютанта, жандармского ротмистра Злобина, который вместе с Петрушкой обходил голодовщиков и подробно обо всем спрашивал их. Не знаю, по инструкции ли Медема, в общем всегда корректно относившегося к каторжанам, или он это делал сам по себе, но Злобин вполне определенно выражал свое сочувствие протестантам и открыто признавал основательность всех их требований.

— Надо кончать,—многозначительно заявил он в присутствии всех начальнику, и... Тот уступил... Грозный и свирепый Петр Иванович Черлениовский пригласил к себе Шиндера, Сафонова и еще кого то из депутатов и дал им честное слово офицера в том, что все требования будут удовлетворены. Произошло это на четвертый день голодовки.

— Это было месяца через три после голодовки. Я в то время находился уже в Орловском центре, куда меня вместе с другими перевели из Пскова на окончательное исправление. Однажды на прогулке мне шопотом сообщили, что Черлениовский переведен начальником Тверских арестантских рот. Это было несомненно понижение по службе.

П. И. Черлениовский не выдержал такого удара и вскоре без видимой причины умер.

Не знаю, придется ли ему на том свете отвечать за те страдания и оскорбления, которые он наносил своим ближним здесь на земле... А этих страданий и оскорблений, этой муки и этих слез было в Псковском центре много, ох как много...

В 1912 г. в Псков назначен был новый начальник, пошли новые порядки. Кое в чем стало лучше, кое в чем хуже, но специфически Петрушкин режим отошел в прошлое, кавул в вечность вместе со своим творцом.

— Да будет же ему тяжела земля!

И. Генкин.

Русская революционная эмиграция.

Записка Я. В. Стефановича.

В делах департамента полиции, находящихся ныне в рукописном отделении библиотеки Академии Наук¹⁾, среди бумаг бывших директоров нашлась синяя папка с надписью „Стефанович“, содержащая ряд документов, относящихся к покойному Я. В. Стефановичу. Среди этих документов оказалась собственноручная записка Стефановича о русской революционной эмиграции, составленная им по поручению Плеве в 1882 году, когда С. содержался под арестом при III Отделении. Записка написана в двух экземплярах: черновик, со многими поправками автора, и беловом, с пометками Плеве и, повидимому, канцеляриста, переписывавшего записку для более высокого лица, надо думать — для Александра II. Вероятно, это та самая „история революционного движения“ или „записка“ об этом движении, которую будто бы писал Стефанович, пользуясь доставлявшимися ему материалами и текущими делами из департамента полиции, около содержания и характера которой возник спор между г. Тютчевым („Былое“ №№ 10—11, „Здание у Цепного моста“) и В. И. Засулич („Былое“ № 13, „Правдивый исследователь старины“). Написанный сжато, но обстоятельно и точно, очерк это обрисовывает и характеризует всю революционную эмиграцию и дает точное определение удельного веса различных групп русской эмиграции. Такого рода данные не были до того времени в распоряжении Плеве и департамента государственной полиции и современный читатель может ныне ответить на вопрос, был ли „предателем“ в собственном смысле этого слова Стефанович или его записка, составленная в проническом, а иногда и явно недоброжелательном по отношению к эмиграции тоне, содержит в себе если и не предательство, то очевидную нескромность, совершенно неуместную в устах революционера и в записке, предназначенной для директора департамента государственной полиции.

Записка печатается по беловому ее экземпляру, ²⁾ с соблюдением орфографии подлинника.

Ө. Покровский.

¹⁾ В настоящее время все дела департамента полиции из рукописного отделения библиотеки Академии Наук переданы в Историко-Революционный фонд. *Ред.*

²⁾ Находка, сделанная Ө. И. Покровским, еще не решает вопроса о том, исчерпывается ли литературная деятельность Я. В. Стефановича, во время его

Николая I. Вместе с его смертью рухнул безвозвратно особый мир, поколеблены были начала, которые казались до Севастопольской кампании прочными и твердыми.

В своих неизданных записках Анна Федоровна Аксакова, дочь Федора Ивановича Тютчева, рассказывает, между прочим, что когда она посетила дом родителей в день смерти императора, поэт по поводу волнения членов семьи заметил: „Как будто вам возвестили, что умер Бог“: „C'est comme si on vous annonçait, que Dieu est mort“...

К этому времени, вероятно, относится эпитаграмма-эпиграмма Ф. И. Тютчева, посвященная покойному императору. До сих пор она не была опубликована. К сожалению, автографа ее не сохранилось, но за то есть достоверная копия, сделанная рукой дочери поэта Марии Федоровны Бирилевой. Копия эта находится в ее альбоме, который почти весь наполнен стихами Ф. И. Тютчева, или в его автографах, или в копиях. Только в конце тетради после нескольких белых страниц, на последних листах имеются стихи князя П. А. Вяземского и П. С. Аксакова. Эпитаграмма на Николая I помещена в первой части альбома среди стихов Ф. И. Тютчева. Над стихотворением надпись— Н. П. (Николаю Первому). То, что эта эпитаграмма действительно принадлежит Ф. И. Тютчеву, подтверждается прочным семейным преданием. Внуки поэта слышали неоднократно из уст их тетки, Дарьи Федоровны Тютчевой, рассказ о том, что Ф. И. Тютчев написал на смерть Николая I-го эпитагму-эпитафию со столь резкой оценкой личности императора, что жена поэта, Эрнестина Федоровна, весьма смущалась самым фактом существования такого документа. Эпитаграмма считалась утраченной, пока внуки поэта не нашли альбом своей тетки Марии Федоровны Бирилевой. Но самым существенным доводом в пользу того, что эта эпитаграмма принадлежит Тютчеву, приходится считать ее тон, столь своеобразный, что едва ли можно ее отнести к категории *dubia*. Текст эпитаграммы таков:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои и добрые, и злые,—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Возникает невольно вопрос—мог ли Ф. И. Тютчев, патриот и монархист, произнести столь жестокий приговор покойному императору. И не противоречит ли эта эпитаграмма славянофильской идеологии поэта. Я полагаю, что в устах Тютчева эта эпитаграмма вовсе не является неожиданной. Эпитагму эту можно рассматривать в двух планах. Во-первых, как характеристику личности Николая I-го, независимо от какой-либо идеологии и, во-вторых, как оценку той политической системы, представителем коей был император. При рассмотрении эпитаграммы в первом плане мы, к сожалению, встречаемся с некоторым затруднением: в документах, по крайней мере в тех, которые опубликованы, и в тех, с которыми мы успели ознакомиться в рукописях, очень мало данных для суждения об отношении Тютчева к личности Николая I-го,—но, впрочем, то немногое, что нам известно, несколько не противоречит содержанию эпитаграммы. В дни опубликования манифеста о восшествии на престол императора Александра II-го, Тютчев писал барону Пфеффелю: „Мы безусловно злоупотребляли манифестом за последнее время. Это не значит, что наш бедный

покойный император питал склонность к фразе, напротив, он довел страх перед фразой до крайности, ибо этот страх заставил его лично поклясться в ненависти ко всей прессе". И далее в том же письме: „Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь ни границ, ни пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все без исключения одурели". По поводу Севастопольской катастрофы Тютчев писал об императоре Николае: „Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость" (*la monstrueuse inertie*) „этого злополучного человека". Вот мнение поэта об императоре.

При рассмотрении эпиграммы на Николая I-го, в связи с оценкой всей тогдашней политической системы, мы находим более определенные данные... Политическая система Николая вовсе не совпадала с убеждениями и взглядами Тютчева. Правда, Тютчев мог, пожалуй, подписаться под павестной формулой гр. Уварова—„православие, самодержавие и народность",—но понимание этих идей было различно у поэта и у руководителей нашей правительственной системы, вдохновляемых царем.

Православие в представлении Тютчева вовсе не совпадало с „ведомством православного исповедания", во главе которого стоял тогда, кстати сказать, единомышленник Уварова—полковник лейб-гвардии гусарского полка, впоследствии генерал-адъютант, Н. А. Протасов. „Самодержавие" правилось, быть может, Тютчеву, как „органически сложившаяся национальная власть", которую можно противопоставить механическому принципу власти западно-европейской, но в николаевскую эпоху самодержавие явно клонилось в сторону бюрократического и династического абсолютизма. А поклонником „Корана самодержавия" Тютчев никогда не был. Накопец, с „народностью" было уже прямое недоразумение, ибо официальная народность противопоставлялась национальной идее, как началу, ей враждебному. В 1847 году было, между прочим, официально предписано бороться со „стремлением некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма".

Иностранная политика русского правительства также мало могла удовлетворить Ф. И. Тютчева, как и политика внутренняя. Если любимые его идеи не совсем совпадали с идеями Хомякова, Аксаковых и Самарина, то еще менее они совпадали с идеей тогдашней официальной России. Поэту хотелось, чтобы правительственная программа выражала мнение страны, чтобы она опиралась на национальное самосознание общества, но Россия в то время безмолвствовала, как пушкинский народ в „Борисе Годунове", а представители власти боялись „необузданных порывов патриотизма" едва ли не более, чем прямого отрицания национальной идеи.

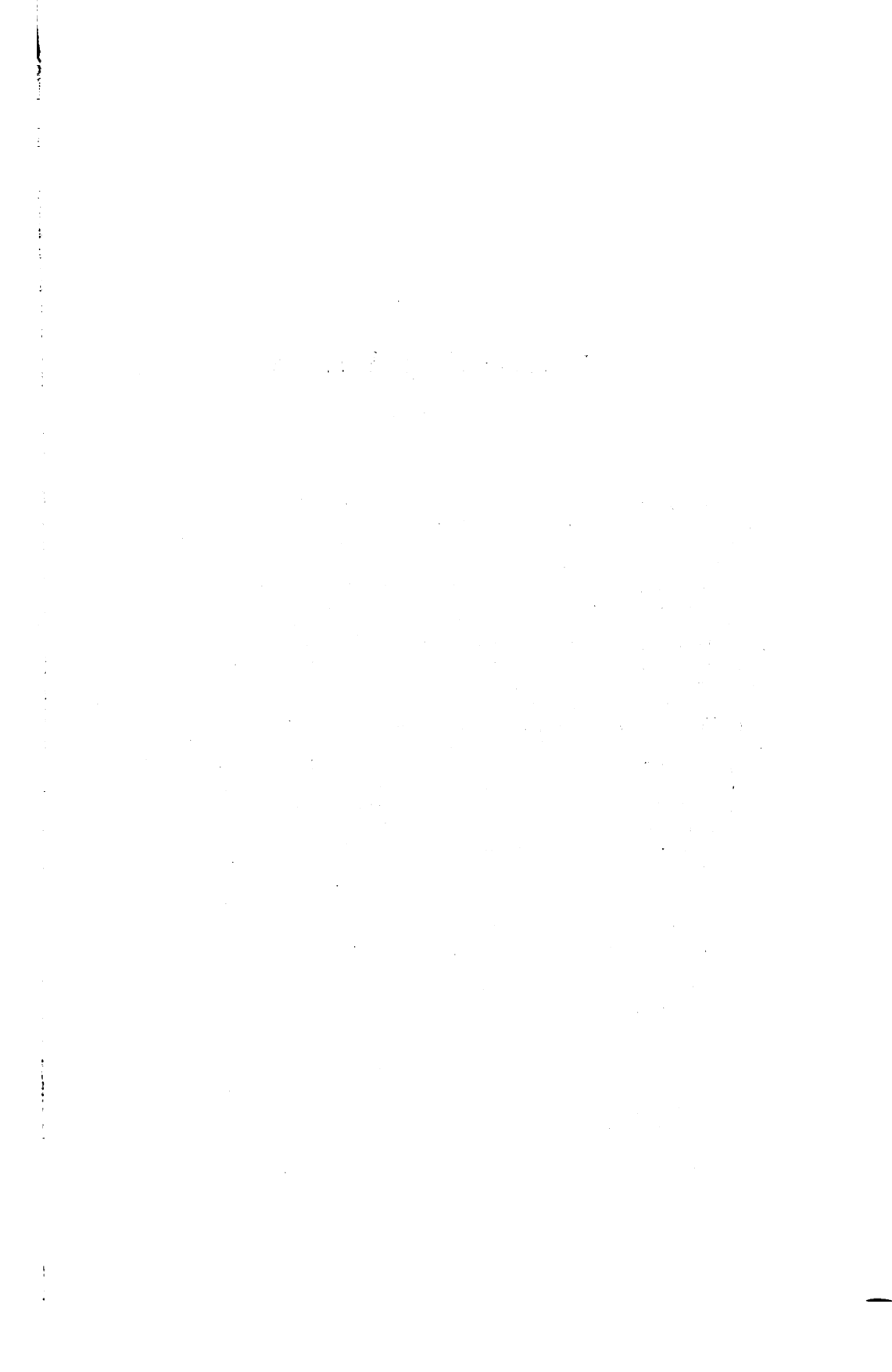
И вот, когда наступили дни испытаний, страдные дни Севастопольской кампании, Тютчев с ужасом убедился в совершенной слабости и лживости той правительственной системы, которую поддерживал Николай I. Сначала в письмах Ф. И. Тютчев ограничивается замечаниями по адресу руководителей нашей политики. Но вскоре прония Тютчева сменяется тревогой. Он знает, что наступают события величайшей важности, что „суд идет" и, к своему ужасу, видит вокруг себя не лица человеческие, а страшные равнодушные маски: это приворочья бюрократическая и светская чернь пирует во время

нальной окраски—всего нѣсколько человѣкъ, группирующихся около редакціи газеты „Свѣтъ“, издающейся въ Львовѣ. Народныя книжки на украинскомъ языкѣ рассылаются по почтѣ въ нѣсколько деревень, извѣстныхъ Павлику, третьему редактору Громады, родомъ изъ галиційскихъ крестьянъ (теперь эмигрантъ въ Женевѣ). Съ русскими революціонерами эта группа болѣе или менѣе правильныхъ сношеній не имѣетъ, хотя Драгомановъ неоднократно пытался завести таковыя съ южными дѣятелями. Такъ, напримѣръ, когда у нѣкоторыхъ лицъ явилось намѣреніе издавать конституціонную газету, онъ предложилъ свое сотрудничество, вошелъ въ переписку съ этими лицами; но предпріятіе почему-то не осуществилось. Были попытки сойтись также съ кружками Чернаго Передѣла позднѣйшей формаціи, но и онъ ни къ чему реальному не привели. Что касается Народной Воли, то хотя Драгомановъ и предлагалъ ей свои литературныя услуги, но вслѣдствіе его неблагопріятныхъ отзывовъ о русской партіи въ иностранной печати, эти предложенія отклонялись. Вообще Драгомановъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь за границей, ищетъ путей своему вліянію на ходъ и направленіе русскаго движенія. Съ этой цѣлью онъ пишетъ брошюры на русскомъ языкѣ, сотрудничаетъ въ русскихъ заграничныхъ изданіяхъ, никогда не упуститъ случая познакомиться съ временно пріѣзжающими изъ Россіи; ведетъ дѣятельную пропаганду федералистическихъ идей среди эмиграціи и главнымъ образомъ среди учащейся молодежи, а эти идеи для настоящаго времени сводятся, по его мнѣнію, къ группировкѣ оппозиціонныхъ элементовъ по національностямъ и къ пропагандѣ на языкахъ тѣхъ національностей, среди которыхъ данныя группы дѣйствуютъ. Были съ его стороны попытки основать литературныя кружки изъ эмигрантовъ. Такъ, подъ его вліяніемъ образовался еврейскій кружокъ съ цѣлью литературной пропаганды на этомъ именно языкѣ. Но все дѣло ограничилось тѣмъ, что было написано самимъ же Драгомановымъ и, разумѣется, порусски воззваніе къ евреямъ съ просьбой содѣйствія цѣлямъ возникшаго кружка. Воззваніе не проникло въ Россію, и кружокъ распался: два изъ его членовъ¹⁾ съ разрѣшенія графа Лорисъ-Меликова возвратились въ Россію, а третій (не эмигрантъ) поступилъ въ Женевскій университетъ. Затѣмъ Драгоманову удалось найти, изъ эмигрантовъ одного бѣлорусса и образовать съ нимъ бѣлорусскій литературный кружокъ. Была переведена на этотъ языкъ брошюра „Про богатство та бѣдность“ (которой въ Россіи нѣтъ ни одного экземпляра), а другія проявленія существованія этого кружка затѣмъ не воспослѣдовало. Какъ ни ничтожны всѣ подобныя попытки, Драгомановъ всегда оповѣщаетъ о нихъ въ иностранныхъ газетахъ, какъ о фактахъ, свѣдѣтельствующихъ, что его тенденціи находятъ для себя почву и пріобрѣтаютъ право гражданства среди „всероссійскихъ социалистовъ“. Кромѣ трехъ названныхъ лицъ, къ группѣ Громады относится Ляховскій, главный наборщикъ ея типографіи, которая помѣщается совместно съ типографіей „Работника“. Со стороны послѣдняго главнымъ наборщикомъ служитъ Жилка, старый эмигрантъ, работавшій еще при „Колоколѣ“. Кромѣ нихъ въ типографіи работаютъ Гутерманъ, Василевскій и др.

Группа „Набатъ“ никогда не имѣла вліянія на направленіе рево-

¹⁾ На полѣ рукою Плева написано: „кто именно“? Стефановичъ отвѣтилъ: „Николай-псевдонимъ одного, другого не помню“.

революціонного движенія въ Россіи, не смотря на огромныя претензіи въ этомъ смыслѣ. Съ самого начала своего существованія эта газета не пользовалась большимъ распространеніемъ среди кружковъ, которымъ очень хорошо было извѣстно, что никакой организаціи, ее поддержи-
вающей, не существуетъ кромѣ нѣсколькихъ женщинъ (Южакова, Опанина). Между тѣмъ „Набатъ“ всегда фигурировалъ, какъ органъ какой-то сильной партіи, съ санкціи и на средства которой онъ, будто бы, и издается. Иностранцы этому вѣрили, но въ Россіи эта мистификація совершенно не достигала цѣли. В сущности же „Набатъ“ основанъ по инициативѣ эмигрантовъ: Ткачева, Дементьевой и Турскаго. Выдавая себя за уполномоченныхъ какой-то сильной централизованной организаціи, этимъ лицамъ удалось привлечь къ своему дѣлу еще нѣкоторыхъ и, между прочимъ, богатаго человека Френка, на средства котораго, главнымъ образомъ, и существовало изданіе. Какъ извѣстно, Набатъ всегда проповѣдывалъ крайне рѣшительный образъ дѣйствій, съ пренебреженіемъ относился къ пропагандѣ социализма, а къ пропагандѣ знанія вообще—въ особенности; старался всѣми способами дискредитировать Лаврова и его „Впередъ“ въ глазахъ молодежи и являлся сторонникомъ преимущественно кровавыхъ дѣйствій. Когда революціонное движеніе въ Россіи дѣйствительно выступило на этотъ путь, Набатъ постыдился приписать такой поворотъ въ тактикѣ революціонеровъ главнымъ образомъ своему вліянію. Онъ объявилъ, что образовалось тайное общество „Народнаго Освобожденія“ на самыхъ строгихъ организаціонныхъ началахъ и, хотя не прямо, но давалъ ясно понять, что всѣ политическія убійства въ Россіи—результатъ приговоровъ этого общества, официальнымъ органомъ котораго онъ, Набатъ, уполномоченъ быть. Это показалось слишкомъ нахальнымъ посягательствомъ на, такъ сказать, чужую ответственность, и вотъ въ 8 № „Общины“ появилось заявленіе за подписью Засуличъ, Кравчинскаго, Стефановича и др., заявленіе, которымъ опровергалось какъ вліяніе Набата на революціонное движеніе въ Россіи, такъ и существованіе общества „Народнаго Освобожденія.“ Вслѣдствіе такого заявленія, исходящаго отъ лицъ, пользовавшихся авторитетомъ, нѣкоторые эмигранты, группировавшіеся около Ткачева и Турскаго, порвали съ ними всякія сношенія (въ числѣ таковыхъ были Френкъ, Григорьевъ и другіе) и Набатъ съ этого времени прекращаетъ свое существованіе. Хотя тенденціи Набата вполне аналогичны съ тѣмъ направленіемъ, какое стало господствующимъ въ Россіи за послѣднее время, группа его не можетъ считаться повинной ни въ нравственномъ ни въ какомъ бы то ни было другомъ вліяніи на образованіе этого направленія, несмотря на то, что претензіи на такое вліяніе всегда у него были велики. Личности и кружки, явившіеся пионерами террористическаго движенія, были искренними противниками Набата, а къ его группѣ относились, какъ компаніи слишкомъ нечистоплотной. Когда револьверъ уступилъ мѣсто динамиту, то и въ этотъ періодъ не было случая обращенія къ Набатчикамъ со стороны русскихъ революціонеровъ за какимъ-нибудь сочувствіемъ или съ какимъ-нибудь предложеніемъ. Уже долго спустя послѣ распада этой группы, когда въ 1880 г. за границу эмигрировали Морозовъ и Любатовичъ, Турскому, Лакіеру и еще кому-то изъ Набатчиковъ удалось сойтись съ этими лицами на почвѣ возстановленія въ Набата въ Россіи. Чтобы напомнить о немъ, выпустили одинъ № его издаваемой (после 1-го марта), затѣмъ часть шрифта успѣли даже



Рабочий Петр Алексеев.

(Из воспоминаний.)

I.

„Рабочий Петр Алексеев“—под таким преимущественно названием известен в интеллигентной и рабочей среде пропагандист 70-х годов, судившийся по процессу 50-ти, ткач по профессии, Петр Алексеевич Алексеев, крестьянин Смоленской губ.

Свою громкую известность он получил после произнесения им, действительно замечательной, речи—своего „последнего слова“, этого обвинительного акта против существовавшего строя. За это он и был приговорен к нескольким годам каторги. Это было в 1877 году, когда отпечатанные нелегально оттиски речи Алексеева распространялись среди тогдашней молодежи и зачитывались в буквальном смысле слова до дыр. Впечатление было ошеломляющее, незабываемое до сих пор. Как удары молота, и теперь еще звучат в ушах сильнейшие места речи, облетевшей всю Россию и произведшей впечатление пушечного выстрела по существующему строю. Недаром Алексеева, против которого почти не было никаких улик, „закатали“ в каторгу, запрятали в Харьковскую центральную тюрьму, вместе с другими „заживо погребенными“; только во время „диктатуры сердца“, в 1880 году, этих заживо погребенных выпустили из тюрьмы и решили отправить в Сибирь, на Кару. Речь Алексеева проникла в самое сердце и душу тогдашней молодежи, которая страстно желала посвятить все свои силы для облегчения народных страданий. Такое же незагладимо сильное впечатление, как и на других, произвела речь Алексеева и на меня. Несомненно, она сыграла большую роль в деле идеализации рабочих вообще и, в частности, рабочих, ставших интеллигентными.

Для того, чтобы читатели еще раз могли убедиться в красочности и силе этой речи, позволяем себе перепечатать ее здесь полностью:

„Мы, миллионы людей рабочего населения,—говорил П. Алексеев в заседании особого присутствия Правительствующего Сената 10 марта 1877 года,—чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за него вознаграждения. Девяти лет—мальчишками нас стараются с хлеба долой на заработки. Что же там нас ожидает? Понятно, про-

даемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало—на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов. В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми рабытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются, всевозможными способами, отнимать у рабочих последнюю трудовую копейку и считать этот грабеж доходом. Самые лучшие, для рабочих, из московских фабрикантов—и те, сверх скудного заработка, эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту на сдельную работу, беспрекословно и с точностью исполнить все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-тичасовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других.

Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-тичасовой дневной труд—и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу устатую руку, и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-тичасовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных

ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а об нас отзываются, как о народе рабском и полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бегунья? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как „Бова Королевич“, „Еруслан Лазаревич“, „Ванька Каин“, „Жених в чернилах и невеста во щях“ и т. п. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении — тогда уже держись! Ему прямо говорят: „ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги“. И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеет и веселится за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он нечувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутинные и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды, думал обеспечить свою будущую судьбу, благодаря царя и правительства, — 19-го февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном! Эта крестьянская реформа 19-го февраля 1861 года, реформа „дарованная“, хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда негодной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него, за исключением праздничного

дня, все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие их сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях,—значит—они все крепостные! Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь,—значит, мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края,—значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон,—значит, мы крепостные!

Из всего мною выше сказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи.

Председатель (вскакивает и кричит). Молчите! Замолчите!

Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает). Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших братьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель (волнуется и, вскочив, кричит). Молчать!

Петр Алексеев (возвышая голос) ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..¹⁾

¹⁾ Литература о Петре Алексееве: 1) Речь рабочего Петра Алексеева „Листовка“. Нелегальное издание 1877 г., 2) „Вперед“. Том V. 1877. Лондон редакция П. Л. Лаврова и П. Смирнова. (Перепечатана речь Алексеева.) 3) Русский ткач Петр Алексеевич Алексеев. Воспоминания Ф. Волховского. Издание „Рабочего Знамени“, 1900 г. 4) Государственные преступления в России в XIX в. Сборник из официальных изданий правительственных сообщений. Составлен под ред. В. Базилевского. Том II (1877 г.). Вып. I. 1904. Штуттгарт. Помещен обвинительный акт по „процессу 50-ти“. Две речи. I. Речь Петра Алексеева. Предисловие Г. Плеханова. К-ство „Новый Мир“. (Спб., 1906). Стр. 32. Здесь же, стр. 31—32, помещено стихотворение „Петру Алексееву“ Вербовчанина (Ф. Волховского?). 6) Ф. Волховский. Ткач Петр Алексеевич Алексеев. Спб. 1906. К-ство „Народная Воля“. № 18. Стр. 16. Здесь же, стр. 12—16, напечатана речь Алексеева. 7) „Былое“ 1906, IX, 110 (Воспоминания чайковца С. С. Синегуба); 1907, IV, 184. (В Мценской „гостинице“ Н. А. Виташевского); IX, 190, X, 194 (Процесс 50-ти И. С. Джабадары); X, 113 (К биографии П. А. Алексеева, циркуляр департамента полиции от 28 ноября 1891). 8) Революционная Россия. В. Жандр (Никитина). Пер. с франц. К. Д. Спб. 1907. Издание „Популярно-Научной Библиотеки“. Стр. 43—49, речь Але-

II.

Еще в 1906 году редакция „Былого“, в лице покойного В. Я. Богучарского, предложила мне дать ей, для напечатания в журнале свои воспоминания об Алексееве, и я, в свою очередь, обратился к некоторым товарищам его по каторге и ссылке с просьбой помочь мне в данном случае и поделиться своими воспоминаниями. На мое обращение откликнулись тогда же: Н. А. Виташевский, И. С. Джабадари, В. А. Данилов, С. Ф. Ковалик, Г. Ф. Осмоловский. В проспекте журнала „Былое“ на 1907 год было объявлено, что между многими другими статьями будут напечатаны и мои воспоминания о „рабочем Петре Алексееве“. Тогда мне не пришлось исполнить желания редакции „Былого“, так как ко мне обратились с предложением дать какую-нибудь литературную работу нуждавшейся в заработке г-же Лойко, автору известной брошюры „Что читать пропагандисту“, и я отдал ей весь собранный мною материал. По использованию этого материала г-жа Лойко вернула его мне обратно, но в печати ее статьи увидети мне не удалось, так как „Былое“ к этому времени дышало на ладан и вскоре было закрыто. Ныне, пользуясь некоторым досугом, вследствие постигшей меня болезни, и благодаря любезному содействию д-ра А. Д. Аловского, согласившегося писать мои воспоминания под диктовку, я на нижеследующих страницах, при характеристике личности Алексеева и описании его пребывания в тюрьмах, на каторге и на поселении, привожу дословно доставленный мне упомянутыми лицами материал с указанием авторов того или другого отрывка.

Литература об Алексееве чрезвычайно бедна. Тщетно вы будете просматривать обвинительный акт по процессу 50-ти с намерением найти там какие-либо биографические данные: скудные сведения находим мы и в посвященной Алексееву брошюре Ф. Волховского⁹⁾.

Даже ближайшие товарищи Алексеева не обладали требуемым материалом, хотя и были с ним в тесных сношениях в течение целого ряда лет,—столь неинтересными такого рода данные были в представлении его товарищей, как и вообще активных деятелей того времени. Вот что писал мне, напр., 7 февраля 1907 г. И. С. Джабадари на мою просьбу сообщить все, что он знает о жизни Алексеева на воле:

„С удовольствием поделился бы, без всяких условий, биографическими сведениями о покойном Петрухе, но, к сожалению, биографических сведений, в тесном смысле этого слова, у меня не имеется. Он был со мною с декабря, или, вернее, с октября 1874 г. по 15 мая 1883 г., т.-е. почти 9 лет, но биографических сведений друг о друге мы не знали, да и некогда было об этом говорить. Как-то раз, на Каре, он пришел ко мне с заплаканными глазами и сообщил, что отец его, старик 80-ти лет, скончался и перед смертью

ксеева. 9) Эд. Пекарский. Памяти рабочего Петра Алексеева. „Воля Народа“ 1917, № 93. 10) Вера Фигнер. Дополнительная заметка (без особого заглавия) к предыдущей статье. „Воля Народа“ 1917, № 100. 11) Ю. М. Стеклов. Борьба за социализм. М. 1918. Стр. 126—140 (речь Алексеева и воспоминания о нем Ф. Волховского. Э. II.).

¹⁾ Волховский озаглавил свою брошюру „Ткач Петр Алексеевич Алексеев“. Но разве для Алексеева характерно то, что он был ткачем? Не характернее ли название „рабочий Петр Алексеев“? Под этим именем его знает вся мыслящая Россия. Можно подумать, что речь идет о каком-либо другом Алексееве, а не о всем известном своему делу революционере. Э. II.

вспоминал своего Петруху. У Петра было, кажется, еще два брата, Никифор и Влас, которые также работали в нашей Московской организации, но они были еще очень юными; где они теперь, не знаю, но их легко разыскать по обвинительному акту по прощ. 50-ти. Следует съездить в Смоленскую губернию, Гжатский (Сычевский?) уезд и там найти всю его многочисленную родню; род Алексеевых весьма многочисленный и очень хорошо относившийся к Петрухе; там вы получите настоящие биографические данные. У меня есть лишь факты о его деятельности в Питере, Москве, о пребывании в Центральной тюрьме, в Мценске, на пути в Сибирь, на Каре и, наконец, о проезде его через Киренск; но обо всем этом я говорю в своих воспоминаниях за этот период ¹⁾ и эти сведения окрашены тем субъективизмом, который лишает их биографического характера“.

Такою же неосведомленностью отзывались и остальные товарищи, к которым я обращался за биографическими сведениями. Поэтому приходится поневоле ограничиться тем немногим, что можно извлечь из собранного мною материала.

III.

Алексеев родился 14 января 1849 г. ²⁾ в бедной крестьянской семье, в деревне Новинской, Сычевского ³⁾ уезда, Смоленской губернии. Грамоте он научился уже взрослым, пройдя всевозможные роды тяжелой крестьянской работы и по поступлении уже на ткацкую фабрику. „В 16—17 лет он сам собою, без помощи настоящего учителя, научился читать и писать. Позже, когда ему было уже за двадцать, он случайно столкнулся с революционерами“ ⁴⁾. В 1873 году к осени, у фабрики Торнтонна, за Невской заставой, жил для целей пропаганды чайковец Синегуб с женой. „Число приходивших к нему рабочих вскоре так возросло, что он должен был пригласить к себе на помощь сначала двух товарищей из вспомогательного кружка, а затем перетаски к себе и Перовскую... На руки последней Синегуб передал пришедшего к нему как-то Петра Алексеева с 4 товарищами. Петр Алексеев не был тогда затронут революционной пропагандой и желал просто учиться, „жаждал чистой науки“, как говорил Синегуб. Особенно привлекала его почему-то геометрия ⁵⁾“.

Революционеры, молодые люди и девушки, большую часть принадлежавшие к интеллигентному слою общества, „не только обсуждали с Алексеевым общее положение дел, отвечали на вопросы, на которые он раньше нигде не мог найти ответа, но еще снабжали книгами, которые он жадно читал по ночам, после долгой дневной работы“.

¹⁾ „Былое“, 1907, IX и X. Э. II.

²⁾ По Гориничу (список политических каторжан Карийской тюрьмы, рукопись); тот же год значится в статье Г. Ф. Осмоловского: „Карийцы“ („Мин. Годы“ 1908, VII, 125), тогда как в „Былом“ (1907, X, 114) год рождения, по официальным сведениям, показан 1851-й (Цирк. департ. полиции 28 ноября 1891, № 4898).

³⁾ Ср. в письме Джабадари указание, что родня Алексеева находится в Гжатском (?) уезде Смоленской губ.

⁴⁾ Волховский, стр. 3.

⁵⁾ Ш и ш к о. С. М. Кравчинский и кружок чайковцев, стр. 31 (отд. оттиск из № 3 „Вестн. Русск. Револ.“, изд. Партии С.-Р.).—Сообщено Н. А. Виташевским.—Подробнее см. об этом в воспоминаниях самого С. С. Синегуба („Былое“, 1906, IX, 119).

Значительная часть этой литературы была подцензурная, но хорошо подобранная. То же, что было недоговорено или искажено в подцензурных книжках, разъяснялось и говорилось прямым языком в изданиях революционных. А народная революционная литература была тогда в расцвете... Таким образом Петруха получил возможность не только сам понять подкладку вещей, но еще и распространять истину среди своих товарищей*.

Конечно, он схватился за эту возможность со всем пылом новичка, перед которым внезапно открылся свет, но в то же время и со всею практичностью мужика и фабричного, знавшего, с которой стороны подойти к человеку своей среды и как с ним говорить. Он поступал на известную фабрику, работал на ней некоторое время и, когда убеждался, что колесо пропаганды пошло в ход, переходил на другую. Подчас ему приходилось скрываться внезапно, когда книжки попадались, и ему грозила опасность немедленного ареста, но это бывало редко. Хотя в обвинительном акте по процессу 50-ти упоминается, в связи с именем Алексеева, всего две фабрики, но товарищи впоследствии говорили Ф. Волховскому о пропагандистской деятельности Алексеева, как об очень ценной и успешной.

„Четвертого апреля¹⁾ 1875 г. Алексей был арестован в Москве вместе с 8 товарищами, из которых двое были женщины. Они были взяты на их общей квартире, в доме Корсака. Хотя все они (кроме одной девушки) были одеты по-крестьянски, на самом деле лишь трое—сам Алексей, Пафнутий Николаев и Семен Аганов—были рабочие; остальные были бывшие студенты и студентки, жившие по крестьянским и мещанским паспортам и занимавшиеся пропагандой (Джабадаря, Ал. Лукашевич, В. Георгиевский, Чикондзе, Бардина и Каминская).

Тюрьма начала совершенно новый период в жизни Алексева... Запертому в четырех стенах, ему нечего было больше делать, как читать (когда давали книги), размышлять, да урывками разговаривать или переписываться с товарищами, стоявшими выше его по образованию. Два года тюрьмы, несомненно, прояснили много в его уме и укрепили те чувства, те взгляды, из-за которых он туда попал... Он отказался выбрать себе защитника, говоря: „Что мне защищаться! Какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что в подобных процессах приговор суда бывает составлен заранее, так что весь этот суд есть не более как комедия: защищайся, не защищайся—все равно! Я отказываюсь от защиты“.

„Последнее „слово“ Алексева было в действительности обвинительною речью по адресу тогдашнего государственного строя. За свою речь Алексей получил десять лет каторжных работ в рудниках. (Волховский, стр. 4—11).

Насколько власть опасалась влияния речи Алексева на грамотную Русь, доказательством служат те преследования, ко орым правительство подвергало издания: „Две речи“ и „Ф. Волховский. Ткач Петр Алексей“.

Речь Алексева производила неотразимое впечатление на молодежь именно потому, что она принадлежала крестьянину-рабочему, представителю того самого элемента, приобщение которого к революции так страстно жаждала тогдашняя революционная интеллигенция.

¹⁾ По Горьковичу, третьего апреля. Э. П.

то не испытывал высокого чувства удовлетворения, когда ему удавалось делать какого-либо простолюдина человеком, сознательно относящимся к данным политическим и общественно-экономическим условиям?

Казалось бы, Волховскому следовало бы знать, какого роста был покойный Алексеев, а между тем я с удивлением прочел у него, что Алексеев был низкого роста, когда в действительности он был роста, во всяком случае, выше среднего (2 арш. 7½, вершк., по офиц. данным). Рост Алексеева скрадывался для наблюдающего, быть может, в зависимости от общей массивности его мощной фигуры. Наружность Алексеева описана Волховским в общем совершенно верно.

Он поражал шириною туловища—как в плечах, так и от груди к спине; массивные же руки и ноги казались вылитыми из чугуна. На этом богатырском теле покоилась крупная голова с крупными же, глубоко вырубленными чертами смуглого лица, с шапкою густых, черных, как смоль, волнистых волос и такими же, несколько курчавыми усами и бородой. Но всего лучше были глаза—ясные и пламенные: безукротимая энергия светилась в них, смешанная с добротой сильного человека. По внешнему облику лицо Петра легко было принять за лицо цыгана, если бы не его выражение—открытое, прямое и добродушное—чисто великорусское“ (стр. 1).

IV.

О времени пребывания Алексеева в тюрьмах Харьковской губернской и Мценской пересыльной, о путешествии в Сибирь, о жизни в Иркутской тюрьме и затем на Каре, вплоть до выхода Алексеева на поселение, дали мне свои воспоминания в 1907 году С. Ф. Ковалик и В. А. Данилов. Привожу их здесь целиком без изменений.

.....Все политические каторжане обеих централок¹⁾ Харьковской губ. позднюю осень 1880 г.—пишет С. Ф. Ковалик,—были сосредоточены в г. Харькове в губернской тюрьме, откуда и были направлены далее в мценскую пересыльную тюрьму. Большинство каторжан, особенно из печенежской централки, не могло похвалиться здоровым видом; только Петр Алексеев и Григорий Зданович, из всех обитателей Печенег, представляли в этом отношении отрадное исключение. У остальных, не говоря уже о четырех страдавших помешательством²⁾, бледные, исхудалые лица с землистым оттенком свидетельствовали о перенесенных ими страданиях. Радость свидания с товарищами и сознание, что ужасный режим централок остался позади, еще более оттеняли изможденный вид громадного большинства лиц.

„Обитатели обеих централок, сойдясь в одной общей камере бросились—одни знакомиться с новыми товарищами, другие—находить среди них старых знакомых. Петруха с особенным интересом беседовал с Андреевцами, которых он до того времени лично не знал, и вскоре подружился с ними. Лицо его сияло радостью; смотря на него трудно было поверить, что он арестант, лишенный главного благо человеческой жизни — свободы. Мир снизошел в его душу, быть может, в первый раз после нескольких лет, проведенных в борьбе с

¹⁾ Из Андреевской централки были привезены: Войнаральский, Ковалик, Рогачев, Сажин и Мышкин, незадолго до того переведенный из Печенег.

²⁾ Боголюбов. Плотников, Донецкий и Соколовский.

ужасным режимом централки. В числе других каторжан он вполне доброжелательно встретил харьковского губернатора Грессера, впоследствии петербургского градоначальника, приехавшего осведомиться о здоровье заключенных и обещавшего прислать им для переезда на вокзал железной дороги экипажи городских извозчиков. Это был один из редких случаев, когда администратор, в руках которого в известной степени была судьба арестантов, услышал от них невынужденное слово благодарности.

Петруха, как упомянуто выше, был более других в жизнерадостном настроении. Такие лица, как в то время у него, я встречал только у борцов освободительного движения в день издания манифеста 17 октября.

В Харькове централлисты пробыли недолго. Переезд их по железной дороге продолжался при общем подъеме настроения, которого не в состоянии были выдержать наиболее слабые из них. Во время бессонной ночи в вагоне то здесь, то там слышались истерические рыдания, и был даже случай проявления падучей болезни. Здоровые товарищи, и в том числе на одном из первых мест Петруха, ухаживали за больными и старались их успокоить, что и удавалось сравнительно скоро.

Роль сестры милосердия и сопряженная с ней некоторая усталость не ослабили жизнерадостного настроения Петрухи, и он веселый явился в мценскую тюрьму, где арестантов встретили начальник ее Побылевский, сразу установивший самые прекрасные отношения с арестантами. Для них у него не было ничего запретного, кроме выхода на волю, за пределы тюрьмы. Особенное удовольствие доставляла заключенным возможность присутствовать на всех свиданиях своих товарищей с родственниками и знакомыми. Здесь узнавались все новости и забывалось, что действие происходит в тюрьме. Это было в период самого пышного развития организации партии „Народной Воли“, которая по значению своему, казалось, конкурировала с тогдашним законным правительством.

На свидания изредка являлись лица в большей или меньшей степени участвовавшие в деятельности партии. Так, между прочим, приходил к своему брату Дмитрию — Рогачев, впоследствии повешенный за участие в военной организации партии „Народной Воли“. Петруха в числе других часто бывал на свиданиях и с интересом прислушивался к сообщаемым известиям.

Из всех рабочих, сидевших в мценской тюрьме, он был единственным завсегдатаем клуба для свиданий, устроенного в особых комнатах, напоминавших скорее частную квартиру, чем тюрьму. Между рабочими и интеллигентами, — товарищами по заключению, — не всегда могли установиться вполне естественные отношения. Интеллигенция, шедшая сама в народ, чтобы сделаться рабочими, не могла не идеализировать несколько класса работников и потому относилась к представителям его в тюрьме с особою предупредительностью: рабочие же, в свою очередь, не могли не чувствовать, что интеллигент относится к ним как-то иначе, чем друг к другу, и потому естественно проявляли некоторую подозрительность. Петр Алексеев был один из немногих рабочих, которые никогда не ощущали своего якобы неравноправия в среде товарищей, хотя бы и в сторону возвеличения трудящихся классов. Петруха совершенно одинаково относился ко всем товарищам, какого бы происхождения они ни были. В Мценске

он более всего сошелся с андреевскими централистами Коваликом, Рогачевым и отчасти Войнаральским.

„Как ни дружественны вообще были между собою отношения сидевших в мценской тюрьме, но, конечно, дело не обходилось без временных размолвок и недоразумений. В тех случаях, когда по каким-нибудь вопросам тюрьма делилась на два лагеря, Петруха всегда голосовал с группой, с которой он сошелся по своим революционным убеждениям и которую он считал наиболее активной, но в то же время вполне дружески относился ко всем заключенным, каких бы мнений они ни придерживались. Этому нисколько не мешала присущая ему некоторая резкость характера. У Петрухи, казалось, одинаково сильно развиты были индивидуализм и общественность. В силу первого из этих качеств он мог дать неожиданный отпор человеку, задвигшему неосторожно его внутреннее „я“, и вслед затем, в силу своей общественности, отнестись к нему, как к лучшему товарищу.

„Жизнь заключенных в Мценске была для них своего рода каникулами после строгого режима, пережитого ранее. Здесь они отдыхали душой и телом и набирались сил для дальнейшего путешествия в Сибирь, предстоявшего весной 1881 года. В силу особых условий заключения и сознания необходимости дать время более слабым товарищам окрепнуть, каторжане решили не делать в Мценске никаких попыток к побегу; поэтому и лишение свободы не чувствовалось здесь в такой степени, как в тюрьмах вообще. Здесь же в Мценске, они узнали об убийстве Александра II^{*)}. Это событие вызвало в тюрьме немало толков—всем хотелось предугадать будущий ход государственной жизни России, но, прежде чем на основании ряда последующих фактов можно было прийти к определенному заключению, они были, с открытием навигации, отправлены в Сибирь.

„Централисты были ядром партии, составленной в Мценске для следования в Сибирь. По пути к партии присоединилось несколько женщин, из которых одни, как Вера Рогачева и Круковская, съездили в Сибирь (первая—административным порядком, вторая—на каторгу), другие—как Мария Ипполитовна Легкая (Макка, как ее называли)—следовали добровольно за ссыльными на каторгу. Макка скоро вошла в состав партии, а Аделя Адольфовна Дмоховская—сестра Льва Дмоховского—ехала отдельно, не выпуская из виду партию. Впоследствии к партии присоединились Евгения Фигвер, ныне Сажина.

„Общество женщин внесло некоторое оживление в жизнь партии и придало ей несколько семейный характер. У женщин, свободных от семейных уз, явились ухаживатели. Петруха не чуждался женщин и относился к ним, как к товарищам по делу, но во все свое более, чем полугодовое путешествие по этапам, не сделал ни одного шага, который мог бы быть истолкован в смысле малейшего намека на ухаживание“.

Партия быстро промчалась по железной дороге до Тюмени и отсюда на тройках; несколько медленнее двигалась на баржах по рекам, а настоящее странствование началось для нее только со времени этапного путешествия. В партии не было уголовных. Тюремное начальство в то время еще признавало привилегии политических арестантов и давало им подводы—по одной лошади на несколько чело-

^{*)} По свидетельству Н. А. Виташевского, Александр II-ое марта горячо приветствовал" (письмо от 28 I 1907 г. и. ст. ср. также „Былое", 1907, IV, 184).

век. Партия в день проезжала по 25 верст и через два дня в третий останавливалась на дневку, так что средняя скорость движения была 16²/₃ версты в сутки.

При таких условиях, путешествие не было утомительно. В телеги садилось по три человека, кто с кем хотел. Партия двигалась шагом, так что было достаточно времени потолковать в пути о всевозможных вопросах. Особенно оживленные беседы происходили на телеге, на которой ехали товарищи Петрухи по процессу: Джабадари ¹⁾, Зданович и Цицианов (ныне умерший). Споры, начатые на одном этапе, они продолжали в телеге и кончали на следующем этапе.

Петруха ехал обыкновенно вместе с Коваликом и Буцинским, умершим потом в Шлиссельбурге. Втроем они составляли продовольственную коммуны. Партия нашла более удобным на время дороги разбиться на такие маленькие коммуны, которые по числу своих членов получали определенную ассигновку от артели и сами забирали продукты у торговцев или заказывали их артельному старосте; на этапах же обыкновенно начиналась стряпня в котелках. Коммуну Петрухи прозвали в шутку „акулами“. Название это дано было ей по такому случаю: однажды на этапе коммуна отправилась на кухню, похвастав предварительно, что она напечет первосортных блинов. Товарищи сделали вид, что ожидают угощения от коммуны, и когда все трое ее участников возвратились с пустыми сковородами, — блины съедались по мере изготовления, — то за такое „обжорство“ над ними добродушно посмеялись и дали им кличку „акул“.

Партия в общем шла довольно мирно. Сколько-нибудь серьезных недоразумений не было, не только между собою, но и с начальством. Часть следующих на каторгу и поселение пыталась образовать из своей среды особую организацию, которая, по освобождении ее членов естественным путем вследствие окончания сроков, или посредством побегов, должна была принять участие в революционной работе. Петруха, конечно, присоединился к этой организации и искренно верил в возможность осуществления на практике ее задач. Организация выработала свою собственную программу революционной деятельности, представлявшую собою развитие программ 70-х годов и не во всем согласную с программой „Народной Воли“. Петруха оставался по существу прежним пропагандистом, искавшим почвы для деятельности в народе, хотя несколько и на иных основаниях, чем в 70-х годах. Поэтому он не мог вполне сочувствовать сосредоточению сил партии исключительно на политическом терроре и вместе с другими членами организации пытался внести в программу „Народной Воли“ некоторые поправки. Начинаяшаяся организация каторжан не могла, конечно, не думать о побегах в пути. Кое-что в этом направлении было подготовлено, намечены были люди, которых предполагалось выпустить в первую голову, но практического осуществления эти планы не получили. В пути был только один побег Мартыновского, устроенный неугомонным в этом отношении Мышкиным по собственной инициативе. Побег редко удавался в Сибири без серьезной помощи со стороны, и Мартыновский вскоре был пойман.

„Путешествие на каторгу было в известной степени продолжением каникул, начавшихся в Мценске. Петруха, как и многие в партии, чувствовал себя в дороге настолько хорошо, насколько это возможно

¹⁾ Умер в 1910-х годах на своей родине, в Грузии. Э. И.

для людей, лишенных свободы. Чистый и здоровый сибирский воздух, в связи с более или менее удовлетворительным питанием, поддерживал силы странников, и большинство их имело бодрый вид и не тяготилось путешествием. Только несколько человек, которым надоела бездомная жизнь в пути, пытались поднять в партии вопрос о том, чтобы предъявить начальству требование—ускорить движение, но им основательно возразили, что не может быть никакого основания торопиться на каторгу.

„Партия остановилась на некоторое время в Красноярске. Здесь к ней присоединились народовольцы, осужденные по процессу 16. Начались новые знакомства, обмен новостями и теоретические разговоры, оживившие однообразную жизнь путешественников. Дальнейшее движение в Иркутск совершалось уже совместно с народовольцами. В Красноярске от партии отстал Долгушин, встретивший здесь своего отца, занимавшего должность прокурора“.

В Красноярске мне впервые пришлось увидеть Алексеева и затем совершить с партией переезд по этапу от Красноярска до Иркутска. Я рад был встретить в партии многих людей, о которых слышал и знал только по процессам и по речам и которых воображение мое рисовало в виде героев, несущих на себе всю тяжесть борьбы за народные интересы. Дорогою мне не удалось хоть сколько-нибудь познакомиться с Алексеевым, во-первых, потому, что я ехал больной, заболев в Канске воспалением легких, а, во-вторых, еще и потому, что и сам Алексеев держался несколько в стороне от других и, подобно мне, не состоял в большой группе, где старостой был Войнаральский, а держался лишь маленькой группы из 3-х человек. Мне тогда казалось загадочным, почему это Алексеев, пользующийся такой известностью, такой заслуженный революционер, не состоял в крупной группе ссылаемых.

„Путешествие в Иркутск,—говорит С. Ф. Ковалик,—продолжалось тем же порядком, как и ранее. В иркутской тюрьме партия засела надолго, до установления зимнего пути. Здесь заболел и скончался любимый всеми товарищами Дмоховский. Петруха, бывший с ним в довольно близких отношениях, задумал сказать речь на его похоронах и уже подготовил проект ее, но когда узнал, что более сильный оратор Мышкин¹⁾ готовит с своей стороны надгробное слово, то отказался от своего намерения. Проект речи Петрухи был составлен очень недурно, и, как все, что он говорил, проникнут сильным чувством, которое наряду с глубокою убежденностью отличало его во всех публичных выступлениях. В бытность в Иркутске, Петруха, между прочим, получил письмо от интеллигентного рабочего Бачина²⁾, временно сидевшего в тюрьме, но отдельно от партии. В этом письме Бачин без всякого конкретного основания посылал какие-то упреки товарищам Алексеева, как интеллигентам. Петруха, давно уже переставший считать себя существом, отличным от своих интеллигентных товарищей, с жаром вступился за них и отчитал, как умел, в ответном письме своего корреспондента. Петруха настолько слился со своими товарищами по заключению, принадлежавшими к интеллигентным слоям

¹⁾ О речи Мышкина сообщено в „Былом“ (1908, кн. II) М. Р. Поповым.

²⁾ Вернее было бы назвать его довольно развитым, а не „интеллигентным“. Бачин умер в 1883 г., отравившись настоем фосфорных спичек (см. „Мин. Годы“, 1908, VII: „В иркутской тюрьме“ и т. д. Н. Виташевского, стр. 114). Э. II.

общества, что его трудно было отличить от интеллигента. Единственная черта, которая выдавала его, как бывшего рабочего,—это настойчивость, с которой он всегда требовал самого точного равенства всех членов артели в исполнении каких-нибудь общих работ. Если он отбыл свое дежурство по приготовлению пищи или уборке камеры для своей маленькой коммуны, или исполнению какой-нибудь работы, напр., разлива общего чая для всей артели, то он спокойно созерцал, не трогаясь с места, мелкие затруднения следующего дежурного, не приспособившегося почему-либо к исполнению лежащей на нем работы, но зато сам добросовестно и без посторонней помощи выполнял лежащие на нем обязанности. Единственное исключение он делал в своей маленькой коммуне для слабого здоровьем товарища Буцинского. По соглашению с Ковалюком они освободили Буцинского от всех работ и ухаживали за ним, поскольку это было необходимо.

В Иркутске жизнь партии протекала также без столкновения с начальством⁴⁾. Только перед самым отправлением в дальнейший путь, когда, по нашим-то инструкциям, каторжанам хотели обрить головы, поднялся протест, который выразился, главным образом, в горячих объяснениях с администрацией по поводу жестокости и бесчеловечности такой меры. Петруха, в свою очередь, решительно заявил о своем нежелании подчиниться уничижительному обряду. Начальство, после непродолжительных переговоров, уступило, снарядив особую комиссию, которая, по осмотре каторжан, признала всех их одержимыми разными болезнями, не допускавшими бритья голов. В одном случае даже болезнь ноги признана была достаточным основанием, чтобы освободить от бритья рабочего Александрова, упорно отказывавшегося признать у себя какую-либо другую, более подходящую болезнь.

На Каре в каторгу партия направлена была более ускоренным темпом на обывательских лошадях. Карийцы знали о том, что к ним идет партия централлистов, и ожидали ее с нетерпением. Им были известны ужасы тюремного режима централок по брошюре „Живое погребение“, и они предполагали встретить едва живых, измученных людей. Случайно первыми вошли в тюрьму отличавшиеся наиболее здоровым цветом лица Алексеев, Зданович, Войнаральский, Рогачев, Ковалюк и др. Кто-то из карийцев не удержался и, указывая пальцем на вошедших, пронически воскликнул: „Вот они, живо погребенные!“. Действительно, если бы кто-либо из посторонних мог видеть пришедших централлистов, подурмяченных сибирским морозом, и бледных истощенных карийцев, то он, без сомнения, последних, а не первых, признал бы „живо погребенными“.

Вновь прибывшая партия застала на Каре некоторую разбедненность, мало свойственную в то время местам, в которых сосредоточивались политические заключенные. Две камеры: „Синедрион“ и „Харчевня“⁵⁾ вели подковы под землю, подготовляя массовый побег. „Дзорянка“ и „Якутка“ относились более или менее равнодушно

⁴⁾ Не мешает отметить, что за „буйство и оскорбление словом конвойного начальника на пути в Сибирь, в конце 1891 года, распоряжением забайкальского военного губернатора“ срок испытания продолжен был Алексею на три недели. См. Доклад Особому Совецанию, огласно 34 ст. Положения о государственной охране, о ссыльно-каторжном Петре Алексееве, 22 марта 1894 г.

⁵⁾ Крайняя камера, где жили, главным образом, повара-стряпуны (Данилов).

к производившимся работам, а „Волость“ (больница) даже частью неодобрительно. Политические каторжане завоевали себе в тюрьме значительную свободу, которую, казалось некоторым, не стоило ставить на карту из-за побега, имеющего притом мало шансов на успех. Кроме того, несколько человек, и, кажется, большею частью из сидевших в „Волости“, имели свидания с женами, поддерживавшими в них консервативное настроение по отношению к побегам.

„Партия централистов и народовольцев пыталась оживить карибскую жизнь и сплотить в одну стройную общину разединенных по камерам старых карибцев. С этою целью создано было несколько сходок в коридоре. На этих сходках с жаром выступал иногда и Петруха, который болел сердцем при виде угнетенных и молчаливых товарищей (конечно, известной части только), замыкавшихся в небольшие кружки и сторонившихся от общей жизни. Попытки ново-карибцев не увенчались большим успехом. Но уже самый факт расселения их по всем пяти камерам до некоторой степени нарушал прежний характер камер и уничтожал их обособленность.

„Карибская республика недолго просуществовала после прибытия централистов и народовольцев. После побега Мышкина с Хрущовым, а за ними еще нескольких пар через мастерскую, Кара была взята ночью приступом, и обитатели ее были расселены по разным тюрьмам-клоповникам. Начались самые целые репрессии, имевшие, повидимому, одну цель—отомстить каторжанам за побег, лишив их всего того, что хотя немного скрашивало тюремную жизнь. Заключенных стали запирали по камерам, что с точки зрения предусмотрительного начальства могло быть с некоторою натяжкою истолковано в смысле меры пресечения способов к побегу, и в то же время лишать книг, которые, казалось, никак не могли служить для этой цели. Приучив бывших карибских республиканцев к новому режиму в маленьких тюрьмах и переделав несколько их прежнюю общую тюрьму, начальство снова перевело туда каторжан и рассадил их по камерам уже не по добровольному соглашению, а по срокам окончания каторги. Петруха попал в Якутку. Администрация своими бесконечными репрессиями добилась, и притом довольно скоро, того, чего не могли соединенными силами достигнуть централисты и народовольцы. Прежнего разединения не осталось и следа, и все заключенные, за ничтожными исключениями, составили одно дружное общество, одну артель“.

А.

Об этой поре в жизни карибцев (с марта 1883 г.) поделился со мною своими воспоминаниями В. А. Данилов, под диктовку которого я, в 1907 г., записал следующее:

„Кара переживала в это время остатки строгого режима, после побега Мышкина с Хрущовым и других двух побегов. Самый строгий режим уже прошел, все политические сильно-каторжанки опять соединились в одну политическую тюрьму на средний принцип. Тюрьма была прежняя, но прежних вольностей уже не было. Внешний вид камер тюрьмы остался тот же, те же пали окружали главное здание тюрьмы и баню с кухней, остались в тюрьме те же 5 камер, с теми же характерными названиями, но внутренность камер была уже не та. Каждая камера была разделена перегородками на 4 части, запиралась

только одна наружная дверь и днем, и ночью. Из первой части камеры, „антишамбр“, как называли ее, вела дверь в каждое из отделений. В этой „антишамбре“ и днем, и ночью стояли парашни. В трех камерах вдоль капитальной стены и перегородок тянулись нары шириною немногим больше двух с половиной аршин, длиною во всю камеру.

„В первое время после моего приезда, около года, выпускали на прогулку каждую камеру отдельно на полчаса, раза два в день. Книг не давали. После побега довольно большая библиотека была уложена в ящики и хранилась в амбарах. Месяцев 5 или 6 спустя, конспиративным порядком, как бы осматривая свои вещи, удавалось пронести из амбара одну—две книги, благодаря снисходительному невниманию смотрителя тюрьмы—добродушного сибиряка. Жизнь текла монотонно. Для некоторых было развлечение: они дежурили поочередно поварами на кухне; поваров было два: помощник и главный; кроме того, было двое дежурных на кухне, на обязанности которых лежало разносить два раза в день кипяток, обед и ужин, мыть посуду, затапливать кухонные печи и плиту. Эти обязанности для одних были развлечением, для других—испытанием. Остальное время, не занятое отбыванием этих повинностей, приходилось громадному большинству проводить лежа на нарах. Развилась игра в шахматы, в шашки, даже в карты,—разумеется, не на интерес. Добытую случайно книгу читали вслух, если она интересовала всех. Не было книги—кто-нибудь импровизировал повесть, роман, рассказ. Эти импровизации слушали с таким же безразличием, как слушают шелест ветра или журчание ручья. Нужно было наполнить чем-нибудь пустоту впечатлений.

„Расстояние, свободное между нарами и противоположной стеной, было менее полутора аршин. Когда ходил один, прогуливаясь по камере, все остальные должны были лежать. О густоте населения камеры можно судить по тому пространству, которое приходилось на долю каждого. Это пространство было менее полутора аршин. Подстилка и одеяло одного близко соприкасались с соседними. Ночью неспокойно спящий перекатывался и толкал соседа. Нервность у некоторых развилась до крайних пределов: они вздрагивали, когда гуляющий по камере касался своим халатом обутой ноги лежащего на нарах. Березнюк, напр., просыпался раздраженный, если на него спящего, устремляли взор; раздражение доходило до того, что он ругал тех, которые, не стесняясь его состоянием, делали над ним опыты. Не все были так раздражительны, не все жили одним миром своих чувств. Были люди, которых занимал самый процесс наблюдения над другими. Были люди, создававшие в своем уме разные научные построения. Были люди, мысленно сочинявшие повести и романы, ожидая себе в будущем от них известности и славы. Были разные изобретатели в области техники. Были совершенно пришибленные, пассивно переносившие свое состояние. Было, правда, немного людей, вошедших в тюрьму со своим миром идей, со своей преданностью делу, за которые они готовы были положить не только тело, но и душу. К такого рода людям принадлежал Петр Алексеевич Алексеев.

„Простой малограмотный рабочий, своим развитием он обязан был себе. Огромной физической силы, крепкого сложения, с крупными чертами лица. Оспа положила на эти черты лица свою печать. Бывший первый кулачный боец Москвы, он сохранил своеобразную

походку кулачных бойцов и добродушие всякого мощного, сильного человека, уверенного в своей силе. В тюрьме он держался особняком со своей идеей будущего торжества рабочего класса в России. Толчок его развитию дан был людьми, можно сказать, самыми чистыми из людей 70-х годов. Нравственная идея долга, руководившая лучшими людьми той эпохи, окружила их ореолом святости в сознании Петрухи. Ему пришлось разочароваться, как и всем другим рабочим, когда он столкнулся с другими типами людей 70-х годов, когда он ближе узнал таких деятелей, для которых революция была математической проблемой, а не живым делом, или таких, которые сами не могли определить, что для них важнее в революции: удовлетворение ли своему честолюбию или увлечение отрицанием всего, что сдерживает животные побуды человеческого существования. Ему пришлось отказаться от идеализации всех вообще интеллигентов-революционеров и остановиться на идеализации отдельных лиц. Он не потерял веры в хорошее, доброе у человека, независимо от принадлежности к тому или другому классу. Как человек с сильной волей, с сильными мускулами, с большой энергией, с авторитетом в революционном мире, он не боялся господства; ненависть к господству не переходила у него в ненависть к интеллигентам. На Каре политические выделили из себя группу рабочих. Эта группа, не организованная ни в какие внешние формы, объединялась чувством протеста к тому давлению, которое позволяли себе более развитые литературно интеллигенты по отношению к простым рабочим. На Каре некоторые считали приятным развлечением для себя показывать гибкость своего ума по адресу своего товарища по заключению. Простое бесхитростное выражение своего честолюбия рабочим они травили насмешками, прикрывая этими насмешками свое более сложное и более сильное честолюбие и свое стремление к господству. Петр Алексеев болел душой, когда был свидетелем этой травли. Сдержанный и самолюбивый, уважающий себя, он не вмешивался в эту грязь казарменной тюремной жизни.

„У меня отношения с Петрухой, с первого же дня приезда, как и со всеми рабочими, были искренние и теплые. Петруха почему-то составил о моей личности свое мнение, и центром этого мнения было положение, что я—рабочий. Потом, когда из разговоров, в его присутствии, с другими, вспоминая прошлое, я сказал о своем дворянском происхождении, Петруха, разочарованный, отошел в сторону и прекратил со мной сношения; не переставая следить за моим поведением, он чего-то искал еще во мне. Через два—три, может быть, четыре месяца вышла довольно бурная сцена из за отношения нашего старосты, Бердникова, к уголовным, привозившим нам хлеб, мясо, воду, вывозившим нечистоты,—вообще к нашим служителям. Б-в позволил себе по моему адресу оскорбление. Я отвечал на оскорбление улыбкою и смехом, что еще более бесило Б-ва. Это было на кухне. Петруха случайно был дежурным по кухне, я—больничным поваром. Когда мы остались вдвоем с Петрухой, он подошел ко мне, хлопнул рукой по спине и сказал:

„— Не сердись, старина! Я был неправ.

„Мы пожали друг другу руки, и мир был восстановлен. Ни он, ни я, мы никогда не вспоминали о причинах, нарушивших наши отношения: для меня они были так же понятны, как и для него.

„Время строгостей кончилось. Объявили суд над бежавшими. В коридоре поставили шкапы, книги принесли из амбаров, Свитыч

опять стал библиотечкарем. После диеты, любители чтения с увлечением ухватились за книги. Любители писания могли излагать свои мысли: разрешена была бумага. Петр Алексеев теперь проводил целые дни, лежа на нарах с книгой в руках. Постоянное чтение книг, при неудобном освещении, расстроило зрение Петру. Наш доктор Веймар соорудил ему зеленый козырек. Петруха не хотел совершенно бросить чтение. Еще прошло немного времени, перегородки камер были разрушены, из четырех камер сделали одну. Посредине камеры стоял большой стол. Не салыные мерцающие свечи освещали теперь большую камеру; их заменила большая светлая висючая лампа над большим столом посреди комнаты. Наши механики и техники устроили громадный абажур, свет не поражал зрения, — падал только на стол. Любителям чтения и письма было теперь удобнее заниматься, сидя на скамейках вокруг стола; их глаз не портили салыные свечи. К этому же времени число политических в тюрьме уменьшилось: часть их ушла на поселение, и в камерах стало просторнее.

„Приехали новые политические, участвовавшие в народо-вольческом движении.

„Кроме неорганизованной группы рабочих, на Каре еще была организованная группа людей, поставивших себе целью поддерживать спокойствие в тюрьме. Это были генералы революции, желавшие и на Каре играть некоторую роль. „Народы“, т. е. не генералы, подсмеивались над этими товарищами, над их желанием играть роль. Увлеченные своей задачей, генералы не замечали отношения к ним „народов“. Они, генералы, ставили своей целью прекращать всякие разговоры на политические темы, опасаясь, чтобы разговоры не перешли в споры и ссоры. Тишина карийской жизни должна быть соблюдена. Каждый должен был как бы духовно замереть в своем собственном мире. Все хотели свободы, свободы физической, всякий хотел поскорей выйти на поселение. Многим казалось, что разговоры на политические темы могут повредить выходу на поселение. Для многих желательно было забыть свое прошлое и опять быть на свободе, опять жить личной жизнью. Это было желательно, но было и невозможно. Каждый политический разговор показывал им, что желательное невозможно, оживлял в их душе их прошлое, как лучшую часть их жизни. И они боялись этого оживления. На почве этой тюремной психологии и создалось влияние группы генералов-умиротворителей — „синедрионцев“, синедрионцев второго призыва. Синедрионцы первой серии были иные. Приехали прямые и косвенные участники 1-го марта. Синедрион не мог справиться. Разговоры на политические темы получили право гражданства, и параллельно с этим пало влияние синедриона.

„Вместе с политическими разговорами явились и разногласия. Незначительные разногласия усиливались до значительного раздражения, как следствие тюремного заключения. Ничтожного повода было достаточно, чтобы появились случаи неговорения между людьми. На площади в 25 саженей помещалось больше 50-ти честолюбий. Когда честолюбия молчали, их не было заметно. Теперь же открылись клапаны, начались разговоры, и честолюбия проявились во вне в форме неговорения друг с другом. Остроумный Ванечка Калюжный (отравившийся после того, как высекли Сигиду) в своей камере „Якутке“ насчитывал на 14 человек 64 комбинации неговорения. В этой камере обособленно со своими мыслями жил Петруха Алексеев. Он уме-

сдерживать себя, внутренне возмущался, и свое возмущение не обнаруживал в словах, но все-таки было человека два, с которыми он был в неговорении. На спокойной физиономии Петрухи не отражались чувства возмущения, волновавшие его.

„Приезжал на Кару перед коронацией Александра III флигель-адъютант Норд собирать покаяния, и на основании этих покаяний предполагалось миловать политических каторжников по случаю коронации. Это возмущало некоторых, возмущало в числе их и Петруху Алексеева“.

Последовавший затем манифест 1883 г. к Петру Алексееву, как и ко многим другим каторжанам, применен не был.

Из имеющегося в моем распоряжении материала остается привести заключительную часть воспоминаний С. Ф. Ковалика:

„Материальные достатки каторги случайно уменьшились, артель могла ассигновать только на улучшение казенной пищи рублей до трех на человека и каждому члену на чай, табак и пр. по 75 коп. в месяц, но сплоченность возросла. Во время наибольших репрессий и наибольшего гонения на книги, заключенным удалось организовать ряд лекций по различным предметам, вплоть до высшей математики. Как лекторы, так и слушатели получили возможность приходить для этой цели в чужие камеры, но и такая свобода показала начальству слишком большой, в камеры перестали пускать „посторонних“, и лекции должны были прекратиться.

„Все время, пока продолжался режим репрессий, Петруха стойко выдерживал все стеснения и не только не падал духом, но сохранил вполне всегда отличавшую его бодрость. Ему вместе с другими пришлось выдержать 13-тидневную голодовку, но и это не подкосило его. Здоровый организм его, управляемый сильною и здоровою волею, хорошо выдерживал всякие испытания. Кара таким образом не оставила сколько-нибудь глубоких следов на его здоровье, и он в 1884 г. вышел на поселение в Якутскую область в полном цвете сил“...

VI.

П. Алексеева сначала поселили в Баягантайском улусе (Сасыльский наслег) Якутского округа, а затем, по его просьбе, перевели в считавшийся лучшим Бутурусский улус того же округа и поселили (в 1885 г., в Жульском наслеге, в 15-ти верстах от моего местожительства.

„Вышедшие на поселение политические, — говорит В. А. Данилов, — в Якутском округе, кроме казенного пособия, брали у якутов землю в виде покосов и пашен; другие же, не обрабатывавшие земли, получали за то, что не берут землю, до 14 рублей в месяц. Кроме этой натуральной повинности, якуты обязывались или строить юрту политическому ссыльному, или давать квартиру. Петру Алексееву якуты построили юрту, или, вернее, докончили строить из того дерева, которое предназначалось для моей юрты. Петр Алексеев не брал денег за землю, а взял надел покосного места. Кроме того, по обычаю якутов, когда ловили рыбу на озере близ его юрты, якуты приносили ему, как подарок, жареных на вертеле мундушек¹⁾“.

¹⁾ Мундушка (по-якутски мунду) — местное русское название рыбки *Phoxinus phoxinus*.

„Юрта была разделена пополам. Меньшая часть изображала прихожую, а в большей, просторной половине юрты жил покойный П. Алексеев. Тут была русская печь. Петруха, как истинный русский человек, не мог отказаться от квашенного хлеба, сам пек себе хлеб. В обеих половинах юрты поддерживалась образцовая чистота и порядок. Стены были чисто вымыты, несколько больших окон ярко освещали юрту. В почетном углу, где у православных помещаются образа, на полке лежало несколько книг. На стене, выше полки, были приклеены известные стихи Боровиковского: „Мой тяжкий грех, мой умисел злодейский суди, судья, попроще, поскорей, без мишуры, без маски фарисейской, без защитительных речей“. Стихи эти переписал Петрухе брат Боровиковского ¹⁾ красивым изящным почерком. Юрта стояла на возвышенном небольшом кургане. Из одних окон видно было озеро, из других—дорога в Жехсогенский наслег и часовня: ближе к юрте дом „родового управления“.

Когда Алексеев, как и я, возымел намерение заняться хозяйством, то нам разрешено было иметь лошадей, и мы таким образом имели возможность видеться довольно часто. По получении какого-либо более или менее важного известия нам ничего не стоило оседлать или запрячь коня и поехать друг к другу, чтобы сообщить накопившиеся новости и обменяться мнениями.

В одно из свиданий мы беседовали по поводу нападения якутов на наших товарищей Рубинка и Щепанского, которые, не зная дороги и плохо усвоив себе указания якутов, кружили довольно долгое время вокруг одного места, где находились общественные хлебные амбары, и не могли выехать на настоящую дорогу. Якуты заподозрели в них татар, вознамерившихся ограбить амбары с хлебом, и страшно избили: так что Рубинок после этого стал зайкою. Факт этот произвел на нас достаточно сильное впечатление, показав, что такая случайность может постигнуть каждого из нас, и потому мы должны быть готовы к отпору. Тогда же я приобрел от „Ванечки“ Кашинцева, перед самым его побегом (1898 г.), плохонький револьвер. Когда впоследствии до нас дошло известие об убийстве, в ночь под 1 янв. 1899 г., товарища Павла Орлова („Павюка“), принятого убийцей или убийцами за богатого скопца, которого они подстерегали под городом, то это произвело на нас, в особенности на Алексева, столь сильное впечатление, что и он решил обзавестись револьвером и действительно купил, помнится за 28 руб., довольно хороший револьвер. Затем впечатление от этих двух фактов—избиения и убийства—постепенно улеглось, и Алексеев уступил просьбе одного молодого якута, сына местного богача, Нила Оросина и продал ему свой револьвер. Кто знает, быть может, не продай он своего револьвера, Алексеев не кончил бы так трагически свою жизнь? О продаже им револьвера было, конечно, известно всем окрестным якутам.

Не легка задача писать воспоминания о человеке, ближайшее знакомство с которым не вполне гармонировало с составленным на основании речи представлением. Могу сказать, что Алексеев ни с кем так часто не встречался, как со мной, и у него, очевидно, для этого были свои основания. Алексеев, конечно, отлично чувствовал разницу в отношениях к нему того или другого из ближайших товарищей: тогда как я продолжал видеть в Алексееве автора знаменитой речи.

¹⁾ Уголовный, осужденный за какую-то подделку подписи.

так всколыхнувшей в свое время всю интеллигентную молодежь, и смотрел на Алексеева все время под этим углом зрения, другие, прошедшие целые годы бок-о-бок с Алексеевым в тюремных условиях, видели одни лишь его недостатки, главным из которых являлась, конечно, его малообразованность. Когда я заметил несколько пренебрежительное отношение к Алексееву товарищей по ссылке и со стороны некоторых даже стремление избегать его посещений, мне было чрезвычайно больно сознавать, как скоро забываются в нашей среде заслуги такого, во всяком случае, недюжинного человека. Правда, Алексеев не был интересным собеседником, когда дело касалось теоретических споров, напр., по вопросам политической экономии; дальше слов „Маркс сказал“ в разных вариациях Алексеев не шел, и вряд ли кто-либо мог добиться от него; что же собственно сказал Маркс? Но этого и нельзя было требовать от Алексеева; это уже была вина его ближайших товарищей, не выработавших из него, как это было сделано по отношению к другим рабочим, „человека с образованием“. Алексеева надо было брать таким, каким он был на самом деле, и не предъявлять к нему требований, которых он выполнить не мог.

Замечания Алексеева на полях „Русской Мысли“, где была статья Протопопова о значении и роли интеллигенции в деле общественно-политического развития, показывают, что он изменил свое отношение к ней после ближайшего знакомства с ее представителями на каторге и ссылке. Последним толчком в данном направлении могло послужить следующее обстоятельство. Находились лица, которые, в силу какого-то недоразумения, отрицали за Алексеевым даже заслугу составления его знаменитой речи. Я был свидетелем эпизода, когда один из тогдашних административно-ссыльных, Сергей Михайлович Терещенко, так-таки прямо и бацнул: „А я слышал, что не вы сами сочинили сказанную вами речь, а что она была составлена для вас товарищами“. Надо было видеть впечатление, произведенное на Алексеева этими словами. Задыхаясь от волнения, Алексеев только сказал: — „Нет, этой черти я никому не уступлю“.

Один из товарищей Алексеева по каторге и ссылке Н. А. Виташевский, уже побывавший в Петербурге и имевший возможность проверить свои старые сведения, вот что писал мне из Жены от 25 января н. ст. 1907 г. об Алексееве:

„Он обладал недюжинным умом и способностью к развитию. Каким он был на воле, не знаю; но упорно говорили, что речь была написана для него кем-то из товарищей (кажется, Джабадари). Тем не менее я допускаю, что он произносил ее вполне сознательно, — ведь он вообще мог понимать ее смысл, владел даром слова, и помощь товарища могла бы быть важна лишь с технической стороны“.

По автора цитированных строк, жившего за границей с конца 1906 года, не дошла, вероятно, изданная в этом году брошюра Ф. Волховского, в которой сказано вполне определенно, что спустя день или два по произнесении речи он, Волховский, „получил от Алексеева записку, к которой приложена была и его речь, написанная отчаянными каракулями, но тем более драгоценная“. Каракулями в полном смысле слова отличался именно почерк Алексева. Я сам забыл об этом недопускающем никаких сомнений свидетельстве Волховского и, в поисках каких-либо указаний в литературе, обратился к „Былому“.

В воспоминаниях Джабадари („Былое“, 1907 г., X, 194—195), я нашел указание не только на то, что Алексеев был сам автором своей

речи. но и на то, что в минуты пафоса Алексеев поднимался до высоты народного трибуна, как его назвал Спасович. То же говорят и В. Фигнер в своей заметке по поводу моей статьи, посвященной памяти Алексеева („Воля Народа“. 1917 г., № 100).

Когда Алексеев узнал о том, что его речь переведена на французский язык, то, сообщая мне об этом, он сказал: „удружили, нечего сказать“. Сказано это было как бы с огорчением, но по тону было ясно, что в действительности Алексею льстила та популярность, какою пользовалась его речь.

Относительно характера Алексеева мнения товарищей расходятся. В то время, как, напр., на Волховского Алексеев произвел „впечатление огромной силы—телесной и душевной—смешанной с веселостью, великодушием и открытостью“, Н. А. Виташевский находил, что Алексеев был „человек тяжелый“, в сношениях с которым каждый старался держать себя с осторожностью. Но последнее не исключало столкновений. Так, в централке у него было какое-то недоразумение с Ионовым (Алексеев обвинял последнего в... эгоизме и отсутствии товарищеских чувств!). Какое-то столкновение было и у меня с ним в Якутке. Помню, что мы поругались вечером, и он уехал в ночь. Помню, что скоро отношения у нас опять наладились. В частности, выражение „гнилая антиллиценция“ приписывалось ему. Несмотря на все это, с ним считались как с силой; так, когда в Мценске образовался кружок, то Алексеев был в него принят и занимал почетное место. Он, в числе немногих, получил при выходе на поселение деньги на побег... (письмо от 28/I 1907 г.).

Другой товарищ Алексеева, Г. Ф. Осмоловский в одном письме (от 17/X 1906) признается, что на Каре Алексеев был ему несимпатичен, а в другом (от 23/I 1907) пишет: „На Каре он роли не играл, но заметны были претензии, несообразные с ресурсами. Мне приходилось быть свидетелем, как он вмешивался в теоретические споры, не обнаруживая ни умственной самостоятельности, ни литературного развития. Он старательно, напр., читал по политической экономии, но ясно было, что это занятие не по нем. Не бывшие его друзьями по процессу и централке относились к нему иронически. Заметно также было (даже при карийских условиях) его расположение к земным благам. Мне всегда казалось, что „слава“ вскружила ему голову, и он утратил известную долю простоты и естественности. Помню затем из рассказов Всева. Мих. Иконова, что в истории с „лавочкой“ Н. А. Виташевского ¹⁾ он также обнаружил несимпатичные черты. На Каре я причислял его к группе централистов, слепо шедших за Коваликом и Войнаральским. Вообще, там он ни в чем не проявил своей индивидуальности, чем отличался, напр., от Цинианова, Мышкина и Джабадари. Но должен сказать, что в одной камере я с ним не жил и не старался, вместе с тем, присматриваться к нему, т. е., что называется,—я мало знал его. Можно, пожалуй, объяснить мое отношение еще тем, что, по слухам, я имел право ожидать в нем выдающегося человека, а встретил заурядного. На поселении я видел его всего раза 2—3“.

В интересах беспристрастия я привел отрицательные отзывы бывш. покойных уже товарищей Алексеева, полагая, что он не вы-

¹⁾ Основана была пол. дном и велась им для общего закупа в Якутск предметов первой необходимости. Потому и называлась общественной лавкой. З. П.

ждается в загушевании каких-либо сторон его характера. С другой стороны, в самых отрицательных отзывах может заключаться зерно истины, которое не должно быть упущено при характеристике крупной личности.

Наиболее объективной характеристикой Алексеева является, на мой взгляд, следующая „памятка о Петре Алексееве“, И. И. Майнова, написанная последним по прочтении в рукописи всего вышеизложенного. „Памятка“ эта очень ценна, ибо сглаживает и примиряет между собой бросающиеся в глаза противоречия в отзывах о личности Алексеева его товарищей по ссылке, навеянные некоторым субъективизмом, от которого им не удалось отрешиться и которого удалось счастливо избежать только И. И. Майнову. Привожу дословно этот чрезвычайно важный для всесторонней оценки Алексеева документ:

„С Алексеевым встречался в 1888—1891 годах, иногда в Якутске, на улусной квартире¹⁾, и не раз на Чурапче, всегда в компании. По внешности он производил впечатление типичнейшего русского мужика: ростом не ниже меня, сухощавый, но массивный,—как говорится у крестьян,—корпусный; с темными, несколько лохматыми волосами и почти черной бородой; лицо смугловатое, с тяжелыми и грубоватыми, но стнюдь не отталкивающими чертами; глаза, очень глубоко впавшие в орбиты, небольшие, красивого синего цвета; выражение лица спокойное, серьезное и внушительное; голос высокого тембра, очень сильный и звонкий (в хору он пел вторым тенором). При взгляде на него приходило в голову: вот крепкий мужик, человек „сурьезный“, с которым шутки плохи!

„Держался он в компании всегда совершенно просто, без всякого ломанья и нередкого у рабочих нашей среды интеллигентничанья или же, наоборот, подчеркнутого и претенциозного народничанья, и уже одним этим производил на меня хорошее впечатление, казался человеком, знающим себе цену, уверенным в себе и чуждым стремлению непременно себя выставить и произвести эффект.

„В общих теоретических разговорах, преимущественно на политические темы, он охотно принимал участие и при этом нередко оживлялся так, что видно было, что эти темы его действительно интересуют и что он о жгучих вопросах нашего времени и сам немало думал. Не помню, чтобы он высказывал когда-нибудь особенно оригинальные мнения, но во всяком случае он не пел с чужого голоса: это было ясно по его искреннему тону и по всему строю его речи. Говорил он почти тем же общелитературным языком, как и все мы, по начитанности в истории и в политической экономии едва ли уступал среднему интеллигенту нашей среды, а с литературой рабочего вопроса был знаком по тогдашним источникам лучше многих сильных интеллигентов. Однажды, разоткровенничавшись в разговоре со мной, он признался, что живет надеждой вернуться когда-нибудь в Россию и стать опять деятелем рабочего движения (между слов можно было понять: стать вождем рабочего люда), в борьбе как за политическую свободу России, так и за экономические интересы собственно рабочего класса. Эту борьбу он понимал не по-марксистски, а скорее в английском духе, обнаруживая большое внимание к реальным условиям жизни и к достижению ближайших целей.

¹⁾ Так назывался постоянный двор, где останавливались проезжавшие в город из разных улусов политические ссыльные. Э. И.

Несомненно, что его громкая известность, созданная успехом судебной речи, глубоко на него повлияла, и в нем чувствовалось стремление быть достойным своей репутации, не пасть духовно и сделать себя способным к выступлению впоследствии на более широком и открытом поприще.

В денежных делах он мне казался человеком очень расчетливым, быть может, даже слегка прижимистым, но никак не скупой. а именно мужиком, который копейке цену знает. В повседневной жизни это был человек чрезвычайно рассудительный, любивший все делать обдуманно, неторопливо и методично. Оставаясь он в деревне, без всяких воздействий со стороны интеллигенции,—стал бы он первым хозяином в околотке, местным богатеем и волостным старшиной.

За этими внешними чертами крепкого и хозяйственного мужика, в нем, однако, проступала глубокая и сильная натура, затененная страстностью темперамента и огромный характер. Такой человек несомненно, способен переживать моменты взрыва его стихийной силы наружу, т.е. моменты страстного одушевления, когда его речь может звучать патетически. Поэтому я совершенно убежден в том, что его знаменитая речь принадлежит именно ему, хотя ее отдельные мысли, конечно, могли запасть ему в голову от кого-нибудь из товарищей.

В общем, по моей оценке, Петруха является одной из наиболее крупных личностей, встреченных мною в ссылке, хотя его сила состояла не столько в умственных качествах, стоявших не ниже, но, быть может, и не многим выше среднего уровня, сколько в исключительной глубине чувства и твердости воли.

В своих отношениях к людям вообще и товарищам в частности Алексеев отличался большою снисходительностью. В моей памяти не сохранилось ни одного случая, когда бы Алексеев стал кого-либо осуждать, а тем более оговаривать. „перемывать косточки“, как это водилось среди ссылных зачастую. Особенно бережного отношения требовал он к своим близким товарищам, как Ковалик и Войнаральский.

Алексеев, несмотря на отсутствие у него чисто научных интересов, с большим участием, однако, отнесился к моим исследованиям в области изучения якутского языка. Доказательством этого может служить тот факт, что он подарил мне толстую (900 страниц, в четвертку) тетрадь, переплетенную для него Цициановым и предназначенную для задуманного Алексеевым романа, который должен был называться „Оторва“ и носить характер биографии человека, оторванного от жизни и дела. Роман этот написан не был,—по крайней мере, в бумагах Алексеева никаких следов его не оказалось.

Алексеев был человек необычайной силы. Во время его приезде ко мне, когда я жил вместе с якутами, неоднократно приходилось в длинные зимние вечера быть свидетелем того, как якуты пробовали тягаться с Алексеевым на палке. Самые сильные якуты, славившиеся богатырями, вынуждены были уступать Алексею во всех приемах, посредством которых испытывается мужская сила. Доказательством его физической силы служило, между прочим, громадное количество копеек, которое он успевал накопить за день. Самый лучший якутский косяк накашивал едва половину этого количества.

Случилось как-то, что один здоровенный якут, Егор Абрамов, впоследствии один из убийц Алексеева, позволил себе обратиться к нему по какому-то поводу с упреком, что-де „государственные преступ-

ники" так, мол, не должны поступать. Алексеев, находя в словах якута как бы поношение звания государственного преступника, взял его за шиворот и поднял вверх со словами: „Видишь, что я могу с тобой сделать?“ Тот сдавленным голосом ответил: „вижу“. Тогда Алексеев опустил его на землю. Вряд ли это мог сделать человек, не обладавший богатырской силой!

VII.

Алексеев жил в ссылке одиноким и все делал сам, редко пользуясь услугами якутов или якуток. К приведенному выше описанию юрты, в которой жил Алексеев, остается прибавить, что в ней был пол из ливственных плах и стеклянные окна из целых стекол, причем на зиму вставлялись еще рамы с двойными стеклами. Тут же неподалеку стоял амбар, запиравшийся на замок с накладной печатью в случае отъезда куда-нибудь. Жительство Алексеева от центрального пункта улуса — селения Чурапча — отстояло в 80 верстах, но, по уверению якутов, если ехать не по так называемой „вешоной“ (веховой, усаженной вехами) дороге, расстояние это можно сократить до 60 верст. Мне самому приходилось слышать от якутов об этом, и я тоже очень хотел воспользоваться удобным случаем, чтобы узнать этот кратчайший путь.

В один из августовских дней 1891 года, когда я был у себя на покосе, при чем вместе со мною косил нанятый по-дневно татарин, а скошенное ранее сено сгребала нанятая якутка, ко мне на покос явился верхом на своей лошади Алексеев. Он уже откосился и приехал узнать, как идет работа у меня, с намерением пригласить меня к себе, чтобы отпраздновать со мною окончание полевых работ, для чего им сохранилась бутылка хорошей водки. Взяв у татарина косу, которая, как вспоминаю, была Алексею не по росту (татарин был ниже среднего роста), и желая нам показать, как надо косить по-настоящему, по-крестьянски, Алексеев прошел несколько прокосов. Это были, действительно, замечательные взмахи косы, захватывавшие целую копену сена, и я убедился, что в рассказах Алексеева о числе скашиваемых им в день копен нет ничего неправдоподобного.

Во время полуденного отдыха и чаепития Алексеев заметил, как хорошо работать компанией, по-семейному, обмениваться разговорами во время отдыха, затем опять дружно принялся за работу. В словах Алексеева сквозила какая-то тоска, что вот он до сих пор живет бо-былем; носились даже слухи, что он, во время поездок в город и оттуда в село Павловское, увлекался довольно серьезно одною из павловчанок. По окончании чаепития Алексеев стал собираться домой и, прощаясь со мною, дважды повторил каким-то, как мне показалось тогда, наизидательным, как бы пророческим тоном: „Работайте, работайте!“ Это было последнее с ним свидание и последние слышанные от него слова.

Рассказывая о самом себе, Алексеев жаловался, что ему чрезвычайно надоели предложением разных услуг его ближайшие соседи Федот Сидоров и Егор Абрамов и что последний окончательно запутался в долгах, так что трудно себе представить, как он из них выпутается. Назойливое ухаживание за ним до того претило Алексею, что он рад бы какою-либо ценою отказаться от этих услуг, но у него

не хватало на это духу, как ни противно было пользоваться их предупредительностью.

Откосившись, я вспомнил, конечно, приглашение Алексеева и решил поехать к нему через 3-й Жехсогонский наслег, сделав для этого небольшой круг. Подъезжая к месту жительства Алексеева, я увидел издали всадника, едущего не то ко мне наперерез, не то вперед от меня по тому же направлению, но как бы с желанием далеко опередить меня. Мне это обстоятельство показалось тогда довольно странным: как это якут может вдруг уклониться от свидания с едущим по одной с ним дороге человеком? И прищиприл своего коня и, когда поровнялся с якутом, то узнал в нем знакомого содержателя местной обывательской станции, ближайшего соседа Алексеева, якута Федота Сидорова, выбранного в родовые старшины. Не помню, задал ли я ему вопрос, почему и куда он так торопится, или нет, но поведение его было положительно необъяснимо. Вопреки якутскому обычаю, он был до крайности холоден со мною и не обнаружил ни малейших признаков обычного якутского гостеприимства.

В своем месте я забыл рассказать, что, когда на одном из своих покосов я метал сено в один из холодных и ветренных сентябрьских дней, ко мне приехал участковый выборный, якут Жулейского наслега, Роман Большаков и, отозвав меня в сторону, просил совета, как ему поступить в виду полученного на имя Алексеева разрешения на поездку в город Якутск для закупки необходимых товаров. Не помню хорошо, что именно я посоветовал сделать: вероятно я нашел какой-нибудь выход, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Дело в том, что Алексеева на месте не было: он уехал, неизвестно куда, о чем родовое правление своевременно не донесло, как это оно обязано было сделать, а теперь оно должно было объявить разрешение под личную расписку Алексеева. Кажется, самое разрешение тоже пролежало порядочное время у выборного. Вероятнее всего, я посоветовал ответить на эту бумагу в том смысле, что-де Алексеев уехал в город, вероятно, в том расчете, что к его поездке туда со стороны полиции препятствий не встретится. Вспоминается еще, что при самом окончании покоса у меня через окно занимаемого мною помещения случилась мелкая покража, при чем мне удалось напасть на след вора. Я потребовал старосту, который призвал родовых старшин для разбирательства этого дела. Явились и некоторые „старшины“. Когда родовые власти и „старшины“ старались разбить мои подозрения на счет указанного мною субъекта своими неосновательными, по-моему соображениями, я пришел в возбужденное состояние и в виде пробного шара произнес: „Вот уж сколько времени я расспрашиваю об Алексееве, и никто об нем ничего не знает, а имущество осталось,—самое удобное время его раскрасить: самое лучшее было бы и меня уничтожить, а потом и мое имущество разграбить, не дожидаясь, пока оно попадет в казну“. Ни один якут ни одним словом мне на это не возразил, хотя я, в сущности, говорил нечто несуразное. Это навело меня на тревожные размышления; не кроется ли в моих, повидимому, несуразных словах крупинцы истины, ибо в противном случае и при других условиях якуты в один голос стали бы повторять: „что ты, что ты, как можно так говорить, Боже избави от такого дела!“ Тут же все сидели как будто воды в рот набрали, и как будто тень смерти пробежала во время этого гробового молчания. Крепко врезалась эта сцена в мою память. Когда проездом к Але-

ксееву, я был у Трошанского и рассказал последнему об этой сцене, но Трошанский успокаивал меня и сделал предположение, что Алексеев мог проехать и не заезжая в Чурапчу, откуда он, Трошанский, сам недавно приехал, или что Алексеев проехал в город напрямик с кем-нибудь; при этом Трошанский почему-то высказал предположение, что Алексеев поехал жениться. Несколько успокоенный я и приехал в Жулейское родовое управление, наелся, если не застать Алексеева, то хоть получить о нем какие-нибудь сведения. Войдя в родовое управление, я стал обстоятельно расспрашивать у Федота Сидорова о времени и обстоятельствах отъезда Алексеева. Сидоров с некоторою неуверенностью отвечал, что Алексеев по дороге встретил попутчика на Тerasинской станции¹⁾, с которым и поехал в город, минуя Чурапчу,—что это было в середине августа. На мой вопрос, целы ли турланьи выводки, пущенные Алексеевым в озеро с подрезанными крыльями, Сидоров ответил утвердительно. Я просил Сидорова по возвращении Алексеева напомнить ему, что он обещал поделиться со мною частью выводов. Помнится, я старался беседовать с Сидоровым так, чтобы не дать ему повода подумать, что я сколько-нибудь тревожусь за судьбу Алексеева; угощался ли я чаем, не помню. вероятно—да, только долго я не рассиживал, потому что уже вечерело.

Вернувшись благополучно домой, я решил съездить к Всев. Мих. Ионову, жившему от меня в 35 верстах (во 2-ом Игилейском наслеге смежного Баягантайского улуса). Ионову я рассказал подробно все описанное выше и свои сомнения, тем более тревожные, что Алексеев не оставил для меня никакой записки с уведомлением, что он уезжает, а забыть о своем приглашении он не мог. Ионов разделял все мои сомнения и опасения, что с Алексеевым могла случиться какая-либо беда, и посоветовал мне еще раз съездить в усадьбу Алексеева и хорошенько ее осмотреть.

Под влиянием разговора с Ионовым нервы у меня были так напряжены, что я решил ехать к себе ночью же, не оставаясь на ночевку. Хорошо помню, что я ехал теперь не так беззаботно, как это было раньше, проезжая густым лесом. Хотя я всегда был с револьвером (со времени нападения якутов на Щепанского и Рубинка), но мог ли револьвер защитить от нападения? Он только давал некоторую остраску, но не защиту. Тем не менее я вернулся к себе благополучно, так как знал хорошо дорогу (а ночь была темная-претемная).

Прибыв домой под утро, я дал отдых себе и лошади, а затем в 2 или 3 часа полудни поехал в Жулейский наслег.

Не доезжая до усадьбы Алексеева версты 1½, я в целях рекогносцировки решил заехать в придорожную юрту к знакомым якутам. Здесь встретил хорошо знакомого мне родовича Михаила Калмыкова из „лучшей“ семьи человека порядочного, мне несколько обязанного, с которым я был в хороших отношениях. Из непринужденного разговора главным образом с Калмыковым я узнал, что Алексеева все еще нет, что, по слухам, он якобы уехал в город. Я осторожно стал высказывать свои сомнения, что не мог Алексеев уехать в город, не предупредив меня об этой поездке, и что мне не приходилось слышать о том, чтобы Алексеев был на Чурапче у кого-либо из своих товарищей; я кончил предположением, не случилось ли с Алексеевым в дороге какое-либо несчастие. После этого Калмыков сразу же раз-

¹⁾ Первая станция на пути из Жулейского наслега в Чурапчу.

говорился и категорически склонился к моему подозрению, подкрепляя таковое тем, что и он со своей стороны расспрашивал якутов, между прочим, и на Тerasинской станции, не выдал ли кто проезжавшего в город русского на таком-то и таком-то коне, и от всех получал отрицательный ответ. Тогда я сказал: „Во всяком случае я поеду и посмотрю юрту Алексеева“. — „Поеду и я с тобой“, отвечал Калмыков. Этому я был несказанно рад, ибо и сам думал его пригласить с собой, но не решался ввиду позднего времени, а Калмыков, в свою очередь, боялся меня одного отпустить, чтобы и меня, как и Алексева, не отправили туда же, как он мне объяснил впоследствии.

Солнце было уже довольно низко, когда мы подъезжали к родовому управлению; без всяких обиняков мы объявили цель своего приезда, т.е. желание осмотреть обстоятельно юрту Алексева. Цепляли окна, а также замки у юрты и амбара. Когда мы подходили к юрте через небольшой дворик, то Федот Сидоров как-то порывисто нагнулся, достал из-под бревна топор, которым Алексей колот дрова, и, показывая его мне, сказал: „А вот его топор“. Мне почему-то не понравилось это деяние Сидорова, и я сухо сказал: „Ну, и положи в место, пусть лежит“. Замки оказались целы, окна — тоже. Через окно мы увидели, что в юрте был беспорядок, т.е. чашки и чайники не были убраны со стола, постель не застлана, одеяло отброшено на правую сторону и на нем лежал номер газеты, показывавший, что Алексей читал лежа в постели, во был чем-то отвлечен, не успев даже прибрать свою постель. Через другое окно, в другом отделении юрты, заменявшем кабинет, мы заметили на письменном столе очки, без которых Алексей никуда обыкновенно не уезжал. Что-то заметил и Калмыков, сказав о своем наблюдении вслух. Сидоров несколько нетерпеливо, с едва заметным раздражением ответил: „Все, что было, то и есть“. Калмыков с своей стороны отпарировал: „Ты что же запрещаешь говорить? мы ведь гатем и приехали, чтобы посмотреть, что видно через окно“. Не помню других мелких наблюдений, кроме того, что у косяка перегородки висел, кажется, нож с поясом, но и того, что было нами усмотрено, для меня оказалось вполне достаточно, чтобы сказать вслух совершенно утвердительно, что „Алексей дальше 5-ти верст от своей юрты не уезжал“.

Окончив осмотр юрты, я на клочке бумаги написал записку приблизительно такого содержания: „В случае назначения следствия по поводу безвестной отлучки Алексева с места жительства, прошу следователя вызвать меня через нарочного, чтобы я мог сообщить ему свои соображения“. Записку эту я вложил в дверной пробой, а Сидорову строго наказал, по прибытии заседателя или следователя, тотчас же обратить их внимание на оставленную мною записку. Это было в конце сентября.

Писал ли я заявление в управу и окружную полицию, теперь уже не помню, но факт тот, что в городе чурапчинские товарищи подвигали некоторую тревогу относительно исчезновения Алексева, условившегося ехать в город вместе с ними, и со своей стороны сделали полиции заявление, настаивая на следствии. Полиция не замедлила поручить участковому заседателю Пансню Ксенофонтовичу Атласову, немедленно выехать в Бутурусский улус и произвести предварительное следствие. Атласов, один из лучших и добросовестнейших заседателей округа, был в довольно хороших отношениях с политическими ссыльными и боялся производить следствие без представителя

последних, чтобы не быть заподозренным в получении взятки со стороны якутов. Ввиду этого чурапчинские сыльные командировали вместе с ним одного из товарищей, именно Митрофана Эдуардовича Новицкого, отличавшегося своим хладнокровием, обстоятельностью и практичностью.

Заседатель ехал в штатском платье, и его по пути принимали за „государственного“.

Не доезжая 5-ти верст до Тerasинской станции, они заехали к сыльному поляку Рудницкому и, между прочим, заговорили о слухах, будто неизвестно, куда делся государственный сыльный Алексеев. Рудницкий тоже принял заседателя за государственного сыльного и разговорился откровенно. Он сообщил, что не очень давно через Тerasинскую станцию проехал якут Жулейского наслег Егор Абрамов и провез с собою не менее ведра водки и другие продукты. Это обстоятельство удивило почти всех, так как всем было известно отсутствие у Абрамова денег. На вопрос о подозрительных лицах в Жулейском наслеге, Рудницкий указал именно на Абрамова.

Сам Атласов, приехав в Жулейский наслег, немедленно вызвал меня с нарочным казаком, и я, конечно, тотчас же поехал по его вызову. Только по моем прибытии начал Атласов формальное следствие. Он задал мне вопрос, который задавал, вероятно, и другим товарищам: „Не мог ли Алексеев бежать из Якутской области?“ Я доказывал, что Алексеев не мог бежать без того, чтобы кто-нибудь из товарищей не знал об этом, что товарищи, в таком случае, просто молчали бы об обстоятельствах исчезновения Алексеева и во всяком случае не стали бы утверждать категорически. „Нет, он не бежал“. Только окончательно „убедившись внутренне“, по выражению заседателя, что здесь нет факта побега, он решил приступить немедленно к следствию.

Прежде всего решено было осмотреть внутренность юрты и амбара. Кроме признаков, перечисленных выше и указывавших на кратковременную отлучку Алексеева, на столе была найдена полученная Алексеевым незадолго до отъезда записка участкового выборного Романа Большакова, сына местного родового старосты, с просьбой ссудить его двумя кирпичами чаю. Начало следствию и было положено этой запиской, как „документом“, наталкивавшим на мысль, что Алексеев мог сам повезти к выборному просимые тем кирпичи чаю. На допросе выборный подтвердил, что он, действительно, просил Алексеева ссудить ему 2 кирпича чаю, что он тогда нуждался в чае, хотя сам только-что вернулся из города, о чем нам каким-то образом уже стало известно. В доказательство своей нужды именно в чае выборный указывал на то, что ему пришлось занимать у матери 1/2 кирпича и даже на заварку чая, и, в доказательство справедливости своих слов, ссылаясь на свою мать, не рассчитывая, вероятно, что ее станут тревожить из-за такого пустяка. Но тут нужно было хитраться за каждую мелочь, которая могла бы навести на какой-либо след. Старуха была вызвана чрез казака, которому было строго приказано держать язык за зубами и не давать ей возможности переговорить с кем-либо из якутов.

В ожидании приезда старухи решено было допросить старшину Егора Абрамова, на которого я с самого начала указал, как на человека, подозреваемого мною, вспоминая, как жаловался Алексеев на завистливость его и Федота Сидорова. Егор Абрамов, спрошенный о ка-

тестве старшины, отозвался совершенным незнанием, куда и как мог уехать Алексеев; при этом Егор Абрамов, зная по-русски, отвечал на все вопросы по-якутски, пока я не предложил заседателю потребовать, чтобы тот говорил по-русски. Абрамов вертел в руках платок и табакерку, поминутно нюхал табак и протирал платком глаза, что дало мне повод заметить: „Ведь ты раньше не нюхал табак, а теперь я тебя вижу нюхающим“. — „Это я от болезни глаз стал нюхать, чтобы прочистить глаза“. — „Все-таки—настаивал я—ты мог бы в присутствии начальника повременить нюхать и тереть глаза“. — Пришлось повторить мое требование. Абрамов стоял как раз против меня, а я полулежал на лавке и в упор смотрел на него. Правый глаз Абрамова стал мигать с замечательной быстротой; Абрамов вперил свой взор в меня, а я тоже произываю его своим взглядом. И вот, во время этого совсем непродолжительного обмена взглядами, я вполне ясно для себя прочел в глазах Абрамова, что передо мною стоит и смотрит на меня не кто другой, как убийца моего товарища Алексеева. Об этом своем впечатлении я сообщил заседателю и М. Э. Новицкому, предложив вслед за этим произвести психологический опыт, а именно заставить Абрамова в нашем присутствии прочитать предписание окружной полиции о назначении следствия по поводу исчезновения Алексеева. С их согласия и одобрения я посадил Абрамова за стол слева от себя и дал ему прочесть предписание вслух. Он стал читать довольно неохотно. Я его подбадривал. Он почти на каждом слове записался, протирал глаза и как-то испуганно оборачивался в мою сторону, прося разобрать то или иное слово. Глаза у него, повидимому, заволакивало туманом. Иногда он так порывисто оборачивался в мою сторону, точно боялся, что я его пырну ножом в бок. Наконец, найдя, что для наблюдений было достаточно произведенного опыта с чтением документа, и желая оставить в Абрамове такое впечатление, как если бы в этом предписании сообщались сведения положительного характера, в которые его, Абрамова, посвящать нельзя, я закрыл рукою дальнейший текст, сказав, что дальше ему читать не полагается. На наблюдателей этот опыт произвел ожидаемое впечатление. Заседатель и мой товарищ увидели, что во время чтения Абрамов вел себя чрезвычайно неестественно, в чрезвычайном смущении и волнении, особенно когда произносил фамилию Алексеева.

Отпустив Абрамова, допросили старосту и других старшин, которые все отозвались полным незнанием, куда мог деваться Алексеев. На поставленный старосте вопрос: может ли он поручиться, что Алексеева не убили в его наслеге, староста ответил, что поручиться не может.

Когда было доложено о приезде жены старосты (она же мать избранного Романа Большакова) и мы стали ее допрашивать, действительно ли ее сын занимал у нее чай четвертями кирпича и даже заварками, она ответила отрицательно, возмущенная таким предположением. „Как это можно допустить,—сказала она,—чтобы мой сын брал у меня чай в долг, когда он может брать его у меня сколько угодно?“. Старуха совершенно не знала о противоположном показании сына. По окончании допроса она была отпущена домой. Об ее ответе было сообщено ее сыну и мужу. Дело получало очень неприятный для них оборот: полное расхождение в показаниях матери и сына.

Через некоторое время староста знаками стал вызывать меня из комнаты. Увел, помнится, в темный хлев, пристроенный к юрту родо-

вого управления, и там со слезами стал жать мою руку, целовать и нюхать меня, прося спасти его сына, который в этом деле не замешан. Он сказал, что в этом деле они подозревают Егора Абрамова и, дрожа всем телом, просил не выдавать его, старосту, ибо самого его убьют. Я поблагодарил старосту за ценное для следствия сообщение и был уверен, что им будет сделано все, чтобы раскрыть преступление. Успокоив по возможности старосту относительно сохранения в тайне его сообщения, я вернулся в родовое управление и сообщил о своем разговоре со старостой заседателю и Новицкому.

Заседателем было замечено, что, в сущности говоря, родовое управление для производства следствия является крайне неудобным местом, так как подслушать здесь было чрезвычайно легко, и потому заседатель наметил для дальнейшего такого рода план: продолжение следствия перенести в инородную управу, а местным властям объявить: 1) что он вынужден прекратить следствие, так как они не дали ему, заседателю, никаких нужных сведений, ничем не помогли ему в этом деле; 2) что он требует от них с завтрашнего же дня, чтобы они начали искать в озерах при помощи невода, а также в сметанных на покосе Алексеева стогах сена, не окажется ли там труп Алексева; 3) что если Алексеев не будет отыскан живым или мертвым, то он, заседатель, нагонит сюда для розыска казаков, которые выпустят их рыбные озера и разорят целый наслег; 4) что полиция не успокоится до тех пор, пока не будет иметь сведений об этом государственном преступнике; 5) так как ему, заседателю, повидимому, здесь делать нечего, то он возвращается в город, оставляя для наблюдения за принимаемыми властями мерами двух товарищей Алексева: т. е. Новицкого и меня.

VIII.

Дальнейший план заседателя, как он сообщил нам по секрету, состоял в следующем: он отправится в инородную управу, займется рассмотрением полученных за это время распоряжений из окружной полиции и, пробыв там сутки или двое, даст экстренное предписание о немедленном вызове в управу выборного Романа Большакова и членов Жулейского родового управления, как старых, так и вновь избранных, для нового допроса, ввиду полученных из города сведений, касающихся Алексева. В то же время приказано будет казакам, чтобы они, под предлогом поездки в смежный Хайхсытский наслег, завернул за женой Егора Абрамова и секретно доставил ее в инородную управу. Порешивши на этом, мы расстались с заседателем.

Чуть ли не тотчас после его отъезда староста велел приступить к последней неводьбе, на которой ни я, ни Новицкий не присутствовали, заночевав в родовом управлении. Неводьба не дала никаких результатов, хотя и производилась по указанию шаманки, которая не отрицала возможности нахождения трупа, но не могла определенно указать местонахождения, говоря, что труп переходит с одного места на другое. Это обстоятельство комментировалось на разные лады.

На другой день явился вызванный наследный писарь Егор Дмитриевич Николаев, бывший воспитанник реального училища, принявший очень энергичное участие в деле расследования. Нужно было устроить торги на оставшуюся после Алексева корову. Я выставил свою цену, и, кроме меня, других покупателей не оказалось. Не

имая при себе наличных денег в достаточном количестве и желая в то же время, под предлогом нужды в деньгах для уплаты по торговому листу за корову, выискать с Егора Абрамова должную им мне сумму, я настаивал на немедленной уплате этого долга. Сбежав домой, Абрамов тотчас вернулся, но с пустыми руками. Я продолжал настаивать на уплате деньгами, предполагая, что получу бумажку совершенно новенькую, не измятую, какими нам выдавалось ежемесячное пособие. Без нарушения порядка №№, обыкновенно пятирублевками. Ввиду моих настояний, Абрамов на виду у всех переговорил о чем-то с Федотом Сидоровым, сидевшим рядом с ним, и тот ответил с негодующим видом: „Ну, и будет дано“. Через несколько секунд Сидоров вышел. Все присутствовавшие переглянулись между собою. Через некоторое время Сидоров явился с пятирублевой бумажкой, которую Абрамов принял от него и затем положил мне на стол, за которым я сидел вместе с писарем. Бумажка оказалась новехонькой, и я попросил писаря записать ее номер на торговом листе, дабы отдельная записка как-нибудь не затерялась. Та же мысль мелькнула и у писаря. Мы оба имели в виду, что может попасться при обыске у кого-либо такая же бумажка в порядке соседних №№, которая послужит сильною уликою против ее владельца.

В тот же, кажется, день, в качестве нового старшины был приведен писарем к присяге Федот Сидоров. Это было сделано тоже без расчета. Имелось в виду, что Сидоров, когда потребует его присутствие в управе в качестве обыкновенного родовича, может не явиться, но не посмеет отказаться, как старшина.

На другой день было приступлено к разрытию стогов сена на покосе Алексева. Самое деятельное участие в этой работе проявил Егор Абрамов, старавшийся, видимо, обратить на себя наше внимание. Федот Сидоров ходил в задумчивости, что не ускользнуло от внимания старосты и писаря, которые очень недвусмысленно дали мне понять, что в данном деле и Сидоров замешан не менее Абрамова. Тут же они подозвали его и, под видом дружеского отношения к нему, указали на то, как неосторожно он вел себя в родовом управлении, когда шопотом переговаривался о чем-то с Абрамовым, потом вышел и принес Абрамову деньги. Сидоров как-то испуганно поблагодарил за предупреждение и даже перекрестился, как бы ограждая себя от возможной опасности быть так легко замешанным в дело.

Когда настал вечер, староста пригласил меня, Новицкого и писаря к себе на ночевку. Прием был оказан самый лучший со всевозможными якутскими угощениями и неизбежными спиртными напитками. И я Новицкий ежеминутно ждали прибытия казака. И вот, в самый разгар ужина, неожиданно для хозяев и писаря, как снег на голову, является казак с предписанием немедленно доставить в управу таких и таких-то должностных лиц для нового допроса. Староста, ничего этого не предвидевший, страшно заволновался и немедленно отдал распоряжение о сборе лошадей со стороны более зажиточных якутов и о скорейшем приготовлении к отправке целого поезда.

Мы выехали в ту же ночь по свежее выпавшему снегу на легких санках-нартах. Почти одновременно с нами, только другой дорогой, отправился в управу казак Асламов с женой Егора Абрамова.

По прибытии в Чурапчу, Егора и его жену поместили в разных домах под строгим наблюдением. Немедленно было приступлено к допросу, который и велся в присутствии заседателя и моем Амгинским

люпытным писарем Вас. Вас. Киренским, очень опытным в этом деле тепореком.

Как-то скоро выяснилась необходимость, под благовидным предлогом, уединить Федота Сидорова, который и был помещен под надзором Новичкого в его доме, находившемся в б. скопческом селении близ Чурапчи.

Следствие велось очень энергично и день и ночь; постоянно направлялись распоряжения о доставке того или другого свидетеля или свидетельницы по мере дачи показаний Абрамовым и его женой.

Надо сказать, что заседатель был тогда еще довольно молодой человек, вполне приятной наружности, с чистым лицом, небольшой городной и усами, очень к нему шедшими. И вот заседатель, зная эти свои данные, воспользовался ими при допросе одной молоденькой якутки, робевшей перед ним, как чиновником; чтобы придать ей больше смелости, он брал ее за руку, держал некоторое время в своей руке таким способом заставил ее развязать язык и дать важные показания. Потом уже начались более смелые и подробные показания других свидетелей и свидетельниц.

Сказалось, что к Егору Абрамову, как к „городчику“, т. е. только что приехавшему из города, собрались было его ближайшие сородичи, которых он, согласно обычаю, угощал водкой, не забывая, конечно, и самого себя. В опьянении он пел песню-импровизацию, что-де хорошо им жить беззаботно, не неся никакой ответственности, не то, что ему, лицу должностному, отвечающему и за живых, и за мертвых. Вот ему представляется, что едут люди с колокольцами, звенят стремени, произойдет большой переполох, и в результате будут некоторые пострадавшие и т. д. в этом роде.

Гораздо подробнее и несомненно вернее передано содержание песни в частном письме товарища Алексева посылке от 6 ноября 1891 г., напечатанном в женевском „Социал-Демократе“ (кн. IV, 1892 г., редакция Г. В. Плеханова). Перевод этой песни приложен, как сказано в письме, к делу об убийстве Алексева.

Жил был в одном улусе русский богатырь, силы необыкновенной. Богатырь (следует поэтическое описание его силы и богатства). Но вышли богатыри-якуты, которые его победили и богатство его себе присвоили. Лежит он бездыханный в дремучем лесу и никогда больше не встанет. Не увидит его никогда ни конного, ни пешего. Ни один человек не увидит, чтобы из трубы его юрты выходил дым. Потом Егор обращается к сородичам и просит простить богатырей за беззаконство, которому они подвергнутся, благодаря исчезновению русского. „Не пройдет и двух недель, — поет он дальше, — как вся окрестность огласится стуком телег с коваными колесами, и поедут в них люди с блестящими пуговицами и станут спрашивать-допрашивать всех, куда делся русский. Но никто ничего не скажет, ибо никто не знает, где он. Знают об этом только два богатыря, а кто они, может быть, впоследствии и узнается, но теперь он не скажет“. (Цитировано по выдержке, сообщенной Н. А. Виташевским в мае 1907 г.)

По словам свидетелей, все поняли, что Абрамов в своей импровизации намекал на таинственное исчезновение Петра Алексева, о чем потом якуты секретно передавали друг другу при встречах (в лесу, например, на дороге и вообще в глухих местах); носились слухи, что собаки таскают откуда-то обглоданные лошадиные кости и т. п. подробности.

Решено было произвести обыски в юртах Абрамова и Федота Сидорова.

При отправке одного нарочного в Мулейский наслег присутствовал Федот Сидоров, пытавшийся поговорить с этим нарочным, но был остановлен старостой этого наслега. Тем не менее, несмотря на запрещение старосты вступать в разговоры с посторонними, Федот Сидоров успел сказать несколько слов, прося передать жене об имеющихся 42 рублях. На заданный мною вопрос, о каких деньгах он говорит, Сидоров, ведший себя с некоторого времени вообще грубо со мною и другими причастными к следствию лицами, ответить не удостоился. Добиться от него каких-либо определенных показаний было невозможно. Обо всем он отговаривался незнанием.

Для производства обысков был командирован один из выборных (якут другого наслега), я и Новицкий. При обыске у Абрамова мы, главным образом, старались найти на одежде и обуви следы крови и конского жира (предполагалось, что конь Алексева убит и съеден). Конский жир оказался на кожаных рабочих рукавицах Абрамова, которые мы захватили, как вещественное доказательство. Более ничего подозрительного мы не нашли.

У Сидорова также ничего подозрительного найти не удалось. Жена его на все вопросы отвечала незнанием. На требование наше выдать деньги, какие ей оставил муж, она, не отрицая самого факта, ответила, что деньги она уже израсходовала на покупку коровы и другие расходы. По проверке оказалось, что корова, действительно, была куплена рублей за 20, других же расходов, которые бы подтвердились, она указать не могла. Тогда я счел своевременным сказать ей, что муж ей оставил ровно 42 руб., и она должна указать, куда она их дала, или предъявить нам. При упоминании суммы на лице ее выразилось крайнее удивление; она вынуждена была спастись перед такими имевшимися у нас в руках точными сведениями и вскоре принесла все оставшиеся у нее бумажки, а бумажки были все новенькие, пятирублевые и в порядке номеров. К ним подошла в порядке номеров и та бумажка, которая была получена мною от Абрамова и уплачена по торговому листу.

Где-то нам было поручено произвести еще обыск, но там мы не нашли ничего подозрительного и вскоре вернулись в управу.

Результаты обысков были сообщены заседателю и Киренскому. Последний, кроме жира, при свете лампы нашел на захваченных при обыске рукавицах, шитых жильными нитками, по продольному шву явственные следы крови. При более тщательном смотре кровь была найдена и на многих других местах рукавиц.

Не помню теперь разъяснений Абрамова, но факт тот, что Абрамов в своих показаниях крайне путался и сам ясно видел, сколь противоречивы его показания. Не то было с Федотом Сидоровым: этот твердо стоял на своем, что он к данному делу никакого касательства не имеет, и в показаниях своих был крайне сдержан. Решено было поехать к Новицкому и там осмотреть всю одежду и вещи Сидорова. Нам раньше не могло даже прийти в голову осмотреть летний зипун, который был на нем, но когда очередь дошла и до этого зипуна, то мы на нем нашли массу кроляных следов. Помнится, Сидоров объяснял, что запачкал зипун кровью, когда нес убитых на охоте уток.

Допрос производился непрерывно в течение не менее 2—3 суток при чем заседатель, Киренский и я совершенно не смыкали глаз.

Абрамов, под тяжестью добытых вполне определенных сведений и своих сбивчивых и окончательно его запутывавших показаний, решил-таки сознаться,—не без моего, может быть, влияния. Я советовал ему лучше чистосердечно сознаться, потому что каторги ему все равно не миновать; упорным отрицанием своей вины он только ухудшит свое положение, ибо в качестве свидетеля я обязан буду сообщить то, что слышал от Алексеева относительно распространения им, Абрамовым, фальшивых серебряных рублей. Должен сказать, что некоторые показания давались Абрамовым при условии моего отсутствия (часто я скрывался за перегородкой); когда же Абрамов решил сознаться в совершенном преступлении, то категорически потребовал, чтобы меня при этом не было, и я должен был удалиться.

Проживаясь в соседней комнате из угла в угол, я заметил сквозь неплотно притворенную дверь, что Абрамов стоял перед заседателем на коленях. Ясно было, что он делал „чистосердечное признание“. И действительно, через некоторое время заседатель вышел и сообщил мне, что Абрамов признался в убийстве Алексеева, совершенном им совместно с Сидоровым.

Как ни был я подготовлен к такому конечному результату следствия, тем не менее тут я не удержался, чтобы не разрыдаться истерически.

Подробное показание Абрамова было записано, кажется, в мое отсутствие, да мне собственно и незачем было присутствовать. Сущность его показания состояла в следующем:

Сидоров сообщил как-то Абрамову, что ему удалось через окно подсмотреть, как Алексеев раскладывал на столе кредитные бумажки, по толщине пачек, на взгляд, около 2—3 тысяч (?) рублей, и стал подбивать Абрамова заманить куда-нибудь Алексеева и убить, после чего деньги разделить пополам. Надо думать, что Сидоров подсмотрел, как Алексеев зашивал деньги в свой суконовый азам (кафтан). Обоим заговорщикам было известно, что Алексееву очень хотелось узнать кратчайшую дорогу до Чурапчи, и они условились между собою, что рано утром в определенное время Сидоров постучится к Алексееву и станет торопить его поскорее одеться, если он желает знать ближайший путь на Чурапчу, так как он, Сидоров, должен сейчас же ехать в том направлении. Абрамов в это время должен будет выйти с правой стороны дороги им на перерез, как бы высматривая удобное для косябы место на находящейся близ дороги елани (поляна в лесу). Елань эта находилась в одной—двух верстах от родового управления и жилища Абрамова. Когда Алексеев и Сидоров подъезжали к условному месту, тут же показался у опушки леса Абрамов с горбушею (коса) на плече, поздоровался с Алексеевым и, чтобы устранить у последнего всякое опасение, бросил горбушу в остожье; затем подошел к Алексееву и Сидорову поговорить, как это водится обыкновенно между якутами. На вопрос Алексеева, не думает ли Абрамов косить на этой елани, Абрамов ответил, что хотел бы начать косить, да что-то голова болит. Тогда Алексеев будто бы вынул из кармана бутылку водки и предложил выпить ему и Сидорову.

Я—рассказывал Абрамов—немного отпивши, опять-таки, чтобы рассеять у Алексеева всякое подозрение, ответил, что пусть-де водка останется для него самого, так как ему все-таки ехать порядочно. Сидоров совершенно отказался отводки. Алексеев немного отпил и затем бутылку спрятал в карман. После этого Алексеев и Сидоров стали соби-

раться в дальнейшую дорогу. Я подскочил к лошади Алексеева и из уважения взял ее под уздцы, при чем обратил внимание Алексеева, чтобы он подтянул подпруги у своего коня. Когда Алексей завялся этим делом, Сидоров с силой пырнул Алексеева в правый бок. Алексей, обернувшись, одной рукой схватил Сидорова за грудь, а другой за правую руку и, обладая громадной силой, повалил того на землю. Я было растерялся; у меня мелькнула мысль сесть на лошадь Алексеева и ударить, но в это время Сидоров властно и настойчиво стал кричать: „Коли, коли!“ Повинуясь этому приказанию, я выхватил свой нож и, всадив Алексею в самый крестец, стал водить ножом поперек, пока тот не выпустил из своих рук Сидорова. Поднявшись на ноги, Алексей пошел по дороге, как бы ища чего-то. Меня взяла оторопь при мысли, что Алексей найдет дружок и, при своей богатырской силе, укокошит кого-либо из нас. Пока я размышлял, не ударить ли мне и в самом деле на алексеевской лошади, Сидоров начал наносить Алексею, направившемуся в обратную сторону, по дороге домой, удары ножом один за другим, куда попало. Алексей все более и более замедлял шаг и, истекая кровью, упал. Тогда Сидоров нанес последний смертельный удар в левый бок. После этого мы ножи свои воткнули в землю у основания придорожной лиственницы, труп Алексея связали ремнем, притянули голову к ногам и затем, продев палку, подняли на плечи и унесли в глубь тайги, где опустили труп в глубокую лесную ямину, завалив ее обильным валежником.

IX.

В несколько иной версии сообщены подробности убийства Алексея в упомянутом выше письме товарища по ссылке от 6 ноября 1891 г. ¹⁾ „Федот Сидоров заманил Алексея в лес, по совершенно глухой дороге, якобы самой короткой, ведущей на Чурапчу. В двух верстах они, будто случайно, встретили Егора Абрамова. Появилась водка, которую они стали выпивать, провожая знакомого. Петруша сидел на коне, и, когда надо было прощаться, Федот заметил ему, что у его седла ослабла подпруга. Ничего не подозревая, Петруша сошел с лошади и стал поправлять подпруги, обернувшись спиной к якутам. Этим моментом воспользовался Федот и, что было силы, всадил ему нож в спину. Петруше нельзя было броситься вперед, мешала лошадь, а якут, всадивший нож, не вынул его, а держал в ране; поэтому, чтобы освободиться от ножа, Петру пришлось повернуться и этим нанести себе более глубокую рану. После этого у него достало силы схватить убийцу за шиворот и повалить наземь, при чем якут успел еще раз ударить его ножом в живот. Завязалась борьба. Алексей, стараясь обезоружить противника, стал звать на помощь другого якута, не подозревая в нем соучастника, но тот вместо помощи схватил его за волосы и пытался пригнуть к земле, а потом, в свою очередь, ударил его ножом. Бросивши их обоих, Петруша побежал. Один из якутов опомнился первый и бросился в погоню, боясь, что Алексей найдет где-нибудь кол или дубину и с таким оружием отобьется от них. Конечно, догонять долго не пришлось.

¹⁾ „Социал-Демократ“ 1892, кн. IV.

Тяжело раненный, Петруша отбежал всего шагов на 60—70 и то уже под конец шатался, как пьяный. Догнавши, якут повалил его на землю несколькими ударами ножа. Они его страшно изрезали, прежде, чем он умер. Деньги 107 р., найденные в чамарке, которую Петруша сбросил на бегу, были тут же разделены поровну. Труп, связавши контесами ¹⁾, унесли в лес и спрятали в яму, заваливши ее всякой всячиной. Часы бросили в озеро, как вещь, резко бросающуюся в глаза. Коня увели далеко в лес в другую сторону и, продержавши два дня привязанным (чтобы сало не испортилось!), убили; мясо, разделивши, спрятали и съели понемногу²⁾.

Спрятали мясо, наверное, в лесу, в подходящих яминах, обыкновенно, даже среди лета, сохраняющих под лесным мохом лед.

Тут уместно будет привести записанный Н. А. Виташевским 16 февраля 1892 г. следующий „Рассказ матери Егора Абрамова о дне убийства“:

„В этот день Е. А. рано возвратился с покоса и был в угнетенном состоянии. На вопрос матери (жена жала хлеб за 10 верст), что с ним, не болен ли он, что так рано пришел, Е. А. ответил, что ему, действительно, нездоровится. Он изловил коня и залег на орон ³⁾, задержавши занавеску. Мать все удивлялась и спрашивала, почему он не заказывает пищи, и чего он хочет—чаю или сливок. Он сказал, что пусть не шумят и дадут ему отдохнуть. Мать тем не менее приготовила ему сливок; он встал, хлебнул ложки две и опять лег. На вопрос матери, пойдет ли он опять на покос, сказал, что сегодня не может работать и что изловил коня, чтобы поехать на охоту. Мать думает, что Е. А. хотел тогда же бежать. Она выдает за достоверное, что между убийцами условлено было, что в случае намека на подозрение, они оба убегут. Но в первую минуту, повидимому, у Е. А. явилось непреодолимое желание скрыться, тем не менее он одумался и опять отпустил коня в поле. Через несколько дней Е. А., напившись пьяным у своего родственника, стал на утро петь песню, в которой говорил, между прочим, что все будут встречать новый год (Покров) у себя в домах и хорошо проведут зиму, но что он будет далеко от дому. Тут, будто, домашние сообразили, почему 16 августа Е. А. был так необычно расстроен. Старуха говорит, что Сидоров часто приходил к Е. А., поил его водкой и уговаривал убить А-ва“.

Важно было прежде всего найти орудия преступления. Таковые были разысканы по указанию Абрамова. Была привезена на Чурапчу для дачи показаний жена Сидорова. Абрамов сразу же признал свой нож, не более четверти длиною, с деревянным черенком.—Другой такой же величины нож был предъявлен Сидорову, который отозвался незнанием, что это за нож, и стоял на своем даже после того, когда жена Сидорова признала нож принадлежащим ему и повела себя после этого явно враждебно по отношению к мужу. Она сообщила нам, что муж заставил ее носить свои летние штаны и, на требование предъявить их, она ответила, что штаны на ней, а у ней как раз в это время менструации; для нас стало понятным, что Сидоров заставил жену носить свои штаны, чтобы скрыть следы крови на них.

Оставалось теперь разыскать труп Алексева и после этого попробовать добиться сознания Сидорова. Для этого заседатель, выбор-

¹⁾ С якутского контос—лошадиный повод, чембур. Э. П.

²⁾ Спальная лавка у стены, заменяющая кровать. Э. П.

ный, казак и я с Новицким отправились в Жулейский наслег в сопровождении обоих убийц. Оставив Сидорова на месте в родовом управлении, со связанными сзади руками и под караулом, мы отправились в сопровождении Абрамова к месту убийства. Место это мне очень памятно; оно представляет небольшую прогалину на пригорке, выходящую на большую елань (поляну). Налево от этой прогалины шла почти непроходимая тайга, густо поросшая крупными и мелкими лиственницами, меж которых лежала масса бурелома. Туда-то, в перпендикулярном направлении, и повел нас Абрамов, как-то дико осматриваясь по сторонам, как бы стараясь распознать то место, где они, убийцы, спрятали свою жертву. С замиранием сердца я думал: „а вдруг Абрамову придет в голову сказать, что он не может найти“, но, наконец, он остановился и тихо сказал: „Здесь“. Место было заброшено валежником и хвоей до того, что вряд ли без указания кто-нибудь мог бы догадаться, что здесь скрыт труп. Когда уже отвалили набросанные на труп гнилые и полугнилые бревна, обломки ветвей и мох с хвоей, то самое направление, в каком лежал скрытый труп, можно было узнать лишь тогда, когда кто-то наткнулся руками на торчавшие на поверхности ноги; так как труп успел примерзнуть к земле, то пришлось вырубать при помощи железных ломов. Труп был добыт в виде громадной мерзлой глыбы, которую с большой осторожностью звалили на сани и отправили в юрту покойного. Обратный путь мне пришлось ехать в одних санях с Абрамовым. Абрамов просил меня посоветовать, как ему добиться облегчения своей участи; я мог лишь ему сказать, что он, ввиду сознания, будет подвергнут меньшему наказанию, чем его товарищ по убийству. По прибытии в родовое управление, власти с заседателем во главе отправились в юрту Алексеева, куда труп уже былнесен и положен на стол, и туда был приведен Сидоров. На вопрос заседателя, знает ли он, кто это лежит, он ответил: „Да, знаю“. — „Кто же?“ — „Алексеев“, — ответил Сидоров. — „Где его голова?“ — „Здесь“. — „Где его ноги?“ — „Там“. — „Кто его убил?“ — „Не знаю“. — „Ты не участвовал?“ — „Нет“.

Когда, по окончании этого краткого допроса, стали выходить из юрты, то Сидоров не без подобострастия забежал несколько вперед заседателя и как бы конфиденциально заявил заседателю, что он в этом деле подозревает Абрамова, который давал ему деньги за молчание в случае, если обнаружится что-нибудь грозящее Абрамову. Это был последний ход, последняя соломинка, за которую хватался Сидоров, чтобы спасти свою шкуру.

Труп был оставлен в той же юрте Алексеева. Преступники, по соблюдении всех формальностей по составлению акта, были немедленно отправлены под наблюдением казака в г. Якутск и заключены в тюрьму. Между арестантами очень быстро разнеслось сенсационное известие о том, что привезли разысканных убийц „государственного преступника“ Алексеева.

Через некоторое время, в ноябре того же года, был командирован на место преступления окружный врач Несмелов для судебно-медицинского вскрытия. Он приехал в сопровождении М. Э. Новицкого. О его прибытии, вероятно, по инициативе последнего, было сообщено и мне. Когда я явился, то врач распорядился об очистке трупа от крепко примерзших комьев земли, загрязнивших самое тело; труп был спущен в находящийся по близости часовни пруд, и подледным передвижением от одной проруби до другой труп отмыли до извест-

ной степени. К вскрытию было приступлено, как только он оттаял в жарко натопленной специально для этого юрте Алексеева. При вскрытии присутствовали Новицкий и я, при чем мне было предложено записывать протокол вскрытия. Труп, совершенно обескровленный, был неузнаваем. По подсчету врача на нем было 22 раны. Самые крупные раны были нанесены с обоих боков и зияли в виде круглых дыр. Рана на крестце была длиною $2\frac{1}{2}$ вершка и шириною $1\frac{1}{2}$ вершка. Врач определил телосложение покойного, как очень крепкое, атлетическое. Дальнейших подробностей вскрытия я не помню. Врач, сделав свое дело, распоряжался о погребении.

Мы с Новицким похоронили Алексеева в ограде часовни чуть ли не у самой (левой) ее стены. Для присутствовавших якутов мною было сказано по-якутски надгробное слово.

Х.

Когда таким образом якутские политические ссыльные, похоронив Петра Алексеева, оплакивали безвременную гибель одного из своих лучших товарищей, в это самое время департамент полиции считал Алексеева все еще в бегах и, предписывая „циркулярно“ и „совершенно секретно“ разным подведомственным властям принять все меры к разысканию и задержанию Алексеева, указывал на опасность, которую грозит государственному строю свободное проживание в пределах России такой революционной силы, как Алексеев. Вот подлинные слова циркуляра департамента полиции от 28 ноября 1891 г.:

„Алексеев, происходя из простого звания, обладая природным умом и бесспорным даром слова, представляет собою вполне законченный тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих убеждениях, и едва ли после побега удовольствуется пассивной ролью, а, напротив, воспользуется обаянием своего имени в революционной среде и, несомненно, перейдет к активной деятельности, которая может оказаться, в особенности же в пределах империи, весьма вредною для общественного порядка и безопасности“¹⁾.

Можно себе представить, как облегченно вздохнул департамент полиции и иже с ним, когда до них дошла, наконец, радостная весть, что столь опасный для „порядка“ человек убит...

Чрез некоторое время мне удалось приобрести камень, на котором я вырезал дату убийства, имя и отчество покойного, а затем (в 1894 г.) распорядился о постройке над могилой небольшой деревянной ограды с навесом. У меня сохранился подлинник подписки об обязательстве устроить надгробный памятник. Вот буквальный текст этого последнего письменного документа о покойном Алексееве:

„1894 года марта 9 дня, я нижеподписавшийся якут Жулейскаго наслега, Батурускаго улуса, Николай Софроновъ, дасть сие подписку Государственному преступнику Эдуарду Пекарскому, въ томъ, что я обязуюсь на собственномъ своимъ кочтомъ сдѣлать памятника государств. преступника Петра Алексѣева съ лезомъ места три сарая изъ сараемъ²⁾, такъ какъ о покосѣ памятника жены Николая Больша-

¹⁾ „Былое“, 1907, X, стр. 113—114.

²⁾ Т.-е. с железными скрепами в трех местах и с сараем (навесом). Э. И.

кова непримѣнно окончить 19 Юня с. г. за что платы получилъ отъ Пекарскаго три возовъ саженныхъ и зеленныхъ сѣна, въ противномъ случаѣ подвергаю строгій законной взысканіи. Въ чемъ и подписуюсь Якутъ Николай Софоновъ по безграмотству за его росписался Якутъ Романъ Александровъ. Въ дѣйствительности правильности и законности въ томъ свидѣлствуетъ Марта 9 дня 1894 года Староста П. Большаковъ. Старшины Иванъ Винокуровъ, Трофимъ Васильевъ, Михаила Кольмаковъ. Печати ихъ описалъ Якутъ Романъ Александровъ“.

Приезжавшій изъ города по деламъ якутской Сибиряковской экспедиции Н. А. Виташевскій при довольно пасмурной осенней (1894 г.) погоде снялъ съ могилы фотографію, „не вполне, по его мнѣнію, удачную“, она была прислана мнѣ изъ Женевы при письмѣ отъ 18 апреля н. с. 1907 г.

Уцелела ли эта ограда?—Вряд ли...

Детство, проведенное в бедной крестьянской семьѣ, отрочество и юность в той же семьѣ в условіяхъ тяжелой крестьянской работы, пребываніе на ткацкой фабрике в качествѣ простого рабочаго, сближеніе с революціонерами, пропаганда среди фабричныхъ рабочихъ, арест, тюрьма, суд, „централка“, карийская каторга, поселеніе среди якутовъ, рѣдкіе встречи с товарищами, занятіе сенокосеніемъ и, наконецъ, смерть в глухой тайгѣ отъ руки двухъ якутовъ, ближайшихъ соседей,— все это можетъ послужить прекраснымъ матеріаломъ для созданія хватающей за душу драмы, обрисовывающей в то же время целую полосу в исторіи нашей общественности...

Э. Н. Пенарскій.

21 октября 1920.

16 апреля 1921.



Флеровский-Берви и чайковцы ¹⁾).

В начале августа 1871 года я приехал из Харькова в Петербург. Пошла новая полоса моей жизни. Многое забывается, многое покрывается тусклым налетом, ржавчиной... Но эта полоса моей жизни глубоко врезалась в моей памяти, крепко засела в мозгу, клещами не вытащишь ее оттуда.

Лучшая полоса моей жизни. Я застал в Петербурге конец „нечаевского дела“. Я бывал на суде и зорко следил с живым интересом провинциала за всем. Подсудимые произвели сильное впечатление—не только на меня, но и на прочую студенческую и не-студенческую молодежь. Но и здесь, как и в Харькове, отношения молодежи к Нечаеву и к тому, что мы прозвали „нечаевщиной“, были принципиально отрицательные.

Масса молодежи в целом вовсе не была тогда революционно настроена, а потому призыв к революции, заговор и т. д. пугали ее и далеко отбросили ее от революционного пути на путь мирной работы. Меньшинство же, как, напр., чайковцы (как ниже увидим), с самого начала противостояло агитации Нечаева и его тактике.

Я лично стоял тогда на перепутьи, а пока что знакомился по книжкам с „рабочим вопросом“ на Западе, с его теорией и практикой („доктриной“, как мы тогда выражались, „идеологией“—по современной терминологии). Все это, конечно, меня захватывало, как и всех, изучавших движение рабочих масс на Западе, сплотившихся под знаменем социализма. Но к практической в этом смысле работе я еще и не думал приступать, ибо я не чувствовал себя для этого достаточно подготовленным. И тем более я был решительным противником Нечаева и „нечаевщины“, в особенности: самозванщина, иезуитизм и маккиавеллизм глубоко претили мне вообще, а применение их к товарищам по работе я считал просто преступлением. И это убеждение мое утвердилось еще больше впоследствии, когда я примкнул к революционному движению молодежи последующих годов. Я смотрел на „нечаевское дело“, как на вредную революционную попытку того времени, как на недозволенный революционный опыт, и считал его тяжелым кошмарным эпизодом в истории нашего революционного движения. И по сие время я стою на этом. Большое народное дело, по моему, не может быть осуществлено таким образом. Са-

¹⁾ По личным воспоминаниям, свидетельствам современников, литературным и архивным данным. Этот очерк тесно связан с напечатанным в 18-ой книги „Былого“ очерком: Флеровский-Берви и кружок Долгушина и должен читаться ранее последнего. О. А.

мозаванство исторически изжило себя. Исторически „нечаевское дело“ — наглядный пример для современности отрицательного революционного опыта. В этом смысле оно глубоко поучительно, в этом смысле оно сделало свое дело, сыграло свою роль.

Я всю жизнь остался благодарным товарищу моего детства, С. Шору, за его настойчивый совет поступить в медико-хирургическую академию. (Я было решил раньше поступить в университет на естественный факультет.) Не поступив я в академию, жизнь моя, пожалуй, сложилась бы иначе. Но я отнюдь не сожалел об этом. Разве можно сожалеть о том, что в молодости был молод? Разве можно сожалеть о том, что лучшие годы, годы молодости прошли в хорошем обществе? А общество в академии, действительно, было самое лучшее, отборное. Общество здоровых, сильных, бодрых разnochинцев. Здесь разночинским духом пахло, здесь демократизм был не наносный, а подлинный — *ring sang*. Уж одна внешность студента академии, несмотря на то, что полагалась форма, бросалась в глаза. Блуза, косоворотка, высокие сапоги, широкополая шляпа, длинные волосы — такова в общем фигура медика. Нигде, думается мне, студенты не были так объединены, как в академии. И объединяли их не только специально медицинские интересы, но культурно-просветительно-общественные интересы. Центром, объединявшим студентов, была студенческая библиотека. Кто-то шутя прозвал библиотеку яacobинским клубом. Меткая кличка. Это, действительно, был клуб: библиотека, читальня, место для сходок, куда был свободный доступ и не студентам. Одним словом, открытая политическая арена. Были в этом клубе и „Гора“, и „Центр“ („Долина“, „Болото“). Я хорошо помню отдельных представителей каждой фракции. Типичные, красивые фигуры. Но об этом потом. Библиотека помещалась в одном из многих дворов академии. Небольшая передняя, она же — читальня. Тут же газеты и журналы. Большая, несуразная, довольно грязная зимою, мрачная комната. Это собственно библиотека с ее отделами. Заведывала библиотекой комиссия из выборных членов: по два с каждого курса. Во главе комиссии для сношения с начальством стоял уполномоченный — один из членов комиссии. Библиотечная комиссия выбиралась на год. Комиссия ведала все административно-хозяйственные дела библиотеки, отвечала за сохранность библиотечного имущества, следила за современным пополнением библиотеки новыми книгами. Но для последнего требовалось предварительно заявление 30 человек. Заявление заносилось в журнал, и как только собиралось 30 подписей, комиссия в течение определенного срока обязана была исполнить это требование. Журнал этот, первоначально имевший определенно-специальное назначение, мало-по-малу, совершенно незаметно, превратился в своеобразный критический сборник. Дело в том, что нередко предлагаемая книга вызвала нарекания, осуждения, недовольство. Заявлялась полемика, в общем содержательная, серьезная, а порою и страстная и пристрастная. Исписывались *pro* и *contra* целые страницы. Люди писали, как понимали, как бог на душу положил. И в этом-то был весь интерес этих писаний. Читалась эта полемика с величайшим интересом. Ведь в них, в этих импровизациях литературных, непосредственно отражалось умонастроение молодежи. Сколько бодрости, свежести, прямолинейности чувалось

в этих суждениях. Право, жаль, если этот журнал затерялся совсем. В мое время не сменяемым представителем комиссии был Василий Семенович Ивановский, или, как любовно прозвали его товарищи, „Василий Великий“. Это—типичная, яркая фигура „Горы“. Крепкая, как камень, твердая, как дуб, индивидуальность. По внешности холодный, а ударьте по нем—искры сыплются. По внешности—тонкий, а согните его—не гнется. Трещит, а не гнется, ломается, а не гнется. Чтобы сломать его, нужны мощные порывы ветра, буря и гроза, топор и могучая рука. Цельная натура.

Я прямо любовался им: его огромным ростом, открытым лицом, ясными спокойными глазами. Вот он в блузе, подпоясанный ремешком, в картузе, в высоких смазных сапогах. Зимой поверх этого—недубленный полушубок. Когда, бывало, я говорю с ним,—один только смех,—я задираю голову вверх, а „Василий Великий“ опускает голову долу.

Ну, и человек же! Все товарищи, без исключения, уважали его, уважали за прямоту характера, за твердые убеждения.—„Демократ!“—произносилось по его адресу с неподдельным уважением. И Василий Великий, действительно, возвеличил демократизм, поднял на высоту знамя его и высоко держал его все время. Начальство, профессора тоже платили дань его спокойному характеру и демократическим убеждениям. Он являлся к начальству в кожаном. Ничего! почет и место. Он нередко являлся на экзамен недостаточно подготовленным (многочисленные общественные занятия отклоняли его от систематических занятий). Профессор-экзаменатор берет у него самое существенное, безусловно необходимое, — и отпускает его с миром.

Библиотеку он поставил отлично, обогатил ее многими ценными произведениями специального и общеобразовательного характера. Связи у него были большие среди книгопродавцев и издателей. Открыл при библиотеке секцию „книжного дела“ чайковцев. Он прекрасно знал педагогическое дело; — не только теоретически, но и на практике. Но его главная заслуга,—уже тогда, когда началось хождение в народ,—открытие им при библиотеке специального отдела по продаже народной литературы. Отдел этот был хорошо составлен и находился в руках людей, фанатически преданных делу народного образования. Назову хоть братьев Воскресенских и Козельского.

Можно без преувеличения сказать, что В. С. Ивановский вписал свое имя в историю духовного развития студентов медико-хирургической академии.

Помню первое мое знакомство с „Василием Великим“.

Сию я как-то в свободное время в библиотеке и читаю газеты. В то время бонапартисты во Франции затевали какую-то пакость. Возмутило это меня. Не удержался и воскликнул: отчего его не задушат? Крик вырвался сам собою.

Я смутился. Поднял глаза: два ясных глаза с улыбкой смотрят на меня. Ивановский. Смутился я пуще того.

— Кого это вы собираетесь душить?

— Ну этого... Наполеона III...

— За что?

— Ну, уж это вы, пожалуй, не хуже моего знаете...

Улыбнулся открытой улыбкой.

— Верно!—рассмеялся.—Но не слишком ли это просто... прямолинейно...

Так познакомились. В другой раз я обратился к Ивановскому за какими-то справками. Сейчас припомнить не могу. Подумал некоторое время, потом сказал: „Знакомы ли вы с Чайковским? Нет? Ну, так вам надо познакомиться, от него и узнаете, что вам нужно. Только торопитесь—он уезжает.“

Дал адрес Чайковского. В тот же вечер пошел, но не застал дома. Ждал и не дождался. А через несколько дней совсем уехал из Петербурга (говорили, будто за границу уехал).

Сошелся я уж несколько ближе с Ивановским, когда вступил в члены правления.

Хорошо сохранилось в моей памяти последнее наше свидание. Я был тогда на выпускном курсе и собирался совсем оставить академию и „пойти в народ“. Ивановский приехал из деревни, где был врачом. Потянуло меня к нему—поговорить с ним, посоветоваться. Это, —думал я,—скажет.

Поразила меня с первого раза скорбная складочка на открытом его лице. Поделился со мною своими деревенскими впечатлениями. Много там работы для врача. Но все усилия разбиваются о бедность, темноту и косность массы.

— Можно ли работать, ради целей пропаганды, в качестве врача?

— Конечно! И для вас, пожалуй, это самое подходящее положение. Фабричным или заводским вы не можете стать... слабенький вы. Ремесла не знаете? надо научиться... Это подходит... попробуйте... Как школа, это полезно... Но для пропаганды—любое положение годится: все зависит от человека...

Распрощались. Больше мне уже не пришлось встретиться с „Василием Великим“. Но слухи о нем доходили до меня. Слышал, что в 1877 году, кажется, бежал из-под ареста в Москве и ушел за границу. Вернулся в Россию в начале 1881 года, снова был арестован, бежал из тюрьмы за границу—в Румынию, где и скончался в 1911 году.

Последний привет я от него получил через сестру его Прасковью Семеновну Волощенко-Ивановскую. Она передала мне, что Василий Семенович ждет меня к себе, когда буду возвращаться в Россию ¹⁾.

Да, замечательный был человек В. С. Ивановский. Один из могикан „активного народничества“. По словам В. Г. Короленко, посвятившего Ивановскому фельетон в „Русских Ведомостях“,—он, Ивановский, „до конца своей жизни остался“ народником „во взглядах и, что еще важнее, в жизни“. В. Г. Короленко в своем фельетоне поставил эпиграфом следующие слова Гофмана:— „Есть люди, подобные монетам, на которых чеканятся одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая“. Эти слова Гофмана следовало бы высечь на могильной плите В. С. Ивановского. „Василий Великий“ был именно такой медалью.

Не успел я оглянуться, как первое полугодие, проведенное мною в Академии, промелькнуло, как метеор. Но за это время я вполне освоился с моей alma mater, с ее серьезными научными требованиями, перепознакомился с моими товарищами, вошел в курс академических

¹⁾ Это было в 1907 году, в Женеве. А.

интересов и вполне приспособился к шумному кипучему Петербургу. Зима 1872 года. Среди молодежи резко бросается в глаза подъем на строения: образуются ячейки, строятся кружки, все чаще и чаще собираются сходки—то кружковые, то делегатские, то смешанные, смотря по надобности,—по важности накопившихся и требовавших решения вопросов. Нет высшего учебного заведения в Петербурге, в котором студенты не сплывались в кружки и не собирались. В качестве уроженца Екатеринославской губернии, и я, вскоре по прибытии моем в Петербург, вступил в Екатеринославский кружок. Через одного из наших членов кружок наш находился в постоянном сношении с кружком чайковцев и прочими кружками Петербурга. Кружок екатеринославцев ничем особенным не выделялся в практическом отношении. В теоретическом же отношении надо отметить его серьезную, вдумчивую систематическую работу. Членами кружка обязательно составлялись рефераты по вопросам биологии, экономики и социологии. Референты добросовестно относились к своей работе, так как кружок был строг в своих требованиях. Среди наших референтов, помню, особенно выделялся медик IV курса, Исаак Оршанский (впоследствии известный невропатолог и психиатр, профессор Харьковского университета). Его рефераты о дарвинизме и систематическое изложение „Капитала“ Маркса были заслушаны с захватывающим интересом. Особенно реферат о дарвинизме был интересен богатством новых фактов, вносящих иное понимание дарвинизма вообще и ограничивавших силу и значимость выставленных Дарвином основоположений. Изложение „Капитала“ было блестящее, тем более, что референт то-и-дело проводил параллель между экономическим учением Маркса и учением классических и „вульгарных“ политико-экономов.

В дополнении к последнему реферату весьма интересен был реферат В. Анрепа (будущего известного ученого и профессора, общественного и государственного деятеля) о французской „вульгарной“ экономии.

Пишущий эти строки прочитал реферат „О законе народонаселения Мальтуса“ с критикой этого закона Чернышевским и Марксом и соображениями биологического характера по Спенсеру. Все эти рефераты были полезны и вызвали живой обмен мнений. В результате этих и других рефератов получился весьма заметный сдвиг в сторону научного социализма. Практические вопросы сами собою выдвигались, но то были далекие, заглядывающие в будущее вопросы; относительно же современной действительности с ее „проклятыми вопросами“ кружок пока-что признавал настоящую необходимость разрешения их в рамках исторически данного общественного строя, чтобы этим путем подготовить необходимые фактические предпосылки коренного изменения этого строя, в сторону социализации всех общественно-экономических отношений.

Кружок собирался раз в две недели аккуратно и продержался до того момента, когда вполне уже обозначилось массовое, неудержимое стремление молодежи в народ, когда, само собою, о таком направлении кружковой работы не могло быть уже и речи. Довлеет днѣви злѡба его.

В центре всех петербургских кружков стоял „кружок чайковцев“. Он объединял все кружки единым принципом—принципом

обязательной выработки для революционной деятельности сознательной, теоретически подготовленной стойкой личности, с одной стороны, и единым, цементирующим все кружки в одно целое практическим делом — „книжным делом“ — с другой.

В этом сущность его деятельности и заслуга его перед русской революцией, накануне пилигримства молодежи в народ. В этом смысле надо считать кружок чайковцев авангардом революционной молодежи 70-х годов; в этом смысле чайковцы были пионерами этого движения. Это, повторяю, большая их заслуга.

О чайковцах уже так много писали, что я в воспоминаниях о них ограничусь лишь существенным, что лично мне известно, так или иначе, о них и что не сделалось еще достоянием печати. Отмечаю главные моменты в работе чайковцев. Прежде всего вопрос: что послужило ближайшим поводом к возникновению кружка чайковцев? Когда он собственно построился? Из каких элементов он первоначально состоял? Вот что насчет этого рассказал мне Марк Андреевич Натансон.

В 1869 году он состоял студентом медико-хирургической академии. Несмотря, скажу я, на его юность (ему было тогда не больше 19 лет), он уже успел выдвинуться среди своих товарищей как энергичный, с большой инициативой и несомненно организаторскими дарованиями, человек. Ему студенты-медики обязаны устройством своей библиотеки, которая была отделена совершенно от обще-академической, как самостоятельное, автономное учреждение.

Натансон сумел скоро поставить библиотеку на должную высоту, построил ее на строго демократических началах, обогатил ее книгохранилище ценными произведениями и в таком же виде сдал ее В. С. Ивановскому. Это большая заслуга Натансона перед студентами, и его хорошо помнили еще во время пребывания моего в академии. Кроме того, он участвовал во всех начинаниях медиков. Весною 1869 года вспыхнули в Петербурге студенческие беспорядки в медико-хирургической академии, технологическом институте и университете. Причины волнений чисто-академические. Натансон стоял во главе этих волнений.

В это время неожиданно является Нечаев и бросает в эту взволнованную среду искры революционной агитации: зовет молодежь на улицу, убеждает ее устроить политическую демонстрацию.

Нечаев говорит сильно, убедительно, прибегает к аргументам веским, не стесняется цитировать Канта, вообще импонирует слушателям. Силою и мощью веет от него, но в нем что-то отталкивающее, демагогическое. Натансон энергично выступает против него со всем жаром искреннего глубокого убеждения. На стороне Натансона — большинство академиков, а потом пристаут и прочие студенты. Нечаев терпит поражение в высших учебных заведениях и переносит свою агитацию в замкнутые ячейки и кружки молодежи. Здесь он уже выступает без забрана: он зовет поднять крестьян, которые-де к 1870 году сами уже поднимутся, так как в этом году (1870) кончаются их временно-обязанные отношения к помещикам. У Нечаева много сторонников, бороться с ними становится труднее и труднее.

Противники его прибегают к дипломатическому ходу: они предлагают прежде, чем окончательно решить этот вопрос о восстании, предпринять на каникулах повсеместно в деревнях анкету; чтобы действительно убедиться в том, что народ уже готов, как думает Не-

чаев, к восстанию. Предложение принимается и агитация завершается¹⁾. Нечаев оставляет Петербург, не солоно хлебавши. Натансон, передавая мне все это, сильно волновался, словно он все это снова переживал. В заключении он с горечью добавил: „А знаешь, Осип, ведь Нечаев отпустил мне... впутал было меня в свою авантюру заграничную... из-за границы он шлет мне через Александровскую какую-то посылку... Александровскую на границе обыскивают и посылку находят... Меня, конечно, арестуют и держат в крепости... Ну, и я его не пощадил: я показал, что все это он сделал из мести ко мне... за то, что я обли-чал его вредную, злостную агитацию“... Вот эта-то агитация Нечаева в Петербурге и дала непосредственный толчек к сплочению его противников в тесный кружок. Кружок этот стал известен под именем кружка чайковцев.

В этот кружок вошли отдельные ячейки и элементы совершенно солидарные в идейном отношении: кружок натансоновцев на Вульфовой улице („Коммуна“), кружок девушек С. Перовской, Ольги Шлейснер, сестер Корниловых и Ободовской, а также отдельных лиц высших учебных заведений Петербурга. Надо было сплотиться. Тень Нечаева носилась еще над молодежью и появление его в плоти могло оказаться роковым. Надо сплотиться и действовать согласно, по определенному плану. Так сорганизовался кружок чайковцев.

Л. Шишко в своей книге „Общественное движение в шестидесятых годов и первой половине семидесятых“ рассказывает о возникновении кружка чайковцев почти буквально то же самое. Да оно и понятно. Л. Шишко вступил в кружок лишь два года спустя, в 1872 г., и товарищи, само собою, познакомили его с историей возникновения кружка.

В центральный (петербургский) кружок вошли: М. Натансон, А. Сердюков, Н. Чайковский, Ольга Шлейснер, С. Перовская, А. и В. Корниловы, Ободовская, Д. Клеменц, Франжоли, Куприянов, Чарушин, Ф. Лермонтов и Александров. Позднее в 1872 г. к ним присоединились: Л. Шишко, С. Синегуб, С. Кравчинский, П. Кропоткин, Д. Рогачев и др.²⁾ Из московских членов кружка в начале было трое: М. Антонова, Клячко и Иванчин-Писарев; потом присоединились: Л. Тихомиров, Н. Морозов, М. Фроленко, Н. Армфельд, Н. А. Саблин, Варвара Батюшкова, Т. Лебедева и др.

К одесским членам кружка принадлежали: Ф. Волховской, С. Чудновский, М. Ланганс, А. Желябов и Вс. Лопатин. К киевским членам кружка принадлежали: Н. Лопатин, Н. Колоткевич и П. Аксельрод.

¹⁾ Л. Э. Шишко. Общественное движение в шестидесятых и первой половине семидесятых годов. Государств. Изд. 1921, стр. 79.

²⁾ Странно, что никто из чайковцев не упоминает имени В. В. Воронцова. Я хорошо помню, что в Академии его считали „чайковцем“ (точнее; „натансоновцем“). Натансон очень дружен был с Воронцовым и когда, после ссылки, попал в Петербург, видался всегда с ним. Когда строилось „Народное Право“ (1892—1893 г.), мы вдвоем навестили В. В. в Москве. Натансон его считал „чайковцем“, — в этом я почти уверен.

В академии он был старше меня на 3 года (курса). В 1873—1874 г. он был уже врачом и в перемежку писал народные книжки беллетристического и научного содержания. Если не ошибаюсь, „Безоброчный“ принадлежит перу Воронцова. Из научно-популярных помню одну по этнографии. Его книжечки ходко продавались в отделе библиотеки по народным книгам. В академии к Воронцову студенчество относилось с большим уважением. Вообще он идейно был близок к революц. движению 70-х годов. А.

Можно без преувеличения сказать, что это был—цвет молодежи: ум, талант, довольно высокое умственное развитие в сочетании с несокрушимой энергией и волей, нравственная красота, ригоризм в личных и общественных отношениях—таковы были чайковцы в целом. Перебирая сейчас в моей памяти тех чайковцев, с которыми я впоследствии в разное время познакомился и сошелся, я, сейчас, на склоне моих лет уже, могу сказать: то были люди, и я счастлив, что знал их.

Ближайшим заданием чайковцев была выработка сознательных, стойких элементов среди молодежи для предстоящей революционной деятельности. Они были дальновидны, эти чайковцы. Они требовали от будущих революционеров основательной теоретической подготовки, нравственной чистоты и практической закалки. Надо твердо, отчетливо знать, чего хочешь, куда идешь, чтобы не дрогнуть в серьезную минуту. Настоятельно нужны, поэтому, и предварительная серьезная работа мысли в этом направлении, и практическое начинание, на котором выработались бы навык, выдержка, твердость и гибкость в действиях. Таковы были предпосылки чайковцев, таково их задание. Это—во-первых. А, во-вторых, такая система действий—надежнейшая охрана молодежи от всякой „нечаевщины“ и тому подобных „революционных авантур“. И нужно отдать справедливость—чайковцы вполне справились с своей ближайшей задачей.

Выработан строгий план действий, со строгим распределением функций и обязанностей между членами кружков, поскольку это диктовалось само собою, составом кружка, его численностью и индивидуальными особенностями его членов. Чайковцы впервые сумели на практике согласовать дисциплину в кружке с свободным самоопределением членов кружка; подчинение общим интересам без внешнего принуждения, авторитета, ибо в основе их организации лежал принцип нравственной солидарности, безусловного доверия друг к другу.

В самом деле, разве не из области мифов такой, например, факт? Молодая девушка, 18 лет, проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать, апокалиптического зверя—в III отделение, это „высшее в государстве полицейское учреждение“, как оно само важно величает себя. Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидящими там товарищами, получает и передает им записки и всякие поручения, имеет с ними свидания в камерах и совершенно сказочным образом выводит своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III отделения и т. д., и т. д.,—словом, девушка ни больше, ни меньше хозяйничает в III отделении. Эта девушка—Софья Перовская. Сколько доверия надо было иметь к 18-тилетней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело¹⁾. Не мудрено, что у чайковцев дело спорилось. „Книжное дело их—этот „гвоздь“ всей их практической работы—в короткое время развернулось по всей России: от Петербурга до Одессы, от Москвы до Вятки. Везде филиальные отделения. Книжки продаются по удешевленным ценам; покупаются на расхват, читаются в засос,—везде организуются библиотеки и склад.

Энергия и умение, проявленные здесь чайковцами, прямо изумительны.

¹⁾ Л. Ш и ш к о. Сергей Михайлович Кравчинский и кружок чайковцев, ст. 23—24. См. также Н. Ф л е р о в с к и й: Три политические системы. Лондон 1897.

Н. Флеровский, в названной в выноске книжке своей, посвящает несколько восторженных страниц, проникнутых чуть ли не преклонением перед беззаветностью, ригоризмом, удивительной деловитостью и стойкостью молодежи. Еще бы! ведь многих из них, как ниже увидим, он лично близко знал и сошелся с ними. Организация „книжного дела“ была проста: книги покупались и брались на комиссию с уступкой у книгопродавцев и издателей. Потом кружок открыл сам издательство и издавал и распространял те произведения, которые он считал наиболее соответствующими своим целям. Среди чайковцев были люди, хорошо владевшие иностранными языками. Этим кружок открыл у себя подсекцию переводчиков. Были, например, переведены Ланге „Рабочий вопрос“, работы Консидерана, Фурье (точно не помню названия), Геккель „Естественная история мироздания“. К сожалению книги эти так и не увидели света: были конфискованы и сожжены¹⁾. Какие же книги вообще распространял кружок? Одного беглого взгляда на перечень нижеприводимых книг достаточно, чтобы убедиться в том, какого направления были эти книги и насколько они согласовались с поставленной кружком задачей. Вот этот перечень! Сочинения Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Некрасова, Бокля, Костомарова, Щапова, Сергеевича, Морювцева, Хлебникова, Берне, Дж. - Ст. Милля, Дарвина, Дрепера, Спенсера, „Исторические письма“ Миртова-Лаврова, „Положение рабочего класса в России“ Н. Флеровского, его же—„Азбука социальных наук“, первый том сочинений Ф. Лассалья, „Капитал“ Маркса, первый том „Истории французской революции“ Луи Блана, „Комедия всемирной истории“ Шерра, романы Шпильгагена и Швейцера („Эмма“ и „Люцинда“), Цюокке („Делатели золота“), „Отщепенцы“ Соколова, „Пролетариат во Франции“ и „Ассоциации“ Шеллера-Михайлова и др.²⁾.

Из непропущенных переводных книг собственного издания, кроме вышеуказанных, следует еще отметить: „Историю 48 года“, Л. Блана, „Историю Коммуны“ Корьеза и Ланжолле.

Habent sua fata libellal (и книги имеют свою судьбу!)—эта латинская поговорка пришла мне на ум, когда я сейчас просматривал список книг, распространяемых кружком чайковцев. В этом списке я, между прочим, нашел две книги, о которых современный читатель, пожалуй, и представления не имеет. Это—„Положение рабочего класса в России“ и „Азбука социальных наук“ Берви-Флеровского. Что это за книги, спросит недоумевающе читатель, и кто такой Флеровский, имя которого помещено в рядах таких писателей и мыслителей, как Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Милль, Спенсер, Лассаль и Маркс etc. etc.? Кто же он такой, этот Флеровский? Постыдно забытый писатель, большой писатель. Забыты и книги его. Забыт до того, что в течение долгого времени нельзя было добиться, расспрашивая компетентных писателей, жив ли Флеровский или он навсегда ушел от нас? Один из наших уважаемых писателей—*nomina odiosa sunt*—смеялся, сказал:—„Должно быть умер, ведь ему под 90 лет!“ „Литературный фонд“, который, казалось бы, должен был знать об этом, тоже отзы-

¹⁾ Сообщение Натансона.

²⁾ Л. Э. Ш и ш к о, назв. раб., стр. 83, и в брошюре его „Сергей Михайлович Кравчинский“.

вался полным неведением... А умер Флеровский 4 октября 1918 года. Я хочу здесь воскресить в памяти читателя как вышеназванные две книги, так и светлый образ писателя, автора этих книг,—как я запомнил, сохранил в моей памяти из тех далеких, но незабвенных времен, когда эти книги и автор их всецело владели нами, как „учитель жизни“, как один из благороднейших друзей народа, как талантливый писатель и благородный мыслитель,—одним словом, „как друг-писатель“ молодежи. Этого требует, во-первых, наш долг перед Флеровским, этого требует, во-вторых, историческая правда, ибо в истории нашего революционного движения „в народ“ Флеровский сыграл выдающуюся роль—и как писатель, и как личность.

Канун революционного паломничества „в народ“ носит на себе яркую печать непосредственного могучего влияния Флеровского—его идей, его обаятельной личности. Но, прежде всего, обратимся к его литературному наследию—к его двум забытым вышеназванным книгам. Расскажу об этом, как современник этих книг, что пережил и перечувствовал, а со мною мои современники, такие же молодые, каким я тогда был.

Начнем с „Положения рабочего класса в России“. Впечатление, произведенное этой книгой на молодое поколение семидесятых годов, было поистине потрясающее. Лучше всего можно выразить это впечатление словами Герцена, высказанными им по поводу известного „Философического письма“ Чаадаева: „Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть о потере... все равно, надобно было проснуться...“.

И проснулись. Завеса упала с глаз. Впервые „великая крестьянская реформа“ выявилась в том виде, в каком она была в действительности. Впервые мы узнали доподлинно, что она действительно дала народу: потрясающая картина народного разорения, обнищания, пауперизма встала перед нами. Это—не западно-европейский пролетариат, „свободный, как птица“: это—нищий, голый, с сумой на плечах, блуждающий по деревням и селам „крещеной Руси“,—нищий и голодный, прикрепленный, как раб к своей галере, цепями бесправия к своей „общине“. Молодежь была потрясена до глубины своей души.

И если можно было без метафор говорить о клятве Аннибала, то у молодежи эта клятва—без слов, без красивых жестов—была выжжена в ее сердце и уме. О, она будет служить народу! она омост его раны, она залечит его скорби, она выведет его с факелом науки и свободы в руках, на широкий простор культурного существования! Ей самой ничего, ничего не нужно, ему, ему, народу, все: и величие, и счастье!..

Так подействовала книга на молодежь. Но не только на молодежь она так подействовала, но и на широкие круги интеллигенции. Вся печать заговорила об этой книге. Покойный Н. К. Михайловский посвятил ей первый сочувственную заметку, а затем в „Отечественных Записках“ появилась об этой книге обстоятельная критическая статья. Заговорили даже и об „заключениях“ этой книги, в котором брошены Флеровским первые семена его будущей мировой философии. Но и „общество“ отозвалось. Помню хорошо, что зимой 1873 года, среди нас, медиков, циркулировала какая-то программа для собирания сведений в народе,—программа, составленная каким-то земством.

В этой программе, между прочим, указывается на то, что за образец экономического исследования народа следует принимать работу Флеровского, при чем особенно подчеркивалась, — я отчетливо это помню, — художественная форма изложения, как особенно желательная, ибо правдивыми красочными картинками, как у Флеровского, реальное положение народа, выраженное цифровым языком, перевоплощается в чувственно-конкретные, глубоко запечатлевающиеся в душу впечатления.

Припоминая сейчас мои переживания, во время появления „Положения рабочего класса“, я не могу не поддаться искушению сравнить впечатление, произведенное „Положением рабочего класса“, с впечатлением, полученным нами тогда от маленькой книжки Миртова-Лаврова — „Исторические письма“. Обе книги читались одновременно, обе действовали на нас неотразимо. Параллель почти насильно навязывается. „Исторические письма“ — наш „символ веры“, указующий нам путь к „прогрессу“, будивший нашу „критическую мысль“, формовавший в известной мере наше мировоззрение, утверждавший нашу „личность“, „прогресс творящую личность“. „Положение рабочего класса“ своим ярко-выпуклым, конкретным содержанием, богатством и разнообразием красок, выхваченных из самой гущи народной жизни, кровью сердца автора написанными страницами будило наше чувство, заставляло биться наши сердца, возбуждая в нас беззаветную преданность и любовь к народу. „Письма“ стимулировали наш ум, давали синтез, философию жизни, „Положение рабочего класса“ давало конкретные факты действительности, „кричащие“, зовущие на помощь. Одно дополняло другое, оба одинаково действовали на нас, подготавливая нас к борьбе за лучшие идеалы жизни; оба, в конечном счете, подготовили нас к предстоящей революционной деятельности, когда наступила пора.

Вторая книга Флеровского — „Азбука социальных наук“ еще крепче связала установленную уже первой книгой внутреннюю связь между молодежью и автором этой книги. Вот как один из семидесятников отзывается об „Азбуке“ и описывает впечатление, произведенное ею на молодежь. „Когда в 1871 г. вышла вторая книга Флеровского „Азбука социальных наук“ т. I-ый, она явилась для интеллигенции России своего рода откровением. Это была целая философия коллективизма, совершенно новая, оригинальная, не имеющая у себя предшественников. Черпая доказательства из области истории культуры и этнографии, она противопоставляла, как основной принцип исторической эволюции, дарвиновской борьбе за существование — союз за существование; общежитию, основанному на хищнических началах, она противопоставляла коллективистическое мирно-трудовое начало общежития. Она доказывала, что завоевание, рабство и насилия никогда не способствовали прогрессу человечества и только альтруистические начала спасали мир от разложения и гибели. На многочисленных примерах, взятых из истории и современной этнографии, она показывала, как все, что делалось властвующей личностью над себе подобными, для усиления и расширения своей власти, вело народы к регрессу, а всякая защита общественных начал, все, что вело к торжеству коллективизма, было прогрессивным. Правда, в прямолинейной защите своих положений автор местами доходит до парадоксов, но основная идея книги была настолько глубока, вопросы, выдвигаемые ею, представляли такой животрепещущий интерес, что

„Азбука социальных наук“ вместе с „Историческими письмами“ Миртова-Лаврова и „Примечаниями к политической экономии“ Чернышевского сделалась одною из самых любимых книг учащейся молодежи, всей передовой интеллигенции того времени. С этих книг начинались занятия по общественным вопросам. Вокруг них сосредоточивались наиболее горячие споры „утилитаристов“ и „альтруистов“ семидесятых годов¹⁾.

Подписывался без колебаний под этими прекрасными словами семидесятника Н. А. Малиновского. Так именно мы понимали „Азбуку“, приблизительно в таких именно терминах мы выражали нашу оценку этой книги, и была она для нас, действительно, „откровением своего рода“.

Что вызвало ближайшим образом появление „Азбуки“ в свет? какой повод? Ответом на это являются показания М. Натансона, самого авторитетного, непосредственно принимавшего участие и в издании, и в корректуре „Азбуки“, человека.

Но, прежде всего, необходимое отступление.

В то время среди учащейся молодежи, несмотря на доминирующее в ее среде стремление к положительному знанию, к критике, намечалось,—правда, довольно еще смутное, но все же сказавшееся уже течение. Это стремление, можно сказать—потребность в религиозном построении. С разных сторон мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его, недостаточна наука, бессильна философия; только религия—религия сердца может дать человечеству счастье, только такая религия может переродить человека, вытравить из него зверя и вдохнуть в него божество—совершенство. Я помню хорошо одно небольшое бывшее у меня собрание товарищей (по субботам у меня обыкновенно собирались 8—10 товарищей для чтения и бесед). Мы только что прочли, кажется, в „Отечественных Записках“ статью об американских сектах. Статья, сама собою, вызвала споры. Одни высказались, что сектантство вообще исторический пережиток „религиозного периода человеческого мышления“, а другие, наоборот, видели в нем, в сектантстве, симптом нарождающегося умонастроения, идущего на смену и в отмену современному, слишком положительному, слишком материалистическому миропониманию.

Особенно горячо защищал это последнее положение юноша-грузин, общий наш любимец. Он был филолог и по субботам аккуратно с Васильевского Острова приходил ко мне, чтобы побеседовать, душу отвести. Как живой, стоит сейчас передо мною этот чудный юноша.

Среднего роста, стройный, как тополь, продолговатое тонкое лицо оливкового цвета, глаза газели. Что-то девственно-чистое, робкое лежало на его лице, светилось из его больших чудных, чуть затуманенных глаз. Он был очень начитан и талантлив, но робость его не давала ему высказаться, хотя по выражению лица его видно было, как мысли рвутся наружу, как многое он может сказать. За его внешность девичью я прозвал его „Тамарой“ и эта кличка закрепилась

¹⁾ Н. А. Малиновский. Не пора ли вспомнить?—„Русская Мысль“ 1905, апрель, стр. 130.

за ним. В эту субботу „Тамара“ был сильно возбужден. Тема статьи и последующие за ней споры, очевидно, сильно задели его. Он доказывал, опираясь на сравнительную историю религии, что религиозным учениям человечество обязано тем, что оно вышло из животного состояния, что современное антирелигиозное направление—одно только недоразумение, основанное на смешении религии с ее внешними формами проявления—с догмой, ритуалом, церковью. Религия—это высшая форма эмоционального существования, приводящая к слиянию воедино индивидуального и мирового, единицы и космоса. Мои гости были все медики и—его ipso—ярые материалисты и „безсознатели“. Они обрушились на „Тамару“ сарказмами, резкими выражениями, огорчили его, но ничуть не смутили. Я мягко заметил „Тамаре“, что его религия недоступна современным массам, что она слишком бесплотна: масса склонна к перевоплощениям всякой чистой идеи, всякой высокой сложной эмоции, без символа масса не может обойтись—ей нужны идол, жест, ритуал—все равно, а раз это так, то неизбежны обряды, церковь, догмы, со всеми их последствиями: исключительностью, нетерпимостью к инако верующим, гонениями и проч., и проч. И вместо единства, союза будет разъединение, распыление людей, т. е. антитеза тому, чего повелительно требует религия. Когда все разошлись, я долго не мог заснуть. Передо мною, как чудное изваяние, стоял образ юноши-грузина, вопрошающего:

О, разрешите мне жизни загадку,
Вечно тревожный и страшный вопрос!;

Как был хорош, духовно красив сегодняшний вечер этот юноша! Милый юноша, он вскоре ушел от нас: заболел скоротечной чахоткой и быстро сгорел! Это было для нас большое горе. Я долго не мог заснуть и все упорно думал о том, почему так живуча идея о религии, почему она так неистребима, несмотря на критику ее современным знанием, несмотря на особо материалистическую основу современного строя, несмотря на особый реализм современного человека. Почему? Разве наука, знание одни не способны дать человеку совершенство? Глаза мои стали смыкаться, мысли расплылись в тумане, еще раз промелькнул чудный образ юноши с грустно-задумчивыми глазами...

Я заговорил об этом, чтобы познакомить современного читателя с теми тревогами сердца,—иначе я не могу назвать это настроение молодежи, которые мучили нас. Чайковцы также не были свободны от этого. И когда был уже составлен список книг, имеющих быть распространенными, они были поражены, что в этом списке нет книг об этике.

Как же так? А чайковцы тогда, можно сказать, болели вопросами этики. Я в этом убедился, когда жил с Натансоном в Якутской области. Уже зрелый мужчина, побывавший в боях, он, в наших беседах в тесном кругу (я и супруги Натансоны) нередко возвращался к этой теме. Он мне горячо доказывал, что пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй. Когда я ему указывал на научный социализм, он упорно возражал, что научный социализм—лишь философия социального строя, в котором эксплуатация человека человеком не будет иметь места, в котором не будет деления на классы и т. д.,—словом, философия материального устройства человека, материального его

существования, но не духовного, во всей его полноте, глубине и красоте.

Последнее может дать только этика, как венец философии, высшее ее завершение. Пока творческие силы человека еще недостаточны, чтобы дать такое построение, а пока этого нет, мы будем долго, если не брести в потьмах, то двигаться извилинами и тропинками¹⁾.

Если еще в ссылке десять лет слишком спустя Натансон все продолжал тревожно думать об этике, то можно себе представить, что было в начале 70-х годов, в пору самого неудержимого натиска и порыва! И действительно, кружок решил, что такая книга—книга об этике—должна быть написана. Кто же может написать такую книгу? К кому из наших писателей можно за этим обратиться? Остановились на Флеровском. Он тогда уже близко стоял к кружку. Живя в Любани, он частенько ездил в Петербург, чтобы повидаться с Натансоном и другими чайковцами. Мысль написать такую книгу пришла по душе Флеровскому. Он уже присмотрелся к молодежи, видел, каким энтузиазмом она захвачена, что она делает, к чему готовится и по какому пути она пойдет. Он, самый старший среди них, самый образованный, самый опытный, горячо им сочувствовал, ибо их стремления были его стремлениями, путь—его путь. Надо им помочь. И вот он пишет „Азбуку“. Это еще не этика—что и говорить,—но это предпосылки к этике, первые камни, из которых должна быть построена „научная этика“, по выражению Флеровского.

Молодежь требует книги о „революционной этике“, но такая книга сейчас невозможна, ибо нет еще ее основания—„научной этики“.

Такова история появления „Азбуки социальных наук“.

„Азбука дорого стоила как ее автору, так и чайковцам. Книга эта навела какой-то мистический страх на всемогущее III отделение и на царя, Александра II. Флеровский попал в опалу, треть долгой своей жизни он перманентно остается в ссылке, проводит в тюрьмах и казематах, — главным образом благодаря своей „Азбуке“. При каждом удобном случае, в каждой бумажке III отделение напоминает, что Берви (Флеровский) это именно тот, который написал „Азбуку“.

Чайковцы тоже получили порялочный удар: Натансон вырван из их рядов и сослан на север (в 1871 г.), Чайковского трепали изрядно, несколько месяцев продержали в заключении. Клеменца тоже, а равно и многих-многих прочих; наконец, склад книжный (центральный) потерпел урон: много книг конфисковано.

Отношения некоторых чайковцев к Флеровскому-Берви были трогательны. Перовская глубоко уважала его прежде всего за беззаветную преданность его народу, не надуманную, а непосредственную, вытекавшую из кристаллически чистой души его.

— Он, — говорила мне Перовская, —прирожденный народный пропагандист и агитатор... куда бы он не явился—народ льнет к нему. У него много связей, много преданных в народе... В голове у него копошатся немолчно большие гениальные мысли... но рядом с этим что-то наивное... Он полусерьезно, полуплути считает себя

¹⁾ Помню, что в 1893 или 84 году печатались в „Вестнике Европы“ статьи Кавелина „Об этике“ (вышли отдельным изданием). Мы втроем с большим интересом читали эти статьи. И наши споры об этике снова возобновились. Натансон настойчиво требовал, чтобы я ответил Кавелину, находя многие мои возражения серьезными. Я считал себя неподготовленным.

первым революционером в России... Пожалуй, он имеет право на это... Он не засиделся среди интеллигенции и выбрал (отчасти, конечно, нелегально) благую часть... народ, народную среду... Он предтеча наш... Он стоит на почве народных идеалов... Боюсь только, что на практике слишком суживает народные требования, пользуясь для пропаганды текущими требованиями... Как бы он не разменялся... но он везде будит... Он прелестен, привлекателен, как личность, ригорист, проповедует добровольную бедность, словно апостол библейский... чудак он, но прелестен*...

Натансон также мне много рассказывал о Флеровском.

— У него большая голова, он призван совершить в умственной сфере очень большое... но я боюсь, что непрерывная ссылка может съест его: ему надо жить в центрах умственной жизни, в столицах, а он, несчастный, томится в медвежьих уголках... Он высоко одаренный, редкой трудоспособности, огромной эрудиции, хотя, к сожалению, несколько односторонней... Многих авторов совсем игнорирует, словно их на свете нет... Его отзывы вообще верны, метки, но он склонен к преувеличениям и парадоксам... Он, когда я его оставил, был уж занят построением какой-то грандиозной, мировой философии... Он много мне об этом говорил—любит-таки Вильгельм Вильгельмович поговорить. Все об этике научной мечтает... Он сам верит в какую-то свою миссию... отсюда порою его самоуверенность, пренебрежительное отношение к академической учености... Он раз мне, Осип, самым серьезным образом заявил, что он единственный сейчас революционер в России... чудак Вильгельм Вильгельмович, чудак!..

(Я передаю, конечно, не буквально слова Перовской и Натансона, а лишь смысл их. За подлинность ручаюсь.)

Флеровский платил чайковцам той же монетой. Выше я уже говорил, как восторженно он отнесся к „книжному делу“ кружка.

Некоторые фигуры обрисованы им так ярко, что так и хочется назвать их. От Перовской он просто без ума: в его восторженной характеристике она является какой-то сказочной феей, которая чарами своими производит чудеса... И это он говорит о девушке 18—19 лет.

Повторяю: те страницы „воспоминаний“¹⁾, которые Флеровский посвящает молодежи вообще накануне хождения в народ,—лучшие страницы по их искренности, правдивости и яркости красок. И в этом отношении они, эти страницы, представляют ценный материал для истории революционного движения семидесятых годов.

В 1872 году он переезжает из Любани в Финляндию, на дачу; конечно, тут иной умысел был—быть ближе к Петербургу. Дача его вскоре становится Каноссой, куда то-и-дело со всех сторон к нему идут поклонники. На даче несколько дней подряд живут Ободовская и Чемоланова (Синегуб по мужу), частенько появляется и Перовская—желанная из желанных; навещают его Кравчинский и Клеменц; наконец, появляются Долгушин, Дмоховский и Плотников,—вокруг дачи устроилась „коммуна“ молодежи, которой Флеровский преподавал основы правоведения. Одним словом, Флеровский в центре: его обаятельная личность, его простота, его обширный пропагандистский опыт, его симпатии к молодежи,—все это крепко связывает узы братства и товарищества между сравнительно пожилым уже В. В. Фле-

¹⁾ Я разумею его брошюру „Три политические системы“. Лондон 1897.

ровским-Берви, с одной стороны, и совершенно еще зеленой молодежью, с другой.

Я останавливаюсь так долго на Флеровском потому, во-первых, что работа чайковцев и прочей молодежи так тесно переплеталась тогда с личностью Флеровского, что оторвать их друг от друга не представляется возможным. А, во-вторых,—и это особенно важно—я хочу воскресить светлый образ постыдно забытого человека, писателя, мыслителя, вписавшего свое имя в историю русского общественного движения второй половины XIX века.

Я хочу вместе с Н. А. Малиновским воскликнуть во всеуслышание: „Не пора ли вспомнить?“... Ведь у других народов, в других странах В. В. Флеровскому-Берви воздвигнули бы памятник за ум его большой, за высокие мысли его, великие идеалы его, за большие страдания его!.. А у нас современное поколение не знает его! Оно не знает, что всю долгую жизнь свою, гонимый и преследуемый царским правительством, он не переставал звать в народ, что любил он этот народ горячей любовью, что, говоря словами Н. К. Михайловского, у него, Флеровского, „мысли и чувства не глядели врознь“, что он сам, везде и всегда,—где бы то ни было—на воле кратковременной и в многолетней ссылке,—„юдил в народ“, вел среди него пламенную пропаганду, будил его дремлющую мысль, звал к борьбе и жертве, к сознательному строительству новой жизни. Не знает молодое поколение и того, что за великий и благородный мыслитель был Флеровский, неутомимый и беспокойный искатель истины и правды, воплощавший в личной своей жизни светлые идеалы, проповедуемые им: братство, равенство, самоотречение, суровый ригоризм, „добровольную бедность“ и труд,—труд, как основа разумной сознательной жизни, направленный на пользу своего народа, всего человечества—всех „слабых“ и угнетенных, эксплуатируемых и обижаемых.

Двадцать пять слишком лет, в самую пору расцвета творческих сил его, провел Флеровский в перманентной ссылке. Природа отметила его исключительным своим вниманием, вложила в него завидные задатки творчества как идейного, так и практического, но злой рок действительности, русокой действительности—царский режим—безжалостно отрезал кудри Самсона и обессилил его... Исковеркана и изломана вся жизнь, задавлено могучее творчество.

С воцарением Александра III, „Царя-Миротворца“, Василию Васильевичу был отрезан всякий доступ в литературу, имя его не проносилось, работы его преданы забвению—постыдному забвению...

Жестокое табу, как черная туча, повисло на многие годы на личности и творчестве одного из лучших людей нашей родины... Он забыт...—„В течение всех 16 лет моей литературной деятельности,—жалуется В. В. Флеровский,—я был в самом странном положении, из-за каждой своей книги, из-за каждой статьи я должен был биться, как начинающий писатель; я начал и кончил начинающим. То, что я писал, производило нередко большой шум, но идея всегда, без исключения, оставалась незамеченной. Из-за этого я пил горькую чашу, с отчаянием в душе и без всякой надежды я погружался в мрак забвения“¹⁾. „В мрак забвения!“ И жутко, и холодно становится от этого, читатель!..

О. В. Аптекман.

¹⁾ Флеровский В. „Три политические системы“. Лондон 1897 г., стр. 463.

На грани смерти.

Страничка из биографии рабочего-народовольца Петра Антонова.

В 80-ых годах совершенно ясно обозначился перелом в формах борьбы правительства с революционными элементами страны. На арену сыскной деятельности выступили Судейкин, Стрельников, Середа и другие закаленные жандармы, не различавшие никаких путей, не брезгавшие никакими средствами и фанатично исповедывавшие изуверскую истину, гласящую: цель оправдывает средства. Для революционеров пришли времена нравственных мук и пыток. Трудно, бесконечно трудно стало проходить через руки больших и малых Судейкиных и Стрельниковых. Допросы превращались в настоящую пытку. Они сопровождались, смотря по обстоятельствам и в зависимости от характера намеченной жертвы, грубыми издевательствами, угрозами, избиваниями, разными провокационными выходками, а во многих случаях длительными искусно веденными увещаниями опомниться, бросить заблуждения и вернуться на путь честной жизни, что в устах сыщиков значило—чистосердечно рассказать обо всем и обо всех, стать, короче говоря, предателем, а дальше, если желаете, быть свободным и провокатором. Об этой закулисной стороне „предварительных следствий“, составляющей, быть может, самую темную страницу истории охранных отделений, в большинстве случаев умалчивает даже и „совершенно секретные“ дела. Начало этого перелома относится к концу 70-ых годов и совпадает со вступлением „Народной Воли“ на путь террора. Во всяком случае, при допросах Гр. Гольденберга, зимою 1879—1880 г.г. новая атмосфера уже на-лицо: ее создали такие герои, как прокурор Добржинский и жандарм Оноприенко. В годы же 1882—1885 новые способы допросов достигли своего апогея.

Чтобы резче оттенить положение плененных революционеров того времени и ярче осветить закулисные темные действия тогдашней жандармерии, приведем несколько „свидетельских“ показаний современников и очевидцев, не нуждающихся в комментариях.

После смерти генер. Стрельникова, убитого по постановлению исп. ком. „Народной Воли“ Халтуриним, неизвестный Новицкий, начальник Киевского губернского жандармского управления, в откровенном письме писал 20 марта 1882 г. директору департ. госуд. полиции: „допускаемые при дознании, при допросах, дабы подвинуть к откровенному показанию, обещание помилований, угрозы за недачу показаний, доходившие иногда до ругательств, подвигали некоторых привлеченных к даче откровенных показаний... Арестанту Геккеру на допросе генерал Стрельников сказал, за неоткровенность в его показаниях он уничтожит не только его, Геккера, но и его семейство...

Находящийся в распоряжении генерала Стрельникова товарищ его, Лелеко, говорил помощнику моему и мне лично, что генерал Стрельников с пеною у рта производит допросы в резкой и обидчивой форме обвиняемым. Я позволяю себе откровенно доложить вашему превосходительству, — заканчивал свое письмо Новицкий, — что, по моему мнению, дознание, веденное лично генералом Стрельниковым, вызывает скорейшее его окончание и окончание в административном порядке, ибо может случиться, что на суде многие арестанты заявят такие факты обращения с ними, которые могут быть невыгодны и не желательны в смысле предания их, хотя некоторой, гласности¹⁾.

Небезынтересна и история откровенных показаний истеричной, по выражению М. Горького²⁾, Неонилы Истоминой. Представляя ее „в высшей степени важное объяснение“ Александру III, Дурново в сопроводительной бумаге всеподданнейше докладывал: „объяснение Истоминой дано ею после продолжительных, весьма искусно веденных увещаний“ со стороны тов. прокурора Янкуло и ротмистра Кузубова. Эти строки вызвали пометку царя: „заслуживают полной похвалы“.

Характерен еще проект воззвания от имени исполнительного комитета партии „Народной Воли“ по поводу предполагавшейся казни прокурора Московской судебной палаты Муравьева. Он был отобран у Г. Лопатина при его аресте в октябре 1884 г. Муравьев „принадлежит — говорится в прокламации — к позорной плеяде тех новейших юристов, которые принесли свой ум, высшее образование и науку о праве на службу невежеству, обскурантизму, произволу, насилию и бесправию. Искусное вымогательство показаний, холодная жестокость к своим жертвам, доходившие до издевательств над ними, и наконец, — рассчитанное безжалостное мучительство уже осужденных страдальцев с целью вынуждения у них позорных признаний, резко выделяли его из числа членов даже этой постыдной плеяды“.

Одни на юге, другие в Москве, третьи в Петербурге — везде, во всех углах России делалось одно темное и позорное дело, систематически проводилась одна политика, возведенная в стройную систему.

Истеричную Истому пришлось долго и искусно „обрабатывать“. Но так „обрабатывали“ не только ее, а большинство революционеров. Многие из них оказались бессильными устоять против подобных пыток: выдерживали наиболее крепкие.

Трагические минуты такого обрабатывания пришлось пережить и рабочему-народовольцу Петру Антонову.

Антонов принадлежит к числу виднейших и активнейших работников „Народной Воли“ послемартовского периода. Как революционера, его кратко охарактеризовал на суде Герман Лопатин следующими словами (они судились по одному процессу в 1887 г.): „Я Антонова очень люблю и уважаю; хотя он и простой рабочий, но, для своего звания и ремесла, человек недюжинного развития и образования. Он был искренний и безукоризненный работник революции“³⁾. Начало его революционной деятельности относится к 1852 г., когда он принял участие в работах полтавского народовольческого кружка, во главе которого стоял Яков Бердичевский. Из Полтавы он переехал в Харьков, где, между прочим, познакомился с Верой Фигнер. Весною 1883 г.

¹⁾ Дело департамента полиции, 1882 г., III делопроизводство, № 983.

²⁾ Былое, 1921 г., кн. XVI.

³⁾ „Процесс 21-го“, Женева 1887, стр. 14. В брошюре этой напечатан отчет по процессу Лопатина-Антонова и обвинительный акт.

он переселился на ст. Люботин, Харьковско-Николаевской жел. дор. и поступил там рабочим в мастерские. Здесь весьма активной деятельностью в местном народолюбческом кружке он навлек на себя подозрение жандармерии. Арестовать его не удалось, так как он вовремя скрылся. В течение последующего периода времени, вплоть до задержания его 1 мая 1885 г., он участвовал в нападениях на почты под Харьковом 17 и 24 октября 1883 г. и под Воронежем 17 ноября 1884 г.¹⁾ 8 января 1884 г. он, по поручению партии, убивает шпиона Шкрябу. Далее он принимает энергичное участие в печатании № 10 „Народной Воли“²⁾.

Вскоре после ареста Антонов был доставлен в Петербург, в Петропавловскую крепость, где одно время содержался в кандалах. К „обработке“ его не замедлили приступить. „Ввиду такого значения Антонова,—читаем мы в всеподданнейшем докладе Оржевского от 7 июня 1885 г.,—в революционной среде, представлялось весьма желательным получить от него откровенное показание обо всем, ему известном, и с этой целью товарищем прокурора Романовым возбужден был несколько дней тому назад, с крайней осторожностью разговор с Антоновым. Последний, на сделанные ему намеки, просил разрешения подумать; затем, ввиду заявления Елько, что при личных разговорах с Антоновым ему, вероятно, удалось бы склонить его к даче откровенного показания, так он имел всегда влияние на него и руководил его действиями, 6-го сего июня в присутствии тов. прокурора Романова состоялось первое свидание Антонова с Елько, результатом коего было разъяснение Антоновым обстановки, при коей происходили нападения на почты“.

Наступили роковые часы. Антонов воочию убедился, что Елько, с которым он вместе недавно еще честно разделял все невзгоды и был искренним революционером, выдал его головой. „Я любил Елько, как родного брата, говорил он на суде, и делил с ним последний кусок хлеба, а потому, конечно, был страшно поражен, когда увидел его душу в настоящем ее свете“³⁾. Помимо этого Антонов ясно понял, что его осторожно пытаются увлечь на путь предательства. Честная душа не выдержала. Антонов, не предвидя иного исхода, решился на исключительный шаг: покончить счеты с жизнью, чтобы не стать свидетелем собственного падения. На следующее после свидания с Елько утро он покушался на самоубийство. Цитированный доклад Оржевского рисует картину покушения:

„7 сего июня в 11 час. утра, содержащийся в С.-Петербургской крепости, по обвинению в государственных преступлениях, мещанин Петр Антонов покушался на самоубийство посредством разрыва поверхностной вены у кисти левой руки. Покушение это произведено деревянными спичками, заостренными при помощи ногтей и зубов. Разорвать совершенно вену однако не удалось; из сделанного же в ней отверстия вышло около 1½ ф. крови; арестанту тотчас была подана медицинская помощь и поранения, по заключению врача, не представляют опасностей для жизни больного“.

¹⁾ Вопрос о допустимости нападений на почту вызывал в то время споры: Исполнительный комитет высказывался против них, но об этом не было известно Антонову.

²⁾ Подробно о нем см. биографию его, написанную В. Н. Фигнер—„Шлиссельбургские уники“, изд. „Задруги“, 1920 г., стр. 111—128.

³⁾ „Процесс 21-го“, стр. 23

Решившись на такой шаг, Антонов, прежде чем наложить на себя руку, выпарапал на верхней поверхности крашеного деревянного стола своей камеры заявление-исповедь на имя товарища прокурора. Приводим этот замечательный человеческий документ полностью:

„Умирая, хотелось бы кому-нибудь открыть душу, облегчить страдания, мучившие всю мою жизнь с самого раннего детства. У меня была одна потребность — потребность любви, и эта-то потребность не удовлетворялась; в семье даже я был нелюбимым сыном, меня отталкивали. Я всей душой предался Богу и религии, целые ночи я проводил в молитве и изучении святого писания; еще 12-ти лет у меня явилась жажда идти проповедывать людям правду, любовь и братство, хотя бы это было сопряжено со смертью. 16-ти лет мне пришлось горько разочароваться в православии; я видел такие возмутительные и душу потрепавшие сцены, проделанные пастырями церкви, которые были моими наставниками, что у меня и теперь духу не хватает вспомнить. Можете судить, что я испытывал, я не видал ни одного человека, кому бы я мог, с кем бы я мог поделиться своим горем. До этого времени я верил в правительстве, хотя виденное мною и сильно подрывало доверие к нему, все не согласовалось с христианством; я не мог более выносить своих мучений (да, это была мука) и поведал их одному из любимых учителей своих; от него я узнал все, что мне хотелось знать. С какою любовью принялся за литературу, все что я читал — усваивал; прочитанное передавал другим, рассказывал рабочим-товарищам с такой любовью и верой, что самые грубые пьяницы и воры слушали меня с большим уважением. Но недолго мне пришлось проповедывать о всеобщей любви и нравственности; жалкое экономическое положение и вопросы, задаваемые на этот счет рабочими, заставили меня призадуматься. Ближайшее знакомство с этим вопросом указало мне на другой вопрос, неразрывно с ним связанный, — политический. В это время я уже слышал о нашем революционном деле, и люди, отдавшие себя на дело революции, были для меня святыня, но я еще ни одного человека не знал и вел пропаганду самостоятельно и мирным образом. Так было до Люботина. Здесь, видя положительную невозможность лично пропагандировать, я познакомился с представителями „Народной Воли“ в Харькове и примкнул к „Народной Воле“. Затем люботинская история заставила перейти в нелегальные. Дальше люди, которых сам я знал, скоро заменились новыми, часто приходилось наталкиваться хотя на незначительные неприятности, которые убивали меня. В конце я потерял веру сделаться полезным хоть чем-нибудь для человечества, и, еще накануне ареста, я хотел покончить с собою, но „квартирное“ дело остановило на время. Арест оживил меня, я думал, что, глядя на страдания товарищей, примирюсь с собой, но увы, сегодня, глядя на представителя партии, в сущности за свою шкуру наговаривающего, я выпил яд до дна; больше не под силу.

Предупреждаю, что арестованные по Воронежскому делу — не те; один из участников за границей, а другого я недавно видел в Харькове¹⁾.

Не удалась попытка самоубийства, но Антонов выправился. Решительный и упорный, он явился на суд бодрым и веселым.

Р. Кантор.

¹⁾ Александр III, прочтя предсмертное заявление Антонова и доклад о попытке самоубийства, выразил надежду, что „может быть теперь и даст открывшее показание“.

На заре Российской социал-демократии.

I.

Эпоха „кружковщины“ и „группа Бруснева“.

Лет десять назад, в дни тяжелой политической реакции и упадка рабочего движения, ко мне зашли петербургские рабочие, мои знакомые, с которыми ряд лет я поддерживал дружеские отношения. Разговорившись, невольно вспомнили прошлое, годы юности, когда мы впервые познакомились, участвуя в рабочих кружках конца 80-х и начала 90-х годов. Живо восстановились многие факты, лица, настроения, получившие через призму двадцатилетия новое освещение. В итоге разговора мы решили собраться специально для коллективного воспоминания и записи, пригласив на собрание „патриарха“ петербургского рабочего движения Шелгунова, начавшего уже сильно стареть и слепнуть, но обладавшего прекрасною осведомленностью и памятью.

В назначенный день пришли супруги Карелины, Алексей Егорович и Вера Марковна, Егор Афанасьевич Афанасьев, ныне покойный Василий Иванович Иванов и приведен был под руки начавший уже слепнуть Василий Шелгунов. Совместно установили имена и судьбы ряда рабочих, входивших в кружки и составлявших ядро чисто пролетарской „группы Бруснева“, так названной позднее „рабочедельцем“ Акимовым-Махновцем, в его воспоминаниях об этом времени¹⁾. Припомнили организацию отдельных кружков и „центральной кассы“ и условия, при которых мы собрались на первые два празднования первого мая в 1891 и 1892 годах. Эта беседа и легла в основу нижеизложенного, вскоре переданного мною в редакцию „Былого“. Рукопись затерялась и „воспоминания“ не появились. Недавно П. Е. Щеголев, разбирая бумаги архива „Былого“, нашел эту рукопись и передал ее мне на пересмотр. С добавлением некоторых мелочей и справок, она и публикуется теперь, почти в том виде, как была составлена лет десять тому назад.

Моя юность—восьмидесятые годы—мне всегда вспоминается, как тяжелый и беспросветный кошмар. Я жил в Москве и учился в частной гимназии. Группа учащихся, моих сверстников, находилась в

¹⁾ В. Акимов-Махновец. Очерк развития социал-демократии в России. СПб. 1906.

большом унынии от безысходности своего положения. Жажда „дела“ и прилив сил при полном отсутствии возможности удовлетворять свои запросы была томительна и тяжела. Мы вчитывались в стихотворения Надсона, которым тогда все кругом зачитывались, и они поддерживали в нас настроение отчаяния, тоски и безвыходности. Помню, как с одним из наиболее впечатлительных товарищей, Владимиром Ивановичем Островским, сделалась продолжительная истерика после совместного чтения Надсона и обсуждения нашего положения. Мы, удрученные, сидим молча тесным притихшим кружком, а наш одноклассник рыдает на моей кровати, сжимая кулаки и шепча: „так дольше нельзя, нельзя“...

Особенно было тяжело отсутствие связи с внешкольной жизнью. Мы все жили тесным гимназическим кружком, не имея выхода за его пределы. Между тем „дело“, к которому мы стремились, мы уже отождествляли с общественным протестом, с революционным движением, о котором мы кое-что знали по наслышке, но с которым связать себя не умели. Оставались поэтому только мечтания и поиски книг, приближавших нас к делу. В чтении единственными путеводными вехами являлись так называемые „запрещенные книги“. Их было немного, к тому же они были очень дороги для нашего полудетского кармана. Студенты были „счастливее“, в их среде все же циркулировали эти редчайшие издания: русские переводы первого тома „Капитала“ Карла Маркса и сочинений Лассалля, Флеровский, „Что делать“ Чернышевского, „Эмма“ Швейцера, „История одного крестьянина“ Шатриана, „Один в поле не воин“ Шпильгагена. Такие книги иногда можно было доставать у букинистов, особенно на Никольской или в „Проломных воротах“, т. е. в том проходе в стене Китай-города с Софийки на Никольскую, где ныне стоит памятник первопечатнику Ивану Федорову и где тогда тесно, как гнезда ласточек, лепились друг к другу лавчонки мелких букинистов. Один из них, пожилой и горбатый, действительный знаток книг, слывший за любителя и сам владелец большой ценной библиотеки, собрал не один десяток рублей с студентов и гимназистов, таинственно искавших „запрещенного“. Экземпляр действительно запрещенной книги или считавшийся таковой оценивался в пределах 15—25 рублей, изредка повышаясь до 30 и даже 40. Такие деньги попадали в юношеские карманы редко, следовательно, и с этой стороны затруднялось общение с желанным кругом идей. Все же, в конце концов, и книги, даже лучшие, не связывали с живой действительностью.

Кружок моих школьных товарищей, считавший себя передовым, „мыслящим“, не мирился с таким положением вещей, с „пошлостью жизни“, и энергично искал выхода. Мы много раз обсуждали вопросы: „что же делать?“ и „с чего бы начать?“. Не помогали делу и знакомые студенты, бывшие в большинстве в сходном положении.

Вскоре мы познакомились с учением Л. Н. Толстого, тем добавочным учением, которое в те дни в рукописных и гектографированных списках распространялось по Москве. Любовь и восхищение романами и рассказами великого писателя силою своего имени заставляли обратить внимание и на этот вид его литературы. Поняв пассивный характер толстовства, мы, впрочем, вскоре перестали этим течением интересоваться и даже стали к толстовству оппозиционно: так не нравилась нам идея непротivления злу и идеалы покорности и смирения, которые за непротivлением злу нами ощущались. Рели-

гнозные вопросы и настроения нам были вообще чужды. Вопрос о Боге считался с переходом в 5-й класс навсегда уже „решенным“. Впрочем, отсутствие „настоящей“ „женевской“ нелегальной литературы, о наличии которой среди рабочих мы слышали, все же заставляло нас уделять внимание и толстовской нелегальщине. „Церковь и государство“ Толстого мы размножили на самодельном гектографе с желатиною массою—сейчас же после появления этого памфлета. Другим изданием нашего скромного тайного издательства был небольшой список книг „запрещенных к обращению“, служивший списком рекомендательным.

Оживление в нашу среду внесли три появившихся на нашем горизонте студента, члены университетской организации, кажется, центральной земляческой кассы—Сергей Иванов, Иосиф Александрович Давыдов (Георгий Борисов) и Лев Михайлович Рейнгольд. Один из них поочередно в нашем кружке реферат о русских сектантах. Здесь излагались учения и стремления более крайних сект и указывалась сравнительная легкость пропаганды среди них социалистического идеала.

Реферат был прослушан с глубоким вниманием, горячо воспринят и послужил материалом для дальнейшего общения. Мысль была возбуждена, сердца стремились и учащенно бились. Весною 1889 года в одном из толстых петербургских журналов, кажется, в „Северном Вестнике“, появилась статья журналиста Песковского „Школа, как двигатель народного хозяйства и промышленности“. Написанная бойко и убедительно, она сыграла в нашей среде роль набата. Открывались новые и широкие горизонты. Не прекращая учения,—а мы все только что перешли в старшие классы,—можно было закончить свое образование в неслыханных по активности и новизне условиях, которые рисовал Песковский в том уральском народном университете, которым, по его словам, являлось красноуфимское реальное училище. Эта школа—двигатель „народного хозяйства и промышленности“. Мы все решили ехать работать на фермах и в мастерских этого училища, жить одною жизнью с трудящимся народом, но не опрошась для непротивления, а входя в его среду для активной работы вместе с рабочим народом и среди него. Мы, казалось, приобретали тем самым и навыки, и ремесло, которое нас отделяло от настоящего рабочего люда.

Решено было ехать вместе, артелью, сейчас же после переходных экзаменов. В моем классе, зачитывавшемся статьею Песковского, хотели ехать чуть ли не все, но „более серьезно“ собиралось человек десять. Некоторые, впрочем, все же мечтали о Женеве. Об этом далеком центре эмигрантской жизни мы, как ни странно, знали из одного примечания нашего учебника по истории Иловайского. Мрачный мракобес, говоря о распространении в России социалистического учения, в одной из сносок сообщал о швейцарской эмиграции. Примерный смысл его слов был следующий: жертвами вредного противоправительственного учения становятся неопытные рабочие и юноши, но обольщающие их ядовитые sireны хитро укрываются от взора полицейского надзора. Действительные же виновники и вожаки безнаказанно укрываются в Женеве. Эта сноска, усиленно подчеркнутая и красовавшаяся в разноцветной карандашной раме с массою восклицательных знаков, являлась в наших глазах священным символом наших стремлений.

Но Женева была далеко, а Красноуфимск не порывал ни с родиной, ни с учением и был практически достижим.

Весною, накануне экзаменов, мы прочли в „Русских Ведомостях“, уважавшейся нами газете, о приезде в Москву директора красноуфимского училища Николая Александровича Соковнина.

Свидание с эффектным и красноречивым старцем, встретившим меня внимательно и дружески, в большом номере Большой Московской гостиницы, решил мой отъезд. И его красочное описание школы, и его уверение, что его ученики—апостолы народного просвещения, и его пишущая машинка, работу на которой я увидел у него впервые, создали то настроение, которое преодолело и робкое недоумение одноклассников, и резко отрицательное отношение педагогов, и горячее сопротивление моей матери, проливавшей горькие слезы по поводу поступка ее единственного сына.

Красноуфимск во многом не обманул моих ожиданий. Для избалованного и изнеженного барчонка из богатого московского особняка было важно очутиться в суровой и рабочей атмосфере своеобразного Соковнинского детища, вскоре, впрочем, волею начальства умаленного и сокращенного в своем размахе и необычных заданиях. Летом 1890 года я вернулся в Москву, а с осени переехал в Петербург для работы в Публичной Библиотеке в условиях самостоятельной жизни и самостоятельного заработка, чего требовала выработанная мною к тому времени программа практической жизни и поведения. Это была смесь ригоризма со стоицизмом, смутная ненависть к буржуазной изнеженности и извращенности и стремление к простой и трудовой жизни. Я ходил в поддевке, грубых сапогах и кожаной фуражке, старался спать без матраца на досках, есть только самое простое и необходимое. От денежной помощи матери я решительно отказался и жил на свой скудный заработок. В Петербурге я вскоре разыскал своего нового товарища по красноуфимскому училищу, несколько раньше меня приехавшего в столицу для поступления на завод. Этот товарищ—ныне уже покойный Григорий Никитич Лунегов—работал со мною вместе на ферме и в мастерских училища, но, как менее подготовленный, учился не в реальном училище, а в низшей ремесленной школе при том же училище, очень хорошо поставленной и оборудованной. Лунегов сообщал мне, что нашел в Петербурге „настоящих людей“, знающих „всю правду“, и обещал меня с ними свести. Но подойти „к ним“ и к „их правде“ являлось делом не легким. Необходимо было, по его мнению, предварительно стать самому рабочим и жить с рабочими одною жизнью. Теоретически, такой шаг был уже нам всем хорошо знаком из „опрошенства“ в духе Толстого, которое культивировалось в Красноуфимске, а потому решиться на него не представляло вопроса. Лунегов, сын интеллигентных родителей, забросив аттестат своей школы, поступил слесарем на какой-то механический завод, выдавая себя за простого рабочего. К моему приезду Лунегов уже совсем преобразился. Одетый, как заправский петербургский рабочий, он жил где-то в комнате вместе с двумя молодыми рабочими—товарищами по заводу. Мне тоже нашлось пристанище в его районе, в д. № 7 по Рижскому проспекту, в квартире рабочего Василия Ивановича Иванова, столяра экспедиции заготовления государственных бумаг. Иванов был добрый и вдумчивый человек, сочувствовавший движению, за него одно время „пострадавший“. С ним я многие годы не прекращал дружбы и всегда с удо-

вольствием слушал его ровную и обстоятельную речь, излагавшую нужды и переживания его „экспедиции“, где он работает и по настоящее время. Устроить меня на работу было очень трудно; мастера, как Лунегов, я никакого хорошо не знал, а близорукость, требовавшая ношения очков, а также весь мой общий вид, мой интеллигентский образ мало изменялись и в рабочем костюме. К тому же я не хотел порывать с работой в библиотеке. Перерядив меня „в настоящее“, и Лунегов, и его новые товарищи долго смеялись нелепому виду моей интеллигентской беспомощности. Вопрос о заводе был временно отложен. Через несколько дней я был введен Лунеговым в „кружок“. Как сейчас помню плохо освещаемые улицы и какие-то проходные дворы в Коломенской части, через которые, почти крадучись, я шел вечером с Лунеговым и одним из его сокавартирантов в „кружок“, на квартиру рабочего экспедиции кузнеца Егора Афанасьевича Афанасьева, у которого должны были происходить „занятия“¹⁾. В довольно просторной комнате, — Егор в качестве кузнечного подмастерья, хорошо зарабатывал и имел не плохую квартиру, — уже собралось семь человек рабочих разного возраста. Сейчас же после нашего прихода началась лекция. Ее, к моему большому удивлению, читал рабочий Анюшкевич, занимавшийся в двух кружках преподаванием химии. Лекция была не первая, темой ее служил кислород. Изложение предмета сопровождалось небольшими химическими опытами, удачно произведенными. Все напряженно и внимательно слушали в течение полутора часов. По окончании лекции, очень удачной и обстоятельной, все были в приподнятом настроении; долго разговаривали. Из беседы выяснилось, что естествознание в кружке несколько хромало, так как руководители спешили перейти к политике. Рабочим же по некоторым предметам хотелось получить дополнительные и более обстоятельные сведения, так как вообще „учиться“ желание было исключительно большое. Рабочие, между прочим, пожелали получить сведения о строении и древности земного шара, о древности человека. Я, как занимавшийся в Красноуфимском училище геологией, взялся к следующему разу приготовить небольшую лекцию по этому предмету. Свое обещание я исполнил и затем в течение нескольких месяцев аккуратно излагал все, что мне самому удавалось предварительно приготовить. Руководствами мне служили учебники Мухометова и Иностранцева. Однажды вместо лекции мною была прочитана первая глава поэтически написанной книги московского геолога В. Л. Соколова „Прошлое и настоящее земли“. Она произвела громадное впечатление.

Занятия с кружком геологией, новые знакомства в кругу рабочих и особенно жизнь на квартире столяра Василия Иванова дали мне возможность сблизиться с рабочими, а затем и приглядеться к целому ряду других рабочих кружков. Вскоре я узнал, что таких же интеллигентов, как я, в кружках встречалось несколько. Некоторых из них я знал только в лицо, других по имени, чаще же всего по конспиративной кличке. Я тоже, как и все, получил какое-то имя и отчество, но я его всегда забывал и на него обыкновенно и не отзывался. И Лунегов, и Егор Афанасьевич одно время приучали меня тщательно к какому-то конспиративному наименованию, но из этого ни-

¹⁾ О нем Александров („Былое“, ноябрь. 1906) и В. С. Голубев („Былое“, 1908), и моя заметка в № 16 „Былое“ за 1921 год.

чего не вышло. В кружки, сходные с нашим, входили в общей сложности несколько сот петербургских рабочих, преимущественно крупных фабричных предприятий. Кружки были небольшие, по 7—8 человек; они собирались очень конспиративно. Вообще „конспирация“ процветала. Я помню, что Лунегов, с первых же дней наших совместных странствований по рабочим квартирам, требовал от меня, чтобы каждый раз, когда мы проходили даже мимо городских, мы меняли тему разговора. Иногда же, по данному им знаку, мы и совсем умолкали. Тех же правил придерживались мы и при дворниках под воротами, и в пивных, куда мы иногда заходили,—словом всюду, где были посторонние лица. Точно также и при рабочих из других кружков не было принято говорить о своих делах или на интересующие нас интимные темы. Относительно всех дел, касавшихся непосредственно организации, соблюдалась особенно строжайшая конспирация.

Пропаганда в кружках и вне их по заводам шла успешно, она быстро завоевывала себе новые силы рабочих. Кадры объединяемых кружками возрастали. Во главе их стояла искусно замаскированная центральная организация, о существовании которой многие и не догадывались. Пропаганда касалась рабочих самых различных районов и профессий. В кружках были столяры, кузнецы, печатники, литографы экспедиции заготовления государственных бумаг, слесаря Балтийского завода и некоторых железнодорожных мастерских, ткачи и ткачихи, литографы, наборщики, рабочие большой резиновой мануфактуры, императорской карточной фабрики и пр.

Некоторых рабочих было нетрудно вовлекать в кружки, так как одних уже и раньше коснулась пропаганда народovolьцев, другие были подготовлены. Последние имели за собой иногда довольно продолжительные предварительные занятия в вечерних классах школ Императорского русского технического общества. Вообще эти вечерние классы сыграли значительную роль в развитии петербургских рабочих. Здесь знакомились между собою более способные рабочие, приходившие на занятия со всех концов Петербурга, подготовляя тем самым почву для будущей солидарности; здесь же вырабатывался первый абрис миросозерцания, чему особенно помогали беседы на пройденные темы после уроков. „Перед взрослым человеком,—говорил мне впоследствии один из участников этих занятий,—как бы сразу открывался раньше неизвестный мир, все казалось странным и чудесным, все хотелось знать и понять“.

Первый кружок, составившийся еще за несколько лет до описываемого мною времени, состоял из нескольких тогда еще народovolьцев рабочих. Во главе шли: Федор Афанасьев, Мефодиев, Хлопов, Руделев, — имена, с которыми мы встретимся еще ниже, а за ними и другие рабочие, тоже ученики „технических классов“. Стремясь закрепить эту связь и выйти на свет Божий, чтобы легально сплотить вокруг себя остальную рабочую массу, названный кружок в 1889 году выработал легальный устав особого „общества рабочих“. Устав был отнесен к Г. Н. Небольсину, официальному главе технического образования в И. Р. Т. обществе, обещавшему переговорить „в сферах“. Но „лицо“, с которым он беседовал, передало чрез Небольсина, что такой устав ни в коем случае разрешен быть не может и, с своей стороны, рекомендовал организовать... ссудо-сберегательное товарищество. Так ни с чем и ушли от Небольсина пришедшие за ответом рабочие.

Смерть одного из руководителей школ технического общества, талантливого директора их Андреева, горячо любимого рабочими, вновь натолкнула на тот же вопрос о легальной организации. После проводов на кладбище праха Андреева рабочие зашли в „Забалканский“ трактир и там порешили учредить „Общество взаимопомощи учащихся и учившихся вечерних классов“ — форма организации, в ту эпоху уже входившая в обычай среди более зажиточных слоев общества. Второй проект, к великому огорчению рабочих, постигла участь первого.

Я уже сказал, что некоторые из рабочих, уже в качестве народных вольцев, и раньше участвовали в движении. Среди них были знавшие и помнившие Степана Халтурина; некоторые — уже и в то время были социал-демократами, как, например, Мефодиев, Филимонов, Егор Афанасьев, получившие свое социал-демократическое крещение в 1885—1887 г.г. Некоторые же, — а их было большинство, — вовлекались в движение впервые.

Только что упомянутые социал-демократы работали в 1886, 1887 и 1888 г. г. на франко-русском металлическом заводе в Петербурге. Здесь в зиму 1886—1887 г.г., при содействии нескольких „опростившихся“ интеллигентов, они устроили тайный „союз петербургских рабочих“. „Опростившихся“ интеллигентов, работавших на франко-русском заводе, было двое: сын полковника слесарь Точицкий и сын крупного землевладельца токарь Лазарев. В „союз“ кроме их входили: Данилов, Аркадская и три брата Брейфусы: Андрей, Эдуард и Леонид. Последний играл руководящую роль и был любимцем рабочих¹⁾. „Союз“ собирал денежные взносы. Как вспоминает один из деятелей кассы, одним из кассиров „союза“ был известный рабочий Василий Шелгунов, „патриарх“ петербургского рабочего движения, впоследствии ослепший. Взносы собирались для целей пропаганды, поддержания стачечников и добывания литературы. Таким образом, союз приучил часть рабочих к организации и объединению. Повидимому, союз в 1892—1893 годах распался.

Расскажу далее о всех более выдающихся рабочих, с которыми я был знаком или которых помню или знаю по наслышке от товарищей из группы.

Одним из наиболее деятельных и пользовавшихся особою популярностью был рабочий Гавриил Мефодиев („Ганя“); превосходный человек, недурной оратор, Мефодиев, между прочим, был знаком с талантливым пропагандистом Петровским, студентом-технологом, покончившим самоубийством, хотя вовлечен был Мефодиев в движение до появления Петровского. Позднейшая, после разгрома нашей организации, судьба Мефодиева мне не известна.

Другим выдающимся рабочим, игравшим скорее роль руководителя, был Николай Деметьевич Богданов. Хороший оратор, — что было редкостью в то время, — автор одной из четырех изданных в Женеве первомайских речей, о которых ниже, — Богданов представлял собою прекрасный образец идейного рабочего. Бог-

¹⁾ В 1887 году названные интеллигенты были арестованы, а некоторые из рабочих обысканы. Часть рабочих была вскоре выслезена полицией, одни после неудавшейся демонстрации на кладбище, в день десятилетия смерти Некрасова, другие после собрания у охтенского газетчика Аникина, выдающегося в то время рабочего. Аникин вел социалистическую пропаганду среди солдат расположенного на Пороховом заводе Новочеркасского полка.

данов, кажется, крестьянин из города Невеля, Витебской губернии. Он еще двухлетним был привезен в Петербург, где впоследствии стал работать в качестве слесаря в железнодорожных мастерских Варшавской жел. дороги. Как и другие выдающиеся рабочие того времени, он посещал вечерние классы технического общества, где и началась его сознательная жизнь. Еще большего Богданов достиг путем упорного самообразования. Я долго даже не подозревал, что Богданов рабочий: интеллигентная речь, изящные и тонкие черты лица и общий культурный вид заставляли скорее думать, что это вошедший в рабочую среду интеллигент.

Понятно, что Богданов был душою целого ряда кружков и входил в центральный кружок представителем от одного из районов. Всегда живой, отзывчивый, чуткий, он пользовался заслуженною любовью и популярностью. В 1891 году он был арестован и сидел вместе с другим рабочим Филимоновым около 18 месяцев в тюрьме, после чего был выслан из Петербурга. О Н. Д. Богданове, как выдающемся человеке, вспоминает М. А. Александров в своей статье „Группа народовольцев“ („Былое“, № 11, 1906 г.)¹⁾.

Другим выделявшимся человеком, с которым мне и тогда, да и впоследствии, приходилось не раз сталкиваться, был упомянутый выше Егор Афанасьевич Афанасьев („Климанов“, „Бубнов“). Это тот кузнец экспедиции з. г. б., у которого и происходило первое посещение мною собрания кружка, на котором я присутствовал. Заметка об Е. А. Афанасьеве помещена в № 16 „Былое“ за 1921 год.

Егор был старше меня, он родился в 1866 году и происходил из крестьян Гдовского уезда, Петербургской губернии, но с деревнею связь утратил. По своим замашкам, вкусам и привычкам он был вполне городской человек. Пролетария в нем можно было узнать только по несколько напряженной, слегка торжественной и всегда книжной речи. Любовь к общим вопросам, принципиальным позициям была в то же время чисто интеллигентская. Но он был одним из многих петербургских рабочих, который не противопоставлял „нас, рабочих“ — „вам, интеллигентам“. И ни в одну из пор своей жизни не страдал юдофобством. Егор, как я его помню с 1889 года, всегда был энергичный распорядитель и недурной оратор, всегда толково формулировал задачи и требования рабочего класса. Как и Богданов, он до своей смерти не покинул рабочего дела, за которое подвергался бесконечным гонениям. В экспедиции Егор служил с 1888 по 1892 г.г., когда был арестован; затем арестовывался в 1893 и 1895 г.г.; в 1895 г. был выслан на 5 лет в Вологодскую губернию; жил в Усть-Сысольске, в Великом Устюге и Котласе, а затем в Ревеле. Оттуда он мне в 1901 году писал, что „здесь в Ревеле нет никакой политической организации, говорящей по-русски, и от этого я испытываю самые жестокие муки. Беда не знать чужого языка“. Из Ревеля Егор надолго перекочевал на юг России в Керчь, где принял энергичное участие в одной из местных социал-демократических организаций²⁾.

Следующею очень оригинальною и своеобразною фигурою был

¹⁾ О той поре рабочего движения, о которой идет речь в настоящей статье, см. интересный подбор воспоминаний в книге, изданной Истпартом „От группы Благости“ и т. д. См. отзв в „Былом“, № 18.

²⁾ О дальнейшей судьбе Егора Афанасьева см. „Былое“, № 16, за 1921 г.

ткач Воронинской мануфактуры, что на Гутуевском острове, — Федор Афанасьев.

Это был человек редкой душевной красоты и глубокого убеждения. К нему влекло рабочих не только как к вождю, но как к „учителю жизни“. И, действительно, было что-то учительное во всей его фигуре, в прекрасных ясных глазах, в прочувствованной медленной речи. Федор Афанасьев вплоть до своей героической смерти был видным и энергичным деятелем рабочего движения. Это тот самый замечательный рабочий, который впоследствии, в октябре 1905 г., в Иваново-Вознесенске после ряда смелых выступлений был зверски убит местными черносотенцами. В Иваново-Вознесенске Федор Афанасьев единолично и самостоятельно поставил все партийное дело, до него здесь совершенно отсутствовавшее).

Брат Федора Афанасьева, тоже ткач, Егор Афанасьев, вместе с ним входил в кружок, но таким влиянием, как Федор, не пользовался.

Моложе названных — Мефодиева, Богданова, Федора Афанасьева и Афанасьева — „Климанова“, был мой сверстник и приятель Алексей Егорович Карелин, тогда молодой литограф. Он любил читать и усердно посещал свой кружок. В 1892 году был выслан в г. Сумы, Харьковской губернии, где проживал до 1897 г. Карелин — организатор с. петербургского профессионального союза литографов, где его наблюдательность, уравновешенность и любовь к рабочему движению сыграли большую роль. Но Карелин принадлежал к числу петербургских рабочих, которые, не удовлетворившись интеллигенцией и разочаровавшись во многих ее представителях, кососмотрели на всех нерабочих. Это были первые признаки того движения, которое нашло себе в движении 1905 г. выражение в гапоновщине, а в последнюю революцию в так назыв. „рабочей оппозиции“. Алексей Егорович Карелин был казначеем центральной организации Гапона. Его отличительной чертой было неуклонное стремление к самообразованию. Я думаю, что он был самый неизменный посетитель всех научных диспутов и лекций за последние тридцать лет в Петербурге.

С кружком, куда входили Егор „Климанов“ и Карелин, водила компанию молодая и живая ткачиха с Новой Бумагопрядильни Вера Марковна. Это была развитая, грамотная, умная и очень самостоятельная девушка, пламенно тяготевшая к общественному делу. Она входила энергичным членом и в женский кружок, о котором скажу ниже, и не ленилась заниматься. Вскоре с громадным трудом и лишениями она начала готовиться к экзаменам на акушерские курсы и поселилась с курсистками из интеллигенции (А. Кугушевой и красавицею Любовью Васильевною Миловидовою, впоследствии женою Л. Б. Красина). Помню крохотную комнатку в густонаселенном студенческом общежитии барона Гинзбурга, в „Ротах“, где ютились все три девушки. Какие-то теплые лучи исходили от этого жизнерадостного, но уже вступившего на героический путь борьбы и лишений трио. Они доставали рабочим книги, а Кугушева и Миловидова занимались с кружком работниц. Некоторые из них, Феня, Маша и Наташа — были хорошо грамотными. Они, как бывшие воспитанницы воспитательного дома, были сироты и работали на резиновой мануфактуре.

¹⁾ Краткий некролог Федора Афанасьева напечатан в № 13 газеты „Новая Жизнь“ за 1905 год.

Из них Вера Марковна входила в группу Бруснева. В последней Вера являлась не единственной сознательной женщиной. Анна Гаврилова, по мужу Болдырева, или просто „Анюта“, ткачиха с Новой Бумагопрядильни, выделялась и между мужчинами и энергиею, и ясностью ума. В 1896 году она была арестована и сослана в Усть-Сысольск, куда препровождена из Сум по этапу, хотя материальные условия с ее стороны этого не требовали. Позднее Болдырева активно участвовала в движении 1905 года и привлекалась по делу Петербургского Совета рабочих депутатов, как член совета.

Третья женщина—Наталья Григорьевна, портниха, человек редкой доброты и необычайной энергии, была не только активным членом группы, но одно время представительницею, кажется, Выборгского района. О ней и ее работоспособности и энергии вспоминает в „Былом“ и Александров. В 1894 году „Наташа“ была арестована и сослана в Восточную Сибирь. О дальнейшей ее судьбе мне, к сожалению, ничего неизвестно.

Затем из числа более обращавших на себя внимание вспоминаются еще следующие рабочие:

1) Матвей Фишер, рабочий слесарь, немец, живущий теперь за границей, а тогда рабочий механического завода Яковлева, что на Петербургской стороне.

2) Сергей Маклаков и жена его Марья, оба—с резиновой мануфактуры.

3) Яков Майоров, энергичный ткач с Петербургской стороны, входивший в первые социал-демократические кружки и примыкавший к старшей или первой группе (Федор Афанасьев, Мефодиев и др.).

4) Кучкин, ткач-изобретатель, работавший на фабрике Паля, ставший впоследствии благодаря некоторым своим техническим изобретениям, мастером и совсем отошедший от рабочего движения.

5) Михаил Павлович Князев, с завода Растеряева на Выборгской стороне, энергичный и способный человек, впоследствии гапоновец, а затем совсем ушедший от движения.

6) Егор Тумаков, литейщик с того же завода с Выборгской стороны, бывший народник.

7) Владимир Порошин, хороший оратор, рабочий резиновой мануфактуры.

8) Дорофей Никитин, ткач с Новой бумагопрядильни.

9) Петр Евграфов, слесарь с Нового адмиралтейства.

10) Александр Сергеевич Филимонов, рабочий с императорской карточной фабрики, очень развитой, деятельный и толковый человек. В 1892 году он был арестован вместе с Богдановым.

11) Фомин, слесарь с Балтийского завода.

12) Василий Иванов, столяр экспедиции, мой тогдашний квартирохозяин, член брусневского кружка. Иванова несколько раз высылали и держали долго в тюрьме. Одно время он жил в ссылке в Твери. Работает и по сие время столяром в экспедиции.

II.

„Центральный кружок“.

Лучшие из кружков входили в центральный кружок. Выборов в него не было, да их и трудно было при тех условиях производить: тогдашняя „централка“ создавалась хотя и снизу, но

очень постоянно и путем отбора. К тому же она состояла почти исключительно из рабочих. Сведений об этой организации я не встретил нигде в литературе, поэтому фактические данные о нем очень существенны. Центральный кружок этот,—назовем его тоже Брусневской группой,—носил, если не ошибаюсь, наименование „групповое собрание представителей заводов“. Центральная организация сложилась в зиму 1889—1890 г. г. и благополучно просуществовала все мое время (1890—1892), т.-е. три года. В 1892 году группа подверглась почти полному разгрому, но нити и схема организации сохранились; новая вторая централка просуществовала вплоть до образования петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“. Но это уже было много позже. Таким образом, у „Союза борьбы“ были свои „предки“, подготовившие ему путь. В зиму 1890—1891 года центральная организация петербургской социал-демократической группы („Бруснева и товарищей“, как ее позднее называли) состояла примерно из 9 или 10 человек. В мое время в „централку“, кроме восьми рабочих, входили один из интеллигенции—Михаил Иванович Бруснев, заменивший собою „Семена Петровича“, интеллигента, впоследствии оставившего рабочее движение, и „освобожденного“ литератора Василия Семеновича Голубева ¹⁾. Группу, таким образом можно было бы с еще большим правом назвать группой Василия Семеновича или „группой Голубева“. В числе рабочих централки были: Николай Богданов, в качестве представителя организации за Невской заставой, Гавриил Мефодиев, от Варшавской железной дороги, Федор Афанасьев—от василеостровских кружков, Петр Евграфов от Нового адмиралтейства, Фомин—от Балтийского завода, Владимир Порошин—от резиновой мануфактуры, Егор Афанасьев—от экспедиции заготовки государственных бумаг и Франко-русского завода.

Егор Афанасьев до Шелгунова или после его исполнял должность казначея центрального кружка. Касса пополнялась главным образом деньгами из взносов самих рабочих. Взносы собирались в таком размере—с действительных членов по 50 коп. в месяц, с членов-соревнователей по 25 коп. По воспоминаниям Егора Афанасьевича Афанасьева, вся сумма, обернувшаяся в его руках в 1891 году, равнялась 1200 р. Отчет казначей составлял рукописный, так как типографии у организации не было. Александров рассказывает, что около 600 р. из этой кассы были заимствованы интеллигентами на издание протокола парижского социалистического конгресса. Факт возможный, хотя рабочие, которые могли это знать,—его запомнили. Центральный кружок, как я уже сказал, не имел своей тайной типографии, хотя и делались попытки собрать по частям типографский шрифт. В редких случаях прибегали к помощи маленькой пишущей машины фирмы „Лилипут“. На ней в 1891 г. были отпечатаны прокламации, раздававшиеся при стачке в Новом адмиралтействе. Машинка эта была „взята“ при аресте Николая Богданова. Особой своей центральной библиотеки также не было, да и вообще количество книг наших было не велико. Запасом в десяток—другой рабочие очень гордились. Помню несколько томов журнальных статей, вырезанных из старых номеров „Дела“, „Знания“ и особенно „Отечественных Записок“, „Русского Слова“; среди рабочих обращались также: плохое издание брошюры Дикштейна „Кто чем живет“, „Наши разногласия“ Плеханова, затем

¹⁾ Его воспоминания см. журн. „Былое“, декабрь, 1906.

знаменитый первый том Лассаля в Зайцевском переводе. Обращались также „Политическая экономия“ Милля в переводе с известными примечаниями Чернышевского, Флеровского „Положение рабочего класса в России“, „Пролетариат во Франции“—Михайлова, литографированное изложение Маркса (Габриель де Вилья), популярное изложение одной главы из Маркса, сделанное пропагандистом наших кружков Р. Классеном. Перевод этой главы, именно о прибавочной стоимости, был им специально сделан для его слушателей рабочих, которые его сами и литографировали. Правда, по рукам ходили один или два экземпляра первого тома „Капитала“ Маркса, но он был мало доступен для понимания, затем Кеннана „Сибирь и ссылка“ и издание народолюбцев „Царь Голод“; были рукописные и очень популярные лекции, кажется, Н. Рубакина, „О происхождении земли“, пользовавшаяся большим успехом брошюра Симановича „О теории Дарвина“. Из беллетристики романы „Что делать“ Чернышевского, Рубакина „Под гнетом времени“, Шпильгагена „Один в поле не воин“, Жиованьоли „Спартак“ и Швейцера „Эмма“. Добывать книги приходилось с большим трудом, так как о покупке их не могло быть и речи,—так „весь“ Писарев стоил 75 рубл. и т. п.. Александров еще вспоминает брошюру Тана „Борьба общественных сил“, но мне встречаться с этой книгой не приходилось. Добыванием книжек были очень озабочены интеллигенты. В их число в наших кружках входили только социал-демократы; единственным исключением являлся один народолюбец „Петр Петрович“, автор воспоминаний об этом времени, помещенных в ноябрьской книжке журнала „Былое“ („Галерка“) ¹⁾. Но и он впоследствии перешел в лагерь социал-демократии. Впрочем, рабочие тогда не делали большой разницы между народолюбцами и социал-демократами, и, насколько помню, и те и другие встречались рабочей средой с одинаковым уважением. Наш руководитель—Михаил Иванович Бруснев, тогда студент технологического института, являлся наиболее деловым руководителем группы.

М. И. Бруснев направлял своих товарищей в том понимании рабочего дела и рабочего движения, которое казалось тогда единственно правильным и возможным. Как М. И. Бруснев, так и остальные наши интеллигенты, уже стояли на строго марксистской точке зрения и были вполне законченными социал-демократами, хотя, быть может, с преобладанием „экономизма“ над „политикой“. На их долю выпала сизифова работа. Им приходилось заниматься, так сказать, с „азов“, в полном духовном мраке и среди одуряющего невежества. Занятие естествознанием, а подчас и грамотой, вызывались не программными соображениями, а прежде всего той необходимостью, которая создавалась условиями тогдашней рабочей среды. Отсюда понятно, что слагавшийся метод был не метод доктринерства или теоретического изложения, а был вызван и усвоен пропагандистами под влиянием окружающих обстоятельств.

Большинство рабочих,—кроме упомянутых выше наиболее сознательных личностей,—не только не было подготовлено к партийной работе, но, не умея даже читать, просто боялось кружковых рабочих. Возвышаясь в отдельные моменты стихийного подъема против поработителей и эксплуататоров до сознательных и активных требо-

¹⁾ Жена его, Софья Алексеевна (Е. М.), вела занятия в первом женском кружке группы Бруснева.

ваний, рабочие в массе еще мало были способны скристаллизоваться в отдельные организации и продолжать деятельную работу в моменты перемирия между стачками. Надо перенестись в тогдашние условия, и, как сравнительно время ни близко (каких-нибудь тридцать лет), не следует модернизировать петербургскую рабочую массу конца удушливых 80-х годов. Вот почему Брусневской группе, параллельно с занятиями политическими и экономическими вопросами, приходилось внедрять начатки общего образования и общего воззрения. Некоторых, весьма возможно, на этот путь подталкивало общее увлечение позитивизмом, так как тогда многие были уверены, что истинное понимание социального вопроса может явиться только в результате медленного и продолжительного развития, при постепенном изучении в начале естествознания, а потом уже социологии.

Махновец („Акимов“), автор в высшей степени любопытного и взбаломутившего всю нашу социал-демократию „Очерка развития социал-демократии в России“, описывая первые годы развития партии, не упустил упомянуть и кружки Бруснева. Но в своей характеристике „Группы Бруснева и товарищей“ В. П. Махновец делает, на мой взгляд, большую ошибку. Он считает ее „культурнической“ и неразмежевавшейся еще окончательно с народовольчеством¹⁾.

Весьма возможно, что до существования группы Бруснева в Петербурге существовали отдельные (напр. „благоевская группа“) кружки и лица, мировоззрение которых еще не определилось, в представлении которых принципы народовольчества и социал-демократизма переплетались без достаточного обоснования. Но уже в этот период, и, поскольку помню,—это касается всех видных членов Брусневской группы, социал-демократизм уже был руководящим учением. Среди нас были и выдающиеся знатоки Маркса, как, например, братья Красины, Леонид и Герман. Я уже указал на то, что В. П. Махновец считает всю группу „социалистами-культурниками“, т. е. социалистами, ставившими своей целью ведение мирной культурной работы среди петербургских рабочих. Если такая миссия иногда и выпадала на долю отдельных пропагандистов, то для характеристики всей группы это будет неверно. Наш видимый контизм и наше убеждение в необходимости первоначально естественно-научного фундамента объясняются простой безграмотностью и общим невежеством, с которыми нам приходилось бороться²⁾. И если вспомнить, что все 80-е годы были эпохой полного разгрома организаций, что разгром обоих первых рабочих союзов „Южно-русского рабочего союза“ и „Северного союза русских рабочих“ в Петербурге произошло еще в 1881 г., т. е. во время репрессий после 1-го марта, то само собой становится понятным, что работа по пропаганде среди рабочих к концу 80-х годов была очень трудна. К этому времени были придавлены интеллигентские соц.-демократические кружки, кратковременно существовавшие в средние 80-х годов (напр., упомянутая уже „Благоевская“ группа). Сношения

¹⁾ „Хотя его члены (т. е. кружка) и считали себя социал-демократами, но по способу пропаганды своих идей они являлись, в сущности, социалистами-культурниками. Народовольческая тактика уже была оставлена, социал-демократическая еще не была выработана; оставлена мысль о непосредственной борьбе, и началась подготовительная работа распространения идей. Бруснов и его товарищи предполагали расширить свою организацию, завели сношения со многими (?) городами России, но в апреле 1892 года были арестованы“. А к и м о в, стр. 79.

²⁾ А к и м о в, стр. 39.

же их с массами были прямо ничтожны. И даже появившаяся несколько позднее, а именно в 1889 г., в Петербурге полусоциал-демократическая группа, выпустившая несколько номеров газеты „Рабочий“, хотя и занималась пропагандой, но имела слишком малые связи с петербургской рабочей средой¹⁾. К тому же центром тяжести идейных стремлений этой группы являлось желание отмежеваться от программы и тактики народолюбцев. То же наблюдалось в некоторых маленьких подвижных группках, возникавших в 1887—1889 годах. Поэтому Брусневской группе, мало интеллигентской, а почти исключительно пролетарской, приходилось будить часто совсем первобытное сознание пролетариата. Отсюда и метод, ею усвоенный. Что он был по своему времени необходимым и подходящим,—доказывается несомненным успехом группы. Как в Петербурге, так и в Москве, куда она дала свои разветвления, укрепление в рабочей среде новой и быстро разраставшейся „группы Бруснева и его товарищей“ представлялось важным и ценным явлением: началось самостоятельное социал-демократическое движение в низах.

С появлением и укреплением Брусневской группы петербургские рабочие сами выступают на защиту своих экономических и политических интересов. Они же и тогда санкционировали наши методы распространения и внедрения в сознание рабочих социалистических идей.

Против указаний Махновца говорит и следующий факт, наверное, не одиночный.

В 1892 году, раннею весною, группою интеллигентов, стоявших во главе группы, мне дано было поручение проехать в Варшаву и там по данным мне адресам связаться с польскими социалистами. Я не могу с точностью вспомнить содержание этого поручения, помню лишь, что я его, приехав в Варшаву, удачно выполнил. Смутно припоминаю какую-то конспиративную явку в больнице „Дитетки Иесуса“, а затем посещение каких-то обруселых поляков, которым я что-то передавал и устно, и в пакете. Все это касалось чисто революционной политической деятельности и никакого специфически-культурнического характера не носило.

Культурничество, тем не менее, было, но не как ударная программа, а только как определенная часть большого дела, часть, которая имела свое место и время. Скороспелость осуждалась. Сознательное усвоение классового мировоззрения и революционного марксизма требовало постепенности прохождения и усвоения. Социализм рассматривался, как мировоззрение, определявшее задачи всей жизни и направляющую силу поведения. Отсюда глубина постановки пропагандистской работы, начинавшейся с естествознания, а в иных случаях, в силу необходимости, и с грамотности.

В эту эпоху,—период кружковщины в лучшем ее смысле,—все стремления были направлены к тому, чтобы выработать из рабочих не только без пяти минут революционеров, но революционеров сознательных и подготовленных к самостоятельной работе. Эти рабочие должны были обладать определенным философским и экономическим

¹⁾ Об этой группе уже существует обширная литература (Лидов, Мартов, Тахтарев, Акимов и др.).

кругозором, при помощи которого они могли бы явиться самостоятельными пропагандистами и активными работниками.

„Мы стремимся к тому, чтобы рабочие могли обосновать свои убеждения и доказать правоту своего поведения“, — не раз повторял мне впоследствии Егор Афанасьев. Сознательность такой постановки работы выразилась между прочим, в словах одного из рабочих в его первомайской речи. Он сказал: „В настоящее время нам остается только возможность пропаганды, которую, надеюсь, мы и воспользуемся, несмотря ни на какие угрозы и препятствия нашего правительства. А для того, чтобы наша деятельность оказалась плодотворною, нам необходимо как можно более стараться умственно и нравственно развивать самих себя и других и более энергично действовать для того, чтобы окружающие нас люди смотрели на нас, как на людей умных, честных и смелых, и потому с большим доверием относились бы к нам и ставили бы нас в пример себя и другим¹⁾“.

Возвращаясь к интеллигентам, входившим в кружки. Я уже сказал, что руководящая роль принадлежала студенту-технологу Михаилу Ивановичу Брусневу.

Из остальных интеллигентов, принимавших тогда то или иное участие в группе, кроме Мих. Ив. Бруснева, я помню довольно красивого блондина, тоже студента-технолога Цивинского из г. Вильны; затем были еще студенты-технологи: Классен, Бурачевский, Странден, Коробка, братья Красины, Леонид и Герман Борисовичи. Таким образом, петербургский технологический институт в то время был очагом рабочего движения. В столовой этого института многие годы с почтенным указывали стол, за которым иногда обедали Желябов и Кибальчич.

Не помню в точности, какая именно роль выпала на отдельных „интеллигентов“; по всей вероятности, им за малочисленностью приходилось делать все, ибо кружки были чисто рабочие, не интеллигентские. Странден и Классен занимались политической экономией и излагали основы социал-демократического учения. Кто-то из интеллигентов, а также рабочий Алешкевич, о котором я уже говорил, занимался по химии, притом занимался очень успешно, так как его чтения сопровождались опытами и так как он объяснял толково. Я, как упоминал выше, преподавал геологию.

Помимо вышеупомянутых интеллигентов к рабочим имели, но уже чисто случайное касательство, и отдельные студенты и курсистки, оказывавшие те или иные услуги. Некоторые из них выдвинулись впоследствии в рабочем движении. „Кружки Бруснева“ организовались в 1890 году и просуществовали в стройном виде только до лета 1892 года. Среди рабочих социал-демократическая пропаганда велась и до группы Голубева-Бруснева, но велась неорганизованно. Так, например, в 1885—1889 г.г. подобного рода пропаганду вел среди рабочих единолично талантливый и симпатичный студент-технолог Петровский, повесившийся в 1889 году в Доме предварительного заключения. О Петровском многие рабочие Брусневских кружков сохранили надолго самую лучшую память. Но в литературе, касающейся первых лет социал-демократической пропаганды в Петербурге, о Петровском я не встречал решительно никаких сведений.

¹⁾ Четыре речи рабочих, произнесенные в Петербурге Женева 1892 г. („Рабочая Библиотека“. Выпуск шестой).

III.

Первые празднования первого мая.

Из особенно ярких событий жизни Брусневских кружков были первые в России празднования 1-го мая. Сведений об этих празднованиях до сих пор в литературе не было и даже знаток фактического материала по истории русской социал-демократии В. П. Махновец сознается, что ему о них ничего неизвестно ¹⁾.

Эти празднования, как организованные большим числом рабочих, естественно происходили под открытым небом, за городом, в присутствии большинства рабочих, которые входили в организацию и считали себя если не социал-демократами, то во всяком случае сознательными рабочими.

Первый праздник справлялся у нас в 1891 году, т. е. год спустя после его окончательного установления в Германии. На маевку, на которой мне пришлось быть, собралось около ста человек рабочих различных промышленных заведений Петербурга, входивших в Брусневские кружки. Собрание было устроено в Екатерининском парке (на Волынской, в Троицын день, а не по календарю 1-го мая). Собрание происходило в самом конце парка. Я отправился туда с Алексеем Карелиным и Лунеговым. День стоял хороший, путь был не близкий.

Когда мы в начале первого часа пришли, некоторые, в том числе Бруснев, были уже на месте. Вскоре прибыли и все остальные. В начале руководил собранием Цивинский, одетый под рабочего. Собралось, в конце-концов, человек до ста. Мы разместились вокруг руководителей компактной массой. Интеллигенты, число которых совершенно тонуло среди рабочих, в этот день совершенно ступшевались. Когда все собралось, роль руководителей собрания поняли на себя сами рабочие. Мы провели этот день вплоть до вечера в общей оживленной беседе на общественно-политические темы, прерываемые время-от-времени отдельными речами²⁾. Первым говорил Николай Богданов. За ним Порошин и некоторые другие. Все речи были очень горячи и крайне образны. Особенно отчетливо и задушевно лилась речь Николая Дементьевича Богданова, говорившего с большим увлечением о западно-европейском движении, об идеях, объединяющих европейский пролетариат, о борцах за его дело и о великом пролетарском празднике 1-го мая.

Привожу краткую речь Николая Богданова полностью, так как содержание ее при всей лаконичности дает современному читателю характеристику идей и настроений того времени.

„Товарищи, — сказал Богданов, — сегодняшний день для нас должен неизгладимо остаться у каждого в памяти. Только сегодня в первый раз нам пришлось собраться со всех концов Петербурга на

¹⁾ См. „Былое“, октябрь, 1906 г. Некоторые общие сведения помещены в моей статье, см. „Былое“, № 16, за 1921 г.

²⁾ Эти речи напечатаны в VI вып. „Рабочей Библиотеки“ (Женева 1902) под загл. „Первое мая 1891 года“. Четыре речи рабочих, произнесенные на том же собрании в Петербурге с приложением адреса петербургских рабочих Н. В. Шатунова и предисловием Г. Плеханова. Другое издание нелегальное, русское, было отпечатано народолюбцами в том же году, в их тайной типографии в Петербурге.

это скромное собрание и слышать в первый раз от товарищей рабочих горячее слово, призывающее на борьбу с нашими сильными политическими и экономическими врагами. Да, товарищи, видя такого врага и не зная, в чем его сила, видя свою небольшую горсть людей, которые берут на себя эту борьбу, некоторые из нас не могут надеяться на успех нашей победы, они в отчаянии и трусости покидают наши ряды. Нет, товарищи, мы твердо должны надеяться на нашу победу. Нам стоит только вооружить себя сильным оружием, — а это оружие есть знание исторических законов развития человечества; нам стоит только этим вооружить себя, тогда мы всюду победим врага. Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут от нас этого оружия. Мы всюду найдем поле победы, всюду будем передавать наше знание, на родине — своим крестьянам, а в тюрьмах будем объяснять арестантам, что они тоже люди, и имеют все человеческие права; чтобы они, сознавши эти права, передали свое знание другим и организовали их в группы. В этом долг нашего успеха. Да, товарищи, нам часто приходилось читать или даже слышать о манифестациях рабочих на Западе, которые громадными и стройными колоннами движутся по городам и наводят страх на своих эксплуататоров; но стоит нам приглядеться к истории развития этой стройной массы, и тогда нам станет ясно, что эта масса произошла от такой же небольшой группы людей, как и мы. Взглянем хотя бы на историческое развитие социал-демократической партии в Германии, этой самой сильной и стройной организации на Западе. Она тоже произошла от небольшой кучки людей, сгруппировавшихся в одной производительной местности, как наш Петербург. Эти рабочие первые сознали свои человеческие права и стали передавать свои убеждения другим рабочим, за что и стали преследоваться и высылаться правительством по провинциям. Но даже это распоряжение послужило на пользу рабочим. Эти рабочие нашли себе товарищей и организовались все вместе, составили один нераздельный союз. Чего же нам, русским рабочим, отчаиваться, бежать от этих борющихся товарищей, которые идут за такое великое дело, как дело народного освобождения? Смотря на все исторические факты, которые нас смело заставляют надеяться на победу, мы должны также думать и о нашем русском народе. Он до тех пор будет нести взыскание на него тяжести, пока не сознает за собою человеческих прав и не сознает, что он-то, рабочий, должен иметь больше всех прав пользоваться всеми богатствами, произведенными его трудом. Наш рабочий должен также знать, что труд есть двигатель всего человеческого прогресса, что он создатель всей науки, искусства и изобретений. Лишь только народ все это узнает, его тогда никакая армия не может удержать от самоосвобождения, а нести такое сознание в народ — есть прямое неотъемлемое право всех развитых рабочих. Это показала нам борьба нашей интеллигенции 70-х—80-х г.г. Взгляните, товарищи, на эту борьбу с исторической точки зрения, как эти друзья и борцы несли в народ все свое знание, и, нередко жертвуя даже жизнью, оправдали себя перед историей и не остались в долгу у народа. Они всюду откликались на народный стон и давали руку для помощи, но народ не признал в них друзей и смотрел на них с недоверчивостью.

„Так понесем же теперь мы, товарищи, свое скромное знание в народ: не сумеем ли мы передать его народу и не поймет ли он те-

перь нас, потому что мы ближе стоим к нему, как интеллигенция; только жаль одного, товарищи, что у нас нет ниоткуда помощи, как прежним рабочим, исключая небольшой кучки людей, которым мы всегда отдадим сердечное спасибо; нынешняя молодежь не слышит народного стона и не видит народного горя, — она и не думает о народе. Эта молодежь нечто иное, как паразитный элемент общества: они способны только истреблять продукты общественного труда, а и не думают платить за эти труды народу“.

Вторую речь сказал рабочий Порошин. Вот она:

„Очень жаль, товарищи, что нам до лучшего будущего приходится помириться с невозможностью собраться и провести вместе, по примеру рабочих в западных государствах, день 1-го мая, и должны довольствоваться возможностью собраться в воскресенье. Конечно, каждый из нас знает, что теперь мы не можем произвести никакой манифестации, а не только что подобной той, какую произвели рабочие на Западе. Я думаю, что каждый из нас теперь невольно сравнивает наши силы с силами западных рабочих; но смею надеяться, что ни один из нас от этого сравнения, глядя на нашу малочисленность, не придет в отчаяние, потому что все мы еще имеем настолько сил и энергии, чтобы не упасть духом и не опустить рук лишь оттого, что дело приходится почти еще начинать только. Западные рабочие страдают, как и мы, под гнетом капиталистического строя, т.-е. такого, при котором все продукты труда, произведенные рабочими, фабрикант продает в свою пользу, а рабочим за их труд платит лишь столько, чтобы они не могли умереть с голоду. Не довольствуясь таким возмутительным порядком, который лишает их плода своего труда, они часто задумывались над положением, в котором они находятся, и пришли к тому заключению, что выбраться из него возможно только путем умственного развития народа, так как от его развития зависит все. Придя к такому заключению, они не остановились только на словах, а стараются развивать и организовать себя и других в тесную организацию и при ней имеют кассу, на средства которой распространяют книги и издают журналы и газеты, в которых проводят свои идеи; они стараются поддерживать стачки, хотя и не считают их коренным средством для уничтожения зла, потому что они могут, при благоприятном исходе, лишь только несколько улучшить положение рабочих, но не освободить их из-под гнета капитала. Постепенно усиливаясь благодаря энергичной деятельности, они время-от-времени различными средствами давали почувствовать обществу и правительству свою силу и предъявляли свои требования, и правительство некоторые из них принуждено было удовлетворить. Например, дало конституции, свободу печати, свободу сходов и организаций и т. п. права, при приобретении которых им гораздо легче стало бороться с существующим экономическим строем. Одним из таких средств, которым они хотели дать почувствовать свою силу и тут же предъявить одно из важных требований, была громадная манифестация в день 1-го мая. Они этой манифестацией требовали установления законодательным порядком 8-ми-часового дня. Из сравнения же манифестаций прошлогодней и нынешней видно, что силы их возрастают, так что дают надежду в не очень далеком будущем увидеть тот лучший и справедливый строй, к которому они стремятся. Обращая внимание на и положение наших рабочих, мы увидим, что они также сильно страдают от произвольной кулаческой эксплуатации,

почти ничем не сдерживаемой, потому что наши рабочие, по старанию правительства и фабрикантов, находясь в забитом состоянии и полном невежестве, не могут дать отпора произвольному грабежу, чем и дают повод к большей наглости безжалостным хищникам. Такое положение, конечно, никому из рабочих не нравится; но они молчат и терпят, потому что не знают выхода из него, и потому на вас, как на более развитых рабочих, лежит обязанность выяснить рабочим причины, по которым они находятся в таком скверном положении и указать выход из него.

„К чести нашей я могу сказать, что мы, действительно, созвали свои обязанности и, несмотря на все препятствия и угрозы нашего подлого правительства, мы стараемся, по мере своих сил и способностей, развивать окружающих нас рабочих... А также недавно, вместе с искренним чувством признательности к Шелгунову, как к указателю пути к свободе и братству, мы попробовали подачею адреса ему и присутствием с венком на похоровах его привлечь внимание общества к рабочему вопросу и, как слышно, успели в этом. Но, как видно, наша проба и успех ее пришлось не по губам правительства, и оно распорядилось наказать рабочих, осмелившихся думать об улучшении своей жизни, выслав троих из них в уездные городишки. Оно, как вам известно, всегда за малейшее проявление неудовольствия к существующим безобразиям высылает и сажает по тюрьмам рабочих и интеллигенцию, которая искренно стремится, — за что ей сердечное спасибо! — своими силами и знаниями помочь рабочим в борьбе с существующим хищническим строем. Но я надеюсь, товарищи, что такие меры правительства не запугают никого из нас, а лишь только возбудят большую ненависть к нему и к существующему строю, который оно оберегает, и большее желание поскорее добиться такого, при котором не было бы ни бедных, ни богатых, а все бы пользовались счастьем и довольствием в равной степени.

„Так будем же, товарищи, развивая и поддерживая друг друга, продолжать начатую борьбу с существующим злом за осуществление „свободы, истины, братства“.

Третья речь содержала указание, что все „страдания происходят от существующего экономического строя“ и что должна быть замена существующего экономического строя, дающего широкий простор для произвольной кулаческой эксплуатации, более лучшим и справедливым — социалистическим и излагала ряд обычных и общеизвестных политических требований (конституции, свободы и пр.). Указывалась и необходимость наличия „организованной силы“. Кто ее произнес, — не помню. Забыли это и другие присутствовавшие, мою опрошенные.

Последняя, четвертая речь, принадлежала кузнецу Егору Афанасьеву. Вот главнейшие места его речи:

„Хорошо, что и мы тоже начинаем пробуждаться от векового нашего сна под гнетом барского, поповского и царского рабства, — начинаем, я говорю, пробуждаться, и это уже есть часть, внесенная русскими работниками в общий прогресс. Да, ведь, товарищи, сразу ничего не делается в мире, а все совершается по определенным законам природы. И человеческий гений не может обнять все сразу, все предугадать, а постепенно узнает святую истину. Ему всегда приходится на долю самые трудные работы во все века человеческой жизни — будить сознание в самом человечестве и двигать его на путь

истинного прогресса и счастья. Конечно, товарищи, это счастье достается всегда не легко, оно очень дорого стоит для самого человека. То же мы видим и у наших братьев, западных рабочих. Они имеют уже силу и свободу: это уже есть частица счастья. Но эта частичка была добыта ими дорогою ценою их человеческой крови. Они боролись долго за эту частичку счастья, которым они пользуются теперь. Они боролись долго, много, целые десятки лет с оружием в руках за свободу, истину, равенство и братство. Но вот, товарищи, мы видим, что их требования уже признаны законом, как стачки массы, товарищества, союзы, библиотеки, так и другие общественные учреждения. А у нас—ничего, потому что мы сами не старались об этом, у нас, как вы сами знаете, еще всякие заявления о правах народа сейчас считаются бунтом. Только и есть одни окрики, штыки, пушки, розги, Сибирь, тюрьма, каторга, да казацкие нагайки. А там, на Западе, наши братья, работники, уже пользуются всеми политическими правами. Мы—холопы, рабы. Мы должны шапку ломать перед последним становым, околоточным, городовым. А там все свободные равноправные граждане, как в Англии, Франции, Германии, Бельгии, так и во всех других европейских государствах.

„Сознание говорит, что мы тоже люди. Но пока мы все еще бесправные рабы русского царя с пятном возложенного на нас позора. Так смоем же, товарищи, это рабское пятно позора. Так будем же добиваться себе прав, которыми мы должны пользоваться во имя своего человеческого достоинства, чтобы было возможно жить, как людям, думать, говорить, собираться, обсуждать свои общественные дела без всяких для нас препятствий со стороны шпионов и подлой полиции. Товарищи, трудно будет нам на первых порах вступить в борьбу с нашими врагами за наши экономические и политические права, но вспомним, что еще теперь, в настоящую минуту, тысячи интеллигентов сидят за нас в Сибири в тюрьмах, на каторге. Вспомним, что не легко досталось улучшить свое положение нашим братьям, западным рабочим, так, стало быть, и нам нелегко будет улучшить свое под разгулом деспотической реакции, которая будет нас преследовать на каждом шагу. Товарищи, трудно нам будет, но наука освободила западных рабочих, она поможет и нам просветить умы наши, да и наполнит наши души святой истинной любовью друг к другу. Будем, друзья, бороться за истину, не отступим шага назад до самой смертной агонии, за правду, за равенство, братство, свободу. Будемте учиться объединяться сами и, товарищи, будемте организовываться в сильную партию. Будемте сеять это великое семя с восхода до захода солнца, во всех уголках нашей Русской земли“.

На дереве, около которого я стоял, прибили щит с надписью: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“.

Я и А. Е. Карелин вырезали на коре того же дерева год и число и свои инициалы.

Спустя 14 лет, когда я встретился в 1906 г. с А. Е. Карелиным в центральном бюро с.-петербургских рабочих союзов, куда он входил, как представитель союза литографов, мы вспомнили наше празднование и решили разыскать место, где происходило это историческое в русском рабочем движении событие. Карелин розыскал дерево и нашел вырезанные на стволе инициалы, которые от времени несколько расплылись и обезобразились.

Наше первомайское собрание прошло в 1891 году очень мирно. Никто, ни полиция, ни любопытные, нас не беспокоили. Хорошо помню, что никаких „патрулей“ мы тогда не выставляли, хотя имели привычку „конспирировать“ по всякому поволу.

Совсем иначе прошло празднование 1-го мая в следующем 1892 г. Было избрано для этого совершенно другое место. После поисков в течение трех воскресений остановились на месте, казавшемся очень подходящим, а именно на конце так называемой Батарейной дороги, на Крестовском острове, у самого берега моря. За это место говорила возможность как подхода к ней пешком, так и доступа при помощи лодок. И вот, 24-го мая старого стиля, т. е. опять в Троицын день, мы все двинулись к этому месту, то пешком, кто на лодке. Я ехал в лодке с Алексеем Карелиным, его невестой Верой Марковной, Лунеговым и еще с несколькими рабочими.

Ехали очень весело, оживленно рассчитывая, как скоро могли бы возрасти наши кружки и наши группы, если бы полиция нам не препятствовала. Выходя на Невку, мы увидели еще несколько лодок, ехавших в одном с нашим направлении; мы молча переглянулись с товарищами на других лодках. Все были одеты по-праздничному, а интеллигенты переоделись в рабочие костюмы. Особенно это шло к Цивинскому, который казался ярославским разносчиком в своем картузе и поддевке.

Нас собралось на лужайке свыше 150 человек. Подождали еще, но многие, как говорят, не явились. Какие говорились речи,—я не помню, так как наш кружок был занят тогда своим разговором. На нас возлагалось устройство небольшой техники от групп. Мы были очень поглощены этой задачей, и целые дни проводили в обсуждении деталей. Итак, какие речи говорились,—не помню, но помню, что раздавались печатные, по всей вероятности, заграничные листки и карикатуры. Карикатуры аллегорически изображали различных зверей, львов, тигров, слонов в коронах, а над ними имелись соответствующие надписи.

Наше празднество, которому придавали простонародный вид несколько взятых с собой гармоний, а также и угощение в виде хлеба, колбасы, пива, разложенных на лужайке, было в самом разгаре, когда неожиданно появился лесной сторож владельца Крестовского острова, князя Белосельского-Белозерского. Худощавый старик типа преданных верных слуг, опираясь на ружье, резко потребовал от нас под угрозой полиции немедленного удаления. Несмотря ни на какие попытки дружественных переговоров, он стоял на своем и, в конце концов, добился один против 150 человек, чтобы мы разошлись.

День был солнечный, ясный, настроение только что разрасталось, и было очень грустно покидать красивое и удобное место. Но делать было нечего. Страх перед полицией был велик, захват же самых ценных работников представлял собою большую опасность для всего дела, и мы подчинились необходимости. Очень опечаленные, ехали мы обратно в лодке, стараясь говорить на совершенно иные темы.

Так была сорвана вторая маевка петербургских рабочих. На другом большом собрании за Волковым кладбищем, собранном взамен неудавшейся маевки вскоре после 1-го мая и устроенном нашей группой, я не был. Помню, рассказывали о произнесенной на этом собрании Фоминым выдающейся речи. Егор Афанасьев на этом собрании

тоже не был, но на собрании была прочитана его речь. „Волковская массовка“ была для группы роковой. Полиция выследила место собрания, состоявшего, примерно, из 300 человек. Полиция наружная и тайная издала проследила многих бывших на собрании, и вскоре многочисленные аресты почти уничтожили всю нашу организацию. Слежка продолжалась с 29 июня, дня собрания за Волковым кладбищем, по 14 июля. Слежка была усиленная, и вот в ночь с 14-го на 15-ое июля более 30-ти видных кружковых деятелей были арестованы.

Тогда были задержаны Егор Афанасьев, Лунегов, Фомин, Туманов, Евграфов и многие другие. После этого ареста последовали другие. Вскоре репрессии окончательно разгромили эту организацию. Я, случайно узнав, что за мной следят, спешно оставил Петербург, а затем и Россию... На родину я вернулся только спустя 5 лет.

Проф. В. В. Святловский.

Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г.

I.

Если сделать некоторое умственное усилие и постараться, отстранившись от вычитанных и заученных ходячих формул, взглянуть на всю политическую эволюцию русской державы за последнее столетие существования монархии, то мы должны будем прийти к совершенно определенному заключению: в недрах русской государственности всегда боролись два течения—одно, основанное на инстинкте самосохранения, другое, не учитывавшее велений этого инстинкта, и поэтому гораздо более активное. Для краткости условимся называть первое течение—консервативным, второе—националистическим или империалистским. Поверхностным наблюдателям, были ли это публицисты или историки,—все равно,—казалось часто, что эти течения совпадают. Но ничто не может быть грубее этой ошибки. Поясню эти слова.

В своей книге „Падение абсолютизма в западной Европе“ я указывал на любопытное (повторяющееся в истории) психологическое состояние правительственной организации, которое наступает часто в той фазе, когда абсолютизм твердо уверен в своей прочности, когда он избавлен от забот о самосохранении. Абсолютизм тогда не остается, обыкновенно, в покое: он начинает ставить пред собою такие внутренние и внешние задачи, которые, по существу дела, вовсе его не касаются и ему не нужны; сплошь и рядом такие безусловные социологические задачи и цели, стремление к которым не диктуется никакими повелительными нуждами, и приводят абсолютистскую машину к частичному, а иногда и к общему банкротству. Это—факт бесспорный и, главное, повторяющийся. Этот факт не может изменить навсегда или даже на очень долго общее течение истории данной страны, но он нередко весьма существенно влияет на физиономию политических событий, часто укорачивает явственно те сроки бытия, которые для данного абсолютизма еще не исполнились бы, если бы не указанное психологическое явление. В этих ограниченных пределах указанный факт играет, несомненно, очень видную роль. Вся „славянская политика“ русского правительства в XIX веке была в значительной мере порождением этой психологии.

Что русский абсолютизм уже к моменту революции 1905 года себя экономически изжил,—в этом сомнений быть не может. Но что та компромиссная форма правления, которая существовала в России с 17 октября 1905 года, вовсе не должна была при всяких обстоятель-

ствах безусловно погибнуть 2 марта 1917 года и так именно погибнуть, как она погибла, что, словом, ее гибель была в огромнейшей степени ускорена войною 1914 года,—с этим должен согласиться каждый беспристрастный и спокойный наблюдатель. Можно ли, если так, причислить войну 1914 года к той категории явлений, о которых шла речь, позволительно ли утверждать, что для русской монархии эта война была тою же выдуманной и вредной ненужностью, как для французской монархии была отмена нантского эдикта или война за испанское наследство?

Ставить так вопрос — значит, только запутывать дело. Войну 1914 года желал Фалькенгайм, Молотке младший, Берхтольд; даже Вильгельм и фон-Тширшки начали ее желать лишь в самом процессе переговоров, и в посылке ультиматума Сербии вовсе не усматривали автоматической пружины, которая, развергиваясь, произведет всеобщий взрыв. В русских правящих кругах вызвать войну летом 1914 года, когда Россия была заведомо неготова, подавляющее большинство также не хотело.

Но выступление в пользу Сербии и мобилизация, т.-е. именно то, что дало Германии желанный повод начать эту предупредительную войну, вся русская ближневосточная политика последних лет, мало того, вся долгая балканская традиция русской политики — все это, вместе взятое, было русской монархии всегда, в конечном счете, вредно и сокращало естественно отмеренный ей срок жизни и, от этапа до этапа, влекло к опасному краю пропасти. С этой точки зрения, крымская война, русско-турецкая война 1877—1878 г.г. и балканская политика России в 1908—1914 г.г. — единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших, с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа, а с точки зрения монархии определенно самоубийственных. Географическое положение России, экономическая ее слабость, культурная растерянность и неуверенность, наличие массы враждебных, конкурирующих сил и влияний на Балканах, — все это предreshало всегда неблагоприятный для России исход всех ее балканских предприятий; чисто военная успешность того или иного похода не могла тут ничего изменить.

Но этого мало. Каждое серьезное столкновение грозило России финансовым истощением, экономическим изнурением, политическим катаклизмом. *Quia non movetur*, то, что находится в покое, следует и оставить в покое, — такова была, уже начиная, может быть, с Никиты Ивановича Панина, основная тенденция одной школы русских дипломатов и государственных людей. Владея половиною Европы и половиною Азии, России воевать не с кем и не зачем; с народом можно делать все, что угодно, еще очень долгое время, но от этого каприза, от ненужных никому войн должно воздержаться. Великий князь Михаил Павлович многозначительно говаривал, что воевать не следует, так как война портит войско. Александр III определенно боялся войны и отстранялся от сколько-нибудь активной внешней политики.

Такова была одна школа русских государственных деятелей. Под блестящею внешнею, за огромными размерами, они чуяли многочисленные язвы, которые, замечу, они же упорно и не желали зализывать. Ни о какой дальнейшей экспансии России они не мечтали; всегда знали, что народ в своей массе воевать не хочет и что, не воюя, им самим можно быть уверенным в полной прочности своего положения и своей власти.

Другая школа, начавшаяся Шуваловым и Бестужевым, Потемкиным и Александром I и продолжавшаяся гр. Н. П. Игнатьевым и (уже в наши дни) Гартвигом, придерживалась иных воззрений. Они так были убеждены в несокрушимой прочности русского государственного организма, что роскошь завоевательной, расовой („славянской“) или иной политики представлялась им возможной. „Россия—молодая страна с военным честолюбием“, писала газета „Новое Время“ в 1899 году. Русский царь—да падет пред Престолом Всевышнего—и да встанет, как всеславянский царь,—восклидал и приглашал Тютчев, предвидя богослужение в Св. Софии, после водружения над нею русскими усилиями православного креста. Участники славянских банкетов в Петербурге в 1912—1914 г.г., провозглашавшие близкое освобождение подъяремной Галиции, — были прямыми продолжателями этой стародавней и наиболее популярной и активной традиции русских правящих кругов.

Эта школа получила большую поддержку со стороны главенствовавшей партии конституционно-настроенных кругов русского общества в 1908—1914 г.г., начиная с эпохи аннексии Боснии и Герцоговины Австрии. П. Б. Струве усматривал (еще до этого события) в завоевании берегов Черного моря ту историческую задачу, которая может составить пункт объединения русского общества, сделаться одной из его целей в будущем. Представители первой (консервативной) традиции больше всего беспокоились потому, что на этот раз позыв к активной политике был особенно опасен. Если в 1853 и в 1877 г.г. русско-абсолютизм решился на военные выступления под влиянием неосновательного, быть может, по существу, но бесспорно наличного чувства собственной мощи и неприступности, то теперь, в 1908—1914 г.г. этого чувства быть не могло. Это—во-первых. Во-вторых,—тот ущербленный полуабсолютизм, который с 1905 года царил в России, должен был встретиться на этот раз с такою непосредственной и грозно-опасностью, с которой за сто лет ни разу не встречался: не с Турцией, а с такою коалицией, в которой Турция являлась лишь третьею, степенною величиною. Война с Австрией и Германией грозила серьезнейшею опасностью для России,—и прежде всего для русского государственного строя. А кроме того, столкновение таких монархических держав, как Россия и Германия, чем бы оно ни окончилось, должно было непременно подействовать разрушающим образом на самый принцип наследственной монархии и политического консерватизма. Константин Леонтьев еще в 80-х годах говорил и писал об этом. У этого замечательнейшего теоретика крайней реакции был определенный и решительный страх пред мыслью о русско-германском столкновении, вызванный именно приведенным соображением.

Но второе, империалистское, течение, и более и более было верх над консервативным. Конъюнктура складывалась, с точки зрения приверженцев этого второго течения, вполне благоприятная: в союзе с Англией и Францией ни Германия, ни Австрия не казались страшными. Правда, немедленно, в 1912, 1913, 1914 г.г., никто из сторонников этого течения также войны не желал; максимум боевой готовности мог быть достигнут лишь чрез несколько лет. Во всяком случае, начать психологическую подготовку было признано уместным.

Нелепые стремления Вильгельма II и его друзей доказать, будто Антанта (и, в частности, Россия) начала войну, именно оттого с самого начала и осуждены были на безнадежную неудачу, что ни

Антанта вообще, ни особенно Россия в 1914 году, не желали войны ни в каком случае, вследствие ясно сознаваемой несовершенной подготовленности. Германия же была в полной боевой готовности, и ждать далее ей становилось невыгодным.

Система защиты Вильгельма II никуда не годилась потому, что, не имея возможности (ибо он мог говорить лишь о гипотезах) неопровержимо доказать агрессивные намерения Антанты в будущем, он принужден был, вопреки всякой очевидности и здравому смыслу, доказывать, будто на него напали уже в настоящем, в августе 1914 года. И раз усвоивши себе этот безнадежный метод защиты, он принужден был на каждом шагу прибегать ко лжи в области чистоматериальных фактов, т.-е. в той как раз области, в которой легче всего попасться и быть опровергнутым. Французы бомбардировали с аэропланов Нюрнберг, русские казаки вторглись в Пруссию, Сербия убила Франца-Фердинанда и т. д., и т. д. Все это ни к чему не вело. После посылки ультиматума Сербии — защищаться на этой почве, говорить о „навязанной войне“ (ein uns aufgezwungener Krieg) — значило преувеличивать наивность собственных подданных.

Но за пять месяцев до начала войны была сделана логически гораздо более сильная попытка разрушить Антанту и избавить Германию от поползновения сделать это открытою силою. В последний раз пред крушением русской монархии сторонники консервативной традиции выступили с предостережениями.

II.

Их глашатаем на этот раз явился Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел в кабинете гр. Витте, а тогда (в феврале 1914 года) член государственного совета, доживавший свои дни.

Это была любопытная и довольно сложная фигура. Скептик и циник, он в общем вполне удовлетворительно понимал и тех, кому он служил, и тех, кем он повелевал. Он способен был на самые рискованные поступки (достаточно вспомнить случай с изъятием писем из стола бразильского посланника, послуживший причиною его опалы при Александре III), на самые беспощадные и безоглядые действия, но были моменты, когда в нем как будто начинали шевелиться более человеческие чувства. Впрочем, относительно моральной его ценности мало кто из знавших его предавался особым иллюзиям. Но в интеллектуальном отношении отрицать за ним ум ни в каком случае не приходится. И прежде всего этот ум сказывался в понимании шаткости строя, которому он служил, и вулканичности почвы, на которой этот строй стоял. Активная внешняя политика представлялась ему безумием и особенно такая, которая грозила войною с Германиею. В феврале 1914 года, когда тучи на европейском горизонте стали явственно сгущаться, он подал императору Николаю II записку, во многих отношениях чрезвычайно любопытную. Это — лебединая песнь консервативной школы. Конечно, в вопросах внешней политики П. Н. Дурново был дилетант, и его ошибка (как и всех дилетантов в этой области) заключается в убеждении, будто достаточно только пожелать, чтобы переменить политику. Но рядом мы находим предвидения необычайной силы и точности. Эта записка даже не всем министрам была сообщена; только после революции она сделалась известной несколь-

ким лицам, которым случайно попал в руки литографированный экземпляр ее. Никакого практического значения она не возымела.

Постараюсь, прежде всего, познакомить читателей с наиболее характерными частями этого исторического документа. Начинается он с общей характеристики европейского положения в начале 1914 года.

„Центральным фактором переживаемого нами периода мировой истории,—пишет П. Н. Дурново,—является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств и одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным“. Но, по мнению автора, ни та, ни другая держава не в состоянии одними лишь собственными силами раздавить соперницу. Англия ищет союзников. Какова должна быть при этом позиция России? П. Н. Дурново полагает, что прочное равновесие сил, обеспечивавшее Россию, существовало до русско-японской войны. Говоря об этой войне, Дурново с сочувствием вспоминает, что „мы пользовались благоприятным нейтралитетом“ Германии, забывая прибавить, что именно Германия делала все, от нее зависящее, чтобы толкнуть Николая II на эту гибельную авантюру, а затем всячески препятствовала быстрому окончанию войны, которую она считала выгодною для своих интересов. Вообще, консервативная школа, ненавидя балканские войны России, гораздо мягче относилась всегда к русско-японскому столкновению. Начальник и политический ментор Петра Николаевича—В. К. Плеве не скрывал, что он в войне с японцами усматривает оттяжку революции. Теперь, в феврале 1914 года, П. Н. Дурново признает, что с русской стороны причиной войны был „слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей“; тогда, в 1904 году, он этого не говорил. Во всяком случае, он признает, что жить в полном мире с Японией для России и можно, и должно, и подчеркивает при этом, что для улучшения отношений с Японией вовсе не требовалось после Портсмутского мира сближаться с Англией. Что же принесло России это сближение с Англией? По мнению Дурново, ровно ничего. Вред же был огромный; наиболее отрицательные последствия сближения с Англией, а следовательно, и коренного расхождения с Германией оказались на Ближнем Востоке“. После сближения России с Англией, Германия и Австрия начали гораздо свободнее распоряжаться в Турции и на Балканах. Присоединение Боснии и Герцеговины, образование Албании, „окончательное прикрепление“ Турции к Германии—таковы были ближайшие последствия. „Итак, англо-русское сближение ничего реально-полезного для нас до сего времени не принесло. В будущем оно сулит нам неизбежно вооруженное столкновение с Германией“.

„В каких же условиях произойдет это столкновение и каковы окажутся вероятные его последствия? Основная группировка при будущей войне очевидна: это—Россия, Франция и Англия, с одной стороны; Германия, Австрия и Турция,—с другой. Более, чем вероятно, что примут участие в войне и другие державы, в зависимости от тех или других условий, при которых разразится война“... „Италия, при сколько-нибудь правильно понятых своих интересах, на стороне Германии не выступит... Более того, не исключена, казалось бы, возможность выступления Италии на стороне противогерманской коалиции,

если бы жребий войны склонился в ее пользу в видах обеспечения себе наиболее выгодных условий участия в последующем дележе. В этом отношении позиция Италии сходится с вероятной позицией Румынии, которая, надо полагать, останется нейтральной, пока весы счастья не склонятся на ту или другую сторону. Тогда она, руководствуясь здоровым политическим эгоизмом, примкнет к победителям, чтобы быть вознагражденною либо за счет России, либо за счет Австрии. Из других балканских государств Сербия и Черногория, несомненно, выступят на стороне, противной Австрии, а Болгария и Албания, если к тому времени она образует хоть эмбрион государства, на стороне, противной Сербии. Греция, по всей вероятности, останется нейтральной или выступит на стороне, противной Турции, но лишь тогда, когда исход войны будет более или менее predetermined. Участие других государств явится случайным, при чем следует опасаться выступления Швеции, само собою разумеется, в рядах наших противников. При таких условиях, борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует от нас неисчислимых жертв. Война не застанет противника врасплох, и степень его готовности, вероятно, превзойдет самые преувеличенные наши ожидания. Не следует думать, чтобы эта готовность проистекала из стремления самой Германии к войне. Война ей не нужна, коль скоро она и без нее могла бы достичь своей цели—прекращение единоличного владычества Англии над морями. Но раз эта жизненная для нее цель встречает противодействие со стороны коалиции, то Германия не отступит пред войною и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент. Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война в современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам, а между тем сколько факторов будет против нас, и сколько на них нам придется потратить и сил, и внимания! Из числа этих неблагоприятных факторов следует исключить Дальний Восток“.

„Америка и Япония, первая по существу, вторая—в силу современной политической ориентации,—обе враждебны Германии и ждать от них выступления на ее стороне нет основания. К тому же война, независимо даже от ее исхода, ослабит Россию и отвлечет ее внимание на запад, что, конечно, отвечает и японским и американским интересам... Более того, не исключена возможность выступления Америки или Японии на противной Германии стороне, но, конечно, только в качестве захватчиков тех или иных плохо лежащих германских колоний. Зато несомненен новый взрыв вражды против нас в Персии, вероятны волнения среди мусульман на Кавказе и в Туркестане, не исключена возможность выступления против нас, в связи с последним восстанием, Афганистана; наконец, следует предвидеть весьма неприятные осложнения в Польше и Финляндии... Что касается Польши, то следует ожидать, что мы не будем в состоянии все время войны удерживать ее в наших руках. И вот, когда она окажется во власти противников, ими, несомненно, будет сделана попытка вызвать восстание, в существе для нас и не очень опасное, но которое все же придется учитывать в числе неблагоприятных для нас факторов, тем более, что влия-

ние наших союзников может побудить нас на такие шаги в области наших с Польшей взаимоотношений, которые опаснее для нас всякого открытого восстания“.

Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которую, несомненно, окажется будущая война европейских народов? На этот вопрос приходится, не обинуясь, ответить отрицательно. Менее, чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, что это многое является далеко недостаточным при тех невиданных размерах, в которых неизбежно будет протекать будущая война“.

В этой неподготовленности П. Н. Дурново обвиняет „дилетантство“ законодательных учреждений и тут же сваливает на них вину за новую, опасную для России, дипломатическую ориентацию. Признавая хорошие качества выучки и вооружения, Дурново указывает на существенные недочеты: прежде всего на недостаточность запасов и на трудность пополнить их, в случае закрытия ввоза, вследствие малой производительности наших заводов. Да и общая недостаточность нашей промышленности и наша зависимость от заграничного ввоза создаст, по мнению автора, очень тягостное положение. В частности, „далеко недостаточно количество имеющейся у нас тяжелой артиллерии... мало пулеметов. К организации нашей крепостной обороны почти не приступлено“. Плохо оборудованы железные дороги, нет достаточного подвижного состава. Последнее слово техники будет не у нас, а у наших противников.

„Все эти факторы едва ли принимаются к должному учету вашей дипломатией, поведение которой, по отношению к Германии, не лишено, до известной степени, даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооруженного столкновения с Германией, при английской ориентации, в сущности, неизбежного“.

Но не эти опасения являются центром тяжести в предостережениях Дурново. Он настаивает, что даже в случае благоприятного исхода, война против Германии даст России весьма проблематические выгоды.

„Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии—на морях, т.-е. именно там, где у России, по существу, наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается. Даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими-то поляками нам не так легко управиться? Зачем оживлять центробежные стремления, не заглушенные по сию пору в Привислинском крае, включением в состав российского государства беспокойных познанских и восточно прусских поляков, национальных требований которых не в силах заглушить и более твердая, чем русская,—германская власть? Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма присоединять к нашему отечеству страну, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас

не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как и в этом движении — несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достичь совершенно неожиданных размеров“.

П. Н. Дурново не верит и в наиболее популярную цель русской дипломатии. „Очевидная цель, преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией,—открытие проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли непременно требует войны с Германией... И есть полное основание рассчитывать, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов, в судьбе которых они мало заинтересованы и ценою которых охотно купили бы наш союз. Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов. Приобретение их для нас выгодно, лишь поскольку ими закрывается вход в Черное море, которое становится с тех пор для нас внутренним морем, безопасным от вражеских нападений. Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, напр., английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы независимо от проливов. Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота“. По мнению Дурново, такая комбинация возможна, — но он уклоняется от развития этой мысли в подробностях. Действительно полезными для России приобретениями он считает Персию, Памир, Кульджу, Кашгарию, Монголию, Урянхайский край, т.-е. все такие места, где Россия „может встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии“.

Точно также, по мнению Дурново, Германия ничего полезного для себя получить от победы над Россией не может: поляки, эстонцы, латыши слишком немцам враждебны. Что же касается экономического антагонизма Германии и России, то автор не склонен его преувеличивать, хотя и признает, что от торговых договоров с Германией интересы русского сельского хозяйства пострадали. Но и тут украдкой инсинуируется мысль, что „для союзника“ Германия, конечно, могла бы пойти на экономические уступки. „Во всяком случае, мы на примере Австро-Венгрии видим сельскохозяйственную страну, находящуюся в несравненно большей, нежели мы, экономической зависимости от Германии, это однако не препятствует ей достигнуть в области сельского хозяйства такого развития, о котором мы можем только мечтать“.

Словом, войны и тут никакой не требуется. „Скажу более, разгром Германии—в области нашего с нею товарообмена для нас невыгоден. Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует выпавший на ее долю успех до самых крайних пределов“, и тогда мы в разоренной и утратившей морские пути Германии только потеряем все же ценный для нас потребительский рынок для своих, не находящихся другого сбыта продуктов. Вообще, что касается германского будущего, то здесь интересы Англии и России диаметрально противоположны: „Англии выгодно убить германскую морскую торговлю и промышленность Германии, обратив ее в бедную, по возможности, сельскохозяйственную страну. Нам выгодно, чтобы Германия развивала свою

морскую торговлю и обслуживаемую ею промышленность в целях снабжения отдаленнейших мировых рынков, и в то же время открывала бы свой внутренний рынок произведениям нашего сельского хозяйства для снабжения многочисленного своего рабочего населения“.

Не верит П. Н. Дурново и в „немецкое засилье“ в России; он думает, что „Drang nach Osten“ уже прекращается, что, впрочем, оставаться его должно, но это вполне возможно при мирных отношениях с Германией. „Что касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни, то едва ли это явление вызывает те нарекания, которые обычно против него раздаются. Россия слишком бедна капиталами и промышленною предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей и их денег. Но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой. Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Этим, в значительной мере, и объясняется сравнительная дешевизна немецких произведений и постепенное вытеснение английских товаров с мирового рынка. Меньшая требовательность, в смысле рентабельности немецкого капитала, имеет своим последствием то, что он идет на такие предприятия, на которые, по сравнительной их мелкой доходности, другие иностранные капиталы не идут. Вследствие той же относительной дешевизны немецкого капитала, прилив его в Россию влечет за собою отлив из России меньших сумм предпринимательских барышей, по сравнению с английскими или французскими, и, таким образом, большое количество русских рублей остается в России. Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, а проживается тут же, в России; в отличие от английских или французских, германские капиталисты большей частью и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Этим их свойством в значительной степени и объясняется поражающая нас многочисленность немцев-промышленников, заводчиков и фабрикантов, по сравнению с англичанами или французами. Те сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и нередко там оседают навсегда. Что бы ни говорили, но немцы, в отличие от других иностранцев, скоро осваиваются в России и быстро русеют. Кто не видал, например, французов и англичан, чуть не всю жизнь проживающих в России и, однако, ни слова по русски не говорящих? Напротив того, много ли видно в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломанным языком, но все же не объяснялись по русски? Мало того, кто не видал чисто русских людей, православных, до глубины души преданных русским государственным началам,—и однако, всего в первом или втором поколении происходящих от немецких выходцев?“

Мало того, германское „засилье“ уж потому не опасно, что Германия прямо заинтересована в поддержании производительных сил России, „в качестве постоянного, хотя, разумеется, не бескорыстного посредника в нашей внешней торговле“. Наконец, если даже угодно

искоренять немецкое засилье,—искореняйте, но воевать для этого вовсе не нужно. Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превзойдут более, чем сомнительные выгоды, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, на много превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан, разумеется, не даром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Вконец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах Англии мирный договор не даст ей (Германии) возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То немногое, что, может быть, и удастся с нее урвать, придется делить с союзниками, и на нашу долю придется ничтожные, сравнительно с военными издержками, крохи. А между тем военные займы придется платить не без прижима со стороны бывших союзников. Ведь, после крушения германского могущества, мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая, вследствие победы, политическая наша мощь побудит их ослабить нас хоть экономически. И вот, неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом*.

Такова точка зрения П. Н. Дурново на союз с Англией и последствия этого союза для России. Мы видим, что в противоположность, напр., князю Голицыну, автору много напутешей в конце восьмидесяти годов брошюры против франко-русского союза, П. Н. Дурново ценит франко-русский союз, как благоую причину устойчивости европейского равновесия, — опасается же лишь вступления в этот союз еще Англии. Он боится войны, — но слабая сторона его рассуждений заключается в нежелании признать, что если конфликт Англии с Германией, в самом деле, неизбежен, то России, так или иначе, не дадут остаться нейтральной, а втянут ее в войну. Значит, выбирать нужно будет не между войной или миром, но между одною войною (против Германии) или другою войною (против Англии и Японии). Иногда он как будто подходит к этому щекотливому пункту (и неясно мимоходом намекает на союз с Германией), — но окончательного вывода не делает. Его проникательность почти во всем, что он говорит о вероятной группировке держав, беспорвна: сильна его критика, направленная против модных в 1914 году воплей против немецкого засилья; убедительны указания на ненужность и бесплодность для России возможной победы, на тяжкие экономические последствия войны при всяком исходе. Характерно очевидное убеждение, что, в случае поражения, Германии предстоит разгром и ей придется принять продиктованный Англией мир. С другой стороны, дилетант скрывается в легкомысленном утверждении, будто Германии „не нужна война“. Нет, с точки зрения подавляющей массы

юнкерства и промышленных магнатов, война была нужна Германии. Правильно или нет было это их убеждение, но оно сыграло огромную роль в 1914 году. Если бы П. Н. Дурново ознакомился с обширнейшей публицистической пропагандой в пользу войны с Россией, которая велась в Германии с 1908—1909 г.г. и, все усиливаясь с каждым годом, дошла до особого напряжения в 1911—1914 г.г., он бы не решился утверждать, что Германии война не представлялась нужной. Он мог ставить вопрос так: Россия неподготовлена, слаба и может погибнуть, если будет воевать с Германией; поэтому должно предпочесть войне все, что угодно, даже полную покорность германской воле, даже войну с Японией и Англией. С этим многие могли бы спорить, и в пользу этого решения Дурново мог бы найти те или иные аргументы; во всяком случае, постановка вопроса была бы реальна. Он мог, наконец, указывать на неуместную и опасную агрессивность русской дипломатии (и указывал),—и тут его позиция была сильна. Но давать такую альтернативу: или все блага нейтралитета, или опасное участие в войне,—он не имел никакого основания. Как полемический прием, это было сильно; как исторический анализ,—это было недопустимо слабо. Мир зависел не только от России, но и от Германии.

П. Н. Дурново, как это явствует между строк, предвидит поражение России. Все, что он пока говорил в своей записке, есть лишь долгое введение к нескольким заключительным страницам. В этих заключительных страницах он говорил о последствиях войны для внутренних дел России.

III.

Отмечу, прежде всего, что Дурново в оценке влияния будущей войны на внутренние дела вполне сходится со своим политическим антиподом — Фридрихом Энгельсом: он тоже думает, что страну, потерпевшую разгром, непременно, в наш исторический период, должна постигнуть социальная революция. Для него, как и для Энгельса, в данном случае никаких сомнений не существует. Любопытно, что он считает в России революцию весьма вероятною, даже если побеждена будет не Россия, а Германия: он верит в возможность взрыва путем, так сказать, детонации, в результате чужого соседнего взрыва. Что в России уж безусловно революция будет непременно социальной, а не политической, в этом он тоже несколько не сомневается.

„Как бы печально, однако, ни складывались экономические перспективы, открывающиеся нам, как результат союза с Англией, следовательно, и войны с Германией, они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого, по существу своему, противостественного союза. Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представителями консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией и, в несравненно меньшей степени, Францией. Как это ни странно, Англия, до мозга костей монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к свержению монархий и законного строя. С этой точки зрения, борьба

между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся мировой войны, таковая, опять таки независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силою вещей, перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного их сожительства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер, — в том не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно вырождается в социалистическое*.

П. Н. Дурново так же глубоко верит в бессознательный социализм народных масс, как и в то, что русские оппозиционные партии совсем этого факта не учитывают и не понимают. „За нашей оппозицией нет никого; у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий, одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужою землею, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию, пережитую ею в приснопамятный период смуты 1905—1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи, — будем надеяться, частичные, — неизбежно окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества, все будет поставлено в вину правительству. Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти недопустима, и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении этим дело и кончится. Не пошел в свое время народ за составителями Выборгского воззвания, точно так же не пойдет он за ними и теперь. Но может случиться и худшее: правительственная власть пойдет на уступки, попробует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту

выступления социалистических элементов. Хотя это и звучит парадоксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Государственную Думу даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению, и законодательные учреждения не увидели бы в стенах своих ни одного интеллигента, помимо нескольких демагогов. Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному, казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе; рабочий с большим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии. Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила пред широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентско-имущего меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности пред классовым представительством и повиновения ей же искусственно созданному парламенту (вспомним знаменитое изречение: „власть исполнительная, да подчинится власти законодательной“), наша оппозиция, в сущности, требует от правительства психологии дикаря, собственными руками мастерающего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося“.

П. Н. Дурново настаивает, что революционное социалистического характера движение неизбежно в России, даже если война будет победоносна: „Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения, в конце концов, не представит затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли, будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных зарплаток военного времени к нормальным расценкам, и, надо надеяться, только (тут явный пропуск слов. Е. Т.)... по крайней мере, пока не докатится до нас волна германской социальной революции“.

Не то ждет страну в случае проигранной войны: „Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть,—социальная революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а за сим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским

стремленном к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдерживать расхопившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению“.

Развивая несколько ранее выставленное положение, что и в Германии, в случае неудачи, социальная революция неизбежна, П. Н. Дурново пишет: „Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской натуры, но и Германии, в случае поражения, предстоит пережить не меньшие социальные потрясения. Слишком уже тяжело отразится на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызвали на поверхность, глубоко скрытые сейчас, разрушительные стремления. Своеобразный общественный строй современной Германии построен... [пропуск слов. Е. Т.], но фактически преобладает влияние аграриев, прусского юнкерства и крестьян-собственников. Эти элементы являются оплотом глубоко-консервативного строя Германии, под главенствующим руководством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных выше классов требуют покровительства по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, высоких пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельскохозяйственные произведения. Но Германия, по ограниченности своей территории и возрастанию населения, давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится, в сущности, к обложению в пользу меньшей по численности половины населения — большей половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства. С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо вся цель войны — со стороны действительного ее зачинщика, Англии — это уничтожение германской конкуренции. С достижением этой цели германская промышленность будет подорвана в своем корне и лишится не только повышенного, но и всякого заработка; пострадавшие за время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противуаграрной, а затем антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившиеся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной эволюции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности, в случае социалистических выступлений на аграрной почве в соседней России, и многочисленный в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от сего оживятся талящиеся сейчас сепаратистские стремления в южной Германии, проявятся во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии к господству Пруссии, — словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать, по своей напряженности, обстановке в России“.

„Совокупность всего вышесказанного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ не сулит, и английская ориентация нашей дипломатии, по самому существу, глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути; она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится. Тройственное согласие — комбинация искусственная, не имеющая под собою почвы общих интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению — России, Германии, примиренной с последней — Францией и связанной с Россией строго охранительным союзом Японии. Такая, лишенная всякой агрессивности, по отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожительство культурных наций, которому угрожают не воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать ускользающее от нее господство над морями. В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы противоречащего, по самому своему существу, нашим государственным видам и целям соглашения с Англией и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии. При этом само собою разумеется, что и Германия должна пойти на встречу нашим стремлениям и восстановить испытанные дружественные, союзные с нею отношения и выработать, по ближайшему соглашению с нами, такие условия нашего с нею сожительства, которые не давали бы почвы для противогерманской агитации со стороны наших конституционно-либеральных партий, по самой своей природе, вынужденных придерживаться не консервативно-германской, а либерально английской ориентации“.

IV.

Такова записка П. Н. Дурново. Рядом с мыслями, отмеченными печатью большой аналитической силы, рядом с исполнившимися впоследствии пророчествами, мы видим тут (в заключительной, важнейшей части) повторение той же ошибки, которую констатировали и в начале. Теперь уже после публикации документов комиссии Каутского, после опубликования 3-го тома мемуаров Бисмарка, после обозначения других показаний, все германское общественное мнение (за вычетом крайних правых, не желающих видеть) согласно, что Вильгельм II нанес смертельный удар русско-германским дружеским отношениям, отказавшись от возобновления с Россией так называемого Rückversicherungsvertrag, обеспечивавшего за каждой из этих стран — нейтралитет другой в случае нападения со стороны какой-либо третьей державы. Основная идея последних лет Вильгельмовского царствования пред войной определенно заключалась в стремлении использовать слабость России для укрепления Германии на востоке. Поэтому звучат некоторым прекраснородушим мечты П. Н. Дурново о русско-германско-французско-японском союзе, будто бы зависящем от воли русской дипломатии... Именно эту идею, этот четверной союз пропагандирует теперь Георг Бернгард, редактор „Vossische Zeitung“, и с таким же пока незаметным успехом.

Разве позволительно, наконец, серьезно по политическим отделываться беглой придаточной фразой от самой страшной язви, подтачивавшей полвека мир Европы? Союз Германии и „Франции, примиренной с

Германией"! Как было их примирить? Эту интересную деталь П. Н. Дурново предпочел обойти молчанием. Но необычайно сильны его предостережения по адресу русской дипломатии. Он твердо знал, что все эти дипломатические узоры вырисовываются на кратере, который все сожжет и зальет лавою. Он понимал, какое непозволительное, гибельное дело—прогуливаться со спичкою в пороховом погребе, агитируя в „подъяремной Галиции“, когда в своем завтрашнем дне нельзя быть уверенным. Он, правда, сам всю жизнь только тем и занимался, что затыкал все отдушины, но за то и понимал, что теперь котел близок к взрыву.

Характерна для него, кстати, безмятежнейшая уверенность в чужих ошибках и собственной непогрешимости. Совершенно верно, „в России соглашение с оппозицией только ослабляет правительство“; но кто же виноват, поскольку это, вообще, зависело от воли людей, что были непроизводительно пропущены все сроки, те долгие десятилетия, когда еще не поздно было „соглашаться“ с оппозицией? Кто, как не Д. А. Толстой, Ив. Н. Дурново, П. Н. Дурново и целая плеяда той же школы?

П. Н. Дурново, во всяком случае, был, с своей точки зрения, логичнее тех, кто делал одинаковую с ним внутреннюю политику, а в международных отношениях бряцал оружием и размышлял вслух о грядущей победе славянства над германизмом и т. д., и т. д. Анализ русских и германских революционных возможностей свидетельствует о силе понимания. То место, где он говорит о волнах движения, с которыми уже не справятся законодательные учреждения, живо напоминает слова Монтеня о том, что люди, начинающие и поднимающие бурю, никогда сами не пользуются ее результатами. Она именно их первых и сметает прочь. В афоризме французского скептика XVI-го века и в пророчестве русского реакционера XX-го века заложена одна и та же мысль.

Е. Тарле.

Мои воспоминания.

1. При царизме¹⁾.

1913 г. мне пришлось прожить нелегально. В 1912 г., в октябре месяце, накануне выборов в 4-ю (последнюю) Государственную Думу, охранка неожиданно нагрянула на квартиру по Успенской улице в Одессе и ликвидировала группу членов Центрального Комитета Бунда, проживавших тогда в Одессе: Л. И. Айзенштадта (Юдина), меня и М. Фрумкина (Эстр), которая в Ц. К. не входила. Мы были делегированы в Одессу для двойного рода задач Ц. К. Бунда: с одной стороны, нам поручено было организовать издание легального органа, вместо незадолго до того закрытого в Варшаве „*Либенсфраген*“; с другой стороны, мы должны были участвовать в местной избирательной кампании в Гос. Думу. Выборы в Одессе и агитация вокруг кандидатуры с. д. Романовского увлекли всех нас²⁾. Наши выступления и встречи, повидимому, привлекли к нам внимание одесского охранного отделения и в результате последовал арест. Дело разрешилось легко в порядке административном, и я был выслан за границу на три года.

Выехав туда в феврале 1913 года, я в марте вернулся обратно, поселился в Петрограде и работал в легальном бундовском органе „*Дне Цяйт*“ пока чины петроградской охранки не задержали меня на улице. Департамент полиции увеличил срок наказания вместо 3-х лет до 4-х и, вместо высылки за границу, назначил мне для поселения Нарымский край.

В январе 1914 г., я прибыл в Нарымский край, провел два месяца в селе Парабели и бежал последним сынным путем.

В это время Бунд готовился к своему VIII му съезду. 18-го июня 1914 г. я выехал за границу для участия в съезде, а 19-го июня началась всемирная война. Съезд Бунда, конечно, состояться не мог, и

¹⁾ Настоящие воспоминания относятся к „меньшевистскому“ периоду моей политической деятельности и написаны в мае 1918 года. Опубликованы они были в 1919 году в сборнике „*Дер Ройтер Шинкес*“ (на евр. яз.). На страницах „*Былого*“ они воспроизводятся лишь с небольшими редакционными изменениями. Автор.

²⁾ Эта кандидатура была скорее большевистской и намечена была после долгих трений между местными группами большевиков и меньшевиков при содействии Юдина (Айзенштадта), тогда более сочувствовавшего большевикам. Правда, была намечена компромиссная платформа с уступками платформе августовского меньшевистского блока.

я остался за границей, сначала в Женеве, а затем в Лондоне, где редактировал двухнедельник „Дес Арбитер Ворт“, выпускаемый еврейской социал-демократической организацией. В России работала в это время небольшая группа членов Ц. К. Бунда, в том числе Либера и Эрлих — будущие члены Исполнительного Комитета Совета Рабочих, а позднее Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

В мае 1915 г. в Лондоне получено было известие об аресте Либера в Одессе. Меня приглашали в Россию; 28-го мая ст. ст. по чужому паспорту, на имя некоего Левина, я проехал морем путь Нью-кестль—Берген, переехал финляндскую границу и прибыл в Петроград.

1915 и 1916 г.г. я проживал по паспорту на имя Льва Мойсеевича Вайсенберга. Я жил в Киеве, Петрограде, разъезжал по провинции. В Петрограде я занимал должность в еврейской общественной организации. По фальшивому документу получил право жительства, чувствовал себя весьма свободно, участвовал в общественных организациях, выступал на собраниях и в то же самое время поддерживал активную связь с партийной нелегальной организацией Бунда, с одной стороны, и с нелегальными органами общего рабочего движения, с другой.

Это была пора организации военно-промышленных комитетов и рабочих групп в них. Происходил целый ряд совещаний, съездов в Киеве, Москве, Петрограде. Рабочая группа военно-промышленного комитета в Петрограде с ее лидерами и вождями Гвоздвым и Брейда, выдвигалась в центр этого движения. По своей идеологии, это была группа так называемого „революционного оборончества“, воззрения которой формировались постепенно и окончательно сложились лишь к самому моменту подготовлявшихся революционных бурь.

Работа Бунда за этот период велась также вокруг легальных центров еврейского общественного движения. В то же время закладывались и партийные ячейки в ряде городов — Киеве, Житомире, Екатеринославе, Одессе, Харькове. Связи со старыми центрами Бунда — Вильной, Варшавой, Лодзью, Белостоком — были механически прерваны русско-германским фронтом. Происходили бундовские партийные совещания. Бундовцы выступали на легальных съездах еврейских общественных организаций, как организовывавшая общественная группа. Особое внимание еврейских общественных кругов в это время привлекло организованное выступление Бунда на съезде еврейских бюро труда в январе 1916 г.

К этому же времени относится и зарождение разногласий среди деятелей Бунда в оценке значения этих еврейских общественных организаций как в деле развития общественной революционной самодеятельности, так и в приближении решения национального вопроса. Спор сводился к тому, в какой мере эти еврейские общественные организации, возникшие в связи с беженством, сумеют послужить фундаментом для образования еврейских демократических общин, как ячеек будущей национально-культурной автономии. Споры эти связаны были с большим в Бунде вопросом о пределах и компетенции еврейской национальной автономной организации в связи с наметавшимся уже давно, некоторым пересмотром программ Бунда по этому пункту. Особенно обострился этот спор, благодаря постановке в порядок дня вопроса об американском, а потом всемирном еврейском конгрессе, который должен был вмешаться в дела борьбы за гра-

жданское и национальное равноправие еврейского народа во всех местах, где он живет в компактных массах, т. е., главным образом, в царской России. В общественной жизни нарастало оживление.

Лишившись права жительства в Петрограде, я поселился в Киеве и имел неосторожность снять общую квартиру с женой, которая проживала по паспорту Рафес, в то время, как я жил по паспорту Вайсенберга. Это обстоятельство привлекло внимание охранки. В сентябре 1916 года к дворнику пожаловали чины киевской охранки, проявившие большой интерес к паспорту и к личности Вайсенберга, проживающего с некоей Рафес. Их неосторожность меня спасла: к ночи меня дома уже не оказалось, благодаря предупредительной болтливости дворника. Полиция ушла с носом.

Впоследствии выяснилось, что внимание охранки было привлечено паспортом Вайсенберга, по которому под Киевом в лечебнице в Пуще-Водице проживал некий другой, вероятно, действительный владелец паспорта, потерявший ногу во время войны. При разборе актов киевского охранного отделения уже после революции была обнаружена переписка по делу об этом обыске: особой телеграммой предписывалось разыскивать Рафеса во всех крупных центрах. Одно охранное отделение (самарское) доносило, что Рафес подготавливает вместе с другими покушение на вдовствующую царицу Марию Федоровну,—чистойшей воды фантазия.

Я поселился снова в Петрограде. К этому моменту общественно-политическая жизнь стала уже проявлять большие признаки внешнего оживления. Это было в ноябре 1916 г. Оппозиционные выступления Гос. Думы с известной речью Милюкова — „глупость или измена“,—дело Распутина, гордской и земский съезды, съезды военно-промышленных комитетов и происходившие одновременно с ними совещания рабочих групп,—все это были несомненные признаки нарастающего общественного возбуждения. На последнем совещании рабочих групп военно-промышленных комитетов было впервые сформулировано требование свержения царской власти и образование временного правительства. Это решение, конечно, не могло не привлечь усиленного внимания департамента полиции к деятельности рабочих групп вообще, к петроградской группе в особенности.

Растущее возбуждение в рабочих кругах Петрограда создавало для рабочей группы военно-промышленного комитета возможность собирать вокруг себя все большее и большее количество представителей фабрик и заводов и рабочих профессиональных и кооперативных организаций. Зал заседания рабочей группы военно-промышленного комитета (на Литейном, 46) привлекал в иные вечера до 500 рабочих. При условиях военного положения и полуполюгальности всех этих заседаний, эти совещания, конечно, играли огромную будирующую роль для рабочих масс Петрограда. Но в то же время внутри рабочего движения нарастали все больше и больше острые разногласия между позицией „революционного оборончества“ рабочих групп военно-промышленных комитетов и антивоенными настроениями рабочего населения больших городов. Внутри петроградской организации меньшевиков наметился совершенно определенный раскол и во время этих больших рабочих собраний на Литейном, 46, Гвоздев и Брейдо, недавние члены петроградского комитета Р. С. Д. Р. П. меньшевиков, подвергались обстрелу с двух сторон—со стороны группы большевиков, которые являлись на эти собрания для агитации за свои

лозунги, и со стороны бывших сотоварищей Гвоздева и Бредло, которые повторяли, вслед за большевиками, обвинения в предательстве интересов рабочего класса, в соглашательстве с буржуазией и т. д., и т. д. Споры принимали крайне страстный характер и, несомненно, мешали мобилизации сил рабочего движения вокруг рабочей группы центрального военно-промышленного комитета.

На 10-е февраля 1917 г. назначено было открытие Гос. Думы, распущенной в декабре на рождественские каникулы. Можно было заранее сказать, что эта сессия Гос. Думы будет играть еще более будирующую роль. Необходимо было придать больше решительности действиям и выступлениям либеральной оппозиции в Думе. Необходимо было и рабочую массу сдвинуть с мертвой точки. И вот, в рядах деятелей рабочей группы военно-промышленного комитета и группировавшихся вокруг этих групп социал-демократов (соц.-революционеров было крайне мало, всего только одиночки) возникла мысль об организации массовой рабочей демонстрации к зданию Гос. Думы — к моменту ее открытия. Это предположение, в свою очередь, вызвало очень острые разногласия, особенно с большевиками, которые и слышать не хотели о завязывании какой бы то ни было революционной борьбы вокруг выступлений Гос. Думы.

Правительство серьезно считалось с революционными настроениями в среде рабочей группы военно-промышленного комитета, и когда оно увидело, что резолюция последнего совещания рабочих групп о необходимости образования временного правительства может быть поддержана даже массовыми выступлениями рабочего класса, департаментом полиции было принято решение о ликвидации рабочих групп.

В конце января (точно даты не помню) дом на Литейной, 46, был окружен большим отрядом полиции. Члены рабочей группы военно-промышленного комитета были арестованы и препровождены в „Кресты“. На свободе остались Гвоздев и Абросимов. Что касается Гвоздева, то, когда к нему ночью явились на квартиру чины полиции, он сказался больным и отказался следовать в тюрьму. К нему был приставлен караул. На завтра председатель военно-промышленного комитета Коновалов, этот будущий министр торговли временного правительства, вступился за Гвоздева, будущего тов. министра труда коалиционного правительства, и Гвоздев так и не был препровожден в тюрьму. Он остался под домашним арестом, имея полную возможность поддерживать связи с рабочими организациями и деятелями. Абросимов свое пребывание на свободе объяснил удивленным товарищам тем, что жандармы не нашли его дома во время общего ареста членов рабочей группы. Но впоследствии дело оказалось гораздо проще: Абросимов находился на службе в департаменте полиции и был впоследствии разоблачен при первом опубликовании списков провокаторов.

Арест рабочей группы дезорганизовал подготовительную работу по предполагавшемуся массовому выступлению в день открытия Гос. Думы. Одновременно с ликвидацией в Петрограде была ликвидирована рабочая группа военно-промышленного комитета и в Москве, и в других центрах. Правительство как бы выравнивало формы рабочего движения, толкая рабочий класс на путь, единственно оставшийся для него, — на путь открытого революционного выступления.

Меня арестовали спустя неделю после ареста рабочей группы в

обстановке, не имеющей связи с ликвидацией рабочих групп. На 2-е февраля в зале еврейской богадельни в Петрограде (на В. О., 5 л., 50) происходило публичное заседание „Еврейского Общества изучения литературы“, на котором должны были продолжаться прения по вопросу об оглашении к еврейскому конгрессу в Америке. Официально в заявлении градоначальнику о собрании была подана другая, гораздо более невинная повестка из области литературы и искусства. Первый вечер, за неделю до ареста, прошел весьма интересен и крайне бурно. Выступали представители всех политических течений. Позицию Бунда формулировал Эрлих очень ярко и определенно. На этом первом вечере представитель полиции не присутствовал.

Закрывая первое собрание, председатель его огласил список не усевших высказаться ораторов, среди коих значился и я, Вайсенберг, предполагавший формулировать иной оттенок отношения Бунда к американскому конгрессу. Как потом выяснилось, начальник охранного отделения получил очень точные сведения обо всем происходившем на этом первом собрании. То же лицо, которое осведомило об этом петроградскую охранку (есть основание думать, что это был впоследствии разоблаченный провокатор — еврейский литератор Берхифанд), и сообщило охранке о том, что я, Вайсенберг Рафес, также участвую в этих собраниях и должен выступить 2-го февраля.

И на собрание 2-го февраля был делегирован чин полиции, пристав данного участка, который сидел на собрании и внимательно наблюдал за всем происходившим. Но само собою разумеется, что внезапное появление пристава в зале дало совсем иное направление всем прениям на этом собрании. Говоривший оратор при входе пристава в зал неожиданно перешел от своей темы об американском еврейском конгрессе к невинным разговорам об еврейской литературе, о ее художественных красотах и т. д. После этого оратора выступил следующий, также говоривший о художественных красотах еврейской литературы. Зал понимал разыгравшуюся комедию и вел себя сдержанно и осторожно. Пристав ничего не понимал, остался очень доволен проведенным вечером, и, когда после закрытия собрания он простался с председателем, он долго жал ему руку и искренно благодарил за то удовольствие, которое он получил в этот вечер. „Евреи, — говорил он, — умеют разумно проводить время“.

Но, одновременно с этим, приставом к зданию, где происходило собрание, был направлен отряд тайных агентов полиции. Когда я вышел из залы собрания, мое внимание привлекли несколько странных типов, внимательно следивших за всеми выходившими из здания богадельни. Со своей приятельницей я направился к трамваю. При посадке в вагон я обратил внимание на то, что вместе со мною в вагон вошло человек пять подозрительных личностей, одни с передней, другие — с задней площадки. Разместились они в вагоне около меня и моей спутницы и внимательно за нами наблюдали. Я понял, что я арестован.

Передав моей спутнице имевшийся при мне пакет с сахаром и вслух пожаловавшись на головную боль, я вышел на площадку. Дело в том, что у меня в кармане были некоторые серьезные документы, которые могли бы служить основанием для возбуждения дела по 102 ст.: подписанной лист, имевший заголовок и штампель комитета Бунда, по которому на вечер в богадельне производился сбор в пользу бастовавших тогда в Нижнем-Новгороде еврейских рабочих ше-

тинников, и др. подозрительные бумаги. Под взглядами „шпиков“ мне удалось все эти бумаги выбросить на улицу. Но когда, выполнив эту операцию, я хотел вернуться обратно в вагон, один из „шпиков“ заявил, что я арестован. У нас произошла с ним перепалка, — я отказался добровольно следовать за ними, но был взят за руки и выведен из троллейбуса, когда он остановился у набережной Тучкова моста. Тут произошел любопытный инцидент. Я увидел моряка-солдата и обратился к нему с жалобой на шпиков, которые хватают на улице людей. Не долго думая, матрос взялся за куртку и стал в грозном тоне требовать от шпиков моего освобождения. Но тут явился полицейский и матросу пришлось ретироваться. На извозчике целых пять шпиков сопровождали меня в охранное отделение на Митинскую набережную.

Здесь я просидел целых две недели. Почему меня не переводили в тюрьму, для меня было совершенно непонятно. Жандармы долго добивались у меня моего настоящего местожительства, вели со мною бесконечные беседы на самые разнообразные темы. Я писал жалобы, требовал перевода в более усовершенствованное тюремное учреждение. Одно время мне начинало казаться, что мое пребывание в охране имеет целью изолировать меня от каких-то других, по тому же делу арестованных лиц. Но впоследствии это предположение оказалось неверным.

Во время разговоров со мною чинов охраны один из них, по-видимому, не самый „умный“, решил выполнить свою миссию до конца и сделал мне, наконец, „предложение“ поступить на службу в охранное отделение. Я ему на это указал, что в моей долгой практике мне известны два случая, как революционеры реагировали на подобные предложения: один бросил в жандармского офицера табуреткой, а другой назвал его дураком, — потому что, действительно, глупо, закончил я, обвиняемому в принадлежности к Центральному Комитету Партии делать такого рода предложения.

Этот офицер, чин о дельного корпуса жандармов, в эти последние недели старого строя, твердо верил в прочность государственной власти. Он искренно недоумевал, когда я ему заявлял, что не пройдет и нескольких месяцев, как объявлена будет полная амнистия по всем политическим делам, — последнее жандармский ротмистр считал совершенно невозможным.

Пребывание в арестантской при охранном отделении имело свои положительные стороны. Состав арестованных был весьма текучий, сюда доставляли для первых допросов самых разнообразных лиц, арестовывавшихся по ордерам охранного отделения. Наблюдая сквозь щель и прислушиваясь сквозь перегородку к тому, что происходило в соседних комнатах, я мог восстановить почти полную картину всего того, что происходило в городе.

А в городе между тем события нарастали. Приближалось слушание дела военного министра Сухомлинова, наступало 10-е февраля, день открытия Гос. Думы. Один из чинов полиции дежуривший при наших камерах, был очень недоволен существующим строем. Он каждый день привозил мне из города новости, читал вслух газету, причем особенно воинствовало его отсутствие в эти дни в Петрограде хлеба.

10 го февраля, в день открытия Гос. Думы, в арестантскую были доставлены несколько десятков человек, задержанных в разных частях города, большей частью студентов и куренсток. От них я узнал,

что ходы к Таврическому дворцу были заняты войсками, которые никого туда не пропускали, задерживая подозрительных и вообще всякого, кто слишком настойчиво добивался пропуска к аданию Таврического дворца.

Числа 16-го февраля околоточный надзиратель на извозчике отвез меня, наконец, в Кресты. Он также был недоволен существующим положением вещей и рассказывал мне много волновавших его подробностей из процесса Сухомлинова.

Я прибыл, таким образом, в Кресты под впечатлением сведений о растущем недовольстве, которое грозило каждый день прорваться наружу.

2. Февральская революция. Освобождение из тюрьмы.

В тюрьме эти настроения рассеялись. Заключение в одиночной камере не располагает к оптимизму, меня же к тому еще посадили вместе с каким-то финном, сидевшим за контрабанду и провозосившим лишь отдельные русские слова—соседство далеко не из интересных. Скуки ради мы занялись оба выделкой бумажных портсигаров. Плата за такую работу полагалась 10 коп. за тысячу. За две недели сидения в камере мы вдвоем заготовили 2000 шт., работая по нескольку часов в день и, таким образом, вместе заработали 20 коп. Единственным действительным развлечением были прогулки, на которые выпускали до 50 чел. одновременно. Оказалось, что в том самом коридоре, где был и я, сидели некоторые из числа арестованных членов рабочей группы военно-промышленного комитета. Мне на прогулках приходилось гулять вместе с двумя из них—Брейде и Трубициным, с которым я был знаком еще ранее. Ходить нужно было в „затылок“, по кругу; говорить запрещалось, но это, конечно, не мешало нам свободно вести разговоры.

25 февраля я и Брейде были в очень минорном настроении. Для Брейде это был, по его словам, своеобразный юбилей: он вспоминал, что в 1906 году, в тот самый день, в этих самых Крестах, по этому самому двору, он в таком же порядке гулял. Это, повидимому, бесконечная кавишель,—говорил Брейде. И вдруг издали из-за стен тюрьмы мы ясно расслышали многоголосые крики „ура“. Крики эти привлекли общее внимание всех гуляющих, но выводов делать не хотелось. Мы все же недоумевали. С этого дня с каждым часом слухи в тюрьме все более и более росли, возбуждая политических и увеличивая тревня между ними и администрацией.

26 февраля группа политических отказалась подчиниться надзирателю, когда он требовал слишком раннего окончания прогулки. Произошла крупная перебранка, после чего пришлось все-таки уступить. В субботу были свидания у уголовных. Они узнали и быстро сообщили нам, что в Петрограде очень беспокойно, что в городе какие-то демонстрации, стреляют...

26 февраля на свиданиях политических мы узнали о начавшейся в городе политической забастовке. Вечером того же дня надзиратель, пришедший из города на смену, сообщил, что на Невском солдаты стреляли, что есть сотни убитых. Он же рассказывал о каких-то страшных сценах, происходивших в городе: ходят солдаты, а публика с

тротуаров обращается к ним с упреками: „стыдно“, на что они отвечают плачем.

27 февраля в 2 ч. во время несколько запоздавшего улучшенного часа, на одаленном коридоре тюрьмы раздался вдруг глухой выстрел — мне показалось, что это выстрел из револьвера. Вслед за ним послышались стуки в дверь. На меня это произвело впечатление к вфланта с администрацией. Вспомнив вчерашнюю перебранку между политическими и надзирателями на почве прогулки, я подумал, что это продолжение той же истории и, когда раздались стуки в дверь — обычный способ действия политических во время тюремных бунтов, я решил было не присоединяться, не узнав предварительно, в чем дело, по какому поводу предпринято это совершенно, как мне казалось, неорганизованное выступление. Мой финя совершенно недоумевал. Я велел ему открыть форточку, чтобы убедиться, не происходит ли это столкновение за тюремной оградой, но на улице было тихо. Вот раздался второй выстрел, а продолжавшиеся стуки пакоиннали удары ружейным стволом о массивную деревянную дверь. Вскоре к этим стукам присоединился и наш коридор; тогда присоединился и я и также стал стучать в дверь. Мы все еще не понимали, что здесь происходит. Но вот снизу послышался голос: „кто здесь политические? — Выходи из камеры“. Никаких особых объяснений давшие уже не требовалось, — оставалось только вспомнить 17 октября 1905 года и имевшее тогда место освобождение из тюрьмы политических. За дверьми все чаще раздавался лязг ключей, одна за другой открывались двери. Наконец, открылась и моя дверь... Я был уже готов: собрал все вещи, связал их, оделся и ждал у дверей, когда они откроются. Первые лица, которые я увидел, были: солдат с винтовкой, стоявший у самой почти двери, и Брейде, спускавшийся мимо меня с верхнего этажа. Какой был вид у меня, я сказать не могу, но я никогда не видал лица более бледного, чем лицо Брейде в этот момент. Он мне сказал голосом, в котором было еще много недоумения: „это нас солдаты с ружьями освобождают“.

Освобождение политических шло между тем методически правильно.

Надзиратель со списком в руке открывал только те двери, в которых сидели политические. Внизу, при выходе, стоял начальник тюрьмы и каждого выходившего спрашивал, политический ли он или уголовный, — да и нетрудно было отличить по одежде. Мы пришли в тюремную контору, хотели получить хранившиеся в цейхгаузе ценные вещи и деньги. Начальник тюрьмы заявил, что в этой обстановке он выдавать денег и ценных вещей не может, так как за них отвечает, и советовал прийти за всем этим на следующий день. Мы вышли на улицу.

На набережной около тюрьмы толпились освобожденные только что политические, солдаты и посторонняя публика. В разных углах стояли солдатские пикеты. Первое впечатление было — крайнего хаоса и беспорядочности. Политические целовались друг с другом, поздравляли солдат, целовались с ними. Были попытки речей. В т мимо нас на двух грузовиках проезжал большой записный батальон. Солдаты останавливали автомобили и стали расспрашивать офицеров, откуда везут, зачем везут и т. д. Офицеры давали им ответы, довольно невразумительные. Выходило так, что это перевозят награды и скарбы из одного оружейного склада в другой. Логика требовала задержки на-

тронов до выяснения, а между тем солдаты удовлетворялись этим отвѣтом, и грузовики со снарядами и патронами были отпущены дальше. Среди публики, подошедшей к тюрьме, я увидел Абрамова, который плакал, целуясь с освобожденными, им же преданными в руки охраны, членами рабочей группы. Среди других вышел из тюрьмы впоследствии один из лидеров м-ков Б. О. Богданов, член Ц. К. С. Р. и С. Д., арестованный вместе с рабочей группой, личность популярная среди петроградских рабочих, неизменный докладчик на собраниях в рабочей группе в Ц. Комитете. К нему обратились с просьбой произнести речь. Он был повязан на плечи и произнес несколько совершенно невразумительных слов, чувствуя ненужность этого и закончив призывом к солдатам: „Идите доделывать свое дело, теперь говорить не время“.

Освобожденные, публика и солдаты посоветовались между собой и решили, что нужно идти открывать женскую тюрьму, расположенную недалеко от Крестов. В зимнем пальто, с палкой вѣщей под мышкой, прошел я через Литейный мост и оказался у здания окружного суда. Там тоже толпились солдаты, рабочие и политические освобожденные, которые другой волной двигались из дома предварительного заключения, из так называемой предварилки. Здесь произошла моя первая встреча с известным Хрусталевым-Носарем, освобожденным из предварилки. Повидимому, и его, бывш. председателя Сов. Раб. Депутатов в 1905 году, поражал тот хаос, тот беспорядок, который царил кругом—люди толпились на одном месте, переходили из угла в угол, из улицы в улицу, чувствовалось отсутствие общего стимула для каких-нибудь организованных действий. И вот Хрусталев подал мысль и решил взять на себя инициативу образования военного центра в окружном суде. Он дал этот лозунг, велел занять окружный суд, у здания которого поставлены были им солдатские пикеты,—солдаты слушались всех, вышедших из тюрьмы, и выполняли всякие приказания. В этот момент подъезжал автомобиль-грузовик с большим числом солдат и рабочих с ружьями в руках. Откуда они приехали, куда они едут,—ничего от них узнать не удалось. Были среди них лично мне знакомые рабочие, с которыми я встречался в рабочей группе военно-промышленного комитета. Я в частности расспрашивал их, что с архивами департамента полиции, что в охранке делается, советовал занять эти учреждения и не дать их уничтожить. Кто-то куда-то поехал, кто-то такое пошел...

Я двинулся по Литейному вверх по направлению к Невскому, зашел на Литейный, 46, в помещение военно-промышленного комитета. Выйдя обратно на улицу, я наткнулся на сценку. Вижу подходит к этому месту отряд солдат с офицером во главе, не из пехотных, а, повидимому, из гвардейских частей. Офицер выстраивал солдат на улице в 4 рассыпных ряда, каждый в „затылок“, очевидно, в виде предосторожности на случай вооруженной борьбы; солдаты хмуро выполняют приказания офицера. Толпящиеся на тротуарах рабочие кричат солдатам: „стыдно, уходите, что вы будете делать стрелять будете?“. Солдаты не отвечают. Офицер продолжает свою работу.

Со стороны Таврического дворца на Литейный снова подъезжает автомобиль с вооруженными солдатами. Мы обращаем их внимание на выстроившуюся группу солдат, но особой смелости среди них среди „наших“ солдат мы также не замечаем: они избегают открытого вооруженного столкновения. Принимается решение окружить выстроив-

шийся отряд солдат со всех сторон, заняв все прилегающие улицы. Это длинная канитель.

Со стороны Преображенской на Литейный выезжает отряд казаков на лошадах, с пиками в руках, с офицерами во главе. Они направляются на углу Литейного, озираются по сторонам и рывком мчатся назад. Уходит и отряд солдат. Повидимому, вооруженная борьба в городе закончена. Обе стороны в нерешительности. Вновь подъезжает уже четвертый грузовой автомобиль, нагруженный солдатами и рабочими. Он движется вдоль по набережной Невы, при чем все время отдельные лица беспрерывно кричат, обращаясь к толпе солдат и публике на улице: „Идите в Таврический Дворец“. „Идите в „Гос. Думу“. В этом лозунге есть нечто знакомое. На полном ходу автомобиля я бросаю в него мою пачку с вещами, подхватываемый рабочими, сам вскакиваю на грузовик и еду в Таврический дворец.

Это было в 4 ч. дня 27 февраля 1917 г.

3. Вокруг Таврического Дворца.

В вестибюле Таврического дворца я нашел многих знакомых. Тут были и Конторович, и Заславский из той центральной бундовской группы, которая в последний год до революции работала вместе с двумя оставшимися на воле членами Ц. К. Бунда: Г. Эрлихом и мной. Впоследствии все они принадлежали к самому правому флангу в социал-демократии. Внутри здания Таврического дворца была организована служба связи, которую несли студенты, все с красными ленточками в петлице. Тут же я увидел и Эрлиха, который был занят организационной работой по образованию первого Совета Рабочих Депутатов.

На улице толпились в том же хаотическом беспорядке солдаты и рабочие, к зданию Таврического дворца из разных частей города приводили арестованных. Многие из них были окровавлены—это были полицейские, жандармы, которых на улице задерживали солдаты и рабочие. Всех арестованных вели в Таврический дворец, всех их сдавали в одну комнату, потом сортировали. Этим делом в дальнейшем занималась особая комиссия с Керенским во главе.

К моменту, когда я подъехал к Таврическому дворцу, из здания его к толпе вышли Скобелев, Керенский и Чхеидзе. Скобелев, став у решетки дворца, произнес краткую речь перед толпившимися на улице массами. Он сказал, приблизительно, следующее: „Старая власть падает... Она еще сопротивляется... Сейчас происходит заседание Гос. Думы. Члены Гос. Думы еще колеблются: они не решаются взять власть в свои руки. Мы оказываем на них давление. Имейте, товарищи, в виду, что устроить государство очень трудно; трудно составить новое правительство, крайне трудно... Это может затянуться день, другой. Имейте терпение, раньше всего нужно установить революционный порядок“.

На моих глазах Керенский взял небольшой отряд солдат и стал наводить этот порядок: он расставил первые караулы у здания Таврического дворца; в здание с этого момента перестали впускать всякого желавшего. Была организована проверка, требовался мандат или какой-нибудь иной документ, доказывающий действительную потребность в посещении этого революционного штаба. Момент был опасный. Из-за каждого угла, как это происходило по всему городу, мог раздаться

предательский выстрел и навести панику. Уверенности в прочности не было ни в одном квартале огромного столичного города. В тот самый момент, как Скобелев кончил свою речь, вдруг сообщили, что против Таврического дворца на какой-то водопроводной башне засели вооруженные люди и стреляют. Туда немедленно был направлен отряд солдат для проверки на месте этого сообщения и уничтожения, в случае правдивости, этого гнезда. Было отдано распоряжение расставить бронированные автомобили у подступов к Таврическому дворцу на случай, если бы сюда двинулись большие вооруженные силы.

Солдаты толпились на улице в полном беспорядке, смешанные с толпой. Появись хотя бы самая малая вооруженная группа, вся эта солдатская неорганизованная масса могла бы рассыпаться, не оказав никакого вооруженного сопротивления. Нужно было и сюда внести какой-нибудь порядок. За это дело взялся Ф. Ф. Ливде^{*)}, тот самый Ливде, который впоследствии дал сигнал к первому акту гражданской войны в дни 20 апреля. Это он вывел Преображенский полк к Маринскому Дворцу против первого Временного Революционного Правительства после опубликования им известной ноты к союзникам 18 апреля о целях войны. Впоследствии Ливде пал жертвой развала в армии, был убит на фронте солдатами. Ливде поднялся на решетку ограды Таврического дворца и громким голосом отдал команду: «Солдаты, в строй, вольные отходи в сторону». — Я также принял участие в этом деле, делая попытки отвлечь вольных в сторону от солдат. Но надо сказать, что дисциплины в толпе почти не было, она не желала слушать резких распоряжений, и стоило большого труда отделить вольных от солдат.

К этому времени оружие из нескольких цейггаузов было уже разобрано революционерами. Решено было составить из них особый вооруженный отряд, который выстроился во дворе за решеткой перед Таврическим дворцом. Это все были люди, прошедшие военную службу. Тут же выделили они из своей среды отдельных начальников из бывших вивонных, унтер-офицеров и вообще более опытных лиц. Когда солдаты и вольная дружина организовались в отряды, число солдат оказалось довольно велико. Решено было двинуть их в город в такие места, где можно было ждать вооруженного столкновения.

Свои вещи я оставил на хранение у швейцара Таврического дворца Густава, а сам с отрядом солдат пошел вновь в город, предварительно справившись и узнав, что первое организационное заседание Совета Рабочих Депутатов в здании Таврического дворца будет не раньше 7—8 часов вечера. На Литейном проспекте нашим глазам открылась картина огромного пожара: горело здание окружного суда и находящегося рядом с ним дома предварительного заключения (предварилки). Я забыл сказать, что то организованное освобождение политических из тюрем, которое имело место в начале, скоро расплодилось. К тюрьмам потянулись элементы, заинтересованные в освобождении всех преступников оттуда. В „Крестах“, спустя полчаса после моего освобождения, толпа при содействии извугри от-

^{*)} Имя Ливде упоминалось в истории русской революции. Семья его владела пансионом в Мустамяках (Финляндия), где обыкновенно жили революционеры. В 1905 году здесь арестована была группа максималистов, оказавшая вооруженное сопротивление. Ливде — финские граждане.

крыла все камеры и угловых. Уголовные бросились на цейхгауз и, стремясь быстро переодеться в вольные платья, разграбили попутно все ценные вещи и деньги арестантов. Так и пропали при этом грабеже мои серебряные часы и 600 руб. денег, которых позже не удалось получить. То же самое произошло и в доме предварительного заключения. Преступные элементы были, конечно, непосредственно заинтересованы в гибели всего депопроизводства окружного суда. Они-то и подожгли здание окружного суда. Зловещее зарево пожара производило впечатление чего-то авархического. Но, труда было ожидать, чтобы население пощадило тюрьмы, которые концентрированы за себя всю падающую против старого строя.

На Литейном мы узнали, что подожжены и горят все полицейские участки Петрограда. Узнали мы также, что сожжены все дела охранного отделения без их предварительного разбора. С каждым часом получались все новые и новые сведения об арестах. Образовывались отдельные группы лиц, вооруженных солдат, студентов и рабочих, которые под руководством более опытных и сведущих лиц, по спискам, составленным совершенно самостоятельно, шли арестовывать министров, высших чанов петроградской администрации и т. д. Аресты же низших чанов полиции и жандармов шли беспорядочно тем более, что в городе продолжались предательские нападения жандармов и потицейских, которые рассыпались по домам и стреляли с каждого чердака. Ведь было определено известно, что таков и был действительно план, намеченный Протопоповым на случай массовых беспорядков в Петрограде.

Часов в 6 веч. я впервые оказался на Невском. Невский проспект был разбит на участки. Вокруг стояли пикеты, готовые дать вооруженный отпор на случай появления отрядов правительства. Уверенности нет-ряю, не было. Таково же было настроение и посторонних элементов, публики, которая при каждом выстреле бросалась в ворота. Трамваи не ходили в эти первые дни революции. При отсутствии трамвайного движения и почти полном отсутствии извозчиков, население, проводившее все время на улицах, колесило город во всех направлениях. Нам приходилось ходить версты, но утомления никакого не чувствовалось. У всех был такой подъем, такое возбуждение, что расстояние не утомляло.

4. Первые совещания Совета Рабочих Депутатов.

В 8 часов вечера я снова вернулся в Таврический дворец. Оказалось, что до моего прихода состоялось небольшое совещание, которое уже наметило мандатную комиссию для проверки мандатов первых членов Совета Рабочих Депутатов. Идея Совета Рабочих Депутатов была выдвинута еще в дни 24-26 февраля, когда началась забастовка. Выдвинута она была теми организованными группами, которые, несмотря на массовые аресты и ликвидацию, предпринимавшиеся в Петрограде по отношению к с.д. партии, все же сохранились на заводах, фабриках и в отдельных профессиях. Характерно, что этот проект Совета Рабочих Депутатов не выдвигался ни разу в подготовительный период, во время деятельности рабочих групп в военно-промышленных комитетах, ни этими рабочими группами, ни их противниками — большевиками-интернационалистами. Вышел этот

дозвунг только в самые дни выступления. В эти дни был вынужден листов, который призывал рабочих фабрик и заводов и мастерских выбрать своих депутатов и посылать их в Таврический дворец. При всеобщей забастовке, когда рабочие на фабрики и заводы не являлись, эти выборы не могли пройти организованным порядком, и первые совещания Сов. Раб. Депутатов носили совершенно случайный характер.

В первую мандатную комиссию совещанием были назначены три лица: Эрлих, Гвоздев и Хрусталев, также оказавшийся уже в Таврическом дворце. Избранная мандатная комиссия уже приступила было к работе—проверила первые мандаты. Но неожиданно для себя она встретила протесты против своего состава. Не решаясь продолжать работу при наличии протестов, мандатная комиссия вернулась в зал, где происходили совещания депутатов, заявила о наличии протестов против избрания Хрусталева и предлагала разрешить создавшийся конфликт. Начались прения, при чем заявлены были протесты уже не только против Хрусталева, но и против Гвоздева. На этой личности концентрировалось все недовольство большевиков и интернационалистических групп меньшевистской организации и оборонческой линии рабочих групп военно-промышленного комитета. Гвоздев был признан лидером этих рабочих групп. Некоторые его выступления возмущали и меньшевиков, как, например, посещение им Шюрмера за два месяца до революции и содержание беседы, которую он с ним имел. В этих первых совещаниях рабочих депутатов уже появились прежние разногласия в рядах с.-д. Они не имели еще конкретного значения для текущего дня, никто из тех, кто оспаривал кандидатуру Гвоздева, не мог доказать, что Гвоздев не сможет сейчас играть ту роль, на которую он способен, но было определенное недоверие. Сводились старые счеты. Против Гвоздева выступали единым фронтом и большевики, и меньшевики-интернационалисты.

Что касается личности Хрусталева, то протест был вызван его послереволюционным поведением в Париже и его сотрудничеством в „Новом Времени“, что заставляло относиться к нему, как к „бывшему“ человеку. Хрусталев же претендовал на роль активного вождя. Ему казалось странным, что какие-то новые лица оспаривали его право на лидерство в Совете Рабочих Депутатов при той огромной роли, которую он играл в первом Совете в 1905 г. У него были и защитники на этом собрании, но их было немного. В конце концов было принято решение произвести новые выборы, и считать избранными в мандатную комиссию лишь тех, против кого не будет подано ни одного голоса. При голосовании, таким образом, провалились и Хрусталев, и Гвоздев, и из первого состава мандатной комиссии остался один только Эрлих. Последний был охарактеризован присутствующими весьма кратко: член Центрального Комитета Бунда и член Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. Возражений против его кандидатуры и дебатов никаких не было. Кто были вновь избранные члены мандатной комиссии,—не помню.

Число депутатов на этом первом совещании, которое продолжалось от 9 час. до 11—12 ч. ночи, с каждой минутой увеличивалось. В мандатной комиссии был длинный „хвост“ ожидавших своей очереди, чтобы войти в зал совещания. Предметом обсуждения на этом первом совещании рабочих депутатов было отношение к Временному Комитету Гос. Думы. Собственно, такой вопрос в порядке

дня не стоят, да и вообще не быто организованного порядка дня на этом первом совещании,—вопросы выдвигались с каждым часом и тут же разрешались. Вот подошел к Таврическому дворцу какой-то полк солдат. Нужно приветствовать его. Выбирается делегация. При этом возникает спор по поводу того, кому произнести приветственную речь. Первое совещание рабочих было крайне бедно силами. О освобожденных в течение этого дня из тюрьмы еще не успели явиться в Таврический дворец. Освобожденные члены рабочей группы в этом первом совещании совершенно отсутствовали. В первый же день деятельности Совета Рабочих Депутатов выдвинулся Стеклов, который, как наиболее представительный и более других внушавший доверие в этом совещании, выходил навстречу приближавшимся полкам и всех их приветствовал от имени Совета Рабочих Депутатов.

Повторяю, вопроса об отношении к Временному Комитету Гос. Думы в порядке дня не было. Было лишь сообщено совещанию, что Комитет Гос. Думы уже сорганизовался и что в его состав вошли, кроме членов прогрессивного блока также Чхеидзе и Керенский. Последнее сообщение вызвало негодование со стороны большевиков, которые с первых же шагов уже требовали борьбы против Временного Комитета Гос. Думы. Соглашение и совместная работа Совета Рабочих Депутатов с Временным Комитетом Гос. Думы, или борьба с ними,—этот вопрос был краеугольным камнем и красной нитью проходил через все прения по целому ряду вопросов, которые стояли в течение первых дней деятельности Совета Раб. Депутатов. На этом первом совещании было решено немедленно выделить из состава совещания комиссию продовольственную и военную. Комиссии эти были тут же избраны, немедленно покинули зал и, удалившись в особые комнаты, приступили к своей работе, намечая план своей деятельности.

С продовольственным делом обстояло в высокой степени сложно: хлеба в Петрограде не было, нужно было обеспечить подвоз хлеба к Петрограду в то время, когда в окрестностях Петрограда на железнодорожных путях не было уверенности в преданности революции тех или других войсковых частей, железнодорожного персонала и т. д. Опыта у членов этой продовольственной комиссии и необходимых связей для получения продуктов для г. Петрограда было мало. Правда, в состав этой продовольственной комиссии вошли явившиеся с предложением своих услуг члены центра кооперативов петроградского О-ва оптовых закупок, но именно эти члены требовали немедленного образования единой продовольственной организации из членов Комитета Государственной Думы и Совета Рабочих Депутатов.

С военной комиссией дело обстояло еще сложнее. Временный Комитет Гос. Думы назначил полковника Ангельгарта комендантом Петрограда и Таврического дворца. Военная же комиссия Совета Раб. Депутатов решила действовать совершенно самостоятельно, стремясь мобилизовать вокруг себя все воинские части Петрограда. Эти два вопроса—о продовольственной комиссии и о военной комиссии—были вынесены на обсуждение совещания рабочих депутатов. Совещание решило, что каждая из этих комиссий работает самостоятельно, вступая в контакт с Комитетом Гос. Думы. Но, несмотря на этот маневр, советские комиссии на совместных совещаниях с соответствующими комиссиями, выделенными Комитетом Гос. Думы, позиции самостоятельности сдвигали, и вместо двух самостоятельных, военной и продовольственной, комиссий образовали слитные комиссии, при чем в ка-

жду из них (и в продовольственную, и в военную) входили члены как от Совета Раб. Депутатов, так и от Комитета Гос. Думы. Таким образом, ощутно намечались взаимоотношения между двумя органами, выдвинутыми первыми днями революции. В спорах по этим вопросам выявились и новые группировки внутри Совета Раб. Депутатов. Меншевики-„интернационалисты“, которые в начале, при выборе мандатной комиссии, поддерживали большевиков, постепенно стали от них отходить и объединились с меньшевиками-„оборонцами“ в общем стремлении твердо держаться старой меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии—тактики контакта и согласия с Временным Комитетом, а не стремления к его свержению.

Во время этого первого совещания раб. депутатов произошел инцидент, в котором ярко сказались неуверенность в победе революции и легкость, с какой победа досталась. Кто-то пустил слух, что здание Таврического дворца окружено, что бронированные автомобили начали обстрел здания, и в зале совещания раб. депутатов началась паника; все бросилось к дверям, хватая одежду, наступая один на другого. Так продолжалось несколько минут, пока Чхеидзе, став на стол, не призвал Совет к порядку, напомнив ему о революционном долге: „Мы сюда пришли для борьбы за жизнь и за смерть, и если будет нужно умереть, то мы умрем. Сраха не может быть места“. Обычно нерешительный Чхеидзе нашел нужные слова...

В этом же заседании происходили выборы первого Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов. Опять-таки отсутствие видных лидеров меньшевиков делало эти выборы затруднительными. Состав первого Исполнительного Комитета был случайным. В него вошли: Стюков—литератор, Суханов (Гиммер) известный только своими брошюрами о войне и совершенно не связанный с рабочим движением до-революционного периода, присяжный поверенный Соколов—постоянный кандидат с.-д. на выборах в Гос. Думу для Петрограда, Гриневич—меньшевик-интернационалист, Романов—меньшевик-интернационалист. „Оборонцы“—меньшевики были избраны мало, среди них и К. Гвоздев. Кроме избранных в Исполнительный Комитет вошли представители партий: от Орг. Ком. Р. С.-Д. Р. П.—Батурский (В. С. Цейтлин), от с.-р.—Сяятицкий, от Ц. К. Бунда—кроме Эрлиха, избранного самим совещанием, вошел и я. Был долгий спор о том, дать ли представительство в Исполнительном Комитете так называемому Межрайонному Комитету Р. С.-Д. Р. П.,—организации местной. Дело в том, что Исполнительный Комитет Петроградского Совета с самого начала организовался, как центральный. В самом Совете представительство всех местных политических организаций было обеспечено... Было поэтому принято решение, что в Исполнительный Комитет делегируют своих представителей только центральные учреждения партий. Тем не менее, для „Межрайонного Комитета“ решено было сделать исключение: он объединял в своих рядах и меньшевиков, и большевиков и играл роль своего рода центрального всероссийского органа; совещание же этих групп со всей России еще состоять не могло. Впоследствии и эта группа несколько видоизменилась в своем составе и оказалась близкой группе „Новой Жизни“.

5. 23 февраля.

Утро 28 февраля я провел на улицах Петрограда, присматриваясь к отдельным сценам уличной жизни. Дневная жизнь началась рано. Части революционного гарнизона охраняли все вокзалы и подступы к ним. Шли слухи, что с разных прилегающих к Петрограду станций движутся на Петроград отдельные военные части, верные царю. Говорили о Балтийской жел. дороге, о Финляндской дороге и о Николаевской. Говорили о движении пехотных частей пешком на Петроград. Вследствие этого площади у вокзалов охранялись бронированными автомобилями, пулеметными частями и т. д.

Я был на площади у Николаевского вокзала. И здесь легко можно было убедиться, в каком хаотическом, беспорядочном состоянии продолжал пребывать революционный Петроград без руководства обычных офицеров. У Николаевского вокзала стояли два бронированных автомобиля с пулеметами и несколько пеших воинских частей. Вдруг из гостиницы раздался отдельный революционный и винтовочный выстрел, и в один миг площадь опустела: солдаты частью разбежались, частью полегли на улице, разбежалась и толпа. Затем, когда наступило успокоение, все оставшиеся на площади солдаты в беспорядке бросились к этой гостинице обыскивать ее, ища виновника выстрела. При этом они совершенно забыли о том, что охраняют серьезный военный пункт и что сейчас могут подхватить опасные военные части к вокзалу. Затем снова одиночный выстрел с другой части площади, и снова туда просаеся вся солдатская масса, обстреливая дом из винтовок. Вот со стороны Невского приближается с барабанным боем стройно организованная воинская часть, имея во главе вольноопределяющегося унтер-офицера. Она производит внушительное впечатление: в ней ни беспорядка, ни хаоса. Когда она приближается к самой Николаевской площади, позади нее вдруг раздается одиночный выстрел. Солдаты из задних рядов отвечают на этот выстрел обстрелом дома, солдаты же передних рядов, не разобравшись, в чем дело, и полагая, что их из ружей обстреливают сзади, бросаются снова врассыпную, и опять в один миг от этой организованной воинской части не остается ничего. На площади, на прилегающих улицах—паника.

В таком состоянии дезорганизации бродили по улицам Петрограда многие воинские части. Офицеры, с самого начала революционного движения среди солдат, с момента перехода отдельных воинских частей на сторону народа, бежали от своих частей, скрываясь по частным квартирам и вызывая ропот и негодование солдатской массы. Офицеры не доверяли победе революции. Они не имели возможности группироваться вокруг формирующегося Совета Раб. Депутатов, на них мог иметь воздействие один только Комитет Гос. Дум. Только авторитет Родзянко, авторитет умеренных политических элементов мог вернуть этих офицеров в войска и восстановить боеспособность петроградского гарнизона. В таком же положении было дело с переходом на сторону революции петроградской крепости Кронштадта и других укрепленных пунктов. Не могло быть речи о том, чтобы брать эти пункты силой, с бою,—они должны были слаться по доброй воле. Авторитетом же для командиров Кронштадта, Петропавловской крепости и Шлиссельбурга могла быть только Гос. Дума.

В эти первые дни революции даже вооруженная победа над ста-

рой властью требовала координирования действий Совета Раб. Депутатов и Госуд. Думы. Таков был вывод, сделанный руководителями С. Р. Д. Большевистские элементы Совета с первых же дней революцией хотели толкать Совет на путь свержения Комитета Госуд. Думы. Несмотря на то, что Сов. Раб. Деп. очень быстро пополнялся представителями заводов, фабрик и отдельных рабочих организаций, число большевиков в нем росло очень незаметно. Огромное большинство Совета держалось меньшевистской линии, хотя и бывали моменты борьбы вокруг опубликованного Родзянко приказа к воинским частям Петрограда. Этот приказ в отдельных только экземплярах появился на различных столбах Петрограда. Он распространялся по рукам и в здании Таврического дворца. Подпись на приказе была председателя Комитета Гос. Думы Родзянко. Содержание его было таково, что можно было смело говорить о провокационном значении этого приказа—Родзянко настоятельно призывал все воинские части Петрограда в этот день, 28 февраля, покинуть улицы Петрограда и вернуться в казармы.

Не знаю, кто подсказал Родзянко такого рода приказ. Мы говорили уже о том значении, какое имели отдельные воинские части, охранявшие подступы к вокзам, в отдельных частях города скрывались одиночные представители старой власти; уверенности в победе революции не было, уход воинских частей в казармы, следовательно, мог бы привести к осмелению представителей старой власти и лишь удлинит бы период вооруженной борьбы. Приказ стал известен Совету Раб. Деп. Потребовали объяснений у Чхеидзе и Керенского, которые входили в состав Временного Комитета Гос. Думы. Они заявили, что этот приказ не был предметом обсуждения Временного Комитета, что Комитет не может нести за него ответственности, что это—личная инициатива самого только Родзянко. Приказ не распространялся больше. Он был изъят из употребления. Во время прений по поводу приказа раздавались очень яркие и страстные речи с определенным призывом арестовать Родзянко и Временный Комитет Гос. Думы, раздавались обвинения в провокаторстве, в предательстве и т. п. В самый разгар прений вокруг приказа Родзянко явился Скобелев и сообщил подробности сдачи Петропавловской крепости революции: туда явился он, Скобелев, и еще один член Комитета Гос. Думы и имеем последней потребовали сдачи крепости, что было комендантом выполнено почти без всяких разговоров. Последнее обстоятельство вновь подчеркнуло значение Комитета Гос. Думы для победы революции над старой властью и облегчило Исполнительному Комитету ликвидацию конфликта вокруг преступного приказа Родзянко.

6. Формирование Временного Правительства.

Организовавшийся накануне Исполнительный Комитет Совета Раб. Депутатов заседал беспрерывно в течение всего дня 28 февраля. Работа его была организована так: были дежурства, а вопросы текущей жизни разрешались всеми наличными членами Исполнительного Комитета. Часа в 2—3 дня 28 февраля было пленарное заседание Исполнительного Комитета. На этом заседании Соколов сообщил под строгим секретом, что Временный Комитет Гос. Думы предпринимает меры к получению от Николая II акта об отречении. Соколов пред-

лагал Исполнительному Комитету С. Р. Д. самостоятельно получить от Николая II этот акт. Было ясно все серьезное значение такого самостоятельного шага: полного доверия к Исполнительному Комитету Гос. Думы быть не могло, — этот Комитет мог акт об отречении царя Николая составить так, чтобы после него Россия могла иметь регента, чтобы сохранился монархический образ правления. Тот текст отречения, который получил бы Сов. Раб. Дея., конечно, был бы большим ударом по монархии. Соколов получил необходимые ему полномочия и соответствующую военную охрану. Но спустя несколько часов стало известно, что он опоздал — представители Комитета Гос. Думы сами провели в жизнь это требование.

Вечером в Исполнительном Комитете Совета Раб. Депутатов началось обсуждение вопроса об образовании Временного Правительства. Состав Исполнительного Комитета был неполный. Обсуждение вопроса носило отрывочный характер, ибо каждую минуту очередные дела и внеочередные заявления отвлекали внимание Испол. Комитета в сторону. Докладчиками по вопросу были Суханов и Стеклов. Оба они сообщили Испол. Комитету о тех полуофициальных беседах, которые они имели уже с отдельными членами Исполн. Комитета Гос. Думы. Суханов формулировал, что не может быть речи об участии демократии в составе Временного Правительства, ибо это означало бы участие в ведении империалистской войны. Возник краткий обмен мнениями.

Сторонников участия во Временном Правительстве среди представителей с.-д. было немного. При этом необходимость этого участия мотивировалась различно. Мои соображения в пользу этого участия сводились к тому, что рабочий класс России принимает столь активное участие в развитии революции, что без его непосредственного участия в творчестве государственной жизни революция вряд ли сможет быть доведена до благоприятного конца, необходимо направить активную работу рабочего класса в сторону этого революционного государственного строительства. Соображения Эрлиха в пользу участия были совершенно иные. Вообще он считал участие революционной демократии в составе Правительства вредным, отчасти по соображениям, приведенным Сухановым, но он полагал, что первое Временное Правительство еще не носит характера правильно организованной власти, а имеет своей задачей продолжение работы Комитета Гос. Думы по свержению старой власти. В этом деле, — полагал он, — соц.-дем. не может уклоняться от участия, а потому может делегировать своих представителей в состав Временного Правительства. Кто-то из соц.-рев., кажется, тов. Зензинов, также поддерживал необходимость участия в составе Вр. Правительства. Представитель Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. т. Батурский высказывался против. Вопрос поставлен был на голосование. Исполнительный Комитет формулировал свою точку зрения против участия во Временном Правительстве довольно значительным большинством голосов.

Но вместе с тем было решено считать это постановление Исполнительного Комитета лишь предварительным и поставить вопрос на обсуждение пленума Совета Раб. Депутатов, которому предоставить самостоятельно его решить. Предполагалось, что на следующий день Исполнительный Комитет снова будет иметь суждение по этому вопросу, и до того представители отдельных политических партий будут совещаться со своими партийными организациями, так как на первом заседании представители политических партий высказывались лишь за себя.

Следующим вопросом из области формирования Временного Правительства был вопрос об его программе. Стеклов сообщал, что члены Временного Комитета Гос. Думы склонны декларацию-программу Временного Правительства поставить в неперенную связь с ведущейся войной. Он, Стеклов, вместе с Сухановым и Соколовым, оказывал решительный отпор членам Думского Комитета, ссылаясь на то, что рабочий класс и Сов. Раб. Депутатов произвели революцию не для ведения войны, а для внутренней демократизации страны, и что поэтому только область вопросов внутренней жизни государства и должна быть охвачена программой Временного Правительства, если оно желает иметь поддержку со стороны Совета Раб. Депутатов. Стеклов огласил в этом первом заседании Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов набросок программы для Временного Правительства. Меня при этом сильно поразило отсутствие в этой программе каких бы то ни было указаний на отмену всех национальных ограничений по отношению к многочисленным народностям России. В довольно резкой форме я обратил внимание на этот пробел, указав на то, что отсутствие в первой программе Временного Правительства категорического заявления о предстоящей отмене всех национальных ограничений вызовет крайнее недоумение и подорвет всякое доверие к Временному Правительству. Стеклов заявил, что это само собою разумеется, но что если это может вызвать нарекание, то, конечно, можно в программу Правительства включить специальный пункт об отмене национальных, сословных и др. ограничений. Я обратил внимание Исполнительного Комитета на отсутствие в программе специально „крестьянских“ пунктов, но не был поддержан.

Разногласия, бывшие при обсуждении вопроса об участии во Временном Правительстве в Исполнительном Комитете между отдельными представителями соц.-дем., делали необходимым предварительное обсуждение этого вопроса в руководящих органах партии. Ночью состоялось заседание Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. с приглашенными лицами на квартире прис. пов. В. Н. Крохмалю. Обсуждение этого вопроса продолжалось несколько часов. Высказывались сторонники и противники этого участия и довольно внушительным большинством (всего участвовало 12 человек) решено было высказаться за участие с.-д. в составе Временного Правительства¹⁾.

Организационным Комитетом было обращено внимание и на то обстоятельство, что меньшевики выступают в Сов. Раб. Деп. крайне неорганизованно и вследствие этого возникают трения, которых можно было бы избежать. Было решено, предварительно обсуждения в Совете Рабочих Депутатов вопроса об участии во Временном Правительстве, устроить частное совещание всех с.-д. меньшевиков, на котором доложить о состоявшемся решении Организационного Комитета Р. С.-Д. Р. П. сплотить фракцию. Когда мы на завтра явились в Таврический дворец, то оказалось, что делегация Исполнительного Комитета, в составе: Соколова, Суханова и Стеклова, вопреки определенному решению Исполнительного Комитета, уже закончила переговоры с Временным Правительством с составлением определенных актов. Это нарушение постановления Исполнительного Комитета вызвало резкие протесты со стороны отдельных членов Исполнительного Комитета, но

¹⁾ Это решение имело своим результатом передовую в „Известиях Совета Раб. Деп.“, высказывавшуюся за участие во Временном Правительстве.

дело изменить уже оказалось невозможным, тем более, что большинство Исполнительного Комитета по существу было согласно со всем тем, что было сделано Стекловым, Сухановым и Соколовым.

Из отдельных моментов сообщения, сделанного делегацией Исполнительного Комитета о переговорах с Думским Комитетом, заслуживают внимания два обстоятельства. Члены Комитета Гос. Думы были глубоко убеждены в том, что переговоры с Советом Рабочих Депутатов о программе Временного Правительства имеют своей целью образование Правительства с участием представителей Совета Раб. Депутатов. Они шли поэтому на максимальные уступки, стремясь сохранить возможное единение. Когда разногласия о программе были ликвидированы, Милюков спросил у делегации, кого же из состава Сов. Раб. Деп. выдвигают на посты министров? Члены Думского Комитета были крайне удивлены решительным заявлением делегации, что Сов. Раб. Деп. не намерен принимать участия в самом Временном Правительстве. Было даже заявлено негодование по поводу такого решения Совета Раб. Депутатов, но делегация заявила, что решение Исполнительного Комитета изменить невозможно. В то же время делегация заявила, что Исполнительный Комитет, конечно, не может относиться безразлично к составу Временного Правительства и хотел бы знать намерения Комитета Гос. Думы. Членам Думского Комитета пришлось назвать всех кандидатов на посты министров. Ни один из кандидатов возражений со стороны делегации не вызвал, кроме А. И. Гучкова. Возражения делегации Исполнительного Комитета Сов. Раб. Депутатов против кандидатуры Гучкова не были решительными и категоричными. Она лишь поставила Думскому Комитету вопрос, входит ли Гучков во Временное Правительство с какими-либо особыми полномочиями? Когда же Милюков заявил, что никаких особых полномочий у Гучкова, будущего военного министра, не будет, что политическую ответственность за его деятельность несет все Временное Правительство, то этот персональный вопрос был ликвидирован.

Было бы все же неправильно говорить о полном исключении представителей Совета Рабочих Депутатов из Временного Правительства: А. Ф. Керенский был включен в состав членов первого Временного Правительства с ведома и согласия Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов. Это обстоятельство также предварительно обсуждалось накануне на заседании Исполнительного Комитета и решение Исполнительного Комитета Совета Раб. Депутатов о неучастии в составе Временного Правительства, все же предполагало и допускало участие Керенского. И сторонники, и противники участия социал-демократии в составе Временного Правительства соглашались, что Керенский с первых дней переворота находился в таком близком общении с Временным Комитетом Гос. Думы, что невключение его в состав Временного Правительства делалось совершенно невозможным. Так создалось противоречивое положение, при котором Совет Рабочих Депутатов своих официальных представителей в состав Временного Правительства постановил не делегировать, и в то же время товарищ председателя Исполнительного Комитета Сов. Раб. Депутатов А. Керенский в состав этого правительства входил, не вызывая против себя никаких протестов и возражений со стороны С. Р. Д.

Недовольные решением вопроса о неучастии в составе Временного Правительства Исполнительного Комитета имели в виду вопрос этот снова поднять на заседании Совета Рабочих Депутатов, но на

заседании этот вопрос об участии вовсе не обсуждался. Исполнительному Комитету С. Р. Д. пришлось вынести борьбу с большевиками, членами Совета Раб. Деп., которые были поддержаны большим числом новых солдатских депутатов. Большевики выступали с резкими речами против политики передачи власти буржуазии, против соглашательства. Они требовали свержения Думского Комитета и создания нового Временного Правительства. При этой постановке не было уже места спорам об участии или неучастии в составе этого Временного Правительства. Борьба велась вскруг идей свержения или поддержки. Вопрос, таким образом, Советом Раб. Депутатов был разрешен согласно постановлению Исполнительного Комитета огромным большинством голосов.

При обсуждении программы Временного Правительства целый ряд отдельных представителей заводов и даже политических партий, совершенно не интересуясь тем, какого рода вопрос стоит в порядке обсуждения, и полагая, что дело идет о формулировке Советом Раб. Депутатов своей точки зрения на задачи момента, предлагали ряд требований для обязательного включения их в договор с Правительством. Между прочим, группа еврейских социалистов выдвинула требование о национально-политической автономии в России, как пункт программы Временного Правительства. Представители Бунда, бывшие в этот момент в Совете, Канторович и Заславский, голосовали против этого предложения, что впоследствии вызвало негодование со стороны национально-социалистических течений.

М. Рафес.

Французы в Одессе.

История иностранного вмешательства за время русской революции еще не может быть выяснена во всех своих интересных подробностях. Завеса будет поднята тогда, когда несколько притупится острота политики и историческая правда не так больно будет колоть глаза современников. Система интервенции потерпела крушение во всех концах России, где только ни пытались ее осуществлять. Причина этого лежит не в качестве и не в количестве исполнителей. Она гораздо глубже и кроется в объективных условиях. Но об этом не место говорить на страницах исторического журнала. Нигде, однако, где бы ни расцветала политика интервенции, она не сопровождалась такими „скандальными“ подробностями, она не была так скомпрометирована в сознании широких слоев населения, как в Одессе. История „одесской интервенции“—это букет лжи, обмана, ошибок, вероломства, легкомыслия и продажности. Достаточно осветить один уголок, чтобы картина поразила беспристрастного зрителя. Уголок французской интервенции уже можно по имеющимся материалам осветить.

І. Консул Энно. Одесская „Энноида“.

Вслед за поражением австро-германцев на фронте европейской войны немцы начали отступление из оккупированной Украины. Одесса была первым городом, где впервые на смеву немцам должны были появиться войска Антанты. Во внутренней истории Украины это совпадало с крушением гетмана Скоропадского, креатуры немецкого владычества. Одесса однако не могла считаться даже в слабой степени украинским городом. Нелизя было определить, к какой государственной власти ее следует „приписать“. Впрочем, формальная сторона мало кого интересовала. Имела значение реальная власть, сила управления. Естественным казалось, что с уходом немцев должны прийти „победители“. Победителями оказались французы, и город ждал появления представителей могущественной республики.

Вскоре на территории Одессы появился консул Энно, объявивший населению города, что он уполномочен стать во главе союзного представительства. Впоследствии союзное командование на Востоке склонно было рассматривать Энно, как самозванца, приписавшего себе такие полномочия, которые никто ему не давал. Однако факты противоречат этому. Появившиеся одновременно с Энно военные транспорты и высадившиеся на берег команды двух—трех военных кораблей не обнаруживали никаких признаков удивления или несогласия с деятельностью Энно. Первоначально она была скромна и

мотивировалась преимущественно ликвидацией германского влияния на Украине. Никакого самостоятельного плана организации власти Энно не имел и предоставил событиям естественное течение. Русская власть возникла при содействии добровольческих образований чисто местного происхождения. Во главе добровольческих отрядов очень скоро стал приехавший в Одессу ген. Гришин-Алмазов, заявивший себя представителем Деникина. Естественно было ждать тесного общения между добровольческой властью и французским консулом. Геронческих намерений завоевательного характера Гришин-Алмазов еще не обнаруживал, о походе вглубь России консул Энно не говорил; но намерения, настроения и симпатии предполагались тождественными, и добровольческое командование купалось в лучах союзного ореола...

Политика Энно была, однако, не столь примитивна и ясна. С другой стороны и связи между представителем Деникина и союзным представителем нельзя было считать прочно установившимися. На Украине к концу 1918 года уже царила так называемая директория (правительство, образовавшееся на обломках гетманщины). Свергнув гетмана, директория импонировала тем самым Антанте, которая не без основания в гетмане видела фокус германского влияния на Украине. Правительство директории не прочь было вести с кем угодно переговоры, лишь бы добиться закрепления своей власти и независимости Украины. Поддержка директории французами имела и для последних определенный смысл, поскольку директория была реальной властью. На этой почве возникли и не прекращались до последних дней пребывания французов в Одессе и тайные сношения между украинской директорией и Энно, впоследствии его приемниками, — сношения, имевшие конечной целью договор, помощь и компенсацию. Посредствующим органом была импровизированная организация украинских сахарозаводчиков, ютившаяся не без взаимной пользы около консула Энно и связанная с директорией якобы в целях получения от нее многомиллионной субсидии на восстановление свекло-сахарной промышленности.

Деловой „контакт“ с директорией не мешал Энно заявлять себя приверженцем „добровольческой идеологии“ и признавать фактически существующую в Одессе добровольческую власть. Документальных данных, свидетельствующих о двуличии союзной политики на юге России в то время (конец 1918 г. и начало 1919 г.) нет, вернее, вообще никакой установленной точки зрения на судьбы России у союзного командования тогда не было. Энно действовал по своему разумению. Шансы добровольческой армии были еще не велики. Как эпизод, ее можно было признать. Но и только... Определенного плана содействовать развитию добровольческой армии не было. Наоборот, можно считать исторически установленным сдержанное вначале и враждебное впоследствии отношение французов к добровольческой армии. Это обстоятельство проливает свет на ряд фактов, имевших место в марте 1920 г., т.-е. к моменту разрыва между высшим союзным командованием и добровольцами и бегством из Одессы как тех, так и других.

Долгое время (весь период интервенции французов исчисляется несколькими месяцами) Энно бесконтрольно, независимо и весьма бурно проводил политику Антанты на юге России. Как печатные источники, так и отзывы современников свидетельствуют о том, что интервенционистскую Европу на юге России представлял авантюрист

мелкого калибра, человек темного происхождения и сомнительного поведения, полуделец, полушантажист, окруживший себя разного рода искателями наживы и мало смыслящий в русских делах. Поприме, на котором Энно подвизался до своего назначения в Одессу, была Бессарабия. Уроженка Бессарабии, фигурировавшая в качестве его жены, владевшая русским языком, имела решающее влияние во всех мероприятиях консула. Очень скоро по городу начали ползти слухи о фантастических оргиях французского представителя, о тех суммах, которые проходят через руки госпожи Энно, о клубных похождениях самого консула. Несмотря на формальное невмешательство во „внутренние дела“, последнее слово принадлежало супругам Энно. Малейший намек в печати на предосудительный образ действий (о жизни тем более нельзя было заикаться!) „союзников“ вызывал подозрения в принадлежности органа печати, редактора, автора к германской оккупации. Консул кричал, бравился, топал ногами и грозил репрессиями в порядке „защиты интересов Франции“. Введена была специально-французская цензура; любой закон, любая норма или правовая гарантия покрывались усмотрением консула. Население привыкало к мысли, что представитель Согласия ведет себя, как колониальный самодур, что „союзник“ рассматривает жителей юга России, как туземцев, в отношении которых все позволено. Все, что было злокачественного в обществе, вся накипь войны, гражданской свары, эмиграции и спекуляции,—все засуетилось вокруг семейства Энно и снимало обильную жатву. С благословения, если не с прямого участия консула, потеснились картежные дома—очаги вымогательства и шантажа. Ко всему этому присоединилось бесцеремонное дебоширование немногочисленных матросских команд с французских кораблей, которые сходили на берег Одессы для того, чтобы после тягот закончившейся войны испытать сладость разгула и дешевых наслаждений ..

Французский колорит не нарушала добровольческая импровизация. Кто кому подражал—трудно установить. „Правительство“ Гришина-Алмазова действовало в русском стиле. Пьянство, грабежи, офицерские вальсы (вальс—типичное явление одесской жизни того времени, выражавшееся в вооруженном набеге группы лиц на магазины, лавки, жилые квартиры) развращали население и воспитывали всех в атмосфере беззакония и грубой силы. Градоначальство, варта (полиция сохранила украинское наименование) воспроизвели взяточничество в небывалых размерах. Добровольческие отряды разлагались и забывали о своем воинском назначении. Связь с добровольческим центром в Екатеринодаре была очень слабая. Административная подчиненность почти совсем отсутствовала. Политических и стратегических перспектив не было никаких. Одесса и прилегающий к ней район тяготения представлял собой самодовлеющий центр, не подчиненный украинской власти, бессильный создать оторванный пункт для иной общероссийской государственности, случайный оплот иностранного вмешательства, принявшего форму затхлого, провинциального самодурства. В этой спертной атмосфере начали разыгрываться трагикомические эпизоды.

К числу последних относится временный переход власти к украинцам. Достаточно было сгруппироваться кучке украинцев, чтобы выжить добровольцев, пришедших в степень полного разложения. Если одесские добровольцы источником прав своих считали деци-

киевское командование, то местные украинские группы имели не меньше оснований считать себя в праве захватить власть именем украинской директории. По соображениям, отчасти высказанным выше, французы относились к этому соревнованию двух претендентов пассивно. В декабре украинцы произвели „переворот“. Накопившись путем просачивания в Одессу малых боевых единиц из линии украинского расположения, они произвели внезапное выступление, быстро отгеснили добровольцев из центра города, захватили органы городского управления и превратили в один день Одессу в город, подчиненный директории. Добровольческие отряды все уместились на одном транспорте и стояли на якоре, на виду у Одессы, выжидая поворота событий. Поворот не замедлил наступить.

Город тем временем был разбит на две зоны: французская и украинская. Деление это носило совершенно анекдотический характер. Проволокой была обведена аристократическая часть города и проходы к морю. В пределах этой зоны действовал авторитет Антанты, за проволокой начиналось господство украинской „державы“. Население, переступая через заветную проволоку, попадало за границу. Море было французским, а так как на море стоял на якоре добровольческий транспорт, то и добровольцы продолжали находиться под протекторатом „союзников“. Выяснив незначительность сил, произведших переворот, добровольцы решили восстановить свое утерянное положение и вернуть господство. Пользуясь иммунитетом, царившим по сю сторону проволоки, добровольцы высадились на берег и, подстрегаемые несколькими французскими офицерами, начали теснить украинцев. Два дня в городе происходила стрельба ружейная и пушечная. Украинцы отходили к вокзалу; последний был обстрелян добровольческой артиллерией и почти разрушен. Несколько десятков убитых и раненых осталось на поле битвы. Украинцы рассеялись, добровольцы утвердились, и Гришин-Алмазов послал Деникину торжественную телеграмму, в которой сообщал о взятии „доблестными войсками“ Одессы и провозглашал „ура!“ в честь великой России.

Вся эта история носила чисто-мексиканский характер. Участие в ней французов достаточно неопределенно. Энно действовал в одном стиле: командный и офицерский состав французских экипажей—в другом. Кто-то провоцировал украинцев, кто-то подогревал добровольцев. Доблесть последних сопровождалась позорящим поуканьем французских инструкторов, которые, все еще под флагом невмешательства, с револьверами в руке, побуждали добровольческие отряды ударить в лоб противника.

Вскоре после этого консул Энно, слава которого достигла зенита, исчез. Исчезновение произошло столь же неожиданно, как и появление. Видимо, до слуха командующего союзными силами на Востоке Европы, генерала Франше д'Эпре, дошли слухи о зарвавшемся консуле Энно. Это совпало с определившимся планом союзников предпринять серьезные военные операции на юге России. Период импровизации должен был кончиться. Начиналась эпоха „великих подвигов“. В Одессе появился генерал д'Ансельм, в сопровождении начальника своего штаба полковника Фрейдленберга (эльзасец). Оба эти лица отныне выступали в качестве представителей союзных сил. Конiec их славы был не менее печальный, чем консула Энно...

С другой стороны, и организация русской власти приняла более реальные очертания. Гришин-Алмазов, связавший со своим именем

завоевание Одессы, назначен был ставкой Деникина командующим войсками юго-западного края. Главнoначальствующим юго-западного края поставлен был ген. Санников, приехавший в Одессу, чтобы авторитетом своим поддержать престиж добровольческой армии, сильно подорванный деятельностью Гришина-Алмазова. Однако добровольческая власть становилась средоточием всех старорежимных сил. На ответственных постах очень скоро очутились все бывшие царские чиновники; из темных углов вылезла полиция со всеми навыками, взглядами и повадками дореволюционного времени. Одесса увидела за столами, в кабинетах, в участках старых знакомых, продолжавших свою служебную карьеру. Волна антисемитизма захлестнула так называемое общество сверху до подонков. Стихия разнузданности и хамства не знала пределов. Одесса катилась по наклонной плоскости. А события шли своим чередом.

II. Активные действия.

Одесса начала принимать необычный вид... Ежедневно в порт прибывали иностранные корабли и выгружали людей, оружие, амунition, боевые и всякие иные припасы. Все более или менее значительные здания заняты были военными постоями и учреждениями. На дворах расставлялись грузовики, легкие и броневые машины, части летательных аппаратов. Мощная Европа не на шутку, видимо, взялась за военную экспедицию вглубь России. Впрочем, о планах Антанты никто не знал. Над всеми приготовлениями нависла непроницаемая тайна. Население и не пыталось проникнуть за ее завесы: и так очевидно были намерения, так потрясающе убедительны были средства. Правда, были „пессимисты“ и „скептики“, которые шопотом рассказывали о падении дисциплины среди французских солдат, о полном неподчинении начальству. Но настоящих французских солдат было мало. Главным образом, прибывали колониальные войска; были цветные. По вечерам жители Одессы собирались у тех мест, где живописно расположенные туземцы, солдаты, наигрывая на необычном инструменте, каким-то странным, сдавленным голосом монотонно повторяли печальную мелодию. На всем лежала печать чудовищной нелепости. Так ясно было, что на морском берегу, на узком краешке России еще можно располагать лагерем вывезенных из Африки людей в цветных тюрбанах; но дальше их везти невозможно; дальше начинается безбрежная страна, занесенная снегом, с огромными равнинами, болотами, лесами, по которым ютится „партизанщина“. Так дико было представить себе всю эту массу выгруженных людей бродящими по России в сопровождении огромного обоза, который должен был бы снабжать буквально всем необходимым каждого из этих заморских „завоевателей“. Однако в начале экспедиционной кампании руководители и представители „союзной“ политики заявляли в беседах с сотрудниками печати, что цель Антанты—создать обеспеченный тыл для тех русских войск, которые пачнут продвижение вперед навстречу советским войскам. Таким образом задача казалась скромнее. Но огромное количество прибывающих войск заставляло думать, что одним прикрытием тыла дело не ограничится. Особенное нетерпение и большую воинственность обнаруживали греческие войска, которые составляли подавляющее большинство союзных войск

Грекам необходимо посвятить несколько самостоятельных строк. Им поход на Россию представлялся веселой военной прогулкой. Опыненные победы своей мудрой политики и попав сразу в большие забияки, не пролив при этом в европейской войне ни капли крови, они рассчитывали легкими одесскими лаврами увенчать свое столь прославленное, а главное—„могущественное“ отечество. Призрак „великой Греции“ витал над греческими казармами. Каждый греческий солдат был преисполнен достоинства, напыщен, что не соответствовало его малому росту и невзрачной наружности, заносчив и груб в обращении с русскими. Этот маленький народ-выскочка, развращенный европейской политикой, в лице своей армии являл отталкивающий образец той специфической „великодержавности“, которую греки, распоясавшись, собирались дать почувствовать на Балканах. В Одессе они вели себя по-хозяйски. Во-первых, потому, что границы великой Греции вмещали также и Одессу (необходимые исторические ссылки в отечественной упаковке были привезены ими с собой), а во-вторых, довольно значительная греческая колония в Одессе встретила своих сородичей с помпой и великолепием и в застольных речах заверяла гостей, что только они призваны поставить упавшую Россию на ноги. Греки бряцали своими кривыми саблями, щелкали шпорами и, вспоминая ахейских предков, обещали вернуться из похода со щитами.

Количественно они доминировали в коалиционной армии. Греки составляли свой отдельный корпус, но подчинялись французскому верховному командованию. Часть их была направлена в Николаев; другая осталась в Одессе. Экипировка была выдержана по последнему слову военной техники; почти все вооружены были автоматическими ружьями. В огромном количестве выгружались мулы и ослы. На них передвигался обоз, легкая артиллерия, пулеметы. Недоставало только верблюдов; впрочем, и появление двугорбых животных не поразило бы одесситов. Все, что происходило, достаточно действовало на воображение...

А между тем положение на Украине резко изменилось. Директория и созданный ею „трудовой конгресс“ оказались сооружениями, воздвигнутыми на зыбкой социально-политической почве. Крестьянство, поднявшееся против гетманского режима, памятного восстановлением крупновладельческих привилегий, свергнув его, подчинилось своей социальной природе и разбрелось по деревням и селам. В городах быстро устанавливалась Советская власть. Директория с остатками войск и едва сколоченным министерским аппаратом докатилась до Проскурова, а Украина советизировалась. Атаман Григорьев, стоявший во главе „украинского партизанского отряда“, изменил директории, заявил себя приверженцем Советской власти и почти беспрятственно овладевал одним пунктом за другим. К марту месяцу его разъезды появились в окрестностях Николаева и вступили в соприкосновение с греческими войсками. Когда в одесском порту выгружались части бронированных легательных машин, греки в панике бежали из Николаева, не выдержав натиска недисциплинированной, неорганизованной партизанщины. Греческое командование впоследствии взваливало всю вину за этот неудачный исход „обороны Николаева“ на французское командование, оказавшееся будто бы не на высоте распорядительности. Печальная история, сильно поубавившая спесь греческих военачальников, так и осталась необследованной; материалов письменных и печатных не найти, и поражение под Нико-

давом, стоившее между прочим грекам несколько сот убитых и раненых, приходится отнести за счет их преувеличенной доблести и воинской подготовки.

С добровольцами отношения не налаживались. Параллельное существование двух штабов нарушало единство действий. Инициатива и окончательные решения исходили от французов, которые, не без основания, не доверяли добровольческому командованию. У последнего дела тоже не клеились. Несмотря на мобилизацию одних возрастов за другими, воинские кадры не увеличивались. Территория все сужалась, а население упорно уклонялось от явки на сборные пункты. Атмосфера недоверия заражала всех. Рабочие ждали прихода советских войск. Среди иностранных солдат распространялась агитационная литература на родных языках. Хозяйственная жизнь города и окрестностей испытывала давление спекуляции и нездорового ажиотажа. О полковнике Фрейденберге, начальнике штаба генерала д'Анселыма стоустая молва распространяла слухи, не менее пикантные, нежели о консуле Энно. Подозрительные сношения с представителями украинского правительства продолжались. С именем „украинского“ генерала Матвеева связывалась версия о пятимиллионной взятке, врученной Фрейденбергу. Впоследствии вся добровольческая печать открыто писала об этом. В качестве посредника между французским командованием и директорией подвизался украинский министр по еврейским делам Л. Я. Красный. При его содействии комитет сахарозаводчиков должен был получить аванс в размере 300 миллионов рублей. Кроме двух перечисленных лиц, в спектре французского влияния вращался еще один украинский дипломат—барон Б. Ф. Штейнгель, бывший украинским послом в Берлине. Он привозил и увозил секретные поручения. В то время часть парижской печати охотно печатала статьи о независимой Украине и во французских кругах прививалась мысль, что вмешательство Антанты следует ограничить освобождением одной только Украины. Само собой разумеется, что при таком уклоне французской политики трудно было рассчитывать на очень тесные отношения между ставкой Деникина и французским командованием на юге России.

Но по мере того, как сужалась полоса территории, на которой развевался флаг французской республики, уменьшались и плавы интервенции. От России к Украине, от Украины к черноморскому побережью... События наворачивались слишком быстро. Вопрос, который волновал и занимал всех, был очень прост: что намерены предпринять эти высадившиеся десятки тысяч вооруженных до зубов людей? Станут ли они отстаивать Одессу? Хватит ли дерзости у партизанского отряда, чтобы посягнуть на мощь Европы? Хватит ли достоинства у французского командования, чтобы действовать по свободному усмотрению, а не под угрозой атамана Григорьева? Ни у кого не рождалось сомнений. Немного времени прошло, и все убедились в своей ошибке.

Продолжим нить нашего рассказа. 21 марта по новому стилю французское командование взялось энергично за оборону Одессы. Приказом ген. Франше д'Эспре назначается военным губернатором и командующим русскими войсками в зоне союзников—ген. Шварц. Командование русской добровольческой армией в одесском районе принимает ген. Тимановский. При командующем союзными силами на юге России образуется чрезвычайный совещательный орган, в состав которого

входят ген. Шварц, городской голова Брайкевич и представитель земства Бутенко. Все эти мероприятия явились следствием приезда самого ген. Франше д'Эспре в Одессу, который сделал ряд сенсационных заявлений, вроде того, что в Париже образовалось объединенное русское правительство во главе с кн. Львовым, с участием Сазонова, но без Керенского, и что только с этим правительством будет считаться Франция. Вопрос об обороне Одессы был решен в самом категорическом смысле. „Решение союзников,—говорил Франше д'Эспре,—создать на юге России прочный барьер против большевиков, барьер, за которым русская власть сможет сама, при всемерной поддержке союзников, начать дело создания организованного управления и расширения зоны своего влияния“. Демонстрацией готовности союзников создать упомянутый барьер служит то, что по приказу Клемансо, полученному в ответ на посланную ген. Франше д'Эспре телеграмму, французские войска погружены на пароходы и ожидают в Одессу сегодня или завтра. Так поведат представителям почти балканский диктатор, верховный начальник союзных сил на востоке Европы. Авторитет Клемансо скреплял заверения старого генерала. И вновь прибывающие войска должны были рассеять любой скептицизм. Они не поколебали только самонадеянности атамана Григорьева...

С добровольческим командованием произошел полный разрыв. Гришин-Алмазов и Санников вынуждены были покинуть Одессу и уехать к Деникину. Франше д'Эспре высказал открыто свое отрицательное отношение к добровольческой армии. По его мнению, „чисто-офицерские войска не могут считаться вполне достаточными для предстоящих государственных задач. Необходимо воссоздание русской армии в настоящем смысле слова“. Это „воссоздание“ не связывалось, однако, с верховным добровольческим командованием. Новая армия, о которой люди серьезно говорили за несколько дней до падения Одессы, должна была, по мысли ген. Шварца, называться „народной“ и основываться „на сближении с рабочими и в особенности с крестьянскими массами“. Шварц несомненно был выдвинут французами, как анти-добровольческая кандидатура, не имевшая никаких шансов на успех у Деникина и вообще не признавая добровольческими кругами. Однако, ввиду очень резкой формы разрыва, произволившего в отношении добровольческой власти впечатление переворота, имелось в виду отправить в ближайшие дни в Екатериновдар особую делегацию из представителей общественных и военных кругов для переговоров с Деникиным. Этой делегации предстояло доказать, что „случившееся явилось результатом железной необходимости“. Под завуалированными словами ген. Шварца, желавшего смягчить однозность своего назначения, надо понимать враждебное отношение к добровольцам со стороны французского командования. Любопытно отметить, что с именем Шварца связывалось предположение приступить к формированию украинских частей. Шварц официально не опроверг в то время этой версии, хотя частным образом газеты отрицали причастность Шварца к украинским кругам.

Казалось бы, положение выяснилось со всех сторон. Судьба Одессы, как „барьера“, предreshена; вопрос о военных силах принял определенное направление; роль союзников намечена достаточно недвусмысленно. Политические намерения Антанты в отношении России были высказаны ген. Франше д'Эспре в официальном письме на имя городского головы Брайкевича. Приводим этот документ полностью: „Согласие

демократических народов не имеет желания ни произвести раздел России, ни навязать ее населению ту или иную форму правления. Оно желает лишь поддержать местные правительства с целью дать им возможность восстановить порядок и затем приступить к свободным выборам в Учредительное Собрание на основе всеобщего голосования. Только такому собранию русского народа, собранию, свободно избранному, будет принадлежать право высказаться о судьбе страны и форме ее правления. Вы можете довести об этих намерениях Согласия до сведения ваших граждан с тем, чтобы положить конец разным слухам, распространяемым в вашем городе". В этом письме особенно важно подчеркнуть категорически выраженную готовность „поддерживать местные правительства". Поддержка выражалась в десанте, насчитывавшем тогда до 70 тысяч солдат; а под „местным правительством" следовало понимать ту импровизацию русской власти, которая в качестве совещательного органа должна была функционировать при генерале д'Ансельме. Декларация Франше д'Эспре, все реформы, проведенные им в порядке осадного положения, „ясность", которую он внес в одесскую жизнь,—все это от начала до конца было не серьезно. Население как-то стихийно чувствовало эту несерьезность. Но тысячи огней в порту... Бесконечные веревки кораблей... Звон оружия и огромные жерла пушек... Только поэтому несерьезность произвела жуткое впечатление.

Характеристика мероприятий, вызванных пребыванием Франше д'Эспре в Одессе, исчерпывается образованием „комитета обороны и продовольствия". Орган этот возник тоже „приказом союзного командования". Председателем комитета предполагался генерал, командующий союзными войсками, или его заместитель. Члены совета, кроме адмирала, командующего союзными силами, персонально были указаны: ген. Шварц, гражданский помощник председателя Андро де Ланжерон, финансовый советник Молотков, советник по вопросам продовольствия и труда Рутенберг, советник по делам морского транспорта адм. Хоменко, городской голова Брайкевич по делам, касающимся города. Комитет обороны мог приглашать с правом совещательного голоса технических помощников, с которыми найдет нужным совещаться. Комитет представлял собой что-то вроде правительственного аппарата, а совет трех при генерале д'Ансельме—разновидность директории. Надо сказать, что идея директории была тогда весьма модной в общественно-политических кружках, неудовлетворенных направлением деятельности добровольческого командования. По образцу уфимской директории, считалось рациональным создание директориальной власти и на юге России. Французы находились, повидимому, в связи с этими общественно-политическими кружками, и план создания власти в Одессе, вероятнее всего, прошел не без влияния последних.

III. Начало конца. Бегство.

Украина между тем утопала в море еврейской крови. Войска директории на пути своего отступления оставляли следы небывалых погромов. Представителям держав Согласия, находящимся в Одессе, был представлен еврейским национальным центром меморандум о погромах на Украине, предназначенный для отправки мирной конференции в Париже. Погромы произошли в Белой Церкви, Елисавет-

граде и его окрестностях, Бердичеве, Проскурове, Житомире, местечке Фильштиа под Проскуровым, Овруче, Олеське, Летичеве, Балте, Ново-московске, в еврейских земледельческих колониях, Червигоре, Голте, Ольвиополе, Богополе, Гайсинне, Аваньеве, Бирзуле, Выгоде, Фастове, Бобринской, Бахмаче, Казатине, Знаменке, Вапнярке, Чернобыле, Коростове, Черняхове, Лепкове, Конотопе, Домбровицах, Кутузове, Сарнах, Новомиргороде, Златополе и Новоукраинке. Резня носила систематический характер и сопровождалась такой жестокостью, которая превосходила лютые времена гайдаматчины. В некоторых местах все мужчины были сожжены, в других—все население, включая детское, истребилось поголовно. „Благородные представители культуры и свободы“ (так в меморандуме именовались представители держав Согласия) не предприняли никаких шагов, чтоб отвратить ужас, нависший над еврейством Украины. Одни принимали меморандум, другие в то же время встречали помощника командующего южной группы украинских войск, полк. В. Змиевко, который в сопровождении группы французских офицеров прибыл в Одессу для переговоров с французским командованием.

Все внимание было устремлено на оборону Одессы. Военные авторитеты ежедневно заверяли, что положение весьма устойчивое и, несмотря на то, что линия фронта проходит у ст. Сербка (сто с лишним верст), городу опасность не угрожает. „Может быть, Одессе придется еще пережить несколько тяжелых моментов, но вскоре наступит время, когда она станет не только неуязвимой, но и страшной“... Такими словами начальник штаба французского командования, полковник Фрейденберг, осведомлял печать и население. „Воля союзников—Одессы не славать, и она не будет сдана“,—такое было официальное заявление 25 (13) марта. Приготовления соответствовали словам. Прибыли французские турксы и алжирские стрелки. Должны были прибыть сенегальцы и марокканцы. Подоспели специальные греческие части, представляющие, по заявлению „военного авторитета“, особенно выносливую живую силу, привыкшую к операциям даже в горных областях. В представлении не только обывателя, но и французских стратегов станция Колосовка принимала очертяния Вердена, а атаман Григорьев со своей конницей на деревенских лошадях вырастал в грозного противника, подготавливающего генеральное сражение.

Последние затруднения, которые испытывало население,—продовольственные, и они снимались благотельными „союзниками“: французское командование брало на себя заботу снабжения Одессы хлебом. Продовольствие предполагалось направлять из Констанцы, Салоник, Константинополя. Из расчета на миллион едоков должно было быть обеспечено продовольствие на полгода. „Одесса без хлеба оставлена не будет. Можете успокоить население“... Это заявление французского командования представителям печати было сделано 26 марта. Аналогичное объявление было расклеено по всему городу.

Следующие дни конца марта не внесли особенных изменений: силы союзников росли. Прибыли греческие авиационные отряды, располагавшие испытанными французскими аппаратами. К фронту подвозились дальнобойные орудия огромной разрушительной силы. Несоответствие между обороной и наступлением красочно характеризуется следующей оперативной сводкой французам: „Противник пытался вести наступление с силами в количестве... 2 рот с 6 пулеметами. Противник был легко отброшен нашим огнем“... Что касается греческих воен-

чальников, то на сей раз они в лице командира корпуса греческих войск ген. Нидера принимали непосредственное участие в решении вопросов, связанных с обороной зоны и не могли впоследствии свои неудачи приписывать злой воле и дурной подготовке французского командования. Русские отряды участвовали в обороне Сербки и кроме того расположены были в районе Отакова. Под давлением махновских чаетей, вышедших из Николаева, Отаков решено было эвакуировать. Хотя по официальной версии оставление города прошло в порядке, но частные сведения, проникшие в печать, свидетельствуют о противоположной картине. Город был брошен, имущество оставлено на произвол судьбы. Зона сузилась еще более. В предвиденный поражения под Сербкой укреплялась станция Раздельная. Ничтожный клочок территории был насыщен вооруженными людьми. Казалось, скоро некуда будет отступать. Только море открывало заманчивый простор. Но безумцем сочли бы того, кто предсказал бы, что через несколько дней в морской дали скроется вся эта устрашающая громада.

Политическая атмосфера сгушалась. Происходили бессудные казни. „Совет трех“ бессилен был предпринять что-нибудь; печати закрывали рот; городская дума представляла картину полного разброда: фракции с.-р., с.-д., бунда и к.-д. грызли друг друга и не могли сговориться. По городу циркулировали слухи о предстоящем вооруженном выступлении большевиков. В связи с этими слухами появилось 27 марта объявление ген. Шварца, в котором указывалось, что „всякое выступление в силу осадного положения будет беспощадно подавлено, при чем оружие будет применяться без предварительных предупреждений“. Организация власти не пленяла своей новизной. Демократизма хватило не надолго. Спустя несколько дней после „крутого поворота“ вызван был из Екатеринодара ген. Пильц, бывший помощником по гражданской части Грипина-Алмазова, фигура сочная, недвусмысленно-реакционная. В этом досужие мушкетеры видели начало сближения Екатеринодара с Одессой. Немногие понимали, какой будет принят курс внутренней политики. Но никто не понимал, какую роль во всей этой пуганице играют французы.

Так протекала жизнь Одессы до 3 апреля. Утром этого дня совершенно неожиданно для населения появилось объявление французского командования об оставлении союзниками города. Еще накануне в порт прибыли свежие транспорты греческих и французских войск. Все, что предпринималось до последней минуты, противоречило вопиющим образом объявлению ген. д'Ансельма. Растерянное сознание каждого требовало объяснений. И такое объяснение было найдено. Из официальных источников была передана следующая версия: „во Франции кризис правительства; Клемансо вышел в отставку после того, как палата депутатов выразила ему недоверие в связи с вопросом об интервенции в России. Составлен новый кабинет. Французское командование получило радиотелеграфное предписание своего правительства немедленно оставить Одессу“. Как выяснилось впоследствии, такая радиотелеграмма действительно была получена. Кто автор ее, установить нет возможности. Вся эта история оказалась вымыслом. Французы воспользовались таким шатким поводом, чтобы прикрыть им свое бегство. Если бы не подоспело это ложное радио, был бы подыскан другой мотив. В противном случае мог разыграться пассаж совсем неожиданный: вся армия в плену у атамана Григорьева. Европа не снесла бы такой пощечины...

И вот, длинной лентой, день и ночь без перерыва потянулись обратно в порт обозы, орудия, автомобили, пулеметы, люди, ослы, двуколки и экипажи. Нелепость всего этого предприятия стала до того очевидной, до того распространенной, что даже дети находили слова для насмешек. Вчера Одесса — „барьер“, сегодня о барьере забыто. Сколько человеческих сил, материальных средств затрачено впустую, без плана, без решения! Серьезные люди, усачи-генералы, политики и дипломаты — все несколько месяцев занимались игрой в бирюльки, передвигая при этом десятки тысяч вооруженных людей, растративая человеческие жизни и богатства. Никогда государственная деятельность государственных людей не была так близка к скверно разыгранному анекдоту. История колониальных экспедиций, насчитывающая не мало авантюристических попыток, не знает подобных прецедентов. Энно — конквистадор, д'Ансельм — завоеватель... Франше д'Эспре — диктатор Балкан на ампула водевильного героя... В Черное море канула директория, на каком-то транспорте уплыл „комитет обороны и продовольствия“; грозные „ахейцы“ поплелись восвояси к берегам великой Греции; „под занавес“ приехал ген. Пильц; „миллион едоков“ остались в Одессе и долгое время потом питались гороховым хлебом, приготовленным из того гороха, который был припасен для греческих ослос и остался, ввиду спешности эвакуации, невыезженным из Одессы. Так этот хлеб и был назван „ослиным“. В последнюю минуту последний посол украинского правительства А. Д. Марголин выехал из Одессы за границу, в различные центры Европы для прокламирования идей украинской директории. Три дня продолжалось бегство, на языке официальном — эвакуация. Великие державы уходили не без согласия атамана Григорьева, выразившего готовность „подождать“, пока последний из иноземцев не сядет на корабль.

Картина отъезда внушала отвращение. Французские офицеры за высокие деньги продавали свои места на пароходах русским эмигрантам. Торг шел самый беззастенчивый. Матросы, солдаты забыли о воинском звании и за плату превратились в носильщиков багажа. В последнюю ночь пьяные ватаги французов бродили по улицам города, стреляли в воздух, бесчинствовали и пугали прохожих. Дисциплина, видимо, совершенно пала. Ускоренный темп эвакуации, несомненно, объяснялся боязнью командования совсем потерять свой авторитет. Понятно, что разнузданная армия мало заботилась о сохранении казенного имущества. Порт был загроможден брошенными автомобилями, зарядными ящиками, частями машин. На земле валялись куски шелковой материи, бутылки шампанского, груды консервов и прочего добра. В таком „трофейном“ виде порт перешел в руки партизанов Григорьева...

Утром 6 апреля, когда последние суда отчаливали от берега Одессы, в город вступали передовые части григорьевцев. Население высыпало на улицы, чтобы увидеть воочию море солдатских голов, лес штыков и т. д. Но какво было всеобщее изумление, когда подопешшими незначительными частями конницы и пехоты исчерпана была вся армия „победителей“. Она не превышала трех тысяч человек всех видов оружия. Одеты не по сезону (уже было по-весеннему тепло), в папахах и рваных зипунах, на необрунных низкорослых лошадях, партизаны поражали своей ничтожной численностью и несоответствием тому внешнему великолепию, которым ослепляла исчезнувшая только что франко-греческая кампания. История задалась

целью дать населению показательный урок. От великого до смешного— один только шаг... Эта мысль в доступной, популярной форме преподнесена была человеческому сознанию.

Эпилогом ко всей этой трагикомической истории может служить опубликованный вскоре „манифест“ атамана Григорьева „В битве под Колосовкой было выбито кресло из-под Клемансо“... Этими словами начиналась прокламация, словно написанная на поле битвы народов. После Ватерлоо и Аустерлица Колосовка звучит для французского уха так же дико, как после экспедиции Наполеона в Египет глупая и бездарная интервенция в Одессе.

Полубандит, полупогромщик Григорьев и сам не подозревал, как много желчной иронии по адресу современных французов содержала его прокламация...

Вл. Канторович.

Вл. Г. Короленко в последние годы жизни.

Воспоминания.

Сейчас, когда так свежа боль от тяжелой утраты, трудно вызывать в памяти образ Владимира Галактионовича в его молодые годы. Поэтому я ограничусь несколькими воспоминаниями о последних годах его жизни, когда мне пришлось жить в Полтаве и часто видеть Влад. Гал-ча.

Перед тем я целых пять лет не видела Вл. Гал-ча — самый долгий промежуток за сорок лет, которые я его знала, и видевшие его говорили мне, что он страшно изменился, сильно постарел, стал совсем седым.

Помню то раннее сентябрьское утро 1918 года, когда мы — моя семья и А. В. Пешехонов, присоединившийся к нам в Киеве, — ехали по незнакомым пустынным полтавским улицам. Сердце как-то сжималось при мысли, что вдруг действительно старость уже наложила свою печать на Вл. Гал-ча, напоминая о приближающемся конце.

Но как только мы вошли на галерею одноэтажного дома на М. Садовой, опасение это разом рассеялось. Перед нами был тот же полный жизни человек, с теми же густыми, немного больше поседевшими волнистыми волосами, с теми же светящимися глубоким мягким светом глазами, с той же спокойной бодростью движений, с тем же живым интересом ко всему и заботливостью об окружающих.

В семье Вл. Гал-ча радужные и внимательная забота о тех, кого судьба закидывает в их гостеприимный дом, общий всем. Но и тут Вл. Гал. умел найти, в чем проявить особую заботливость, правда, на этот раз связанную с его увлечением того времени.

У Вл. Гал-ча всегда бывали какие-нибудь очередные увлечения. То он увлекался велосипедом и не хотел верить, что злоупотребление им может быть вредно для сердца, то коньками, то чисткой снега, то романами Вальтер Скотта, то пикетом или пасьянсами. На этот раз это было сапожничество. Со времени ссылки, когда Вл. Гал. занимался шитьем сапог, как ремеслом для заработка, он почти не возвращался к этой работе. Но с тех пор, как вопрос об обуви стал вызывать затруднения, особенно в такой большой семье, как у Вл. Гал-ча, он решил снова взяться за дратву. И, по своему обыкновению, сейчас же увлекся новой работой.

Не успели мы разобратся в приготовленной для нас маленькой квартирке во дворе того же дома д-ра Будаговского, как пришел

Вл. Гал. и начал осматривать нашу обувь, отбирая те пары, какие требовали немедленного ремонта. Потом нам пришлось прибегать к некоторым хитростям, чтобы отвлечь Вл. Гал. от этого намерения, и все таки небольшую починку он сделал. Себе и членам своей семьи Вл. Гал. до последнего года сам чинил всю обувь. Ясно представляется его фигура, согнувшаяся на низком деревянном кресле в его кабинете перед письменным столом, где в отдельном ящике были сложены сапожные инструменты и материалы. Часто, не слыша зова к завтраку или к обеду, он с увлечением заколачивал гвозди в подметку или подкидывал заплатку на сапог.

С большим удовольствием Вл. Гал. также пилил и колдовал дрова, топил печи, разгребал снег и всегда уверял, что физическая работа не только полезна, но и прямо необходима для его здоровья. Попытки докторов несколько ограничить его в этом отношении всегда наталкивались на энергическое сопротивление с его стороны. Даже в последний год, когда он уже сам замечал, что всякое напряжение вредно отзывается на его состоянии, надо было постоянное заботливое наблюдение близких, чтобы не допускать его до опасных для него физических усилий, настолько его бодрый, полный жизненной энергии организм не мог победить в себе потребности и привычки к физическому труду.

Зимой 1918—19 года здоровье Вл. Гал. было относительно нездорово, поэтому он мог, не возбуждая особых протестов со стороны близких, и чинить сапоги и разгребать снег. Делал он это в промежутки между литературной работой, которой он занимался также в ранние утренние часы, когда все в доме еще спали.

А по вечерам, когда все собирались за чайным столом, Вл. Гал. часто читал или понравившийся ему рассказ, из присланных ему на просмотр, или заинтересовавшую его статью, или отрывок из „Истории моего современника“. Когда предстояло чтение «Современника», приходило обыкновенно еще несколько более близких знакомых. Читал он очень хорошо, просто, отчетливо, еще усиливая голосом мягкий задушевный колорит своих очерков. Слушать его доставляло большое наслаждение. Когда, после его чтения, слышишь, как его вещи читают даже хорошие чтецы, в оттенках, в интонациях всегда чувствуется что то искусственное, нарочитое. Иногда, когда Вл. Гал. чувствовал себя утомленным, он принимался вечером за раскладывание пасьянсов. Даже и в это однообразное занятие Вл. Гал. умел вносить жизнь и увлечение. Он изобретал теории, предлагал состязания—у кого тот же пасьянс выйдет больше раз—и огорчался, если проигрывал.

Но еще приятнее было, когда наведенный вопросом кого-нибудь из присутствовавших, Вл. Гал. забывал о пасьянсе и начинал рассказывать что-нибудь из своей жизни. Рассказчик он был удивительный. Глядя в его загоравшиеся внутренним светом глаза, слушая его мягкий, то глубокий, то звонкий, голос, воображение невольно переносилось в далекий Березовский починок или на веселую речку Нижегородской губернии, вставали живые, художественно намеченные образы, воскресали сцены энергичной общественной борьбы 1891-го года в Нижнем или 1905-го года в Полтаве.

Всего труднее было побудить Вл. Гал. рассказывать о тех эпизодах, в которых он сам играл выдающуюся роль. Мне очень хотелось узнать от самого Вл. Гал. подробности о его роли в предотвращении погрома в 1905 году в Полтаве. Я слышала об этом от тех, кто сам

не присутствовал на площади в то время, когда Вл. Гал. силой своего личного влияния удерживал толпу на границе озверения. Рассказывая об этом по своему обыкновению очень объективно, Вл. Гал. все же главным образом отмечал роль других, в особенности железнодорожных рабочих, явившихся сплоченной группой в тот момент, когда он чувствовал, что голос отказывается ему служить и скоро он уже не в силах будет больше подчинять себе этих одичавших людей, со всех сторон напавших на него. Но при всем том, в ярко начерченной картине разбушевавшихся стихии слепой вражды, помимо воли Вл. Гал-ча в центре вставала спокойная фигура мужественного человека, никогда не искавшего, но никогда и не уклонявшегося от опасности и умевшего силой своего слова пробудить в людях человеческие чувства.

Эти вечера, когда Вл. Гал. читал или рассказывал что-нибудь, — лучшие воспоминания за три года Полтавской жизни. Днем квартира Вл. Гал. осаждалась разного рода людьми, имевшими дело к нему. Начинаящие писатели или поэты приносили ему свои произведения и спрашивали его мнения о них. И не бывало случая, чтоб он отказался принять и выслушать их. Иногда они просили его дать свой отзыв письменно, и он внимательно прочитывал все эти рукописи и давал обстоятельный отзыв, не скрывая правды, но умея облечь ее в мягкую, необходимую форму. Когда среди этого потока приносимых и присылаемых рукописей попадалась талантливая вещь, Вл. Гал. испытывал большую радость. Помню, с каким удовольствием Вл. Гал. принес раз вечером рассказ Д. П. Якубовича, возбудивший его большой интерес.

Кроме авторов, к Вл. Гал. шли и всякого другого рода люди с самыми разнообразными делами и просьбами. Один просил совета в каком-нибудь или личном, или общественном, или юридическом деле, и Вл. Гал., если сам затруднялся в чем-нибудь, направлял к какому-нибудь специалисту в данной области, давая от себя письмо. Другому хотелось узнать мнение Вл. Гал. о каком-нибудь волнующем его вопросе. Были тут и приезжие или проезжие, которые, очутившись на время в Полтаве, не могли пропустить случая поведать Вл. Гал. Наряду с ними приходили люди и по гораздо более серьезным делам. Немецко-гетманская власть, соблюдавшая некоторые европейские формы в городах, по деревням обнаруживала себя, не стесняясь. Там хозяйничали люди, думавшие только о возмещении своих убытков, а в случаях столкновения с крестьянами налетали карательные экспедиции. Пострадавшие нередко присылали своих ходоков в Полтаву к Вл. Гал., прося у него заступничества. Вл. Гал. волновался, писал, старался выяснить, к каким результатам должна привести подобная политика. Но гетманская власть так же мало была склонна принимать такие предупреждения, как и другие власти.

Все же в это время среди посторонних посетителей преобладали разного рода несчастные, выбитые современными событиями из нормальной колеи и искавшие у Вл. Гал. личной помощи. Перед ними дверь его никогда не закрывалась. У него было неискоренимое убеждение в своей обязанности помогать всякому нуждающемуся в помощи, убеждение, исходившее из присущего ему религиозного чувства ответственности за всякую человеческую жизнь. Если человек шел к нему, значит, на него и ложилась обязанность помочь. Малейшее сомнение в том, найдется ли на этот раз возможность помочь,

было ему тяжело. Правда, со стороны близких Вл. Гал. почти никогда и не встречал таких сомнений, точно тут был какой-то неисчерпаемый источник, а не скромная квартира человека, жившего исключительно своим трудом и никогда не имевшего налিশков. В чем тут секрет я, право, не умею объяснить. Должно быть, в добром желании.

Точно так же мне трудно объяснить, каким образом эта самая небольшая квартира могла вместить столько людей, сколько в ней иногда жило. Порой казалось, что на этот раз уже все комнаты заняты, и больше уж ни для кого нет места. Но, придя через несколько дней, встречал кого-нибудь нового, и не гостя, а жильца.

Оказывалось, что это какой-нибудь приезжий, которому буквально негде остановиться, — не почевать же ему на улице. — или вышедший из больницы и тоже не имевший пристанища, вообще человек, попавший в какое-нибудь затруднение и естественно идущий к Короленко. И эта гуттаперчевая квартира как-то растягивалась и принимала нового пришельца.

Помню, в первую зиму, когда квартира была особенно густо заселена, кто-то сообщил, что в больнице находится один приезжий, попавший в Полтаву вследствие какого-то несчастного стечения обстоятельств. От тяжелого заболевания ему грозила полная утрата зрения. Надо было серьезно лечить глаза, а не было ни средств, ни близких, даже никого знакомого. Между тем, повидимому, в квартире на М. Сидовой тоже не было ни одного свободного угла. Когда этот вопрос обсуждался, Вл. Гал. заявил, что у него в кабинете, где он спал, еще есть свободная кушетка, на которой можно временно пристроить постояльца. При этом Вл. Гал. замечал, что он не будет мешать тому спать, т. к., хотя он встает очень рано, но тихо и сейчас же садится за свой письменный стол работать.

Без сомнения, домашние отвергли такую комбинацию; кабинет Вл. Гал. всегда оставался неприкосновенным, но гуттаперчевая квартира как-то еще растянулась, и новый жилец, человек очень деликатный и не склонный злоупотреблять добротой, — временно поселился тут же, при чем его убедили, что он решительно никого не стеснит. И, — что всего удивительнее, — впечатление было такое, что и действительно это никого не стесняло. Так это всем казалось просто и естественно, что и новый гость сразу делался как бы новым членом семьи.

Первое время, когда и моя семья была почти в таком же положении, закинутая судьбой в Полтаву, мы хотя и не жили в квартире Вл. Гал-ча, но большую часть времени проводили там, тоже, конечно, мешая размеренному порядку жизни, мне казалось, что так невозможно жить, что нужно внести какие-нибудь реформы, как-нибудь упорядочить все это. Меня смущал этот людской поток, непрерывно проливающийся через дом Вл. Гал., иногда на время задерживавшийся там, но никогда не прекращавшийся. Мне думалось, что надо установить какие-нибудь приемные часы, какой-нибудь предварительный фильтр, или плотину, которая сдерживала бы этот поток и не весь пропускала в это привычное русло.

Но через некоторое время я пришла к убеждению, что это бы все испортило и ничего не исправило. Главная особенность отношения Вл. Гал. к людям, с которыми его сталкивала судьба, заключалась именно в непосредственной отзывчивости, в индивидуальном интересе и внимании к каждому отдельному человеку. А такое отношение не поддается никакому искусственному упорядочению. Вл.

Гал. ощущал отдельно, особенно каждого человека. Он чувствовал, что одному надо просто дать небольшую сумму, а другого надо пригреть; стакан чая, выпитый за семейным столом, будет для него больше значить, чем какое угодно пособие. Что тут упорядочить, когда люди и нужды их так разнообразны.

Внешним образом это, конечно, мешало иногда работе Вл. Гал., хотя домашние и старались охранять его покой в те часы, когда он сидел за письменным столом, но и это не всегда удавалось. Если дело было экстренное, то Вл. Гал. требовал, чтобы ему сообщали немедленно. Эти внешние помехи по существу гораздо меньше разрушали его настроение, чем если бы у него явилось сознание, что люди, которым он, быть может, необходим, уходят от его двери с тяжелым чувством.

Как бы то ни было, эти осенние месяцы 1918-го года были за эти три года самым спокойным временем для Вл. Гал. Именно тогда он бывал еще таким, каким я помню его в Нижнем Новгороде или в Петербурге. Потом уже редко удавалось улавливать на его лице ясное, жизнерадостное выражение.

В самой Полтаве в это время было довольно спокойно, хотя как раз для Вл. Гал. это спокойствие было весьма относительно. Незадолго перед тем зять его, К. Ив. Ляхович, был арестован и отправлен в немецкий лагерь и Вл. Гал. с дочерью Нат. Влад. пришлось ездить в Киев хлопотать о нем. Но хлопоты эти не прифели ни к чему. Только в ноябре 1918 г., когда в Германии произошла революция, К. Ив. Ляхович мог вернуться домой.

Приезд К. Ив. внес очень много в жизнь семьи Короленко. К. Ив. был человек богато одаренный, с кипучим темпераментом борца, неистребимой жадной общественной деятельности и открытым, жизнерадостным характером. По убеждениям он был последовательный социал-демократ (меньшевик). При всех режимах, какие были за эти три года в Полтаве, он был всегда в ярко выраженной оппозиции, но всегда умел найти себе общественную работу и всегда вокруг него кипела жизнь.

Поглощенный множеством дел, К. Ив. мало бывал дома; но когда он возвращался, часто в сопровождении кого-нибудь из товарищей, казалось, что вместе с ним в дом врывается сама жизнь, с ее шумом, движением и борьбой.

Со свойственным ему бодрым юмором он рассказывал о событиях дня, о своих встречах и столкновениях, спрашивал мнения Вл. Гал. и часто тут между ними вспыхивали горячие споры, касавшиеся не столько оценки совершившегося, сколько методов борьбы с ним и перспектив ближайшего будущего. При искренней взаимной любви, носившей со стороны К. Ив-ча, оттенок глубокого преклонения перед личностью Вл. Гал-ча, споры эти никогда не носили резкого, раздражающего характера. Напротив, они вносили много оживления. К. Ив. всегда был в самом водовороте событий, всегда знал все, что происходит в городе и вокруг него, первый привозил сведения о назревающих событиях, о наступающем кризисе, хотя сам он ни в одном из них не принимал участия, так как они не имели ничего общего с его партией (меньшевиков).

Ипроче, и независимо от К. Ив., как только в городе поселялась тревога, она начинала усиленно стучать в двери дома на М. Садовой. И те, кто предпочитал укрыться от уходящей власти.

и те, кто имел основание опасаться приходящей, — все шли к Вл. Гал., уверенные, что найдут у него и совет и помощь, и всегда находили и то и другое.

В этом не было ни тени прекраснодушного безразличия. Многое и многие вокруг возбуждало горячее негодование Вл. Гал., и он не переставал бороться с этим. Помню, с какой краской гнева в лице рассказывал Вл. Гал. об одном чине петляровской разведки, который заявил ему, ударяя по кобуре, что он собственноручно, этим самым револьвером, уложил, помнится, тридцать, если не больше, человек и каждому прикалывал на грудь свою визитную карточку. Так он считал себя вправе мстить за злодейство, жертвой которого погибли его близкие.

Это стремление рассчитаться, отомстить во что бы то ни стало, Вл. Гал. считал самым гибельным в наши дни. Именно оно и порождает самые страшные жестокости и вовлекает нас в тот заколдованный круг, из которого нет больше выхода. Он понимал рождавшее его чувство, но считал долгом человека бороться с ним.

Я не собираюсь здесь излагать политические взгляды Вл. Гал. и его теоретическое отношение к сменявшимся властям. Основы его идейных разногласий с советской властью известны из широко распространенных „писем к Луначарскому“. Моя цель только рассказать, хотя бы в общих чертах, как складывалась жизнь самого Вл. Гал. в эти тревожные годы.

Постепенно атмосфера вокруг Вл. Гал. начинала сгущаться, реже выпадали мирные вечера с чтением и рассказами, текущая жизнь мешала уходить в прошлое. А между тем, именно воспоминания были лучшим отдыхом от настоящего. Я писала в это время биографию Вл. Гал., и мне случалось иногда приходить к нему с просьбой помочь мне вспомнить тот или другой эпизод или разъяснить какое-нибудь недоумение. И когда мне удавалось отвлечь Вл. Гал. от текущих дел и забот и вызвать на рассказ о прошлом, лицо у него постепенно прояснялось, взгляд утрачивал напряженное выражение, голос звучал спокойнее. Но, конечно, это продолжалось недолго. Стоило притти кому-нибудь и рассказать про какую-нибудь очередную неприятность, и Вл. Гал. был уже весь тут, в сегодняшнем дне с его злобами и тревогами.

К тревогам других, которые никогда не были для Вл. Гал. чужими тревогами, присоединилась в это время и личная. В конце осени, еще во время гетманства, Евдокия Семеновна должна была поехать ненадолго в Крым. Но в наше время рассчитывать вперед очень трудно, и вернуться, когда она надеялась, оказалось невозможным. Вл. Гал. страшно тревожился, не получая долго известий, боялся, что Евд. Сем. поедет, несмотря на опасность, и в то же время нетерпеливо ждал ее каждый день, даже когда не было никаких шансов на ее приезд. Когда кому-нибудь из домашних удавалось уговорить Вл. Гал. прибегнуть для успокоения нервов к обычному лекарству — разложить пасьянс, он неизменно загадывал — приедет ли сегодня Евд. Сем. Если пасьянс не выходил, он загадывал то же на завтра и ни за что не соглашался отодвигать срок дольше, чем на неделю. А Евд. Сем. смогла вернуться только весной, на Пасхе.

Весна начиналась тревожная. Везде шли военные действия. Полтава была отрезана от всяких правильных сношений, питалась слухами, только усиливавшими тревогу. В городе участились гра-

бежи, разбой и смертные казни. Незадолго до прихода добровольцев на квартиру Вл. Гал. тоже был произведен налет.

Перед эвакуацией дочь Вл. Гал.-ча С. Вл., служившая в социальном обеспечении, получила оттуда 2 миллиона, предназначавшиеся для приютов „Лиги спасения детей“. Повидимому, слух об этом распространился в городе. В тот же самый день, вечером, в квартиру Вл. Гал. постучали с улицы и, когда дверь открыли, в нее вошло два человека с револьверами у пояса. Один из них подошел прямо к Вл. Гал., вышедшему на стук, и сказал ему: „Мы денкипские агенты. Нам известно, что у вас в доме 2 миллиона, отдайте их нам“. — Другой в это время крикнул стоявшей тут же дочери Вл. Гал., Нат. Влад., чтобы она не трогалась с места. Она, не обратив на это внимания, пошла в комнаты, чтобы предупредить домашних, а он побегал за ней с револьвером и выстрелил в нее, но, к счастью, промахнулся. Вл. Гал., оттолкнув говорившего с ним бандита, бросился следом за другим, нагнал его в ту минуту, когда он собирался вторично выстрелить в Нат. Вл., и успел схватить его за руку.

Между ними завязалась борьба, в которой приняли участие и Нат. Вл. и Евд. Сем., прибежавшая на шум. Во время борьбы револьвер, который бандит старался направить на Вл. Гал., выстрелил, но, по счастью, никого не ранил. Не ожидавшие такого сопротивления бандиты, видимо, побоялись, что на шум сбегутся соседи и бросились бежать, при чем один из них не успел даже вытащить из кобуры свой револьвер.

Все это произошло так быстро, что, когда сбежались остальные домашние, грабители уже скрылись. Вл. Гал. рассказывал потом, что в минуту борьбы он чувствовал такое бешенство, что, если бы ему удалось овладеть револьвером, он, не колеблясь, выстрелил бы в грабителя. Когда тот вырвался из его рук, он бросился к себе в кабинет, где у него был небольшой револьвер, схватил его и побегал следом за грабителями. Домашним пришлось силой не пускать его на улицу.

Потом, конечно, он был даже рад, что его остановили, но в ту минуту он хотел во что бы то ни стало захватить дерзких налетчиков.

Особенно глубоко волновал В. Г. усиливавшийся последнее время террор, принимавший уже характер системы.

Между тем события быстро развивались, и 28-го июля нов. ст. (день рождения В. Г., когда должен был состояться вечер в честь него) большевики выступили из Полтавы.

Помню этот тревожный день: непрерывные цепи обозов на улицах, доносящиеся откуда-то звуки стрельбы, испуганные лица жителей, прячущихся по домам, слухи, что на вокзалах идет бой.

Утром я была у Короленко, видела Вл. Гал., расстроенного, взволнованного толками о новых арестах, о возможных расстрелах, с усилившейся одышкой и сердцебиением. Потом мне пришлось уйти по разным делам. Только что я вернулась домой, как мимо нас на извозчике проехал Вл. Гал. с Нат. Вл. Я выбежала на улицу и окликнула их.

Вид у Вл. Гал. был измученный и огорченный; оказалось, ему сообщили, что отступающие власти собираются взять с собой заложниками несколько десятков арестованных полтавцев, — а уже их повезли на вокзал. Родственники арестованных прибежали по обыкно-

вению к Вл. Гал., как к последнему прибежищу. Предпринять что-нибудь было очень трудно, почти невозможно. Неизвестно было даже, к кому обращаться, так как власти уже начали эвакуироваться.

Вл. Гал. решил сам поехать на вокзал и попытаться на месте что-нибудь сделать. На вокзале царил обычная, при спешной эвакуации, суматоха. Никто не мог дать точных указаний о судьбе арестованных, отсылали друг к другу... В конце концов, пришлось вернуться без уверенности в участии заложников. Это глубоко расстроило Вл. Гал.

В тот же день, поздно вечером, в город вступили добровольческие части. И опять в городе началась полоса грабежей, разгромов и бессудных убийств. Опять к В. Г. потянулись пострадавшие и их близкие с просьбами о защите. Только теперь вместо Ч. К. и исполкома В. Г-чу приходилось ходить в контрразведку и к военному губернатору. Первое его впечатление от этих посещений было очень тяжелое. Его глубоко возмущало преобладавшее над всем желание мести, ослеплявшее большинство новых администраторов. Первые политические акты новой власти тоже не внушили ему доверия к ней. Как при всех режимах, он и тут был убежден, что только широкая самостоятельность и обеспечение гражданских свобод может упрочить режим. В частности, особенно важным он считал восстановление свободы печати.

Редакция начавшей выходить в Полтаве газеты „Полтавский День“ обратилась к В. Г. с просьбой дать туда какие-нибудь статьи.

В. Г. воспользовался случаем высказаться в печати по поводу того, что его больше всего волновало, и послал в „Полтавский День“ две статьи о текущих событиях. Во второй из них под заглавием „Ищут комиссара“ он изображал печальные картины травли людей, казавшихся подозрительными по коммунизму. „Полт. День“ не напечатал этих статей.

Таким образом и на этот раз В. Г-чу не была дана возможность принять участие в общественной борьбе тем оружием, к которому он исключительно прибегал.

Помню, что В. Г. сильно огорчало это вынужденное безмолвие, особенно в такие моменты, когда он считал своим долгом предостерегать общество от культивирования вредных, даже опасных чувств.

Повеле и тут ему приходилось ограничивать свою деятельность хлопотами за пострадавших.

Волнения, вызванные переменой власти, сильно отозвались на здоровье В. Г-ча. Ему необходим был отдых, а устроить его в Полтаве не было никакой возможности. Всякий разговор о текущих событиях, всякое новое нарушение права и справедливости глубоко волновали В. Г-ча особенно при невозможности открыто, в печати стозвать на него.

А всякая попытка оградить В. Г. от внешних событий, не допускать до него посторонних посетителей, только еще больше волновала его.

Наконец, доктора решили настоять на поездке В. Г-ча в санаторию д-ра Яковенко в Шишаках, близ ст. Ереськи, в двух часах езды от Полтавы по жел. дороге.

В конце августа 19-го года Вл. Г. с Евд. Сем. поехали в Шишаки, с тем, чтобы пробыть там неделю шесть.

Поездку эту нельзя было назвать особенно удачной. Только

первое время прошло там спокойно. Потом вокруг Полтавы начались сильные волнения, отрезавшие ст. Ереськи от Полтавы.

Очень тревожило Вл. Гал-ча, конечно, отсутствие известий из Полтавы, о которой в Шипаках ходили разные страшные слухи.

За время отсутствия В. Г. Полтава действительно подверглась два раза (17 и 24 окт.) нападению банд, но квартира В. Г. и его машины не пострадали. 11 дек. нов. ст. добровольческие части очистили Полтаву.

Вскоре после отъезда В. Г-ча уехали в Крым К. Ив. и Нат. Вл. Ляховичи с дочерью. Здоровье их обоих тоже требовало лечения и отдыха. Оставшиеся в Полтаве члены семьи В. Г.—его старшая дочь С. Вл., тетушка Е. О. и племянница М. Н. Лощкарева и близкие им люди, конечно, тоже сильно тревожились о нем и Евд. Сем. Известия стали получаться только в последнее время. Как только железнодорожное сообщение было восстановлено, дочь В. Г., С. Вл., поехала за ними в Ереськи. Через день все они вернулись в Полтаву.

Когда я первый раз увидела В. Г. после его возвращения, к моей радости примешалась большая доля грусти и новой тревоги. Что-то еле уловимое, но все-таки заметное для близко его знавших людей, изменилось в нем. В его походке, раньше такой уверенной и содрой, появилась как будто легкая задержка, чуть заметная замедленность. В речи тоже чувствовалось легкое затруднение, точно что-то немного мешало В. Г. говорить так легко и свободно, как всегда. Трудно передать, как больно и страшно было замечать эти первые, еще совсем слабые признаки того, что сильный организм В. Г. начинает подаваться под чрезмерными испытаниями, какие посылала ему жизнь. Прошел еще целый год, раньше чем эти явления стали заметны для людей, не знавших прежде В. Г., и мучительны для него самого. Но его близкие с этих пор с болью отмечали, что его физический организм уже не прежний. Правда, это ни в малейшей мере не отнялось на его духовных силах и ничем не сказывалось на его умственной работе, но следить за едва заметным, но неуклонным ухудшением его физического состояния было очень тяжело.

Несомненно, именно теперь ему нужно было бы создать спокойную, не раздражающую нервов обстановку и, быть может, окруженный неусыпными заботами близких, занимаясь любимой работой, он мог бы еще несколько лет сохранять силы для этой работы и для тех, кому он был так бесконечно дорог.

Но жизнь не давала возможности создать такие условия, а устранившись от жизни, пока сохранялся хоть маленький остаток физических сил, В. Г. органически был не в состоянии.

Трудно себе представить человека более мягкого и деликатного в отношении не только с посторонними, но, что еще реже бывает, и со своими. Единственные случаи, когда мне приходилось видеть проявление некоторого раздражения с его стороны, это когда близкие, опасаясь вредного влияния волнений на В. Г., пытались не всех приходящих допускать до него. Он боялся, что при передаче может быть случайно упущено что-нибудь, чем бы он мог воспользоваться для помощи человеку. Между тем число посетителей не только не уменьшилось, а все росло, и дела, с которыми они приходили, становились, к несчастью, все более однообразны. Это были все просьбы о письмах к Раковскому, о письмах к Петровскому, об обращении в Ч. К., в исполком.

Весна и лето 20-го года были, пожалуй, самым тяжелым временем в этом отношении. В. Г. чувствовал себя неважно. Врачи запрещали ему всякие физические усилия, даже сколько-нибудь отдаленные прогулки и советовали больше сидеть спокойно на воздухе и, конечно, избегать всяких волнений.

В. Г. послушно сидел на своей террасе с книгой или пасьянсом, вместе с кем-нибудь из домашних. Но вот на дорожке сада от ворот показывалась какая-нибудь фигура, по большей части с взволнованным, иногда заплаканным лицом. Несомненно, это розыскивали В. Г.-ча. Попытки домашних отвлечь внимание В. Г. и прежде спросить пришедшего, необходимо ли ему во что бы то ни стало говорить с самим В. Г., почти никогда не удавались. У В. Г. было какое-то особенное настороженное внимание в этом направлении. Чем бы он ни был занят, он сейчас же замечал человека, искавшего его, немедленно же он поднимался и приглашал посетителя в свой кабинет. Там у него была особая записная тетрадь, в которую он тщательно записывал обстоятельства каждого дела, не забывая напомнить рассказывающему, чтобы он сообщал только то, в чем совершенно уверен, только чистую правду, так как он может хлопотать, только когда он убежден, что даже невольно, даже ради защиты кого-нибудь, он не утверждает неправды. И настолько сильно было его влияние на людей, что я не слышала ни разу, чтобы кто-нибудь, по крайней мере, намеренно, ввел его в заблуждение. И сейчас же, выслушав рассказ, если дело было серьезное, В. Г. старался сделать все возможное. Он писал письма в Харьков, давал рекомендации, к кому его просили, чаще же всего сам отправлялся в те учреждения, от которых зависела участь человека.

Мучительно тяжелы были для В. Г. эти хождения и долго он не мог оправиться после них, но никогда, пока он в силах был двигаться, он не считал себя в праве уклоняться от них; все-таки это был шанс, пусть небольшой, спасти человека.

И когда человек, по большей части совершенно раньше неизвестный В. Г., обращался к нему со своей просьбой, он мог быть уверен, что с этого момента его дело станет личным делом В. Г. и он будет следить за ним с напряженным неослабным вниманием. Он не забудет дня, когда оно будет разбираться в суде, если оно шло через суд, сам напомнит о нем адвокату, не забудет и раз и два справиться в других инстанциях, часто склонных забывать о людях, числящихся за ними.

Если были у него за эти тяжелые годы радостные дни,—то это были дни, когда какие-нибудь из его хлопот увенчивались успехом.

Зато какой мрак, какая гнетущая атмосфера воцарялась во всем доме, когда туда приходило известие, что все хлопоты оказались напрасными. Помню затуманенный, отсутствующий взгляд В. Г., его частую одышку, невозможность отвлечь ничем его мысли от одного гнетущего впечатления.

Только если в это время приходил кто-нибудь новый, с новым, не терпящим отлагательства делом, В. Г. побеждал свою мрачную рассеянность. Опять появлялась записная книжка и опять туда внимательно заносились данные для новой мучительной эпопеи.

Конечно, не один В. Г. хлопотал в Полтаве по этим тяжелым делам. Здесь существует О-во Полит. Красного Креста, энергично действующее в том же направлении, и одним из наиболее деятель-

ных его работников является близкий В. Г. человек, сестра Евл. Сем. — Пр. Сем. Ивановская, во многом облегчавшая эту работу В. Г., а в последние месяцы его жизни взявшая ее почти целиком на себя. Но часто случалось, что человек, обращавшийся к В. Г.-чу, был уверен, что только его личное участие, его личная просьба может спасти близких ему людей. Хотя сам В. Г. и не разделял этого убеждения, но у него не хватало духу отказывать людям в этой последней, пусть даже призрачной надежде, и он, не обращая внимания на тяжелую одышку и сердцебиение, шел, куда оказывалось необходимым, писал письма, посылал телеграммы.

Приезд последнего приезд А. В. Луначарского в Полтаву. Это было в начале июня 1920 г. В. Г. чувствовал себя в это время особенно плохо и врачи категорически запретили ему всякие волнения и предписали вообще не выходить из дому. Но как раз в эти дни состоялось 3 смертных приговора и хлопоты В. Г. о их отмене не привели к благоприятному результату.

Приезд Луначарского полагал новую надежду. Вмешательство народного комиссара могло остановить казнь. Но Луначарский должен был пробыть в Полтаве лишь несколько часов и уехать сразу после митинга, на котором он должен был выступать.

И вот, не обращая внимания на запрещение врачей, В. Г., борясь с одышкой, отправляется в городской театр на митинг, прослушивает речь Луначарского и после ее окончания говорит ему:

„Я прослушал всю вашу речь. Она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственна справедливость и великодушие, а не жестокость. Покажите же в этом случае, что вы действительно чувствуете себя сильными: пусть ваш приезд ознаменуется не актом жестокости, но актом милосердия“.

В это же тяжелое время в семье В. Г. тоже царил тревожное настроение. Ляховичи, уехавшие из Полтавы осенью 1919 г. ненадолго, в целях лечения, были отрезаны там совершившимся переворотом и лишены возможности не только вернуться, но даже дать о себе какую-нибудь весть. Это страшно волновало всю семью, тем более, что К. Ив., Нат. В. и дочь их Соня никогда не отличались крепким здоровьем, а тут кроме того не было известно, удалось ли им как-нибудь устроиться в материальном отношении, что по слухам было очень трудно в Крыму.

К этой постоянной тревоге в середине лета присоединилась еще острая. Заболела тяжелой дизентерией жившая у Вл. Г. другая внучка, дочь его покойной племянницы, прелестная двухгодовалая девочка, которую В. Г. нежно любил. Ее болезнь страшно волновала В. Г. Правда, при своем всегдашнем оптимизме он долго не хотел верить в серьезную опасность, но когда врачи принуждены были предупредить домашних, что нет никакой надежды, я помню, что В. Г. горько плакал.

Но усилия врачей, неусыпный, исключительный уход и жизнеспособный организм ребенка сделали чудо, и она стала поправляться.

Помню, как накануне 15-го июля я пришла к Короленкам и на галлерее увидела В. Г., сидевшего с Маринкой на руках. Ребенок еще еле держал головку, худенький, бледный, и В. Г. нежно поддерживал его, старательно закутывая ножки одеяльцем.

Выздоровление внучки было лучшим подарком, который могла послать судьба ко дню его рождения.

На фоне тяжелых впечатлений, которыми так богато было лето 1920 г., этот день 15/28 июля выделяется светлой точкой.

В. Г. всегда был врагом всякого рода торжеств, особенно связанных с ним. Помню, сколько он всегда употреблял уловок, чтобы уклониться от празднования своего 50-ти-летия в 1903 и 60-ти-летия в 1913 годах. Он смотрел на это, как на самую тяжкую обузу, и начинал волноваться при первом намеке на какое-нибудь готовящееся чествование его. В 1903 г. в Петербурге удалось устроить юбилей его, буквально застигнув его врасплох, когда он, уверившись, что все опасные даты прошли, наконец, в ноябре месяце приехал туда по делам „Русского Богатства“.

Теперь, ввиду болезненного состояния В. Г.-ча, все было заранее предупреждено, что В. Г. ни в каком случае не сможет принять участие ни в каком общественном чествовании. Вечер, устроенный в этот день в Городском театре, привлек массу публики и прошел с большим подъемом, хотя было известно, что В. Г. не явится туда. Но особенно глубоко неизгладимое воспоминание оставило то, что происходило в этот день в доме самого В. Г. Полтава в этот день показала, что она умеет ценить такого человека, как В. Г., и сердцем отзываться на его отношения к людям, среди которых проходила его жизнь.

С утра до вечера в квартиру В. Г. непрерывным потоком шли люди, желавшие одного—просто, без приготовлений, без всякой искусственной формы выразить В. Г., как глубоко они его уважают и как горячо любят. Ни речей, ни адресов, ни торжественных приветствий тут не было. Большинство только с несколькими простыми, от души сказанными словами, или даже молча, пожимали руку В. Г., а когда его, растроганного и утомленного, уговаривали уйти на время к себе отдохнуть, передавали свой привет Евд. Сем. или дочери, прося не беспокоить В. Г.-ча. Тут были представители всех профессиональных союзов Полтавы, всех обществ и учреждений, русские, евреи, украинцы, поляки, учащиеся, дети, люди, не входящие ни в какие организации, пришедшие просто от себя выразить то, чем переполнено сердце.

Это было время, когда продовольственная нужда уже начала сильно чувствоваться в Полтаве. Большая семья В. Г. должна была при таких обстоятельствах испытывать большие лишения; запасов и излишков у них никогда не бывало, а литературный заработок В. Г., ввиду затруднений с бумагой и печатаньем, отсутствие частных издательств, газет и журналов, где бы он мог писать,—свелся почти к нулю.

Правда, власть, как только начались эти затруднения, предложила В. Г. самую широкую государственную помощь и прежде всего зачислила его с семьей в списки академического пайка. Но В. Г. со свойственной ему всегда мягкой твердостью, поблагодарив за доброе желание, решительно отказался от всех форм правительственной помощи. Он написал в исполком, что никогда ни при каком режиме не считал для себя возможным пользоваться официальной помощью. Он не состоит ни на какой государственной службе и потому не считает себя вправе получать плату от правительства. Он независимый писатель и хочет сохранить до конца полную независимость от кого бы то ни было. Так оставалась и до конца жизнь В. Г. Имя его

продолжало стоять во главе списка на академический паек, но паек этот ни разу не брался.

В Полтаве это, конечно, было известно, но полтавские жители не могли допустить, чтобы человек, отдававший за них свои силы, борющийся за жизнь каждого из них, когда ему грозила беда, в ю душу вкладывавший в эту борьбу, сам со своими близкими страдал от нужды.

И вот в день 15-го июля полтавцы пожелали так же от души помочь В. Г-чу. Сгранный вид представляла в этот день галлерея дома В. Г-ча. Там стояли мешки с мукой, с крупой, с солью, бачки с маслом, корзины с яйцами, бруски мыла и многое другое, необходимое для жизни. В разных учреждениях и производствах служащие и рабочие заранее выделяли, сколько кто мог и хотел из своего папка, и собирали таким образом необходимые продукты, чтобы обеспечить семью В. Г-ча.

Никогда ни на каком юбилее никакие торжественные речи, адреса и позарки не производили на меня такого впечатления, как эти приношения, вызванные тревогой за жизнь любимого писателя. В этом было что-то такое простое, естественное, человеческое, так гармонизировавшее с истинно-человеческим отношением к другим самого В. Г-ча.

Когда я смотрела тогда, как люди со смущенным вилом втаскивали на галлерею эти мешки и торпливо, сказав кому-нибудь из домашних что это и от кого, спешили скорее уйти, часто не повидав даже самого В. Г-ча,—мне казалось, как прав В. Г. в своей неослабевающей вере в человека. Истинно хорошее чувство люди всегда умеют ценить. Это было, конечно, проявление отношения не к писателю только, а к человеку. Был ли писатель, хотя бы он обладал и более крупным талантом, пробудил бы в людях такую непосредственную заботу о себе. Так относятся люди к близким, родным.

Это сказывалось не только в желании устранить от человека материальную нужду, но и в самой форме, в какой это делалось, и в некоторых маленьких оттенках. Чувствовалось, что людям хочется не только отвести грозящий голод, но и доставить хоть небольшое удовольствие, если не самому В. Г., то хоть маленьким членам его семьи. Рядом с мукой, крупой и салом тут были и баночки с вареньем, мармелад, яблоки.

Как ни боялся В. Г. всяких публичных проявлений, на этот раз и он был тронут простотой и безыскусственностью сказавшегося тут чувства, хотя его долго смущало, не лишали ли себя чего-нибудь делившегося с ним люди. Но он понимал, конечно, что отказ был бы незаслуженной обидой.

Прошел праздничный день и опять потянулись мрачные будни с их все теми же тяжелыми впечатлениями. Здоровье В. Г. заметно ухудшалось, а между тем жизнь продолжала предъявлять ему все такие же непомерные требования. Теперь уже всем стало заметно, что речь В. Г. не течет так свободно, как раньше, что продолжительный разговор утомляет его, что походка его потеряла упругость и ноги как будто с усилием отделяются от пола.

И все-таки В. Г. не прекращал посещения все тех же учреждений, с которыми так неразрывно были связаны последние годы его жизни.

Сам больной и слабеющий, он не переставал упорно и настойчиво бороться за каждую человеческую жизнь.

К моему большому сожалению, моя память сохранила мало отдельных эпизодов, характерных для В. Г.

Надеюсь, что другие, встречавшиеся с ним за эти годы, окажутся счастливее меня в этом отношении и поделятся ими со всеми, кому дорога память В. Г., но, когда я восстанавливаю в памяти это время, характернее отдельных, быть может, ярких эпизодов, кажется мне его упорное напряженное однообразие. Когда просматриваешь дневники В. Г. за 18-й, 19-й и 20-й годы, в них поражает это же красноречивое однообразие. Это повесть непрерывного „хождения по мукам“. Менялись только названия учреждений — разведка, Ч. К., контр-разведка, опять Ч. К., — а по существу все та же борьба за жизнь против вражды и мести.

В ноябре 20-го года семья Вл. Гал. испытала большую радость. Вернулись из Крыма Ляховичи, не мало перенесшие там тяжелого, но все-таки здоровые и даже как будто окрепшие. Особенно поправилась внучка Вл. Гал., уехавшая слабым, болезненным ребенком и вернувшаяся, через полтора года, живой и бойкой шестилетней девочкой. Ея появление в доме было настоящим лучом света и жизни, разгонявшим угнетающую атмосферу и неизменно вызывавшим улыбку на лице Вл. Гал.

Он захотел сам начать учить читать девочку и некоторое время уроки продолжались к обоюдному удовольствию учителя и ученицы.

Приезд Ляховичей имел очень большое значение для Вл. Гал. Нечего говорить о радости свиданья с любимой внучкой, дочерью и зятем, но К. И. Ляхович сразу значительно облегчил работу Вл. Гал. Ему уже становилось трудно вести одному свою обширную корреспонденцию, разбираться в массе накопившихся рукописей, своих и чужих, делать заметки о текущих делах и принимать посетителей, беседы с которыми начинали сильно утомлять Вл. Гал.

Несмотря на большую потребность в живой, общественной деятельности, К. Ив. решил не брать на себя никакой специальной работы и посвятить большую часть времени исполнению секретарских обязанностей при Вл. Гал-че.

Работа кипела у него в руках. Он быстро вошел в курс всех дел Вл. Гал-ча, выучился писать на машинке и сделался буквально необходим для Вл. Гал-ча. При этом всякое дело он делал спокойно, без суеты и как-то особенно бодро и весело, поднимая настроение и самого Вл. Гал., и всех в доме.

Наряду с этим он, конечно, не устранялся от участия в общественной жизни, и его появление сразу почувствовалось не только в доме на М. Садовой, но и во всей Полтаве. Он был избран железнодорожными рабочими в Сов. Раб. Д-п., и его выступления там всегда производили большое впечатление. И отзвуки этой живой общественной работы слышались теперь и в доме Короленко, несколько разряжая сгустившуюся там атмосферу. В отсутствии К. Ив. к Вл. Гал., как к магниту, тянуло последнее время главным образом выбывших из строя, и невольно получалось впечатление, что вокруг только пострадавшие в общественной борьбе, а борцов нет. Теперь появились и деятели, а это всегда поднимает настроение.

Конечно, чтобы не утомлять Вл. Гал-ча, К. Ив. не затевал уже с ним, как 2 года тому назад, споров на принципиальные темы, но

все же он рассказывал ему о текущих событиях полтавской общественной жизни и своими живыми и остроумными рассказами умел отвлекать Вл. Гал-ча от исключительного сосредоточения на тех тяжелых заботах, которые продолжали обступать Вл. Гал-ча.

Так шла зима 1920—21 г. К концу ее болезненные симптомы у Вл. Гал-ча настолько усилились, что лечивший его в течение 15 лет доктор Харечко не раз приглашал на консилиум врачей специалистов по внутренним и нервным болезням, а также ушным и глазным, чтобы всесторонне исследовать причины болезненного состояния Вл. Гал-ча. В это же время впервые приезжали на консилиум и лучшие харьковские доктора, тоже специалисты и по внутренним и по нервным болезням.

Диагноз, поставленный этими докторами, был очень тревожен. Они нашли у Вл. Гал-ча ярко выраженный склероз артерий и первые признаки начинающегося паралича мозговых центров, заведующих двигательными нервами, в особенности нервами, управляющими глотательными движениями, движениями языка и ног. Но во всяком случае этот болезненный процесс был еще в начальной стадии и мог протянуться на более или менее продолжительное время.

Наступавшая весна готовила Вл. Гал-чу тяжелый удар, с последствиями которого уже не мог справиться его ослабленный организм.

В начале марта 1921 года в ряде городов были произведены массовые аресты меньшевиков. В Полтаве самым видным меньшевиком был К. Ив. Ляхович. Можно было опасаться, что и он будет арестован. Сам по себе арест не смущал никого в семье Короленко. И сам Вл. Гал. в молодости, и К. Ив. при старом режиме и при германской власти не раз подвергались этой неприятности и никогда не смотрели на нее трагически. Но в данном случае были особые обстоятельства, совершенно менявшие дело. Во-первых, К. Ив. стал крайне необходим Вл. Гал-чу при его болезненном состоянии, во-вторых, именно во время своего заключения при царской власти К. Ив. получил ревматизм, вызвавший тяжелую форму сердечной болезни.

При нормальных условиях эта сердечная болезнь сказывалась лишь от времени до времени острыми припадками. Когда они проходили, К. Ив. чувствовал себя совсем здоровым и мог работать без устали. Но доктора предупреждали его и родных, что при состоянии его сердца он совершенно не может вывести себя из инфекционной болезни, в особенности сыпного тифа. Между тем в Полтавской тюрьме именно в это время появилась эпидемия сыпного тифа.

17-го марта на квартиру Вл. Гал-ча явился посланный из чрезвычайной комиссии с письмом к К. Ив. Ему сообщалось, что он подлежит аресту. Но так как чрезвычайная комиссия не желает бескончить Вл. Гал., производя арест в его квартире, то К. Ив. предлагается явиться самому в помещение чрезвычайной комиссии.

На это К. Ив. ответил письмом, в котором он благодарил за деликатность, но сообщил, что его арест будет очень тяжел для Вл. Гал., хотя бы и в такой форме, т. к. он ведет все его дела, и он отказывается сам являться.

Вл. Гал. с своей стороны написал, что для К. Ив. заключение в настоящее время крайне опасно, т. к. он рискует заразиться тифом, а при его сердце тиф для него смертелен, кроме того он по своим делам не может обойтись без К. Ив. По изложенным мотивам он

просил заменить для К. Ив. заключение в тюрьме домашним арестом.

Через два часа из чрезвычай. ком. явились агенты с предписанием арестовать К. Ив.

К величайшему несчастью, предвиденье Вл. Гал-ча оправдалось. Через 2½ недели после ареста, К. Ив. действительно заболел тифом и вскоре его разрешено было взять домой.

Несмотря на совершенно исключительное отношение полтавских докторов, установивших у постели К. Ив. непрерывное дежурство и по 2 раза в день собиравшихся на консилиум; несмотря на все средства, какие были применены ими; несмотря на неуслышанный любовный уход, болезнь не поддавалась. Пока шла борьба и страх сменялся надеждами, чтобы снова усугубить место отчаяния, Вл. Гал. не хотел верить в возможность трагического исхода. Действительно, трудно было допустить, чтоб этот молодой, полный сил человек, ушел из жизни. Жила надежда, что вопреки всему он восторжествует над болезнью. Но сейчас же опять вставала мучительная тревога.

Накануне последнего дня наступило неожиданное улучшение. Это был теплый, почти летний день. Я пришла к Короленкам узнать последние вести. В саду, под голыми еще деревьями, у окон кабинета надвух вынесенных из дома стульев сидели Вл. Гал. и Евд. Сем. Не знаю почему, когда я увидела их двух, сидевших так одиноко на непривычном месте (на террасе часто совещались тогда доктора), у меня как-то сжалось сердце и, хотя Евд. Сем. сообщила мне довольно утешительные сведения, я ушла с самым тяжелым чувством.

На другой день К. Ив. ча не стало.

Его похороны показали, какое значение он имел для Полтавы, несмотря на то, что после 1905-го года он провел в ней в сущности немного времени*). Таких похорон в ней до тех пор не было.

Трудно дать почувствовать, что значила смерть К. Ив. для всей семьи Короленко. Вл. Гал-чу она нанесла последний удар, окончательно сломивший его силы. Болезнь его после того стала быстро прогрессировать. Речь он утратил почти совершенно, так что только близкие могли понимать его, с остальными же ему приходилось объясняться письменно, — слабость увеличивалась с каждой неделей.

Но и это, пожалуй, было не самое худшее. Тяжелее всего было глубокое изменение настроения. Присущий Вл. Гал-чу оптимизм, как будто, совершенно покинул его. Как будто на него спустилась какая-то туча мрака и окутала его всего. Взгляд, исполненный скорби, смотрел куда-то вдаль. Черты лица утратили прежнюю мягкость: в них появилась какая-то далекость, порой, как будто, даже суровость. Улыбка появлялась редко и в ней чувствовалась какая-то напряженность, так что от нее становилось еще больнее.

Новый консилиум установил с полной определенностью изжелтую форму так называемого бульбарного паралича, не поддающую надежды на выздоровление.

Теперь уже нельзя было и думать о каких-либо физических усилиях, которые могли быть непосредственно опасны для жизни. Всякая напряженная работа, волнующие разговоры были категорически воспрещены.

*) Он эмигрировал юной, вернулся после революции, весной 1917-го г., летом 1918-го был арестован, вернулся в ноябре 1918-го г., в сентябре 1919-го уехал в Крым и вернулся в июле 1920-го г., чтобы погибнуть в апреле 1921-го г.

Но и после этого Вл. Гал. не устранился от той деятельности, которая наполняла за эти годы его жизни. Принимать лично всех, приходивших к нему, он уже, конечно, не был в состоянии, его крайне стесняла невозможность говорить. Большая часть тех людей, какие искали у него помощи, направлялась теперь к Пр. Сем. Ивановской.

Но многие все-таки не могли отказаться от надежды, что именно Вл. Гал. и только он может спасти их близких. В таких случаях семья Вл. Гал. не считала себя в праве становиться между ним и тем, что было для него дороже жизни, — возможностью борьбы за чужую жизнь.

Помощницей Вл. Гал. во всех его делах стала теперь его старшая дочь, С. Вл., отказавшаяся тоже от большей части своей общественной работы. Она принимала посетителей, записывала их дела и сообщала о них Вл. Гал-чу. Хлопотать по ним лично он уже теперь не мог, но он писал письма и внимательно следил за исходом дел.

И малейшее подозрение, что, щадя его, от него скрывают что-нибудь, в чем бы он мог еще помочь, глубоко волновало его.

Между тем к хроническим причинам волнений Вл. Гал-ча в это последнее лето прибавилась еще новая. Доходившие до него сведения о голоде в Поволжье сильно тревожили его. Его мучило сознание, что он уже не может принять активного участия в борьбе с этим народным бедствием, как в 1891 году. Тем не менее, когда он получил сообщение, что выбран почетным председателем общественного комитета помощи голодающим в Москве, и просьбу оказать содействие его работе составлением воззвания к Западной Европе, он не стал себя в праве отказывать.

Эта работа сильно волновала Вл. Гал. Он начал писать воззвание, писал иногда даже по ночам, так что, под влиянием волнения и напряженных мыслей, направленных на этот близкий для него и большой вопрос, у него развились бессонницы. В конце концов, он принужден был приостановить эту работу. Потом уже он не возвращался к ней.

Осенью мне пришлось на время уехать из Полтавы и, когда я через месяц вернулась, меня тяжело поразила перемена, происшедшая во Вл. Гал-че. Когда видишь кого-нибудь каждый день, изменения в нем не так заметны. Теперь уже Вл. Гал. с трудом ходил, часто придерживаясь за мебель, и не говорил даже с домашними.

Всегда у него была в кармане книжечка и карандаш, и он писал, что хотел сказать. До какой степени это ему было тяжело, понятно каждому.

Помню, когда я первый раз по приезде из Харькова, была у Вл. Гал-ча, он написал мне: „Видите, я теперь совсем перестал говорить, а скоро, пожалуй, и писать не смогу. У меня уже сильно изменился почерк“. Я постаралась успокоить Вл. Гал-ча, тем более, что в его почерке действительно, по-моему, не было заметной перемены. Разумеется, когда он писал торопливо, карандашом, иногда держа книжечку на весу, выходило не так разборчиво, как обыкновенно, но, когда он писал у себя за письменным столом, почерк у него был прекрасный, красивый и благородный.

За письменным столом В. Г. попрежнему проводил много времени и, вероятно, это были его лучшие часы. До самого последнего

времени он продолжал писать „Историю моего современника“, и эта работа действовала лучше всего на его настроение. В те дни, когда его состояние позволяло ему работать, он чувствовал себя спокойнее и лицо его было менее мрачно.

Помню свой последний, более продолжительный разговор с В. Г. Это было уже зимой, незадолго до самого последнего острого заболевания Вл. Гал-ча.

Я пришла в то время звонка, одного из наиболее трудных для Вл. Гал-ча моментов в течение дня. Глотание становилось для него все более затруднительным, часто пища попадала не в то горло, и каждый раз можно было опасаться, что В. Г. захлебнется. Несколько раз в такие моменты приходилось посылать за доктором. И все близкие переживали мучительную тревогу.

В этот день звонок прошел благополучно и Вл. Гал. со своим обычным радушием непременно настаивал, чтобы я взяла чего-то приготовленного специально для него.

После завтрака В. Г. пошел немного прилечь в кабинет и разрешил мне посидеть около него—„развлечь меня“, как он написал в книжечке.

Я старалась рассказать В. Г. что-нибудь, не волнующее и не требующее ответов, он внимательно, как прежде, слушал, потом пришла Евд. Сем. и Вл. Гал. написал мне: „Притиже нам, что я написал сегодня“. Я взяла со стола Вл. Гал. его рукопись и, правду сказать, у меня сильно забилося сердце. Я боялась, что, если почерк В. Г. стал менее разборчивым, я не смогу сразу читать бегло, а это будет неприятно Вл. Гал-чу, т. к. он знал, что я легко читаю его почерк, и мои замечания наведут его на мысль, что его почерк действительно изменился.

Но счастью, этого не оказалось, я могла читать свободно, и мне так приятно было чувствовать, что на литературной работе Вл. Гал-ча его болезнь совсем не сказывается. Но потом мне стало очень тяжело. Окончив чтение, я сказала Вл. Гал-чу:

— Как я рада, что вы пишите уже о возвращении из Ам-и. Теперь скоро вы доедете до Нижнего-Новгорода, я с нетерпением жду, когда вы будете писать об этом времени.

Вл. Гал. взял книжечку и написал:

— Едва ли я до него доеду. Мне уже, вероятно, не придется писать о нем.

Я стала, конечно, возражать, но тяжелое предчувствие не проходило.

На каждый день Вл. Гал. в состоянии был писать „Современника“, и не только болезненное состояние мешало этому,—иногда какое-нибудь текущее событие так захватывало его, что он не в силах был уйти в прошлое. Он волновался, собирался писать по этому поводу, обдумывал, что лишило его сна и еще ухудшило самочувствие.

Особенно мучила его судьба детей, гибнущих от голода или подвергшихся преследованиям. Помню, как тогда, в последнее время, я пришла утром. Вл. Гал. чувствовал себя хуже, чем все последние дни. На мой вопрос, не случилось ли чего-нибудь нового, Евд. Сем. сказала мне, что накануне что-то навело В. Г. на мысль о юбилее неслыханно молодых заключенных. Ночью Вл. Гал. не мог спать, просматривал статьи по этому вопросу и намечал план того, что собирался написать сам.

С большим интересом и вниманием следил он за работой „Лиги Спасения Дети“, почетным председателем которой он состоял, и в которой главную работу несла его дочь С. Вл. и самый близкий семье Короленко человек, М. Л. Кривинская.

В последнее время к основной болезни Вл. Гал-ча не раз присоединялись острые заболевания. Еще в октябре он был болен катаральным воспалением легких, которое, к счастью, уступило лечению, но, повидимому, оставило какие-то следы в легком. Во всяком случае температура стала нормальной, В. Г. встал с постели и даже мог снова выходить в другие комнаты.

В конце ноября повидаться с Вл. Гал-чем приехал из Москвы близкий друг Вл. Гал-ча со времени студенчества, В. Н. Григорьев, и вместе с ним специалист по легким болезням доктор Хорошко, подтвердивший диагноз полтавских и харьковских врачей.

Приезд В. Н. Григорьева в эти тяжелые дни был большим утешением для всей семьи Короленко, в особенности для старших ее членов, знавших В. Н-ча с ранней молодости.

Для Вл. Гал-ча радость свидания была омрачена тем, что на другой же день по приезде В. Н. заболел воспалением легких и страшно встревожил всех. Но счастью, болезнь приняла благоприятный оборот, и В. Н. смог встать, пролежав в постели около трех недель. В. Г. в это время был тоже не совсем здоров, так что д-р Харечко не позволял ему вставать с постели. Но около 10 декабря все просудные явления прошли, температура установилась нормальной. В. Г. начал опять выходить в другие комнаты и снова принялся за работу.

Казалось, что настало хоть маленькое облегчение, В. Н. был здоров и В. Г. чувствовал себя лучше, что всегда бывало, когда проходило острое заболевание, присоединявшееся к его основной болезни. Но недолго продолжалась эта передышка.

18-го декабря В. Г. опять почувствовал себя плохо, температура повысилась, и д-р Харечко констатировал возобновление процесса в легких. Сейчас же были приняты самые энергичные меры — банки, горчичники, горчичные ножные ванны, но прервать процесс не удалось. Температура держалась высокая, выше 38°. Общее состояние В. Г. было тяжелое. Вл. Гал-ча мучил почти непрерывный кашель, одышка, боли в груди. Но сознание было совершенно ясное. В. Г. продолжал интересоваться событиями и делами, обычно волновавшими его. Забота о других не покидала его даже в эти дни последней борьбы за жизнь, которую так любил В. Г. Он просил сообщать ему о делах, которые интересовали его, и даже тут старался еще приходить на помощь другим. В эти самые дни он подписал поручительство за одного сельского священника, находившегося в заключении в Полтаве, и просьбу об освобождении другого заключенного.

Болезнь между тем развивалась со с ранней быстротой. Все лучшие медицинские силы Полтавы принимали участие в консультациях, приходивших по два раза в день. У постели В. Г. непрерывно дежурил один из врачей и сестра милосердия. Но никакие средства не помогали. Состояние его все ухудшалось. Сна не было, воздуха не хватало, сердце слабело, приходилось все время делать искусственную камфару и давать дышать кислородом.

Несмотря на то, что за последние полгода врачи не подавали уже надежды на выздоровление и предупреждали, что надо быть

все время готовым к внезапному и быстрому повороту к самому худшему, только теперь все ощутили вполне эту страшную возможность. До сих пор она все-таки казалась еще далекой, так страшно было о ней думать, что невольно отгонял от себя эти мысли. И потому, когда опасность оказалась такой неотвратимой, она поразила, как что-то невозможное, невероятное и неожиданное.

Страдания Вл. Гал-ча усиливались с каждым днем, почти с каждым часом, мучительный кашель, тяжелое удушье, высокая температура, боли, совершенно измучивали его. Часто слабость лишала его возможности писать, и тогда он не в состоянии был даже выразить, что ему было нужно. Особенно тяжела была ночь с 23-го на 24-е, когда началось бредовое состояние. В. Г. непрерывно метался и пытался подняться с постели. День 24-го был тоже чрезвычайно тяжел. К вечеру наступило некоторое успокоение и ночь с 24-го на 25-е прошла относительно спокойно. Вл. Гал. даже спал несколько часов подряд, чего давно уже не было. Его близкие, конечно, тоже не спали все эти страшные ночи. В эту последнюю ночь все могли немного отдохнуть. Раннее утро 25-го декабря было самым спокойным моментом за все эти страшные дни. В. Г. проспал отдохнувший, успокоенный, кашель не мучил его более, температура стала до 37°, даже дыхание стало как будто легче. Он мог выпить немного кофе и съесть несколько ложек бульона с яйцом. Так как при этом несколько капель пало на рубашку, то доктор и сестра милосердия переодели Вл. Гал. Помню, что сестра милосердия случайно взяла из комода рубашку не Вл. Гал. Он сейчас же заметил и пожелал, чтобы ему непременно дали его рубашку, хотя Евд. Сем. уговаривала его не утомляться новым переодеванием, рубашка эта В. Н. Григорьева и все равно, если Вл. Гал. некоторое время полежит в ней. Но Вл. Гал. настаивал, чтобы рубашку переменили, и эта насойчивость как-то радовала всех окружающих. Рубашку переменили и Вл. Гал. лежал спокойно на высоко поднятых подушках с похудевшим, измученным, но таким ясным лицом, что не хотелось ни о чем спрашивать докторов. Так сильно хотелось верить, что настало улучшение и, может быть, непосредственная опасность миновала. В эти минуты возврат к тому состоянию, которое было до этого острого заболевания, казался уже выздоровлением. Таким счастьем представлялась возможность видеть В. Г. на ногах, за письменным столом, хотя бы и слабого, с записной книжкой и карандашом в руке.

Записная книжка и карандаш были и теперь в руках у Вл. Гал. и он переписывался с Евд. Сем. и дочерьми, почти не отходящими от его постели.

Это были такие хорошие минуты, что трудно оборваться от них памятью. Из кабинета Вл. Гал. по всему дому распространилась как будто волна успокоения. Не доносились непрерывные звуки напряженного откашливания, такие тревожные и мучительные. Все было тихо, но это была светлая, почти радостная тишина. Во всех комнатах виднелись прояснившиеся лица. Никто не спрашивал, прочно ли это, можно ли надеяться, что это действительно начало улучшения, так верилось в чудо.

Но недолго продолжалось это затишье. Часов в 11 температура вдруг начала быстро повышаться, дыхание стало затрудненным, появился опять мучительный кашель. Но лицам собравшихся докторов уже без слов видно было, что опасность растет с каждой минутой.

Но, хотя температура поднялась выше 39°, Вл. Гал. на этот раз не бредил и сознание не покидало его.

Он еще написал в своей книжечке: „Прошу докторов и всех моих доброжелателей взять мои интересы в свои руки“. Потом он писал еще: „Я хочу встать с постели“.

Доктора продолжали энергично бороться, делали впрыскивания камфары и дигалена, горчичные ножные ванны, давали лекарства, но, видимо, надежда уже покинула их.

Потом оказалось, что уже с 11 ч. утра они установили начавшийся отек легких.

Как прошел этот день, трудно установить. Он тянулся бесконечно, а потом казалось, что он промелькнул, как одна минута.

В памяти осталась только непрерывно нараставшая тревога, ощущение надвигающегося, неотвратимого удара.

В 10½ часов вечера Владимира Галактионовича не стало.

Т. Богданович.

25 января 1922 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“.

ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

ДЕКАБРИСТ

М. И. Муравьев-Апостол.

Воспоминания и письма.

Предисловие и примечания С. И. Штрайха.

Петроград 1922. 8°. Стр. 96.

Френсис Бэкон.

НОВНЯ АТЛАНТИДА.

Перевод, введение и примечания проф. С. Я. Лурье.

Москва—1922. 8°. Стр. 64.

Вл. Мохельсон и Р. Кантор

ГЕСЯ ГЕЛЬФМАН.

Материалы для биографии и характеристики.

Москва—1922. 8°. Стр. 49.

В. П. Семенников.

Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева.

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Происхождение рукописи и особенности ее текста.
2. Дополнения к печатному тексту „Путешествия из Петербурга в
Москву“. 3. Обзор рукописи (по главам).

Москва—1922. 8°. Стр. 48.

БЫЛОЕ

№ 20

1922

Материалы для характеристики В. Г. Короленко.

... „Со слезами на глазах прочитала в газете, что умер Владимир Галактионович. Это несомненно праведник перед Господом. Утешаю себя только тем, что он наверно будет в Царстве Небесном.“

Так мне пишет одна женщина из Лукояновского уезда, Нижегородской губ. В „голодный год“ Короленко долго жил у этой женщины и очень сдружился и с нею самой, и с ее семьей, которая усердно помогала ему кормить голодающих. Ярко выраженная религиозность ничуть не помешала дружбе. Но это я сейчас отмечаю только мимоходом, а подробнее вернусь к этой черте, когда коснусь широты взглядов Короленко и в области религии, и в области политики. Цитата из письма приведена мною из-за чрезвычайно удачного слова—праведник. В Короленко действительно были все черты праведника, святого и даже мученика: доброта, любовь к людям, справедливость, бескорыстие и непреодолимое стремление, как выражаются, реагировать на неправду. Из-за этого свойства Короленко попадает и в тюрьмы, и в ссылку. Название мученика заслуживают не только смертью, но и страданиями без смертельного исхода. Ведь не называют солдат, павших на полях сражений, мучениками. И, наоборот, вполне правильно так называть жертвы жестоких гонений. Была в Короленко и более мелкая черта праведников—любовь и жалость к животным. Он и скот миловал. Это видно из его очерка бойни в Чикаго и его неприязни к охоте. Однажды Короленко выстрелил в птицу, которая была вне всякого выстрела.

— Вот и отлично—сказал он весело.—И ей не вредно, и нам удовольствие.

Тридцать с лишним лет тому назад я имел счастье познакомиться с Короленко. Приблизительно в то время один американский репортер так описал его внешность: „Короленко—красивый мужчина небольшого роста, крепкого сложения, по наружности способный переносить большие физические лишения. Курчавая, каштановая борода обрамляет его лицо. Волосы его густые, слегка вьющиеся. Глаза—светло-карие. Черты лица мягкие. На лбу у него неразглаживающиеся морщины, характерные для людей, постоянно погруженных в глубокие мысли“. Набросок верный и порождает во мне желание дать тоже верное и простое описание внутреннего облика Короленко, его характера, его психологических свойств.

Верно, что Короленко был праведником, но это еще далеко не исчерпывает моей задачи. Были святые и не умные, и не талантливые. Ум, доброта, справедливость, отзывчивость, бескорыстие, юмор и художественный талант — вот, думается мне, самые главные черты Короленко. За ними идут менее крупные: прилежание, деликатность, скромность, веселость и др.

Довольно распространен парадоксальный взгляд, что будто крупным людям свойственны крупные слабости и даже пороки. Карты Некрасова, алкоголь Эдгара По, женолюбие Байрона, жадность Бекона и т. д., и т. д. „И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он“. Сложился даже взгляд, что, как „умный человек не может быть не плутом“, так и великий человек обязательно должен сильно хромать на которую-нибудь ногу. Громадна заслуга Короленко в том, что своим примером он опроверг эти лукавые измышления. Этот же вопрос разрешил и Чернышевский своим Рахметовым с единственным пятнышком из области сигар. Короленко любил повторять, что порок есть порок и никакими добродетелями он не оправдывается, что напрасны попытки подрыва некоторых положений нравственности именованием их „ригоризмом 60-х годов“ и „буржуазной чистоплотностью“. Люди, знавшие Короленко, подтвердят, что нельзя было даже представить себя его балующим самого себя, покупающим себе что-нибудь тонко-гастрономическое, какую-нибудь парфюмерную роскошь, какую-нибудь новомодную материю или отдельное купе и т. д.

Отзывчивость и обостренная склонность реагировать на неправду порой переходит в донкихотизм. Хотя Белинский и назвал испанского рыцаря благородным и признался, что очень его любит, но, несмотря на это, Короленко, конечно, не хотелось когда-либо напоминать собою Дон Кихота, и поэтому он подчеркивал, что не надо „высовываться“, не надо наклеивать на себя гонений.

— Не следует высказывать из своего ряда при виде всякой несоразности. Но иногда судьба подходит к вашему ряду, подходит к вам и берет вас за пуговицу, и тогда вы обязаны выйти вперед и сказать и сделать должное.

Однако, слишком часто бывает, что судьба и за пуговицу не может вытащить много героя, который упирается и говорит, что его хата с краю, что пусть лучше оторвется пуговица, лишь бы не ввязаться в историю. По скромности Короленко преуменьшал свою отзывчивость: по большей части он не дожидаясь буксира за пуговицу и выступал вперед.

В советской прессе правильно указано, что Короленко одинаково отрицательно относился и к царскому насилию, и к насилию революционному. Вот выдержка из письма от 30 апр. 1920 г. Полтава:

... „У меня сильная усталость сердца. Если прибавить, что Полтава около десяти раз переходила из рук в руки, что каждый раз приходится хлопотать о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то легко понять, что сердцу успокоиться не на чем, и усталость все прогрессирует. Когда нас завоевала „партия порядка“ — денкинцы, то установили такой „порядок“, который мало отличался от разбоя. Три дня прямо грабили еврейское население без перерыва. Потом стали грабить с перерывами. А перед уходом

устроили в Фастове и др. местах прямо резню. Кроме того, стали расстреливать своих же офицеров, которые ждали их прихода, как избавителей. Повидимому, офицерство хотело доказать, что только они, исконные добровольцы, имеют право на лавры, а кто хоть поневоле и временно служил большевикам, — заслуживают расстрела и уже во всяком случае должны считаться ниже их. Вышедших офицеров гоняли по улицам в тюрьмы и нескольких расстреляли. Я ходил к коменданту, указывал, что все это офицерство осталось от эвакуации добровольно и ждало их, как избавителей, что теперь таким остается только оставаться против убеждения в противном лагере. На все я получил приличный ответ: генерал сказал, что он — военный, рассуждать не имеет права и должен исполнять приказ. Украинский язык в приказах они объявили „галицийским“, а в просторечии — „собачьим“. Были изредка среди офицерства порядочные люди, но в массе это были те самые „г. г. офицеры“, о которых мне пришлось прежде писать („Нравы офицерской среды“). Когда я пришел к какому-то казачьему полковнику сказать, что на улицах идет грабеж, он ответил, что это обычная вещь. И только на мою негодующую реплику сказал адъютанту: „Запишите“. Но не сделал ровно ничего. И я не удивляюсь, что „память их погibe с шумом“.

Само собою разумеется, что взгляды Короленко на насилие, погромы и казни находятся в теснейшей связи со взглядами его на политику, на партию и на религию. Все эти идеи образуют, в сущности, одно целое, именуемое мировоззрением, и для последовательного ума, каким, конечно, был и Короленко, невозможно было, в одном отделе держаться принципов, например, теологических, в другом — позитивных, а в третьем — метафизических. Принципы всех отделов должны быть согласованы, приведены к одному знаменателю. Каковы же были политические взгляды Короленко и к какой партии принадлежал он? На этот вопрос очень многие ответят, что он — эн-эс, то-есть, народный социалист, к каковой партии принадлежала вся редакция „Русского Богатства“ последнего времени. Но вот письмо, в котором мы находим определенную похвалу меньшевизму.

Письмо от 23 июля 1917 г. Хатки.

... „Здесь у нас пока тихо и спокойно. Зять мой, Е. И. Лахович, работает в губернском комитете и принимает деятельное участие в местной жизни. Он — с.-д. меньшевик. Малый дельный, разумный и горячий. Часто становится в оппозицию господствующим течениям и недавно сложил с себя звание городского гласного, куда был выбран“.

Правоверный эн-эс может сказать, что меньшевики ему нравятся лучше коммунистов, но назвать меньшевизм „самой разумной партией“ правоверный эн-эс не может, так как „самой разумной“ должна, конечно, казаться ему его собственная партия. С другой стороны и приведенных строк еще слишком недостаточно, чтобы заключить о принадлежности Короленко к меньшевикам. Да и действительно, он никогда к ним не принадлежал. Вот что он пишет в письме от 21 февр. 1907 г. из Полтавы на эту тему:

... „Надеюсь уже хвораю. Не думайте, что „от огорчения“. Провал свой лично я перенес более, чем философски. Я ведь прежде и не собирался в Думу, а только в выборщики. А это уж так вышло: неудобно было отступать в трудных обстоятельствах. Блок мы все-таки сколотили и шли довольно дружно. На правом фланге дохлякшие „прогрессисты“, на левом — эс-деки с колеблющимся отрядом крестьян, в центре кадеты и „беспартийный Короленко“ со знаменем объединения в руках. И победа, несомненно, была бы наша. Победили нас не баллотировочные шары, а канцелярские перья „в комиссиях“, которые еще в самый последний день выхватывали у нас выборщиков. Нескольких правых прошли всего одним голосом. Я на перебаллотировке все-таки получил абсолютное большинство. Теперь прибавьте сюда 15 „кассированных“ у нас голосов (даже без тени законных причин), и вы увидите, что сей провал не провал, а только скандал и озорство“.

Во-первых, здесь налицо самое настоящее соглашательство. Но это мало. В центре слились кадеты и „беспартийный Короленко“, значит, из всех партий, образовавших блок, Короленко всего ближе был к кадетам. Но он и не кадет. Вот письмо от 17-го июля 1911 г., в котором он восхваляет левых социалистов, видимо, с-р-ов, которые „погибали, но не гнулись“. Только октябристы и еще более правые, примирившиеся с казнями и с „военно-скорострельной юстицией“, вызывают в Короленко совершенно отрицательное отношение.

... „Россия страна политически отсталая, в ней нет зрелых, сложившихся партий, политических группировок, приемов и традиций. Это грех, общий для всей России. Но если вся Россия не окитанлась и еще политически не умерла, то, конечно, это благодаря в значительной степени (если не всецело) „левым“, то-есть людям, которые среди общей апатии и унылой покорности все-таки проявляли жизнь, сознание политического достоинства, гражданский темперамент. Это делалось часто не так, как следовало, но все же не напрасно. При возникновении первой российской конституции общее движение было движением благодарности к тем разнообразным группам людей, которые погибали, но не гнулись. Группы эти я понимаю очень широко, не исключая и земцев, и писателей, и „третий элемент“, и так называемых „крайних“. И совершенно не понимаю, почему теперь, когда „движение“ потерпело неудачу, вину в этом возлагают на „левых“. Все люди, все человеки, это верно. Сделано много глупостей. Но хуже всяких глупостей мертвая пассивность, неподвижное спокойствие. А уж в этом то они менее всего повинны перед российской историей. Уже тем, что они не мирятся с разными „печальными необходимостями“ вроде военно-скорострельной юстиции (как это сделали октябристы), они являются живым элементом будущего. Лучше с ними проигрывать, чем торжествовать с теми, которые освящают и поддерживают бесправие.“

„Я, может быть, увлекся далее, чем следует и опровергаю более того, что станут защищать, но за последнее время раздаются слишком часто желчные нотки и склонность к излишнему осуждению „левых“. Я причисляю сюда и кадет“.

Из письма от июня 1916 г. Хатки.

... „Вы пишете правду: „Савельев не был человеком,шедшим напролом“. Порой, в давние годы, когда случалось идти вместе, приходилось иногда досадовать на те запутанные тропы, которыми люди его типа и его поколения протаскивали земское дело. Но теперь, когда подводим итоги,—становится ясно, что в лице А. А. Савельева закончилась честная трудовая жизнь. Теперь общественность наша начинает выбираться из чащи этой дремучей и долгой реакции, и приходится признавать, что люди того земского типа сделали много нужной и не легкой работы. Да, он своей жизнью визави выдержал“.

Из письма от 18 июня 1916 г. Хатки.

... „Смерть Савельева повлекла за собою много старых, хороших воспоминаний. Сел было, чтобы написать кое-что, но пока еще приходится отложить. О нем придется написать особо. Для меня в нем целая типическая полоса провинциальной жизни“.

Смерть земца и кадета Савельева вызывает у Короленко оценку этого типа людей. И Короленко высказывает ему свою полную симпатию. Но, как человек очень умный, Короленко подчеркивает, что не оценивает кадетизм вне времени и пространства, не считает эту партию всегда и повсюду одинаково полезной. Нет, Короленко одобряет кадетизм в земстве только как „полосу провинциальной жизни“.

После сказанного не покажется удивительным, что Короленко не сочувствовал „кадетоедству“ некоторых сотрудников „Русск. Богатства“. Он, конечно, приветствовал и споры, и полемику по этой линии, но находил ошибкой слишком жестокое осуждение кадетизма, который в свое время и в пределах своих последователей принес несомненную пользу.

Е социал-демократам Короленко питает определенное уважение. Вот его не двусмысленное мнение:

Из письма от 9 сент. 1916 г. Джанкот.

... „Вы хотите знать мое мнение о немецком социализме? Социализм вообще явление чрезвычайно серьезное, а немецкий социализм, быть может, серьезнее других. Явление это только до известной степени (так сказать, в идее) интернациональное и оно слишком самонадеянно объявило упразднение наций. История до сих пор еще идет стихийно национальным путем и, когда эта стихия хлынула,—все постановления интернационально-соц. конгрессов разлетелись, как плотники под напором моря. Это была огромная неудача фантастических надежд, но немецкий социализм виноват тут не более, чем другие. И, если хотите, тот протест, на который оказалось способным меньшинство немецких социалистов, представляет все-таки явление замечательное и более замечательное, чем кажется. И я думаю, что оно еще не сказало своего последнего слова“.

Левее социал-демократии лежит область, где, по мнению Короленко, следует двигаться уже очень осторожно. Отрицание родины, отечества, интернационал—вызывают у Короленко большие оговорки.

Из письма от 23 июля 1917 г. Хатки.

... „Вы пишете об ошибках хороших людей. Есть это и это было неизбежно. Долго сдавленная пружина расправляется слишком стремительно. Повидимому, теперь много ошибок уже сознано и из них главная: непризнание важности „отечества“. Загипнотизированные пошлостью расхожого „патриотизма“, мы отвергли и всякий патриотизм во имя будущего единого человечества. За это приходится всей России платить“.

По вопросу об уничтожении смертных казней А. Барр заметил:

— Пусть начинают господа убийцы, пусть они покажут пример.

В продолжении всей своей сознательной жизни Короленко задумывается над вопросом об „абсолютной ценности жизни“, о казнях и о терроризме. В итоге после ряда оговорок он все-таки оправдывал террор, как единственно возможный метод протеста в мрачные дни тиранства.

— Жертвы были необходимы. Они отстаивали честь народа, они установили предел терпению. И Толстой, несмотря на свою проповедь непротавления злу, когда узнал о гибели Плеве, воскликнул, что это очень хорошо.

Коммунизм для Короленко „большой вопрос“. Если он относится к коммунизму не вполне отрицательно, то во всяком случае находит необходимым быть весьма осторожным. Вот два письма на эту тему:

Из письма от 9 июня 1920 г.

... „Для меня большой вопрос—есть-ли коммунизм та форма, чрез которую должно пройти человечество. Форм осуществления социальной справедливости много и еще нигде ни разу (за исключением разве религиозных общин и то не надолго) мы не видели удачной коммуны. Один историк сравнивает опыты коммунистов с пансионом для благородных девиц—формой, в которую человечество не влезает, не изломав ее. Я думаю то же. Вообще форма будущего общества еще не готова, и она будет результатом долгой органической работы и свободной человеческой борьбы, при чем разные формы будут рождаться, бороться за существование, исчезать, заменяясь новыми и т. д. И только в результате такой свободной борьбы человечество будет менять формы своей жизни. Что значит: нужно переродиться? Нужно не переродиться, а постоянно перерождаться, так как процесс этого перерождения бесконечен, по крайней мере, так же, как и сама жизнь. Кризисы и потрясения вызываются искусственной задержкой этого процесса. Поэтому до сих пор мы знали только политические, а не социальные революции. Последние—только, как частичные последствия политических. Социальный переворот может быть только результатом всестороннего и органического созревания новых социальных учреждений и свободного не бюрократического творчества.“

Из письма от 7 марта 1921 г.

... „У нас с засевом плохо и никакие тут декреты не помогают. Нельзя приказом заменить стихию. А когда побуждение подавляется, когда приходится работать под угрозой, что плоды работы будут отняты под влиянием еще далекого „альтруизма“, то у современного человека, такого, каков он теперь и каким еще будет долго, долго—невольно опуска-

ются руки. А когда они опускаются, то никаким приказом их не поднять. Это было во время великой французской революции и будет еще долго, пока постепенно не переродится человечество“.

Из приведенных мнений Короленко о разных политических партиях — о коммунизме, социализме, кадетизме, октябризме и пр., — видно, что Короленко — человек очень широких взглядов. Он — беспартийный в лучшем смысле этого слова и правильно себя так называет в письме о полтавских выборах в Думу. „Беспартийность“ порой прикрывает, как маска, настоящее лицо, а порой под беспартийностью прячут простое политическое недомыслие. Но Короленко истинно беспартийный, и это потому, что он шире отдельных партий. Он находит пользу и правду в целом ряде программ — от социалистов до кадетов включительно, и только за этими пределами кончаются его симпатии.

Все, что левее социализма, кажется Короленко не по плечу для современного человека, каким он является теперь и „каким еще будет долго, долго“. А октябристы и все еще более правые отталкивают Короленко своим неприкрытым эгоизмом, своею „военно-скорострельной юстицией“, которой они стремятся „переспорить“ всякую оппозицию. Об анархизме Короленко даже не упоминает в своих письмах, так как и менее левый коммунизм считает содержащим в себе слишком много „преувеличений и фантазий“. По натуре, вероятно, по своей уравновешенности Короленко совершенно не склонен к какому бы то ни было максимализму, к крайностям, к теориям, доведенным за пределы здравого смысла.

Есть люди, считающие, что истина только в их вере, в их программе, все же остальное — ересь, зло, надувательство, достойное гонений, и, в лучшем случае, — ошибки невольные. Таковы фанатики религиозные и политические. Но, конечно, следует оговориться, что всякому депутату, парламентарии, всякому политику приходится быть партийным и не распыляться в неопределенщине, а всякому вероучителю нельзя не держаться своего берега. Однако, и в этих обстоятельствах отсутствие узкого фанатизма должно сказываться в терпимости к чужим мнениям, в приветливом отношении к возражениям, к инако-мыслящим, в искреннем сочувствии к вечным принципам свободы. По складу своего ума Короленко не годился ни на роль проповедника какой-нибудь веры, ни на роль партийного политика. Он был для этого слишком широким, он слишком хорошо видел правду и за пределами своего участия и слишком ясно понимал условности в своих собственных границах.

— Меня очень стесняет, — говорил не раз Короленко, — когда слишком догматически ссылаются на буквы постановлений каких-нибудь съездов или конференций. Среди моих товарищей есть большие знатоки таких параграфов, моя память плохо их удерживает.

Слишком резкие споры, слишком грубая полемика — „топорная“, с „барабанным слогом“ — всегда огорчали Короленко.

— Более сдержанный тон был бы сильнее. Зачем исходить из недоказанных положений, что ваш противник непрочно глуп и бесчестен. Во-первых, многие с этим не согласятся, а, во-вторых, и лавры не полагаются за победу над ничтожеством.

В письме от 24 июля 1899 г. Короленко писал:

... „Слышал, что Р. вас „поливает“. Ну, для журналиста, делать нечего. Прочитав вашу заметку, я только пожалел, что вы ее немного перегрузили. Легкая, мимолетная заметка в шутовском тоне была бы сильнее. А впрочем,— вообще верно“.

В споре между религией и наукой Короленко был всецело на стороне последней. Он признавал, что человечество от фетишизма переходит к идолопоклонству, к многобожию, к теологии, к метафизике и к научному позитивизму. Но это не мешало Короленко признавать и то, что мировые загадки все же остаются нерешенными, что область знания еще мала и людям предстоит узнать гораздо больше того, что уже выяснено. В письме из Полтавы от 11 октября 1920 г. Короленко пишет:

... „Я думаю, что с религиозным чувством еще не покончено, и я думаю, никогда покончено не будет. Да и не желательно это. Конечно, религия вносила много суеверий, но она всегда представляла и много положительного. С точки зрения миропознания она представляет своего рода мировую гипотезу, обобщающую все, что человечество в его широчайших слоях знает о мире. С ростом знаний растет и религия. Между религиозными представлениями людей, приносящих богам человеческие жертвы, и такими же представлениями классического грека лежит бездна. Такой же шаг вперед можно видеть между политеизмом и представлением о едином Боге, в котором уже мелькает сознание о единстве сил природы. Но религиозное чувство присоединяет к этому сознанию также и нравственные выводы, которые ему соответствуют. Без гипотез не обходится и наука. Без такой обобщающей, мировой гипотезы никогда не обойдется и человечество. По мере роста познаний о мире меняется и религия. Теперешние церковные религии уже явно не поднимают за собой объема человеческих знаний. Но и наука уже не мирится с плоским материализмом, который думал, что разрешил все задачи, положив в основу плоский кирпичик—атом и его элементарные физические свойства. Теперь переход новыми представлениями об атоме, уходящим в бесконечную относительность, прежний материализм кажется просто смешным, и науке предстоит множество новых вопросов. А с тем вместе, распространение просвещения в широких массах будет делать новые, научные понятия все более широкими и универсальными. И вновь должна будет (не скоро, может быть) новая, обобщающая мировая гипотеза, которая подымет могучим взлетом все, что даст человечеству наука, объединит новое миропонимание с самыми глубокими стремлениями человеческого духа. Это и будет новая религия“.

Сухая схоластика, религия обрядов, деревянного масла, бесплодные и формальные догматические споры—вот что претяло Короленко. На Ветлуге, на Святом озере с легендарным градом Китежем, Короленко долго толкается между народом, слушает гнусавое пение, останавливается под деревьями у импровизированных алтарей, слушает бесконечные религиозные споры. ... „Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни ...

Утомленные лица миссионера и двух священников, тучи книг на аналое, огни свечей, при помощи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах.... На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования,—попылся полевыми дорогами "... Короленко ощущает лишь тоску от споров между религиями. Он знает, что тут нет истины ни на чьей стороне. Иное дело—спор научный. И все-таки Короленко не думает, что с религиями покончено.

Да он этого и не желает. Он только против неподвижных, застывших религий, не признающих новых завоеваний ума. Религия должна быть развивающейся, эволюционирующей, живущей дружно с науками, всегда ими исправляемой и освежаемой. А Бог, душа и загробная жизнь пусть остаются задачами и загадками религий. Не раз, добиваясь категорических ответов, спрашивал я Короленко—есть ли Бог, есть ли душа и верит ли он в загробную жизнь? Но ответы получались всегда в духе вышеприведенного письма. Категорических, "топорных", как он выражался, ответов он не давал, хотя и признавал, что Бог, душа и загробная жизнь не что иное, как гипотезы, но вместе с этим он указывал, что если есть гипотезы, стало быть, есть что-то неизвестное, что эти гипотезы стремятся охватить. И попытки эти будут бесконечны, так как предметами этих поисков являются вещи, которые всем кажутся понятными, но которых человечество не узнает никогда.

Война задала целый ряд самых сложных и трудных вопросов. Допустима ли война предупредительная, превентивная, нужно ли обороняться, и что будет с идеей интернационала, где кончается необходимая оборона, и взыскивать ли контрибуцию, позволительны ли аннексии, и что разуметь под самоопределением народа в смешанных национальных случаях? И т. д., и т. д. Все эти вопросы стали не только перед учеными специалистами, но и перед всеми народами—участниками войны. Тем более интересно было узнать мнение Короленко, которому я и написал несколько писем. По слухам, он был настроен не только оборончески, но даже желал „войны до победы“, как гарантии от будущих нападений, хотя это и казалось уступкой национализму и как будто тормазило пришествие желанного братства народов. К сожалению, мои письма с вопросами не дошли до адресата и ответы оказались далеко не полными. Вот что написал Короленко:

... „Вы, очевидно, не считаетесь с цензурой,—с этим новым фактором в переписке. Ваше письмо, как и другие, я получил вскрытым и вновь запечатанным. Вначале, с непривычки письма или не доходили, или доходили до такой степени искромсанные ножницами, что получалась какая-то бахрома. И только когда корреспонденты стали принимать в соображение, что не следует писать кое о каких вещах, я, таким образом, перестали затруднять цензуру,—наша переписка кое-как наладилась, и теперь я получаю, как кажется, большинство посылаемых мне писем. Вы не прониклись еще этим сознанием, затронули неудобные темы, и в нашей переписке произошел перерыв“.

Из письма от 17 февраля 1915 г. Ларден. Франция.

... „Что я думаю о войне? Вообще война—дело, само собой разумеется, очень плохое, и я не понимаю тех торжествующих фанфар, которые звучат по этому поводу в нашей печати. В одной статье прямо писали, что нам была нужна война потому, дескать, что мы погразили в „Венах“ и т. д. Вот так масштаб! Огромное явление, масса смертей, разорение... и это „нужно“ для исправления какой-то кучки. Но даже и в более широком смысле я не думаю, чтобы можно было так ставить вопрос: война была нужна... Она была неизбежна, и ее следует принимать, как неизбежность печальную, тяжелую и, в общем, отвратительную. Нужно и победить, так как Германия, несомненно, самый агрессивный в милитаристическом смысле элемент и явно стремится к гегемонии. Но праздновать по этому поводу какие-то именины сердца, надеяться на какие-то экстренные блага в ближайшем будущем—особых оснований не вижу“.

Слухи оказались верными: Короленко пишет, что нужно победить немцев, так как они желают поработить. Конечно, Короленко стремился к победе не для ограбления Германии, не для отнятия земель от турок, а только в пределах необходимой обороны, только ради гарантии от будущих нападений. Однако, русские ведут себя при успехе так несправедливо, что Короленко приходится оговариваться. Надо победить, но нельзя победе и радоваться—такое противоречивое положение вещей. Россия в столь ненадежных руках, что доверять им невозможно. От самообороны они переходят к нападению и к жестокому угнетению. Из обиженных превращаются в обидчиков. Лук перегибается в обратную сторону и превращает патриотов в пораженцев, желающих, чтобы русских выгнали, например, из Галиции. Ничего в этом взгляде Короленко нет удивительного: можно было предвидеть, что этот беспристрастный человек именно так и выскажется. Вот его письмо от 14 авг. 1915 г. из Ессентузов:

... „Я с вами согласен, что теперь война менее понятна народу, чем прежде. Что такое превентивная война или что такое война империалистическая,—это, конечно, непонятно. Но что немец уже взял Варшаву и нацелился уже на Петроград (защитит ли его эта новая кличка?),—это народ понимает, чувствует, как и то, что его послали с дубиной против пушек. Понимает с такой жуткой ясностью, которая должна бы навести на размышления, гораздо более глубокие, чем пока это видно из „петербургских настроений“.

Из письма от 21 дек. 1915 г. Полтава.

... „У нас уже налетают черными галками известия о взятии яко-бы Риги. Наверное—пока это еще чушь, но того и гляди, появятся в газетах известия „утешительные“, что Рига для нас значения не имеет, и что самое худшее, что мы можем сделать германцам, это подкинуть им этот, ни к чему ненужный горю! Проклятая эта война, и выдумал ее иррациональный дурак. В конце концов после общей свалки „победителю“ тоже останется только повеситься“.

Из письма от 18 июня 1916 г. Хатки.

... „Письма Е. и А. получил. Мне не совсем понятно то место, где А. говорит об „известной нации“. Евреи? Неужели, по его наблюдениям, они делают

кислые мины при известиях о наших успехах. Я живу в черте оседлости дольше А., знаю многих евреев, которые со мною откровенны, и ничего подобного не замечал. Правда, и при победах, и при поражениях им особенно радоваться (т.-е., как евреям) не приходится. Их положение—это положение изболевшего человека, которому плохо приходится при всякой перемене. Поэтому у них вид хронически не только кислый, но и горький. Но чтобы они радовались или надеялись, что немцы придут в Киев,—это едва ли. Ну, а пельной, захватывающей радости,—это не скажу, чтобы испытывали и все русские. Я искренно желаю победы союзников над Австро-Германией, но при радости, когда это осуществляется, невольно приходит в голову: уже побывали мы раз за рубежом и столько наделали гадостей с Дудыкевичами и Евлогиями, да и опричь них, что грустно и стыдно думать о том, что за громкими победами непременно потянется эта гнусность по отношению к населению, к его вере, языку, его школе, его национальности, не говоря об обычных насилиях над личностями, честью, имуществом... Да, нужно желать одоления по многим соображениям, но при сем—нечего греха таить—кисловато не для одних „укаиноманов“ и „известной нации“. Надо это признать по человечеству. Опять—правда есть правда и имеет свои права. „Восторг внезапный ум пленил!“ Этого завидного чувства нам испытывать целью, захватывающе почти не приходится. Что ж, обойдемся как-нибудь и без восторга. Поддаться немецкому игу нельзя и не следует. Иго есть иго,—вещь унижительная и подлая, но я не вижу в войне ничего, кроме печальнейшей необходимости, и изнанку ее чувствую очень сильно и не забываю что не одним „укаиноманами“, но и просто украинцам, т.-е. миллионам людей этого племени в Галиции ли или у нас, она еще более чувствительна. Не говоря уже об „известной нации...“ Ну, это я так... Не могу относиться к этим вопросам по-сенаторски“.

Из письма от 12 окт. 1916 г. Полтава.

... „Одну мою заметку в „Р. Бог“ цензура зарезала. Другая без этой осталась висеть в воздухе. В первой я говорил о заключении униятского митрополита Шептицкого в монастырь. За что? Очевидно, за то, что он—униат и глава униатов. Это дает указание, что ждет Галицию в будущем: преследования за веру. Я имел в виду ряд заметок в этом направлении, но, очевидно, не удастся. Евлогий и Дудыкевич уже, под шумок, успели определить политику России и стали неприкосновенными... Еще бы. Ведь это птенцы политики Бобринского“.

Война расшевелила, конечно, и еврейский вопрос. Антисемиты стали кричать, что евреи, угнетаемые в России, все пораженцы, желают немцам побед и даже активно помогают врагам России, шпионят и предают. Причины естественны—еврейское бесправие, но тем не менее русские вынуждены обезопаситься, то-есть, „принять меры“, а меры эти, конечно, практически выливаются в жестокости. Евреев выселяют, угождают, мучают заложниками и очень часто казнят в порядке „военно-скорострельной юстиции“. В начале октября 1914 г. я послал Короленко письмо одного литератора, затронувшего этот вопрос о пораженцах и о праве евреев помогать немцам.

На это письмо Короленко ответил немедленно письмом от 12 окт. 1916 г. ... "Вы хотите знать мое мнение о присланном письме. Его точку зрения я отлично понимаю: над евреями произведено и производится столько подлостей, в том числе специально "военных", что было бы естественно, если бы все евреи были сплошь пораженцами. Автор принимает последнее за факт и только оправдывает его. Эта точка зрения очень распространенная. Говорят, не так давно в каком-то заседании ее развивал Родичев. Винавер резко ему возразил: "Мы не требуем права на измену". Есть латинский афоризм: *ab omni ad esse non valet consequentia*—нельзя заключать от возможного к существующему. "Было бы естественно". Может быть. Но есть ли это возможное в действительности?—это вопрос. Что среди евреев-интеллигентов есть пораженцы—это конечно. Пораженческая точка зрения глубока и живуча. Славянофилы—кн. Черкасский и Аксаков были пораженцами в севастопольскую кампанию. С этих пор многое изменилось, но не настолько, чтобы искоренить это настроение. После победы над турками в 1676-77 г.г. реакция пошла ускоренным шагом, а японская победа дала нам конституцию. Я сам далеко не пораженец, но знаю много хороших людей, далеко не молодого возраста, которые находятся в большой нерешительности. Нельзя целую и с непосредственной радостью приветствовать, например, второй поход на Галицию, когда видишь и знаешь, чем уже ознаменовалась первая победа, сколько мерзостей наделали над населением, сколько воровства, насилий над людьми там произведено.... Это война! Пусть так. Но какой же восторг при таких победах? Но это не только война. Это еще и политика. Обещали "освободить" Галицию, т.-е., ее население, а вместо того погнали административно в Сибирь галичан, которые говорят и пишут на родном украинском языке. Покровительствуют вору Дудкевичу и ссылают честных людей. Хозяинitchа Бобринский, теперь посылают Трепова. Тут не восторг, а негодование и стыд.

"Но я отвлекся от вопроса... И все-таки не вся русская интеллигенция—пораженцы. Значит, есть нечто, что меняет это настроение, "несмотря на все". Есть такие причины и у евреев. Мне пришлось за границей встретиться с очень умным сионистом. Тогда как раз шли слухи о повальном шпионстве и предательстве евреев. Я задал вопрос: сколько тут правды? И он ответил: "Тут совсем нет правды. Тут ее меньше, гораздо меньше, чем было бы "естественно" при данном положении". И он объяснил мне исторически национальный инстинкт евреев, заставляющий их быть верными тем народам и странам, которые являются их отечествами, каковы бы они ни были... Не стану повторять его доводов, тем более, что, быть может, мне удастся привести их в литературе. Я перед вторичным заболеванием начал повесть из жизни еврейской (и отчасти русской) интеллигенции, где касаясь этих вопросов. Написал почти половину, но смерть Илариона и потом моя болезнь вышибли меня из этой колее. Итак, несмотря на то, что это было бы "естественно", для меня сплошное еврейское пораженчество—под большим вопросом и даже более. Недавно я написал в "Русск. Вед." статью о марнампольской измене. Один из

очень ярких эпизодов этого предрассудка: „было бы естественно“, — но не было фактически, а было совсем другое“.

Чрезвычайно досадно, что Короленко не изложил в приведенном письме объяснений „умного сноиста“. Так мы и не узнали его исследований того еврейского инстинкта, который заставляет евреев быть верными тем странам, которые являются их отечествами. Обещанной статьи Короленко не написал, и неизвестно, найдут ли дочери Короленко в его бумагах эти интересные материалы. А пока это не опубликовано, я позволю себе привести мнение одного еврея, увы, не ученого сноиста, а совсем простого и даже необразованного. На Короленковский вопрос он мне ответил:

— Зачем буду я желать победы немцам? При них мне много труднее было бы кормиться, чем при русских. Немцы—доки, сами норовят повсюду снять сливки. А русские ленивы и не оборотисты. При них мне кормиться легче.

Нижеследующие письма относятся к 1917—1921 гг. и все из Полтавы. В них есть пробел за то время, когда на Украине не было Советской власти и когда не было почтовых сношений между Полтавой и Петербургом. Приводимые письма касаются разнообразных фактов окружающей жизни, и хотя разбираться в них не легко—уж слишком все глубоко всколыхнулось, Короленко тем не менее освещает явления всегда интересно и оригинально. Правда—единственная цель Короленко, а потому он без всяких предубеждений и порицает, и хвалит и правых, и левых, и белых, и красных. Один журналист так формулировал тайну своего ремесла:

— Чужих бранить, своих хвалить.

Короленко был всегда противником этого рецепта и неизменно являлся „судьей правильным“, потому-то его отзывы интересны и поучительны. В виду этого желательно, чтобы и белые, и красные отнеслись к письмам Короленко терпимо и покойно. А невольные и всегда возможные ошибки легко исправимы.

Из письма от 9 ноября 1917 г. Полтава.

... „У нас прошел слух, что Керенский идет с фронта с внушительными силами. Так ли? И есть ли теперь какая-нибудь „внушительная сила“ на какой-нибудь стороне? Вообще, есть ли теперь „воля России“, то-есть преобладающее стремление среди тысяч противоречивых импульсов,—это вопрос. У нас не кризис болезни, какой бывает в здоровых организмах, а затяжной, долгий „лизис“. Это всегда хуже“.

Не очень ясно, что разумел тут Короленко. Тогда,—в 1917 г.—нельзя было предвидеть, что и в 1922 г. власть советов будет налицо. Вероятно, в 1917 году Короленко думал, как и многие тогда, что большевики продержатся максимум несколько месяцев.

В 1919 г. Короленко с опасением говорит о грядущих и возможных переменах, которые всегда сопровождаются жестокостями. В душе его заметно крепнет то настроение, за которое его упрекают в настоящее время советские

газеты. Насилия и жестокости глубоко огорчают Короленко. Он тратит свои упдающие силы на бесконечные хождения по разным учреждениям с единственной целью—спасти хоть некоторых. Короленко знает, что в пылу борьбы многое кажется преступным, что потом в более спокойные дни перестает так квалифицироваться, и поэтому он добивается, чтобы не судили сгоряча. Это всегда полезно, но в революционные периоды это особенно желательно, так как все старые нормы сброшены, а новые еще не установлены и в великой смуте умов бурлит и кипит страшная разногласица о том, что хорошо и что дурно, где порок и где добродетель. Эта смута умов глубоко огорчала Короленко. Он и до революции любил повторять, что со старой моралью нужно обращаться осторожно. Конечно, мораль, как и религия, не должна быть неподвижной и застывшей, мораль должна эволюционировать, жить, развиваться, очищаться, но при чистке морали должна быть осмотрительность, очень нужно подумать перед тем, как выкидывать какую-нибудь заповедь. Ведь если она ценилась веками, как что-то полезное для людей, вероятно, в ней и действительно была ценность. Например, заповедь—не укради. Однако, советские газеты изо дня в день дают богатый материал, доказывающий, что бандитизм, воровство и казнокрадство разлиты у нас эпидемически повсюду и прямо отравляют жизнь. Революционные трибуналы вынуждены энергично бороться со всякого вида кражами, грабежами и разбоем, и все понимают, что старая заповедь—не укради—должна быть водворена на свое прежнее место. Короленко всегда настойчиво поддерживал эти мысли: „не отбрасывайте легкомысленно старой морали, а то легко с водою из ванны выплеснуть и ребенка“.

Зная глубокую приверженность Короленко к этому ходу мыслей, я и фразу его о „моральном крахе“ встретил, как старую знакомую. Короленко с огорчением стал замечать, что революция себе самой вредит ошибками излишества. Конечно, это естественно: революции не делаются хладнокровно и покойно, неспеша и размеренно. Из храмов выносят богов—и тех, которых следует, и тех, которых можно бы оставить. И это тревожит Короленко. Он всю жизнь желал революции, работал в ее пользу, боролся, жертвовал собой. Поэтому и ошибки ее—действительные и кажущиеся—болезненно отзывались в сердце Короленко, как ошибки родных и любимых детей. Он скорбит об ошибках только потому, что они вредят самой же революции, мешают ее успеху, ее триумфу. Под этим углом надо смотреть и на критику Короленко: ее цель—помочь революции, а не повредить ей.

Из письма от 22 февр. 1919 г. Полтава.

... „Мы теперь „под большевиками“. Надолго-ли? Бог весть. Не хочется как-то и думать о близости, может быть, новой перемены. Всякая смена несет волну жестокостей, и не видно просвета.

„Впрочем,—не видно пока. Я верю, что просвет может быть близок, но жду я его не от торжества того или другого оружия, а от просветления общего сознания“.

Короленко надеется не на пушки, а на просветление умов. Этот взгляд и справедлив, и чрезвычайно характерен для Короленко. Тяжело переживать

ошибки, но такова уже судьба человечества: оно, подобно детям, научается правильному только ценою горького опыта. Короленко желательно одно: чтобы народ разобрался, выяснил себе положение и стал на правильный путь. Пусть никто этому не мешает. Конечно, желательно, чтобы разум прозрел поскорее, но если это не происходит с желанной быстротой, как и всякое выздоровление, то остается одно—терпеливо ждать.

Из письма от 22 февр. 1919 г. Полтава.

... „У нас сытее, но зато и беспокойнее. Все меняются правительства и „режимы“, а это действует на нервы. Всякий „режим“ по-своему с ума сходит,—как приблизительно говорил мне когда-то один сектант“.

Всякий „режим“ считает себя правильным, а Короленко сомневается, чтобы во время горячки голова могла рассуждать хладнокровно. Беда от увлечений была бы не велика, если бы они не сопровождались поступками непорочными. Разрушается добро, накопленное веками, гибнут жизни. Можно сколько угодно раз говорить себе, что таково свойство переходных эпох, но от этого не легче, как не легче больному, если ему прочитают объяснение его страданий. И Короленко с горем в измученном сердце смотрит беспомощно, как „сходит с ума“ режимы и как делают сегодня то, о чем завтра жалеют.

Из письма от 25 марта 1920 г. Полтава.

... „У нас как-будто начинается весна. Что-то она принесет? Озимые почти пропали, да и засеяно было немного. Частью помешала засуха, частью—неуверенность. Никто не знает, придется-ли собирать тому, кто сеял. На нас, повидимому, двигаются поляки. Еще этих в наших краях не бывало, а то перебывали уже всякие, можно сказать, народы. Немцы, было, выслали моего зятя в Брест. Я, кажется, писал вам, что денкиницы восстановили у нас „Единую Россию“ при помощи сплошного грабежа, особенно над еврейским населением. От погромов, говорят, не прочь порой и поляки... Эх-ма!“

В чашу испытаний льют свои капли и свои, и чужие: и поляки, и немцы. Неудивительно, поэтому, что чуткому Короленко порой кажется, будто мир весь обезумел.

... „У меня по временам такое ощущение, что не одна Россия, а вся Европа летит куда-то кверху тормашками“...

... „Дороговизна растет не по дням, а по часам, и для многих людей победнее уже наступил голод. Что будет весной—страшно подумать. Много полей не засеяно под озимь. Помешала сильная засуха, а также и нежелание сеять много при неопределенности положения. Неизвестно, дескать, кто будет собирать“ (письмо от 7 апр. 1920. Полтава).

Интересно отметить, что весной 1920 г. Короленко с полной ясностью предвидит необходимость для сельского хозяйства и его успеха тех условий, которые были чрез год заложены в основу продналога. За год до декрета о продналоге Короленко уже отмечает вред от отсутствия у крестьян уверенности, что придется пользоваться зерном тому, кто его сеял. Короленко пишет, что эта неуверенность будет вязать руки землеробам.

Если бы это понимание было шире распространено весной 1920 г., то и продналог мог бы быть введен не весной 1921 года, а годом раньше. Очень жаль, что Короленко не имел под рукой газеты, чрез которую он бы, конечно, сумел обратить внимание на свой верный диагноз посевной болезни. Целый год голода был бы сокращен, а с этим было бы избегнуто громадное количество страданий.

Из письма от 7 февр. 1921 г. Полтава.

... „Свое мнение о происходящем я уже высказал в шести письмах к А. В. Дуначарскому. При свидании здесь, в Полтаве, когда мы говорили об этом, он высказывал намерение ответить мне и затем переписку эту напечатать. Но затем ни ответа, ни тем более напечатания не последовало. Моим знакомым он говорил, что писем еще не получил (он уезжал на месяц в Таганрог). Но теперь я знаю, что мои письма дошли все, но результат, повидимому, тот же. Да я и не ожидал другого“.

Из письма от 26 февр. 1921 г. Полтава.

... „Движение в стране становится все медленнее, жизнь замирает. Теперь у нас то и дело из Харькова приходят пешком (более 300 верст, да еще при жестоких морозах). Поговаривают о движении на перекладных. Да и тут беда: лошадей мало и ямщиков тоже“.

Острый вопрос об интервенции стал, конечно, и перед Короленко. И он разрешил его отрицательно. Во-первых, все интервенции ни к чему не привели, они не достигли тех целей, которые они себе ставили. Сторонники интервенций хотели получить реставрацию, если не всего минувшего режима, то хоть некоторых его черт: например, признания частной собственности. Затем только опыт, незамаскированный войной, может показать, что из переживаемого правильно и полезно и что ошибочно и вредно. Письмо от 7-го марта 1921 г.. к сожалению, слишком коротко и неполно для вопроса такой важности, хотя все же вскрывает мысли автора.

... „Что касается вопроса—будет ли у нас весной война?—то в этих вопросах считаю себя совершенно некомпетентным и мало проницательным. Думаю только, что „доброжелатели России“, которые желают ей войны, желают ей зла, и что этим путем не можешь. Россия уже доказала, что с таким „доброжелательством“ она справиться может и что оно только скрывает настоящее положение вещей: можно говорить,—мы бы давно уже справились, если бы не внешняя война... Гораздо хуже войны—постепенное, но неуклонное ослабление жизненного темпа страны, остановка копей, заводов, железных дорог. А это только прикрывается внешними обстоятельствами“.

Весна 1921 года опять ставит перед Короленко вопрос о праве собственности на урожай. Короленко повторяет свои мысли весны 1920 г. Удаленный от официальных сфер, Короленко не знает, что декрет о продналоге уже готов и так же мотивирован, как мотивировано его собственное мнение. Все это только усиливает наше уважение к ясности понимания и проницательности Короленко. Вот это письмо от 7-го марта 1921 г.

... „У нас с засевами тоже плохо, и никакие тут декреты не помогут. Нельзя приказом заменить стихию. А любовь к себе и к семье — стихия. И когда это побуждение подавляется, когда приходится работать под угрозой, что плоды работы будут отняты под влиянием еще далекого „альтруизма“, то у современного человека, каков он теперь и каким будет еще долго-долго, — невольно опускаются руки. А когда они опускаются, то никаким приказом их не поднять. Это было во время великой французской революции, будет еще долго, пока постепенно не переродится человечество“.

Следующее письмо, от 21 марта 1921 г., Короленко посвящает аресту Ляховича, вскоре умершего от тюремного тифа. И личное горе не лишает Короленко способности судить беспристрастно, объективно. Он огорчен и за невинную жертву, погибшую по недоразумению, и за революцию, которая лишилась в лице Ляховича истинного друга, верного слуги прогресса. А ведь революция далеко не богата людьми честными, развитыми, трудолюбивыми и бескорыстными. Революция только такими и держится, как держались, по сказаниям, грешные города немногими праведниками. Гибель таких людей, как Ляхович, увеличивает лишь шансы мрачной и даже черной реакции, как и ненужные насилия льют воду только на мельницу царизма, шансы которого пропорциональны ошибкам вольным и невольным, практическим и принципиальным и особенно последним. Все эти мысли Короленко выражает покойно, сдержанно, без тени раздражения, искренним тоном огорченного друга. И этому можно только удивляться, так как иные из ошибок бьют прямо по семье Короленко, испытывают его терпение, как испытывала судьба безропотность библейского Иова. Но в характере Короленко нашлась и эта черта праведников: он не сплелся с общественной точки зрения, не стал на почву узкого личного и семейного эгоизма. И революция много выиграет, когда допустит, — пусть в „дискуссионном порядке“ — такую честную критику, такое неподкупное слово искренней оппозиции его величества пролетариата.

Весна 1921 г. осветила вопросы и о недосевах, и о неурожае. Появился страшный призрак надвигающегося голода. Опять среди искренних сторонников прогресса возникли опасения: справятся ли с бедствиями советские власти? Не скатится ли Россия на дно реакции? Конечно, над этими вопросами задумывается и Короленко и выказывает опять свою необыкновенную проницательность. Как весной 1920 г. он указывал на необходимость установления принципов продналога, декретированного лишь год спустя — весной 1921 года, так и теперь, весной 1921 г., он видит неизбежность того, что потом получило название „новой экономической политики“.

Смерть Ляховича явилась для Короленко очень тяжелым ударом. Он повторяет это во всех своих письмах того периода. Мучает и расшатанность здоровья. В душу заползает грустное сознание, что следы от ударов судьбы не исчезнут до конца жизни, раны не зарубятся. Из писем почти совсем исчезают искры известного Короленковского юмора. Короленко страшно устал.

*

Солнце клонится к закату, появляются признаки приближающегося вечера, за которым ночь....

Из письма от 14 июня 1921. Полтава.

... „Я опять принялся за работу, и она у меня подвигается, но чувствую что след (от смерти Ляховича.—С. П.) останется на всю жизнь. И главное— ощущение полной бессмысленности этой гибели“.

В течение всей своей жизни Короленко постоянно отрывается от своей литературной, художественной работы и уходит „с головой“ в практическую общественную деятельность, в борьбу, в помощь нуждающимся и т. д. В молодости, про которую Короленко любил говорить с улыбкой:— „Мы тогда думали перевернуть весь мир!“...— идет полоса дани политике. После заточений в Якутку Короленко поселился в Н.-Новгороде, кормит голодающих, „ведет кампании“ против местных черносотенцев, банковских и земских хищников, безустанно развивает местную газетную прессу, не забывая и политику. Н.-Новгород это, так сказать, неминуемая станция для проезжающих товарищей в Сибирь из России и обратно. Конечно, очень многие из этих проезжающих навещают Короленко и даже останавливаются у него. Просьбы, советы, помощь, хлопоты. Нижегородский жандармский генерал Познавский „ставит в счет“ Короленко его постоянные сношения с неблагонадежными.

— „Это правда и это вполне естественно, — ответил Короленко. — Мои товарищи знают, что очень бы [меня] огорчили, если бы, очутившись здесь, ко мне бы не заглянули. В дни ссылки у многих из этих людей я нашел и помощь, и утешение, и поддержку, и ободрение. Было бы нехорошо с моей стороны не выказать им теперь привета“.

Генерал не может не признать логики этих слов, но, конечно, остается недовольным и доносит... „Короленко очень подозрителен в политическом отношении, но так умен, хитер и осторожен, что изобличить его в чем-либо очень трудно. Квартира Короленко в Нижнем-Новгороде служит как бы станцией для всех сыльных, возвращающихся из Сибири, и сборным местом для неблагонадежных лиц, проживающих в Н.-Новгороде“.

В 1893 году Короленко едет за границу, в Швецию, Данию, Англию, Францию и Америку, главным образом, чтобы повидать эмигрантов, чтобы посмотреть, как складываются оппозиционные силы за рубежом. Это путешествие, конечно, привлекло к себе внимание департамента полиции, по архивным документам которого Покровский составил интересную статью — „В. Г. Короленко под надзором полиции“ — напечатанную в „Былом“ за 1918 г. Об этой статье Короленко упоминает в нижеследующем письме из Полтавы от 10-го ноября 1920 года. К сожалению, другое письмо, написанное Короленко об этом же предмете, до меня не дошло, погибнув по дороге в почтовом чреве китовом. Хотя Короленко и описал свое путешествие в повести „Без языка“, но поездка была гораздо более политическая, чем литературная.

— „На время складываю с себя свои писательские обязанности, — говорил Короленко. — И записную книжку буду вынимать пореже. Надо отдохнуть. Как нищий все мало-мальски пригодное прячет в свой мешок, так и писатель все заносит в свою книжку. Это уголяет. Надо отдохнуть“.

... „Если еще книжка № 13 „Былого“ — июль 1918 г. — вам не попадалась, то прочтите там статью Покровского. В ней вы встретите не мало любопытного из нашей общей нижегородской жизни, в том числе и о вас лично, о В. А. Горинове и о мн. других. Интересно донесение в деп. полиции о нашей с вами американской поездке, при чем почтенный Сергеев, одно время сожитель милейшего Гольденберга, оказывается заправским сыщиком. Правду сказать, у меня не осталось сколько-нибудь яркого воспоминания об этой фигуре. Помнится, как-будто блондин, небольшого роста, державшийся довольно спокойно и ничем не выдававшийся. Мне как-будто вспоминается, что вы в одном из своих писем упоминаете также, что под видом репортера приходил к нам тоже сыщик или, вернее, detective из прославленного впоследствии пинвертоновского учреждения. Есть тут и это, но мне кажется, что вы будто бы писали мне о другом — о русском или еврее, который вам так не понравился. Тут о нем ничего нет.“

„Любопытна полемика в донесениях департаменту полиции Баранова¹⁾ и Познанского²⁾. Интересно, что Баранов до конца как будто держится благожелательных нам отзывов по поводу газеты, хотя едва ли она особенно ему улыбалась. Помните отзыв вам Адикаевского. Баранов очень нас хвалил (перед Феоктистовым), но бывают такие похвалы, после которых газет не разрешают. Кажется, это вам сказал и Адикаевский.“

„Не помню я Елизаветы Протопоповой, которая, по сведениям Познанского, провожала нас на вокзал в день отъезда в Петербург. Какая-нибудь ваша родственница?“

„Есть и неточности. Зволянский, видимо, ко мне почему-то благоволил и в своей записке представил мои объяснения в благоприятном с точки зрения департамента смысле. По поводу присяги делает излишнее ударение на том, что я присягу принимал со всеми. В тексте моего отказа прямо сказано, что я не искал этого повода для демонстраций и вместе со всеми служащими был на панихиде. Но когда ко мне лично обратились, как в ссильному, с этим прямым вопросом, то у меня явилось желание ответить искренно. И я от присяги отказался, потому что видел слишком много произвола и злоупотреблений. В разговоре со Зволянским я только сослался на этот текст, в том смысле, что, дескать, довольно же было делать такие вызовы“.

В Лондоне все дни уходили на свидания с эмигрантами. Особенно интересовал Короленко С. М. Кравчинский. Конечно, газеты отметили приезд Короленко, и наш номер в гостинице осаждали интервьюеры. На меня выпала интересная роль переводчика, так как Короленко был „без языка“. Знакомые

¹⁾ Н. М. Баранов — нижегородский губернатор.

²⁾ И. Н. Познанский — жандармский генерал.

Кравчинского англичане попросили его свести их с Короленко, рассказы которого имели в Лондоне большой успех. Кравчинские устроили „вечер“, собравший несколько десятков человек эмигрантов и англичан. Леди и джентельмены поочередно разговаривали с Короленко, улы, не без переводчиков. Некоторые из вопросов были интересны. Одна леди спросила, почему Короленко недостаточно любит и недостаточно уважает цивилизацию, почему он довольно часто поэтизирует некультурность, даже дикость? И привела примеры: Макар, Тюлин и многие другие типы рассказов взяты из некультурных слоев и опозитизированы. Даже музыкальные инструменты технически-совершенные принижаются в сравнении с простой дудочкой в „Слепому Музыканте“. К этому леди прибавила, что ту же черту она усматривает и вообще в либеральной, левой русской литературе. Русские, может быть, с некоторой натяжкой находят „искру божью“ на дне жизни, где нет просвещения, нет культуры, и тем как бы отрицают цивилизацию. Народники поэтизируют крестьян и вообще прогрессивная русская литература как бы боится отмечать положительное в высших, культурных классах. Короленко ответил, что высшим классам в России и без помощи литературы хорошо живется и что „идти к обиженным“, униженным и оскорбленным всегда было и будет делом правильным.

Я немного уклонился в сторону, вспомнив приведенный разговор леди с Короленко. Цель моя—подчеркнуть, что в течение всей своей жизни Короленко постоянно и сильно отлекается от литературной, художественной работы и отдает массу времени и сил общественной деятельности.

Подытоживая нижегородский период своей жизни, Короленко сказал в своей прощальной речи:

... „Лес рубят, щепки летят... Одною из таких щепок носился и я по обширному житейскому морю, пока, наконец, меня не принесло к нижегородским берегам.... В январе 1885 г., вечером, я подезжал по Волге к Нижнему. Долго мимо меня мелькали огоньки налево и направо... Наконец, наши сани стали подниматься по Магистратскому с'езду на набережную. Одиноким фонарь освещал крупную надпись на каменной стене: „Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся“... Я послушался и причалил за кольцо. Не могу сказать точно, вполне ли исполнено мною предостережение: очень может быть, что порой я и не поберег ту или другую решетку, коснулся той или иной стены, пользовавшейся неприкосновенностью, но причалил все-таки так плотно, что вот уже 11 лет я с вами и считаю себя почти нижегородцем“.

... „Да, провинция затягивает! — продолжал Короленко. — Не бартами и вином, а проснувшимися в ней живыми местными интересами“. И по собственному своему сознанию, Короленко нашел, что провинция отняла у него слишком много от литературы. В половине 90-х годов Короленко решил переехать из Нижнего-Новгорода в Петербург и там заняться литературой более плотно. Но это ему не удалось. Комиссии, комитеты, заседания, собрания, Литературный Фонд, суд чести, издательская сторона „Русского Богатства“, постоянные посетители с разнообразнейшими делами и пр. и пр.,—все это отрывало Короленко от литературной работы. 29-го января 1896 г. Короленко писал:

... „Что сказать вам о себе: трудно в'ехать в колею. Все мечтал об устройстве своей жизни на студенческий лад. Вы уже, вероятно, знаете первые результаты: голод, угар, сырость, хозяйка-гарпагон. Ложился, обливая себя кругом напатырным спиртом и поручая живот своей воле Божьей, вставал с головной болью от угара и немедленно вступал в бой с хозяйкой из-за топки и закрывания печей. Вчера вышел из терпения и пошел искать новую квартиру. Ходил, ходил, наконец, под вечер набрел, а сегодня переехал“.

Из письма от 30 января 1898 г. Петербург.

... „Здоровье мое идет на поправку. Очень меня удручают разные общества, заседания, прения и пр., и пр. Когда кончится мой срок, хочу решительно снять с себя всю эту толчею разных добровольных обязанностей, в которую попал как-то незаметно“.

Петербург разочаровал Короленко. 3-го дек. 1896 г. он оттуда писал:

... „Чувствую, что и мултанское дело стоило мне большой усталости, а отдыха у меня совсем нет. Наоборот,—усиленная работа. Вы не представляете себе, как мы здесь все вспоминаем о Нижнем. Для детей это какой-то потерянный рай, да и я теперь вижу, что никогда уже, вероятно, не буду окружен такой дружеской атмосферой. Жизнь не повторяется, и то, что осталось назади,—исчезает безвозвратно“.

Из Нижнего Короленко переехал в Петербург, а из Петербурга Короленко, можно сказать, бежал в „тихую“ Полтаву опять с самыми твердыми намерениями—воздерживаться от общественной деятельности и уйти с головой в литературу. Но жизнь опять разбила доброе намерение. Пришлось не мало похлопотать с устройством себе „хаты“, а тут „провинция опять стала затягивать“. Подходили нервные года японской войны и неудавшейся революции 1905 и 1906 гг. Подкатила волна погромов. Надо было выступать на митингах и уговаривать. Об этом Короленко вспоминает в следующем письме от 1-го апр. 1917 г.

... „Нисем, и что хуже—телеграмм получаю массу, не успеваю отвечать. Местная жизнь тоже задевает. Порой приходится выступать публично. Мне всего интереснее говорить с простыми людьми. Недавно говорил на митинге на одной из темных окраин города, откуда во все тревожные дни грозит выползти погром. Аудитория была внимательная. Я выбрал взглядом два-три лица с особенно халодультурными чертами и говорил так, как-будто есть только они. И это меня завлекло. Когда я видел внимание, а потом и интерес, любопытство и признаки согласия по мере продолжения,—то это возбуждало мысль и воображение. Теперь работаю над популярной брошюрой для народа, в которой показываю, как последний Романов разрушал и разрушил самодержавного идола. Много и у нас неслаженного и шероховатого. Много выползает мелкого, самодовольного, честолюбивого, демагогического“.

Опять Короленко в гуще общественной деятельности. Как и в 1905 году, он и в 1917 году держит речи на митингах, предупреждает погромы, разъясняет. Опять литература отложена. В самом конце настоящего очерка будет приведено письмо Короленко, написанное очень незадолго до его смерти. В нем

он подводит итоги и останавливается на том, что его смущало всю жизнь: на своих частых и продолжительных уходах от литературы в общественную деятельность. Короленко, подобно Жанне д'Арк, спрашивает себя: хорошо - ли делал, что свои мирные занятия сменял воинственным мечом, от рабочего стола уходил так часто в борьбу? И отвечает он очень мудро, что ничуть в этом не раскаивается: делал то, чего не мог не делать. Может быть, борьба настраивала Короленко, отражалась в его писаниях и пленяла читателей именно своим политическим духом.

Усталый, тяжело больной, дрогнувшим почерком пишет Короленко следующее письмо всего за четыре месяца до смерти. И опять об общественной деятельности, о голоде и о помощи несчастным. Вот по истине человек на своем великом посту.

... „Здоровье мое плохо, а тут меня выбрали почетным председателем комитета помощи голодающим. Силы мои уже не прежние, но делаю, что могу... стараюсь не утомляться. Сегодня у меня совещание статистиков. Мне выпало на долю написать обращение к Европе... Сделаю, что могу, но у меня нет цифровых данных, да, кажется, и нигде их нет. Писал Григорьеву и Пешехонову, но ответа еще не получил. В виду этого обратился к местным (полтавским) статистическим силам. Здесь есть люди очень серьезные, в том числе бывший сотрудник Н. Ф. Анненского по Нижнему Аронский и еще Я. К. Имшенецкий, с которыми и предстоит мне сегодня совещание. Есть и еще очень серьезные статистические силы... Больше не пишу, чтобы не утомиться перед совещанием“.

Не только дипломаты пользуются языком чтобы скрывать свои мысли. Ведь про обыкновенных смертных говорят, что надо с'есть с человеком три пуда соли, чтобы его узнать, и добавляют, что у каждого человека несколько характеров: как он сам себя воображает, каким его понимают другие и каким он есть в действительности. Причины всей этой запутанности и в нежелании, и в неумении быть правдивыми, откровенными. Интимные разговоры и частные письма порою как бы освещают человека, показывают его нутро. Эту роль играют и письма Короленко, но только не в сильной степени в виду некоторых черт его характера. Короленко был уравновешен, сдержан, правдив и откровенен. Поэтому картина мало менялась с переходом от официального к интимному. Короленко интимно писал и разговаривал почти так же, как и для широкой публики. Ниже приведены письма Короленко с отзывами о Чувковском, Горьком, Толстом, Репине, Раковском и др. Короленко никогда не думал, чтобы эти письма попали в печать и все-таки все его замечания мало отличаются от его отзывов для огласки. Редкая согласованность между „быть“ и „казаться“, редкое отсутствие злословия, зависти, пересуд.

Из письма от 24 авг. 1910 г. Хатки.

... „О Чувковском я окончательного мнения еще не составил. В нем есть что-то привлекательное. Кажется, он сильно был захвачен атмосферой „сверх-

человечества" и тому подобного декадентства. Но теперь много читает и много работает и, м. б., эта атмосфера прогонит прежнее. Если натура сильная, то и выйдет из болезни. Работает он построчно, а это я знаю что такое даже при хорошей плате. То, что он пишет, мне редко нравится: выхватывает у писателя поводы для парадоксов. Но, например, заключительная глава об Андрееве хороша и тон хороший, хотя все же Андреева не охватывает".

Из письма от 24 августа 1910 г. Хатки.

... „Писал я вам в прошлом письме, что был у Толстого? Это посещение оставило во мне наилучшее воспоминание. Я видел Толстого три раза. А верхом, действительно, ездит, как старый казак“.

Из письма от 12 августа 1910 г. Хатки.

... „На обратном пути из Петербурга я заезжал в Ясную Поляну к Толстому. Он на меня на этот раз произвел впечатление бодрости, какой я (после того, как видел его в Гаспре в 1903 г. больного) и не ожидал. Провожал меня в коляске. Потом среди ливня сел на верховую лошадь (без чьей бы то ни было помощи) и вместе с секретарем Бугаевым крупной рысью помчался обратно. Ум свеж, речь бодрая, чувствуются проснувшиеся, да, кажется, и незасыпавшие, художественные интересы“.

Из письма от 3 сент. 1910 г. Хатки.

... „Вчера получил письмо от Горького. Он, между прочим, пишет, что газетные известия о том, что он якобы просится в Россию,—такой же апокриф, как и его „беседа с итальянским королем“. Я думаю, что и присланная вами вырезка о Леониде Андрееве относится к тому же апокрифическому циклу. Я виделся с Андреевым в Алушке, и теперь он приезжал ко мне в Кюоккалу. Общее впечатление от „личности“ хорошее. По натуре—человек простой и душевный. Встретился я также с Репиным, и он меня почти обворожил. Вообще нынешнее лето дало мне много хороших знакомых и хороших впечатлений.“

Из письма от 26 февр. 1921 г. Полтава.

... „От Горького ни на письмо о Филатовых, ни на письмо о Z ответа нет. У него, вероятно, слишком много дел. Впрочем,—не в ответе суть,—было бы хоть что-нибудь сделано“.

Из письма от 24 мая 1920 г. Полтава.

... „Известие ваше о Ф. Д. Батюшкове меня поразило самым печальным образом. Когда-то мы были гораздо ближе. Не знаю, что именно послужило причиной нашего сравнительного отдаления, но я продолжал относиться к нему, как к очень душевному и хорошему человеку, и еще сегодня утром написал ему письмо, когда получил ваше с огорчившим меня до глубины души известие“.

Из письма от 23 июля 1917 г. Хатки.

... „Вы пишете о Горьком. Я вообще не сочувствую его большевизму и понимаю, что многое в его публицистических выступлениях неправильно. Большевизм принес много вреда вообще, но,—что хотите,—в подкупность и шпионство вождей я не верю. Бурцев тоже, по моему, в этом деле осканда-

лился. Недавно обвинял Раковского, а я Раковского хорошо знаю и то, что писал в его защиту,—совершенно верно. Я ждал, что Бурцев представит хоть какие-нибудь доказательства, но вместо этого он уклонился от третьейского суда. Не хорошо это. Причислять с такой легкостью заведомо честных людей к шпионам—значит, в сущности, реабилитировать шпионство. Старая истина: нужно бороться только честными средствами, а Алексинский в этом отношении далеко не разборчив.”

Из письма от 25 авг. 1920 г.

... „Получил от Горнфельда известие о смерти Э. Д. Крюкова. Очень жалею об этом человеке. Отличный был человек и даровитый писатель. Умер и И. Шмелев. Как подумаешь,—так еще недавно оба начинали свою литературную карьеру“.

Настоящий очерк я начал цитатой из письма, в котором Короленко был назван праведником. Характерною чертою в этом направлении может служить отношение Короленко к деньгам, к имуществу и вообще к материальной стороне жизни. Однажды при мне один наш общий знакомый показал Короленко только-что найденный на улице кошелек с деньгами, сережками, золотым наперстком и т. д. С этими вещичками лежала и бумажка с адресом человека, жившего на Дальнем Востоке. Короленко совершенно рассеянно скользнул глазами по ценностям, но внимательно прочитал бумажку и сказал, что надо бы непременно поскорее возвратить адрес: ведь, может быть, потерявшей очень тяжело лишиться возможности писать тому, кто заброшен так далеко. Такое же было отношение Короленко и к подаркам: он принимал их совершенно просто, так сказать,—мимоходом, никогда не благодарил преувеличенно, и, взяв принесенное, продолжал разговор. И чувствовалось, что подарок ваш так же просто перейдет к первому нуждающемуся. Вспоминая все это в связи с обвинениями, будто Короленко не понял революции и коммунизма, невольно думаешь, что нет ли в судьях побольше любви к собственности, чем в подсудимом.

За одну литературную работу Короленко был награжден золотой медалью. Довольно долго пролежала она, изрядно забытая, в письменном столе. Но вот обнаружилась сильная нужда в одном знакомом семействе; Короленко очень пожелал помочь, а так как денег в наличности не оказалось, то вспомнил о медали и понес ее в ломбард. Там у ценовщика была очередь. Короленко стал ждать и глубоко задумался, а когда очутился у ценовщика, то не нашел уже медали в кармане. Короленко был очень огорчен, но только тем, что за его рассеянность пострадала злосчастная семья.

... „Есть в Нижнем некто Ю.—человек „отягченный в семействе своем количеством членов“, но лишенный работы. Видно, с горя он стал посылать мне свои стихи, в которых звучит вопль души. На мой отзыв об этих стихах (посоветовал бросить), он признался мне, что его посягательства вызваны тяжелой нуждой от безработицы. На этот раз уж именно—„нужда песенки

поэт⁴. Так вот; нельзя ли узнать об этом Ю., навестив его, что ли, и, буде его оправдание, в писании стихов правильно,—дать ему где-нибудь, как-нибудь, какую-нибудь работу. Было бы это—доброе дело и доказало бы еще раз, что и поэзия может иногда пригодиться“.

Из письма от 23 апреля 1903 г. Полтава.

...По поводу „дворянства“. Собственно я себя скорее причисляю к разночинцам: дед и отец—чиновники, прадед—какой-то казачий писарь. Крепостных у нас никогда не было; земельных владений—тоже. Что касается до „неуменья устраивать свои дела“, то это, может быть, и правда, хотя тоже с ограничениями. Я никогда не был особенно в моде и никогда по возможности не допускал в свою душу мыслей о соперничестве в популярности. Мне хотелось и хочется сказать кое-что, что было бы моим собственным и что я считаю нужным. Есть еще много этого, невыполненного, и предо мною еще вереница планов. Вопросы денежные всегда стояли для меня на втором и даже на третьем плане. Впрочем, книги мои идут не хуже, чем в первые годы, и это, конечно, мне приятно“.

Из письма от 24 мая 1920 г. Полтава.

...„Вы спрашиваете,—на что я живу? На что буду жить в будущем, более или менее близком—не знаю. А пока мои книги продаются в „Задруге“ и книгоиздательстве писателей. В прошлом году в Одессе был издан II-ой том „История Современника“. Ну, вот и перебиваемся пока без особого труда. Распространился слух, что будто бы я получаю какую-то казенную субсидию. Этого нет и никогда не будет“.

Из письма от 25 мая 1920 г. Полтава.

...„Живу на средства от книгоиздательства и особой нужды не испытываю, несмотря на то, что „в семействе своем, как говорят один персонаж Островского, обременен количеством членов“. Открыт мне кредит у „Задруги“, которая рассчитывает издать полное собрание сочинений. Вот и сейчас посылаю туда четвертую часть III-го тома, а недавно послал в „Минувш. Годы“ очерк—„Пугачевская легенда на Урале“. Было одно время, что у нас вышла заминка вследствие прекращения сношений, и мы стали кое-что продавать из ненужных вещей. Пронёсся слух, что Короленко бедствует. Но мы скоро эти слухи рассеяли. Вот и все. Я вообще здоровьем плох, но голова еще работает изрядно. Вижу уже желанный берег в „История Современника“. Подъезжаю к Якутской области и думаю о том, когда закончу том III-ий возвращением в Россию,—буду ли продолжать „Истор. Совр.“ или возьмусь за кое-что из беллетристики. Вообще, еще не сдаюсь“.

Прошел слух, что после смерти Ляховича полтавские власти предложили Короленко паек, так как он болен и в лице Ляховича лишился в семье главного работника. Передавали, что Короленко отказался и при этом сказал:

— „Очень благодарен за доброе желание мне помочь. Однако, я должен помнить, что всю жизнь высказывался против всяких привилегий. И теперь, когда вы предлагаете мне привилегированный паек, я должен применить к себе те правила, которые рекомендовал другим“.

В следующем от 13-го июня 1921 г. вопрос о пайке описан немного иначе, но только немного. Это легко объясняется известной скромностью автора.

Говорят, что гений, ум и талант, между прочим, выражаются в способности сосредоточивать особенное внимание на данном предмете. Отсюда и анекдотическая рассеянность многих великих людей. Наблюдалась эта черта и у Короленко. Оторванный от работы, он отвечал неохотно, невпопад. Родные и близкие в таких случаях говорили.

— Хотя Владимир Галактионович и вот тут сидит, но он отсутствует.

По уверению Зомбарта, Карл Маркс понимал людские пороки гораздо лучше, чем добродетели. Короленко—наоборот. Вообще, очень проницательный, он порой неверно оценивал людей, но замечательно, что эти ошибки всегда были из области переоценки добра: склонность считать людей лучше, чем они есть. Может быть, этот романтизм отразился и на стиле Короленко. В одном из своих писем Чехов назвал стиль Короленко изысканным. А Чернышевский просил Илариона Короленко:

— Скажите, при случае, вашему брату, чтобы он избегал не-простых сравнений.

Стилистические способности были семейной чертой Короленко. Юлиан, старший брат Владимира, писал необыкновенно легко, красиво и образно. Слова и обороты его никогда не затрудняли. Немного понимая в музыке, он одно время давал музыкальные рецензии в одну газету и писал их очень недурно только благодаря стилистическим способностям.

— С юношеского возраста,—говорил Короленко,—у меня проявилась склонность, когда я иду один, слагать не только отдельные фразы, а чуть не целые страницы. Вероятно, так и изощряется способность слога: голова постоянно работает над формами мысли.

Но, к сожалению, довольно часто искусство в стиле и даже изрядное писательское дарование не гармонирует с другими чертами.

— Судьба порой возлагает литературные таланты на спины порядочных олов,—любил повторять Короленко.

Семнадцать лет тому назад я напечатал в „Нижегородском Сборнике“ очерк о Короленко, который тогда был здоров, бодр и весел. И очерк мой невольно вышел оживленным искрами Короленковского юмора. Теперь, когда Короленко уже нет, и очерк мой выходит траурным и минорным. Да и время теперь слишком трагическое. Но все же правды ради надо упомянуть, что юмор, веселость, умение смеяться—были выдающимися чертами Короленко. Не даром он особенно любил Диккенса и Гоголя. Юмор выручал Короленко во время

чествований, юбилеев и разных других „высокопраздничных“ случаев, когда так легко быть смешным, уподобившись тем, которые „носят свои головы, как святые дары“. Вот для примера несколько писем.

... „Не так давно я прочитал в „Нижегородском Листке“, что Соединенный Клуб собирается отметить день моего рождения и при том почему — то 15-го июня. Хотя 50-ая годовщина совсем не такое событие, которое приятно праздновать и отмечать особенным образом, но уж если это неизбежно, то я должен сказать, что родился не в июне, а 15-го июля, на Св. Владимира, когда в Нижнем поднимаются армарочные флаги. В нашей семье был обычай — не обижать святых и давать имена по святым. Таким образом, отец мой получил название Галактиона; его брат попал на созвучного святого и всю жизнь шеголял редким именем Никтополмона. Мои братья получили Юлиана и Илариона, и, родись я в день святого Псося, то быть бы мне Псоєм Короленко. К счастью, родился на Владимира, — одного из благозвучнейших святых, — и таким образом избег остальных“.

Из письма от 21 мая 1913 г.

... „Получаю приветствия „по случаю шестидесятилетия“... Это, вероятно, опять наврал календарь. Прежде писали мое рождение 15-го июня. Я попросил исправить, чтобы не получать поздравлений и на Антона, и на Онуфрия. Исправили: подвинули на месяц, только не вперед, а назад. И это как раз к шестидесятилетию“.

Из письма от 16 июля 1920 г.

... „Сердце плохо, и лето не принесло заметного улучшения. Даже сапожное дело стало утомительно. До сих пор в течение двух лет я им развлекался, а встать обув всей семьи держал в исправности. Теперь с сокращением сердечным вижу, как на ней появляется все больше изъязнов, а помочь не могу.“

Из письма от 30 апр. 1920 г. Полтава....

„У нас были колонии из России (около 7 тысяч детей). Надо отдать справедливость: обе стороны относились к детям внимательно. Большевикам и Бог велел: это они послали детей, но и денкиницы отпускали средства и облегчали задачу. При сем случае на мою квартиру было сделано нападение 2-х вооруженных бандитов. Они узнали, что при эвакуации большевики сдали на Лигу все заботы и оставили нам два миллиона, которые в этот день и ночь находились на моей квартире. И вот два бандита пришли к нам под вечерок в расчете, что мы испугаемся, потребовали отдать им деньги. Но никто из нас не растерялся, а я схватил одного за руку с револьвером. Произошла борьба. Авдотья Семеновна и Наташа кинулись мне на помощь. Раздались два выстрела, и дело их было испорчено: могла явиться сторонняя помощь. Оба убежали, оставив одну пулю на полу и простреленную дверь, а в это время Соня с деньгами выскочила в окно и снесла деньги к соседям.“

... „Мне тоже смерть не страшна, — писал Короленко 14 июня 1921 г., — хотя хотелось бы „досмотреть до конца“. Кроме того, у меня есть семья.

и мне не хотелось бы расставаться с ней преждевременно. Мы, в особенности в эти мрачные дни, стали очень дружны”.

Короленко хотелось дожить до конца „переходного времени“, и он, очевидно, думал, что это не за горами. Но вышло иначе: близким оказался его собственный конец. Смерти Короленко не боялся, хотя и не утешал себя мыслями о загробной, вечной жизни, где нет разлуки с любимыми людьми. О смерти он всегда говорил с глубокой серьезностью и сдержанностью. Вот некоторые из его писем, характерные в этом смысле. Из письма от 21 дек 1915 из Полтавы о смерти брата Илариона:... „Мы с Соней вернулись из Джанхоты, оставив Илариона под зеленым холмиком над его домом. Теперь при спуске в Джанхотскую щель по новому шоссе—его могила сразу кидается в глаза“... О смерти К. И. Ляховича—мужа дочери, которого В.Г. очень любил, он написал 26 апр. 1921 г. в следующих выражениях:... „О Ляховиче писать уже нечего: 12 дней назад мы его похоронили. Не стану писать, как это нас всех в семье убило. Бог знает, из-за чего погиб хороший человек“ А вот из письма от 27 апр. 1903 г.

... „Мамаша очень больна. Трудно произносится это слово, но, кажется, безнадежно. Доктора говорят, что у нее горловая чахотка. Я долго думал, что они ошибаются, но во всяком случае,—чахотка-ли, маразм-ли—все плохо, и улучшения не видно, слабеет с каждым днем. Мы надеялись на весну и на воздух, но теперь у нас весна давно, погода прекрасная, вывозим мамашу в сад,—но есть вещи, которых не остановишь... Но будет об этом.“

Из письма от 15 июня 1915 г. Хатки.

... „О смерти А. Н. Анненской я узнал в Бухаресте из „Русск. Записок“. Авдотья Семеновна знала раньше, но мне в дороге не сказала“.

Из письма от 5 июня 1916 г. Хатки.

... „Прочел в „Речи“ вашу заметку о покойном Савельеве. От всего этого пахнуло и многими трогательными воспоминаниями и болью. Один из моих товарищей по Петровской академии не так давно, выражаясь лесоводственными терминами, писал мне: „Умер-ли такой-то и такой-то. Да, наше поколение вступило в оборот лесорубки“. Относительно Савельева это давно перестало казаться неожиданным, и все же сердце сильно сжалось при известии“.

С уверенностью можно сказать, что и к собственной своей смерти Короленко относился спокойно, как к „вещи, которую не остановишь“. Ни фразы позирования. Чувство и мысли были слишком глубокими для мишуры, хотя бы в глазах некоторых и эффектной.

Старый звонарь „опустил на грудь свою седую голову... мысль выдыхает, как угасающее пламя, скользи ярким, быстрым лучом, освещающим все закоулки прошитой жизни“... Вспоминает свою жизнь и Короленко в письме от 16 июня 1920 г. и подводит итоги:

... „Оглядываюсь назад. Пересматриваю старые записные книжки и нахожу в них много „фрагментов“, задуманных когда-то работ, по тем или иным причинам, не доведенных до конца. Такие отрывки выписываю в отдель-

ную большую книгу, чтобы облегчить дочерям работу по приведению в порядок моего небольшого, впрочем, литературного наследства. Вижу, что мог бы сделать много больше, еслибы не разбрасывался между чистой беллетристикой, публицистикой и практическими предприятиями, в роде мултанского дела или помощи голодающим. Но ничуть об этом не жалею. Во 1-х, иначе не мог. Какое-нибудь дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колеи. Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась без участия в жизни. Вообще я не рассказываюсь ни в чем, как это теперь встречаешь среди многих людей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а что вышло... Стремилась к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших условиях. А вышло то, к чему привел „исторический ход вещей“. И, может быть, без наших „стремлений“ было бы много хуже“.

С. Протопопов.

Агония „Современника“.

Последние месяцы существования Некрасовского „Современника“ предста-
ют, прежде всего, незаурядный интерес, как один из наиболее ярких
и драматических моментов в истории русской журналистики. Как ни как,
агонизировал журнал, основание которому положил сам Пушкин, журнал, со
страниц которого раздавалась страстная проповедь Белинского и в числе
сотрудников которого побывали чуть-ли не все представители славной плеяды
писателей 40-х гг., журнал, сделавшийся с начала 60-х гг. органом и поли-
тического, и социально-экономического, и философского радикализма, предста-
вленного такими именами, как Чернышевский и Добролюбов. В настоящей
статье, однако, я предполагаю осветить последние месяцы существования
Некрасовского „Современника“ не только с указанной точки зрения; мне
хотелось бы также остановиться и на той роли, которая вопишаемый момент
выпала на долю редактора-издателя „Современника“ Николая Алексеевича
Некрасова, уже около 20 лет (с января 1847 г.) стоявшего у кормила „Современ-
ника“. Роль эта будет мною охарактеризована на основании некоторых новых,
т. е. еще не появлявшихся в печати данных.

В течение всего своего существования под редакцией Некрасова „Совре-
менник“ подвергался беспрецедентной по своему упорству цензурной травле. От-
сылая интересующихся ее перипетиями к статьям А. Ершова („Из истории
русской журналистики“, „Образование“, 1903 г., №№ 10 и 11) и моих („Черты
редакторской деятельности Некрасова“, „Голос Минувшего“, 1915, № 10 и „Из
истории Некрасовского Современника“, „Ежемесячный Журнал“, 1916 г., № 6),
перейду к выяснению тех условий, при которых „Современнику“ пришлось
существовать с сентября 1865 г., т. е. с того времени, когда был введен в
действие новый закон о печати. Закон этот, не лишенный, при поверхно-
стном отношении к нему, либеральной видимости, так как им для целого ряда
периодических изданий упразднялась предварительная цензура, таил в себе не
мало неприятных возможностей для отечественной журналистики. В самом деле,
предварительная цензура, чрезвычайно стеснявшая, конечно, журналистику
в свободном выражении ее мыслей, имела все же то удобство, что, до
некоторой степени, ограждала издания от запрещения. Раз статья пропусклась
цензурой, то ответственность за нее, так, по крайней мере, предполагалось
в теории, падала на цензора, подписавшего ее в печати. Редакторы и авторы,
претерпев мучительную процедуру проведения через цензурные Ссылы и

Харибды данного литературного материала, при таком порядке, могли себя чувствовать, по завершении этой процедуры, относительно спокойными. Конечно, в данном случае приходится говорить лишь об относительном спокойствии, ибо бывали примеры, что, на ряду с цензором, пропустившим статью, отвечать за нее, если она почему-либо вызывала неудовольствие высшего начальства, приходилось и редактору, и автору, но все же, вообще говоря, стереотипная фраза: „Печатать дозволяется. Цензор такой-то“—позволяла редакторской и авторской груди свободно вздохнуть. Новый закон, взамен предварительной цензуры, выдвигал административное усмотрение. Любая книжка „бесцензурного“ журнала могла вызвать кару в виде объявления предостережения, а получение трех предостережений влекло за собой приостановку издания. Право объявления предостережений предоставлялось министру внутренних дел, главе того самого ведомства, к которому принадлежали и главное управление по делам печати, и цензурные комитеты, стяжавшие себе впоследствии такую печальную известность. Что они стяжут ее, об этом легко было догадаться, ибо в эти квази новые учреждения были привлечены на службу прежние цензурные чиновники. Часть прогрессивной журналистики, в лице журналов „Русское Слово“ и „Современник“, хорошо понимала, что особенно радоваться по случаю упразднения предварительной цензуры не приходится, и не побоялась высказать свои опасения в особых статьях. Одолевали сомнения на счет нового порядка и искушенный в цензурных бурях Некрасов, о чем можно судить по скептическому тону его „Песен о свободном слове“, в особенности по стихотворению „Литераторы“. Однако, горькая действительность превзошла самые смелые ожидания. Предостережения градом посыпались не только на издания с ярко прогрессивной физиономией, но даже на издания умеренно либерального и даже патриотического (славянофильского) лагеря. В особенно тяжелом положении оказались, конечно, „Современник“ и „Русское Слово“. Здесь, само собой разумеется, сыграла роковую роль определенность установившейся за ними репутации. В архивах главного управления по делам печати я нашел недатированный, но, несомненно, относящийся или к 1864, или к 1865 гг. отзыв об этих журналах влиятельного цензора Еленева. Он настолько характерен, что его нелишнее будет привести полностью тем более, что он еще не появлялся в печати.

„Современник“ и „Русское Слово“ принадлежат к одному литературному направлению; главные черты каждого суть: оппозиция правительству крайность политических и нравственных мнений, социально-демократические стремления, наконец, религиозное отрицание и материализм. Различие между этими двумя журналами состоит, во первых, в том, что статьи „Современника“ составляются с большим талантом и строже подводятся под один цвет, чем статьи „Русского Слова“. Этот последний журнал допускает иногда и статьи умеренного оттенка, но за то, не имея способности проводить свое направление с тою последовательностью и неосызаемо-тонкою деликатностью, с какою проводит его „Современник“, „Русское Слово“ часто бьет напрямик и выезжает преимущественно на резких фразах. Таким образом, в нынешнем году

некоторые его статьи были даже рельефнее „Современника“. Далее социализм „Русского Слова“ выводится яко-бы из начал науки и из экономических требований нашего народа, тогда как „Современник“ основывает его часто на пожеланиях своего сердца и стремится иногда довести его до самого грязного коммунизма. „Русское Слово“ придает иногда своему материализму характер скептического реализма, „Современник“ же отвергает все эти тонкие оттенки одного и того же направления и берет только окончательный его цвет. Самые крайние и нелепые учения, давно уже потерявшие кредит в Европе, находят себе отголосок в этих журналах. Если разбирается какой-нибудь известный иностранный писатель, то только для того, чтобы, на основании нескольких вырванных из него мыслей, проводить оппозиционное или религиозно-отрицательное направление; все-же, что есть в этом писателе консервативного в том или другом отношении, подвергается осуждению, как отсталость и предрассудок.

Правительство почти вовсе игнорируется в этих журналах: великие преобразования нынешнего царствования приписываются всемогущему духу времени, неотразимой силе обстоятельств, инициативе журналов и т. п. Правительство же едва удостоивается при этом снисходительного одобрения за то, что оно не упорствовало, не отвергло настояний упомянутых могучих деятелей».

Точка зрения Еленева разделялась большинством цензурных деятелей того времени, а потому неудивительно, что первая же „бесцензурная“ книжка „Современника“ заставила их забыть тревогу.

Текст нижеследующего донесения петербургского цензурного комитета в главное управление по делам печати от 11 октября 1865 г. за № 746 (см. „Дело канцелярии Гл. Упр. по делам печати, № 78, по прошению издателя и редактора журнала „Современник“ дворянина Н. Некрасова и состоящего в чине VIII класса А. Пыпина об освобождении упомянутого журнала от предварительной цензуры. Началось 15 сентября 1865 г. Решено 30 июля 1868 г.“) свидетельствует, что большее всего было уязвлено цензурное ведомство статьею Антоновича, развивавшего как раз те самые скептические мысли о новом законе о печати, о которых говорилось выше.

„Октября 4-го с 11 часов по-полудни поступила в С.-Петербургский Цензурный Комитет книга „№ VIII Современник, за Август месяц 1865 г.“, журнала, изъятая от предварительной цензуры.

„Цензор, которому передана была книга на рассмотрение, 9-го сего октября заявил в заседании Комитета, что в статье означенного № „Современника“, озаглавленной „Надежды и опасения“, автор ее, Антонович, представив действия французской администрации по делам печати в виде произвола и личной мести, возбуждающих презрение в обществе, и дав понять, что того-же самого можно ожидать, и у нас, имел, очевидно, по мнению цензора, целью: во 1), уронить и опошлить в глазах читателя вновь изданный закон о предостережениях, во 2), придать будущим действиям нашей администрации по применению сего закона характер произвола и своекоры-

ствия, в 3), предварительно возбудить к силе действия презрение в обществе и в 4), запугать самую администрацию и выговорить вперед своему журналу сочувствие и уважение общества, в случае могущих последовать предостережений.

Таковые попытки, обнаруженные автором в приведенной статье, должны были бы, по мнению цензора, подлежать преследованию на основании 9 ст. п. 1 отд. IV Высочайше утвержденного 6 апреля сего 1865 г. мнения государственного совета; но, принимая в соображение, что автор, дабы устроить или, по крайней мере, ослабить для редакции судебную ответственность, прибегнул к обыкновенному литературному обороту и отнес все оскорбительные отзывы не прямо к закону 6 апреля и не непосредственно к существующим у нас правительственным учреждениям, а к французской администрации, и вообще придал своим рассуждениям такую форму, как-бы они касались не самого закона, а только возможного со стороны нашей администрации злоупотребления оным, цензор находит, что судебное преследование этой статьи может или вовсе оказаться несостоятельным, или, по крайней мере, повести к взысканию, не соответствующему тому вреду, какой, несомненно, последует, если закон, только что изданный, и действия правительственной власти, даже прежде их обнародования, будут подвергаться осуждению и посмеянию, хотя-бы в виде для всех понятных наведений и обличений.

С.-Петербургский Цензурный Комитет, принимая в основание заявление цензора о вышеприведенной статье означенного номера журнала „Современник“, разделяет мнение его, что судебное преследование статьи сей может оказаться несостоятельным, и потому, руководясь конфиденциальной инструкцией, данною цензорам, имеет честь предоставить о вышеизложенном на усмотрение Главного Управления по делам печати.

Следуют подписи председателя действительного статского советника А. Петрова и секретаря волн. сов. Селезнева.

Упомянутый выше цензор Еленев, очевидно, был неудовлетворен отзывом своего сотоварища об августовской книжке „Современника“ и, находя его недостаточным, решил его дополнить новыми обвинениями. О степени усердия Еленева в данном вопросе позволяет судить новое отношение цензурного комитета в главное управление по делам печати от 18 го октября 1865 г., за № 766:

„В заседании С.-Петербургского Цензурного Комитета, 13 сего октября, слушано было заявление цензора Еленева о некоторых статьях № 8 „Современника“ за август сего года, которые, хотя по форме изложения и не представляют, по мнению г. цензора, достаточных оснований к судебному преследованию, но по своей цели и содержанию составляют нарушение закона о печати и притом выражают собой главные черты направления этого журнала.

1. „Новые времена“, статья, заимствованная из одного английского журнала и описывающая общину реформаторов, существующую в Нью-Йорке и устроенную по началам коммунизма. В статье восхваляются, между прочим, свободные половые отношения, существующие в общине; приводится речь

одной женщины (члена общины), которая осуждает брак, как самоубийство любви, как затверделые цепи, называет это учреждение сказочным чудовищем, престол которого стоит на человеческих черепках, и требует свободы брачных отношений, в виде ли моногамии, или же в виде бигамии и полигамии (стр. 376, 383—384). Редакция „Современника“ с своей стороны находит, что такие требования весьма естественны, в виду существующего уже маримонства и отдельных последователей и последовательниц бигамии и полигамии (370).

2. „Надежды и опасения“. Автор, делая переход от цензуры книг к общему правительственному надзору, упрекает наши правительственные власти в духе соглядатайства, говорит, что русский ум, вследствие постоянного гнета всеобщей цензуры и привычки ко всегданшему повиновению, был забит и пригнуплен (стр. 175). При новых цензурных постановлениях, подчиняющих литературу цензуре преследовательной, мысль попрежнему остается стесненною, и все облегчения сводятся лишь на освобождение слога от цензорских поправок. Сказав, затем, что даже и эти, чисто формальные, облегчения возбуждают радость писателей, автор прибавляет: „удивительно, как гибельно действует на человека рабство, как извращает и убивает в нем все хорошее, что могло бы украшать его при свободе. Малейшее ослабление рабского гнета, тяготеющего над человеком, уже возвышает его в собственных глазах. Трудно себе и вообразить, как было бы хорошо, если бы люди были свободны во всех отношениях (178)“. Высказывается предположение, что безцензурные и подцензурные издания будут отличаться одними лишь внешними удобствами, а не существенными правами. Такое предположение подтверждается, между прочим, и тем, что управлять и руководить бесцензурною прессою призваны те же самые деятели, которые прежде занимались цензурою предварительною. Таким образом, за приобретение одних внешних удобств бесцензурные издания должны вносить залог и подвергаться всем карам административной мудрости и административного произвола (180—183). Действия цензуры предварительной преимущественно управлялись не законом, а капризом и произволом высших административных лиц. На предварительную цензуру взводится обвинение, что она прятала свои запрещения, как нечто неблаговидное, и вообще действия ее подвергнуты насмешкам и осуждениям (188, 194, 195). Цензор считает также нужным заявить, что в этой статье делается обращение к Министру Внутренних Дел с просьбою: во 1-х, не давать предупреждений за статьи, в которых будут подвергаться умеренной критике действия нашей администрации, во-2-х, чтобы, в случае задержания или конфискации какого-нибудь № издания, дозволено было извещать о том подписчиков, и чтобы сама администрация объявляла причину таковой меры; в-3-х, чтобы точнее было определено, что должно подлежать рассмотрению Духовной Цензуры (193).

3. „Фердинанд Лассаль“. Горячее сочувствие к демократизму и восхваление политического агитаторства Лассалья: ¹⁾.

¹⁾ Против этих строк сбоку сделана приписка синим карандашом: „3) Стихи Некрасова о цензуре“.

4. „Парижские письма“. Выражает, между прочим, сочувствие французской революции 1789 г. и осуждение монархического начала не только в виде нынешнего империализма, но и в виде легитимистской или орлеанистской конституционной монархии.

5. „Записки Современника“. Пропаганда, довольно впрочем сдержанная, хотя и крайне абсурдная, социального демократизма, по идеям Лассалю, и некоторые следы коммунистических тенденций. Доказывается право крестьян на вознаграждение из общей выработки, т. е. из той массы капиталов, которая, составляя сбережение, сделанное руками рабочих классов, несправедливо отдана в руки капиталистов (321).

„Комитет, находя, согласно с мнением цензора, что вышеупомянутые статьи, появившиеся в неподцензурном издании, хотя и не представляют достаточных оснований к преследованию, но характеризуют направление журнала „Современник“, считает долгом на основании конфиденциальной инструкции, данной цензором, заявить о них Совету Главного Управления по делам печати в дополнение к представлению своему от 11-го сего октября, № 746“. Подписи тех-же А. Петрова и Селезнева.

Хотя приведенные донесения цензурного комитета не повлекли за собой непосредственных кар, но, как увидит читатель, послужили материалом для последующих репрессий против журнала.

Вторая „бесцензурная“ книжка „Современника“ вызвала еще более недоброжелательное отношение цензурных сфер. Вот текст донесения цензурного комитета в гл. управление от 5-го ноября 1865 г. за № 814:

„В заседании С.-Петербургского Цензурного Комитета 3 сего ноября слушан был следующий доклад цензора Еленева о IX книжке (за сентябрь) „Современника“ 1865 г.:

„Статья „Записки Современника“! Автор старается доказать, что из земель и капиталов, принадлежащих нашим привилегированным классам, крестьяне имеют право по малой мере на такую часть, которая представляла бы ценность в 6 миллиардов рубл., что составит по 1000 рубл. на ревизскую душу (стр. 92—94). Дворянское землевладение и промышленные капиталы составились у нас, по утверждению автора, путем крепостной зависимости, налогов и казнокрадства; теми-же путями крестьянин лишен был капиталов, составляющих результат его труда и его законную собственность. Роль, какую при этом играли землевладельцы и капиталисты, была несправедливая и бесчестная. Так как подобное положение создано было законом, то автор требует, чтобы закон же и исправил его, возвратив крестьянам отнятое у них достоинство и сделав их из работников капиталистами! Пока это не будет исполнено, до тех пор привилегированные классы должны быть почитаемы заедателями крестьянского хлеба и состоящими в долгу у крестьян (94—95). Далее автор рисует самыми резкими чертами глубокое нравственное падение высших классов, вследствие их долгой привычки жить на чужой счет. Выражаясь словами Лассалю, он говорит, что каждый член высших сословий по принципу вражды к развитию и благосостоянию народа, что по самой этой противоположности

интересов высших сословий и народа все высшие классы необходимо должны быть безправственны, жить одной страстью и борысти и наслаждениям, неизбежно должны сопротивляться всему великому и доброму в народной жизни, проминать всякий успех в ней, быть, одним словом, врагами народа (97—98). Автор оглулом обывает все высшие классы испорченными, образ их действий бесчестным и постыдным, и такие определения выводит не из каких-либо частных недостатков и пороков высших классов, а из самого сословного их значения, из того факта, что они владеют землею и капиталами, которые, по понятиям автора, несправедливо отняты у народа (98). Автор говорит, что так называемое им заедание мужицкого хлеба, под которым он разумеет факт принадлежности земли и капиталов высшим сословиям, есть дело более бесчестное, чем шулерство и подделка ассигнаций (102). В дальнейших своих рассуждениях автор, хотя и не решается еще высказать ясно свои собственные понятия об общественном устройстве, но в выражениях, до крайней степени резких, нападает на современное устройство общества за то, что оно, с одной стороны, терпит существование капиталов и поземельной собственности высших классов, и с другой—допускает существование рабочего класса и наемной работы, что оно признает личную собственность, личную выгоду и соревнование необходимыми условиями всякого производительного труда. Такое общественное устройство автор называет илотством, похищением народного достоинства, посягательством на личность массы, спекуляциею над народом, а политико-экономическую науку, признающую те-же начала, именует подлою и безправственною. Наконец, автор приходит к заключению, что высшие сословия только тогда могут подавать надежду на некоторое нравственное улучшение, когда они ликвидируют свой долг народу, откажутся от заедания мужицкого хлеба и от обладания похищенными у народа капиталами (108—112).

„Принимая в соображение, что статья „Записки Современника“ осуждает в самых резких выражениях существующее повсюду и неотвратимое никакими искусственными системами неравномерное распределение собственности, что она выставляет существование капиталов и личной поземельной собственности, как действие насильственное и бесчестие, что существование рабочего класса и вытекающую отсюда необходимость наемной работы она изображает, как илотство и испровержение человеческой личности, как спекуляцию над народом, что она старается, наконец, доказать необходимость возвращения рабочему классу отнятых у него земель и капиталов, цензор полагает, что упоминаемая статья составляет прямое оспаривание и порицание повсюду существующих и общепризнанных начал собственности, и потому, на основ. Высочайше утв. 6 Апреля 1865 г., Мнения Государственного Совета, Отд. IV, ст. 9, п. 3, подлежит судебному преследованию.

„Во-вторых, означенная статья, утверждая, что дворянство и вообще привилегированные классы несправедливо владеют достоянием, которое по праву должно-бы принадлежать крестьянам, изображая эти классы глубоко безправственными и, по самому принципу их существования, враждебными остальному

народу, выставив самый факт владения землею и капиталами действием бесчестным и постыдным, означенная статья, очевидно, стремится доказать злобредность высших классов для народного благосостояния и представить их в ненавистном и презрительном виде. При всем том цензор полагает, что эта статья, по форме изложения, не может быть отнесена к роду воззваний, упоминаемых в Высочайше утв. 6 апреля Мн. Госуд. Сов., Отд. IV, ст. 9, п. 2. Под воззванием законодательство обыкновенно разумеет непосредственное возбуждение к какому-либо преступному деянию, обращенное или ко всему населению, или к известной его части; упоминаемая же статья есть литературное рассуждение, хотя и написанное в духе крайних социалистов, но ни к кому в особенности не обращающее и притом недоступное пониманию простого народа. Потому цензор полагает, что приведенная выше статья закона 6 апреля, в ее буквальном смысле, не может быть применена к статье „Записки Современника.“

„С.-Петербургский Комитет, соглашаясь с мнением цензора, имеет честь представить его на заключение Главного Управления по делам печати.

„Вместе с сим, цензором заявлено было о нижеследующих статьях означенной книжки „Современника“, которые, хотя и не представляют достаточного повода к судебному преследованию, но составляют, однако, нарушение закона о печати и притом выражают собою главные черты направления этого журнала.

1. „Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия“. „Статья Лассала“. Заключает в себе превознесение начал демократической революции 1848 г. Высшие классы признаются нравственно развращенными; господство над государством должно принадлежать рабочему классу.

2. „Интересы дворянства или интерес барона Френкеля, что дороже „Московским Ведомостям?“ Статья эта, на основании устава банка Френкеля, старается доказать, что это предприятие есть не более, как обман, рассчитанный на несостоятельность заемщиков, вследствие которой Френкель за 5 мил. бумажных рублей станет хозяином русских имений сперва на сумму $\frac{100}{\text{млн.}}$, а потом и более (7—8). Делается намек на лица, пропагандирующие план Френкеля, имея в виду поделиться с ним барышами (9). В заключение автор говорит, что устав банка отдаст наших землевладельцев и капиталистов на эксплуатацию Френкелю, что устав этот нерасчетлив в политическом отношении, чудовищен в финансовом и сверх того противен самой букве нашего законодательства (26)

3. „Русская Литература. Губернская пресса“. Насмешки над губернской администрацией, по поводу распоряжений некоторых губернаторов, заявленных в местных губернских ведомостях.

О чем Комитет, на основании данной цензорам конфиденциальной инструкции, и имеет честь заявить Совету Главного Управления по делам печати“. Подписи А. Петрова и Селезнева.

Это отношение цензурного комитета придало вопросу о „Современнике“ такую остроту, что он был подвергнут обсуждению на ближайшем заседании

совета главного управления по делам печати. В качестве материала на заседании были заслушаны выписка из последнего отношения комитета и письменное мнение члена совета В. Фукса, которому еще в октябре было поручено составить отзыв о направлении „Современника“ вообще и о направлении его последних книжек в особенности (см. „Дело канцелярии Гл. Управл. по дел. печати“, за № 40. Началось с 6-го сентября 1865 г. Решено 28 декабря 1865 г.). В своем мнении Фукс так характеризовал прошлое „Современника“: Журнал „Современник“, по поводу обнаруженного им вредного направления, был приостановлен в 1862 г. на восемь месяцев. По возобновлении своем, по истечении срока приостановки, этот журнал дал своим читателям романы „Что делать“ г. Чернышевского и „Смелый Шаг“ г. Леона Бранди, в которых выразилось то же самое направление журнала, которое вызвало временную его приостановку. Независимо от сего, в течение последних двух лет, в этом журнале помещались ученые статьи и обозрения общественной жизни, направленные, с крайне редкими исключениями, к той же цели. Эта цель журнала заключалась не в литературном только нигилизме, но и в политическом и общественном; она состояла в стремлении к поколебанию авторитета правительственных распоряжений и высших классов общества, которые были постоянно выставляемы исключительно в виде недобросовестных эксплуататоров низших слоев народа, далее в подорвании основ собственности, семейного союза и общественной нравственности. Такой взгляд на направление „Современника“ был высказываем как в здравомыслищей части публики, так и в журналистике. Но направление это до 1 сентября сего года, будучи скрываемое, хотя не всегда с успехом, цензурой, не могло приносить много вреда, особенно в виду последовавшего, под влиянием многих последних событий, отрезвления молодежи. Затем, с выходом этого издания из-под цензуры, в публике разнеслась молва, достигшая и до правительственных сфер, что редакция означенного журнала, в виду новых более льготных для отечественной печати условий, намерена умерить свое направление и свой тон. И, действительно, в первой, вышедшей без цензуры, августовской книжке редакция, в статье под заглавием „Итоги“, путем довольно ловких, хотя и натянутых выводов, старается представить себя в ином свете как перед обществом, так и перед правительством, с которым журнал, по словам статьи, как будто действовал заодно и для достижения тех же целей в борьбе с большинством общества. Но этот умеренный поворот только и остался на страницах передовой статьи августовской книжки, ибо в прочих статьях той же книжки журнала развиваются совершенно прежние его тенденции, которые во второй, т. е. сентябрьской книжке, доходят до крайнего выражения, благодаря отсутствию цензуры, переставшей уже быть препятствием той аффектации, которая не может не действовать воспламенятельно на молодежь, доселе еще далеко не остывшую к сему журналу.“

В дальнейшем Фукс давал обзор содержания „предосудительных“ статей августовского и сентябрьского №№. Ссылаясь на статьи „Новые времена“ (№ 8), „Надежды и опасения“ (там же), „Записки Современника“ (№№ 8 и 9), он формулировал их предосудительность или в выражениях, тождественных

с формулировками цензурного комитета, или в выражениях, представляющих их вольный пересказ. Характерно, что перечень «предосудительных» статей был дополнен Фуком указанием на стихотворение Некрасова, «Газетная», в августовском №, где «изображено в оскорбительном виде существующее, а следовательно охраняемое силою закона звание цензора, в особенности на стр. 511, от слов „освежившись“.... до слов: „труден мой путь“. Данный отрывок в стихотворении читается так:

Освежившись холодною клюквой,
Он ¹⁾ прибавил:—А что я терпел!
Не один оскорбленный писатель
Письма бранные мне посылал
И грозился... (да шутить, приятель!
Меры я надлежащие брал).
Мне мерещились авторов тени,
Третьей ночью еще Февербах
Мне приснился—был рот его в пене,
Он держал свою шляпу в зубах,
А в руке суковатую палку.....
Мне одна романистка чуть-чуть
В маскараде.. но бабу—нахалку
Удержали... Да, труден наш путь!

Закончил Фукус свой доклад совету гл. упр. нижеследующим заявлением:

„На основании вышеуказанного, разделяя мнение с.-петербургского комитета о предосудительности направления двух вышедших без цензуры книжек «Современника», я не разделяю, однако, его заключения о том, что большая часть статей, по неумовимости преступного их содержания, должны быть оставлены без последствий, и что только оспаривание начал собственности во второй статье под заглавием «Записки Современника» должно подлежать преследованию, а также, что это преследование должно быть судебное. Находя необходимым не оставить без надлежащего взыскания ни одной из указанных во всем отзыве статей, из которых действительно не все могут быть успешно подвергнуты судебному рассмотрению, а с другой стороны, признавая полезным, помимо свойственной судебной процедуре медленности, предварить как «Современник», так в лице его и другие редакции от дальнейших попыток к пропаганде подобного направления, я полагаю бы объявить журналу «Современник» первое предостережение“.

При обсуждении предлагаемой Фуком меры среди членов совета произошло разногласие. Председательствующий (очевидно, М. Щербинин) и члены: действительные статские советники Ф. Толстой, А. Петров и Мартынов всецело присоединились к мнению Фука, но «либеральная» часть совета (разумеется, здесь можно говорить об очень относительном либерализме), в лице тайных советников Турунова и Тютчева (поэта) и действительных статских со-

¹⁾ Он—это цензор.

ветников Варадинова и Гончарова (автора «Обломова») настаивала на возбуждении против «Современника» судебного преследования. Соображения Тютчева, Турунова, Варадинова и Гончарова, изложенные ими в особой записке, сводились к тому, что в статье сентябрьской книжки «Записки Современника» заключается прямое оспаривание начал собственности, предусмотренное в пункте 3, ст. 9, отд IV высочайше утвержденного 6-го апреля 1865 г. мнения государственного совета, что статья эта напечатана без подписи автора, следовательно, имеет характер статьи руководящей, выражающей убеждения и направление журнала «Современник», статьи, если и не представляющей по внешней форме своей характера открытого воззвания, то во всяком случае обращающейся к массе читателей с явным намерением возбуждения вражды в одном сословии против другого, что, не будучи противно буквальному смыслу соответствующей статьи закона, во всяком случае противно ее духу. В происшедшем обмене мнений большинство, — заметим, кстати, что большинство это было большинством одного голоса, к тому же голоса самого докладчика, — указывало, что речь идет не только о вредном направлении данной статьи, но о вредном направлении всего журнала, а потому «карательная мера должна быть принята не против одного факта, но против всего направления журнала. Судебное же преследование казалось бы возможным только против одной статьи». При этом большинство отмечало, что так как в статье «Записки Современника» не заключается «прямого» оспаривания начал собственности, а лишь косвенное, то это обстоятельство может послужить на пользу обвиняемых. «Наконец, представляется неизлечимым принять в соображение, что в случае судебного преследования обвиняемые в оспаривании начал собственности будут стараться придать частному процессу — характер процесса сословного и могут усвоить себе роль адвокатов угнетенных классов, и потому, на первых порах нашего гласного и независимого судопроизводства, при неотъемлемом праве прессы знакомить публику со всеми подробностями судебных прений, при характере дела, не допускающего решения при закрытых дверях, едва ли может быть признано удобным судебное разбирательство настоящего вопроса». Министр внутренних дел, гр. П. А. Валуев утвердил мнение большинства, и 10-го ноября «Современнику» дано было первое предостережение за оскорбление начал брачного союза (ст. «Новые Времена» в № 8-м), за косвенное «поричание начал собственности в применении к капиталистам, несправедливо будто бы присвоившим себе сбережения рабочих классов» (ст. «Записки Современника», в № 8 м), за «прямое оспаривание и отрицание» начал собственности (ст. «Записки Современника», в № 9) и за возбуждение «вражды к высшим и вообще к имущественным классам, выставляемым, по самому принципу их существования, безнравственными и зловердными для народного благосостояния» (там же). В пояснение предостережения было сказано, что оно вызвано вредным направлением журнала вообще и была приведена подробная квалификация предосудительных статей из доклада Фукса, с упоминанием и стихотворения «Газетная». Того же 10-го ноября, которым было датировано предостережение, о нем было официально сообщено редакторам «Современника», как это

явствует из нижеследующего автографа Некрасова, сохранившегося в делах гл. управления по делам печати:

„1865 года ноября 10 дня в десять часов и три четверти вечера отношение главного управления по делам печати от сего числа за № 472 нам объявлено и приложенное при оном заявление о распоряжении министра внутренних дел по предмету объявления первого предостережения журналу „Современник“ нами получено, каковое будет немедленно напечатано, согласно порядку, указанному в статье 31, разд. II Высочайше утвержденного 6-го апреля сего года мнения государственного совета.

Издатель и редактор „Современника“ Николай Алексеев Некрасов.
А. Пыпин.

Объявлено и выдано помощником надзирателя штабс-ротмистром Кулябко“.

Третья „бесцензурная“ книжка „Современника“, т. е. № 10 за 1865 г., в свою очередь, привлекла подозрительное внимание цензурных инстанций. В статье Антоновича „Суемудрие Дня“, цензор Еленев, а вслед за ним и цензурный комитет готовы были усмотреть, как это видно из отношения комитета в главное управление от 25-го ноября, за № 877, неуважительное отношение к православию и вообще к христианской религии, но „принимая во внимание, что автор далеко не высказывает своих мыслей ясно и категорически, а дает их понять посредством различных намеков, сопоставлений и умышленного смещения слов и понятий, одним словом, посредством той условной и искусно запутанной фразеологии, смысл которой вполне ясен лишь для читателя, привыкшего к подобному способу выражения и близкого знакомого с направлением журнала“, полагали, что „суд затруднился бы признать в этой статье явное и положительное нарушение закона“. Еще большие опасения со стороны цензора и комитета возбудил рассказ Успенского „Деревенские встречи“. В статье этой, читаем мы в отношении комитета, „выводится на сцену развратный, буйный и обезумевший от пьянства певчий Никитич. Потеряв голос от переноя, он получает сперва место диакона, а потом, как видно по смыслу всего рассказа, назначается священником; продолжает вести самую развратную жизнь, убивает жену и за это отставляется от служения. В рассказе встречается несколько выражений кощунственных и оскорбляющих религиозное чувство. Например, одно действующее лицо духовного звания, по словам автора, высказывает такие качества, имена которых можно брать только из истории ветхого завета и притом не позднее появления 10 заповедей: любостяжание, лжесвидетельство, страстное желание чужого осла и вола и всякого скота. Автор выражается, что в этом действующем лице „разгадываются библейские похоти“, и здесь же упоминает о „старинных книгах, сказках и житиях“, очевидно, разумея в том числе и священное писание, как то явствует по смыслу речи (412). Представив в самом пошлом виде жизнь мелкого чиновничества и городского духовенства, автор заканчивает картину следующими словами: „геморрой, поясницы и ревматизмы принимались хозяйничать и оставались только желание, пронесенное в целости чрез всю жизнь и состоявшееся в том, чтобы как-нибудь попасть в царство небесное, ибо в аду жара пред-

ставилась до такой степени ужасной, что одна капля воды равнялась целому кувшину холодного кваса, который в сей тленной жизни всякий чиновник выпивал залпом с просонок" (421). При чтении Никитичем Апостола, любителя его голоса, по словам автора, принимались в церкви трепать в ладоши (419). В рассказе „Деревенские встречи“ содержится, во 1-х, кощунство над священным писанием, над верою в будущую жизнь и над церковным богослужением, и, во 2-х, оскорбляется священнослужительское звание. По неимению прямого закона против кощунства посредством сочинений, а также по отсутствию в законе статей против оскорбления священнослужительского звания, цензор полагает, что статья эта могла бы подлежать судебному преследованию на основ. ст. 1356 улож. о наказ., как сочинение, явно противное нравственности и благопристойности. Но, принимая в соображение, с одной стороны, что кощунство заключается лишь в некоторых отдельных выражениях этой статьи и скорее может быть приписано нравственному невежеству автора, чем умышленному намерению оскорблять религию, а с другой стороны—выведенное изображение развратного духовного лица представлено, как частный случай, возбуждающий ужас и отвращение в других действующих лицах духовного звания, цензор и относительно этой статьи полагал бы более удобным отложить судебное преследование до того времени, когда совокупность нескольких нарушений закона представит к тому более достаточные поводы".

В заключение в отношении цензурного комитета содержалось указание на эпиграф к стихотворению Некрасова „Железная дорога“ в котором был поименован гр. П. А. Клейнмихель. „Подобное выставление имен высших правительственных лиц, заявлял комитет, крайне неуместно“.

Отношение комитета было передано на рассмотрение члену совета главного управления Мартынову, который составил по поводу него обстоятельный доклад. Доклад этот, представляющий собою весьма ценный документ для характеристики как цензурных нравов того времени вообще, так и отношения цензурного ведомства к „Современнику“ приведем полностью:

«При рассмотрении представления с.-петербургского цензурного комитета, от 25 ноября за № 877, я нашел изложенное в нем заявление цензора о 10 книжке „Современника“ требующим пополнения как потому, что цензор счел нужным сделать замечание только о 3-х статьях, входящих в состав означенной книги, так и потому, что замечания, сделанные им по поводу стихотворения „Железная дорога“ и статьи „Семь мудрецов Дня“, я нахожу слишком умеренными, и к тому же и заключения о них не соответствующими их вредному направлению.

„Вполне соглашаясь с суждениями г. цензора, по поводу статьи „Деревенские встречи“, я долгом считаю обратить внимание совета и на некоторые другие статьи октябрьской книжки „Современника“, отличающиеся непрерывным стремлением к осуждению существующего в нашем государстве порядка вещей, носящие ясный отпечаток социалистических мудствований, и в особенности возбуждающие неприязнь и даже презрение к некоторым сословиям, служащим постоянно мишенью для сотрудников „Современника“:

„1) В статье Очерки истории русской литературы“, за подписью „Грицко“, автор, говоря о современной деятельности нашей литературы и утверждая, что „идеи, являющиеся в Европе, непременно найдут свой отзыв у нас“ (стр. 289), заканчивает период мнением, что „вопросы, которые разрабатывались в Европе, от 1840 до 1848 г., разрабатывались и продолжают разрабатываться у нас“. Чем автор силится доказать, что коммунизм и социализм не перестают гнездиться в России.

„В той же статье (256), описывая деятельность цензора, говорится: „Вот почему, пока есть цензура, каков бы ни был закон ее, он не может сохранить для литературы законной свободы“. Замечательная антитеза—закон, препятствующий законности, была бы только бессмысленным противоречием, если бы не скрывала в себе намерения служить порицанием цензурного законодательства.

Далее (стр. 273), говоря о бывшем в царствование Екатерины II меценатстве, не встати прибавляется: „Дело в том, что расстояние от одного сословия к другому в то время еще существовало“, предоставляя читателю сделать из сего категорический вывод, что в настоящее время оно уже более вовсе не существует.

„2) В статье „Хроника жизни солдатского сына“ за подписью Свеченко, автор напрягает все возможные, а потому часто и недовольные усилия, чтобы выставить существовавшее прежде в России учреждение военных кантонистов в самом потрясающем виде. Не сомневаясь в том, что в учреждении этом таились существенные недостатки, признанные самим правительством, распоряжением которого кантонисты уже лет 8 тому назад упразднены, простой здравый смысл, уже без ближайшего знакомства с самим делом, не может признать подходящими к истине те страшные картины быта кантонистов, которые эффектно одна за другою рисуются автором, очевидно, чтобы возбудить самое жестокое порицание (ст. 289) против учреждения, существовавшего у нас много лет. Этою целью, однако, автор статьи не ограничился; представляя кантонистов угнетенными пуще негров Южной Каролины, он в лице угнетателя, с совершенно нероновскими наклонностями, выставляет молодого офицера, лучшими препровождениями времени которого служат—возбуждаемые по приказанию его кровавые драки между кантонистами (294-295), зверское с ними же обхождение во время учения (298-до 301 и друг.), неистовые шутки над кантонистами во время их купания (стр. 302) и т. п. И затем, говоря о качествах этого офицера, присовокупляет: к сожалению он не из солдат—он получил образование в одном из заведений, называющихся первоклассными,—и происходил из хорошей фамилии (стр. 314). Все эти чрезмерно преувеличенные рассказы и в особенности последняя приведенная речь, по мнению моему, до крайности оскорбительны для чести войска.

„3) В статье „Суемудрие Дня“ за подписью Антоновича, под видом полемики с газетою „День“ и под предлогом опровержения особых мыслей о народности русской, проводимых этим изданием, автор, хотя косвенно, но в весьма резких выражениях возбуждает умы противу истин православной веры,

говора, „что она к нам занесена из Византии в то время, когда это государство гнило и продуктами своего разложения заражало все, соприкасавшееся с ним“ (стр. 185), выражая затем желание, чтобы „свободный ум перестал находиться под ферулою раз навсегда установленных тезисов предания“, и осмеливая Хомякова, утверждавшего, что надлежит „науку подчинить высшим началам, которые нам изстари заветаны православием“ (стр. 196).

„Кроме этого арко очерченного противурелигиозного направления, та же статья содержит в себе похвалу всем возможным революционным началам, как упомянуто в вышеизложенном донесении цензора и, наконец, неоднократно, в самых насмешливых оборотах речи, бросает нарекания на правительственные учреждения и на отношения к ним всего народа, утверждая, что „за неимением свободы мы должны себя считать скотами бессмысленными и бессловесными“ (стр. 125), и что русский народ чуть-ли не вступил в торг с правительством о своих правах (стр. 205).

„Обращаясь за этим к стихотворению за подписью Некрасова „Железная дорога“, я нахожу с своей стороны мнение об оном г. цензора чрезмерно снисходительным и отчасти неуместным. Нельзя без содрогания читать эту страшную клевету на первое благотворительное предприятие нашего правительства к усовершенствованию на западный образец наших путей сообщения, клевету, изложенную в весьма звучных стихах, напоминающих собою балладу Бюргера. Автор утверждает, что люди, употребленные на работах „гробы обрели здесь себе“, — что рельсы дороги вместо подушек укреплены чуть-ли не на „восточках русских“, что „начальство секло народ“, предоставляя ему право „мерзнуть и гибнуть от цинги в землянках“. Не удовлетворяясь общими выражениями наглой клеветы, автор позволяет себе даже сделать произвольное исчисление мучеников, потерпевших смерть за железную дорогу — утверждает, что таковых „пять тысяч“. Наконец, в эпитафие упомянуто, вещь всем известная, что главным строителем дороги был граф Клейнмихель, очевидно, с целью возбудить в читателях негодование против этого имени, рассчитывая на страшную эффективность стихотворения, каковое указание лица и самый способ изложения мнимых злоупотреблений по построению дороги, вовсе не подходит под требование ст. 16-ой, 4 отд.

„Ко всему этому нужно прибавить, что, сколь мне известно, стихотворение это подверглось уже несколько лет тому назад запрещению, по существовавшим цензурным правилам, что могло служить автору достаточным указанием на неуместность печатать оного в издании, освобожденном от предварительной цензуры.

„Из числа всего мною приведенного из статей 10 октябрьской книжки „Современника“ в особенности, по мнению, моему, заслуживают нарекания и преследования статьи:

„1) „Суетумудрие Дня“, как заключающая: а) неприличные суждения о значении православия вообще и в особенности в отношении к событиям отечественной истории (стр. 195 и 196), б) сочувственные отзывы о ниспровержении алтарей и престолов и насмешки над уважением к религии и

законам (стр. 188), в) глумление над нашим государственным устройством, равно над отношениями народа к высшей власти (стр. 195 и 205).

„2) Стихотворение „Железная дорога“, как представляющее сооружение этого пути результатом притеснения народа со стороны правительства, с возбуждением негодования против высшего правительственного лица.

„В виду подобного неумолкающего настойчивого проповедования ложных идей, постоянной грубейшей клеветы как на правительственные учреждения, так и на сословия и частные лица, и принимая во внимание: во 1-х, что в 10 октябрьской книжке „Современника“ неоднократно нарушаются правила, изложенные в статьях 13 и 16 отд. IV, и во 2-х, что за подобные отступления от цензурных правил уже однажды по журналу совета 9-го ноября, утвержденному г. министром внутренних дел, „Современнику“ объявлено предостережение, я полагаю бы сделать этому журналу второе предостережение в лице его ответственных издателя и редактора“.

„Либеральная“ часть членов совета пыталась возражать Мартынову. Попытку такого возражения, облеченного в очень осторожную форму, представляет отзыв Гончарова, напечатанный впервые в книге Мазона об этом писателе. По поводу стихотворения „Железная дорога“ Гончаров замечал, что от него, как и от других стихотворений Некрасова, „ожидать вреда для общества“ не приходится, так как „благодаря натяжкам, преувеличениям и односторонности, этим господствующим чертам в стихотворениях Некрасова“, „к ним недоверчиво относятся теперь и самое юношество“. Что касается „Суемудрия Дня“ и „Деревенских встреч“, то в них признаки общего направления „Современника“, хотя и обнаруживаются, „но не довольно ясно и сильно, чтобы настала немедленная потребность дать второе предостережение“. Нужно, так заканчивает Гончаров, „повременить до следующей или следующих книжек, когда по всей вероятности явятся новые и более осозательные поводы ко второму предостережению, если только „Современник“ не решится изменить своего направления, чего, впрочем, конечно, никто не ожидает“. Гораздо принципиальнее, чем Гончаров, ставил вопрос другой член совета гл. упр. Ф. М. Толстой, письменное мнение которого подписал и Тютчев. Отмечая, что в полемической статье „Суемудрие Дня“ допущен ряд выражений, неприличных по тону и неловких по редакции, которые и дали повод к обвинениям автора в кощунстве и неуважении к православию, Толстой и Тютчев отказываются признать, что у автора на самом деле было подобное намерение, тем более, что „сущность статьи, заключающаяся в стремлении доказать превосходство западного просвещения и европейской цивилизации над невежеством древней России, не может быть порицаема“. В рассказе Успенского Толстой и Тютчев, в свою очередь, усматривали лишь „неловкие выражения“; цель же рассказа, „заключающуюся в том, чтобы представить в самом отталкивающем виде последствия пьянства“, считали заслуживающей одобрения. Особенно любопытна заключительная часть мнения Толстого и Тютчева:

„Конечно, тон и направление, отличающие журнал „Современник“ от прочих периодических изданий, проглядывают и в этих статьях, но они не

проникнуты тем духом социализма и ненавистью к поземельной собственности, которые подвели предшествующий № „Современника“ под заслуженное административное взыскание. Без сомнения, желательно, чтобы у нас было поменьше журналов, придерживающихся направления „Современника“, или даже, чтобы их вовсе не существовало, но, к сожалению, последнее предположение невозможно иначе, как при строгой подцензурной прессе. Вообще желательно было бы, чтобы русская пресса пользовалась с наибольшей умеренностью правами и льготами, дарованными ей указом 6-го апреля; но во всяком случае совет, я полагаю, должен установить существенное различие между подцензурными изданиями и изданиями, освобожденными от предварительной цензуры. Обязанность совета строго преследовать учения, стремящиеся поколебать должное уважение к существующим узаконениям, но опыт доказал, как весьма справедливо заметил его превосходительство Феодор Иванович Тютчев, что ложное мудрствование и другого рода неопасные уклонения и увлечения прессы несравненно успешнее опровергаются и даже иногда вовсе искореняются открытым противодействием благомыслящих даровитых писателей, которые неминуемо оставят без возражения самые вызывающие разглагольствования, если журнал, напечатанный их, подвергся уже административному предостережению. На основании этого опыта, и выработался, мне кажется, новый закон по делам печати, и я сомневаюсь, чтобы излишняя строгость, т. е. преследования, помимо цели и основной мысли, каждой отдельной фразы, соответствовали бы видам правительства, признавшего за благо изменить и пополнить существовавшие постановления о печати новым узаконением. Вследствие всего вышесказанного, я полагаю, по крайнему моему убеждению, что статьи „Сумудрие Дня“ и „Деревенские встречи“ не дают повода ни к судебному преследованию, ни к административному взысканию. 4-го декабря 1865 г.“

Умеренная группа членов совета и на этот раз потерпела неудачу. Большинство требовало предостережения, которое и было обьявлено 4-го декабря, по утверждении мнения большинства министром. Текст предостережения (он перепечатывался неоднократно), равно как и мотивировка его всецело базировались на отзыве Мартынова. Из отношения с.-петербургского обер-полицеймейстера генерал-лейтенанта Анненкова в гл. упр. по делам печати явствует, что „заявление по предмету второго предостережения журналу „Современник“ было вручено А. Н. Пыпину того же 4-го декабря в 11 ч. вечера.“ Относительно вручения повестки Некрасову дело оказалось сложнее. „Причем долгом считаю присовокупить, читаем в отношении полицеймейстера, что по случаю отсутствия издателя Некрасова из квартиры своей, посланный мною дежурный офицер разыскивал его в нескольких местах, не мог отыскать его и, наконец, ожидал на квартире его, куда он возвратился уже в час ночи, где и вручил ему, Некрасову, означенное заявление с подписью на самом отношении главного упр. по делам печати“.

Насколько душливой являлась атмосфера, царившая в это время в гл. управлении, видно хотя бы из „Дневника“ Никитенко. Вот очень характерный отрывок, относящийся как раз к декабрю 1865 г.: „Вечер про-

сидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дает направление Фукс и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и располагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь не угодны. Выходит, что дело цензуры, пожалуй, никогда еще не было в таких дурных, т. е. невежественных и враждебных мысли руках“.

Как ни усердствовал вдохновляемый Фуксом Валуев, однако, тогдашняя общественная среда была такова, что в ней находились люди, готовые обвинять его не больше, не меньше, как в потворстве крамольной печати. В архиве главного упр. сохранилось интереснейшее письмо на имя Валуева Андрея Николаевича Муравьева, брата знаменитого Муравьева Вилenskого, известного в светском кругу своими многочисленными сочинениями по церковным и богословским вопросам:

„Милостивый Государь
Петр Александрович!

Прочитав в 182-м № „Петербургского Листка“ второе уже предостережение „Современнику“, где сказано, что статья его заключает в себе сочувственные отзывы о ниспровержении алтарей и престолов и глумление над нашим Государственным устройством, над отношениями народа к правительственной власти и над уважением к религии... я ужаснулся, но, признаюсь, когда я прочел, что за все это сделано только предостережение, и уже вторичное, я было хотел улыбнуться, но невольно опять ужаснулся, когда сообразил, что такими поблажками правительственная цензура, долженствующая охранять веру и правительство, вместо того как бы подает руку возмутителям общественного порядка, умножая их торжество и роняя свое достоинство столь малодушными предостережениями, которые уже лучше было бы не оглашать на русской почве, если не хотят действовать, как следует, для водворения порядка против подобных возмутителей оногo.

„Простите искреннему слову православного человека, любящего свою родину.

„С глубочайшим уважением имею честь вашего высокопревосходительства покорный слуга Андрей Муравьев. 10 декабря 1865 г. С.-Петербург“.

Валуев ответил на это письмо очень кратко, разъясняя, что в случае третьего предостережения издание может быть или совершенно прекращено, или приостановлено на срок до шести месяцев. „В этом именно,—писал министр,—и заключается значение предостережений“.

Едва ли будет ошибочно заключить, что письмо А. Н. Муравьева, брата грозного искоренителя польской крамолы, друга митрополита Филарета, человека, имевшего значение в сферах, не осталось без влияния на Валуева, укрепило этого последнего в его намерении не щадить „Современника“.

Некрасов, при его связях и знакомствах в цензурном ведомстве, не мог не понимать, что над его журналом нависла гроза, и вот он решается для предотвращения ее принять некоторые меры.

В бумагах поэта сохранился нижеследующий черновик его письменного обращения, повиному, к председателю совета главы управления по делам печати, М. П. Щербинину:

„Существование журнала с двумя предостережениями немисливо, подобно существованию человека с пораженными легкими. Чтоб выиграть несколько дней жизни, эти люди, выходя на воздух, надевают на рот особенный снаряд, который и мешает дыханию, и вместе с тем, как думают, способствует продолжению его.

„Современник“ отныне должен явиться в публику в подобном снаряде. Как будет ему дышаться, какова будет его речь,—об этом бесполезно говорить. Величайшим для меня счастьем было бы закрыть журнал теперь же, не подвергаясь неприятности присутствовать при медленной агонии журнала, на который потратил я лучшие мои силы, работая над ним в первое десятилетие почти один. Но ликвидировать дело, длившееся 20 лет,—внезапно, в один месяц, при тех затратах, которые сделаны мною на следующий год и при некоторых других обстоятельствах, о которых по краткости сей записки считаю неудобным говорить,—слишком убыточно и тяжело.

На ликвидацию мне необходим следующий год, который во всяком случае будет последним годом существования „Современника“ под моею редакцией.

Итак, цель издания „Современника“ в следующем году—единственно хозяйственная. Уже самая эта цель обязывает меня действовать со всевозможною осторожностью; в моем положении и в виду этой цели самое удобное было бы для меня возвращение к предварительной цензуре, но мне сказано, что подобное возвращение невозможно. Между тем, при всей моей готовности подчиняться требованиям правительства, продолжение журнала без предварительной цензуры сопряжено для меня с риском, угрожающим ухудшить мое положение, ибо я не владелец „Современника“, а только арендатор его, обязанный в случае запрещения журнала заплатить владельцу его 8500 р. с.

В этих обстоятельствах прибегаю к вашему превосходительству с покорнейшею просьбою дать мне некоторую гарантию, что изложенный мною план ликвидации журнала может быть доведен мною до конца, заявляя с своей стороны полную готовность подчиняться тем условиям, в которые для этой цели ваше превосходительство найдете нужным поставить мой журнал. Почту себя много обязанным, если XI книжка „Современника“, составленная до получения второго предостережения, будет предварительно пересмотрена: охотно исключу статьи, на которые мне будет указано. Равным образом, и на будущее время готов буду, по представлении книги в комитет, вместо положенных двух дней медлить выпуском ее в свет неделю и более, лишь бы уберечься предостережения. Есть еще обстоятельство, о котором я должен заявить вашему превосходительству. Два предостережения, данные „Современ-

нику", внушили публике мысль, что существование этого журнала будет весьма кратко. Вследствие этого подписка остановилась. Чтоб иметь подписчиков... необходимо рассеять эту мысль, объявив публике, с одной стороны, что по смыслу закона, и третье предостережение не есть еще непременно смертный приговор журналу, а, с другой стороны, то, что мною приняты меры, при которых я питаю надежду избежать третьего предостережения. Итак, да не будет принято подобное объяснение с моей стороны как бы за жалобу мою публике на полученные мною предостережения.

В заключение, почтительнее прошу ваше превосходительство довести эту мою записку до сведения г. министра внутренних дел и совета по делам печати».

Было ли послано настоящее письмо своему адресату, — сказать трудно. Больше вероятней, конечно, за то, что было. Некрасов по натуре своей принадлежал к числу тех людей, которые, приди однажды к определенному решению, в особенности в отношении вопроса практического, делового, не склонны бывають менять его. За всем тем только нахождение беловина даст возможность категорически утверждать, что письмо было послано. Во всяком случае, несомненно, что сношения по данному вопросу у Некрасова с цензурным начальством имели место. В бумагах П. А. Плетнева, собственника журнала „Современник“ (Некрасов был только его арендатором), сохранилось письмо Некрасова к нему от 19-го декабря 1865 г., в котором Некрасов настаивает на уничтожении в контракте об аренде „Современника“ пункта, обязывающего его, Некрасова, уплатить Плетневу 30 тыс. руб. асигн. „вследствие явного нарушения нами постановлений цензуры“, мотивируя свою просьбу тем, что „теперь, собственно, у нас цензуры нет, но запретить журнал могут всякий раз, как это вздумается министру внутренних дел“. В конце этого же письма Некрасов характеризует положение „Современника“: „Он получил два предостережения (впрочем, не думайте, что предостережения получены одним только „Современником“, — у нас для начала на них довольно щедры). После третьего предостережения, журнал, по закону, закрывается временно от двух до шести месяцев, а потом предостережения снимаются впредь до новых. Я, однако же, надеюсь избежать в следующем году 3-го предостережения, для чего принял свои меры и имел объяснения с начальством. Насчет запрещения журнала мне положительно заявлено, что подобного намерения нет у правительства; я ставил вопрос прямо, предлагая, что сам лучше закрою журнал, если имеется подобное намерение. Самое худшее тут то, что два предостережения публики наша, по новости закона, приняла за близкие предвестники смерти журнала, и подписка на 1866 год остановилась. Теперь я хлопочу, чтобы рассеять это предубеждение и с этою целью написал объяснение, которое я пишу в публику, показав предварительно министру“.

Приведенная выписка убеждает, что переговоры Некрасова с цензурным начальством касались как раз тех пунктов, которые составили содержание его черного письма к Щербинину. Результатом этих переговоров поэт мог считать себя успокоенным тем более, что цензурная травля против „Современ-

ника" в ближайшие месяцы несколько ослабела. По крайней мере, в официальной форме вопрос о „предосудительности" той или другой статьи „Современника" отнюдь не возбуждался. Конечно, это далось не даром... Книжки журнала очень обесцветились и потускнели. Однако, и в прежней истории „Современника" бывали моменты, когда приходилось, если можно так выразиться, „сдавать с тона", но эти моменты бывали обыкновенно не слишком продолжительны. Можно было надеяться, что и в данном случае обесцвечивание и потускнение, вызванное угрожающей позицией, занятой главн. управлением по делам печати, не затянется особенно долго. За то продолжавшаяся приостановка в подписке не могла не тревожить Некрасова, как это видно из его письма к В. Я. Фуксу от 22-го января 1866 г., извлеченного нами из архивов гл. упр.:

„Милостивый Государь
Виктор Яковлевич.

„Подписка на „Современник" идет очень тихо. Видно, что бояться подписываться. Каждое почти требование выражает опасение, что журнал будет запрещен. По сей поры всего 2100 подписи!... Единственное средство поправить дело—выпустить поскорее первые книги и сделать их, как можно, живее и лучше. В этих видах хотелось бы поместить в 1 № рассказ Салтыкова. Г. Мартынов нашел, что он может идти; только уж очень много отметил фраз, требующих исключения или смягчения. Может быть, вы взглянете снисходительнее. Будьте добры, просмотрите поскорее этот рассказ и другую статью, оставленную мною у вас. Теперь уже нужно решение вопроса о них и вот почему я вас беспокою этой просьбой. Мне бы хотелось выпустить 1 книжку к 1 февраля.

Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Н. Некрасов".

Письмо это, между прочим, весьма показательно в том отношении, что обнаруживает, какой фикцией была так называемая „бесцензурность" журнала; в действительности, чуть-ли не каждую статью, могущую возбудить подозрительное внимание цензурных властей, приходилось посылать на предварительный просмотр наиболее придирчивых членов гл. упр. по делам печати, каковыми, без сомнения, являлись Мартынов и Фукс. С другой стороны, приведенное письмо дает основание утверждать, что достижение той „хозяйственной цели", которую Некрасов имел-де в виду, по словам его письма к Щербинину, оказывалось очень и очень сомнительным, так как подписка на журнал дала довольно таки плачевные результаты. В свое время автором этих строк были опубликованы цифры подписчиков на „Современник" за все время его существования, исключая 1866 г., т. е. с 1847 по 1865 г. включительно, причем лишь в первый год существования журнала число подписчиков определялось в 2000, т. е. было равно числу подписчиков в 1866 г. Во времена наибольшего процветания „Современника", напр., в 1860 г., оно доходило до 7000 т., в 1865 же году колебалось между 6000—5000—4600 и 4250. Беря

даже эту последнюю цифру, относящуюся ко второму полугодю 1865 г., и то придется заключить, что подписка на журнал в 1866 г., по сравнению с предыдущим годом, упала вдвое. Это обстоятельство заслуживает особого внимания, тем более, что та хозяйственная цель, о которой только что говорилось, вызывалась не только стремлением оградить себя от убытков—мотив эгоистический,—как это можно заключить по письму к Щербинину, а некоторыми „другими обстоятельствами“. Об этих последних Некрасов, конечно, не мог говорить в письме к начальнику гл. управления по делам печати, он ограничился лишь глухим о них упоминанием, а между тем они играли едва-ли не главную роль. Что это были за обстоятельства,—об этом Некрасов поведал в письме к Плетнёву: „Панаев умер, оставив долгу на своей половине „Современника“ до 17 т. руб. сер. Два наши сотрудника—один смертью, другой ссылкой лишены были возможности возместить свою работою значительную сумму, которую редакция выдала им вперед; для погашения этих-то долгов издавал я „Современник“ в последние годы; сверх того, после Панаева осталась мать, старуха 75 лет, без куска хлеба, сын 4 лет—тоже; после Чернышевского—жена и двое малолетних детей; после Добролюбова двое малолетних братьев; всем этим лицам дается кусок хлеба и иным средства к воспитанию из средств „Современника“, который с каждым годом приносит менее. Чтобы выдавать вам полную ренту, я должен снимать этих бедных людей, долг тоже почти не убывает. Неужели вы будете меня теснить?“

Справедливость фактических данных, здесь содержащихся, может быть проверена по конторским книгам „Современника“, хранящимся ныне в Пушкинском доме при Академии Наук. Таким образом, к мотиву эгоистическому, вполне, впрочем, законному, ибо стремление оградить себя от убытков—стремление, конечно, законное, присоединялся мотив альтруистический—желание поддержать семью Панаева, Чернышевского и Добролюбова. Мы уже не говорим о мотиве чисто идейном—возможности проводить при посредстве журнала то направление общественной мысли, в справедливости которого Некрасов был вполне уверен. Не останавливаясь на вопросе о гражданской убежденности Некрасова, которому посвящено немало страниц в нашей большой работе „Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова“ („Голос Минувшего“), отметим, что Некрасов был чрезвычайно заинтересован в дальнейшем существовании „Современника“ и, как было указано выше, после своих переговоров с цензурным начальством, т. е. в декабре 1865 и в течение первых 3-х месяцев 1866 г., не имел особых поводов чрезчур тревожиться за его существование. Но вот прогремел роковой выстрел Караковского, и наступили общеизвестные его последствия.

„Петербург погибал,—так описывает это время Салтыков-Щедрин в своих „Господах Ташкентцах“,—стихии смешались. Наводнение следовало за наводнением; адмиралтейство уже уплыло; с часу на час ожидали, что поплывет Петропавловская крепость, последний оплот. Публицисты гремели; общественное мнение требовало быстрой и действительной Немезиды. Образовались, как водится, под предводительством отставных генералов, несколько частных

компаний для истребления зла; акции разбирались на расхват, тем более, цена им была назначена копейка серебром... Объявлен был поход против неблагонадежных элементов... Все чувствовали, что надо вырвать „зло“ с корнем, все издавали дикие вопли... В чем заключилось зло?... Наступает минута какого-то адского оторопления. „Либералы“!—раздается побелый клич, и все, что чувствует себя бодрим,—все складывается в одну яму и немедленно отдается на поругание“...

О том, как чувствовали себя „либералы“, под которыми, само собой разумеется, понимались все прогрессивно-настроенные элементы общества, начиная от умеренных (либералов в узком смысле этого слова) и кончая крайними левыми („нигилистами“, по тогдашней терминологии), рассказав в своих воспоминаниях Елисеев (см. нашу статью „Редакция „Современника“ в 1866 г.“, „Голос Минувшего“, 1916 г., № 1). Вот несколько ярких отрывков из них:

„Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля. Но самым злополучным временем было не то, когда меня посадили в крепость,—напротив, по заключению в крепость я значительно успокоился,—а время, проведенное от 4-го апреля до 29-го апреля в тревожном, ежедневном, ежечасном ожидании обыска и ареста, которое не давало покоя ни днем, ни ночью. Тот, кто не жил тогда в Петербурге и не принадлежал к литературным кругам или, по крайней мере, не был к ним так или иначе прикосновенен, не может представить той паники, которая здесь происходила. Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова, а не принадлежала к этому направлению вся тогдашняя литература, считал себя обреченною жертвою и был уверен, что его его ipso непременно, потому только, что он литератор, арестуют. Так все были убеждены, что граф Муравьев держится вполне взглядов Каткова и следует его указаниям. Сотрудники „Современника“, на которых Катков смотрел, как на очаг и притон всяких зловердных учений, тем более были уверены в неизбежности такой участи для себя... Что касается до меня, то я был уверен, что меня непременно арестуют и, начиная с 4-го апреля, находился в постоянном нервном возбуждении и непрестанной тревоге, не имея возможности ничего сделать и ни о чем думать, кроме ожидаемого ареста и неизбежно сопряженных с ним разного рода самых неутешительных возможностей в жизни моей и моей жены и в настоящем, и в будущем. Это тревожное состояние увеличивалось существовавшею кругом меня паникою в обществе. Каждый день, и всегда почти утром, приносили известия: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. Эти известия дополнялись каждый почти раз сообщением истинных или придуманных подробностей о жестокости и нахальстве офицеров, производивших эти аресты, обыски и выемки. Мало по малу чуть не половина известных мне литераторов была взята. Затем стали сообщать слухи о привозимых целыми вагонами арестованных в разных провинциях, в особенности в Москве. Стали ходить слухи, что этих привозимых из других городов и Москвы до того много, что ими полна вся Петропавловская крепость, все тюрьмы, все тюремные отделения при частях. Всеми этими

слухами, непрестанно возраставшим тревожным состоянием, бессонными ночами я до того был энергирован, так близок был к полной прострации, что подумывал идти сам просить, чтобы меня заключили в крепость... Пробегающий эти строки скажет: да ведь это такая постыдная трусость, какую только можно представить! Да, я должен сознаться, что я далеко не отличался храбростью, и если могу чем утешить себя, то только тем, что, припоминая прошедшее, не припомню никого из людей, которые находились в обстоятельствах, подобных моим, и вели бы себя храбрее меня; крайняя угнетенность духа была тогда более или менее общею среди литераторов...

Не забудем, что эти строки принадлежат перу Григория Захаровича Елисеева, типичного шестидесятника, разночинца, сурового радикала, прошедшего тяжелую жизненную школу. Некрасов же по происхождению и своим прежним литературным связям и знакомствам принадлежал к людям 40-х г., к поколению, далеко не отличавшемуся нравственной стойкостью шестидесятников-разночинцев. Для него было вполне естественно гораздо в большей степени поддаться тем настроениям, которые Елисеев определяет, как „самая постыдная трусость“ и „крайняя угнетенность духа“. Здесь уместно будет напомнить, что, обладая незаурядной чисто физической отвагой (сколько медведей погибло от его руки, а медвежья охота—дело далеко не безопасное), Некрасов не обладал в некоторых отношениях отвагой нравственной. Он сам хорошо понимал это, мучительно скорбя, что не принадлежит к тем избранным натурам, „у кого не слабели шаги перед дверью тюрьмы и могилы“ (стихотворение „На смерть Д. И. Писарева, 1868 г.“). Его собственные шаги,—увы!—перед этою роковою дверью слабели. Он „к цели шел колеблющимся шагом“ он „для нее не жертвовал собой“ (стихотворение „Неизвестному другу“, 1867 г.). Конечно, произошло это не в силу каких либо индивидуальных особенностей, а вследствие целого ряда социальных влияний. Поэт имел полное основание утверждать, что „на всех рожденных в двадцать пятом году и около того отяготел жестокий фатум“, выйти из под которого нет возможности („Человек сороковых годов“, 1867 г.). Люди, прошедшие „через цензуру всех николаевских годов“, не в силах „гибнуть жертвой убеждения“ (там-же). А он как раз и родился „около“ 25-го года, как раз и прошел „через цензуру всех николаевских годов“. Неудивительно, что эти „года гнетущих впечатлений“ оставили в его душе „неизгладимый след“; он унаследовал от них „привычки робкой тишины“ (стихотворение „Неизвестному другу“), от которых не смог отрешиться до конца дней своих. Характерно, что подобные горькие признания срывались с уст Некрасова не только в конце 60-х годов после рокового в его жизни „Муравьевского инцидента“, но и значительно раньше. Для примера сошлемся, хотя бы на известное стихотворение „Поэт и гражданин“ (1856 г.), где поэт говорит, что когда ему пришлось выбирать, что делать—„сложить смиренно руки“ или „поплатиться головой“, его „душа пугливо отступила“; он не скрывает этой „горькой правды“, склоня „робко“ голову „при слове честный гражданин“ (под гражданином Некрасов разумеет человека, готового „идти в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, идти и гибнуть безупречно“).

На этой почве произошел некоторый разлад между поэтом и его музой: „склонила муза лик печальный и, тихо зарывав, ушла“. Правда, ушла не безвозвратно, но „с тех пор не часты были встречи“ с нею:

Укрытой, бедная, придет
И шепчет пламенные речи
И песни гордые поет:
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна,
Но загремят внезапно цепи—
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!

Чувства растерянности, уныния и, скажем прямо, боязни властно овладели душой Некрасова после 4-го апреля. Первое, за что он взялся, чтобы оградить свой журнал и себя от возможных репрессий, это был цензурский карандаш. Опасаясь, что в невышедшей еще мартовской и в подготавливаемой к печати апрельской книжке „Современника“ могут встретиться статьи, способные дать повод к этим репрессиям, он принялся марать их в корректурах. В стихотворном послании к Асташеву, приглашавшему его приехать в Любань на охоту, Некрасов прямо сознается в этом:

На письмо твое должен сказать:
Не за картами гну теперь спину,
Как изволите вы полагать.
Отказавшись от милой цензуры,
Погубил я досуги свои,—
Сам читаю теперь корректуры
И мараю чужие статьи!
Побежал бы, как школьник из класса,
Я к тебе, позабывши журнал,
Но не знаю свободного часа
С той поры, как свободу узнал..
Одолела чья-то забота,
Позабыл я, что значит игра,
Позабыл я, что значит охота.
Потому что Валуев сердит;
Потому что закон о печати
Запрещеньем журналу грозит,
Если слово обронить некстати.

Подписано это стихотворное послание 7-ым апреля 1866 г., т. е. оно вышло из-под пера поэта на третий день после Каракозовского выстрела. Цензурский карандаш, по необходимости взятый Некрасовым, в его руках оказался, повидимому, далеко не совершенным орудием. Не учитывая размеров надвинувшейся грозы, Некрасов не успел приспособить мартовский номер „Современника“ к требованиям того нового курса, который установился в правительственных кругах после 4-го апреля, когда на бюрократическом

горизонте ярко воссияла звезда известного своею крайней реакционностью гр. М. Н. Муравьева-Вилenskого, получившего, вместе с назначением председателем следственной комиссии, чуть-ли не диктаторские полномочия. Цензурное ведомство, не возбуждавшее в течение первых трех месяцев 1866 г., никаких официальных обвинений против „Современника“, сразу зашевелилось, и 22-го апреля цензурный комитет отправил за № 361 длинное донесение в главное управление по делам печати, которое воспроизводило доклад цензора Еленева о помещенной в мартовской книжке „Современника“ статье Ю. Ж. „Вопрос молодого поколения“. Обвиняя статью в том, что она „направлена против русского дворянства и написана в социально-демократическом духе“, цензор все же заключал, что „при всей резкости выражений этой статьи и крайности проводимых в ней социально-демократических идей, она, по форме изложения, не имеет, однако, характера воззваний, возбуждающих вражду сословий“... На новую точку зрения встал начальник главного управления М. Щербинин: в обширном письменном „мнении“ он доказывал, что статья Ю. Ж. „имеет прямую целью возбудить вражду всех сословий против принципа дворянства“ и что, кроме того, она „прямо направлена к поколебанию основ начала собственности“, а потому-де есть полное основание к возбуждению судебного преследования против журнала. „Мнение“ Щербинина восторжествовало, и 16-го июня 1866 г. главное управление отправило на имя прокурора с.-петербургского окружного суда, за № 1209, нижеследующее отношение, основанное на данных Щербининского „мнения“:

„В № 3 ныне закрытого по Высочайшему повелению журнала „Современник“, за минувший март месяц, была помещена статья, подписанная буквами Ю. Ж., под заглавием: „Вопрос молодого поколения“.

Основная мысль этой статьи заключается в том, что помещики, не привыкнув исторически ни к труду, ни к правильному и бережливому хозяйству, а также лишившись, вследствие эманципации, своих достатков, напрасно хлопочут, после освобождения крестьян, поправить свои дела новыми займами, так как они употребят эти займы непроизводительно и, следовательно, останутся в прежнем критическом положении, или не найдут в этих займах, при отсутствии знаний и привычки к труду, достаточных средств для поправления своих хозяйств,—в обоих же случаях помещики, несмотря на свои новые займы, не будут иметь возможности удержать принадлежащие им земли, которые, будучи все более обременяемы долгами, непременно должны перейти от помещиков к кулакам-спекуляторам.

В этом общем содержании, под формою парадоксальной экономической теории, проводится идея о неспособности и тушеядстве всего владеющего сословия, а, с другой стороны, мысль о безнадежности настоящего землевладения в России. И то, и другое выражено в таких резких формах, которые означенным воззрениям при распространении их печатным словом дают положительно вредный характер. Взгляд на неспособность и тушеядство помещичьего сословия облечен в форму рассуждений о барстве; барство это рассматривается в своем прошедшем, настоящем и будущем. В прошедшем барство, по отзыву

автора, было вместе с крепостничеством грубым орудием дисциплинирования массы (стр. 6), удерживавшим народ от более тесного совершенного объединения (стр. 7) и бывшим по сему источником политической слабости народа (там же). Противопоставив свободное село барским владениям, автор находит, что этот именно исторический порядок препятствовал „положить предел всяким толкам о необходимости барской опеки в той или другой форме над народным трудом“ (там же); упомянув затем, что барское начало сверх того тормазит цивилизацию (стр. 8), Ю. Ж. говорит, что сохранение барского начала оказывается политическою бестактностью, но, не останавливаясь на этом, он заявляет (на той же стр.), „что и по замене крепостного состояния наемным трудом народ остается попрежнему беден и нецивилизован, а состояются отдельные состояния, которые тратятся и употребляются тем же порядком, как и в крепостных условиях“. Восставая на этом основании не только против крепостного, но и промышленного барства, автор находит в батраческой системе препятствие к правильному разливу богатств.

Очертив враждебно „историческую роль имущественного сословия, выразившись столь же враждебно при этом не только против упраздненного крепостного, но и против вольнонаемного труда, автор рисует настоящее наше помещичье сословие самыми мрачными красками, не щадя при этом крайне циничских выражений. Так, напр., на стр. 3 он спрашивает, „что безнравственное в сущности жизни на чужой счет, а между тем эта-то жизнь на чужой счет составляла всю подкладку барской крепостной гордости“. Далее сказано: „барство везде, где оно ни существовало, было тем горделивее, чем шире оно могло распоряжаться чужим трудом и видело доблесть в тратах на широкую ногу“. На стр. 4 говорится: „оно училось гордиться этой властью над чужим трудом и возможностью расточительности“; и далее: „оно понимало свое барство и грубо и материально: иначе оно не издерживалось бы и не проматывалось бы, между тем, как теперь всю политическую роль оно полагало в мотовстве“, а несколько ниже: „оно довольно, когда его тешат картинами застольного пьянства“; на стр. 5 сказано: „оно довольно, поддержав дух барства в школах и молодом поколении, отняв кусок хлеба у детей и женщин“ до слов: „называется патриотизмом“. Обращаясь к будущему, автор в циничских же выражениях довершает картину материального и нравственного падения помещичьего сословия, на стр. 15 от слов: „они готовят себе последнее разорение“... до слов: „выставит эту бутылку“ на стр. 16-й.

Из вышеизложенного очевидно, что помещичье или вообще настоящее владеющее сословие выставлено не только неспособным и бесполезным, но вредным в прошедшем, ненавистным в настоящем и будущем.

Рассматривая затем воззрения автора на безнадежность настоящего землевладения в России, необходимо принять во внимание, что в статье обе формы хозяйства, существующие рядом в действительности, а именно: помещичья усадьба и крестьянское сельское общество выставлены, как два враждебные элемента, друг друга исключаящие. Проникновение помещичьего хозяйства грозит, по отзыву Ю. Ж., батрачеством. „Поддержать хозяйство помещиков однс

средство", по его словам, "это зарезать крестьянское хозяйство, не хозяйственным, а насильственным путем привилегий" (стр. 12).

Отсюда следует, что, распространяя мысль о невозможности сохранения на будущее время в руках помещиков их земель, доказывал, что переход этих земель к крестьянам обуславливается материальными и моральными выгодами самих помещиков с их потомством, равно интересами самой страны и безисходностью настоящего поземельного положения владельцев, автор тем самым порицает существующее распределение землевладения и колеблет начала собственности вообще.

На сем основании, совет главного управления по делам печати полагал: подвергнуть судебному преследованию автора статьи "Вопрос молодого поколения" и ответственного редактора журнала "Современник", во-первых, за возбуждение ненависти и распространение оскорбительных выражений против дворянства, в качестве владеющего сословия, и во вторых, за распространение понятий, направленных к поколебанию и порицанию начал собственности. Такое заключение совета утверждено г. министром внутренних дел.

Сообщая о вышеизложенном вашему высочордию, с приложением № 3 журнала "Современник" за текущий год, для надлежащего распоряжения, главн. упр. по д. печати считает долгом присовокупить, что ответственными в настоящем случае лицами, на основ. ст. 2 по IV отд. закона 6 апреля 1865 г., представляются: 1) бывший ответственный редактор упомянутого журнала, состоящий в чине VIII класса Александр Пыпин, жительствующий на Васильевском Острове, по Большому проспекту, в доме Вундерлиха, под № 24, и 2) автор статьи "Вопрос молодого поколения" надвор. советн. Юлий Жуковский, — жительствующий у Владимирской церкви, в Дмитровском переулке, д. Миллера, как видно из сообщения Главной Конторы бывшей редакции означенного журнала в канцелярию главного управления от 15 сего июня № 240. Подписал: начальник главного упр. сенатор Щербинин. Скрепил: правитель дел (подпись).

Читатель видит, что почти два месяца прошло с возбуждения цензурным комитетом вопроса о статье Ю. Ж. до обращения главного управления к прокурору. За это время Муравьев успел распорядиться участью "Современника". Для нас важно было, однако, выяснить, как оценивало цензурное ведомство статью Ю. Ж. Нет никакого сомнения, что о предстоящей цензурной атаке против мартовского № "Современника" Некрасов, при его цензурных связях, узнал значительно раньше, чем цензурный комитет послал свое донесение в главное управление, т. е. раньше 22-го апреля. Когда же именно? Ответить на этот вопрос с полною определенностью нельзя, но весьма возможно, что узнал Некрасов о нем около или даже накануне того рокового дня 16 апреля, когда он, "спасая, по выражению П. М. Ковалевского, направление" ценой своего доброго имени, прочел стихотворное приветствие Муравьеву. Если в стихотворении, посвященном Осипу Комиссарову и написанном, надо думать, под непосредственным впечатлением Каракозовского покушения, зазвучали "верноподданические" ноты, совершенно несвойственные поэзии Некрасова, то в приветствии Муравьеву развивалась тема, чрезвычайным образом дисгармонизировавшая с преж-

ними песнями музы мести и печали: Некрасов выступил в роли послеобеденного пираты, улаждавшего слух вельможи своими хвалами, и хвалами не за что иное, как за кровавую расправу с польскими борцами за свободу. Мы не будем подробно останавливаться на данном эпизоде, о котором имели случай высказаться в прежних наших статьях, напр., в статье „Редакция „Современника“ в 1866 г.“; отметим только, что его трудно рассматривать иначе, как совершенно недопустимый компромисс с совестью. И если, с одной стороны, его породило желание „спасти направление“, то, с другой стороны, в нем сказались яснее, чем где бы то ни было крайняя растерянность и даже „трусость“ поэта в Елисеевском смысле этого слова. Что Некрасов имел основание „трусить“, это с полною определенностью подтверждается воспоминаниями того же Г. З. Елисеева и его жены об обстоятельствах, сопровождавших временное задержание Некрасова на квартире только что арестованного Елисеева. По рассказу Елисеевой (см. статью „Редакция „Современника“ в 1866 г.“), гвардейский офицер Теньков после того, как ему не удалось установить, что Некрасов личный знакомый Елисеевой, и он должен был отпустить поэта, „чуть-ли не с пеною у рта и с сжатыми кулаками начал кричать на Елисееву, что она у правосудия выхватила самую ценную добычу, что они много бы дали, чтобы найти какой-нибудь ключок или иной повод взять этого подлеца, что она не понимает, какой это вредный мезунт, и что из за него половина сидит, а он остается невредимым и катается в колясках, что он думает подкупить правосудие, написавши и читавши стихи в честь Муравьева, но... „уж, погоди,—не увернется он, не может быть, чтобы нельзя было его запощать“... Г. З. Елисеев излагает данный эпизод так: „на другой день после моего ареста Некрасов храбро явился на мою квартиру, чтобы мне осведомиться, что случилось и как. Я говорю „храбро“ потому, что ни один из моих товарищей и вообще никто из сотрудников „Современника“ не решился этого сделать... Гвардейский офицер при появлении Некрасова немедленно арестовал его... Освободив поэта после допроса Елисеевой и прислуги, офицер одумался и раскаялся в том, что отпустил Некрасова. „А это все вы виноваты,—ворчал он,—то и дело обращаясь к моей жене с упреками. Со страху Некрасов очень легко мог бы сказать что-нибудь такое, что послужило нитью на раскрытие заговора. Некрасова, наверное, играет здесь не последнюю роль“...

Сличая оба рассказа, нельзя не прийти к заключению, что агенты Муравьева были убеждены в „причастности“ Некрасова. Он, конечно, об этом знал и, естественно, опасался за себя. В его взволнованном этим опасением мозгу возникали различные соображения о том, что надо сделать, чтобы уцелеть. и он с жадностью слушал советы „благожелателей“. Когда один из них (старшина Английского клуба гр. Строганов), высказал убеждение, что стихотворение от него могло бы подействовать на Муравьева и укротить его, то Некрасов жадно схватился за эту мысль, надеясь обезопасить себя и в то же время спасти „Современник“. В результате—публичный позор (Муравьев отвернулся от Некрасова по прочтении им стихов) и „черное пятно“ на всю жизнь и на

репутацию. Не следует, однако, упускать из вида, что в минуты наибольшей растерянности Некрасов продолжал живо ощущать свою связь с сотрудниками „Современника“, и, один из всех, не побоялся явиться на квартиру арестованного Елисеева. Уже один этот факт с достаточной яркостью свидетельствует, что Некрасов не стал идейно чуждым своим соратникам по журнально-общественному служению, и что, следовательно, и речи быть не может о каком-либо ренегатстве с его стороны. Растерянность и даже „трусость“ обнаруживают слабость душевную; ренегатство обозначает душевную низость. Обвинить в ней Некрасова на основании данного эпизода было бы совершенно несправедливо. Но „приспособливаться“ приходилось очень, тем более, что надежды на спасение „Современника“ все еще не были утеряны... Пришлось до крайности обесцветить апрельскую книжку „Современника“, на страницах которой появилась, кстати сказать, и ода Комиссарову; такой же участи подверглась и майская книжка. Однако, ей не суждено было появиться в свет: „Современник“ был запрещен по высочайшему повелению, которое было объявлено Пыпину (Некрасов в 20-ых числах мая 1866 г. уехал в Ярославскую губ. в свое имение Карабику) 1-го июня. В нашем распоряжении имеется документальное доказательство того, что решение запретить „Современник“ было принято в высших сферах вне всяких сношений с главным управлением по делам печати. Среди членов совета этого последнего нашелся даже один, попытавшийся в последнюю минуту отвести уже занесенную над журналом барающую руку. Об этом свидетельствует еще не появлявшееся в печати письмо Ф. М. Толстого гр. П. А. Валуеву:

„Милостивый Государь Петр Александрович!

В качестве члена совета, наблюдающего за „Современником“, почитаю священным долгом формально заявить вашему высокопревосходительству, что вредное и предосудительное направление этого издания, на которое указано в высочайшем повелении, в настоящее время изменилось совершенно.

Редакция „Современника“ отстранила вовсе, по указанию совета, от участия в журнале некоторых из зловреднейших писателей (как, например, Антоновича и Ю. Жуковского), и в последних двух номерах, в 4 и 5-м (последний не вышел еще, но находится уже у меня для просмотра), нет ни одного слова, напоминающего прежние направление „Современника“.

На явное это отречение от прежних заблуждений обращено уже внимание всей журналистики (за исключением, конечно, „Моск. Ведомостей“), а потому и полагаю, что при обнаружении постановления о прекращении „Современника“ следует по возможности избежать осуждения настоящего направления этого журнала. Председательствующий советом по делам печати и все члены совета положительно могут засвидетельствовать о справедливости моего показания — касательно перемены направления „Современника“, — обстоятельство, которое при подписании журнала и по долгу чести обязан буду записать.

Почитаю также обязанностью присовокупить, что издание „Современника“ не составляет исключительную собственность редакции, а есть также единственное достояние и наследие семейства покойного И. Панаева.

Весьма может быть, что последнее обстоятельство и вынудило отчасти нынешнего редактора Некрасова покориться беспрекословно всем требованиям советов.

Прекращение „Современника“ вконец разоряет неповинное семейство Панаева и даже не по вине настоящего редактора, который в виду сохранения Панаевыми законного их наследства, сделал все возможные уступки требованиям совета и изменил совершенно направление журнала.

Я не смею назваться, конечно, что слова мои могли бы отстрочить исполнение высочайшего повеления, но почитаю своим священным долгом, в виду высочайшего рескрипта от 13-го мая, представить все вышеназванные обстоятельства на благоусмотрение вашего высокопревосходительства.

С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашего высокопревосходительства покорнейший слуга. Ф. Толстой.

31 Мая 1866 г.

P. S. Статьи и набор каждого № стоят до 2000 р.—ныне приступлено к напечатанию 6-го №, следовательно, не признаете-ли возможным немедленно уведомить редакцию о постигшем ее несчастии, дабы не вводить ее в напрасные убытки*.

Было бы ошибочно, основываясь на содержании этого письма, заключать о намерении Некрасова изменить своему идейному знамени. Из воспоминаний Елисеева известно, что „зловреднейшие“ сотрудники отнюдь не были отставлены Некрасовым, а сами покинули его после его обеденного выступления. Но если бы они его и не покинули, дальнейшее сотрудничество их в „Современнике“, по крайней мере в ближайшие месяцы, сделалось фактически невозможным, ибо грозило самому существованию журнала. Вообще создалась столь тяжелая атмосфера, что приходилось думать не столько о том, чтобы неуклонно проводить прежнее направление, сколько о том, чтобы сохранить журнал для будущего, преследуя в настоящем преимущественно „хозяйственную цель“, о которой несколько месяцев Некрасов писал Щербиняву. Раз дело обстояло так, то Некрасову, утомленному апрельскими передрыгами, не было надобности безотлучно стоять у редакционного кормила, и вот он, передав редактирование А. Н. Пыпину (об этой передаче официально было извещено главное управление по делам печати), уезжает в Карабаху. Пыпин, без сомнения, получил от поэта вполне определенные инструкции вести журнал в духе апрельского номера и счел для себя эти инструкции приемлемыми, очевидно потому, что создавшееся положение вещей не оставляло никакого иного выхода. Вообще, самый факт продолжавшейся совместной работы Пыпина с Некрасовым представляется высокосущественным в виду того, что Пыпин был человеком вполне определенных политических взглядов и сам по себе является веским доказательством того, насколько неосновательны были заподозривания Некрасова в ренегатстве. Ренегатства, конечно, не было, но попытки, вполне сознательные попытки ввести в заблуждение цензурное начальство, весьма возможно, имели место. И попытки эти, если считать письмо Ф. М. Толстого к Валуеву искренним, блистательно удались: цензурные аргусы дались в обман. Конечно, можно говорить о сомнительности подобного

рода приемов с нравственной стороны. Но, ведь, не применяйся эти приемы из года в год и не одним только наиболее умелым в их применении Некрасовым, но и другими редакторами, едва-ли было бы возможно длительное существование прогрессивной журналистики в России в середине и второй половине прошлого века. Таковы уже объективные условия деятельности русских журналистов до-революционного времени.

Позднейшими отголосками агонии „Современника“ явилось судебное разбирательство дела Ю. Г. Жуковского, как автора статьи в мартовском номере „Вопрос молодого поколения“, и А. Н. Пыпина, как ответственного редактора журнала, пропустившего эту статью, и возбуждение вдовой Плетнева ходатайства о разрешении возобновить ей издание запрещенного „Современника“. Процесс Жуковского и Пыпина был одним из сенсационных и вызвал большое оживление в обществе; подсудимые отделались сравнительно легко: окружный суд их оправдал, а судебная палата, куда Валуев перенес дело, приговорила того и другого к 3 неделям ареста на гауптвахте и ко взносу штрафа по 100 руб. с каждого. Почему, в качестве ответственного редактора, к суду привлекался Пыпин, а не Некрасов? В архиве гл. управления имеются документы, дающие исчерпывающий ответ на этот вопрос. Это—официальные заявления Пыпина и Некрасова в главное управление от 15-го сентября 1865 г. о том, что первый из них „принимает на себя ответственность за учений, критический и политический отделы“, а второй — „за беллетристический отдел“ „Современника“. В „Архиве с. Карабихи“ напечатано, между прочим, письмо Пыпина к Некрасову, в котором есть указание на какое-то „заявление“ Некрасова, относящееся к процессу. Я, говорит здесь Пыпин, „не имел, никак в нем необходимости“, и „с самого начала думал, что оно едва-ли было бы уместно и сколько-нибудь могло помочь делу, потому что для суда важна была официальная ответственность, лежавшая на всех, и от которой я никогда бы не отказался“. При некоторой неопределенности этих слов, все же едва ли возможно сомневаться, что, составляя свое „заявление“ и отсылая его Пыпину, Некрасов думал не об уклонении от ответственности перед судом, а о том, чтобы разделить эту ответственность с Пыпиным.

Второй отголосок запрещения „Современника“ — это всеподданнейшее прошение вдовы Плетнева о разрешении ей возобновить издание „Современника“ (см. „Дело гл. упр. по д. п.“ № 426-а: началось 22 декабря 1866 г.: решено 1 апреля 1867 г.). Доказывая в нем, что наследники Плетнева отнюдь не ответственны в заблуждениях последней редакции, навлекших на журнал запрещение, а между тем от этого запрещения весьма существенно пострадали их интересы, А. Плетнева просила государя „сохранить за семейством Плетнева дар, врученный ему Пушкиным“. Так, читаем далее в прошении, были пощажены права собственности тех ведомств, газеты которых подверглись запрещению по вине их редакций. По примеру этого, я осмеливаюсь именем моего покойного мужа и малолетних его детей прибегнуть к вашему императорскому величеству с всеподданнейшей просьбой дозволить наследникам Плетневых пользоваться правом собственности на литературный журнал

„Современник“ и действовать впредь на основании высочайшего указа от 6 апреля 1865 г.“

Плетневой постеснялись ответить категорическим отказом и начали тянуть дело. В результате она все же ничего не добилась. Очевидно, правительство решило ни в коем случае не допускать возобновления „Современника“, хотя бы под редакцией архи-благонамеренных лиц. Двадцатилетняя неустанная пропаганда Некрасовским журналом идей политического и социального раскрепощения русского народа сделала самое имя его ненавистным в бюрократических сферах. Но тем горячее были симпатии к нему передовых кругов русского общества. И если не считать другого Некрасовского же журнала — „Отеч. Записки“, можно утверждать, не рискуя впасть в преувеличение, что русская журналистика XIX века не знала журнала, более читаемого и почитаемого, чем „Современник“.

В. Евгеньев-Максимов.

Литературные воспоминания ¹⁾.

I.

Когда я стал печататься—это, конечно, установить не трудно. Но очень трудно точно сказать, когда я начал писать. Сколько я себя помню, я—марал бумагу своими „сочинениями“. Я так думаю, что сочинять стал со второго класса гимназии, а может быть, и раньше. Всякая прочитанная мною и оставившая сильное впечатление книга заставляла меня немедленно приниматься за сочинительство. Писал я тайком от родителей и почему то больше всего стыдился этого. Не потому, что эти упражнения могли бы встретить неодобрение—скорее, наоборот. Особенно со стороны матери, в черновых тетрадках которой я, любопытствуя, нашел не мало так называемой „литературы“. Но эти писания казались мне чем то таким интимным, что обнаружить их было бы для меня все равно, что раздеться при посторонних и ходить нагишом. Поэтому писания свои я прятал под тетрадками и книгами. Запоров и замков в шкафчиках и столах не было, и потому, я уверен, что при инспекторских осмотрах мама наверное находила мои писания и прочитывала их. Но, будучи женщиной чуткой души и понимая стыдливость мою, она ничем знакомства с моими писаниями не обнаруживала. Только иногда, по теплему и проникновенному взгляду ее чудесных любящих глаз, я мог догадаться, что она знает какую то мою тайну. Но я молчал. Молчала и она.

О чем я писал? Обо всем. Помню, что писал исторический роман в подражание „Войне и миру“. Писал на листках маленькой тетрадки в 1/16 долю и начинал почти так же, как у Толстого, с разговоров о войне... Тогда это не казалось странным—такое точное воспроизведение. „Творчество“ почти совпадало с перепискою. Помню, однажды я прочитал в книжке „Рус. Вест.“ какую то банальную повестушку, которая произвела на меня сильное впечатление, главным образом, тем, что герой и героиня приходили к любовному объяснению под грохот бури, грома и шум дождя. Мне страх как это попра-

¹⁾ Литературные воспоминания А. Р. Кугеля, рисующие быт и нравы прессы, и в частности, так называемой малой) имеют значение не только историко-литературное, но общее историческое: они дают фон, на котором развивалась русская общественность в самое глухое время правительственной реакции дней Александра III. Подробности быта и положения печати в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века весьма существенны для истории освободительного движения. Прих. ред.

вилось, т. е., вероятно, что это так декоративно. Эффект казался мне невообразимо прекрасным, и я немедленно стал писать такую же повесть, т. е. своими словами изобразил шум дождя, блеск молний и грохот грома, и влибленных героев, с которых струится вода.

Когда я стал постарше и обратился к другим книжкам, зуд подражательного сочинительства попрежнему не покидал меня. Прочитал „Записки еврея“ Богрова—книгу, небезинтересную с бытовой стороны, но довольно слабую в отношении литературного вкуса, и стал писать нечто вроде этих „Записок“. Прочел статью Белинского о „Горе от ума“, и немедленно написал критическую статью о комедии Грибоедова, где повторил по-детски все мысли Белинского.

Еще постарше я стал писать сатиры и памфлеты из жизни родного города. Тогда я уже осмеливался их читать среди кружка знакомых. Находили, что зло и забавно. Было это, вероятно, ужасно. Я думаю, что не было, главное, ни капли вкуса в этих писаниях. Моя мечта, моя затаенная мысль, моя тоска были в том, что я должен быть писателем. Сколько я себя помню,—мне рисовались две карьеры: военачальника и стратега, причем я располагал вокруг Мозыря батареи и эскадры (огромное впечатление произвел на меня том Михайловского-Данилевского „Отечественная война“, из которого я, кстати сказать, узнал, что в нашем городе стоял корпус Эртеля), и, во вторых, писателя. Во исполнение первой моей миссии, я, случалось, целыми часами просиживал над кучею стальных перьев, изображавших неприятельские рати, и старался сбить их с позиций искусными фланговыми ударами. Во исполнение второй, я марал бумагу. Почему-то (большое впечатление произвел на меня роман Смирновой в „Отеч. Зап.“—„Соль Земли.“ Героя звали Черник. Я засыпал и просыпался с именем Черника и задумал немедленно такой же роман. Любопытно, что, например, „Губ. Очерки.“ Щедрина я читал с удовольствием, но на подражание он меня не вызывал.

Классные сочинения я писал довольно охотно, но увлекался ими редко. Тискал я в них, без разбору, что подвернется. В 5-м классе я, кажется, вернул что-то из Шапова, да так ловко, что учитель наш, Александр Никол. Булгак, не догадался, а только нашел, что я обнаруживаю большие способности и даже с некоторым недоумением принес тетрадку в класс. „Будешь сочинителем,“—сказал он. В 6-м классе я был оставлен на второй год потому, что в экзаменационное сочинение „О пользе книгопечатания“ вернул что-то из статьи Писарева о папе Иннокентии. Источник моих вдохновенных мыслей не был открыт, но „дурной дух“ был ясен для нашего директора,—С. Н. Фелицына. Кстати, о Писареве. Он был запретный плод, и я глотал его. Казался он мне очаровательным. И странно: не столько мысли Писарева казались мне очаровательными, не столько мирозерцание этого критика пленило меня—мне даже кажется, что смутно я протестовал против многого и, например, Пушкина я продолжал любить нежнейшею любовью,—а очарователен был для меня задор Писарева, пленительна была смелость его, бойкость. Не то было важно, что он ниспровергает, а то, как он ниспровергает: шапка набекрень.

поплевывает сквозь зубы и носком сапога пынает направо и налево. Вот это писатель! Вот это идеал! Вот это литература! Увы, у меня были, как видно, задатки плохого литературного вкуса и неудержимое влечение к фельетонизму. Каюсь. И если я впоследствии—очень впоследствии—от этого в некоторой мере исправился, то это обошлось не без труда и не без ломки моей натуры. В 7-м классе—эк меня бросало!—я стал читать „Полит. Экон.“ Милля с примечаниями Чернышевского и усердно писал „комментарии“—воображаю!

Так шли мои школьные годы. Я читал все, и беспорядочно. Я писал все, и также беспорядочно. Даже пробовал стихотворство. Но это выходило окончательно бездарно. И действительно, версификация мне никак не давалась,—и поднесь я не написал пары приличных стихов. Органическое отсутствие стихотворческого ритма—надо полагать.

„Писательские“ мои способности были известны, разумеется, всей гимназии, и я очень рано стал их эксплуатировать, составляя „заданные сочинения“ за четверку табаку или связку баранок и пару принигов. Случалось, что я ухитрялся одновременно писать 5—6 сочинений на одну и ту же тему, не повторяясь и по возможности разнообразя их. В таком случае я бывал снисходителен, и мог довольствоваться парой баранок или тетрадкой папиросной бумаги. Платили балбесы из купеческих еврейских семейств, лет на 5-6 старше меня. Они то и прививали мне корысть. Но так как в то же время они были и надувалы, и так как ни выкурить больше табаку, ни с'есть больше баранок, чем положено, невозможно, то эта отрасль натуральных заработков не получила развития.

К концу моего пребывания в гимназии в своих классных сочинениях я уже не прибегал к наивному плагиату. Учитель, Фил. Фил. Адвокатов (чернигов. гимназии) похваливал, но находил—и совершенно справедливо—в писаниях моих фельетонизм. Однако укоры эти я не принимал серьезно,—писаревское неглиже с отвагой продолжало казаться мне идеалом возможного для писателя совершенства,—но я просто стал относиться осторожнее и писать сдержаннее. В результате сочинение на экзамене зрелости „Развитие направлений в русской литературе в первой половине XIX столетия“ было признано всем педагогическим синклитом „блестящим“ и, как образец, послано „в округ“. Что я там писал—не помню.

И вот, я отправился в Петербург. Карьера писателя продолжала мне кружить голову. Иногда, правда, проскальзывала и другая соблазнительная мечта—адвокатура. Я защищаю невинно обвиненного, и все дамы, а особенно одна, под черной вуалью, восхищены мною и осыпают цветами. Но эта мечта не задерживалась. Я должен существовать пером. Мне было лет 6, у нас были гости и пили чай, и у меня в памяти остались слова отца, который, положив руку мне на голову, сказал: „Желал бы я, чтобы он написал столько книг, сколько он побил стекол“. Слова эти оставили неизгладимый след. Книг я много в свет не выдал, но написал всякой всячины, точно, много.

Ехал я в Петербург в битом-набитом вагоне в спитом домашнем порт-мим, невероятном попутайско-сером костюме и рывеньком пальтишке. Было

мне неполных 18 лет, и жизнь казалась невообразимо прекрасной. Уже за Режницей я познакомился с красивым брюнетом, с прелестной черной бородой, — грузинско-скрипачем Караевым, который предложил мне поселиться у его хозяйки. Он снимал комнату в д. № 37 по Б. Подъяческой у каких-то евреев, и говорил, что там найдется комнатка и для меня. Меня встретила толстая, очень толстая еврейка, с мясистым, добродушным лицом, и показала мне свободную комнату... Это была маленькая комнатная щель, у входной двери. Стояла узкая кроватка, и напротив маленький столик, и это создавало такую тесноту, что пробираться между кроватью и столиком можно было только боком. А когда я ложился на кровать, то мог свободно положить ноги на подоконник. Но был светлый солнечный августовский день, стояла комнатка 6 р. в месяц, и мне все это, включая толстую хозяйку, показалось превосходным. Караев в соседней комнате уже играл на скрипке, и на душе у меня была музыка. Петербург того времени был, конечно, не тот колоссальный Петербург с 2½ миллионным населением, какой мы знали пред войной и во время войны. В нем в ту пору (1882 г.) числилось только 850.000 жителей. Но он подавлял меня, и когда я попадал в свою комнатку, то терял сразу все расположение духа и легкую свою беззаботность. Мне было первое время страшно — страшно, что вот я, человек, микровоск, а пропадаю, как песчинка, в этом океане, который меня не знает, которого я не знаю, и в котором совсем нет души. Вот именно это противоположение давило меня. Ни в Мозыре, ни в Чернигове, ни даже в Киеве, где я бывал раза два, — этого противоположения бездушности города и моей маленькой одушевленной личности я не испытывал. Но в Петербурге я долгое время не мог отделаться от этого ужасного впечатления одиночества на улице — пока лица, дома, магазины не примелькались, и не стали как будто новыми знакомыми.

Университет, товарищи, новые и старые, которых я встретил (среди них, земляк мой, одноклассник, сын священника Мозырского уезда, Митрофан Корженевский), лекции, профессора, сходки — все это первое время совершенно заглушило писательский зуд. Я перестал быть писателем *in spe* и бумагомакою, и стал студентом. Конечно, достал плад и толстую палку, и чувствовал себя необыкновенно гордо, когда вознесенские феи говорили на улице: „студент, одолжите папироску!“ Факультет в то время был, действительно, блестящий, хотя старые студенты говорили: „Ну, какой же теперь это факультет? Вот два, или три, или четыре года назад был факультет так факультет!“ Однако, читали Сергеевич, Градовский, Янсон, Коркунов. Политическую экономию — само собою, самый важный для передового студента предмет — читал толстый Вреден, про которого острили, что он не столько вреден, сколько совершенно бесполезен. Это был веселый бонвиван, и если нужно было создать живое олицетворение буржуазного экономизма, спокойного, всем довольного и твердо убежденного в нескончаемости *juste milieu*, то, конечно, это был Вреден. Его книга, курс его, была написана ужасным языком. Фразы, вроде „лучи света, разбиваясь о бытовую ограду современности, освещают политико-экономические задачи,“ и т. п. пестрели на каждой странице. Частенько

даже нельзя было понять, что он хочет сказать. Но лектор Вреден был занятый. Он рассказывал анекдоты об акционерных обществах, о великих финансистах, о том, что директор учетного банка, Зак, играет на скрипке, и о том, что газеты надо читать не с первой, а с последней страницы, где объявления, так как там настоящая жизнь. Он был неглуп, может быть, даже умен, и во всяком случае в обстановке всеобщего сильного подозрения, в котором держалась университетская наука, а, в особенности, такая заведомо неблагонадежная (что будущая наша революция полностью подтвердила), как политическая экономия, сумел своим жманфицизмом и легкомыслием избрать самую благую часть.

Талантливым и наиболее увлекательным для молодежи лектором был Коркунов, читавший энциклопедию права. Тогда он еще доцентствовал. Он читал лучше, чем писал. У него не было „бытовых оград современности“ à la Вреден, зато было щегольство архи-ученой терминологией, что вполне извинительно, впрочем, для молодых ученых, которые „хочут свою образованность показать“. Напечатанные его лекции совершенно не считались с тем, что их будут изучать вчерашние гимназисты, да еще толстовской гимназии, вытравившей всякий философский дух и всякую склонность к умозрительному мышлению. Я был подготовлен своим, хотя беспорядочным, но все же усердным чтением и жадностью своего восприимчивого ума более других, — однако, и мне приходилось потеть над лекциями Коркунова. Большинство же просто заучивало философскую экзегезу идей права наизусть и попугайски повторяло слова, не вникая в их смысл. В устном чтении Коркунова исчезал в значительной мере дух дешевого и свороспелого приват-доцентского геллертерства, да кроме того, у Коркунова была горячность, отсюда живая, убедительная интонация, часто раскрывавшая значение его речи. У него была маленькая смешная, огненно-рыжая борода, которая как то особенно убедительно тряслась, когда ему хотелось что нибудь доказать. Во всяком случае, его я слушал усердно. Сергеевич, Вас. Ив., был известен, как замечательный ученый, — т. е. у студентов это была установленная репутация, — тем более, что в сочинении своем „Вече и Князь“ он осторожно проводил идею народоправства. А это уже был патент на непоколебимую репутацию, так же, как и то, что А. Д. Градовский сотрудничал в „Голосе“ и был известный поклонник конституционализма. Я не хочу умалять заслуги ни того, ни другого. Оба были, действительно, хорошими профессорами, известными, талантливыми исследователями, безупречными общественными деятелями. Но я говорю лишь о том камертоне, по которому строилась вся русская жизнь. Теперь, когда измеряешь потухшим взором всю глубину исторических событий явственнее видишь далекие корни и нити происходящего.

Читал еще историю римского права Ефимов, — тоже доцент, совершенно незначительная личность. Никто его не слушал. И я часто думаю: какова пленительная гармония римского права, этой несравненной умственной и моральной дисциплины древнего мира, что, даже при таком преподавании, наука эта была любимейшей для моей юношеской мысли!

Итак временно я забыл о литературе и предался науке. Читал Мэна, Фюстель де Куланжа „La cité antique“ и Альфреда Фюлье—„О свободе воли“—для Коркунова. Знал я по-французски, что знают обыкновенно гимназисты, даже из числа преуспевающих. Для того, чтобы понять Фюлье, я принялся за Поль де Кока. Прочитав романы его „Бельвильскую девственницу“, „Gaston le mauvais sujet“ и „Une grappe de groseille“,—я настолько, что называется, „насобачился“ (ибо преимущество Поль де Кока пред другими авторами для изучения франц. яз. заключается в том, что его можно и должно читать без словаря, не обременяя себя), что смог кое как одолеть и Фюлье, и написать даже реферат по сему поводу. Сколько помню, Фюлье, будучи детерминистом, пытался „примирить“ его с внутренним убеждением в существовании „свободы воли“. Поэтому он построил теорию „свободы в выборе мотивов поведения“. Коркунову эта теория представлялась чрезвычайно занимательной и удовлетворительной. В сущности, эта теория довольно наивная—вроде „не вмер Данила, а болячка задавила“. Я теперь уже не помню всей цепи хитроумных сплетений Фюлье, которыми он подпирал свою теорию, но в реферате я ее изложил довольно добросовестно, хотя и вступая изредка в полемику. Особенный полемический выпад сделал я по поводу его ссылок на диалоги Ренана, где этот мудрейший человек проповедует (кажется, в „Калибане“) идею аристократической олигархии. В качестве обязательного демонастра 18-ти летнего возраста, я, что называется, раздела Ренана „под орех“. И тут Коркунов молвил одно слово, за которое я ему глубоко благодарен, ибо с тех пор, быть может, у меня начался упорный процесс обратного размышления. Коркунов сказал: „Вот вы говорите, равенство, полное равенство и т. п. Однако, ведь вы не сядете за обеденный стол с ассенизатором, который г—о чистил“. Выбает так, что и слово-то не Бог весть какое умное, а ударит по темени. Так меня это слово ударило. Вообще, значение слов, создающих нередко поворотный пункт в умственной жизни, крайне загадочно. Например, я был очень богомольным и религиозным мальчиком, когда однажды на слова мои „Бог накажет“ выслушал от товарища гимназиста ответ: „Поди ты к чорту со своим Богом“. Он выразился еще грубее. И с тех пор моя религиозность дала трещину. У меня появились материалистические мысли, надолго засевшие мне в голову,—до тех пор, пока умудренная жизнь не стала формировать идеалистического миропонимания и глубокого убеждения в трансцендентальности истины.

II.

Дни шли за днями. Обычные студенческие дни. Утром университет с его шумною жизнью, сосредоточенною не столько в аудиториях, сколько в шинельной и буфете с читальной залой. Хожение на чаепитие к товарищам и к курсисткам, жившим на Кавалергардской улице—прогуляйтесь! Конечно, опера—в то время итальянская—и дежурства за галлерочными билетами. Я тут должен сделать признание, весьма, быть может, неожиданное для тех, кто привык считать меня театралом—драматическим критиком по преимуществу,

что в драматический театр в первый год своего студенчества я не ходил, а посещал оперу. В Александрийском театре за целый год был, кажется, единственно на „Ревизоре“. Хлестакова играл Петипа, и это единственный, кого я запомнил, и то, как я теперь понимаю, потому, что меня поразили необыкновенные штаны Хлестакова-Петипа—жанареечного цвета и совсем невиданного мною покроя. Отсюда мораль: не надо верить в особую врожденность вкусов—вкусы и влечения воспитываются. По бессознательному влечению, я должен был бы стать комприарио в опере (голосок у меня был) или во всяком случае музыкальным рецензентом. А вышло иное.

Вскоре, однако, первые бурные впечатления студенчества улеглись. Когда Сергеевич, открывая курс истории русского права, начал свою лекцию обращением: „милостивые государи“, мне показалось, что небеса разверзлись предо мною, и я вкушал—буквально вкушал—каждый раз это радостное и почетное обращение. Но постепенно вошли в привычку и „милостивые государи“, и лекции. Мне остался недочитанным. Боясь, что Фюстель де Куланж—тоже. Легкая восприимчивость, переменчивость, живость права, то, что называется „импрессионизмом“, слишком владели мною и роковым образом толкали меня на ту стезю, которая должна была стать стезей, увы, едва ли достаточно удовлетворившей меня жизни—на стезю журналиста. Бумагомаранье опять стало любимым занятием моих ночных досугов в крохотной моей комнатке. Я сидел на кровати, а бумага лежала на столе, и я марал. Собственно, марал без всякого определенного плана. Почему то я стал увлекаться юмористическими журналами, и верхом литературного блеска мне казались „Стрекова“, а затем журнал Лейкина „Осколки“. Я думаю, что это не моя только слабость и не только мой личный конфуз. Как известно, со „Стрековы“ началась литературная деятельность Чехова, а И. Ф. Василевский (Буква) мне как то рассказывал, что и первые опыты М. Горького появились также у него в журнале. Очевидно, есть какой то закон возраста, когда тянет на бабочку: с сачком в поле и с пером в литературе. Эти юмористические журналы представляли прехорошенькими бабочками. При том эта особенная литература—страшно коротенькая. Что-то блеснет, зафиксируеть—оно и готово. Среди сотрудников юмористических журналов у меня был свой герой, если хотите, идеал. Это был некто, подписывавшийся И. Грэк. Только через много лет я узнал, что это был псевдоним В. В. Вилибина. С Вилибиным я был впоследствии в хороших отношениях и очень любил его. Но литературным героем его уже не считал, хотя, несомненно, он был человек талантливый. Я думаю, ему мешало больше развернуться то, что литература не была его единственной деятельностью: он занимал какой то довольно ответственный пост в почтамте. Увы, что может быть прозаичнее? И это особенно было бы невероятно для меня в то время, когда я мечтал об И. Грэке, как о славном, непременно задумчивом, непременно брутетистом (с матовым цветом лица) писателе. Иногда я взглядывался на улице во все живописные лица и думал про себя: вот это И. Грэк! А И. Грэк сидел в это время в почтамте, пробегая своими светло-голубыми глазами равные пост-пакеты. И нос у Вилибина

был, как говорится у Гоголя, самый обыкновенный нос, и при этом с краснотой...

Бывало, сидишь пред листом бумаги и придумываешь разные каламбуры или яко-бы сентенции и афоризмы и юморески, или чтонибудь пародическое. Например, антитезы á la Виктор Гюго: „Черт и ангел! Рай и ад! Зубной врач и мозольный оператор!“ И т. п. Я решительно теперь не помню, какие такие замечательные строки сочинил я и отправил по почте в редакцию „Стрекозы“... Я затерял, вообще, девять десятых своих писаний, разбросанных по разным изданиям. Подписался я М. О. Зырянин. Это мне казалось, по меньшей мере, столь же остроумным, как И. Грэк, и столь же каламбуристичным. Выходила „Стрекоза“ по субботам. Помню осенний сыкатный вечер, когда я пересохшим языком спросил у газетчика на углу Вознесенского и Екатерингофского № „Стрекозы“, уплатив 20 коп. из тощего своего кошелка. И когда я развернул № у газового фонаря, и увидел на 3 или 4 странице часть своих „мыслей“ или „афоризмов“, подписанных „МОЗ“, то буквы, по истине, запрыгали у меня перед глазами.

Было это в октябре 1882 г.

Я долго лежал на кровати, обдумывая это невероятное и торжественное событие в моей жизни. Я забыл сказать, что к этому времени хозяйка моя переехала на другую квартиру, на Вознесенский пр., и комната у меня была на 1½ руб. дороже и значительно лучше. Хозяйка моя была очень добрая женщина, и иногда прибегала к весьма оригинальной форме помощи. Я держал свои деньги в ящике комода, который никогда не запирался. И вот, случилось, ищу я каких-нибудь 3 пятака, которые, по моему расчету, у меня еще остались, и на которые можно купить фунт хлеба и две сосиски, и вдруг нахожу пятиалтынный, сверх пятаков, или двугривенный. Зная свою беспорядочность, я долгое время радовался этим сюрпризным находкам, и отправлялся обедать к Шеметову в кушмерстерскую, где за 30 коп. давали два блюда, и как *hors d'oeuvre* сколько угодно редьки, красовавшейся на столе! Но когда однажды, тщательно обыскав ящик и выбрав все содержимое, я все таки нашел на следующий день, кроме своего пятака, еще и пятиалтынный, — я и сконфузился, и разозлился, и пошел объясняться с хозяйкой. Она опустила глаза и упорно отрекалась, но я, раз навсегда — о, я был дьявольски горд! — попросил ее больше не разыгрывать роли доброй феи. Она была, кстати очень небогата, схоронила старика мужа, и целые дни бегала по кредиторам покойного, стараясь получить что-нибудь из старых долгов. В общем это была добрая душа, но ясно, что с ней говорить о литературной карьере я не мог. Единственный человек, которому я мог бы сказать это и выслушать в ответ то, что, казалось, мне было необходимо, — был Корженевский. Он жил в коллегии Полякова при университете, и это было чертовски далеко. Притом я не любил коллегии. Незадолго до этого в университете был ряд сходок и демонстраций по поводу этой коллегии, и я в них тоже участвовал, и когда приехал градоначальник Грессер и стал нас уговаривать разойтись, то разумеется, я не ушел, а слушал с восторгом речь М. Л. Мандельштама (впослед-

ствии известного присяжного поверенного и члена кадетской партии), произнесенную им с высоты вешалок в шинельной. Потом я вместе с другими был отведен в манеж Павловского училища и пр., и хотя я не пострадал, ибо явно держал себя не как демонстрант, знающий, из за чего он демонстрирует, а как сущий дурак, но мне было все это неприятно, включая коллегию. Тем не менее, после двухчасового восторженного лежания на кровати, я отправился на Васильевский Остров, захватив с собой, разумеется драгоценнейший, исторический № „Стрекозы“. Я застал Корженевского за лекциями по минералогии, и, повидимому, не в очень хорошем настроении, так что минут 10 я не решался заговорить с ним. Наконец, решившись, вытащил скрепленный лист и прокашлявшись от смущения, протянул Корженевскому: „А тут, Митрофан, — сказал я — есть мое“...

Митрофан вонзил в меня свои злые, черные глаза, и молвил: „Ну, ну, давай“... Затем прочитал. По моему, он ни разу не улыбнулся. О, жалкий жребий юмориста! Сердце у меня похолодело. — „Ну, что-же, валяй“ — сказал он по прочтении. „Когда за гонораром?“ О гонораре я забыл, хотя при моих финансах (руб. 20—25 в мес., получавшихся с трудом из дому) — это был вопрос очень важный. Поискав в журнале, — узнал, что редактор принимает по средам на Николаевской ул. Должно быть, и гонорар там же платят. Строк было напечатано — 40 или около того. Ежели в каждом № хотя по 40 строк, то выйдет рублей 8—9 в месяц и это значительно улучшало финансовое положение.

— Я тебе говорил, дурак, что напрасно не хлопотал о стипендии, — сказал внушительно Митрофан — Ну, пиши, черт с тобой! ... — Поощрение было не особенно замечательное, так что из за отсутствия должного консонанса я скоро ушел, тем более, что до смерти хотелось творить, творить, творить... Было сочинено еще несколько „афоризмов“ и „сентенций“, — между прочим, помню такую мысль, достойную Лябрюера и Лярошфуо: „Наряд — оружие женщины. Поэтому побежденная женщина слагает свое оружие“. Затем была написана пародия на новую „психологическую“ манеру Максима Белинского, начинавшаяся так: „У него где-то что-то внутри стукнуло. Вынув из стола что-то гладкое и холодное, он приставил его к виску. Что-то в нем и вне его не давало чему-то покоя“. И т. д. Все это сочинялось, перемарывалось. дегустировалось на тысячу ладов, переписывалось — с субботы до самой среды. В среду я отправился на Николаевскую, в редакцию «Стрекозы». Было часов 5 хмурого осеннего дня. Я шел и ни о чем не думал. То, что предстояло, было так огромно, что и мыслей нельзя было собрать. Сейчас не помню я ни дома, ни входа. Кажется, что помещение было в первом этаже. Зато хорошо помню, что вывеска редакции и конторы была маленькая, фасад же был занят вывескою: „Фабрика каучуковых штампов Г. Корнфельда“. Что Герман Корнфельд был издателем «Стрекозы» — это я знал, но что вместе с тем юмористика состояла не только в тесной связи, но и в тесном подчинении у каучуковых штампов — это я узнал, лишь когда вступил в редакционное святилище. Корридоры и целый ряд комнат были уставлены кипами клише, какими-то тюками и т. п. Свет еще не зажигался, и в полу-темной редакционной

комнате, куда меня ввели, я заметил у окна двух собеседников: одного сухошавого, среднего роста, с рыжеватыми усами, и другого, — низенького, с длинными вьющимися волосами. Разговор у них шел бойкий и оживленный. Было совершенно ясно, что низенький, с длинными волосами был сам Василевский, несравненный Буква, король остроумия, и другой, очевидно, какой-то сотрудник, а может быть, просто знакомый редактора. Разговор длился довольно долго, так что я имел достаточно времени, чтобы оглянуться. Но было досадно, что не давали света. Несколько раз в дверях появлялся невысокого роста господин, „седой наружности“, грузно и несладко ступавший и усердно побрякивавший. Однажды он сказал не то с немецким, не то с еврейским акцентом: „Ну, что же, Ипполит Федорович?“ Но ответа не следовало, и седоватый господин исчез во внутренних апартаментах. Наконец, собеседники стали прощаться. Наступил критический момент: сейчас ко мне подойдет низенький человек с длинными волосами, сам Буква, и скажет: „Это вы М. О. Зырянин? Давно жду знакомства с вами!“ И вот первое разочарование: низенький господин с длинными волосами, нахлобучив мягкую полярковую, настоящую литературскую шляпу, вышел, а ко мне подошел аккуратнo подстриженный сухошавый человек, с острыми глазами, и слегка вьющимися рыжеватыми усами. И я сразу почувствовал тоску. Что я говорил — не помню. Что говорил Василевский — тоже не помню. Кажется, говорил, чтобы относил материал на Офицерскую, к нему на квартиру. Разговор длился ровно $\frac{1}{2}$ минуты. Он боком сунул мне руку, уже попутвернувшись, и я явственно услышал: „7 коп. за строку!“ Правда, столь замечательный гонорар превышал все мои ожидания. „Сколько же получает Эмиль Пуп?“ — мелькнуло у меня в голове. Эмиль Пуп был мой любимый поэт из „Стрекозы“ — образ почти столь же величественный и загадочный, как и И. Грэк. Однако, несмотря на ожидающее богатство, на душе у меня было тоскливо. Вышел пожилой человек и снова спросил: „Ну, что же, Ипполит Федорович?“ „Сейчас, Герман Карлович!“ Это был сам издатель. Герман Карлович поднял с пола тючек с каучуковыми штемпелями, сдунул пыль и крикнул: „Грише! Грише! увозьмите это! Что такое за безобразие!“ Я еще подождал, и когда Герман Карлович снова появился на пороге, он посмотрел на меня через очки и сказал: „Хотите гонорар?“ „Хочу“ — ответил я. „Заходите!“ Я зашел в другую комнату, где стоял большой конторский стол. Герман Карлович вынул толстую книгу, долго записывал мою фамилию, потом вынул М, посмотрел на синюю карандашную надпись, и заставив меня расписаться в книге (рука у меня шибко при этом дрожала), вручил 3 р. 64 к. Я затерял свою записную книжку, где был записан этот мой первый гонорар. Какое самое сильное впечатление было в моей жизни? Первый поцелуй или первый гонорар?

На завтра я отнес на Офицерскую новые свои „произведения“ которые и появились в 2 ММ, и Герман Карлович выдал мне уже 7 р. 56 коп. Вообще дела шли превосходно. В большом доме Лихачева на Вознесенскому пр. ут. Екатеринбургского, битком набитом студентами, я уже имел солидную репутацию литератора. Мои литературные планы ширились. Я мечтал уже о некоторой юмористической энциклопедии. Но тут случилось несчастье...

На склоне дней, когда дьявол уже не может больше грешить и поневоле становится отшельником,—вообще, критически относиться к своей особе. И теперь, после того, как мною столько написано, слишком написано,—еще писах переписах,—я вижу, как много было в моем умонаклонении хитросплетенного и единственно к формальной цели направленного остроумничания. По мере сил, я старался от него избавиться, но избавился ли? Тогда это умонаклонение было господствующим. Я прочитал статью о Гартмане и его „Философии бессознательного“, которая тогда была в большой моде и еще совсем новой, и пленился известным его афоризмом: „Das Nichtsein ist besser als das Sein“ „небытие лучше бытия“. Кстати сказать, эта мысль проще и поэтичнее выражена в „Эдипе“ Софокла: „Лучше совсем не родиться, а кто родился—тому скорей умереть“. Но и Гартману и его афоризму повезло—это была тема дня. И вот, я, понатужившись, засел за юмористическую философию на мотив этого афоризма. Мне это, яко бы юмористическое, перевертывание казалось необыкновенно остроумным и глубоким, и считал я это свое „произведение“ удачей из всего, что я написал. Отнес, и стал дожидаться следующего № „Стрекозы“. И вот, представьте мой ужас, когда я, вместо напечатания этой „юморески“, нашел в „Почтовом ящике“ следующие слова: „Примите касторового масла вместо гонорара“...

Это была катастрофа, и, быть может, почтенному И. Ф. Василевскому, который так обязательно поднес мне касторового масла, даже на ум не могло прийти, какое это имело на меня огромное влияние. Начать с того, что, будучи от природы очень стесливым и самолюбивым, я долгие годы носил, так сказать, в сердце открытую рану, и как то спрятался. Я боялся выступать. Я и сейчас—смешно сказать!—на незнакомом месте чувствую себя, как дебютант. Я стал избегать редакций, я возненавидел юмористические журналы, я боялся генералов от литературы, и по сей день мне все кажется, что они могут посмотреть на меня сверху вниз, и тогда старая обида загорается в душе, и полузаживший рубец от раны краснеет и наполняется кровью. Среди разных других причин, заставивших меня долгое время скитаться по более или менее сомнительным литературным захолустьям и углам,—воспоминание об этом грубом ударе хлыста по юношескому моему самолюбию играло, я убежден, не последнюю роль.

Первая моя мысль была о том, не прочитали-ли все мои товарищи и знакомые о роковом предложении касторового масла. Два дня я никуда не показывался. Потом рискнул. К счастью, кажется, никто не прочитал „Почтового ящика“, а я прочитал, так не обратил внимания. С этой стороны я успокоился, но литературным упражнениям моим пришел конец. Я не писал ничего почти год, т. е. может быть, для себя чтонибудь царапал, но даже и не помышлял о том, чтобы печататься. Снова окунулся и с головой ушел в студенческую жизнь, готовился к экзамену, летом уехал к себе на родину, и все время путался с бродячей группой актеров, игравших в Мозыре. Я играл самые неподходящие и невероятные роли: Золотова в „Горькой Судьбине“, Шпигельберга в „Разбойниках“, Акулину в „Горькой Судьбине“, пел куплеты из „Маскотты“—

вообще, помогал этим потерянным, но милым созданиям, чем мог. Играл я, вероятно, скверно, но так как все кругом было также скверно, то я не выделялся в худую сторону. Но литературу, писание—к чорту, к чорту, в шанку, в подкладку!

Совершенно не могу припомнить, каким образом и по чьей инициативе я вдруг стал петербургским фельетонистом екатеринославской газеты „Днепр“. Я начал в ней сотрудничать зимой 1883 г. Во главе газеты стоял Г. И. Шрейдер, впоследствии известный соц.-революционер, политический эмигрант, бывший до октябрьского переворота во время революции петербургским городским головой. Издателем газеты состоял некто Беляев, присяженный поверенный. В числе сотрудников был Ганейзер и др. Газета была направленская и бойкая, и выходила, кажется, 3 раза в неделю. Так как главное управление по делам печати очень быстро заметило в газете „душок“, то оно придумало весьма любопытную меру „пресечения зла“: именно цензурование газеты, издававшейся в Екатеринославе, было передано в Москву! Газета, естественно, скоро захирела...

Я думаю, что меня отрекомендовал редакции „Днепра“ ктонибудь из екатеринославских студентов; их была целая куча в знаменитом доме Лихачева, и хотя я в то время жил уже на Измайловском проспекте, у немки, имевшей модный магазин (ход через кухню, 7 р. в месяц), но частенько посещал эту компанию. Иначе я не могу себе объяснить происхождение моего сотрудничества. С Г. И. Шрейдером я так и не имел за всю жизнь случая познакомиться, а с Ганейзером, кажется, познакомился в начале девятисотых годов. Но у меня, помню, было письмо на редакционном бланке, с приглашением сотрудничества и с разными редакционными desiderata. Гонорар был мне назначен 2 коп. со строки. Я писал раз в неделю фельетоны, а иногда и корреспонденции, и подписывался „Аврка“. Должно быть, писания мои нравились, потому что я получил еще одно письмо от редакции. Писал я страстно и либерально—обо всем: о крестьянском и дворянском банке, о театрах, в которых я не бывал, о совместительствовавших сенаторах, которых не видывал, о постройке Сенного рынка, и муниципальных скандалах, по газетным сведениям и т. п. Вероятно, это было вполне по вкусу провинциального читателя того времени. Конечно, я любил писать, и писал охотно. Но гонорара, увы, не получал, хотя позволял себе неоднократно напоминать об оном. Дела мои были совсем фи-нансовые. Отцу я врал из самолюбия, что „существую литературно“, да и обстоятельства у него были тяжелые; жил-же я на стипендию в 15 р. в месяц, да иной раз на урочишке перепадет чтонибудь. Я обедал—блестящий обвинитель сенаторов и петербургского городского головы, Аврка—за 8 к. в студенческой кухмистерской на 16 линии, и оттуда перешком каждодневно к себе домой, на Измайловский проспект! А гонорара все не было и не было. И вот, однажды утром—дело было на маслянице, чуть-ли не в субботу—я получил сообщение, что приехал издатель газеты, Беляев, и просит меня зайти. Я подсчитал, что мне следует—сумма была чудовищная—128 рублей! Встал я спозаранку, побрился на последний патлатый-

ний и отправился. Беляев остановился в каких то меблированных комнатах. Это был субъект с круглой небольшой рыжей бородкой, довольно сухого вида и быстро бегающими глазами. Он меня поблагодарил за сотрудничество в газете, которая, увы, должна кончиться, или кончилась, и намекнул на большие убытки. „Вам сколько следует?“—спросил он. Я ответил. „Гм!—сказал он, не глядя на меня—У нас такие затруднения. Вот позвольте мне предложить вам 50 рублей“. Пятьдесят рублей. Это, разумеется, не была Голконда в 128 рублей, но это были 50 рублей! Я взял деньги, не в силах скрыть радости. Беляев скользнул по мне холодно-проницательным взглядом и, вероятно, подумал: „Эх, я дурака сваял, довольно было бы с него и четвертной“.

С пятьюдесятью рублями я вышел на праздничную улицу. Чиркали воробы, прыгая по талому снегу, сверкало солнышко, носились войки, позвякивая бубенцами. Я не знал, что мне делать со своим богатством. Тут я увидел трактир и людей в поддевках, которые ели блины. Я никогда не едал блинов в трактире. Мигом я очутился в заведении, и спросил порцию блинов, с маслом, сметаной и сметками за 75 копеек! И когда я вышел из трактира, то понял, что жизнь полна многих, еще неизвестных мне, радостей, до которых, может быть, когда нибудь дойдет мой черед.

III.

При всем том, мой, если можно выразиться, „успех“ в газете „Днепр“ стоит совершенно особняком: он ни на волос не придвинул меня к журналистике и нисколько не отучил ни от дикой застенчивости, ни от чрезвычайного страха. Это было спорадическое, так сказать, сотрудничество. Если память мне не изменяет, на следующий, кажется, год я поместил статью в газете „Новости“, но этой статьей, кажется, мое сотрудничество в „Новостях“ и ограничилось и, мне думается, что, несмотря на нужду в деньгах, я не получал за нее гонорара, т. е. не рискнул отправиться в контору. Статью я написал по поводу книжки Скальковского „О женщинах“, изданную им под псевдонимом „Вопросительный Знак“. Статья моя, преисполненная самого горячего полемического задора, так и называлась—„Об одном вопросительном знаке“. К persiflage'у и эпикурейщине Скальковского я отнесся, конечно, как подобало благородному молодому интеллигенту, и кистил автора что есть мочи. Статья начиналась, помню латинским изречением „Habent sua fata libelli“, и была, вероятно, так же банальна, как и вступительная цитата. И это, может быть, и было главной причиной того, что статья понравилась О. Ю. Нотовичу. О. К. Нотовича я потом встречал довольно часто и знал довольно хорошо. Его „восьмистолбцовый“, как извило „Новое Время“, газете не хватало многого, но мне думается, главное—не хватало ума, и либерализм ее был самого умеренного образца. Говорили, будто, закрыв „Голос“, Д. А. Толстой всячески мирволил Нотовичу, так как де находил, что „маркиз О'бвич“, как подписана была книжка последнего „Немного философии“, переведенная кем то на французский язык и названная в библиографическом отделе „Journal des Débats“

„un oeuvre bien étrange“—есть такой падалин либерализма, который наилучшим способен погубить его. Будто бы, глядя на редакцию „Новостей“ из окна министерской квартиры (на Мойке—редакция „Новостей“ помещалась в длинном одноэтажном, с подвалом, доме, существующем и по ныне), всемогущий министр говорил окружающим: „Посмотрите, вот мой противник: дурак, жид и либерал“. Я думаю, конечно, что это motto сочинили недоброжелатели О. К. Нотовича. О. К. Нотович, в сущности, был недурной и нелишенный образования человек. Но он страдал не то самомением, не то каким то водевильным эгоцентризмом. Кто-то из сотрудников прозвал его не без меткости—„Я сам“. Я узнал О. К. Нотовича довольно близко в 1900 или 1901 г., и меня поразил, при всей его доброте (он мне оказал небольшую, по тому времени, однако, для меня ценную услугу) и даже при несомненной правильности суждений, какой-то дурной тон, насквозь его пронизавший. Я бы сказал, что он был лишен такта и притом очень развязен. Газета же была „сера“ и серостью своей испугала свой либерализм. Он не умел подать газетного блюда, и кроме того был плохой полемист, чем бессовестно, надо сознаться, пользовалось „Новое Время“. Буренин еженедельно изощрял над бедным Нотовичем свое остроумие. Что он писал! То он изображал его владельцем кассы ссуд, то сидящим в „микве“ и кладущим „Новости“ „под стegno“ талмудистом. То он писал по поводу переделки „Misérables“ Нотовичем в пьесу: „Гюго и Нотович! Величественный океан поэзии и грязная капля миквенной воды! Монблан романтизма, и маленькая ничтожная дуковца у его подножия“. Самое глупое в поведении Нотовича было то, что он не молчал, а неудачно отругивался: он совершенно не умел с достоинством держать себя. Так, например, ему очень хотелось, когда, на горе себе, он пустился в драматургию, чтобы об его пьесах были заметки в „Новом Времени“. Написав пьесу „Дочь“, он немедленно через одного из сотрудников послал об этом заметку в „Нов. Время“. Старик Суворин очень обязательно исполнил желание Нотовича, заметка была напечатана, но, к сожалению, вкралась досадная опечатка: было напечатано, что О. К. Нотович написал новую пьесу „Дичь“. Как молодой пикадор, я впоследствии долгое время привязывался к Нотовичу, и из всех сил дразнил его. Даже к бородавке его, действительно, странной, украшавшей центр его лба, я приставал. Сейчас мне это не столько забавно, сколько стыдно вспоминать... Но клокотал темперамент, и чорт знает на что уходил!

О Нотовиче мне еще придется, надеюсь, вспомнить. Сейчас я сделал невольное это отступление, увлекшись в сторону. Хотел же я сказать, описывая добросовестно свою газетную карьеру и подготавливая объяснение дальнейших своих зигзагов, что вот был, как будто, случай напасть на линию. Статья была напечатана, видимо, понравились—почему бы Нотовичу было не поощрить неизвестного молодого автора, авось бы толк вышел! Но поощрения не было. Меня в редакцию не звали, а я, подавно, боялся и нос туда показывать. Так это дело и замерло.

Несколько месяцев, кроме разных брulloнов для себя, я ничего не писал. Не писал бы, может быть, и очень долго, если бы не случай. У меня был

земляк, студент К., человек столь же назойливый, бесцеремонный и храбрый „безумством храбрых“, сколь я был застенчив и стыдлив. Он успел втереться в разные редакции, и, между прочим, в „Петер. Газ.“, где ему иногда поручали маленькие отчеты о разных „собраниях“. Писать он был не мастер—вернее, совсем не умел писать. И вот, в один прекрасный день он мне предложил исполу работать в „Пет. Газ.“ Он де будет ходить по собраниям, а я буду излагать его „впечатления“ и заметки, а гонорар—5 коп.—пополам, по 2½ коп. за строку. Предложение мне очень понравилось; это было как раз то, что нужно. Деньги требовались до-зарезу, знать меня никто не знал, К. будет бегать а я только стану заниматься „письменной работой“. Так и пошло. Часов в 10—11 вечера, а то в 4—5 дня ко мне забегал К. с ворохом записок, а я, не утомившая даже выслушать его до конца, тут же, походя, писал и придавал „литературную форму“. „Литературная форма“, видимо, нравилась, потому что заказы К. из редакции так и сыпались, и на мою долю приходилось в одну неделю руб. 15, что представляло уже, так сказать, капитал и давало возможность существовать совсем безбедно. К. знал вкусы редакции и давал свои указания, которым и безропотно следовал: в описании выставок или торжеств следовало непременно вставлять фразу: „В публике было много хорошеньких дам“ или „Среди многочисленной публики выделялся ряд хорошеньких и нарядных дам“. Редактор, повидимому, был аматер по дамской части. Бывало, увлечешься описанием какойнибудь кустарной выставки, которой, конечно, и в глаза не видел, размахнешься, закончишь какимнибудь хлестким афоризмом, да так и слашь. К. на ходу набрасывает пальто и мчитсь, но вдруг возвращается: „Эх, А. Р.,—что же вы про в числе которых было много хорошеньких дам не поставили? И две строчки лишку, да и звучить для конца красиво!“

Однажды—то было раннею весной—в конце экзаменов, К. явился торжественнее обыкновенного, и, потирая руки, как он делывал в случаях волнения, сказал мне: „Худекову так нравится моя работа (я так смирился духом, что даже не обратил внимания на то, что К. считал писание в газете своей работой), что он предложил мне написать ряд очерков о Вяземской Лавре. По 6 коп., батенька, и строчек можно валать в каждом очерке по 300—400. Так вот, батенька, давайте! У меня и редакционное удостоверение припасено“. И он показал мне редакционный бланк, на котором значилось, что такой-то (имя рек) командировается для осмотра так называемой Вяземской Лавры. „А как же я то пойду? У меня ведь нет удостоверения!“—„Пустяки,—решил К.,—я вас выдам за своего секретаря“.

„Вяземская Лавра“—нынче многие даже название это забыли—был громадный старый, с флигелями и пристройками дом на Садовой близ Забалканского (где нынче новые шестиэтажные дома), представлявший настоящее „дно Петербурга“. Сенной рынок еще к тому времени только строился, поэтому огромная „Лавра“ была соединением парижских „Halles Centrales“, с их подземной жизнью, хулиганством, сутенерством и т. п., и петербургских трущоб доброго старого времени. Полиция давно махнула рукой на Лавру.

Только бы не очень дебоширили и вопиющих безобразий не делали. Может быть, конечно, тут было и своего рода „сотрудничество“, или официальное непротивление злу. Но несомненно, что Вяземская Лавра была самым любопытным, самым оригинальным углом старого Петербурга. Тут жили пропойцы, стлавные чиновники, мелкие закладчики, фабриканты ангелов, безработные, сутенеры, специалисты по мелким кражам, почему либо потерявшие клиентов, дешевые проститутки, котировавшиеся не выше полтинника, селедочницы, татары старьевщики, зеленщики, ярославские мальчики, приехавшие в Питер делать карьеру, и пр. и пр. Тут была своя аристократия, своя иерархия, свои социальные классы, своя борьба „за освобождение труда“—вообще все свое, как в жизни, но через призму Вяземской Лавры. Бесконечные коридоры и лестницы напоминали средневековые. Газовый рожок, а чаще керосиновый ночник тускло освещал целые кварталы нищеты и порока. Нас встретил управляющий домом, которому К. отрекомендовал меня быстро и решительно „Александр Романович (?)—мой секретарь“. Я не протестовал ни против Романовича, ни против титула. Управляющий был хитрейший мужчина—это я даже при своей тогдашней юношеской неопытности и тогдашнем молокососстве заметил. С полицией он ладил, надо было и с прессой поладить. Вероятно, охотно сунул бы чтонибудь в руку, но К. был слишком юрок, а я—слишком глуп. Он не решался, и осторожно пробовал почву. Показал кое-что, но не самое неказистое. Когда же я ему сказал, что де интересно было бы посмотреть для литературного, так сказать, интересу самое „дно“,—он долго угощал нас чаем с ромом, и не совсем охотно повел нас в какие то катакомбы, где у дверей разных корридоров стояли огромные, грязные женщины и дико ругались. Я старался более или менее запоминать что видел, хотя видел мало, но я надеялся на фантазию. Ах, эта молодая фантазия! Отчего теперь есть все сорта уловок, все тонкости литературных приемов, все ухищрения мастерства, а строить не из чего—нет фантазии, которая тогда населяла мир и творила все из ничего!

Я накатал одним духом 4 или 5 очерков. В основание, кажется, были положены смутные воспоминания о „Notre Dame de Paris“ и „Misérables“ Виктора Гюго. В Вяземской Лавре жили: Гавроши—спичечники, Эсмеральды—зеленщицы и селедочницы и добрый Квазимодо, хромой бочар. Строчки набегали сами собой... Худков был в восторге, К. приобретал день ото дня большую важность; я же пил жизнь, как пьяница вино. Все было хорошо, все прекрасно. Получив около 40 р. гонорара на свой пай, я собрался домой на летние каникулы, и чувствовал то, что должен, вероятно, чувствовать молодой колос, наливающийся влагою будущего зерна...

Я перешел на 4 курс, приехав осенью в Петербург, и, не имея „помощи“ со стороны К., который почему то „разошелся“ с газетой,—кажется, попробовал что-то писать самостоятельно, и жестоко провалился—я очень бедствовал. Дни по два, по три приходилось сидеть на селедке с чаем. В ту пору мы, студенты старших курсов, усердно посещали заседания юридического общества (по субботам), где разбирался проект нового уголов-

ного уложения. Заседания были на редкость оживленные и яркие. Кроме профессуры, в заседаниях принимали участие многие сенаторы и светила адвокатуры. Талантливее и остроумнее всех был П. Я. Александров, прославившийся своею защитою Веры Засулич. Он был, можно сказать, до краев переполнен едким сарказмом. Худой, с маленьким, некрасивым, странно усеченным лицом, напоминающим обгрызанную селедку, он говорил высоким, режущим голосом, с злобною ирониею и большим сосредоточенным темпераментом. Лично мне его ораторский талант представляется и поныне, кажется, одним из самых ярких и замечательных. Несколько напоминал его, по мефистофельскому тону, известный Герценштейн, убитый союзом русского народа, только темперамента александровского у последнего не было. „Хорошо было бы дать заметку в газету!“—надумал я. Но в какую? Ясно, что и „Нов. Время“ и „Новости“ имеют тут своих корреспондентов. Это были две единственные политические газеты того времени, да еще „С.-Пет. Вед.“, перешедшие недавно под редакцию В. Г. Авсеенка. Разве попробовать в „С.-Пет. Вед.“? Так я и решил. Утром я написал заметку, строк в 50-60, и отдал со страхом и трепетом швейцару. Редакция помещалась на Троицкой ул., вблизи Графского переулка. Показалось мне, что швейцар крайне презрительно взглянул на мое пальтишко, сверх которого был накинута драный плащ, и это привело меня в окончательное смущение. Ранним утром побежал я к газетчику, купил „С. Пет. Вед.“—и в хронике нашел всю заметку, целиком и даже без всяких изменений. Вопрос шел, значит, о том, чтобы получить гонорар и пообедать. Я вызвал К. и сказал ему: „Слушайте, я сам отнес заметку, сам придумал обратиться в редакцию „С.-Пет. Ведом.“ — по всей справедливости, это мои деньги. Тут рубль на 3½. Но за гонораром пойдете вы, потому что я стесняюсь,—и тогда, извольте, поделимся“. К. сейчас же пошел, а я считал минуты. Ждать пришлось не долго, так как жил я по близости, на углу Невского и Литейной. У К. нос был повешан на квинту. „Гонорар выдается по субботам“—сказал он грустно. А был понедельник... Мучительно долго тянулись дни. Наконец, наступила суббота. И тут случилось еще осложнение: К. отдал в починку пальто и не мог выйти. Пришлось пойти самому. Я не в силах передать, как я волновался и какую удивительную фигуру представлял собою, сняв внизу у швейцара пальто и поднявшись в помещение конторы и редакции. На мне, помню, была совершенно идиотская визитка, считая „лучшим“ мозырским портным, с полами, расходившимися чуть ли не от воротника, неопределенного цвета брюки „с искрой наваринского дыма“ и узенький, десятикопеечный черный бантик вместо галстука. Взглянув в зеркало, я увидел бледное худое лицо с взлохмаченной кошной волос и грустно-растерянными глазами. Вдобавок университетский наш доктор,—изрядный коновал, надо сказать правду,—прижег мне ляписом подбородок, отчего образовалось огромное черное пятно... Ансамбль был редкий. Пересохшим языком я объяснил очень строгой даме, сидевшей за главным столом, цель моего посещения, причем на слове „гонорар“ голос понизился до шопота умирающего. „Ваша фамилия?“ сказала она тоном начальницы женской гимназии. Я пролетел. „Потру-

дитесь подождать, присядьте“. Я скромненько, воздушно касаясь стула, присел у окна. Весь этот день, сыгравший главную роль в моей жизни, я помню с отчетливейшими подробностями. По петербургскому обыкновению, день выдался серый, дождливый, пасмурный, и хотя время еще было не позднее, часа 4 пополудни, но уже стемнело. То и дело, в комнату из боковых дверей входили и выходили разные люди. Со священным трепетом думал я про себя: „это сотрудники“. Случалось, что они подходили к столу, где сидела строгая дама, и расписывались в книге, а она им выдавала деньги. „Гонорар!“ — соображал я и помню, что ни малейшего удивления не вызывало во мне то, что они получали деньги, а я сидел и ждал. Понятно, что я должен ждать, и это совершенно в порядке вещей — они, сотрудники, получают, а я, молодой человек в идиотской визитке, должен ждать. От множества лиц, мелькавших предо мною, и от волнения, я не запомнил ни одного лица. Все они сливались для меня в какой-то величественный организм газеты, которой, можно сказать, огнедышащий кратер я видел в первый раз в жизни. Из комнаты направо доносились громчайшие раскаты смеха и рокочущий громоподобный голос. „Должно быть, сам редактор!“ — решил я. Но дверь отворилась, и, звякая шпорами, оттуда появился саперный, как мне показалось, подполковник или полковник, с эскальбантами, и тем же громоподобным голосом попросил выдать ему гонорар. „Сейчас, Владимир Карлович!“ Владимир Карлович повернулся на каблуках и, сказав что-то молодой конторщице, расхохотался так, что задрожали стекла. Это был В. К. Петерсон, писавший под псевдонимом „Н. Ладожский“ литературные и общественные фельетоны — человек одаренный и умный, о котором, к сожалению, в литературе не осталось почти никаких следов. Умер он в чине генерал-майора, и в „Нов. Времени“ был ему краткий некролог — тем дело и кончилось.

Тянулось мое сидение уже больше часа. Я не испытывал, конечно, нетерпения, ибо то, что я видел, было для меня заманчивее самой интересной сказки из „Шахерезады“. Уже совсем смерклось, когда, припадая на одну ногу, прошел мимо меня сухоощавый человек среднего роста, с редкой, седоватой шевелюрой, и дама, сидевшая в конторе, сказала: „Вот, Василий Григорьевич, — сотрудник, о котором вы спрашивали.“ Господин живо на меня оглянувшись, протянул мне руку и сказал: „Пожалуйста, зайдите ко мне“, и направился вперед в смежную комнату. Все это продолжалось одно мгновение, но мысль моя прожила десять лет. Господин посмотрел на меня в кабинете еще раз умными, черными глазами и молвил: „Это ваша заметка об юридическом обществе?“ „Моя.“ „Она хорошо написана, литературно. Пишите дальше.“ Я пролепетал: „О чем?“ „О чем хотите! Вы знаете языки?“ „Более или менее французский.“ „Ну, это немного!.. Вот если бы знали немецкий“... Я промолчал. „Вы студент?“ „Да.“ „Так пишите... У вас есть перо“. „И об юридическом обществе можно?“ Он улыбнулся: „Можно“.

Я вылетел из кабинета, как птица, и только на лестнице вспомнил, что не получил гонорара, и вернулся назад. Получил я 3 р. 15 коп. — помню отлично. В этот день я обедал с приятелем, ныне прис. пов. (виноват, право-

заступником) В. Г. Гензеным, на углу Невского и Литейного в „шикарной“ бухмистерской—за 40 к. с кофе. У меня горели щеки от возбуждения, и уже в 7 час. вечера я был в юридическом обществе. Даже огней не зажигали, и с час я бродил по темному коридору.

Так началась моя настоящая газетная, уже не прерывавшаяся, карьера. В. Г. Авсеенко я многим обязан, и этому человеку, помогшему мне овладеть „тайной“ журнализма и отрывшему меня, принадлежат самые лучшие мои воспоминания. Он был первый, который не прошел мимо и оглянулся на случайного автора. По натуре В. Г. Авсеенко вовсе не был экспансивен и отнюдь не принадлежал к числу увлекающихся людей. Он был скорее сух, уравновешен и сибарит. Но он был литератор, в истинном смысле этого слова. Он был от литературы. Оттого он и обратил внимание, вероятно, на заметку в 60 строк—он в ней заметил печать литературы, то, что в журналистике ценится все меньше и меньше. Журналистика отрывается и отрывается от литературы, и наша русская следует в этом отношении примеру западной. Я помню, как француз—приятель, Жюль-Буа, тоже начинающий литератор, сказал мне наставительно в 1894 году в Париже, увидев, что я записался в отделе—«Journaliste»: «Dieu vous garde! Пишите: Homme des lettres». „Журналист—это просто «sapaille»; все же, что сколько нибудь грамотно,—это „литератор“. И тон Буа напомнил мне раздражение директора Ворденева из „Нана“ который возмущался, когда ему говорили „ваш театр“.—«Ne dites pas mon théâtre: dites mon bordel».

В. Г. Авсеенко не только дал мне работу и оценил мои задатки,—он руководил мною, а это еще важнее. Он правил мои рукописи. Значение литературной правки—того, что Салтыков так метко выразил в афоризме—„не он хорошо пишет, а мы его хорошо печатаем“—огромно. Правка нужна, конечно, статье, но еще больше—автору. Это предметный урок, настоящая школа литературы, воспитание вкуса. Большая убыль литературных сил началась с того времени, когда редакторами газет (а газеты поглощают по преимуществу литературные силы) стали политики, а то просто „люди с чутьем“, а не литераторы. Им некогда возиться с рукописями, да и дарование начинающих их занимает мало. В. Г. Авсеенко был одним из немногих редакторов—литераторов. Он газету вел, может быть, не по газетному, т. е. нерыночно,—оттого она и не имела рыночного успеха. Но он любил литературу, и я не могу и не хочу забыть его драгоценной заботливости о моих первых шагах. Достоевский в одном из „Дневников“ своих желчно обозвал Авсеенко—„Коленкоровых манишек беспощадный ювенал“. Это—метко. Но вместе с тем, русская литература, питавшая общественность, и vice versa возвела эти самые коленкоровые манишки в ранг некоего демократического флага, способного покрыть только потому, что он коленкоровый, всякий груз убожества. Это—то презрение к условностям, а значит, к культуре и цивилизации, которое повлекло за собою катастрофическое оголение страны от всего, что было создано столетиями. В синодике грехов русского литературного лицемерия презрение к ювеналам коленкоровых манишек сопрягается и в одну строку должно писаться с апо-

феозом посконной рубахи, опорок и лаптей. И мы уже знаем, что из всего этого вышло... Теперь мы знаем. И может быть, теперь мы научимся больше ценить и уважать таких людей, как В. Г. Авсеенко. Насколько я его знал и в ту пору, как я его знал, В. Г. Авсеенко никак нельзя было отнести к „реакционерам“ безоглядного типа. Он очень любил, очень восторгался Тургеневым, и в мирозерпании его было много общего с тургеневским и „потугинским“ из „Дыма“. Он как-то рассказывал анекдот о том, что в бытность его в Киевском университете, студентам было задано сочинение на тему „О пользе Европы“. Эта анекдотическая тема, однако, довольно близко и точно определяла сущность его мирозерпания. Европа представлялась ему образцом для подражания, и если он не был конституционалистом в то время, когда издавал „С.-Пет. Вед.“, то это объяснялось тем, что он не усматривал ни в обществе, ни в народе элементов конституционализма, русского *tiers-état* и русской буржуазии. Достоевский высмеивает какую-то рецензию Авсеенка о французском Михайловском театре, в которой встречалось такое выражение—„теплый буржуазный жанр.“ Но душе Авсеенко был, действительно, и понятен, и близок этот „жанр“, рисующий устойчивую, морально крайне дисциплинированную жизнь. Это было ему настолько близко и понятно, насколько чуждо и далеко было нигилистическое, анархическое отрицание, в чем, собственно, и заключилось наша литературное „передовое“, да и не только передовое, направление. И точно, мы еще не научились лепетать, в смысле накопления моральных и социальных ценностей, но отрицания за то были полные пригоршни. Все хорошо, когда идет согласно закону сложения и разложения сил, и сила сопротивления учитывается, как и сила давления. Но русская литература занималась лишь созданием „контр-форсов“, и нисколько не задумывалась над созданием того, что должно было испытать силу разрушительных ударов...

Я стал писать в „С.-Пет. Вед.“ усердно. Второй статейкой пустил тоже об юридическом обществе „Дуэль по поводу Дуэли“. Не помню уж как, попробовал фельетон под псевдонимом „Наблюдатель“; затем напечатал целый ряд статей по экономическим и юридическим вопросам—особенно, по поводу проекта нового уголовного уложения. По истечении нескольких месяцев, я получил предложение писать ежедневно маленький фельетон, для чего и являлся аккуратно в редакцию. И таким образом я стал профессиональным газетным сотрудником. Я работал много и упорно. Указания и изменения редакторского карандаша подвергал я обстоятельному анализу. Я добивался в фельетонах своей формы с необычайною для моего „легкого“ характера настойчивостью. Случалось, что фельетон в 150 строк я писал два—три дня, перемарывая и переписывая по несколько раз и приходя в отчаяние от несовершенства своей техники и от неумения найти законченность и яркость слова. В то же время я выполнял всяческие поручения редакции—бывал в суде, в заседаниях обществ, даже на юбилее училища Правоведения присутствовал, стоя в трех шагах от Александра III и Марии Федоровны. Воображаю, какую комическую фигуру представлял я в чужом фраке, сидевшем

на мне, как на вешалке! Эти „выезды в свет“, в качестве репортера, сослужили мне большую службу, расширив сферу моего наблюдения, сообщив много живых сведений и сведя лицом к лицу с разными деятелями того времени.

Редакцию „С.-Пет. Вед.“ составляли в то время М. М. Коялович, П. Ф. Левдик, А. А. Коган, М. Г. Вильде, Д. Н. Сапиенца и В. А. Лебедев. А среди сотрудников были: упомянутый уже В. К. Петерсен-Ладожский, Н. К. Морской, П. П. Гнедич, И. К. Галлер, музыкальный критик, проф. Н. А. Любимов, А. Н. Энгельгардт (жена известного Энгельгардта) и др. Редакция и контора занимали небольшое помещение. Из комнаты, являвшейся конторой, вели две двери в кабинет В. Г. Авсеенко и в сотрудницкую. Другая „сотрудницкая“ комната, где сидел и я, сообщалась прямо с кабинетом Авсеенко. В этой комнате, кроме меня, восседали А. А. Коган, В. А. Лебедев, а позже—М. М. Коялович. Коган был красивый мужчина, с пушистой бородой; хотя с явно еврейской фамилией, но ярый антисемит. Он был сотрудником „Московских Ведомостей“ и очень гордился знакомством с Катковым. Если память мне не изменяет, он писал в „Моск. Вед.“ под псевдонимом „Неизвестный“. У нас он вел, попеременно с Левдиком, иностранный отдел, а одно время, кажется, и печать. Он почему то постоянно хмурился и утверждал, что какие-то не то обманутые мужья, не то политические противники покушаются на его жизнь. До сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ он долго жил за границей, бранил нашу русскую жизнь и все рвался обратно в иностранные земли. Человек, в общем, был мало общительный и не особенно приятный, хотя образованный и порою интересный рассказчик, если только не особенно завырался. В. А. Лебедев, заведывавший отделом спорта, справочником и мелкой хроникой, являлся прямою ему противоположностью. Он был из „простых“, чуть-ли не из наборщиков или корректоров, и состоял также „выпускающим №“. „Посмотрите на него,—говаривал В. Г. Авсеенко,—он ходит на каблуках, как наборщик, а если праздник, так не может не выпить“. Василий Ананиевич был костромич и говорил „предложить“ вместо „предложить“, был очень добродушен и не лишен писательской настоящей жилки. Он умер сравнительно молодым и не успел еще расписаться, но были у него и рассказы, и статьи совсем недурные—правда, без особенных умственных, но правдиво и тепло написанные. Любил закусить, выпить и повинтить, причем когда ремизился, и партнер бранился, то только шире раскрывал синие глаза и при каждой штрафной взятке почему-то с сознанием оскорбленного достоинства приговаривал: „видите?“

Мих. Мих. Коялович, сын профессора духовной академии, довольно известного в свое время Мих. Ос. Кояловича, был большим моим приятелем и таковым остался до самой своей смерти. Он был старше меня года на два, че больше, и когда я начал сотрудничать в „С.-Пет. Вед.“, он, кажется, еще состоял студентом, но уже твердо решил пренебречь дипломом, тем более, что был влюблен и собирался жениться. Получал он, по тому времени, большие деньги, что-то 400—450 руб. в месяц. И надо правду сказать, как прекрасный работник—настоящий газетный „антуха“,—он этого стоил. У него

был публицистический нерв, сарказм, известный, хотя и не очень стойкий, но так называемый „русский“ национальный политический взгляд. Он много читал, много знал и отличался блестящею памятью. При этом он обладал для газетного дела самой драгоценной чертой—внутренним тактом. Я с ним работал, много лет спустя, в „Руси“ А. А. Суворина, в революционные годы 1904—06 гг. и еще буду иметь случай об нем говорить. В то время, про которое я пишу, он еще был, разумеется, молод, зелен, но задатки блестящего публициста были налицо. Он правил хронику и др. мелкие статейки, писал передовицы и был правой рукой В. Г. Авсеенко. Трудно себе представить более забавно-уродливую наружность, чем у Мих. Мих. Кояловича: маленький пуговкою нос, с небольшою бородавкою набодашником, маленькие, почти что свинные, хотя умные глаза, непропорционально маленькая голова на длинном нескладном туловище и при этом тонкий пислявый голос; к тому же в придачу заметная глухота, с годами все больше возраставшая. Женился он на редкой красавице, в полном смысле слова, так что я ахнул, когда он меня познакомил с невестой; вообще, по этой части он был „сих дел мастер“, и после этого говорите, что „уметь любить“ не значит все!..

Мих. Густ. Вильде я уже застал zelo старым. Он копошился вокруг иностранных газет и был, что называется, старый театрал. По равнодушию своему тогдашнему к театру, я этой его особенности не ценил, как следует. Ходил он, сгорбившись, в неизменном черном сюртуке, в заднем кармане которого находились бутылочка из под сельтерской воды с молоком и булочка. Это был его завтрак или ланч, или то и другое вместе. Авсеенко говорил про него, что у него от старости прекратились уже все физиологические процессы. Седые волосы его, довольно редкие, уже пожелтели. Оживлялся он только, когда заговаривали о театре. В то время воссияла звезда Е. Н. Горевой, которой страстный поклонником он числился. Откуда следует, что к разряду тонких ценителей он едва ли принадлежал. Но мне он мог говорить что угодно—я не видел ее, да и смотреть не собирался.

Дм. Петр. Сапиенца, собственно, попал в журналистику случайно,—кажется, из чиновников министерства внутренних дел, прикомандированных к „Прав. Вести“. Мужчина большого роста, он отличался злобною ирониею и про всех говорил дурно. Сапиенца переводил иностранные известия, затем делал передышку, ходил по комнате, разминая геморроидальную поясницу, и кистил всех направо и налево. Затем садился и повторял это последовательное чередование до конца занятий. Иногда станет у окна и смотрит на улицу. „Что смотрите?“—„Да вот, смотрю, что упряжь у А. А. Матова (полковника Семеновского полка, управлявшего конторой) все улучшается, а гонорар все уменьшается“.

О П. Ф. Леониде я буду иметь случай говорить впоследствии. Он и недолго пробыл в редакции, увлекаемый более родственными ему по духу бульварными газетами.

Сейчас мне эти первые годы представляются восхитительными. Я зарабатывал до 150—175 р. в месяц, компания подобралась приятная, жили

дружно, по-товарищески. Занятия в редакции начинались около 1—2 ч. и заканчивались в 4. В. Г. Авсеенко любил аккуратность и точность; в четыре он брал трость, желтые перчатки и отправлялся гулять пред обедом, и тут надо было кончать, хоть на полу-слове оборвать. Ввиду этого у сотрудников выработалась манера—писать, держа пред собою на столе раскрытые часы. Эту привычку и я усвоил и долгое время не мог от нее отвыкнуть. О будущем как-то задумывались мало. Когда живется ярко—чего там заглядывать в будущее! Было здоровье, была молодость, была еще не притупившаяся острота впечатлений. И аппетит!.. Я иногда вспоминаю теперь, какие порции уписывались, случалось, на ужин в бывшем приказчином клубе (что на Владимирской ул.), куда меня научил ходить Коган и Левдик, постоянные посетители сего учреждения! За 60 коп. давался антрекот величиною с тарелку, да еще тарелка жареного с луком картофеля!

Я сейчас стараюсь вспомнить, какие же меня, собственно, волновали в то время общественные и политические вопросы? Я писал передовые статьи обо всем, *de rebus omnibus et aliis quibusdam*, даже об иностранной политике, и фельетончики тоже обо всем—о музыкальных вечерах могучей кучки, о балабачниках В. В. Андреева, о Стамбулове и его палочной политике, о дачах, о Боборыкине, о романе Золя. Среди бумаг у меня сохранилось несколько налеек с старыми статьями и фельетонами из „С.-Пет. Ведом.“ Фельетончики были, как мне на нынешний взгляд кажется, суховаты, а передовые статьи, как это ни странно, несмотря на мою крайнюю молодость, были совсем настоящие. Стиль еще не выработался, а только вырабатывался, но взгляды,—сужу по просмотру—были здравые и ясные. В общем, что же требуется от газетной передовицы? Я был балабонем В. Г. Авсеенко. И из того обстоятельства, что этот, в сущности, сдержанный и суховатый человек относился ко мне с нескрываемою симпатиею, я ясно вижу, как глубоко верна и правдива психология известного водевиля Лабиша „Le voyage de M. Perrichon“, герой которого возненавидел того, кто спас ему жизнь, и воспылал нежностью к тому, кого якобы он сам спасает.

Несомненно, во всяком случае, одно: судя по тем статьям, которые сохранились в моем архиве, решительно нельзя найти в „С.-Пет. Вед.“ того времени признаков реакционерства. Это было скорее умеренно-либеральное направление, стоявшее во многом на основе „эпохи великих реформ“, как принято было тогда выражаться,—хотя с известными оговорками. Если принять в соображение, что то было время самой свирепой реакции Д. А. Толстого и Победоносцева, и что „С.-Пет. Вед.“ рассматривались, как „издание“, обеспеченное „обязательными объявлениями“, то следует признать, что В. Г. Авсеенко довольно искусно лавировал между Сциллой и Харибдой. По крайней мере, что до меня, то я не чувствовал в области юридических и экономических вопросов, которых, главным образом, касался, давления на свои взгляды и убеждения. Насколько я припоминаю это отдаленное время, Авсеенке давалось не легко его отщепление, хотя бы умеренное, от Катковского толка. Раз два в неделю в редакцию являлся

Н. А. Любимов, известный сподвижник Каткова, и они долго с Авсеенкой ходили взад и вперед по кабинету. У нас это называлось — „гувернер пришел“. Н. А. Любимов к тому времени, когда я стал постоянным сотрудником газеты, уже перестал в ней печатать свои статьи. И так как в деле предоставления Авсеенке аренды „С.-Пет. Вед.“ Любимов сыграл немалую, если не главную, роль, то было понятно его стремление удержать Авсеенку на стезе строгой катковщины. Однако, удавалось это „гувернеру“ мало. Н. А. Любимов считался в катковском лагере одной из самых выдающихся сил. Немногие, быть может, знают, что цикл статей Н. А. Любимова „Против течения“, напечатанный в „Рус. Вестн.“ и содержащий исторический анализ событий великой французской революции, был, между прочим, написан специально для того, чтобы доказать Александру III (хотя едва ли нужно было так усиленно доказывать ему то, чего он так страстно хотел), что Людовика XVI погубила уступчивость, и что, остановленная в начале, французская революция не имела бы дальнейшего течения. Этот взгляд считался господствующим в придворных сферах, и уже после смерти Александра III передавали следующие слова, будто-бы на смертном одре сказанные им Николаю: „Не уступай ничего, потому что, если дать палец, то они захватят всю руку“. Собственно, этот афоризм и представлял главную мысль исследования Н. А. Любимова. Бывая в редакции, — всегда гладко выбритый, всегда в неизменном черном сюртуке, — он заходил в редакционную и беседовал с нами. Ему, помню, нравились мои фельетончики, и в особенности те, в которых я „разделял“ музыку „могучей кучки“. Он, кажется, был хорошо знаком с Балакиревым и др. представителями этой музыкальной группы.

IV.

Летом же первого года своего сотрудничества в „С.-Пет. Вед.“ я внезапно стал рецензентом. Можно ли отрицать значение случая в жизни? Оглядываясь на себя, я должен сказать, что, конечно, не в смысле общих контур моей жизни, а в смысле частных, и весьма существенных, ее линий, — очень многое и важное — определялось случаем. Так было и здесь, — с театральным рецензентством, ставшим впоследствии главной основой моей литературной работы. Случай! И далее потом тоже ряд случаев!

Театральные рецензии писали в „С.-Пет. Вед.“ П. П. Гнедич, М. Г. Вильде, Галлер и, кроме того, Н. М. Безобразов, известный балетоман, камерюнкер, — личность довольно любопытная, о которой мне придется еще говорить. Я не знаю, почему, но Н. М. Безобразов прекратил свое рецензентство, а кто-то другой, который должен был писать, тоже оказался в „нетех“. Помню, я заканчивал какую-то статью самого прозаического свойства, вроде реформы мирового суда, когда меня позвал В. Г. Авсеенко. „Не поедете ли вы сегодня в „Ливадию?“ Надо написать рецензию“. Я, вытирая замасленные чернилами пальцы, сделал большие глаза. „Как же я? Да и как туда пройти?“... Я задавал самые глупые вопросы, свидетельствовавшие о том, как, в сущности, я

был далек от театра и от мысли, что я буду писать театральные рецензии. „Вы там встретите Николая Михайловича (Безобразова) — он вам все объяснит“, — сказал Авсеенко и вручил мне редакционный билет. Я принял его, как некую священную утварь. Завернул даже, кажется, в бумажку. Мысль о том, что я поеду в театр, чтобы писать рецензию, волновала меня и пугала. Я уже имел случай заметить, что в театре, вообще, бывал очень редко, а в оперетке был всего раза два — на знаменитой Зориной, певшей „Чертенка“ с Давыдовым. Что же касается балета, который тогда давали с знаменитой Брианца, то в балете я ни разу не был, и знакомство мое с балетом ограничивалось танцевальным дивертисементом или номерами, неизменно сопутствовавшими по традиции оперным спектаклям. Из этих хореографических отрывков мне памяты были лезгинка, которую танцевала Петипа, кажется в „Руслане“, и „танец часов“ в „Джюкконде“ Понкиелли. Вот и все мои балетные впечатления. Я не скажу, чтобы я не любил театра: когда я бывал в нем, то испытывал удовольствие. Но тянуть меня особенно не тянуло. И, во всяком случае, сознание, что я еду в театр, в качестве рецензента, заранее убивало всякую мысль об удовольствии, и я думал только о том, как бы мне выпутаться из глупейшего положения, в которое меня поставил В. Г. Авсеенко.

В „Ливадию“, — так назывался сад, находившийся в Новой Деревне за „Аркадией“ и Царской Славянкой, — будущий рецензент приехал на имперiale конки. Войдя в сад, долго искал Николая Михайловича, который мне „объяснил“, в какие двери войти и кому пред'явить билет. Этим его „объяснения“ и ограничились. Весь спектакль я просидел на иглозах. Выходили какие то молодые женщины в трико и коротеньких юбочках и танцевали, потом выскакивала Брианца и вертелась на одной ноге, подвернув другую, и тогда кричали „браво“, а сидевший рядом со мной пожилой человек, с крашеными усами и в матового оттенка высоком цилиндре, очень напоминавшем головной убор факельщика, кричал что-то вроде „гау! гау!“ и стучал тростью. Вероятно, я был очень бледен. Я не только ничего не понимал и не соображал, но и мучительно страдал от своего непонимания, и все время беспомощно озирался окрест. В антрактах я упорно ловил Безобразова, но он был с какими-то шикарными дамами, а один акт просидел в ложе бенуара у самой сцены, с особенно шикарной дамой и особенно шикарным господином среднего возраста. Как я узнал из почтительного шопота окружающих, это были Никитина и Базилевский — она, звезда балета и подруга Базилевского; он — звезда золотопромышленности и друг Никитиной. Для меня эти имена, приводившие меня в „трепет“, были совершенно *du chinois*.

Безобразова мне всетаки удалось залучить на минутку по окончании спектакля. С великою наивностью, я спросил его: „что же мне писать?“ Но он не удивился моей наивности, и с такою же грацией ответил: „нало поддержать“. Надо поддержать! Я снова взобрался на имперiale конки и размышлял над роковым вопросом, как я „поддержу“ Брианца, и чем я ее „поддержу“... Потом решил, что утро вечера мудренее, и лег спать, причем снилось мне, что я сам надею трико и прошу Безобразова меня поддержать

за вытянутую ногу. По утру, взяв листок бумаги, я окружил себя несколькими рецензиями, в духе и стиле которых написал „поддержанье“. Так как рецензии, вообще, были характера „поддерживательного“, то односторонность их значительно облегчала задачу. Рецензия была напечатана петитом, и Авсеенко сказал мне на следующий день: „А сегодня вы поедете в „Аркадию“. Я вдохнул, но не посмел перечить. Опять взобрался на импернал и снова поехали в Новую Деревню. Снова спросил Безобразова, как насчет французской оперетки, и снова выслушал, что „надо поддержать“. Я заметил, однако, что ввиду рецензида моего рецензентства Безобразов отнесся к моей особе серьезнее. Он представил меня нескольким лицам, сидевшим в рецензентском ряду, в том числе человеку, похожему на факельщика. Это был А. Н. Похвиснев, „старейший балетоман“, сверстник детских игр Александра II, весьма любопытный обломок старого барства. Тут же я познакомился с М. П. Федоровым, посаженным редактором, как его называли, „Нового Времени“ и еще кое с кем. Они все отнеслись ко мне очень любезно и приняли под свое покровительство. Какой то господин в соломенной шляпе, с красным бритым лицом, еще не старый, неистовствовал и стучал тростью больше всех, вызывая французскую опереточную актрису. „Замечательно! Поразительно! Изумительно!“ — восклицал он поминутно с польским акцентом и обращившись во все стороны, стремясь вызывать сочувственный восторг в окружающих, и особенно обращаясь ко мне. „Ах, этот Агеевский, — говорил мне в антракте старейший балетоман, — я понимаю, что нужно поддержать, но ведь это уже слишком! В „Листке“ никогда не знают меры“. В последнем антракте Федоров и Похвиснев пригласили меня пить чай на веранде. Похвиснев рассказал последний анекдот: „Вы знаете, какой самый чистый человек? Сын Анны! Он девять месяцев пробыл в Анне (в ванне).“ Я хохотал, пил чай и начинал уже себя чувствовать королем в своем королевстве. Мне было неполных 22 года, лягушки квакали в соседнем болоте, и может быть, даже цел соловей...

Похвиснев, как я уже сказал, был товарищем Александра II и Адлерберга и мог, конечно, сделать блестящую карьеру. Но промотался раз, — за него, по докладу Адлерберга, царь заплатил долги; потом промотался во второй раз — снова Адлерберг доложил, и снова заплатили долги, но Александр II сказал: „Что это Сашка мотает? Чтобы это было в последний раз! Безобразие!“ После чего для Похвиснева настали мрачные дни. Его пристроили к главному управлению по делам печати, где он делал газетные вырезки для царя на ватмановской бумаге. Пока был жив Александр II, Похвисневу перепадало еще кое что, потому что, просматривая похвисневские вырезки, царь иногда спрашивал Адлерберга: „Ну, что Сашка? Ах, дурак!“ Адлерберг, конечно, отвечал, что Сашка без гроша, и Александр II, который вообще плохо разбирался в относительном значении денежных знаков, хохотал и говорил: „Ну, дай ему пятьдесят рублей, — нет, дайте ему три тысячи пятьдесят рублей! Ах, дурак Сашка!“ {Но со смертью Александра II красные дни Похвиснева кончились. Существовал он только на жалование, которое получал за вырезки на ватмановской бумаге, а этого было мало.

Наследства все были проедены, а привычки, и особенно к балету, остались. Тогда он стал писать балетные рецензии. Кстати, это открыло ему дорогу на пиры, устраивавшиеся в честь балетных звездочек. На пирак этих он держал себя с достоинством; черепаховое пенсне за бортом черного редингота, и затаенная корректная фигура, и подкрашенные волосы,—все это было безукоризненно, а la граф Любин из „Провинциалки“, и как Любин, он мог бы петь из „Фаворитки“ „Noi siamo roveri“. Его называли на франко-русских театральнх трапезах „le doyen de la presse“, и ему неизменно принадлежало первое ответное слово за шампанским; он произносил его своим лающим голосом на чистейшем французском языке, и притом у него был „жест“! Ни он, ни окружающие не чувствовали, повидимому, что он изображает нечто вроде свадебного генерала. С сознанием достоинства и нерукотворенности балета он сошел в могилу—тихо, спокойно и незаметно,—кажется, в 1900 или 1901 г.

Мих. Павл. Федоров был одной из самых популярных петербургских литературно-театральных фигур конца XIX столетия. И он также умел с достоинством держаться в недостойном положении. В сущности, он был одной из мертвых душ, купленных Сувориным, и купленных очень удачно. Мих. Павл. был из очень хорошей семьи,—кажется, сын адмирала или что-то в этом роде. В детстве он повредил себе ногу, стал хромать, и потому пошел „по гражданской части“. Гражданская часть была, однако, у Федорова не в авантаже. Он „слепил“ с кем-то вдвоем водевильчик, перевел другой, и стал завсегда-таем кулис. Выкупные, разумеется, скоро были проедены, и тут Суворин его купил за 6.000 р., кажется, в год. Был Федоров толст, очень некрасив, с отвислым брюхом, чревоугодник, сплетник, но в общем, bon enfant и чистокровная богема—до конца своих дней. Как у Похвиснева, как у Безобразова, как у целого ряда других из этого литературно-газетного кружка, у него не было семьи, которую заменяли дружеские отношения к какой нибудь даме полусвета. „Мертвая душа“ и подставной редактор, Федоров, однако, барским видом производил известное впечатление, а для представительства газеты это было очень важно. Он являлся в редакцию, пил чай, что-то там будто-бы читал, иногда даже объяснялся с посетителями, а затем, собственно, начинался его петербургский день. Долгое время он обедал вместе со всей газетной богемой в Малом Ярославце, где „печати“ за 75 коп. давали очень недурной обед, для обыкновенных посетителей расценивавшийся рубль в полтора. Я также месяца два-три обедал в Ярославце с этой компанией, которой неизменными членами были Левдик, Л. Ю. Гольдштейн, А. А. Плещеев, М. И. Пылаев, часто Вас. И. Немирович-Данченко, Н. М. Безобразов и др. После обеда хозяин ресторана, из уважения к гостям, предоставлял желающим кабинеты для отдохновения, и Федоров на диванчике всегда сладко часок похрапывал. Затем он садился на извозчика и отправлялся в театр—каждодневно, где нередко дремал, однако всегда на своем посту. И точно так же всегда, после спектакля, подбирал себе компанию ехать ужинать. Извозчиков он неизменно бранил за плохую и за неосторожную езду, причем частенько

выходил из себя и колотил своей пухлой барской ручкой извозчика по загривку. Так как пролетарское самосознание беднейших крестьян в то время еще не просыпалось, то на извозчика рукоприкладство Федорова производило не больше впечатления, чем прикосновение мухи. Он только почесывался да посмеивался, Федоров же, успокоенный, давал при расчете извозчику лишний гривенник. Ужинал он обыкновенно у Лейнера, и начинался ужин очень оригинально—с ложечки соды, которую он выпивал, чтобы унять изжогу и вызвать аппетит. Чревоугодие было для Федорова не только сладким, хотя и смертным, грехом, но я бы сказал—средством скоротать время, которое тянулось для него нестерпимо медленно, по отсутствию всяких интересов. Когда летом Федоров лечился в Экс-Ле-Бен или Виши, то француз доктор, наблюдая этот разительный образчик русского чревоугодия, говорил про него: „с'est pas un homme,—с'est une usine à gaze“. Федоров совершенно не переносил одиночества, и потому искал молодых, как я, которые его еще хорошо не знали, которым он еще не надоел, и которые готовы были выслушивать его сплетни и разговоры. Старые приятели подсмеивались над ним и как можно эксплуатировали. При всем том, у него еще была особая беда—беда от нежного сердца, и он ревновал, что было глупо, как в смысле объективном, так и в субъективном. Однажды он, ужиная со мною у Лейнера, получил письмо, в котором значились следующие строки:

Под шляпой новою Брюно
Скрыты старые рога,—
О, Миша, Миша, мудрено—
От друга отличить врага...

Он весь помертвел лицом и с'ел две ложечки соды, после чего вдвойне поужинал и, закулив сигару, сказал мне: „Вот вы еще молоды... А знаете, что бы и хотел? Чистенькая, небольшая квартирка, да, и горничная молодая, хорошенькая, с французским батистовым передником и в чепчике-с, да, и с нарукавничками... Да... Подает мне кофе... Да... Потом я беру французский роман, и читаю“...

Почему этот идеал жизни он не мог осуществить—я не знаю! Это никак не помешало бы его „занятиям“ в „Новом Времени.“ Но видно было, как в сущности, все ему надоело—богемничанье пожилого, почти старого, человека с компанией молодых, еще полных огня и жизни, людей. Он был бесконечно податлив и совершенно бесхарактерен, но в основе, конечно, приличный человек, и я представляю себе, например, как он должен был себя чувствовать, когда по жалобе каких то антрепренеров, возникло дело о рецензентских взятках и вымогательствах, и самого его призывали также к градоначальнику Грессеру. По его словам, Грессер сказал-де так: „Я не осуждаю, когда репортер берет там какую нибудь благодарность,—но не вымогай. Я ведь и на приставов так смотрю. Нельзя без подарков, но шантаж—пожалуйте на гауптвахту!“ Федоров передавал эти слова Грессера без малейшей иронии. Это рассуждение казалось ему вполне правильным и логическим, как вполне

уместной параллель с приставами. Одно время неизменным спутником Федорова был Мих. Ив. Пыляев, автор „Старого Петербурга“ и других подобных изысканий. Он был из купеческой семьи, такой же кругленький и толстенький, как Федоров, с розовым, как у поросенка, лицом и сложенными на брюшке ручьями. Летом он посиживал на веранде „Аркадии“, про какое заведение поэт, сотрудник „Листка“, Иванова-Классик, сложил на одном из благотворительных вечеров, такой экспромт:

Гостеприимная „Аркадия“
Приятством права своего
Пленить могла бы самого
Пресвященного Палладию...

Зимой Пыляев вместе с Федоровым были усерднейшими посетителями Приказчицкого Клуба, о котором я уже упоминал. Пыляев терпеливо ждал, пока „дама“ его, маленькая блондинка, танцевала, а Федоров—винтил. Пыляев, вероятно, был очень ревнив—иначе трудно было объяснить его стояние часами у врат танцевальной залы. „Наблюдаю-с фанданго резвое“,—говорил он с усмешечкой.

Ник. Мих. Безобразов, собственно, примыкал только одним крылом к этой богеме. Он вращался больше „в свете“. Как я уже сказал, он был камер-юнкер. При „диктатуре сердца“ Лорис-Меликова, он состоял не то секретарем, не то делопроизводителем Верховной Распорядительной Комиссии, как ее называли, и хранил, яко зеницу ока, проект лорис-меликовской „конституции“. Он мне дал ее как то на прочтение—в синей папке, как настоящее „дело“. Конституция, действительно, была совершенно куцая. Частенько, когда надо было произвести впечатление на простоватых антрепренеров „Аркадии“, известных приятством нрава своего, он приезжал туда в камер-юнкерском мундире под небрежно расстегнутым пальто. На веранде тогда шло удвоенное угощение, а Ник. Мих. сообщал свои дворцовые наблюдения и разные придворные слухи. Связи у него, действительно, были, и карьера у него обозначалась прекрасная. Но как Похвиснев, он быстро все промотал и к службе считался непригодным. Мнение довольно ошибочное. Когда его приятель и еще в большей степени балетоман, К. А. Скальковский, был назначен директором горного департамента, Безобразов получил должность начальника отделения и служил отлично, хотя в богемском кружке и острили, что это не горный, а „игорный“ департамент. Позднее Безобразов был назначен от правительства директором какого-то акционерного общества рудников или чего то в этом роде в Привислинском крае и получал весьма большую „таятшему“. В качестве такого „финансиста“, он и закончил свою жизнь, совершенно отстранившись в последние годы от бывшего кружка, за исключением А. А. Плещеева, с которым отношения у него были старые и особое интимные, о чем мы скажем впоследствии.

Чтобы покончить с кружком „садовых рецензентов“ того времени, в среду которых я попал на первых порах, а должен упомянуть о Пав. Сем.

Макарове, седовласом бакенбардисте, номинальном, как и Федоров, редакторе „Бирж. Вед.“ Он написал оперу „Маршон Делорм“, которую едва ли ктонибудь знает. Но это давало ему большую уверенность суждений. О газете он ничего не знал, и даже телеграмм не читал. Пил он преимущественно водку, так сказать, принципиально и по внутреннему убеждению. „Я водкой от чахотки излечился!“—говаривал он и прибавлял: „А теперь ваков“. Что не помешало ему умереть от болезни сердца, вызванной убежденным потреблением водки.

Труден только первый шаг. Убедившись в том, что мои рецензентские отметки нисколько не хуже других, Авсеенко стал, откровенно говоря, злоупотреблять моим рецензентством. Меня командировали на дачные спектакли, например, в Ораниенбаум, где была лучшая летняя группа, с участием гастролеров. Поезд тащился в Ораниенбаум в то время 1½ часа, да столько же назад, да час на конку, да часа четыре на спектакли, и того 8 час., а зарабатывал я на рецензии рубля 2; впрочем, выдавали еще рубля 1½ на железнодорожный билет. В Ораниенбаумском театре я увидел впервые многих знаменитостей того времени—видел Волгину, красавицу и плохую актрису, видел Ермолову в „Чародейке“ и т. д. Театр, если не ошибаюсь, держал Сосновский. Среди рецензентов помню еще Н. Н. Лендера из „Нов. Вр.“, как говорили, fils a naturel Абариновой, на которую он был похож лицом, но en laid. Он жил *maritalement* с опереточной актрисой Крузовой, которая была вдвое его старше.

Припоминая это время, я спрашиваю себя: были ли разговоры о театре среди компании газетных отметчиков и рецензентов? Да, конечно, были, но исключительно характера анекдотического или фактического. Трактовать вопросы театра было совершенно не принято. Говорили о том, что Самойлов играл хорошо то-то, а Монахов то-то, Глебова то-то, а дю Плесси—вот то-то, а адвокат Серебряный (с которым я лет 8-10 спустя познакомился—тип замечательный!) подавал гостям на десерт огромное серебряное блюдо с цветами, фруктами и совершенно обнаженной Бланш Гандон посредине. Но о теории театра или хотя бы о какой-нибудь эстетической оценке никогда не говорилось ни слова. Я старался уяснить себе, почему это хорошо, а то не хорошо, и в каком смысле одно дурно, а другое прекрасно, но никакой помощи и никакого указания не получал. Я блуждал впотьмах. Это было какое-то совершенно эмпирическое искусство—театроведение, и я понял, что если почему-то мне нужно писать рецензии, то иной помощи, кроме той, какую мне может оказать усердное посещение театра, я ни откуда получать не могу. И значительно позднее, когда по капризу В. Г. Авсеенка, я стал посещать Александрийский театр и жадно в антрактах прислушивался к тому, что говорили и какими словами обменивались театральные критики и театралы В. О. Михневич, Н. А. Лейкин, С. Н. Худков и иные,—я не очень многому от них научился. Единственный театральный критик, который знал, почему ему нравится, и почему—нет, был Коровяков, горбатый человек, с огромным биноклем на ремешке. Но я, кажется, забегаю вперед и нарушаю хронологическую последовательность своих воспоминаний.

V.

Осенью 1886 г. я сдал экзамены в университете и представил кандидатскую диссертацию „О находке“. Два слова о диссертациях того времени. Они писались юристами преимущественно по гражданскому праву, но не потому, что существовало такое особое пристрастие к вопросам гражданского права, а потому, что профессором этой юридической дисциплины состоял профессор Н. Л. Дювернуа, очень добрый, снисходительный, живой и остроумный человек, не утративший черт французского „жманфишизма“. Все диссертации он одобрял, а весь обязательный „колоквиум“ на тему диссертации состоял в том, что, похотывая по тетрадке, он говорил: „труд! труд!“, затем прибавлял, что ни будь ласковое или рассказывал анекдот — тем дело и кончалось. Злые языки острили, что будто бы в тетрадку диссертации можно вписать басни Крылова, и то сойдет. Что до меня, то я довольно добросовестно отнесся к избранной мной теме, и даже проглядел в Публичной библиотеке, разбираясь с грехом пополам в смысле, 2-3 немецкие книжки. Тема о находке меня интересовала потому, что я считал глубоко безнравственной и аморальной конструкцию действующего права, по которой создается премия за выполнение элементарной обязанности всякого честного человека. Как водится, Дювернуа сказал „труд“, похлопав по тетрадке, и как я заключил, едва ли дал себе труд просмотреть диссертацию. Я остановился на своей диссертации потому, что с ней связано мое случайное сотрудничество в „Судебной Газете“ — одном из оригинальнейших органов печати, порожденном реакционным и протекционным духом времени. Казалось бы ясно, что специальное, профессиональное издание должно было бы издаваться специалистом. Однако, издателем-редактором „Суд. Газ.“ состоял архитектор де-Векки, полуобрусевший италианец, какими то путями получивший или перекупивший концессию. Как ни хлопотали почтенные юристы того времени получить разрешение на издание в Петербурге юридического органа, они встречали постоянно отказ, причем ссылались обычно на то, что-де один такой орган уже имеется, и в другом надобности не предвидится. Таким образом де-Векки был монополистом. Смотрел он на свое издание совершенно так, как это определил издатель „Московск. Листка“ — Пастухов, заявив на вопрос московского ген.-губернатора кн. Долгорукова, какое направление его газеты — „кормимся, ваше сиясь!“ Дело в том, что в „Судебной Газете“ печатались решения кассационных департаментов сената, и, кроме того, в почтовом ящике давались справки о судебных сенатских решениях. Таким образом, круг обязательных подписчиков был обеспечен, и де-Векки хлопотал только о том, чтобы газета поменьше стояла. В этом отношении, — *congro di Vasso!* — он превзошел, кажется, всех. Всю „литературную“ часть он сдал секретарю, получавшему 75 рубл. в месяц. Этот „секретарь“ имел пару хороших ножиц и неограниченное право печатать все, если только оно ничего не стоит. Иные статьи (у адвокатов) добывал сам де-Векки, общая за то какоенибудь дело из провинции. В то время „секретарем“ у де-Векки состоял мой товарищ по университету Розенштейн, впоследствии редактировавший

„Приазовский Край“ и умерший в молодых еще годах. Вот этот то Розенштейн и напечатал мою „диссертацию“ в двух №№ „Судебной Газ.“. Де-Векки, обвинявший пороги министерских канцелярий, мечтая, как он произносил, о „зубы—зуди“ т. е. о субсидии, ссылался даже как мне передавали, в доказательство серьезно-научного характера его „газеты“, на мой „труд“ о находке...

Вместе с большинством своих товарищей я записался в адвокатуру. Моя адвокатская деятельность была по истине ничтожна и, увы, бездарна. Из „гражданских“ дел я, через посредство товарища, взыскал 300 р. по исполнительному листу, а по уголовной части выступал дважды по назначению в выездной сессии окружного суда с участием прис. заседателей в Петергофе. Оба дела я постыдно и глупо проиграл. Первое—о поджоге нежилого строения, яко бы, из мести, было до такой степени слабо построено по части обвинения, что воистину только своею полною неумелостью я мог объяснить обвинительный вердикт. Помню, когда присяжные заседатели сказали: „да, виновен!“,—то и инстинктивно отодвинулся от своего клиента, ражего рыжего детины, опасаясь, что он, в благодарность за защиту, хватит меня каким нибудь тяжелым предметом. Второй процесс еще более интересен. Дело шло о том, что некая крестьянская девица, горничная, или, наоборот, кухарка, записала на свой девичий паспорт младенца, рожденного ее приятельницей, матроской, как незаконного, для отдачи в Воспитательный Дом. За компанию попали на скамью подсудимых все—и кумовья, и виновницы преступления, громко названного „сокрытием прав состояния“. Дело было, в сущности, вопиющее, потому что подсудимые абсолютно не понимали, в чем их вина, и какое такое привилегированное состояние они сокрыли. Я защищал, кажется, мать. Что я горюхил—Господи ты, Боже мой! Когда стемнело и принесли в залу заседания свечи, то у меня вертелась в голове вычитанная где-то фраза из судебной речи Гамбетты—„не надо света! я и без него осветю это вопиющее дело!“ Вероятно, в таком же напыщенно-нелепом тоне я и вел защиту, упомянув несколько раз о „жертве“, находящейся в „когтях правосудия“. Помню, председательствовавший, Крестьянов, впоследствии сенатор, только головой покачал. Вердикт был обвинительный, так что даже суд был поражен и постановил ходатайствовать об освобождении подсудимых от наказания. В обоих случаях противником моим выступал И. Г. Щегловитов, тогда молодой товарищ прокурора. Сидел он все время в расстегнутом мундире и издевательски держал себя по отношению к нам, неопытным и беспомощным молодым адвокатам. Я остановился мельком на своих адвокатских дебютах еще вот почему, между прочим. По общему мнению, я говорю хорошо. У меня хорошая дикция, громкий голос и довольно значительная сила убеждения. Я выступал как оратор довольно часто и чувствовал, что владею аудиториею. И в то же время как ужасны, как безнадежны были дебюты! Я до такой степени был убежден в полном отсутствии у меня дара слова, что до 40 лет всячески отклонял от себя всякие публичные выступления. Я не жалею о том, что не занимался адвокатурой,—я не люблю этой профессии. Не в том дело, как говорится у Байрона,—что

Юрист всегда в грязи—того не скроем.
Как нравственности жалкий трубочист,
Покрит он сажн толстым слоем:
Сменив белье, он все-ж не будет чист...—

а в том, что адвокат, особенно криминалист, как очень верно заметил в разговоре со мной Н. П. Карабчевский,—это неудавшийся и недоконченный эмбрион какой то другой отрасли, поэтому всегда дилетант. Я думаю о том, что мог бы, пожалуй, поддержи меня тогда некто опытный и дружелюбный, развить в себе дар слова, и стать недурным лектором или оратором. Это могло бы полнее представить мою жизнь. Мало ли что! Но, как я уже сказал выше, в жизни очень многое зависит от случая. Здесь случай был против, а мог быть—за.

Как бы то ни было, я очень скоро решил уйти из адвокатуры, что и совершил, кажется, в 1888 г., гордо подав заявление о выходе из сословия, вместе с приятелем своим, ныне все же прис. пов. В. Г. Генкеном, тогда тоже пописывавшим в газетах.

Работая в „С.-Пет. Вед.“, я приобретал литературные знакомства и связи. Курьезны были обстоятельства моего знакомства с Вас. Ив. Немировичем-Данченко. Как то получаю я письмо от отца, что-де в романе Немировича-Данченко, напечатанном в „Нови“ (был такой журнал, издававшийся Вольфом и погибший из за рамы, обещанной подписчикам в виде премии, и оказавшейся бумажной нарисованной рамой),—я выведен в самом некрасивом виде. Достал я книжку этого малоинтересного журнала, и точно, в описании обеда железнодорожников выведен репортер, по фамилии Кугель, который, желая добыть сведения, спрятался под стол и обливаемый из соусника или что-то в этом роде, заносил с великим усердием все, что там говорилось. Был я не столько возмущен, сколько аффраппирован, ибо был уверен, что Немирович-Данченко о моем существовании не имеет никакого понятия. Вскоре он посетил редакцию „С.-Пет. Вед.“, и я, увидев момент, заявил ему свою претензию. Добродушный и обязательнейший Вас. Ив. был сконфужен свыше всякой меры этим случайным совпадением фамилий и обещал в отдельном издании переделать фамилию. Он хотел вывести Шрейера, прозванного „королем репортеров“, и по созвучию—весьма отдаленному—написал мою фамилию. Кстати, о Шрейере. Я его еще застал в числе действующей братии, но уже стариком и сильно сдавшим. Его место у призового столба оспаривал Н. Н. Животов, вскоре также умерший. Шрейер, точно, был юрок до крайности. Юрок и злобен, как говорят. Тогда только ввели телефоны, и он, желая насолить Нотовичу, уговорил его повесить телефон над кроватью, дабы в экстренных случаях сообщать ему лично о важных событиях. После чего Шрейер целую неделю не давал Нотовичу спать, будя его по разным пустякам и юмористическим поводам. Кончилось тем, что Нотович убрал телефон вместе с Шрейером.

Внимание литературных и газетных людей обратили мои статьи (их было около 10—15), под общим названием „Молодое поколение“. Эти статьи „вылох“ № 20.

вошли в сборник „Без заглавия“, вышедший в 1900 г. В статьях этих провозглашалась мысль о том, что поколение едва ли на что годное. Многое, что я приписывал, собственно, нашему поколению, могло быть смело отнесено к русской интеллигенции. Я тогда смутно и неясно чувствовал книжность, искусственность, и потому безжизненность, вообще, русской интеллигентщины, происхождение, генезис и генеология которой, действительно, измеряются этапами литературной мысли. То, что у Уайльда носит характер парадокса—о пресуществовании искусства, определяющего жизнь,—в сущности, вполне подтверждается на истории русской интеллигенции. Ее крах и наша революция тавтологичны. Россия царей была искусственна, и среди прочих семиамидных редкостей была и редкостная коллекция, сменявших одно другое, литературных поколений. Все это я высказываю теперь,—и теперь это, пожалуй, не трудно высказать—тогда же я бродил вокруг и около темы, но очевидно, кое какие большие точки были мною нащупаны и, вероятно, успешно, хотя при своей молодости, едва ли я был в состоянии, как следует, разбираться в столь сложных вопросах общественности. Во всяком случае, меня стали звать и предлагать „ангажементы“. Но звали, увы, не туда, куда следовало, я не те, кому следовало... Так, я не помню, как и когда я получил первое приглашение работать в газете „Минута“.

Газета „Минута“ принадлежала Серг. Ем. Добродееву, которого я в одном из сатирических очерков своих вывел под фамилией Метранпажев. Он был, кажется, из наборщиков, дошел до издательства „своим умом“. Был он красивый мужчина, с пышной бородой, и, как утверждали, основной фонд для издательства получил через женитьбу. Но главное, что помогло ему в издательстве, кроме коммерческой сметки, было умение ладить с Главным Управлением по Делах Печати. Говорили, разумеется, разное, и понятно, нехорошее, особенно про бессменного управляющего делами Главного Управления, В. С. Адикаевского—будто бы не обходилось без „благодарностей“. На чужой роток, как известно, не накинешь платок. Так ли, иначе ли, но любопытно, что в то время, как литераторам и журналистам в самых крайних случаях удавалось исходатайствовать какую либо концессию, купец, ежели он входил во вкус издательства, концессию получал сравнительно легко. Так, например, купец Ефрем Остолопов, торговавший под фирмой „Аравин“ субнами, получил концессию на издание еженедельного журнала „Петербург. Жизнь“, который потом у него перекупил Нотович, для бесплатного приложения к „Новостям“. С. Е. Добродееву тоже были широко раскрыты всякие издательские возможности. Он издавал „Живописное Обзорение“, газ. „Сын Отечества“, „Минуту“ и, кажется, что-то еще. Рассказывали, что „входя в антре“ Главн. Управл. по Делах Печати, он смиренхонько останавливался у дверей и только кланялся да улыбался, вытирая широкий, облысевший лоб, а начальство его распекало, и будто бы начальству так нравилась эта упрощенная распекация, что к этому „простому русскому человеку“ оно питало особое пристрастие. Не знаю. Могу лишь сказать, что с Адикаевским и впоследствии встречался очень часто, и без особого для себя удовольствия. Это был

хитрюга первостатейный, „службист“ тончайший, и дела свои если делал, то очень ловко.

Итак Добродеев имел целый ряд изданий, и система его была молотить рожь на обухе. В один прекрасный день ему пришла в голову такая комбинация с дававшей убыток газетой „Минута“. Он сдал редакционную часть „в аренду“ группе из трех лиц—П. Ф. Левадика, А. А. Плещеева и Л. Ю. Гольдштейна. Ввиду гонорара он им уступал все театральные объявления и вообще, все те новые, которые они привлекут, и к сему прибавлял... 600 руб. в месяц субсидии. Коммерческая сделка для Добродеева была, как видите, гениальная: объявлений у него все равно не было, и, следовательно, он ничего не платил, кроме 600 руб. в месяц. Но система была небезвыгодна и для группы упомянутых журналистов. У них были большие связи в театральном и веселящемся мире, и ясно, что объявления они получают, и кроме того, им предоставлялась возможность—„создать газету“. А это весьма соблазнительно, для молодых людей в особенности. Люди были все способные, энергичные и даровитые—особенно двое последних. Принялись они за дело с жаром. Газета должна была быть архи-живая, архи-городская, архи-разухабистая, архи-бульварная, на французский лад. Л. Ю. Гольдштейн, которого я часто встречал у вдовы его брата, проф. консерватории Михаила Юльевича, Елизаветы Карловны, пригласил меня возобновить свои опыты в „Минуте“ новой редакции и писать воскресные фельетоны, с платой по 3 коп. за строку. Это была плата по тому времени сносная—9 руб. за фельетон! Вот лежит предо мной один из этих фельетонов. „Если бы я не имел чести—так начинается он,—принадлежать к благородному сословию журналистов и привычным пером шевелить струны человеческого сердца,—я хотел бы быть адвокатом и писать кассации—апелляции“. И т. д. и т. д.—длинное и бойкое шевеление пустяков об адвокатах Герке и Потехине, о том, что единственная либеральная, хорошо оплачиваемая, профессия—это адвокатская, и о художниках, и о врачах—вообще, невинно и вполне цензурно. Л. Ю. Гольдштейн много раз уверял меня, что наброски эти имели большой успех. Может быть. Кто, в конце концов, может сказать, что нравится случайному читателю случайной газеты?

Я много знал газет на своем веку, видывал разные виды газетной бойкости, сам, могу сказать с раскаянием, отличался „резвостью секунд“, как добрый скакун, но такой необычайной и совершенно ничем, в смысле бойкости, не стеснявшейся газеты, не запомню. Работала все молодежь. Приятель мой, о котором я уже упоминал, В. Г. Генкен, отрекомендованный мною редакции, получал 30 руб. в месяц за ежедневные передовые статьи. Вся городскую хронику и ежедневный маленький фельетон вел Альб. Кар. Гермоннус, впоследствии редактор „Петр. Газеты“—за 50 руб. в месяц. Когда привосили утром рано в редакцию статью, то мерили ее на пяди. За аршина полтора статьи платили рубля 3, максимум 4. При мне начинающий беллетрист, Вакуловский, принес роман. Дежурный из славной троицы сначала перелистал тетрадку в двух-трех местах, затем подкинул на руке, испытывая

вес. „Хотите 15 рублей?“—сказал он. И так как Вакуловский замаялся, то вторично подкинул, и сказал окончательно: „Двадцать пять рублей. Идет?“ На этой сумме и сошлись. Роман был листов в 15 печатных. Главное, чем интересовалась газета,—это создание „сенсаций“. Так как из серьезных общественных или политических вопросов „сенсаций“ нельзя было создавать, то создавались больше легкие скандалчики. Не могу забыть „процесса-донстр“, который создала „Минута“ из разбирательства у мирового судьи Лесного участка дела об ударе зонтиком, нанесенном репортеру Готбергу, известному более под именем „Яши“, в саду „Аркадия“ опереточной артисткой, Волынской. Яша что то наврал в газете или насмелничал, и Волынская, жена Арбенина-Пальма, опереточного режиссера, брата С. А. Пальма, дама энергичная и бойкая, вступила с Яшей в пререкания, а затем раза двахватила зонтиком по Яшиному цилиндру и сильно помяла его. Это, собственно, и являлось „осью“ судебного процесса. Но „Минута“ на этой оси создала „Cause celebre“. Полторы страницы, т. е. 9 столбцов, было отведено „процессу“. Характеристика обвиняемой и ее опереточная карьера; ее роли, бенифисы, гардероб и „relations“. Характеристика Готберга. Что представлял собой его цилиндр. Значение печати. Гражданский истец—И. М. Кнорозовский (мой большой приятель, скончавшийся в 1914 г., тогда пом. прис. поверенного). Чем отличается Кнорозовский от Лапо и чем напоминает Перье. Свидетели. Биография А. А. Плещеева, П. Ф. Левкина, Л. Ю. Гольдштейна. Их наружность. Что такое „хорошо сохранившийся мужчина“, „известного возраста“? Публика. Пятьдесят характеристик, портретов и моментальных снимков. Погода. Как реагировал на процесс город, в частности Лесной, Невский проспект. И пр. пр. Это была, конечно, чепуха, но настолько необыкновенная, такая зазорная и шаловливая, что читатель палил глаза и облизывался. Газета шла бойко, и я сейчас не помню, почему тронца бросила это дело. „Густая“ полемика между „Минутой“ и другими листками не прекращалась ни на один день, в качестве специфического оживляющего средства. Особенно памятна осталась мне „полемика“ между Гольдштейном и Акселем Гермоннусом, которого не следует смешивать с братом его Альбертом, вновь назначенным редактором „Петерб. Газ.“ „Я бы мог в свою очередь—писал Гольдштейн—назвать Фина (псевдоним Гермоннуса) гуммозным человеком, дырявой чухонской лайбой, созревшим для ланцета гнойником, общедоступным пипифаксом,—но из уважения к читателям, воздержусь назвать его так и в полемике буду, соблюдать приличие“...

Наблюдая нравы газетной Растеряевой улицы, Победоносцев потирал руки. Лет 10-12 спустя, он сказал как то И. Я. Щеголеву, явившемуся к нему по какому то газетному делу: „Ничего не знаю! Знаю, что есть газетные нужники, а больше ничего не знаю!“

Как Пилат, он умывал руки. Но кто, как не он, был главным виновником понижения умственных и политических интересов русской печати? В „Московск. Сборнике“ Победоносцева есть такие строки, обращенные к представителям печати. „Кто ты, пишет он, презрительно сжимая губы,—ежедневно со мной беседующий? Может быть, я вовсе не хочу с тобой беседовать!“ А

не хочешь—так и не беседуй,—можно, было бы ему сказать: силком ведь никто не тащит. Но не в этой риторической фразе дело, а в том, что кого же и на какой предмет допускали к беседе, и не были ли лозунг: „говорите о пустяках! болтайте!“—дан по всей линии именно правительством? Как ни далеки были Победоносцев и Д. А. Толстой от наполеоновских Морни и Мона, это было, в сущности, одно и то же равнение по Вильмессану. И как Бордюв говорил: „mon bordel“ вместо „mon théâtre“, так и Победоносцев должен был говорить „мой нужничек“ вместо „моя пресса“.

Лично для меня все это сложилось роковым образом. По живости нрава, увлекающемуся характеру, легко поддающемуся влияниям, наконец, по фельетонному складу своих первоначальных писаний, я был в полном смысле слова создан для того, чтобы стать „жертвой вечерней“ бульварной прессы. Пока надо мной была, так сказать, рука настоящего литератора (В. Г. Аксеева), я был еще вне опасности. Но обстоятельства скоро изменились. Кто меня мог удержать, вразумить, поддержать, направить? Как отнесся Нотович—я уже писал выше. Затем было „Новое Время“, „кокошья“ газета, сирена высокой марки, но тем и кончалось ее отличие от „Минут“, равного рода. Была еще, правда, „литература“, о которой всегда столь пространно и торжественно писал Михайловский, но для консолидации сил которой не только ничего не сделал чванливым направленством своим, но, наоборот, где и как только мог, дробил ее делением на овец и козлищ. Я чувствовал в себе какую то искру Божию, но жар души растрачивал в пустыне, никем не примеченный и не поощренный. А я был самолюбив и как улитка, вообще, уходил в себя. Припоминаю, например, рецензию в „Рус Мысли“ о моей книжке „Без заглавия“. Что это была за разгильдяйская и презрительная рецензия! Конечно, не Бог весть что и было в моем сборнике, но все же, ведь, было там чтонибудь, удаивающееся на возможности. Ведь, если бы рецензент, разбранив меня на чем свет стоит, указал на эти возможности и на пути к достижению их—может быть, я бы стал писать иначе и об ином, и пошел бы иным путем, иной дорогой... Но, ведь, ничего, решительно ничего! Сидели генералы, ирекавшие, как бонны, какие то пифийские слова. Мычали Губарева из тургеневского „Дыма“, с важным видом закусывая клоч борода и приподымая указательный палец, произносили: „м-да, это очень... м-да... важно! Очень... м-да!“

Конечно, можно заметить по этому поводу, что у „жертвовечерних“ духа большого не было. Это—верно. Но ведь не хитро с большим духом большие дела делать, а важно на большие дела малых духом подвинуть...

Обстоятельства, резко выбросившие меня, и надолго, в бульварную печать, заключались, помимо яда легкого и пустого успеха, также в эконо-мических причинах. „С.-Пет. Ведом.“ явно хирели. Я уже привык к некоторому комфорту, зарабатывая около 200 р. в месяц, занимаясь довольно большими комнатами, носил перчатки, вообще, избаловался, а между тем газета стала оплачивать работу не только крайне скудно, но и крайне неаккуратно. В месяц удавалось заработать рублей 80—90. По сложившимся привычкам, это уже была нужда, и частный заработок являлся необходимостью. В это то время

и явился змий-яскуситель, в образе Акселя Карловича Гермониуса, назначенного редактором „Пет. Газ.“ вместо заболевшего чем-то вроде психического расстройства П. А. Монтеверде. Мне был сразу назначен по тому времени изрядный гонорар—7 к. за строку, и помещали меня не только охотно, но и с явным заискиванием. Это дало молодому самолюбию. Потом предложили писать воскресные фельетоны, где я впервые стал подписываться „Номо „пучив“ в честь В. Г. Авсеевна, писавшего под псевдонимом Номо. Статьи же я подписывал „Дебютант“. Обо мне шибко заговорили в газетном мире. Появились какие то поклонники... Так и пошло. 17 лет я писал в „Петерб. Газ.“, отдал ей лучшее, что имеется в молодости—воображение, темперамент, страсть... Я скорбно гляжу на эти годы. Лично я ничего не могу сказать дурного про отношение газеты ко мне. Она не пыталась наложить на меня заметно свою руку и подчинить своим, в общем, невзыскательным вкусам. А в качестве театрального критика, скажу, что ни в одной газете я не пользовался такой свободой суждений и мнений, как там. Но, увы, самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет. Газета не виновата и ничем предо мной не провинилась. Мне было слишком легко в „Петер. Газете“. Мое искусство оставалось на уровне фельетона, и того, что я достиг в первые годы, было слишком достаточно на 17 лет „Пет. Газеты“. Как фельетонист, я, однако, работал над собою много, но без руля и без ветрил. Я любил форму, быть может, черезчур любил ее. Статьи или фельетоны складывались у меня, большею частью, под углом какой нибудь красивой аналогии или яркого контраста или блестящего, как мне казалось, парадокса или забавной остроты. В первые годы особенно, я находился под непреодолимым влиянием Гейне и его „Книги идей“. Я часами сидел и тогда над рукописью, добиваясь, чтобы было „совсем как у Гейне“, и страдал, что так не выходит. Случалось, что обессиленный мучительным напряжением и бесплодностью усилий, я падал на постель и заливался слезами. Я думаю, что во мне были хорошие литературные стремления и была душа художника. Но это самое лучшее время своей жизни, когда молодое воображение переполнено смутными призраками нерожденных идей, я провел в самых для моего литературного будущего неблагоприятных условиях. Вот что угнетает. Я вспоминаю выражение моего талантливого друга А. И. Косоротова, кончившего свою жизнь самоубийством и написавшего незадолго до смерти в частном письме: „Горько подумать, чем бы мог быть, и какою опшпанною сволочью сходишь в могилу“. Главное несчастье для меня было то, что по женственному своему характеру я нуждался всю жизнь в опоре, поддержке, в сомкнутом вокруг меня кольце идей, и ничего этого долгие годы не имел.

А. Р. Нугель.

Письмо Карла Маркса к М. М. Ковалевскому о физиократах.

Когда, в самом конце 1878 года, я издал свою магистерскую диссертацию „Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.“, то послал по экземпляру П. Л. Лаврову и П. А. Кропоткину, исполняя данные им перед тем обещания. Первый написал о ней статью в журнале „Дело“ за апрель 1889 года, второй сослался на мою книгу в одном из своих тогдашних произведений. Узнав об этих моих посылках, М. М. Ковалевский посоветовал мне послать экземпляр и Марксу, взявшись сам его переправить по назначению. Я, конечно, согласился на это предложение, и книга была послана.

Ковалевский сказал мне при этом, что Маркс читает по-русски, и что книга моя его, несомненно, заинтересует. В апреле 1879 года он сообщил мне о получении им письма от Маркса, в котором, между прочим, он благодарил его за присылку моих „Крестьян“. Соответствующую часть письма он мне прочитал, переведа ее с английского языка, на каком письмо было написано, по-русски, причем я тотчас же перевод записывал. Не помню, почему он не дал мне тогда же снять с письма копию. Когда я потом напомнил ему о своем желании иметь копию, он мне сказал, что пока письмо отдано в другие руки, но что оно у меня будет. Вскоре я уехал профессорствовать в Варшаву, так и не видав больше письма Маркса.

Уже много-много лет спустя, после 1905 года, как-то я спросил у Ковалевского, в присутствии И. И. Иванюкова, о письме Маркса и узнал от них обоих печальную вещь. Письма Маркса к Ковалевскому (их, кажется, было не одно) переданы были на хранение И. И. Иванюкову, в то время профессору Петровской Академии близ Москвы. Наступили вскоре после этого тревожные дни арестов, обысков и т. п., когда многие всячески отделялись от всего, что только можно было найти у них компрометирующего в политическом отношении. И. И. Иванюков, как один из наиболее популярных профессоров „неблагонадежной“ Петровской Академии, был на очень плохом счету, и вот, его молодой жена, боясь за судьбу своего мужа, очистила его кабинет от всего, что хранить было опасно. Это, впрочем, тогда было в порядке вещей.

Продиктованный мне Ковалевским перевод письма Маркса у меня сохранился, так как я вписал его в один из чистых листов, переплетенных с моим рабочим экземпляром книги. Его я и позволяю теперь себе огласить в печати, как своего рода документ, интересный по тому взгляду, который Маркс высказывает в нем о физиократах. Собственно говоря, о моей книге в письме была только одна строчка, которая для меня была очень лестной, но не в этом разумеется, суть дела, а в том возражении, какое сделано было Марксом на мое отношение к физиократам и которое характерно для точки зрения автора „Капитала“.

Вот перевод этой части письма Маркса к Ковалевскому:

„Сочинение г. Кареева превосходно (excellent). Только я не вполне разделяю его взгляд на физиократов. Я беру теорию капитала, т. е. современного строения общества. Начиная от Пети и кончая Юмом, эта теория была развиваема только по частям, — здесь кусок, там кусок, — согласно потребностям той эпохи, когда жил автор. Кенэ первый положил в основу политической экономии ее настоящий, т. е. капиталистический базис, и весь курьез заключается в том, что он так поступает, повидимому, как арендатор землевладельца. Г. Кареев положительно неправ, говоря, что физиократы противопоставляли только одно социальное занятие, именно земледелие, другим, т. е. промышленности и торговле, но никогда не доходили, подобно Смиту, до противопоставления социальных классов. Если бы г. Кареев вспомнил основную мысль предисловия Рикардо к его знаменитому творению, где он рассматривает три класса государства (землевладельцев, капиталистов и рабочих, трудами которых почва обрабатывается), то он убедился бы, что первое изобретение трех классов в экономической сфере и их взаимных отношениях могло найти место только в системе земледелия, как это сделал Кенэ. Сверх того, необходимо для писателя различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что дает только в собственном представлении. Это справедливо даже для философских систем: так, две совершенно различные вещи — то, что Спиноза считал краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный камень. Поэтому неудивительно, что некоторые приверженцы Кенэ, вроде Мерсье-де-ла-Ривьера, находили сущность всей системы в ее параферналиях, тогда как английские физиократы, писавшие в 1798 году, впервые доказывали, на основании Кенэ, наперекор А. Смиту, необходимость уничтожения частной собственности на землю».

Очевидно, замечания Маркса, касающиеся моего взгляда на физиократов относятся к следующему месту на стр. 246 моей книги. „В основу своего учения, именно сказано было там, — физиократы положили деление общества не на основании положения отдельных классов, как получающих ренту собственников, извлекающих из своих оборотов капиталистов и живущих платой за свой труд рабочих, а на основании существования в обществе разных занятий... За исходный пункт приняты ими не антагонизм общественных классов, а соперничество занятий..., и теоретические симпатии физиократов были не на стороне того или другого общественного положения, а на стороне извест-

ного занятия". Возражение Маркса основано на мысли о необходимости различать две вещи: то, что писатель дает в действительности, и то, что дает в своем собственном представлении. Меня, как историка французского общества в XVIII веке, а не как историка политической экономии, интересовало то, что я и как думали и говорили сами физиократы, а не то, к чему логически, хотя бы и без их собственного ведома, должны были приводить их взгляды. В этом смысле мною это даже было дважды оговорено в книге: „Цель наша,—сказано было на стр. 241,—не история политической экономии, а история французского общества“, а на стр. 246 прибавлено: „впрочем, это относится уже к области теоретической части политической экономии; нам здесь нет дела до сравнения физиократических учений с системой Адама Смита и его последователей“.

Приведенные мною места из моей книги объясняют, во первых, против чего в ней возражал Маркс, а во вторых, почему его точка зрения на физиократов разошлась с моею. Меня интересовал вопрос о влиянии физиократов на практическую постановку крестьянского вопроса во Франции перед революцией, тогда как Маркс в своем возражении выдвинул чисто теоретический интерес вопроса о месте, занимаемом физиократами в развитии политической экономии, как исследования капиталистических отношений.

Интересно, что при этом Маркс приписывал родоначальнику физиократии (хотя бы и предположительно только, „повидимому“) точку зрения, на которой мог бы стоять только арендатор землевладельца. Это для меня весьма вероятное объяснение, хотя Кенэ еще не додумывался до сознательно-классовой точки зрения. Но я думаю, что отрицание ее мною у физиократов и было, собственно говоря, тем главным, что заставило Маркса „не вполне разделять“ мой взгляд на эту школу.

Н. Кареев.

ДЕКАБРИСТ П. И. ПЕСТЕЛЬ.

Новые материалы.

I.

ДВА ПИСЬМА ИЗ КРЕПОСТИ.

1. ГЕНЕРАЛУ В. В. ЛЕВАШЕВУ.

Генерал! Я не могу дать лучшего доказательства моей полной и совершенной искренности, как представив Вам прилагаемую бумагу. Ни один из членов тайного общества не сумеет ничего против нее возразить, если только захочет быть правдивым. Возможно, что эта бумага окажется бесполезной Комитету; в таком случае благоволите представить ее только Его Величеству Императору, — в ней содержится самая строгая и точная истина. Впрочем, мне уже нет никакой надобности или интереса что-либо скрывать. Все связи и планы, соединявшие меня с тайным обществом, порваны навсегда. Буду я жив или мертв, — я отделен от него на веки. Если я умру, все кончено, и один лишь Господь будет знать, что я не был таким, каким меня, быть может, представили. Если же я, наоборот, останусь жив, то буду обязан жизнью лишь Его Величеству Императору; после амнистии мое существование будет даром Его великодушия и, следовательно, должно будет состоять только из верности, усердия и полной и исключительной преданности личности и семейству Его Величества. Это математически верно. Не так обстояло дело с покойным Государем. Об этом я мог бы сказать немало, но здесь не место и не время, да и вообще об этом не следует говорить. Простите меня за откровенность, — я нахожусь в несчастии, и в этом мое оправдание. Примите, генерал, уверение глубокого уважения, с каким я имею честь быть покорнейшим слугою Вашего Превосходительства. Пестель.

12 января 1826 г.

... Настоящее письмо и прилагаемая бумага были написаны до моего вызова в Комитет сегодня вечером.

2. ГЕНЕРАЛУ А. И. ЧЕРНЫШЕВУ.

31 января 1826 г.

Генерал! Восемнадцать дней прошло с того времени, как я имел честь видеть Вас в последний раз, и пятьдесят дней со времени моего ареста. Это

время было для меня вечностью. Я считал часы, я считал минуты. Вы не можете себе представить, как ужасно томиться в тюрьме, как страшна неизвестность о своей судьбе. Его Величество Император пожелал, чтобы я высказал все с полной откровенностью: я сделал это с истощивающей полнотой. Я ничего не утаил, совершенно ничего. Я не только отвечал на все вопросы вполне точно и правдиво, но кроме того высказал все, что только мог вспомнить. Вследствие этого я смею надеяться, что Император остался доволен мною в этом отношении. Этими я хотел доказать Его Величеству всю искренность моих чувств в настоящее время. Это было единственное средство, которым я мог доказать ему, как горячо и глубоко я сожалею о том, что принадлежал к тайному обществу. Поверьте, генерал, что это раскаяние заставляет меня испытывать непрестанные страдания и мучения, хотя я счастлив тем, что, по крайней мере, не принимал участия ни в каких действиях.

К этому еще присоединяется постоянное воспоминание о моих несчастных родителях. Они стары и болезненны и на те немногие дни, которые им, вероятно, осталось прожить, вся надежда, все их существование заключались в их детях. Богу известно, что я охотно отдал бы за них свою жизнь, а теперь я сам толкаю их в могилу. Все, что эти слова заключают в себе ужасного и невыносимого для моего сердца, не может быть выражено и не может быть постигнуто никаким воображением. Признаюсь, что мои слезы о них не иссыкают ни днем, ни ночью и что, действительно, в глубине души, я дошел до крайних пределов отчаяния. Да соизволит Государь бросить на них и на меня взгляд жалости и милосердия.

Я не могу оправдаться перед Его Величеством; поэтому я и не стараюсь оправдываться; я прошу лишь милости. Да соизволит он воспользоваться в отношении меня прекраснейшим правом короны, и Бог мне свидетель, что он никогда не раскается в том, что дал себя убедить. Каждая минута моего существования будет посвящена безграничной благодарности и привязанности к его священной особе и к его августейшему семейству. Я хорошо понимаю, что не могу оставаться на службе, но если бы мне только вернули свободу! Я слишком виновен перед Его Величеством, чтобы посметь обратиться непосредственно к нему с этим изложением моих чувств и страданий, но вы, генерал, не откажите в доброжелательности: повергните мои молибы и мое раскаяние к стопам Его Величества и согласитесь способствовать с вашей стороны, по мере возможности, освобождению несчастного, который сохранит к вам за это вечную признательность. Если бы я смел, я испросил бы у вас еще одно благодеяние; а именно, если Его Величество был бы тронут моими просьбами, передайте мне несколько слов надежды и утешения, чтобы хоть немного облегчить ту страшную тяжесть, которая в настоящее время повисла надо мной и которая совершенно меня подавляет; или, по крайней мере, сообщите мне что-либо, чтобы вывести меня из угнетающей неизвестности, которая, клянусь вам, в тысячу раз хуже смерти, так как я совершенно ничего не знаю о ходе нашего дела, а это до бесконечности усиливает тревогу,

вытекающую из моего несчастного положения. Прошу вас также не забыть ходатайство, изложенное в письме, которое я имел честь послать вам 19 января, если судьба пожелает, чтобы эта просьба была признана уместной. Быть может, Господь в своем бесконечном милосердии сумеет склонить в мою пользу сердце Государа.

Примите, генерал, выражение глубокого уважения, с которым я имею честь быть вашим покорнейшим слугой. Пестель.

Жутко читать эти два письма Павла Ивановича Пестеля, знаменитого вождя декабристов и одного из самых умных людей пушкинской эпохи. Ужасом предсмертной тоски они исполнены. Печальное разочарование сквозит в каждой строке, в каждом слове. В самом деле: готовиться путем революционной диктатуры осуществить конституцию, проект которой тщательно разрабатывался много лет и в обдумывание которой вложены лучшие мысли,—а вместо того сидеть в смрадном каземате мрачной крепости; много лет мечтать о революции, которая должна быть совершена по его указаниям и под его прямым руководством,—а вместо того подвергаться допросам с пристрастием, как уголовный преступник и бессердечный разбойник; столько лет считаться достойным, в том числе в глазах самого императора, занимать высшие должности по государственному управлению—в области иностранной политики, военной или гражданской администрации,—а вместо того обвиняться в соращении молодых офицеров, которые будто бы предназначались в жертву ему самому, как революционному диктатору. И это обилие наветов на него, которыми засыпали Следственную Комиссию почти все привлеченные к делу о заговоре...

Пестель убедился, что записаться дальше не зачем, скрывать больше нечего. Он решил дать самые откровенные показания о Тайном Обществе, об его задачах и делах. Так возникло первое из публикуемых здесь писем—от 12 января 1826 года. Оно знаменует перелом в душе Пестеля и предшествует первому обширному и откровенному показанию его от 13 января 1826 года.

Послано письмо члену Следственной Комиссии генералу В. В. Левашову, который относился к допрашиваемым заговорщикам сравнительно мягко и человечно. Письмо сохранилось в бумагах Левашова, который вообще оставил много документов по делу о Тайных Обществах у себя, и не было доступно покойному ныне биографу Пестеля Н. П. Павлову-Сильванскому, опубликовавшему все показания вождя заговорщиков, в том числе и показание от 13 января 1826 года (в книге „Декабрист Пестель пред Верховным Уголовным Судом“, Ростов-Дон, 1907).

Второе письмо послано члену Следственной Комиссии генералу А. И. Чернышеву. Этот оставил по себе самую плохую память. Он был не только придворный лстец и низкопоклонник. Бесстыжий и беззастенчивый карьерист, неразборчивый на средства к достижению своих целей, он заслужил презрительные отзывы всех декабристов, оставивших воспоминания. Князь С. Г. Волкон-

ский, знавший Чернышева по его деятельности во время наполеоновских войн, кроме того, оставил убийственную характеристику его, как человека вообще и военного в частности. В деле декабристов Чернышев запятнал себя не только как судью несправедливый и пристрастный, позднее всех других действовавший в угоду Николаю Павловичу и преступно пользовавшийся провокацией для отягощения участи всех привлеченных к делу; на нем лежит пятно низкого предательства по отношению к своему однофамильцу и отдаленному сородичу, декабристу графу З. Г. Чернышеву, которого он буквально утопил для того, чтобы завладеть титулом и огромным именем графа-заговорщика. План этот не удался А. И. Чернышеву в виду противодействия знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова, и сам император Николай Павлович презрительно отозвался об этих домогательствах своего не в меру усердного слуги. Впрочем он утешил Чернышева и дал ему графский титул за участие в казни декабристов — в повешении Пестеля и его товарищей. Именно Чернышев велел скорей повесить вторично тех трех осужденных заговорщиков, которые сорвались с петель вследствие плохого устройства виселицы.

И вот к такому человеку обращался Пестель в письме от 31 января 1826 года с просьбой об исходатайствовании ему полной свободы. Конечно, проникательный и умный Пестель не хуже других декабристов видел подлинный характер А. И. Чернышева, конечно, он и не ждал сочувствия от этого бессердечного человека. Но публикуемое здесь письмо, своим содержанием, своим тоном достаточно объясняет причины его обращения с такими мольбами к Чернышеву. Если в письме к Левашеву Пестель еще говорит о математической точности расчетов, на которых он основывает свои надежды на помилование, то в письме к Чернышеву уже не упоминается ни о логике, ни о математике. Не до того было человеку, понявшему, что ему не спастись, ясно видевшему уже виселицу, воздвигаемую для него Николаем Павловичем, при бессознательном содействии большинства заговорщиков, растерявшихся, запуганных, мечущихся в поисках путей для самооправдания. И все таки он написал презираемому Чернышеву это унижительное письмо.

Публикуемые здесь впервые, эти письма составлены на французском языке и сохранились в таких же копиях и бумагах Н. К. Шильдера в Российской Публичной библиотеке, откуда я извлек их вместе с другими материалами по истории заговора декабристов. В тех же бумагах я нашел и другие материалы к биографии П. И. Пестеля, печатаемые ниже.

II.

ПИСЬМА К ПЕСТЕЛЮ.

Все высоко ценили дарования Пестеля, все выказывали ему всегда знаки уважения, но едва ли не больше всех других это старался проявить один из видных участников наполеоновских войн, генерал А. Я. Рудzewич, которому судьба предоставила в 1814 году нанести последний удар Наполеону: это он лично повел русских стрелков на приступ Монмартрских высот и под

ливнем огня захватил последние укрепленные подступы к Парижу. Рудзевич (род. в 1776 г. умер в 1829 году) был происхождением крымский татарин; отец его оказал какую-то важную услугу русскому правительству при захвате Крыма и весьма был обласкан императрицею Екатериною II, а маленькие дети его были вскоре после смерти отца обречены в православие. Рудзевич был храбрый и распорядительный командир, проявил также хорошие административные способности в гражданских должностях и был очень ценен Александром Павловичем, как начальник войск. Отличал его и Николай Павлович.

В то время, к которому относится его знакомство с П. И. Пестелем, Рудзевич был командиром корпуса во II армии, где служил и главарь заговорщиков. Сохранилась пачка писем Рудзевича к Пестелю, имеющих значение для характеристики последнего.

Известно, что главнокомандующий II армией, знаменитый фельдмаршал граф П. Х. Витгенштейн, очень высоко ценил ум и способности Пестеля, которого он считал равно пригодным и для должности министра внутренних дел, и для роли дипломата, и для поста командующего армией. Ближайший начальник Пестеля, один из самых выдающихся государственных деятелей Николаевской эпохи, человек очень умный и просвещенный, П. Д. Киселев также высоко ценил Пестеля. При всей своей придворной осторожности и дипломатичности Киселев не стеснялся проявлять дружбу к Пестелю, несмотря на предупреждения придворных друзей и указания их именно на политическую неблагонадежность Пестеля.

А. Я. Рудзевич был прямой, честный и храбрый воин, был чужд карьеризма и придворного прислужничества, его служебные повышения не зависели ни от чьей личной благосклонности и были обеспечены даровитому генералу самой его деятельностью. Поэтому нельзя заподозрить Рудзевича в искательстве перед молодым любимцем начальства. Слишком подло было бы для Рудзевича, если бы все встречающиеся в его письмах к Пестелю похвалы по адресу последнего вызваны были угодничеством. Возможно, что в них были преувеличения, объясняемые манерой выражаться, может быть, правы были друзья Киселева, когда писали ему, что Рудзевич находится в плену у Пестеля. Но это самое они говорили про Витгенштейна, про самого Киселева. Во всяком случае, это исключает подозрение в угодничестве, которое вообще было чуждо натуре Рудзевича. Иначе бы его не ценил так высоко знаменитый Ермолов. Поэтому, характеристика Пестеля в письмах Рудзевича имеет значительный интерес для биографии Пестеля. В соответствии с этим, опустив мелкие бытовые подробности и описание личных дел Рудзевича, я приведу здесь выдержки из его писем к Пестелю. Они начинаются маем 1819 года, кончаются маем 1822 года. Есть в них и некоторые любопытные фактические данные, исправляющие официальные сведения (напр., о производстве Пестеля в полковники в мае, а не в ноябре 1821 года, о каких-то противодействиях в этом отношении, повидимому, со стороны петербургского начальства, а, может быть, и самого царя).

Пестель в это время был адъютантом графа Витгенштейна в чине ротмистра, подполковника и полковника, а затем (27 лет от роду) командиром Вятского пехотного полка в корпусе Рудзевича, следовательно, стал его подчиненным. Но это не понизило тона писем Рудзевича. Добавлю, что за все время адъютантства Пестеля при Витгенштейне и, во всяком случае, за все время их переписки Рудзевич не получил ни одного служебного повышения, ни одного чина. Любопытно, что после 14 декабря 1825 года было заведено дело о дружеских письмах ген. Рудзевича к Пестелю за 1819—1822 годы, но для Рудзевича это плохих последствий, повидимому, не имело. Самые краткие пояснения к тексту писем привожу в соответственных местах, заключив их в круглые скобки.

„Я все то сделал, любезный Павел Иванович,—писал Рудзевич Пестелю 8 мая 1819 г. из Херсона в Тульчин,—что только чувства искреннего и дружеского моего к вам расположения указывали мне, отдав вам полную справедливость достоинствам вашим. Пав. Дм. Киселев сказывал мне, что он вас знает по репутации давно и много доброго об вас говорил. Любя же вас много, вы можете представить себе, что сим случаем умел воспользоваться, и многого сердцу Пестеля отрекомендовал так, как он того заслуживал. Человек по сердцу есть дело великое, а потому я также право имею требовать от вас, любезный Павел Иванович, не забывайте того, кто вам всею душою предан, это есть искренно любящий вас Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезный Павел Иванович, от 15 прошлого декабря,—пишет Рудзевич Пестелю из Херсона в Петербург 15 января 1820 года,—получил, и вот новый еще для меня от вас доводистинного расположения вашего ко мне и дружбы, что вы даже и в шумной нашей столице, при всех ее веселостях, приятных рассеяностях для вас, не забываете, однако же, меня. Итак, поблагодаря вас за память вашу обо мне и поздравив вас взаимно с наступившим новым годом, позвольте и мне пожелать вам от искреннего сердца моего провести как сей текущий, равно и многие последующие годы в совершенном благополучии и счастии. Преданный всей душой к вам Рудзевич“.

„Скажите, любезнейший Павел Иванович,—пишет ему Рудзевич 7 октября того же года,—что вы так приумолкли; неужели, удалясь от вас в царство поселенных войск, хотите нас вовсе забыть. Правила ваши кажется—нет, тем более еще отличное мое к вам расположение и дружба должны бы вас заставить писать ко мне, хотя бы и любопытного в письме вашем ничего не было. Для меня всегда приятны были письма ваши; но вы вздумали лишить меня сего удовольствия. Вам известны правила также мои, известно и то, кого я люблю и уважаю, то где бы он ни был, всегда одинаково к нему буду. И так не грешно ли вам, любезный Павлик, что вы начали забывать меня... Теперь скажите мне о вашем занятии, каково вы убиваете время и весело ли вам в Тульчине, по крайней мере теперь совестно вам будет не отозваться на вздорное мое письмо, которое служит только претекстом задрать вас и знать, что милый Павлик, здоров ли. Итак прощайте, будьте здоровы и не забывайте преданного вам душою Рудзевича“.

„До получения письма вашего, любезнейший Павел Иванович, писанного ко мне с Нотарой,—пишет Рудзевич Пестелю из Берислава 16 июня 1821 го да,—я знал уже, что вы произведены в полковники и назначены командиром Вятского полка. Душевно вас с сим поздравляю и сердечно радуюсь, что вы остались служить под моим начальством, где я могу иметь случай доказать вам истинную мою любовь и то уважение, которое сохраняю всегда в душе моей к достоинствам вашим. В будущем июле месяце около 10 числа я буду к вашей дивизии, в лагере расположенной, и обниму молодого полковника, любезного сердцу моему. Итак до свидания, преданный вам всей душой Рудзевич“.

„Поздравляю вас,—писал Пестелю генерал 29 декабря того же года из Херсона, когда состоялось официальное назначение П. И. командиром Вятского полка,—а более себя, любезнейший Павел Иванович, с назначением в командиры полка, давно вам предназначенного. Я душевно рад сему и уверен, что полк Вятский, имея такого достойного для себя начальника, ободрится и примет другой вид; убитый же дух в трех тысяч ваших (солдат) попрежнему восстановится, и полк ваш будет в дивизии из первых. Итак, прошу принять уверение в душевной преданности моей к вам, с которой навсегда и остаюсь. Прощайте, будьте здоровы. Искренно любящий вас Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезнейший Павел Иванович, от 24 прошлого декабря из Тульчина имел удовольствие получить,—пишет Рудзевич 22 января 1822 года.—Постарайтесь принять скорее полк (в виду предстоящего царского смотра, на котором полк Пестеля был признан равным по выправке гвардейским полкам) и некоторые недостатки по полку вашему исправить. Берьте истинной моей преданности к вам, с которой навсегда останусь преданный вам всей душой Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезный Павел Иванович, в одно время с рапортом вашим, в котором вы просите в посредники князя Волконского (декабриста князя С. Г. Волконского, ближайшего сотрудника Пестеля по управлению южным обществом заговорщиков), я имел удовольствие получить,—читаем в письме Рудзевича от 19 февраля 1822 года.—Охотно исполнил бы просьбу вашу, но, согласитесь со мною, что сие обидно будет для вашего бригадного командира, который есть ближайший вам начальник и должен знать непременно все по полку недостатки и неисправности, за которые он по силе приказа моего ответственность должен. А потому я предписал дивизионному командиру назначить ген. Менгдена в посредники...

Верю, что вам хлопоты большие будут устроить полк сей... но неусыпная деятельность ваша, конечно, к тому способствовать будет. Постарайтесь все поправить, честь и слава вам будет... Прощайте, будьте здоровы. Преданный вам душевно Рудзевич“.

„Письмо ваше, любезный Павел Иванович, от 4 сего месяца получил,—писал Рудзевич 20 мая 1822 года.—Охотно готов всегда вам содействовать, лишь бы видеть ваш полк в самом отличнейшем положении, в чем я совер-

шенно и не сомневаюсь, зная усердие ваше и самолюбие, подстрекающее вас дать полку вашему совсем другой вид и поставить оный наряду с отличными. Знаю, что заботы ваши на первый случай для вас тяжелы и стоят вам значительных издержек, но Бог даст, при терпении и трудах достигнете желанного, и тогда все издержки вознаграждены будут собственным удовольствием вашим при отдавании вам полной справедливости. Прошайте, будьте здоровы и верьте, что я всей душой предан вам. Рудзевич“.

Сохранились два письма генерала С. Ф. Желтухина к Пестелю в ответ на его письма. Желтухин, чье имя было в свое время, на ряду с Аракчеевским, нарицательным для определения бездушного, свирепого и жестокого фронтовика, изверга солдат, к кому посылались полковые командиры учиться мудрости шагистики, кто приказывал своим подчиненным из трех новобранцев сделать одного ефрейтора с тем, что можно остальных двух забить на смерть,— Желтухин был и учителем Пестеля в фронтовом деле. Известно, что Пестель, как командир Вятского пехотного полка, приобрел репутацию отличного фронтовика и заслужил большую похвалу высшего начальства, особенно императора Александра Павловича. Чего это стоило солдатам, можно догадываться. Но вместе с тем известно, что солдаты любили Пестеля и считали его хорошим, человечным командиром. Может быть, их подкупало в его пользу хорошее отношение Пестеля во внеслужебное время, а, может быть, как член Тайного Общества, он и в ученье вносил некоторую мягкость и, сравнительно с другими, в Вятском полку жилось солдатам лучше (См. ниже отзывы солдат о Пестеле).

Так или иначе, в качестве полкового командира, уравнившего по выправке и шагистике свой полк с гвардейскими, Пестель был учеником Желтухина и хорошим, благодарным, любимым учеником. Жаль—не сохранились письма Пестеля к Желтухину, но из его писем к последнему видно, что и первые письма были дружеские. В первом письме, от 8 октября 1819 года, Желтухин старается самым бессовестным образом подольститься к Пестелю, как к адъютанту главнокомандующего. Второе, от 21 января 1823 года, относится к Пестелю, как к командиру Вятского полка, и все посвящено науке фронтовой выправки и шагистики. Это—ответ на „дружеское“ письмо Пестеля от 12 января. Здесь Желтухин „чистосердечно“ сообщает Пестелю свои замечания (не начальнические, так как Пестель служил не в его дивизии, а дружеские в результате ознакомления с состоянием Вятского полка по просьбе его командира) о недостатках пригонки амуниции и с ужасающей педантичностью, характерной для этого изверга, описывает рисунки кивера и т. п. Желтухин уверяет Пестеля, что любит его „душевно, не так, как любят в нынешнем веку, а чистосердечно, как уроженец и шляхтич вольный... хотя и были люди, которые хотели нас поссорить... я с своей стороны рад, что не удалось им этого сделать; тем паче я вашею дружбою дорожу, хотел бы вас иметь у себя в дивизии“. В заключение Желтухин поучает Пестеля, как доводить „людей“ (солдат) до совершенства. В этом смысле и предста-

влияет интерес приведенный отрывок. Именно в связи с этим любопытно и печатаемое ниже „донесение“ о Пестеле.

III.

ОТЗЫВЫ СОЛДАТ О ПЕСТЕЛЕ.

В собрании Н. К. Шильдера в публичной библиотеке есть донесение „агента по тайным государственным делам“ дворянина Летичевского повета, Подольской губернии Станкевича об отношении офицеров и солдат Вятского полка к Пестелю после его повешения. Документ краток и очень интересен, привожу его полностью.

„Ноября 22 дня 1826 года. Со времени определения меня в должность я не имел ничего достойного внимания донести вам; но по вступлении Вятского пехотного полка на квартиры в местечко Зиньков, старался и узнать, каковые носят слухи между военными, и узнал:

1) Все нижние чины и офицеры неприменно жалеют Пестеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним было, да и еще чего-то лучшего ожидали; и стоит только вспомнить кому из военных Пестеля, то вдруг всякой же вздохом тяжким и слезами отвечает, что такого командира не было и не будет; я сие от многих сам слышал, и евреи, почти всякой тоже от военных слыша, мне доносили.

2) Находящийся при мастеровой команде унтер-офицер Филатов, любимец бывшего Пестеля, все подробно рассказывая пред евреем Волиом Зейлпо-вичем, каким образом и чрез что, рассорившись капитан Майборода с Пестелем, донес на него, Пестеля, о заговорах, говорил, что в ту ночь, когда по Пестеля приехал какой-то генерал взять его в главную квартиру, он, Филатов, был послан Пестелем к Аврамову с письмом секретным и велено ему в два часа 60 верст проехать в местечко Прилуку, и Аврамов, прочитав письмо, сказал, что о всем уже знает; говорил и то Филатов, что Пестель с Аврамовым узнали в три дня о кончине государя императора Александра, тогда, когда о сем еще здесь никто не знал, и что сия кончина последовала от отравления ядом.

3) Квартирующий у еврейки Дрейзи музыкантский староста перед многими евреями, будучи пьяным, ругал Майбороду, что сделал донос на Пестеля, из которых последнего расхвалил и жалел, говоря при том, что Пестель пред смертью изрек слова сии: что он, Пестель, что посеял, то и взойти должно и взойдет впоследствии непременно: каковые слова Пестеля повторял Филатов пред Волиом Зейликовичем и другие нижние чины — пред многими евреями.

4) Все вообще офицеры и нижние чины ужасно не терпят нового командира, ругают его по заглаза, называя глупым, дураком, грубияном и иными словами.

О сих разглашениях донося вам, покорно прошу, дабы донос мой не был обнаружен, а покороче можно удостовериться от евреев о сем, только дабы

они не знали, на каковой предмет их выпрашивают; также и нижние чины могут проговориться, не приметив, что от них и на что узнать хочет”.

Происхождение этого документа рассказано в препроводительной бумаге волынского гражданского губернатора к главнокомандующему Литовским Отдельным Корпусом Цесаревичу Константину Павловичу при посылке ему 16 февраля 1827 года донесения Станкевича: „Заславский земский исправник при рапорте от 9 сего февраля представил ко мне в подлиннике, поданный ему 8 февраля секретарем Заславского нижнего земского суда коллежским регистратором Ярецким, рапорт с изъяснением, что по возложенной на него в прошлом 1826 году директором военной полиции генерал-вагенмейстером 2-ой армии подполковником Макаровым обязанности избрал он, Ярецкий, дворянина Станкевича в агенты по тайным государственным делам и сей агент об истинной его к престолу приверженности и правильности донесений дал на себя подписку. По выбытии же его, Ярецкого, из таковой должности, подведомственный ему агент, не знаяши о прекращении по той части его служения, адресовался к нему по данной форме без подписи своего имени с донесением за № 1-й, заключающим в себе немаловажные обстоятельства. Каковое донесение секретарь Ярецкий по долгу верноподданного, представил к земскому исправнику для доведения до сведения высшего начальства, так как он сам собою не имел уже права по секретной военной полиции чинить своих донесений“. К этому добавлено, что Станкевич заплатил посланному с донесением нарочному 60 коп. серебром.

Упоминаемый в донесении Майборода,—капитан Вятского полка, принятый Пестелем в Тайное Общество, осенью 1825 года послал императору Александру Павловичу донос на Пестеля и назвал многих заговорщиков. Донос его поступил к государю одновременно с доносом Шервуда. Майборода был при Николае Павловиче командиром Апшеронского пехотного полка, был очень презираем своими офицерами, на которых производил отталкивающее впечатление, и покончил в 1844 году самоубийством, навалившись грудью на свой кинжал. Упоминаемый Аврамов—полковник Павел Васильевич, командир Казанского пехотного полка, член Тайного Общества с основания его в 1817 году, осужден на каторгу и умер в Сиббири в 1836 году.

С. Штрайх.

Александр Второй.

Личная характеристика

(Частью по неизданным царским дневникам).

I.

Александр II, сын Николая Павловича и его супруги Александры Федоровны, бывшей немецкой принцессы, родился в московском кремле 17 апреля 1818 года. Родители его были тогда на великокняжеском положении, не имея еще официального права мечтать о престоле российском для себя и своего первенца, но счастливая мать, может быть, уже что-то знала и даже, если верить ее позднейшим воспоминаниям, в минуту рождения своего Саши, „почувствовала что-то строгое и меланхолическое при мысли, что это маленькое существо призвано стать императором“. Если рождение Александра I приветствовал старик Державин, то рождение будущего Александра II приветствовал еще молодой тогда поэт Жуковский, который так же, как и его предшественник по воспеванию появления на свет Божий русских принцев, пожелал новорожденному, в числе разных благ и добродетелей, быть гуманным; ибо, конечно, это последнее хотел сказать поэт, когда писал:

„Да на чреде высокой не забудет святейшего из званий — человек!“ Русские поэты, возводя будущих царей в „звание“ человека, вероятно тем, самым стремились перекинуть мостик от этих почти небожителей к управляемым ими людям, в том числе и к самим поэтам. В отношении будущего Александра II судьба устроила так, что В. А. Жуковский, высказавший вышеприведенное пожелание, получил и возможность посодействовать укреплению и развитию памяти маленького Саши в указанном гуманном направлении.

II.

Когда Саше исполнилось 8 лет, Жуковский был назначен в наставники к нему по общему образованию; поэт, следовательно, принял участие в воспитании наследника русского престола вместе с капитаном Мердером, которому за 2 года пред тем было поручено военное воспитание ребенка, начатое,

значит, раньше всего остального, когда наследнику исполнилось всего 6 лет. Оба воспитателя были добрые и кроткие люди, и это обстоятельство не могло, до известной степени, не сдерживать проявления некоторых черт характера будущего венценосца, которые только пристальным вниманием открываются среди снисходительных и лживых отзывов об Александре Николаевиче в пору его детства и отрочества.

Мальчика не баловали. Николай I, его отец, был строг, и в сыне, как и в остальных своих подданных, стремился прежде всего укрепить ту добродетель, которую он считал наиглавнейшею: послушание. Отец отстранял сына от себя, когда узнавал, что тот провинился непослушанием. И на сына это производило подавляющее впечатление. Он начинал изо всех сил стараться, чтобы не вызывать отцовского гнева, страшного для него тем более, чем более он привыкал удивляться отцу и уважать его. Николай I был способен вызывать в окружающих, в том числе и в своем сыне, эти чувства. Он умел импонировать усвоенной им манерой управлять и жить. Два последние слова были для него синонимами: он не мог себе представить жизни без управления, а управление для него было однозначным со словом командование; для командира же первое дело — дисциплина: заставить беспрекословно повиноваться, слушаться, и классический ответ подчиненных: „слушаюсь!“ вероятно, кристаллизировался в служебную формулу в Николаевскую эпоху. Таким образом, строгость Николая I была одним из элементов его служебного мировоззрения, образовавшегося в казарме. Это был типический военный своей эпохи, который без строгости, даже без суровости и жестокости был немыслим, если он хотел иметь репутацию хорошего военного, и потому его собственные дети были бы недовольны, если бы он не имел этой репутации, т. е. не был бы по военному требователен и строг. Так, даже то, что, казалось бы, должно было отталкивать маленького Сашу от отца, наоборот, привлекало его к отцу, как безукоризненному военному командиру, ибо сам Саша прежде всего получал военное воспитание и с первых своих, еще очень нетвердых, детских шагов приучался ценить специально военные свойства. А в остальном Николай I, этот рослый и статный, с звучным голосом и наметанным грозным взором выпуклых, „оловянных“ глаз (как характеризовал их Герцен), с лихо закрученными рыжими усами, командир Российской империи, постоянно им смешиваемой с дивизией или бригадой, или даже с полком, умел быть в близком кругу обаятельным. Показные веселость и добродушие в связи с показною же справедливостью, это те психические свойства, которые пред окружающими особенно часто любил обнаруживать Николай Павлович, дабы привлечь к себе сердца. По отношению к своим детям это ему было и нетрудно, ибо он их любил и, вероятно, не только без всяких усилий над собой, но даже с искренним удовольствием он принимал участие в их играх, что для них, в особенности, для будущего Александра II и приставленных к нему товарищей, всегда было настоящим праздником.

Николай I, скрывавший под бравой военной выправкой довольно слабое и боязливое сердце, в большой мере обладал инстинктом находить в каждый момент те слова и поступки, при помощи которых всего скорее можно было

повлиять на людей и вызвать в них необходимые ему эмоции. 14 декабря 1825 г. он вынес своего Сашу к оставшимся ему верными солдатам и, вверив им своего первенца, укрепил их в верности. На троне он стремился постоянно показывать пример трудолюбия и исполнения своего государственного долга, желая перед подданными явить сходство с Петром Первым, и хотя некоторые остряки и находили что в Николае I было немного Петра Великого и много прапорщика, тем не менее неустанная хлопотня этого новоявленного „царя-работника“ на изнанку производила на многих благоприятное впечатление и сообщила ему репутацию большого радателя о государстве. Иногда Николай I по отношению к отдельным лицам поражал всех гуманностью и справедливостью, что опять-таки было только афектацией умело играющего роль верховного блюстителя правды и закона. Пусть актер обладал лишь внешними данными правды, очень внушительными, а в душе его было мало настоящего вдохновения, но кажущееся являлось бытием для толпы,—и этого было достаточно: многие, очень многие преклонялись пред Николаем I, как пред строгим, но справедливым царем... И таким людям даже несомненные недостатки этого царя представлялись чуть ли не достоинствами, во всяком случае—не более, как маленькими, милыми грешками, вполне достойными для столь „великого монарха“. Так именно относились к Николаю I и его старший сын, очарованный своим отцом еще в те времена, когда он так забавно играл с ними, малышами, в интересные игры или несколько позднее, когда он так величественно принимал от него на смотре донесения, как от своего ординарца. Вместе с тем Александр страшно боялся отца-самодержца. А эти чувства—удивление и страх пред Николаем Павловичем и повели к тому, что Александр Николаевич был весьма склонен во многом подражать ему, не смотря на иное влияние, какое старался на него иметь его наставник по учебной части Жуковский, стремившийся воспитать в нем государя-человека, а не ретивого полкового командира. Отцовское влияние находило поддержку и в тех чертах характера Александра, которые едва ли не следует считать основными. Воспитатель Мердер, человек умный и терпимый, склонный больше оправдывать и хвалить своего воспитанника, с самого начала своей работы над ним замечал в нем надменность и неподатливость при исполнении приказаний, даже страсть спорить; но из других наблюдений воспитателя видно, что эти свойства соединялись в Александре Николаевиче не с твердостью воли, не с сознанием собственного достоинства, а с какою-то общей слабостью духа, с готовностью сейчас же дать отбой и смириться, как только встретил серьезный отпор или просто внушение, против которого было бы опасно „спорить“. Так, напр., однажды, уже будучи 14-ти летним мальчиком, Александр свалился с лошади; мог он при этом и убится, но отделался дешево, и можно было бы, по минованию опасности, проявить некоторую твердость, какую обыкновенно стараются показать в таких случаях мальчики этих лет, но Александр заливался слезами даже в присутствии отца, на которого такая нервная развинченность производила непрямое впечатление... И Николай I начал укорять своего сына, что „он не имеет над собой власти и не может

удержать слез своих". В глазах военного командира излишняя слезливость была немалым недостатком характера. Эту слезливость Александр проявлял и в других, еще менее серьезных, случаях, и от нее он не освободился в течение всей своей жизни, а это-то его свойство, столь решительно необременное его отцом, в значительной степени, и послужило укреплением за Александром репутации кроткого человека. Между тем, оно было проявлением лишь психологической дюжинности и даже некоторой мелкости натуры Александра Николаевича. Иногда эта "натура" раскрывалась пред воспитателем в достаточно определенных очертаниях. Так, на уроках Александр не любил сосредоточиваться на своей собственной работе и замечать в ней ошибки, а очень любил отыскивать ошибки у своего товарища и очень бывал доволен, когда находил их у него. В том же 1832 г., когда Александр упал с лошади, однажды на уроке Плетнева, "великий князь", говорит в своем дневнике Мердер, "выказал большую слабость характера". Работа, поданная Александром в этот день преподавателю, оказалась наполненной ошибками, которых, по мнению воспитателя, он мог бы избежать, если бы он был внимателен. Ему была поставлена "посредственная" отметка. Пораженный таким результатом нерадения и, очевидно, боясь ответственности перед строгим отцом, 14-ти летний Александр плакал, как маленький ребенок. Он был из тех людей, про которых сказано: "блудлив, как кошка, труслив, как заяц". Ответит он, бывало, своему воспитателю "неприличным образом", а Мердер, которого великий князь, повидимому, любил, как добрую, хотя и ворчливую няньку, возьмет, да выдержит характер, не уступая ему ни пяди в его капризе, — и струсивший Саша сейчас же умильно просит извинения у своего ментора.

Стойкости вообще он ни в чем не обнаруживал, ни в положительных, ни в отрицательных своих поступках, меняя отношение к предпринятому сообразно с обстоятельствами. В особенности это сказывалось в серьезных занятиях, в которых трудно было ему проявить должную настойчивость, вследствие присущей ему лени, и последнее свойство с прискорбием отмечает его наставник, занесший в свой дневник, после сообщения о "непростительной беспечности" в занятиях по русской словесности, следующую общую аттестацию своему воспитаннику: "Он — пишет Мердер, — не может привыкнуть исполнять добросовестно долг свой. Лени его одолевает во всем, препятствует в особенности углубиться в работу; когда должно начать занятие, он колеблется, робеет и не знает, как приняться". Это — вполне точное определение сущности характера Александра Николаевича. Таков уже он родился, и воспитатели очень немного могли сделать в борьбе с указанными свойствами. "Каков в колыбельке, таков и в могилку", и действительно, в течение своего продолжительного царствования Александр II проявлял столь точно подмеченные Мердером свойства души: и малую, сравнительно с Николаем I, степень работоспособности, и вечное колебание, и незнание, как приняться за дело. При таких основных свойствах личности своего первенца, отец намеревался, как он сам заявил, "воспитать в нем человека, прежде чем сделать из него государя." Вероятно, Николай Павлович хотел сказать военного человека — тогда это заявление соответствовало бы дей-

ствительности: ведь, главное внимание было обращено на военное дело,— и военное воспитание, мы знаем, было начато раньше приступа к общему образованию. В своем предпочтении военного образования Николай не вставал в резкое противоречие с только что приведенным заявлением о воспитании в сыне человека, ибо человек и военный в сознании Николая Павловича были едва ли не однозначными словами. Но, и в занятиях военными науками Александр Николаевич не проявил ни любознательности, ни трудолюбия, оставшись верен своим природным свойствам. Поэтому, отец был очень недоволен сыном. „Я заметил, сказал он однажды (1832 г.) Мердеру, что Александр показывал вообще мало усердия к военным наукам, я хочу, чтобы он знал, что буду непреклонен, если замечу в нем нерадивость по этим предметам: он должен быть военным в душе... Мне казалось, что я заметил, что он лкбит одни только мелкие подробности военного дела“. Отец был прав; сын обращал внимание лишь на мелочи. Но надо помнить, что сам Николай I воспитался на мелочах военной службы и им всегда на деле, а не на словах, придавал громадное значение. Декабрист Каховский несколько не преувеличил, когда свое и своих товарищей отрицательное отношение к Николаю Павловичу пояснил на допросе следующим образом: „Видимые занятия ваши были фрунт, солдаты, и мы стремились иметь на престоле полковника“. И декабристы не ошиблись: на престоле оказался полковник или, самое большее, дивизионный генерал; не мудрено, что и юный сын его шел по этой же стезе. Как и отец, он с раннего детства увлекался Марсовым полем, смотрами, парадами, маневрами, и уже 8-ми летним мальчиком в церемониальном марше мог лихо проскакать полфланга кавалерийской колонны. Жуковский опасался этой исключительной любви своего питомца к военщине и в учебном плане для великого князя ограничивал время на военное образование 6-ю неделями в году; но что этот штатский человек мог поделать против чисто военного направления российского самодержца его двора и высшего класса общества?

Разумеется,— ничего. Все ограничительные советы и указания Жуковского остались на бумаге. Дело воспитания шло по хорошо наезженной колее,— и из бойкого в военной игре подростка выходил молодцеватый, ловкий офицер, это—прежде всего, а потом уже... человек.

III.

Человек выходил довольно легковесный, несмотря на все старания воспитателей укрепить его волю, облагородить чувствования, развить и углубить его мысль. Препятствием к хорошему успеху на этом пути была именно резко выраженная слабость души, левость мысли: „При встрече с малейшей трудностью, с малейшим препятствием,—замечает воспитатель Мердер,—Александр впадал в некоторый род усыпления и бездействия“. С воспитанником, обладающим такими свойствами, немного можно было сделать, особенно, если принять во внимание, что очень много времени приходилось на всякого рода военные игры и упражнения, а также на бесчисленные балы и разнообразные увеселения.

Но кое-что, конечно, можно было сделать, пользуясь, главным образом, избытком в природе Александра чисто немецкой сентиментальности. Он всегда готов был расчувствоваться, раскаться и под влиянием мимолетных эмоций несколько подтянуться и исполнить требуемое... Но ему, при этом, нужны были очень острые впечатления, рождавшие в нем страх или жалость. Первое, из этих чувств умел вызывать в нем обаятельный отец, которому Саша из всех сил старался угодить и быть достойным его похвалы в качестве и ученика, и унтер-офицера, и „опытного кавалерийского офицера“. Второе чувство рождалось под влиянием тех или других жизненных впечатлений. Воспитатель Саши Мердер сообщает, что до 13 лет он понятия не имел о нищете и не показывал „большого сострадания и желания помочь бедным“. В 1832 г. Саша однажды со своим воспитателем ехал в коляске „по дороге, усеянной полуразвалившимися хижинами, из окон коих,—рассказывает Мердер,—выглядывали бледные, бедностью и рабством искаженные лица“. Как же отнесся к этой очевидной нищете, материальной и духовной, юный наследник российского престола? Так, как, вероятно, относилось к этим явлениям большинство его окружавших, а на самостоятельное отношение у „доброто“ и чувствительного Саши не нашлось ни отклика в сердце, ни сообразительности в голове. Он „сказал, что владельцы этих жилищ должно быть ленивы и небрежливы“. Видимо, никто ему еще не разъяснил, в чем тут дело, и беззаботный мальчик, по свидетельству Мердера, „удивлялся бедности и невежеству крестьян“. И такое отношение к лицам, искаженным бедностью и рабством, весьма характерно. Природная доброта Александра Николаевича оказывалась более, чем сомнительной. Он склонен был к чувствительности—это и вводило в заблуждение простодушных людей и давало материал для восхваления за „доброту“ лстецам. Мердер сообщил, что его воспитанику, 13-ти-летний Саша, „был чрезвычайно тронут нищетою бедных евреев, которые в рубищах толкались по улицам“, настолько тронут, что „роздал им много денег“. Сообщает тот же свидетель и о том, что когда однажды „милый“ Саша узнал, что для поездки императрицы необходимо мобилизовать множество крестьянских лошадей, то сказал: „Какое несчастье для бедных мужиков, которые принуждены будут отдавать своих лошадей в такое время, когда сами в них так нуждаются“.

Но историка не введут в заблуждение подобные сообщения, ибо дальше хороших слов и дешевых слез обыкновенно не шли добрые чувства Александра Николаевича. Ему не хватало глубины и серьезности, чтобы быть истинно добрым. Это была легко увлекающаяся, но и легкомысленная натура; от нее нельзя было ожидать глубоко-продуманных и последовательных шагов, но можно было ожидать, что человек, обладающий такой натурой, под влиянием того или другого порыва, вызванного бьющим в глаза событием или явлением, сделает быстро, торопящейся и снотыкающей походкой, несколько шагов вперед, а потом вскоре, руководствуясь вступившим в свои права мелким практическим смыслом, столь же постепенно двинется назад и пойдет в обратном направлении так далеко, чтобы совсем было забыто о продвижении вперед. Таких людей в просторечии обыкновенно называю „на прыжок, на мясом“.

Производя впечатление не злых, а мягких, гуманных, эти люди нередко испытывают приливы злобы: присущая же им сентиментальность, проявляемая ими тоже нередко после их грубых и неприличных поступков, создает им репутацию, в сущности, противоположную их психической природе. Душевные пустоцветы, они могут быть сосредоточенно мстительны к своим врагам. Таков был и Александр Николаевич. Довольно указать, что в начале своего царствования он посадил в страшный Алексеевский рavelин молодого офицера Бейдемана за смело им заявленное революционное настроение, приказав держать его в одиночном заключении рavelина „впередь до особого распоряжения“, да так и не удостоился сделать такового до конца своей жизни. Это погребение заживо состоялось задолго до Каракозовского выстрела, первого фактически покушения на жизнь Александра; следовательно, „добрый“ царь еще не мог успеть озлобиться на революционеров, но ему и не нужно было особой практики в этом направлении, ему достаточно было одного словесного обвинения в обмане народа, с чем обратился к нему Бейдеман, чтобы затем уже остаться совершенно глухим к судьбе несчастного узника. О нем „доброму“ царю-освободителю делали доклад ежемесячно, но Александр Николаевич оставался безучастен, не „повелел“ пересмотреть дело даже тогда, когда через 8 лет от узника последовало полное раскаяние, в словесных проделозостях, — не „распорядился“ и предоставил своему некогда идейному врагу погибнуть физически и душевно в том гробе, куда он был брошен живым „до особого распоряжения“ ¹⁾... Как видно, „добрый“ царь не во всем оправдывал свою репутацию. Вообще же, он постоянно колебался, не был так устойчив, как в злобе на своих врагов; почему и царствование его, и личность как увидим дальше, производили и производят двойственное впечатление.

IV.

Будучи наследником престола, Александр Николаевич публике представлялся весьма благожелательным и симпатичным человеком.

И это вполне понятно.

Чувствительность его была известна, а всякая слеза наследника, часто поблескивавшая на его глазах, казалась отражением самых лучших движений золотого сердца. Сверх того „чувства добрые“ Александра, подмеченные в нем еще в раннем детстве, получили надлежащее воспитание, благодаря его хорошим наставникам: Мердеру и, в особенности, Жуковскому. Оба они стремились научить его добру, развить в нем задатки симпатии и любви к людям, сделать из него человека-государя, исполненного гуманных стремлений и любящего народ, управлять которым предназначила ему судьба. „Люби народ свой, — внушал ему Жуковский. — без любви царя к народу нет любви народа к царю“. Воспитание в таком духе Жуковский хотел поставить на исторический фундамент, почему в качестве главной науки, по его учебному плану, выдвигалась на первый план история. И хотя бывало, что на уроках истории великий князь не отличался и старания большого не показывал, все же

¹⁾ См. П. Е. Щеголев — „Трагический узник“ С.-Петербург, 1920 г.

эти уроки, комментируемые таким идеологом монархии, каким был В. А. Жуковский, мечтавший о чисто идилическом государстве для своего народа, вероятно, произвели некоторое впечатление на Александра, впоследствии делавшего иногда потуги помнить о внушенном ему назначении быть благодетелем своим подданным. Может быть, потом, много спустя после этих уроков, в решимости его приступить к ликвидации крепостного права известную роль сыграло воспоминание о том, что его наставник Жуковский давно когда-то отпустил на волю своих крестьян... Кроме Мердера и Жуковского серьезное влияние мог иметь на Александра преподаватель законоведения, знаменитый Сперанский, который неограниченность власти российского самодержца по отношению ко всякой другой „власти на земле“ заключил в „пределы“, „постановленные извне государственным договором“, а „внутри словом императорским“; при чем внушал своему ученику, что эти пределы должны быть для самодержца „непреложны и священны“. Дабы еще более притупить „железные шипы“ самодержавия, Сперанский так пояснял преподаваемое им наследнику определение его будущей неограниченной власти: „Всякое право, а следовательно и право самодержавия, — говорил он, — потому есть право, покуда оно основано на правде. Там, где кончится правда и где начинается неправда, кончается право и начинается самовластие“. В мнении по этому кардинальному вопросу русского государственного права той эпохи законовед и государственный человек Сперанский сошелся с наставником-поэтом; оба они старались приуметь и приодеть исторически сложившуюся царскую власть, носившую на себе все следы неопрятности пройденного ею пути, — с тою только разницей, что поэт в своих идилических представлениях о патримониальном самодержавии исходил из побуждений своего мягкого и доброго сердца и облекал эти представления в довольно расплывчатую форму, а законовед исходил из требований строго логического ума и облекал свои определения в четкие юридические формулы. Александру Николаевичу эти наставники до некоторой степени должны были принести пользу; ибо, если впоследствии он, хотя бы иногда, обнаруживал небольшое понимание своего положения по отношению к управляемому им народу, то этим он был обязан несомненно своим наставникам, и отнюдь не отпуг, профессиональному деспоту. Но, надо признать, не очень глубоко вошли в сознание Александра представления о „правде“, долженствующей ограничивать „неограниченную“ царскую власть; потому что слишком не глубока была его натура, потому что эта натура к тому же своими природными свойствами тяготела не к преподаваемому политическому коррективу, а к закостенелой практике деспотизма.

Личные свойства и наглядный пример почитаемого отца поборили гуманные советы наставников, — и Александру Николаевичу не трудно было с пути относительной „правды“, на который, под давлением обстоятельств и людей, не слишком твердо он было вступил в начале царствования, затем очень скоро, тоже под давлением обстоятельств и людей — разумеется, других — опять перейти на старинный исторический путь „неправды“... Этому содействовало и то обстоятельство (которое в большой мере имело место в деле образования Александра), что крайне рано

Александр Николаевич был сочтен умственно зрелым. Весной 1837 г., когда ему только исполнилось 19 лет, собственно учебные занятия по „плану учения“, составленному Жуковским, были признаны законченными, и наследнику цесаревичу предстояло познакомиться лишь... с Россией и Европой по непосредственным впечатлениям и наблюдениям; предстояло, словом, путешествие по той и другой, которым, как бы, завершался весь круг образования, предназначенный Жуковским и утвержденный Николаем I для будущего Александра II. Непосредственно, вслед за последним экзаменом, который навсегда оставлял позади годы „учения“, наследник русского престола вместе со своими воспитателями, наставниками и свитой отправился в путешествие по России, инструкция для которого была написана самим Николаем Павловичем. Путешествие продолжалось несколько более 7 месяцев. Если мы примем во внимание, что в этот срок путешественники обехали громадные пространства Европейской России и Западной Сибири до Тобольска включительно, посетив 30 губерний, и не забудем тогдашних путей сообщения, то мы поймем, что это путешествие или, как его фигурально назвал один из путешествовавших с Александром наставников (Жуковский), „всемирное обручение наследника с Россией“, было совершено в сущности на фельдшерских и мало что могло оставить после себя, кроме общего впечатления звона, шума, криков „ура“ и не очень ценных воспоминаний о пестрой, однообразной картине торжественных встреч, празднеств, всевозможных увеселений, навязчивой лести, неприкрытого холопства, а также о страшном утомлении от всего этого. Все же, однако, хотя бы внешнее и поверхностное знакомство наследника с Россией состоялось: получил он 16,000 просьб, кое что слышал, кое о чем узнал в Сибири, о Ялуторовском Кургане, видел он декабристов и, пораженный печалью, отражавшейся на их лицах, ходатайствовал перед своим отцом о смягчении их участи, в чем несомненно сказалось влияние Жуковского. Это, пожалуй, было самое ценное, что Александр Николаевич вынес из своего головокружительного путешествия по России: память о грустных изгнанниках, старых отцовских „друзьях 14 декабря“. Едва ли более серьезное значение имело для наследника путешествие и по Западной Европе, начатое в 1838 г. посещением Пруссии, где русский великий князь по преимуществу интересовался прусскими военными эзерцициями, как бы тем подчеркивая, что наследственная традиция в нем нашла великолепное воплощение. Да и мудро было бы ожидать много: военное дело для наследника Николай Павлович, введший своего старшего сына и в сенат, и в синод, и в государственный совет, все-таки поставил во главу угла, и ради „военных наук“ еще в 1834 году были исключены из преподавания наследнику уроки естественной истории. Отсюда вполне естественно вытекало, что и честолюбие и вся повадка Александра Николаевича, уже в 1836 году, т. е. 18 лет от роду, получившего „за отличие по службе“ чин генерал-майора, была чисто-военного склада. И в качестве военного человека, при счастливой внешности и благовоспитанности, изящно проявлявшейся в личном обращении и ярко отразившейся в его письмах, он имел успех в свете и у себя дома, и за границей. Как и полагається военному человеку, любил он не только разводы, смотры и

маневры, но и балы и всякие иные развлечения, любил повеселиться, потанцевать и покрасоваться в гусарском ментике, любил и хорошо покушать, склонность к чему обозначилась в нем еще в детстве... Как дядя и отец, любил он женщин, а за свою стройную фигуру и красивые блестящие глаза, умевшие быть, когда надо, мягкими и мечтательными, был любим и ими. Не удивительно, что из своего первого путешествия по Западной Европе юный наследник Российского престола вывез в Россию себе невесту, — тоже, как уже повелось, немецкую принцессу, на этот раз Марию Гессен-Дармштадскую, нареченную здесь великою княгиней Мариею Александровною; с нею он и повенчался в 1841 году (16 апреля). От нее он имел довольно большое потомство, имея детей и от любовниц, с одной из которых, получившей фамилию кн. Юрьевской, по смерти императрицы, он вступил в мorganатический брак.

V.

Вопреки известной пословице, женитьба (на немецкой принцессе) не переменяла Александра Николаевича. Он и в дальнейшей своей жизни оставался таким же, каким мы его уже знаем — постоянно плывущим по течению и только порой производящим всплески мимолетными капризами. Строгого отца своего он попрежнему уважал и боялся, иногда и обманывал, дабы избежать его гнева; но, как все наследники престола, был прикосновенен в некоторой мере и к оппозиции отцу по крепостному вопросу, в котором Николай I, хотя и секретно, высказывался в пользу освобождения; наследник же был с крепостниками и высказался против проектированных для западного края инвентарей, — факт, свидетельствующий в общем о слабом влиянии воспитательных уроков Жуковского, по крайней мере без содействия со стороны других обстоятельств, выдвинутых потом самою жизнью. По воцарении Александр Николаевич сейчас же отменил инвентарные правила, продолжая, таким образом, в крепостном вопросе занимать прежнюю позицию. Это было самое трудное для России время Крымской войны, когда Севастополь изнемогал в неравной героической борьбе с союзными армиями. Но, вот война окончена, оставив после себя, кроме международного унижения России, зияющие язвы на ее государственном организме; эти язвы были раскрыты войной. Самую страшную, самую гнилую и опасную язву, готовую погубить этот организм, было крепостное право, терпеть которое народ, как это он определенно показал своими волнениями во время Крымской войны, более уже не хотел. Всем благомыслящим людям стало ясно, что, в случае дальнейшего промедления с отменой крепостной неволи, начнется новая пугачевщина, и крестьянство само добьется освобождения от ненавистного ему ярма. Александр Николаевич тоже понял такую неизбежность и уже в 1856 году сделал прозрачный намек на это в своей речи, обращенной к предводителям московского дворянства; но, по своему обыкновению, он колебался сказать определенно о неизбежности крестьянской эмансипации и успокаивал дворянство заявлением, что решение

им в этом смысле не принято. „Служи посятся, — сказал царь, — что я хочу дать свободу крестьянам: это несправедливо. и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастю, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу. “В конце концов, он решился произвести освобождение „свыше“ — по мнению царя, стоявшего на самом верху. Тут-то, в своем решении, он, вероятно, подкреплялся не только впечатлением, полученным им при чтении „Записок охотника“ Тургенева, на каковое он потом ссылался, но и воспоминаниями, связанными с его бывшим наставником Жуковским и его воспитательными уроками, словесными и жизненными. В 1857 году, находясь в Киссингене, Александр сказал графу Киселеву: „Крестьянский вопрос меня постоянно занимает. Надо довести его до конца. Я более чем когда-либо решился и никого не имею, кто помог бы мне в этом важном и неотложном деле“. Эти слова Киселев тогда же занес в свой дневник, в котором изложил и общее впечатление, произведенное на него царем во время киссингенской беседы: Александр II, как „показалось“ Киселеву, „совершенно решился продолжать дело освобождения крестьян“. Но от Киселева не укрылись и свойственные Александру Николаевичу колебания и незнание, как приняться за дело даже тогда, когда он „решился“ приступить и подбадривал себя заявлениями в освободительном духе: „Но его (Александра II). — отмечает Киселев в своем дневнике, — обременяют и докучают со всех сторон, представляя препятствия и опасения“. И Александр II не вынес этого напора „со всех сторон“: крестьянская реформа вышла односторонней, половинчатой! Точно также не выдержал он напора и в других реформах его царствования — в университетской, судебной, земской. „Мы ничего не делаем последовательно и с сознанием определенной цели“, писал в 1865 году в своем дневнике один из горячих поклонников Александра II, профессор и цензор Никитенко. — „Во всем скачки, попытки, шатание вправо, влево... Ожидания, что скажут... В этих „шатаниях“ и „ожиданиях“ сказывалась основная черта личной психологии Александра II, и этою чертою несомненно запечатлена вся внутренняя политика его царствования, поскольку последняя зависела от его воли.

Александр II дал России лишь то, на что способна была его неглубокая натура: несколько хороших порывов и много горьких разочарований. За первые его многие любили, так как в этих порывах его характер оборачивался своей лучшей, гуманной стороной, тихо светявшейся в его улыбке, „полной“, по словам современника, „неизмеримой кротости и доброты“. Именно эта улыбка, по наблюдениям Никитенки, „не сходила с его уст“, когда Александр Николаевич однажды в либеральную пору своего царствования, любезно говорил о цензуре, не проявив при этом, как тогда же отметил Никитенко в дневнике, „ни малейшего напускного царственного величия“ и покорил ученого цензора „искренностью и простотой“, звучавшими в его „каждом слове“. Но Александр II был воспитанником не только мягкого и кроткого Жуковского, но и

довольно-таки жестокого и крутого отца, от которого кое-что перенало и по наследству, и потому умел говорить и очень не кротко и даже нелюбезно, когда, по его мнению, это следовало. Так, напр., речи, произнесенные Александром II в начале царствования (1856 г.) предводителям польского дворянства и, особенно, членам комитета по устройству праздника по поводу его приезда в Варшаву, были образчиками настоящего николаевского стиля. Обещая обеспечить за польским „краем“ „все, обещанное или дарованное отцом“, Александр II в своей второй речи прибавил: „Я ничего не изменю; сделанное моим отцом — хорошо сделано. Царствование мое будет продолжением его царствования“... И далее грозил „ответственностью“, если такие намерения встретят „химерическое сопротивление“. Нелюбезно хотел Александр поступить и по отношению к другому государству, французскому, когда задумал (в 1864 г.) устроить праздник по поводу взятия Парижа (в 1814 г.) — и только благодаря совету князя Горчакова не осуществил своего намерения.

Еще менее любезен бывал он иногда к окружающим, которым заодно приходилось быть и жертвами царских нервных вспышек, похожих на обычное барское самодурство, и свидетелями быстрой отходчивости царя, который вмиг из озлобленного и разъяренного превращался снова в благодушного и кроткого, готового на всякие сентименты. Друг его, кн. Вяземский, едва-ли клеветает, когда сообщает о чувствительном оскорблении, которое нанес ему Александр Николаевич во время одного из своих капризных припадков. Ехал князь однажды с царем в карете куда-то на юг, и Александр, томимый скукой, которой он не выносил, и раздраженный терпением Вяземского, которым тот вздумал отделаться от возможного неприятного разговора, „харкнул“ слишком терпеливому другу в физиономию, причем „лицо царя“, рассказывает кн. Вяземский, „раньше кроткое и мечтательное, внезапно искажилось злобой“. Но стоило только Вяземскому „молча“ начать стирание царской слюны со своей княжеской физиономии, как Александр „бросился“ к нему „на шею и начал просить прощенья“... Для Вяземского эти эмоции Александра не были неожиданностью, ибо ему было хорошо известно, что сколько раз, бывало, пред какой-нибудь серьезной аудиенцией царь выходил из себя, произносил самые площадные ругательства, швырял часы и канделябры, а в назначенную минуту появлялся пред собравшимися, и нельзя было поверить, глядя на его прекрасное лицо и всегда готовые наполниться слезами глаза, что это один и тот-же человек“. А это было именно так, ибо Александр не был цельным характером, двоился, не был в сущности ни злым, ни добрым, а мог казаться и тем, и другим, смотря по обстоятельствам и настроению — мог быть даже и образцово жестоким... От этого двойственное и отталкивающее впечатление производил и все его царствование. Начатое усмирнутыми выше либеральными реформами, облегчением печати, в силу чего, напр., сочинения Гоголя было позволено издать „без всяких исключений и поменений“, стремлением возможно шире распространить университетское образование (прием студентов в университеты без ограничения числа), оно заканчивалось раздраженной реакцией — ярким гонением на свободное слово, стеснением печати, стеснением

студентов и подготовкой ультра-полицейского университетского устава (1884 г.). Но не на живот, а на смерть борясь в последние годы с крайним выражением общественной оппозиции — революционной пропагандой, а под самый конец с террористами „Народной Воли“, Александр II под влиянием чувства самосохранения готов был снова идти на уступки желаниям цензовых общественных кругов, ждавших от него какой-нибудь, хотя бы и очень плохенькой, конституции.

В конце концов, вышло так, что ничего цельного из его реформ не получилось, и то, что было в них хорошего, являлось каким-то неуместным светлым пятном на общем фоне довольно нечистоплотной политической и общественной жизни России и очень быстро загрязнялось, становилось неузнаваемым. Поскольку Александр II сам вмешивался в дела, он оказывался неудачником и в чисто военной сфере, к которой, согласно учебно-воспитательным тенденциям своего отца, он готовился по преимуществу. После падения Севастополя Александр II особенное внимание обратил на город Николаев, где он прожил 6 недель и где предполагал новую высадку союзников, дыбы... „уничтожить все заведения Черноморского флота и нанести тем окончательный удар могуществу нашему на Черном море“, — как писал он в собственноручной записке. Александр Николаевич полагал, что он предотвратит этот „удар“ сохранением означенного порта; но он ошибся в этом жестоко, ибо совершенно не понял того „удара“, который был нанесен союзниками России в Севастополе и который делал ненужными другие ей удары.

Не понял Александр II ни военной, ни политической ситуации, когда во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. русские войска были вблизи Константинополя, и не знал, на что решиться, как „приняться за дело“ использования победы над Портой: он то писал главнокомандующему, в князю Николаю Николаевичу, что „мы не должны вступать в самый Константинополь, но утвердиться только на берегах Босфора“, то упрекал своего брата, что тот не вступил в Константинополь: „Что скажет Россия и наша доблестная армия — писал царь главнокомандующему, — что ты не занял Константинополя! Я с трепетом ожидаю, на что ты решишься“... А Николай Николаевич в этот по истине критический момент, требовавший быстроты соображения и решимости, ожидал, на что решится Александр Николаевич, видимо, желая свалить с себя ответственность на самого царя. Царь же и тут был верен самому себе: он колебался и не дал никаких определенных ни приказаний, ни указаний, и в результате такого отношения к самой капитальной исторической задаче, предложенной русскому самодержцу сложившимися обстоятельствами войны и победы, Россия принуждена была испытать позор Берлинского конгресса. И ни к самому ли Александру II более всего подходили презрительные слова, которые Бисмарк бросил по адресу русских правящих сфер: „В сущности я всегда думал, — сказал железный канцлер, — что вам нужно только несколько бунчуков нашей да победная пальба в Москве“. Александр II по истории, как вино, „не отличился“ и в жизни. Вследствие непоследовательности, все у него выходило чем-то незаконченным,

недоделанным, а то и просто испорченным. Единственное, в чем он остался последовательным до конца своих дней, это в любви к разного рода воинским церемониям, парадам, смотрам и всякого рода воинской мишуре. Все это, названное „наукой царей“, никогда не забывал Александр Николаевич, ни на войне, пред лицом страшных человеческих страданий, ни во время мира, пред лицом то и дело обнаруживавшейся страшной опасности для него самого, когда для избежания ее он одобрил „диктатуру сердца“ Лориса Меликова и согласился обезоружить террористов милостивой, яко бы „конституционной“ подачкой. Он был чувствительный человек, слезы лились из его светлых глаз, когда, бывало, навещал он раненых во время восточных войн, когда ему сообщили об огромных потерях под Плевной; но когда Плевна пала, после кровопролитного боя, взявшего массу русских жизней,—первое, о чем не забыл царь, это—прицепить к сабле георгиевский темляк, право на который он немедленно, с аффектацией подчинения военному уставу, испросил у военного министра Милютина. Видно, что Александр любил славу. Но как и все в нем, так и эта любовь его, была неглубокой.

VI.

Александр II любил славу как-то внешним образом,—как эффектное добавление к изящному обмундированию: чтобы только казаться храбрецом героем.

На большее он не претендовал.

При значительном легкомыслии, он однако был очень хитрым человеком и не любил подвергать себя ни излишней опасности, ни скучному труду. В дневнике своем, который он вел весьма аккуратно, но делая до чрезвычайности краткие записи полусловами, а иногда просто начальными буквами слов (что крайне затрудняет чтение и понимание его рукописи), Александр Николаевич выразил все главные свойства своей природы. Прежде всего здесь проявилась его любовь к изящному. Миниатюрные записные книжечки календаря, нарочито для него напечатанные, куда он так скупно заносил „события“,—претендуют именно на изящество: напечатаны они на отличнейшей бумаге и иллюстрированы гравированными картинками, своим содержанием отвечающими интересам момента или монарха; заключены эти книжечки не только в прекрасные переплеты с золотым обрезом, но и в столь же прекрасные футляры. Это по внешнему виду—„евангелия“ или те книжечки, в которые благочестивые люди записывают так называемые „поминовения“—„за здравие и упокой“, но с тою, разумеется, разницею, что на царских книжечках вместо евангельского креста красуется российский двуглавый орел с короной. Записи в этих книжечках сделаны бисерным, изящным почерком; это—лаконичные, отрывочные, бессвязные отметки событий и обстоятельств: автор и ленив на подробности, и достаточно скрытен для обнаружения своих чувств. Даже в наиболее трагические моменты своей жизни, связанные с покушениями на нее со стороны политических заговорщиков, он не теряет своей

предусмотрительной сдержанности, но не забывает и отметить все то, что так или иначе льстит его тщеславию.

Под 4-м апреля 1866 года, отметив, что в 3 часа „гулял с Марусей и Колей, пешком в Летнем саду“, Александр Николаевич далее сообщает, что когда он потом выходил оттуда „сесть в коляску“, в него „выстрелили из пистолета мимо“ и что „убийцу схватили“, а затем продолжает: „Общее участие. Я домой—в Казанский собор. Ура—вся гвардия в белом зале—имя Осипов Комиссаров“¹⁾).

О том, что произошло непосредственно после каракозовского выстрела гораздо подробнее в своем дневнике рассказал сын Александра Николаевича, Александр Александрович, бывший уже тогда наследником престола. Он сообщает, что, после „Казанского собора“, в Белом зале его родители приняли „всех гвардейских офицеров, всю главную квартиру и главный штаб“. „Прием,—пишет он,—был великолепнейший, ура сильнейший!“ После этого „сильнейшего ура“ не забыт был и „спаситель“, имени которого Александр Александрович не называет в своем дневнике ни разу. Но он рисует рассчитанную на трогательный эффект сцену, которую его отец поставил пред этим блестящим собранием гвардии, главной квартиры и главного штаба, т. е. пред самыми близкими монарху частями военного мира. «Потом,—просто-душно повествует Александр Александрович,—призвали мужика, который спас. Папа его поцеловал и сделал его дворянином. Опять страшнейший ура!»

О том, как произошло «спасенье» Александр Николаевич в дневнике не говорит ни полслова; он упомянул, как мы уже знаем, лишь имя Комиссарова, а своему сыну Александру Александровичу в первый момент по спасении, когда тот, «прибегав», как сообщает сам наследник, во дворец, «бросился к нему на шею»,—«только сказал»: «меня Бог спас». Сын, наоборот, не называя совсем второго «спасителя» — Комиссарова по имени, поясняет, очевидно со слов других, может быть, и самого «спасенного папа», как произошло «спасение», рукою этого второго спасителя, направленного первым. «Один из мужиков», сообщает он, «спас папа тем, что толкнул руку злодея в то время, когда он целился».

Первому «спасителю» — Богу — тоже воздавалось должное. Молебен следовал за молебном, — и Александр Николаевич со своими близкими наслаждался зрелищем переполнения церкви и громадного стечения народа около нее: «Собор,—пишет опять-таки сын спасенного,—*тыя* (sic!) полон народу и кругом тоже, насилию можно было проехать». С молебна шли к завтраку, от завтрака опять в Белый зал, и там Александр Николаевич наслаждался выражением чувств незамедливших явиться, „по случаю спасения“, „депутатов от дворянства и городского сословия“, т. е. от сословий, наиболее близко стоявших „к спасенному“. На выражение дворянских и купеческих чувств Александр II всегда, как мы знаем, готовый прослезиться, отвечал выражением своих, и сердце его замирало от восторга, когда разыгрывался, как по нотам, „чудный прием“,

¹⁾ Записная книжка-календарь 1866 г., стр. 34.

когда так мощно гремел этот, опять таки по словам его сына, „ура единодушный“. Что касается молебнов, то один из них „самим митрополитом“— подчеркивает Александр Александрович,— был отслужен в Летнем саду, „где“ поясняет в своем дневнике любящий сын, „стреляли на папа“ (sic!).

Однако, „папа“ не любил в таких серьезных случаях ограничиваться молебнами и „приемами“, как бы они ни были „чужды“ и сколько бы ни присутствовало на них не менее „чуждых“ „дам и мужчин из общества“. Его тянуло в театры и другие подобные места. И он ехал и снова наслаждался всеобщей любовью к нему и ненавистью к его врагам, а заодно и к врагам вообще династий Романовых. На опере „Жизнь за царя“, поставленной тоже „по случаю спасения“, в присутствии счастливца-новоспасенного, „поляков зашикали“, заносит в свой дневник Александр Александрович; но одновременно, сколько любви было выражено самому Александру Николаевичу, ибо „Боже царя“, пишет тот же очевидец, „повторялось 8 раз и ура страшное. Все артисты пели и балетные тоже“. Все замечали зоркие глаза, а сердца радостно трепетали. „Вообще“, с чувством полного удовлетворения заключает в своем дневнике Александр Александрович, „такого представления „Жизнь за царя“ я думаю никогда не было“ ¹⁾.

На другой день (7-го апреля) Александр II со своими родственниками наслаждались в балете, где тоже „несколько раз повторялись“ и „Боже, царя храни“ и „ура“: „все артисты и артистки пели усердно“, пишет Александр Александрович. Не был забыт и Александринский театр. Его (8-го апреля) посетил „папа“ лишь с Александром и Владимиром; здесь было совсем весело, шла „Помолвка в Галерной гавани“, и сыновья с папашей „хохотали ужасно“. Но вместе с водевильным юмором был прекрасно представлен и патристический пафос: „Встретили государя, — сообщает Александр Александрович, — опять Боже, царя храни и ура“ ²⁾. На этом, кажется, такого рода пафос и закончился, ибо на следующий день (9 апреля) во французской оперетке, на представлении „La Belle Hélène“ обошлось без „Боже, царя храни“ и без „ура“, это, впрочем, не испортило отличного настроения зрителей, — и наследнику престола было не менее, если не более, весело, чем накануне: „Было очень весело“, записал он в дневник и прибавил: „и музыка при милая (sic!) Оффенбаха“. самого царя на этот раз, повидимому, не было на „Прекрасной Елене“, ибо даже „по случаю спасения“ трудно было ожидать от французских актеров и актрис пения „Боже царя храни“ на „Прекрасной Елене“; да, может быть, оно казалось и неуместным во французской оперетке. Здесь наследник престола, надо думать, уже отдыхал от избытка патристических восторгов, в которых ему пришлось участвовать с первого дня торжеств „по случаю спасения“, когда „папа“ с ним „выходил на балкон, чтобы кланяться народу, который собрался с самого утра пред окнами папа“, и когда отец с

¹⁾ Дневник (Александра III) 1866 г., стр. 15—19.

²⁾ Ibid., стр. 23.

сыном выслушали от народа „ура оглушительное и радужное“ ¹⁾. Но оно более, конечно, относилось к отцу, нежели к сыну. Если первый не был на „Прекрасной Елене“, то он за то съездил вместе со своей дочерью, Марьей Александровной, к прекрасным смолянкам и прочувствовал новую гамму радости: в Смольном он окунулся в мягкие волны изысканного обожания, а на улицах, во время проезда туда и обратно, слышал никогда ненадоedающее парям „ура“... „Его встречали везде с ура солдаты и народ!“ пишет сын, сообщая в дневнике об этом посещении. Это было, или казалось, могуче и громко; это льстило тщеславию и поднимало энергию на борьбу; то, что испытывалось в Смольном, было просто приятно, нежело и убаюкивало волю, но не менее льстило тщеславию.

Те же свойства Александра Николаевича обнаруживаются и в момент второго покушения, тоже в апреле, в 1879 году. 2-го апреля царь записал: „В 1/2 9 гулял. У Главного Штаба неизвестный выстрелил в меня 5 раз из револьвера. Бог спас. Собралась вся семья один за другим. Разговор с Дрентельном: убийца арестован. Благодарственный молебен. Много дам и кавалеров в белом зале. Все офицеры: ура!“ Во время стрельбы в него в этот раз Александр Николаевич, кажется, сохранил некоторое самообладание: после первого выстрела он пустился бежать во дворец, но бежал зигзагами, что и спасло его от пули революционера. Но царь скромно это отнес к прежнему первому своему спасителю: как сказал он когда-то сыну, так теперь он записал в дневник: „Бог спас“... И снова сердце „спасенного“ преисполнено радости не только потому, что столь счастливо избежал смертельной опасности, но и вследствие общей, полившейся на него, „любви“: и „много дам и кавалеров“, и даже „все офицеры“, и неизбежное „ура!“

На следующий день прогулка уже не состоялась: „не гулял“, занесено в дневнике, куда записана и фамилия стрелявшего: „Соловьев“. Не гулял, но за-то, как сказано в дневнике, „принимал сенат“, и было „много дам“. Дамский кавалер, Александр Николаевич и на старости лет ликовал, когда дамы его чествовали: чувствуется несекрываемое удовольствие, с каким он записывает в дневнике слова: „много дам“. Это было для него серьезным утешением, ибо гулять по утрам совсем он перестал, довольствуясь докладами Дрентельна о „новых арестах“.

Старший сын, Александр Александрович, как и в первом случае покушения, не упоминая имени „покусителя“, сообщает некоторые подробности о покушении и о всем, что за ним последовало и утешало отца после пережитых им страшных минут.

По сообщению сына, только 4 выстрела были направлены в отца, а пятым схваченный „убийца“ „успел поранить одного полицейского в голову“. Тем не менее опасность и для царя была велика, „ибо“, замечает Александр Александрович, как бы повторяя слова отца, сказанные ему после первого покушения, „Бог спас папа удивительнейшим образом, и он вернулся домой невредим“. Наследник, узнав об этом, „сейчас же“, как сам говорит

¹⁾ Ibid., стр. 15.

в дневнике, „поскакал в Зимний дворец обнять и поздравить Папа от чудесного спасения“ (sic!). Тут уже были некоторые из членов царского семейства, а чрез час Зимний дворец, по словам Александра Александровича, „был полон народу, офицеров, дам и проч.“ Количество этого „народа“ стало еще больше, когда после молебна вышли из дворцовой церкви. „Белая зала“ снова была „битком набита“. И не мудрено: „все военные были собраны“ в ней, — как свидетельствует Александр Александрович, — и таким образом можно было ожидать полного торжества для спасенного.

Действительно, „только что“, повествует тот же очевидец, „Папа взомел, раздалось такое ура, что просто страшно было“.

Александр Николаевич хотел было говорить, но „не было никакой возможности“: значит, блестящее собрание продолжало неумолкаемо кричать „ура“. Как актер, обремененный восторгом своей публики, мешающей ему вести свою роль, царь вышел из „залы“, но, когда волнение немного улеглось, снова появился в ней и, поблагодарив собравшихся, „обратился“ к ним „с несколькими прочувствованными словами, и снова“, рассказывает сын, „раздалось оглушительное ура! Потом пошли завтракать в библиотеке“. На этом торжество далеко не кончилось. После завтрака, по сообщению сына, „Папа вышел на балкон в палатку, и вся масса народу приветствовала его единодушным ура! Вся площадь была наполнена народом целый день. Вечером была иллюминация“.

Словом, внешнее торжество спасенного царя было полное, и его сыну, будущему царю, ничего не оставалось, как поблагодарить на этот раз единственного спасителя — „Господа за чудесное спасение дорогого Папа от всего нашего сердца“ и воскликнуть в своем дневнике: „Слава тебе, Господи, слава тебе!“ ¹⁾.

На следующий день, как водится, вся фамилия с царем во главе отправилась „в большой театр“, в балет, где, — рассказывает Александр Александрович, — „Папа был встречен с ура гимном, который повторили три раза“ ²⁾.

Это было 3-го апреля, а 4-го апр. „в 12 часов собралось все семейство и пошли к благодарственному молебну и потом завтракали в библиотеке“. Так „семейство“ и его глава приятно проводили время: от молебна на балет и с балета на молебен в перемежку „с завтраками в библиотеке“. Смольный тоже не был забыт и на этот раз — там, по сообщению наследника, — „был бал и устроенный вечер с пением для Папа“ ³⁾. Вообще, „Папа“ был вознагражден сторицею за испытанный им страх: все, в том числе и юные смолянники, старались выразить ему патриотические чувства, утешить и развлечь — кто громогласным „ура“, кто танцами, кто пением.

Однако, не всегда можно было рассчитывать на „чудесное спасение“, и потому отец и сын начали принимать меры предосторожности — на Бога надеясь, и сами решили не плошать. Новую эру выездов с конвоем открыл сын-на-

¹⁾ Дневник 1879 г., стран. 240 и 241.

²⁾ Ibid., 241.

³⁾ Ibid., 242.

следник. Под 6-м апреля (1879 г.) в его дневнике записано: «Сегодня мне пришлось в первый раз выехать в коляске с конвоем!» И тут же, немного ниже, под тем же числом: «Папа, слава Богу, решился тоже ездить с конвоем и выезжает, как и я, с урядником на козлах и двумя верховыми казаками»¹⁾).

Опасность, грозно заглянувшая в глаза Александру Николаевичу, заставила его насторожиться, — и вот «по всему городу», по сообщению его старшего сына, пошли «усиленные аресты» (7-апреля)²⁾.

Когда же «Народная Воля» вынесла смертный приговор разгневанному на революционеров царю и начала преследовать его покушением за покушением, добравшись до его собственного дома — Зимнего дворца (взрыв 5-февраля 1880 г.), где, к огорчению и раздражению основного «семейства», стало появляться и побочное — княгиня Юрьевская со старшим сыном от него, ³⁾ — то он сам начал внимательно следить за «арестами».

28 марта (ст. стиля) 1881 года он записал в своем дневнике: «В 11 часов доклады Милютина, Гирса и Лориса. 3 важных ареста: в том числе Желябов; в 1 завтр. у К. с дет.»⁴⁾

Вслушал он доклады об арестах в последний раз. Более ему не пришлось отпраздновать «чудесного спасения», несмотря на арест Желябова, революционное значение которого он, повидимому, чувствовал, но, как с ним всегда бывало, недостаточно учел. Для последнего Александр Николаевич был слишком легкомыслен и слишком полагался на своих «верных» слуг.

В заключение, не переходя границ справедливости, историку нельзя сказать, что Александру II были чужды заботы не о своей судьбе только, но и о «судьбах отечества». Нет, он не был чужд и таких забот, но сюда примешивалось много постороннего, важного и интересного не для отечества, а для самого монарха, и потому Александр II — государственный деятель очень часто заслонялся капризным, нервным, впадавшим по пустякам в истерику, избалованным барином Александром Николаевичем, более всего преданным традиционно любимой игре в солдатики. Так, одоблив 1-го марта (1881 г.) в 12¹/₂ ч. дня представленный гр. Лорисом-Меликовым проект правительственного сообщения об общей комиссии, как из назначенных верховною властью лиц, так и из выборных от земств и городов, он не преминул исполнить и другое «государственное» дело — поехал на развод лейб-гвардии саперного батальона... Это был тоже последний развод его... Он этого, разумеется, не знал, — не знал, что подошел к трагическому концу и оставался верен самому себе: как и всегда, в последний день своей жизни, он серьезное и необходимое соединил с пустым и ненужным и на этот раз роковым образом облегчил террористам нанесение ему смертельного удара (сконч. 1 марта 1881 г., немного неполных 63-х лет от роду).

Н. Н. Фирсов.

¹⁾ Ibid., 243.

²⁾ Ibid., 243.

³⁾ Дневник 1880 г. — Алекс. Алекс., стран. 108.

⁴⁾ Календарь-дневник Александра II, стран. 22.

На закате народоволецтва.

(Памяти В. Я. Богучарского).

VII.

Поминание усопших ¹⁾.

Нашему тоскливому настроению и жути перед грядущим подстасть было и все кругом. Зима упрямо дотягивала свое. Снега размякли и обрыхтели, загаженные дороги надвигались над их осевшей массой грязными горбками. Белые покровы тайги посдуло, и она чернела безотрадною гарью. Тухлым лед на озерах по краям оттаял, но что-то бесконечно долго лежал мертвым пластом среди вод, на глаз, как будто, совсем не убывал. Мутные тучи по апрельскому небу все плыли и плыли, а мы, сироты, совсем приуныли. Было-бы теперь лето,—вышли-бы мы в поле, в тайгу на работы, на чем-нибудь поразились-бы, ну чемнибудь, глядишь, и развлеклись-бы. Но выходить было некуда и незачем, да и пути почти не было—ни пешему, ни лыжному. Переход от вонючего воздуха январской крепн и февральских морозцев хоть куда к предвесенней оттепели вызывал в нас самих отвратительное состояние. Придвигались мы за зиму к мороженой гуще, а не к вялой преле, и теперь каждый чувствовал себя какою-то разварною рыбой. Охоты ни к чему не было. Даже в пище—к мясному в такую пору совсем не тянет. Пил-бы только весь день крепчайший кирпичный чай, да посасывал трубочку в философическом раздумье нивесть о чем.

Не зная, к чему себя приткнуть, просиживали мы теперь целые дни без дела и о чем-бы ни заговаривали, а все речь сводилась к тому-же, кровавой памяти, Монастыревскому дому в Якутске. Чаще всего сургутянами поминалось имя Зотова. У Тарасыча я видел его карточку: открытое юношеское лицо с чистым и смелым взглядом, слегка выщипанные волосы, вероятно, светлые, и общее впечатление какого-то духовного влета, нетронутой никакими разочарованиями радости бытия и готовности все взять от жизни и всем сердцем чему-нибудь отдаться. Таков он был по рассказам его товарищей, и по всем поминаниям выходило, что вот такому-бы да только дать срок

¹⁾ См. „Былое“, кн. 18.

развернуться! Орел не орел, а уж сокол-то был-бы лихой... Однако, теперь приходилось думать только о том: как бы этому соколу да упелеть. Правда,—его крепкую грудь ружейная пуля не осилила; лечат его в тюремной больнице, ходят за ним; из могилы, в которую он одною ногою оступился, вытаскивают, заботливо спасают, но только... для виселицы.

Лично мне из всех пострадавших всего ближе были известны Подбельский и Коган-Бернштейн, и о них рассказывал влиятельным я. Оба они окончили гимназии в 1880 году и с разных концов России—один из Оренбурга, а другой из Бердянска—приехали в Петербург и поступили на юридический факультет. Раньше этот факультет у радикалов был в пренебрежении: народнику, по тогдашним понятиям, всего более подобало зарабатывать свой хлеб „непосредственным служением народу“ или в качестве сельского врача или в положении техника на фабрике. Поэтому, кончавшее гимназии радикалье тянулось больше в медицинскую академию либо в технологический. С развитием народного творчества тяга переместилась. „Бороться за свободу“,—ведь это не значит только швырять бомбы, да рыть подкопы. Ну свалим деспотизм,—а дальше? В эпоху анархических увлечений говорилось просто: „Народ сам устроится. Россия превратится в союз общин. О чем тут еще думать!“ Теперь, наметив в своем маршруте ближайшие станции,—политическая свобода, подготовка к социализму,—народовольческой молодежи пришлось поставить перед собой уйму вопросов, старых, как само государство, но для нас совершенно новых. Надеяться, что „народ“ сам сообразит: какой нам установить таможенный тариф? да как наладить железнодорожное дело? да как преобразовать систему налогов? и т.д.,—при всем своем народолюбии, мы не могли. Ясное дело,—такие вопросы специалистам решать, а не сельской сходке, куда меня, например, еще когда мне было восемнадцать лет от рода, старики чуть не под руки водили, чтобы и им и закон толковал, и счета подводил, и всякий вопрос, требовавший некоторой умственности, разжевывал. Сфера „служения народу“ в народовольческом понимании значительно расширилась. Таможенный тариф обмозговать, это тоже значит—послужить народу; лесной закон выработать так, чтобы мужику было не обидно, а всему государству доходно,—это разве не служба, да еще какая?!... Ко всему кругу государственных наук у тогдашних двадцатилеток сразу повысился интерес, и покатили тогда многие революционнонейшим образом настроенные юноши поучиться уму-разуму кто у Гольцева и Муромцева в Москве, кто у Градовского в Петербурге. Папий и Бернштейн оба в Петербургском университете быстро выделились и оказались в студенчестве на виду. Когда в феврале 81 года, по почину народовольческого исполнительного комитета, на университетском акте в Петербурге была произведена демонстрация против министра Сабурова, они двое приняли на себя наиболее активные роли, и Папий вскоре-же влетел, а Бернштейн тотчас-же после акта махнул в Москву, а оттуда в Саратов, благодаря чему на время уцелел. В Саратов его отправили мне на замену, так как молодые люди занимавшиеся там пропагандой среди рабочих, были у полиции на перечет, всех их шпионы знали в лицо, и деятельность, сопряженная

с необходимостью переодеваний и посещения протонародных трактирчиков, становилась для них невозможной. С моим отъездом опустели было Горы и Глебучев овраг. Наши столары, резчики, бондари и мукосей ¹⁾ заскучали. Среди них уже образовался к той поре небольшой состав любителей нелегальной литературы и постоянных бесед с „пропагандистом“. Такой „пропагандист“ для людей этого круга составлял при тогдашних условиях единственную связь с широким миром идей и духовных интересов. Пропаганда тогдашняя имела совсем не тот характер, какой она позже приняла у марксистов. Кружки были маленькие, тайные, все в них сживалось, ничего официального в отношении не было. Начинаешь пропагандой, а кончаешь дружбой и чисто личным сближением. О политике поговоришь, а там сведется разговор и на семейные делишки одного, и на интерес другого к звездам небесным или к далеким странам, или к стихам о необыкновенных людях и необыкновенных подвигах... Сидишь в гнуснейшем трактирчике и незаметно для себя от раз'яснения теории ценности по Марксу,—эк куда переходишь в разговоре!—к пересказу какого-нибудь романа Дикенса или поэмы Байрона. Рабочие того времени таких разговоров и требовали: ты им и Маркса толкуй, и советом помоги, и на все их запросы сумей ответить. Ведь, кроме „пропагандиста“, с кем-же им было отвести душу от житейской прозы? Верующий человек в церковь пойдет—. Иже херувимы“ послушает, а социалист? он что-же?—все одной теорией ценности что-ли должен пробавляться?!... Чтобы эти ребята не завали и не охладели к только-что возникавшей партии, отправили к ним для душевспасительных бесед Льва Матвевича, но он в Саратове долго не продержался. Вид у него был вполне студенческий и даже несколько „нигилистический“: длинные волосы, мягкая шляпа, и вся повадка столь неоспоримо радикальская, что как было скольконибудь опытному шпику такого да не приметить! Саратовским шпикам наш брат достаточно примелькался, и нюх у них выработался верный... Во-время исчез Бернштейн из Саратова и прикатил опять в Москву. Там во главе народовольческой организации стоял тогда „Петр Николаевич“—Теллалов, террорист заодно с другими по требованиям момента, но сам по своим прежним навыкам и по всему складу своей личности скорей-бы культурный работник. Он все горевал, что у нас нет корней в массах, и всячески старался привлечь молодежь, только и бредившую что террором, к организационной работе. В ближайшем будущем он намеревал создать и „Крестьянскую группу“ для широкой пропаганды в деревнях, а пока, уже в начале 81 года, образовал из нескольких студентов „Рабочую группу“, которая ретиво принялась под его руководством за приобретение связей и расплод единомышленников в рабочей среде. Позже заменил Теллалова в роли „инструктора группы“, как у нас тогда говорилось, Халтурин, и решено было перевести из разгромленного Петербурга в ведение московской группы типографию и редакцию народовольческой „Рабочей Газеты“, начало которой в Петербурге положил еще Желябов. В эту группу Бернштейн в Москве и вступил, но действовал недолго: в апреле,

¹⁾ Мукосей—рабочие крупных мукомольных мельниц.

при расклейке прокламаций в Якиманской части, он был арестован вместе со своим спутником, студентом из донских казаков Дьяковым, и пошел административно в Якутку на пять лет. Срок этот на деле для него сократился, так как в Якутске его привлекли к отбыванию воинской повинности, при этом документы его были переданы гражданскими властями военным, а те, когда он отслужил свои полтора года, документы ему вернули, да и все тут. Бернштейн, конечно, не будь дураком, — документы в карман и с ними, на почтовую станцию за подорожной. Подорожную выправил, заказал лошадей, да и покатил себе в Россию на законнейшем основании. Тогда такие случаи еще были возможны, но позже начальство спохватилось и приняло свои меры: военнику отбыл, — ну повараживай теперь в улус, дотягивай другую повинность... В России наш улусник поселился в Дерпте, где решил получить кандидатский диплом, а пока его не добьется вплотную примыкать к кружковым конспирациям он не думал. Однако, не так-то легко было революционеру, уже довольно известному благодаря его выступлению в 81 году на университетском акте, при тогдашнем революционном безлюдье остаться в стороне от текущей работы. Екатеринбургцы, стремясь к установлению связей на Севере, послали к нему кого-то из своих, чтобы привлечь и его в восстанавливаемую ими организацию¹⁾. Лев Матвеевич ответил им, что вот только сдаст свои экзамены, так и войдет в дело с головой, а пока повременит. Екатеринбургцы повременить соглашались, но жандармы ждать, когда революционеры соберутся с силами, не захотели. Вскоре-же и на севере и на юге они произвели аресты, и назревавшую „партию“ в зародыше раздавили. При этом и действовавшие, и собиравшиеся действовать одинаково влетели и пошли в ссылку. Так и вернулся Бернштейн в знакомый Якутск, где его друг Папий провел все это время безвыездно, углубляя свое понимание сущности социализма в прениях с посетителями улусной квартиры... Вместе они двое выступили впервые с протестом на университетском акте в Петербурге, а через семь лет с годом они-же встретились на противоположном конце России у края могилы, словно завершив какой-то предназначенный им круг. Мелькнули вдвоем на гребне вала при его прибое и вдвоем-же показались вдали при полном спаде вод, чтобы вместе пойти на дно...

Бернштейн был первым евреем, с которым мне довелось сойтись по товарищески, и я помню, что по началу я к нему присматривался с особенным любопытством. В Саратове того времени евреи в городе были почти незаметны, и в наших саратовских кружках при мне их не было. Были у нас волжские немцы, были мордвинны; одни больше блондины, другие больше брюнеты, но и те и другие доходили до восьмого класса такими русаками, что только и отличия в них оставалось от нас, что много звали с модной тогда полделкой под мужицкий стиль „Карлуха“ или „Оттоныч“, а не Васюха и не Иваныч. О евреях мы знали только то, что правительство их

¹⁾ Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз и некоторые другие молодые южане пытались восстановить народовольческую организацию уже после провала Г. А. Лопатина.

жестокое травит, и этого было совершенно достаточно для того, чтобы чувствовать готовность стать на их защиту. С другой стороны, как раз перед знакомством с Бернштейном я запоем читал первые выпуски „Истории Всемирной Литературы“, предпринятой тогда Коршем, и противоположность „Библии“ и проникающего ее духа с духом „Илиады“ или индусских Вед, нам, славянам, куда более близким, мне казалась поразительной. С величайшим интересом прочел я тогда-же статьи Брандеса о Лассале, и эти чтения, вместе с характеристиками Карла Маркса в воспоминаниях Герцена и Анненкова, создали во мне представление о евреях, как о народе исключительной страстности, энергии и совершенно своеобразного душевного строя. Однако, наш новый московский товарищ при первом знакомстве ничем не напомнил никому из нас прочих ни Лассала с его неукротимым честолюбием, ни Маркса с его неустанными партийными раздорами, ни библейских пророков с их бесчеловечным благочестием. С вида ему легко было сойти за русского: рыжевато-русый, белолицый, слегка кудреватый, довольно стройный, студент, как студент... ну не пензяк, так белорусс или литвин. Говорил он без малейшего акцента, очень гладко, обыкновеннейшим газетным языком, каким тогда все статьи писались, по взглядам-же был народовольцем до конца ногтей. Как и все мы, он был убежден в том, что именно Россия покажет миру путь к социализму, а в своим единокровным родичам, евреям, не обваруживал никакого особенно напряженного сочувствия. Негодовал, конечно, на их униженное положение, но огульное преследование целой народности все мы признавали чепухой и глупостью: „ну вот—изгнали испанцы мавров; кто же прогадал-то? Сами-же и прогадали.... Дичь конечно все это!“—Никаких разногласий по этому поводу в нашей московской компании тогда не было. До какой степени российский революционер заслонял в этом бердянском народовольце еврея, может свидетельствовать такой факт, для нас нельзя сказать чтобы лестный. Летом 81 года разразились в южной России еврейские погромы. Всех нас они застали врасплох, так, что мы не знали, что о них и думать. Более всего нас поразила в действиях толпы ее сплоченность, планомерность, как-бы единство воли этой стихийной силы, и мы тотчас-же сделали отсюда радостный вывод: „вот она,—русская-то толпа! какая способность к организации! Всюду внезапно появляются какие-то вожаки, все идут как по команде, действуют враз, учиняют, правда, изрядную мерзость, но как дружно и лихо работают! Полиция им ни почем, войска ни почем... Протест против общественной несправедливости в них уже назрел, но спервачка довольно нелепо направился.... Главное однако в том, чтобы масса страхнула с себя свой вековой сон. Раз она проснется, усыпить ее опять правительству будет не так-то легко, а мы тем временем сумеем раз'яснить народу: кто его злейшие враги“. С этой точки зрения даже избивание наших-же кружковых приятелей, студентиков горемычных, московскими мясниками в 78 году мы готовы были рассматривать, как добрый признак. Погромы 81 года в первый момент, при напряженном ожидании всеми нами „начала“, мы, конечно приняли было за второй признак. „Толпа выступает уже не в единичном случае, а в целом ряде сходных движений.

Гнев народный рвется наружу!" Якшаясь с рабочими, наши прослышали, что по трактирчикам в Москве начинают поговаривать и тамошних, что мол не мешало-бы и тех пощупать вроде как в Киеве... Возникал вопрос: как-же нам отозваться на такие толки?—Поддерживать боевое настроение, ибо оно боевое и быстро могло-бы разгореться на улицах в борьбу с властями? Или пойти толпе наперекор, разубеждать ее, успокаивать?... Этот вопрос ставили перед собой двадцатилетние политики, которые давно чувствовали себя как на горячих углях, только и норовя, как-бы им вырваться из кружковых тайничков на широкий простор, где-бы можно было накуралесить власть,—и баррикад понастроить, и из ружей попалить, ну и все прочее проделать, что в настоящих революциях полагается... Еврей Бернштейн отдался было такому порыву с той-же непосредственностью, как и его русские товарищи, тоже совершенно чуждые юдофобства, но просто не по разуму ретивые. Спас нас от участия в большой гадости Петр Николаевич. Он нас вразумил и вытрезвил. От него мы впервые услышали несказанно поразившую нас весть: эта „народная стихия“, восхитившая нас, революционных фендриков, своей „способностью к самоорганизации“, подобрана полицией, а ее самородные вожаки переодеты жандармы... Нас это сообщение как обухом по лбу ударило. Вот так влетело-было мы, умники! А ведь читали мы и Милля, и Спенсера и каких еще мудрецов, в теориях как будто уже разбираемся, а на деле—полицейского подвоха от народного движения отличить не сумели... Вот ты и занимайся политикой, когда тут, гляди-ка, на какие штуки противники пускаются. Догадайся-ка, поди... Ну и Плеве! Ну и жох! С конфузом смотрели мы друг на друга, почесывая по-мужицки затылки, и один только из нас после этой истории в наших глазах скорее даже вырос,—это Бернштейн: вот революционер так революционер! Тимолеон родного брата для Свободы не пожалел, а этот чем хуже?

...Теперь, не в 81 году, а в 89-м, и царствования императора Александра III-го уже восьмом году, та пора и те настроения казались мне далекими и нелепыми, как юношеская любовь, мечтательная и томная, эстетическая, метафизическая и, уж, конечно, совершенно платоническая, какая бывает доступна только шестнадцати—двадцатилетнему сердцу, а не нам, бородачам, дотянувшим чуть не до тридцати. Восемь лет тому назад, не переставая и в Москве тосковать по некоей саратовской красавице, я находил сантиментальное утешение в мысли о том, что может-быть всего через несколько месяцев „она“ прочтет в газетах о гибели такого-то на эшафоте и хоть тогда спохватится, сколь этот юноша был героичен и сколь он был-бы достоин ее любви!... Ожидание не нынче-завтра великих событий и нетерпение принять и самому участие в славных подвигах русских Тимолеонов и Гармодиев было в нашей московской компании общим. Все мы пылали, верили, напряженно ждали и были готовы переть напролом хоть с голыми руками. Телалов только головой покачивал и натягивал возжи потуже, чтобы его жеребчики телеги не опрокинули... И вот: где она теперь, наша задорная, боевая компания тех дней? — Поразметало всех еще равным утрусом во все стороны

света белого, а пуще всего по Сибири. „Хотела синичка море зажечь. Моря не зажгла, а сама потопла“...

Узнал я в улусе о прибытии в новой арестантской партии Бернштейна и всколыхнулись во мне московские воспоминания. Яркое, словно позавчера все это было, выплыла и наша первая встреча в достопамятные дни вскоре-же после 1-го марта, и кружковые собрания, которым Теллалов сумел придать стройный, деловой характер, и сношения с рабочими, и последний для Бернштейна вечер на воле, когда публика расходилась из квартиры Дьяконова для расклейки прокламаций в разных частях города, а мы с Бернштейном, с донцом Чеботаревым и с самим Дьяконовым по этому поводу пунша хлебнули и перешучивались: кого-то из нас в эту ночь спалают? И Бернштейн уверял, что уж никак не его,—он ведь осторожен. Уж и „осторожный“, подумаешь, был заговорщик!.. О „заря туманной юности!“ „O Glück! o Liebe! o Ernst! o Sonne!“ Какой искрометной представлялась мне сквозь тусклую пелену позднейших годов вся эта сентиментально-героическая юношеская чепуха, без которой так скучно и так ничемно жилось нам на свете потом в разных сибирских холодильниках!... Шибко захотелось мне повидать Бернштейна, помянуть с ним былое, порассказать ему: кто из наших куда попал, как, по слухам, кому живется, и от него разузнать,—не встречал-ли он ненароком в России тех немногих из тогдашних, которым посчастливилось ускользнуть от жандармских лап и уцелеть на воле?

Выехал я из своих „моорукцев“ (т. е. из Моорукского наслега Мегинского улуса) ¹⁾ в город, встретился с Бернштейном и поведал ему о старых приятелях довольно однообразную повесть. Помянули мы их, каковы они были, загадывали вдвоем: каковы-то теперь они стали?... Прошли перед нами все как на смотре.

— Ванечка Старынкевич?—Все еще маятся на кариийской каторге наш Ванечка Старынкевич. Говорят, он для тюремных товарищей до сих пор остался „Ванечкой“, хотя у него теперь и усы и козлиная борода уже есть. Остриг и шалит, свирепо спорит об идеалах, находит что в Америке мало действительной свободы, а о выходе на поселение мечтает, как о выходе „на волю“. Восемь лет назад был этот Ванечка хорошеньким и стройным юношей, любознательным, подвижным и умненьким. Помню, как он набросился тогда на только-что получившего в нашей среде известность нового мыслителя—Дюринга; как он приставал к Теллалову, чтобы тот раз'яснил ему какие-то его недоумения по поводу взглядов Ланге на материализм... Вообще, парнишко был в умственном отношении чрезвычайно неутомонный и вечно искавший чего нибудь новенького и свежего, но непременно бодрого и вдохновляющего к борьбе. Генеральский сынок и единственный в нашем кружке коренной москвич, был он по ухваткам отчаянный „нигилист“ и производил впечатление вырвавшейся из под присмотра институточки, которая, шая, желает казаться забубеннейшей девчонкой. Арестовали его из-за сущего вздора, но на допро-

¹⁾ Улус в Якутской области соответствует волости; наслег—сельскому обществу. Население наслега,—душ 8 тысяч,—рассеяно по территории с хороший русский уезд.

сах он жандармов ругал и усовещивал: зачем они,—все таки интеллигентные люди—и вдруг жандармы, а не революционеры! Закатали его на двадцать лет каторги, а на Каре он ввязался в тамошний тюремный „бунт“ и прибавили ему еще чуть не двадцать лет. Вот он и засел там прочно...

— А Иван Васильевич Калюжный?—Ах! и славный-же малый был Иван Васильевич! Такой живой и талантливый южанин, с такой зажигательной общественной жилкой. Ему-бы вовсе не заговорщиком быть, а скорее агитатором на открытой широкой трибуне!... Тоскует он, говорят, на Каре сильно. При его подвижной натуре ему там, конечно, горше, чем какому-нибудь записному книгоеду. В лингвистику он там ударился, но это уж от нечего делать, чтобы чем-нибудь себя занять, а на побег, хотя-бы самый отчаянный, он готов когда угодно. В первую ссылку на Север России он пошел еще мирным народником, но, бежав оттуда, применил к нам, „террористам“, и перетащил за собою целый кружок бывших „черно-переделывцев“ ¹⁾ и еще один рабочий кружок, состоявший из слесарей с Брестского вокзала. В нашей группе он должен был принять на себя заведывание типографией „Рабочей Газеты“, но понадобился Юрию Богдановичу при его поездке в Сибирь для организации народовольческого „Красного Креста“ на подмогу расторопный молодой человек, вроде адъютанта, и наметили для этой роли либо меня, либо Ивана Васильевича. Однако, затем мне дали другое поручение, а Калюжный укатил с Богдановичем в Сибирь. От Казани до Иркутска были им налажен „путь“ для беглецов из Сибири... ²⁾, да не тут-то было! При аресте Яковенко в Москве провалились все адреса, и пошло все дело прахом... В России, если верить слухам, после того, как правительство нам так всыпало, все нос повесили, погрузились в уныние, в безнадежную обыденщину, а не то ударились в вымученную, тарбарски перемудренную эстетику... Оставались-бы в Москве эти двое, уж они и сами-бы наверно не закисло, да и других постоянно подбадривали-бы и оживляли. Такой у них темперамент. Но вот—прогорает их огонек под карайским пеплом который уже год и никому от него ни тепла ни света. Дивятся теперь все наблюдатели: что случилось с российской интеллигенцией? куда девались ее энергия и одушевление?—Спросили-бы у смотрителя карийской каторжной тюрьмы: куда наша отвага запрятана? где она замурована и семью печатами припечатана?—он-бы им на свои ключи показал: вот где!

...В конец зачахла и умерла там-же, на Каре, предполагаемая хозяйка нашей типографской квартиры, полечка Антонина Лисовская, петербургская курсистка. С братом ее Генрихом Лисовским, гминником ³⁾, я шел

¹⁾ Газета „Черный Передел“—незаконный орган мирных народников, впоследствии ставших марксистами.

²⁾ Богданович доехал только до Томска, а Калюжный до Красноярска, но в связи с их проездом в Иркутске в 81 году возник народовольческий кружок, задававшийся целью содействовать побегам из восточной Сибири (Неустроев и др.).

³⁾ Тайное общество „Гяна“ (т. е. община) существовало в Польше в самом конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов. Оно состояло в значительной

в арестантской партии от Москвы до Томска. „Гинна“ вся в конец разрушена по оговору какого-то предателя по фамилии Родзевич. Семнадцать человек из них прошло со мною в Сибирь. Но у них вскоре-же вместо „Гинны“ возникло новое общество „Пролетарнат“, а у нас что-то заколодило. „Народной Воли“, как единой организации, уже нет, но и взамен ее тоже ничего нет. Если не наладится десятка другого удачных побегов из Сибири, то, пожалуй, надолго с нашей революцией выйдет заминка. Молодежь нашего поколения, т.е. поколения самого начала восьмидесятых годов, ведь прямо градом выбило. Нас как не бывало для России. Из нашего московского круга те двое на каторге, и одна в могиле. Дьяконов тоже в могиле, — умер в ссылке, в каком-то там Каниске. Мы двое в Якутске. Помните у Рылеева? — „Однообразно жизнь влечит Якутска житель одичалый“, вот это мы с вами и есть... Мой завадыка, саратовец. Сашка Кирхнер, студент-техник, с которым мы вместе и судились, поколобродив достаточно со мной в налаживании побега. Потом махнул на эту затею рукой. Я пустился в путь без него с Михаилом Антоновичем Колосовым, екатеринбуржцем. Пробились мы всего на сто верст от Тунки, куда нас поначалу законопатили, и на Байкале влетели, — узнали там Колосова в лицо тамошние мужики, скрутили нам обом руки к лопаткам. и дали знать властям. Засадили нас молодцов в иркутскую тюрьму: не бродяжь!... а бродяжь, так с толком, а не на ура! Сидели мы в тюрьме по одиночкам и на досуге, задним числом, преумно соображали: вот-бы нам как следовало поступить да вот как, гуляли-бы, пожалуй, на воле! Это было еще в апреле 85 года. Меня потом вскоре-же выслали в Верхотенск, а Сашка ударился у себя в Тунке в неистовую практику. Он ведь не только оратор, пропагандист и агитатор; он и живописец, и слесарь, и стихоплет, и сапожник, и фельетонист, и архитектор, и на все руки мастер. С рабочими он еще в Саратове легко сходиллся за панибрата, а в Москве баладался больше всего с дантиловскими ткачами. В Сибири он также за панибрата сходиллся с челдонами¹⁾, чинил им замки и ружья; по заказу попов с успехом воздвиг в одном селе храм Господень; по заказу бурятских лам с немалым успехом вызолотил идолов в соседнем дацане (кумирне), и, наконец, по заказу местного кабатчика намалевал ему вывеску с живописным изображением бутылочек и стаканчиков. Покладистым деревенским красоткам он шил башмаки, не всегда требуя за это денежного вознаграждения, — как-то иначе умел с ними рядиться... Одно время увлекся он было хозяйством и пропадал неделями на своей ташенной пашне. Случалось, суток по двое дулся с купцами в винт, а иной раз (хотя это вовсе не в его натуре), нападал на него такой стих, что усаживал он за ночь четвертную в перепой с несокрушимыми по этой части тункинскими казаками... Метался парень во все стороны, не зная, в чем исчерпать свою энергию... Потом прислали в Тунку несколько новых ссыльных и в числе

части из полков-студентов русских университетов и было проникнуто вполне народническим духом, но только с заметной патристической в польском духе окраской. Многие „гинники“ были более или менее близки к народолюбцам.

¹⁾ Сибирскими мужиками.

их Любовь Чемоданову, ученицу по революции Софьи Львовны Перовской. По боку были пущены тогда и винт и четвертные. Деревенские прелестницы стали ходить в рваных башмаках; на прежних сходных условиях чинить их стало некому. Влюбился Сашка. Жениться захотел до зареза. Но Чемоданову взяли, да и перевели в Забайкалье и перевенчаться им не позволили, на том основании, что та была сослана „на поселение с лишением всех прав состояния“, а Сашка был осужден только „на житье с лишением всех особых прав и преимуществ“; значит, выходя за него замуж, Чемоданова могла-бы смягчить наложенную на нее судом кару. Начальству это показалось недопустимым. Вскипел Сашка и опять почувствовал себя революционером. „Коли так,—ладно-же! Бегу!“ Сговорился с киевлянином Дашкевичем и, не долго думая, пустился по тому пути, который раньше я было для себя наметил,—рекой Иркутом, через пороги. Все первые пороги одолели беглецы; с последним не справились. То-ли разбило ихнюю лодочку, то-ли они сами должны были ее бросить, но только продрались они до устья Иркута уже не рекой кипучей, а горами и чащею дремучей, а дальше двинулись порознь. Дашкевич успел уйдти за границу, а Сашка влетел при найме лошадей в одном притрактовом селе. Засадили его в иркутскую тюрьму, но потом перевели все-таки за Байкал и разрешили жениться. Теперь Сашка в Чите. Женат, но угомона на него все нет. То о нем слышишь: где-то там он золотыми промыслами управляет; то слышишь, по тайге ходит, новых розсыпей ищет; то вдруг оказывается, на Сахалин покатил нефть искать... Поживем,—наверно еще что-нибудь услышим: станет наш Сашка журналистом, а не то антрепренером, а не то обозлится на местного губернатора и опять какой-нибудь революционный фортель выкинет... Его на все станет!... Быть-бы ему по настоящему инженером, пойдти по отповской дорожке, а его втянуло общим потоком броситься очертя голову по нашей дорожке,—„Россию спасать!“.. Вот мы ее и „спасаем“, сидя кто в Чите, кто в моорукцах...

А еще у нас был петербургский технолог, белорусс Борейша, помните? Он себя в Питере скомпрометтировал перед полицией по делам о тамошней пропаганде, перешел в нелегальность, удрал в Москву, и был у нас ретивейшим пропагандистом. Осудили его по делу семнадцати на поселение. Где он? Что с ним?

— Этот—в Киренске. Приуныл, говорят; замкнулся в себе, живет отшельником... И таких теперь не мало. В 81 году они пылали чуть-ли не ярче всех, а нынче, слышишь, в тоску впали и погрузились в глубочайший мрак. Им кажется, что уже все потеряно, что русский народ не создан для свободы, и революции у нас ждать, по меньшей мере лет двести...

— А вот барышня у нас была—Александра Ивановна Орлова, учительница, сестра этого известного статистика—Василия Ивановича. Она еще у нас секретаршей состояла; все записи у нее хранились; в библиотечной комиссии состояла по составлению каталога книг и статей, пригодных для чтения рабочим... Она ведь тоже в Сибири?

— Эта легко отделаась: угодила в Енисейск, административно. Поскучала там поскучала, да и вышла замуж за лейтенанта Лаврова, тоже ссыльного народовольца, хорошего, как говорят, малого. Окончил Лавров

свой срок, что-то не очень долгий, и застрял в Сибири на службе, что-то по водной части, где-то при Обь-Енисейском канале. Оставался-бы он моряком,— дослужился-бы в свое время до адмирала, и была-бы наша прежняя секретарша адмиральшей, и к ней это положительно шло-бы! В широких кругах российской публики в начале восьмидесятых годов революционерку все еще представляли себе непременно „нигилисткой“ по романам „Русского Вестника“, то есть чрезмерно развязной особой со стриженными волосами и с папироской в нечищенных зубах; а наша Александра Ивановна одевалась так благопристойно и держалась так чинно, что мне доставляло бесовское удовольствие чем-нибудь ее иной раз легохонько задеть и поддразнить в ее почти английской щепетильности. Иногда она, при всем своем желании рассердиться, только смеялась, но случалось, что и в самом деле гневалась и читала мне нотации, которые всегда приводили меня в веселое настроение. Эта чинная барышня секретаршей была превосходной; все у нее было в порядке; на собрания она всегда являлась как раз во-время и не терпела, чтобы другие опаздывали; вообще добросовестна была в исполнении всех своих партийных обязанностей до педантизма, пунктуальна, как немец и положительна, как голландец, а была между-тем родом калужанка. Имела хорошую фигуру и приятное, чисто русское лицо, а вдобавок, и косу густую, красивого золотистого отлива, то-есть в общем представляла полнейшую противоположность ходячему понятию о „нигилистке“. В момент революционного подъема стала и эта благоразумная барышня революционеркой, но остается-ли ею теперь?—кто-же ее знает. Возможно, что теперь она уже не стремится „спасать Россию“ и проявляет свои добродетели в домашней жизни, а не в кружковой...

То-же самое и другого типа натура: котельщик Алексей Егорович Скворцов, приятель казенного по делу 1-го марта Тимохи Михайлова, родом из Можайских крестьян,— дуб, а не мужчина с вида. На Москве-реке в наши времена еще устраивались кое-когда кулачные бои, и наш Алексей Егорович стяжал себе на них великую славу. Попал этот удал-добрый молодец в тот-же Каинск, как и Дьяконов. Как мастеровой человек, рук не опустил, не раскис и не потерялся: обзавелся маленькой кузницей и всяким инструментом и развернул свои таланты во всю ширь. В России стоял он на заводах при своем специальном деле, а в Сибири пошел, что называется, на все руки от скуки: и кузнечил, и слесарил, и часы чинил, и швейные машинки ремсантировал, и чуть-ли не телеграф исправлял. Пошла о нем кругом слава; пошли заказы, а с заказами доходы; понадобились с ростом дела помощники; а где их взять? В товарищи на артельных началах принять некого; все тамошние мастера из уголовных ссыльных, то-есть отпетое жулье, пропойцы и лодыри; ну какие они артельщики?... Пришлось, конечно, принимать их поденно или сдельно, и разве лучших из них—помесечно... Росло у Егорыча его дело, увеличивалось число рабочих, и незаметно стал наш социалист хозяином, предпринимателем, то-есть желким капиталистом. Теперь у него и домик собственный в Каинске есть, и мастерская вроде небольшого заводика, и от обывателей ему почет как солидному хозяину, а не как пролетарию... Так оно само собой вышло. На

воле, в подходящей атмосфере и в подходящей обстановке, затрачивает человек свою энергию на дружеские дела и на пропаганду, а в затишьи ссылки выперло его вверх, и та-же энергия ушла на хозяйственную деятельность... Подумать: за годы реакции сколько по России должно было рассеяться таких Скворцовых? И ведь редкий из них вполне разочаровался в прежних идеях или „сжег все, чему поклонялся“. Большинство, как и Скворцов, как и Орлова, просто остались не у дел, потому что обмелевшая река их на берегу оставила, а сама отошла. Прибудь водички,— опять она их подхватила-бы опять пошли-бы они с нами; im Gleich und Glied пошли-бы и они...

Так мы с Бернштейном болтали и судачили при встрече, а я, болтая и судача, присматривался к собеседнику и думал: а ты, милейший, каков стал за эту пору? поупрыгался? присмирел? или ты революционер прирожденный, то-есть неизменный рыцарь Святого Духа в его гейневском истолковании?—

Он свершил большие чуда
И свершает их всегда:
Разорвал он цепи рабства
Сбил тиранов города.
Воскресил бывшее право
Да идет из века в век:
Нет неравенства рожденья.
Благороден человек!—

Его-ли ты слуга и теперь или нет? Если да, то ты и в ссылке останешься лермонтовским узником. Тот в плену, тот в темнице, но—

Нет на устах его грешных молитвы.
Нету ни песни во славу любовной:
Помнит он только старинные битвы,
Меч свой тяжелый, да панцырь железный.

...Мне заранее казалось довольно сомнительным, чтобы мой московский приятель был скольконибудь похож на такого рыцаря. Ведь он возвращался во вторичную ссылку уже женатым, с дитем, — мальчиком лет четырех. Уж какие там „старинные битвы“, когда с одной руки у тебя баба виснет, а с другой дите ревет!.. Я с юных лет был того мнения, что настоящий революционер не должен иметь семьи: странствуй, вольный рыцарь, по белому свету, низвергай велпканов, — вот твое дело. Если зацепится твое сердце за какуюнибудь розу, то у себя в сердце эту розу и храни, да помалкивай, а своему призванию ради нее не изменяй. Есть у тебя „меч твой тяжелый, да панцырь железный“, — их и знай, с ними и в могилу иди.

Несмотря на это предубеждение, мое первое впечатление при новой встрече было таково, что Лев Матвееч изменился только по внешности. Ну, возмужал конечно; еврейский тип в чертах его лица стал позаметней. Показался, уравновешенный немного стал. Не так всецело уповаешь на действительность и не отразимость революционного террора... Но, по существу, это все-таки террорист и все тот-же неоглядно прямолинейный и несекрустно верующий

а логические схемы идеолог, каким он был и двадцатилетним первокурсником. Народоволец распрограмнейший и наиреволюционнейший.

Однако, поговорив да поприсмотревшись, нашел я, что семь лет реакции и наших неудач, да вероятно и какие-нибудь личные впечатления за это время, и для такого устойчивого человека не прошли бесследно. Народоволец вынудило нас всех признать начало государственности. Занятия юридическими науками углубили у Бернштейна его понимание государственности, и он теперь мыслил осуществление социализма, как процесс прежде всего планомерный, выполняемый в широком масштабе единой государственной властью. Исходящая из народа и ответственная перед народом, власть изымлет из частной собственности все земли и крупнейшие предприятия общегосударственного значения. Эта власть, деятельная и сильная, твердо охраняет единство государства, как хозяйственного целого, раздробление которого невыгодно и даже губительно отразилось-бы на самой возможности достаточно полного использования национальных богатств. Понимаемый таким образом, социализм приводил его к новому виду патриотизма: Россия нужна населяющим ее народам, как готовая форма, единственная в мире по громадности и многообразию, для замены частновладельческого промышленного хаоса стройной и продуманной лучшими умами, системой национального труда на общее благо... Этот уклон мысли, в большей или меньшей степени, был свойственен многим народовольцам, — за то противники и называли нас, бывало, ругательно „централистами“, но у Бернштейна, по его любви к точным формулам и к неизблемым принципам, он выступал с особенной ясностью. Если-бы я хотел охарактеризовать весь круг политических идей нашего удусного мирка, расставив, так сказать, вехи на его крайних выступах, то, пожалуй, самыми приметными вехами мне могли-бы послужить две фигуры: именно Бернштейна и Павлюка Орлова ¹⁾. Павлюк, бывший последователь Бакунина и всегдашний почитатель Достоевского, а кое в чем и Хомякова, ценил более всего внутреннее богатство человеческой личности, ее способность к почину и дерзанию, к свободному творчеству и к вольному самоподчинению высоким целям. Развитие социализма представлялось ему прежде всего развитием индивидуальной совести, ростом в личности ее сознания своей связи с общественным целым и ее стремления к проявлению себя в созидании все новых и новых, все более и более внешне свободных и внутренне сплоченных форм общественности. Это был социализм чисто интеллигентский, чисто русский и, в большой мере, славянофильский. Главным отличием взглядов Павлюка от прежнего славянофильства служило то, что Павлюк не православием объяснял особенности славянского духа, а наоборот, — особенностями славянского душевного строя пытался объяснить и способ восприятия нашими предками христианского учения, и нашу современную отзывчивость к идеалам социализма. Он усиленно подчеркивал, что наше православие

¹⁾ Общая характеристика П. А. Орлова была дана в первой статье этих очерков в книге 5-й 6 „Былое“ за 1917 год.

в самой-то жизни, ведь это вовсе не схоластические хитросплетения византийцев, так же как польский католицизм—совсем не эстетическое идолопоклонство итальянцев и не мрачное изуверство испанцев. Да и наш социализм очень далек от изысканного романтизма сен-симонистов и еще более далек от сухих умствований немецких социал-демократов. Заимствуя готовые формулы от Византии или из Рима мы, (т. е. наши предки), наполняли эти формулы своим содержанием, и теперь в нашем, — все равно-русском или польском, — понимании учений Прудона или Маркса Павлюк находил больше сходства с пониманием прежними москвитями или ляхами поучений Нила Сорского или всендза Скарги, чем с отношением берлинских „геноссенов“ к наставлениям Бебеля и Вильгельма Либкнехта. Подобным-же образом и в монархизме нашей народной массы, которым наши друзья-поляки постоянно кололи нам глаза, Павлюк вовсе не хотел видеть, как те, проявления какого-то рабского духа, будто-бы присущего русскому мужику. Он отвергал вместе с тем и готовность прежних славянофилов признать мужицкий идеал Царя-батюшки за свой собственный и размазывавать его на манер лубочной картинки, изображающей Владимира-Красное Солнышко. Венценосный Держиморда—Николай I, шедший на возжах у своего берлинского кузена, „Освободитель крестьян“, бывший в душе крепостником, и „Освободитель балканских славян“, в сущности их презиравший и сочувствовавший скорее султану,—Александр II; наконец—запуганный дурак, каким мы все считали Александра III-го;—этой галлерей императоров всероссийских было достаточно для того, чтобы у людей нашего поколения уже не могло оставаться места для идеализированного образа Царя-батюшки. И Павлюк был так же далек от восхищения призраком небывалого и невозможного в жизни Царя-батюшки, как и любой из нас. Но крестьянская идея такого царя, по его толкованию, вмещала в заимствованном из Византии образе земного бога черты совсем не византийского типа. Павлюк идеализировал народное представление о царе и находил в этом представлении и глубокий смысл, и своего рода красоту, и благоприятнейшие указания на ход народной мысли в будущем. Тут он обоими руками заимствовал ловоды из славянофильского кошелька. Ведь царь народной мечты это не европейский монарх, охранитель писанного закона и признанных этим законом неприкосновенных прав и традиционных привилегий. Но это и не турецкий султан, который ставит в закон своим подданным любую свою прихоть. Это—живое воплощение всенародного единства и равной подчиненности всех вольных общин и всех многообразнейших общественных сил неписанному закону высшей правды и на всех наливающейся милости... Мечта, конечно, наивная и весьма нелепая. С иных своих сторон все тот-же идеал сверхзаконной Правды проявился в исканиях славянской религиозной мысли, — в болгарском богумильстве, в чешском гуситстве, в русском сектантстве. Частичное осуществление он находит в сербской задруге, в русской общине, в уральских войсковых порядках и в казачьем кругу. Все это примитивно, и во всем этом зреют семена великих возможностей. О таких возможностях в Европе только мечтают несколько проводцев вроде Прудона и Роберта Оуэна... В политических умствованиях Павлюка

можно было найти много неясностей, не мало противоречий, и очень много такого, что вовсе не совпадало с наиболее ходячими в нашей среде понятиями. Павлюк имел по улусам сторонников, но имел еще больше противников, но все, и сторонники, и противники, одинаково любили его слушать ради красивой формы его речей и чувствовавшегося в них общего духовного подъема. Чистая политика в импровизациях Павлюка не занимала первого места и всегда неразрывно сплеталась в них с эстетикой и философией, причем в эстетике он искал какой-то новизны и был решительным противником модного у нас в ту пору натурализма, а в философии, наоборот, любил углубляться в старых авторов—Декарта, Бекона и Спинозу, и даже дальше их, вплоть до Платона.

Бернштейн, по сравнению с Павлюком, был прост как катехизис. К глубинам человеческого сердца он проявлял мало интереса, да и вообще по складу ума вовсе не был отвлеченным мыслителем. Он был только политиком, человеком партийным, человеком твердых догматов и осязательных целей. К поэтическим парениям духа едва-ли он был способен. Но это был все-таки человек любознательный, много читавший, приглядывавшийся к жизни и не успевший заостряться в программных формулах до утраты способности шевелить хоть сколько-нибудь собственными мозгами, как те политики-сектанты, что позже расплодился по партиям, как мелкая раса на поверхности застоявшихся прудов, так, что и пруд на пруд становится непохож, а сбивает больше на болото.

Исходя в своих построениях всегда от живой личности, со всей полнотой и разнообразием ее запросов и ее особенностей, Павлюк и расовым свойствам отводил такое видное место в своей социологии именно потому, что видел в них, вслед за Тэнном, один из существеннейших и наиболее стойких элементов всякой реальной человеческой личности. Ближайшую цель социализма он определял, как высвобождение человека (не пролетария или мужика, а вообще человека) от страха нищеты и от принижающей необходимости от кого-бы то ни было и в чем-бы то ни было зависеть. Организуя труд с наименьшей затратой сил, социализм в его ожиданиях должен будет повести, главным образом, не к повышению производительности труда в экономическом значении этого слова (такой результат достигнется косвенно), а к невиданному в истории повышению производительности человеческого духа. Почему греки были так плодовиты на широкие идеи и на чудные образы? Помимо всего иного, потому, что они не корпели весь век в канцеляриях, как русские чиновники, не гнули спины над постылыми станками, как английские фабричные, не бегали целыми днями, высунув язык, по конторам, как американские дельцы, а жили, как подданные свободным гражданам: мудро беседовали, искали истину и созерцали красоту. Социалистический строй, каким он представлялся Павлюку, должен был каждого обывателя превратить в афинского гражданина, для чего и сам теперешний обыватель, конечно, должен будет подтянуться, соскребить с себя последние остатки звериной шерсти и не слишком гнаться за соблазнами презренной обывденщины, предпочитая полноту духа обилию яств и питей.

При свободном воздействии на все души объединяющих сил Искусства и Науки, человечество, в прозрениях Павлюка, должно будет рано или поздно прийти к образованию из миллиардов отдельных лиц духовно единой Всечеловеческой Личности, способной к таким достижениям в познании Природы и во власти над Природой, о каких мы, теперешние, и гадать не в силах... Однако, признавая, что мы теперешние, о таком неудобопредставимом будущем гадать не в силах, Павлюк все-таки не всегда воздерживался от попыток проникнуть мыслью и за эти „пределы предельного“ и задумывался над мировым смыслом существования человеческого рода и над другими подобными вопросами, которые казались ему теснейшим образом связанными с злободневными задачами социализма и нашей русской политической борьбы. Такой уж это был чужак, что он, отправляясь с одной улицы Якутска на другую, не мог по пути не завернуть и на Сириус, и на Альдебаран... И при всем том, нисходя с этих высей на нашу маленькую, нашу несчастную Землю, в нашу разнесчастнейшую из всех стран, убогую Россию, этот безудержный мечтатель как-бы приходил в себя, образумивался и неожиданно обнаруживал большую трезвость в оценке положения и, сравнительно со многими из нас, большую умеренность в своих требованиях от жизни. Живущее поколение россиян на его взгляд было так плохо, что введи их прямо в рай, они в нем все деревья вырубят, все дорожки запакостят, со всеми ангелами зря переругаются и доведут себя до того, что их выгонят в три шен. Пока они остаются такой многотаящей в себе, но совершенно бесформенной протоплазмой, как теперь, да-бы им только бог воспользоваться указаниями агрономии, не затормозив, а улучшив вместе с тем уравниательные порядки в деревне, а в промышленности — кабы тулячкам и павловцам, взамен капиталистических потогонков и морилек, да по последнему слову техники наладить артельные предприятия... И то и другое было-бы возможно только при свободном доступе русской интеллигенции к трудовым массам, а так как правительство никакого доступа интеллигенции к массам не дает, то, конечно, — правительство так или иначе надо свалить, и какой ни на есть конституции нам приходится добиваться. Признание необходимости политической свободы составляло тот перекресток, на котором в 89 году сходились пути мысли такого чистокровного народника (то-есть полуганархиста), как Павлюк, и такого твердого народовольца-государственника, как Бернштейн.

К этому перекрестку оба они подходили с противоположных сторон. Павлюку парламент казался необходимым для блага деревни, — теперешней, пьяной и темной, забитой и нищей, чтобы она хоть сколько нибудь протрезвилась, просветилась и поотелась, набираясь сил для предназначенных ей в будущем подвигов. Бернштейн задумывался над положением деревенского люда и считал настоятельным для партии во что бы то ни стало привлечь деревню на нашу сторону, чтобы при ее помощи добиться парламента и всяческих свобод, необходимых и мужикам, и евреям, и раскольникам, и всем обитателям России. Та-же разница проступала и в их отношении к социализму. Для Павлюка было так: хорошее это учение — социализм, так как от его применения русскому мужику заживется лучше. Для Бернштейна — доброкачествен-

ный это элемент,— русский мужик: вот уж кто понапрет плечом, так и вломится в царство социализма! Почти рядом с русским мужиком в симпатиях Бернштейна стоял европейский революционный пролетарий,— тоже ведь прирожденный социалист и наш естественный союзник. Только немецкая социал-демократия в глазах Бернштейна была несколько подозрительна по ее революционности. Пожив в Дерпте, Бернштейн очень не взлюбил немцев, и незадолго до моего выезда из Якутска, делясь со мной своими дерптскими впечатлениями, согорчением передавал тот вывод, что немцы вообще удивительные филистеры, и даже социалисты у них немногим разве переволлюционней наших разнесчастных „либералов“. А надо знать, как мы смотрели на тогдашних наших „либералов“! Консерваторы—это ихтиозавры и птеродактили, отстаивающие идеалы тех эпох, когда водились твари с пятью и семью рядами зубов, да еще каких. Мы—провозвестники идеалов лучезарного будущего. А либералишки плаксивые—те хотели-бы, чтобы птеродактили сами прониклись нашими возвышенными стремлениями, а пока они ими не проникнутся, чтобы мы с кротостью допускали зубастую тварь глотать нас дюжинами и сотнями без всяких протестов с нашей стороны. Это они называли „благоразумием“, а мы называли презреннейшей трусостью, лицемерием, праздноболтанием и всякими иными нехорошими словами... Немцы, по оценке Бернштейна, все вообще недалеко ушли от наших Краевских и Билбасовых. Но рабочие массы всех других народов внушали ему полнейшее доверие. По его мнению, в романских странах не только пролетариям, но и мужикам уже давно не терпелось перековать мир по новому, а в Англии и в Америке, пока промышленность идет все в гору, а политическое могущество этих стран обеспечивает за ними достаточно широкие рынки, до тех пор и рабочие, как партнеры своих капиталистов в обшипывании остальных наций, пользуются социализмом больше как „жуеюлом“, когда хотят припугнуть хозяев, чтобы оттянуть у них побольше из их общих барышей на свою пролетарскую долю, а в серьез за дело переворота не принимаются. Но так уже не долго будет: рост политического могущества России угрожает торговым интересам капиталистической Англии. Германия с года на год крепнет и того и гляди подковырнет Англию в ее экономическом господстве. Америке не по вкусу рост национального сознания в Китае и в Японии. Крах теперешней экономической системы в этих странах не за горами. Но рабочие тамошние уж какой смеловатый народ! Эти моменты не упустят! А уж если возьмутся за дело, то проведут его толково и с наименьшими потрясениями. Политическое могущество России не может соответствовать ее действительным силам, пока в ней господствует почти азиатский деспотизм. Момент низвержения в России деспотизма послужит для англо-американских рабочих масс сигналом предстоящей перетасовки во всех странах мира всех сложившихся экономических и политических отношений. Иными словами, это и будет самый благоприятный момент для выступления тамошних трудовых классов с новыми требованиями, на этот раз не частичных уступочек, а радикальных перемен в самом строе общественного хозяйства. Политическая революция в России, сопровождаемая конечно

аграрной реформой в духе черного передела, неизбежно послужит началом социальной революции в Англии и в Америке, так как там все дело задерживается только тем, что политически даже пролетариям в этих странах живется и теперь не плохо, а экономически, по правде-то говоря, и по нашей, по русской мерке, пока тоже ведь не плохо... У нас средней руки чиновники так не живут, как там поживают слесари и кочегары!... Интеллигенция европейская и американская в ее целом представлялась Бернштейну тоже далеко не безнадёжной: огромная часть ее служит и так, еще до всякого социализма, бесплечности отбывать ту-же службу именно как чиновникам, имея своим господином непосредственно нацию? Ходом экономического развития этого рода интеллигенция, не замечая того сама, уже формируется в один из устоев будущего социалистического строя... Все там на Западе, собственно говоря, уже созрело для социальной революции, и вся беда в том, что тамошние люди несколько позаплыли жиром и потому духовно отяжелели.. А вот мы и наги, и босы, и голодны, и плетью-то нас стегают, и прав-то человеческих за нами не признают.. так кому-же и не броситься первому в свалку как не нам?!... За нами, только за нами все дело мирового обновления!

Павлюк слушал такие речи, как надоевшую сказочку. На готовность Европы к коренному преобразованию всех ее многовековых устоев он смотрел довольно-таки недоверчиво. Очень многое в его взглядах было заимствовано явно от Герцена. Современную европейскую (а заодно и американскую), цивилизацию он считал упадочной, „александрийской“, односторонне-рассудочной и старчески материалистической. Для нового вина история заготовила новые меха—славянство, свежее племя, слабо затронутое отголосками влияния римского форума и лондонской биржи. На Западе весь социализм сведен к одному вопросу: как поделить выработанный на фабрике аршин сукна—такую-то часть отдать физическим участникам выработки и такую-то—умственным участникам? или весь аршин целиком отдать физическим участникам, а умственным участникам предоставить то, что им пролетарий пожалует? Задачи социализма во всей ее широте в Европе и знать не хотят. Грызутся там все из-за своих денежек, и все на свете в этой грызке позабыли... А в нищенских „калуцких“ деревушках и в сербских „кучах“, там живут в постоянном общении с природой и в постоянной практике взаимной поддержки наши красивые бородачи, пока еще безграмотные, пока еще серые, в лаптях да в опанках... Но погодите-ка! они-то и превратят свои села и „кучи“ в новейшие политейи, аттические по красоте и осмысленности быта, римские по их общей сплоченности, христианские по человеколюбию, и невиданные пока еще нигде по широте и многосторонности духа своих обитателей, по их умственной одаренности и эстетической чуткости... Сельское население Европы рано или поздно уподобится им, а городская жизнь всюду преобразуется несколько в духе призывов Рёскина. И люди преобразуются несколько в духе призывов Толстого, но только не сузившись духовно, как этого Лев Николаевич хотел бы, а наоборот,—развертывая все зачатки своих талантов до их полного расцвета...

Бернштейну все эти славянофильские и полутолстовские чаяния казались чем то довольно сумбурным и к задачам социализма весьма мало относящимися. Расовые различия, „национальный дух“, — на его взгляд составляли не то чтобы вовсе вздор, а вроде того. Социалистической мысли с такими устарелыми идеями, как он полагал, делать было нечего, и она должна оперировать с понятием „гражданина“, русского, немецкого, английского. А все эти словечки „расовые различия“ и тому подобное отдавали на его слух реакционным духом, и он опасался, что они могут оставить в миросозерцании человека, хотя бы даже социалиста, щелки, сквозь которые еще как-бы не просочились у одних — юдофобство, у других — руссофобство, у третьих — негрофобство и т. д. Антропология — та пусть со всем этим возится; но политик не с антропологией должен считаться, а со своим нравственным идеалом. Притом же и вполне объективное исследование расовых особенностей едва ли возможно. Плоха что-то бывает объективность в таких вопросах и у господ ученых,.... особенно у немецких. Тех послушать, — так окажется, что „научно доказано“, будто немцы — цвет человечества, а все остальные народы созданы только для того, чтобы было кому немецкой красотой любоваться... Эта черта немцев, — это, конечно, не их „расовая особенность“; это результат их северного политического воспитания. Делая практический вывод из таких взглядов в применении к еврейству, Бернштейн считал обязанностью еврея быть преданным родине гражданином той страны, в которой он живет: как Маркс и Лассаль в Германии, Манни в Италии, Дизраэли в Англии и т. д. и т. д.

По общему убеждению наших в Якутске, после Зотова, именно этот образцовый русский гражданин, каким он всей душой желал бы стать, являлся ближайшим кандидатом на виселицу. Благодаря его прежней службе и солдатской службе, многие в городе его знали и кого другого, а его-то уж конечно заметили с револьвером у окон. Притом же по его характеру можно было ожидать, что если только он оправится от своих двух тяжелых ран, то на допросах наверно постарается раз'яснить лицам, производящим следствие, внутреннюю неизбежность кровавой развязки после отклонения Остапкинским всех попыток компромисса со стороны ссыльных. Он станет красноречиво доказывать нравственную правомерность своей стрельбы и этим красноречием окончательно погубит себя в глазах суда.

Мне его активное участие в перепалке давало мерило того, как поднялась температура колымчан за несколько недель после моего выезда, и как преобразились при этой изменившейся общей температуре отдельные лица. Дело в том, что Бернштейн, как человек более твердый и уже видавший виды, относился к опасностям и трудностям предстоящего пути в Колымск довольно спокойно. В кругу колымчан более всего волновались и ужасались именно те скромные обитатели каких-то юго-западных городков, которых департаменту полиции пришла охота сделать возлами отпущения за грехи саратовцев и тамбовцев. Проводя теплые южные вечера под акациями своих городских бульварчиков, ну думали они разве о головоломных спусках на оленьей нарте с какого-то Верхоянского хребта? о двухмесячном пути по тундре? о ночлегах

в „поварнях“... и о том главное, что все это предстоит проделывать вот именно им, ему, Самуилу, и ей, Сонечке, свикшимся кто с милым Почепом, кто с тихими Прилуками, а кто и с великолепным Елизаветградом?... Таким с непривычки путь в Колымск, и на самом деле не сладкий, представлялся чем-то ужасающим, а Лев Матвеевич, как „старый улусник“, относился к поездке без всякого трепета. При отъезде из Якутска в начале февраля, я полагался на него, как на одного из самых благоразумных людей во всей колымской компании, и надеялся, что он, наряду с Павлюком, сумеет сдержать и урезонить грючую, более нервную публику... И вдруг он-то и оказался передовым бойцом: стрелял в солдат, среди которых у него еще оставалось несколько прежних сослуживцев, и раненый, лежа на полу, в момент затихшая перепалки, что-то говорил товарищам истерически-страстно в самом восторженном духе: для России-мол их жертва не останется бесплодной: они гибнут в борьбе, как истинно идейные люди... что-то в этом роде. Так нам писали наши из Якутска.

Ни Зотов, ни Бернштейн не принадлежали к числу зачинщиков и вдохновителей „мартовской истории“. Выдающуюся роль в ее подготовке сыграл Сергей Пик, молодой еврей из Москвы, тотчас-же по прибытии в Якутск резко выдлившийся среди всех остальных ссыльных. Равьше мы знали либо таких евреев, как Бернштейн,— русских граждан, с обычным в то время интеллигентским складом мысли, либо евреев типа Натансона. Для тех русское гражданство было чем-то мелким. Они хотели-бы чувствовать себя первосвященниками человечества, гражданами мира, наставниками всех народов,—и русских, и французоз, и англичан—во всеенских истинах социализма. Ставить еврейский вопрос в какой-бы то ни было отдельной стране и решать его в той политической обстановке, какая сейчас существует в этой стране,—напрасная трата сил. В царстве чистой справедливости, то есть при торжестве социализма, все государства растворятся, и все существующие национальности тоже растворятся в аморфной массе равно блаженствующего человечества. Тем самым будет сам собою решен и еврейский вопрос. Он впрямую перестанет существовать.

...Явился к нам Пик и стал поперец и Бернштейну и Натансону. Как только он прибыл в Якутск, так и огорошил всех весьма странным по нашему предложению: нам, русским ссыльным,—как он настаивал,—следовало подать в департамент полиции письменное заявление с резким протестом против применения исключительных мер, вроде высылки в Колымск, к одним евреям. Сохраняя в этом случае молчание, мы как-бы примиряемся с такой несправедливостью и обнаруживаем недопустимое равнодушие к гонимым... Наши только руками развели: да какой-же смысл нам, отпетым „крамольникам“, „врагам порядка“, как нас правительство величает, людям, в большинстве „лишенным всех прав состояния“ по приговорам военных судов или Особого Присутствия Сената, с пафосом сообщать департаменту полиции, что мы... ссылки евреев в Колымск не одобряем?! Да разве это само собою не повязно? И разве департамент склонен хоть сколько нибудь

считаться с нашим мнением? Да хоть раскричусь мы тут, ему только смешно будет!... И почему это из великого множества несправедливостей и жестокостей, учиняемых в России, мы должны выделить такую мелочь, которая непосредственно затронет сотню—другую лиц, едва-ли больше? Наши поляки из Намского уезда с особенной горячностью напали на Пика: „уж если выделять частность, то, конечно, русским следовало-бы протестовать прежде всего против угнетения Польши. Вот величайшее пятно на русской совести! Тут уж не о сотне людей идет дело, а о целой нации! да какой! да при каких условиях! да с какими последствиями для самого же русского народа!..“ Задело поляков за живое, и разделили они Пика под орез, да и русские его раскритиковали вдребезги. Пик недовольно замолк, но в душе остался при своем.

Наслышавшись об этом чудеке еще в уезде, при своем ближайшемезде в город я с ним познакомился и после того не раз заглядывал в его крошечную квартирку из двух комнаток, в которых он жил с Софьей Гуревич, ученицей его по московским кружкам, спутницей по арестантской партии, а теперь женой. Ему было двадцать четыре года, ей двадцать. Сама эта Гуревич производила хорошее впечатление: не резкая брюнетка, а мягкая шатенка почти русского вида; кругленькое личико, довольно миловидное; живые, светлоглазые глазки; движения мягкие; голос не крикливый: манера держать себя не развязная и подчеркнуто „товарищеская“ (чего я лично совершенно не выношу), а очень скромная, даже несколько застенчивая; московская барышня среднего круга, не яркая, может быть, но славненькая.

От хорошо ее знавших я слышал, что в Якутске ее совершенно оглушили те немолчные споры, которые в нашей среде велись, где только сойдутся двое-трое, на улусной-ли это квартире, просто-ли на улице, а то хоть и на ступеньках окружной полиции, куда один заворачивал за письмами, а другой за деловой справкой. В отличие от ссыльных позднейшей полосы, когда, под влиянием марксизма, всему у тех подыскивались экономические объяснения и все не-экономическое и немарксистское признавалось ничемным, в описываемое время одни из нас видели глубину премудрости все еще в Прудоне, другие вникали в Маркса, хотя вычитывали у него совсем не то, что вычитывалось позже, третьи были бесколко тронуты Дюрингом, или Генри Джорджем, или еще кем нибудь из современных и даже из очень старых, совсем-было забытых авторов. Ведь „на воле“ многим из нас приходилось разрываться на части, то пропагандиря, то агитиря, то маясь в хлопотах по оборудованию, уже как там сумеешь, тайной типографии, либо в измышлении того, как-бы это раздобыть денег на побег таких-то из тюрьмы. Партийная работа часто превращалась „на воле“ в сплошную суету и в бестолковое метанье из стороны в сторону. Что и раньше-то знал, иным в этой трепке забывалось, а куда там предпринимать новые искания да пытливые углубления в суть вопросов.... А вот в Сибири год за годом проходил для нас тихо-претихо, да и в России-то, по отзывкам тамошней жизни, после провала Шевырева, Осипанова и всей их компании ¹⁾,

¹⁾ Покушение на Александра III-го 1-го марта 1887 года.

зайтишнило наш поток и он застоялся и даже обратной струей ударился. Тут, в недоумении: как-же это все вышло? взялись обескураженные бойцы опять за книги. Ну-ка! не Герцен-ли объяснит, в чем наша беда? не сами-ли классики,—Сен-Симон, Фурье, Луи Блан?... А то не Данилевский-ли? не Страхов-ли? не Аксаков-ли?... Или не перечесть-ли еще раз Карла Маркса и Энгельса?... В поисках новых доводов в подкрепление своей неискоренимой веры в революцию, бросались наши книгоеды и туда и сюда, и от споров у нас при любом сборище в ушах звенело. Софья Гуревич, купеческая дочка, вступившая „в кружок“ тотчас-же по окончании гимназии, как и многие из ее подруг, смотрела на такой шаг, как на нечто необходимое для того, чтобы считать себя действительно интеллигентной девицей. Ну какая-же вполне интеллигентная особа не вращалась „в кружках?“ не встречалась либо с Желябовым, либо с Верой Фигнер, ну, на худой конец, хотя-бы с какой-нибудь приятельницей Веры Фигнер?... Более определенных представлений о кружковой жизни, а тем более о революционной деятельности, у нее тогда не было. В кружке она встретила Сергея Аркадьевича Пика и от него узнала, что всякий честный человек в России должен отдаться подготовке революции, которая сделает всех счастливыми и хорошими. Мбоденькая девушка охотно была-бы готова отдаться такому прекрасному делу, но скромно недоумевала: на что она, простенькая, может в этом деле пригодиться?

Жандармы однако вывели ее из недоумения, арестовав, по указаниям Зубатова, и ее, как и десятки юнцов и юниц одинаковой с нею душевной нетронутости. Иных из них, поморив в тюрьме, выпустили, а эту, как еврейку, отправили в Сибирь. На этапах она сблизилась с Пиком, и как они прибыли в Якутск, так сейчас-же и стали искать духовное лицо, которое, по отсутствию в Якутске раввина, могло-бы их по иудейскому обряду перевенчать. Но Пик был не из таких, чтобы засесть в своем гнездышке и знать-себе ворковать. Он мало того что спорил с другими резко и упрямо, и сам, где ни появлялся, возбуждал ожесточенные споры, внося свою струю и ставя свои излюбленные темы перед изумленной угрюмой публикой. Десятки авторитетнейших имен поминались в этих спорах, цитировались какие-то книги с очень учеными названиями, тут ссылались на какие-то факты, как на общеизвестные, тогда как Гуревич о них впервые слышала... Бедная гимназистка совсем растерялась и почувствовала живую потребность стать вровень с этой средой, знать и понимать то, что все здесь повидимому давно знают. По прибытии в Колымск она непременно решила засесть за книги и учиться, учиться, учиться, по мужски, с задалбливанием, если нужно, с чертежами, с конспектами... Пока-что она сознавала свою слабость и шла за своим Сергеем, как начинающий хорист за регентом, не спуская с него глаз и как любимая женщина, и как прилежная ученица.

Ее герой с вида очень походил на московского мастерового из обруселых цыган. Его темные волосы были только слегка курчавы. Невысокий прямой лоб, короткий прямой нос, резко очерченный подбородок и слегка широковатые скулы на изжелта-смуглом лице этого рожового человека вызывали впе-

чатление скорее легкой татароватости или цыганщины. Однако, его глаза не имели огня и влажности цыганских глаз,—взгляд их был сух и жесток. Суховат и жестковат был и его голос, резковаты движения, резка манера спорить. Нашим он не очень понравился. Наши читали тогда больше всего хороших теоретиков, а по сердцу им были добрые ребята с открытой душой из таких, что родись любой из них полувеком раньше, лихо-бы он распивал пунш с Денисом Давыдовым и рубился-бы с черкесами так, что только считай головы. Почти все любимые герои слагавшейся тогда по кружкам революционной легенды были на подбор молодцами: взять Желябова, взять Германа Лопатина, Сергея Кравчинского, Дмитрия Рогачева, Валериана Осинского, Баранникова,—что революционеры видные; это само собой; а вместе с тем в веселой компании какие балагуры, говорят, были эти идейные люди, да какие занимательные рассказчики! женщины о них сохли, а среди мужчин приятелей у каждого из них всегда водилось хоть отбавляй. Тянуло к ним людей, так как почти все они были красивы и лицом и своей широкой душой. Пик на лихачей этой породы не походил ничуть. Однако, в своем роде был и он стилин, а для меня, притом же, по его духовной физиономии совершенно нов. Поэтому я отнесся к нему, пожалуй, с большим интересом и чуть-ли даже не с большей симпатией, чем вообще улусники. При своих редких наездах из моорукцев в город не миновал я и его квартирки. В крохотной приемной комнатке только-что угнездившейся молодой четы, у крохотного столика, за крохотным самоварчиком „от хозяев“, сидел я не раз, как-бы перелистывая после Фримана, Мэна, Ковалевского и подобных им „Une Page d'Amour“, занесенную случайным ветром сюда, в Якутск. Софья Гуревич присутствовала тут обыкновенно молча и почти всегда за работой: белышмя-то, видно, у них был не велик чемодан, и будущая мученица революции запомнилась мне не с револьвером, а с мирной иглой в руке, от которой она изредка отрывалась, чтобы прислушаться к особенно едкой речи мужа. Пик, начиная говорить, легко возбуждался и принимал тон желчный. Не замечая этого сам, он вставал и продолжал речь стоя, как-бы нападая на слушателя, хотя-бы ему и не возражали. Доставалось от него не только правительству, не только русским за их отношение к евреям, но и самим евреям. Иногда он их даже ругал в негодовании,—зачем они теперь так непохожи на Гедеонов и Маккавеев!

Среди еврейской молодежи этот обличитель приобрел некоторый авторитет. Его последователями являлись, главным образом, лица наиболее юные и наиболее далекие от действительной прикосновенности к революционному движению русского общества. На таких уже самый арест, тюрьма, допросы, а затем и неожиданный приговор—административная высылка года на четыре в западную Сибирь,—подействовали оглушающим образом. Пришли они, успев порядком понастрепаться в арестантских партиях, в Тюмень, а там их ждал новый удар: им сообщили, что их, как евреев, приказано отправить дальше. С бессильными протестами и с тщетными воплями: «но ведь приговор!—там-же прямо сказано:—в Тобольскую губернию!»,—никто из тюремных вла-

стей, конечно, не считался. Всякий чиновник прекрасно понимал, что приговор бумажный—дело прошлое, а сейчас начальство велит вот что.—ну, значит, и слушайся сегодняшнего приказа. А захочет, власть как нибудь по третьему распорядиться.—ну и по третьему поступай. Ня то служба!..

Опять, как и раньше в Нижнем, напихали сыльных в трюм арестантской баржи, прибуксировали к пароходу и потянули по Туре-реке вниз, а из Туры по Тоболу опять вниз, а из Тобола по угрюмому Иртышу то-же вниз, то-есть на север, на дальний север, где воды широки как безбрежное озеро, а леса во весь кругозор затоплены тихими водами, одни маковки зеленеют над грядой. В этих местах, где собственно, трудно было и примечать,—но двигаться начали тише и от прежних редких звезд, не надолго мерцавших по ночам на белом небе, отвернулись. Стали те звезды, на которые раньше напрямки держали, над левым ухом, а на иных плесах перемещались те самые звезды к затылку. Кто сам не понял-бы, тем объяснили: «в Обь вошли, вверх теперь тянемся». По пустынной Оби плыли уже не на север, а на юго-восток, среди чахлых лесов, мимо шатров разнесчастных, всклокоченных, пречахлаго вида остяков. Зрелище это не поднимало настроения. На одиннадцатый день плавания завернули баржу с обских вод вверх по более приветливой Томи-реке и подтянули к Томску. Там выгрузили людей из сырого трюма на солнышко, по счету приняли, окружили новым конвоем и какими-то околицами, минуя город, отвели в пересыльную тюрьму.—огромный четырехугольник, обнесенный высокими палисами, где-то на выезде, среди зеленой равнины с рошицами вдалеке. Тут все стали ждать окончательных назначений. Начальство с назначениями все что-то путало; время шло; опасения начали зарождаться. Потом слухи какие-то пошли. А наконец и выяснилось: это еще не конец пути: евреев приказано отправить дальше—в восточную Сибирь... «Почему же об этом раньше-то не сказали?» „Распоряжения не было“... Наслушався томский тюремный смотритель горьких слов и гневных укоризн. Но ему это, конечно, было ни почем,—арестантская брань на вороту не виснет. Ссылка пошел этапами в восточную Сибирь. Два дня пути, третий—дневка на месте. Два дня пути, третий—дневка... Что ни этап, то новый офицер, новый конвой, новые порядки, новые столкновения... Двадцать переходов путники сделали и пришли на Енисей. К длинному ряду больших и малых тюрем, прибавилась в их дневниках красноярская тюрьма, с вида довольно приличная, но по условиям содержания в тот период наигнуснейшая из всех. Там они были уже в конце лета.

Начальство рассылать их по местам что-то не торопилось, а затем получилось новое распоряжение: евреев отправить в Иркутск. Спорить было напрасно.—пошли понуро в новую даль,—в Иркутск. Опять: два дня пути, третий—дневка: два дня пути, третий—дневка. Раньше, бывало, стесненная тонкой пелью вооруженного конвоя, как подвижной колючей проволокой, уголовная партия человек в пятьсот колышется в густом облаке желтоватой пыли, медленно подвигаясь по обрытой канавками дороге, как ползучее серое чудовище. За лето утоптали эту дорожку тысячи скованных ног и теперь, в такт

грузному шагу большой толпы. бренчат кандалы дружно и мерно. и встречный путешественник из-за леса еще не видит партии, но уже слышит, что она на него надвигается. Если он было вздремнул или улетел куда-то в мечтах, то теперь вспомнит, где он едет — в какой сторонке, по какой дорожке...

Ранним утром покидает партия ночлег и начинает свой звонкий путь прямехонько на восходящее солнце. К вечеру добредает до нового ночлега, — солнце позади, и тени ложатся в сторону движения, опережая людей. От Томска до Красноярска месяц идут все на восток; от Красноярска до Иркутска два месяца подряд без всяких отклонений все на восток, — «к солнцу в гости» смеются арестанты. А солнце только манит и дразнит: начинает показываться позже, уходит раньше; греет скуповатей; свет дает, а ласки от него никакой нет.

С первой желтизной тайги начинает менять свою окраску и партия: наряду с серыми халатами в ней отдельными листочками на тощих стеблях уже бросаются в глаза, желтея то на том, то на другом кандалынике, коротенькие овчинные тулупчики. Позже на сером туловище ползучего чудища начинают проступать уже целые желтые пятна, а под конец пути и все чудище вдвигается в пожелтевшую таежную гущу по дорожной просеке, само желтое идохматое.

Пыли по дороге партия теперь не вздымает. Месит полумерзлую грязь, растягиваясь длинной, не везде одинаково плотной полосой. Сама еле движется, и обоз еле движется, и конвой ковыляет, и не отбивает шаг молодецки и четко. Временами бряканье цепей вдруг стихает: партия приостанавливается перевести дух и пообчистить с наволгших бродней облепившие их комья. На полуэтапах неустойчивая в ее построениях арестантская толпа не сгруживается теперь на обнесенном палями дворе и не торопит своих запевал налаживать скорее хор, — иногда очень не дурной. Разликие и сентиментальные песни, любимые в этом мире, не сменяют уже вплоть до сумерек одна другую, разносясь далеко за тюремной оградой по улицам села, где их слушают пригорюнившиеся сердобольные бабы и запоминают, чтобы ввести в свой репертуар, деревенские парни. Старые бродяги не гудят глубокими басами: «По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там». Разухабистый цыган — конокрад не орет во все горло «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя». Профессиональный убийца из хохлов, довольно красивый малый с мечтательными глазами, не гнет весьма жалостно приятнейшим баритоном «Пусты-жь меню, полковничку, из полку до дома, бо вже скучилась, бо вже змучилась дивчина за мною»... Вся такого рода музыка, как и все моменты этапного благодушествования, отошли с теплыми деньками.

С холоdochками по закоулкам этапного двора как только партия успевала заляпаться, начинали метаться люди с озабоченными и злыми лицами в поисках дров. Подхватывшие где-то поленья отнимались и переприемались друг у друга из рук с руганью и с толчками. Вотсыревших за неделю пустованья, сильно охолодавших этапных камерах до красна накаливались железные печки, уставленные котелками и жестяными чайниками. Около них всегда шла давка, брань и драка. В волочившейся за большой уголовной партией кучке «поли-

тиков" по разнокалиберности и достоинству их одежды люди напоминали французов 12 года, возвращающихся из России. Все они, — раньше такие зазорные и, казалось, отважные, — под конец пути успевали как-то скинуть и выпрести. Что ни день плотное ядро пеших кандалников редело и в далеко расползшемся обозе прибывало больных и в конец расписавшихся. На многих подводах теперь тряслась не убогая арестантская кладь, а бессильные человеческие тела. Косил людей тиф, ломал ревматизм, доедала свои жертвы чахотка. При толчках на глубоких выбоинах дороги человеческие головы колотились о крепкие облучки телег или розвальней и над обозом не умолкали протажные стоны и отборнейшая басистая ругань.

Пересыпанный острой снежной порошей, воздух был тускл и кандалы звучали в нем глухо, а проволока телеграфных столбов гудела уныло и похоронно. В почерневшей, уже совершенно безлистной тайге сквозили ее заплаканные дали. Кусты подлеска торчали какими-то вениками. Побуревшая, жесткая трава спуталась в сплошной колючин отвратительного вида. Сколько было взбираться на крутые подьемы гор и еще хуже приходилось при спуске с тех-же гор с бесконечными загибами и заворотами их заковыристых спусков. Приближаясь ко всякому новому этапу, почти всякий с отчаянием думал, что силы и ему окончательно изменяют: — ну, до этапа доберется, а уж там и свалится! Но с этапа надо было идти дальше, — раскис не раскис, а иди!... И шли.

Наконец прибывали в Иркутск уж по настоящему зимнему снегу и были уверены, что предел скитаний теперь осязательно близок. Еще несколько дней в камере, а там вызовут в тюремную контору и объявят: кого в Тунку, — за двести верст; кого — в Верхотурск, — без малого за триста верст; а кого, может, и еще ближе. Там можно будет нанять избушку, устроиться, поотмыться в бане, поотойти немножко от прелестей этапного пути.

...И вдруг сообщение: — дальше! в Якутскую область!

Наряду с этим приятным известием, в Иркутске некоторые партии получали и другое, столь-же приятное: здесь им предстоит задержаться в тюрьме, так как начальником такой-то конвойной команды против ихней партии возбуждено обвинение по статьям таким-то и таким-то, предусматривающим неповиновение властям, оскорбление должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, действия скопом, и еще то-то, и то-то, и то-то... Опять шли допросы, шла волокита, истрепанные нервы в конце дотрепывались, а поводы к новым столкновениям возникали что ни день. С женщинами делались истерики, дети хворали, происходили тюремные «истории», а при них влетало протестантам почище, чем при этапных...

Потом наступал момент отправки в эту таинственную и страшную «Якутскую область». Нырала партия (уже без уголовных) по горам, мчала ее по Братской степи, неслась она и днем и ночью по лесной «трубе», и через две-три недели вкатывалась в серенький, деревянный городок, окутанный по зимнему времени густыми туманами. Любопытный взор в этом тумане мог заметить только скаты крыш, стены одноэтажных домов, и заборы выше человеческого роста. Далее следовало пустое пространство, а затем ворота тюрьмы. Приехали!

В тюрьме оказывалось, что не тут-то было: евреев приказано отправить всех дальше,—в Средне-Колымск, за две тысячи триста верст отсюда...

Всеми это было принято, как последняя пощечина, завершавшая весь длинный ряд измывательств и терзаний, начавшихся с самой Тюмени. Пик первый произнес слово: „стрелять! живьем не даваться!“, и толпа в отчаянии готова была подхватить роковое слово, плохо отдавая себе отчет в его реальном значении. Осташкин своими распоряжениями относительно способа отправки подбавил жара и слово „стрелять“ стало выкрикиваться уже зараз несколькими голосами.

Однако, от столь решительного заявления, брошенного стгоряча на бурной сходе, до дела еще весьма далеко, тем более, что такие заведомо мужественные люди, как Муханов, Гаусман и многие другие были решительно против общего вооруженного отпора. В душе не веря в действительность опасности, все думая, что власти „не решатся“ в самом-то деле стрелять, толпа единодушно отвергла предложение Зотова выйти ему одному на Осташкина с демонстративным выстрелом, чтобы вызвать этим военный суд и официальное расследование условий колымского пути. Глуха осталась толпа и к благодушно насмешливым увещаниям Муханова: „Ну что там! не потонете! стоит из-за этого стрельбу заводить!“ Папий, борющийся с боевым наводнением пылко и нервно, возбуждал восхищение своим ораторским талантом (писал он тяжеломерно, но слыл лучшим из наших улусных трибунов по яркости живой речи),—цели не достиг и Папий своим трепетно-страстным словом, как и Муханов его непоколебимым здравомыслием. Напрасно Павлюк критиковал проекты Пика мудро и всесторонне, углубляясь и в историю и в философию, приводя доводы от своего богатого революционного опыта,—им тоже восхищались, но шли гурьбой не за этими, не за Гаусманом, в скорбном предвидении предсказавшим почти точь в точь все то, что позже произошло в стенах монастыревского дома,—шли за мало одаренным Пиком, сухощавым желчевиком с резким голосом и с гвоздем в голове.

...Однако, хмель хмелем, а в решающий миг, когда полицмейстер уже вызвал команду, brave офицер Карамзин уже встал у дверей, а солдаты с ружьями выстроились за ним, дрогнули сердца и жуть охватила всех до единого. „Стрельни, попробуй, и что куча битого мяса наполнит людную комнату!... С револьверами в карманах и с мучительным недоумением на лицах, в общей давке, толкотне, смутном гуле и сумятице, отдельные лица, как щепки в потоке, передвигались со всеми к дверям. Минув этот миг без крови,—ее-бы и небыло. Но это Добро минуло, а Лихо тут так уж тут. Позади толпы, над ее головами, блеснуло. Офицер у двери упал. Солдаты враз навели ружья вверх и в небольшой комнате грохнуло, точно потолок свалился. Пик, успевший дать свой роковой выстрел с диванчика у задней стены, выронив револьвер из разжавшейся руки, рухнул на пол с разможенным черепом. Смерть протянула костлявую руку к Софье Гуревич. Та ринулась на ее призыв через шархнувшуюся толпу и оказалась перед солдатами. Подхватив с пола раненого командира, они бегом понесли его к выходу и лестницей во двор. Гуревич гналась за ними, неумело нажимая собачку. Револьвер брал вверх и пули неслись в потолок, но треска было много. Солдат Ризов, не выдержав, на бегу сделал полный оборот назад

и с размаха просадил ее штыком почти насквозь. Она свалилась с громким воплем, но умерла не сразу и долго мучилась, сама в сознании, но других своим видом чуть не сводя с ума.

Это было началом, а там пошло все так, как предсказывал накануне Гаусман. Опушенный солдатами на снег, Карамзин быстро пришел в себя, вскочил на ноги и принял команду. Часть своего войска он расставил цепью против крыльца, а другую часть цепью-же вдоль улицы, против окон, и начался с двух сторон обстрел, а из дома отстреливание.

Двумя часами позже из ворот дома двинулась в тюремной мертвецкой вереница дровней с трупами убитых, а другая вереница направилась в тюремной больнице с ранеными. За ними, окруженная сильным конвоем, шагала по кровавому следу кучка уцелевших в самую тюрьму—ждать суда и расправы.

М. И. Майнов (Саратовец).

(Продолжение следует).

Новое о ленских событиях.

(По данным архива Иркутского губернского жандармского управления).

Шестого июня 1912 г. жандармский полковник Васильев телеграфировал из Бодайбо директору департамента полиции:

„Киренская и витимская агентура сообщила мне, во время проезда, что стачка Бодайбо подготовлена, проведена политическими ссыльными. Агитация началась еще в десятом году, производилась так называемой общественной квартирой, существовавшей хотя нелегально, но полиция ее знала. Там ютились ссыльные. На поддержание этой квартиры собирались деньги, которые давали даже исправник Галкин и бывший мировой судья Иванов. Осенью одиннадцатого года ¹⁾ ссыльные организовали в Бодайбо центр профессионального союза, потом его отделения во всех приисках. Цели союза—экономическая борьба по директивам с.-д. Центр составили 7 человек, коих известны: письмоводитель бывшего мирового судьи Иванова Озолин, ныне скрывается за границей, ревизор поездов Бодайбенской ж. д. Гавриил Сущев, ссыльный Петропавловской волости Назаров, проживавший в Бодайбо нелегально под именем Першина. Какой-то еврей, проживающий здесь именем русского. Его знает урядник Дунаев, но скрывает. На отдельных приисках имеются представители союза; именно: Лишевском—Василий Коджарадзе, Андреевском—бывший депутат второй Думы Нагих, Михайло-Архангельском—бухгалтер Константин Скрипников и какой-то латыш, Весеннем—Михаил Махлин и его жена. Названные лица привлекли на свою сторону некоторых рабочих, подготовили стачку, устроили ее, ведут ныне. Летом 11-го года союз выпустил гектографированное воззвание о своем появлении. Цели союза пропагандировать Назаровым и латышом Киренске на сходках. Приведенные сведения доложены мною ревизирующему сенатору, письменно сообщены прокурору палаты для приложения к следствию. Последнее не установило политической окраски забастовки, почему часть арестованного комитета освобождена. Единственный, дававший показания следствию, рабочий Нурдин использован допросом весьма слабо. Теперь он скрывается опасения места. Ныне здесь распространено обращение сенатора Манухина рабочим стать работу. Многие (зачеркнуто и поставлено большинство) согласны, но еще не стали. Бодайбо агентуры нет совсем. № 24. Полковник Васильев“.

¹⁾ Судя по письму агента „12-го“ (см. ниже), не 1911. а 1910 года.—Ред.

Эти же сведения начальник Иркутского губернского жандармского управления 5-го июня 1912-го года в секретном рапорте за № 21 сообщил прокурору Иркутской судебной палаты. Рапорт прокурору несколько обширнее. В деле о ленских событиях хранится копия с этого рапорта, писанная рукою ротмистра Семёва и исправленная карандашом полковником Васильевым. Здесь начинается обвинение политических ссыльных в организации забастовки, причем полковник Васильев пишет:

„Еще в 1910 году среди политических ссыльных на Бодайбенских золотых приисках стали усиленно говорить о необходимости соорганизоваться для нелегальной работы среди простых рабочих“.

Сообщая о том, что „профессиональный союз поставил своею целью экономическую борьбу“, рапорт прибавляет, что „решено было временно не предъявлять политических требований, так как рабочие Бодайбо еще не созрели для того“.

Фраза о том, что урядник Дунаев „скрывает еврея“ в рапорте прокурору отсутствует.

Оба эти доклада имели двойную цель: с одной стороны, доказать политический характер ленских событий, с другой — скомпрометировать некоторых чинов местной политической власти в глазах высшего начальства; в особенности это относится к исправнику Галкину. И действительно, стоит прочесть показания исправника Галкина для того, чтобы понять всю ненависть к нему со стороны жандармской власти и в первую голову ротмистра Трещенкова ¹⁾.

В своем обширном докладе сенатору Манухину начальник жандармского управления указывал на роль политической ссылки в организации забастовки, чем оправдывал меры, принятые жандармской властью. Основание для такого указания дали яко-бы агентурные сведения и, главным образом, письмо политического ссыльного, перехваченное на почте. Подлинник письма хранится в деле Иркутского губернского жандармского управления. И вот, путем сопоставления целого ряда документов из этого же дела, приходишь к неожиданному выводу: главный жандармский аргумент оказывается сфабрикованным агентом того же управления, носившим кличку „№ 12“. Приводим полностью это интересное письмо:

„Уважаемый товарищ Михаил! Я очень рад, что ты так сильно интересовался нашими условиями на Лене. Ты просишь для статистики сообщить кое что, на что иду навстречу и начинаю следующее: начиная с 1910 года, постараюсь сообщить по сегодняшний день подробно. Девятого марта 1910 года я прибыл в гор. Бодайбо и по прибытии туда сейчас же узнал, что там существует, так называемая, общественная квартира. Цель этой общественной квартиры была следующая: квартира эта была снята напротив бодайбенской больницы в двухэтажном доме в нижнем этаже. Из четырех комнат и кухни. В эту квартиру помещали всех вновь прибывших и старых в гор. Бодайбо

¹⁾ Ответы Галкина на допросах см. в книге „История о ленских событиях“. Москва, 1913, стр. 134—137.

ненищих ссыльно-политических, и до нахождения им работ комиссия оказывала им поддержку материально. Существовала, так называемая, комиссия из трех членов. Туда входили—от наших разумеется, ссыльно-политические—некто Габалов Аветис Григорьевич, конторщик при станции Бодайбенской железной дороги, 2. Скрынников Александр Константинович, бухгалтер при лесном деле Бутылкина, 3. Азолин, письмоводитель бывшего мирового судьи Иванова. Эта комиссия снимала общественную квартиру, и она являлась ответственной перед домохозяином и проч. Комиссия эта собирала денег от своих же ссыльно-политических от состоящих на должности либо от работающих из 2-х процентов из известной заработанной ими суммы, поступали частные пожертвования, и этими деньгами поддерживали безработных, расплачивались с домохозяином, давали деньгами на дорогу тем товарищам, которым предстоял арест за проживание без видов на жительство и отправляли дальше и проч. (Аресты могут быть лишь только по предписанию нашего киренского исправника или же волостного правления по розыску таковых). Одно очень даже радостное явление для нас, не поверишь, дружок, что сам господин гори. исправник Галкин жертвовал денег на несколько рубликов ежемесячно, да и не могло быть иначе, потому что сыновья у него, оказывается, не по одному разу сидели в тюрьмах, как вранольники; в эту кассу вносили и сам мировой судья, теперь бывший, а тогда настоящий, Иванов, так, что исправник Галкин передавал мировому судье Иванову, а Иванов передавал своему письмоводителю нашему товарищу Азолину. Азолин—он же заведывал паспортами. Мне неизвестно, откуда доставались паспорта, бланки, и выдавал он—Азолин всем тем нелегальным товарищам, которые нуждались в таковых.

В кассу вносили ежемесячно и аккуратно попечитель больницы, Бутылкин и многие другие, которых я позабыл. Поддерживал и урядник горнободайбенский Дунаев Михаил Петрович, которого привели от Бодайбо на Липавский прииск; жалко: признаться, жил он в городе—помогал очень много, как в центре от приисков чем он может помочь? Одним словом, местная администрация оказалась довольно либеральными, да и публика такая же, которая питала и питает к нам полную симпатию, чего и надо нам. Тогда при мне и теперь, в самом городе Бодайбо, жили и живут масса наших ребят под видом легального человека, в особенности товарищи-евреи. Отлично знает обо всем этом местная администрация, и все это ничего. Да что же ты скажешь, когда обществен. квартира вполне нелегальная существовала в самом центре на глазах местной полиции, и ни слова... Всегда могли застать в квартире человек 20, 30 и больше легальных и нелегальных, и жили спокойно. Урядник Дунаев, я помню, что при мне посещал раза три. Бывало, зайдет, подорогается, посидит так с полчаса, побеседует, попрощается, пожелает наилучшего и проч. Расскажу лучшего примера: 1910 г., так приблизительно в марте или апреле месяце, неожиданно были арестованы урядником Дунаевым бывшие солдаты—некто Куропятников Илья Степанович и Унапкошвили Иван. Мы даже удивились,—как так таких ребят арестовал Дунаев, и говорили между собой: „не разубедился ли ур. Дунаев, что арестовывает наших ребят“. На дру-

той день ихнего ареста обратились к Дунаеву хозяева арестованных товарищей: 1, трактирщик Гусаров, 2, колбасник Людовиг. Просит, конечно, освободить их из тюрьмы. Дунаев ответил, что он узнает об этом, по чьему распоряжению арестованы они, если нет чего либо важного, то он освободит их сейчас же. Узнав, действительно, что они арестованы по предписанию исправника киренского округа по неважному делу, и он выпустил их только до 1-й партии, т. е., до открытия летней дороги. Открылась дорога, эти два товарища явились к ур. Дунаеву и таким путем последовали в Киренск. Прибыли в Киренск, представили их к исправнику. Исправник им объявил, что вы дважды не имеете права жить в горных округах: 1) что не имеют видов на жительство, 2) что они подвергаются известному наказанию по делу похорон в Ильимске одного умершего ссыльно-политического моряка матроса. Наказание заключалось в следующем: кажется еще в 1909 г. в Ильимске умер один товарищ-матрос. Хорошили его демонстративно, пели „Мы жертвой пали“ и проч. За что принимавших участие в этом процессе расформировали и от Ильимской волости разогнали по другим волостям. Вот в том числе оказались эти товарищи Куропятников Илья Степанович и Унапкошвили Иван. Исправником было объявлено, что за этот процесс они перемещаются от Ильимской волости в Преображенскую и что таким же этапным порядком будут отправлены туда, чего и привел в исполнение. По распоряжению киренского исправника Макарова они были отправлены, будто бы, в Преображенскую волость, а на самом деле они доехали до границ, т. е., до с. Чечуйск, подарили, как вообще делается, крестьянам по 20 коп., и пустили их в какую сторону только угодно. Приблизительно высланные товарищи в последних числах июля или так августа месяца, не имея никаких документов и видов на жительство, прибыли в Бодайбо, жили и ходили открыто на глазах ур. Дунаева, спрашивал даже Дунаев, как путешествовали и проч. И что жили они без всяких видов, об этом ур. Дунаеву было известно, как должностному лицу, лучше, чем нам, и все это ничего. Эти же товарищи поступили по-старому к своим старым хозяевам: Куропятников Илья Степанович к трактирщику Гусарову, а Унапкошвили Иван к колбаснику Людовигу. Куропятников, послужив мало времени у Гусарова, вскоре поступил в общественном собрании за маркиора в биллиардном, и сейчас служит там, он организует биллиард, который не раз, наверно, подавал шаров самому исправнику Галкину и проч. А Унапкошвили теперь, как передают, открыл собственную колбасную мастерскую и живут совершенно беспрепятственно в самом гор. Бодайбо. Таких случаев и примеров, дружок, очень много в нашей жизни. Живут нелегально очень много, знает полиция почти всех в лицо, и как будто ничего, чего и надо нам. Да, главного то я чуть не пропустил, вот что, товарищ Михаил, — с 1910 года, так приблизительно октября месяца, сошлись мы человек пять, потолковали и решили создать хоть пока да маленькую какую либо организацию. Мы назвали себя инициативной группой, которые в скором времени созвали собрание в самом в г. Бодайбо. Собрание было у нас на квартире Льва Григорьевича Голубкова, на этом собрании почти все без исключения пришли к такому заключению, что необходимо иметь таковую

только лишь беспартийную, на что и согласились, да и нельзя было создать партийную, потому что туда вошли и эс-деки, и эс-эры, и анархисты и проч. убеждениями, поэтому и пришлось согласиться на таковую, иначе получилось бы раскол и разрушилось бы все на свете. Тут же на собрании выбрали редакционную комиссию, в которую вошли три человека: 1) Голубков Лев Григорьевич, москвич, окончивший курс высшего образования, пошел сюда как редактор московского большевистского органа, в Бодайбо он учителем и жил при мне на квартире у Екатерины Мясниковой. Там же собирались очень часто. 2) Азолин, тогда письмоводитель мирового судьи Иванова и я—твой покорный слуга. На 4 день мы созвали общее собрание и доложили нашу редакцию. Собрание после долгого прения выхерило некоторых пунктов нашей редакции и внесло некоторых пунктов и примечания. Редакция эта больше содержит в себе разрешить свою организацию, по мере возможности иметь своих членов и представителей на каждом прииске, поставила себе задачей таким путем ввести самую усиленную пропаганду, агитацию среди приисковых рабочих на чисто экономической почве и проч., в чем и можешь убедиться, дружок, что забастовка на приисках была довольно подготовленная и сознательная. Организация самая была в центре, конечно, как это вообще делается, тут входил Азолин, Александр Константинович, на Михаил-Архангельском прииске к Бутылкину и Иванову, бывшему мировому судье, и к-о там же служит; он же представителем организации. Краукис (латыш), Непомнящий и Скворцов, кажется, фамилия четвертого члена, Греденю слесарь, тогда работал в мастерских ж. дороги, а теперь работает на Андреевском прииске, он же принимал горячее участие в забастовочном бюро, Сущкин, Гавриил Георгиевич конторщик на станции Бодайбо, он же ревизор поездов и особа, тоже конторщик там же, он же профессионал артист трагик; часто выступал на сцену в железнодорожном собрании. Эти два товарища в последних числах мая месяца приехали Верхояленом Киренск и сказали, что провожают только жену Жигалову, они едут на родину, а сами вскоре вернутся обратно в Киренск. Сказано было все для отвода глаз, а на самом деле вышло так, что улетучились сами в заграницу. Точно таким же путем отправились еще 1910 г. Габалов Аветис Григорьевич, кавказец Тифлисской губ. Нашел через Харбина интересную вещь, писал он мне из Шан-Хая, что он ехал и по дороге в вагоне у него украли пиджак, а в пиджаке у него был паспорт, по прибытии в Харбин обратился к полицеймейстеру и заявил, что украли пиджак и паспорт, а полицеймейстер ему посоветовал явиться к нему в канцелярию завтра, представить ему рубль скопейками для публикации и о том сделает все, что только нужно, он, конечно, вышел отсюда и пошел путешествовать дальше, где и пробрался благополучно; да вообще легко пробираются через Харбин, чем через Россию. Он сейчас находится в Турции в самом Константинополе, не как Габалов, а как Петронин. Переписывался со мною до сего времени, а теперь почему-то перестал. Приехала к нему жена Палина Петровна. В прошлом году—так приблизительно июле ме-це—приехал Бороном (!) Азолин и пробрался в Америку, пишет он своему близкому товарищу латышу

Гринфельду — Да, членами этой организации входили Азолин, Гелецкий Константин Лукич, учительствует в Бодайбо, Першин Василий Васильевич, настоящая его фамилия Назаров. В прошлом году он выехал за паспортом в волость Петропавловскую и жил зиму в волосте, живописец, живет сейчас в Бодайбо Игнатий или Игнатъев, не помню хорошо. Один еврейчик Авраам Моисеевич, фамилия которого не знаю, он из Преображенской волости, живет под видом русского человека, и учит местных еврейских детей в еврейскому языку, Лопата, конторщик Горелова или Грязева, Макаровской волости, жена у него незаконная и вдобавок еврейка из России, которая не имеет право на жительство здесь, ездила она в прошлом году на родину и приехала обратно. На Андреевском прииске Нагих — бывший член 2-ой Гос. Думы вс.-дек. фракций, который усердно принимал участие в забастовочном бюро. Знаю твердо, что Нагих и Гренденко с женами живут там же, на Андреевском прииске, рассказала мне лично приехавшая в Киренск жена арестованного делегата Андреевских приисков Ефима Мимогладова, что провожали лично ее. На Лепасевском прииске Кавжорадзе Василий Георгиевич служит конторщиком у материального Елкина. На Весеннем прииске Махлин Михаил Вениаминович и жена его Махлина Александра Семенова, словом — их масса, которых по фамилии не знаю, узнаю, дружок, и постараюсь сообщить точно и подробно обо всем.

Довольно хорошо вышло у нас на Бодайбо, что собрали деньги между собою. Я, по крайней мере, пожертвовал 5 рублей. Словом, собрали достаточно и послали через Голубкова и Сушкина в Москву, в Петербург и проч. за книгами. Вскоре они поступили к нам в Бодайбо на имя Голубкова, получили их из почты и учредили свою собственную библиотеку, ею заведывал, по решению данной организации, Голубков, словом, дела были хороши, пока я был там, а дальше я знаю мало, знаю мало потому, что оторвался от них, открыл здесь в Киренске свою собственную торговлю и отстал от них совершенно, а теперь, раз ты так просишь и не имеешь больше знакомых, кроме меня, я постараюсь внимнуть еще глубже и сообщать, как можно точнее, только не обещаю писать чуть-ли не каждый день. Нет, дружок, лучше буду писать редко, да метко. Не правда-ли, а? — Недавно выпустили из Киренской тюрьмы делегатов, арестованных на Андреевском прииске, пятерых — эти товарищи ночевали у меня две ночи до почтового парохода и потом отправились обратно в Бодайбо; провожал их сам лично, за исключением Ефима Мимогладова. Ефим Мимогладов получил телеграмму от жены Пелагеи, что она выехала и едет в Киренск, он и остался до приезда жены. Жена его приехала и остановилась у меня, как у хорошего знакомого. Да вообще все прибывшие товарищи знакомые по знакомству, да не знакомые — по протекже, останавливаются у меня. Она-же, т. е. жена Мимогладова, рассказала, что Нагих и Гренденко с женами вместе с нею сели на пароход и хотели ехать в Киренск, но почему-то раздумали, сошли с парохода и вернулись обратно на Андреевский прииск, так что Нагих и Гренденко, по словам жены Мимогладова, с женами сейчас находятся там, которые принимали горячее участие в забастовочном бюро. Мимогладов жену свою Пелагею отправил

на родину, в Красноярск из Киренска в субботу 16 числа с. м. на пароходе Петра, а сам поехал обратно на прииск. Воскресение 17-го графом Игнатьевым этим-же пароходом того-же числа отправили через полицию остальных трех товарищей-делегатов, оставшихся под стражей и проч. обратно в Бодайбо. Были у меня, купили на дорогу кой-что из честных припасов, провожал я их лично, так что без всякого сомнения. Словом, товарищ Михаил, я считаю себя счастливым, что имею широкое знакомство и доверие среди нашей публики, хотя это знакомство для меня стоит, но что же, Бог с ними, наша обязанность такова, ^и считаться не следует, а надо помогать, кто чем может; чем богат, тем и рад, говорят русские люди. Недавно ушел от нашего уезда один довольно симпатичный товарищ некто Копель Соломонов, я ему даже был должен 60 руб., уплатил ему сполна и провожал; целую ночь до отхода парохода просидел у меня; мы, конечно, поужинали основательно, и так приблизительно около 5 час. утра отошел пароход и увез товарища, с которым крайне не хотелось расстаться. Недавно я получил от него из Челябинска открытку с видом г. Петропавловска. Шлет привет мне и жене моей Наталье. Открытку для доказательства при сем прилагаю. Маршрут у этого товарища таковой: ехать прямо на родину, побыть там несколько дней, повидаться с родителями и вскоре поторопиться за границу.—В декабре ме-це проездом у меня в номерах остановился мой хороший знакомый из гор. Бодайбо, который передал мне, что брат бодайбенского урядника теперь Шишкина, он-же Шишкин, служащий на Федосиевском прииске, едуци в Витим, привез с собою несколько зарядов динамита, кажется, 5 патронов, украденных из шахтов, № не помню точно, кажется 77 и проч.; их он привез в Бодайбо и остановился у брата урядника Шишкина. Динамит этот он сдал на хранение ему же, т. е. брату урядника, Шишкину. Через несколько дней динамиты эти были перенесены к моему проезжему, к Степану Федоровичу Божедомову. он-же Сарапулов. Из Бодайбо Сарапулов этот и Шишкин отправились в Витим, были вызваны к призыву по воинской повинности, прибыли туда, т. е., Витим, и динамитов этих привезли туда, как он передал. Цель Шишкина была по злобе к начальнику витимской почтовой телеграфной конторы создать группу и напасть на почту, но чем кончилось, дальше неизвестно, а что динамиты эти хранились в Бодайбо у урядника Шишкина—это факт. Квартирант мой был признан годным к службе. И киренским воинским начальником был отправлен в Иркутск, кажется, в 28 полк. Я имел от него письма, где он писал, что принят и зачислен в 28 полк и что в настоящем времени лежит в больнице.

Зимю, так приблизительно в январе или феврале ме-це, ко мне пришли двое кавказцы, временно живущие в гор. Киренске, некто Алиапкар персианин, сильно поселенцы и Мирзабек, первый уехал и живет сейчас в Жигалове или в Кочуке, а второй, сам Мирзабек; арестован и помещается в Киренской местной тюрьме за убийство. Эти господа мне предложили принять золотых монет фальшивых для сбыта, их показали мне одну штук; я обещал, что с удовольствием могу принять и т. д. Но, к сожалению, комбинация наша пр-

газилась, по случаю двух очередных убийств в киренской тюрьме. Фабрикация эта производилась в тюрьме, и после убийства арестантов начали держать в запертых казематах и поэтому прекратилась вся работа. Твердо знаю, что фабрикация эта, действительно, действовала в тюрьме; знаю от Харатова Мелика, он же Емельяна, он просидел ровно три года в киренской тюрьме, и он, как мой хорошо знакомый и как земляк, не скрывает от меня ничего, сознается чистосердечно во всем. Видел, дружок, что творится у нас в Сибири, тем паче в Киренске, что и в тюрьмах существует фабрикация фальшивых денег. Словом, для тебя служит хорошим и довольно интересным материалом для статистики. Дальше, дружок, постараюсь сообщать более подробно относительно выходов вообще наших местных полицейских, если, конечно, требуются такие вещи для тебя. Пиши, пожалуйста, задавай вопросы без стеснения, а для тебя сделаю все, как для хорошего друга, постараюсь потратить время и сообщить обо всем подробно, конечно, чего сумею, и ничуть неложно, а истину. Пока до свидания. Целую тебя крепко. Твой И. Г. М. № 12. Дальше я не буду подписываться И. Г. М., а просто № 12, а то, Бог знает, переписки попадутся лицам компетентным, выяснится все и вдобавок могу попасть еще в тюрьму. И, действительно, сколько мне ни приходилось сидеть в тюрьмах только из-за переписок. Страшное дело, как не везет мне. В Сибирь пошел тоже за перепиской, и потому, что всегда подписью; если бы не подпись, то и не было бы ничего. Итак, значит, № 12^а.

В деле жандармского управления имеется обширный донос того же № 12, характеризующий персонально всех участников „стачечного комитета“ и их дальнейшие судьбы, после бегства отдельных лиц из Бодайбо.

Из этого доноса видно, что № 12 был, повидимому, из ссыльных. Совершив ряд предательств, секретный сотрудник № 12 ждет от жандармского управления награду за свои труды.

15 июля 1912 года он пишет полковнику Васильеву (На подлиннике надпись— № 4. Получено 28 VII—12 г.):

„Честь имею донести вашему высочордию следующие обстоятельства дел:

Ссыльно-политический, состоящий на причислении с. Мухтунск, Витимской волости, Киренского уезда, Алексей Николаевич Алешковский, который еще в 1909 г. из Илимска, по делу нелегальной типографии, был временно, до выяснения дел, переведен в Киренск под надзором, вследствие чего был причислен в с. Мухтуй, и который является крайне политическо-деятельным и популярным в среде местной политической публики и который принимал горячее участие в комиссии по делу суда над Асмаковым совместно с Фодеевым и Гербовским, в настоящее время занимает довольно серьезную должность на пароходе Готовых. Он, А. Н. Алешковский, состоит контролером на почтово-пассажирских пароходах и раз'езжает от Усть-Кута вплоть до самого Якутска. Алешковский, как таковой, свободно может провозить нелегальную литературу и лиц, намеревающихся бежать из ссылки. Он уже провез совершенно бесплатно до Усть-Кута некто Копель-Саломонова, о котором было донесено мною своевременно, и было предъявлено открытое письмо из Челябинска—вид

г. Петропавловска. Да кроме того может оказать противникам их большое препятствие. Например: в день прибытия вашего в Киренск я лично прибыл к пароходу, хотя немного поздно, но имел много времени еще сделать кое-что, но к великому моему сожалению не мог добраться до вас лишь только потому, что Алешковский был на пароходе и следовал дальше с вами вплоть до самого Усть-Кута. Я сам лично хотел поехать до Усть-Кута для личного переговора с вами и не поехал потому, что на этом пароходе был Алешковский и провожал, как контролер. Следовательно, ваши документы мною были переданы вам через вокмистра Руппы. Алешковский зорко следит вообще за всеми сильно-политическими движениями, в особенности за мною.

Таковую же должность занимает некто сильно-политический Крахмалов. Ввиду вышеизложенного, покорно прошу ваше высочордие сделать надлежащее распоряжение, убрать таковых от вышеупомянутых должностей и пришить к месту своего причисления. При сем совокупаю, что месяца, приблизительно, через два, мне лично предвидится должность, по которой буду раз'езжать по двум уездам, т. е. по Верхотенскому и Киренскому уезду от Кочуги до самой Мачи, где сумею собирать и давать больше материала, нежели сейчас, конечно, если только сумею пристроиться на таковую. № 12*.

Из дела не видно, чем окончились эти домогательства. Но судя по результатам следствия все усилия жандармской власти пропали почти даром.

3 июля полковник Васильев секретно доносит в Петербург директору департамента полиции:

„Судебное следствие, равно расследование сенатора, закончены. Политический характер стачки формально не удалось доказать. Дело велось исключительно допросом свидетелей. Промакх полиции в начале забастовки теперь трудно было поправить, тем более, что обыски не производились. Допросы ротмистра Трещенкова закончены, сенатор разрешил увезти его. В виду продолжавшихся настойчивых сведений подготовке покушения Трещенкова везу его четвертого Иркутск вместе ротмистром Семеем, двумя унтер-офицерами, стражниками. Чины ревизии уезжают шестого, восьмого. № 46. Полковник Васильев. 3—VII—12. Бодайбо“.

С этого момента дело о ленских событиях начинает пестреть донесениями о готовящихся покушениях на ротмистра Трещенкова.

На основании телеграммы департамента полиции, начальник иркутского губернского жандармского управления секретным отношением от 28 июня 1912 г. за № 36 из Бодайбо сообщает губернским властям:

„Департамент полиции сообщил по телеграфу о том, что в Париже по подложному паспорту на имя Гладкова проживает бежавший из Сибири террорист Владимир Михайлов Косарев, предполагающий скоро прибыть в г. Бодайбо для совершения террористического акта в отместку за ленские события.—Приметы Косарева: 25 лет, низкого роста, коренастый, одутловатое лицо, шатен, глаза большие, черные маленькие усы, бороду бреет, нос прямой; в то время он одевался плохо, носил толстый парусиновый костюм без жилета, черную каскетку.

Сообщая об изложенном, прошу распоряжения предписать полиции в Бодайбо, Киренске и Верхоленске о наблюдении за появлением упомянутой личности на предмет его задержания. Полковник Васильев*.

А 29 июня помощник начальника иркутского губернского жандармского управления ротмистр Кулинский телеграфирует из Иркутска в Бодайбо ротмистру Трещенкову: „Мной получены достоверные сведения Бодайбо в начале мая командирован член летучего боевого отряда сибирских эс-эров производя в отношении вас террористического акта; будьте особенно осторожны пути из Бодайбо. Первоисточник сведений скройте. Номер 2714. Ротмистр Кулинский*.

30 июня летит новая телеграмма иркутскому губернатору: „№ 39. Секретно. В. Срочно. Получены достоверные сведения, что еще в начале мая с. г. в г. Бодайбо командирован член летучего боевого отряда партии сибирских социалистов-революционеров для производства террористического акта по отношению ротмистра Трещенкова.

Сообщая об изложенном, прошу распоряжения предписать полиции Бодайбо, Киренского и Верхоленского уездов иметь неослабное наблюдение за появлением упомянутой личности на предмет ее задержания. Приметы неизвестны.—Полковник Васильев.“

У страха глаза велики. Преступления Трещенкова столь велики, что власти уверовали в неизбежность на него покушения. Тогда они решают увести кровавого ротмистра в Иркутск. Дабы замести следы своего отъезда прибегают к следующей хитрости. 3-го июля 1912 г. полковник Васильев телеграфирует в Иркутск ротмистру Кулинскому: „Иркутск, ротмистру Кулинскому. Ротмистр Трещенков выедет отсюда после двадцать пятого пятницу; служебную его переписку направляйте в Бодайбо. Этот открытый текст написан умышленно для наведения ложный след. Трещенков выезжает со мной, Семекой четвертого. Передайте Кашену. № 47. Полковник Васильев*.

Но раньше, чем уехать из Бодайбо, полковнику Васильеву пришлось отписываться от еще одной неприятной телеграммы. 3-го июля за директора департамента полиции Кафафов телеграфировал полковнику Васильеву:

„Бодайбо полковнику Васильеву— газетах сообщается, будто бы ротмистр Трещенков предается сенаторской ревизией суду ввиду обнаружения делопроизводств. Белозерова денежных выдач ему на сумму 2400 рублей и по 15 рублей суточных с четвертого апреля. Телеграфируйте надлежащие сведения. За директора Кафафов“. Номера на этой депеше не было.

На это полковник Васильев ответил: „Петербург директору департамента полиции — Вчера я прибыл из тайги Бодайбо по дороге Иркутск. Перед отъездом явился сенатору, он не говорил мне по поводу денежных выдач ротмистру Трещенкову, которому ревизией также не пред'являлось такового вопроса, и суду он пока не предан. Виду оглашения газетах я сегодня прямо спросил ротмистра Трещенкова, и он, возмущенный, присутствием ротмистра Семека, дал мне честное слово, что таких случаев не было. На днях однако губернатор говорил мне лично, будто бы компрометирующие ротмистра Трещенкова записи найдены книгах Белозерова, источника сведений

не упомянул. Возможно означенные сведения сообщил находящемуся здесь корреспонденту „Русского Слова“ чиновник поручений губернатора Майн, непосредственно исполняющий все поручения забастовке, имеющий сношения упомянутым корреспондентом. Доношу дополнение № 50 моего № 46. Подписал полковник Васильев“.

Прошел год. Близилась годовщина ленского расстрела. В промерзшей приленской земле еще не истлели трупы убитых. И чувство страха закрадывается в душу тех, кто внутренне чувствовал себя виновниками бойни.

21 марта временно управляющий Битимским и Олекминским горными округами секретным отношением за № 895 сообщает помощнику начальника Иркутского губернского жандармского управления, подполковнику Шимановскому:

„По полученным мною сведениям в ночь с 19 на 20 марта в казарме № 47 Александровского прииска собралось около 35 рабочих, и один из них, личность коего не установлена, прочитал две телеграммы, яко-бы от рабочих тульских заводов.

В этих телеграммах будто бы содержались просьбы бастовать 4 апреля и постоять за себя, отомстив за пролитую кровь.

Сообщая о сем вашему высокоблагородию, прошу, если вы признаете это необходимым и возможным, установить путем надлежащего расследования были ли подобные телеграммы получены в Бодайбенской почтово-телеграфной конторе, и кому они были адресованы. Временно управляющий Битимским и Олекминским горными округами капитан Римский-Корсаков“.

А 1-го апреля за № 979 тот же капитан Римский-Корсаков препроводил жандармскому подполковнику Шимановскому копии двух докладов горного исправника Бутлера „о преступной агитации некоторых лиц среди рабочих Ленского Золотопромышленного Товарищества с целью вызвать забастовку на приисках и предъявления к администрации ряда требований, с применением, для достижения успеха забастовки даже террора“.

В первом докладе Бутлер пишет: „Главнуправляющий Ленского Товарищества письмом от 9 сего марта сообщил мне, что один из самых ярых забастовщиков прошлого года, некий Зборенко, появился вновь на промыслах и поступил на работу на Александровский прииск по чужому паспорту. Кроме того, я получил заявление, что на Александровский прииск за последнее время стали появляться разные посторонние, не служащие в Ленском Товариществе люди, которые, посещая казармы рабочих, агитируют среди них и подбивают к новой забастовке.

В виду этого и в целях проверки полученных мною сведений, я в 3 часа в ночь с 22 на 23 сего марта перекинул на усиление александровской команды горно-полицейских стражников с Феодосиевской команды 26 человек и Надеждинской— 4 человека. Туда же были вызваны пристав 2-го стана Витимского горного округа Ирасовский и горно-полицейский урядник Феодосиевского участка Соколов.

Стинув, таким образом, сводную в 55 человек команду горно-полицейских стражников при двух урядниках Александровского и Феодосиевского участков,

и имея в своем распоряжении пристава Красновского, я в 4 часа ночи прибыл на место рабочих казарм и личным распоряжением оцепил их. Казармы эти составляют семь двухэтажных и десять одноэтажных построек, имея в себе 56 отдельных номеров-помещений.

Оцепив, наряду было приказано находиться снаружи у дверей и не тревожить покоя рабочих до 6-ти-часового утреннего гудка, призывающего их на работу. При этом было разъяснено, что из помещения до особого распоряжения они никого не должны выпускать, и что обход будет производиться лично мною по порядку расположенных корпусов. Это делалось, главным образом, в той цели, чтобы задержать вышеуказанного забастовщика Зборенко, так как его в лицо знал и мог лишь указать один стражник Горбунов, который находился при мне при выпуске из помещений рабочих.

Ровно в 6 часов после сивиста было приступлено к выпуску из номеров помещений на работу. Рабочие выходили и, проходя выходную дверь, представляли мне свой номер-бирку. У некоторых, около 10 процентов, бирок не оказалось, чего не должно было быть, — так как эти знаки, устанавливающие их самоличность и причастность к работам Ленского Товарищества, вне работы должны быть у них на руках. В удостоверении самоличности и принадлежности к числу рабочих последние представляли мне свои расчетные книжки и тетради на заборку в артельной кухне продуктов.

Принимая таким порядком меры к задержанию названного Зборенко и выяснения его преступного пребывания на приисках под чужой фамилией, я, при выпуске рабочих из казармы № 11 по указанию стражника Горбунова, задержал Зборенко. По выяснении обстоятельств его нахождения на приисках, к моему величайшему изумлению, Зборенко представил мне свою бирку за № 3947 и расчетную книжку за тем же номером, выданную ему 2-й дистанцией на время операций 1912—13 г.г., где он именуется своим настоящим именем и фамилией „Степан Зборенко“. По осмотре представленной книжки оказалось, что Зборенко принят на службу 1-го октября 1912 года, и что паспорт для него от 11 января 1913 года за № 5-м выписан конторой прииска. Тут я должен оговорить, что Феодосиевский прииск, на котором до и во время забастовки находился Зборенко, находится в той же 2-й дистанции, где и Александровский прииск.

В виду выше доложенных обстоятельств, пребывание Зборенко на Александровском приiske должно было быть признано вполне законным и легальным, почему я и был лишен возможности, не имея фактических данных вредной агитации и пропаганды его в настоящее время, изъять его из среды рабочих Александровского прииска и ограничился отобранием от него предупредительной подписки, которая, конечно, никакого существенного значения в дальнейшем иметь не может, но я был вынужден это сделать, чтобы чем либо закончить свое распоряжение о его задержании. Об этом я с препровождением бирки и расчетной книжки за № 3947, отобранных от Зборенко, сообщил 24 сего марта за № 2 главноуправляющему промыслами.

Проверяя наличность ночевавших в рабочих казармах Александровского прииска, мною было обнаружено 55 человек, не входящих в состав рабочих

Александровского прииска, среди которых некоторые оказались без установленных видов на жительство, и все они без определенных занятий, хотя некоторые объяснили мне, что пришли для наемки. Часть из них—только что уволенные и рассчитанные с других приисков, а другая часть приезжих. Последние по преимуществу принадлежат к тем, которые работали на приисках в 1912 году и участвовали в забастовке.

Это последнее обстоятельство в связи с полученными мною сведениями, что на прииске этом появились разные сторонние люди, которые агитируют среди рабочих и подбивают их к новой забастовке, а равно наступающим роковым 4 апреля, вынудили меня, исключительно в целях принятия возложенных на меня службой мер к предупреждению могущих быть осложнений и беспорядков, всех обнаруженных в числе 55 человек, не принадлежащих к контингенту приисковых рабочих, задержать до обследования как их документов, так и целей пребывания их в казармах рабочих Александровского прииска, где они безусловно на то права не имели“.

Во втором докладе тот же Бутлер сообщает капитану Римскому-Корсакову, что „полицейский урядник Александровского участка, Понежа, сего числа доложил мне, что агентурным путем он узнал, что на прииск Ленского Золотопромышленного Товарищества приехал еще в начале зимы некий Сергей с целью агитации между рабочими. Агитацию свою он сводит к тому, чтобы устроить не в далеком будущем забастовку и путем этим добиться 8-часового рабочего дня, прибавки заработной платы, улучшения жизненных продуктов. Кроме того, этот Сергей агитирует в целях постановки памятника на могиле павших 4-го апреля 1912 года при столкновении с войсками.

Этот агитатор убеждает рабочих в безусловной необходимости забастовки, причем намерен сам лично выступить с террором. Он имеет список и ходит между рабочими, предлагая им присоединиться к его идее. Он говорит, что забастовка прошлая много улучшила быт ленских рабочих, и уверяет, что новая забастовка даст рабочим еще больше прав. При этом он уверяет, что в забастовке все приготовлено, и она не будет неожиданной. По слухам, этот Сергей арестован мною при обходе рабочих казарм 28 марта на Александровском прииске, но рабочие уверены, что он будет освобожден, так как документы его, по которым он проживает, чистые“.

Заканчивается дело краткой сводкой рабочих, не вышедших на работу 4 апреля 1913 г.

Небывалый (по тогдашнему даже времени) расстрел безоружных рабочих вызвал бурный крик негодования во всей честно-мыслящей части страны. Но нашлись люди—не только в Госуд. Думе, но и в самом Бодайбо, увидевшие в расстреле перл государственной мудрости. Ниже мы приводим необычайно интересный документ, переданный сенатору Манухину:

„Ваше Высочайшее Превосходительство, Высокопоставленный Русский Болгарин, Сергей Сергеевич.

Смею думать, что Вам, как безгранично обремененному высочайшею властью, по делу Ленского Золотопромышленного Товарищества, нужна одна

только правда, а в особенности по стрельбе в бастующих, поэтому, не увлекаясь никакими печатными иллюзиями, никакими газетными сплетнями, находящимися в полном, и если можно так выразиться, пристрастном заблуждении, со всеми их репортерами, ставшими на сторону бастующих, не исключая и Государственной Думы, из которой только два депутата, это г.г. Замысловский и Марков II, взглянули на дело как следует и резюмировали правильно, а то никто не вспомнил и не обмолвился о том, что не были ли охвачены забастовкою еще другие люди, кроме бастующих, что, дескать, как им живется? Как они себя чувствуют? Как они переживают все время бушующей толпы, так что об этом как будто никому нет никакого дела. И все симпатии на стороне одних только бастующих, только один господин ротмистр Трещенков, дай ему Бог здоровья, вспомнил о нас, только он один не забыл и встал действительным защитником нас и нашего имущества, один только он не растерялся и дал понять всей взбунтовавшейся беспардонной толпе, готовящейся беспощадно уничтожить все, что только есть на поверхности земли Ленской и Алексинской округ, не исключая разумного человека и бессловесного животного, что в его руках есть средство, которым можно приостановить всякую злую волю, всякую пагубную попытку и, как раз средство это применил во-время. Устранив каких-нибудь полтора-два негодяев, он спас не менее 15-ти тысяч человеческих жизней, неимоверное множество скота, который должен был переколоть с голода, и неисчислимое множество грандиозных и мелких обывательских построек. Такому благополучию—все мы оставались живыми—обязаны так это именно его энергии и не растерявшемуся его уму, и это более, чем ясно и справедливо, как видно из того, что он, Трещенков, не растерялся даже в такой момент, когда вся эта озверевшая толпа все возрастала и как с тылу, так и с фронта все теснее и теснее непроницаемым кольцом его сжимала и связывала и, несмотря на сигнальные его предупреждения и личные приказания начать стрельбу, разъяренная толпа, подбодряемая агитаторами, как видно из официального донесения по начальству г-на ревизора, Тульчинского, с дубинами, камнями и дрекольями, с полным остервенением бросилась на него, и для него не оставалось уже никакого исхода, как только сдать оружие бунтарям и просить у них пощады, но он и в такой роковой момент не забыл, что за его богатырскими плечами много тысяч есть мирных жителей, он сумел и успел внушить, образумить и остановить этот неудержимый набег и выйти из него живым не только с горстью неустрашимых солдатиков, но сохранить и наши жизни, с полным благополучием всего нашего движимого и недвижимого имущества. Закончим об этом побужда словами двоих пассажиров, ехавших в поезде железной дороги—Анастасия Перфильевича Злобина и Викентия Людвиговича Томчика, разговаривавших между собою о смелости Трещенкова, его отваге и нерастерянности в такое время, когда в его распоряжении не было ни запасных резервов нижних чинов, ни шоссе-ных, ни железнодорожных, ни водяных, ни телеграфных сообщений, даже местные телефонные сообщения находились в руках бастующих, и что если бы Трещенков немного замедлил, то теперь не только присковские строения,

но и город Бодайбо были бы уже уничтожены, да и нас с Вами уже не было". За такую его разумную и своевременную услугу, оказанную нам, и всему отброшенному здешнему краю, мы приносим ему, хотя очень слабую, и ничего для него незначущую, но за то от всего русского сердца благодарность нашу и, с уверенностью можно сказать, что много, или, по крайней мере, немало найдется и таких людей, которые будут во всю свою жизнь ежедневно помнить его имя в молитвах своих перед Богом. При всем том каждый из нас, оставшихся живыми, считал бы себя более чем счастливым, если бы мог слабую свою благодарность принести ему лично, но чья то предрешающая власть, по неведомым никому соображениям, отняла у нас эту возможность, и мы не будем доискиваться: сделано ли это по наветам газетных сплетен, по анонимным ли доносам, по своим ли нехотимым соображениям, но тем не менее наши чистые чувства обязывают нас благодарить г-на Трещенкова и благодарить без конца. В заключение всего смело можно сказать, что за пять, а тем более за десять тысяч верст, критиковать его деятельность не только нельзя, но и преступно. Ведь для того, чтобы дать всему подходящую оценку, так нужно побывать на месте, побывать в его шкуре, и с полной осторожностью быть уже судьей. Добавить к этому можно только то, что всего на бумаге изложить невозможно, но много было бы полезнее, если бы представилась возможность объясниться лично. Июня 11-го дня 1912 года заведующий хлебопекарнею Андреевского прииска Ленского Золотопромышленного Товарищества, Федор Иванов Молотов".

На другой день „истинно-русский“ Молотов писал ротмистру Трещенкову, что письмо это он послал из желания отличить его, Трещенкова, прибавляя, что „не дай Бог, чтобы вышло это в ту пословицу, что „услужливый дурак опаснее врага“.

Так, кажется, оно и вышло.

Н. Ростов.

К истории забастовки на ленских золотых приисках¹⁾.

I.

В этой же книжке „Былого“ читатель найдет статью Н. Ростова о ленских событиях, составленную по данным архива б. иркутского губ. жанд. управления. В статье опубликованы некоторые, доселе неизвестные, документы: в ней, в частности, сгруппирована большая доля тех „данных“, на основании которых новый (вступивший лишь в половине апреля 1912 г. в должность) начальник жандармского управления полковник Васильев пытался спасти выдвинутую некоторыми заинтересованными кругами уже в самом начале стачки версию о том, что она возникла на почве агитации революционных элементов, ими была проведена и носила противоправительственный, даже противогосударственный характер.

Правильная, по возможности, оценка этого материала требует предварительного выяснения целого ряда подробностей; прежде всего, необходимо установить источник тех сведений, которые были в распоряжении полк. Васильева. Сжатое (и, как будто, не очень точное) изложение этих сведений дано было им в телеграмме за № 24, от 6 июня 1912 г., которой начинается серия документов Ростова. О том, при каких условиях эти сведения Васильевым были добыты, мы можем сообщить кое что, со слов самого же Васильева.

Через пять недель по принятии им иркутского губернского жанд. управления и восточно-сибирского охранного отделения (до Васильева во главе управления и охр. отделения стоял полк. Познанский, в апреле переведенный в Самару), Васильев должен был, по распоряжению департамента полиции, выехать из Иркутска в Бодайбо, вместе с чинами ревизии сенатора Манухина.

„За все время пути в г. Бодайбо по грунтовым дорогам и по реке Лене“ — писал Васильев впоследствии, в докладе от 24 октября 1912 г., на имя директора департамента полиции, „я старался выяснить себе те населенные пункты, в которых необходимо было бы иметь агентуру для развития жизни и деятельности многочисленных политических ссыльных. Разумеется, прежде всего мне необходимо было познакомиться лично с теми сотрудниками, которые действовали уже до меня в попутных Верхотурском и Киренском уездах

¹⁾ Захвачен по поводу статьи Н. Ростова. „Новое о ленских событиях“.

Иркутской губернии. Из таких сотрудников мне передан был один лишь сотрудник „Северный“, имевший пребывание в гор. Киренске. Находя одного сотрудника недостаточным для освещения происходивших тогда в Бодайбо больших событий, я еще из Иркутска позаботился подготовить себе новую агентуру и приобрел таковую в лице „№ 12-го“, оказавшегося не только вполне осведомленным в ленской забастовке, но состоявшим даже в числе тех семи человек, которые первыми начали агитировать о забастовке и о которых я телеграфировал из Бодайбо (депеша 6 июня № 24). Сотрудник № 12, дав мне тогда в г. Киренске ценные сведения о положении дел на бодайбенских приисках, продолжает и поныне освещать деятельность ссыльно-поселенцев Киренского уезда“.

„№ 12“—это и есть, следовательно, та „киренская агентура“, о которой Васильев писал в своей телеграмме. „Витимская агентура“—в сущности, не витимская, а также киренская: речь здесь идет об упомянутом выше киренском сотруднике „Северного“, которого Васильев не застал в Киренске, так как он временно находился в селе Витиме, верст на 500 ниже по течению р. Лены. „Совершенно случайно“, писал Васильев в том же докладе 24 октября, „в этом последнем селении мне удалось не только повидаться с „Северным“, но и подробно поговорить о делах. Оказалось, что сотрудник этот со времени командирования ротмистра Трещенкова в Бодайбо оказался совершенно оторванным и от ротмистра и от управления, не давших ему указаний для сношений, вследствие чего он лишен был возможности сообщить своевременно имевшиеся у него сведения о забастовке в Бодайбо. Совокупность сведений „№ 12“ и „Северного“ и послужила! собственно содержанием вышеуказанной моей депешы за № 24“¹⁾.

Итак, сотрудники „Северный“ и „№ 12“—вог авторы агентурных сведений, составивших содержание телеграммы № 24. Впрочем, сравнивая письмо „12-го“ с телеграммой Васильева, мы затрудняемся сказать определенно, что именно в этой телеграмме принадлежит „Северному“; большой вопрос, принадлежит ли ему вообще что либо существенное, не припутано ли его имя для того лишь, чтобы придать сведениям „№ 12“ больше солидности?

О личности „Северного“ у нас имеются следующие данные: на службу к жандармам он поступил, вероятно, летом 1911 г., так как доведение об этом послано было из Иркутска 7 сентября 1911 г. Видевший его в 1913 г. чиновник ос. поручений при Васильеве Коробчаков докладывал потом, что „Северный“—политический ссыльно-поселенец из мещан, осужденный в 1907 г. киевской судебной палатой по 1-му пункту 126 ст. угол. улож. за участие в 1905 г. в стачечном комитете всероссийского железнодорожного союза. Состоял секретарем Бахмачского районного комитета. Партийные эс-эровские связи поддерживает. Жена „Северного“ поддерживает связь с Брешко-Брешковской о службе мужа по розыску она знает. „Северный“ получал сначала 20 руб.

¹⁾ Цитируемый доклад полковника Васильева—в деле Петрогр. Истор.-Рев. Арх., Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лит. Д.

в месяц; в 1913 г.—в мае, очевидно,—по распоряжению Васильева, Коробчаков обещал ему 50 руб. в месяц. До мая 1913 г. „Северный“ служил конторщиком в пароходстве Гловых, но в тот момент, когда его видел Коробчаков, он находился уже без дела¹⁾.

1 декабря 1913 г. „Северный“ уволен был от службы в жанд. упр., так как совершенно прекратил работу²⁾.

Телеграмма № 24 основана целиком на сведениях агентов, находившихся о время событий 1912 г. очень далеко от места забастовки.

„Бодайбо агентуры нет совсем“,—этими словами оканчивается телеграмма. Об отсутствии в Бодайбо агентуры Васильев писал также впоследствии, в докладе от 24 октября. Прибыв в Бодайбо, он из доклада ротмистра Трещенкова узнал, что „там нет и не было никакой агентуры, сам же он (т. е., Трещенков.—Ш. Л.) пользовался только случайными заявителями от рабочих“. Васильев старался во время своего пребывания в Бодайбо восполнить этот пробел, однако же, не имел почти никакого³⁾ успеха („обстоятельства сложились тогда крайне для того неблагоприятно“, объясняет он). И позже, когда Васильев и Трещенков уехали из Бодайбо, когда последнего сменил подполк. Шимановский, долгое время остававшийся в Бодайбо (резиденцией помощника нач. ирк. жанд. упр. по Верхол. и Киренском уездам был Киренск), жандармы не могли наладить сколько-нибудь агентуру. Это обстоятельство не лишено было значения как для хода самой стачки, так и во время расследования. Не имея на месте своего привычного орудия, жандармы бессильны были достаточно полно выяснить внутреннюю историю событий и повлиять на ход следствия и ревизии. Мы не хотим этим сказать, что агентура, если бы она существовала на приисках, в состоянии была бы дать какой-либо стокийший материал для обоснования жандармской точки зрения на события (стачка подготовлена и проведена политиками и т. д.). Но наличие на месте осведомленной агентуры могло бы, во всяком случае, осложнить ход следствия.

II.

На личности №—ра 12-го и содержании его письма (главного жандармского аргумента, по словам Н. Ростова) стоит остановиться подольше. Сотрудник, носящий кличку „№ 12“, упоминается в делах арх. департ. полиции о секретной агентуре иркутского жандармского управления только два раза: в известном уже читателю докладе Васильева от 24 октября 1912 г. и в его же донесении от 2 июля 1913 г., которое сообщает, что „№ 12“ с 1-го июня самовольно прекратил работу, выехав неизвестно куда, ввиду чего он с этого числа уволен со службы. Можно, однако, предположить, что к тому же лицу отно-

¹⁾ Извлечения из доклада Коробчакова—в том же деле Ист.-Реп. Арх.

²⁾ Донесение Васильева от 4 февраля 1914 г., И.-Р. Арх., Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лит. Д.

сится одно место в упомянутом выше донесении Коробчакова, который совершил в мае и июне 1913 г. поездку из Иркутска в Бодайбо и обратно, и которому, между прочим, поручено было полковником Васильевым ознакомиться с постановкой розыска у преемника Трещенкова, подп. Шимановского. Коробчаков имел свидания с агентами Шимановского в Бодайбо и в Киренске; в последнем городе ему представлялись секретные сотрудники „Северный“ (отзыв Кор. о нем см. выше) и „№ 13“. Мы думаем, что этот „13-й“ есть именно тот агент, которого завербовал в 1912 г. Васильев, дав ему кличку „двенадцатого“. Кличка могла быть несколько изменена, хотя бы по конспиративным соображениям, как это часто практиковалось. С другой стороны, Коробчаков или переписчик могли просто спутать цифры.

Вот что Коробчаков сообщает о „№ 13“: „№ 13“—грузин, осужденный в 1908 году судебной палатой по 1 ч. 126 ст. Уг. Улож. по делу 1907 года. Состоял, как говорит, членом тифлисского аздековского районного комитета. Утверждает, что прежних своих партийных связей не теряет. Сейчас занимается в г. Киренске торговлей (мелочная лавка) и содержит меблированные комнаты (на чужое имя). Из-за открытия этих меблированных комнат имел столкновение с местным исправником. Общее впечатление: скорее аферист и мелкий торгаш, чем партийный человек. Жаловался мне на вымогательство полиции, в связи с его хлопотами о разрешении открыть на имя жены меблированные комнаты“... [„При следовании в передний и обратный путь я виделся с киренским уездным исправником Макаровым, при чем последний сообщил мне, что в Киренске имеется торговец, и главное притондержатель, который, насколько известно ему, исправнику, дает сведения вахмистру Руппа, причем последний иногда посещает его. Этого обстоятельства вахмистр Руппа, при моих расспросах, не отрицал. Можно сказать с уверенностью, что „№ 13“ давно утратил (еще при ротмистре Трещенкове) необходимую для секретного сотрудника конспиративность. „№ 13“ просит о перемещении его в какой-либо другой пункт Иркутской губернии, мотивируя эту просьбу обостренными отношениями с наружной полицией; между прочим, он сообщил мне, что Киренский уездный исправник Макаров, будучи в гостях у подрачника Ильина, говорил во всеуслышание о нем, „№ 13“, как об агенте жандармов. Проверить, насколько справедливо, в данном случае, заявление „№ 13“, возможности мне не представилось за недостатком времени. Содержанием из [оклада 25 рублей в месяц „№ 13“ удовлетворен по 1-е мая сего года“. Сведения „№ 13“ вахмистр Руппа писал в двух экземплярах, представляя один непосредственному начальнику своему Шимановскому, находившемуся в Бодайбо, а другой—в Иркутск, полковнику Васильеву¹⁾].

Относится ли все это к тому самому лицу, которое было принято на службу, под кличкой „№ 12“, полковником Васильевым за год до ревизии

¹⁾ Выписка из донесения ротмистра Коробчакова от 30 июня 1913 г. на имя начальника Иркутского губ. жанд. управления. Приложена к докладу полк. Васильева директору департамента полиции от 5 июля 1913. Ист.-Рев. Арх., Ос. Отд., 1914 г., № 1, ч. 27 лст. Д.

Коробчакова? Мы полагаем, что да. Иначе, почему Коробчаков, который был в Киренске в мае 1918 г. (на обратном пути в илане?), когда „№ 12“ еще числился на службе (он был уволен с 1-го июня), с ним не виделся и ни слова о нем не говорит, хотя подробно останавливается на всех решительно и бодайбенских и киренских агентах? Да и откуда—в том случае, если „№ 13“ и „№ 12“ не одно лицо,—мог вваться новый агент—„13-ий“? Из донесения Коробчакова, кажется, можно заключить, что „13-ий“ начал службу еще в бытность помощником начальника управления Трещенкова, устраненного от должности, как известно, 18 июля 1912 г. Значит, „13-ий“ стал сотрудником до этого срока. С другой стороны, полк. Васильев получил в наследство от своего предшественника Познанского одного только сотрудника по Киренскому и Верхотенскому уездам—„Северного“. Стало быть, „№ 13“ начал службу секретным сотрудником в течение весьма короткого времени, протекшего от вступления в должность Васильева до увольнения Трещенкова, точнее, во время поездки Васильева из Иркутска в Бодайбо и обратно. Но Васильев говорит в своем позднейшем докладе (октябрьском), в котором он подводит итоги этой поездке, лишь о приобретении по Киренску „двенадцатого“ и ни слова не упоминает ни о „13-ом“, ни о каком бы то ни было другом агенте. Да и вообще, нигде в делах Ист.-Рев. Архива,—помимо донесения Коробчакова и краткого доклада Васильева, при котором это донесение было препровождено в департамент,—нет упоминания о „13-ом“: нет ни уведомления о его поступлении на службу, ни донесения об его увольнении.

Кроме того, трудно объяснить то поразительное сходство, какое, при ближайшем рассмотрении, оказывается у „12-го“ и „13-го“, иначе, как принадлежностью обеих кличек одному лицу. В самом деле. „№ 13“—грузин; „№ 12“, судя по его письму, тоже, повидимому, кавказец (ср., напр., след. строки: „Знаю от Харатова Мелика... он, как мой хороший знакомый и как земляк“... и др. места). „№ 13“ судился в 1908 г.; это не противоречит тому, что мы знаем о „12-м“, приехавшем в Бодайбо в начале весны 1910 г. „№ 13“ занимается в г. Киренске торговлей, имеет мелочную лавку; а „12-ый“ о себе пишет: „Знаю мало потому, что оторвался от них, открыл здесь в Киренске свою собственную торговлю“. „№ 13“ находится в обостренных отношениях с наружной полицией; в том усердии, с которым „12-й“ старается обличить и скомпрометировать полицию (достается при этом и киренской администрации) чувствуется нечто большее, чем простое внушение извне, со стороны жандармов; сказывается, как будто, также личная заинтересованность. Общее впечатление Коробчакова: 13-ий „скорее аферист и мелкий торгаш, чем партийный человек“. Такое же точно впечатление производит автор письма, „№ 12“. Сведения „№ 13-го“ (очевидно, все, а не наиболее выдающиеся) посылались не только Шишовскому, но и самому Васильеву. Такой особый интерес Васильев мог, скорее всего, проявлять именно к „12-ому“, которого он сам принял на службу и от которого потом получал (ср. доклад от 24 октября) сведения о деятельности ссыльно-поселенцев Киренского уезда.

Словом, мы убеждены, что перед нами в лице „12-го“ и „13-го“—один агент. Стало быть, все, что рассказывает Коробчаков о „13-м“, следует приписать и герою публикуемых Ростовым документов—Н. Г. М. или „Двенадцатому“. Впрочем, если бы это наше убеждение даже оказалось ложным, существо дела не изменилось бы: личность „12-ого“, так много потрудившегося для того, чтобы доказать роль ссыльных политиков в организации стачки, несколько потеряла бы в своей конкретности—и только. Одно же останется несомненным: если „12-ый“ и не тот „притоподержатель“, о котором говорит Коробчаков, то он, во всяком случае, такой же „аферист и мелкий торгаш“, как и тот.

Поэтому к его сведениям следует подходить с особой, исключительной осторожностью: это относится и к тем выводам, которые делает „№ 12“ в своем письме, и к фактам, на которых выводы эти основываются. Наиболее ценный для жандармов вывод „12-го“ сформулирован в словах: „Забастовка на приисках была довольно подготовленная и сознательная“. Но вывод этот (мы имеем здесь в виду „подготовленность“ стачки) вовсе не вытекает из тех фактических сведений, которые сообщает автор письма. Ему абсолютно не удалось установить связь между деятельностью той нелегальной группы, которая, будто бы, возникла—при его участии—в 1910 г., и стачкой 1912 г. Он и сам признается: „Дела были хороши, пока я был там, а дальше я знаю мало, знаю мало потому, что сам оторвался от них, открыл здесь в Киренске свою собственную торговлю и отстал от них совершенно“. Отстал не один „№ 12“. Из того же его письма мы знаем, что некоторые участники группы задолго до стачки уехали за границу. Из называемых им в числе членов организации лиц мы знаем определенно двух, находившихся в Бодайбо во время стачки: это—Д. Г. Голубков и Свворцов. 14 апреля 1912 г., значит, вскоре после кровавых событий на Лене, в Нижнем-Новгороде у местного с.-д. З. А. Левита, задержанного на собрании с.-д., обнаружен был адрес: Бодайбо, Иркутской губ., Льву Григорьевичу Голубкову, для передачи Михаилу Васильевичу Свворцову. Выяснено было, путем переписки с Иркутском, что Свворцов—ссыльно-поселенец Киренского уезда, находившийся на жительстве в Бодайбо без надлежащего разрешения, вследствие чего он арестован был Трещенковым и предан им мировому судье за нарушение устава о ссыльных ¹⁾. Никаких, однако, оснований предполагать участие Голубкова и Свворцова в проведении забастовки у нас нет. Говорить вообще о влиянии этой организации (во всяком случае, непосредственном) в возникновении стачки 1912 г. мы также не имеем абсолютно никаких данных ²⁾.

Значит ли это, что сообщения „№-ра 12-го“ ничего не стоят? Нет. За ними надо признать известный интерес, так как самый факт существования в приисковом районе—пусть задолго до стачки—нелегальной организации, если бы он подтвердился, следовало бы считать весьма любопытным с точки

¹⁾ Ист.-Рев. Архив, дело Ос. Отд., 1912 г., № 5, ч. 27.

²⁾ „12-ый“ говорит еще о б. деп. Нагих и Гренденко. Но эти имена не фигурируют ни в одном из остальных источников.

зрения историка движения рабочих на ленских приисках вообще, в частности же для историка стачки 1912 г. Ибо историк последней должен будет подробно обследовать внутреннюю, интимную сторону движения, до сих пор еще остающуюся весьма слабо освещенной. Он должен будет непременно подойти к событиям не только с точки зрения выяснения каторжных условий труда на приисках, с одной стороны,—позорной роли правительства и местных судебных и жандармских органов,—с другой; а именно этим преимущественно заняты были, по понятным причинам, писавшие до революции о событиях или говорившие о них с трибуны Гос. Думы (3-го и 4-го созывов) ¹⁾. Историк должен будет понять самого приискового рабочего, уровень его политического сознания, впечатление, произведенное на него событиями 1912 г. Нужно будет также выяснить подлинных руководителей и организаторов стихийно вспыхнувшего движения. Нужно будет, наконец, установить все имевшие место до забастовки (в особенности на протяжении последних пред-забастовочных лет) попытки сплотить рабочих для борьбы и выяснить их характер и ближайшие результаты. Сделать это лучше всего смогут сами участники событий или достаточно хорошо осведомленные наблюдатели. И вот, в этой будущей работе, при разрешении последнего из поставленных выше вопросов, пригодится также письмо „12-го“.

Нельзя не высказать пожелания, чтобы опубликованы были и остальные, представляющие интерес документы из дела иркутского жандармского управления, а также другие, относящиеся к ленским событиям, материалы столичных и сибирских архивов.

III.

В телеграмме № 24 Васильев, между прочим, сообщает, что приведенные в ней сведения доложены им ревизующему сенатору. Через месяц, приблизительно,—3-го июля,—Васильев доносил, что судебное следствие и расследование сенатора закончены, и что политический характер стачки формально не удалось доказать.

О том, к каким выводам по вопросу о характере стачки пришла ревизия, мы знаем из отчета сенатора Манухина²⁾. Выводы эти изложены в главе „Причины забастовки 1912 года“³⁾.

¹⁾ Новейшая брошюра А. Тюшевского, „К истории забастовки и расстрела рабочих на ленских приисках“, Петербург, Госуд. Изд., 1921, представляет собою преимущественно пересказ данных, собранных в книге: „Правда о ленских событиях“. Издание П. Н. Баташева. Москва, 1913. („Правда о ленских событиях“ явилась литературным итогом работ комиссии адвокатов, производившей на месте расследование ленских событий. В состав комиссии входили: А. М. Никитин, А. Ф. Керенский, А. А. Тюшевский, Г. Б. Патушинский и С. А. Кобяков. В обработке материалов, как видно из пореволюционного послесловия А. Никитина к книге, принимали участие: Е. А. Фальковский и Б. Д. Фридман).

²⁾ „Всеподданнейший отчет члена Государственного Совета, сенатора, тайного советника Манухина по исполнению Высочайше возложенного на него 27 Апреля 1912 года расследования о забастовке на Ленских промыслах. 1912“. Тип. штаба отд. корпуса пограничной стражи, СПб., В. О. у биржи.

³⁾ Всеп. отчет, стр. 283-301.

По мнению составителей отчета, забастовка носила ярко выраженный экономический характер. „Однако, с первых дней прекращения работ возникло предположение о том, что оно явилось последствием политической агитации образовавшегося в среде рабочих стачечного комитета“¹⁾. „Соображения, на основании которых предположено было, что забастовка на приисках Ленского Товарищества возникла по причинам политического характера, выводились из содержания некоторых требований рабочих, из предположений о наличии преступной агитации среди рабочих, а также и влияния на них ссыльно-поселенцев и, наконец, из самой организации забастовки, установившей среди ее участников строгую дисциплину. Политический характер домогательств рабочих усмотрен был в требованиях об увольнении некоторых присковых служащих, о восьмичасовом рабочем дне и об учреждении рабочей комиссии“²⁾.

Отчет оспаривает все эти соображения. Прежде всего, он подвергает подробному рассмотрению каждое из указанных выше требований рабочих.

Требования об удалении некоторых служащих выставлялись и во время прежних забастовок, и администрация, в большей части случаев, сама их удовлетворяла. „Поводы к недовольству служащими за их грубость, жесткое обращение и т. п. имели при всех забастовках жизненно-бытовой характер и никаких признаков политических побуждений в себе не таили“³⁾. Выставленное „рабочими пожелание о восьмичасовом рабочем дне основывалось на чисто технических и местных условиях. Следует притом заметить, что требования рабочих о сокращении рабочего времени не имели ни безусловного, ни даже постоянного характера“⁴⁾. Третье взятое под подозрение требование рабочих—чтобы „администрация не увольняла рабочих личным капризом, а делала это с ведома рабочей комиссии“—отчет сен. Манухина, хотя и находит практически неприемлемым для Товарищества, не усматривает в нем, однако, ничего политического и даже полагает, что оно продиктовано „естественным стремлением участников забастовки ограничить применявшееся присковым управлением произвольное увольнение с работ без достаточных оснований“⁵⁾.

„Переходя к вопросу о причинной связи, которая могла быть установлена между преступною агитациею среди рабочих и возникновением забастовки“, отчет приводит мнение по этому вопросу бывшего нач. ирк. губ. жанд. управления Познанского. „Высказывая предположение об организации забастовки на промыслах Ленского Товарищества социал-демократическими сообществами, полковник Познанский ссылался на статьи, появившиеся в 1910 и 1911 годах в заграничных изданиях, в которых социал-демократические организации в России призывались к руководительству экономической борьбою рабочих,

¹⁾ Там же, стр. 286.

²⁾ Там же, стр. 287.

³⁾ Там же, стр. 288.

⁴⁾ Там же, стр. 288.

⁵⁾ Там же, стр. 289.

причем „партийным организациям“ рекомендовалось „строго следить за состоянием промышленности и решать вопрос о рабочих стачках лишь в зависимости от самой строгой оценки последствий приостановки производства“. „Между тем деятельностью чинов жандармского управления следов такой организации или руководства рабочими на ленских приисках добыто не было“. Следственная власть также не добыла „никаких указаний ни на предшествовавшую прекращению работ политическую агитацию, ни на какое либо участие в последующих событиях революционных сообществ“.

„Единственные в сем отношении проявления противо-правительственного настроения были усмотрены в трех экземплярах тектографированных воззваний, из которых два оказались расклеенными даже не на приисках, а в городе Бодайбо, а одно доставлено горно-полицейскому уряднику Феодосиевского прииска Тихонову рабочим того же прииска Капустинным. Первое из упомянутых воззваний приглашало от имени „общей дружины“ рабочих не напиматься в Бодайбо „к Ленцам“ и не вредить делу дружины, с предупреждением, что „в противном случае каждый будет наказан“. Второе и третье воззвания, одинакового содержания, составленные от имени „союза горнорабочих“, под заглавием „Рабочим от рабочих“, призывали этих последних стойко добиваться осуществления предъявленных к Ленскому товариществу требований, не доверять Тульчинскому, который „меняет шкуру по сезону“, и не бояться „полицейской собаки—жандармского ротмистра Трещеникова“.

„Несмотря, однако, на все принятые меры, никаких указаний на самое существование упомянутых в воззваниях сообществ добыто не было. Появление же упомянутых трех ничтожных, малограмотных воззваний, при неизвестности того, кто их составлял, и при отсутствии указаний на какой либо успех или воздействие их на рабочих, само по себе не давало еще никаких оснований утверждать ни о доказанности политического элемента в движении, ни тем менее—об участии в забастовке революционных организаций“¹⁾.

Далее, отчет обращается к вопросу о значении ссыльно-поселенцев в забастовочном движении. К предварительному следствию всего привлечено было в качестве обвиняемых в принадлежности к забастовочному комитету 19 лиц. „Из них 13 были рабочими, не состоявшими под судом, двое—Баташев (Михаил Михайлович.—Ш. Л.) и Попов (Иннокентий.—Ш. Л.), не будучи сосланными на поселение, понесли, однако, по суду менее тяжкие наказания за государственные преступления, а остальные четверо—Думпе (Эдуард: во всех других источниках значится не Думпе, а Думке.—Ш. Л.), Розенберг (Индрик Замелев, или Самойлов.—Ш. Л.), Соболев (Александр,—Ш. Л.) и Зелионко были ссыльно-поселенцами, сосланными за преступные деяния политические (Согласно данным, оглашенных тогдашним министром внутр. дел Макаровым в заседании Гос. Думы 11 апреля 1912 г., Соболев осужден был в 1908 г. виленским военно-окружным судом, Думке—в 1907 г. временным военным судом в Риге, Розенберг—в 1906 г. временным военным судом Забай-

¹⁾ Там же, стр. 290-291.

кальской области.—*III. Л.*) Кроме того, было обнаружено, что участие в забастовочном движении принимали еще другие три, не состоявшие в числе рабочих ленских приисков политических ссыльных, а именно Черепашин (Григорий.—*III. Л.*)—Украинцев (Матвей.—*III. Л.*) и Волошин. Эти рабочие до забастовки проживали в приисковом районе без установленных разрешений. Остальные же все поименованные лица работали на приисках с ведома полицейской власти“¹⁾.

„Таким образом, среди шеститысячного рабочего населения Ленских приисков, разбросанного притом на расстоянии многих десятков верст друг от друга, находилась группа лиц, очень сравнительно немногочисленная, за которыми в прошлом числилась преступная в политическом отношении деятельность“²⁾.

Относительно влияния этой группы лиц на других рабочих отчет сообщает: Зелонко считался председателем выборных Андреевского прииска. „При этом деятельность Зелонко проявилась в участии при выработке домогательств рабочих Андреевского прииска, в которых именно не содержалось ни одного из требований, впоследствии поданных ~~новод~~—усмотреть влияние на забастовку социалистической пропаганды“.

„Другой, сосланный за политическое преступление, ссыльной поселенец Думпе, не принадлежа вовсе к забастовочной организации, все время был противником забастовки. Участие его в последней проявилось также лишь в формулировке требований, выработанных на общем собрании рабочих 3 марта 1912 года. Наконец, еще один из выборных, Баташев, понесший наказание за политическое преступление, принимая участие в забастовке, в конце марта, после возвращения на прииски инженера Тульчинского, убедился в беспечности дальнейшего продолжения забастовки и, совместно с другими выборными, стал убеждать рабочих принять предлагаемые приисковым управлением условия. Эти убеждения имели, однако, совершенно неожиданное последствие, в виде возникновения слухов о том, будто выборные подкуплены приисковой администрацией“³⁾.

„Таким образом“, читаем мы несколько ниже, „из совокупности добытых при расследовании данных выяснилось, что ссыльно-поселенцы вообще не только не были руководителями забастовочного движения, но и не всегда сочувствовали ему. Деятельность их, без сомнения, могла проявиться, и проявилась, в письменном изложении домогательств, в ведении переговоров с местными органами власти и с приисковой администрацией, так как ссыльные принадлежат

¹⁾ Кроме названных в этом месте лиц, в разных источниках упоминаются еще имена следующих более видных участников стачки и выборных: Иоганн Александров Будевец, Марчинковский, Журавок, Иванов, Вешнягин Вязовой (или Вязовов?), Ефим Мимогладов, Соломин, Герасименко (все эти лица, вместе с Соболевым, Думке и Розенбергом, были арестованы Трещенковых в ночь на 4 апреля 1912 г.); Быков, Романов (также подлежали аресту, но успели скрыться, см. Отчет, стр. 233); Афанасий Беспальченко (Отчет, с. 197); Нил Карпов, Демидов (Отч., с. 216-217); Митрофан Пешков (Отч., с. 230); Гавриил Бояров (Отч., с. 238); Десных (Отч., с. 245); Евгений Вострых (см. еженедельную с.-д. газету „Иркутское Слово“).—*III. Л.*

²⁾ Там же, стр. 291-292.

³⁾ Там же, стр. 292.

к числу более грамотных и развитых рабочих. Но, говоря о деятельности этого рода лиц, нельзя упускать из виду, что в области приложения умственного или так называемого интеллигентного труда, труд ссыльно-поселенцев вообще, и по преимуществу поселенцев политических, распространен повсеместно во всей Сибири. Поэтому не удивительно, что и на Ленских приисках ссыльно-поселенцы, хотя в сравнительно ничтожном числе, но принимали участие в стачке, наряду со всеми другими рабочими¹⁾.

Засим, отчет отмечает, что в 1905 и след. „тревожных годах“ спокойствие на приисках не нарушалось, и что за все время стачки 1912 г. ни в рабочих казармах, ни, в частности, у ссыльно-поселенцев не было обнаружено революционной литературы или каких либо воззваний, указывавших на агитационную их деятельность, „и на всех шумных и многочисленных сходках рабочих обсуждались исключительно вопросы бытовые и экономические, имевшие узко-практическое, но для рабочих существенное значение“.

В виду сего и помимо всех прочих данных расследования, свидетельствующих об экономическом значении забастовки, „одно присутствие нескольких ссыльно-поселенцев в среде бастовавших в 1912 году рабочих не могло еще придавать этой забастовке политического характера“²⁾.

Наконец, отчет рассматривает еще один довод защитников мнения о политическом характере стачки: движение было организованным; во главе его стояли выборные, поддерживавшие строгую дисциплину. Отчет поясняет, как в силу местных условий, организация сложилась именно в том виде, в каком она существовала; напоминает, что „первые шаги, направленные к упорядочению возникшего движения“, предприняты были по инициативе приисковой администрации и властей, и удостоверяет, что „выбор рабочих в подавляющем большинстве случаев пал не на беспокойные элементы, а на лиц, выделявшихся спокойною деловитостью и относительным развитием“, а также что „выборные в значительной мере содействовали мирному течению забастовки“³⁾.

В результате, составители отчета еще раз подчеркивают, что „предположение о политическом характере забастовки не имеет за собою никаких веских оснований. Напротив того, по решительному заявлению огромного большинства как рабочих, так и других допрошенных при расследовании свидетелей, в том числе многих лиц, давно и близко ознакомленных с местным населением и его жизнью, забастовка 1912 г. возникла на почве общего недовольства рабочих своим положением, под воздействием чисто экономических причин и протекала мирно, при единодушном стремлении забастовщиков воздержаться от всяких нарушений порядка“⁴⁾.

Обращает на себя внимание полное игнорирование отчетом тех сведений, которые, как это видно из телеграммы № 24, несомненно доложены были сенатору Манухину новым начальником жанд. управления Васильевым. Отчет

¹⁾ Там же, стр. 293.

²⁾ Там же, стр. 293-294.

³⁾ Там же, стр. 294-295.

⁴⁾ Там же, стр. 297.

ссылается лишь на мнение предшественника Васильева, полковника Познанского. Но больше того, отчет не только не упоминает одокладе Васильева, который, как известно читателю, пытался установить связь между возникновением стачки и предшествовавшей агитацией революционных элементов, но, отрицая совершенно существование этой связи, ссылается, как на результаты следствия, так и на самих жандармов. „Деятельностью чинов жандармского управления“, читаем мы на стр. 290 отчета, „следов такой организации или руководства рабочими на ленских приисках обнаружено не было“. В другом месте составители отчета пишут: „От мнения этого (о политич. характере и противогосударственном значении стачки.—Ш. Л.) отказалось и правление Ленского Товарищества; его не поддерживали представители местной административной власти, за исключением бывшего начальника Иркутского губернского жандармского управления, полковника Познанского, и его помощника, ротмистра Трещенкова“ ¹⁾. Но, ведь, мнение это защищал также новый жандармский начальник Васильев. Почему же отчет молчит об этом?

В конце той же главы о „причинах забастовки 1912 года“ отчет отмечает весьма неудовлетворительную постановку в приленском крае наблюдения за деятельностью политически неблагонадежных лиц. Трещенковым „не было организовано сколько нибудь бдительного надзора даже за политическими ссыльными. Все получаемые ротмистром Трещенковым сведения о жизни и настроении приискового населения основаны были на случайных и непроверенных данных, причем единственный рабочий, которого ротмистр Трещенков указал, как на источник получавшихся им агентурных сведений, оказался лицом, не заслуживающим, по своим нравственным свойствам, никакого доверия“ ²⁾.

Витимская и киренская агентура из доклада Васильева обойдена совершенно молчанием. Трудно понять, почему сенаторская ревизия в своем отчете не остановилась и на этом жандармском аргументе, хотя бы для того только, чтобы исчерпать все доводы противников защищавшегося ею мнения.

Агентурные сведения, которыми оперировал Васильев, могут быть, конечно, и агентурным вымыслом; но мы допускаем также, что „12-ый“ сказал отчасти правду; допускаем, что за год—полтора до событий 1912 г. в Бодайбо и на приисках, действительно, существовала,—м. б., в зародышевом состоянии и в течение короткого времени—незаконная организация. Ясно, что это, в сущности, не поколебало бы основного вывода сенаторской ревизии: стачка 1912 г. возникла не вследствие агитации немногочисленных революционных элементов, если даже такая агитация и велась, а „на почве общего недовольства рабочих своим положением, под воздействием чисто экономических причин“ (Заметим, встати, что сенатор, очевидно, приемлет жандармский взгляд на политическую и экономическую стачки. Как будто стачка перестала бы быть экономической, если бы было установлено, что ее возникновению предшествовала или даже содействовала агитация более передовых элементов).

¹⁾ Там же, стр. 301.

²⁾ Там же, стр. 301.

Другой, затронутый ревизией Манухина и интересующий нас, вопрос касается размеров влияния в ходе самой стачки более сознательных элементов, элементов политически определившихся, в частности, из среды ссыльно-поселенцев. Составители отчета склонны черезчур преуменьшать, принизить их роль, что, вероятно, объясняется общей тенденцией отчета представить присыловых рабочих абсолютно благонамеренными. Нельзя, как это делают авторы отчета сенатора Манухина, приравнивать роль ссыльного революционера в совете выборных бастующих рабочих к роли ссыльных, например, в ценовой городской управе или каком-либо ином учреждении или предприятии, пользующимся трудом политического ссыльного. Нельзя всего валить на местные и технические условия, как поступает отчет и в данном вопросе и в вопросе о требованиях рабочих. В требовании 8-ми часового рабочего дня (не 7-м и не 9-ти, а именно восьми-часового дня), с нашей точки зрения, сказалось влияние более передовых элементов, сказалась традиция общерусского (а через него, конечно, и международного) движения, хотя бы даже большинство симбирских, нижегородских, вятских, тобольских и иных крестьян, принимавших участие в стачке, и не сознавали этого ¹⁾.

Приведем одно свидетельское показание, подтверждающее, кажется, наши предположения о большей, чем утверждает отчет, роли „неблагонадежных“ лиц. Незвестный нам политический пишет 9 августа 1912 г. из Жигалова в Париж: „Там (т. е. в Жигалове; автор письма жил в 4 верстах от него.—Ш. Л.) теперь переполнено все и вся бодайбенскими рабочими. Здесь в Жигалове пристань, и так как все рабочие едут с присылов, то их и доставляют сюда на лодках и пароходах, а отсюда уже до железной дороги на лошадях. Настроение среди них пока прекрасное. Прибывают партиями по 700-800 человек, у каждой партии есть выборная депутация. Вчера здесь скончилось около 3000 рабочих, ибо ранее прибывшие партии не хотели отсюда уезжать, добиваясь подвода, а им предлагали и выдавали деньги, но так как подводы вероятно вздорожали, то деньгами стало брать невыгодно для рабочих. Требование их отчасти удовлетворено, и вчера 1500 человек отбыли отсюда. Устраивают митинги совершенно открыто и полиция не вмешивается ²⁾. Проехал под конвоем и главный руководитель стачки Баташев, брат члена Госуд. Думы.

¹⁾ Правильно заметил по этому поводу депутат Некрасов (в зас. III Гос. Думы 9 апреля 1912 г.): „Я думаю, что вопрос социалистической или социальной идеи присущ всякой забастовке, и те элементы, в которых представитель акционеров усмотрел особо вредный с его точки зрения элемент, эти основания найдутся во всякой забастовке, во всяком рабочем движении“.

²⁾ В другом письме, от 30 июля 1912 г., того же, повидимому, автора читаем между прочим: „В настоящее время, живя в Жигалове, действительно приходится переживать если не 1905 г., то год 1907-й, а именно: почти ежедневные уличные собрания и массовое движение прибывших и прибывающих сюда левых присыловых рабочих. Жигалово еще не видело такого зрелища, для него это новость или реализация того, что им приходилось слышать и знать из литературы о рабочем движении“ (Кония письм.—в деле Ист.-Рев. Арх., Ос. Огд., 1912 г., № 5, ч. 27 лит. Б).

Роль его, как видно из рассказов рабочих, была очень велика, свои рассказы они его именем начинают и тем же кончают¹⁾.

О дальнейшей судьбе этого, по словам автора письма, главного руководителя стачки мы имеем лишь следующие данные: в составленной 10 марта 1913 г. в московском охранном отделении агентурной записке по Р. С.-Д. Р. Ц., в числе рабочих ст. Мытищи, стремящихся к воссозданию партийного подполья и ищущих связей с деловой активной средой, упоминается Баташев, прибывший с ленских приписков рабочих, большевик, участник ленских беспорядков, брат бывшего члена II Госуд. Думы Баташева, недавно лишь поступивший на работу в Мытищах²⁾. Дальше мы о нем ничего не знаем.

Не будем останавливаться далее на судьбе участников стачки (кое-какой отрывочный материал об отдельных лицах из числа упомянутых выше имеется). Выскажем те общие выводы, к которым мы пришли, сопоставляя сведения агентуры и данные сенаторской ревизии: мы не видим достаточных оснований отрицать возможность тех или иных агитационных и организационных попыток в приписковом районе в годы, предшествовавшие стачке, в роде хотя бы того начинания, о котором писал „№ 12“, но не думаем, чтобы они оставили значительный след в жизни района, и никоим образом не можем считать агитацию „неблагонадежных“ элементов причиной забастовки. Однако, в проведении возникшей независимо от их деятельности стачки большую роль сыграли, несомненно, как раз эти элементы (напр., Баташев), причем влияние их связалось, между прочим, также в программе рабочих требований (8-мичас. раб. день). Из этого, однако, вовсе не следует, что забастовка преследовала какие-либо иные цели, помимо экономических; напротив, то была забастовка типично экономическая, лишь по вине правительства и его местных органов получившая колоссальное политическое значение.

IV.

Из материалов, сообщенных Н. Ростовым, любопытны еще документы, относящиеся к ротмистру Трещенкову. Мы можем, со своей стороны, удостоверить, что та своеобразная конспирация, которой Трещенкова окружили еще в Бодайбо, продолжалась и потом.

Как известно, Трещенков 18 июля 1912 г. был временно устранен Мануханиным от должности пом. начальника Иркутск. губ. жанд. управления и с 20 июля считался прикомандированным сначала к Иркутскому, а затем к петербургскому жандармским управлениям—до 9 декабря 1913 г., когда он уволен был от службы, с зачислением в пешее ополчение по Петерб. губернии.

¹⁾ Копия письма в том же деле Ист.-Рев. Архива. Из этого письма (а также из письма, цитированного в предыдущем примечании) видно, что ленские рабочие вносили значительное политическое оживление туда, куда они приходили. Это же подтверждает письмо неизвестного нам ссыльного из Черемхова, писанное в феврале 1913 г., в котором отмечается известное оживление обществ. интереса в Черемхове в связи с наплывом на черемховские копи, с одной стороны, лесцев, с другой—политических ссыльных (Ист.-Рев. Арх., дело Ос. Отд., 1913 г., № 5, ч. 27).

²⁾ И.-Р. А., Ос. Отд., 1913 г., № 5, ч. 46.

В Петербурге ротмистр жил как бы нелегально: не под своей фамилией, а как Николай Викторович Кашин (имя и отчество его собственные). На проживание жандармского офицера под чужой фамилией дано было разрешение директором департамента полиции.

Для характеристики отношений министерства внутренних дел и Трещеникова не лишено интереса и другое обстоятельство: будучи прикомандированным и подследственным, Трещеников получал содержание в несколько раз менее того, что он имел раньше по должности помощника начальника иркутского жанд. упр. Но министр внутренних дел распорядился, „во внимание к его семейному положению“ (у него были жена и трое детей), выдавать ему ежемесячно добавочное содержание для сравнения с прежним окладом. Так продолжалось с 18-го июля 1912 г. до 1-го июня 1913 г., когда выдача Трещеникову добавочного содержания из сумм департамента полиции прекращена была по требованию Джунковского. Эта мера находилась, очевидно, в связи с результатами расследования, производившегося в корпусе жандармов (ген.-м. Ивановым) по поводу столкновения Трещеникова с неким князем Нижегород., причем Джунковский, повидимому, предполагал сначала даже и вовсе уволить Трещеникова. Всего за 10 $\frac{1}{2}$, приблизительно, месяцев Трещеников получил из сумм департамента полиции, в виде добавочного содержания, 2005 р. 50 к. (были и еще выдачи ему самому, а после его увольнения его жене; кроме того, департаменту пришлось оплачивать кое какие его долги) ¹⁾.

Тем временем в Иркутске велось предварительное следствие по обвинению Трещеникова в преступном деянии, предусмотренном статьями 338, 339 и частью вторую статьи 341 улож. о наказ. Уголовное преследование возбуждено было Манухиным и велось в течение чуть ли не двух лет. Прокуратура согласилась, в конце концов, с заключением Манухина относительно предания Трещеникова суду по означенным выше статьям (они предусматривали превышение и бездействие власти). Однако, совет министра внутренних дел, на рассмотрение которого в сентябре 1914 г. поступило окончательное следственное производство, резко разошелся с прокуратурой в оценке действий Трещеникова, не усмотрев в них ни бездействия, ни превышения власти.

Трещеникову вменялось, напр., в вину, что он не принял мер к обузданию рабочих, двигавшихся к Надеждинскому прииску „шумным и беспорядочным скопищем“, разойтись и допустил их направиться по дороге, которая протекает в непосредственной близости к помещению народного дома, отведенному под постой войск.

Совет находит это обвинение неосновательным. „Представляется бесспорным“, читаем мы в журнале совета от 23 сентября 1914 г., „что при рабочих волнениях самым действительным и сдерживающим средством является наличие у начальника полиции достаточного количества полицейских чинов и войска, с помощью которых всякий беспорядок может быть немедленно прекращен. В распоряжении же ротмистра Трещеникова на всех Ленских

¹⁾ Ист.-Рев. Арх., дело 3 делопр., 1912 г., № 817.

принисах было всего 32 нижних полицейских чина, раскинутых на 39 тысячах десятин. Рабочих же всего было не более 7500 человек, проживавших на 481 принисе. Таким образом, на каждого чина полиции приходилось приблизительно 234 рабочих и 13 принисов. С такими средствами Трещеников не имел возможности заставить толпу рабочих разойтись или не допустить ее направиться по дороге к войскам“.

Прокурорский надзор, говорится в журнале, „вменяет в вину Трещеникову, что он своевременно не объявил рабочим, что им запрещены сборища и хождения толпами с одного приниса на другой. Признавая, что подобное объявление было бы не лишним, следует, однако, отметить, что, в виду отсутствия на Ленских принисах действия исключительных положений и в связи с оппозиционным настроением рабочих, а также с незначительным количеством войск и полиции, такое объявление едва ли бы достигло цели“.

В том же духе высказался совет и по другим обвинительным пунктам. В итоге—вывод, что бездействия власти не было.

Не было, настаивает совет, и превышения власти, ибо неправильно утверждение обвинителей, что Трещеников уполномочил начальника воинской команды рассеять толпу оружием до проявления ею неповиновения его распоряжению приостановиться; при этом совет упрекает прокуратуру в том, что она основывается в данном вопросе только на показаниях бывших в толпе рабочих.

В виду всего этого, а также принимая во внимание, „что ротмистр Трещеников обратился со всеподданнейшим ходатайством о зачислении его на действительную военную службу в действующую армию, препятствием чему служит привлечение его в качестве обвиняемого“, и „что вследствие этого и в связи с отсутствием в рассматриваемых деяниях Трещеникова признаков приписываемых ему преступлений, представляется желательным предоставить ротмистру Трещеникову возможность немедленно поступить в действующую армию и там, быть может, кровью своей искупить свои невольные служебные ошибки“, совет министра внутренних дел признавал дело подлежащим прекращению и постановил войти в сенат с представлением о разрешении возникшего разногласия с прокурорским надзором. Журнал был утвержден министром внутренних дел, решившим препроводить дело в сенат.

Независимо от этого, состоялось 15 октября 1914 г. высочайшее повеление о временном приостановлении возбужденного против Трещеникова преследования до окончания войны, с отменой принятой против него меры пресечения и „с разрешением ему ныне же вступить в действующую армию“.

Трещеников попал на фронт и 15 мая 1915 г. был убит в бою с австрийцами.

Ш. Левин.

Григорий Распутин.

Из воспоминаний.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Последняя фаза существования российской монархии представляет собою необыкновенную картину всеобщего морального, политического и государственного разложения, достигшего совершенно фантастической остроты и принявшего формы трагической вакханалии среди хаоса и тяжелого мрака, окутывавшего страну. Война, начавшаяся в 1914 году, обрушилась с фатальной силой на обреченный строй и галопирующим темпом повела его к неизбежной гибели, многими предвиденной и предсказанной. Рок бесстрастно готовил могилу Романовской монархии, но ее деятели использовали последние моменты ее существования для самой напряженной, самой страстной борьбы не столько для и во имя спасения династии, сколько ради единственно всепоглощавшего их импульса—своекорыстного карьеризма. Бесславно кончали свою деятельность и ее сановные столпы, ее главные, явные и тайные оруженосцы. И предсмертные сумерки монархии ни разу не осветились благородным светом яркого героизма, мужественной доблести и самоотверженного служения родине в рядах тех, кто до сих пор правил судьбами России. Смерть была страшной, отвратительной, поворной...

Русская наука истории только начинает приоткрывать завесу над этим недавним прошлым. Пройдут еще большие периоды большого и напряженного труда, изысканий, исследований, открытий,—пока картина смерти монархии предстанет в окончательно зарисованном виде. Теперешний момент позволяет только предварительные экскурсы в эту таинственную область ради накопления первоначальных материалов, для первоначальной ориентировки в катастрофических сдвигах русской истории 1917 года.

Одним из важных источников для истории этой являются предлагаемые вниманию читателей материалы, собранные, систематизированные и обработанные по воспоминаниям Степана Петровича Белецкого. Имя это не звучит так ярко, как многие имена его соратников и сверстников, как имя Распутина,

с которым Белецкий связал свою судьбу. Но по роду и характеру своей деятельности Белецкий является замечательно-типичным мастером старого режима, одним из тех кузнецов, которые, упорно выковывая цепи для России, также упорно рыли яму и самодержавию.

С. П. Белецкий—из „стан славных“ столыпинских орлов. Свою карьеру в петербургском бюрократическом мире он сделал благодаря П. А. Столыпину, узнавшему его по работе правителя канцелярии ковенского губернатора (Столыпин, как известно, был ковенским губернским предводителем дворянства). После непродолжительной службы в Симбирской и Самарской губерниях, С. П. Белецкий получил в марте 1910 г. пост вице-директора департамента полиции, и с этого момента начинается его крупная политическая роль в России.

Департамент полиции в столыпинские времена послужил отличной школой для Белецкого, выработав из него, соответственно тогдашнему политическому спросу, боевого карьериста, шедшего верными путями вверх по иерархической лестнице и, соответственно тогдашней политической морали, не брезговавшего для этого никакими средствами. Это было время полного расцвета в департаменте полиции провокационной системы, и Белецкий свою умелую и опытную руку тяжело прикладывал к этой системе, вносящей ад во все слои русского общества, не исключая детей. С 1911 года Белецкий назначается уже и. д. директора департамента, а с января 1912 года утверждается в этой должности, в которой он и „работает“ до 28 января 1914 года.

За это время департамент полиции усугубил свою разрушительную работу. Политический рознь в связи с провокаторскими методами, пустившими глубокие корни, развился и углубился. Внутренний шпионаж перебросился в средние учебные заведения и в войска сухопутные и морские. В департаменте полиции проходили знаменитые дела Малиновского, депутата-провокатора, Шорниковой, пославшей, в качестве тоже провокаторши, депутатов второй Государственной Думы в Сибирь, дело Бейлиса, инсценированное совокупными усилиями департамента с министерством юстиции и правыми партиями, и т. д. Формуляр департамента за времена Белецкого может быть назван блестящим.

Здесь его „работа“ неожиданно обрывается вследствие назначения в феврале 1913 г. товарищем министра внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов генерала В. Ф. Джунковского, бывшего московского губернатора, пытавшегося реформировать дело политического сыска и несколько ослабить его анти-правовой, анти-моральный характер, в чем он, конечно, встретил упорное сопротивление столыпинца Белецкого. Только влиятельное заступничество Н. А. Маклакова спасло Белецкого от назначения на низшую должность олонекского губернатора, и он очутился в первом департаменте сената в качестве сенатора с января 1914 г.

Наступил 1915 год. Война делала свое внутреннее политическое дело. Если на фронте в неравных боях гибли сыны русского народа, без оружия голые, беспомощные, под бездарным пораженческим командованием, то на внутреннем фронте шла бескровная, но еще более ожесточенная война с самодержавной властью, к этому моменту окончательно вошедшей в фазу настоя-

щего безумия. Если до середины 1914 года Николай II все еще мечтал о государственном перевороте и делал неоднократно шаги к уничтожению законодательных учреждений, то после начала войны, когда его супруга Александра Федоровна решила взять в свои руки по возможности все бразды правления, началась, из боязни решительных шагов, компромиссная, неискренняя, лицемерная игра в политику, обратившаяся, как это естественно вытекало из предсмертного монархического безумия, в хаотическую вакханалию.

Начались поиски людей для спасения старого, гнилостно разлагавшегося строя. Наступила фаза непрерывной смены министерств и министров, курсов и направлений самодержавного калейдоскопа. Совет министров обратился в кумир-коллегию, министры появлялись и исчезали, власть разлагалась на глазах у всех, монархия дряхлела, страна волновалась, оппозиция богатырски росла и наступали решительные часы. А старый строй защищался нелепо и безрассудно, — и на посту министра внутренних дел, после ухода в июле 1915 года четырех столпов старой гвардии — Н. А. Маклакова, В. К. Саблера, ген. Сухолинова и И. Г. Щегловитова, — последовательно, до революции, т. е. в течение полутора лет, сменились: кн. Щербатов, А. Н. Хвостов, Б. В. Штюрмер, А. А. Хвостов и, наконец, последний министр внутренних дел А. Д. Протопопов, психически больной человек, символизировавший собой, под трагическую занавес, психически большую монархию. Такое же политически-непристойное кувырканье шло и по всем министерствам, — и четыре председателя совета министров (И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер, А. Ф. Трепов и кн. Голицын), сменяя один другого, только усиливали своими бедарными и даже пошлыми фигурами трагизм этой процессии мертвецов перед глазами России...

Среди такого хаоса вновь всплыл на поверхность политической жизни и С. П. Белецкий. Это, можно сказать, — ставление Распутина и всей той темной организации подпольных сил Романовского дома, которая втайне, невидимо, но ощутимо для страны, веда ее в пропасть своим безумием. И история, и характеристика этой секретной звездной палаты во главе с Распутиным, этим грязным развратником, хлыстом, магнетизером, аферистом и пассивным (германским шпионом (по уверению А. Н. Хвостова, хорошо его знавшего и за ним следившего), приобретает исключительно высокий и необычайно-серьезный интерес. Правда, она напоминает бульварный роман. Но бесславие и позор умирания российской монархии опираются именно на эти таинственные темные силы, и без понимания и изучения их останется темной и непонятной наша революция 1917 года.

На пост министра внутренних дел попадает А. Н. Хвостов, бывший губернатор, а затем депутат Государственной Думы партии черных монархистов. И его товарищем в сентябре 1915 года назначается С. П. Белецкий, по желанию самой императрицы Александры Федоровны, — так, по крайней мере, категорически утверждал А. Н. Хвостов, что, впрочем, совпадает и с другими указаниями и фактами.

Период Белецкого — период наибольшего расцвета Распутиновщины. Этот гнусный и ядовитый цветок распускается пышным цветом. Распутиновщина проникает, просасывается и всасывается в весь строй высшего управления

страной. Распутин своей злой тенью точно покрывает всю страну, династию, судьбы России. Изумительная история этого ничтожного человека равна изумительности истории русского самодержавия в его последней фазе. Сказкой кажутся страницы воспоминаний Белецкого, на которых рисуются картины высшего управления страной при посредстве психически развращенной царичи, психопата Вырубовой и полового психопата Распутина. Это трио владычествовало. Оно занимало трон. Оно держало в руках Россию. Оно окружило больного волей царя крепкою стеной и породило чудовищную борьбу низких интриг.

И на фоне этой борьбы особенно красочными являются заключительные картины, нарисованные воспоминаниями Белецкого, картины, в которых уголовный элемент является преобладающим. Вся эта серия убийств, планы которых лихорадочно разрабатывали министр внутренних дел и его помощники, венчает разрушение монархии.

В своем обзоре прошлой жизни С. П. Белецкий отводит очень много места Распутину, вернее сказать, преимущественное место. Ниже читатель найдет общую характеристику этого темного героя, какую делает ему Белецкий. Но, помимо этого, в его воспоминаниях имя Распутина не забывается ни на один день, ни в одном факте, ни в одном событии—езде и всюду появляется, действует, тайно работает этот „друг“ Романовых, как всегда его называли Николай II и Александра Федоровна. Белецкий считал Распутина „очень умным человеком“. По его словам, Распутин „обладал страшно сильной волей, которую он в себе воспитал, и этим он действовал на государя, на которого он при объяснениях даже стучал кулаком“. Отношения между царем и Распутиным Белецкий характеризовал, как „борьбу слабой воли с сильной“. Но „этот человек ходил по гостиним лучше, чем другой царедворец, и понимал и учитывал все слабости людей, на которых он мог играть“.

Повидимому, Белецкий и сам не мог отрешиться от этого влияния, хотя он вспоминает все распутинское прошлое с отвращением (воспоминание написано после того потрясения, которое совершила революция). Но, как бы то ни было, рассказ Белецкого дает богатый материал для оценки роли Распутина в правящих верхах. Это тем более ценно, что вообще материалы о Распутине в большинстве своем погибли. Погибли прежде всего все материалы о нем, имевшиеся у Николая II и Александры Федоровны. Эти материалы были или уничтожены, при полном равнодушии и даже с разрешения временного правительства. Дневники Николая II-го от 10, 11, 12 и 13 марта 1917 года свидетельствуют, что царь в течение всех этих четырех дней „сжигал письма и бумаги“ (гельсингфорская газета „Путь“ № 198, октябрь 1921 г.). Конечно, этому примеру следовала и императрица, хорошо знавшая, хотя бы через свою фрейлину и ближайшего друга А. А. Вырубову, как относилась вся Россия к Распутину.

Когда министр внутренних дел А. Н. Хвостов, по прохвостам Распутина, принужден был выйти в отставку в начале 1916 г., то к нему приехал председатель совета министров Б. В. Штюрмер и передал ему устное повеление

императора Николая II сжечь все бумаги или документы, касающиеся Распутина. И оба министра принялись за ауто-да-фе, и в нем погибли замечательные материалы, как напр., листки ежедневных наблюдений за внутренней жизнью Распутина (агенты департамента полиции были внедрены в семью Распутина). Конечно, с первыми громами революции, наверное, все сановники постарались уничтожить всякие письменные следы своих сношений с Распутиным.

Нужно отметить весьма характерную черту распутинского периода. К этому фавориту Александры Федоровны, которую он именовал Екатериной Великой по уму и которой повидимому льстиво внушал мысль, что она одна способна править Россией, решительно все, за исключением узкого круга истеричных поклонниц, относились в высокой степени враждебно. Читатель увидит ниже, что сановники, не брезговавшие проводить свои интриги и защищать свои интересы через Распутина, всячески отвергивались отмыто от всякого с ним общения и даже знакомства. Сам Белецкий скрывал даже от жены на первых порах свое знакомство с Распутиным. Белецкий и Хвостов, имея непрерывные дела с Распутиным, видалась с ним только на конспиративной квартире, не смея принимать его у себя дома. То же проделывали решительно все бюрократы. Общественное мнение, общественная совесть оказывалась сильнее их пресмыкающихся душ, и они прятали свои головы, думая, что их никто не видит...

Тем не менее, роль Распутина в политической и государственной жизни от этого обстоятельства несколько не может быть затенена и преуменьшена. И рассказы Белецкого дают в этом отношении весьма большой и содержательный материал.

Конечно, к нам нужно относиться весьма осторожно и сдержанно. Каков бы ни был по силе тот моральный кризис, вызвавший прилив откровенности и искренности, какой пережил Белецкий во время революции, все же его воспоминания пропитаны субъективностью и естественно являются все-таки не столько обвинительным против него актом, как сам он их называл, а самозащитой. Эти воспоминания требуют большой исторической проверки и на них нельзя опираться, как на бесспорную документальную истину.

Ред.

Глава I.

Назначение А. Н. Хвостова министром внутренних дел. — Переговоры с С. П. Белецким. — Программа А. Н. Хвостова — Григорий Распутин. — Его отношения к министрам. — Выступления в Г. Думе А. И. Гучкова против Распутина. — Результаты этого выступления. — План охраны Распутина. — Распутин и В. Н. Коковцов. — Письма ген. Богдановича. — Письма к Распутину от государыни. — Телеграмма Думбадзе о разрешении покончить с Распутиным. — Сводка филерских наблюдений над Распутиным. — Вел. кн. Николай Николаевич и Распутин. — Доклад ген. Джуковского Николаю II о Распутине.

О назначении А. Н. Хвостова на должность управляющего министерством внутренних дел я знал недели за две до официального приказа и в этот период времени я с Хвостовым виделся почти ежедневно, так как он пригласил

меня, с первой же встречи, в случае, если назначение состоится, к сотрудничеству с нами в должности товарища министра вн. дел.

В течение двухнедельного промежутка времени нами были обсуждены как первые шаги А. Н. Хвостова при вступлении в должность, так и намечена была, в соответствии с переживаемым тогда моментом, программа его деятельности по вопросам внутренней политики. Тот чисто дружеский тон отношений, который сразу А. Н. Хвостов усвоил со мною, меня подкупил, и поэтому я согласился принять на себя некоторые обязанности, которые я, если бы хорошо знал его ранее, как узнал впоследствии, ни за что не принял.

С намеченною нами программой и со знанием, ему подсказанным, некоторых сторон характера государя, А. Н. Хвостов представился его величеству и получил вместе с портфелем министерства и утверждение его программы, от которой, правда, он впоследствии отказался, частью по независящим от него обстоятельствам, а частью в силу отличительных свойств своего характера. Первые дни и первые месяцы я был с ним неразлучен, пока не состоялись некоторые, на мой взгляд, неудачные назначения по министерству и не последовало моего разочарования в самом министре. Поэтому, мне пришлось в первое время принимать иногда даже и широкое участие в работах общего характера, не относящихся к сфере деятельности порученного моему наблюдению департамента полиции и штаба корпуса жандармов, и, в силу некоторых соображений, о коих я скажу впоследствии, принимать также просителей, имевших ту или иную просьбу к министру, а также и участвовать вместо него зачастую в заседаниях совета министров. Единственно, что сначала до конца нашей совместной службы взял на себя А. Н. Хвостов, это—сношение с Госуд. Думой и выступления в бюджетной комиссии, а также, по моей просьбе, переговоры и руководство правыми организациями и сношения с Марковым 2 и Г. Замысловским по вопросам общепартийного направления. Таков порядок был и при А. А. Макарове и Н. А. Маклакове в бытность их на посту министра вн. дел. Я только выдавал, если то требовалось министрами, соответствующие суммы, поддерживая хорошие отношения с правыми деятелями. Затем А. Н. Хвостов, по назначении г. Гурлянда директором-распорядителем осведомительного бюро, взял на себя также и наблюдение за прессою.

Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и победоносное окончание ее несколько затуманились, патриотический порыв поостыл, частые наборы влекли за собою некоторое раздражение в народных кругах; расстройство транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политико-экономического свойства, на недостатках в крупных центрах предметов первой необходимости; кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде увеличилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, напр., в области Войска Донского и пр. В виду этого программа А. Н. Хвостова сводилась

к стремлению усилить, с одной стороны, наблюдение за революционными организациями, не внося излишнего раздражения постоянными и массовыми арестами, зорко и неустанно следить за общественным движением, стараться, по возможности, излишним стеснением свободы их деятельности не раздражать общественных кругов, наладить, по возможности, отношения с прессою, а с другой—усилить и широко распространять в массах патристические наидания, обрисовывавшие царственные труды на войне государя и наследника и анти-стейшие заботы государыни Александры Феодоровны, как по уходу за ранеными, так, главным образом, по верховному совету в сфере обеспечения участия и дальнейшей судьбы жертв долга и их семей, а также по созданному ею по докладу А. Н. Хвостова комитету по заботам о наших военнопленных за границею (где товарищем был кн. Голицын, впоследствии председатель совета); распространять среди рабочих наидания о роли рабочей массы по снабжению боевыми припасами нашей армии, внести порядок в вопросе о заботах о беженцах, стремиться помочь беднейшему населению в получении в крупных центрах, главным образом, в столицах, предметов первой необходимости, усилить надзор за немецким засильем и переходом немецкой земли в руки русских подданных (отражение речи А. Н. Хвостова в Госуд. Думе по этому вопросу), не стеснять излишними формальностями получение учащейся молодежи свидетельств о благонадежности и т.п.

Во время моего нахождения на посту товарища министра мне пришлось очень близко войти в соприкосновение и особо считаться с влиянием нового старца кр. с. Покровского, Тюменского у., Тобольской губ., Распутина, переименованного впоследствии свою фамилию, с соответствующего разрешения на „Новых“. Так как я свои сношения с ним и с его большой почитательницей А. А. Вырубовой продолжал до смерти Распутина, а с А. А. Вырубовой не прерывал знакомства до последних дней (до заболевания ее корью), то я свою исповедь разобью на три периода и начну со времени моего директорства.

До назначения моего директором, когда я был вице-директором при П. А. Столыпине, мне не пришлось ни в служебной, ни в частной моей жизни сталкиваться с Распутиным, но в этот период его имя начало просачиваться в средние круги петроградского общества, так как он был принят во дворец великого князя Николая Николаевича его супругою и им самим, бывал в великосветских гостиных, был близок к семье гр. С. Ю. Витте,—которого он до конца своей жизни вспоминал с особой теплотой, и которого он при жизни графа, как он мне сам говорил, неоднократно хвалил в высоких сферах, мечтал об обратном его возвращении к власти, и познакомил уже с А. А. Вырубовой. В первых шагах Распутина в Петрограде, кроме ректора академии еп. Феофана, разочаровавшегося в нем впоследствии, и тех великосветских кружков, которые интересовались церковными вопросами, куда его ввел еп. Феофан, особую поддержку ему оказывал и предоставлял ему у себя жить, Г. П. Сазонов, охладивший свои отношения к нему впоследствии, когда Распутин изменил свой образ жизни.

Наблюдение за Распутиным в это время, т. е. при П. А. Столыпине, вел П. Г. Курлов, товарищ министра внутренних дел. В чем оно выразилось, следов в департаменте полиции не осталось, но, со слов Распутина, я знаю, что последний с того времени знаком с П. Г. Курловым. При А. А. Макарове ¹⁾, когда я вступил в должность директора и до моего оставления этой должности, я лично также с ним знаком не был, как и А. А. Макаров, и Золотарев ²⁾ избегали возможности с ним познакомиться и не желали этого и впоследствии. Что касается Н. А. Маклакова ³⁾ и генерала Джунковского ⁴⁾, то Н. А. Маклаков был в хороших отношениях с Распутиным; не знаю, как он познакомился, но думаю, что через покойного кн. Мещерского ⁵⁾, знавшего Распутина и относившегося к нему с почтением еще тогда, когда он не был вхож во дворец. Джунковский же, с первых своих шагов по вступлении, относился к нему отрицательно-демонстративно, несмотря даже на то, что в конце моего директорства влияние Распутина можно было считать прочно установившимся.

Выступление А. И. Гучкова с кафедры Государственной Думы по поводу влияния Распутина повлекло за собой: 1) принятие мер к охране его личности, в силу полученных указаний свыше министром А. А. Макаровым, 2) воспрещение помещения в прессе статей о нем и 3) наблюдение за Гучковым, которое потом мною, при назначении генерала Джунковского, было снято. Вместе с тем А. А. Макаровым было предложено мне и несение охраны жизни Распутина. В силу этого мною с полковником Коттеном ⁶⁾ был выработан план охраны, сводившийся к командированию развитых и конспиративных филеров, коим было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный филерский дневник, который к моменту оставления мною должности представлял собой в сделанной сводке с выяснением лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным, весьма интересный материал к обрисовке его, немного односторонне, не личности, а жизни. Затем, в село Покровское был командирован филер на постоянное жительство, но не для охраны, так как таковая из постоянных при Распутине филеров, в несколько уменьшенном только составе, его сопровождала и не оставляла его и при поездках, а для „освещения“, ибо на месте, как выяснилось, агенты завести нельзя было.

Такая система двойственного наблюдения продолжалась до моего ухода.

Сведения о Распутине докладывались Коттеном министрам, товарищам и мне, а то, что поступало в письменной форме, я держал у себя,—в служебном кабинете, не сдавая в департамент, и, при уходе, в форме дела оставил

¹⁾ Министр внутренних дел после смерти П. А. Столыпина.

²⁾ Товарищ министра внутренних дел, б. прокурор палаты, сменивший П. Г. Курлова.

³⁾ Министр внутренних дел, преемник А. А. Макарова.

⁴⁾ Товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов.

⁵⁾ Редактор-издатель „Гражданина“.

⁶⁾ Начальник Петербургского охранного отделения.

в нестораемом шкафу, внеся его в опись, представленную мною Н. А. Маклакову, но на другой день, по требованию Маклакова, в числе нескольких других дел, его заинтересовавших, сдал ему и это дело.

Председатель совета министров В. Н. Коковцов очень интересовался личностью Распутина, и я ему о нем докладывал неоднократно, так как он хотел положить конец его влиянию путем доклада о нем государю, о чем я слышал не только от самого В. Н. Коковцова, но и потом от А. А. Макарова, но не знаю, докладывал ли он. Впоследствии от Распутина я слышал, что он, незадолго до ухода Коковцова с своего поста, виделся с В. Н. Коковцовым и убеждал его уничтожить винную монополию, о чем Распутин неоднократно, по его словам, говорил государю, и давал понять В. Н. Коковцову, что это будет стоить ему его поста; насколько это правильно, я не знаю, так как против В. Н. Коковцова были в ту пору настроены некоторые из влиятельных членов кабинета (Н. А. Маклаков, И. Г. Щегловитов¹⁾ и В. А. Сухомлинов²⁾), а также и кн. Мещерский и генерал Богданович³⁾). По уходе своем В. Н. Коковцов виделся с Распутиным на квартире кн. Андронникова, но особого примирения, по словам князя, между ними не произошло.

Я в ту пору тяготел к кружку покойного ген. Богдановича, с содержанием писем которого, вызвавших даже к нему одно время немилость и направленных против Распутина, я был знаком, так как давал ему и материалы из жизни Распутина за этот период времени. Докладывал-ли А. А. Макаров государю в подробностях о Распутине, я не знаю, но только заявляю, что часть найденных писем к Распутину от государыни, кои были у Иллиодора, были добыты при посредстве г-жи Карабович из Вильны Замысловским, а также одним казачьим офицером и переданы А. А. Макаровым государю, что и послужило причиною гнева на Макарова со стороны государыни, не пожелавшей даже принять его, когда он, спустя продолжительное время, был приглашен В. В. Штурмером в кабинет на пост министра юстиции, — и имело также свое значение и в отношении к уходу его снова в Государственный Совет. Н. А. Маклаков, хотя и знал мое и генерала Джуньковского отношение к Распутину и то, что я снабжал Богдановича сведениями о нем, тем не менее ни разу не сделал мне указаний о прекращении снабжения этими сведениями Богдановича; быть может, потому, что не желал обидеть Богдановича, искренно к нему расположенного.

В последние месяцы моего директорства при Н. А. Маклакове, когда августейшая семья находилась в Ливадии, и Распутин была вызван в Ялту, от Ялтинского градоначальника, покойного генерала Думбадзе, следовавшего особым распоряжением государя и бывшего под большим воздействием генерала Богдановича, который протектировал Думбадзе, мною была получена шифрованная телеграмма с надписью „лично“ приблизительно следующего содержания: „Разрешите мне избавиться от Распутина во

¹⁾ Министр юстиции.

²⁾ Военный министр.

³⁾ Придворный „интератор“, автор монархических брошюр, листовок и воззваний.

время его переезда на катере из Севастополя в Ялту¹⁾. Расшифровал эту телеграмму работавший в секретарской части департамента А. Н. Митрофанов; посылая мне на квартиру дешифровку, он предупредил меня по телефону, что телеграмма интересная. Я, подписав препроводительный бланк, послал ее срочно с надписью: „в собственные руки Н. А. Маклакову“ и затем по особому для разговоров только с министром телефону, спросил его, не последует ли каких либо его распоряжений, но он мне ответил, что „нет, я сам“. Какие, были посланы указания Думбадзе и были ли посланы, я не знаю, но проезд в сопровождении филеров, состоялся без всяких осложнений. Этой телеграммы в деле нет, так как Н. А. Маклаков мне ее не возвратил, а Митрофанов, по расшифровке и скрепе, порвал подлинник, так это делалось в департаменте с шифрованными телеграммами¹⁾.

Сводка филерских наблюдений над жизнью Распутина, в общих чертах, рисовала отрицательные стороны его характера, сводившиеся к начавшейся уже тогда его наклонности к пьянству и его эротическим похождениям. В бытность мою сенатором, ко мне, в конце 1914 года, обратился через посредство своего управляющего хозяйственной частью дворца, полковника Балинского, великий князь Николай Николаевич, жена которого и он сам перестали уже принимать Распутина, с просьбой, не могу ли я дать сведения о порочных наклонностях Распутина, так как, по словам полковника Балинского, великий князь решил определенно поговорить с государем об удалении Распутина из Петрограда. Сведения эти я дал, черпая материал из имевшейся у меня лично на руках сводки. Впоследствии уже я узнал, что великий князь свое желание осуществил, и Распутин до конца своей жизни, что я сам слышал, не мог этого простить великому князю, причем пред уходом великого князя на Кавказ, с чьих только слов, не знаю,—он утверждал, что великий князь мечтает о короне.

Затем,—как я проверил впоследствии у самого Распутина,—генерал Джунковский, незадолго до своего ухода, пользуясь исходатайствованным для него еще Н. А. Маклаковым правом непосредственных докладов по штабу и к высочайшим проездам государя, воспользовавшись также полученными им из Москвы сведениями о недостойном в опьянении поведении Распутина в ложе ресторана „Яр“, докладывал их государю в связи с общей его характеристикой. Доклад этот, как мне говорил сам Распутин, вызвал сильный на

¹⁾ Я потом не спрашивал Маклакова, что он ответил на телеграмму. Я напоминаю, когда я был после оставления должности товарища министра в Ялте, мне и Хвостову было приказано раз'ехаться. Хвостов уехал в деревню, а я в Ялту. Я спрашивал полковника Троцкого, говорил ли ему что нибудь Думбадзе про убийство во время морского переезда. Он сказал, что нет, но заметил, что вообще у Думбадзе были планы покончить с Распутиным, но планы заоблачного характера. Есть скала, на которой построен купцом из Москвы железный замок, стоящий над Ялтой. Думбадзе думал туда привести Распутина, чтобы оттуда сбросить его или вообще сделать какое нибудь разбойное нападение, но все это осталось в области предположений, и Думбадзе в этом отношении ничего не предпринимал.

него гнев государя,—таким Распутин никогда до того даже и не видел государя. Но, по словам Распутина, он в свое оправдание говорил, что он, как и все люди, грешен,—не святой. По словам Распутина, государь после этого долго его не пускал к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни.

Правда, потом генерал Адрианов, после немецкого погрома в Москве ушедший из должности градоначальника, находясь под сенаторским расследованием,—после свидания с Распутиным в Петрограде,—лично и затем в письменном изложении, передал через меня А. А. Вырубовой заявление, что никакой, по лично им произведенному расследованию, неблагопристойности Распутин не производил у „Яра“. В это время шел разговор об оставлении генерала Адрианова в свите, и он был вызван гр. Фредериксом в Петроград. В свите затем он был оставлен, но, когда, значительно позднее уже,—по окончании расследования, генерал Адрианов, при министре внутренних дел Протопопове, приехал в Петроград, чтобы представить министру юстиции свою объяснительную записку перед слушанием дела в сенате, и был у меня с просьбой сказать за него несколько слов А. А. Макарову, для чего даже и оставил один экземпляр записки,—то он имел в виду передать через Распутина экземпляр и государю. Но, как мне говорил ген. Адрианов, Распутин отказался его принять. Когда я, при встрече, спросил Распутина, почему он не захотел повидаться с ген. Адриановым, то он ответил, что все-таки ген. Адрианов, хотя и дал другое показание, но ему нужно было бы в свое время, когда он был градоначальником, посмотреть, что такое полиция о нем писала ген. Джунковскому.

Глава II.

Князь Андронников.—Его „записки“ в высшем свете.—Планы кн. Андронникова.—Епископ Варнава — Личное знакомство С. П. Белецкого с Распутиным и А. А. Вырубовой.—Кандидатура А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел.

В промежутки этого времени я не прерывал своих отношений с кн. Андронниковым, хорошо установившихся со времен министерства А. А. Макарова, когда я впервые с ним познакомился. Я часто бывал у него, он также вечером заезжал ко мне, и от него я слышал всегда много интересных новостей из придворных и министерских сфер, так как он имел широкий круг влиятельных знакомцев и бывал у гр. Фредерикса, Воейкова, у большинства министров, у председателя совета Горемыкина, имел знакомых при великокняжеских дворах, знал много директоров департаментов почти всех министерств и других чинов из министерств, которые считались с его влиянием у министров, боялись вооружать его чем-либо, поддерживали с ним лучшие отношения и старались исполнить его просьбы, предпочитая его иметь лучше своим хорошим знакомым, чем сильным и опасным врагом. Я, в сущности говоря, в ту пору на него смотрел, как на человека, который поразительно мог

проникнуть к каждому министру. Эта у него идет красною нитью во всей его жизни. Он даже надевал красную рубашу и пахал перед государем. Он много ездил и всегда с портфелем. Плеве интересовался этим портфелем и наблюдал за ним. В конце концов этот портфель схватили, но там ничего не оказалось, кроме газет. Он всегда старался делать вид человека делового. Его в „Новом Времени“ и в „Вечернем Времени“ описывали в замаскированном виде, как тип... Андронников старался проникнуть в торгово-промышленные сферы... Я могу сказать, что не было в истории прошлого периода таких моментов, чтобы Андронников не проводил кого-нибудь в министры под тем или другим предлогом... Средств и имений он не имел, потому что был из обедневшей семьи,—а трень его жизни был очень широк. Временами у него были большие деньги, временами был без денег, и его поддерживали знакомые...

Его записки были интересны. Он их представлял Марии Федоровне, государю и государыне... Во всех министерских назначениях он безусловно имел громадное значение... Он бывал у управляющего двором Марии Федоровны Шервашидзе... Он в этот период был занят доведенной им затем до конца крупной финансовой операцией по покупке, при содействии военного министра Сухомлинова, на акционерных началах в Бухаре и Хиве больших земельных площадей, прилегающих к речным артериям. Ко мне он был искренно в ту пору расположен, так как во времена моего директорства у него никаких дел в департаменте полиции не было, и он только пользовался бесплатными проездными билетами на пред'явителя. При генерале Джунковском, которого кн. Андронников знает по пажескому корпусу, в силу отрицательного отношения к Андронникову Н. А. Махлакова, и под влиянием просьб к Махлакову со стороны военного министра Сухомлинова, с которым в ту пору, после продолжительной и неразрывной дружбы кн. Андронников разошелся и повел борьбу,—последовало увольнение кн. Андронникова от должности причисленного к министерству внутренних дел чиновника, дававшей кн. Андронникову, некоторым образом, официальное положение. Это его сильно задело, и хотя он и был устроен, путем всеподданнейшего доклада обер-прокурора Саблера, на должность чиновника особых поручений при святейшем синоде, но этой обиды не мог забыть Н. А. Махлакову и, где мог, старался подорвать к нему доверие.

В своих „Записках“ к гр. Фредериксу для высших сфер кн. Андронников давал очерк деятельности министров, сообщая те или другие о них сведения, давал обрисовку событий, волновавших Петроград, и т. д. Записки эти были стильно написаны, в большинстве отличным французским языком, иногда зло обрисовывали какие-либо факты из деятельности или жизни тех высших сановников, против коих что-либо имел князь, и прочитывались им тем, кто был противником этих лиц. За этот период времени князь несколько раз писал обо мне, как о человеке, который не был в достаточном отношении использован. Взамен этого я помог ему в выпуске к 50-ти летнему юбилею Горемыкина изящно изданной брошюры—„О государственных заслугах И. Л.

Горемыкина", в составлении ему адреса, подписи на котором были собраны кн. Андронниковым.

В конце апреля 1915 г. скончался у меня старший сын. Смерть его сильно нас поразила. По возвращении в Петроград, осенью, кн. Андронников, узнав о моем приезде, первый позвонил ко мне, прося зайти. Когда я пришел к нему, то от него я узнал, что за время моего отсутствия он близко сошелся с Распутиным, проник через него в особое доверие к А. А. Вырубовой, вошел в более лучшие отношения с статс-дамой Нарышкиной, и что предстоят большие перемены в составе кабинета, которые могут повлечь за собою обратное мое возвращение к активной работе, и что почва достаточным образом подготовлена, так как им сделано многое в мою пользу, с условием в будущем действовать с ним солидарно. Когда же я ему сказал, что Распутин, который был в это время на родине у себя, может потом пойти против меня, под влиянием недоверия ко мне за прошлое, и потому, что при оставлении должности моей, когда мне передавали о его желании со мной познакомиться, я тогда, по просьбе жены, от этого отказался,—то Андронников меня успокоил тем, что все уже предусмотрено, и я охотно согласился.

Здесь же я познакомился с тобольским епископом Варнавой, который был у князя во время своей борьбы с Самариным ¹⁾ по поводу канонизации мощей св. Иоанна Тобольского; сойдясь с ним близко, князь помог ему, пользуясь своим знакомством с сотрудниками газет, в печатании статей, освещавших это дело. Узнав затем поближе владыку и поняв многие стороны его души и характера, я искренно относился к нему и все время поддерживал с ним сердечные связи. Мне впоследствии приходилось видеть лиц, предубежденных против него за его связь с Распутиным, которые, познакомясь ближе с ним, резко переменили свое к нему отношение. Я не хочу этим сказать, что он не имел своих недостатков, но они поглощались очень многими хорошими его качествами. Выйдя из простой среды, не получив даже и среднего образования, он обладал от природы пытливым умом, наблюдательностью; хорошо ознакомившись, подобно старообрядческому начетнику, со священным писанием и догмю, он не потерял связи с народом, знал, что нужно его пастве и его жизни. Образные собеседования его с народом влекли к нему сердца. Его незлобие и отношение к иноверцам создали ему на месте его служения глубокое к нему почитание со стороны последних. Его народный говор, уснащенный народными поговорками и умело примененными текстами св. писания и примерами из жизни святых, давали особый интерес в собеседовании с ним.

Этим объясняется его умиротворяющее влияние в высоких сферах, где он тонко, дипломатично парализовал, не задевая Распутина, влияние последнего, что чувствовал Распутин. Вследствие этого, при мне уже можно было наблюдать, что приезды еп. Варнавы нервировали Распутина; он подозрительно относился к нему, старался причинить ему затруднения в приемах в высоких

¹⁾ Обер-прокурор св. синода.

сферах и всячески противодействовать сильному стремлению еп. Варнавы уйти из Tobольской епархии на север. Но не могу умолчать, что, сделавши ту или другую владыке неприятность. Распутин через некоторое время старался чем-либо исправить ее. Так, например, даваемое обычно архиепископство при открытии мощей в епархии было заменено очередной звездой, но через промежуток времени, по настойчивым просьбам Распутина, владыке без его о том напоминания, было пожаловано архиепископство.

По моему и князя Андронникова совету, владыка, в интересах своего дела, в исполнение воли синода, не представился государю и выехал из Петрограда, так как, по сведениям кн. Андронникова, киему Самарин к тому времени предложил официально подать прошение об увольнении, Самарин был в числе лиц, кои должны были уйти из кабинета И. Л. Горемыкина. Но владыка уехал не в свою епархию, а сперва на родину,—в одну из северных губерний,—а затем в Москву, где и остался, поддерживая сношения с князем Андронниковым через своего близкого человека, архимандрита Леонида (много, между прочим, вредившего ему в деле управления епархией) в ожидании нового назначения обер-прокурора и в виду скорого приезда Распутина из Покровского, зная, что в данном деле этот последний ему поможет, так как назначение Самарина обер-прокурором состоялось неожиданно для Распутина. Самарина Распутин не знал, но знал, что последний к нему относился отрицательно и что свящ. Востоков, публично выступавший против Распутина, состоял воспитателем по Закону Божьему детей Самарина.

К этому времени я уже познакомился с Распутиным, секретно от жены, в конце 1914 г. в квартире кн. Андронникова и несколько раз с ним там виделся. Был два раза у него на квартире по Гороховой ул. По воскресеньям туда, после обедни, приезжала А. А. Вырубова пить чай в небольшом кружке избранных Распутиным лиц, и здесь я познакомился с А. А. Вырубовой. Распутин тоже был у меня один раз, когда я, воспользовавшись отъездом жены из Петрограда в Москву к матери, и тем, что дети были в церкви на вечерней службе, пригласил его к себе на чай; но тем не менее отношения эти не были в ту пору тесными, так как и он, и я, и А. А. Вырубова друг к другу приглядывались. Мне было неловко чувствовать, что они понимают цель моего сближения, так как им тоже в это время было известно, что я до того не был сторонником Распутина и давал о нем сведения Богдановичу и великому князю Николаю Николаевичу. Единственно, что их примиряло со мною, это то, что в мое время жизнь Распутина была в безопасности, так как покушение на него, устроенное по инициативе Илюдора, случилось уже после моего ухода при генерале Джунковском.

Когда Андронников мне передал о предстоящих переменах, то под строгим секретом он мне сообщил, что им еще задолго до этого, с лета, уже выставлена кандидатура А. Н. Хвостова, которого он сблизил и с дворцовым комендантом Дедюлиным, и с А. А. Вырубовой; что А. Н. Хвостов уже был вызываем во дворец государыней, произвел самое лучшее на нее впечатление, и что теперь готовится благоприятная для него почва к приему у го-

сударя, что, по всему, успех назначения обеспечен ¹⁾, и что это делается очень тонко,—так, что даже Горемыкин не посвящен в это назначение, так как это назначение, как он думает, могло бы встретить противодействие со стороны Горемыкина, имевшего своего кандидата ²⁾, в провалу которого, путем сообщения о нем некоторых сведений, приняты уже им, кн. Андронниковым, меры, и что А. И. Хвостов, который раньше ко мне относился, будучи губернатором, несколько предубежденно, теперь, под влиянием его, князя, рад будет совместному служению со мною. На другой день было назначено в квартире кн. Андронникова мое свидание с А. И. Хвостовым, повлекшее за собою ряд ежедневных свиданий, нас тесно сблизивших, и затем состоялась моя совместная поездка к А. А. Вырубовой,—где я встретил доверчивый прием,—и к генералу Воейкову, с которым до этого времени я познакомился через кн. Андронникова и у которого бывал неоднократно.

Эти сведения убедили меня, что кн. Андронников весьма точно передал мне обстановку дела и что вопрос о переменах в кабинете—вопрос самого близкого будущего, и назначение А. И. Хвостова предопределено, судя по полученным уже из дворца известиям. Действительно, скоро последовал вызов Хвостова к государю, особо милостивый прием с воспоминанием о его прошлой службе, сообщение о том, что его назначение состоится на днях, и согласие на проведение предназначенной А. И. Хвостовым программы в исполнение. До опубликования указа дело было в большом секрете, но Андронников познакомил тогда и Горемыкина с положением дела и с совершившимся фактом и, пользуясь своим сильным на него влиянием, убедил его не противодействовать, так как это ничего не изменит, добавив, что А. И. Хвостов будет в будущем считаться с его, Горемыкина, желаниями, тем более, что Горемыкин может всегда воздействовать на А. И. Хвостова, через особо близкого к себе человека, министра юстиции А. А. Хвостова. Поэтому, кн. Андронников просил его принять А. И. Хвостова.

Против моего назначения И. Л. Горемыкин ничего не имел, так как и часто бывал у него, и он относился ко мне хорошо. А. И. Хвостов был у Горемыкина, и тот обещал ему не противодействовать его назначению, если ему не будет предоставлено выбора. Я тоже был у Горемыкина после назначения А. И. Хвостова, и было условлено, в случае моего назначения, что я его буду держать в курсе дел, с ведома министра, о чем он ему и заявил, докладами о настроении России. Это мною в точности было исполнено вплоть до доклада ему о предстоящей смене его, Горемыкина, и назначением на его место Штюмерера, чему Горемыкин не поверил,—настолько это было для него неожиданно.

Штюмерер упорно в это время бывал у Горемыкина в течение недели с женой. Это была самая тесная дружба. И в то же время Штюмерер вел переговоры с Распутиным и Вырубовой, и должно было состояться его

¹⁾ Назначение Штюмерера проходило тем же порядком.

²⁾ Статс-секретаря Крыжановского.

назначение. Штюрмер приезжал к нему в тот-же самый день, когда должно было состояться его назначение на должность председателя совета министров. Я знал об этом. Я приехал к Горемыкину, к которому я питал уважение, как бывший крестьянский деятель, воспитанный на крестьянских законах и разъяснениях его, и сказал: „Вы мне не верите, но сегодня поезжайте на вокзал. Штюрмер, одетый в мундир, будет ехать к государю“.— „Это он едет по другому делу, он мне говорил, по делу обер-прокурора св. синода. Я сегодня буду у государя“. И такой самодовольный! И он, действительно, был у государя, просидел у него 20 минут и вернулся оттуда уже не председателем. Увидя его, я сказал: „Я был прав, зачем вы не послушались“... Про назначение я знал от Манасевича и из филерских наблюдений о том, где был Распутин, где был Штюрмер и где были свидания с ним... Они виделись на второй квартире Распутина, у Лерма, Басейная 35... Горемыкин был тоже близок с Распутиным. Распутин проводил его канцлером.

Как только назначение А. Н. Хвостова состоялось, на первом докладе его, как министра, было им испрошено согласие у государя на мое назначение, и до опубликования указа я официально не вступал в должность, но фактически уже приступил к ознакомлению с делами, так как безотлучное мое нахождение при А. Н. Хвостове, который мало знал состав министерства и обстановку министерского обихода, само собой ясно подчеркивало близость моего назначения.

Глава III.

Общая характеристика Распутина. — Его прошлое. — В мире странников и в монашеской среде. — „Гриша-провидец“. — Епископ Феофан, богоискательские кружки и дворец великого князя Николая Николаевича. — Распутин и Николай II-ой. — Уроки магнетизирования. — „Воскрешение из мертвых“ Вырубовой. — Значение его для последующего влияния Распутина. — Разочарование Вырубовой. — Распутин накануне смерти. — Предчувствия Распутина. — Поклонницы Распутина после его смерти. — Мечты Распутина скрыться от мира. — Распутин и хлыстовщина. — Распутин и православие. — Основные черты его характера. — Судьба распутинцев.

И лично близко подошел к Распутину уже тогда, когда его положение во дворце и сила его влияния на августейших особ настолько упрочились, что он считал себя как бы неотъемлемо связанным с высочайшею семьею узами средостения не только в личной жизни их величеств, но и в сфере государственного правления. При этом надо иметь в виду и то обстоятельство, что если Распутин в редких случаях когда-либо и касался этого вопроса, то он всегда высказывался по этому поводу в самых неопределенных формах; что же касается А. А. Вырубовой, то она никогда в разговорах со мною или в моем присутствии не приподнимала завесы над этою тайною. Но, наблюдая за Распутиным с 1912 г. с некоторыми перерывами, я лично пришел к следующим о нем выводам.

Распутин обладал недюжинным природным умом практически смотрящего на жизнь сибирского крестьянина, который помог ему наметить свой жизненный идеал, как только он начал ясно отдавать себе отчет в необходимости улучшить свои жизненные условия. В обстановке обихода своей крестьянской семьи Распутин этой возможности не видел, тем более, что тяжелый и упорный труд земледельца его, привыкшего с ранних лет к празднопотанию по монастырям, к себе не привлекал. Поэтому Распутин пошел по пути своих склонностей, которые в нем развились под влиянием общения его во время странствований с миром странников и с монашеской средой. Общение это дало Распутину зачатки грамотности и своеобразное богословское образование, приуроченное к умению применять его к жизненному обиходу, расширило его взгляд на жизнь, развило в нем любознательность и критику, выработало в нем чутье физиономиста, умевшего распознавать слабости и особенности человеческой натуры и играть на них, и само по себе повело его по тому пути, который растворил пред ним страдающую женскую душу. Сильно чувствуя в себе с юных лет человека с большим уклоном к болезненно-порочным наклонностям своей натуры, Распутин ясно отдавал себе отчет в том, что узкая сфера монастырской жизни, в случае поступления его в монастырь, в скорости выбросила бы его из своей среды, и поэтому он решил пойти в сторону, наиболее его лично удовлетворявшую—в тот мир видимых святош, странников и юродивых, который он изучил с ранних лет в совершенстве.

Очутившись в этой среде в сознательную уже пору своей жизни, Распутин, игнорируя насмешки и осуждения односельчан, явился уже, как „Гриша провидец“, ярким и страстным представителем этого типа, в настоящем народном стиле, будучи разом и невежественным и красноречивым, и лицемером и фанатиком, и святым и грешником, аскетом и бабником, и в каждую минуту актером, возбуждая в себе любопытство и в то же время приобретая несомненное влияние и громадный успех, выработавши в себе ту пылкость и тонкую психологию, которая граничит почти с прозорливостью.

Заинтересовав собою некоторых видных иерархов с аскетическою складкою духовного мировоззрения и заручившись их благорасположением к себе, Распутин, под покровом епископской мантии владыки Феофана, проник в петроградские великосветские духовные кружки, народившиеся в последнее время в пору богонискательства, и здесь сумел быстро приспособиться и ориентироваться в чуждой ему до того новой среде, стремившейся вернуться к старомосковским симпатиям, но слабой духом и волею; оценил всю выгоду своего положения и, применив и в этой среде усвоенный им метод влияния, заставил остановить на себе внимание влиятельных представителей этих салонов и заинтересовать своею личностью великого князя Николая Николаевича. Дворец вел. кн. Николая Николаевича для Распутина явился милотью, брошенной пророком Илией своему ученику Елисею, привлекая к нему высочайших особ, чем Распутин и воспользовался, несмотря на наложенный на него в этом отношении запрет со стороны вел. князя, после того, как его высочество, поближе ознакомившись

с Распутиным, разгадал в нем дерзкого авантюриста. Войдя в высочайший дворец при поддержке разных лиц, в том числе покойных гр. С. Ю. Витте и кн. Мещерского, возлагавших на него свои надежды с точки зрения своего влияния в высших сферах, Распутин,—пользуясь всеобщим бесстрашием, основанном на кротости государя, ознакомленный своими милостивцами с особенностями склада мистически настроенной натуры государя, во многом по характеру своему напоминавшего своего предка Александра I,—до тонкости изучил все изгибы душевных и волевых наклонностей государя, сумел укрепить веру в свою прозорливость, связав со своим предсказанием рождение наследника и закрепив на почве болезненного недуга его высочества свое влияние на государя путем внушения уверенности, все время поддерживаемой в его величестве болезненно к тому настроенной государыней, в том, что только в одном нем, Распутине, и сосредоточены таинственные флюиды, лечащие недуг наследника и сохраняющие жизнь его высочества, и что он как бы послан провидением на благо и счастье августейшей семье. В конце концов Распутин настолько даже сам в этой мысли укрепился, что он мне несколько раз с убежденностью повторял, что „если меня около них не будет, то и их не будет“, и на свои отношения к царской семье он смотрел, как на родственную связь, называя на словах и в письмах своих к высочайшим особам государя „папой“, а государыню „мамой“.

В обществе моего времени ходило много легенд о демонизме Распутина, причем сам Распутин не старался никогда разубеждать в этом тех, кто ему об этом передавал или к нему с этим вопросом обращался, в большей части отделяваясь многозначительным молчанием. Эти слухи поддерживались отчасти особенностями нервности всей его подвижной жилистой фигуры, аскетической складкою его лица и глубоко впавшими глазами, острыми, пронизывавшими и как бы проникавшими внутрь своего собеседника, заставлявшими многих верить в проходившую через них силу его гипнотического внушения.

Когда я был директором департамента полиции, то в конце 1913 г., наблюдая за перепискою лиц, приближавшихся к Распутину, я имел в своих руках несколько писем одного из петроградских магнетизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре, которые свидетельствовали о больших надеждах, возлагаемых этим гипнотизером, лично для своего материального благополучия, на Распутина, бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица, большие надежды в силу наличия у Распутина сильной воли и умения ее в себе сконцентрировать. В виду этого, я, собрав более подробные сведения о гипнотизере, принадлежавшем к типу аферистов, спугнул его, и он быстро выехал из Петрограда. Продолжал ли после этого Распутин брать уроки гипноза у кого-либо другого, я не знаю, так как я в скорости оставил службу и, при обратном моем возвращении в министерство внутренних дел, преследка за Распутиным этих данных мне не давала. Но в этот последний мой служебный период при одном из моих разговоров с Распутиным об А. А. Вырубовой, когда я касался железнодорожной катастрофы (между Петроградом и Царским Селом), жертвой которой явилась

А. А. Вырубова, Распутин с большими подробностями и с видимой откровенностью рассказал мне, что своим, по выражению Распутина, воскрешением из мертвых А. А. Вырубова обязана исключительно ему.

По словам Распутина, несчастный случай с А. А. Вырубовой произошел в период сильного гнева на него со стороны государя после одного из первых докладов о нем генерала Джунковского, по оставлении мною должности директора департамента полиции,—и поэтому сношения Распутина с дворцом были временно прекращены. О несчастном случае с А. А. Вырубовой Распутин узнал только на второй день, когда положение А. А. Вырубовой было признано очень серьезным, и она, находясь все время в забытии, была уже молитвенно напутствована глухой исповедью и причащением святых тайн. Будучи в бредовом горячечном состоянии, не открывая все время глаз, А. А. Вырубова повторяла лишь одну фразу:

— Отец Григорий, помолись за меня!

В виду настроения матери А. А. Вырубовой, решено было Распутина к А. А. Вырубовой не приглашать. Узнав о тяжелом положении А. А. Вырубовой, со слов графини Витте, и не имея в ту пору в своем распоряжении казенного автомобиля, Распутин воспользовался любезно предложенным ему графиней Витте ее автомобилем и прибыл в Царское Село в приемный покой лазарета, куда была доставлена А. А. Вырубова женщиною-врачом этого лазарета княжною Гедройц, оказавшей на месте катастрофы первую медицинскую помощь пострадавшей.

В это время в палате, где лежала А. А. Вырубова, находились государь с государыней, отец А. А. Вырубовой и княжна Гедройц. Войдя в палату без разрешения и ни с кем не здороваясь, Распутин подошел к А. А. Вырубовой, взял ее руку и, упорно смотря на нее, громко и повелительно сказал ей: — Аннушка! Проснись, поглядь на меня!..

И, к общему изумлению всех присутствовавших, А. А. Вырубова открыла глаза и, увидев наклоненное над нею лицо Распутина, улыбнулась и сказала:

— Григорий—это ты? Слава Богу!

Тогда Распутин, обернувшись к присутствовавшим сказал:

— Поправится!

И, шатаясь, вышел в соседнюю комнату, где и упал в обмороке. Придя в себя, Распутин почувствовал большую слабость и заметил, что он был в сильном поту.

Этот рассказ я изложил почти текстуально со слов Распутина, как он мне передавал; проверить правдивость его мне не удалось, так как с княжною Гедройц я не был знаком, и мне не представилось ни разу случая с нею встретиться, чтобы расспросить ее о подробностях этой сцены и о том, не совпал ли этот момент посещения Распутина А. А. Вырубовой с фазой кризиса в болезненном состоянии г-жи Вырубовой, когда голос близкого ей человека, с которым она душевно сроднилась, ускорил конец бредовых ее явлений и вывел ее из ее забытия.

Объясняя себе таким образом всю картину происшедшего исцеления Распутиным А. А. Вырубовой, я ясно представлял себе, какое глубокое и сильное впечатление эта сцена „воскрешения из мертвых“ А. А. Вырубовой Распутиным должна была произвесть на душевную психику высочайших особ, воочию убедившихся в наличии таинственных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочить значение и влияние Распутина на августейшую семью. После этого случая А. А. Вырубова, — как мне закончил свой рассказ Распутин, — сделалась ему „дороже всех на свете, даже дороже царей“, так как для нее, по словам Распутина, не было той жертвы, которую она не принесла бы по его требованию. Действительно, — как я сам замечал в особенности в последнее время, — Распутин относился к своей августейшей покровительнице без того должного внимания и почтительности, какие следовало бы в нем предполагать за все милости, ему ее величеством оказываемые, по сравнению с А. А. Вырубовой, в которой он видел безропотное отражение своей воли и своих приказаний.

А. А. Вырубова, по натуре своей, была очень религиозна, в чем и сам имел возможность несколько раз убеждаться, но в Распутине, несмотря на то, что она не могла не видеть его некоторых порочных наклонностей, находила твердую опору в своих душевных стремлениях. Когда я был у А. А. Вырубовой утром на другой день после убийства Распутина, до обнаружения его тела, примерзшего ко льду, — как мне передавал потом Протопопов, — еще живым, но находившимся в беспамятстве, брошенного с моста в полынью, то я видел по лицу А. А. Вырубовой, какая сильная душевная борьба происходила в ней от начавшего заползать в ее душу сомнения в отношении Распутина; этого чувства она не скрыла от меня, сказав, что не может допустить мысли, чтобы Распутин не предчувствовал своей смерти и не сказал бы ей об этом, тем более, что в день его убийства она, до прихода А. Д. Протопопова, была вечером в 8 часов у Распутина, и он ей передал, что после Протопопова к нему должен заехать молодой князь Юсупов, чтобы отвезти его к себе в дом к больной своей жене для ее „исцеления“. А. А. Вырубовой показалось несколько странным такое позднее приглашение князем Юсуповым к себе Распутина, что она ему и высказала, не зная того, что супруги князя в это время в Петрограде не было, и посоветовала Распутину отказаться от этого приглашения, объяснив ему, что если кн. Юсупов и его жена стыдятся открыто принять его у себя днем, то ему не для чего унижать себя перед ними и ехать к ним. Передавая об этом, А. А. Вырубова сообщила мне о своем недоумении по поводу того, что Распутин, дав обещание, не последовал затем ее совету, тем более, что она настойчиво указывала ему, что, по ее мнению, в данном случае кроется другая цель, которую преследовал князь Юсупов, приглашая его ночью к себе в гости, так как из слов Распутина она поняла, что кн. Юсупов особенно настаивал на том, чтобы ко времени его заезда за ним у него никого не было из посторонних, хотя бы и близких к Распутину лиц, кроме его домашних; в виду этого она, А. А. Вырубова, узнав на другой день об исчезновении Распутина,

сразу невольно поставила это обстоятельство в связь с таинственною обстановкою приглашения Распутина кн. Юсуповым к себе и укрепились в своем подозрении после получения императрицей в тот же день, без всякого запроса со стороны ее величества, письма от кн. Юсупова, в котором он, в виду распространившихся в Петрограде слухов о причастности его к исчезновению Распутина, заверял честным словом государыню, что он накануне у Распутина не был, с ним даже по телефону не разговаривал и к себе Распутина не приглашал, между тем как это находилось в полном противоречии с тем, что она лично слышала от Распутина.

Но потом уже Симанович сообщил А. А. Вырубовой, что Распутин за три дня перед своей смертью был грустно настроен, находился в подавленном состоянии и попросил помочь ему советом в деле устройства им денежного вклада на имя дочерей, для чего они вдвоем секретно ездили в банк, куда Распутин и положил для каждой дочери несколько десятков тысяч, бывших у него в ту пору на руках, а затем, по приезде домой, Распутин велел затопить печь и, вместе с Симановичем, несмотря на просьбы старшей дочери, сжег все письма и телеграммы, им полученные как от высочайших особ, так и от А. А. Вырубовой. В день же своего убийства Распутин повеселел, пошел в баню и вечером, после отъезда А. А. Вырубовой, надел лучшую свою новую шелковую верхнюю рубашу и новый костюм и, несмотря на убеждения Симановича никуда без него не ехать, успокоив его, настоял на его уходе, заявив, что он ожидает к себе А. Д. Протопопова. Наконец, в той же мысли, что Распутин как бы предчувствовал свою кончину, укрепил А. А. Вырубову и М. В. Скворцова, сообщив ей, — как мне потом об этом он сам рассказывал, — что, зайдя за день до смерти Распутина к нему на квартиру, он был поражен видом Распутина, лицо которого было землистого цвета и носило уже на себе, по словам Скворцова, печать смерти, причем он застал Распутина в сильно подавленном настроении духа, и ему стоило больших трудов вывести Распутина из его меланхолического настроения и отвлечь от разговоров о смерти. К рассказу В. М. Скворцова, им переданному уже после смерти Распутина, я отнесся несколько скептически, так как, посетив Распутина, по просьбе А. А. Вырубовой, за день или за два дня до его смерти поздно вечером, я не нашел в нем никакой перемены, а, наоборот, видел в нем жизнерадостное настроение, полное удовлетворение по случаю полученного им обещания о назначении на пост министра юстиции Н. А. Добровольского, при посредстве которого он рассчитывал добиться окончательного погашения дела генерала Сухомлинова, и большую самонадеянность в том, что его никто не посмеет тронуть — в ответ на мое предупреждение быть осторожным в своих поездках в мало знакомые дома. При последующих затем моих свиданиях с А. А. Вырубовой я не позволил себе подымать разговоров о Распутине и только послал ей в феврале сего (1917 года) фотографический снимок с последнего портрета Распутина, нарисованного с него одной из его знакомых художниц для какого-то большого американского иллюстрированного издания.

Что же касается других, искренно веровавших в Распутина его поклонниц, то, после его убийства, среди этих немногих его почитательниц, кроме А. И. Гущиной, серьезно заболевшей после его смерти, почти ни у кого не оставалось прежней веры в его духовную обособленность; в этом мне пришлось убедиться из разговора моего с матерью М. Головиной при встрече с ней в воскресенье на масляной неделе у А. А. Вырубовой, причем г-жа Головина (одна из самых давних почитательниц Распутина) откровенно высказала мне свое разочарование в прозорливости Распутина, в виду непредвидения им такой ужасной своей смерти, так как в последнее время Распутин уверял своих поклонниц, чему я сам раз был свидетелем во время одного из воскресных часов у него на квартире, в июне 1916 г., в присутствии А. А. Вырубовой, — что ему положено на роду еще пять лет пробыть в миру с ними, а после этого он скроется от мира и от всех своих близких и даже семьи в известном только ему одному, намеченном им уже глухом месте, вдали от людей, и там будет спасаться, строго соблюдая устав древней подвижнической жизни. Это свое намерение Распутин, как я понимал, навряд ли привел бы в осуществление, даже если бы он и не был убит, так как он довольно глубоко, за последнее время, опустился на дно своей порочной жизни.

Но Распутин ясно, по настроению государя, замечал близость наступления поворота в отношениях к нему со стороны его величества и заранее подготовлял себе почетный отход от дворца, указывая на пятилетний срок, как на то время, когда наступит для наследника юношеский возраст, владущий преградой гемофилии, внушавшей их величествам постоянную боязнь за жизнь его высочества и связавшей Распутина, в силу приведенных мною причин, с августейшей семьей.

Приобретая в лице А. А. Вырубовой послушную исполнительницу своих желаний и деятельную помощницу в деле укрепления своего влияния и значения во дворце, Распутин дерзко перешагнул черту заповедного ранее для него другого мира, укрепился в новой своей позиции и из Гриши превратился в отца Григория для своих почитательниц и всемогущего Григория Ефимовича для лиц, прибегавших к его заступничеству, влиятельной поддержке, помощи или посредничеству.

В дополнение обрисовки личности Распутина считаю необходимым передать вынесенные мною из разговора с ним и наблюдения за ним свои впечатления относительно религиозной стороны его духовной структуры. Этот вопрос останавливал на себе мое внимание еще в бытность мою директором департамента полиции. Из имевшихся в делах канцелярии обер-прокурора святейшего синода сведений, переданных секретно мне директором канцелярии г. Яцкевичем, несомненным являлся тот вывод, что Распутин был сектант, причем из наблюдения причта села Покровского, родины Распутина, явствовало, что он тяготел к хлыстовщине. Переписка эта своего дальнейшего развития не получила и только повлекла за собою перемену причта и назначение взамен его нового духовенства, которое, благодаря влияниям Распутина, было хорошо обеспечено, пользовалось его поддержкой и покровительством и счи-

тало Распутина преданным церкви, вследствие его забот о благолепии и украшении местного храма, благодаря щедрым милостям не только его почитателей, но и дарам августейшей семьи. Таким образом, официально установить, путем соответствующего расследования, на основании фактических и к тому же проверенных данных, несомненную принадлежность Распутина к этой именно секте не удалось, тем более, что Распутин после этого случая был крайне осторожен, никого из своих односельчан не вводил в интимную обстановку своей жизни во время приездов к нему его почитателей и филерное наблюдение к себе не приближал. В виду этого я принужден был, секретно даже от филерного отряда и местной администрации и сельских властей, всецело бывших на стороне Распутина, поселить на постоянное жительство в селе Покровском одного из развитых и опытных агентов и приблизить его к причту. Из донесений этого агента, которые он, вследствие дружбы Распутина с местным начальством почтово-телеграфного отделения, посылал окружным путем, для меня было очевидным уклонение Распутина от исповедания православия и несомненное тяготение его к хлыстовщине, но в несколько своеобразной форме понимания им основ этого учения, применительно к своим порочным наклонностям. Проникнуть несколько глубже в тайны его бани мне в ту пору не удалось, так как этого агента, сумевшего уже заручиться и доверием причта и местной интеллигенции и особым расположением к себе Распутина, я должен был, с уходом полковника Коттена из службы по корпусу жандармов, немедленно, во избежание провала, отозвать из Покровского, а затем и я сам в скорости ушел из департамента полиции. Познакомившись затем лично с Распутиным и заручившись доверчивым его к себе вниманием, я, продолжая интересоваться духовным мировоззрением Распутина, укрепился в вынесенных мною ранее выводах. Поддерживая в обиходе своей жизни обрядовую сторону православия и безапелляционно высказывая, даже в присутствии иерархов, свои далеко не авторитетные мнения по вопросам догматического характера, Распутин не признавал над своею душою власти той церкви, к которой он себя причислял; вопросами обновления православной церковной жизни, к чему его хотел направить г. Папков, не интересовался, а любил вдаваться в дебри церковной схоластической казуистики; православное духовенство не только не уважал, а позволял себе его третировать, никаких духовных авторитетов не ценил даже в среде высшей церковной иерархии, отмежевывая себе функции обер-прокурорского надзора, и чувствовал в себе молитвенный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих болезненно-порочных наклонностей, что мною и было засвидетельствовано в свою пору вел. кн. Николаю Николаевичу, на основании точно проверенных данных. Мне лично пришлось, бывая на воскресных завтраках-чаях Распутина в ограниченном кругу избранных, слышать своеобразное объяснение им своим неофитам проявление греховности. Распутин считал, что человек, впитывая в себя грязь и порок, этим путем внедрял в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он боролся, и тем самым совершал „преображение“ своей души, омытой своими грехами.

К той общей характеристике, которую я дал Распутину, мне остается добавить только несколько штрихов для обрисовки его личности. Распутин пренебрежения к себе и обид, ему наносимых, не прощал и никогда не забывал, а мстил за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы, которую он мог извлечь из общения с ними в личных для себя интересах; будучи скрытным, подозрительным и неискренним, он тем не менее требовал от окружающих его безусловной с ним искренности, и фальши в отношении себя не допускал; помогая кому-нибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих выводах и решениях отличался упрямством и трудно поддавался переубеждению, ида на уступки лишь в тех только случаях, когда это отвечало его интересам; в своих домогательствах и в желаниях отличался поразительной настойчивостью и до той поры не успокаивался, пока не осуществлял их, умея носить на лице и в голосе маску лицемерия и простодушия, вводил этим в заблуждение тех, кто, не зная его (а таких было много, в особенности из состава правившей бюрократии), мечтали сделать из него послушное орудие для своих влияний на высшие сферы. Присматриваясь к судьбе тех лиц, которые искали в Распутине той или иной поддержки, я видел или печальный исход влияния на них Распутина и всей окружающей его прочной обстановки, или фатальный для них позор, как последствие сближения их с Распутиным, но не в силу демонизма Распутина, а, главным образом, вследствие свойства тех побуждений, которые толкали их идти к Распутину и заставляли затем поступаться многим, в ущерб своей чести и достоинству, в исполнении желаний или, лучше сказать, требований Распутина.

Глава IV.

Планы сношений с Распутиным А. Н. Хвостова, С. П. Белецкого и кн. Андронникова.—Кн. Андронников и государственная измена; наблюдение за ним.—Сухомлинов и кн. Андронников.—Первый обед с Распутиным.—Начало интриги против обер-прокурора синода Самарина.—Волжин — кандидат на этот пост.—Интрига против Саблера.—Имябожцы.—Инцидент с епископом Варнавой в связи с открытием мощей св. Иоанна Тобольского.—Доклад А. Н. Хвостова государю о Волжине и прием его Николаем II-м.—Ликвидация инцидента с еп. Варнавой.

Сейчас же по опубликовании высочайших указов о назначении А. Н. Хвостова министром внутренних дел, а меня — его товарищем, были получены сведения о выезде из с. Покровского Григория Распутина. В виду этого между мною, А. Н. Хвостовым и кн. Андронниковым состоялось соглашение относительно плана наших будущих отношений к Распутину. План этот видоизменился с его приездом в Петроград, потому что оказалось, что никто из нас, даже кн. Андронников, тесно сблизившийся с Распутиным, так же, как и епископ Варнава с приближенными ему лицами из духовенства тобольской епархии, не знали многих сторон его характера и не учли многих сторон его натуры, его силы и влияния.

Наш первоначальный план состоял в следующем. Официальные сношения с Распутиным по поводу его просьб по министерству внутренних дел должен был взять на себя кн. Андронников, чтобы избавить меня и А. Н. Хвостова от необходимости открыто принимать просителей с письмами от Распутина, как на службе, так и у себя дома. Для того, чтобы Распутин не брал со своих посетителей денег за протекцию, мы решили выдавать ему по 1500 р., и эти деньги должен был частями вручать Распутину кн. Андронников. Такая частичная выдача денег имела, между прочим, целью заставить Распутина видаться с нами почаще для установления непрерывного влияния на него. Вместе с тем, чтобы знать в подробностях его внутреннюю жизнь и понежко отдалять от Распутина тяготевавший к нему нежелательный элемент, мы решили приставить к нему своего человека.

Наш выбор пал на нашу общую знакомую и друга кн. Андронникова Н. И. Червинскую, родственницу по первому мужу М. Т. Сухомлиновой, немолодую уже даму, много видевшую, не верившую, как и кн. Андронников, в чары Распутина и познакомившуюся уже с А. А. Вырубовой.

Свидания наши с Распутиным мы наметили на квартире у кн. Андронникова, где решено было устраивать обеды в своем тесном кругу, чтобы, не стесняясь, иметь возможность влиять на Распутина по тем вопросам, по которым нужно было А. Н. Хвостову подготовить благоприятную почву при дворе. Кн. Андронников отказался от нашего предложения оплачивать ему расходы по устройству этих обедов, но предложил А. Н. Хвостову, для проведения его начинаний и поддержки его, свою газету „Голос Руси“, намеченную им к изданию с нового года. Эта газета должна заменить „Гражданин“ кн. Мещерского, и на страницах своей газеты кн. Андронников предполагал проводить программные вопросы с точки зрения, желательной председателю совета министров и тех министров, которых он считал нужным поддерживать,—и, наоборот, вести борьбу против министров или вообще государственных деятелей, ему неудобных или неудобных в его политической игре. Газета эта вышла с большим запозданием только в 1916 году. В этой газете, между прочим, кн. Андронников помещал патриотические статьи против Германии в виду возникшего против него подозрения в государственной измене. Наблюдение за ним ставилось со стороны военного контр-шпионажа уже с начала войны при Сухомлинове и Н. А. Маклакове, а затем Поливанове. Наблюдение это, по моему мнению, преследовало не государственные, а личные цели Сухомлинова, с которым кн. Андронников разорвал свои отношения и против которого повел энергичную борьбу путем своих „Записок“, памфлетов и шаржей пасквильного свойства, затрагивавших жену Сухомлинова. В ту пору Сухомлинов настаивал даже на высылке Андронникова. Нужно думать, что установкой наблюдения за Андронниковым Сухомлинов желал узнать, кто из военных бывает у князя и может давать ему о нем, Сухомлинове, сведения. Сухомлинов пытался даже ввести своих наблюдателей в самый дом Андронникова, который был на службе двух бывших слуг Сухомлинова, надеясь получать от них сведения о военном министре и его жене и не зная, что эти слуги с аналогичной целью

были посланы в дом Андронникова Сухомлиновыми. Благодаря Червинской, роль двух слуг была выяснена, и они вскоре были уволены Андронниковым. Однако, за период наблюдения за Андронниковым, дворцовый комендант, председатель совета министров и министры продолжали свои близкие сношения с князем.

Как только приехал Распутин, на другой же день состоялся наш интимный обед с ним. Не только я и А. Н. Хвостов, до сих пор мало знавшие Распутина, но и кн. Андронников и Червинская, хорошо его знавшие, были поражены происшедшею с ним переменою: в нем было гораздо больше, чем ранее, апломба и уверенности в себе. Первыми же своими словами Распутин дал нам понять, что он несколько недоволен тем, что наше назначение состоялось в его отсутствие, и это подчеркнул князю, считая его в том виноватым. Однако, оказалось, что этот упрек и Хвостов и Андронников предвидели, и князь с усиленной любезностью парировал этот удар, рассыпаясь в комплиментах и извлении чувства благодарности за его поддержку наших назначений, и трогательно благодарил его за приезд именно теперь, на первых шагах нашего вступления в должность, так как отныне его советы и поддержка при дворе поставят нас на правильный путь и охранят от ошибок, которые нам могут быть поставлены в счет на верху, и т. д.

За столом началась оживленная беседа, из которой я убедился, что наши назначения Распутину были известны и что он против нас теперь ничего не имеет: повидимому, Распутин все же хотел, чтобы эти назначения мы получили непосредственно из его рук.

Затем, поздравляя нас и желая нам успехов, Распутин упрекнул А. Н. Хвостова за то, что тот по приезде Распутина в Нижний Новгород (где Хвостов был губернатором) плохо принял его, не накормил даже, а у него, Распутина, было тогда всего 3 р. в кармане. И напрасно, говорил Распутин, потому что он приезжал тогда—после убийства П. А. Столыпина,—в Нижний по приказанию государя „посмотреть Хвостова“, и если бы он встретил другой прием, то Хвостов уже давно был бы министром. Меня же Распутин попрекнул тем, что я ставил около него наблюдение в лице 50 сыщиков, о чем Распутину говорил сам государь. В завязавшемся по этому поводу разговоре пришлось упомянуть имя Джунковского, и из перемены голоса Распутина, выражения его глаз, лица и нервности можно было видеть, что этот человек не способен забывать ударов, ему нанесенных. В ответ я рассказал ему неизвестный ему факт выпуска за границу гражданской жены Илиодора с архивом последнего вследствие того, что, несмотря на донесение и несколько телеграмм в департамент полиции из Саратова с просьбой к Джунковскому разрешить арестовать и обыскать жену Илиодора, разрешение было дано уже тогда, когда жена Илиодора проехала границу.

Затем зашла речь о Самарине, обер-прокуроре святейшего синода, и о владыке Варнаве в связи с его конфликтом по поводу прославления св. Иоанна Гобольского. Распутин гневно говорил о Самарине, но мы разговор не муссировали, а только старались оттенить, что Самарин—человек близкий сестре

государыни, но отнюдь не сторонник самой государыни и в то же время—личный враг его, Распутина.

Мы перешли после обеда в гостиную, а я, вместе с Андронниковым, вышел к нему в кабинет и здесь передал князю 1500 р. для Распутина. Князь из этих денег отобрал несколько—три или пять—сотенных и, когда я вернулся в гостиную, он вызвал Распутина к себе в кабинет. Вскоре они оба вышли оттуда, и я заметил, как Распутин прятал деньги в карман.

Распутин после обеда уехал, расцеловавшись со всеми нами, а мы остались, чтобы обменяться впечатлениями от первого свидания, нас далеко не удовлетворившего.

Из свидания мы вынесли убеждение в трудности, без соответствующей подготовки, проведения нашего первого плана, намеченного с А. Н. Хвостовым. мы решили провести на пост обер-прокурора святейшего синода, вместо Самарина, директора департамента общих дел Волжина, свойственника Хвостова. Это было необходимо в особых целях Хвостова. Мы понимали, что Волжин не подготовлен к этой должности, но это было чистое имя, и его назначение особого раздражения внести не могло. Сам Волжин, с которым я говорил по этому поводу, хотя и был доволен своим служебным движением, но с большей охотой взял бы какой-либо другой министерский портфель, чем этот, но во всяком случае Волжин умолял меня об одном—устроить так, чтобы отклонить всякое его не только сближение, но и знакомство с Распутиным. Волжин затем пошел на сближение с кн. Андронниковым, с которым он тотчас же и познакомился, и выполнил свои обещания, ему данные. Волжин был лично известен государю. Его сыновей, служивших в гвардейских частях Петрограда, знал отлично государь. Волжин имел придворные связи и хорошие знакомства в петроградском обществе. Он человек верующий, любитель старого церковного напева и церковной старины.

Мы понимали с А. Н. Хвостовым, что уход Самарина, против которого шел, не без воздействия князя Андронникова, также и Горемыкин, безусловно взволнует не одну Москву, где любили и знали Самарина, заденет и обидит не одно дворянство, где Самарин пользовался крупным весом и влиянием, и не одну Государственную Думу, приветствовавшую его назначение, а—общественное мнение России и те круги православного духовенства, которые, во главе с митрополитом Владимиром, видели в его назначении начало новой эры в деле церковного управления.

Вместе с тем мы знали, что Саблер-Десятковский уже делал попытки примирения с Распутиным и был у него несколько раз, а в князе Андронникове он имел верного и преданного человека.

Поэтому, мы убедили кн. Андронникова в политическом значении, с точки зрения настроения широких кругов русского общества, вопроса о замещении Самарина, следовательно против Саблера, и эту точку зрения решили сообща проводить во дворце, предварительно внедрив ее в сознание Распутина. Те же соображения были высказаны А. А. Вырубовой, и она не могла с ними не согласиться.

Для более сильного влияния на Распутина решено было немедленно вызвать из Москвы епископа Варнаву.

На одном из ближайших обедов у кн. Андронникова с Распутиным, я навел разговор на тему об имябожцах,—монашеской секты на Афоне, образование которой повело гонения синода, командировку на Афон епископа Никона и арест около 700 монахов, отправленных в Россию по требованию русского правительства,—и восстановил в памяти Распутина картину репрессий, предпринятых по инициативе Саблера. Вопрос об имябожцах в тот момент не был еще окончательно решен, и мне, кстати, хотелось выяснить отношение к нему со стороны Распутина по существу, чтобы узнать, не находится ли он под влиянием какого-нибудь кружка, занимающегося церковными вопросами, или интриги против Саблера,—или же в нем говорило чувство жалости, которое заставило его отвозить во дворец на показ тайно приезжавших в Петроград монахов-имябожцев, в преклонном возрасте,—многие из них были в схиме,—с обреченными бородами, в штатском платье...

Я лично думал, что в данном деле Распутин преследовал какие-либо другие свои цели, так как он имел уже в ту пору личные причины быть недовольным Саблером, который в последнее время (до отставки), считая свое положение прочным, изменил свое отношение к чинам синодального надзора—друзьям Распутина: к товарищу обер-прокурора Даманскому, Свворцову, Мудролюбову и др.—и попал под влияние директора своей канцелярии, к которому Распутин относился подозрительно и сдержанно. В особенности Распутин был глубоко задет, когда Саблер захотел расстаться с Даманским, который, не используя Распутина для своих дел, всегда давал ему хорошие советы, исполнял его просьбы, предоставлял ему свою квартиру, когда Распутин приезжал наездами в Петроград по вызовам Вырубовой, и был всегда с ним искренним. В свою очередь Распутин добился у государя того, что Даманский был оставлен на посту товарища обер-прокурора с выделением ему самостоятельного круга дел и был удостоен многих высочайших пожалований.

Затронутая на обеде у кн. Андронникова тема об имябожцах оживила Распутина, и из его слов я понял, что он и сам является сторонником этого учения в монашеской среде. И, действительно, впоследствии он отстаивал все время имябожцев. Не задолго до смерти Распутина в „Колоколе“ были напечатаны статьи В. М. Свворцова с такой же целью. Статьи эти повлекли за собой для Свворцова большие осложнения с синодом, а он их писал в угоду Распутину, мечтая при его помощи вернуться в синод в роли товарища обер-прокурора. Эти статьи Распутин представил во дворец.

Разговор об имябожцах перешел на Саблера, как их противника, и под влиянием как беседы на эту тему, так и общих высказанных нами соображений, в конце концов, Распутин решительно заявил, что он не будет „ни за что“ поддерживать кандидатуры Саблера.

Когда же приехал владыка Варнава и лично познакомился с Волжиным, на которого произвел хорошее впечатление, тогда общими силами нам удалось добиться согласия Распутина на назначения Волжина и на поддержку

в сферах, причем даже Распутин согласился на первых порах предварительно не видаться с Волжиным, во избежание излишних разговоров. Правда, к этому Распутин отнесся несколько подозрительно, но ничего прямо не высказал. Но он был доволен тем, что Волжин, в свою очередь, обещал ликвидировать инцидент епископа Варнавы по поводу открытия мощей по плану, мною предложенному и всеми принятому, в том числе и Волжиным. План этот был одобрен и Вырубовой, и об этом было доложено государыне, от которой получено также одобрение.

Сущность инцидента епископа Варнавы заключается в следующем. Епископ возбудил вопрос об открытии мощей св. Иоанна Тобольского. Синод одобрил предложение и состоялся соответствующий всеподданнейший доклад. Однако, синод замедлил исполнением всех актов, с которыми должно быть соединено открытие мощей, а епископ Варнава, видя в этом промедлении интригу синода против него, обратился непосредственно к государю в ставку и получил разрешение для „прославления“, а не канонизации, т. е. открытия мощей для народного почитания. Прославление было принято верующими, как акт открытия мощей. Синод об этом обмене телеграмм с государем ничего не знал, а, получив сведения о прославлении, рассмотрел его, как самовольный проступок. Варнава, чувствуя такой исход, приехал без разрешения в Петроград, надеясь испросить монаршее прощение. Но в это время обер-прокурором был назначен Самарин, который резко высказался против проступка Варнавы. Дело получило огласку в прессе, и еп. Варнава должен был доложить синоду о телеграмме государя.

Государь,—я это знаю хорошо,—относился к Самарину сердечно; он его уважал, и это чувство крепло годами. Поэтому, приглашение Самарина в состав кабинета исходило от его величества без всяких побочных влияний.

Но, с другой стороны, как я в этом убедился впоследствии и на себе, государь не любил ни частных выступлений в прессе министров, ни тех или иных разоблачений, ни даже слухов о предстоящих переменах, чем многие пользовались для сведения своих личных счетов. В особенности государь, как человек верующий, всегда отрицательно относился к огласке тех или других неприятных происшествий в сфере церковной. Вот почему была уверенность не только у нас, но и у многих лиц, знающих характер государя, что Самарин не может оставаться на своем посту.

Когда, таким образом, все было подготовлено, А. Н. Хвостов на одном из ближайших своих докладов после того, как Распутин был у государя и подержал Варнаву, умело и тонко касаясь вопроса об общественных настроениях, провел мысль о Волжине. Волжин был вызван государем, был милостиво принят, и государь одобрил план ликвидации через некоторое время дела епископа Варнавы путем проведения его через синод в новом составе.

С. П. Белецкий.

(Продолжение следует).

Крестьянское движение при Колчаке.

I

Общий обзор крестьянского движения в его разновидностях.

1. Значение крестьянского движения.

Самым ярким фактом в жизни Сибири за период существования власти адмир. Колчака были, несомненно, крестьянские восстания. Они начинаются одновременно с переворотом 18 ноября, даже еще раньше, с первым появлением — „колчаковщины“ на общественной арене (убийство Новоселова в середине сентября 1918 г.), носят первоначально характер местных конфликтов, возникавших на самой разнообразной почве, затем сравнительно быстро принимают яркий анти-колчаковский характер, яковой и носят до самого падения власти верховного правителя. За все время пребывания адмир. Колчака у власти крестьянские восстания не прекращались, то затихая, — там, где у администрации находились силы для их подавления, и пока эти силы действовали, — то вспыхивая при малейших благоприятных условиях, то вдруг, как лесной пожар, охватывая огромные территории, десятки волостей, даже целые уезды, а под конец и губернии. Это была длительная, упорная и организованная борьба, не прекращавшаяся ни на одну минуту, если брать общесибирский масштаб, и окончившаяся победой крестьян, столь, казалось, невозможной. Почти все крупные вожди крестьянских отрядов (Мамонтов, Новоселов, Рогов, Кравченко, Щетинкин, Дубков, Яковенко, бр. Бабкины и др.) пережили Колчака. Победителями на поле битвы остались они, а не Колчак.

Замечательной чертой сибирской жизни за этот же период является и то, что во время борьбы деревни с Колчаком город оставался сравнительно спокойным. Городские движения, возникавшие в разных местах (в Омске в декабре 1918 г. и феврале 1919; в Томске в марте 1919 г.; в Красноярске в июле 1919 г. и пр.) бывали спорадическими и судорожными, организовывались нередко с участием агентов власти, провоцировавших население на преждевременные выступления. Да и по составу участников эти городские движения являются, в сущности, полу-крестьянскими, так как они захватывали главным образом солдатскую массу, а не городских рабочих. Попыток, которые бы предупредили самостоятельно рабочий класс, городской пролетариат, правда

в Сибири немногочисленный, — 300-400 тыс. на 9-10 милл. населения, — но все же существующий, не то что бы совсем не было, но длительной, организованной, все более и более нарастающей формы движения они принять не могли. Так что, по тем или иным причинам, но главной реальной силой, оказывавшей непрекращающееся вооруженное сопротивление правительству Колчака, должно быть признано — крестьянство.

Я не ставлю, однако, здесь свою целью написать подробную историю крестьянского движения при Колчаке. Для этого у меня нет ни необходимых материалов, ни даже возможности получить для обработки то, что в разных местах имеется. Но я был близким свидетелем этого движения, многое знал о нем из первых рук и, придавая ему всегда очень крупное значение, внимательно следил за ним, а с некоторыми руководителями его находился в непосредственном общении. Все это заставляет меня передать здесь то, что я знал уже в то время о крестьянском движении, о его территориальном распространении, о районах, где оно укреплялось особенно сильно, о политическом настроении, как повстанцев, так и вообще широких масс крестьянства, о борьбе интересов в его среде и об идейных лозунгах, в которых эта борьба выражалась. Я буду брать, главным образом, такие материалы, которые уж тогда проходили через мои руки; я буду обрисовывать это движение не как ученый, а как летописец-современник, не как историк, а как политик, принимавший непосредственное участие в общем ходе событий и в их развязке.

2. Общий обзор движения. — Южный район.

Начну с тех сведений, которые у меня были к моменту падения власти Колчака или, точнее, к моменту падения Омска (15 ноября 1919 г.) о крестьянском движении. К середине ноября 1919 г. партизанское движение в Сибири достигло наивысшего развития. О его силах и о территории, находившейся в руках повстанцев, у меня тогда были довольно точные сведения, касавшиеся к тому же не отдельных частей Сибири, а всей ее площади в целом. В моем распоряжении находилась тогда карта Сибири, от Урала до Забайкалья, на которой были нанесены партизанские фронты, всего несколько десятков фронтов, с указанием, кто являлся руководителем данных отрядов и в данной местности, какой силы были эти отряды, каким оружием они обладали и какого рода войска, пехота или конница, находились в их распоряжении. Это было очень ценное пособие для суждения о политической роли тогдашнего крестьянского движения.

Я и раньше имел такие сведения, еще с весны 1919 года, когда я жил в Красноярске, месте своего постоянного пребывания. Военная администрация Красноярска, руководимая ставленником Колчака, генер. Розановым, подозревала, что у меня есть эти сведения, и ген. Розанов, не делая из этого большого секрета, обвинял даже меня в том, что я являюсь одним из лиц, тайно руководивших крестьянскими восстаниями по губернии. Я должен, однако, категори-

чески заявить здесь, что эти обвинения совершенно фантастичны: я не имел никогда никакого отношения к непосредственному руководству крестьянским движением при Колчаке, хотя, правда, получал сведения о нем не менее ценные, чем сам ген. Розанов.

Наиболее ценным материалом, который за время моей жизни в Сибири проходил через мои руки по вопросу о крестьянском движении, была несомненно та карта повстанческих фронтов, о которой я упомянул выше. Одним своим внешним видом она уже производила большое впечатление: глядя на нее, ясно было видно, что буквально вся Сибирь охвачена пламенем крестьянских восстаний. Не было такого угла в ней, не было ни одного уезда, начиная от Семипалатинска и кончая районом за Иркутском, далеко на Амур и Восток, по которым бы не проходила красная линия партизанских фронтов. То тут, то там, то прямыми линиями, то зигзагами, то замкнутыми районами, то районами с отдельным перерывом красной линии, но фронты были нанесены решительно повсюду. В одних местах они уходили вглубь страны, далеко от ее жизненной артерии—железной дороги—в других подступали к ней почти вплотную, едва не разрезая магистраль.

Прежде всего обращала на себя внимание южная группа, в нижнем углу карты—это Алтайская губерния, хлебная житница всей Сибири, район обеспеченного крестьянства и маслодельных артелей, вывозивший на заграничные рынки перед войной одного сливочного масла на 75 мил. рублей. В этой губернии оказывалось несколько очагов крестьянских восстаний. Самый крупный из них занимал самую хлебную часть губернии—Славгородский уезд, связанный с магистралью Кулундинской жел. дорогой, от Славгорода через Кулундинскую степь к гор. Татарску. Центром повстанческого движения было здесь с. Солоньки—место нахождения главного штаба повстанческих войск, руководимых Мамоновым. К этому району тяготели Барнаульский, Каменский, северная часть Бийского уездов и весь Славгородский,—огромная территория, примыкающая к Оби и заречной лесной полосе, постоянному убежищу повстанцев. С запада сюда же подходил Семипалатинский район с жел.-дорожной станцией Рубцовка, расположенной на границе большого бора, второй колыбели повстанческого движения. За осень 1919 г., начиная с августа по декабрь, Рубцовка несколько раз переходила из рук в руки, то от правительственных войск к повстанцам, то от повстанцев к правительственным войскам, пока, наконец, последние не были оттуда вытеснены окончательно. Бывали моменты, когда железная дорога (от Барнаула до Семипалатинска) на протяжении 100—150 верст находилась по две-три недели в руках партизанских отрядов, чем разстраивалось все движение грузов в этой части Сибири.

Славгородский район к ноябрю 1919 г. имел всего до 25 полков под общим командованием Мамонова. Это была целая армия, вооруженная пулеметами и имевшая даже орудия, состоявшая как из пехоты, так и конницы. Начиная с осени, ее несколько раз рассеивали правительственные войска, но она опять возрождалась, провела весь октябрь в боях, а в ноябре, к моменту нападения Омска, к каковому периоду была приурочена вышеупомянутая карта,

повстанческая армия заняла Славгород (20 ноября), через несколько дней Семипалатинск, а 9 декабря и Барнаул. Все это происходило в период времени с августа по декабрь.

Одновременно с этим, за те же месяцы в той же Алтайской губ., но не на севере, а на юге созревал другой очаг крестьянского движения, тылом своим опиравшийся на горные кряжи на юге Бийского уезда, а другим флангом уходивший далеко за горный хребет, к югу от Усть-Каменогорска. С последним районом я не имел никакого соприкосновения, он был слишком далек от тех мест, в которых я имел постоянное пребывание. Что же касается движения на юге Бийского уезда, начавшегося с конца лета 1919 г. и имевшего базой Горный Алтай, в частности с. Черный Ануй, то с ним я имел некоторые личные связи, и о нем я ниже буду говорить подробнее, оставляя пока его в стороне.

Наконец, кроме этих двух был в том же районе еще один самостоятельный очаг крестьянского движения, та часть губернии, которая граничила с Кузнецким уездом Томской губ. Здесь оперировали отряды Рогова и Новоселова, насчитывавшие каждый по несколько тысяч человек.

Вся эта масса отрядов действовала на территории губернии с 2,5 милл. жителей и 300 тыс. кв. в. пространства, — территории, покрытой и лесами, и горными кряжами, и обширными степными урочищами, чрезвычайно приспособленной к ведению партизанской войны. Участниками восстаний являлись обычно местные люди, в совершенстве изучившие свои районы, знавшие в них каждый кустик, каждое болото, все тропы и дороги. Сочувствие мирного населения всегда оказывалось на стороне повстанцев, что также давало им огромное преимущество перед правительственными войсками, к тому же составленными нередко из иностранцев, чехов, поляков, сербов или из казаков отряда Авенкова, ненавидимых мирным жителям хуже, чем всякие иноземцы.

3. Общий обзор движения. — Томская губ.

Второй обширной территорией повстанческого движения является Томская губ. в своих прежних, а не нынешних границах. Славгород и Семипалатинск лежат к югу от магистрали, на расстоянии от нее в 400—450 в., т. е. сравнительно далеко. К северу от магистрали по территории Каинского и Тарского уу. летом и осенью 1919 г. пролегал свой особый повстанческий фронт. Одно время он занимал пространство от села Вознесенского вдоль жел. дороги до Екатерининского завода Тарского уезда, Омской губ. Здесь повстанческие отряды насчитывали от 500 до 600 чел., сравнительно не так много, что не мешало им около двух месяцев быть полными хозяевами этой части территории адмир. Колчака.

Дальше на восток, приближаясь к Томску, мы вступали в сферу действий отдельных небольших отрядов, числом от 8 до 12, друг с другом ничем не свя-

занных и бороздивших губернию по самым разнообразным направлениям с самыми разнообразными целями, очень часто не имевшими ничего общего ни с какой политикой. Наибольшей популярностью среди этих отрядов пользовался отряд Лубкова, бывшего унтер-офицера, с большим успехом ведшего борьбу с карательными экспедициями, направлявшимися против него из Томска. За лето и осень 1919 г. томские газеты были переполнены известиями о действиях, набегах, грабежах, как писали тогда, Лубковского отряда. Его несколько раз разбивали и рассеивали, но сам Лубков оставался невредимым и вскоре снова собирался с силами и вновь начинал свои набеги, внося тревогу в городское население, особенно уездных центров.

Кроме Лубкова тут же действовали отряды Матусова, Голпкова, Керасилова, Толбунова и целого ряда других партизан, часто просто безымянных. Все они заполняли пространство к востоку и северо-востоку от Томска. Как ни менялись судьбы каждого из них, сколько их ни преследовали, а порой сколько их ни уничтожали, тем не менее к осени они все возрождались почти при том же командном составе, но в увеличенном размере. Это была по истине сказочная гидра, у которой на место одной отрубленной головы вырастали две новых.

Припоминаю свой разговор в ноябре того же 1919 г., к которому относится характеризующая мною здесь карта повстанческих фронтов, с одним лицом, чрезвычайно осведомленным в вопросах о внутреннем военном положении Сибири. Разговор происходил незадолго до падения Омска. Я спрашивал своего собеседника, как он расценивает возможность дальнейшего хода военных событий по магистрали и в каком положении, по его мнению, обстоит дело с Томском и Н.-Николаевском. Он мне ответил, что Томск, по его мнению, будет скоро занят, но не с запада и не красной армией, а с северо-востока повстанческими отрядами. Настолько, значит, высоко расценивал он, специалист в этого рода вопросах, значение и силу оперировавших около Томска отрядов, несмотря на то, что они были мало связаны друг с другом и сравнительно плохо вооружены.

Кроме этого, беспокоен был юг губернии, куда постоянно заходили отряды Рогова и Новоселова из Бийского в Кузнецкий и Щегловский уезды, и где были, вместе с тем, свои местные повстанческие организации, особенно в каменно-угольном Кольчугинском районе.

Следует, однако, сказать, что обе эти губернии, и Алтайская со своими повстанческими армиями, правильно организованными и сравнительно хорошо вооруженными, и Томская с целой сетью отдельных отрядов, постоянно укрывавшихся в бескрайних таежных пространствах, не представляли такой непосредственной угрозы для существовавшего порядка, как крестьянское движение, развивавшееся дальше, на восток отсюда, в пределах Енисейской губ., особенно в Канском уезде и отчасти Ачинском, а позже в Минусинском. Повстанцы южного фронта были очень серьезные противники, но силу их не следовало преувеличивать. Наибольшая опасность со стороны их была в том, что они имели хороший тыл, делавший их неуязвимыми. тыл, состояв-

*

ний в тайге по Томской губ. и в горных районах Алтайской, граничившей с Монголией. Повстанческие отряды могли в случае неудач, либо скрываться в тайге, либо хорониться в горных гнездах Алтая, за пределами досягаемости для правительственных войск; либо, наконец, могли даже уходить по Чуйскому тракту под самое Кобдо. Но, вместе с тем, эти преимущества таили в себе и слабость их: они оперировали в области, слишком удаленной от магистрали, чтобы носить непосредственный вред основному военному фронту на Урале, органически связанному со всей Сибирью жел.-дор. магистралью. Для того, чтобы причинять настоящий вред существовавшему тогда порядку, необходимо было удары направлять именно по этой жел.-дорожной линии, что нельзя было достичь ни из Алтайской губ., ни из таежных углов Томской. Вот почему, для правительства Колчака являлись гораздо более опасными те повстанческие районы, которые гнездились в прилегающих к жел. дороге местностях Енисейской губ., и около которых шла всю весну и лето самая жесточайшая борьба.

4. Общий обзор движения.—Енисейская губ.

К середине ноября 1919 г. по Енисейской губ. положение было такое. Весь юг губернии, ее житница, Минусинский край, в том углу, который образуется р.р. Тубой и Енисеем,—на восток от Енисея и на юг от Тубы,—во главе с гор. Минусинском, был занят, так называемой, крестьянской или народной армией, Кравченко и Щетинкина. Это была, действительно, целая армия, имевшая артиллерию и кавалерию, притом весьма хорошую, и пехоту. На карте, данными которой я руководюсь, показано, что у армии Кравченко имеется 3 орудия и 25 пулеметов, а бойцов 20—25 тыс. человек. Армия представляла правильно организованный механизм, поскольку вообще могла быть организована такая плохо поддающаяся военной дисциплине среда, как деревенская, да еще сибирская, вольница. Из всех сибирских повстанческих армий, армия Кравченко и Щетинкина играла наиболее громкую роль, ее стратегическое положение представлялось наиболее важным, удары, которая она могла наносить, наиболее чувствительными. Она заслуживает и с нашей стороны наибольшего внимания.

Эта армия первоначально зародилась вблизи самой железной дороги, в 15—20 верстах на юг от магистрали и в 50—70 в.в. от Красноярска, на восток от него. Колыбель ее—Степно-Баджейская и Перовская волости ¹⁾ на южной границе Канского и Красноярского уездов, под-таежный район, упирающийся в горно-таежную реку Ману, знаменитую своей красотой, дикой и первобытной.

¹⁾ В Степно-Баджейской вол. 3111 жит., в Перовской—9590. Это переселенческий район.

Сначала там начал действовать Кравченко, у которого около села Нарын находился собственный хутор (Кравченко—агроном по образованию), Щетинкин же первоначальной ареной деятельности имел северную часть Ачинского уезда с резиденцией в с. Большой Улуй, верстах в 50 на север, прямо от Ачинска. Начало деятельности того и другого относится к концу 1918 г.,—приблизительно к ноябрю месяца у Кравченко, и к декабрю у Щетинкина. Оба они—офицеры: Щетинкин кадровый офицер, дослужившийся в германскую войну до чина штабс-капитана из простых рядовых; Кравченко же поручик, призванный в армию из запада. Оба затем местные люди. Щетинкин до марта месяца пробыл со своим отрядом на севере Ачинского уезда, а затем, преследуемый правительственными войсками и почти ими окруженный, совершил необычайно смелую диверсию,—пошел на юг к Ачинску, перешел в 20 в. к западу от него, с небольшой кучкой сторонников, жел. дорогу, повернул затем к с. Ужур, от него на с. Новоселову, и оттуда через Енисей по льду к Красноярску, на встречу высланным оттуда отрядам, а затем, до встречи с ними, повернув на с. Дербино, перешел в тайгу; через тайгу, неведомыми тропами, на юг Красноярского уезда и на Паске 1919 г. соединился с Кравченко на Манском фронте. Весь этот рейд он совершил на глазах всей губернии, пройдя совершенно безнаказанно несколько сот верст, если не всю тысячу, и разбивав неоднократно посланного наперерез ему из Минусинска сотн. Бологова.

Напротив, Кравченко, начиная с того же ноября 1918 г., все время оставался в районе реки Маны, постепенно накапливая там силы и доведя их в конце концов до большой армии в 6—7 тыс. человек. Зародившись первоначально в виде небольшой группы повстанцев, которой никто не придавал серьезного значения, эта армия быстро выросла, и к концу зимы образовала, так называвшийся тогда, „Камарчагский“ фронт, широко известный по всей средней Сибири. Камарчага—станция железной дороги в 60—70 вв. от Красноярска в сторону Иркутска. От Камарчаги территория, находившаяся в распоряжении повстанцев, начиналась иногда в 5—6 вв. иногда отодвигалась вглубь, вдоль трактовой переселенческой дороги на р. Ману, верст на 15—20, но никогда не дальше. За этим рубежом, начиная с зимы 1918—1919 находилась уже территория, прочно занятая повстанцами, куда в течение полугода, если не более, был совершенно закрыт доступ правительственным войскам. Власть Калчака до июня 1919 г. здесь буквально не существовало.

От ст. Камарчаги вглубь уезда пролегал, по направлению к реке Мане, большая шоссейная дорога, так называемая, „переселенческая“ (построенная ведомством переселения), дорога, упирающаяся в село Степной-Баджей. Степной Баджей сделался столицей повстанческой территории и его там крестьяне называли—„Петроградом“. Здесь находилась большая переселенческая больница (лучшие сельские больницы в Сибири—переселенческие), обращенная повстанцами в свой военный госпиталь; школа, церковь, и тут же были оборудованы патронные заводы полу-кустарного типа, снабжавшие повстанцев военным материалом. В народе ходил слух, что повстанцы умеют делать даже порох, и когда

крестьян спрашивали: из чего же они его делают?—то крестьяне отвечали, научились делать из березовой коры. Отмечу здесь, кстати, что в армии Мамонтова имелись тоже свои заводы, фабриковавшие до 500 штук патронов в сутки, и там тоже повстанцы сами готовили себе порох.

Работа в Степном Баджее шла очень энергично, местность была хорошо защищена со всех сторон от неожиданного нападения горами и непроходимой тайгой, а с фронта, от жел. дороги, живой силой повстанцев, непрерывно возрастающей. Шла широко поставленная агитационная работа, собирались съезды крестьян, издавалась одно время гектографированная газета „Крестьянская Правда“. Станция Камарчага в это время (март—июнь 1919 г.) походила на настоящий военный лагерь времен серьезной позиционной войны. Основную массу живой силы тут составляли чехи, за ними следовали итальянцы, часть сербы и русские. Центральную роль играли чехо-словаки, а наиболее отрицательную—томские гусары из Красильниковского отряда.

С середины мая 3-я чехо-словацкая дивизия полк. Прхала начала наступление на Камарчагский фронт, чтобы проложить путь к р. Мане и загнать повстанцев в таяжные дебри, где им грозила верная гибель, если не от зверей, то от голода. Камарчагский фронт превратился за время этих боев в еще более знаменитый „Манский“ фронт, бои на котором были необыкновенно кровавыми и напряженными и очень долгими. Борьба шла до середины июня, т. е. целый месяц. Повстанцы отстаивали положительно каждый клочек земли, каждый пригорок, каждую речку. Рельеф местности для них представлялся чрезвычайно благоприятным: чем дальше вглубь к Мане, тем все более неприступными становились скалы и таяжные ущелья, в то же время опасность быть разбитыми придавала энергию бойцам. Это была, действительно, героическая борьба, при том с неравными силами.

В конце концов, повстанческая армия была разбита и отброшена за Ману, в глубь тайги,—безлюдной, бездорожной, настоящей лесной пустыни. Степной Баджей пал, героический период его существования кончился, из столицы, „Петрограда“, он превратился в пустыню:—вся воля была выжжена.

5. Партизаны в Минусинском уезде.

Повстанческая армия на р. Мане была окончательно разбита 15 июня 1919 г. К этому времени она состояла из нескольких больших отрядов. В Красноярске говорили тогда (еще зимой, впрочем), что на Мане действуют три или четыре армии,—Тальская, Манская, Канская и еще какая-то, кажется, Агинская. Количество вооруженных борцов во всех них доходило до 6—8 тыс. человек при 8—10—12 пулеметах, смотря по времени, когда было больше, а когда меньше. При поражении Агинский полк совсем рассеялся, разошелся по домам; из двух других огромная часть либо погибла, либо тоже разошлась. Зато осталось много больных и раненых,—всего более 200 чел. Моральное

состояние армии к этому времени сделалось ужасным. Разыгрывались потрясающие картины при отступлении в тайгу. Да и куда было идти? Остаться в тайге долгое время было нельзя, рано или поздно пришлось бы выйти из нее, либо назад в Баджей, либо в Минусинский край. О возвращении назад повстанцам не приходилось думать, оставалось одно:—идти дальше к Минусинску. Но разве можно было сомневаться, что там, при выходах из тайги, стоят заставы и повстанцев уже ждут? Итти в Минусинский край значило, в сущности, итти на верную гибель. Случилось, однако, то, чего никак не приходилось ожидать—красноярские генералы оказались настолько предусмотрительными, что никаких заслонов при выходе из тайги на просторы минусинских полей не поставили. Для разбитых и изнуренных остатков армии Кравченко и Щетинкина эта непредусмотрительность оказалась прямо спасительной.

Выйдя, после чрезвычайно трудного перехода по тайге, в Минусинский уезд и не встретив здесь никакого сопротивления, повстанцы употребили неделю на отдых и собиравшие продовольствия, а пополнив запасы, двинулись на юг, к Минусинску. Затем с ними начала разыгрываться история, столь нам знакомая еще со времени Пугачева. Только что разбитая армия быстро росла, как снежный ком, катящийся с горы. Минусинск повстанцы миновали, но заняли Каратуз, столицу минусинского казачества, большое село, почти город. Казачьи власти оттуда позорно бежали и впоследствии их поведение рассматривал казачий круг, собиравшийся в Красноярске. После Каратуза счастье, однако, еще раз изменило повстанцам,—их настиг с большим отрядом сотн. Бологов и дважды разбил под с. Ермаковским и южнее под дер. Григорьевской. Вновь разбитые и полурассеянные отряды повстанцев решили спастись тогда в Урянхай и Монголию.

В Урянхай они прошли по Усинскому тракту, построенному руками каторжан, и через несколько дней по приходе туда, заняли гор. Белоцарск, бюрократическую столицу Урянхы. По приходе их в Урянхай, там вспыхнуло восстание сойотов, мстивших русским за многолетние обиды, и началось повальное бегство русских на север, вниз по Енисею, на плотах. В свое время оно было подробно описано в местных газетах, сообщавших много интересных подробностей. В Урянхее армия Кравченко и Щетинкина снова оправилась. Красноярские генералы, выпустившие повстанцев из таежного капкана, куда их загнали чехи, не нашли ничего лучшего, как послать в Урянхай того же сотн. Бологова, который только что взял такой реванш в борьбе с повстанцами. Бологов молодой, казачий офицер, более смелый и задорный, чем способный к серьезной борьбе, решил, что тот „сброд“, который сгруппировался вокруг Щетинкина и Кравченко, можно рассеять одним ударом, и быстро двинулся на врага. Враг, однако, не дал себя провести.

Кравченко и Щетинкин обманули бдительность Бологова,—благо это не трудно было сделать,—и заманили его к Белоцарску, на левый крутой берег Енисея. Здесь они вдруг ударили на него со всеми силами, окружили и буквально сбросили с крутых скал в Енисей. Разгром оказался превосходящим все ожидания, и у повстанцев в руках осталась огромная добыча: несколько сот вин-

товок, несколько орудий, свыше 10 пулеметов, и пр. Повстанческая армия снова возродилась и с этого времени шла от победы к победе.

После некоторых колебаний, вести о которых какими-то путями быстро доходили до Красноярска, что делать и куда идти—рождалась мысль идти через горы в Кузнецкий уезд на соединение с алтайскими отрядами,—армия Кравченко и Шетинкина вступила вновь в пределы Минусинского уезда, на этот раз не с севера, а с юга, через Григорьевку, под которой они недавно еще потерпели поражение. Снова начали разыгрываться сцены, так нам знакомые еще по обороне Белогорской крепости в „Капитанской Дочке“ Пушкина. Серьезных боев нигде не происходило, хотя в Минусинске командовал генерал Попов, ген.-штабист, географ, исследователь Урянхайского края, позже—почти коммунист, в то время ревностный колчаковец. Бологов, к тому же раненный, добравшись в Минусинск, внес туда панику, там началась спешная, нелепая, судорожная эвакуация, а красноармейские подководцы, сводя какие-то счета с минусинскими, оставляли их без помощи. Едва отошли последние пароходы с беженцами, как повстанческая армия вступила в город и завладела им так прочно, что оставалось в нем до падения власти Колчака, в течение трех месяцев (сентябрь—январь).

Это был пример, единственный на протяжении всей колчаковской территории и за все время существования власти Колчака. Правда, повстанцы неоднократно захватывали города и в других концах Сибири: так, в феврале 1919 г. ими был занят Енисейск; осенью 1918 занимался на некоторое время Славгород; летом—Камень, на Оби; позже Бодайбо; подходили они близко к Кузнецку, Таре, даже Канску. Но все это не выходило за пределы временных захватов и, занимая эти города, повстанцы очень скоро теряли их, неся более или менее значительные потери. Минусинск, напротив, ими оказался занят очень прочно, приблизительно так, как перед тем Степной Баджей, но в отличие от Степного Баджея здесь в их руки попадал не притаженный район полугорный и полудикий, упирающийся в дикую тайгу, а огромнейшая площадь плодородной земли, сравнительно густо заселенная (350 тыс. населения на пространстве 80 тыс. кв. в.), осыпанная всеми дарами природы, с железо-делательным заводом в Абаканске, с рядом больниц, с запасами продовольствия, теплой одежды, медикаментами и пр.

Упрочившись в Минусинском крае, повстанцы могли считать себя вознагражденными за все лишения и от чисто военной жизни имели возможность перейти к настоящему государственному строительству, чем они по мере сил и занялись. Пребывание в Минусинске дало им случай привести также в систему тот идейный запас, с которым они выступили на борьбу с колчаковщиной, что они сделали путем создания местной прессы в виде газеты „Соха и Молот“. Все это, взятое вместе, заставляет обратить на Минусинский повстанческий район наибольшее внимание и с особенной пристальностью приглядеться к нему, что мной и будет сделано в дальнейшем.

6. Тасеевский повстанческий район.

Все факты, приведенные выше, показывают, насколько серьезным являлось крестьянское движение в Сибири во времена Колчака. Между тем мы далеко еще не закончили даже чисто внешнее описание наиболее важных повстанческих районов. Камарчагским и Манским районами, перешедшими позже в Минусинский вооруженный плацдарм между реками Тубой и Енисеем, а также отдельными отрядами по Ачинскому уезду, выведенными на Ману Щетинкиным, еще не исчерпывается перечень крестьянских фронтов по Енисейской губ. Я уже упоминал о захвате в феврале 1919 г. повстанцами гор. Енисейска, находящегося на север от Красноярска в 600 в., в таком же расстоянии, в каком к югу от него находился Минусинск. Енисейск захватили отряды, вышедшие с Ангара, а на Ангаре они появились из с. Тасеева, расположенного прямо на север от Канска, в 125 верст. от жел. дороги. Тасеевский район представлял второй чрезвычайно важный очаг крестьянского движения по Енисейской губ.; он являлся центральным питательным пунктом для повстанческого движения всего севера губернии.

Тасеево—большое село (несколько тысяч жителей; всего в волости жителей 10—11 тыс. человек, что представляет большую цифру по сибирскому масштабу) расположено в глубине таяжного уезда. В северной части губернии это единственное место, где есть хлебные излишки, поступающие в продажу на местном рынке. Хлеб отсюда обычно шел к Ангаре и в приангарский край и дальше на прииска Енисейской тайги. Енисейская тайга—это та местность губернии, которая расположена тоже в углу, образуемом тем же Енисеем и на этот раз Ангарой. Рекой Питом она делится на северную и южную тайгу,—«золотое дно» Сибири.

Тут когда-то создавались те самые «приваловские миллионы», которые описаны Маминим-Сибиряком. В 1840-х гг.—время действия героев Мамина-Сибиряка,—здесь добывалось золота до 1400 пудов в год, колоссальная цифра даже по тому масштабу. Добыча шла хищнически, золото не добывалось, а расхищалось. Золотопромышленники то богатели, как во сне, подобно английским лордам, то вдруг ввергались в нищету. В конце XIX века выработка золота очень упала и спустилась до 120 пуд. в год, что вызвало кризис золотопромышленности и заставило ее перейти к механической добыче золота путем постановки особых машин—«драг», привозившихся в Сибирь из Новой Зеландии (привоз стоил больше, чем сама машина). Образовался целый ряд промышленных акционерных компаний, поднявших добычу золота до 220—230 пуд. в год. Были драги, как, напр., в северной тайге у Федоровского золото-промышленного об-ва, побивавшие мировой рекорд добычи золота,—25 пуд. на драгу.

Совершенно естественно, что повстанцы, захвативши хлебный тасеевский район, поставили своей задачей овладеть и тесно с ним связанным—здесь хлеб, там золото, два чисто сибирские продукта,—золотопромышленным районом. Отсюда начинается борьба повстанцев за северную, более отдаленную, и южную, близкую к ним, тайгу, которая всю зиму 1918—1919 гг. шла с переменным

успехом: счастье склонялось то на ту, то на другую сторону. Крупные золотопромышленники не верили в возможность захвата тайги «бандами», полагая, что правительственная власть стоит столь важные для нее районы. Они даже мешали своим служащим вступать в дружины обороны, так как это отвлекало их от непосредственной добычи золота, которая в южной тайге ведется и зимой. Тяжесть самообороны пала в виду этого на плечи мелкого золотопромышленника, артельщика и на отдельных служащих, предоставленных самим себе, так как помощи со стороны не приходило. Тайга, главным образом, южная, в конце концов оказалась захваченной повстанцами и дражный промысел правительства Колчака был совершенно потерян и больше ни при нем, ни позже, но уже по другим причинам, не восстанавливался.

Тайга, бездорожье, сравнительная отдаленность от центров, привычка населения к самостоятельности, наличие солдат, вернувшихся с фронта и прошедших там школу позиционной войны, создали такие условия, при которых Тасеевский район с прилегающим к нему при-ангарьем и южной тайгой, мог быть обращен в территорию, непроницаемую для колчаковских войск. За самодельными окопами, зимой из снега и льда, окруженные сторожевыми отрядами, целые волости выходили из-под власти Колчака и жили там какой-то своеобразной, самостоятельной жизнью, оторванные от мира, но и отринувшие этот мир.

Весь этот район входил в состав Канского уезда, той именно части его, которая расположена на север от железной дороги. Но и другая часть уезда, меньшая, к югу от нее, находилась—как мы видели, не в лучшем положении, так как входила в состав манского фронта, где часть повстанческой армии так и называлась—«Канский». Зимой 1918—1919 г.г. почти весь Канский уезд оказался в районе восстания. Из 48 волостей, составляющих уезд, земская управа имела тогда постоянные сношения только с 10—12 волостями, примыкающими непосредственно к полосе железной дороги, да и то, в трех из них, бывали набеги партизан. С остальными волостями у земской управы сношений не было, а если и бывали, то случайные. Населения в Канском уезде 320—350 тыс.; нужно считать, что из этого числа не менее 250—270 тыс. находились за линией фронта. Как они там жили? Какие отношения у мирного населения за линией фронта устанавливались с повстанцами?

7. Партийные группировки среди крестьян.

Ответить на последние вопросы,—вся серьезность которых ясна сама по себе,—я могу только на основании отрывочного материала, доходившего тогда до меня, на основании сведений, сообщавшихся самими крестьянами.

Крестьянская мысль всегда конкретна. Крестьянство постоянно стремится к реальному, а не отвлеченному. Крестьянин, особенно сибирский, эмпирик по природе. Поэтому, партийные группировки среди крестьян, намечавшиеся за это время, складывались на своеобразной почве, подчас очень не-

ожиданной и парадоксальной. Крайнюю правую у нас занимала, так называвшаяся в деревнях этой части губернии, — „Серебряная Гвардия“. Своеобразный термин чисто местного происхождения, который я встречал в деревнях Красноярского уезда. „Серебряная Гвардия“ это люди с посеребрёнными сединой волосами. Это партия порядка в точном смысле такого слова. Люди такого типа желали гражданского мира и восстановления твердой власти, не особенно останавливаясь на том, откуда она исходит. Откуда бы она ни исходила, пусть будет только это власть, а не дикое самодурство, которого никто не желал. Это консерваторы деревни. Про Колчака крестьяне такого типа выражались буквально так: „Он хорошо говорит (в манифестах), но делает, ох, как плохо“.

Против этих консерваторов деревни, консерваторов однако в известном, условном смысле, стояли две обширные группировки, — одни, принимавшие советскую власть, и другие, — тяготевшие к земской власти и Учредит. Собранию. Учесть их статистически, конечно, не представлялось никакой возможности, тем более, что и та и другая группировки, все-таки, в известной мере, тоже условны и своеобразны в понимании своих лозунгов, но обе они тогда существовали и в довольно широком масштабе. Были целые волости, в которых население, даже по ту сторону линии фронта, все-таки почему-то примыкало то к этой, то к той стороне. Когда Канский уезд почти весь оказался в полосе восстания, то в нем и тогда находились целые районы, напр., Шеломовская, Соколовская, Червянская волости и нек. др., которые не соглашались вводить у себя советскую власть, принятую повстанцами, и высказывались за власть земскую. У самого Тасеевского села шла на этой почве долгая тяжба и борьба с соседней Рождественской волостью, принимавшая иногда формы тяжелого междоусобия.

Если мы станем внимательнее приглядываться к этому крайне любопытному явлению, то увидим, что внутренняя политическая борьба в среде крестьян началась еще раньше, после первых же дней революции. В 1917 г. она обнаружилась в яркой форме на столкновениях, происходивших на первом губернском крестьянском съезде в Красноярске, между большевиками и эс-ерами. Тогда канские делегаты образовали сплоченную левую оппозицию в 40—45 человек, правда, потом распавшуюся, а против них выступали минусинцы, тоже сплоченной группой в 70—75 чел., и съезд пошел за минусинцами, и увлек за собой даже часть канской оппозиции.

Борьба доходила до такого страстного нервного напряжения, что во время прений об одной резолюции, — захватывать или не захватывать земли, — один из минусинских делегатов солдат, контуженный на фронте, сошел от потрясения с ума и позже был увезен в Томск, в клинику душевно больных.

Настроение на съезде было действительно напряженным до крайней степени и могло даже людей привычных довести до изнеможения. Эта напряженность борьбы, находившая идеологическое выражение в борьбе за разные принципы и лозунги, станет для нас понятнее, если мы обратим внимание, какие интересы стояли за теми или иными теоретическими принципами. Так

как мысль крестьянства всегда конкретна, то это конкретное должно было сказываться и в данном случае. И вот, приглядываясь внимательнее к указанному явлению, мы можем установить, что политические деления тут—применительно к данной губернии—проходили приблизительно по линии разделения экономических интересов. Конкретно это выражалось в том, что районы под-таежные, оторванные от центра, наиболее глухие, наименее грамотные, хотя грамотностью сибирская деревня вообще не отличается, стояли за одну ориентацию в политических вопросах, а районы земледельческие, хлебопашеские за другую. При этом оказывалось, что первые районы переселенческие вторые—старожильческие. Канский уезд имеет не менее 40% переселенцев, минусинский, напротив, отличается большой давностью в заселении.

Переселенцы—это парии в нашей жизни. Отношение к ним со стороны царского правительства всегда являлось чисто бюрократическим. Расселяли их до крайности нерационально. Людей из степных губерний селили в тайгу или в под-таежные районы; землепашцев—в скотоводческие местности и т. д. Очень часто они попадали на участки, вообще непригодные для хозяйства, напр., лишённые воды или задавленные лесом. В тайге их заедал комар зимой они замерзали от морозов.

С другой стороны, они привыкали ко всякого рода ссудам, которые развращали их, и рабочее население перерождало в нищих, попрошайк-профессионалов. В итоге получался своего рода „бродячая Русь“, хищнически обращающаяся с землей, лесом, природными богатствами. Этот бесхозяйный элемент, „бесхозяйная Русь“ в сибирской переработке, конечно, должна была отнестись очень сочувственно к таким политическим лозунгам, как, напр., захват земли, упорно пропагандировавшийся канскими делегатами на том же губернском крестьянском съезде в Красноярске. Но, ведь, в Сибири, в частности в Енисейской губ., частных земельных собственников совсем почти нет. По Енисейской губ., напр., только 0,9% всех земель состоит в руках частных собственников; остальная земля либо крестьянская, либо государственная. Тем не менее, мысль о захвате земель подкупала крестьян, несмотря на всю свою парадоксальность в сибирских условиях (в Канске было весной 1917 г. вынесено постановление о конфискации государственных земель!), то-есть, она подкупала крестьян-переселенцев. Можно, ведь, было захватывать земли у старожилов и казаков, которые являлись тоже старожилами и лучше, чем кто другой, были наделены землей.

Но, разумеется, по этим же причинам старожильческие районы должны были быть против идеи захвата земель и должны были высказываться за чисто государственный путь решения земельного вопроса, который бы гарантировал им, что их земли не будут предметом раздора и не станут захватываться каждым пришельцем без разбора. Так, по линии экономических интересов и проходило политическое расслоение нашего крестьянства. Как оно переотражалось в отношении крестьян к разным типам организации власти, зарождавшимся и укреплявшимся в разное время, и в частности, как это отра-

жалось на повстанческих политических программах, мы еще не один раз увидим, ближе знакомясь с крестьянским движением при Колчаке.

9. Тайшетский повстанческий район.

Тасеевский район, так же как и Минусинский, продержался до самого конца Колчаковской власти. Руководящую роль в ней играли бр. Бабины и Яковенко, впоследствии нарком. земледелия. Ни тасеевский, ни минусинский районы колчаковские генералы не смогли отвоевать от повстанцев. Но прежде чем эта власть пала, она нашла силы, чтобы уничтожить еще один очаг повстанческого движения, как был уничтожен „камарчагский“ фронт; этот очаг— Тайшетский повстанческий район, расположенный к востоку от Канска, в сторону Иркутска, на границе Енисейской и Иркутской губ., и относящийся собственно уже ко второй из них, а не к первой. Этот район одно время играл исключительно крупное значение и на нем необходимо остановиться особо.

Тайшет (теперь он входит в состав Канского уезда, тогда входил в Нижнеудинский уезд Иркутской губ.)—большая железно-дорожная станция, почти город. По последней переписи во всей Тайшетской волости 15 тыс. населения, это очень крупная цифра по сибирским условиям, где средний размер населения; волости не свыше 6-7 тыс. человек, редко 8-9 тысяч и только в исключительных случаях свыше 12-13 тыс. В самом Тайшете населения приблизительно 6-7 тыс. человек, если не больше. Через Тайшет проходит сибирская магистраль, в округе широко развито кооперативное движение.

При Колчаке, начиная с конца зимы (февраль—март) и до весенних месяцев на перегоне от Тайшета к Канску поезда ходили с большими перебоями. Военские эшелоны почти с регулярной правильностью терпели крушения: спускались повстанцами под откосы; на пассажирские поезда происходили часто нападения. Поезда ходили одно время при непременном сопровождении броневиков; общее положение было крайне напряженным и тяжелым. Чехо-словацких сил не хватало для охраны этого крайне важного жел.-дорожного участка, и в Тайшете имел постоянное местопребывание отряд румын под начальством полк. Кадлица. Румыны—наименее культурная часть из бывших в Сибири иностранных войск; у местного населения с ними происходили постоянные столкновения, порой очень острые.

Насколько перегон от Тайшета к Канску являлся открытым для нападения повстанцев видно из всей тогдашней газетной прессы, в частности даже из чешской юмористической литературы, где он фигурирует в ряде каррикатур над чехо-словацким войском. Юмористические чешские журналы пользовались правом известной свободы и могли касаться таких вопросов, касаться которых обща чешская пресса не имела возможности, это отражалось и на каррикатах о Тайшете. Временами бывало, однако, и чехам и румынам не до

юмористич. Весной 1919 г. повстанцами было произведено прямо на Тайшет большое и хорошо задуманное нападение отрядом в 1000 чел., незаметно подошедшим под прикрытием лесов к самой станции. Бой шел за вокзал; чехи были застигнуты врасплох, но скоро оправились и отбросили повстанцев. Потери оказались, однако, очень большими, вокзал был совершенно разрушен и сгорел, движение пришлось прервать на некоторое время.

Ряд таких же нападений повстанцы произвели на отдельные посты и станции. На перегоне от Тайшета к Канску дорога идет лесом и гористыми увалами, представляющими хорошее укрытие для нападающих. Нападали обычно на лыжах, внезапно подходя к поезду и после обстрела скрываясь в лесу.

Чешская охрана преследовала повстанцев и тех, кого захватывала, „линичала“ на месте. Разыгрывались сцены потрясающей жестокости, телеграфные столбы то тут, то там превращались в виселицы, и так на протяжении многих верст от станции до станции. О повстанцах тогда ходили целые легенды. Передавали, что у них от Степного Баджея в сторону Тайшета, вдоль железной дороги, на известном расстоянии к югу от нее, был проведен телефон, которым они и пользовались, чтобы комбинировать свои нападения сразу в нескольких пунктах на протяжении 300-350 верст. Телефонов на деле не было, но комбинированность действий несомненно имела место. Любопытно отметить, что в армии Мамонтова, напротив, пользовались и телефонами, и телеграфом.

Тайшетский фронт и фронт „камарчагский“, в это время находившийся в полном расцвете, представляли грозную опасность для правительственных войск. Весь этот район от Канска к Тайшету, на север от дороги и к югу от нее, представлял сплошное повстанческое море, бурлившее волнами. В Красноярске власти не чувствовали себя спокойными, нервничали и ждали не то восстания в городе, не то нападения извне. Но город был в общем спокоен, бурлила деревня. Несмотря на это ген. Розанов, наместник Колчака в Красноярске, начал прибегать к самым репрессивным мерам,—введена была система заложничества. Каждое нападение на линии Тайшет-Красноярск вызывало расстрел заложников.

Нет никакого сомнения, что еслибы Колчак не имел тогда на перегоне к Тайшету помощи со стороны чехо-словаков, румын, сербов, итальянцев, то положение его было бы критическим еще весной 1919 г., и дорога там была бы разрушена, связь фронта на Урале с востоком и тылом была бы порвана, и тогда поражения, которые Колчак испытал под Пермью летом, произошли бы гораздо раньше, и катастрофа приняла бы еще большие размеры. Все это показывает, какую роль играло в то время крестьянское движение в Сибири. Без всякого преувеличения можно сказать, что его роль тут была первостепенного значения, и во внутренней жизни Сибири крестьянство являлось решающим фактором. Не город, а деревня создавала тогда длительное, непрерывное, организованное сопротивление диктатуре Колчака.

Крестьянское движение и революционная оппозиция.

Правительство Колчака, поразительное по своей политической близорукости, совершенно не отдавало себе отчета, насколько серьезно крестьянское движение и какую грозную опасность оно представляет. Повстанческие районы очень часто являлись хлебными районами (Алтай, Семипал. губ., Минусинский край, Тасеево, и пр.); теряя связь с ними, правительство Колчака теряло огромные запасы продовольствия. Нечего говорить также о том значении для фронта, которое имели постоянные перерывы движения на магистрали. Когда тыл представлялся до такой степени беспокойными, на фронте не могли идти успешно и даже чисто-военные операции. Было совершенно ясно, что для успокоения деревни нужны какие-то срочные и большие мероприятия; между тем Колчак и его генералы полагали, что с крестьянским движением легче всего справиться обычными репрессиями. Однако, совершенно иначе, чем правительство, отнеслись к тому же крестьянскому движению представители разных оттенков революционной оппозиции.

Обычно крестьянское движение определялось в Сибири, как движение большевистское и в известном смысле оно было таковым. Большевистские нелегальные организации скоро учли, особенно после неудачных опытов чисто городских восстаний, всю важность деревенского бунта и направили туда значительные силы. Позиция их была тем выгоднее, чем легче было противопоставить, по закону антитезы, власти Колчака идею власти Советов. Так большевики и поступали. Коммунистов тогда в Сибири еще не знали (даже термин этот не пользовался распространением), большевиков же помнили еще по 1917—1918 г.г., и психологически деревня чувствовала к ним определенное тяготение. Такая психологическая, или шире, социально-психологическая основа, у большевизма в Сибири несомненно была.

Большевизм представлял собою стихийный и бессознательный протест против всяких форм неравенства, а вовсе не непременно против неравенства экономического, как это обычно рисуется. Неравенство по образованию—разделение на грамотных и не-грамотных; неравенство по культурному уровню—чисто, по „городски“ одетые и одетые по-мужички, по-деревенски; неравенство государственное с разделением на управляемых и управляющих и другие виды неравенства, совершенно неизбежного по существу и при данных условиях непреодолимого, по крайней мере, в краткий срок,—вот что составляло психологический источник для зарождения и развития большевистских настроений. Большевизм, как политическая система, тем и был близок нашему крестьянству, что внушал ему надежду, что все эти формы неравенства можно „скасовать“, как говорили казаки времен Хмельницкого, скасовать одним ударом сабли, выстричь всех под одну гребенку. Это была зыбкая и неустойчивая почва, для построения длительного союза между разными политическими группировками. Впоследствии вся эта неустойчивость очень ярко сказалась, но пока при Колчаке, она не чувствовалась.

Параллельно с этим намечался и другой тип отношения к крестьянскому движению. Он исходил из кругов земско-социалистических. История его образования в нескольких словах такова. Начиная с весны, а особенно с лета 1919 г., в Сибири наметилось одно новое общественно-политическое течение, — земско-социалистическое, — занявшее самостоятельную позицию по отношению к текущим событиям, в частности по отношению к правительству Колчака. Земства, избранные на основе всеобщего избирательного права, тогда, существовали, так как уничтожить их правительство Колчака, несмотря на все желание, не решалось, хотя и пробовало делать в этом отношении некоторые шаги. Несмотря на краткость своего существования, всего с 1917 г., и на малый контингент подходящих работников, земства, особенно местами, довольно прочно укрепились и представляли удобную почву для полу-открытой организации общественных сил на анти-колчаковской платформе.

В конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земско-социалистический съезд, на котором были представлены Иркутская, Енисейская, Томская губ., Алтай, Владивосток. На нем, для объединения политической работы земств, было избрано Земское Полит.-Бюро, в которое вошел и пишущий эти строки. За октябрь и ноябрь месяцы земское политическое движение становится своего рода политическим центром, около которого группируются представители анти-колчаковских организаций и течений. Земское Полит.-Бюро вместе с ними вырабатывает общее отношение к текущим событиям. Тогда же на этих совещаниях принимается за руководящий принцип идея „буферного“ государства. Постепенно, однако, земское течение поглощается новыми, или вернее старыми, политическими организациями, вновь, почти открыто, выступающими на арену политической жизни. В первой половине декабря того же 1919 г. всеми указанными группами, при участии в том числе и Земск. Полит.-Бюро, кладется начало для создания той формы власти, которая позже получает название „Политического Центра“. Земск. Полит.-Бюро отходит в это время на второй план, оставаясь как бы в тени.

Но если не в Иркутске, то ближе к западу, в Красноярске, представители земского движения во главе с покойным Г. П. Сибирцевым, одним из крупнейших общественно-культурных работников Сибири, выступают с самостоятельной программой деятельности, и, по их инициативе, образуется в городе Комитет Общественных Организаций, к которому на время переходит власть по губернии. Это был очень краткий период, но он важен тем, что здесь, в Красноярске, представители сибирской общественности впервые вступили в организованные переговоры с Советской властью об условиях создания единого фронта¹⁾. Земское движение, оставившее известный след в жизни Сибири, шло, конечно, не случайно. Оно нарастало постепенно, зародившись в самый разгар „колчаковщины“, когда, казалось, царству ее не будет конца. Между прочим, одним из наиболее важных явлений, вызвавших его к жизни, было

¹⁾ Об этих переговорах, так же, как о тех, которые вел Иркутский „Полит. Центр“, и о договоре в Томске, заключенном 20 янв. 1920 г., я буду еще говорить специально.

крестьянское движение, так широко разлившееся тогда по Сибири. Земства, будучи тесно связаны с широкими крестьянскими массами, уже по одному этому не могли игнорировать крестьянского движения и поставили своей задачей войти с ним, через Земск. Полит.-Бюро, в те или иные основания, что было решено сделать прежде всего в Красноярске.

Такое отношение к крестьянскому движению заставило, с другой стороны, представителей земско-социалистической оппозиции критически расценить, что представляет из себя в разных своих частях крестьянское движение, на что там надо смотреть, как на начало прогрессивное и жизнеспособное, и на что, как на начало нежизнеспособное и реакционное с обще-государственной точки зрения. Из предыдущего отчасти уже видно, к каким результатам пришла в этом случае земско-социалистическая мысль, представлявшаяся тогда двумя журналами: „Новым Земск. Делом“ в Красноярске, за период март—май 1919 г., и „Земской Сибирью“ в Иркутске, выходившей с осени того же года вплоть до низвержения власти Колчака. В дальнейшем та же точка зрения на крестьянское движение со стороны земско-социалистической оппозиции выяснится перед нами полностью на конкретных фактах.

10. К характеристике крестьянского движения.—Сибирская махновщина.

Крестьянское движение в Сибири не только при Колчаке, а и раньше, за предыдущий период революции (оно и тогда существовало), начиная с 1917 г., представляло собою очень сложное общественное явление, далеко не однородное по составу своих участников и далеко не равноценное в разных своих частях. По своему составу оно не всегда было демократическим, напротив, в нем известное участие, иногда даже руководящее, играли обеспеченные слои деревни, зажиточные и богатые крестьяне. Так случалось, напр., на Алтае, в Семипалатинской губ. и др. местах. Не всегда оно руководилось революционными целями в общепринятом смысле этого слова. Больше того, случалось, что крестьянские движения начинались столкновениями с властями на почве, далекой от всякой революции, или принимали характер не столько революционный, сколько анархистско-бунтарский, даже просто погромный. Нередко крестьянство вообще отказывалось признавать какие бы то ни было, хотя бы самые законные и неизбежные виды обязательного отбывания общественных повинностей. Свобода в таких случаях понималась им очень примитивно—в смысле освобождения от всякой государственной власти или в смысле права свободно заниматься всем, кто бы чем ни пожелал, вплоть до свободной выкуры самогонки, добытие которой столь распространено в сибирской деревне. Еще до революции в той же Енисейской губ. на выкурку самогонки уходило до 3 милл. пудов хлеба, по 2—3 пуда хлеба на душу, и это в области, которая отнюдь не принадлежит к разряду производящих хлеб, так как в ней только отдельные районы имеют хлебные излишки, остальная же часть живет привозным хлебом, а не только местным. Некоторый примитивный анархизм вообще свойственен крестьянскому мировоззрению, и он неизбежно дол-

жен был проявляться в крестьянском движении. Крестьянство могло отказываться, и на деле отказывалось, признавать какое бы то ни было государственное регулирование, напр., в ведении лесного хозяйства, протестуя, даже на крестьянских съездах, против всякого рода лесничеств, стесняющих свободу пользования лесом, хотя такое стеснение было необходимо для охранения лесов от быстрого истребления; крестьянство являлось часто настроенным против всякого рода мобилизаций, систематически уклоняясь от них не только потому, что оно не желало признавать мобилизации для какой либо данной цели, а потому, что оно вообще было против поставки рекрут в солдаты; оно отказывалось платить налоги, хотя бы эти налоги шли на расходы по удовлетворению его же нужд, как это бывало не раз при сборе земских повинностей, и т. д. Во всех этих случаях сказывался примитивный анархизм крестьянского мышления, связанный с давно укоренившимся недоверием к государству. А так как ближайшие стимулы для проявления такого недоверия бывали самые разнообразные и далеко не всегда законные с обще-демократической и обще-революционной точки зрения, так как состав населения в Сибири тоже далеко не однороден, и в нем не последнюю роль играли с давних пор элементы вообще анти-социальные, — не забудем все-таки, что Сибирь страна ссылки (я говорю не про политическую ссылку, а уголовную), и в ней осело не мало элементов просто „ушкуннических“, — то в результате такого переоплетения взаимно скрещивающихся начал, крестьянское движение то тут, то там должно было вырождаться в такие формы, которые ни с какой стороны не могли быть приемлемыми ни для какого государственного течения. Быть может, самым трагическим выражением их являются события в Кузнецком уезде и в самом городе Кузнецке, зимой 1919-1920 гг., когда вся эта область оказалась в безраздельной власти повстанцев, руководимых Роговым и Новоселовым. Здесь ими был произведен настоящий погром интеллигенции, нечто в роде Уманьской резни гайдамаков, причем интеллигенция („буржуи“) уничтожалась без различия профессий, пола и возраста. Число вырезанных определялось в одном Кузнецке в несколько сот, именно, по подсчету томской газеты „Рабочее Знамя“ — в 325 чел., а на самом деле, вероятно, гораздо больше, особенно принимая во внимание и весь уезд. Когда Кузнецк заняли советские войска, то им пришлось силой остановить эту погромную стихию, все смывавшую на своем пути. Замечательно также, что в этом районе и в соседнем с ним Щегловском уезде и позже, уже при советской власти, внедрился тот же тип крестьянского движения, бунтарски-погромный и примитивно-антигосударственный. Тот же Новоселов и Рогов стали представителями и вождями его, выступая на этот раз (летом 1920 г.) не против какой-либо буржуазной власти, а против советской. И это было очень характерно. Еще характернее та политическая идеология, которую выставляли в своих прокламациях новоселовские и роговские партизаны. Острие своей ненависти они направляют тут безразлично и против комиссара, и против инженера, и против лесничего, и вообще против государственной власти, как таковой. Для них все формы ее были „от лукавого“. И летом 1920 г. они снова уничтожали всю интеллигенцию, где бы она ни служила, чем бы она ни за-

нималась; всю, от советских комиссаров до православных священников. Это была настоящая сибирская махновщина, оставлявшая на душе постороннего наблюдателя тяжелое и гнетущее впечатление. Эти свойства крестьянского движения проявлялись, разумеется, не только в Кузнецком или Щегловском уездах, а и в других местах. Их можно было встретить и в Тасеевском районе, и Славгородском, и в южной тайге, и в Томской губернии в отрядах Лубкова, и в Енисейской у Щетинкина. Все такие проявления первобытных свойств крестьянской психологии охотно подхватывались цензовой печатью, раздувались ею и служили у нее оправданием для применения к крестьянам жестоких мер со стороны карательных отрядов. Излишне, однако, доказывать, что делать так, т. е. сводить все крестьянское движение к одной этой, анархо-погромной струе, значило поступать крайне близоручо и своекорыстно, значит лишь стремиться к угождению узко-групповой психологии цензовых слоев. На самом деле, крестьянское движение вовсе не истощивалось вышеотмеченными тенденциями, в среде крестьянства большое место занимали и элементы здоровые социально, искавшие каких-то нормальных, с их точки зрения, форм власти и не желавшие преступать общепринятых условий социальной жизни.

II. Черно-Ануйский съезд повстанцев.

Одновременно с „сибирской махновщиной“, — умалять значение которой было бы большой политической ошибкой, особенно при общей мало-культурности сибирского населения, — существовали и другие типы крестьянского движения, другие группировки крестьянских интересов, отражавшие, главным образом, стремления „середняцких“, трудовых землепашеских слоев. Наилучшее выражение их мы находим в постановлениях повстанческого съезда в селе Черный Ануй на Алтае, происходившего в начале сентября 1919 г. В свое время я имел подлинные протоколы этого съезда*), очень ярко рисующие политическое настроение алтайского крестьянства. Оно во многом напоминает те политические группировки в среде крестьян, которые я характеризовал выше, говоря об Енисейской губ. Вместе с тем, в постановлениях Черно-Ануйского съезда совершенно отсутствует бунтарско-погромное настроение в духе „сибирской махновщины“, столь типичное для роговских и новоселовских повстанцев Кузнецкого уезда. Напротив, в воззваниях, принятых съездом и обращенных ко всему сибирскому крестьянству, говорится совершенно иное. крестьянство не только не призывается к стихийному и беспредметному разрушению и разгромам, но даже самым усиленным образом предостерегается от вступления на такой путь, как опасный и гибельный для крестьянского движения. Черно-Ануйский съезд опубликовал несколько воззваний с разным на-

*) Протоколы Черно-Ануйского съезда были мною опубликованы в обширных выдержках, после свержения власти Колчака, в газете, Народный Голос в Красноярске 13 декабря 1919 г., еще до прихода туда советских войск.

значением, но все они были проникнуты одним этим направлением, написаны в таком именно, а не ином духе. Отсутствует в них также то принципиальное отрицание государственности, которое составляет самую отличительную черту прокламаций Рогова и Новоселова. Можно даже сказать, что Черно-Ануйский съезд повстанцев высказался вполне определенно за установление своего рода революционного порядка, демократической государственности, обеспечивающей интересы трудовых слоев деревни, а не за протест против всяких форм государственного принуждения. Политическая программа съезда носит на себе отпечаток земских традиций, — на Алтае земство было чисто крестьянским и довольно хорошо привилось у населения, — хотя и переработанных применительно к особым условиям переживавшагося тогда Сибирью момента. На съезде были представители нескольких десятков волостей восставшего народа, — это территория южной части губернии, примыкающей к Горному Алтаю. Представители с мест были все крестьяне, местные люди. Все делегаты категорически высказались за свержение власти Колчака и огромным большинством (незначительное меньшинство в 7—8 голосов стояло на чисто советской платформе) постановили организовать из представителей земств, городов, кооперативов, профсоюзов особого Народного Собрания для выработки такой формы государственного управления, которое бы обеспечило народные интересы и могло бы войти в мирные переговоры с Советской Россией об условиях прекращения гражданской войны. Мысль об установлении гражданского мира внутри рабочей и крестьянской демократии проникала все постановления Черно-Ануйского съезда. Приблизительно это была та программа,шедшая непосредственно из низов, которая впоследствии была принята „Полит-Центром“ в Иркутске и частью была им проведена в жизнь.

12. Перед приходом Советской власти.

Черно-Ануйские повстанцы, закончив свой съезд к 12 сентября, не сумели овладеть положением. В конце октября они были разбиты правительственными отрядами и рассеяны. Часть их ушла в горы, в горные гнезда, недоступные для правительственных карательных войск, и оставалась там ждать нового удобного момента; часть разошлась по остальной Сибири. Но к тому времени, когда произошел их разгром, общее политическое положение значительно переменялось в пользу повстанцев. Терпевшая поражения на Уральском фронте армия Колчака оставила уже не только Пермь, — это случилось еще раньше, но и Екатеринбург и Челябинск, перешла затем за Тобол, и тут на время задержалась. Фронт продвинулся внутрь коренной Сибири, и красная армия приблизилась к берегам Иртыша. На настроение и политическую ориентировку повстанческих армий этот факт произвел огромное влияние; впечатление, оказанное им, было весьма крупным, чтобы не сказать всецело-определяющим. Крестьяне и рабочие с очень сложным чувством следили за ходом борьбы на фронте. Частью сознательно, но еще более бессознательно, крестьяне чувствовали, что одним

своими силами им не одолеть колчаковского строя, пока его поддерживают иностранные регулярные войска. Повстанцы, вероятно, справились бы с ним, если бы им пришлось иметь дело с одним Колчаком и его силами. Едва ли бы верховный правитель, очутившись лицом к лицу с крестьянским движением, удержался на своем месте дальше осени 1919 г., но за ним стояли крупные и хорошо вооруженные союзнические армии, так или иначе, вольно или невольно, но оказывавшие ему помощь и поддержку. Верхи, дипломаты и военные руководители союзного командования оказывали, за небольшими исключениями, эту поддержку адмир. Колчаку, столь для него спасительную, по доброй воле, по сочувствию, по социальному психологическому сродству, а также в силу политического расчета. Низы же,—это относится, главным образом, к чехо-словацкой солдатской массе,—оказывали такую поддержку невольно, попавши в заколдованный круг сложных международно-дипломатических отношений, разорвать который они просто не знали как, не умели, так как были загипнотизированы мыслью о том, чтобы найти выход на родину, получить который без той же международной дипломатии они не могли. На этой почве в среде чехо-словацкой солдатской массы, очень интеллигентной по среднему уровню, развивался за весь 1919 г. глубокий кризис, о котором мне еще придется говорить в дальнейшем. Несмотря, однако, на эту, вольную или невольную поддержку, все более и более становилось ясным, особенно после падения Перми (июнь 1919 г.), что власть Колчака колеблется, что она теряет почву под ногами, что она, словом, падает, и рано или поздно, но падет окончательно. И хотя к моменту сдачи Перми крестьянские армии потерпели в целом ряде мест поражения,—сдача Манского фронта, Тайшета, поражения на Алтае и пр.—тем не менее у крестьян надежда на успешное сопротивление не пропадала. Больше того, у них стало являться сознание, что там за фронтом они имеют союзника, который может быть скоро появиться по эту сторону Урала и сделается спасителем их от насилий колчаковщины. Вся страна к этому времени уже изстрадалась от гражданской войны и страстно желала мира и возможности спокойно трудиться в привычной обстановке. Это настроение создавало возможность духовного объединения между красной армией, шедшей из-за Урала, и поднимавшейся ей (с осени и конца лета 1919 г.) навстречу новой волне крестьянских восстаний. К тому же всю зиму 1918-1919 гг. шли слухи по Сибири, что советская власть сильно изменилась.

Идея „единого фронта“ становится с этого времени господствующей среди сибирского населения, как города, так и деревни, как в низах, так и в интеллигентских верхах. Побеждая колчаковскую армию на поле сражения, красная армия одерживала в то же время идейную победу, являясь рупором, носителем принципов советской власти. При таком настроении казались академическими все споры, поднимавшиеся на Черно-Ануйском съезде повстанцев, какой строй должен установиться после падения Колчака, советский или не советский, какие формы власти необходимо принять и какие отринуть. Факт становился принципом: плен диктовал тот, кто побеждал.

Таким образом, к приходу красной армии крестьянская Сибирь, несмотря на все отличия интересов и настроений, стихийно становилась советской. Как то сами собой, в этой волне общего настроения, потонули и те резолюции, которые принимали черно ануйские крестьяне и которые несомненно были навеяны не со стороны (впоследствии это очень ярко обнаружилось), а являлись выражением определенных интересов широких групп крестьянства. Но кроме того в том же направлении действовала и другая струя сибирских настроений, именно та, в которой выражалась и раньше идея советского строительства. Рядом с двумя группировками, выше охарактеризованными, в сибирском крестьянском движении была и еще одна, третья группировка—чисто советская, или точнее: считавшая, что она представляет советское течение. Так же, как и первые две, она проявлялась повсюду в Сибири, где только находила подходящую почву для своего развития и зарождения. Но опять-таки, как первые две имели особые территориальные районы, в которых они проявлялись с особенной рельефностью, точно также и советское течение нашло специальный район для своего развития и для своего идейного созревания. Этот район—Минусинский край, занятый с середины сентября 1919 года народно-крестьянской армией Кравченко и Щетинкина и принесшей туда с Маны традиции канских повстанцев. Как я уже упоминал, здесь с середины сентября 1919 г. начала выходить газета „Соха и Молот“, открыто защищавшая советскую платформу. Здесь же армия Кравченко и Щетинкина могла передохнуть и собраться не только с силами, но и привести в порядок свой идейный багаж. Нигде, кроме Минусинска, этого нельзя было сделать, и это действительно было выполнено в Минусинске.

II.

Как понимали партизаны советскую власть?

1. О материалах по данному вопросу.

Как я уже указывал, главным материалом для суждения по вопросу, как относились партизаны к советской власти, является минусинская газета „Соха и Молот“. Конечно, это не единственный источник, которым можно бы руководиться в данном случае. В районах, занятых партизанами, происходила своя работа политической мысли, вырабатывались свои организационные принципы, методы и системы управления. Для этой цели созывались съезды, то чисто повстанческие, то чисто крестьянские, из представителей мирного населения, то смешанные, из тех и из других. Напр., в Манском районе еще в начале марта 1919 г. происходил съезд 9 волостей, собравшийся в Степном Баджее. Съезд принял тогда советскую платформу. Позже, в половине мая 1919 г., перед началом наступления чехов на Манский фронт, созывался новый съезд в том же районе, на этот раз от 16 волостей, с представителями от повстанческих армий,—всего до 400 делегатов. Съезд был следо-

вательно смешанный. Эти 16 волостей входили в состав южной части Канского и Красноярского у.у. и представляли собой приблизительно 120—130 тыс. населения.

В промежутке между обоими с'ездами на территории, занятой повстанцами, издавалась газета „Крестьянская Правда“. Печаталась она на гектографе. Крестьяне, приезжавшие с Маны в Красноярск (сообщение между Маной и Красноярском полностью никогда не прерывалось), передавали, что у повстанцев политическим руководителем является один учитель, кажется, Перовской волости, который объяснял им, что задачей повстанцев является восстановление „крестьянского права“. Теория эта позже была подробно развита в „Сохе и Молоте“.

Одновременно с газетой „Крест. Пр.“ издавалось во всем повстанческом районе до Тайшета много прокламаций, воззваний, всякого рода предупреждений, обращавшихся то к чехам, то к казакам, то вообще к населению; часто они были просто писанными, а не печатными. Весь этот материал представлял бы несомненную ценность для суждения о политических взглядах повстанцев и, в частности, об их оценке разных форм власти, но, к сожалению, в нашем распоряжении его нет, да и вообще едва-ли он где-либо собран, кроме разве, как у чехов. Не располагаем мы также соответствующим материалом по другим районам повстанческого движения, напр., по Алтайскому, между тем там тоже происходили с'езды и издавались полу-периодические органы в роде, напр., „Известий Главного Штаба Алтайского Округа“, в которых статьи информационного характера сопровождались руководящими комментариями; Печатались „Известия“ на пишущей машинке.

Таким образом, главнымшим материалом для суждения о понимании партизанами советской власти являются у нас статьи в минусинской „Сохе и Мол.“, но это, к счастью, не только главный материал, а и самый ценный из того, что имеется по данному вопросу.

Всего, с сентября 1919 г. по январь 1920, вышло около 60 № „Сохи и Молота“. Это был настоящий периодический орган, хотя без особенно строго установленных сроков выхода: то он выходил три раза в неделю, то ежедневно, кроме дней послепраздничных. Запас бумаги в Минусинске оказался ограниченным, не вся бумага была сразу взята на учет, и это сказывалось на сроках выхода газеты. Внешний вид газета имела вполне городской, печаталась на белой бумаге (большинство колчаковских газет выходило на желтой бумаге, как настоящая „желтая“ пресса); печать, корректура, расположение материала, выбор шрифтов находились в умелых руках. По формату газета представляла газетный полулист небольшого размера, заполненный с обеих сторон разнообразным материалом,—там были и передовые статьи программного характера, и статьи популярные, и беллетристические произведения, и даже стихи. Большое внимание уделялось воспоминаниям о только что проведенной боевой жизни, в частности событиям на Манском фронте.

Осведомленность газеты о событиях за пределами Минусинского края, а тем более о заграничной жизни, представляется довольно слабой. Но дело

в том, что и правительство Колчака не батовало обывателей остальной Сибири изысканными сведениями о загранице. Перепечатывались больше, да и то редко, статьи Бурцева из „Общего Дела“, имевшего, в свою очередь, о Сибири, судя по его газете, сведения совершенно фантастические: кроме того, появлялись телеграммы, полу-случайно проскочившие с Дальнего Востока. Для того, чтобы судить о заграничной жизни, а отчасти и о сибирской, приходилось в то время пользоваться сравнительно свободной дальне-восточной прессой, как русской, так еще лучше иностранной. Получать все это в Минусинске, когда он был занят партизанами, не представлялось, конечно, возможным, тем более, что и до Красноярска, ближайшего губернского города к Минусинску, та-же дальне-восточная пресса, как несколько „крамольная“, доходила с трудом и не постоянно. При суждении о заграничной и общесибирской, в том числе и дальне-восточной жизни, авторы статей в „Сохе и Молоте“ использовали поэтому тот материал, который оказался в Минусинске к их приходу в оставленной там периодической печати. Едва-ли, впрочем, в этом была большая беда.—газета „Соха и Молот“ являлась чисто местным органом, обслуживавшим совершенно определенный круг интересов, и эту непосредственную свою задачу она выполняла очень удачно, порой даже талантливо. Этого вполне достаточно, чтобы признать за ней совершенно исключительное значение, как за официальным источником для суждения об общественно-политических взглядах сибирских партизан.

Повторю еще раз: сколько мне известно, это единственная повстанческая газета в Сибири, столь долгое время, в самый разгар борьбы с правительством Колчака, проводившая на местах принципы советской власти. В этом ее значение для истории и оценки крестьянского движения в Сибири и, быть может, не только в Сибири, так как психология и мировоззрение крестьянства в общем всюду одинаковы, различаясь только в оттенках и зависимости от тех или иных местных особенностей, учесть которые не так трудно.

2. Справка из прошлого.

В Красноярске весть о выходе минусинской газеты произвела большое впечатление и всех заинтересовала. Сведения о ней оказались довольно точными: говорили, что газета небольшая, выходит не регулярно, лозунгом выставила признание советской власти. Последнее было совершенно верно. С самого начала в „Сохе и Молоте“ появился заглавок крупными буквами, не сменявшийся до конца; в заглавье стояло:—„Вся власть рабочим и крестьянам в лице их советов“. Так и говорилось: не просто вся власть советам, а рабочим и крестьянам в лице их советов. Чувствовалось, что публицисты „Сохи и Молота“ делают ударение не на второй половине лозунга, а на первой.

С другой стороны, выходило как будто и так, что если советская власть не будет почему-либо вразумительна рабочим и крестьян, то крестьяне и

рабочие оставляют за собой право приступить к созданию каких-то иных форм государственного устройства, более полно отвечающих их интересам. Теоретически такое истолкование скрытого смысла лозунга, принятого „Сохой и Молотом“, вполне допустимо; по крайней мере, в нем нет ничего логически несообразного: тем не менее я склонен думать, что приведенная формулировка избиралась не в желании чем-то предупредить будущее,—на него все тогда в Сибири смотрели радужно, без страха и сомнения,—а учитывая некоторые особенности в поведении советской власти в прошлом. Даже официальные историки партизанского движения в Сибири признают теперь, что в деятельности советов за 1918 г., прерванной чехо-словацким переворотом, было много дефектов и упущений, благодаря которым—„крестьянство не понимало заданий советов, относилось к ним либо пассивно, либо отрицательно“¹⁾—как видим даже отрицательно.

„Все это—продолжает тот же автор—привело к тому, что трудовое крестьянство („середняк“) от советов отвернулось, беднота же не была организована“; вследствие всего этого—„на зов советов стать на борьбу с чехами отклика не было, и чехи без особых усилий сбросили власть советов по всей Сибири“.

Совершенно те же самые указания о прошлом встречаются в нескольких статьях „Сохи и Молота“, особенно за первые недели ее существования. То тут, то там в ней определенно говорилось о допущенных советской властью „ошибках“, которые не должны теперь повторяться и, по убеждению публицистов партизанской армии, повторены не будут. Следовательно, в этом прошлом советская власть, если не на деле, то в понимании самих народных низов, не являлась выражением власти рабочих и крестьян, иначе они не относились бы к ней пассивно и даже отрицательно, и чехи не так легко свергли бы ее по всей Сибири.

Обращено было внимание в „Сохе и Молоте“ и еще на один факт, являвший крупное местное значение, это именно на обстоятельства, при которых в 1918 г. произошло свержение советской власти в самом Минусинском уезде. Как бы то ни было в остальной Сибири, (и) в Минусинском крае советская власть тогда оказалась свергнутой не чехо-словаками и вообще не какой-либо посторонней силой, а по решению самих крестьян. Это произошло в июне 1918 г. в результате большого и длительного конфликта между советской властью в Красноярске и крестьянами, собравшимися в Минусинске на обще-уездный съезд, так называвшийся VII уездный крестьянский съезд. Обстоятельства, при которых собрался этот съезд, были в свое время подробно описаны в местной печати, и я на них останавливаться не буду, подчеркнув здесь только самый результат разыгравшегося конфликта. Он дошел до такой острой степени, что делегатами съезда была объявлена полная крестьянская мобилизация для самозащиты, и минусинские крестьяне очень энергично

¹⁾ См. Сборник „Три года борьбы за диктатуру пролетариата“ 1917—1920. Омск, изд. Гос. Изд-т. 1920—Цит. место на стр. 139.

откликнулись на призыв о помощи со стороны съезда. К Минусинску начали собираться целые отряды вооруженных, правда, вооруженных примитивным способом, крестьян. Настоящий лагерь их остановился под городом в ожидании развязки событий и исхода прений на съезде. Неизвестно, чем бы это все кончилось, как пришла весть о том, что из Красноярска власти уже эвакуировались, и город ими оставлен. Что происходило в Красноярске, на съезде в точности не знали, но что бы там ни происходило, а у крестьян Минусинского уезда создалось очень твердое и вполне понятное убеждение, что власть уступила свои позиции под их давлением, что настоящая сила в них и они сами хозяева своей жизни. Это сознание крестьянами своей силы сыграло позже крупное психологическое значение в местном крестьянском движении, и оно же положило свой отпечаток на вышеуказываемые статьи в „Сохи и Молоте“.

Не забудем, вместе с тем, и еще одного факта, для того времени весьма показательного: главно-верхом крестьянской армии являлся А. Д. Кравченко, агроном по образованию, много работавший притом в Минусинском уезде, поручик запаса во время войны 1914-1918 г., примыкавший к эсерам по общему уклону своего политического мировоззрения. В 1918 г. он был весьма далек от большевиков. Говорили, что именно он первым вошел в помещение Красноярского исполкома, когда члены последнего, оставили город и отплыли в Туроханский край. Я не знаю в точности (меня в то время в Сибири не было), какую именно роль играл тогда Кравченко в организации борьбы с советской властью, но я не думаю, чтобы он оставался тут совершенно безучастным. Вероятнее всего, что он тогда сочувствовал падению власти советов.

Вот все это прошлое и отражалось в двусторонней формулировке лозунга, принятого в аншлаге „Сохи и Молота“. Насколько партизанская армия придавала указанным обстоятельствам большое значение показывает еще один чрезвычайно яркий факт,—это резолюции, принятые на съезде партизан в Красноярске в феврале 1920 г., уже при новой советской власти. Партизаны тогда настояли на том, чтобы им разрешено было созвать свой съезд, и он был, с соответствующего разрешения из центра, ими созван. В числе резолюций, принятых тогда участниками съезда, была и такая, которая опять-таки имела в виду прошлое и допущенные тогда „ошибки“. Правда, она оказалась выраженной не столь категорически, как выражались в таком случае авторы статей „Сохи и Молота“, но и сквозь ее туманно-дипломатический язык, через все ее эзоповские выражения, совершенно ясно, особенно для посвященных, пробивалась та же мысль о недопустимости повторения старых ошибок 1918 г.

Однако, я еще раз повторяю: все это, как статьи „Сохи и Молота“, так и резолюции партизанского съезда, относилось к прошлому, а не к будущему и не к настоящему. Это были невольные воспоминания о печальных, но, так сказать, семейных недоразумениях, давно уже изжитых, о которых можно было тем спокойнее говорить, что, казалось, нет никаких данных бояться их возрождения снова. Настроение представлялось именно таким, и

я считаю этот факт для истории общественных настроений в крае чрезвычайно характерным и важным, много объясняющим в дальнейшем ходе событий, почему и останавливаюсь на нем так долго и жалею, что не могу остановиться еще дольше.

3. Крестьянские съезды в Минусинске.

Для повстанцев в Минусинске боевая жизнь, хотя фронт продолжал существовать, оставалась уже в прошлом. Наступила осень, ясная и свежая, настоящая сибирская. Колчаковские войска, стоявшие по Тубе и по Енисею, большой опасности не представляли. Обе реки, большие и многоводные, представляли надежный рубеж, переходить через который, оставляя их у себя в тылу, было не безопасно. К тому же генералы колчаковской армии, поссорившись между собой из-за какого-то „гусака“, скорее готовы были загрызть один другого, чем допустить победу которогонибудь из них над врагом.

С другой стороны, и повстанцы не имели особенного желания переходить Тубу или Енисей, что диктовалось им соображениями дипломатического расчета, так как продвижение вперед к железной дороге увеличивало шансы их столкновения с союзническими отрядами, и прежде всего с чехами, а это для повстанцев не представлялось желательным. Поэтому, они предпочитали другое: схоронившись до поры до времени за речной преградой, собраться с силами для зимней кампании и прочнее наладить отношения с местным крестьянством. Чрезвычайно любопытно проследить по „Сохе и Молоту“, как у них шла эта работа.

Во главе всего управления краем стоял Армейский Совет, полуборная организация, представлявшая идею коллективной военной диктатуры, вполне естественной в обстановке фронтовой жизни. Следует отметить, между прочим, что и сам Минусинск расположен на одной из протоков Енисея и от линии фронта находился чрезвычайно близко (в 12 верст.), так что иногда разведки правительственных войск достигали почти его предместий. Случалось, стычки происходили на Тагарском острове, под городом, что заставляло быть бдительным и в самом городе. Но, являясь высшей формой власти в крае, Армейский Совет в своей коллективной диктатуре не шел по пути военной бюрократизации власти, а осуществлял ее через привлечение местного населения к отправлению функций революционного самоуправления. Власть, таким образом, оставалась в руках крестьян и рабочих, а осуществлялась через советы, в духе принятого лозунга.

Совершенно естественно при таких условиях, что первым шагом при организации местной власти явилось созвание Армейским Советом крестьянских съездов. Сначала крестьяне, повидимому, не особенно охотно отзывались на этот призыв собраться на съезд. Мало ли какие могли быть случайности и колебания в соотношении борющихся сил, не пришлось бы после отвечать

за эти с'езды: такова несомненно была мысль минусинского крестьянина. А кроме того, и по своему общему политическому настроению, поскольку оно проявлялось на губернском и всех уездных с'ездах, минусинский крестьянин должен был принципиально, по крайней мере первое время, занять выжидательную позицию, столе вообще свойственную „среднячком“ крестьянской психологии. Минусинск—это край типичного середняцкого старожильского крестьянства, издавна сидевшего на земле, хлебопашеского и скотоводческого по преимуществу.

Не забудем также, что как раз из этих мест происходил и в этих местах работал в дер. Нулиной крестьянин Бондарев, о трудовой теории которого в 50-х гг. писал Глеб Успенский и своеобразный трактат которого о „Труде“ он передал Л. Н. Толстому, а Толстой опубликовал его, со своим предисловием, к большой гордости Бондарева, во французском переводе. Бондарев, несомненно, крупная фигура, глубокий и оригинальный ум, хотя ум темный, не обработанный современной культурой. Но такого рода Бондаревых, в меньшем только, разумеется, количестве, и теперь можно встретить по Минусинскому уезду: крестьянство в нем довольно интеллигентно по своему среднему уровню. В целом ряде больших и малых сел и деревень края, в таких как Курагинское на Тубе, как Шушинское, где когда-то отбывал ссылку Ленин¹⁾, Ермаковское, одно из более культурных мест края, Абаканское и др., до сего времени выращены в общую массу крестьянства вполне интеллигентные, но и чисто крестьянские семьи, живущие землей не только материально, но идейно, в духе Бондарева, в современной лишь, социалистической, переработке его учения о труде. И в других отношениях,—по грамотности, числу больниц, системам обработки земли,—Минусинский уезд выдвигается над средним уровнем по губернии. Все это должно было, конечно, сказываться на характере организации власти по уезду при коллективной диктатуре Армейского Совета. Достаточно было бы Армейскому Совету оставить за собой общее политическое руководство ходом краевои жизни, предоставив затем на местах управляться самому населению, сил для этого там хватило бы. Ко второму крестьянскому с'езду все это уже выяснилось, отношения до известной степени установились, затем и военная обстановка окрепла, и на этот раз крестьянство гораздо дружнее откликнулось на призыв собраться снова в городе.

На этот с'езд прибыло уже 400 с лишним делегатов: среди присутствовавших начали проскальзывать, как руководители, хорошо знакомые лица. Власть находила бау на них и шла на сближение с ними достаточно осторожно, стараясь не быть лишней посуды и не создавать ненужных конфликтов. Так как население в крае представляло в общем однородную в хозяйственно-социальном отношении массу, так как известные навики к революционному самоуправлению с нем уже составились, то делать то, что поставил себе целью Армейский Совет, не представлялось особенно трудным. Не нужно

¹⁾ Здесь в Шушине, между прочим, в начале февраля проте с 17 соц-демо. составленными Лениным против д'ека Курагова и Прокопьева.

было лишь грубо ломать хороших сторон установившегося раньше порядка, не нужно было пренебрегать созданнымися, путем большой предварительной работы, традициями у местного населения: следовало, напротив, постараться приспособить готовые уже навыки к отпавлению новых требований, не перегружая при этом деревни излишним бюрократическим надзором и опекой, и постепенно отношения бы наладились, да уже и налаживались. Обще-культурная жизнь в уезде за это время продолжала существовать и развиваться, как обычно, и быть может, лучше, чем обычно. Основные культурные завоевания, предыдущей эпохи—кооперация, самоуправление, школы и пр.—существовали, и, казалось, ничто не мешало им развиваться и дальше. Власть теряла свой прежний одноосный характер, как при Колчаке, и становилась близкой к народу, и по духу, и по составу, рабоче-крестьянской.

И я глубоко уверен, что еслибы этот уголок Сибири, столь богатый естественными дарами природы, был бы тогда на более или менее значительное время предоставлен самому себе и мог бы спокойно, никем не тревожимый извне, развиваться, то в нем мало по малу действительно установился бы своеобразный режим, глубоко-демократический и вместе с тем свободный. Здоровые государственные начала силой вещей взяли бы верх над началами анархо-бунтарскими, „новоселовскими“, которые в минусинском крае тоже, разумеется, были, свои и транспортированные из других районов.—природный, уж крестьянина „середняка“, создавший когда-то трудовую философию Бондарева, вступил бы в свои права, и этот слой крестьянства, пользуясь советами, как аппаратом для защиты своих интересов, установил бы в конце концов такой строй, при котором народно-хозяйственная и политическая жизнь края вошла бы в привычное русло и создала бы оригинальную крестьянскую республику, самоуправляющуюся и свободную.

4. Вопрос об интеллигенции у повстанцев.

Параллельно крестьянскому, в Минусинске собирався Армейским советом съезд учителей и учительниц сельских и городских школ, тоже в довольно многочисленном составе. По отчетам „Сохи и Молота“ на нем присутствовало около 60 делегатов. Если крестьянский съезд был съездом трудящихся, то это был съезд интеллигенции.

Заслуживает внимания уже тот факт, что такой съезд имел место и работал, сколько можно судить, по печатному отчету, довольно интенсивно. Вопрос об интеллигенции и об отношении к ней повстанцев был вообще за все это время большим вопросом общественной жизни в Сибири. Можно его поставить и шире, разведя до вопроса об интеллигенции за все время революции с 1917 по 1922-ой гг. За все это время в Сибири интеллигенции погибло очень много, головной мозг страны ампутировался. Она гибла всюду, от Петровпавловска до Якутска, от Кузнецка до Сургута, и порой при очень трагических обстоятельствах. Слишком часто там интеллигенция играла роль без вины

виноватых и своей жизнью платили за чужие грехи и ошибки. Для Сибири, вообще не обладающей большим запасом интеллигентных сил, это явилось и является огромным несчастьем, все последствия от которого еще будут долго давать знать о себе. Но, поскольку речь идет собственно о периоде колчаковского правления, то представляет еще большой вопрос, от кого собственно исходил более значительный урон для интеллигенции, от колчаковщины или от повстанцев.

Нет никакого сомнения, что на повстанческих низах царило часто крайне недоверчивое отношение к интеллигенции, и там „интеллигенция“ огулом причислялась к „буржуйам“. Было бы странно, если бы этого не было при нашей общей некультурности. В частности в минусинской газете шла порой жестокая травля интеллигенции, правда, не вообще, а собственно кооператоров. Бывали случаи индивидуальных расправ с кооператорами. И тем не менее кооперация в Минусинском крае существовала, аппарат ее не разбивался и она могла достаточно свободно функционировать. Повстанцы все-таки чувствовали, что переустройство народно-хозяйственной жизни вещь не столь простая, как организация военной борьбы с деморализованной колчаковщиной, притом же и последняя, то-есть эта военная борьба, была вовсе не так уж легка. И это сознание сказывалось в поведении повстанцев там, где им, от чисто разрушительной работы, приходилось переходить так или иначе к работе созидательной.

Это же сказалось и на отношении их к такой квалифицированной сельской интеллигенции, как учителя. Ссориться с ними они, судя по отчетам „Сохи и Молота“, во всяком случае не желали, командовать же учительским персоналом на том основании, что теперь у них, повстанцев, сила, тоже как будто не имели склонности. На съезде учителей в Минусинске все это обнаружилось с достаточной ясностью. Характерно, между прочим, что там шли прения не только о профессиональных вопросах, но и чисто политических, дебаты о которых, по видимому, завляли особенное внимание съезда. На голосование ставились разные резолюции, одна с признанием Учредит. Собрания, другая за советскую власть, но ни та, ни другая не получили скольконибудь значительного числа голосов. За первую было получено из общего числа 57-58 голосов всего 7 или 8, за вторую несколько больше, но не свыше 10-12. Так что обе эти резолюции в конце концов оказались снятыми с голосования. Огромным большинством была принята нейтральная резолюция, в которой говорилось, что непосредственной задачей народного образования является умственное и культурное развитие народа и подготовка его к умелому выполнению своих гражданских обязанностей и к защите им своих интересов. Это был своего рода аполитизм (на точке зрения аполитизма стояла при Колчаке и кооперация, но аполитизм для народного правления, каким старалась сделаться повстанческая военная коллективная диктатура, сравнительно благожелательный. При таких условиях между сельской интеллигенцией и новой властью мог установиться довольно прочный контакт, и работа по народному образованию могла бы идти без перебоев. Для начала этого было собственно вполне достаточно, остальное сделало бы

время, особенно, если бы новый порядок укрепился на более или менее продолжительный период. Совершенно в таком же положении находилась и остальная интеллигенция,—врачи, агрономы, техники и пр. В самом механизме общественного развития есть свои законы, так называемая, сила вещей, которая стихийно заставляла чувствовать свое влияние и подчиняла своим требованиям даже нежелающих ей покоряться. Колчаковским правлением к этому времени все уже пресытились, и перед новыми формами власти открывалось широкое поле деятельности и богатая жатва. Надо было только уметь пользоваться своим положением...

5. Политическая программа повстанцев.

Каждый факт в общественной жизни имеет только тогда крупное политическое значение, когда он является выражением известного принципа. В Минусинске, при господстве партизанской власти, существовали известные гражданские свободы, как в этом можно было убедиться из предыдущего изложения. Съезды учителей и съезды крестьянские служат тому достаточным доказательством. Что там существовала некоторая, даже, принимая во внимание обстановку военной жизни, довольно большая доля свободы в обсуждении событий текущего момента, это не представляет сомнений. Таков факт. Но, может быть, этот факт не является выражением какого нибудь принципа? Может быть, это только случайное проявление слабости власти, неуверенности ее в своем положении и неумения провести с достаточной последовательностью начала военной диктатуры? Если бы это было так, то самая наличность известных политических свобод при господстве партизанской власти не представляла бы сколько нибудь серьезного политического значения. Но это совсем не так. Политические свободы, пусть даже в ограниченном масштабе, существовали там не потому, что они существовали, не из-за слабости власти, а потому что они являлись выражением известного, принятого руководящими слоями, принципа.

Чтобы убедиться в этом, достаточно опять-таки просмотреть ряд статей „Сохи и Молота“, порой чрезвычайно красноречивых, из числа тех, которые носили программно-политический характер. Все они весьма симптоматичны, так как представляли собой довольно стройное развитие совершенно определенной политической системы. В основе этой системы лежало то понятие о „крестьянском праве“, слухи о котором, как я упоминал выше, доходили еще зимой 1918 г. до Красноярска. Крестьянство является базисом всей общественной жизни, такова отправная мысль этой теории. Ему же должно быть предоставлено первое место и первый голос в выработке форм общественного устройства и в выборе методов управления. Этим у повстанцев в статьях „Сохи и Молота“ отнюдь не исключалось участие в такой политической работе других общественных групп, рабочего класса и трудовой интеллигенции, этим только намечалась пропорциональность в распределении между ними общественных прав и обязанностей. Строй вообще должен быть чисто трудовым, демокра-

тическим, — для теоретиков „Сохи и Молота“ такое условие являлось основным и неподлежащим оспариванию. Всеобщее избирательное право, столь популярное в начале революции, ими решительно отменялось, как не выражающее принципов трудового строительства. Избирательное право должно быть ограниченным. Формой власти являются — советы, но советы-учреждения по самому своему существу классовые, а не всеобщие, не бесклассовые. Право участия в них, персональное или групповое, непосредственное или через посылку туда делегатов, определяется ограниченным избирательным правом, и мерилом, ограничивающим слои, имеющие право избирать, от лишения такого права будет — труд. Те, кто живет трудом своих рук, те получают такое право, те, кто живет не своим трудом, а эксплуатацией чужой рабочей силы, этого права лишаются.

Выставив этот принцип, публицисты „Сохи и Молота“ намечают три основные общественные группы, как обладающие правом участия в советском строительстве, — рабочий класс, трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция. Все они в целом и в совокупности представляют собой ту чисто демократическую базу, на которой будет воздвигнуто советское строительство. Но, если избирательное право является, в вышеуказанном смысле, ограниченным, то внутри этих групп никаких новых ограничений не вводится. Напротив, в „Сохе и Молоте“ проповедывался своего рода принцип всеобщего избирательного права для трудовых элементов общества. Избиратели — это все, кто трудится, — такой принцип, никаких отступлений от него не допускается, по крайней мере не допускалось в статьях „Сохи и Молота“. Тот же принцип проводился повстанцами и непосредственно в жизни, доказательством чего являются выборы на крестьянский и учительский съезды. На первый выборщиками являлись трудовые элементы деревни, на второй — трудовые элементы интеллигенции, без ограничения прав внутри каждой из этих групп. Наличие таких принципов у повстанцев совершенно понятно: они были слишком тесно связаны с широкими крестьянскими массами, они были слишком полны верой в правоту своего дела, столь отвечающего, по их понятиям, интересам народных масс, чтобы они могли, в построении своих политических программ, думать иначе, чем выше охарактеризовано. Никакая другая концепция для них не была бы психологически приемлема.

Принимая такую теорию, они на страницах „Сохи и Молота“ делали все выводы из нее. Очевидно, если демократические слои внутри себя вполне равноправны, то не могла бы быть допущена и какая-нибудь насильственная власть одного из них над остальными, то-есть диктатура того или иного слоя. Если бы такая диктатура оказалась допущенной, это явилось бы выражением неравенства в правах, а неравенства в правах теория политического строительства „Сохи и Молота“ не признавала. Совершенно и следовательно поэтому она не признавала и такой диктатуры. Ее точка зрения в этом случае должна быть признаваема точкой зрения старого, романтического народничества времен его зарождения и первых шагов на общественном поприще, приблизительно в 70-х гг. прошлого столетия. Эпохи „бакунизма“. И очень характерно, что публицисты

„Сохи и Молота“ неоднократно в своих популярных статьях вспоминали об этом времени и ни о ком так охотно не писали, как о тогдашнем авторитетном вожде этой ветви общественного развития, о Бакуanine. Как самому Бакунину, так и роли его в истории Интернационала, там было посвящено несколько больших статей, достаточно хорошо аргументированных.

Отрицая диктатуру в вышеуказанном смысле и развивая в остальном старо-народническую-революционную точку зрения с столь типичным для нее в 70-е г.г. недоверием к всеобщему избирательному праву и ко всякого рода парламентарным говорилкам, как выражались прежние бакунисты, — публицисты „Сохи и Молота“ принимали и остальную часть тогдашнего символа веры, — именно, признание политических свобод, но только не вообще, а для трудовых элементов общества.

Такова была в целом их теория, и соответственно этой теории они строили в течение своего трехмесячного господства в Минусинском крае свою практику. Вот почему практика их в данном случае, являясь выражением известного принципа, — выдерживавшего или не выдерживавшего критику, это безразлично, представляла несомненно крупное политическое значение. Эта теория знаменует высший пункт, до которого тогда доработалась на сибирских таежных прогалинах политическая мысль партизан, предоставленная самой себе и не стесняемая никаким давлением со стороны.

6. Что объединяло повстанцев.

Было бы чрезвычайно интересно проверить на фактах, насколько вся эта политическая теория (совершенно утопическая с современной точки зрения) соответствовала настроению и взглядам остальных повстанческих армий и взглядам населения тех районов, которые эти армии занимали. За недостатком соответствующего материала ответить на этот вопрос можно только предположительно.

Она, конечно, была безусловно неприемлива для тех отрядов и для тех групп населения, которые стояли на анархо-бунтарской, чтоб прямо не сказать погромной, точке зрения в духе Рогова и Новоселова, как и вообще для всех, неподдающихся никакой государственной дисциплине. элементов населения. Как бы ни расценивать, особенно с современной точки зрения, вышеохарактеризованную систему понятий, но ею во всяком случае устанавливались какие-то общеобязательные нормы поведения для населения, для проведения которых в жизненную практику потребовалась бы разумеется определенная принудительная сила. Без принудительного аппарата вообще не может существовать никакая государственная власть, эта аксиома социальной науки, теперь особенно для всех ясная. На этой почве та теория, которую развивала „Соха и Молот“, при первой же попытке провести ее в жизнь несомненно столкнулась бы с анархо-бунтарскими настроениями и должна была бы вступить с ними в борьбу. Нечто подобное, как мы скоро увидим, имело

место и в самом Минусинском районе, что тоже характерно. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что та же теория „Сохи и Молота“ почти полностью могла бы оказаться вполне приемлемой, напр., для партизан, собиравших Черно-Ануйский с'езд, несмотря на то, что они стояли как бы на иной точке зрения, именно на точке зрения отрицания советской власти. Но едва-ли черно-ануйские партизаны стали бы в этом случае особенно препираться с минусинскими повстанцами: крестьянская мысль для этого слишком реальна и деловита, и подобные споры для тех и для других повстанцев показались бы безусловно слишком академическими. Общую почву для политического соглашения между ними найти было бы во всяком случае не так трудно, что опять-таки понятно само собой.

Несколько сложнее обстоит дело с определением, насколько точка зрения, развитая в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлема для других партизанских армий, официально стоявших на советской платформе, напр., для той же армии Мамонтова. Как я упоминал выше, там тоже издавались свои газеты и листки, в виде хотя бы „Известий Главн. Шт. Алт. Окр.“, но это не были политические органы, а главным образом информационные. Повстанческие армии являлись по преимуществу крестьянскими армиями, интеллигенция в них почти отсутствовала и вести политической работы было некому. В частности, в армии Мамонтова работа такая почти совсем не велась, да и там не представлялось нужным ее вести, так как „армия и без того жила ненавистью к колчаковщине и определенно шла под лозунгами советской власти“, как передавал один из участников этого движения. Это было, конечно, ошибкой. Дело состояло не в том, какие лозунги принимались разными группами повстанцев, а в том, как они эти лозунги понимали. К сожалению, судить о том, как эти лозунги понимали партизаны только что указанного Барнаульско-Славгородского района, мы не можем. И не потому, что материала для разрешения такого вопроса у нас нет под руками, а и потому, что его, повидимому, вообще нет, так как политической работы там не велось. Можно лишь судить о том, на какой почве партизаны тех мест объединялись, — этой почвой была ненависть к колчаковщине. Но ненависть к колчаковщине представляла только отрицательный лозунг движения, а не положительный, ссылая же на принятие повстанцами лозунгов советской власти сама по себе не способна разрешить в этом случае всех сомнений. Так что, в итоге, при характеристике политических настроений и взглядов партизан, мы можем считать пока установленным, но правда, установленным безусловно, один факт: всех повстанцев, к какой бы политической категории они не принадлежали, объединяла во-едино прежде всего ненависть к колчаковщине. Это полное и глубокое единство в отрицании колчаковского строя и придавало такую мощь партизанскому движению.

Что касается определения положительных лозунгов движения, здесь тоже едва-ли возможно было ожидать особенных разногласий. Повидимому, без большого риска ошибиться, можно сказать, принимая во внимание группировки интересов в сибирском населении, отчасти нами уже указанные, что в общем

политическая система, намеченная в „Сохе и Молоте“, оказалась бы приемлемой для основной массы всех повстанческих армий и для мирного населения занятых ими территорий. Конечно, эта система представляется несколько элементарной и даже наивной, но чем элементарнее система, тем она понятнее для народной массы. „Простота враг анализа“, как говорил когда-то Достоевский. Теория „Сохи и Молота“ тем и была хороша, что она была простой и ясной, делавшей ненужным излишний анализ. К чему анализировать, когда и так все понятно и убедительно! Поэтому, политическую теорию, развитую в „Сохе и Молоте“ от лица минусинских или, точнее, канских партизан, без большой натяжки можно считать выражением взглядов всего вообще сибирского партизанского движения. Так, как в „Сохе и Молоте“, очень многие сибирские партизаны понимали советскую власть, да и власть вообще, т. е. власть, правильно организованную. К такой же общественной позиции склонялись и к ней же в сущности подходили, но с другой стороны, самостоятельно, и в тех партизанских отрядах, которые стояли не на советской, а обще-демократической платформе или близкой к ней. Для серьезных конфликтов и разногласий тут во всяком случае не имелось места, заниматься же академическими спорами, а тем более спором о словах, никто бы не стал.

Почва для конфликтов, если и была, то не в этой плоскости, а в иной: не разные типы партизанского движения могли бы оказаться в конфликте, а на одной и той же территории и в среде одной и той же партизанской армии могли бы возникнуть недоразумения между верхами и низами, особенно низами из мирного населения. Форма власти, установившаяся в том же Минусинском районе, сводилась все-таки к военной диктатуре, пусть коллективной, но диктатуре. Представляло чрезвычайно большие удобства и для армии и для населения, что эта диктатура стремилась осуществляться через народ, через низшие ячейки, свободно избираемые населением. Это создавало контакт между низами и верхами и делало их единым слитным организмом, что представляло огромные преимущества для партизанской армии в ее борьбе с противником. Это не являлось и случайностью, это было логическим следствием из раз принятых принципов. Но логически же мыслимым представляется такой случай, когда требования этой военной власти оказались бы в некотором противоречии с мнением и настроением низов, когда, одним словом, низы с верхами разошлись бы. Нечто подобное однажды и случилось в Минусинске, что и было отмечено в „Сохе и Молоте“, это именно тогда, когда сезд учителей отказался принять чисто советскую резолюцию и почти единогласно высказался за резолюцию нейтрального характера. В „Сохе и Молоте“ тогда появилась очень резкая статья об учительском сезде. По существу тут произошло незначительное столкновение, не имевшее особенных последствий, но при других условиях мог бы быть длительный конфликт, между, употребляя старые термины, „силой власти“ и „силой мнения“. Как бы поступила в таких случаях власть, располагающая всем аппаратом коллективной военной диктатуры, и в какие бы отношения к ней поставила себя сила крестьянского мнения, такого аппарата не имеющая? Возможность такого столкновения логически

вполне допустима, и если бы во время борьбы с Колчаком она заняла такую позицию, это до чрезвычайности ослабило бы позицию повстанцев и нарушило бы организационную связь между составными частями принятого у них, в аншлаге „Сохи и Молота“, лозунга. Но эта логическая возможность при борьбе повстанцев с Колчаком нигде не переходила в практику, оставаясь только возможностью логической. Мне, по крайней мере, такие случаи неизвестны. Так что, та политическая платформа, которую развивала „Соха и Молот“, вполне могла считаться общей почвой для объединения в одно целое всех оттенков партизанского движения, за исключением „Новоселовского“, до того времени объединявшихся одними отрицательными лозунгами.

7. Отрицательные стороны партизанского движения.

Говоря о жизни в Минусинске за период пребывания в нем партизан, надо принимать, конечно, во внимание общий культурный уровень повстанческой армии, в состав которой входили самые разнообразные и неравноценные элементы. Этот уровень не мог быть, и не был, особенно высоким. Правы у нас всегда отличались жестокостью, особенно в деревне; в культуре крестьянство приобщалось только спорадически и только верхними слоями; с другой же стороны повстанцы шли прежде всего та „бродячая Русь“, о которой я упоминал выше; наконец, и вся обстановка гражданской войны мало способствовала смирению нравов, так что в результате средний культурный уровень повстанческой армии еще более понижался.

Чрезвычайно любопытны в этом отношении в „Сохе и Молоте“ рецензии на театральные представления, так как они вскрывают перед нами некоторые характерные черты тогдашнего, повстанческого, быта в Минусинске. Быт повстанцев, это тема вообще незатронутая сибирской публицистикой, настолько незатронутая, что для характеристики его ценны даже театральные рецензии „Сохи и Молота“. Этот отдел в „Сохе и Молоте“ представляет сплошной публицистический вопль, иначе его никак нельзя определить. Все рецензии только частично говорят о самих пьесах и об их исполнении, — ставились обычно чисто провинциальные мелодрамы и исполнялись любителями по мере сил и талантов, — главное же внимание обращается в них на то, как во время представления вела себя публика, на три четверти состоявшая из солдат повстанческой армии. Судя по рецензиям в минусинской газете, публика вела себя крайне непристойно; конечно, совсем не так, как где нибудь в „Гранд-Опера“ в Париже и даже не так, как в любом глухом итальянском театре, где полагается, таков уж быт, вести себя во время представления, как дома, или лучше сказать, как в своей привычной остерии. Там во время действия и пьют, и курят, и разговаривают, а если придется, то хором с мест аккомпанируют певцам на сцене. В театральном зале благодаря этому страшно накурено, пол грязный, воздух тяжелый. Приблизительно то же самое наблюдалось и здесь, в Минусинске, но только в еще большей степени, чем там,

и без того налета своеобразного проявления все-таки культуры в этом быте. казалось бы, столь некультурном, который так или иначе, но там, в Италии, чувствуется.

Здесь тоже и пили, и курили, и плевали на пол, но все это в какой-то обнаженной от всяких культурных налетов форме. По внешности как будто и то же самое, но по существу иное, нечто гораздо более неприглядное. Солдаты народной армии приходили на представление пьяные, дебоширили, не слушали, что идет на сцене, или хуже того, там, где надо плакать (как находил рецензент) смеялись, где надо смеяться возмущались, — кроме того задевали женщин, пачкали им платья, вообще держали себя не по-итальянски. Картина в результате получалась такая, что в каждом № театральные рецензенты тратили много сил на обличения и убеждали солдат народной армии не позорить свое звание таким непристойным поведением. Все это может показаться, конечно, мелочью, но во всяком случае эта мелочь характерная, пренебрегать которой, как материалом для характеристики тогдашнего быта, тоже нельзя. А затем, рядом с этим, можно привести факты и не столь уже мелочные, факты тоже обличительного свойства, но иного порядка.

Театральные обличения печатались в „Сохе и Молоте“ обыкновенно в конце номера, в начале же его нередко можно было найти официальные заявления от Армейского Совета, решительным образом и категорически запрещающие всякого рода самовольные реквизиции, захваты частного имущества и другие нарушения революционного порядка. Имущества, стало быть, захватывались, самовольные реквизиции производились, — это несомненно. Несомненно также, что во всем этом проявилась та же некультурность, как и в поведении повстанческих солдат на театральных представлениях, но только эти проявления некультурности были не столь уж невинного характера. Укоренившись в повстанческой армии, они могли повести к вырождению ее в отряды, занимавшиеся грабежом населения и мародерством, что грозило бы ее гибелью. Армейский Совет с этим вырождением усиленно боролся и не одними только публичными запрещениями реквизиций, а и более решительными мерами. Но, во всяком случае, тут находилась ахиллесова пята партизанской армии, ее болезненное место, для уничтожения которого было необходимо заранее принимать серьезные меры.

Быть может, партизанам собственными силами, без помощи со стороны, от правильно организованной регулярной армии, не удалось бы даже справиться с этими проявлениями гангрены на своем организме, требовавшими временами хирургических методов лечения. Эта опасность представлялась тем более серьезной, что и в самой политической системе, охарактеризованной выше, имелись такие же слабые, гангренозные места, существование которых могло быть чревато гибельными последствиями. В своем политическом развитии партизанские армии остановились вообще на 1918 г., когда советская власть легко перерождалась в так называемую — „власть на местах“, не желавшую подчиняться дисциплинирующему влиянию центра. Для характеристики этого настроения чрезвычайно типичен один эпизод, разыгравшийся на VII крестьян-

ском уездном с'езде в Минусинске, на том самом с'езде, с которым связано падение советской власти в Минусинском уезде. Перед самым финалом, когда обстановка уже выяснилась и стало известно, что советской власти в Красноярске не существует, один из делегатов, имевших непосредственную связь с Красноярском, объявил на с'езде об образовании сибирского временного правительства и о том, что оно теперь является восприимчиком государственной власти от советов. Когда это было оглашено, присутствовавший на с'езде кооператор Б., типичный правый демагог, дал такую реплику: — „Вот, не успели свергнуть одно правительство, как явилось уже другое“. Реплика имела несомненный успех, так как повидимому чем-то отвечала общему настроению.

Не трудно даже понять чем, именно—„хорошо было бы хоть на время остаться без правительства, а жить самим по себе“—такова несомненно была мысль многих из крестьян, присутствовавших на с'езде. Это для крестьянства типичный пример: идея государственной власти (безразлично в данном случае в чем она состоит), а тем более власти централизованной и дисциплинирующей с трудом переваривалась крестьянством. От этой власти крестьянство никогда не видело ничего для себя полезного, т. е. полезного непосредственно. „Москва навалилась, нас совсем задавила“, — такой пословицей великорусское крестьянство давно уже определяло свои отношения к центру.

Между тем без центральной государственной власти, притом власти дисциплинирующей, существовать мы не могли, партизаны же по самому существу своей социальной психологии с трудом ей поддавались. Вопрос о создании центральной государственной власти, которая, будучи действительной властью, вместе с тем сумела бы учесть все местные особенности и наладить свои отношения с группами, отличающимися центробежными стремлениями, таковой вопрос являлся тогда кардинальнейшим в сибирской жизни. Правительство Колчака не сумело разрешить его и погибло.

8. Красноярские рабочие и партизаны.

Чтобы закончить этот схематический отчет о партизанском движении в Сибири при Колчаке, я должен коснуться еще одного пункта, именно отношения к партизанскому движению городских рабочих, в частности железнодорожного пролетариата. Наиболее ярким фактом, характеризующим эти отношения, мне представляется следующий. В тот момент, когда в Красноярске пала уже власть Колчака и наступило междоусобие, когда аппарат по управлению губернией перешел в руки Комит. Общ. Орг. (в просторечии „земская власть“), в красноярских жел.-дор. мастерских представителями названного Комитета был собран митинг для информации рабочих о текущих событиях. На митинг собралось небывалое количество рабочих, заполнивших весь сборочный цех,—здание колоссального размера. На этом митинге, между прочим, при голосовании резолюций поступило предложение со стороны одной группы рабочих: „передать власть Щетинкину“.

Было совершенно ясно, что партизанское движение среди рабочих пользуется непрекращаемым авторитетом и сочувствием, но для меня лично представлялось столь же очевидным, что рабочие не отдадут себе должного отчета, в чем собственно оно состоит и какова его политическая физиономия. Я выступил тогда против этой резолюции, приведя против нее целый ряд аргументов. Резолюция в конце концов была снята.

Итак, вот отношение красноярских железно-дорожных мастерских, самых левых и наиболее „большевистски“ настроенных во всей Сибири (Красноярск это „Сибирский Кронштадт“, как его называли там еще в 1917—1918 г.г.), к партизанскому движению. Этим собственно все сказано. Для партизан представлялось разумеется чрезвычайно важным наиболее полно использовать это настроение в свою пользу. Деревня тогда боролась с городом, но одолеть город без помощи некоторых городских-же групп населения она не могла: это чувствовала она сама. Рука помощи со стороны городской демократии для нее была крайне необходима, просто спасительна. Так как фронт порой очень близко подходил к городу; так как между городом и крестьянством по ту сторону фронта общение не прерывалось; с другой стороны, так как деревня испытывала недостаток в целом ряде предметов чисто городского происхождения (медикаменты, перевязочные средства, деньги, оружие, военные припасы), то партизанам постоянно приходилось прибегать к помощи города, нарядая туда специальных уполномоченных. Это были опасные экспедиции и кончались они не всегда благополучно. В декабре 1919 г. я имел сношения с одной из делегатов повстанцев, приезжавших с манского фронта (она была арестована в Красноярске весной 1919 г.; я встречался с нею зимой, после ее выхода из тюрьмы, где она только случайно, заболев тифом, не была расстреляна) и от нее слышал кое-что о том, как ее встречал город, в частности жел.-дорожные рабочие во время ее приезда. Многим она осталась недовольна; той активной помощи, на которую она рассчитывала, и в той степени, на которую она имела право, она не получила. И это тоже было характерно. Город в общем оставался пассивным, при всем сочувствии деревне. Деревня боролась с властью, шедшей из городов, почти один на один, и это вносило в ее самочувствие горечь и недоумение. Я оставляю пока этот факт без комментарий, предполагая вернуться к нему еще впоследствии.

9. Итоги и выводы.

Как расценивала все приведенные мной факты та земско-социалистическая оппозиция, о которой я говорил выше? Здесь мне хотелось бы полнее обрисовать именно то, как она тогда их расценивала, дабы ввести читателя глубже в круг тогдашних сибирских взглядов, оценок и настроений. Ошибки исторической перспективы всегда возможны: так легко усвоить прошлому, хотя и очень от нас близкому, взгляды, которых в то время не существовало или которые, если и существовали, то принимали оттенки, почему либо стершиеся из памяти.

Я бы мог очень легко избежать всякой возможности подобных ошибок исторической перспективы чрезвычайно простым путем. Осенью 1919 г. работа земско-социалистической оппозиции, направленная против Колчака, шла уже во всем разгаре. Как я говорил, в конце сентября и начале октября 1919 г. в Иркутске собрался нелегальный земский съезд, создавший для объединения политической работы земств Земск. Полит. Бюро. Одновременно аналогичная организация создавалась на Дальнем Востоке, с которой я состоял в непосредственных сношениях, сначала от себя лично (до образования Бюро), а потом по поручению вновь созданной организации. Еще в сентябре мне пришлось посылать из Красноярска во Владивосток подробную информацию о положении дела в средней и южной Сибири, и там было уделено много внимания крестьянскому движению по Енисейской губ. Вскоре после этого мной была помещена под псевдонимом „Русский Социалист“ большая статья в „Чехо-Словацком Дневнике“ (я писал ее по-русски, там она переводилась на чешский язык) в №№ 264, 267 и 268 за 1919 г., озаглавленная — „Крестьянское движение по Енисейской губ. и его вожди“, статья, дававшая оценку того повстанческого движения, которое прочно укоренилось к тому времени в деревнях приенисейского края. Наконец, еще позже, в ноябре мной была составлена, по одному частному случаю, докладная записка: „Земское Полит. Бюро и его задачи“ намечавшая общий план деятельности Бюро и его отношения к крестьянству. Кроме того, большое внимание крестьянскому движению я уделял в журнале „Нов. Земск. Дело“, который одно время (март—май 1919 г.) я редактировал в Красноярске. Если бы все эти документы имелись у меня сейчас под руками, я бы просто перепечатал их полностью или в выдержках, и тогда стало бы сразу ясно, как земская оппозиция оценивала весной и осенью 1919 года крестьянское движение. Но у меня нет ни этих материалов, ни многих других; я жил всегда в таких условиях, когда было не до того, чтобы хранить при себе личные архивы. Поэтому в нижеследующих строках я постараюсь восстановить свою тогдашнюю точку зрения так, как она осталась теперь в моей памяти. При случае мое изложение можно будет проверить¹⁾ всеми вышеуказанными документами.

Наблюдая крестьянское движение как в Енисейской губернии, так и в других областях Сибири (за исключением Дальнего Востока, с партизанами которого я не имел никаких личных связей), — я обращал внимание прежде всего на однородность его, на повторяемость при сходных бытовых и экономических условиях некоторых основных видов. Это облегчало ориентировку в крестьянском движении той или другой области безграничной по своим пространствам Сибири. Это же давало руководящие правила для разного рода практических соображений при решении вопроса, как успокоить взбаламученное

¹⁾ Отчасти это можно сделать и теперь. В книжке полк. Солодовникова „Сибирские авантюристы и ген. Гайда“ напечатан в выдержках мой доклад полк. Пртала, нач. 3-ей чех.-сл. дивизии, поданный мною ему 12 мая 1919 г. Доклад посвящен крестьянскому движению по Енисейской губ. Копию ее Солодовников (лично мне неизвестным) получил, повидимому, во Владивостоке, куда мной в свое время был отослан ряд документов.

море крестьянской стихии. Рядом с этим фактом, и в непосредственной причинной связи с ним, стоял другой ряд наблюдений, подтверждавшихся многими знатоками сибирской жизни. Крестьянство всюду волновалось, это представлялось неоспоримым, но вместе с тем также повсюду, в том числе и в повстанческих районах, жизнь все-таки шла в старых, привычных рамках, в частности не падал темп трудовой жизни, и — что мне казалось особенно важным — не сокращались запашки земель и посевы. Больше того, местами они даже увеличивались ¹⁾.

Это обстоятельство заставляло обратить на него серьезное внимание; очевидно своеобразная — „власть земли“ в Сибири ничуть не ослабевала, несмотря на самые неблагоприятные условия для мирной трудовой жизни; очевидно крестьянин стихийно втягивался в привычную для него, веками созданную, обстановку трудовой жизни. Некоторые весьма интеллигентные люди, с мнением которых я считался, так как они внимательно наблюдали местную жизнь, полагали даже, что к весне 1919 г. крестьянское движение само сойдет на-нет, смоемся этим стихийным тяготением трудового населения к земле и ее обработке. Взойдет весеннее солнце, прогреет землю, прогонит зимнее безделье, так хорошо питающее всякое ушкунничество, и жизнь войдет в норму. Так думали многие из местных людей. Мне не казались подобные соображения убедительными, но самый факт тяготения крестьянства к обычной трудовой жизни я считал чрезвычайно показательным.

Летом 1919 г. на этой почве в среде трудового сибирского крестьянства разыгрывались иногда характерные явления. Самым ярким из них я считаю историю отношений между двумя волостями Канского уезда — Тасеевской и Рождественской. Эти две волости, Монтевки и Капулетти Канского уезда, сны разной политической ориентации: Тасеево — советской, Рождественское, — трудно определить какой, скажем „земской“, хотя это будет не точно. Столкновения между ними случались постоянно и доходили иногда до кровавых стычек, особенно обострившихся при приходах карательных отрядов. К моменту полевых работ столкновения между ними так обострились, что для сенокоса и уборки хлеба приходилось выходить на работу с оружием в руках, ибо иначе нельзя было ни сено косить, ни хлеб убирать. Крестьяне скоро сами поняли, что нужно либо сражаться, воевать друг с другом, либо работать, делать же сразу и то, и другое нельзя. Путая войну с работой, они рисковали остаться на зиму без запасов, этот факт представлялся до такой степени ясным, до такой степени бесспорным, что обе волости заключили перемирие на период полевых работ и свято его соблюдали. Поля были благополучно убраны, хлеб свезен на место.

Для меня этот факт являлся своего рода символом и в этом отношении привлекал особенное мое внимание. Не ясно-ли было, что „власть земли“ имела в деревне действительно решающее значение и не в этой ли области приходило искать решение всех проблем, поставленных перед нами текущим моментом.

¹⁾ Сокращение площади посева стало наблюдаться гораздо позже.

В Стенно-Баджейском районе в конце апреля оперировавший там повстанческий отряд выдержал до 70 боев, всю весну с марта месяца положение было крайне напряженным и тяжелым, шла неустанная военная работа. Тем не менее, все поля оказались засеянными; буквально все. Этот факт впоследствии был подтвержден статистическим путем земским обследованием. Следовательно и здесь трудовая психология давала о себе знать полностью. Если бы жизнь в сибирской деревне вошла в нормальное русло, то, очевидно, все конфликты и все партийные группировки, наметившиеся в ней, постепенно бы сами собой потонули в общем стремлении крестьян — „к красоте ржаного поля“, как выражался некогда Глеб Успенский. При Колчаке этого не произошло. Как только обнаружилось, что правительственная власть принимает определенный реакционный курс, как только ее авторитет стали поддерживать в деревне новые милицейские и разные атаманы, там спутались все партии, исчезли все оттенки, самая „красота ржаного поля“ отошла как-то в тень, и крестьянство сплоченной массой выступило против правительственной реакции. Начались массовые крестьянские восстания, крайне сложные по составу участников, крайне запутанные по идеологии. Эта сложность состава участников и эта запутанность идеологии крестьянского движения имели, однако, ясно видимую причину: крестьянство объединялось не на почве положительных, а на почве отрицательных лозунгов движения, на почве ненависти к колчаковщине. Когда в Минусинском уезде Щетинкина спрашивали (разговор происходил у него с одним местным кооператором), какие у него лозунги, Щетинкин отвечал: — „Я иду против милиции, против казаков, против Колчака“. Он схватывал отрицательные стимулы восстания, стимулы реальные и жизненные, и мало интересовался его отвлеченной идеологией.

Получался в результате клубок запутанных интересов, который надо было как-то распутывать. Я полагал в то время, что из всего намеченного тут клубка противоречий выход найти все же не так трудно. Прежде всего разумеется нужно было удовлетворить законные, обще-гражданские и специально крестьянские политические и экономические нужды. Этим устранятся условия, объединяющие крестьянство на почве одних и тех же отрицательных лозунгов. Практически это сводилось к низвержению власти адмир. Колчака, низвержению вооруженным путем, если не будет иного способа с ним покончить. К этой работе мне и пришлось приступить вплотную с весны и особенно с лета 1919 г., весной, заведя сношения с представителями чехо-словацкой солдатской массы, а с лета, после свидания, с ген. Гайдой, отколовшимся тогда от Колчака.

Что касается дальнейшей работы по отношению к крестьянству, то и она была для меня ясна, так как определялась моим общим взглядом на роль трудового начала в крестьянской жизни, на роль в ней „красоты ржаного поля“. Не смотря на эту красоту, дело стояло, впрочем, прозаически. Я полагал тогда, что деревню успокоит и ее политическое доверие завоеует тот, кто даст ей товары. Товар — вот средство для политического завоевания деревни и создания в ней настоящей трудовой обстановки.

Но чтобы получить этот товар, нужно было иметь беспрепятственный выход к морю, к Владивостоку, а чтобы иметь беспрепятственный выход к морю, нужно было от чисто местных дел перейти к распутыванию некоторого клубка международных отношений. На пути к Владивостоку стояла — Япония. Я слишком хорошо знал роль Японии на Дальнем Востоке и внутри Сибири, чтобы преуменьшать значение этого факта¹⁾. Трагизм нашего положения в Сибири состоял в том, что мы не могли сделать ни одного шага во внутренней жизни ее, вплоть до налаживания наших отношений с крестьянством, не задевая какие-то сложные и болезненно переплетенные интересы больших капиталистических держав, творивших политику где-то там, за тридевять земель от нас, в бассейне Великого Океана. Надо было искать союзников не только в самой сибирской деревне, во внутренней группировке ее политических направлений, но и на арене международной политики. „Нужно, — как образно формулировал эту мысль ген. Гайда в последнем разговоре со мной на ст. Слюдянка (в Забайкалье) в конце июля 1919 г., — нужно привязать гири к ногам японских дивизий“. А этими гирями могли быть только американские броненосцы, что было для меня тоже ясно.

Всем связанным определилась вся моя последующая общественно-политическая деятельность в Сибири, как одного из более ответственных руководителей Земск. Полит.-Бюро. Но прежде, чем перейти непосредственно к отчету о ней, я должен коснуться еще ряда сторон сибирской жизни при Колчаке, а равно должен остановиться на нем самом и на той роли, которую играли тогда в Сибири союзники.

Евгений Колосов.

Апрель—май 1922 г.

¹⁾ См. об этом в моей брошюре „Дальний Восток и наше будущее“. — Публичные лекции, прочитанные в Томске 15 ноября 1918 г. — Красноярск, 1919 г.

Царская Россия во время великой войны в изображении французского посла.

В „Revue des deux Mondes“ с начала 1921 г. печатается дневник Мориса Палеолога, бывшего французским послом в Петербурге с января 1914 г. до революции. Палеолог изо дня в день заносил в свой дневник текущие политические события, свои аудиенции у Николая II, официальные и неофициальные разговоры с русскими министрами и другими высокопоставленными лицами, слухи, ходившие в обществе, случайные впечатления, размышления и т. д. Круг, в котором вращался Палеолог, был, конечно, по преимуществу придворно-бюрократический; сравнительно редко приходилось ему сталкиваться с непринадлежащими к нему общественными деятелями или с представителями науки и литературы, да и то эти встречи были сильно затруднены: так, рассказывая об одном обеде, на котором он встретился с Максимом Ковалевским, Милюковым, Маклаковым и Шингаревым, Палеолог прибавляет: «Во всякой другой стране этот обед был бы самою обыкновенною вещью; но здесь пропасть между официальным миром и общественными элементами так глубока, что мое поведение, я уверен, вызовет суровую критику». Само собою разумеется, что Палеолог даже в своих совершенно частных встречах и беседах ни на минуту ни забывал своего дела; между прочим, он старался вести по мере сил борьбу с широко, по его словам, распространенным среди русской интеллигенции убеждением в том, что Франция тяжело виновата перед русским народом, в прежнее время поддерживав своим займами царизм, а теперь вовлекши Россию в войну; но его действия в этом направлении были сильно стеснены, так как, говорит он, «если я обнаружу свои связи с либеральными кругами, то вызову подозрение у императора и правительственной партии». Охрана тщательно следила за всеми встречами и действиями Палеолога и доводила о них до сведения Сазонова. Тем не менее, круг наблюдений Палеолога далеко не ограничивается высшими официальными сферами: тайные информаторы осведомляли его, например, о том, что делается в рабочих кругах, в среде учащейся молодежи, а вдумчивость, близкое знакомство с русской литературой (он постоянно читает русских писателей, — Достоевского, Аксаковых, Леонида Андреева, Горького, Вересаева и многих других), понимание русской музыки, — помогали ему систематизировать и продумать эти случайные сведения. Вообще, а Па-

геологе мы видим наблюдателя внимательного, разностороннего и добросовестного. Поэтому, очень рано, уже с 1915 г., а в особенности с 1916 г., он ясно слышал раскаты приближавшей революционной грозы и тщательно отмечал ее симптомы.

Если бы мы имели перед собою мемуары, написанные *post factum*, то к указаниям такого рода можно было бы отнестись с недоверием: всем известно, как услужливо человеческая память снабжает нас фактами, задним числом подтверждающими нашу проницательность и прозорливость. Но перед нами дневник; ничто не обличает позднейшей его обработки; напротив, все записи носят явственный характер непосредственности, свежести, — и в этом их интерес; перед нами живое свидетельское показание современника в самом точном и тесном смысле этого слова. В этом большое достоинство дневника Палеолога, дающего массу ценных наблюдений.

Связанный своим положением, Палеолог, конечно, сдержан и осторожен в оценке событий и лиц (особенно таких, как император Николай II или императрица), хотя и в гораздо меньшей степени, чем этого можно было бы ожидать от дипломата, и притом дипломата союзной державы; поэтому Палеолог дает массу черточек, ярко характеризующих императорскую чету и окружающую их среду, в частности Распутина и его влияние на ход дел; — в этом отношении дневник Палеолога является ценным дополнением, а иногда и коррективом к „Воспоминаниям“ Витте (посвященным впрочем более ранней эпохе).

Вместе с тем, дневник Палеолога страдает и недостатком, неизбежно вытекающим из формы дневника: в нем не мало повторений; рядом с фактами и замечаниями, весьма интересными, в нем нагромождено много мелочей и прямо лишнего; рядом с событиями, известными ему, как дипломату, Палеолог заносит в свой дневник также события общеизвестные, в свое время опубликованные во всех газетах. Так, например, он изо дня в день записывает все перипетии Верденского боя, за которым внимательно следила в свое время и ежедневная печать. Все это, конечно, для читателя не интересно. Сама редакция „Revue des deux Mondes“ признает этот недостаток дневника и несколько сокращает его, но делает это она в недостаточной степени, и в дневнике все-таки остается слишком много лишнего, в особенности для читателя русского; ведь этому последнему совершенно не нужны довольно подробные изложения повестей Короленко или других русских писателей, которые Палеолог по временам вставляет в свой дневник.

В виду этого, я предлагаю читателю не перевод, а лишь небольшие извлечения из дневника Палеолога, преимущественно те места, в которых говорится не о войне, а о внутренней жизни России, и которые, как мне кажется, представляют для русского читателя более значительный интерес. Критике я его не подвергаю, довольствуясь возможно точной передачей фактов и изложением Палеолога и его личных мнений, оставляя те и другие целиком на его ответственности, хотя очевидные ошибки встречаются и в тех, и в других. Но даже ошибки Палеолога представляют известный интерес, сообщая

читателю те слухи, которые ходили и которым верили в описываемую им эпоху в высших сферах, и те мнения, которые там находили своих защитников, причем нередко таких серьезных, как Палеолог. Отмечу здесь только одну постоянно повторяющуюся ошибку, общую у Палеолога не только с большинством иностранцев, пишущих о России, но и со многими высокопоставленными русскими (напр. с Витте): они часто не разбираются в разногласиях левых общественных течений и смешивают в одну партию всех: для Палеолога и Беренский, и Чхендзе одинаково лидеры то трудovieков, то социал-демократов. Как для Витте и соц.-демократы, и соц.-революционеры одинаково анархисты.

Во время балканских войн 1912—1913 г. г. Палеолог был французским посланником в Софии. В декабре 1913 г. французское правительство (президентом республики тогда был его товарищ по учебному заведению и личный друг Пуанкаре, первым министром и министром иностранных дел — Думерг) предложило ему пост посла в Петербурге. Палеолог сперва отказывался на том основании, что, будучи решительным сторонником тесного союза Франции с Россией, «который один дает Франции возможность сохранить ее независимость», он настаивал на необходимости поддержания военной мощи Франции, а между тем боялся растущей силы социализма, которая может положить предел необходимым, по его мнению, вооружениям. Вполне доверяя и сочувствуя лично Думергу, он боялся влияния Кайо, бывшего в кабинете Думерга министром финансов, общие политические взгляды которого сильно расходились со взглядами Палеолога. Но, в конце концов, Пуанкаре и Думерг убедили его, и Палеолог принял пост посла в Петербурге, «чтобы проводить на нем традиционную политику франко-русского альянса». «С твердым убеждением в неотвратимости мировой войны» он приехал в Петербург в самом начале 1914 г. Дневник его, однако, начинается значительно позднее, а именно с 20 (8) июля 1914 г., — дня приезда в Россию президента Пуанкаре.

Торжественная встреча Пуанкаре омрачена известием о совершенно неожиданной забастовке на многих заводах, причем, как сообщил Палеологу его «информатор, хорошо знающий рабочую среду, движение было вызвано немецкими агентами». О связи забастовки с немецким шпионажем говорил ему и петербургский полицмейстер.

Мрачные предсказания Палеолога оправдались. Война была действительно объявлена. Палеолог рисует взрыв энтузиазма, сопровождающий ее объявление, уличные манифестации, хотя и не очень верит искренности этих процессий, регулярно собирающихся через определенные промежутки времени, точно по чьему то приказу; а говоря о восторженной встрече, устроенной царю в Москве, он прибавляет; «чтобы оценить по достоинству народные приветствия императору сегодня на Красной площади, не следует забывать, что на этой самой площади 22 декабря 1905 г. пришлось расстреливать толпу, певшую Марсельезу». Но он останавливается на серьезном сочувствии войне в обществе: так, по словам одного из информаторов Б., «человека очень передового». в данный момент нет оснований ожидать забастовок или волнений: «национальный порыв слишком для этого силен; даже вожди социалистов прономе-

дуют по заводам подчинение военному долгу," они убеждены, что война послужит в торжеству пролетариата; что война произведет смешение всех общественных классов, сблизит крестьянина с рабочим и студентом; что она прольет свет на позор нашей бюрократии и, таким образом, заставит правительство считаться с общественным мнением; наконец, что „она введет в офицерскую касту либеральный и даже демократический элемент в лице прапорщиков запаса". Созыв Государственной Думы и Совета, „необходимый и естественный во всякой другой стране, а здесь истолковываемый, как проявление конституционализма," еще более укрепляет это настроение. В обществе преобладает мысль «прийти на помощь правительству в выполнении его сложных обязанностей, которые ленивая и продажная бюрократия не способна выполнить своими силами». В высших кругах по отношению к войне парит, повидимому, тоже единодушное настроение. „Я спрашивал М. Стаховича, что думают о войне члены крайней правой Государственного Совета и Думы, которые устами кн. Мецкерского, Щегловцова, бар. Розена, Пуришкевича и Маркова всегда проповедовали союз с германским империализмом. Он уверяет, что эта доктрина, внушенная соображениями внутренней политики, в корень разбита нападением на Сербию".

Только ближайшие сторонники Распутина думают иначе. Так, Вырубова говорила одной знакомой Палеолога: „Будь старец здесь, войны бы не было; я не знаю, что бы он сделал, что посоветовал, но Бог вдохновил бы его, а министры ничего не понимали и не могли ничему помешать. Какое несчастье, что его не было с нами, чтобы просветить императора". Сам Распутин в это время выздоравливал в Тобольской губ. от нанесенной ему раны. Вернувшись в начале сентября в Петербург, он, хотя и убедил императрицу, что его выздоровление есть проявление божественного промысла, но сравнительно редко видался с императорской четой, и многие даже думали, что император отдалил его от себя. О войне Распутин то говорил „в темных, двусмысленных апокалипсических выражениях, из которых заключали, что он ее не одобряет и предвидит от нее великие несчастья", то неожиданно заявлял: „Я рад войне; она избавит нас от двух зол — пьянства и немецкой дружбы. Горе царю, если он остановится на полпути к победе и не раздавит Германию".

В этом же духе (значительно позднее, в феврале 1915 г.) Распутин говорил и с Палеологом во время их единственной встречи у г-жи О. Узнав, что перед ним французский посол, Распутин заявил, что хочет поговорить с ним, и быстро и страстно начал рисовать Палеологу картину вызываемых войной страданий, массы раненых и убитых, вдов, сирот, разорение целых деревень. В ответ на слова Палеолога, что будет еще хуже, если все эти жертвы не принесут никаких плодов, он согласился: „Ты прав, надо воевать до победы".

— „Я рад слышать это от тебя, потому что знаю, что многие высокопоставленные люди рассчитывают на тебя, чтобы убедить императора заключить мир.

„Он окинул меня недоверчивым взглядом и почесал бороду. Затем грубо заметил:

— „Везде есть дураки.

— „Плохо, что эти дураки пользуются доверием в Берлине. Император Вильгельм убежден, что ты и твои друзья употребите все свое влияние для заключения мира.

— Император Вильгельм... Разве ты не знаешь, что его вдохновляет льявол! Я знаю, что говорю; я понимаю толк... Только дьявол его и поддерживает. Но в один прекрасный день дьявол отступится от него, Бог так решил. И Вильгельм падет, как старая ветошь, которую бросают в мусор.

— „Значит, мы победим: не может же победить дьявол.

— „Да, мы победим, только когда?.. Бог избирает час для своих чудес, по собственному произволению. Мы увидим еще много крови и слез...

„Затем Распутин заговорил о необходимости как-нибудь облегчить страдания народа.

— „Это обойдется дорого, миллионы рублей, но нечего смотреть на издержки... Ведь если народу очень тяжело, то он делается зол и может быть ужасен; он может заговорить о республике... Скажи это государю.

— „Не могу же я дурно говорить государю о республике, — возразил посол французской республики.

— „Конечно, нет. Но ты можешь сказать, что за счастье народа нельзя заплатить слишком дорого, и что Франция даст ему необходимые деньги... Ведь Франция богата.

— „Франция богата, потому что она трудолюбива и экономна... Еще недавно она дала большой заем России.

— „Заем, какой заем! Эти деньги опять пойдут чиновникам, крестьянам не попадет ни копейки. Нет, послушай меня, скажи государю, что я тебе говорил.

— „Скажи ему сам, ты его видишь гораздо чаще, чем я.

„Мое упорство видимо не понравилось Распутину. Подняв голову и скрипя губы, он ответил почти дерзко:

— „Это меня не касается. Я не министр финансов у государя; я министр его души.

— „Ну, хорошо. В следующую аудиенцию я буду говорить с императором в том духе, как ты хочешь.

— „Спасибо, спасибо. Еще слово. Что, Россия получит Константинополь?

— „Да, если мы победим.

— „Наверное?

— „Я уверен в этом.

— „Тогда русский народ не будет жалеть о своих страданиях, для этого он все перенесет“.

Поражение под Сольдау и продвижение немцев во Франции заменили первоначальное одушевление унынием. Палеолог уже отмечает голоса, что немцев нам не победить, что они сильнее нас. Этим пользуются распутинцы, распускающие слухи, что Франция скоро должна будет заключить мир. По словам Палеолога, „всюду, а особенно на верхах, наблюдается самый крайний пессимизм. Здесь уже давно убеждены в неудачливости императора; ни одно

из его начинаний никогда не увенчивалось успехом, судьба всегда против него, он очевидно обречен какой то катастрофе... К тому же у него устранивающие линии руки".

Мистическое сознание своей обреченности и покорность судьбе составляют преобладающую черту и самого императора. Палеолог передает разговор Николая II с П. А. Столыпиным, слышанный им от Сазонова. Подписывая какой то указ, Николай II заметил, что данная мера все равно ни к чему не поведет. „Что я ни предпринимаю, из этого никогда ничего не выходит, мне ни в чем нет удачи; да и вообще человеческая воля так бессильна... Вы знаете, в какой день я родился, какого святого празднуют в этот день? Иова Многострадального“.

Начало военных действий с Турцией пробудили в русском обществе старую мечту о Константинополе; и вот, в русском общественном мнении все более и более обрисовываются два течения: одно стремится к лучезарным горизонтам, к сказочным победам, Константинополю, Фракии, Армении, Трапезунду, Персии; другое, наталкиваясь на труднопреодолимое препятствие в лице Германии, возвращается к мрачным перспективам и кончается пессимизмом, чувством бессилия и покорности судьбе.

„Любопытно, что оба течения часто сосуществуют или, по крайней мере, чередуется в одном и том же человеке, каждое отвечая резко выраженным склонностям русской души — мечте и разочарованию“.

21 ноября 1914 г. Сазонов передал Палеологу, что государь желает говорить с ним. Темой разговора были условия будущего мира. Предупредив, что разговор носит частный характер, так как он не хочет решать эти вопросы, не посоветовавшись со своими министрами и генералами, Николай II наметил свои пожелания:

„Во первых, турки должны быть изгнаны из Европы: во вторых, Константинополь должен сделаться нейтральным городом с международным управлением. Само собою разумеется, мусульмане получают всевозможные гарантии уважения к их святыням и могилам. Фракия до линии Энос—Мидия должна перейти к Болгарии. Остальная ее часть, начиная от этой линии вплоть до ближайших окрестностей Константинополя, должна принадлежать России.“

— „Итак, если я верно понимаю вашу мысль, турки должны быть ограничены пределами Азии с столицей Ангорой или Конией, как во времена первых Османов? Босфор, Мраморное море и Дарданеллы образуют таким образом западную границу Турции?“

— „Совершенно верно.“

— „Ваше Величество не удивится, если я еще раз прерву вас напоминанием, что Франция имеет в Сирии и Палестине драгоценные исторические воспоминания, свои моральные и материальные интересы. Я рассчитываю, что Ваше Величество согласится на те меры, которые предпримет правительство Республики для ограждения этого наследия.“

— „О, конечно!“

„БЫЛОЕ“ № 20.

„Затем, разведя карту Балкан, он рисует мне в общих чертах, как он понимает желательные территориальные изменения:

— „Сербия присоединит Боснию и Герцеговину, Далмацию и север Албании. Греция получит юг Албании, за исключением Валлоны, которая должна быть передана Италии. Болгария, при условии, что она останется благоразумной, получит от Сербии некоторые компенсации в Македонии... А Австро-Венгрия, что сделаем мы с ней?

— „Если ваша победоносная армия перенесет свои действия за Карпаты, если на сцену выйдут Италия и Румыния, то Австро-Венгрия вряд ли переживет те территориальные потери, на которые должен будет согласиться император Франц-Иосиф. После банкротства австро-венгерского союза, я полагаю, его составные части не захотят продолжать работать вместе, по крайней мере на прежних условиях.

— „Я думаю также, Венгрии без Трансильвании трудно будет удержать в своей зависимости хорватов. Чехия потребует по меньшей мере автономии, и Австрия сведется к своим старым наследственным владениям, немецкому Тиролю и Зальцбургу...

„Наибольшее изменение произойдут в Германии. Как я вам уже говорил, Россия присоединит территории старой Польши и часть Восточной Пруссии. Франция, конечно, вернет Эльзас-Лотарингию и может быть распространится даже на Рейнланд. Бельгия должна получить в районе Аахена значительное приращение территории; она заслужила его. Что касается германских колоний, то Франция и Англия поделят их, как хотят. Наконец, я хотел бы, чтобы Шлезвиг, включая сюда зону Кильского канала, был возвращен Дании... А Ганновер? Не следует ли восстановить его? Создавая маленькое свободное государство между Пруссией и Голландией, мы значительно упрочим будущий мир. Наше дело будет оправдано перед Богом и историей только в том случае, если оно будет пронизано моральной идеей — желанием на долгое время гарантировать мир всего мира...

— „Следовательно, — сказал я, — это конец Германии.

— „Император ответил твердым голосом:

— „Германия примет такую организацию, какую захочет сама; но звание императора не должно оставаться в доме Гогенцоллернов. Пруссия должна превратиться в обыкновенное королевство. Разве вы не согласны с этим, господин посол?

— „Германская империя так, как ее понимали, создавали и как направляли Гогенцоллерны, столь явно направлена против французского народа, что не я, конечно, буду защищать ее. Для Франции было бы большей гарантией, если бы силы германского мира не находились в руках Пруссии*.

Позднее пожелания России шли дальше. В январе 1915 г Николай II, беседуя с Палеологом, настаивал уже на присоединении Константинополя к России.

— „Помните наш разговор в ноябре? — говорил Николай. — С тех пор мои мысли не изменились. Но есть пункт, относительно которого я должен выска-

ваться точнее: я говорю о Константинополе. Вопрос о проливах все больше и больше волнует русское общество. Я не в праве возложить на мой народ ужасные жертвы настоящей войны, не дав ему в награду осуществление его вековой мечты. Итак, господин посол, мое решение принято. Я требую радикального разрешения вопроса о проливах в Константинополе. Выход, о котором я вам говорил в ноябре, — он единственно возможный, единственно практический. Но город Константинополь и южная Фракия должны быть слиты с моей империей. Конечно, в управлении города я устанавливаю специальный режим, считающийся с интересами иностранцев. Вы знаете, Англия уже сообщила мне о своем согласии. Если бы возникло какое-нибудь затруднение относительно деталей, я рассчитываю на помощь вашего правительства“.

Сазонов вначале держался взгляда, что Россия должна получить на Босфоре солидные гарантии, но что касается самого Константинополя, то лично он не желал бы, чтобы турки были из него изгнаны, и охотно примирился бы с тем, чтобы им оставить старый византийский город с прилегающим санджаком; но, позднее (1 марта 1915 г.) Сазонов тоже уже не ограничивался этим:

„Еще несколько недель назад, — говорил он Бьюккену и Палеологу, — я мог думать, что открытие проливов еще не делает необходимой окончательную оккупацию Константинополя. Но теперь я должен констатировать, что вся страна требует этого радикального решения проблемы“.

Военные действия, принявшие во время первого из приведенных сейчас разговоров о Константинополе сравнительно благоприятный для союзников оборот, в конце декабря 1914 г. неожиданно натолкнулись на грозное препятствие: недостаток военных снарядов в России. Под 17 декабря 1914 г. Палеолог записывает:

„Великий князь Николай „с горестью“ уведомляет меня, что он принужден приостановить свои операции: он мотивирует это решение чрезвычайными потерями русских войск и другим еще более важным фактом, а именно, что артиллерия истощила свои запасы“.

„Я жалею Сазонову на неожиданно открывшееся для меня положение. Я говорю в довольно энергичном тоне:

— „Генерал Сухомлинов раз двадцать заявлял мне, что приняты все меры, чтобы обильно снабжать русскую артиллерию... Я настойчиво указывал ему на громадное потребление снарядов, сделавшееся обычным при современных битвах. Он утверждал, что в состоянии удовлетворить каким угодно требованиям, при всевозможных случайностях. Я получил от него на этот счет даже письменный отзыв... Я прошу вас передать это от меня императору“.

На следующий день Палеолог записывает:

„Вчера я узнал, что у русской артиллерии не хватает снарядов, сегодня я узнаю, что у пехоты нет ружей“.

Палеолог сильно волнуется; вместе с великобританским послом Бьюккеном он горячо говорит об этом председателю совета министров Горемыкину и другим высокопоставленным лицам, жалуясь на Сухомлинова, на русские порядки вообще, но Горемыкин сознается, что он стар, что у него нет энергии,

необходимой для борьбы, что его уже давно пора в гроб положить, но что государь удерживает его на посту, который для него не под силу; и ничего из этих жалоб не выходит.

Весною недостаток снарядов привел к поспешному отступлению русских из Галиции и Польши. На общественные круги это произвело ошеломляющее впечатление и вызвало бурю негодования. „Со всех сторон требуют немедленного созыва Думы,—записывает Палеолог 31 июля 1915 г.,—требуют даже ответственности министров“.

Известная резолюция Союза Земств и Городов также видит причину поражений в грехах нашего режима и требует образования правительства, облеченного народным доверием.

Народные массы тоже взволнованы. Анти-немецкие беспорядки в Москве в июне 1915 г. носят, по словам Палеолога, более серьезный характер, чем это можно подумать по газетным отчетам. В толпе говорит об измене, требуют изложения Николая II и передачи короны Николаю Николаевичу, обвиняют императрицу и требуют ее заточения в монастырь, а также казни Распутина. Особенно бурные манифестации произошли перед монастырем Марфы и Марии, аббатисой которого состоит сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, по мнению москвичей—германская шпионка, будто бы укрывающая у себя своего брата, вел. герцога Гессенского.

Даже в армии проявляется желание скорейшего окончания войны: усиленно поддерживаемое германской пропагандой:

„Мирная пропаганда, так активно развиваемая Германией в Петрограде, проникает и на фронт. Во многих пунктах захвачены прокламации, приглашающие солдат прекратить бойню; они утверждают, что Николай II своим отеческим сердцем уже согласен на мир“.

Предвидя, что Германия не преминет воспользоваться подобным приемом, Палеолог еще в самом начале войны рекомендовал Сазонову использовать его со своей стороны и установить связи в германских социалистических центрах—Берлине, Лейпциге, Хемнице. „В тот момент, когда Германия начнет герпеть поражения, говорил он, социалисты начнут требовать заключения мира, а мы поможем им в этом“. Но Сазонов решительно отклонил его совет, говоря, что Россия не может способствовать усилению революционного брожения в Европе.

Реакционная партия старается использовать свое влияние на государя. По словам Вырубовой, министр вн. д. Маклаков, обер-прокурор Синода Саблер и министр юстиции Щегловитов усиленно отговаривают императора от созыва Думы и даже доказывают ему, что Россия не может продолжать войну. По вопросу о Думе император остается непроницаем, хотя императрица всеми силами поддерживает мнение министров. Что касается продолжения войны, то Николай II выразился с необычной для него резкостью: „заключение мира теперь—это бесчестие и революция одновременно. Не смейте советовать мне это“. Императрица не менее энергично заявляет, что если Россия покинет теперь союзников, она покроет себя вечным позором. Но она убеждает царя

не делать уступок парламентаризму, повторяя ему: „помните, что вы самодержец в силу помазания Божия. Бог не простит, если вы не выполните возложенной на вас обязанности“.

В течение июля, однако, подписаны отставки Сухомлинова, Н. Маклакова, Щегловитова и Саблера, замененных Поливановым, Щербатовым, Хвостовым и Самариним; по настоянию Самарина, Распутину предписано уехать из Петербурга. В то же время Союз Городов и Земства и вновь созданный Военно-Промышленный Комитет, в состав которого, наряду с представителями промышленности, вошли представители Думы, берут, казалось бы, дело обороны в свои руки. „Наконец то Россия на верном пути!“ восклицает Палеолог, но тут же приводит мнения скептиков, вроде издателя „Нового Времени“ Суворина, которые утверждают, что общественный подъем—явление кратковременное, которое скоро заменится прежней апатией. Крайне пессимистически настроены даже Гучков и Родзянко.

В конце августа 1915 г. Распутин возвратился в Петербург и тотчас же был принят императрицей. Через несколько дней вел. князь Николай Николаевич был лишен звания главнокомандующего, принятого на себя самим императором. Эта мера, принятая вопреки настоянию большинства министров, внесла большое смущение в правящие круги. Сазонов, передавая Палеологу о решении императора, имел, по его словам, крайне расстроенный вид. Настояния вел. князя Дмитрия Павловича не устранять совсем из армии Николая Николаевича, назначив его начальником главного штаба армии при главнокомандующем—императоре, не имели успеха. Ссылаясь на „хорошие источники“, Палеолог дает такое объяснение этой замене:

„Опала вел. князя Николая готовилась уже давно его заклятым врагом генералом Сухомлиновым, который, несмотря на свои скандальные неудачи, втайне сохранил доверие императорской семьи. При поддержке Распутина и генерала Воейкова, он понемногу убеждал императора и императрицу в том, будто Николай Николаевич стремится приобрести в стране нездоровую популярность, надеясь, что народное движение вознесет его на трон. Воейков даже убеждал царя в существовании заговора в пользу Николая Николаевича. Однако, эти уговоры не приводили к цели; тогда императрица и Распутин обратились к религиозному чувству Николая. По словам Вырубовой, решаясь принять пост главнокомандующего, Николай произнес: „Может быть для спасения России нужна искупительная жертва. Я буду этой жертвой. Да исполнится воля Господня“. Это подчинение мистическому в важнейших государственных решениях естественно внушает Палеологу тревожные опасения за будущее.

Влияние Распутина все усиливается. Начальник военной канцелярии кн. Владимир Орлов, осмелившийся говорить императору против Распутина, 5 сентября получил отставку. Усиливается и реакция. Дума распущена 15 сентября; на заводах по этому поводу объявлены забастовки. „Это еще только генеральная репетиция“, говорит Палеологу его информатор, отмечающий в то же время успехи ленинской пропаганды среди рабочих.

В конце сентября несколько министров, испуганных преобладающими при дворе реакционными течениями, адресовали государю коллективное письмо, умоляя его сойти с этого рокового пути и заявляя, что совесть не позволяет им продолжать работу под председательством Горемыкина. Кроме Сазонова, письмо подписали министр внутр. дел кн. Щербатов, министр земледелия Кривошеин, министр торговли кн. Шаховской, министр финансов Барк и обер-прокурор синода Самарин. Военный министр генерал Поливанов и морской адмирал Григорович воздержались от подписания из уважения к военной дисциплине.

По получении письма император вызвал всех министров в Ставку... Дело развивается в строжайшей тайне.

В Могилеве государь обошелся с министрами, подписавшими письмо, крайне сурово. Он им резко заявил: „Я не допущу, чтобы мои министры устраивали забастовку моему председателю совета. Я требую от всех уважения к моей воле“.—Вскоре после этого Самарин и Щербатов уволены в отставку. Щербатов заменен А. Н. Хвостовым, „лидером думской правой, известным как решительный сторонник кулака“; 9 ноября подписана отставка Кривошеина, обвиненного Распутиным в сношениях с революционерами.

Государыня всеми силами поддерживает Николая II во всех подобных мероприятиях. По словам Вырубовой, она осыпает его восторженными похвалами с тех пор, как он себя ведет „истинным самодержцем“: „вы вступили на путь, предначертанный Божественным Провидением, повторяет она ему, и я не сомневаюсь более в нашей победе над врагами, как внутренними, так и внешними. Как хорошо, что мы послушали нашего дорогого Григория, как спасительны для нас его молитвы перед Господом!“

Обрисовывая таким образом печальную роль Александры Федоровны в деле усиления реакции, Палеолог настойчиво защищает ее от другого весьма распространенного в обществе обвинения—в преданности интересам Германии. Александра Федоровна, по его мнению, ни в коем случае не может быть названа немкой. Полуангличанка по матери, проводшая годы детства и юности при английском дворе, она по воспитанию, по внешним и нравственным навыкам является скорее англичанкой, чем немкой. Еще в 1894 г. о ней было известно, что она не любила Германию, особенно Пруссию, а в последние годы она с особой ненавистью относилась к императору Вильгельму, возлагая на него всю ответственность за начало войны. Что касается ее нравственного облика, то, по словам Палеолога, это совершенно больная женщина, страдающая наследственным предрасположением к душевным заболеваниям, которая в русской обстановке „путем странной заразы приобщилась к древнейшим специфическим элементам русской души“; отсюда роль Распутина, к которому она относится, как относились к божьим людям московские царицы XVI в. Влияние его на императрицу безгранично; всякое его слово внедряется в ее мозг, не вызывая ни малейшего сопротивления, и она беспрекословно повинуетя ему. Наоборот, у царя „подчинение гораздо менее пассивно, менее полно. Он, конечно, тоже думает, что Григорий „божий человек“, но он сохраняет

по отношению к нему свободную волю, он не уступает по первому побуждению. Эта относительная независимость проявляется особенно тогда, когда старец вмешивается в политику. Тогда Николай замыкается в своем молчании, обходит неудобные вопросы, откладывает решительный ответ, и, во всяком случае, подчиняется только после долгой внутренней борьбы, в которой часто побеждает здравый смысл. Но в моральных и религиозных вопросах император тоже испытывает глубокое влияние Распутина. Параллельно военным неудачам и усиливающейся реакции перед наблюдателем все более и более встает грозный призрак близкой революции.

„Среди рабочих волнения, записывает Палеолог 3 июля 1915 г. Один из моих осведомителей Б. указывал мне на усиление социалистической пропаганды в казармах, особенно в гвардейских. Павловский и Волинский полки всецело проникнуты ею“.

„Военные неудачи, говорит Палеолог 24 августа 1915 г., естественно вызывают революционное брожение на петроградских заводах. Ежедневно происходят случаи забастовок и неповиновения. Глава партии трудовиков в Думе, Керенский, как меня уверяли, уже подготовил обширную программу революционной деятельности, основанную на сотрудничестве рабочих и солдат. Он определенно говорит: „если армия не будет за нас, то ею воспользуются против нас“. Поэтому, он организует смешанные советы рабочих и солдат, которые в день восстания возьмут на себя руководство движением“.

О неизбежности близкой революции говорят решительно все, причем все согласны, что революция примет у нас формы самой жестокой и затяжной анархии. Говорит о ней (2 июня 1915 г.) крупный финансист, член Военно-промышленного комитета П., предсказывающий, что „дни царизма сочтены, царизм безвозвратно погиб; но царизм—это остов России, единственный связующий элемент ее национального единства“. Революция вообще, думает он, может быть созидательной, какою была великая французская революция, „но у нас революция может быть только разрушительной, потому что образованный класс представляет в стране лишь ничтожное меньшинство; оно не организовано, не имеет политического опыта и лишено соприкосновения с массами. Вот величайший грех царизма: вне бюрократии он не допускал ни одного очага политической жизни. И он преуспел в этом настолько, что в день, когда исчезнут чиновники, разрушится все русское государство... Нет сомнения, что сигнал к революции подадут буржуа, интеллигенты, кадеты, думающие этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы скоро перейдем к революции рабочей, а потом крестьянской. А тогда начнется страшнейшая анархия, бесконечная анархия, десятки лет анархии. Мы увидим эпоху Пугачова, а может быть и того хуже“.

О близкой революции говорит (13 ноября 1915 г.) и кн. В., недовольный порядками, ультра-реакционер; он винит в ней прогрессистов, кадетов и октябристов и предсказывает, что революция скоро сметет и их, дав торжество сперва „социалистам“, а потом крестьянам. Тогда наступит пугачевщина. Наш единственный шанс на спасение, по его мнению,—в реакции.

О близости революции говорили Палеологу (15 сентября 1915 г.) и Миллюков, и Ковалевский, прибавляя при этом: „поскольку это зависит от нас, революции до окончания войны не будет; но, вероятно, скоро это перестанет зависеть от нас“.

Собрав и продумав все эти наблюдения, Палеолог приходит к крайне пессимистическому выводу относительно будущности России. 3-го сентября 1915 г., отправляя Делькассе свой отчет о русских делах, он заканчивает его такими словами: „Что касается внутреннего положения России, то оно еще менее утешительно. До последнего времени можно было думать, что революционные беспорядки не вспыхнут до конца войны. Но теперь я бы не решился утверждать это“.

Единственно на чем Палеолог останавливается с удовольствием, это твердая решимость Николая продолжать войну. Ни одна попытка германского правительства нащупать почву для сепаратных переговоров не имела успеха. Палеолог рассказывает о двух таких шагах со стороны Германии. Первый был сделан в конце декабря 1915 г. Министр двора барон Фредерикс получил письмо от своего старого друга, графа Эйленбурга, обер-гофмаршала двора Вильгельма II, убеждавшего его посодействовать примирению обоих императоров. „Наша обязанность перед Богом, перед нашими государами, перед страной велит нам сделать все, что в наших силах для сближения императоров, которое дало бы их правительствам возможность найти основы почетного мира. Если нам удастся возродить их прежнюю дружбу, то мы скоро увидим конец этой ужасной войны“. Письмо было прислано Фредериксу по городской почте, следовательно кем-то доставлено в Петербург из Берлина.

Фредерикс немедленно передал письмо императору. Николай II спросил мнения Сазонова, и тот отвечал, что вряд-ли Эйленбург мог предпринять подобный шаг без ведома и одобрения Вильгельма, и что германское правительство, очевидно, придает большое значение плану отделить Россию от ее союзниц. Николай согласился с этими соображениями и поручил Сазонову составить проект ответа, прибавив: „Эйленбург, повидимому, не подозревает, что он предлагает мне совершить моральное и политическое самоубийство“; затем он еще раз перечел письмо, подчеркнул слова „прежняя дружба“ и написал на полях: „эта дружба умерла, пусть мне о ней не напоминают“.

На другой день Сазонов вручил Николаю проект ответа на письмо Эйленбурга, в котором непременным условием переговоров ставил одновременное обращение Германии к остальным союзным державам. Но Николай, даже не взглянув на его проект, сказал, что всякий ответ, как бы холоден он ни был, может быть истолкован, как согласие вступить в сношение с Германией. И письмо Эйленбурга осталось без ответа.

Другая попытка была сделана тоже в декабре 1915 г. через посредство княжны Марии Александровны Васильчиковой, уже не молодой женщины, принадлежавшей к русской родовой аристократии, и фрейлины императрицы. С начала военных действий Васильчикова жила в Земмеринге под Веной, на вилле, принадлежавшей князю Францу Лихтенштейну, бывшему в девяно-

стых годах австрийским послом в Петербурге. Отсюда она была неожиданно вызвана в Дармштадт письмом великого герцога Гессенского, который обратился к ней с просьбой поехать в Петербург, чтобы убедить императора заключить мир с Германией; он намекал при этом, что Англия собирается вступить в частные мирные переговоры с Германией; настаивал на том, что сближение Германии и России необходимо для поддержания монархического принципа в Европе, и обещал, что Вильгельм согласится на самые выгодные для России условия. Все сказанное он продиктовал ей, как ноту для вручения Сазонову, а кроме того передал два письма императору и императрице. „Я знаю, что ты сделалась русской, кончалось второе из этих писем, но я не могу поверить, чтобы Германия была совершенно вытеснена из твоего немецкого сердца.“

Васильчикова через Копенгаген и Стокгольм отправилась в Петербург. По приезде она тотчас же передала Сазонову и ноту, и письма. Сазонов выразил ей негодование по поводу того, что она берет на себя подобные поручения, но на другой же день он доложил обо всем Николаю.

Император был возмущен:

— „Неужели она не понимает, что компрометирует и императрицу, и меня“, — восклицал он.

По его приказу Васильчикова была арестована и препровождена в Черниговский монастырь.

1916 год не дает Палеологу более радужных впечатлений. С одной стороны, продолжает расти революционное настроение. С другой — в правительственных кругах скандал за скандалом. 3 февраля уволен мин. внутр. д. Алексей Н. Хвостов. Ставленник Распутина, Хвостов, в последнее время поссорился со старцем и, желая дискредитировать его, отправил некоего Ржевского в Стокгольм к бывшему другу Распутина, к этому времени тоже разошедшемуся с ним, монаху Илиодору, у которого, по слухам, были очень компрометирующие Распутина документы. Но жена Ржевского донесла на мужа в департамент полиции, и Ржевский был арестован на обратном пути в Белоострове по распоряжению Белецкого. Интрига была открыта, и Хвостов потерял пост.

2 апреля уволен от должности военного министра генерал Поливанов. „Это чувствительная потеря для союза, замечает Палеолог. Поливанов восстановил возможный порядок в военных присутствиях, сколько возможно исправил ошибки, нерадивость, расточительность и измены своего предшественника Сухоминова“. Поливанов пользовался симпатиями Думы и имел друзей среди кадетов и октябристов; это, и особенно его личные отношения с Гучковым, „личным врагом Их Величеств“, дискредитировали его в глазах императрицы. Его заместитель, генерал Шуваев, — человек, по словам Палеолога, не блестящий умом (une pauvre tête).

В начале апреля 1916 г. французское правительство решило послать в Россию особую делегацию из членов кабинета Вивьяни и Альбера Тома с целью установить более тесный контакт между русским и французским

правительством. Сообщая это Сазонову, Палеолог заметил в нем какую то тревогу и тотчас же догадался об ее причине: Тома — социалист. Я указываю на роль Тома в войне, на его патриотизм, редкую интеллигентность, работоспособность, на его лояльные усилия поддержать согласие между рабочими и хозяевами предприятий, на то, что он потратил много сил и таланта ради нашего „священного союза“. Сазонов тронут моим панегириком. „Я повторю ваши слова, императору; но вы сами скажите это Штюрмеру и компании.“

Впечатление, произведенное приездом французской делегации на прессу и общественное мнение, было очень велико: „Особенно имя Альбера Тома производит впечатление в рабочей среде, и не меньшее, хотя противоположное — в авторитарической котерии“, отмечает Палеолог.

Цель своей миссии делегаты формулировали следующим образом: 1) учесть военные ресурсы России и содействовать их развитию; 2) настоять на пересылке во Францию вспомогательного отряда в 400.000 человек последовательными партиями по 40.000; 3) оказать некоторое давление на Сазонова и добиться большей уступчивости со стороны русского главного штаба к Румынии; 4) добиться какого нибудь определенного обещания в пользу Польши. Выслушав эти заявления, Палеолог отвечал:

„Относительно первого пункта, вы составите собственное впечатление; я надеюсь, что вы останетесь довольны работою последних месяцев, особенно работою земств и городов и Военно-Промышленного Комитета; что касается посылки во Францию 400.000 человек, то Алексеев все время противится ей указывая, что число обученных русских резервов и так недостаточно по сравнению с протяжением фронта; при настойчивости вам удастся может быть, добиться посылки нескольких бригад.“

„Относительно Румынии Сазонов вполне согласен с нами, но препятствие к соглашению не здесь, а в Бухаресте; что касается Польши, то отложим разговор о ней до последних дней вашего пребывания здесь; вы сами увидите, возможно ли касаться этого предмета; что до меня, я сомневаюсь“. Для понимания последнего пункта надо иметь в виду, что Палеолог был решительным сторонником автономии Польши не только ради нее самой, но ради военных успехов: он хорошо понимал, что ею можно было бы сильно поднять дух польского народа в России и оттолкнуть прусских и австрийских поляков от Германии, и сильно опасался, что Германия, предупредив Россию на этом пути привлечет к себе все польские симпатии, отделив дело поляков от России. Но сделать в этом отношении Палеологу ничего не удалось, хотя против польской автономии был не Николай, который, по словам Палеолога, охотно согласился бы на нее при условии, чтобы Польша осталась под скипетром Романовых, а правящая клика Штюрмера и компании, на этот раз находившая поддержку и в русском общественном мнении.

На другой день после своего приезда делегаты отправились в Царское Село на аудиенцию к императору. По дороге Тома высказал Палеологу свое желание повидать в Петрограде неофициальным образом несколько человек,

в том числе Бурцева, так как не повидаться с ним ему неловко перед своими товарищами по партии; „ведь Бурцев так хорошо вел себя во время войны, говорил таким языком патриотизма и перед русскими, и французскими товарищами!“ Палеолог ответил, что он и сам пользовался этим аргументом, когда по поручению французского правительства хлопотал об отмене высылки Бурцева в Сибирь; но вместе с тем ему известно, что Бурцев не отказался от своей идее фикс убить государя. „Наконец, вспомните, кому я вас сейчас представляю, взгляните на эти красные ливреи, и вы поймете, что ваш план видется с Бурцевым не очень то нравится мне“.

Впечатления делегатов от поездки были не особенно радужные. „Ваши заводы работают недостаточно интенсивно, они могли бы производить вдесятеро больше; надо милитаризировать рабочих“ — говорит Тома Штюмеру. „Милитаризировать рабочих! — восклицает Штюмер, — да мы поднимаем против себя всю Думу!“

„Прием, оказанный Вивияни начальником штаба, был холоден, или по меньшей мере сдержан, и это не удивительно. Генерал Алексеев — заядлый реакционер, страстный поклонник иерархического начала, традиций самодержавия и православия; вмешательство в военные дела штатского, да еще какого штатского, — социалиста, — должно ему представляться скандалом“.

Но, если правительство отнеслось к депутации довольно холодно, то общественные круги, наоборот, оказали ей самый сердечный прием. По инициативе Родзянко Государственный Совет и Дума устроили банкет в честь Вивияни и Тома; этого было довольно, чтобы возбудить недовольство царских министров, тем более, что число желающих принять участие было крайне велико, и банкет превратился в крупное политическое событие. Приглашенных не менее 400 человек. Представлены партии, даже крайняя правая, но особенно многочисленны представители левых. Не решился уклониться никто и из министров. Мои английский и японский коллеги также получили приглашение.

„Вопрос о речах уладился не без затруднения. Первоначально министры заявили, что они не могут говорить в частном собрании. Я дал понять Сазонову, что если никто из членов царского правительства не согласится выступить с речью, я посоветую Вивияни не быть на банкете. В конце концов все устроилось“.

В конце банкета член Государственной Думы В. А. Маклаков произнес пыльную речь о целях войны. „Эта война будет самоубийством войны, говорил он, ибо в день мира мы создадим такую карту Европы, которая с делает войну бесполезною“.

„Эта прекрасная речь произведет большое впечатление в России, говорит Палеолог, обмениваясь при выходе с банкета впечатлениями с Вивияни и Тома, но что за бессмыслица думать, что будущий мир будет вечным! Напротив, я думаю, что мир вступает в эпоху насилий, и что мы засеваем семена будущих войн“. Тома ответил: „Да, предстоят еще годы новых войн“.

17 мая делегация уехала из Петербурга; цель ее удалась только отчасти; в сущности единственное, чего она добилась, это обещания отправить во Францию

пять бригад по 10. 000 человек. Но „влияние Тома очень значительно; его поразительная энергия и практический — смысл гальванизировали военно-промышленные учреждения. Надолго-ли?“ — меланхолически спрашивает Палеолог.

30 мая Палеологу было передано со слов Вырубовой, что решено дать отставку Сазонову; Штюрмер давно уже вел кампанию против него, обвиняя его в либерализме, в излишнем потворстве Думе, наконец, в том, что он слишком подчиняется влиянию французского и английского послов. Однако, отставка Сазонова состоялась несколько позже и довольно неожиданно.

12 июля все министры, и Сазонов в том числе, отбыли в Ставку, куда их вызвал Николай для совещания по польскому вопросу. Вернувшись из Ставки, Сазонов, довольный результатами совещания, сообщил Палеологу, что император согласился, наконец провозгласить автономию Польши и поручил ему, Сазонову, составить проект манифеста по следующей программе: 1) правительство королевства Польского состоит из наместника государя, совета министров и двух палат; 2) вся администрация подчиняется исключительно ее правительству, за исключением армии и дипломатии, которые, вместе с вопросами таможни и финансов, имеющими отношение к обоим странам, и стратегическими железными дорогами остаются непосредственно в ведении империи; 3) все административные споры между империей и королевством будут решаться петербургским сенатом, в котором учреждается особый департамент с равным числом русских и польских сенаторов; 4) будущее присоединение прусской и австрийской Польши предусмотрено такой формулой манифеста: все поляки, став подданными короля и императора, благословят его установления.

Для более спокойной работы над текстом манифеста Сазонов уехал на две недели в Финляндию. Но уже 26 июля его товарищ Нератов сообщил Палеологу, что отставка Сазонова решена бесповоротно; официальный мотив ее — нездоровье, но действительная причина его падения — его успех в польском вопросе, искусно использованный Штюрмером. Палеолог и Бьюкенен тотчас же отправили своим военным представителям в Ставке однородные телеграммы:

„Мне сообщили, что здоровье Сазонова вынудило его просить у его величества отставку. Благоволяете официально проверить это известие у министра двора. Если оно правдиво, то немедленно доложите барону Фредериксу, что ободряющее слово его величества без сомнения даст Сазонову новые силы для выполнения его обязанностей. Мой коллега, посол Англии, и я, мы чрезвычайно взволнованы мыслью о тех комментариях, которые вызовет в Германии отставка министра, так как, разумеется, усталость не дает удовлетворительного объяснения. Всякая перемена в политике союзников в этот решительный момент войны может иметь самые печальные последствия“.

В тот же день в Ставку выехала императрица.

22 июля французский военный агент в Ставке сообщил Палеологу ответ Фредерикса: „Министр двора, хотя он и не всегда разделял взгляды Сазонова, тем не менее, уже по собственному почину, представил императору, что уход Сазонова в настоящих условиях должен произвести неблагоприятное впечатление; император ответил, что крайнее переутомление Сазонова, совершенно

лишившее его сна и аппетита, не позволяет ему продолжать исправлять свои обязанности, и что его, императора, державное решение уже принято. Фредерикс обещал тем не менее показать императору телеграммы послов Франции и Англии, но прибавил, что не будет просить у государя ответа".

Одновременно, к Палеологу явился Нератов с заверением от имени императора, что перемена министра иностранных дел ни в чем не изменит курса внешней политики империи; а 23 июля газеты оповестили об отставке Сазонова и его замене Штюрмером.

Сообщая об этом событии своему правительству, Палеолог пишет:

„Я не боюсь непосредственного или даже близкого изменения во внешней политике, и декларация, сделанная мне 22 июля императором через Нератова, внушает мне полное доверие в настоящем. Официальная деятельность императорской дипломатии будет, повидимому, следовать тому же пути. Но можно опасаться, что понемногу в министерстве иностранных дел появятся новые фигуры и новый дух. Мы должны предвидеть, что тайны наших переговоров не останутся безызвестными некоторым лицам, которые по своим германофильским тенденциям, по своим отношениям к германской аристократии и финансовому миру, наконец, по своей ненависти к либерализму и демократии желают примирения с Германией. Теперь эти лица могут действовать в духе своих желаний лишь очень исподтишка. Национальный порыв еще слишком силен, и они погибнут, если откроют свою игру. Но если через несколько месяцев, к зиме, наши военные успехи не оправдают наших надежд, то германская партия в Петрограде станет опасной, благодаря своим соумышленникам в министерстве иностранных дел“.

Кто является истинным виновником трагического положения России? ставит себе вопрос Палеолог. С назначением Штюрмера страшно усилилось влияние Распутина, который пользовался императрицей, как своим орудием; между тем, вследствие постоянного пребывания императора в Ставке, управление фактически было как раз в руках императрицы. „С тех пор, как император уехал в Ставку, императрица завалена делами, говорит Палеологу мать Вырубовой; — этот добряк Штюрмер обо всем советуется с ней“. То же впечатление вынесит Палеолог и из разговора с госпожой Штюрмер. „И вот чудодейственный мужик все более и более превращается в политика, авантюриста и мошенника. С ним в союзе банда еврейских спекулянтов, которая щедро награждает его за услуги. По их назначению Распутин посылает записки министрам, банкам, влиятельным лицам. Я видел некоторые из этих записок, безграмотные, написанные безобразным почерком, грубо повелительные. Отказать ему не смеют. Назначения, повышения, милости, субсидии — но все ему дается согласие. Если дело слишком важно, он обращается непосредственно к императрице. „Сделай это для меня“. И императрица тотчас же отдаст соответствующее приказание, не подозревая, что она работает этим на Маниуса и Рубинштейна, которые, в свою очередь, работают на Германию“.

„Если бы мне пришлось делать заключение по этому вопросу, говорит Палеолог в другом месте (10 дек. 1916 г.), я сказал бы, что роковая поли-

гика, ответственность за которую несут императрица и ее котерги, вдохновляется четырьмя лицами: председателем крайней правой в Государственном Совете Щегловитовым, митрополитом петербургским Питиримом, бывшим директором департамента полиции Белецким и банкиром Манусом. Вне этих четырех лиц, я вижу только игру анонимных сил, коллективных, рассеянных и порою бессознательных, которые выражают вековые традиции царизма, его инстинкт консерватизма. В этом квартете я отвожу особую роль банкиру Манусу: он налаживает сношения с Берлином; через его посредство Германия ведет свои интриги в русском обществе; он же распределяет германские субсидии*.

Не мало заметок посвящает Палеолог росту революционного движения в этот период. Характерны в этом отношении признания Мануйлова, директора канцелярии Штюрмера, сделанные им Палеологу. „Тыловые части армии развращены, говорит он. Люди находятся в бездействии или, по меньшей мере, мало заняты. Как вы знаете, зима—плохое время для обучения. А в этом году нам пришлось к тому же упростить и сократить военные упражнения вследствие недостатка ружей, пулеметов и еще более—недостатка офицеров. Прибавьте к этому, что солдаты в казармах помещены очень плохо. Их набивают, как попало, одного на другого. Преображенские казармы рассчитаны на 1.200 человек, а там помещаются 4.000. Представьте себе эти прокуренные комнаты, без вентиляции, почти без освещения. Солдаты бьются от самого ужина до утра. Не забывайте, что среди них есть представители всех рас, всех национальностей империи, всех религий и сект, в том числе и евреи. А это прекрасный бульон для культивирования революционных идей. Наши анархисты давно поняли это“.—„А что думает г. Штюрмер?“ спрашивает Палеолог.—„Г. Штюрмер, только дайте ему действовать, и вы увидите, он сделает славное дело“.

„Если понимать под серьезными событиями народные волнения или разгон Думы,—говорит Палеологу в начале июля 1916 г. Миллюков,—то я могу вас уверить, что в настоящий момент их ожидать нельзя. Будут забастовки, но чисто местные, не сопровождаемые насилиями. Бунт поднимется только в том случае, если наша армия понесет поражение; общественное мнение не потерпит повторения отступления на Дунае. Можно ждать волнений и в случае голода. В этом отношении я несколько беспокоюсь за будущую зиму. Что касается разгона Думы, я не сомневаюсь, что Штюрмер и его банда думают о нем, но мы не дадим им ни малейшего предлога. Мы решили не поддаваться их провокации и противопоставить ей наше терпение и благоразумие. После войны—увидим. Однако, эта тактика имеет большой недостаток. Она вызывает против нас в либеральной среде упреки в трусости: она грозит нам потерей соприкосновения с массами, которые пойдут тогда за людьми крайних воззрений“.

„Особа, хорошо осведомляющая меня о том, что делается в прогрессивных кругах,—записывает Палеолог под 8 октября,—указывает на активную работу социал-демократии, особенно ее крайней группы, большевиков; про-

должительность войны. неуверенность в победе, экономические затруднения оживили надежды революционеров. Они готовятся к борьбе, считают ее близкой. Во главе движения стоят три депутата—Чхеидзе, Скобелев и Керенский. Кроме того, два могущественные влияния доносятся из-за границы—Плеханова и Ленина. Что меня поражает в этом петроградском триумвирате, так это прагматический характер его деятельности. Разочарование 1905 г. принесло свои плоды. Уже не хотят вступать в соглашение с кадетами, так как кадеты—это буржуа, которые никогда не поймут пролетариата; не строят себя иллюзий и на немедленную помощь деревенских масс, ограничиваясь в этом отношении обещанием раздела земли. Прежде всего организуют вооруженную революцию. Революционная диктатура будет достигнута тесным взаимодействием фабрики и казармы. Душой всего дела является Керенский“.

Правительство знает о росте революционного настроения и тем не менее устами нового министра внутренних дел, Протопопова, назначенного по рекомендации Распутина, провозглашает крайнюю реакционную программу. Палеолог переищет заявление Протопопова, что он „несколько не боится взрыва революционных сил; он сам вызовет их в случае нужды, чтобы сломить одним ударом“.

„Министров открыто обвиняют в том, что они умышленно поддерживают голод, чтобы вызвать смуту и иметь повод раздавить социалистические организации. По заводам распространяются брошюры, приглашающие рабочих начать забастовку с требованием окончания войны. Откуда эти брошюры? Одни говорят, что их распространяют германские агенты, другие—охрана“ (24 октября 1916).

Под 31 октября Палеолог заносит: „Уже два дня бастуют все заводы. Рабочие, без всякого повода, покинули свои мастерские, повинувшись приказу какого-то таинственного комитета“.

В обществе Палеолог отмечает уныние; говорят о забастовках, о продовольственных беспорядках. Военное положениеотягчено разгромом Румынии. Ходят слухи об измене Штюрмера, о подготовке сепаратного мира; по утверждению одного придворного сановника, с которым беседовал Палеолог, Штюрмер и компания являются орудием в руках какого-то анонимного синдиката балтийских баронов, высших чинов двора, ультра-реакционеров, синода, части промышленников и финансистов, которые добиваются заключения сепаратного мира. Если император будет противиться им, они убьют его или заставят отречься.

Уже давно отмечает Палеолог, что русское общество охладело к мечте о завоевании Константинополя; фраза о Константинополе в правительственной декларации в Думе 4 декабря 1916 г. „падает в пустое пространство. пустое пространство, созданное из удивления и безразличия“; „народ уже давно отказался от этой византийской мечты“, замечает Палеолог несколько позднее (25 декабря 1916 г.).

23 ноября Палеолог получил неофициальное известие об отставке Штюрмера и его замене Треповым, которое подтвердилось на другой день.

Палеолог радуется новому назначению: Трепов — враг Германии, кроме того, он энергичен, умен, настойчив. Тотчас по вступлении в должность „Трепов, которого, конечно, нельзя заподозрить в излишней снисходительности или робости перед Думой, сознал невозможность управлять вместе с Протопоповым, который все более и более обнаруживает признаки умственного расстройтва. Позавчера, на аудиенции у императора в Могилеве, Трепов умолял его назначить другого министра внутренних дел, напоминая его величеству, что отставка Протопопова была главным условием принятия им должности председателя совета. Но императрица, которая все еще находится в Ставке и внимательно следит за всем происходящим, предвидела этот удар. И хорошо вышколенный император ответил, что он рассчитывает на лояльность Трепова, чтобы облегчить Протопопову выполнение его обязанностей. Трепов твердо и почтительно повторил свою просьбу. Император остался непоколебим. — В таком случае, продолжал Трепов, мне остается только просить Ваше Величество принять мою отставку. Совесть не позволяет мне взять на себя ответственность, если Протопопов сохраняет за собой портфель министра внутренних дел. После минуты колебания император произнес властным тоном: „Александр Федорович, я предписываю вам исполнять вашу должность с теми сотрудниками, каких я вам назначил“ (29 ноября 1916 г.).

„Положение Трепова очень щекотливое, замечает Палеолог. С одной стороны, он сознает невозможность управлять страной, честным образом, выполняя политику альянса, пока полицейская организация находится в руках Протопопова. С другой стороны, в качестве приверженца легальных установлений империи, он отрицает за Думой право вмешательства в суверенные прерогативы, из которых одна из важнейших — выбор министров. Поэтому, конфликт Думы с правительством готовит нам немало досадных инцидентов“.

Конем 1916 г. ознаменован убийством Распутина, на котором Палеолог останавливается очень подробно, но все эти подробности слишком хорошо известны русскому читателю, чтобы стоило на них останавливаться.

„Если судить по созвездиям русского неба, записывает Палеолог под 1 января 1917 г., год начинается при плохих предзнаменованиях. Повсюду уныние и беспокойство: войной более не интересуются; никто не верит в победу: все покорно жут худшего“.

„Сегодня утром я обсуждаю с Покровским проект ответа на американскую ноту о целях войны. Мы ищем формулу по вопросу о Польше; я ставлю на вид, что восстановление Польши в целом и следовательно отнятые у Пруссии Познани имеют первостепенное значение. Покровский соглашается в принципе, однако, колеблется из боязни дать союзникам право вмешательства в польские дела... Он многократо перечитывает спорное место и прибавляет серьезным тоном:

— „Это очень хорошо. Но как далеки мы до этого! Посмотрите на окружающую действительность.“

„Я, как могу, утешаю его, говоря, что полная победа зависит исключительно от нашей энергии.“

„Тяжело вздохнув, он возражает:

— „Взгляните, что происходит“.

Сознание, что так далее продолжаться не может, проникает все шире и шире. В монархически настроенных кругах оно вызывает мысль, что выход можно найти в дворцовом перевороте. 5 января, рассказывает Палеолог, „крупный фабрикант Богданов давал обед, на котором присутствовал член царской фамилии князь Гавриил Константинович, несколько гвардейских офицеров, в том числе граф Каппист, адъютант военного министра, член Государственного Совета Озеров и несколько представителей финансовой аристократии, между прочим, Путилов.

„Во время оживленного обеда говорили исключительно о внутреннем положении. Обращаясь к князю Гавриилу, Озеров и Путилов заявили, что, по их мнению, единственное средство спасти царствующую династию и монархический режим—объединить всех членов императорской фамилии, лидеров партий в Совете и Думе, представителей дворянства и армии, торжественно провозгласить императора слабоумным, недостойным своей роли и неспособным царствовать и провозгласить вступление на престол цесаревича под регентством одного из великих князей.

„Ни мало не протестуя, князь Гавриил ограничился несколькими чисто практическими возражениями и пообещал довести все сказанное до сведения своих дядей и двоюродных братьев.

„В тот же вечер я узнаю, что в семье Романовых большое волнение. Несколько великих князей, среди которых называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны, Кирилла, Бориса и Андрея, говорят не более и не менее, как о спасении царизма путем смены императора. Они намереваются идти в Царское с четырьмя гвардейскими полками, верность которых уже сильно поколеблена, овладеть царскою четой и убедить императора отречься; императрицу заточить в монастырь; затем провозгласить воцарение цесаревича Алексея под регентством великого князя Николая Николаевича.

„Инициаторы этой идеи считали, что великий князь Дмитрий Павлович, участвовавший в убийстве Распутина, должен и теперь руководить заговором и увлечь за собой войска. Его двоюродные братья Кирилл и Андрей Владимировичи были у него вчера в его дворце на Невском и всеми силами убеждали его „довести до конца дело национального спасения“. После долгой борьбы со своей совестью Дмитрий Павлович решительно отказался „поднять руку на государя“; его последние слова были: „я не нарушу моей присяги“.

Гвардейские полки, среди которых организаторы заговора уже нашли приверженцев, это—Павловский, расположенный на Марсовом Поле, Преображенский, расположенный около Зимнего Дворца, Измайловский—около Обводного канала, Гвардейский казачий, расположенный за Александро-Невской Лаврой, и, наконец, эскадрон Гусарского полка, стоящий гарнизоном в Царском Селе. „Работа заговорщиков в казармах была почти тотчас обнаружена охраной. Белецкому поручено начать расследование параллельно с расследованием об убийстве Распутина“.

Глубоко обеспокоенный всем происходящим в России, Палеолог просит аудиенции у императора, надеясь найти случай попытаться восنуться в разговоре и внутреннего положения России. Все окружающие горячо поддерживают его в этом намерении. Покровский, оповещая его о времени аудиенции, прибавляет: „Я умоляю вас говорить с государем вполне откровенно, ничего не скрывая. Вы нам окажете большую услугу“.

„При входе я был поражен утомленным видом императора, его напряженной, осунувшейся физиономией.

— „Я просил ваше Величество принять меня, говорю я, так как всегда находил у вас поддержку и утешение и сильно нуждаюсь в них сегодня.

„Беззвучным, неузнаваемым голосом он отвечает:

— „Я по прежнему решаюсь вести войну до конца, до полной, решительной победы. Читали вы мой последний приказ по армии?

— „О, конечно, и я восхищался духом веры, несокрушимой энергии, которым дышит этот документ. Но, какая пропасть между этим блистательным утверждением вашей державной воли и фактической действительностью!

„Император смотрит на меня недоверчивым взглядом. Я продолжаю:

— „В приказе вы говорите о вашем непоколебимом намерении овладеть Константинополем. Но как достигнет этого ваша армия? Неужели вас не пугает то, что делается в Румынии? Если отступление русских армий не будет остановлено, они должны будут очистить всю Молдавию и отступить за Прут или даже за Днестр. А вы не боятесь, что в таком случае Германия организует в Бухаресте временное правительство, посадит на престол когонибудь из своих принцев и заключит мир с этою новою Румынией?

— „Это, действительно, очень тревожно. Но я делаю все, чтобы усилить армию генерала Сахарова; только трудность с транспортом и снабжением чрезвычайно велика. Но я надеюсь, что дней через десять мы будем в состоянии перейти в наступление в Молдавию.

— „Как, в десять дней! Разве 31 пехотных и 12 кавалерийских дивизий, которые требует генерал Сахаров, находятся уже на фронте?

„Он отвечает неопределенно:

— „Не могу вам сказать, не помню. Но там уже сосредоточено много войск, очень много, и я пошлю еще, еще...

— „И скоро?

— „Да, надеюсь.

„Разговор еле тянется. Я не могу фиксировать на чем-нибудь ни взгляда императора, ни его внимания. Мне кажется, что мы за тысячи верст друг от друга.

„С жестом уныния я говорю ему:

— „Ваше Величество, я выйду из вашего кабинета еще более обеспокоенным, чем вошел. Впервые я не чувствую себя в контакте с вашею мыслию.

„Он с чувством протестует:

— „Но я отношусь к вам с полным доверием. У нас столько общих воспоминаний, и я знаю, что могу рассчитывать на вашу дружбу.

— „Именно эта дружба и заставляет меня тревожиться и печалиться; ведь я изложил вам только ничтожную часть моих опасений. Есть предмет, касаться которого французский посол не имеет права; вы понимаете, какой. Но я не оправдал бы вашего доверия, если бы умолчал о том, что симптомы, наблюдаемые мною в последние недели, расстройством в лучших умах, страх, овладевший вашими самыми верными подданными, пугают меня за участь России.

— „Я знаю, что в петроградских салонах очень волнуются.

„И не давая мне времени возразить что-нибудь на эти слова, он вдруг развязно спрашивает меня:

— „А что поделявает наш друг, Фердинанд Болгарский?

„Я отвечаю холодно-официальным тоном:

— „Я уже давно не имею о нем известий, и умолкаю...

„Пока императорский поезд увозит меня по метели в Петроград, я перебираю впечатления этой аудиенции. Слова императора, его неожиданное молчание, мрачная, напряженная физиономия, неуловимый, далекий взгляд, скованность мысли, что то смутное и загадочное во всем его существе еще более убеждают меня в мысли, уже давно приходившей мне в голову: император чувствует себя выбитым из колеи, события властвуют над ним, у него не осталось веры ни в свою миссию, ни в свое дело; он, так сказать, внутренне уже подписал отречение; он примирился с катастрофой и готов к жертве. Его последний приказ по армии, гордое упоминание о Польше и Константинополе, были, как я и предчувствовал, чем-то в роде политического завещания, высшим утверждением славной мечты, делеянной им для России, мечты которую он видит разбитой“.

На этом пока обрываются записки Палеолога.

В. Водовозов.

Легенда о С. Л. Перовской.

(В видах беспристрастной истины).

Помещенные в № 19 „Былого“ за нынешний год „Воспоминания“ О. В. Аптекмана интересны по содержанию и по живости изложения. Тем же менее, они заключают в себе недоразумение, которое мне хочется разъяснить в целях истины. Желание мое тем естественнее, что вопрос касается С. Л. Перовской, память о которой сияет неувядаемой красотой и славой. Но, говоря о Перовской, мы должны быть особенно осмотрительны. Выдающийся человек не нуждается во внешних украшениях, чтобы влиять на окружающих силой и блеском своих духовных качеств. Подобно всем смертным, такой человек в своем физическом существе подвержен общим законам природы и с чародейством и мифологией не имеет ничего общего.

В виду этих соображений, я не могу не протестовать против строк, напечатанных О. В. Аптекманом на стр. 126 „Былого“: „Молодая девушка, 18 лет, проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать, апокалиптического зверя — в III Отделение, это „высшее в государстве полицейское учреждение“, как оно само важно величает себя. Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидящими там товарищами, получает и передает им записки и всякие поручения, имеет с ними свидания в камерах и совершенно сказочным образом выводит своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III Отделения и т. д., и т. д., — словом, девушка не больше, не меньше, хозяйничает в III Отделении. Эта девушка — Софья Перовская. Сколько доверия надо было иметь к 18-летней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело“.

В этом месте находится выноска, ссылающаяся на статью Л. Э. Шишко: „Кравчинский и кружок чайковцев“ а также на воспоминания В. В. Берви (Флевровского).

Раскрываем статью Шишко и находим следующие 6 печатных строк, единственные, относящиеся во всей статье к Перовской: „Всеми делами такого рода (как хранение печатного станка) заведывала (в кружке чайковцев) особая конспиративная комиссия, к которой принадлежала, между прочим, 18-ти-летняя Перовская. В ведении Перовской находились также сношения с аресто-

ванными, сидевшими в III Отделении, через одного подкупленного жандарма, который регулярно приносил ей записки и принимал от нее поручения“.

Все, что так просто и ясно у Шишко, превратилось в статье О. В. Аптекмана в таинственное повествование, более замысловатое, пожалуй, чем некоторые рассказы из „Тысячи и одной ночи“, где, например, требовалось запомнить слова: „Сезам, Сезам отворись“, а перед С. Л. Перовской тяжелые тюремные замки сами собой отворялись, заключенные оказывались переодетыми выходили на улицу, и проч., и проч. Лично я не допускаю возможным, чтобы под пером О. В. Аптекмана шесть незамысловатых строк книги Шишко превратились в туманную мифологию. Я думаю, что свой рассказ О. В. Аптекман взял не из статьи Шишко, а из „Воспоминаний В. В. Берви („Голос Минувшего“ 1916, февраль, с. 82—83). В этих воспоминаниях, в рассказе о Перовской, действительно, трудно отличить быль от небылицы, и в подтверждение своих слов я приведу целиком несколько длинную выдержку для того, чтобы читатель сам мог судить о преобразовании, которое претерпел простой факт заведывания Перовской перепиской с заключенными в III Отделении. „Между всеми (пропагандистами)—пишет Берви—выдавалась Перовская; ее смелость, ее изобретательность и хитрость поражали и удивляли. Ей удалась вещь до того беспримерная — свидание с преступником, осуждавшимся на каторжные работы, в камере одиночного заключения Третьего Отделения“. Затем следует подробное описание устройства тюрьмы при III Отделении, а дальше — рассказ снова возвращается к Перовской: „Вы думаете, м. б., что свидание устроено было через крышу и потолок — нисколько! Лицо, которому нужно было видеть будущего каторжника, было введено открыто жандармом в кордегардию; ему любезно отперли дверь в арестантские помещения, провели в верхний этаж; столь же обязательно отперли камеру каторжника и скромно удалились, чтобы дать им на свободе беседовать между собой. По распоряжению Перовской, заключенные в III Отделении надевали платье жандармов и свободно разгуливали по Петербургу, а жандармы переодевались в гражданское платье. Ей приносили из III Отделения всякое дело, какое ей было нужно, и относили к тому из заключенных, которого она указывала. То, что составляло секрет для жандармов, не составляло секрета для нее. Она могла указать камеру, в которую должен был быть посажен заключенный; она пожелала сидеть рядом со мною, и ее посадили. Три девушки, из которых я знал только одну, пожелали проводить меня в Москву. Жанд. офицер ввел меня в вагон и посадил у окна, предупредив о появлении посетительниц, и, действительно, посетительницы явились. Самые отчаянные вещи проделывались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать большое усердие и доносить о всяких пустяках. Самое главное достоинство Перовской заключалось в том, что любимцы начальства могли вполне на нее положиться; там, где она распоряжалась, никогда никаких историй не выходило. Первые шаги на этом поприще требовали больших усилий и стоили очень дорого. Для жандармов это было новостью, они не решались действовать и сильно боялись наказания. Свидание, о котором я говорил, стоило несколько

сотен рублей. Однако же скоро дело пошло очень успешно: в Москве я ниввел плату за передаваемое письмо до 10 коп. Между политическими заключенными в разных тюрьмах этого города пошла такая переписка, что я завален был письмами от совершенно незнакомых мне людей. В мою камеру вводили заключенных, желавших меня видеть; мне это ничего не стоило, не знаю стоило ли это им. Такое развитие дела вытекало из того, что жандармы, по мере того как они знакомились с политическими, начинали сочувствовать им и увлекаться ими. Они мне не раз повторяли: если бы графу Шувалову назначить такое же жалование, как простому жандарму—было бы справедливо."

Источники приведенного мною неудачного рассказа ясны. Это прежде всего—преклонный возраст автора, когда то обладавшего светлой головой и ясными мыслями, увлекавшими русскую молодежь на служение родному народу.

Другая причина ошибок В. В. Бervi кроется в том, что автор мало знаком с условиями заключения и тюремного режима вообще. Если, действительно, однажды, по желанию Перовской, ее посадили в камеру рядом с В. В. Бervi, из этого, конечно, не следует, что Перовская распоряжалась в тюрьме по своему усмотрению.

Маленький пример: Когда я сидела в доме предварительного заключения (в 1882 году), заведующей женским отделением тюрьмы была черносотенная дама, вдова какого-то высокого чина. Тем не менее, если кто либо из политических заключенных просил перевести ее в такой то свободный номер, она иногда соглашалась на эту просьбу, зная, что исполнение такого незначительного желания благотворно подействует на психическое состояние заключенной, которая станет спокойнее и менее будет причинять хлопот заведующей и надзирателям. Из этого, однако, не следовало, что политические заключенные распоряжались в тюрьме и могли назначать, в какой мере должна сидеть та или другая заключенная.

Еще один повод к ошибкам В. В. Бervi лежит в том, что он принимает на веру все то, что ему говорили жандармы, которые, может быть, желали подладиться к известному писателю, и льстили себя надеждою, что он сохранит о них хорошее воспоминание. И он, действительно, сохранил его. Он говорит между прочим: „Самые отчаянные вещи проделывались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать большое усердие и доносить о всяких пустяках“. И В. В. Бervi чистосердечно верит, что карьера жандармов вполне зависела от пустяков. Чем больше пустяков они донесут, тем милостивее будет к ним начальство, а серьезных доносов оно станет требовать от плохих жандармов.

О логических ошибках я не стану даже говорить: так их много, и так они очевидны. Но тот факт, что силлогизмы В. В. Бervi неправильны, должно было навести О. В. Аптекмана на мысль, что и самый его рассказ о С. Л. Перовской не верен.

16 июня 1922.

А. Прибылева-Корба.



Критика и библиография.

А. А. Шилов. *Что читать по истории русского революционного движения? Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей.* Петербург. Государственное Издательство. 1922. Стр. 230.

Указатель А. А. Шилова отвечает давно назревшей потребности, вернее вызван ею, и поэтому даже как бы несколько запоздал; в настоящее время потребность в таком указателе отнюдь не больше, чем она была год, два, три, даже четыре тому назад. Оно и понятно; с библиографической работой по вопросу, не бывшему никогда предметом систематического изучения и, главное, свободного преподавания, не имевшему „кафедры“ и не образовавшему „школы“, иначе и быть не может. Только, когда „курсы истории революционного движения, или хотя бы отдельные лекции, с самого начала нашей революции делались непрямым условием“ всех школ и учебно-просветительных предприятий—для множества людей явилась подлинная, можно сказать, гнетущая необходимость в быстро и легко ориентирующем пособии по литературе предмета, такого многосоставного по материалу своему содержанию и объему, логически столь несовершенного отграниченного и до сих пор, органически не связанного с общим процессом русского исторического развития. На наш взгляд, большая заслуга составителя этого пособия в том, что он сравнительно так скоро, в чрезвычайно невыгодной для библиографической работы обстановке, первый сумел его дать его растерянному среднему читателю нашего времени.

Автор, по его словам, „отнюдь не ставил своей задачей дать полный исчерпывающий перечень историко-революционной литературы“, справедливо считая это делом будущего „хотя, может быть, и близкого“. Его увлекла мысль дать „указатель, предназначенный для первых справок и, главным образом, рассчитанный на широкие массы читателей“. Именно поэтому он „воплне сознательно не вводил в свой указатель многих мелких статей и заметок, ограничиваясь более крупными, дающими цельное представление о каком-либо событии или деятеле русского революционного движения“. То же внимание к массовому читателю было причиной „сознательного невведения в указатель“ конфискованных, или уничтоженных и заграничных изданий, обычно не встречающихся в общественных библиотеках среднего типа. Запросы и возможности такого читателя хорошо известны А. А. Шилову, много порабатывшему в рабочей и в университетской аудиториях, неоднократно читавшему специальные курсы по библиографии истории революционного движения для различных групп работников библиотечного дела и организатору объяснительных чтений на выставке „Революционной Книжки“, им же с немалым трудом и тщательностью и устроенной при Историко-Революционном Архиве в июне-августе 1921 г. Таким образом, составитель указателя шел непрерывным путем собственного своего разностороннего опыта, определившего задачу, характер, объем и построение книги. При таком эмпирическом происхождении указателя втуне остается просьба А. А. Шилова ко всем интересующимся—

„пополнять неизбежные во всякой библиографической работе пробелы“ непосредственными обращениями к автору. От достоинств указателя, обусловленных сознательным поставленным себе автором ограничениями, не осталось бы и следа, если бы критика сосредоточила свои усилия на том, чтобы в последующих изданиях не было „пробелов“.

Составитель счел необходимым „не держаться в пределах партийной литературы“ и включил в указатель статьи и книги, вышедшие „из разных политических лагерей“. Желание „дать возможность читателю самому разобраться в литературе интересующего его вопроса и осветить его всесторонне“, руководившее А. А. Шиловым в данном случае, вполне законно и понятно, особенно, при наличном состоянии указанной литературы. Но это бесспорное достоинство, кажется, послужило причиной и одного серьезного недостатка работы. Пользование указателем облегчено тем, что в конце книги дан алфавитный перечень имен и сюжетов со ссылками на соответствующие страницы. Точно также читатель будет благодарен автору за коротенькие ориентирующие характеристики, которыми сопровождаются (в первом разделе книги) „справочные издания, общие труды по истории революционного и общественного движения и издания материалов“. Однако, на этом и кончается сопутствующая роль составителя. Читатель далее остается, предоставленный самому себе, в лесу названий книг и статей по данному вопросу, выписанных в алфавитном порядке. Он, разумеется, не станет требовать, чтобы в всякая книга или статья была бы ему аттестована, но на страничке, отведенной Радищеву, он находит то, что ему как раз надо: две строчки, что „книги А. и М. являются лучшими для первого знакомства с деятельностью Радищева“, хотя бы по прочтении всей указанной литературы о Радищеве лаче чаяния, и не согласился бы с составителем. Зато соседняя страничка о Новикове подвергает читателя риску заблудиться между Тихомировым и Усовой, т. е. обе эти биографии тождественны по заглавию и, хотя стоят в конце перечня, зато от всех прочих отличаются тем, что годы и места их издания останутся интриговать читателя до тех пор, пока он не возьмет в руки самих книжек. Такое требование читателя тем более законно, что в одном, другом случае (правда, всего лишь в одном) читатель испытывает скрытое руководящее давление составителя, где оно совсем не нужно: с „Эпохой Николая I“ ему рекомендуют, между многими другими, ознакомиться по Туган-Барановскому „Русская фабрика в ее настоящем и прошлом“ в 3-ем издании, (с. 34) с „Заводскими бунтами“—по нему же, но во 2-м издании („в прошлом и настоящем“, с. 57), а с „Эпохой Александра II“—по изданию „1903 г.“ (с. 68), т. е. не по 2-му, которое помечено 1900 годом, и не по 3-му, помеченному 1909 годом, но тогда по какому же?— Думаем, что для практических целей, которыми служит указатель, полезно и возможно включить в него примечания, рассчитанные: одни—на массового читателя неспециалиста, другие—на „специалиста“, „для первых справок“. Едва ли это увеличило бы объем книги, если ввести в указатель условные сокращения для много раз повторяющихся названий или даже просто пожертвовать частью названий. Против последнего, м. б., будет возражать так назыв. специалист, но на массовом читателе оно не отразится при несомненном библиографическом богатстве нашего указателя.

Указатель, сверх черного (с. 11—23), состоит из след. крупных разделов: 2) Предшественники революционного движения XVIII в. (с. 27—29), 3) Александровская эпоха (с. 33—49), 4) Николаевская эпоха (с. 53—64), 5) Эпоха Александра II (с. 67—68), 6) Революционное движение 1860-х г.г. (63—97), 7)—1870-х г.г. (с. 101—120), 8) „Народная Воля“ и революционное движение 80-х. г.г. (с. 123—147), 9) Политические партии и их деятельность в 1880—1910 г.г. (с. 151—170), 10) 1905 и следующие годы (с. 173—197), 11) Февральская революция (с. 201—205), 12) Эмиграция, тюрьма, ссылка и каторга (с. 209—224). В каждом из разделов существуют дальнейшие подразделения, исходящие в конечном счете до отдельных лиц, событий, категорий, явлений, учреждений, функций общественной жизни, хронологических отрезков и т. п. В этом пункте лежала для составителя, вероятно, максимальная трудность работы: дать систематизацию громадного печатного материала, в сущности, почти то же, что дать в высшей степени расчлененную программу

курса истории революционного движения и притом такую, в которой недопустимо опущение неукладывающихся в схему предметов, однако же выдвинутых в литературе. В этом пункте „составитель“, как именует себя А. А. Шилов, обращается в „автора“ хочет он [этого] или нет. Повидимому—не хочет. По крайней мере, он уклонился от того, чтобы поместить в книге хотя бы суммарное оглавление, даже не перенумеровав разделов своего указателя. А между тем, для всякого читателя хорошее оглавление, технически не облегчая пользования книгой, было бы полезным конспектом или чертёжом того предмета, интерес к которому не отрицает же и сам автор: истории революционного движения. Мы думаем, что для все тех же практических целей желательно включить в указатель и подробное оглавление.

Автор прямо же определяет, при этом, что он разумеет под „русским революционным движением“, но на деле он выключает из своего указателя аналогичные явления в жизни национальных меньшинств в Российской Империи (кроме евреев и отчасти поляков), имеет дело с XIX и XX столетиями (до февраля 1917 г. включительно), в XVIII ст. принимая во внимание лишь т. наз. „предшественников революционного движения“—Бречетова, Радищева, Пнина и Новикова с масонами, а в пределах названных столетий и на русской почве понимает свою задачу очень широко, следя, напр. и за земским конституционным движением, и за правыми партиями, и за деятельностью Столыпина и т. п. Можно только приветствовать такое понимание в последнем случае и согласиться с установленными хронологическими рамками. Но изгнание национальных меньшинств, при всех трудностях, связанных с этим предметом, представляется все же несколько искусственным.

Б. Романов.

Н. К. Михайловский. *Что такое прогресс?* Под редакцией Иванова-Разумника. Изд. „Колос“. Петерб., 1922 г. Стр. 223.

Трактат Н. К. Михайловского о прогрессе, это не статья, а именно целый трактат, имеет одинаковое значение как для изучения теоретической социологии в России, так и нашего общественно-революционного движения. Это—настоящий манифест революционного народничества 60—70 гг., определивший его программу на много лет вперед. Ни один курс по истории революционного движения того времени не может обойтись без упоминания о статье Михайловского: „Что такое прогресс“. Теперь эта работа выходит в отдельном издании „Колоса“ под редакцией Иванова-Разумника. Сочинения Михайловского давно уже раскуплены, на книжном рынке их нет, переиздать их полностью нет никакой возможности, поэтому появилось, хотя бы главных произведений Михайловского отдельными выпусками, можно только приветствовать. Но „Колос“ дает не простую перепечатку „Что такое прогресс“, а делает попытку издать эту статью в таком виде, чтобы она могла послужить началом, если не основой, для будущего строго научного издания сочинений Н. К. Михайловского. Соединяя в собрание сочинений свои журнальные статьи, Михайловский, говорит редактор нового издани, „много вычеркивал, многое исправлял и переменял“. Необходимо поэтому обратить внимание прежде всего на изучение текста его произведений, установив все встречающиеся там разночтения и дополнения. Так и проредактирована в настоящем издании статья Михайловского „Что такое прогресс“. Многочисленные явные опечатки исправлены в тексте и примечаниях без оговорок, разночтения и дополнения по журнальному тексту все внесены в примечания; кроме вариантов и дополнений, в примечаниях этих даны наиболее необходимые фактические комментарии в ряду мест, нуждающихся в разъяснении; в конце даны необходимые библиографические указания. Вся эта работа, прибавляет Иванов-Разумник, может считаться подготовительной для будущего научного издания собрания сочинений Н. К. Михайловского. Предложатели такой работы, несомненно, придут в свое время, пока же надо начать“. Такова программа, намеченная редактором статьи о прогрессе, программа очень интересная и чрезвычайно важная для подготовки научного издания сочинений Михайловского. К сожалению, самим Иванов-Разумником она вы-

полнена далеко не вся. Начать хотя бы с того, что необходимых фактических комментариев к ряду мест статьи Михайловского мы совсем не нашли в примечаниях, между тем именно „Что такое прогресс“ особенно нуждается в такого рода комментариях и передавать его без них едва ли целесообразно. В примечаниях Иванова-Разумника, в общем чрезвычайно скудных, есть правда, несколько библиографических справок, но они ни в каком случае фактическими комментариями не являются. Притом эти справки не всегда точны и не всегда удачны. Восстанавливая в прим. 36 одно упоминание о Дарвине в „Что такое прогресс“, выпущенное автором, Иванов-Разумник упоминает, напр., о том, что свое отношение к Дарвину Михайловский выразил в ряде статей: „Теория Дарвина и общественная наука“, печатавшихся в 1870—1871 гг. На самом деле статьи эти печатались с перерывами с января 1870 по февраль 1873 г.

Это установление возможной точности в датах имеет большое значение для характеристики некоторых особенностей в умственном развитии Михайловского. Далее: прим. 33, посвященное статье Михайловского „Что такое счастье“, слишком кратко, необходимо было бы привести те разъяснения, которые делает по данному пункту сам Михайловский в статье о Слонимском (см. т. X, стр. 105—106). Эти два примечания, одно не совсем точное, а другое слишком не полное, и представляют те фактические комментарии к ряду мест, нуждающихся в разъяснении, которые обещаны были в предисловии редактора. Приблизительно также обстоит дело и с установлением изменений в тексте статьи Михайловского о прогрессе. Иванов-Разумник прежде всего слишком преувеличивает, когда говорит, что Михайловский „соединяя в собрание сочинений свои журнальные статьи, многое вычерпывал, многое исправлял и переменил“. Михайловский, действительно, много статей своих не ввел в собрание сочинений, и те, которые там теперь есть, введены им туда не сразу. Первоначально даже „Что такое прогресс“ он колебался вводить в собрание своих сочинений, предполагая переделать этот трактат в самостоятельную книгу. Но когда ту или другую работу Михайловский вводил в собрание сочинений, то там он печатал ее почти без всяких изменений, а если и вычеркивал, исправлял, переменял, то лишь частично, не имевшие серьезного значения. В § 111 своих дополнений Иванов-Разумник сам отмечает тот же факт, говоря: „изменения и поправки („Что такое пр.“) были немногочисленны и несущественны“. На столько несущественны, что Михайловский писал однажды, что статью о прогрессе он перепечатал „без всяких изменений“. Правда, Иванов-Разумник устанавливает теперь ряд разночтений, имеющихся в разных изданиях „Что такое прогресс“, и некоторые из его указаний очень ценны, но далеко не все. Иванов-Разумник сопоставляет два текста статьи о прогрессе, один 1906 года по 4-му изданию и другой 1869 г. по „Отечеств. Запискам“ (рукописи нет). Он находит здесь такие разночтения: напр. в IV изд. вместо „факторов“ говорится „фактов“, что конечно, далеко не одно и то же; вместо „сосуществование“ просто „существование“; вместо „сосуществующими“ опять „существующими“ и т. д. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что эти разночтения являются просто опечатками и притом очень грубыми. Если бы Иванов-Разумник сравнил текст IV изд. с текстом 3-го издания, т. е. последнего, вышедшего при жизни автора, — то он увидел бы, что там ни одного из этих „разночтений“ нет, а везде, где нужно, так и стоит не существование, а сосуществование, не факты, а факторы и пр. Такую же лишнюю работу Иванов-Разумник выполнил и еще в одном отношении. В примечании 17 и 20 он, между прочим, делает пояснение к словам Михайловского: „в другом месте мы имели случай показать“ и пр. что этим другим местом является статья „Преступление и наказание“. Но в 3-ем издании такое указание (см. наприм. стр. 99, т. 1) делает сам Михайловский, и если этого нет в IV изд., то исключительно по небрежности корректора или лиц, наблюдавших за изданием (IV-е издание принадлежало ред. „Русск. Бог.“). Все эти примеры показывают, с каким количеством опечаток действительно издавались статьи Михайловского, и, конечно, Иванов-Разумник прекрасно делает, что их исправляет. Не совсем, однако, удобно то, что, исправляя одни опечатки, он допускает тут же ряд новых, столь же грубых и непонятных (см. стр. 20, 44, 45, 49, 62, 64, 66, 76 и др. изд. „Колоса“). Временами

получаются даже курьезы. В примечаниях Иванов-Разумник, как пример корректурной несообразности, которой надо избегать, приводит ошибку с датой книги Мореа „Metaphysicalis“; напечатано „1862“, когда нужно „1862 года“. Но как раз именно эта опечатка допущена у самого Иванова-Разумника (см. стр. 20 „Что такое пр.“ изд. „Кол.“), и ее нет в 3-ем изд., вышедшем при жизни автора. Если от всех этих мелких погрешностей, едва ли, впрочем, уместных в научном издании, мы перейдем к работе Иванова-Разумника по непосредственному изучению им текста сочинений Михайловского, в частности — истории текста „Что такое прогресс“, то встретимся здесь с еще более существенными пробелами. Работа по истории текста „Что такое прогресс“ почти не начата, но кое-что все таки уже сделано. Первые социологические наброски Михайловского относятся еще к 1865-1866 гг., ко времени его работы в „Книжн. Вестн.“. После „Книжн. Вестн.“ он сотрудничал одно время, правда, очень краткое, в газете „Гласн. Суд“, это было летом 1867 г.; еще позже в „Неделе“ и, наконец, перешел в „Отеч. Зап.“, где в 1869 г. и была им помещена статья „Что такое прогресс“, сразу обратившая на него общее внимание. Позже статья „Что так. прогресс“ как бы закрыла или затмила от наших взоров весь предыдущий период деятельности Михайловского и создала впечатление, что трактат его о прогрессе вырос как-то „вдруг“, внезапно, и до этого трактата того Михайловского, какими мы его узнали позже, не существовало. Изучая теперь историю текста „Что такое прогресс“, мы убеждаемся, что подобное представление не соответствует действительности. Тот Михайловский, который после статьи о прогрессе навсегда вошел, как резко обозначенная фигура, в русскую жизнь и литературу, существовал уже, со всеми своими особенностями, за несколько лет раньше до своего открытого появления на литературной арене. Этот факт имеет не только биографическое, но и общелитературное значение, так как показывает, что Михайловский стал Михайловским еще в самый разгар вынуждения и деятельности Писарева, против которого он тогда-же (в „Кн. Вестн.“) выступал и как публицист, и как социолог.

Без всякого преувеличения можно сказать, что над статьей о прогрессе Михайловский непосредственно работал по меньшей мере с 1867 года, если еще не раньше, то есть в течение приблизительно двух лет; первые же его социологические наброски, вошедшие позже в ту же статью, текстуально относятся еще к более раннему времени — к 1865—1866 гг. Так как все указанные факты имеют очень крупное значение, то нас естественно интересовал вопрос, в какой форме они известны Ивановым-Разумником и какие фактические комментарии к ним сделаны в его примечаниях к „Что такое прогресс“. Из всех этих фактов только один, но, без всяких комментариев, зарегистрирован Ивановым-Разумником в прим. к стр. 79-й. На стр. 79 Михайловский — „для выяснения значения идеи социального организма“ цитирует отрывок из одной своей старой заметки о Дрепере (о его книге „Истор. гражд. развития Америки“), и в прим. 9-ом Иванов-Разумник поясняет, что эта цитата — „взята с небольшими изменениями из рецензии Михайловского на книгу Дрепера, см. „Кн. Вестн.“ 1866 г. август.“ И — только. Но, ведь, в статье „Что такое прогресс“ не одно лишь это место взято Михайловским из его же рецензий в „Кн. Вестн.“. Приведенное место находится в IV гл. „Что такое прогресс“, главе, имеющей центральное значение для всей социологической теории Михайловского. Но в той же главе другое место ее, представляющее опять-таки „ключ к пониманию Михайловского“, именно все то, что там говорится о статье Спенсера „Философия слога“ и все те параллели, которые тут делает Михайловский между рассуждениями Спенсера о философии слога и его же рассуждениями о переходе от однородного к разнородному, как условию прогресса, точно также взяты Михайловским частью прямо текстуально, частью в перифразах из его рецензии в том же „Кн. Вестн.“, но на этот раз не на книгу Дрепера, а на книгу Спенсера „Научные, политические и философские опыты“, том I. Затем вариацию тех же мест из „Кн. Вестн.“ представляют стр. 209 — 211 статьи о прогрессе в издании „Коло-са“, о чем Иванов-Разумник даже не упоминает, как будто этот факт не имеет никакого значения для изучения текста сочинений Михайловского. Неужели же изучение

текста состоит только в механическом сопоставлении „Что такое прогресс“ по изданию 1906 г. с тем, в каком виде эта работа была напечатана в 1869 г. Под изучением текста какой либо литературной работы до сих пор понималось нечто более серьезное и более широкое по своим заданиям; текст изучается в таких случаях не только механически, но и органически, не только в статике, но и в динамике. И если текст статьи о прогрессе изучать с последней точки зрения, то к вышесказанным указаниям пришлось бы прибавить еще ряд новых, ярко рисующих, как и каким образом создавалось у Михайловского литературное выражение выработанных уже им социологических идей. Достаточно будет упомянуть, что в газ. „Гласн. Суд“ он дает целый проспект будущей статьи о прогрессе, в одном из своих литературных обозрений, имеющих такой подзаголовок: „Собрание сочинений Герберта Спенсера—Роль искусства.—Прогресс органический и общественный.—Социальный организм.—Спенсер и идея социального организма“. —Статья с таким перечнем вопросов была напечатана в июле 1867. г. ровно за два года до появления „Что такое прогресс“. Я не счел нужным приводить других аналогичных примеров,—их все равно не перечислить в журнальной рецензии. Да, кроме того, едва ли это и нужно. Все относящиеся сюда материалы, читатель может и так найти в X томе сочинений Н. К. Михайловского, вышедшем еще в 1913 г. и в помещенных там „Библиографических Заметках“. Иванов-Разумник не пользовался этой работой, он в примеч. 9 цитирует непосредственно „Кн. Вестн.“, но по-видимому, он с „Кн. Вестн.“ (не говоря о „Гл. Суде“, „Неделе“ и пр.) не успел ознакомиться детально, потому и вышло так, что им не учтены даже факты, уже указанные в литературе о Михайловском. Такой метод работы при попытке дать читателям научное издание сочинений русского социолога, нам не кажется особенно удачным. „Продолжатели такой работы—говорит Иванов-Разумник—несомненно придут в свое время, пока же надо начать“. Мы считаем себя в праве выразить опасение, основываясь на всем вышесказанном, что если продолжатели Иванова-Разумника будут в своей работе пользоваться такими же методами, как и он сам, то едва ли это даст очень многое для будущего научного издания сочинений Н. К. Михайловского.

Евгений Колосов.

Р. М. Кантор. *В погоне за Нечаевым*. — К характеристике провокационной политики III Отделения. Изд. „Мысль“. Петербург. 1922. Стр. 103.

Еще одна книжка, вскрывающая оборотную сторону медали революции. На ней лежит печать некоторого стремления к „погоне“ за сенсационным материалом для изучения нашего прошлого. Молодые исследователи такими темами теперь охотно занимаются, хотя часто они мало плодотворны с обще-научной точки зрения. Нечаев, провокационная политика 3-го Отд. на рубеже 70-х гг. (вот еще когда: 50 лет назад),—это невольно привлекает к себе внимание. Там, где провокация, всегда есть какой-нибудь революционный Рокамболь, а похождения Рокамболя для широкого читателя всегда занимательны. Роль Рокамболя у Р. М. Кантора играет „крупнейший,—на его взгляд,—агент 3-го Отд.“ за 1869-1870 гг., некий Карл-Арвид Роман. Это был „агент особенный“; „он был прекрасный, как ныне выражаются, „филер“, в этом коренилось его основное призвание. Филерский талант у него обнаружился рано“. „Наличие таланта первоклассного филера“, — и привлекло к Арвиду-Карлу Роману внимание Р. М. Кантора. Этот первоклассный филер, что-то в роде Медникова 60-х гг., „знакомится с Герценом и Ст. Тхоржевским; под именем „издателя Постынькова“ он покупает у Тхоржевского записки кн. Долгорукова, эмигранта-аристократа, автора книги „Правда о России“, становится затем, с разрешения 3-го Отд., издателем II тома мемуаров (точнее материалов по истории XVIII в.) кн. Долгорукова, входит благодаря этому в дружбу с Огаревым, а через него и с Бакуниним. Все это он проделывает—„в погоне за Нечаевым“, желая установить, где скрывается Нечаев после убийства Иванова, по ничему этого не устанавливает, несмотря на все свои таланты первоклассного сыщика и филера.

Наибольший интерес в книжке Р. М. Кантора представляет несомненно та часть ее, где он говорит о Герцене (правда, очень мало), об Огареве и в особенности о Бакунине. Письма Бакунина, записки Огарева, это вечное безденежье первого из них, быстро наступившее умственное разрушение второго, разговоры с ними Романа и его наблюдения над их жизнью, наблюдения, впрочем, более внешнего характера, но не менее интересные; поездка Романа, вслед за Бакуниным и по его поручению, в Лион в сент. 1870 г., когда там вспыхнуло известное восстание, затем поездки Романа, опять-таки по поручению Бакунина, в Россию, в частности в Премухино к его братьям, по вопросу о разделе наследства,— все это пригодится биографам двух старых русских революционеров и историкам общественного движения. Большого материала они там для себя не найдут, но кое-что любопытное, рассыпано то тут, то там, главным образом в письмах Бакунина. „А я, брат, работаю лучше прежнего — пишет Бакунин Роману, — не только по интернационально-революционному, но и по славяно-русскому революционному делу, это мой насущный хлеб“. „К тому же я возвращаться назад не люблю, пошел, значит или вперед, на пан или пропал“ (83, 79). Трудно забыть, что это пишет автор „Исповеди“, тем не менее в его словах чувствуется большая жизненная, психологическая правда.

Все его письма, все разговоры с ним и Огаревым, Роман докладывал в 3-е Отд., даже переписка его с братьями о наследстве шла тем же путем. „Не воображает старый революционер, вероятно, что 3-е Отд. доводит любезность по отношению к нему так далеко, что даже наклеивает марки на его письма к братьям“, — писал Шувалову Филиппеус, извещая его о докладах Романа. Грустной иронией веет от этих сношений Бакунина со своими братьями через агентов 3-го отделения, хотя то-ли еще мы видели из архивных документов последнего времени. Вся эта бытовая сторона тогдашней эмигрантской жизни заинтриговывает читателя, и книжку Р. М. Кантора он проглатывает, как роман.

Чтению мешает лишь небрежность в авторской манере письма, его стремление к такому „словотворчеству“, которое в исторических серьезных работах едва-ли уместно. На стр. 16 автор, напр., желает свое изложение — „дополнить одним очень важным данным“. На 54 стр.: „однажды в Женеву приехал П. Боборыкин, с кем Роман когда-то случайно познакомился в России“. Едва-ли также особенно удачно выражение: „нужно было построить поездку за деньгами на особом фундаменте“ (стр. 57). Или: „предложение же его, чтобы „Постников“ поехал в Россию, совпадает с тем моментом, когда Роману очень хотелось поехать в Петербург“ (стр. 56). Как это может предложение совпадать с моментом — непонятно. На стр. 60: „все сообщенное здесь Романом похоже на вероятность“. Несколько раз автор пишет об „эксплоатировании бумаг кн. Долгорукова“, или выражается так: „он жаждал поймать его (Нечаева), но логика подсказывала ему, что гнаться надо медленнее и осторожно“ (38), и т. д., и т. д.

Мешает чтению также обилие опечаток, иногда совершенно недопустимых и даже непонятных. На стр. 53 есть такое место: „до апреля месяца 1871 г., т. е. до знакомства с Бакуниным, Роман не имел оснований“, и пр. Выходит, что до апреля 1871 года Роман не был знаком с Бакуниным, тогда как познакомился с ним он, как устанавливает сам Р. М. Кантор, 11 апр. 1870 г., ровно на год раньше. На той же 53 стр. цитируется заметка „Голоса“ о пролаже бумаг кн. Долгорукова, при чем делается ссылка на номер от 30 мая 1871 г., но на следующей странице из письма Романа следует, что она была помещена в 1870 г. Желательно, чтобы таких опечаток в исторических работах не допускалось. Еще хуже обстоит с датами на стр. 62—63. Здесь 6/18 августа 1870 года (ст. ст.), — автор так и пишет: 6/18 авг. ст. ст., — Роман едет в Премухино с письмом Бакунина, процензурованным перед этим в 3-ем Отд., куда он его представил, а „16/28 июля мы его опять встречаем на обратном пути в Петербург“. Действительно, это агент какой-то особенный, „агент исключительной по тому времени величии“, раз даже он может на месяц опередить самого себя. Установив на стр. 46 знакомство Романа с Бакуниным, „который сам по себе, как выражается автор, пред-

ставил огромную революционную единицу", Р. М. Кантор на стр. 67 почему-то подвергает, хотя и условно, сомнению этот факт, и начинает снова доказывать, что знакомство тогда действительно имело место. Читателя он этим только сбивает и путает.

Но кроме всего указанного есть у Р. М. Кантора и более серьезные проблемы. Он прежде всего чрезвычайно идеализирует своего героя, много раз подчеркивал, что это был агент особенный и исключительный, что в охранном мире он тоже представлял собою „огромную единицу". Судя по тем данным, которые приводит автор, — ничего особенного и исключительного Роман из себя не представлял. Он взялся отыскать Нечаева и не отыскал даже следов его, хотя при некоторой инициативе и смелости он безусловно мог это сделать, пользуясь дружбой Бакунина. Кроме Нечаева, он разыскивает еще кн. Оболенскую и то же безрезультатно, хотя это дело не представляло никаких трудностей. В прим. на стр. 47 автор упоминает о некоем Бутковском: — „это был один из самых беспардонных агентов и пьяница". И, однако, этот беспардонный агент и пьяница соперничал в погоне за Нечаевым с такой „огромной единицей", как Роман. На стр. 85 Роман сам просит 3-е Отд. освободить его от розысков Нечаева, так как после разрыва Бакунина с Нечаевым, которое тогда произошло, это дело „требуется теперь способностей специального сыщика, которыми, сам сознаюсь, — пишет Роман, — я не владею". Сам сознается, и совершенно справедливо, что не владеет такими способностями, но для Р. М. Кантора он все таки агент особенный, исключительный по своим талантам.

Кроме всего указанного необходимо отметить еще следующее. На стр. 7 Р. М. Кантор пишет: — „это он Нечаев составил требовательный и суровый катехизис революционера". Так могло думать 3-е Отд., да и вообще так можно было думать тогда, но теперь-то мы уже знаем, что катехизис был составлен не Нечаевым, а Бакуниным. В прим. на стр. 35—36 Р. М. Кантор цитирует статью Льва Мечникова о Бакунине (из „Ист. Вестн." за 1897 г.) и упоминает о вступительной заметке к ней Н. Викторова. От Р. М. Кантора, повидимому, ускользнуло, что „Н. Викторов", это Вл. Д. Бурцев. Бурцев прислал тогда статью Мечникова в „Ист. Вестн." и написал к ней предисловие под псевдонимом „Н. Викторова".

Мы бы не хотели, однако, чтобы все указанные нами не столько ошибки, сколько естественные промахи при торопливой работе над несколько сенсационным материалом, получили в глазах читателя такое значение, какое мы не хотим и вовсе придавать. При всех этих в общем мелких, хотя и многочисленных промахах, работа Р. М. Кантора вполне добросовестна и серьезно выполнена; материал им изучен тщательно; документы использованы с умением. Брошюра его не останется не замеченной и доставит одинаковое удовлетворение как специалисту-историку, так и широкому читателю.

Евгений Колесов.

Материалы по истории революционного движения. Под редакц. В. Г. Миллерова. Госиздат. Нижний Новгород. Том I—1920 г.; том II—1923 г.

В 1919 г. в Иваново-Вознесенске местный Губисполком выпустил «Иваново-Вознесенский календарь на 1919 год». В нем, кроме статей общего характера, посвященных Октябрьской революции, были помещены четыре небольшие статьи о революционном прошлом Иваново-Вознесенска. Если не ошибаемся, это было первое издание, посвященное революционному краеведению. С тех пор в провинции вышло несколько аналогичных изданий; часть их издана обществами для изучения местного края, другие — местными комиссиями Истпарта; поэтому, все они касаются истории соц-демократического и рабочего движения, и период времени, захватываемый ими, не восходит ранее конца 1880-х — нач. 1890-х г. *). Одни из них являются сборниками воспоминаний (ка-

*) Приводим список таковых изданий, которые нам удалось видеть в Петербурге, список, не претендующий на исчерпывающую полноту: Иваново-Вознесенский губернский еженед-

лужский, гомельский, иваново-вознесенский, отчасти нижегородский), другие дают очерки движения, написанные на основании местных жандармских архивов, архивов губерис. правлений и т. п. (нижегородский, владимирский, костромской сборники).

Воспоминания все носят особый характер, выделяющий их из мемуарной литературы: в них нет ничего напоминающего мемуары „героического“ периода революционного движения, вроде П. Кропоткина, В. Фиггера, Л. Дейча и др. Они, если можно выразиться, будничны, в них нет широкой картины, они захватывают отдельные моменты: работа в кружках, митинг, демонстрация, тайное печатание, арест, тюрьма и т. д. Личность мемуариста не выделяется. Это рядовой работник, маленький винтик огромной машины, и потому эти воспоминания так характерны и ценны для освещения революц. движения, когда оно приняло массовый характер. Воспоминания эти насыщены фактическим материалом, сообщают много ценных деталей, дающих исследователю возможность составить общую картину нарастания массового движения.

Исторические очерки, написанные на основании местного архивного материала все страдают, естественно, неполнотой и отрывочностью, которые зависят не от составителя, не от его умения пользоваться документом, а от характера самого архивного материала. С одной стороны, многое было уничтожено в 1917 и сл. гг., с другой стороны, в местных учреждениях оставались сравнительно мелочи, а главное восходило в центр, в центральные учреждения, министерства, департаменты и т. п. Правда, кое-что важное, особенно относящееся к возникновению дела, сохранилось только в местных архивах. Естественно, что очерки, составленные на основании местного материала, являются, т. е. сказ, подготовительным этапом в разработке истории движения. Беспорное значение всех этих отрывочных воспоминаний, очерков, характеристики в том, что они намечают основные моменты в истории местного движения и позволяют прояснить дополнительную работу уже не в темную, а по направлению определенных лиц и событий. Но вторым этапом в изучении революционного краеведения непременно должно быть использование архивного материала, относящегося к данной местности и находящегося в центральных архивах — и только тогда из соединения местного и центрального архивного материала действительно получится цельная картина движения.

Из указанных провинциальных изданий на первое место должны быть особо выделены два тома нижегородского сборника, вышедших под редакцией молодого архивиста В. Т. Илларионова. Выделяются они и по своему интересу, и по обилию архивного и мемуарного материала, и по некоторым специфическим особенностям, резко отличающим его от аналогичных сборников. Первый выпуск сборника, вышедший в 1920 г., дает революционную хронику движения в Сормове, составленную редактором по данным нижегородского охран. отделения и жанд. упр., и ряд воспоминаний о революционном прошлом 1900-х гг. в Сормове, Нижнем, Канавине и других местностях Нижегородской губ.

ник на 1920 г. (Изд. Губисполкома, 1920 г., 223 с.).—Тоже на 1921 г. (Госиздат, 1921, 320 с.).—Из партийного прошлого. Сборник воспоминаний о партийной работе в Калуге, под редакц. Калужск. Ком. по истории Окт. рев. и Р. К. П. (Госизд. 1921, 363 с.).—В. Смирнов (Малков), На заре рабочего движения гор. Иванова-Вознесенска (1875—1905) (Госизд. Владимир 1921, 127 с.).—Революционная борьба в Гомельской губ. Истор. материалы. Гомельск. губ. Ком. по собиранию и обработке матер. по ист. революции и Р. К. П. Вып. I (Госизд. Гомель, 1921, 173 стр.).—Труды Владимирского Губ. Научн. О.—за по изучению местн. края, В. I (Влад. 1921, 36 стр.) (Рабочее движение во Влад. губ. в нач. 1905 г.—Первое мая 1906 г. в Муроме.—Военно-револ. организация во Владимире). „Библиотека общ. движения в России“, изд. Костромским об.—вом по изуч. местн. края (первые три выпуска к местной истории отношения не имеют).—четвертый:—Из материалов по истории подполья. библиотеки Владимирской семинарии.—Записки Н. Л. Скалзубова.—Из материалов по началу истории костромского раб. движения) (Костр. 1921).

Как бы мы не относились к сведениям, извлеченным из охранного, жандармского и т. п. материала, каким бы мутным он не представлялся нам, нельзя отрицать, что при известном умении исследователя обращаться с ним, при известной осторожности и перекрестной проверке, жандармский материал дает очень ценные фактические сведения. Дело самих участников—исправлять, дополнять его в своих воспоминаниях, объяснять мотивы, не объясненные в жандармском материале и т. п. Во втором выпуске сборника имеется целый ряд таких исправлений, дополняющих первый выпуск. И только соединяя то и другое, мы можем восстановить во всех деталях историю движения, каким оно было на самом деле.

Вообще, второй выпуск шире и ярче первого; в нем чувствуется более опытная рука редактора, овладевшего материалом. Помещенные воспоминания цельнее и дают большое количество фактов о выходившей литературе, о партийной работе, о местной хронике. Фактическим материалом особенно богата статья В. Илларионова „Литература подполья“, выходившая в Сормове, Нижнем и др. в 1900—1909 г.г.; преимущественное внимание уделено агитационной литературе; некоторые прокламации приведены в извлечениях, другие перепечатаны целиком, о третьих сообщаются сведения с обзором их содержания. Было бы желательно, чтобы каждый раз давалось точное заглавие прокламации, ее начало и ее внешнее описание (размер, количество столбцов, страниц и т. п.) для пополнения собраний агитационной литературы, имеющейся в изобилии в центральных архивах, но, конечно, далеко неполных. И в этом отношении только местные деятели могут оказать существенную услугу в деле собирания и регистрации всей нелегальной печати.

Опубликованные документы из дел о „кузнецовском кружке“ и о „распространении воззваний 11 сент. 1900 г. на Сормовских заводах“, кроме официальной переписки, дают списки обвиняемых с указанием их имен, отчества, возраста, социального положения, времени ареста, обысков и т. п. сведения, необходимые для составления словаря революционных деятелей или, по крайней мере, для предварительного списка такого словаря. Зарегистрировать сведения о сотнях революционеров более раннего времени сравнительно легко, но гораздо труднее собрать сведения о тысячах, десятках тысяч партийных и непартийных работников того времени, когда движение приняло массовый характер. И в этом случае местные исследователи, местные общества и комиссии Истпарта должны поставить себе одной из основных задач собирание биографических сведений о местных революционерах, извлекая их из воспоминаний, архивных материалов, местной печати и т. п.

Наконец, еще особенность нижегородского сборника заставляет обратить на него серьезное внимание всех местных исследователей. А. Н. Мельников во второй книге дал описи делам нижегородского истор.-революционного архива с кратким обзором содержания каждого дела, так что исследователь может ясно представить его, не беря в руки самого дела. Подобные обзоры, являющиеся впервые в провинциальном сборнике, должны быть особенно рекомендованы всем местным работникам; только при учете всего разрозненного материала, разбросанного на огромной территории, исследователь, пользуясь материалами разных архивов, может действительно дать полную картину революционного движения. Остается пожелать, чтобы и другие провинциальные работники приняли во внимание в своих работах оставленные в нижегородском сборнике задачи.

Алексей Шилов.

Ф. М. Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской (Dostojewski geschildert von seiner Tochter A. (Aimée) Dostojewski) München. 1920. (Перевод с французской рукописи).

Л. Ф. Достоевская известна, как автор очерков „современных типов“, главным образом, из области женской патологии.¹⁾ Они не отличаются ни художественностью,

¹⁾ В 1911—13 г. книги: „Больные девушки“, „Адвокатка“, „Эмигрантка“, выдержавшие от 2-х до 4-х изданий.

ни слишком глубоким анализом, порой вдаются в тяжеловестную фантастику, но авторское лицо все же оригинально. По первоначальному замыслу лежащая перед нами книга должна была выйти в России, но революция помешала этому; в связи с тем, что книга теперь предназначается для европейских читателей, изменился и самый план ее: личные и семейные воспоминания расширились в длинную (слишком 300 стр.) биографию. Воспоминания эти представляют центральный и значительный интерес; остальная часть биографии сделана по „Материалам“ Миллера и Страхова (причем опущена вся хронология) и не нова даже для Европы, где имеется хорошая книга Нины Гофман. Отсутствие попыток истории творчества и критической оценки произведений Достоевского я не нахожу недостатком: все это ограничено областью автобиографии и на большее не претендует. Но, кроме того, в книге есть „общий взгляд“, „общественная психология“ и „опыт характеристики“ — эти „качества“ должны быть отнесены к категории недостатков и заставляют признать книгу в целом — непримемлемой, с неверной перспективой, противоречащей congenialному пониманию Достоевского, выработанному русскими мыслителями.

Общая точка зрения — „этнологической генеалогии“. Л. Достоевская, по ее словам, с детства увлеченная норманскими героями в истории Карамзина (с. 221), развила свою склонность до того, что все ее мировоззрение получило парадоксальный отпечаток. Она тщательно исследует племенное происхождение своих предков, видит в нем источник и объяснение не только крупных, но даже мельчайших особенностей индивидуальности Достоевский норманно-литовско-украинского происхождения („Мы, Достоевские, литовцы, мы не поляки“ — говорил он) — и этого вполне достаточно для выяснения его благородства, силы и энергии характера, поэтических наклонностей, а также того, что он аккуратно одевался и не целовал руки дамам. Несообразность и поверхностность, часто комичные, вытекают из попытки непременно объяснить частное и конкретное при помощи широких и растаянных определений.

Затем — двойственное отношение к России. Россия отвлеченная — народ, „Ваагп“ ей представляется в ореоле упрощенного, вульгарного и довольно распространенного в Европе славянофильства, Святой Русью не в их символическом, а в буквальном смысле. Искра этой Руси, зароненная в литовский организм, дала миру гения — Достоевского. Но та Россия, которую она знает „Intellectuellen“ — собрание всяких зол, некультурности, аморальности, вялости, слабости, нигилистических утопий, деспотизма и пр., и пр. И она старается на множестве примеров доказать, что с этой Россией Достоевский не имел, да и не желал иметь, ничего общего, что он был европеец среди азиатов, которых он сторонился, и которые отравляли его жизнь. Такой дух книги, как уже было отмечено, действует тяжело, тем более, что она предназначена для Европы, и что в глубине ее все-таки лежат основы, внушенные Достоевским: отношение к нигилизму. „Бесы“ — но так односторонне и безусловно усвоенные.

Невольно приходят на ум слова Достоевского о „бессилии“ иностранцев „бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею“, о „каком то большом чувстве недоверчивости . . . болзни примириться с непохожим на них и о „беспримечательном высокомерии перед русскими“¹⁾, — хотя это и относится к его дочери.

Наконец, „плутарховская“ характеристика Достоевского, как героя без слабостей и без упрека. „Характер его был чисто норманский: очень честный, очень прямой, открытый и смелый“ (с. 21). Это отношение естественно для Л. Ф. Достоевской, выросшей в культе своего отца, не подлежащей оспариванию и, в некоторых случаях, оно плодотворно, обращая внимание на еще незамеченные черты: напр., на сильно развитое в Достоевском чувство семейной чести, по которому он взял на себя долги покойного брата. Но оно мешает беспристрастной передаче взаимоотношений его с обществом, со студенческой молодежью, с друзьями и врагами (Тургеневым) и выливается в санти-

¹⁾ Достоевский, Сочинения, т. IX, стр. 7, 8.

ментальную форму в рассказе о пребывании на каторге. Так выходит, что один каторжник имел его в башне, "как будто он был фарфоровый", потому что чувствовал, как драгоценен он для русского общества; другие не допустили его к участию в протесте против дурной пищи, чтобы не подвергнуть его наказанию; — все это отзывается не суровой правдой "Мертвого Дома", а "Несчастными" Некрасова, которые Л. Достоевская считает не менее реальным источником.

Благодаря таким особенностям, ценный и новый материал, даваемый Л. Достоевской, требует фильтрации. Но, он чрезвычайно интересен и заслуживает ознакомления с ним — и фактические сведения, и доступные ей характеристики. Одинаково любопытны и семейные традиции, отчасти сохранные Анной Григорьевной Достоевской (ее записки должны быть опубликованы), и детские воспоминания автора.

Предки Достоевского, литовцы католики, происходят из окрестностей Пинска, где есть местечко Достоево, бывшее имение семьи. В 18-м веке они переселились на Украину. Родоначальником православного поколения Достоевских был архиепиеей Степан. По предположению Л. Достоевской, он переменял религию, чтобы жениться на украинке, и, овдовев, сделался монахом. В честь его Достоевский желал назвать Степаном своего последнего сына Алексея. Дед его — Андрей, вероятно, тоже был духовного звания и предназначал этот же путь и для сына. Но Михаил Андреевич — отец Ф. М. Достоевского, ушел из дому 15-ти лет, поступил на медицинский факультет Моск. ун-та и самостоятельно выдвинулся в люди. Он никогда не говорил детям о своей семье; только однажды, уже лет 50-ти он поместил объявление в газете, прося откликнуться своих родных: но вести не было. Он женился на москвичке, нежной и болезненной. Характер Мих. Андр. был тяжелый — он был скуп и подозрителен, скупился на сыновей, хотя и не был беден. Овдовев, он стал пить, жил в деревне с младшими дочерьми и жестоко притеснял своих крестных. Они задушили его из мести — по дороге из Дарового в Чермашню. Это преступление, о котором молчали все знавшие о нем, проливает свет на загадочное примечание Ор. Миллера, относительно начала эпилепсии у Ф. М. (по семейным преданиям, с ним случился тогда первый припадок ¹⁾). Может быть, тем же объясняется припуск в переписке братьев, относящейся к этому периоду (лето 1839?).

Первая жена Достоевского, Мария Дмитриевна Исаева, была дочерью наполеоновского мамелюка ²⁾; она выдавала себя за французскую. Л. Достоевская рисует ее лицемерной, коварной и „с африканскими страстями“. Предвидя близкое вдовство, она старалась похвалиться Достоевскому, разыгрывая серьезную и возвышенную женщину, и женила его на себе после смерти мужа. Но в Кузнецке она любила одного домашнего учителя, возила его за собой, и эта связь продолжалась в Семипалатинске, и даже после возвращения в Россию, в Твери. Только когда развившаяся чахотка М. Дм. довела ее до близкой смерти, этот учитель уехал. Тогда, в припадке бешенства, она рассказала все мужу со всеми подробностями, сказала, что вышла за него только по расчету и прекнула его каторгой. Трудно определить точность этого рассказа. Во всяком случае, хронологию установить по нему нельзя. Автор говорит, что после этого признания Достоевский уехал жить к брату в Петербург, т. е. в конце 1859 г., оставив М. Дм. в Твери. Последний факт вообще неверен: в 1859 г. ее видел в Петербурге Страхов ³⁾. Но дата 1859 г. противоречит показанию, что признание произошло незадолго до поездки за границу с Сусловой, т. е. в 1862 г. Весь рассказ о жизни Мар. Дм. в Твери без нужды остается на совести Л. Достоевской. Но внутренняя достоверность этой печальной истории вне сомнения. Врангель свидетельствует о „страстности и экзальтированности“ Мар. Дм. и о том, что она в Достоевского „влюблена ничуть не была“. Их отношения ка-

¹⁾ Матер. для биогр., стр. 141.

²⁾ Врангель говорит, что она была „кажется“ дочерью директора гимназии — см. Воспоминания о Достоевском в Сибири.

³⁾ Матер. для биогр. письма, стр. 181.

жуются ему „странными и непонятными“, и сам Достоевский говорил, что они „были похотительно несчастны оба“¹⁾.

В „Вечном Муже“ Достоевский воспользовался пережитым.

После этого следует еще более пристрастный рассказ о Полине N (Сусловой), „вечной студентке“, не учившейся, но деятельно участвовавшей в студенческой жизни, всюду бывавшей и всем знакомой. Л. Достоевская назидательно описывает ее „развратную жизнь“. Полина написала Достоевскому любовное письмо, найденное в его бумагах; оно „просто, наивно и поэтично“. Они собирались поехать за границу, но не могли одновременно, и решили встретиться в Париже. Через две недели после отъезда Полина влюбилась в одного француза и известила Достоевского, что между ними все кончено. Он „как безумный“, бросился туда, но, уважая чужую свободу, скоро оставил ее, поехал к Герцену в Лондон, потом в Италию и, отказавшись сопровождать Страхова в Париж, вернулся в Россию. Следующей весной (1863) Полина опять написала, что француз ее оставил, и умоляла, угрожая самоубийством, навестить ее. Достоевский поехал. Она собиралась убить „негодая“ француза (устроила „комедию“ — говорит Л. Достоевская), но Достоевский уговорил ее ехать с ним в Германию, в Висбаден, и потом в Италию. Вернувшись, Достоевский жил в Москве до смерти Мар. Дм. (т. е. до апреля 1864 г.), но Л. Достоевская говорит, что с Полиной было кой-что после неуспеха (?) среди студентов „Преступления и наказания“ (т. е. в 1866 г.) Здесь, очевидно, общее место, да у нас и нет возможности проверить правду, за отсутствием всяких сведений об этой истории. Надо ждать, что найденный недавно дневник Сусловой лучше выяснит эпизод с героиней „Игрока“.

Коротко отметив главу „Достоевский — глава семьи“, где рассказаны все родственные отношения его, переходим к самому внутренне-ценному материалу — к прекрасной „конгенитальной“ характеристике Анны Григорьевны. „Конгенитальной“ потому, что духовный облик матери усвоен и понят автором гораздо вернее и доступнее, чем отца, и ценной тем более, что в отношениях автора, как в призме, преломилось отношение Анны Григорьевны к Достоевскому и ко всему окружающему его миру.

Отец ее — Григорий Иванович Сняткин, добрый, слабый, сантиментальный и романтический человек — „настоящий славянин“, был большим другом и почитателем знаменитой актрисы Асенковой, благоговейно хранившим ее память. Он женился в молодых годах на Марии-Анне Мильтолеус, гордой и самостоятельной, шведской красавице, которая сделала их большой дом центром шведо-финляндского высшего общества, приезжавшего в Петербург. Младшая дочь, Анна, не сближалась с этим чопорным и перемонным кругом, очень любила своего отца, имевшего на нее сильное религиозное и патристическое влияние, ходила с ним по церквам и монастырям. „Она не обладала широким умственным кругозором“, не увлекалась ни наукой, ни радикализмом, как большинство девушек 60-х годов, но зато имела много практического смысла (ее энергическая натура не выносила бездельности) и всегда доводила до конца предпринятое. Вместе с тем, она была очень нервна, истерична, болезненно-самолюбива и слегка суеверна с склонностью к ясновидению — она пророчила, всегда смеясь и в шутку; эта способность исчезла с истериею к 50-ти годам.

Она не стремилась к широкому высшему образованию и хотела заниматься чем-нибудь непосредственно полезным и зарабатывать на свои расходы. Поступив на стенографические курсы Ольхина, Анна Гр. усовершенствовалась во время каникул в стенографии на столько, что в осени была единственной ученицей, которую Ольхин мог рекомендовать Достоевскому. Сняткин очень любил Достоевского еще с 40-х г. г., а „Униженными и Оскорбленными“ увлекались его дочери. Благодаря такому стародавнему увлечению, в семье считали писателя стариком, и мать позволила польщенной Анне Григорьевне принять предложение. Первое посещение очень разочаровало бедную де-

¹⁾ Враггель. Воспоминания о Достоевском в Сибирь.

вешку, мечтавшую поговорить о литературе и высказать свое восхищение перед талантом. Достоевский был после припадка, нервен, резок, рассеян, сердился на ее медленность и вовсе не обратил внимания на молоденькую стенографистку. Она вернулась раздосадованной и решила тотчас же отказаться, но потом чувство долга взяло верх, и занятия продолжались. Постепенно Достоевский почувствовал к ней симпатию и доверие и стал посвящать ее в свои бесчисленные заботы и неприятности. Перед ней раскрылась ужасная заброшенность и придавленность, все мелкие дразги, душившие громадный талант, и в ней заговорила „душа предков“. Как отец ее был другом и опорой талантливой и болезненной Асенковой, так и она захотела поддержать того, кого всю жизнь считала ни с кем несравнимым писателем и знала, как доброго, доверчивого и самоотверженного человека. Она удлинила занятия, переписывала ночами и в срок кончила „Игрока“, а затем стала стенографировать эпилог „Прест. и Наказ“. Достоевский был очень благодарен, видя преданность своей скромной и сдержанной помощнице. Познакомившись с ее семейной обстановкой, он в скором времени сделал предложение, несмотря на юность своей невесты, которая всегда „смеялась, разговаривая с ним, и вела себя, как ребенок“.

Л. Достоевская не идеализирует свою мать, часто наивно выставляет ее ограниченные стороны, но тем непосредственнее и дороже становится образ этой милой девушки. Откинув романтические прикрасы, без которых автор не может обойтись, нужно признать картину сближения верной.

Новый брак Достоевского был встречен недружелюбно его родными. Первоначально их интриги сделали семейную жизнь очень тяжелой для обоих, сеяли недоверие и отчужденность. Наконец, с трудом достали они денег, причем Анна Григ. заложила свое приданое, и уехали за границу за два дня до Пасхи. Только там, в Дрездене, начались их счастливые дни.

Очень интересен один неизвестный доселе факт. У Анны Григ. был брат, Иван Сниткин, студент Петровской Академии, близкий друг Иванова, убитого Нечаевым. Узнав, что мать Сниткина зовет его за границу, Иванов проявил большую энергию, чтобы выпроводить туда своего друга. Через несколько недель он был убит. Сниткин ничего не знал о нечаевском кружке, хотя знал многих участников, сам он придерживался религиозных и монархических идей своего отца. Так как он не был привлечен к процессу, то вся семья старалась скрыть и не скомпрометировать его знакомствами. Таким образом, Достоевский не из одних только газет знал о процессе, и, хотя утверждение Л. Достоевской, что „Шатов, Верховский и другие герои „Бесов“—портреты“—слишком поспешно, но его близкое и подробное знакомство с нечаевцами несомненно.

После возвращения в Петербург начинается отчасти период собственных воспоминаний автора. Они вели замкнутую, трудовую и экономную жизнь. Анна Григ. порою гонимая и безнадежно смотрела на вечную нужду, но деятельно надавала ²⁾ и работала для семьи.

Л. Достоевская описывает их домик в Старой Руссе,—городок, топография которого и люди отразились в созданных там „Братьях Карамазовых“. Там была красивая Грушенька, ямщики Андрей и Тимофей, лавка Плотиных. Дом Карамазовых был их дом с небольшими изменениями. Там Достоевский гулял вдоль реки, задумавшись глубоко и машинально оделяя выстранявшихся на его привычном пути нищих. Анна Григ. раз вышла на дорогу, в платке, с дочерью на руках, и, протянув руку, жалобно сказала: „сжальтесь, барин, у меня больной муж и двое маленьких детей на руках“. Достоевский взглянул на нее и подал милостыню. Но когда она рассмеялась, он очень рассердился на эту шалость в присутствии ребенка. Это—один из примеров его рассеянности.

²⁾ Она была первой русской женщиной, занявшейся крупными изданиями. Ее примеру и советам следовала гр. Толстая. Кроме основанного ею музея памяти Достоевского в Моск. Историч. Музее, она вдохновила основательниц двух других: памяти Л. Толстого и М. И. Глинки (осн. его сестрой Шестаковой).

Здесь родился его любимец Алеша, у которого был „удивительный, овальный, почти угловатый лоб — яйцевидная форма головы“, — умерший 2½ лет от судорог. Врачи признали его жертвой неправильного черепа, но Л. Достоевская думает, что то была эпилепсия.

Интересны главы: „Достоевский в домашней жизни“ и „Достоевский отец“. Жизнь была правильная, однообразная; сложившиеся повседневные привычки, песенка за ужином — „На заре ты ее не буди“, строгий порядок в кабинете, ящичек в столе с восточными сладостями: сушеными фигами, финиками, изюмом, орехами, пастилой, которыми он угощал и детей; семейные кадрили с детьми в две пары под собственный аккомпанимент; ежедневная прогулка с покупками, если водились деньги, в лучшей кондитерской. Он всегда покупал лучшее и ненавидел случайные и дешевые покупки. Вечером он читал, а писать начинал после чаю в 9 часов, когда все ложились, при свете 2-х свечей (он не любил ламп), много курил и попивая крепкий чай. Утром он диктовал жене сочиненную за ночь главу, поправлял ее кошку, и вторичная копия отсылалась, куда нужно. Хотя Достоевский спрашивал мнения Анны Григ, но она воздерживалась, от критики. Впрочем, Л. Достоевская открывает ее невинное лукавство: боюсь, чтобы ее согласие не казалось однообразным, она иногда предлагала легкие изменения в описании того или другого. „Достоевский охотно делал поправки и наивно думал, что доставляет этим большую радость жене. Мысль о хитрости никогда не приходила ему в голову“.

Средством воспитания детей Достоевский полагал чтение. Он начал читать им „Разбойников“ Шиллера, но 7 и 6-летние малыши ничего не поняли. Позднее он читал былины, поэмы Пушкина, кавказские поэмы Лермонтова, „Тараса Бульбу“, потом стихи Пушкина и А. Толстого, „которых он любил наиболее“ — некоторые стихи („Бедный рыцарь“) читал со слезами на глазах.

Анна Григ, по его просьбе, читала детям В. Скотта и Диккенса; первая книга, подаренная им дочери, была „История“ Карамзина.

Ежегодно вся семья ходила к причастию. В театр он брал детей только на „Руслана и Людмилу“, а в последнюю свою зиму представлял им отрывки из „Горе от ума“. Он даже хотел поставить любительскими силами последний акт, предназначая себе роль Репетилова, которого, по его мнению, не понимают актеры. Были начаты приготовления... Он, вообще, обладал актерским талантом. Так, после возвращения в Петербург из Сибири, он имел привычку впадать в разговор в манеру князя К. из „Дядюшкина сна“.

Одна глава посвящена салону гр. Толстой, вдовы поэта, где Достоевский охотно бывал и куда стекались желавшие его слышать. Там он познакомился с цесаревной Марией Федоровной и через Победоносцева был приглашен к наследнику. Л. Достоевская считает нужным отметить, что ее отец держался с Александром III без этикета и, уходя, повернулся спиной.

В январе 1881 г. приехала в Петербург его любимая сестра Вера¹⁾ для того, чтобы выпросить в пользу сестер его часть наследства от покойной тетки Куманиной²⁾.

Произошла неприятная сцена за семейным обедом, после чего у Достоевского открылось кровотечение из легких. На 4-ый день часы его были сочтены. Жена открыла ему из Евангелия известное место: „не удерживай...“; потом он причастился, простился с детьми, причем просил прочесть им о блудном сыне, простился по одиночке с пришедшими друзьями. К вечеру, после 3-его кровотечения, он стал терять сознание; тогда впустили в комнату всех, и он умер, проговорив что то быстро и негромко, чего нельзя было понять.

Следуют воспоминания о похоронах, дополняющие существующую литературу. Несмотря на свои недостатки, книга очень и очень заслуживает перевода.

В. Лейкина.

¹⁾ Ее семейство он изобразил в „Вечном муже“ под фамилией Захлебных. Ср. воспом. Н. фон-Фохта „Ист. Вестн.“ 1901, XII.

²⁾ Эту тещку Достоевский изобразил в „Игроке“ в образе „бабуленьки“.

Перечень книг и статей по истории революционного и освободительного движения в России, появившихся в 1922 году.

Целью настоящего перечня является регистрация книг, статей и заметок по истории революционного и общественного движений в России. Отсюда не должно еще заключить, что в настоящем номере читатель найдет полный список книг и статей за 1922 г. В очередных книгах „Былого“ последует его продолжение. Там же будет дан перечень соответствующих газетных статей, как столичных, так и провинциальных изданий, равно как и список рецензий и отзывов на книги, появившиеся в 1922 г. Именной и систематический указатели ко всем зарегистрированным книгам, статьям и заметкам будут напечатаны после того, как все издания 1922 г. будут использованы для списка.

В перечень занесены только те книги и журналы, время издания которых на обложке отнесены к 1922 г. Разночтения между датами обложки и титульного листа всегда особо оговорены в скобках. Кроме имени автора, заглавия и подзаголовка книги, приводится наименование издательства, место издания (два пункта в большинстве случаев указываются сокращенно: П.—Петербург и М.—Москва) и количество страниц. Последнее сохранено и в списке журналов и сборников, но с добавочным указанием на количество страниц интересующей нас статьи, чтобы в целях возможного статистического подсчета не трудно было бы по перечню определить, сколько внимания уделял данный журнал историко-революционным материалам. Хронологический период, которым ограничивается перечень—история революционного и общественного движения с конца XVIII века до февральской революции 1917 г. включительно. Регистрация обширнейшей текущей литературы по истории октябрьского переворота и о дальнейшем ходе революции не входит в задачу составителя.

В заключение уместным считаем обратиться с просьбой ко всем авторам, редакторам и издательствам о присылке в редакцию „Былого“ своих вновь выходящих изданий. Не говоря уже об отдельной книге по истории революционного движения, но каждая статья, всякая заметка, вне зависимости от своей научной ценности, должна быть зарегистрирована в перечне.

Р. М. Кантор.

Отдельные издания.

- Бакунин, Михаил. Избранные сочинения, т. V. „Альянс“ и Интернационал. Интернационал и Мадзини. С примечаниями Дж. Гильома. Перевод с французского Л. Логелля. П.-М. 1922 г. „Голос Труда“, с. 114.
- Берлин, П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922 г. „Книга“, с. 308.
- Бронзидский, Н. Краткая история Российской коммунистической партии (большевиков). П., 1922 г., изд. Политического Отдела Петроградской дивизии, с. 38.
- Васильченко, С. и Ставский Ив. Первый бой. (К двадцатилетней годовщине ростовской стачки 17 ноября 1902 г.) М. 1922. Коопер. изд.—ва „Московский Рабочий“, с. 40.
- См. рецензию: А. Станчинского в № 7 „Пролетарской Революции“, с. 220—225.
- Волконский, Сергей. О декабристах. (По семейным воспоминаниям.) П. 1922. „Начала“, с. 135.
- Вольфсон, С. Я. Великий социалист. Краткий очерк жизни Г. В. Плеханова. Минск. 1922 г. Госизд. Белоруссии, с. 43.
- Вольценбург, О. Э. и Фейдер, Вал. Что читать о первомайском празднике? Указатель литературы о 1-м мае. П. 1922 г. „Петрогубполитпросвет“, с. 19.
- Генкин, И. По тюрьмам и этапам. П. 1922 г. Госиздат., с. 487.
- Герцен, А. И. Полное собрание сочинений и писем под ред. М. К. Лемке. Том XVII, П., 1922 г. Госиздат, с. IX + 443.
- То-же т. XVIII, (на титульном листе: 1920 г.), с. X + 449.
- То-же т. XIX, с. XI + 460.
- Голополосов, А. И. Из приключений старых революционеров. Побег Г. А. Лопатина с каторги. М. 1922 г. „Культура“, с. 32.
- Горбачев, Г. 9 января и декабрьские дни 1905 г. П. 1922 г. „Петрогубполитпросвет“, с. 25.
- Гриневич, В. Профессиональное движение рабочих в России. Изд. 2-е. Вып. I. М. 1922 г. РИО ВЦСПС., с. 215.
- Дейч, Лев. За полвека. Том I. Часть 1. М. 1922 г. „Задруга“, с. 127.
- Дульский, П. Графика сатирических журналов 1905—1906 г. Казань, 1922 г. Татаргосиздат, с. 104.
- Замятин, Е. Три дня. (Восстание на „Потемкине“). П. 1922 г. „Былое“, с. 27.
- Захаров, С. Путь к коммунизму. М. 1922 г. „Московский Рабочий“, с. 48.
- Зеликсон-Бобровская, И. Записки рядового подпольщика (1894—1914). Часть первая. М. 1922 г. Госиздат (Истпарт), с. 83.
- Зиновьев, Г. Ленин. Очерк жизни и деятельности. П. Госиздат, 1922 г., с. 70.
- Иохельсон, В. И. Первые дни Народной Воли. П. 1922 г. „Музей Революции“, с. 58.
- Иохельсон, В. и Кантор, Р. Гесь Гельфман. Материалы для биографии и характеристики. П.—М. 1922 г. „Былое“ с. 48.
- Кантор, Р. М. В погоне за Нечаевым. К характеристике провокационной политики III Отделения на рубеже 70-х годов. П. 1922 г. „Мысль“, с. 104.
- Каплан, М. Я. Конспект по истории рабочего движения в России с конца XVIII в. до 1917 г.) по книге проф. В. Фриче. П. 1922 г. Изд. Первой Петроградской Губернской Школы Комсостава Сов. Раб.-Кр. Милиции, с. 29.

- Ред. Р. Кантор в № 2-3 „Красной Летописи“, с. 449-452.
- Каторга и ссылка. Сборник третий. М. 1922 г. Изд. о-ва бывш. полит. каторжан и сс.-поселенцев, с. 207.**
- Содержание: Феликс Коп, На Каре.— Нерчинская каторга: В. Плесков, Памятные дни.—Его-же, Среди сопос Забайкалья.—Г. М. Крамаров, Нерчинская каторга.—В. Пирогов, Смерть Сазонова.—А. П. Станчинский, В Алгачах.—Амурская колесная дорога: Андрей Соболев, „Колесуха“.—И. П. Дубинский.—Побег с „Колесухи“.—Бутырская тюрьма: Б. Горев, Освобождение первой революции в Бутырках.—Бутырки в дни декабрьского восстания 1905 г.—сообщ. Б. Н.—Лики отошедших: Е. Тимофеев—Л. Д. Годун, Н. А. Снегульский, О. Аникин, А. Быков (Гр. Ив. Бельский); В. Левицкий—А. Д. Покотилов;—Г. М. Крамаров—Памяти А. Воробьева;—Н. Овсянников, —Памяти тов. Люшвина.—А. Трояновский, Восстание в Кысве в 1907 г.;—П. Фабричный, Грамота и книга на каторге.
- То-же, сборник четвертый, с. 201.**
- Содержание: Ф. Коп, От Карты до Иркутска.—А. Станчинский, Очерки тюремного быта.—С. Васильченко, После первого боя.—Ссылка: Г. Крамаров, Из ссылки на волю.—Случайный, В минуту тоски.—Я. Яисон, Немного цифр (из жизни Верхотурской ссылки).—Александровский централ: А. Краковецкий, Военное дело на каторге.—П. Фабричный, Вооруженный побег.—П. Ф., Что пишет тюремный читатель на книгу.—Бутырки: Д. Надельштейн, Накануне.—З. Клапина, Женщины-каторжанки в Бутырках.—Б. Бреслав, На волю.—Е. Самойленко, Тифлисский застенки.—Лики отошедших: В. Чашин, Памяти В. М. Серова.—Р. Кантор, Памяти Викт. Павл. Кранихфельда.—Е. Т., Памяти П. Д. Маркова.—Е. Т., Памяти С. И. Файнберга.
- Кропоткин, П. А. Однедневная газета Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина. М. 8 февраля 1922 г., с. 12.**
- Лапшин, И. И. Философские взгляды А. Н. Радищева. П., 1922, „Былое“, с. 36.**
- Левин, Кирилл. Герцен. Личность. Идеология. М., 1922. Госиздат, с. 141.**
- Лелювин, Г. Лидия Езерская и покушение на могилевского губернатора Клингенберга 29-го октября 1905 г. По неизвестным материалам. Гомель, 1922, „Гомгазета“, с. 28.**
- Ленин, Н. (В. Ульянов). Собрание сочинений. т. VI. 1905 год. М., 1922, Госиздат, с. 631.**
- Его-же. То-же. Том VII, часть II. Революция 1905—1906 годов. М., 1922, Госиздат, с. 304.**
- Его-же. Что делать? Статьи 1902 г. М., 1922, Госиздат, с. 167.**
- Его-же. I. Две тактики социал-демократии в демократической революции. II. Победа кадетов и задачи рабочей партии. М., 1922, Госиздат, с. 125.**
- Лелешинский, П. Н. На повороте (от конца 80-х годов к 1905 г.). Попутные впечатления участника революционной борьбы. П., 1922, Госиздат (Истпарт), с. 239.**
- Лобанов, Б. 1905 год в живописи. М. 1922 г. „З. И. Гржебин“, с. 32.**
- Материалы по истории революционного движения (в Нижнем-Новгороде). Том II-ой. Под ред В. Т. Ильиринова. Нижний-Новгород. 1922, (На титульном листе: 1921 г.) (Истпарт.), 196 + 2.**
- Мещеряков, Вл. Партия с.-р. (социалистов-революционеров). Часть первая. С начала девяностых годов до революции 1905 г. М. 1922. Главполитпросвет, с. 130.**
- Михайлов, М. Ил. Залпски (1861—1862). Редакция и вступительная статья А. А. Шилова, 1922. „Былое“, с. 159.**
- Мстиславский, С. Пять дней. Начало и конец февральской революции. М. 1922. „З. И. Гржебин“, с. 93.**
- Муравьев—Апостол, М. И., декабрист. Воспоминания и письма. Предисловие и примечания С. Я. Штрайха. П., 1922 г. „Былое“, с. 96.**
- Невский, В. И. „Южнорусский рабочий Союз“ в гор. Николаеве в 1897 г. С приложением письма Л. Д. Троцкого. М. 1922 г. Госиздат. (Истпарт.), с. 96.**
- Ольминский, М. Из прошлого. Изд. 2-е М. 1922., Госиздат. (Истпарт.), с. 84.**
- Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. П.—М. 1922 г. (На титульном листе: 1921 г.). Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина, с. 172.**

- Полоцкий, Вячеслав. М. А. Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление. Том первый. Бакунин — романтик. М. 1922. Госиздат, с. III+418.
- Пролетарская революция на Дону. Сборник первый. Ростов на Д., 1922. Истпарт, с. 112.
- Из содержания: Декабрьское восстание в освещении охранного отделения (5—28);— Декабрьское восстание в донесениях германского консула (29—33).— Дело о железнодорожной забастовке 7—22 декабря 1905 г. на Влад. ж. д. Воспоминания И. Питкевича (34—39).— Г. Крамаров. Памяти тов. Бекаса (40—44).
- Путь „Правды“. Материалы для истории. К десятилетнему юбилею 1912—1922 г. Статьи: Н. Ленина, Г. Зиновьева, И. Сталина, Г. Сокольников, Данского, М. Ольминского, Ил. Вардина, Т. Сафарова, А. Воронского, Б. Иванова, А. Сольца, Квининга, Ф. Сыромолотова, Г. Петровского, В. Момотова, К. Швецикова, Артема Гертика, Германа и других. Тверь, 1922 г. Тверское Издательство, с. 218.
- Русская Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях ее съездов и конференций (1898—1921 г.). М. 1922 г. Госиздат. (Истпарт), с. 368.
- Русская Политическая Литература за границей. Вып. I. Социал-демократические издания. Указатель социалдемократической литературы на русском языке 1883—1905 г. г. Составлен под ред. Л. Каменева. М. 1922 г. Госиздат. (Истпарт), с. 60.
- Русская революция и Р. Б. П. Вып. I. От зарождения с-д. до октябрьской революции. Иркутск, 1922 г. Изд. Окр. в.—ред. Совета 5-ой армии и В. С. В. О.—См. рецензию М. О. в № 7 „Пролетарской Революции“, с. 237.
- Рабинни, А. Н. Материалы для биографии Р. М. Семенчикова (1877—1911). С приложением статьи Д. Бутина: Из истории рабочего движения в Иваново-Вознесенском районе. М. 1922 г. Госиздат. (Истпарт), с. 73.
- Сверчков, Д. На заре революции. М. 1922 г. (На титульном листе: 1921 г.) Госиздат (Истпарт), с. 312.
- Семеновский, В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Часть I. М. 1922 г. „Задруга“, с. 218.
- Семенников, В. П. Новый текст „Путешествия из Петербурга в Москву“ Радищева. М. 1922 г. „Былое“, с. 43.
- Столянский, П. Н. Старый Петербург. Колыбель русской свободы (Дело 1 марта 1881 г.). П. 1922 г., Госиздат, с. 84.
- Его-же. Революционный Петербург. Колыбель русской свободы. Санкт-Петербург. 1922 г. „Колос“, с. 208.— К книге приложены 14 планшето.
- Татарчук, А. Н. Материалы по истории революционно-социалистического движения в Воронежской губернии. Вып. I. 70—90 годы. Воронеж, 1922 г. Ред. М. Н. Лызова. Воронежский отд. Госиздата (Истпарт), с. 72.
- Троцкий, Л. 1905 год. М. 1922 г. Госиздат. с. 419.
- Его-же. Война и революция. Том I. П., 1922 г. Госиздат, с. 372.
- Февраль. Сборник воспоминаний о 1917 г. Саратов, 1922 г. (Истпарт), с. 68.
- Фигнер, Вера. Запечатленный труд. Часть первая. М. 1922 г. (На титульном листе: 1921 г.). „Задруга“, с. VII+348.
- Что читать о 9 января 1905 года? Указатель литературы под ред. О. Э. Вольценбурга. П. 1922 г. Петрогубполитпросвет, с. 23.
- Чуковский, К. Поэт и палач (Некрасов и Муравьев). П. 1922 г. „Эпоха“, с. 48.
- Шилов, А. А. Что читать по истории русского революционного движения? Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей. П. 1922 г. Госиздат, с. 230.
- Шляпников, А. Канун семнадцатого года. Ч. II-ая. М. 1922 г., Госиздат. (Истпарт), с. 138.
- Штрайх, С. Я.—Брожение в армии при Александре I. К столетию заговора декабристов. П. 1922 г., с. 48.
- Щеголов, П. Е. Мария Волконская. П. 1922 г. „Парфенон“, с. 47.

Журналы и сборники.

Архив Истории Труда, выпускаемый ученой Комиссией по исследованию истории труда в России. Книга третья. П., 1922. Изд. Культ.-Просв. Отд. Петр. Губ. Совета Профессиональных Союзов, с. 158.

Из содержания: Ю. Гессен, К истории стачек среди фабричных рабочих в начале 70-ых годов 19-го века (40—50). — Р. Кантор, Жандармерия и первые рабочие стачки в начале семидесятых годов 19-го века (71—77). — В. Невский, Выборы в комиссию сенатора Шидловского (78—90). — В. Колпенский, Холерный бунт 1892 г. (104—113). — Запрещение праздновать первое мая (155—156).

То-же, книга четвертая, с. 96+62.

Из содержания: В. Святловский, Из истории касс и обществ взаимопомощи рабочих (32—46). — А. Львович, Требования рабочих Балтийского и других морских заводов в январские дни 1905 года (85—96). — И. Бендер, Златоустовская забастовка (50—53).

„Былое“, 1922 г. (на титульном листе: 1921 г.), № 17, с. 154.

[Книга целиком посвящена памяти П. А. Кропоткина.] — О ней см. рецензию А. А. Шилова в № 2—3 „Красной Летописи“, с. 445—449.

То-же, П. 1922 г., № 18, с. 256.

Из содержания: А. Успенская, Воспоминания шестидесятницы (19—45). — М. Н. Чернышевский, Пропавшие письма Н. Г. Чернышевского (46—57). — О. В. Аптекман, Флеровский-Берви и кружок Долгушина (58—77). — И. И. Майнов (Саратовец), На закате народоульства (78—123). — Р. М. Кантор, Стачка железнодорожных рабочих в Ростове на Дону в 1894 г. (124—134).

То-же, М. 1922 г. № 19, с. 231.

Из содержания: В. П. Семенников, Новый текст „Путешествия“ Радищева (3—29). О. К. Буланова, Декабрист Ивашев и его семья (30—60). — Э. К. Пекарский, Рабочий Петр Алексеев (80—119). — О. В. Аптекман, Флеровский-Берви и чайковцы (119—134). — Р. М. Кантор, На грани смерти. Страница из биографии рабочего народоульца Петра Антонова (135—138). — В. В. Святловский, На заре российской социал-демократии (139—160). — М. Рафес, Мои воспоминания (177—197).

„Вперед“. Кжесечник Ц. Бюро Коммунистической партии Белоруссии. Минск, май, 1922 г., № 1, „Ц Б Е П Б“ „Вперед“, с. 75.

Ст.: С. Вольфсон — Г. В. Плеханов. Биографический очерк. (с 47—51).

„Голос Минувшего“. Журнал истории и истории литературы. М. 1922 г., июнь № 1, с. 175.

Из содержания: Вл. Короленко, Земли, земли! Наблюдения, размышления, заметки (8—30). — Л. Ратаев, Письма С. В. Зубатову (1900—1903 г.) (Сообщ. С. П. Мельгунов (51—59)). — Вл. Короленко, История моего современника. Якутская область (69—101). — В. Алексеев, Студенческий кружок Аргиропуло и Зайчневского (102—128). — И. И. Полов и Н. М. Мендельсон, Из воспоминаний о Г. Н. Потанине (138—157).

„Дела и Дни“. Исторический журнал. Книга третья, П., 1922 г., Госиздат, с. 240.

Из содержания: Рассказ Н. П. Крыкова о заключении в Петропавловской крепости в 1826 году. — Сообщ. Б. Л. Модзалевский (47—63). — В. А. Зеленко, Из пережитого. Воспоминания о революционной деятельности учителя (99—120). — Г. А. Ве-

решагин, Материалы по истории бунтов в военных поселениях при Александре I (148—165).

„Еврейский Вестник“. Ежемесячный журнал. Петроград, июнь, 1922 г. № 3, с. 32.

Прокламация „Земли и Воли“.—Сообщ. Н. Бухбиндер (с. 25).

„Историко-Революционный Бюллетень“. Ежемесячный сборник. М. 1922 г. Январь. № 1. Изд. общ.—ва бывш. полит. каторжан и сс-поселенцев в Исторической секции „Дома Печати“, с. 49.

Содержание: I. Статьи, воспоминания и исследования: От редакции — Вера Фигнер, Памяти Е. С. Сазонова — Б. Горев, За кулисами первой революции — С. Мицкевич, О. П. Г. Зайчневском — Б. Козьмин, Материалы по истории революционного движения 60-ых годов — Р. Кантор, Смерть народолюбца А. Д. Михайлова — В. П. Из практики военно-полевой юстиции. — II. Материалы в историко-революционному биографическому словарю: В. Байкалов, Долг революции. — В. Плесков, Две жизни (Памяти А. В. Попова и В. М. Серова) — А. Стачинский, Памяти умершего друга Л. А. Плесковой. — III. Информация. — IV. Библиография.

То же. № 2—3, с. 100.

Содержание: I. Статьи, воспоминания, документы: И. Бороздин, П. А. Кропоткин, как историк — П. Н. Малантович, На горных высотах (Памяти В. Г. Короленко). — В. Фигнер, В. Г. Короленко — И. Кубиков, Деятое января — Н. Подвойский, Первый совет рабочих депутатов — М. Чернавский, К характеристике Г. В. Плеханова. — М. Новорусский, Рабочая группа военно-промышленного комитета. — П. Витязев, По поводу заметки о деле Исаковича-Крамарова. — Б. Козьмин, Материалы по истории революционного движения 60-х годов — Б. Н. На „Колесухе“ — Авт., Восстание армии. II. Материалы в биографическому словарю русских революционеров: В. Левицкий, В. С. Цетлин-Батурский — В. Л., Б. А. Гинзбург-Кольцов — З. Клапина, Памяти А. Трауберга и др. — III. Информация. — IV. Хроника. — V. Библиография.

„Книга и Революция“. Ежемесячный критико-библиографический журнал. Петерб., № 3 (15), Госиздат.

Отг. М. Лемке, Н. А. Добролюбов, как политический поэт (с. 36—42).

То же, № 5 (17).

Ст.: Н. Тютчев, „Литература о Народной Воле“ (с. 7—14).

То же, № 6 (18).

Ст.: П. Витязев, П. Л. Лавров в эпоху 60-ых годов и его статья „Постепенно“. — П. Л. Лавров, Постепенно. Незданная статья (с. 9—18).

„Красная Летопись“. Исторический журнал Петроградского бюро Комиссии по истории октябрьской революции и Российской коммунистической партии. Петр., Госиздат. № 1, с. 340.

[Номер целиком посвящен 9 января 1905 года].

То же, № 2—3, с. 452.

Из содержания: В. Невский, Январские дни 1905 г. в Москве. — Н. А. Бухбиндер, Еврейское рабочее движение в Гомеле. — В. Перазич, Из воспоминаний. — Подпольная работа в Петрограде в годы империалистической войны (рассказы рабочих). — В. П. Павлов, Мои воспоминания о Крестах. — В. Святловский, Профессиональное движение рабочих в 1905 году. — В. Колпенский, Рабочее движение 90 гл. и меры правительственной борьбы с ним. — Н. А. Бухбиндер, Независимая еврейская рабочая партия. — А. А. Шиллов, Последняя страница из деятельности Севернорусского рабочего Союза. — Н. Ольшанский, Свеаборгское восстание. — Письмо В. И. Ленина о национальном вопросе. — С. Н. Валк, К документальной истории „Рабочего Знамени“. — Р. М. Кантор, Розыски К. Маркса в России. — В. Невский, К десятилетию Ленского расстрела.

См. рецензию Р. М. Кантора на оба выпуска в журн. „Книга и Революция“. № 6 (18) за 1922 г., с. 44-47.

То же, № 4, с. 429.

Из содержания: А. Н. Герцен, Ответ на призыв польского республиканского центра к русским. (Неизданная статья), Сообщ. М. Лемке (7—11). — В. Карелина, На заре рабочего движения в С.-Петербурге (12—20). — В. Перазич, Еще о харьковском рабочем кружке конца 80-ых годов (21—27). — Изв. Книжкин, Воспоминания о П. А. Кропоткине и об одной анархистской эмигрантской группе (28—51). —

- В. Невский, Январские дни 1905 г. в провинции (52—132).—Н. А. Бухбиндер, Разгром еврейского рабочего движения в 1898 г. (147—197).—Н. Ольшанский, Свеаборгское восстание (198—233).—В. Колпенский, К истории рабочего движения в Петербурге в 1896 г. (242—249).—С. Валг, Материалы к истории первого мая в России (250—288).—Н. А. Бухбиндер, О зубатовщине (289—335).—„Рабочий Сборник“ 1894 г. (335—370).—Сообщ. С. Пионтковский, Записка директора департа. полиции Лопухина о стачках в июле 1905 г. в Одессе, Киеве, Николаеве (382—395).
- „Красный Архив“. Исторический журнал. М. 1922. Том первый. Центральный Архив Р. С. Ф. С. Р., с. 438.
- Из содержания: В. П. Алексеев, П. Г. Зайцевский (273—279)—Обряд публичной казни над С. Г. Нецаевым, сообщ. В. М. (280—281)—К истории партии Народного Права, сообщ. В. М. (282—288).—Новое о Зубатовщине, сообщ. С. Пионтковский (289—314)—А. И. Чемериский, М. Рафес, М. Фрумкина (Эстер), Воспоминания об „еврейской независимой рабочей партии“ (315—328)—К истории карательных экспедиций в Сибири, сообщ. В. М. (320—343)—Из переписки лейтенанта Щишда, сообщ. В. М. (344—354).
- „Красный Север“ Орган Якутского губревкома. Кн. II-ая (Год издания точно неизвестен).
- Ст.: „Три дня с Н. Г. Чернышевским“. См. заметку Е. Ярославского в № 6 „Пролетарской Революции“, с. 232—233.
- „Красный Флот“. Ежемесячный журнал ред.-изд. отдела Морского Комиссариата. П., 1922 г., апрель № 1, с. 135.
- Ст.: Моряки—народовольцы (94—102). То-же, № 3—4, июнь—июль, с. 207.
- Ст.: С. П. Лукашевич, Политический сыск и провокаторы в царском флоте (137—146).—С. Л. Бешенцев, Восстание эскадренного миноносца „Скорый“ 17 октября 1905 г. (146—148).
- „Металлист“. Двухнедельный журнал. Орган Ц. К. Всеросс. союза рабочих металлистов. М. июль, 1922, № 12, изд. РИО ЦК ВС Р. М., с. 102.
- Ст.: В. Шмидт и Антипов, Петроградский союз металлистов в 1912—1914 г. (68—70)—Н. Иванов, „Солидарность“ и „Единение“ (81—88).
- „Молодая Гвардия“. Орган Центральн. комитетов Р. К. П. и Р. Б. С. М., М., 1922, № 1—2 (апрель—май).
- Ст. П. Лепешинский, Пролетарский классовый праздник (Исторический очерк празднования первого мая) (89—102).
- То-же, № 3, июнь, 1922, с. 254.
- Ст.: Р. Ковнатор, Г. В. Плеханов (61—68).
- „Мысль“. Журнал Петербургского Философского Общества под ред. Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского. № 2, март—апрель. 1922 г. „Academia“, с. 159.
- В. С. Иоф, Георгий Валентинович Плеханов. Некролог (97—102).
- „Новое Дело“. Научно-педагогический вестник рабочего факультета Казанского Государственного Университета. Казань, 1922 г., кн. I, с. 140.
- Ст.: М. К. Корбут, В. И. Ульянов в Казанском университете (5—9).
- „Новый Мир“. Ежемесячный журнал художественной литературы, науки, искусства и публицистики. № 1, Москва, 1922 г. Кооперативное изд.—во „Новый мир“, с. 318.
- Ст.: Проф. В. Н. Сторожев, Начало конца—Ходынка П. (На пороге (203—220)—И. Кубиков, — В. Обнорский и С. Халтурин (222—226).
- „Печать и Революция“. Журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Книга шестая. М. 1922 г., июль—август, Госиздат, с. 324.
- Ст.: Ф. Кон, Нелегальная печать в Польше. Из воспоминаний (59—63).
- „Под знаменем марксизма“. Ежемесячный философский и общественно-экономический журнал. № 5—6, май—июнь, 1922, с. 155.
- Вся книга посвящена Г. В. Плеханову.
- „Пролетарская Революция“. Исторический журнал Истпарта. № 3. М. 1922 г. Госиздат., с. 344.
- Из содержания: Л. Дейч, Н. А. Некрасов и семидесятилетие (с. 3—27).—Д. Маркушевич, Детство и отрочество С. Халтурина (с. 39—43).—Л. Дейч, Виктор Обнорский (44—61).—М. Лядов, Третий съезд Р. С.-Д. Р. 1905 г. (62—79).—„Рабочая Заря“, 1890 г. (122—124).—Документы и материалы к III съезду Р. С.-Д. Р. П. (125—166).—Гусев.

Письма из Петербурга к Ленину 1905 г. (167—175).—Г. Н. Котов, Мои воспоминания. I. Детство. II. Вступление в семью рабочих III. Тюрьменное крещение. IV. После тюрьмы. V Весна и лето 1905 г. VI В полугодовщину 9 января (176—215).—И. Рябков, Как я попал на работу при нашем подпольном правительстве и что именно выполнял. Воспоминания рядового революционера о 1906 г. (215—241).—М. Калинин, Пребывание в Ревеле (241—244).—Л. Троцкий, Автобиографическая заметка (244—249).—К. Басалиго (К. Дальний), Мандат тов. Ленину. Из воспоминаний подполья (249—251).—Н. Н. Иорданский, Октябрьские дни, и Плеханов. (251—252).—П. Воеводин, Автобиографические сведения (252—255).—А. Колонтай, Автобиографический очерк (261—303).—П. Красилов, Выручил К. Либкнехт. Из воспоминаний (336—338).

Т о ж е, № 4, с. 366.

Из содержания: О. Варенцова, Объединительный съезд Р. С.-Д. Р. II. (67—142).—Г. Котов, Второй раз в (нижегородской) тюрьме (176—199).—А. Митревич, Воспоминания о рабочем революционном движении 1895 г.—1919 г. (Петербург) (199—241).—А. Митревич, Заметки по рабочему движению от 1912 г. I Одно из заседаний II. К. Р. С.-Д. Р. II. II. Выборная комиссия в Государственную думу 4 созыва по питерской рабочей курии (241—245).—П. Кунгуров, Записки рабочего (245—260).—А. Аросев, Из прошлого революции. Очерк I. Казань 1907—1909 г.г. (260—269). Очерк II. Вологодская организация 1911 г. (269—274).—М. Ольминский, Три письма Гр. Ив. Петровского, Я. М. Свердлова и В. П. Антонова-Саратовского (275—289).

Т о ж е, № 5, с. 231.

Из содержания: Феликс Кон, Памяти В. Г. Короленко (3—6).—С. Мицкевич, Из далекого прошлого. Памяти И. П. Гольденберга-Мешковского (7—8).—Л. Каменев, И. П. Гольденберг-Мешковский (9—11).—Л. Делевич, Ленский расстрел (12—23).—Л. Каменев, Лондонский съезд Р. С.-Д. Р. II. (24—44).—И. Вардин (Мгеладзе), Политическая ссылка накануне революции (92—121).—Письмо Ленина к Я. М. Свердлову 1909 г. (122—124).—В. Пфанкух, Из протоколов и революций Лондонского

съезда Р. С.-Д. Р. II. (124—160).—Ем. Ярославский, Подпольная работа в армии в 1906 г. (164—184).—М. Васильев (Южин), Из воспоминаний о московском восстании 1905 г. (184—194).—Серебров, В январские дни 1905 г. (194—200).—А. Васильев, издание газеты „Рабочий“ в 1907 г. (200—219).—Я. Бранденбургский (Валериян), Из воспоминаний: I. Екатеринбургский Комитет Р. С.-Д. Р. II. в 1904—1905 г.г. II. Дело Петроградского Комитета („Дело 19-ти“) (219—225).—Б. Козмовский, Партийная организация в эпоху реакции в Николаеве в 1908—1909 г.г. (225—231).—Л. Германов, Из партийной жизни в 1910 г. (231—238).—Д. Маркушевич, Еще о Степане Халтурине (296—297).—В. Невский, В истории „Партии русских социал-демократов“ („Благовеская группа“) (297—302).—Н. Клипович, Заметка о „группе Благовеса“ (302—303).—Н. Семашко Замечания по поводу биографии Г. В. Плеханова, составленной Ю. Арзаевым (303—305).—В. Невский, По поводу писем Т. Гусева (305—307).—Ем. Ярославский, „Сон большевика“ (307—312).

Т о ж е, № 6, с. 250.

Из содержания: Л. Германов, Материалы к биографии Г. А. Усевича (9—13).—К. Норинский, О Петре Монтине (28—31).—К. Гандурин, О Лондонском съезде Р. С.-Д. Р. II. (35—60).—Ал. Колыткевич, Из прошлого Олонеккой организации (61—97).—Ем. Ярославский, Странички воспоминаний. 1905 г. (107—124).—Н. Голубев, Подпольная работа в Баку (124—135).—Е. Левинская, Из жизни одесского подполья 1901—1907 г.г. (135—157).—П. Воеводин, 20 лет работы в большевистских организациях и встреча с тов. Лениным (180—193).—С. Моравский, О партийной работе в Варшаве 1905—1910 г.г. (225—227).—Финн-Евотаевский. Н. К. Крупская. А. М. Елизарова—Ульянова. М. Ф. Владимирский и Б. Эбдельман, К вопросу о первом съезде Р. С.-Д. Р. II. (227—230).—Сообщ. А. Дивильковский, Последний из могикан—уцелевший первоапрелец (223—234).

Т о ж е, № 7, с. 255.

Из содержания: Л. Дейч, Как Плеханов стал марксистом (97—140).—Феликс Кон, Из воспоминаний. Арест и первые дни в тюрьме (151—161).—А. Смирнов, О первом

кружке соц.-дем. рабочей партии гор. Екатеринослава 1894 г. (161—165).—К. Норинский, Екатеринославская забастовка 1903 г. (166—169).—В. Новиков, Первые шаги: I. В Москве 1900—1905 г.г. II Два месяца в Иваново-Вознесенске ноябрь—декабрь 1905 г.) III. Приложение: О. М. Генкина (169—180).—В. Соколов, Транспортно-техническое бюро Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (181—204).—Хр. Гринберг—Кон, Эпизод из жизни народовольцев 1880 г. (241—243).

То-же, № 8, с. 250.

Из содержания: Е. Левницкая, Памяти старого друга В. Л. Шанпера (3—7).—С. Петропавловский, Дворянство, бюрократия и монархия перед февральской революцией (8—26).—А. А. Френчер, На родине Г. В. Плеханова (27—47).—Феликс Кон, Из воспоминаний. В Варшавской цитадели 113—129.—М. Дейч, Записки о моей революционной работе (129—168).—В. Невский, Барышня. Страничка из воспоминаний с.-д. пропагандиста 1907 г. (210—213).—Л. Хинчук, К воспоминаниям о Г. В. Плеханове (214—215).

„Пути Революции“. Исторический журнал Татбюро Истпарта. Казань, 1922 г., март, № 1, с. 200.

Из содержания: С. Шейнкман, Я. С. Шейнкман.—И. Волков, Воспоминания бывшего царского каторжанина.—А. Я. Аросев, Казань в глухие 1906—1909 г.г.—

И. А. Бехер, Примечания к воспоминаниям А. Я. Аросева.—С. Лившиц, Очерки истории казанской социал-демократии, ч. I „Радуга“. Альманах Пушкинского Дома П., 1922 г. Коопер. издательство литераторов и ученых, с. XI + 303.

Из содержания: А. Н. Радищев, Письмо родителям. С объяснениями В. И. Семенникова.—В. К. Кухельбекер, Исповедь перед причастием. С объяснениями Н. А. Котляревского.

„Сибирские Огни“. Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. № 2, май—июнь, 1922 г. Ново-Николаевск., изд. Сибирского областного отделения Госиздата.

Ст.: В. Косарев—„Партийная школа на острове Капри (63—75).

То-же, № 3, июль—август.

Ст.: Н. Бакай, О литературных записках декабристов в Восточной Сибири (60—64).

„Утренний звон“. Книга II. Ред. Д. А. Лоткин. П. 1922 г., с. 197.

Ст.: С. Я. Штрайх, Новые письма декабристов (68—75).—Р. М. Кантор, Кризис „Московских Ведомостей“ в 1866 г. Письма М. Н. Каткова к Александру II и В. А. Долгорукову (80—89).—С. П. Швецов, Тени прошлого. Очерки из воспоминаний. Н. М. Ядринцев 90—100).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЫЛОЕ“.

ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

Библиотека издательства „Былое“.

Заславский Д. Поляки в Киеве в 1920 году. Стр. 47.
Канторович В. Французы в Одессе. Стр. 27.
Клейнберг Л. Нападение на поезд (1920 г.). Стр. 48.
Майский С. Черный кабинет. Из воспоминаний цензора. Стр. 23.
Щеголов П. Любовь в развешине. Стр. 30.
Замятин Евгений. Три дня (Восстание на „Потемкине“). Стр. 27.
Никитин Ник. Американское счастье и др. рассказы. Стр. 48.
Шишков Вяч. Провокатор и др. рассказы. Стр. 48.
Слонимский Мих. Палата смертников. Рассказы (печат.).
Форш Ольга. Обыватели. Рассказы (печат.).
Никитин Ник. Камни. Рассказы (печат.).
Зощенко Мих. Развотык. Рассказы (печат.).
Павлов П. Агенты, жандармы и палачи (печат.).

проф. С. Я. Лурье.

Антисемитизм в древнем мире.

Попытки объяснения его в науке и его причины.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 160.

Содержание: Часть первая. Антисемитизм в древнем мире и попытки его объяснения. 1. Еврейская религия, как причина античного антисемитизма. 2. Экономические отношения, как причина античного антисемитизма. 3. Политические соображения, как причина античного антисемитизма.—Часть вторая. Причины античного антисемитизма. Общие замечания. 1. Еврейское „нахальство“. 2. „Еврейская низость“. 3. „Еврейская сплоченность“.

В. С. Панкратов.

ЖИЗНЬ В ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ. 1884—1898.

Примечания Р. М. Кантора.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 144.

Текст просмотрен и исправлен автором. К тексту Р. М. Кантором даны обширные примечания на основании неизданных архивных материалов, раскрывающих жизнь шлис-сельбургского тайника в освещении Департамента полиции. К изданию приложен исчерпывающий и достоверный список всех заключенных в Шлиссельбургской крепости за 1884—1905 г.г.

Декабрист А. М. Муравьев.

ЗАПИСКИ.

Перевод, предисловие и примечания С. Я. Штрайха.

Петроград. 1922. 8°. Стр. 48.



3 2000 007 383 526



**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DEMCO

